

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

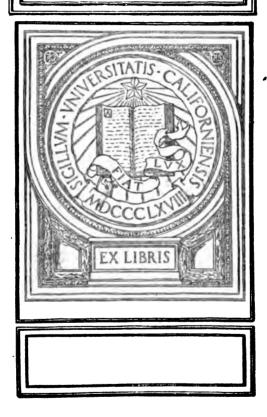
- Не удаляйте атрибуты Google.
 - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
 - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

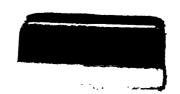
О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



GIFT OF JEROME B. LANDFIELD





Abover, spacie findre viel,

Евг. Соловьевъ (Андреевичъ).

Ocherki iz istorii russ ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРІИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ХІХ ВЪКА.

Для историка литературы существуеть то же правило, что и для философа; не забывать, что "сова Минервы вылетаеть лишь по ночамъ", т. е., что всякая идея, всякій новый художественный образъ, какъ стрълки на часахъ, отмъчають лишь перевороть и перераспредъленіе силъ внутри общественнаго организма, что безъ переворота въ обществъ не бываетъ и переворота въ литературъ.

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

Jun 16 1994

Gift of Jerome B. Landfield.

Вмъсто предисловія.

Русскому человъку трудно любить что-нибудь другое изъ области своей духовной жизни съ такой горячей признательностью, какъ свою литературу. Историческое прошлое русскаго человъка цълые въка представляло однообразный процессъ; государственныя формы его жизни вырабатывались большею частью помимо его воли и прямого участія; достоинства его живописи, музыки, науки, скульптуры и т. д. проявляются лишь очень и очень поздно; только въ одной литературъ успъль онъ проявить себя съ самой лучшей и богатой своей стороны. Здъсь, несмотря на всв многочисленныя препятствія и преграды, несмотря на то, что необходимый элементь литературнаго развитія читатель — заставилъ ждать себя почти до 40-хъ годовъ прошлаго въка, успъхи наши поразительны и, если върить Постоевскому, служать единственнымь, хотя и большимъ залогомъ нашего "славнаго будущаго". Такъ относиться къ своей литературъ, какъ относится къ ней русскій человъкъ, европеецъ едва ли можетъ. Мало ли у него предметовъ гордости и въ области искусства и общественной жизни, или науки и религіи, появленіе и развитіе которыхъ онъ одинаково приписываеть себъ. За нихъ онъ боролся въ теченіе цълыхъ стольтій, за нихъ шель на костеръ и плаху, любить и почитать ихъ онъ училъ своихъ дътей въ предсмертномъ словъ; въ нихъ онъ выразилъ свою личность и личность своего народа, свои стремленія и стремленія своего народа. У насъ, въ нашей духовной и общественной жизни-литература и только литература.

"Милостивые государи, — писалъ Щедринъ въ своемъ "Кругломъ годъ", —вамъ, конечно, небезызвъстно выраженіе scripta manent. Я же подъ личною за сіе отвътственностью присовокупляю: semper manent in secula seculorum. Да, господа, литература не умреть вовъки въковъ! А посему, какъ бы намъ съ нашей комиссіей не осрамиться. Все что мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ раз-

валины, частью въ навозъ — одна литература въчно останется цълою и непоколебленною. Одна литература изъята отъ законовъ тлънія, она одна не признаетъ смерти. Несмотря ни на что, она въчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Ибо ничто такъ не соприкасается съ идеей о въчности, ничто такъ не поясняетъ ее, какъ представленіе о литературъ. Мы испытуемъ въчность, мы стараемся понять ее—и большею частью изнемогаемъ въ нашихъ попыткахъ; но вспомнимъ о литературъ и мы хотя отчасти откроемъ тайну въчности".

Я бы могъ привести нъсколько такихъ же мъстъ изъ произведеній Щедрина, могъ бы напомнить извъстныя слова Бълипскаго или предсмертный завътъ Тургенева, или гордость Достоевскаго при сознаніи, что онъ литераторъ и только литераторъ — но всъ эти цитаты ничего не прибавили бы къ той простой мысли, что для русскаго читателя, а тъмъ болъе русскаго писателя печатное слово есть вещь, съ которой надо обращаться не только чутко, но и богобоязненно.

"Только въ литературъ и можно найти жизнь"—писалъ Бълинскій въ одну изъ мертвыхъ эпохъ нашей общественности, и эти слова кажутся мнъ тъмъ болъе справедливыми, что русская литература съ первыхъ же шаговъ своей самостоятельной жизни всегда исполняла миссію. Она проповъдническая, учительская и миссіонерская по преимуществу. Это можно утверждать по поводу, по крайней мъръ, главнаго ея русла, насчетъ котораго и сказано scripta manent in secula seculorum *).

Основная идея русской литературы — религіозно-нравственная и основана на сознаніи святости челов'вческой личности и челов'вческой жизни вообще. Эта идея, зародившаяся еще въ концъ XVIII в'вка, выросла и окръпла какъ сталь, выкованная булатомъ, въ безконечно долгой борьбъ съ кръпостнымъ правомъ и духомъ кръпостничества, еще и теперь далеко не исчезнувшемъ изъ нашей жизни.

Въ годной литературъ есть человъкъ и писатель, скорбная фигура котораго стоить у самаго начала ея самостоятельной жизни. Но мысль этого человъка и писателя жива

^{*)} Вообще, думается мнѣ, надо строго отличать литературу отъ словесности. Словесность это все безбрежное море написаннаго и напечатаннаго: литература выражаетъ общественно-историческія идеи и общественно-историческое настроеніе въ каждую данную эпоху развитія. Чеховъ напр.,— это литература, а Боборыкинъ—словесность; то же Горькій—Потаценко и т. д. Въ настоящее время очень много словесности и очень мало литературы. Въ своихъ очеркахъ я занимаюсь исключительно послъдней.



и теперь. Я говорю о Радищевъ. И его трагическая су дьба, и настроеніе, продиктовавшее ему его знаменитую к нигу, являются какъ бы прообразомъ и символомъ цълаго въка нашего литературнаго развитія.

"Человъкъ родится въ міръ и равенъ во всемъ одинъ другому. Всъ одинаковые имъемъ члены, всъ имъемъ разумъ и волю". Вотъ основное воззръніе, изъ котораго исходить Радищевъ *). Этого разума и воли никто отнять не можеть. "Противъ врага своего онъ защиты и мщенія ищетъ въ законъ. Если законъ или не въ силахъ его заступить, или того не хочетъ... тогда пользуется гражданинъ природнымъ правомъ защищенія... Ибо гражданинъ, становясь гражданиномъ, не перестаеть быть человъкомъ, коего первая обязанность есть собственная сохранность, защита, благосостояніе". Основывая святость человъческой личности на идеъ естественнаго права, Радищевъ переходитъ къ критикъ кръпостного состоянія.

"Рядъ разбросанныхъ въ книгъ фактовъ, -- говорить біографъ Радищева, посвященъ изображенію отягченнаго жребія крестьянства... Помъщикъ, заставляющій крестьянъ 6 дней въ недълю работать на господской нашит и лишь воскресенье оставляющій имъ для работы на ихъ собственныя семьи, кръпостные, осужденные за убійство семьи помъщика, который не только обратилъ ихъ въ батраковъ, отняль у нихъ всю землю и истязаль ихъ жестокими наказаніями, но еще и безчестилъ ихъ женъ и дочерей; помъщикъ, введшій въ своемъ имъніи jus primae noctis и лишь случайно спасшійся отъ смерти, уготованной ему крестьянами; распродаваемые съ аукціона люди, въ томъ числъ дядька, кормилица, любовница и сынъ продающаго ихъ барина; дворовый, по барскому капризу получившій обравованіе и, благодаря этому, тёмъ съ большею силою чувствующій тяготъющій надъ нимъ произволь; крестьяне, вступающіе въ бракъ по принужденію господина; казенные крестьяне, покупающіе кръпостныхъ у пом'вщика для отдачи ихъ въ рекруты, — таковы важнъйшія фигуры этой галлерен, наглядно убъхдающія Радищева въ томъ, что въ Россіи "крестьянинъ въ законъ мертвъ". Какъ бы заключая рядъ впечатленій, получаемыхъ читателемъ отъ этихъ фигуръ, и сводя въ одно цълое ихъ разрозненныя черты. Радищевъ въ одной изъ послъднихъ главъ своей книги изображаетъ внъшнюю обстановку жизни крестьянина. Ръзкими штрихами набрасываетъ онъ картину жалкаго убожества этой обстановки, граничащаго съ нищетой. Жилище крестьянина — курная изба съ покрытыми сажей и грязью ствнами, съ затянутыми пузыремъ окнами, изба, въ которой люди спять ночью вмъстъ съ животными, въ спертомъ воздухъ которой свача горить, какъ въ туманъ. Внутреннее убранство этой избы состоить изъ скудной утвари: двухъ-трехъ горшковъ— "счастлива изба, коли въ одномъ изъ нихъ есть пустыя щи",—деревянной чашки и кружковъ вмъсто тарелокъ, срубленнаго топоромъ стола, корыта для корма свиней и телять и кадки съ квасомъ, похожимъ на уксусъ. Одежда крестьянина — "посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки съ лаптями для выхода". "Вотъ въ чемъ, — весклицаеть писатель, почитается по справедливости источникъ государственнаго избытка, силы, могущества: но туть же видны слабость,

Digitized by Google

^{*)} См. сборникъ "На славномъ посту", Спб. 1900 г.

недостатки и злоупотребленія законовъ и ихъ шероховатая, такъ сказать, сторона. Тутъ видна алчность дворянства, грабежь, мучительство наше и беззащитное нищеты состояніе. Ввъри алчные, піявицы ненасытны, что крестьянину мы оставляемъ?—то, чего отнять не можемъ, воздухъ. Да, одинъ воздухъ. Отъемлемъ неръдко у него не токмо даръ земли, хлъбъ и воду, но и самый свътъ. Законъ запрещаетъ отъяти у него жизнь. Но развъ мгновенно. Сколько способовъ отъяти ее у него постепенно! Съ одной стороны почти всесиліе; съ другой немощь беззащитная. Ибо помъщикъ въ отношеніи крестьянина есть законодатель, судія, исполнитель своего ръшенія и, по желанію своему, истецъ, противъ котораго отвътчикъ ничего сказать не смъетъ. Се жребіи заклепеннаго въ узы, се жребіи заключеннаго въ смрадной темницъ, се жребіи вола въ ярмъ"...

Воть что видълъ передъ собою Радищевъ и вотъ отъ какихъ картинъ "душа его страданіями человъческими уязвлена стала". Въ заключеніе онъ горячо убъждаеть современниковъ приступить къ освобожденію крестьянъ. И не то же ли самое убъжденіе слышали "русскіе современники" отъ русской литературы въ теченіе слъдующихъ 70-ти лътъ? Мнъ кажется, что съ книги Радищева можно начинать исторію нашей самостоятельной литературно-общественной мысли.

Та же ндея святости человъческой личности, особенно яркая, потому что безличный кръпостной мужикъ былъ на глазахъ у всъхъ, создала самое оригинальное наше литературно-общественное теченіе—наше народничество. Ему какъ извъстно, предшествовалъ періодъ сомнънія и отрицанія, періодъ безнадежнаго отрицанія русскаго будущаго.

Но вотъ на помощь и во спасеніе нашему интеллигенту пришелъ мужикъ и перевернулъ всю нашу психологію. Такъ сказать, изъ небытія мысли, хотя и огромной жажды ея—мы вступили на твердую почву, на цѣлыя десятилѣтія опредѣливши и наше настроеніе, и нашу работу. Тутъ есть за что, тутъ можно и должно сказать спасибо нашей деревнѣ, послужившей превосходной школой нашей мысли. Это началось съ Радищева, но опредѣлилось лишь въ сороковые годы.

Растерзанной фигуръ Антона Горемьки русская литература положительно должна была бы воздвигнуть памятникь. Ея духомъ, ея содержаніемъ она жила почти польвъка — правда, содержаніемъ расширеннымъ и углубленнымъ, но въ сущности тъмъ же самымъ. Здъсь заключалась цълая программа, здъсь былъ данъ лозунгъ — одинъ изътъхъ лозунговъ, которые являются въ десятилътія, и второстепенное литературное произведеніе сыграло первую историко-литературную роль. Послъ него можно было писать о чемъ угодно и сочинять что угодно, но тотъ писатель, который такъ или иначе не выяснилъ своего отношенія къ мужику, къ народу, не могъ уже разсчитывать на продолжительное общественное вниманіе: на него смо-

тръли только, какъ на забавника, его читали только для развлеченія, къ нему не относились серьезно. "Мужикъ" и мужицкій вопросъ стали воистину правственной цензуройстрогой, непреклонной, подчасъ неумолимой, избъжать которой не было никакой возможности. Было признано, и всъ согласились, что это "самое важное". Сотни и тысячи произведеній посвящались "самому важному"; оно создавало репутаціи и уничтожало ихъ; оно подчиняло себъ эстетику, оно стало душою критики, мало того-у Толстого оно вылилось въ цълую философски-религіозную систему. Какъ превосходно предчувствоваль это Бълинскій, когда писаль Боткину: "Будь повъсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное, сколько-нибудь дъльна-я не читаю, а пожираю... Ты сибарить, сластена... тебъ, вишь, давай поэзіи да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мит поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повъсть была истинна, т.-е. не впадала въ шаржъ и аллегорію или не отзывалась диссертацією... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление. Если она достигаеть этой цели и вовсе безъ поэзіи и творчества — она для меня тъмъ не менъе интересна"... (Письмо начала 1848 г.).

Несомивно, что благодаря мужику или, лучше сказать, мужицкому вопросу, ясно и широко сознанному лишь въ концъ сороковыхъ годовъ, мы перестали быть "странни-ками"; появилась дъйствительная "сфера опредъленнаго существованія, нъчто такое, что "привязывало, что пробуждало наше сочувствіе, наше расположеніе и нравственное чувство" — появилась "почва мышленія и жизни"... Мужикъ выручалъ не разъ, надо сознаться, и есть что-то положительно трогательное въ этомъ настойчивомъ появленіи мужика, въ той молчаливой опекъ, въ которой онъ держалъ нравственность не только отдъльныхъ людей, но и цълыхъ историческихъ эпохъ.

Трудно сказать, насколько національныя особенности нашего характера, несомнівню существующія, хотя и неопредівленныя, несмотря на попытки первых славянофиловь, потомъ Ап. Григорьева, Достоевскаго и т. д.—трудно, говорю я, сказать, насколько эти національныя особенности обусловливають практицизмъ нашего мышленія. Во всякомъ случай въ области теоретической мысли мы почти не проявили ни малійшей самостоятельности и мы, повторяю, практичны въ томъ смыслів, что все наше передовое художественное творчество насквозь проникнуто нравственными запросами. По поводу эпохи тридцатыхъ годовъ Герценъ говорить: "пропов'ядь шла все сильніве... все одна про-

повтдь. И смѣхъ, и плачъ, и рѣчь, и книга, и Гоголь, и исторія все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ, все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума и источникомъ всего этого было проснувшееся сердце". Но развѣ нельзя ту же самую характеристику распространить на литературу всего вѣка? Думается, что, имѣя во главѣ нашей литературы Толстого и Достоевскаго, мы не можемъ иначе какъ положительно отвѣтить на этотъ вопросъ. Это придало особый проповѣдническій характеръ нашей литературѣ вообще, а въ частности нашей критикъ.

Первымъ, кто ръзко выразилъ особенности этой послъдней, быль, если не ошибаюсь, К. Аксаковъ. "Въ наше время, писаль онъ, - поэтическое произведение, хотя написанное съ талантомъ, можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извъстенъ анекдотъ о математикъ, который выслушавъ изящное произведение спросилъ: что этимъ доказывается? Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаъ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ произведении является вопросъ, что этимъ докавывается... Такова наша эпоха". Этими словами пропаганда объявляется главной задачей литературы. Сама литература обращается въ пропаганду. Бълинскій высказаль ту же мысль въ словахъ: "Главное, чтобы повъсть вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлъніе". Совершенно справедливо зам'ячено о Добролюбов'я: "онъ понималъ, что бываютъ эпохи и задачи, несовмъстимыя съ эстетикой, что есть категоріи добра и зла, несовмівстимыя съ другими категоріями и, главнымъ образомъ, категоріей красоты". Мнъ нечего говорить, что въ дальнъйшемъ своемъ развитіи русская критика почти безъ исключеній подчинилась вліянію идей Добролюбова.

Наша критика была проникнута той же религіозно-нравственной идеей святости человъческой личности какъ и наша литература. Но реализмъ русскаго мышленія она довела до крайняго его логическаго развитія. Вотъ что я говорю ниже о Добролюбовъ: "быть можеть это самая глубокая и серьезная фигура всей нашей литературы 60-хъ годовъ... Я особенно настаиваю на словахъ "глубокая и серьезная" и хотълъ бы даже удесятерить ихъ значеніе, замънивъ однимъ опредъленіемъ: Добролюбовъ былъ натура религозная, счастье человъчества было его богомъ, и онъ служилъ ему, какъ жрецъ съ страстной любовью, нъжнымъ умиленіемъ, но и безпощаднымъ негодованіемъ въ то же время противъ всъхъ людей иной въры, иного кумира. Даже у противниковъ 60-ыхъ годовъ по поводу Добролюбова вы-

рываются порою хорошія строки, какъ вырываются онъ у вськъ, кто проникъ въ истинный смыслъ хотя бы одной изъ статей, написанной такъ безжалостно рано умершимъ критикомъ. Его обвиняють въ холодности, его называють подчасъ мертвой головой затвердившей одно слово: "счастье всъхъ" и безконечное число разъ переворачивавшей его на всь лады. Да, отъ него дъйствительно въетъ холодомъ, но это холодъ сдержаннаго негодованія, холодъ страсти кристализованной, поглотившей всего человъка, сдълавшей изъ него въ одно и то же время маньяка и ясновидца и испепелившей его наконецъ. "Милый другъ я умираю оттого, что быль я честенъ"-не пустыя слова и не гордыня духа. Честность, не та, конечно, пошлая мъщанская честность, которая не воруеть платковь, а та большая, мучимая муками всъхъ обездоленныхъ, откликающаяся на всъ ихъ слезы, сдълавшая задачу ихъ отмщенія своей задачей, дъйствительно свела ее въ могилу. И онъ ущелъ въ нее безъ слезъ и безъ отчаянія съ теми же словами предсмертнаго завъта, съ которыми онъ при жизни, -- обращался въ толпъ учениковъ: "върьте, что богъ-счастье всъхъ людей, богъ, которому мы служимъ — теперь обиженный и опозоренный еще сойдеть на землю во всей красоть и величіи и сдълаетъ изъ этой юдоли страданія и плача-юдоль красоты и веселья. Върьте, что вы будете отомщены, потому что всъ униженные и оскорбленные достойны отомщенія".

Религіозно-правственная идея нашей художественной . литературы во всякомъ случав не обходилась безъ некоторой примъси мистициама, безъ нъкотораго содроганія передъ тайнами и загадками жизни. Это видно хотя бы пзъ постановки вопроса о алъ. Несомнънно, напр., что у Гоголя, особенно у Достоевскаго это зло является чемъ-то абсолютнымъ, органически присущимъ человъческой натуръ, чъмъто грознымъ и пугающимъ какъ первородный гръхъ, какъ зараженный источникъ нашей жизни вообще. Читая нъкоторыя страницы Достоевского, не можешь отказаться отъ мысли, что онъ порою склонялся къ самому простому и конкретному дуалистическому міросозерцанію, признавая самостоятельность Злого Начала. Но уже ничего мистическаго не видимъ мы въ нашей критикъ. И все же идея ея остается религіозно-нравственной, такъ какъ нравственныя начала жизни и дъятельности понимались ею какъ имъющія абсолютную санкцію. Въ глазахъ Бълинскаго счастье человъка было началомъ абсолютнымъ, не требующимъ оправданія, — Добролюбовъ называль религіей такое дізло, "которое было бы для людей жизненной необходимостью, сердечной святыней, которое бы органически срослось съ ними, такъ что отнять его у нихъ, значило бы лишить ихъ жизни". Общественное благо развитія и нравственная обязанность жить и умирать во имя его были несомнънными догматами.

Нашу критику часто упрекають въ односторонности и узости ея основной точки эрвнія, все сводившей къ общему благу. Просто говорять: критики, какъ самостоятельнаго искусства, у насъ еще не было; была публицистика, соціологія, проповъдь—все что угодно, но не критика. Отчасти это справедливо, конечно, потому что критика наша всегда отводила искусству служебную роль и охотно смъшивала его съ наукой. Спрашивается, какая другая критика могла развиться на почвъ нашей великой художественной литературы, всегда стремившейся обличать, философствовать, учить, — той литературы, которая въ лицъ своихъ признанныхъ главъ--Гоголя, Достоевскаго, Толстого, отрицала самостоятельное значеніе искусства, ставила его цівлью благо общества и презирала служение красотв. Проведите внимательно параллель между взглядами на искусство Гоголя и Бълинскаго, Добролюбова и Толстого и серьезнаго принципіальнаго различія между ними вы не найдете. Итакъ душа нашей критики какъ и литературы "страданьями человъческими уязвлена была", но для нея съ самаго начала не представляла ни малъйшаго сомнънія мысль, что "бъдствія человъка происходять отъ человъка же".

Итакъ практицизмъ, т.-е. взглядъ на литературу, какъ на общественное служеніе, является для насъ русскихъ какъ бы традиціонно-обязательнымъ. Этимъ объясняются и великія ея достоинства и нѣкоторые недостатки. Великое достоинство въ томъ, что она стремилась утвердить въ умахъ людей идею святости человъческой личности, естественно равной и равноцънной всъмъ другимъ личностямъ; недостатокъ въ томъ, что доходя въ своемъ служеніи до аскетизма, она не избъгла нъкоторой суровости, пристрастія къ догматамъ, фанатизма въ проповъди пользы, полезнаго, въ вопіяніи противъ красоты. По этому поводу мнъ хочется прибавить нъсколько словъ.

Русская интеллигенція, вообще говоря, привержена къ догмъ. Какъ ни часто мъняется эта догма, преданность къ каждому новому исповъданію является почти что самоотверженной. Въ 30-хъ и сороковыхъ годахъ у насъ была догма гегеліанская, въ 60-хъ—матеріалистическая, въ 70-хъ народническая, въ 80-хъ индивидуалистическая, въ 90-хъ марксистская. По нашей юной культурности, съ одной стороны, по лъности мысли и горячей впечатлительности сердца, обойтись безъ догмы мы не можемъ. Она намъ нужна, чтобы не думать самимъ. Въ прошломъ—только скромные ученики Европы, мы такъ привыкли къ этому ученичеству, что, сами

Digitized by Google

думая, чувствуемъ себя въ состояніи полной растерянности. Наша философская мысль дъйствительно очень слаба, прямо таки плачевна. Ничего оригинальнаго и цъннаго. Даже свое собственное народничество мы разработали такъ плохо съ логической стороны (напр., труды Юзова, В. В., публицистика Ап. Григорьева и Достоевскаго и т. д.), что намъ было бы стыдно предъявить его Западу въ качествъ tastimonium philosophandi, т. е. свидътельства о способности философствовать. Больше того: само по себъ логическое развите идей интересуеть насъ очень мало. У насъ нъть той огромной дисциплины мысли, которую дала европейскому мозгу средневъковая схоластика, и подступая къ какой-нибудь системъ, мы прежде всего смотримъ на ея послъднюю страницу — ея нравственные выводы и — отдине — всегда и во всемъ ищемъ правилъ поведенія. Нъсколько грубо, но въ сущности совершенно справедливо сострилъ Влад. Сер. Соловьевъ надъ 60-ыми годами, сказавъ: "тогда разсуждали следующимъ образомъ: такъ какъ ты, смертный, произошелъ отъ плешивой обезьяны, то долженъ быть нравственнымъ и общественно полезнымъ". Разсуждали, положимъ, не такъ, но дъйствительно связь между теоретическими посылками и нравственными выводами была случайна и произвольна, и о томъ, чтобы сдълать ее прочной и логическинравственной позаботились уже 70-ые годы. Но даже и это относится въ сущности не столько къ особенностямъ нашей мысли, сколько общественнаго строя. Имъя въ виду нъкоторыя его стороны, мы до самозабвенія увлекались, напр., матеріализмомъ. И мнъ кажется, что матеріализмомъ увлеклись совсемъ не потому, что находили особенно привлекательнымъ считать себя продуктомъ "слъпыхъ силъ природы", а по другой причинъ: въ матеріализмъ видъли доктрину наименъе таинственную и будто бы наиболъе свътскую, лишенную всякаго мистическаго тумана и проистекающихъ изъ него обществоположеній жизни-говоря проще анти-клерикальную. Матеріализмъ прежде и больше всего былъ боевымъ орудіемъ.

Все это такъ, и въ жесткихъ словахъ Тургенева: "главное, чтобы былъ у насъ баринъ... То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ: въ ухо Якову, въ ноги Сидору"...—много справедливаго. При нашей впечатлительности извъстная догма закрываетъ отъ насъ весь Божій міръ. Ея признаніе или непризнаніе дълить насъ на враждебныя другъ другу и злобно другъ друга ненавидящія партіи или, чтобы не такъ громко—кружки. Мы любимъ падать въ ноги и часто падаемъ... прямо въ грязь. Что станете дълать, если такое воспитаніе дала намъ исторія, если ни чему другому она насъ не научила, если всъ ея внушенія сводились къ тому, чтобы лишить насъ всякой въры въ себя, всякаго чувства собствен-

наго достоинства. У насъ нътъ чувства мъры, ибо мы привыкли къ безмърному, мы выросли въ школъ Батыя и Мамая, Грознаго и Никона, Бирона и Шешковскаго, Аракчеева и Клейнмихеля и т. л.

Мысль человъческая сильна не столько своей логикой, своимъ раціонализмомъ сколько своей исторической традиціонной основой, своей близостью къ дъйствительности, къ непреложнымъ фактамъ жизни и своимъ нравственнымъ содержаніемъ—элементами своего чувства и воли, хотънія. Но по части исторической основы у насъ очень слабо, и сомнъніе Чаадаева въ томъ, чтобы у насъ вообще была бы какая-нибудь историческая основа для бытія и мысли, остается въ значительной силъ и въ наши дни. Дъйствительности мы не знаемъ или, върнъе сказать, только что начинаемъ узнавать ее. Поэтому въ нашихъ глазахъ мысль сильна только своимъ нравственнымъ содержаніемъ.

И тутъ-то вотъ выступаетъ на сцену красивая, хорошая сторона нашего догматизма. Въ любой теоріи мы ищемъ не системы доказательствъ, не стильной цъпи логическихъ аргументовъ—мы ищемъ лишь оправданія своего нравственнаго существа, выхода для накопившейся жажды общественной дъятельности, любви, стремленія помочь обездоленнымъ— этого святого стремленія, завъщаннаго намъ всей нашей хорошей и честной въ главномъ своемъ руслъ русской литературой.

Этого Тургеневъ, поддавшись минутному, впрочемъ, раздраженію противъ матреновцевъ, не замътилъ. Но какъ хорошо, какъ проникновенно замътилъ и отмътилъ это Достоевскій, сказавъ, что русскому интеллигенту нътъ дъла до его личнаго счастья, мало дъла до счастья своего народа, но настоящее его дъло — это счастье всъхъ, счастье

всего человъчества.
Изучая прошлое нашей мысли, т. е. прошлое неосуществленной пока русской цивилизаціи, мы въ каждомъ теоретическомъ увлеченіи, подъ каждой догмой должны искать и нравственнаго содержанія, и нравственнаго фундамента. Безъ этого не будетъ понятнымъ "чтеніе до дыръ ничтожныхъ брошюрокъ о Гегелъ" — котораго въ концъ концовъ мало кто и понялъ, конечно. Ничего не будетъ понятно безъ этого. И какъ поймешь, напр., такую формулу: "такъ какъ ты любишь только себя, то жертвуй собою для счастья всъхъ" или: "пусть съкутъ: мужика съкутъ же" и т. д.? Догма, теорія—это одежда, часто совсъмъ не подходящая, уродливая и безобразящая скрытую подъ ней истинную нравственную сущность.

И все же она намъ нужна, именно потому, что мы не умъемъ, не привыкли думать. Когда мы тратимъ свои силы на установление логической связи—у насъ по большей части

ровно ничего не получается, когда же по части логики мы успокоены, когда мы только усваиваемъ Гегеля, Фейербаха, Милля, Прудона, Маркса и т. д., всъ наши духовныя силы бурнымъ потокомъ устремляются по руслу чувства или—по нравственному руслу.

Въ этомъ наша слабость и наша сила. Слабость—потому что безъ исторической основы, безъ знанія дъйствительности, безъ строгой логической аргументаціи мысль вообще слаба; сила, потому что мы быстро мъняемъ теоріи—одежду нашей воли, нашего хотънія, цъль котораго счастье народа и счастье всъхъ. Преобладаніе нравственнаго элемента дълаеть насъ исконными врагами всякой схоластики, всякаго "теоретическаго" самодовольства.

Пока-наша стихія чисто этическая.

Идея, что литература служить обществу и его нравственному совершенствованію заставляла нашихъ писателей особенно чутко прислушиваться къ голосу своей совъсти-этого главнаго вдохновителя барской эпохи нашего литературнаго творчества. Неправоту общественной жизни, основанной на чужомъ трудъ, неправоту своего общественнаго положенія, своихъ привилегій русскіе люди заподозръли уже со временъ Радищева. Не всегда совъсть говорила совершенно ясно, не всегда опредъленно указывала она на источникъ своего возмущенія и негодованія-но она почти всегда говорила. Какъ было трудно заглушить ее софизмами мысли, видно изъ печальнаго эпизода съ "Перепиской" Гоголя и его оправданіемъ кръпостничества. Эта возмущенная и негодующая совъсть всегда ставила передъ человъкомъ грозный вопросъ о смыслъ его личной жизни, о ея нравственномъ оправданіи. Недавно еще Толстой спросиль, какъ же можемъ мы жить, зная, что для исполненія нашихъ прихотей люди должны работать 37 часовъ подърядъ? Этотъ вопрось цёлыхъ сто леть не сходиль въ той или другой форме со страницъ нашей литературы. И развъ теперь мы не можемъ повторить "Деревни" Пушкина, хотя бы этихъ строкъ:

> Здъсь тягостный яремъ до гроба все влекутъ Надеждъ и склонностей въ душъ питать не смъя.

Отказъ отъ своего привилегированнаго общественнаго положенія, вызванный муками возмущенной совъсти, вы слышите и у Родищева, и у декабристовъ, и у Лермонтова и, чъмъ дальше, тъмъ больше и яснъе. Лермонтовъ не дорожитъ ни славой, купленною кровью, ни полнымъ гордаго довърія покоемъ, хотя, очевидно, что на этихъ двухъ устояхъ зиждились привилегіи его и близкихъ ему людей. Прослъдите дальше борьбу съ кръпостнымъ правомъ, вспомните "ганнибаловскую клятву" Тургенева, скорбь

Герцена, негодованіе Щедрина весь первый періодъ нашего народничества и вы увидете, что голосъ совъсти туть слышнъе всего. Лучшіе люди нашего стараго барства не только усердно, но и вдохновенно, съ фанатизмомъ иконоборцевъ подрубали тотъ сукъ, на которомъ сами они сидъли. Это дъйствительно оригинальное и красивое эрълище. Въ 60-не годы совъсть была до нъкоторой степени удовлетворена, потому что рухнула твердыня кръпостного права. Но скоро она опять заговорила и еще слышное, и еще напряженное. Туть передъ нами на первомъ планъ одинъ изъ самыхъ красивыхъ, хотя и болъзненныхъ русскихъ типовъ — типъ кающагося дворянина. Туть-голось совъсти, встревоженной воспоминаніями о неправдъ предковъ, туть безкорыстнъйшее благородство, тутъ надрывъ души, то самообожавшей себя всей полнотой самообожанія, то презиравшей себя всей полнотой презрвнія.

Въ кающемся дворянинъ прежде всего и слышнъе всего голосъ совъсти. Онъ спращиваетъ себя, откуда у него образованіе, откуда культурныя стремленія, откуда тонкость вкуса, откуда благороднъпшія побужденія и на все это у него готовъ одинъ отвътъ: "все оттуда же. все изъ условій крипостного состоянія, въ которомъ цилье вика томился народъ, и этотъ народъ безропотно, а часто и самоотверженно кормиль, одъваль, услаждаль монхь предковь, а они расплачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшнъ, полнымъ пренебрежениемъ къ личности человъка"... Онъ можетъ, конечно, успокоить себя, вотъ какимъ разсужденіемъ: "мои пріятели, крипостные Оедька и Яковъ проданы, и этою ценою оплачено мое воспитаніе; такимъ образомъ создался образованный гуманный, развитой, либеральный молодой человъкъ, который, выйдя на стезю жизни, еще болъе расширитъ предълъ гуманности, образованности, развитія и либерализма", -- но онъ не хочеть, не можеть сдълать этого. Его мучить совъсть. Его тяготить дворянское происхожденіе. Онъ знаеть, что онъ должень отвътить за все это, долженъ искупить вину. И онъ спъшитъ, торопится, хотя каждый шагь дается ему нелегко. Онъ точно взбирается на высокую гору и часто лишь отчаяннымъ пристуступомъ, надрывомъ беретъ кругизны:

"Но во имя правды, —восклицаеть онъ, —пожалуйста, не говорите о "веселой торопливости". Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпълъ впослъдствіи, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое. Нътъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъ же не торопиться? Какъ не торопиться изъ угарной комнаты, когда голову ломитъ, дышать трудно, ноги подкашиваются? Какъ не кричатъ: воздуху! воздуху! свъта!.. Какъ не каяться, если совъсть

мучить? Пусть она мучить вздоромъ и неправильно, да въдь мучить. Это-фактъ"...

Къ голосу совъсти прибавились другіе мотивы, не менъе властные и внесенные въ нашу литературу преимущественно разночинцемъ. Все всегда вело къ одному: къ борьбъ съ рабствомъ человъка, къ выполненію добровольно возложенной на себя освободительной миссіи.

Кончилось ли это движеніе? Спросить себя объ этомъ значить спросить себя о томъ, кончилась ли неправда жизни, кончилось ли рабство нашихъ дней, живъ ли Толстой, перестали ли мы чтить Достоевскаго, кончились ли мы сами, наконецъ? Достоевскій, назвавъ русскаго человъка скитальцемъ по преимуществу, сказалъ про него: "русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобы успокоиться: дешевле онъ не примирится,—конечно, пока дъло только въ теоріи".

Во имя той религіозно-нравственной сущности, которая заключена въ человъкъ и дълаетъ для него невозможнымъ пользоваться себъ подобными, какъ орудіями и средствами, шли чудно-красивые отказы нашей интеллигенціи. Отрекались отъ барства, отъ малъйшаго наслъдства его, брали на себя неоплатный долгъ передъ народомъ, отрекались отъ культуры и искали опрощенія. Рядъ отказовъ еще не окончился, и вотъ босячество... Но къ чему же сводится все это?

Достоевскій сказаль, что Пушкинь унесь сь собою въ могилу нъкоторую великую неразгаданную тайну. Но можно, кажется, подоаръвать ее. Я, по крайней мъръ, слышу ее въ словахь не "надо человъку ни земли, ни дома, ни огорода" и въ другихъ такихъ же: "принято говорить, что человъку нужно только три аршина земли. Но въдь три аршина нужны трупу, а не человъку. Человъку нужно не три аршина земли, а весь земной шаръ, вся природа, гдъ на просторъ онъ могъ бы проявить всъ свойства и особенности своего свободнаго духа" (Чеховъ).

II.

На всю русскую литературу, въ ея главномъ руслъ— (включая сюда, разумъется, и журналистику) я смотрю какъ на превосходно исполненное художественное произведеніе. Мнъ обидно, поэтому, когда слишкомъ "учено" и старательно отмъчають западныя вліянія. Не потому, конечно, чтобы я ихъ отрицалъ. Отрицать факта нельзя, и у нашей культурной мысли, конечно, двъ родины—Россія и Европа. Но выбирать приходилось изъ многаго и разнообразнаго; выбиралось же по препмуществу одно и однообразнос. Въ этомъ выборъ и

въ толкованіи выбраннаго наша оригинальность. Наша русская литература можеть представиться превосходно исполненнымъ художественнымъ произведеніемъ, потому что она представляеть изъ себя развитіе той же освободительной идеи. Въ разной формъ, конечно, и при разной глубинъ пониманія, но все той же, такъ какъ есть многое одинаково какъ положительное, такъ и отрицательное, стихійно насъ къ ней влекущее.

Намъ надо ближе и пристальные вглядыться въ особенный характеръ русской литературы и опредълить основную ея идею. Существують и тоть, и другая и притомъ свои, ни откуда ни взятые, ни съ какого другого языка непереписанныя. Даже при самомъ поверхностномъ взглядъ на нашу русскую литературу сразу бросается въ глаза и ея преобладающій пропов'вдническій характерь и первенствующая роль мотивовъ совъсти и покаянія, къ которымъ присоединяются, никогда, однако не первенствуя мотивы чести и личнаго достоинства и такая, лишь съ виду незначительная, но въ сущности серьезная и характернъйшая особенность, какъ возведение въ перлъ создания "божьихъ людей" и "юродивыхъ". Не смъйтесь, прошу васъ. Это послъднее важнее, чемъ кажется и находится, какъ скоро увидимъ, въ органической связи со всъмъ строемъ нашего исчезнувшаго или исчезающаго общинно-земледъльческаго міросозерцанія, упрямо настаивавшаго, несмотря на жестокія обиды и неудачи, на томъ, что "пе въ силъ Богъ, а въ правдъ". И вотъ служители этого Бога-Правды являются излюбленными людьми нашей литературы, часто ея героями, какъ бы въ пику и въ противоръчіе раціоналистическому западно - европейскому пониманію, вылившемуся въ совершенно другую формулу: "спла есть право". Дурачекъ Левка Герцена, дуракъ Щедрина, Парамонъ-юродивый Успенскаго, Платонъ Каратаевъ и старикъ Акимъ Л. Н. Толстого 1) Любимъ Торцовъ Островскаго, Перчихинъ Горькаго-не случайность, не обмолвка. Эти "божьи люди" и юродивые и ихъ культъ, признаніе на ихъ сторонъ высшей правды и высшей силы находится, повторяю, въ органической связи съ нашимъ общино-земледъльческимъ міросозерцаніемъ...

Върная своему характеру проповъди, пропаганды, сохраняя и лелъя свою освободительную миссію — русская литература въ главныхъ своихъ произведеніяхъ, главномъ руслъ своемъ, насчетъ котораго и сказано: "scripta manent in secula secularum" (написанное остается во въки въковъ) от-

¹⁾ Тоть же Толстой въ одной изъ своихъ сказокъ создалъ цълую утопію царства дураковъ. Въ этой сказкъ далеко не все сагира. Это обостренное и преувеличенное выраженіе излюбленной идеи нашего славянофильства, что сила жизни не въ прогрессъ наукъ и правоваго самосознанія, не въ раціонализмъ, а въ "правственномъ" трудъ.



личается ей болье всего свойственнымъ ригоризмомъ и суровостью. По формь она часто аскетическая. Какъ бы въ глубочайшемъ сознаніи великаго, ею совершаемаго подвига, устраняется она отъ "чарованья красныхъ вымысловъ", отъ соблазновъ слова. Служенье музъ не терпитъ суеты — сказалъ Пушкинъ. Служенье массъ и при томъ закабаленной массъ несовмъстимо съ соблазнами слова, съ эффектами внъшней красоты или красивости. Но въдь это служеніе массъ и было тъмъ подвигомъ, тою задачей, выполняя которые, русская литература выработала свои лучшія традиціи и дала, преобладающее значеніе голосу своей совъсти.

Туть нѣть ничего страннаго, неестественнаго и натасканнаго на себя. Наша художественная литература вскормлена крѣпостнымъ трудомъ. Это былъ слишкомъ очевидный фактъ жизни, чтобы не видѣть его. Это былъ жестокій и ужасный фактъ жизни въ то время, когда кружки, откуда выходили наши лучшія литературныя силы, одолѣли и западно-европейскую наукуи, западно-европейскую философію, когда критика ихъ изощрялась уже не только на своей русской, но и западно-европейской дѣйствительности. И вдругъ, рядомъ, застоявшееся крѣпостное право, противорѣчащее самымъ элементарнымъ требованіямъ разума и нравственности, отъ выгодъ котораго самъ человѣкъ не имѣетъ однако силъ отказаться... Какъ тутъ не заговорить, не закричать, не завопить стыду и совъсти?!

Литература въ лицъ лучшихъ своихъ представителей вовсе не думала, поэтому, о забавъ и развлечении, не думала о виртуозности слова: она учила, вела, указывала путь и при томъ обыкновенно въ довольно тяжеловатой формъ. Со времени же 60-хъ годовъ мы какъ-то особенно усиленно хотимъ простоты и еще простоты. Мы боимся всего блестящаго, считая его вычурнымъ, Наша дъйствительность такъ съра, неожиданное, яркое, поражающее такъ глубоко запрятаны въ душв человъка и такъ ръдко выходять оттуда на свътъ Божій, что нъть ничего удивительнаго, если сверкающія краски приподнятой фантазіи кажутся намъ не вполнъ естественными, какъ бы съ умысломъ подобранными, чтобы поразить насъ. По части красокъ и эффектовъ въ нашей литературћ действительно господствуетъ ригоризмъ, какая-то стыдливость, почти что целомудренная. Посмотрите, какъ обидно скупъ Достоевскій на описанія природы, или какъ небреженъ (и часто умышленно небреженъ) въ своемъ языкъ Толстой, или какъ мало дъла тому же Толстому до того, какъ чувствуеть себя читатель оть его безконечныхъ разсужденій и отступленій: онъ разсуждаеть и отступаеть когда и зачъмъ ему вздумается. Очевидно, что полезное мы предпочитаемъ прекрасному, что въ насъ есть боязнь эффектовъ красоты, "вопіяніе" противъ ея соблазновъ. Конечно, за послъднее

Digitized by Google

время взгляды наши значительно расширились; мы не станемъ уже говорить, что эстетическая точка зрвнія интересна только для институтокъ, или что красивое слово, красивый образъ—пустая побрякушка. Не все же есть у насънвчто родственное со взглядами эпохи, когда литература была служеніемъ закабаленной массв, когда исполняла она свою ганнибалову клятву, совершала свой подвигъ освобожденія рабовъ.

Воспитанные скудной природой и еще болъе скудной дъйствительностью мы привыкли къ сърымъ краскамъ и сърымъ мутнымъ тонамъ художественной живописи и они съ избыткомъ искупаются въ нашихъ глазахъ требовательностью нравственнаго чувства, подъемомъ нравственнаго вдохновенія. На соблазны красиваго слова мы могли бы сказать то же, что говорилъ когда-то Пушкинъ своему насмъшливому критику:

Смотри, какой здъсь видъ: избушекъ рядъ убогій; За ними—черноземъ; равнины скатъ отлогій, Надъ ними сърыхъ тучъ густая полоса. Гдъ-жъ нивы свътлыя? Гдъ темные лъса? Гдъ ръчка...

И въ этой-то унылой обстановкъ литература совершала свое "служеніе". Не природъ и ея красотамъ, не радостямъ жизни, не блестящему калейдоскопу дъйствительности отдавала она свое вдохновеніе, а тоскъ по неправдъ жизни, мукамъ своей привилегированной совъсти, печали о сърой массъ тъхъ, "чьи работаютъ грубыя руки, предоставивъ почтительно намъ наслаждаться искусствомъ, наукой, предаваться мечтамъ и страстямъ"...

Благодаря тому обстоятельству, что литература въ нашихъ глазахъ есть прежде всего служеніе, миссія, подвигъ, мы въ отношеніи къ ней, лишь съ виду противоръчиво, а въ сущности, вполнъ естественно.—и очень требовательны, и очень пе-требовательны.

Мы не требовательны по части формы; у насъ не ръдки успъхи произведенія и писателя очень мало даровитаго; мы выносимъ скуку и сърость изложенія и тоску разглагольствованія. Но въ то же время мы все еще очень требовательны по части идей, направленія, по части симпатій и антипатій автора, по части его любви и ненависти. Безъ ясной формулировки мы хотьли бы, чтобы хорошія книги писались хоропіими людьми. Феть, напр., прямо-таки подръзаль свою поэтическую репутацію "письмами изъ деревни", Майковъ – своимъ равнодушіемъ къ общественнымъ вопросамъ и своими идеалами государственника. Въ русской литературъ есть масса именъ, затерявшихся и забытыхъ, несмотря на весь талантъ ихъ носителей, просто потому, что

Digitized by Google

эти "носители" не были передовыми людьми, не отвъчали передовымъ стремленіямъ общества. Мы хотимъ знать, чего человъкъ, писатель, кочетъ, куда онъ ведетъ насъ, какой путь указуетъ. Пока это неясно,—мы только присматриваемся къ нему; когда это выясняется, мы или возводимъ его въ кумиры, или подвергаемъ остракизму, забвенію и по нъкоторой свойственной намъ жестокости закапываемъ живымъ въ гробъ. Правы мы или неправы,—это очень большой вопросъ, но несомвънно, что сама наша литература пріучила насъ предъявлять къ ней такого рода требованія, больше всего пріучила пънить ея волю, ея нравственно-освободительное стремленіе, а не ея созерцаніе.

Еще разъ приходится указать поэтому, что до вчерашняго дня наша стихія чисто этическая и что проблеммы другой (правовой) жизни какъ-то мало интересовали насъ...

Другой особенностью нашей литературы является то обстоятельство, что въ центръ ея мы видимъ общинно-земледъльческое міросозерцаніе. Съ нимъ она борется, его выясняеть, его поддерживаеть и, наконецъ, въ лицъ Толстого даеть ему высшее художественное выраженіе.

Впервые сознательно камнемъ краеугольнымъ своей философіи исторіи и критеріумомъ въ вопросахъ жизни поставили общинно-земледъльческое міросозерцаніе наши славянофилы. Но, какъ это тонко замъчено М. А. Н—омъ въ этомъ земледъльческомъ міросозерцаніи было очень много землевладъльческихъ элементовъ.

Надъ тъмъ, чтобы формулировать это общинно-земледъльческое міросозерцаніе, больше всего поработалъ Хомяковъ. Обращусь поэтому ненадолго къ его замъчательному изслъдованію "Записки о всемірной исторіи". Его формулы, измъненныя или преувеличенныя или въ отзвукахъ вы найдете и у славянофиловъ вообще, и у Толстого и Достоевскаго, и у нашихъ почвенниковъ и даже у нашихъ народниковъ, хотя тъ, въ лицъ своихъ радикальныхъ вождей, и чураются всякаго родства съ славянофильствомъ.

Въ общинно-земледъльческомъ стров народной жизни и въ общинно-земледъльческомъ характерв русскаго мышленія Хомяковъ видить главныя и лучшія особенности нашей культуры. Онъ любовно отмвчаетъ консерватизмъ земледъльца и его демократическія убъжденія и его ввротерпимость въ самомъ широкомъ смыслв слова и знаменитыя "кротость и незлобивость" его характера и отсутствіе въ немъ идеи личности, идеи чести и права. Его главная мысль—противопоставленіе народовъ-завоевателей народамъземледъльцамъ.

"Народы завоевательные,--говорить онъ,--по первоначальному своему характеру сохраняють навсегда чувство гордости личной и презрънія

не только ко всему побъжденному, но и ко всему чуждому".

"Народы земледъльческие ближе къ общечеловъческимъ началамъ. На нихъ не дъйствовало гордое волшебство побъды; они не видали у ногъ своихъ поверженныхъ враговъ, обращенныхъ въ рабство закономъ меча, и не привыкли считать себя выше своихъ братьевъ, другихъ людей. Оттого они воспримчивъе ко всему чуждому. Имъ недоступно чувство аристократическаго презрънія къ другимъ племенамъ; но все человъческое находитъ въ нихъ созвучіе и сочувствіе..."

Въ этихъ словахъ Хомякова трудно не видъть прообраза все-человъка Достоевскаго. Пойдемъ однако дальше:

..., Когда наступаютъ враждебныя племена пастухъ и звъроловъ сражаются и, въ случаъ пораженія охотно бъгуть въ другіе края. Имъ вездъ хорошо, гдъ только есть просторъ да лугъ для пастбищъ.

Участь народа земледъльческаго совсъмъ иная. Утомленные борьбою съ племенами, въчно готовыми къ разбою и войнъ, и въ то же время привязанные къ землъ своей неразрывными узами привычки и труда, опи мъняють преженою свободу на смиренную подчиненность или на безусловное рабство. Побъдители дорожать ими какъ слугами кроткими и трудолюбивыми, какъ чъмъ-то среднимъ между человъкомъ и полезнымъ животнымъ. Имъ препоручаетъ воинъ соху, которую онъ презираетъ, и домашнюю работу, къ которой онъ не способенъ. Побъжденнаго же воина, если онъ не убъжалъ отъ побоища, предаютъ смерти, какъ недостойнаго свободы и неспособнаго къ рабству.

Здёсь Хомяковъ въ ореоле ученаго изследованія, очевидно, восхваляеть то, что и для многихъ народниковъ является перломъ русскаго правственнаго строя-наше смиреніе, нашу кротость и незлобивость 1). Фактически онъ въ большей или меньшей степени правъ, но въ немъ несомнънно говоритъ землевладълецъ, а не философъ земледъльческой стихіи, когда онъ перлы русскаго нравственнаго строя начинаеть съ очень сомнительнымъ успъхомъ разыскивать и отыскивать и въ кръпостномъ строъ, - когда онъ увъряетъ, напр., что ему извъстна земля (т. е. Россія), гдъ рабство (весьма недавно введенное государственною властью) не внушало владъльцамъ презрънія къ своимъ невольникамъ хльбопашцамъ, земля, въ которой выслужившійся крестьянинъ уравнивается не только закономъ, но и обычаемъ и святыней общественнаго мивнія къ потомкамъ основателя самого государства" или слишкомъ решительно говорить, что "земледелецъ былъ искони помъщику роднымъ, кровнымъ братомъ..."

¹⁾ Лъвое крыло народнической и общинноземледъльческой мысли внесло очень серьезную поправку въ этотъ славянофильскій культъ смиренія и незлобія. Ихъ отмъчая и любуясь ими, быть можетъ, больше, чъмъ слъдустъ, оно выдвигало однако впередъ и стояніе за правду, въ огромномъ большинствъ случаевъ чисто пассивное. Человъкъ въ себя беретъ зло жизни, не противится ему но и не уступаетъ ему, не идетъ на его соблазны. Только себя отдаетъ онъ ему въ жертву, т. е. тъло свое, духъ же свой и личность свою соблюдаетъ неприкосновенными. Опъ неподвиженъ, но это твердыня, о которую разобьются всъ подкупающіе и насилующіе волю усилія жизни.

Въ земледъльческой стихіи видитт, Хомяковъ источникъ и нашего демократизма:

..."Мы, —говорить онь, —будемь, какъ всегда и были, демократами между прочих семей Европы: мы будемь представителями чисто-человыческаго начали, благословляющаго всякое племя на жизнь вольную и развитие самобытное. Законы могуть создать у нась на время родовое дворянство, можеть быть и родовое боярство, могуть учредить у нась маюратства и право семейнаго первородства; ложное направленіе народности въ литературь можеть раздувать въ насъ слабую искру гордости и вселять безумную мечту первенства нашего передь нашею братією, сыновьями той же великой семьи. Все это возможно. Но невозможно внасъ вселить то чувство, тоть ладь и строй души, изъ котораго развиваются маюратство и аристократія и родовое чванство и презрѣніе къ людямь и народамь. Это невозможно, этого не будеть. Грядущее покажеть, кому предоставлено стать впереди всеобщаго движенія; но если есть какая-нибудь истина въ братствъ человъческомъ, если чувство любви и правды и добра не призракъ, а сила живая и неумирающая, зародышь будущей жизни міровой, — не Германецъ, аристократь и завоеватель, а Славянинъ, труженикъ и разночинецъ, призывается къ плодотворному подвигу и великому служенію".

Тамъ же, въ той же стихіи,—быть можеть, крупнъйшій факть нашей цивилизаціи— слабое развитіє личности, а, значить, добавлю я оть себя, и правового самосознанія.

"Самая способность (земледъльца) сочувствовать всёмъ видамъ человъческаго развитія, принимать внечатлънія внёшнія и сживаться съ жизнью иноплеменниковъ, лишаетъ земледъльца упорнаго характера личности, неизмънно сохраняющей свои первоначальныя черты. Борьба ихъ противъ стихіи, менѣе уступчивой и гибкой, кончается почти всегда уступкою врожденныхъ коренныхъ стихій. Тотъ, кто охотно говоритъ на языкъ чужомъ, охотно забываетъ свой собственный языкъ".

Утъшеніемъ Хомякову въ этомъ случать является то соображеніе, что какъ ни легко принимаеть земледельческій народъ весь образъ своихъ завоевателей--, не должно думать, чтобы духъ народный погибаль безъ слъда". "Такъ, Россія, продолжаеть онъ, -- увлеченная бурнымъ движеніемъ дикихъ въковъ и соблазномъ западной науки, давно живетъ жизнью чуждою и несогласною съ ея настоящимъ карактеромъ. Она утратила свое мирное братолюбіе въ раздорахъ удъльныхъ, свое устройство гражданское въ возрастающей силъ князей и особенно великокняжескихъ престоловъ, свою областную жизнь въ потопъ Монгольскомъ, свой чисто демократическій ладъ въ борьбъ съ аристократической Польшей. Наконецъ, при всемъ наружномъ блескъ она представлялась глазамъ наблюдателя глубоко, вполнъ, безнадежно искаженною. Пришло ей время узнать себя, и отовсюду, нежданно негаданно, пробиваются ростки старыхъ корней, которые считались погибшими и народная жизнь является со всёми признаками личности самобытной..."

Эта самобытная личность народной жизни и для Хомякова, и для первыхъ славянофиловъ вообще, и для Толстого, и для всего праваго крыла нашихъ народниковъ, и для върующаго Златовратскаго, и для скептика Успенскаго—общинно-земледъльческій строй и выработанныя въ немъ, въ сердцъ его, нравственныя начала. Освободить этотъ строй изъ подъ ферулы системы оффиціальной народности 1) и изъ подъ кръпостного права и его переживаній было задачей всъхъ только что указанныхъ лицъ и группъ.

Самъ Хомяковъ нисколько не скрываетъ отъ себя того обстоятельства, что въ земледъльческомъ "простодушномъ" міросозерцаніи много рабыму и даже хамских элементовъ и часто оно сливается въ его глазахъ съ міросозерцаніемъ побъжденныхъ народовъ вообще. Но его до конца привлекаеть эта кротость и незлобіе земледъльца, это отсутствіе въ немъ гордыни, эта пластичность и въротерпимость его натуры, хотя и слишкомъ уже легко уступающей чужому вліянію, но за то позволяющей другимъ жить и развиваться подл'я себя. Больше всего его радуеть то обстоятельство, что у земледъльца нъть недостатковъ народа побъдителя, что у раба и у холопа нътъ недостатковъ властелина, что рабъ ближе къ идеалу христіанской личности, чімъ господинъ. "Народъ порабощенный, -- говоритъ онъ, -- впитываетъ въ себя много злыхъ началъ; душа падаетъ подъ тяжестью оковъ, связывающихъ тъло, и не можетъ уже развивать мысли истинно человъческія. Но господство еще худшій наставникъ, чъмъ рабство и глубокій разврать побъдителей мстить за несчастье побъжденныхъ"...

Что народъ, простой народъ, крестьянство, хранитъ въ себъ истинныя основы и земледъльчески - общиннаго строя, н земледъльчески - общиннаго мышленія - это была литературная въра наша въ теченіе почти цълаго стольтія. Конечно, она не обходилась безъ преувеличеній, безъ идеализаціи; закабаленное состояніе массы, въ которомъ всв лучшіе люди Россіи видъли своего врага и какъ бы даже свой личный гръхъ-только подливало масла въ огонь и кръпостной народъ обращался въ истинно христіанскій народъ, носителя, хотя бы въ зародыше только, всехъ лучшихъ стремленій и надеждъ человівческой жизни. Отъ соприкосновенія съ нимъ, при мысли о немъ, въ литературъ созданной, конечно, людьми привилегированными пробуждались совъсть, стыдъ, покаяніе. Роль ихъ въ прошломъ нашен мысли дъйствительно велика. Возможно, что когда-нибудь исторія русской литературы XIX в. будеть построена на анализъ этихъ понятій и анализъ ихъ художественныхъ воплощеній. Прежде и больше всего будеть следить она за внушенными ими словами и образами. Она услышить какъ голось стыда и совъсти переходиль въ ропоть и негодованіе, какъ стоны покаянія обращались въ молитву. Она покажеть, что кромъ какъ къ идев мужика не къ чему было

¹⁾ См. 42-47 стр. моей книги.

прислониться растерянному, измученному безсильной жалостью русскому барину и интеллигенту. И эту идею она выставить передъ нами какъ святыню нашей литературы, какъ ковчегъ ея завъта, потому что чаще и больше всего представленіе объ общинной жизни крестьянъ земледъльцевъ сливалось съ представленіемъ о древней христіанской общинъ и о такомъ строъ, гдъ находять себъ воплощеніе лучшія общечеловъческія стремленія, не суженныя, не озлобленныя ни борьбой за существованіе, ни требованіями "священнаго права частной собственности".

Но въ чемъ же сущность этого стихійнаго земледъльческаго міросозерцанія? Читатель понимаеть, конечно, что въ данномъ случав для меня важна не столько его дъйствительная сущность, сколько та форма, въ какой она понима-

лась, его литературное выражение.

Хомяковъ отмътилъ пластичность, въротерцимость и демократизмъ общинно-земледъльческаго мышленія, его религіозный характеръ. Онъ и другіе славянофилы (К. Аксаковъ, Ю. Самаринъ и т. д.) видъли въ немъ дальше несомнънную враждебность по отношенію къ западно-европейскому раціоналистическому мышленію. Западно-европейскій строй мысли созданъ завоеваніемъ и завоевателями. Онъ преисполненъ гордыни, въры въ личный разумъ, личную иниціативу, онъ прежде всего стремится выразить себя въ правовыхъ, юридическихъ нормахъ, онъ въритъ въ договоръ, прогрессъ науки и знанія, онъ развилъ до крайности идею чести и личнаго достоинства. Его задача завоевать природу и подчинить неразумную стихію общественной жизни разумнымъ началамъ. Ничего этого не хочетъ, ни къ чему этому не стремится общинно-земледъльческое мышленіе ¹). Его задачи и цъли, его любовь и ненависть-другія.

Какія—это лучше и ярче всего выражено Толстымъ въ его проповъди и его художественныхъ образахъ. Алгебраическія формулы Хомякова превратились подъ его перомъ

въ мъдные барельефы, литыя бронзовыя фигуры.

Поэзія Толстого развернула всю мощь и силу, всю нравственную красоту, все волевое содержаніе, всю гамму чувствъ идеи, общины и мужика,—и въ то же время все ея жизненное практическое безсиліе. Исконная русская стихія высказалась въ немъ съ небывалою, неслыханною полнотой и смълостью. Она прокляла его устами искусственную цивилизованную жизнь, она осмъяла мышленіе, лишенное нравственнаго содержанія, искусство, неодушевленное идеей служенія, разумъ, поскольку онъ хочеть быть устроителемъ жизни, волю, поскольку она хочеть власти надъ другими, — она дала послъднее, грандіозное сраженіе западно-европейскому ра-

¹⁾ Подробиње о немъ см. стр. 96—99, 336—339 и др. моей книги.

ціоналистическому міросозерцанію и въ концѣ концовъ должна была отступить передъ исконнымъ своимъ врагомъ и пойти на уступки. О пораженіи тутъ не можетъ быть рѣчи, тутъ, говорю я, можетъ быть рѣчь только объ отступленіи.

Эта многольтняя борьба Толстого съ западно-европейскимъ строемъ мысли, воли и чувства — во имя идеи русскаго мужика, русской общины, зрълище грандіозное и поучительное. Толстой, какъ будто поставилъ себъ цълью разрушить все дъло Петра Великаго, стереть въ душъ русскаго человъка всъ слъды реформы, обособить его отъ всего міра и создать ему такую своеобразную жизнь, которая не вынесла бы, въроятно, ни одного дня столкновенія съ дъйствительностью. Всв лучи чисто русскаго патріархальнаго настроенія, весь ореоль, которымь русскій народь вь его прошломъ окружалъ отръшившихся отъ себя "божьихъ людей" и юродивыхъ, -эту народную "интеллигенцію", вносившую, по словамъ Успенскаго, не лъсную, не звъриную правду, а божескую въ народную среду-все понимание красоты чисто растительной жизни, которая просто живеть, но не размышляеть по поводу себя, не мудрствуеть, - страстное обожаніе природы и восторгъ передъ ея стихійной правдой-(не даромъ же Толстой, какъ и Радищевъ, какъ всв лучшіе люди изъ среды русскаго барства-поклонникъ Руссо)-все соединилось какъ въ фокусъ, чтобы создать картину той жизни, которую Толстой съ вызывающей ироніей и съ обиднымъ пренебреженіемъ къ господствующему духу раціонализма назвалъ царствомъ дураковъ. И ее эту жизнь, онъ въ мечтахъ своихъ, очевидно, готовилъ для своего излюбленнаго русскаго народа,

Въ такомъ идеалъ, какъ и въ большей части русской литературы, созданной въ эпоху крепостной Россіи—вы ясно различаете два голоса-и голосъ русской земледъльческой стихіи, и голось покаянія, наполнявшій чуткое сердце русскаго барина, такъ непосредственно связаннаго съ прошлымъ народной жизни-ея кръпостнымъ состояніемъ. Мало отрадныхъ, возвышающихъ душу воспоминаній оставило оно, но много тревожащихъ и раздражающихъ совъсть, взывающихъ къ ней и говорящихъ: расплатись. Огромность долга требовала полной расплаты, безъ всякихъ компромиссовъ, безъ всякихъ сдълокъ. Все равно какъ русское барство для созданія своей довольной, обезпеченной жизни, полной высшихъ культурныхъ наслажденій, взяло у мужика все-свободу, собственность, право на личное счастье, такъ тою же цъною хотело оно расплатиться съ нимъ, отказавшись отъ всехъ надстроекъ надъ его жизнью отъ всей красоты и роскоши созданной въковымъ потомъ и трудомъ. Общинная, земледъльческая жизнь русскаго народа продиктовала форму идеала, чувство раскаянія предписало ему свои законы.

Digitized by Google

Подчиняясь прежде всего этому чувству, Толстой ненавидить все, что стало достояніемъ привилегированныхъ, что помогаеть имъ упрочить свою власть надъ другими, себъ подобными,---надъ этой огромной неисчислимой массой рабовъ. Онъ громить науку, технику, искусство, все утонченное и просвъщенное, наполняющее жизнь праздныхъ, создаеть свое государство юродивыхъ, видитъ въ цивилизаціи источникъ всякаго зла и рабства и всь вопросы общественной жизни подчиняеть голосу совъсти. У него полное отсутствіе юридическаго и политическаго самосознанія, у него верховная, всемъ управляющая мечта о совместной жизни людей, цементируемой лишь любовью, взаимнымъ довъріемъ, но ни въ какомъ случав не договоромъ. У него покаянная жажда уйти въ массу народа, растворить похотливые и властные порывы личной жизни въ ея жизни, стереть съ лица земли свое гордое, самонадъянное, избалованное я и всего себя отдать въ распоряжение Природы и Естественнаго-и вмъстъ съ этимъ у него то же стихійное самосознаніе какъ и у русскаго народа, отрицающее силу отдъльнаго "я" и даже его право не существованіе.

Да, здъсь, быть можеть, ist Hund begraben, здъсь, быть можеть, самое важное.

Общинно-земледъльческая стихія это скоръе отрицаніе личности, чымъ признаніе ея.

Первобытное земледъліе все зависящее отъ случая, отъ дождя, отъ солнца, отъ всего независящаго отъ человъка собственно, можетъ внушить въру во что угодно только не въ личныя усилія.

Община своимъ властнымъ принципомъ "какъ міръ"... предписываетъ отдъльному человъку тоже невъріе въ себя, развиваетъ его стадные инстинкты, склонность къ стадному мышленію и въръ.

Этотъ голосъ общинно-земледъльческой стихии Толстой вслъдъ за славянофилами возводитъ въ философско-историческій догматъ (см. послъднюю часть "Войны и Мира") и съ высоты его громитъ идею личности и все созданное ею въ цивилизованной жизни.

Невъріе въ человъческое я, признаніе массоваго общиннаго разума, гораздо болье могущественнаго и правильнаго, чъмъ отдъльный человъческій разумъ—вотъ аксіома славянофиловъ и аксіома Толстого. Но что такое массовый разумъ? — Это инстинктъ, это нравственная интуиція, это религіозное творчество, — пожалуй — это все, что выливается въ искусствъ. Но только не личность въ ея раціоналистическомъ правовомъ выраженіи.

Въ стихійномъ, массовомъ разумѣ — смыслъ и центральная пружина исторіи. "Только одна безсознательная дѣятельность приносить плоды — училъ Толстой въ "Войнъ и

Миръ"—и человъкъ, играющій роль въ историческомъ процессъ, никогда не понимаеть его значенія. Ежели онъ цытается понять его, онъ поражается безплодностью (человъческихъ усилій)". Въ другомъ мъстъ Толстой выражается еще ръшительнъе: "если допустить, что жизнь человъческая управляется разумомъ, то уничтожается самая возможность жизни".

Воть какое признаніе, наиболює рюшительно формулированное Толстымь, таилось всегда вы нашемы славянофильствы и вы міросозерцаніи нашего барства. Воть чему научила Россію община, жившая поды гнетомы крыпостного

права.

Жизнь человъческая управляется не разумомъ. Отрицаніе науки и техники ¹), отрицаніе западно-европейской раціоналистической цивилизаціи, презръніе къ договору—отсюда. Вслъдъ за Хомяковымъ Толстой все сводить къ въръ, въ ней одной видить онъ исходъ, спасеніе, истинную силу жизни. Вполнъ послъдовательно ставить онъ интуицію выше знанія, искусство выше науки, нравственность выше политики. Онъ хочетъ для человъка свободы, даже безграничной свободы, но это совсъмъ не та свобода, которая влечеть къ себъ западно-европейскаго, гордаго своимъ разумомъ человъка. Это свобода одинаково доступная и осуществимая на всъхъ степеняхъ общественнаго развитія, это свобода "округлаго человъка" Платона Каратаева — раба фактически и юридически.

Въ своей критикъ окружающаго Толстой всегда говоритъ отъ лица русской земледъльчески-общинной жизни. Въ сущности больше чъмъ кто-нибудь другой, онъ имъетъ на это право. Насколько возможно это ему, кровному русскому барину, онъ дъйствительно приблизился къ крестьянскому міру (преимущественно выразившемуся въ сектантствъ и расколъ) и оттого его окончательные итоги, его "мъдные барельефы

и бронзовыя фигуры" особенно цънны.

По Толстому смыслъ нашего земледъльчески-общиннаго міросозерцанія сводится къ тому, что не въ силъ Богъ, а въ правдъ, что внутренняя истинная свобода человъка не зависить отъ внъшнихъ формъ его жизни, что истинныя основы жизни — нравственныя, продиктованныя взаимной любовью, сознаніемъ братства и равенства между людьми, а не юридическія или правовыя, т. е. обезпеченныя договоромъ, что цъль жизни—въ осуществленіи общины первыхъ въковъ христіанства.

Это и есть какъ разъ то, что часто зовется русской ми-

¹⁾ Въ міросозерцаніе Толстого проникають, конечно, и раціоналистическіе элементы. Но не ими живо оно. Никакой раціонализмъ не можеть примириться съ философіей "Войны и Мира".

стикой и съ чемъ такъ долго, настойчиво и пока лишь съ малымъ успъхомъ боролся нашъ либерализмъ. Тутъ отрицаніе культуры и юридическихъ нормъ жизни, какъ чего-то вившияго, туть "не протився злу" и "Богь есть любовь".

Я говорилъ выше, что это земледъльческое міросозерцаніе въ различной переработкъ является центромъ нашего мышленія въ теченіе почти цълаго стольтія.

Оффиціальные люди выдълили изъ него одни рабскіе элементы и создали грандіозную систему оффиціальной народности эту истинную философію крыпостного права 1).

Славянофилы пытались представить его въ чистомъ видъ, ратовали за его освобождение отъ ферулы и опеки бюрократизма, но примъшали къ нему національную гордыню, панславизмъ и землевладъльческія, дворянскія стремленія ²).

Почвенники опошлили учение первыхъ славянофиловъ н подощли какъ только возможно близко къ системъ оффиціальной народности. Ихъ націонализмъ сталъ крикливъ и задоренъ. Отъ красивой утопіи панславизма они почти отказались ⁸).

Правое крыло народничества, къ которому въ сущности примыкаеть и Толстой, представило намъ общинно-земледъльческое мышленіе въ его наиболье чистомъ видь, осложненное однако мотивами покаянія 4).

Лъвое крыло народничества (критическое народничество), воспріявшее въ себя весь потокъ западничества, западническаго отрицанія, западнической идеи чести, личнаго достоинства, личнаго развитія и личной эмансипаціи, ушло очень далеко оть общинно-земледъльческаго мышленія, сближаясь съ нимъ лишь въ конечномъ идеалъ 5).

Все, однако, вертится возлъ того же центра. Все во имя его косится на идею права и компромисса. Оно-любовь и ненависть нашей литературы, а часто то и другое вмъстъ, странное смъщение ихъ, странная психологія "odi cum amo".

III.

Если задача славянофиловъ заключалась прежде и больше всего въ освобождени изъ-подъ гнета системы оффиціальной народности земледъльчески-общиннаго строя и земледъльчески-общиннаго мышленія (NB. Еще разъ: какъ они его понимали. И до сей поры это мышленіе X, и глубина

См. стр. 42 sqq. моей книги.
 Ibid., стр. 86—112.

³⁾ Ibid., crp. 266 sqq.

⁴⁾ Ibid., crp. 347 sqq., 418 sgq.

⁵⁾ Ibid., crp. 352 sqq.

его исполнена неожиданностей)—то задачей западническаго теченія русской мысли была борьба съ той же системой во имя освобожденія личности.

Понятіе *личности* мънялось въ каждую эпоху нашего литературнаго развитія, но, кажется, воть его главнъпшія типы:

- а) личность государственная, созданная реформой Петра;
- в) личность гуманиста, выработавшаяся подъ вліяніемъ просвътительной философіи;
 - с) личность въ пониманіи сантименталиста;
- d) личность въ пониманіи романтика. Въ этой послѣдней чувствуется уже что-то современное. Глубина недовольства, переходившая у сильныхъ натуръ въ негодованіе, очень характерна для нея;
- е) личность эстетика-гуманиста. Высшее ея выраженіе поэзія Пушкина и литература 40-ыхъ годовъ 1);
- f) личность протестующая, личность разночинца. Надо замътить, что всъ выше перечисленные типы личностей принадлежать нашей барской культуръ и созданы ея средой. Вмъстъ съ Полевымъ и Бълинскимъ выступаетъ на сцену разночинецъ. Въ 60-ые годы его роль первенствующая 2);
 - g) критическая личность ^в);
 - h) цълостная, гармонически развитая личность 4);
- і) личность опрощенная, воплотившая въ себъ земледъльческое міросозерцаніе въ пониманіи его Толстымъ 5);
 - к) личность мыслящаго пролетарія.

Литературная роль идеи освобожденія личности очень велика. Эта идея росла и ширилась, она двигала горами, она поглотила нашу обломовскую, земледѣльческую стихію, она снесла наше славянофильство и то славянофильское, что есть въ каждомъ изъ насъ русскихъ людей, гордо и властно воцарилась она въ нашемъ міросозерцаніи, потому что въ ней и только въ ней выказалась полнота нашего отрицанія—полнота нашей вѣры. Откуда она, откуда это ея все еще непонятная для многихъ власть и могущество? Отсылая читателя къ своей книгѣ, здѣсь я ограничусь лишь нѣсколькими замѣчаніями.

Идея гармонически - развитой, автократической личности есть лишь высшее, квалифицированное, такъ сказать, выраженіе идеи освобожденія личности, которая по всей справедливости можетъ быть названа основной идеей всей русской литературы за послѣднія сто лѣтъ. 70-ые годы—это завершеніе всего того умственнаго развитія, которое мы пережили въ обстановкъ дореформенной кръпостной Россіи.

 $^{^{1.5}}$) См. стр. 184 sqq. 197 sq. 340 sq. 374 sq. 455 sq. 531 sq. моей кинги.

Естественно, что и идея освобожденной личности достигла высшаго даже абсолютнаго выраженія какъ разъ въ эту

эпоху.

Сто лѣтъ тому назадъ, подъ вліяніемъ возмущеннаго русской дѣйствительностью чувства справедливости и великихъ идей освободительной философіи, чудная мечта выработалась въ самосознаніи русскаго человѣка. Эта мечта говорила ему о жизни согласно съ природой, о естественныхъ правахъ на свободу и счастье всякаго, въ какомъ бы положеніи онъ ни былъ рожденъ, о равенствѣ и братствѣ всѣхъ людей. И подъ ея вліяніемъ русскій человѣкъ—стихійно тяготѣющій къ природѣ и естественному—сталъ сознавать свою личность и это свое самосознаніе распространять на

окружающее.

Личность XVIII-го въка, личность, созданная реформой Петра Великаго, была государственной по преимуществу и, кажется, искренне государственной. Литература, т. е. выраженное въ словъ общественное и личное самосознаніе, одинаково была создана государствомъ и находилась у него въ услужени. Она оправдывала его приказанія, воспъвала его побъды, осмъивала его противниковъ, говорила ему безчисленныя льстивыя ръчи и, повидимому, не мечтала даже о своей собственной идев и о своей собственной физіономіи. Она (литература) изобръла свой особенный языкъ, научилась писать правильнымъ размъромъ, укращать свои тяжелыя неповоротливыя мысли риемами и лирическимъ безпорядкомъ, все съ тою же и тою же целью выхвалять силу и могущество государства, которое одно только заслуживало въ ея глазахъ похвалъ, восторговъ и пъснопъній. Вокругъ себя она не видъла ни природы, ни человъка, не интересовалась даже ими; ни лъсъ, ни горы, ни собственное сердце не говорили съ ней; ея думы, надежды и стремленія были въ огромномъ большинствъ случаевъ строго оффиціальныя, а зачастую чисто канцелярскія. Ломоносовъ-воть стихія генія, прилъпившаяся къ государству, и даже такое яркое дарованіе, какъ Державинъ, лишь въ самыхъ ръдкихъ случаяхъ ръшается говорить о себъ и своей самостоятельной внутренней жизни. Въ Державинъ геній едва смъетъ показать намъ свою личность, робко выглядывающую изъ-за громады государства.

Какъ отдълилась личность отъ государства? Какъ постигла она, что у нея есть своя собственная жизнь, которой очень и очень мало дъла до взятія Очакова и Измаила, что она можеть жить сама собой и для себя? Какъ встала она наконецъ въ противоръчіе съ государствомъ? Это величайшій вопросъ исторіи русской цивилизаціи, но для исторіи литературы собственно важно отмътить лишь тотъ фактъ, что

Gera uporevamanora investi caroccasas de funo du mos-

R.O ZDielayiu.

тель петеретви петвые шаги, первый пепеть проснувмейся печето мимил. И дукам, что ми и жемъ ведъть его въ знаменятой, вре еще не бълсних нах дящейся поль спутома, кентъ Радишева "Путешестве изъ Петербурга въ Москвут... Радишевъ этисяваетъ пр изъ стъ помъщиковъ, ужасное положене врепостникъ врестъявъ и говорить, что страданіями человъческими душа его узовлена стала. Онь совътуеть во имя нуманности и дичето выгоди приступать къ освобожденію крестьянъ. Несомньне очто онь имъеть въ веду и (паго госупарства, интересы его богатства и развитія, но не это на первомъ планъ. На первомъ планъ— жапость, жалъніе, гуманность, его собственное пониманіе, что бъдствія человъка происходять оть человъка же, его личное возмущеніе рабствомъ.

Лаже нашъ скроиний сантиментализиъ выясняеть намъ ниговкия подробности велякаго факта— за завиня личности оть государства. Только съ этой точки зрвия можеть онъ заннтересовать историка литературы. Сантиментализмъжизнь сердца и даже чувствительнаго сердца - такого значить, которое печалится и радуется прежде всего при столкивенін съ судьбою отдільнаго человіка, отдільной личности. Онь плачеть о страдавіяхь бъдвой Лизи, негодуеть на пошлость Эраста и такъ занять человъкомъ, отчасти и природой, что, очевидно, мысль его значительно освободилась оть обаянія грома побъдъ. Робко, отвлеченно, но несомнънно въ то же время призналъ онъ жизнь человъческую, даже самую незамътную, достойной художественнаго созерцанія. Конечно, въ немъ были и другія стороны, но для меня важно лишь это воть признаніе, что рядомъ съ государствомъ, рядомъ съ этой огромной организованной силой сушествують и люди, чьи печали и радости способны поглотить все наше вниманіе.

Въ Жуковскомъ сразу три человъка—и сантименталистъ, и романтикъ, и государственникъ. Но послъдній—самый слабый, самый незначительный. Оффиціальныя чувства и оффиціальное вдохновеніе почти не даются пъвцу Леноры и Свътланы. Съ наибольшимъ наслажденіемъ слъдить онъ за призраками собственной фантазіи, скачеть по воздуху при лунь, разговариваеть съ мертвецами, предается грустнымъ размышленіямъ на кладбищь. Личдое настроеніе Жуковскаго, совершенно независимое отъ событій государственной жизни, такъ властно говорить въ немъ, что онъ весь отдается ему и слышить только его голосъ. Онъ поэть своего я и только "ят. Его меланхолія, его грусть съ государственной точки зрфнія не только необъяснимы, но и незаконны. Государстве съ полнымъ основаніемъ (и такіе примъры дъй-

ствительно бывали) могло бы сказать ему: "о чемъ грустить теперь, когда побъжденъ Наполеонъ, освобождены Россія и Европа, заключенъ священный союзъ и т. д. Какъ можетъ русскій гражданинъ грустить въ такое время?" И въ этомъ упрекъ, въ этомъ недовольствъ государства не было бы ничего неожиданнаго: не потому ли самому прежде и больше всего была недовольна Екатерина Великая книгой Радищева? Но съ прямыми интересами и общимъ направленіемъ государственной жизни Жуковскій не сталкивался: онъ просто сторонился отъ нихъ въ своей поэзіи, какъ отъ чего-то для него—художника, посторонняго и ненужнаго. Тягости государства онъ не чувствовалъ.

Но уже очень почувствоваль ее Пушкинъ. Помните ли вы взрывъ его благороднаго и чуткаго негодованія когда онъ увидълъ часовыхъ возлъ картины, изображавшей

Распятіе:

Къ чему, скажите мнъ, хранительная стража! Или распятіе—казенная поклажа? Или боитесь вы воровъ или мышей? Иль мните важности придать Царю царей? Иль покровительствомъ спасаете могучимъ... Владыку, терніемъ вънчаннаго колючимъ... Того, чья казнь весь родъ Адамовъ искупила? И чтобъ не потъснить гуляющихъ господъ Пускать не велъно сюда простой народъ.

Это не мелочь. Такія строки, какъ "иль мните важности придать Царю царей" "иль покровительствомъ спасаете могучимъ Владыку?" исполнены язвительнъйшей ироніи по адресу тупого самодовольства 1)... Вспомните затьмъ о его отношеніяхъ къ Бенкендорфу и Дуббельту, о его цепзурныхъ и иныхъ непріятностяхъ, а больше всего, конечно, о глубоко-человъческомъ характеръ всей его поэзін. Ничто человъческое не было чуждо ей и прежде всего иитимно-человъческое, ни въ какомъ случав не государственное. Но нечего и говорить, что возлъ этого интимночеловъческаго стояли двое часовыхъ. Положительно слъдуетъ на приведенное стихотвореніе взглянуть какъ на символъ всей поэтической дъятельности Пушкина. За что гнали его, за что преслъдовали? Прямое свое несогласіе съ ходомъ оффиціальной, государственной жизни онъ заявлялъ ръдко и ръдко же протестовалъ противъ самыхъ даже вопіющихъ фактовъ дъйствительности. Онъ чувствовалъ ихъ безобразія, какъ, напр., ясно и ярко чувствовалъ безобразіе кръпостного права, но натура художественная и эстетическая прежде всего онъ наибольшее свое внимание сосредоточивалъ на

¹⁾ Ср. Д. С. Мережковскій "Толстой и Достоевскій", стр. 147.

другомъ. Лишь въ самомъ скромномъ смыслѣ и на основания лишь случайныхъ строкъ можно назвать его поэтомъгражданиномъ. Но самый его умъ живой и свободный, самый его характеръ, вся его личность находились въ прямомъ противоръчіи съ оффиціальной государственной жизнью. Тамъ были свои интересы, воплощавшіеся въ дъятельности сначала Аракчеевыхъ и Магницкихъ, потомъ Бенкендорфовъ и Дуббельтовъ, у него — свои и, конечно, другія, и прежде всего "служеніе красотъ", претворенія жизни въ художественные образы, и эти его интересы совершенно не мирились съ практикой и стремленіемъ оффиціальной жизни. Свобода мысли и слова, свобода духа вообще—были его стихіей.

И дальше все то же, но больше, шире, съ большимъ раздраженіемъ и негодованіемъ, съ большимъ сознаніемъ отвътственности передъ закабаленной массой и идеей свободнаго человъка. Потому что въ этой идеъ самое главное, самое дорогое и драгоцънное, всякая возможность развитія, все стремленіе въ область безконечнаго совершенствованія, въчно влекущую къ себъ человъка, пока она человъкъ. Этому процессу посвящена моя книга. Поэтому пока я позволю себъ остановиться.

Но уже изъ того, что сказано здѣсь въ предисловіи, мнѣ кажется, съ очевидностью выступаетъ тотъ факть, что отдѣленіе личности отъ оффиціальныхъ интересовъ было началомъ ея духовнаго освобожденія.

Это теоретическое освобожденіе, говорю я, въ концъ концовъ и стало главнымъ русломъ русской литературы. Совершалось же оно, разумъется, въ условіяхъ и среди идей, выработанныхъ и созданныхъ земледъльческимъ строемъ.

Выше я упоминалъ и о борьот за эмансипацію этого послъдняго. Какъ относится она къ борьот за освобожденіе личности? Прямого непосредственнаго отношенія здъсь нъть, но есть серьезное косвенное. Дъло въ томъ, что первые славянофилы, защищая эмансипацію общинно-земледъльческаго строя и общинно-земледъльческаго мышленія, тъмъ самымъ служили и "идет личности, котя въ принципъ они и отрицали ее. Но, преслъдуя свою задачу, они проповъдовали и свободу мысли, и свободу слова, и въротерпимость. Мышленіе ихъ было столько же земледъльческое, сколько и землевладъльческое, но въ то же время и противное бюрократизму. И эта проповъдь свободы слова и втротерпимости несомнънно вошла въ главное литературное руслоборьбу за освобожденіе личности.

Мнъ думается, что все это вмъстъ взятое даетъ мнъ право сказать, что у нашей литературы была своя воля, своя идея, стремленіе, которыя ставили ее въ противоръчіе съ окружающей дъйствительностью. Не значить непремънно, что воля, идея, стремленіе были всегда и непремънно созна-

тельны и выражались всегда въ ясныхъ и опредъленныхъ терминахъ: художественные образы, стихійно создаваемые литературой, говорили, конечно, больше формулъ и программъ. Но и стихійно, и сознательно, одинаково, наша литература имъла свою любовь и свою ненависть. Это была любовь къ человъку, это была ненависть къ рабству. Къ человъку---въ какомъ бы униженномъ и забитомъ положеніи ни находился онъ, и къ рабству-какая бы сила жизни не проявлялась въ немъ, какія бы слова не приводило оно въ свое оправданіе. Воля литературы не имъла ничего общаго съ волей оффиціальной жизни. Ея стремленіемъ было освободить жизнь и человъка. И она добивалась этой цъли своей проповъдью гуманности, своимъ призывомъ къстыду и совъсти всъхъ привилегированныхъ, своимъ негодованіемъ при видъ обидъ и униженія человіка, своимъ протестомъ противъ нихъ.

Теперь уже я могу поставить одинъ вопросъ:

Какова формула главнаго русла русской литературы? Люди оспаривають не только формулу, данную мною, но и самую возможность ея. Они ссылаются при этомъ на свободу творчества. Мнъ кажется, что свобода творчества туть не при чемъ. Богатая русская жизнь XIX в. легко, однако, укладывается въ формулу эмансипаціи личности и перехода отъ потребительно-земледъльческаго хозяйства къ капиталистическому. Богатая литературная жизнь Россіи за тоть же въкъ одинаково имъетъ формулу.

Борьба съ кръпостнымъ правомъ и его переживаніями во имя освобожденія общинно-земледъльческаго строя народной жизни и общинно-земледъльческаго мышленія, какъ дъятельное начало славянофильскаго теченія— борьба съ тъми же устоями во имя эмансипаціи личности и ея развитія, какъ дъятельное начало теченія западническаго,—таковъ смыслъ исторіи нашей литературы въ ея главномъ руслъ, такова формула нашего литературнаго развитія за XIX въкъ.

Я думаю дальше, что эта формула должна быть изложена въ процессъ ея діалектическаго развитія, котя пока далеко не всъ звенья этого діалектическаго процесса могуть быть ясно и опредъленно формулированы. Попытку такого изложенія и формулы его я даю на послъднихъ страницахъ книги.



Составляя свою книгу, я пользовался многими источниками, общими курсами исторіи литературы, монографіями и журнальными статьями. Большая ихъ часть названа мною въ тексть. Здъсь я укажу лишь тъ пособія, зависимость отъ которыхъ я особенно часто чувствовалъ и къ которымъ я особенно часто обращался за руководствомъ. Это: 1) "Исторія русской литературы" А. Н. Пыпина; 2) "Бълинскій, его жизнь и переписка", его же; 3) "Общественное развитіе при Александръ І", его же; 4) Характеристика литературныхъ мнѣній, его-же; 5) М, А. Протопоповъ "Титературно-критическія характеристики"; 6) Сочиненія Н. К. Михайловскаго; 7) "Литературныя воспоминанія и современная смута", его же; 8) А. И. Герцевъ. Сочиненія; 9) "Жизнь и труды Погодина" Н. Барсукова І—ХV; 10) Сочиненія Н. В. Шелгунова. Затъмъ для своей книги я использовалъ собственныя статьи, монографіи, замътки, напечаганныя: а) въ біографической библіотекъ Ф. Павленкова; b) въ журналахъ "Жизнь" и "Русское Богатство"; с) въ газетъ "Русская Жизнь" и т. д.

Здѣсь же въ предисловіи я прошу исправить опечатки и погрѣшности, часть которыхъ была указана мнѣ критикой, за что приношу ей искреннюю благодарность:

Стран.	Cmp.	Напечатано:	Читай:
4	15 св.	Послъ словъ "возмущает	ся имъ" пропущено: "и при-
		зываеть самихъ помъщи	ковъ приступить къ освобо-
		жденію".	
7	3 св.	25 декабря	14 декабря 1825 г.
IV		чутко	"честно"
11	7 сн.	умъ	сонъ
	6 сн.	пылкое	слабое
5 6s q		Куколькинъ	Кукольникъ
68	18 св.	внодакА и адакА	Абадонна .
78		Муросовъ	Муразовъ
79		Я рано началъ "З	I раньше началъ, кончу ранъ"
91	Отъ слов	ъ "Аксаковъ остался" до	"чистъ сердцемъ"-продол-
женіе предыдущей цитаты.			
122	Отъ "кто	не помнитъ" до "такъ д	оносомъ"слова Герцена.
131	6 св.	для	изъ
186	Афзацъ о	отъ "слабъ человъкъ" до	"точности", продолжение вы-
	шенапечатанной цитаты.		
196		Страшно	Страстно
207	14 сн.	синтезъ	жизненный синтезъ
296			
	фразами" приведены изъ статьи Н. Благовъщенскаго.		
300		сознанія	состоянія
300sq	300sq Цитаты приведены по некрологамъ А. К. IIIеллера.		
315	315 6-9 снслова С. А. Андреевскаго изъ его чтенія о Некрасовъ.		
321		хулимыхъ	твалимыхъ
326		но безъ слъда	но безъ яркаго слъда
328	6 св.	ок-стомоп	помогъ-бы
_	16 св.	скромные	скромнъе
349-350 Цитировано по статьт Н. К. Михайловскаго.			

ЛИТЕРАТУРА КРВПОСТНОЙ РОССІИ.

Тезисъ русской литературы.

Когда Константинополь быль взять турками, книжники (а также и фарисеи) московскаго государства объявили Москву третьимъ Римомъ, а государя московскаго наследникомъ и преемникомъ всехъ правъ византійскихъ императоровъ. Говорилось это не для красоты слога, а выражало истинную сущность московского правительственного настроенія, его огромную гордыню, его самоувъренность, дошедшую, въ упоеніп отъ внутреннихъ удачь и одолівній, до крайней степени хвальства. Чемъ дальше, темъ больше, и никакія обды, постигавшія Русь, не вывели московскихъ кнежниковъ и фарисеевъ изъ ихъ пріятнташаго душевнаго состоянія. Оно оставалось нерушимымъ, несмотря на побъды Ваторія, перенесло смутное время и разгромъ Руси и достигло высшей точки своей при Алексфе Михайловиче. Это было естественное и исторически неизбъжное состояніе ума дътскаго и довърчиваго, чувства грубаго и напыщеннаго. Оно одинаково изврстно зулусамъ и французамъ (XVI—XVII в.), кафрамъ и нъмцамъ, китайцамъ и русскимъ, древнимъ перувіанцамъ н англичанамъ, вообще всемъ молодымъ народамъ при любой форме правленія. По мижнію славянофиловь, оно свидътельствуєть лишь о невинности души и отсутствіи въ ней греховныхъ помысловъ. Быть можеть, но неть народа, который въ ту или другую эпоху своей жизни не называлъ бы себя христіаннъйшимъ, лучшимъ и не считаль бы культуру свою первой, какъ бы оправдывая этимъ свой пренебрежительный и даже исполненный презрѣнія взглядъ на другихъ народовъ, какъ низшихъ передъ Богомъ. Символомъ такого самодовольства можеть служить великая китайская стіна, а единственно возможной при немъ полнтикой является поддержание строжайшаго порядка во имя строя, объявленнаго нерушимости наилучшимъ. Но постепенно внъшнія политическія обстоятельства Россів до того осложнились, что въ эпоху Петра волей-неволей пришлось пробить брешь въ великой китайской стіні, сказать русскимъ, что они неучи, что у европейцевъ почти все лучше и умете устроено, чтих у нихъ. Русскіе люди покорно выслушали обидныя слова, но нисколько имъ не повърили, продолжали думать свою прежнюю горделивую думу и были безконечно рады, когда Екатерина Великая отчасти своими побъдами, отчасти манифестами и громадными проектами не напомнила пиъ старой московской формулы, что Русь--это третій Римъ. Въкъ Екатерины --- блестящій и утопическій, поражаеть грандіозностью своихъ замысловъ, широкимъ размахомъ своихъ мечтаній. Исполненіе было часто посредственное, часто мизернъйшее (напр., внутреннія преобразованія) во все равно: оглушенныя громомъ победъ, слыша о такомъ проекте, какъ пзгнаніе турокъ изъ Европы и возстановленіе византійской имперіи съ новымъ, русскимъ Константиномъ Порфиророднымъ во главъ-пли о ребяческихъ соображеніяхъ Бецкаго, какъ созданіе новой породы людей, русскіе люди окончательно утвердились въ мысли, что времена Бирона или гольштинцевъ, когда ихъ, наследниковъ третьяго Рима, держали въ передней (гль. впрочемъ, они усердный с холопствовали) нымецкаго дома средней руки-не болъе какъ кошмаръ. Конечно, поражение Наполеона, взятие Парижа и пр. должно было окончательно вскружить голову, и возстановленіе византійской имперін казалось уже нестоющимъ вниманія: речь шла о большемъ--о міровой роли, о водвореній царства Божія здісь на землів подъ главенствомъ Россін. Какъ возстановлялось на землю царство Божіе при помощи Меттерниха и Аракчеева, Магницкаго, Рунича и Фотія-достаточно извъстно и распространяться объ этомъ излишне, но никто не скажеть, что такая мечта страдала избытками скромности.

Самодовольство какъ у отдёльнаго чемовіка, такъ одинаково и цілаго народа говорить не о его "умонаклоненій къ добру", а просто объ отсутствій какого бы то ни было ума и способности сравнивать себя съ кімъ и чімъ бы то ни было. Но какъ ни широко было оно развито по всему русскому обществу (кріпостная Русь—не въ счеть), какъ ни могущественна была оказываемая ему оффиціальная поддержка—оно не обошлось безъ ніжотораго, хотя бы робкаго протеста. Все равно какъ ніжогда протестоваль Максимъ Грекъ, посліт него Котошихинъ, такъ теперь стала протестовать литература, уже зародившаяся, въ лиці сатирическихъ журналовъ, пьесъ фонъ-Визина и, наконецъ, знаменитой книги Радищева о его путешествій изъ Петербурга въ Москву.

Такимъ образомъ русская литература ири самомъ вступленіи своемъ въ XIX-й въкъ имъла уже передъ собой нъкоторый тезисъ, различное отно-

шеніе къ которому и создало ея главивниія направленія. Тезись этоть прекрасно формулировали книжники XIX въка, называя Москву-третьимъ Римомъ и высказывая отъ лица этого третьяго Рима претензін даже на всемірное владычество. Страстная полемика Екатерины ІІ противъ всего того, что она называла элобными клеветами иностранцевъ (напр. "Антидоть" или "Противоядіе") очевидно служила тому же тезису. Наивно выразилъ его Шишковъ, сказавъ, что реформы и преобразованія нужны несчастнымъ народамъ запада, погрязшимъ въ разврать и революціяхъ, но не намъ, русскимъ людямъ, которыхъ Богъ милуетъ отъ внугреннихъ потрясеній и чьему оружію онъ даруеть поб'єду и славу. Въ сухой бюрократической формы, но тымы болые неуступчивой и непримиримой, тезисы этоты быль формулировань министромь народнаго просвъщенія графомь Уваровымъ уже при императоръ Николав І-мъ. Эта формулировка извъстна подъ ниенемъ оффиціальной народности, и ниже намъ придется познавомиться съ ней очень подробно. Пока же достаточно замътить, что основой исконнаго русскаго быта, залогомъ величія Россім и ея самобытности, панацеей встать золь, могущихъ грозить ей въ будущемъ, было признано кртпостное право. По мивнію Уварова, все, затрагивающее его такъ или иначе, есть уже бунть и возмущение-безразлично будеть ли это расколь или проповедь крестьянской свободы. Такимъ образомъ тезисъ можно формулировать просто: мы, русскіе люди пользуемся совершенным гражданскимъ устройствомъ и ни въ критикъ, ни въ реформахъ не нуждаемся.

Имън передъ собой такой тезисъ, какъ завъщанный намъ глубокой старпной и самодовольно отвергавшій какія бы то ни было поправки, литература могла 1) или развивать и совершенствовать его или же 2) пользуясь возможностью критики, отнестись въ большей или меньшей степени скептически къ всепроникавшему кръпостиому праву.

Въ лиц'в лучшихъ своихъ представителей она избрала второй путь, въ чемъ и заключается ея жизненная идея въ теченіи первой половины XIX въка. Почему желая дать читателю проспектъ скептическаго движенія, я начинаю съ Радищева.

Радищевъ и скептическое движеніе въ Россіи.

Радищевъ (1749—1802). Хотя книга Радищева (Путешествие изъ Петербурга въ Москву) не сыграла и не могла сыграть непосредственно роли въ исторіи нашего умственнаго развитія, потому что публика не знала

н еще до сихъ поръ (т. е. черезъ 100 летъ после смерти автора и 110 по выходъ книги) не знасть ся, но все же она характерна, какъ показатель настроенія, а ея авторь — человінь замінательный, чтобы не сказать исключетельный. Онъ, конечно, баринъ и баринъ состоятельный, серьезно и основательно учившійся за границей межлу прочить у знаменитаго въ свое время Платнера, последователя Лейбница. Я полчеркнуль слово серьезно, такъ какъ въ нашей исторіи литературы (гг. Галаховъ, Порфирьевъ, Тихонравовъ) утвердилось почему-то мижніе, что Радищевъ быль легкомысленный человікь, нахватавшійся бойкихь мыслей у французскихъ философовъ, преимущественно у Гельвеція. Странное мивніе, а еще болве странень его источникъ-т. е. статья о Радишевъ Пушкина. Пора бы съ этимъ источникомъ распроститься и признать справедливость словь Герцена о немъ. Воть эти слова: "статья не дълающая особенной чести поэту. Онъ или перехитриль ее изъ цензурныхъ видовъ, нли въ самомъ деле такъ думалъ- и тогда лучше было бы не печатать". Не только большая философская начитанность Радищева, но и умънье философски размышлять превосходно доказываются большимъ трактатомъ о "безсмертін". Но меня интересуеть теперь его "Путешествіе". Написана эта книга въ модномъ тогда тонъ. Это наблюденія, случайныя замътки, философскія иысли, пришедшія въ голову по поводу видінняго и слышанняго, воспоминанія изъ личной жизни и проч. Ничего особеннаго, или різкаго, хотя вы видите передъ собой человека вдумчиваго и "чувствительнаго", любящаго размышлять и предаваться созерцанію. Знаменитостью своей эта книга обязана лишь темъ местамъ, где авторъ говорить о крепостномъ правъ. Онъ описываетъ произволъ помъщиковъ, ственную свадьбу и проч., и удивляется, какъ такіе нравы могуть существовать въ мудромъ столетін. Нигде не выражаеть онъ требованія уничтожить это гнусное состояніе, а только возмущается имъ. Но и это действительно страшно много для того времени. И откуда такое искреннее негодованіе? Говорять, изъ французскихъ книжекъ-главное изъ Руссо. Однако, кто въ концъ прошлаго въка не читалъ Руссо, не увлекался имъ, не возводнять въ кумиры. И все же вст оставались спокойными рабовладъльцами и, отложивъ въ сторону "Discour sur l'inegalité", шли на конюшню или въ Армидинъ садъ или вообще творили безчинства. И своимъ-то негодованіемъ, своимъ возмущеніемъ Радищевъ безконечно выше этихъ нашихъ Мирабо. Дальше, когда онъ развышляеть о томъ, можеть ли достичь благосостоянія и истиннаго величія рабская страна, вы слышите въ немъ настоящаго уминцу. Но, повторяю -- ничего ръзкаго. Книга благополучно прошла черезъ цензуру; Радищевъ разослаль уже ее друзьямъ,--но кто-то, должно быть, въ нехорошую минуту подсунулъ ее императрицъ.

Дальнъйшее извъстно. Радищева послъ кръпости отправили въ ссылку, затъмъ вернули уже при Павлъ. При Александръ I одному изъ генералъгубернаторовъ вздумалось пригрозить ему ссылкой. Измученные нервы не выдержали, и, вернувшись домой, Радищевъ отравился азотной кислотой.

Если иы поймемъ, чюмъ было кръпостное право для Россіи того времени, мы увидемъ, вакъ серьезна скептическая мысль Радищева, и поэтому мы его смъло можемъ назвать отцомъ русскаго общественнаго или, что то же относящагося къ общественному устройству скептицизма. И это я утверждаю безъ колебанія, зная въ то же время, что книга Радищева прошла совершенно безследно, что ее никто почти не читаль, а после смешной статьи Пушкина прямо махнули на нее рукой-дребедень-де и мальчишество. Отивнаю еще одну характерную черту "Путешествія"-ту именю, что главный мотивъ Радищева въ отношении къ кръпостному праву---это чувство жалости къ мужику, къ бедному закабаленному народу, испуганно выглядывающему изъ подслеповатыхъ избъ "на каждаго проезжающаго". До голоса совъсти, до раскаянія въ гръхахъ своихъ, до сознанія своей отвътственности передъ народомъ, до мысли, что ученикъ Запада долженъ придти на помощь этому напуганному мужику и закабаленному народу-еще очень далеко, но есть уже почва, на которой все это выростеть. Это та почва, которой не зналь Западъ въ своихъ сословныхъ отношеніяхъ-почва жалости. Самъ Радищевъ говорить объ этомъ въ Предисловін къ "Путешествію":

"Я взглянуль окресть меня, душа моя страданіями человическими уязвлена стала, обратиль взоры во внутренность мою и узръль, что бъдствія человька происходять от человька, и часто от того только. что онъ взираетъ не прямо на окружающіе его предметы. Ужели, въщалъ я самъ себъ, природа толика скупа была къ своимъ чадамъ, что отъ блудящаго невинно скрыла истину навъки? Ужели сія грозная мачиха произвела насъ для того, чтобъ чувствовали мы бъдствія, а блаженства виколи? Разумъ мой вострепеталъ отъ сей мысли, и сердце мое далеко ее отъ себя оттолкнуло. Я человъку нашелъ утвшителя, въ немъ самомъ: "отъими завъсу отъ очей природнаго чувствованія, и блаженъ будеши". Сей гласъ природы раздавался въ сложении моемъ. Воспрянулъ я отъ унынія моего, въ которое повергли меня чувствительность и состраданіе, я ощутиль въ себъ довольно силь, чтобы противиться заблужденію и-веселіе неизреченное, я почувствоваль, что возможно всякому быть соучастникомъ въ благоденствіи себъ подобныхъ. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь".

И эти слова върно передають настроеніе, диктовавшее его книгу.

Скептическое движеніе въ русской литературь. Сділаю теперь небольшой предварительный очеркъ скептическаго движенія въ нашей ли-

тературъ, такъ какъ оно-то въ сущности наполняетъ собой всю первую половину XIX въка.

Скептициямъ въ литературъ XIX въка начинается съ Радищева. Могутъ сказать, что это наносное, не русское, могутъ конечно всъ тъ, кому еще не надобло повторять славянофильскія начатки и хомяковскія катилинарін противъ "выводовъ свиръпой имманенцін". Обращаюсь поэтому къ помощи авторитета и дълаю справку у основательнъйшаго и лучшаго историка нашей литературы, г. Пыпина.

"Скептицизмъ,--пишетъ онъ въ своихъ "Характеристикахъ литературныхъ мнъній", -- тъсно связанъ съ прошедшей умственной исторіей нашего общества". "Онъ кажется въ Чаалаевъ неожиланнымъ на первый взглялъ: онъ выражается съ такою силою, такъ много захватываетъ, что мы съ удивленіемъ встръчаемъ его среди литературной рутины. Его появленіе будеть однако понятно, если мы сопоставимь его съ тъми критическими запросами и сомнаніями, которые давно высказывались въ русской литературъ и жизни, съ первой русской литературы до Новикова, Радищева, до либерализма двадцатыхъ годовъ, до Пушкина и Грибоъдова. Въ этомъ рядъ различныхъ ступеней общественной мысли мы въ состояніи будемъ проследить постоянно возростающій уровень идеальныхъ требованій, и если вспомнимъ при этомъ, что литература всегда далеко не вполнъ высказывала накопившееся недовольство, что истинная мысль лучшихъ дюдей развилась вполнъ про себя, и что нужно принять въ соображение эту скрытую, но тъмъ не менье дъйствительную работу мысли, мы найдемъ объяснение для этой неожиданной степени скептицизма. У Чавдаева эта затаенная мысль высказалась такъ полно потому, что, предполагая писать только для ближайшихъ друзей, онъ могъ обойтись безъ умолчаній и безъ лицемфрія. Мы будемъ обманывать себя, если станемъ считать вырывающіяся изръдка подобныя проявленія одной произвольной необузданностью писателя, потерявшаго дорогу, — если будемъ скрывать отъ себя эти симптомы внутренняго процесса, который происходить вы сознаніи общества, и который можеть служить указателемь развития. Мы убъдимся въ органической законности явленія, если обратимъ вниманіе на то, что это явленіе имфетъ какъ свои анцетеденты, такъ и свои послъдствія".

Нисколько не удивительно, что скептическое настроение молчало до 20-хъ годовъ прошлаго въка. Еслп оно и было при Павлъ, то проявиться все равно не могло. "Цензура, какъ черный медвъдь, стоитъ посреди дороги и отнимаетъ всякую охоту браться за перо", —писалъ по этому поводу Карамзинъ, который, какъ извъстно, самъ, если и страдалъ наклонностями къ скептицизму, то въ другую сторону.—Затъмъ мы занялись войной съ Наполеономъ, сначала правительственной, потомъ народной, и эта война отвлекала всъ наши силы, сосредоточивала всъ помышленія. Изгнаніе Наполеона было тріумфомъ почти неожиданнымъ, даже невъроятнымъ и дало такую пищу любви къ отечеству и народной гордости, что скептики

показались бы прямо чудовищами. Однако уже съ начала 20-хъ годовъ тамъ и здъсь, препмущественно въ аристократін, началось броженіе, которое закончилось бунтомъ на площади. 25-го декабря. Причинъ этого движенія много, и здісь не місто ихъ перечислять. Достаточно, если мы скажемъ, что тутъ повинны, между прочямъ, несбывшіяся надежды на преобразованія, возбужденныя восшествіемъ на престоль юнаго ниператора Александра I-го-надежды, такъ долго поддерживаемыя имъ самимъ. Любопытно, что самъ Александръ считалъ эту причину нанважнъйшей. По крайней мъръ, когда въ 1824 году будущій "великій" Бенкендорфъ, тогда простой флигель-адъютантъ, подалъ ему докладную записку, гдф не только всф замыслы булущихъ декабристовъ, но и всф пиена ихъ обозначены полностью, а приближенные стали требовать м'тропріятій, государь сказаль: "какъ могу я пресл'едовать uxъ, если я самъ такъ долго поощрялъ подобное настроеніе" (Шильдеръ, IV). Повинно далъе и то, что "молодые люди, побывавшіе за границей и познакомившіеся съ тамошении порядками, возмечтали ввести ихъ въ Россіи". Такъ говорять наши учебники. Повинна тяжелая рука проходиица Аракчеева и мракобъсіе Магницкихъ и Руничей, бъснованіе Фотія. Повиню общее романтическое ваправленіе европейской литературы, такъ какъ-любопытная черта-декабристы-литераторы (Рыльевь, Кюхельбекерь, Бестужевь-Марлинскій) были романтиками чистой крови. Повинно и то, что въ последніе годы царствованія Александра I действительно нечемъ было дышать, и, по словамъ одного современника, все ходили такими же понурыми, "унылыми и испуганными, какъ при блаженной памяти императоръ Павлъ Петровичъ". Декабристы, какъ миъ кажется, продолжали радищевскую траднцію, но его "чувствительности" придали политическую окраску, которой самъ Радищевъ быль совершенно чуждъ. Ихъ мечтанія сосредоточивались возлів перемізнь государственнаго строя Россіп но на соціальную сторону дъла, т. е. кръпостное право, они обращали слишкомъ мало вниманія, въ чемъ ихъ много упрекаль "одинъ изъ своихъ", Н. Тургеневъ. Заглянемъ еще далее, чтобы не растеряться въ пестроте картины.

Тридцатымъ годамъ присвоено и установлено за ними прозвище, — годовъ идеализма. Терминъ идеалиста "тридцатыхъ годовъ" такъ сжился
съ нашей литературой, что всякій мало-мальски знакомый съ нею связываеть съ нимъ не только определенныя представленія, но и цёлый рядъ
знакомыхъ образовъ, Станкевича, Белинскаго, Герцена, Огарева и т. д.
Что всё они были идеалистами—въ этомъ, разумется, сомитьваться невозможно, но одинаково несомитьно, что, прежде чемъ стать идеалистами,

они пережили бурно или тихо скоро или медленно серьезный скептическій процессь мысли. Даже Станкевичъ не избъжаль его, котя казалось бы, что его иягкая любвеобильная и поэтическая натура меньше всего могла нскать близости къ демону отрицанія. Если вы возьмете тотъ "духъ", который онъ привиль своему кружку, --- вы увидите, что тамъ "восторги передъ поэвіей и красотой" далеко не исчерпывались одними словами, да это было бы слишкомъ печальнымъ явленіемъ въ жизни только что зародившейся русской интеллигенціи. Нізть, этоть восторгь, это пониманіе, эта любовь отражались прежде всего, какъ требование суроваго правственнаго долга, преображались въ действительный подвигь собственнаго очищенія, пітомудрія, духовной возвышенности. Напо быть самому прекраснымъ п чистымъ, чтобы понимание красоты не исчезло въ душт, а, напротивъ того, ширилось и росло въ ней. И друзья невольно выработали для взаниныхъ своихъ отношеній строгій, неиного даже монастырскій уставъ. Здёсь на первомъ плане стояли безусловная искренность, откровенность и отрицаніе всего условнаго. Вообще же, что духъ отрицанія быль далеко не чуждъ кружку, видно хотя бы изъ факта его восторженнаго преклоненія передъ Гоголемъ. Но, если бы даже не было этого, остается очевиднымъ, что Станкевичъ, выдвигая на первый планъ высокія нравственно-эстетическія требованія, становился въ полное противоръчіе съ традиціонной жизнью барской русской среды-той ся стороной, по крайней мірів, которую Лермонтовь такъ геніально охарактеризоваль словами:

> Н предковъ скучны намъ роскошныя забавы, Ихъ добросовъстный ребяческій развратъ...

Источникъ идеализма несомитино кроется столько же въ темпераментъ Станкевича и усвоеніи философіи Шеллинга, сколько и въ отрицаніи встат прежнихъ нравственныхъ устоевъ жизни. На самомъ дѣлѣ, передъ нами безусловно скептическое исповъданіе въры, смыслъ которой сводится къ тому, что въ окружающей общественной жизни нѣтъ ни одной стороны, къ которой стоило бы и можно бы "прилъпиться сердцемъ своимъ", не запачкавъ себя нравственно. Но о томъ же самомъ говорилъ и Чаздаевъ.

Не надо также забывать, что первымъ литературнымъ трудомъ Вълинскаго (кромъ несохранившихся стихотвореній) была его трагедія. Правда, по мнѣнію многихъ, объ этой трагедін не стоитъ даже говорить, но почему не стоитъ? Конечно, она явленіе подражательное, въ ней слишкомъ много раздирательныхъ и жестокихъ сценъ и т. д.;— но, честное слово, она не только не хуже, а пожалуй, и лучше массы драматическихъ произведеній того времени. Если дъйствующія лица говорять слишкомъ много,

если они не могуть безъ монолога страниць въ 15 не только убить себя но даже выпить чашку чаю—то въдь это ошибка всей романтической школы. Идейная же подкладка пьесы, вдожновленной ненавистью къ крипостичеству, не оставляеть желать ничего лучшаго. Это именно отрицаніе крыпостинчества, затымь всякой ферулы, всякаго стысненія личной свободы, все равно, какъ и обыденной пошлой морали—это и было тымь здоровымъ зерномъ, откуда, хотя и томительно медленно, развился геній Былинскаго.

О Герцен'в нечего и говорить. Самымъ фактомъ своего рожденія *) (кромѣ, разумѣется, общихъ причинъ), онъ необходимо становился въ противорѣчіе съ окружавшей обстановкой. Онъ гордо носилъ случайно данное ему имя, но эта гордость не могла не оттолкнуть его отъ кружка стараго барства, къ которому принадлежалъ его отецъ, а его пылкая, съ головы до пятокъ интеллигентная натура толкала его въ другую обстановку, въ кругъ такихъ отщепенцевъ, какъ Чаадаевъ, или, послѣ, такихъ борцовъ и прирожденныхъ протестантовъ, какъ Бѣлинскій.

Но самымъ важнымъ какъ для характеристики, такъ и для пониманія тридцатыхъ годовъ остается то, что они создали и воспитали поэзію Лермонтова. В'ёлинскій былъ безусловно правъ, называя поэзію Пушкина "завершеніемъ" всего прежняго періода русской литературы—на девять десятыхъ стихійной и безсознательной. Дальше, по пушкинской дорог'є, идти было невуда: оставалось или переп'явать его мотивы, или выбрать новые. Переп'яваніе же было бы совершенно безполезно, не только какъ переп'яваніе вообще, но и потому еще, что въ посл'ядніе годы своей д'ятельности самъ Пушкинъ, очевидно, утеряль почву подъ ногами и рішительно не понималъ ин потребностей, ни запросовъ окружавшей его жизни. Какъ поэтъ, онъ оставался великъ попрежнему, но исчезало его значеніе, какъ выразителя думъ, какъ талантливъйшаго представителя своей исторической эпохи. Онъ пересталъ волновать сердца.

Поэзія Лермонтова,—(какъ и письма Чаадаева, о которыхъ—послѣ) вся цѣликомъ выросла на отрицаніи прошлаго и настоящаго. Это было отрицаніе рѣзкое, мучительное, часто—страстное, въ лучшихъ вещахъ безпощадное. Когда вы читаете, напр. "Думу", вы слышите смертный приговоръ и "добросовъстному разврату предковъ", и "нашему поколѣнію", которое спѣшитъ къ смерти

> ...безъ славы и слѣда, Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой, Ни гепіемъ начатаго труда.



^{*)} Герценъ-незаконнорожденный.

Эту строгость Лермонтова можно объяснить, разумъется, лишь тымъ, что въ немъ, хотя бы стпхійно и безсознательно, таплись нравственно-общественныя требованія. Отрицая ихъ, вы никогда не поймете послъднихъ строкъ "Думы":

И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ, Насмъшкой горькою обманутаго сына Надъ промотавшимся отцомъ.

Слово "гражданинъ" было бы совершенно неумъстно, будь Лермонтовъ занятъ исключительно одними метафизическими вопросами, противоръчіемъ между небомъ и землею, борьбою между злымъ и добрымъ началами жизни, рожденіемъ и смертью. Все это въ немъ, конечно, было, какъ былъ и гордый вызовъ божеству и природъ, и тоска по кратковременности земной страсти, и мистическая въра въ ея безсмертіе, но это не весь Лермонтовъ. Весь онъ не опредълился, хотя бы уже потому, что до конца дней своихъ не сумълъ сбросить съ себя романтическаго костюма, на что огромное, безусловное право давалъ ему его геній. Но одниъ голосъ настойчиво звучитъ въ его поэзін, благодаря которому она такъ близка такъ сродни намъ. Это голосъ совъсти.

Обстоятельство это представляется меж особенно важнымъ и существеннымъ. Надо же, наконецъ, согласеться, что мы, русскіе люди, въ высшей степени плохіе философы и что, въ сущности говоря, мы совсршенно не склонны къ философскому мышленію. На какую "систему" можемъ мы указагь въ своемъ прошломъ и настоящемъ? Систему Сковороды? заимствованный мистицизмъ масонства? на ученія Чернышевскаго или Писарева, Данилевскаго или Страхова, Толстого или В. С. Соловьева? Какъ хотите, все это не философія, темъ мене-русская философія. Не говоря уже о подражательномъ, заимствованномъ характеръ многихъ изъ названныхъ системъ и ученій, --- ни одно изъ нихъ не отвічаеть требованіямъ дисциплинированной философской мысли-и каждое представляеть изъ себя не что иное, какъ правственную проповъдь. Это доказываеть лешь то, что мы люди очень практичные-въ высшемъ смысле этого слова, практичны не по стремленію къ наилучшему приспособленію, а по желанію урегулировать свою жизнь, подчинять ее изв'ястному в'вроиспов'яданію, изв'ястной догить. Поэтому-то и русскій скептицизить только чисто витыпнимъ образомъ связанъ съ философскимъ скептицизмомъ запада.

Источникъ его не внутреннія противорѣчія метафизической мысли, а сердце, совѣсть, сознаніе незаконности своихъ сословныхъ преимуществъ Отчетливо слышенъ голосъ совѣсти у Лермонтова. Всмотритесь внимательно въ извилины и трещины этой измученной, со дня рожденія надлом-

ленной души и вы ясно увидите, что она находится подъ давленіемъ какого-то тяжелаго грѣха и въ трепетномъ ожиданіи возмездія за него. Конечно, это не личный грѣхъ Лермонтова. Какіе у него, въ сущности, грѣхи? Такъ себѣ—гвардейскіе и уланскіе— не больше. А между тѣмъ человѣкъ, и притомъ несомнѣнно великій человѣкъ, постоянно и искренно страдаетъ, постоянно недоволенъ собою и окружающимъ, чувствуетъ на своей головѣ терновый вѣнецъ страданія. Тутъ заговорила властно и настойчиво совѣсть, измученияя грѣхами прошлыхъ поколѣній.

Пермонтовъ осудилъ себя и свое покольніе. Именно идея "суда", "возмездія" и была особенно сильна въ немъ, и любопытно въ этомъ отношеніи не только припомнить "Думу" или "Первое января", но и сравнить его "Пророка" съ "Пророкомъ" Пушкина. Пророческій даръ пріобрътается послъднимъ въ высшей степени легко, что видно хотя бы изъ стиха:

Перстами легкими, какъ сонъ, Моихъ зеницъ коснулся онъ.

Пушкинскій пророкъ ндетъ къ людямъ съ тымъ, чтобы жечь "глаголомъ ихъ сердца",—т. е. возбуждать ихъ къ подвигамъ, ко всему высокому и прекрасному,—короче сказать, къ благу. Пророкъ Лермонтова получилъ свой даръ отъ высшаго Судіи. Это даръ мучительный, дающій
возможность читать лишь "страницы алобы и порока" Куда же, въ такомъ случать, должна обращаться проповъдь? Очевидно, она будеть взывать къ совъсти, она будетъ исполнена упрековъ, она будетъ состоять изъ
словъ "облитыхъ горечью и алостью": у нея только одна цель—вызвать
раскаяніе, напоминть о возмездін.

"Гръховность жизни", смутное, но стихійно-могучее сознаніе ея не давали покоя Лермонтову, естественно и необходимо вызывая въ немъ отвътственность передъ жизнью, съ которой такъ не мирился его гордый саркастическій умъ. Но онъ былъ проникнуть ею во всемъ и даже въ своей литературной дъятельности. Вы, конечно, помните его знаменитое стихотвореніе, гдѣ онъ говорить, что не хочеть:

Чтобъ тайный ядъ страницы знойной Смутилъ ребенка умъ спокойный И сердце пылкое увлекъ Въ свой необузданный потокъ. О, нътъ! Преступною мечтою Не ослъпляя мысль мою, Такой тяжелою цвною Я вашей славы не куплю..

"Я вашей славы не куплю!"—а въдь Лермонтовъ любилъ эту "славу" и дорожилъ ею. Но онъ слишкомъ хорошо понималъ, какою "тяжелою цѣною" можеть быть она куплена.

Эта тяжелая цена—нарушение цельности жизни, цельности міросозерцанія, это разрывъ со всемъ прошлымъ во имя никому неведомаго будущаго—разрывъ, возбужденный лишь голосомъ возмущенной совести. И онъ не решался, не смель взять на себя такой ответственности и лишь въ грустномъ раздумые спрашиваль себя:

... Небо ясно, Подъ небомъ мъста много всъмъ, Но ежечасно и напрасно Одинъ враждуетъ онъ... Зачъмъ?

Это удивительное "зачёмъ" звучить чёмъ-то робкимъ и тоскливымъ, и мий кажется, что Лермонтовъ, несмотря на всю свою сатаннискую гордость, несмотря на озлобленный, сердитый умъ, былъ въ основъ своей натуры тоскующимъ и робкимъ. Совъсть властно говорила въ немъ, властно терзала его.

Я послѣ скажу о произведеніяхъ Гоголя и Грибоѣдова. Самъ Гоголь, какъ это прекрасно извѣстно, никогда не видѣлъ въ нихъ "вѣрнаго и талантливаго изображенія дѣйствительности", а прежде всего видѣлъ проповѣдь. Это прекрасно понялъ и оцѣнилъ Герценъ въ извѣстныхъ словахъ: "Проповѣдь (въ тридцатые годы) шла все сильнѣе... все одна проповъдь... И смѣхъ, и плачъ, и рѣчь, и книга, и Гоголь, и исторія—все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ; все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума, и источникомъ всего этого было проснувшееся сердце". Люди тосковали, рвались на просторъ, одни зная другіе не зная, почему они тоскуютъ и чего хотятъ.

Тутъ же намъ придется основательно и почтительно вспомнить "Московскій Телеграфъ" Полевого—-этотъ умный и трезвый органъ нашего литературнаго романтизма, и знаменнтыя "Философическія письма" Чаадаева и всю дъятельность Вълинскаго и критику славянофильскаго лагеря, заблудившуюся, впрочемъ, среди семи сосенъ, окружавшихъ родное Пошехонье XIX въка, и мы увидимъ въ концъ концовъ, что зерно, брошенное Радищевымъ, упало не на каменную почву.

Конечно, скептическое начало не единственное въ нашей литературъ и кажется, никто кромъ министра народнаго просвъщенія Ширинскаго-Шихматова не считаль ее сплошь отравленной духомъ отрицанія. Тамъ, гдъ что-

нибудь есть, должно быть и ему противоположное, -- училь Гегель. Было такъ и у насъ. Рядомъ съ скептицизмомъ, рука объ руку шла работа созиданія и построенія, и мы то и дізло будемъ встрічаться съ ея отдівльными проявленіями. Мы увидимъ эту работу въ знаменитой "Запискъ о старой и новой Россін" Карамзина, который всю надежду Россін полагаль въ подысканін 54 честныхъ губернаторовъ, -- въ филологическихъ бредняхъ и наввностихъ Швшкова, отрецавшаго всякія реформы, кром'в реформъ языка, и думавшаго, что разъ вивсто "министръ" будутъ говорить "цвлецъ государственный", то и все остальное пойдеть прекрасно, -- во второй части "Мертвых душъ", гдв встретенся съ экономными помещиками, честными откупщиками, чуть не святыми генераль-губернаторами, - въ "Перепискъ съ друзьями" того же Гоголя, где преподается какъ честно и правдиво жить, оставаясь заядлымъ крепостичкомъ и пользуясь чуть ли не всей безграничной полнотой помъщичьей власти,--- въ учение славянофиловъ съ ихъ призывомъ "назадъ домой" и т. д. Ничуть не меньшую построительную работу им найдемъ у самнуъ скептиковъ, начиная съ "Естественнаго права" Купицына, — въ бумажной бедненькой конституціи декабристовъ, ихъ романтическихъ мечтаніяхъ о вольности. Углубляется эта работа въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, когда молодежь увлекается натурфилософіей Шеллинга, Параболой и Новымъ Евангеліемъ Сенъ-Симона и сенсимонистовъ, затемъ гегельянствомъ и наконецъ Жоржъ Зандъ и участью собственнаго вакабаленнаго народа, который съ этой поры становится главной дуной и камненъ красугольнымъ русской литературы... И замітчательно, что какъ бы ни различны были разсматриваемыя нами эпохи, какъ бы не различны быле ответы, даваемые на поставленные вопросы, и изъ какого бы лагеря ни исходили эти ответы-всегда. открывается огронный антагонизнъ, скрывающійся въ двухъ противоположныхъ ръшеніяхъ. Первое ръшеніе это то, что мы сами достаточно сильны, и основы нашей жизни достаточно мощны, и мы должны почерпать поэтому все отъ недръ собственнаго духа, лишь съ мудрой осторожностью запиствуя подробности и техническія усовершенствованія у западныхъ сосівдей. Второе решеніе: сами мы слабы, все что есть у насъ добраго взято у запада, ны нисколько не санобытны и не оригинальны (въ положительную сторону, развъ въ отрицательную, ибо варвары), никакого самостоятельнаго культурнаго типа мы изъ себя не представляемъ, почему и должны оставаться въ роли покорныхъ учениковъ запада... Это споръ западниковъ и славянофиловъ. Онъ не законченъ еще и теперь. Въ немъ таится большое зерпо раздора. Мы должны внимательно проследить его.

Все скептическое движеніе вращалось какъ вокругъ своей оси — около вопроса о крѣпостномъ правъ. Откуда пришло къ намъ "право" и почему—это въ данномъ мѣстѣ для насъ безразлично; для насъ важно, что оно изъ себя представляло и какія общественныя мысли о жизни представляло оно? Прежде всего надо совершенно отказаться отъ прикрашеннаго и намалеваннаго слова "крѣпостное состояніе" и замѣнить его просто рабствомъ. На самомъ дѣлѣ, разъ существовала полная возможность продавать крестьянъ оптомъ и въ розпицу безъ земли, ни о какомъ крѣпостномъ состояніи не можеть быть и рѣчи. Крѣпостной крестьянпить крѣпокъ землѣ, русскій крѣпостной былъ крѣпокъ не землѣ, а помѣщику, который могъ дѣлать съ нимъ все что угодно. Не могъ (по указамъ) онъ только убить его, но это ограниченіе фактически не оказывало никакого дѣйствія.

Впрочемъ, дли насъ въ настоящую минуту даже неважно, было ли крѣпостное право — рабствомъ, или же просто крѣпостнымъ состояніемъ, принявшимъ, благодаря произволу помѣщиковъ и слабости центральной власти, форму рабства, — важно для насъ указать на фактъ, что крѣпостное состояніе массъ играло въ жизни государства роль огромную и даже первенствующую. Русскіе люди въ громадномъ большинствѣ случаевъ не могли представить себѣ существованія своего отечества безъ этого уклада. Навелъ Петровичъ считалъ его не только укладомъ но и устоемъ всего правительственнаго механизма *): "у меня 100.000 даровыхъ полицеймейстеровъ" — говорилъ онъ, подразумѣвая подъ полицеймейстерами помѣщиковъ. Крѣпостное право создало такія понятія какъ "дворянская честь", "сословный духъ", "дворянская гордость" и пр. Оно вызвало на свѣтъ Божій обломовщину, а обломовщина представлялась даже Добролюбову од-

^{*)} Вотъ оффиціальная точка эртія на кртпостное право, изложенная гр. Уваровымъ уже при Николат І.

¹⁾ Вопросъ о кръпостномъ правъ тъсно связанъ съ вопросомъ о самодержавіи, даже единодержавіи.

²⁾ Это двъ параллельныя силы, какъ развивавшіяся вмѣстѣ. У того и другого одно историческое начало, законность ихъ одинакова.

³⁾ Что было у насъ прежде Петра I-го, то все прошло, кромъ кръпостного права, которое, слъдовательно, не можетъ быть тронуто безъ всеобщаго потрясенія.

⁴⁾ Крѣностное право существуеть, какое бы ни было нарушеніе его повлечеть за собой неудовольствіе дворянскаго сословія, которое будеть искать себѣ вознагражденія гдѣ-нибудь, а искать негдѣ кромѣ области самодержавія...

⁵⁾ Могутъ отдълиться даже части — остзейскія провинціи, самая Польша и т. д. все въ томъ же тонъ. (См. Барсуковъ. "Жизнь и труды М. П. Погодина" Т. 9, стр. 305—399).

нимъ изъ существеннъйшихъ, наиболъе грустныхъ, но и наиболъе трудно поддающихся леченію недостатковъ "нашего русскаго общества". "Пусть криностное право исчезло, слиды его остались и надолго еще останутся самыми глубокими въ нашей жизни. Глубочайшимъ же следомъ мы вследъ за Добролюбовымъ должны признать явленіе, окрещенное имъ именемъ обломовщины"--- писалъ Кавелинъ. Крипостное право позволяло нашей внутренней жизни оставаться почти безъ измененій, такъ какъ отъ Петра до Екатерины (дворянская грамота) и отъ Екатерины до Александра I-го не было произведено ни одной сколько-нибудь серьезной реформы. Все царствованіе Николая І-го прошло въ заседаніяхъ разныхъ комитетовъ и комиссій, въ безплодныхъ разговорахъ и преніяхъ о реформахъ Крфправо, т. е. право на чужой даровой трудъ позволяло вести хозяйство не только спустя рукава, но и всю поддевку, и все же, слава Богу, помещики были сыты, плодились и множились. Къ чему было вводить какія бы то ни было удучшенія, когда и безъ нихъ три четверти погребовъ были завалены недурной провизіей, а кладовыя ломились отъ никому не нужныхъ холстовъ, полотенъ и домашнихъ суконъ. Крѣпостное право вызвало наружу, упрочило и даже кристаллизировало такія народныя добродітели какъ смиреномудріе, віра въ свою "планиду", полное безвъріе въ человъка, его силы и способности-словомъ полную резиньяцію, какъ говорили наши прабабушки и прадедушки, "нолное холопство", какъ скаженъ ны. Крепостное право вызвало славянофильское настроеніе у техъ, кто видель примерныхь добрыхь помещиковь, и западническое отрицаніе у тіхъ, кто, какъ Тургеневъ, поминлъ Лутовиново... Наконецъ, благодаря кръпостному праву, слишкомъ долго застоявшемуся и позволившему горсти людей дойти до вершинъ мысли и образованія, при общей ничтожности окружающаго, такъ невіроятно пышно и быстро распустилась наша художественная литература.

Какъ это ни странно, но это такъ. Позволю себъ по этому поводу небольшое отступленіе.

Уже со времени Тэна стало совершенно немыслимым и даже противонаучным разситривать художественное произведеніе, какъ нъчто самодовлівнющее, какъ продукть индивидуальнаго духа. Вмісто этой точки зрівнія Тэнъ съ особенной силой выдвинуль другую, боліве широкую точку зрівня— среды.

"Чтобы понять данное художественное произведеніе, — говорить Тэнъ, — даннаго артиста, данную группу артистовъ, надо съ точностью представить

себъ общее состояніе умовъ и нравовъ ихъ времени. Тамъ лежить посл'яднее объясненіе, тамъ находится первая причина... Если мы просл'ядимъ главныя эпохи исторіи, то найдемъ, что искусства появляются и исчезають вивств съ известными состояніями умовь и правовъ... Великая греческая трагедія является витьсть съ побъдой грековь надъ персами, въ моменть героического напряженія народного духа, и исчезаеть витьсть съ независимостью республики, когда измельчание характеровъ и македонское завоеваніе отдають Грецію во власть иностранцевь". Художественное пронаведеніе, съ этой точки арвнія, не создаеть, а только закрвиляеть общественное настроеніе. Возьинте, напр., "Потерянный Рай" Мильтона. Въ этой поэмъ-все религіозное вдохновеніе, всь народовольческіе восторги англійских пуританъ XVII въка. Ни Кромвель, ни Пимъ, ни Гампденъ, ни сами пуритане ни разу не названы въ ней, нигде неть даже прявыхъ указаній на волненія и революцію, и все же вы чувствуете, что весь интересъ "Потеряннаго Рая" въ нихъ-то и заключается, что, неназванные, они присутствують на каждой странице, что везде иль чувства, иль иысли, ихъ настроеніе. Пусть даже это не та пуританская Англія, которую ны знаемъ изъ исторін. Мы не видимъ ся мелочности, ханжества, практическихъ стремленій; она является передъ нами очищенной отъ земной грязи. Мильтонъ взялъ свое время въ высшемъ его проявленін-въ проявленін геронзма, радостно идущаго на смерть за свою веру, геронзма гордаго и непреклоннаго.

Нашъ Пушкинъ суммировалъ, закрѣпилъ общественную энергію, вызванную реформаторскими вожделѣніями первой половним царствованія Александра Павловича, борьбой съ Наполеономъ и тѣмъ движеніемъ мысли, которое такъ грустно закончилось среди тяжелыхъ "недоразумѣній"; Некрасовъ захватилъ огромную полосу нашего нравственнаго развитія: въ лучшихъ его вещахъ мы постоянно слышимъ кающагося дворянина: главная тема Достоевскаго — встрѣча дворянина съ разночницемъ, т. е. тема историческая, очень рельефная въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій, пока, какътеперь, все не свалилось въ общую кучу.

Не будемъ однако останавливаться на этомъ. Къ индивидуальному творчеству мы прибавили среду. Сдёлаемъ еще шагъ впередъ. Исторія литературы постоянно подтверждаетъ глубокую справедливость формулы Гегеля, который говорилъ, положимъ, на счетъ философіи, что "сова Минервы вылетаетъ только по ночамъ"—это значитъ, что задача философа только претворить въ мысль уже существующее въ жизни, а это бываетъ возможнымъ лишь тогда, когда существующее изжило само себя, раскрыло все свое содержаніе, износило свои жизненныя силы и все свое тайное превратило въ явное. Сова Минервы вылетаетъ по ночамъ также и въ

области литературы. Великія философскія системы и великія созданія художественнаго творчества появляются посл'є того, какъ содержаніе ихъ, навъ жизненные факты, послужившіе ихъ матеріаломъ, сд'єлались уже достояніемъ прошлаго в отступили на задній планъ подъ напоромъ новыхъ в'єяній.

"Расовать трудно и по-моему просто нельзя, — говорить Гончаровь, — съ жизни еще не сложившейся, гдё формы еще не устоялись, лица не наслоплись въ типы. Никто не знаеть, въ какія формы дёятельности и жизни отольются молодыя силы юныхъ поколеній, такъ какь сама новая жизнь окончательно не выработала новыхъ окрепшихъ направленій и формъ. Можно лишь въ общихъ чертахъ намекать на идею, на будущій характеръ, но писать самый процесъ броженія нельзя: въ немъ личности видоизменяются каждый день и будутъ неуловимы для пера"...

Это удивительно глубокое и важное замъчаніе и, чтобы оцънить его, стоить перелистать любую исторію литературы, хотя бы нашей. "Писать самый процессь броженія нельзя". Даже такіе гиганты слова, какъ Гончаровъ и Тургеневъ, въ своихъ Волоховыхъ, Тушиныхъ, Неждановыхъ, Миличъ потерпъли неудачу и лишь въ общихъ блёдныхъ чертахъ намътили новыхъ людей. Вся современная литература относится къ періоду броженія,— чего же особеннаго хотите вы отъ нея?

Кръпостная, дореформенная Россія въ годы своей агонін выдвинула целую плеяду первоклассныхъ талантовъ. Кории творческаго вдохновенія Гоголя, Тургенева. Гончарова. Островского. Толстого—въ той эпохѣ, когда крипостное право стояло, "какъ скала". Припостному праву можно было восиввать панегирики, воплотивь его сущность въ мистическія и привлекательныя формы кротости, сипренія, всепрощенія, какъ то сдівлаль Гоголь въ "Перепискъ", можно было безстрастно анализпровать его, какъ Гончаровъ, относиться къ нему съ горячей ненавистью, какъ Тургеневъ, --- это безразлично: образы великихъ художниковъ выросли на почвъ, уже выслушавшей свой смертный приговоръ отъ исторіи, на почвів, уходившей изъподъ ногъ, но выразившейся въ ръзкихъ, какъ бы изъ мрамора высюченных в формах в. Истиню художественный образъ - - пельный образъ, какъ Ричардъ III, Лиръ, Донъ-Кихотъ или наши Маниловы, Коробочки. Но, чтобы изобразить цельный образь, художникъ долженъ иметь его передъ глазами. Это возможно лишь въ эпоху, когда общественныя отношенія совершенно сложились и какъ бы застыли въ своей неподвижности, т. е. эпоху умирающую. Скажу прямо: "Расцвъть искусства совпадаеть съ періодомъ, когда взв'єствая, опреділенно и різжо сложившаяся историческая эпоха умираеть, но уже занимается заря новой жизни, и человъкъ особенно страстно и нетеритливо хочеть жить и безпокойно мечется, выискивая то неясное и таинственное, что сулить ему будущее"...

Такимъ переходомъ въ нашей исторіи были 40-е года. Крѣпостное право заканчивало свое существованіе, и на рубежѣ двухъ эпохъ возникла великольпная художественная и критическая литература. На сцену сразу выступила цѣлая плеяда талантовъ.

Не говорю уже о чисто матеріальной сторонѣ вопроса. Такіе совѣты какъ совѣтъ Гоголя: написать—отложить, переписать—еще отложить и т. д. могли зародиться эншь въ эпоху, когда наши литературныя задачи не имѣти въ себѣ ничего ремесленническаго, когда писателю не приходилось торопиться и онъ былъ обезпеченъ извнѣ. Огромная часть первыхъ нашихъ писателей—дворяне; крѣпостное право поддерживало ихъ творчество и съ этой матеріальной стороны.

Словомъ, крѣпостное право опредъленностью своихъ общественныхъ отношеній, а значитъ и опредъленностью индивидуальныхъ физіономій доставило отчетливый матеріалъ для художественнаго творчества, а своими рѣзкими противорѣчіями всему—и просвѣщенному духу вѣка, и развитію народнаго богатства, и элементарному чувству справедливости, породило богатую публицистическую литературу. Но не породила и не могла породить она двухъ вещей, безъ которыхъ никакая культурная жизнь немыслима—ни привычки къ труду, ни уваженія личности къ собственному достоинству.

Литература первой четверти въка.

Здёсь, въ своемъ введеній, я могу дать лишь самую общую характеристику, предполагая факты, изложенные въ учебникахъ литературы, извъстными читателю. Вообще эта литература, вплоть до Пушкина, еще вся въ XVIII въкъ. Серьезной общественной подкладки въ ней нътъ и очень хорошее опредъленіе дала ей г-жа Сталь своей остроумной фразой: "въ Россіи есть нъсколько дворянъ (gentilthommes), занимающихся также литературой". Литература только организовалась, только пробивала себъ дорогу, искала себъ читателей и върныхъ слугъ, находя ихъ конечно, но въ очень ограниченномъ количествъ. Но все же въ воздухъ чувствуется уже новое въяніе, которое выразилось прежде всего въ томъ, что появилась довольно большая журналистика и такіе прирожденные журналисты какъ Карамзинъ, Пнинъ и т. д.

Въ 1802 г. Карамзинъ выступилъ съ своимъ "Въстникомъ Европы", выходившимъ въ Москвъ 2 раза въ мъсяцъ. Это былъ общелитературный журналъ, по типу приближающійся къ нашимъ современамъ, но самою характерною его особенностью было то, что въ немъ впервые стали пра-

вильно появляться политическія обозрѣнія; не особеню глубокія, какъ все, что вышло нзъ-подъ пера знаменитаго историка, но любопытныя, тѣмъ болѣе что Карамзинъ прилагалъ всѣ усилія сдѣлать ихъ интересными. Считая гражданское устройство Россіи незыблемымъ п являясь въ этомъ смыслѣ консерваторомъ, онъ придерживается однако точки зрѣнія просвѣщеннаго либерализма, признаетъ общественный прогрессъ, говорить о развитін мысли, но въ очень опредѣленныхъ рамкахъ "покорной преданности закону и власти". Очень часто возвращается онъ къ французской революціи и видить въ ней прежде всего высокій урокъ народамъ о святости гражданскаго строя, но онъ не негодуетъ на нее, а какъ бы даже признаеть ея историческую неизбѣжность. Въ статьѣ "Прекрасные виды, надежды и желанія нашего времени" онъ говорить между прочимъ:

"Революція объяснила идеи: мы увидъли, что гражданскій порядокъ священъ даже въ самыхъ мъстныхъ и случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для народовъ не упрямство, а защита отъ тиранства; что, разбивая сію благод тельную эгиду, народъ дълается жертвою ужасныхъ бъдствій, которыя несравненно зліве всіххъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти... Съ половины XVIII въка всъ необыкновенные умы страстно желали великихъ перемънъ и новостей въ учрежденіи обществъ; всъ они были въ нъкоторомъ смыслъ врагами настоящаго, теряясь въ лестныхъ мечтахъ воображенія. Вездъ обнаруживалось какое-то внутреннее неудовольствіе; люди скучали и жаловались отъ скуки; видъли одно зло и не чувствовали цъны блага. Проницательные наблюдали, ожидая бури; Руссо и другіе предсказали ее съ разительною точностью; громъ грянулъ изъ Франціи... мы видъли издали ужасы • пожара, и всякій изъ насъ возвратился домой благодарить небо за цълость крова нашего и быть разсудительнымъ, Теперь всъ лучшіе умы стоять подъ знаменами властителей и готовы только способствовать успъхамъ настоящаго порядка вещей, не думая о новостяхъ. Никогда согласіе ихъ не бывало столь явнымъ, искреннимъ и надежнымъ. Съ другой стороны, правительства чувствуютъ важность сего союза и общаго мнънія, нужду въ любви народной, необходимость истребить алоупотребленія. Почти на всёхъ тронахъ Европы видимъ юныхъгосударей, дъятельныхъ и ревностныхъ къ общему благу. Революція была алословіемь свободы: правительства, не хвалясь именемь, дозволяють гражданамъ пользоваться всёми ея выгодами, согласными съ основаніемъ и порядкомъ общества. Революція объщала равенство состояній: государи, вмъсто сей химеры, стараются, чтобы гражданинъ во всякомъ состояніи быль доволень, чтобы ни которое не было презрительнымь, ни угнетеннымъ. Будемъ справедливы: гдъ теперь добрый человъкъ не можеть наслаждаться безопасностью? Свирвиствуеть ли гдв-нибудь тиранство въ Европъ, если исключимъ Турцію? Не вездъли начальства желають способствовать усптхамъ воспитанія и просвъщенія, которое есть не только источникъ многихъ удовольствій въ жизни, но и самой благородной правственности, которое образуеть мудрыхъ министровъ,

достойных орудій правосудія, сыновъ отечества въ семействахъ, рождая чувство патріотизма, чести, народной гордости, и безъ котораго люди служать только одному идолу—подлой корысти. Государи, вмісто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмолвіе, склоняють его на свою сторону".

Съ точки зрѣнія просвѣтительной литературы временъ Екатерины II, особенно же ея "Наказа" тутъ нѣтъ ничего новаго. Несомнѣнно все же, что Карамзинъ былъ очень и очень далекъ отъ надеждъ и мечтаній правительства первыхъ 10—11 лѣтъ прошлаго вѣка и въ заслугу ему приходится поставить лишь то, что обскурантъ во всемъ, что касалось соціальнаго устройства Россіи, т. е. прежде всего конечно крѣпостного права—онъ этотъ свой обскурантизмъ не распространялъ ни на литературу, для которой онъ требовалъ признанія и благоразумной свободы, ни на просвѣщеніе, понимая подъ нимъ просвѣщеніе привилегированныхъ классовъ. Вообще Карамзинъ только литературный либералъ и реформаторъ, реформаторъ нашего языка и типа нашей журналистики, на знамени которой онъ написалъ: "разнообразіе, поучительность и общедоступность"...

Беллетристика "Въстника Европы" продолжала сантиментальныя и романтическіх традиціи первыхъ журналовъ и сборниковъ Карамзина ("Московскаго Журнала" и "Аглан"). Здъсь онъ напечаталъ свою большую повъсть "Мареа посадница", гдъ, всецъло восхищаясь новгородскими вольностями, опять пользуется всякимъ случаемъ, чтобы прочесть народамъ нравоученіе о пользъ сильной власти и необходимости полной ей покорности.

Вообще съ годами Карамзинъ дълялся все болъе государственникомъ и правоучительнымъ. Скоро оставивъ "В. Е." (1804) онъ принялся за свои исторические труды, за записку "о древней и новой России" и за свою "Исторію". Въ "Исторіи" онъ старается въ особенности возвеличить русскія духовныя качества-покорность и смиреніе; видить истиннаго своего героя въ Іоаннъ III, создавшемъ мощное государство на патріархальныхъ началахъ народной жизни. Слишкомъ риторъ, онъ постоянно увлекается красноръчіемъ, почему не всегда съ опредъленностью высказываетъ свои взгляды. Но несомивню, что своими симпатіями къ патріархальности онъ протягиваеть руку славянофиламъ и какъ бы подготовляетъ почву для нихъ. Недаромъ впоследствии М. Погодинъ возвелъ его въ герои. Въ записке, предназначенной для государя, а не для публики, онъ высказывается еще ръзче. Онъ недоволевъ Петромъ Великимъ, больше же всего--Екатериной II, за ея пристрастіе къ Западу. Скрытно онъ вездѣ полемизируеть со Сперанскимъ, считаетъ его преобразовательные замыслы безусловно вредными и смело высказываеть мысль, что Россія Александра I-го должна учиться у московской Руси Іоанна ІІІ-го. Это уже настоящая ячейка будущаго знаменитаго спора западниковъ и славянофиловъ.

Пнинъ гораздо либеральнъе. Опъ радостно откликнулся на всъ либеральныя въянія своей эпохи и часто заходилъ дальше ихъ.

"Литературная двятельность его была непродолжительна, зато отмъчена характеромъ безупречной честности и послъдовательности въ проведеніи своихъ мыслей. Онъ былъ сторонникомъ человъколюбивой философіи XVIII-го въка, служилъ ей искренно, преданно, и притомъ не только въ литературъ, но и въ жизни".

"Будучи весьма не богать—говорить его біографь—онъ любить помогать несчастнымъ. Съ жаромъ друга человъчества, всякую скорбь угнетеннаго людьми или судьбою человъка бралъ онъ близко къ сердцу своему и не щадилъ ни трудовъ, ни покоя, ни иждивенія для облегченія судьбы несчастныхъ. Въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ, въ оригинальныхъ статьяхъ, въ переводахъ, даже въ стихахъ Пвинъ выказывалъ занимавшія его мысли о наилучшемъ политическомъ устройствъ и, насколько позволяли внъшнія препятствія, дълалъ болъе илименъе прозрачные намеки на современное ему положеніе Россіи".

(Пятковскій).

Онъ задумываеть издавать "Народный Въстникъ", "Опыть о просвъщенін", "Вопль невинности, отвергаемой закономъ," и подъ темъ же настроеніемъ историческую драму "Велизарій"; — много стиховъ, — "О возбужденіи патріотнама", и т. д., и во всемъ, что выходить изъ-подъ его пера, является самымъ ревностнымъ просвътителемъ. Самый замъчательный его взглядъ конечно тотъ, что между просвъщениемъ и политическимъ состояниемъ народа онъ видить теснейшую связь и зависимость, что отказывался признать XVIII-й въкъ. Просвъщение онъ понимаетъ шире чъмъ образование, для него оно нераздельно съ господствомъ законности, съ уничтожениемъ произвола. Оттого-то для него ясно, что при господствъ кръпостного права никакого истиннаго просвъщенія въ Россіи быть не можеть. Сочувствуя Радищеву, онъ въ болъе отвлеченной и разсудочной формъ повторяеть его взгляды, очень оригинально обосновывая ихъ восторженной защитой собственности. "Собственность, — пишеть онъ, — священное право, душа общежитія, источникь законовь. Глё ты уважена, где ты неприкосновенна --танъ только спокоенъ, благополученъ гражданивъ. Но ты бъжншь отъ звука ценей, ты чуждаешься невольниковъ. Права твои не могутъ существовать ни въ рабстве ни въ безначаліи". Первое практическое требованіе Пинна заключается, значить, въ томъ, чтобы право собственности было обезпечено за земледъльческимъ сословіемъ. Это идея наполеоновскаго кодекса и "коренного" проекта Сперанскаго, идея чисто западническая, очень замъчательная по своей опредъленности.

Резюмируя свою характеристику Пнина біографъ иншеть:

"Назвавъ русскія сословія, Пнинъ замічаєть, что одно изъ нихъ, именно земледільческое, находится въ страдательномъ состояніи, будучи отдано во власть рабовладъльцевъ, поступающихъ съ подвластными людьми хуже, чѣмъ со скотомъ. Важнъйшая забота законодателя должна состоять, по его мнѣнію, въ огражденіи правъ собственности земледъльческаго класса: только этимъ путемъ можно распространить истинное просвѣщеніе въ народъ. Рисуя печальную картину крестьянскаго быта, авторъ порицаетъ многія явленія въ жизни другихъ сословій, не щадить и системы управленія во всѣхъ ея отрасляхъ. О купцахъ говорится, что они не поддерживаютъ другъ друга въ несчастныхъ случаяхъ; богатый купецъ, видя неудачу и гибель своего собрата, не только не подаетъ ему помощи, но еще спѣшитъ притѣснить его, чтобы воспользоваться его несчастьемъ. Въ службу гражданскую, по словамъ автора, опредѣляютъ безъ всякаго разбора; чины и мѣста раздаютъ людямъ, едва умѣющимъ читать и подписывать свое имя; люди же достойные избѣгаютъ службы, опасаясь попасть подъ начальство господъ, заслуживающихъ не почета, а презрѣнія и т. д."

(Пятковскій)

Ининъ во всякомъ случат счастливое и ръдкое исключение въ ту эпоху, когда въ Россін нікоторые дворяне занимались также литературой". Такими счастливыми исключеніями не надо увлекаться и надо представить себь ту ужасающую бъдность общественной жизни, ту духовную инщету которая ничемъ не интересовалась, никуда не стремилась, ничего не искала, совершенно довольная своей рабской обстановкой и приходившая въ восторгь отъ разръшенія носить фраки и круглыя шляны, какъ это было въ началь парствованія Александра І-го. Русское масонство, напр., представляло изъ себя детскій переводъ западнаго теченія, и какъ ни стараются теперь преувеличить его значение, факть тоть, что содержание его совершенно ничтожно. Лучшее въ немъ сводилось къ филантропіч, къ мало-дізятельному отриданію кастовых различій, обычное же -- къ ребяческой игрь въ тайныя общества и къ такой же игрь въ алхимію, магію, астрологію. Уже потому, что Сперанскій все время оставался однимъ, что его паденіе вызвало общую радость, что ни одинъ изъ либеральныхъ проектовъ самого императора не осуществился, наткнувшись столько же на подозрительность собственнаго его характера, сколько и на полное равнодушіе общества и его непріязнь къ какить бы то ни было преобразованіямъ. Высшіе слоп общества разлеглись на молчаливой народной массъ и, совершенно придавивъ ее своею тяжестью, чувствовали себя превосходно. Что читали? Старые писатели XVIII въка — Херасковъ, Державинъ, Ло-Очень нравились моносовъ и т. д. пользовались полнымъ авторитетомъ. сантиментальныя повъсти Карамзина, потому что сантиментализмъ ни къ чему не обязываль, но даваль пріятное настроеніе сердечной чувствительностп — онъ быль даже въ большой моде, что видно по журналистикъ того времени; --- фуроръ произвела "Исторія государства россійскаго" Карамзина. Историку приходится удоглетворяться крупицами. Только 12-й годъ заставиль встрихнуться это стоячее болото.

"Въ повъйшей исторіи не было событія, которое до такой стецени охватило бы не только общество, но и цълую народную массу однимъ могущественнымъ чувствомъ, потребовало бы папряженія физическихъ и правственныхъ силъ, затронуло бы такъ глубоко національное сознаніе. Если потомъ возникали вопросы о народь, о національныхъ отношеніяхъ Россіи къ Западу, о необходимости внутренней общественной работы, то богатую почву для этихъ вопросовъ дали въ особенности эти событія и ихъ ближайшія послъдствія. Первыя впечатльнія были пока смутны и развились потомъ весьма разнообразно. Прежде всего національная опасность сближала людей въ общемъ дълъ, сообщала чувство нравственной связи, общественнаго и народнаго долга: манифесты, писанные Шишковымъ, едва ли не первый разъ говорили не сухимъ оффиціальнымъ языкомъ, требовавшимъ только безмолвнаго повиновенія, а исполнены были настоящаго краснорічія, которое способно было пробудить искреннее одушевленіе, едва ли не впервые правительственная власть обращалась къ народу, говоря или стараясь говорить его языкомъ, какъ въ афишахъ Ростопчина. Люди стараго въка, безуспъшно искавшіе древнихъ патріархальныхъ добродътелей, нашли въ событіяхъ двінадцатаго года новое обвиненіе противъ людей, привер женныхъ къ "французскому" образованію, и считали ихъ чуть не сообщниками Наполеона, какъ старались выставить такимъ его сообщникомъ Сперанскаго, -- но въ умахъ болъе свъжихъ и чуткихъ этотъ подъемъ національнаго чувства положилъ основу для гораздо болье глубокаго пониманія истинных потребностей національной жизни".

(Π ыпин \mathfrak{d}).

Это патріотическое воодушевленіе, быстро впрочемъ выродившееся въ самохвальство, немедленно отразилось на литературѣ. Въ то время какъ Жуковскій воспѣваль русскихъ вонновъ своими звучными стихами, — С. Глинка собиралъ въ своемъ журналѣ ("Русскій Вѣстникъ") анекдоты о храбрости, отвагѣ мудрости и неустрашимости русскихъ людей; подъ громъ пушекъ былъ основанъ "Сынъ Отечества", быстро пріобрѣвшій громкую извѣстность и не мало подписчиковъ; нѣсколько позже появился "Пантеонъ славныхъ россійскихъ мужей". Судя по этимъ взданіямъ, можно подумать, что у россіянъ закружилась голова отъ грома побѣдъ, отъ занятія Парижа, отъ міровой роли своей страны. А между тѣмъ внутри дѣла шли все хуже: готовилось господство Аракчеева, а потомъ Магницкихъ и Руничей. Другія же послѣдствія 12-го года оказались гораздо позже.

Можно такимъ образомъ сказать вообще, что тонъ журнальной литературы эпохи императора Александра I-го задалъ Карамзинскій "Въстникъ Европы". Всё журналы наперерывъ старались быть интересными, сантиментальными и разнообразными. Отечественная война сдълала ихъ патріотами. Имъ надо отдать ту справедливость, что они стояли на высотъ умственныхъ требованій современниковъ, иногда предупреждали ихъ, а часто шли навстръчу ихъ ничтожнымъ вкусамъ. Эта журналистика интересна лишь какъ вступленіе къ настоящей т. е. руководительницъ духовной жизни общества которая создана позже Полевымъ и Бълинскимъ.

Такимъ же вступленіемъ къ Грибовдову и Пушкину является и художественная литература разсматриваемой эпохи. Разсматривать ее съ психологической или эстетической точки зрвнія у меня ністъ рішительно никакой возможности. Общественнаго же настроенія и хода русской мысли она не отражала. И мив достаточно напомнить общепзвістныя ниена Жуковскаго, Озерова, Гибдича, Ватюшкова, чтобы въ этомъ случать считать свою задачу поконченной. Нужна была не ихъ сила и не ихъ дарованіе, чтобы вывести русскую литературу изъ роли покорной и большею частью малоуспівающей ученицы Запада. Нуженъ былъ Пушкинъ, чтобы вскрыть то, что таилось въ народномъ одушевленія 12-го года и въ неясныхъ преобразовательныхъ грезахъ первой половины царствованія Александра I.

· **А**. **С.** Пушкинъ. (1799 –1837).

Бълинскій о Пушкинъ. "Писать о Пушкинъ, — говорить Бълинскій, — значить писать о цълой русской литературъ: ибо какъ прежніе писатели объясняють Пушкина, такъ Пушкинъ объясняеть послъдовавшихъ за нимъ писателей". Въ своемъ разборъ Бълинскій намъренъ держаться правилъ реальной крптики и, не ограничиваясь областью одной эстетики, опредълить связь писателя съ обществомъ, вникнуть въ духъ того времени, когда онъ явился и дъйствовалъ.

Задача, какъ всякій видить, широкая и въ сущности—единственно нужная, такъ какъ ни оть какого критика ничего большаго и требовать нельзя, и ужъ никакъ не вина Бълинскаго, что онъ не исполнилъ ее полностью. Конечно, сидя за своей конторкой, онъ могъ сколько угодно "вникать въ духъ своего времени", но увы, всё пути сообщить о результатахъ этого вниканія своимъ читателямъ были для него заказаны. Мнё кажется, это обстоятельство болёе всего помішало Бълинскому достигнуть художественной полноты труда. "Духъ времени" 43—46 гг., когда Бѣлинскій писалъ свои статьи, и 33—37 гг.—самаго критическаго періода жизни Пушкина, былъ въ сущности тотъ же самый, а если и измінился, то скорбе невидимо, чёмъ видимо,— тамъ, гдё-то въ подземныхъ слояхъ бытія, и по поводу этого духа Бѣлинскій конечно могъ бы сказать намъ

многое интересное, но онъ только намекнуль на это интересное въ своихъ письмахъ, въ статъв же ограничился однимъ академическимъ "принимая во вниманіе духъ времени" и только. Избежать недочетовъ при такой обстановке дёла невозможно. Но такъ какъ мы знаемъ, приблизительно впрочемъ, какъ смотрелъ Белинскій на духъ Пушкинской эпохи, то и не въ праве упускать этихъ его взглядовъ при чтеніи его великоленныхъ статей, что впрочемъ дёлали до сей поры совершенно безпечно. Иначе мы будемъ совсёмъ неправы къ нему, и самыя драгоценныя страницы, которыя только у насъ есть о Пушкине, наполовину пропадуть для насъ.

Бълнискій видъль въ Пушкин'в прежде всего артиста и художсника, въ этой артистичности видълъ "пафосъ" его поэзін и, какъ артиста, страстно любилъ его. Но въ то же время ему казалось, что великій поэть "прячется" въ своемъ геніальномъ художественномъ дарованін, -- прячется отъ тревожнаго духа времени, отъ его запросовъ и не чувствуеть при этомъ никакого раскаянія. Этого, какъ онъ ни старался, онъ совствиъ ему простить не могъ. Отсюда иткоторая двойственность отношенія, нікоторая боязнь отдаться своимъ восторгамъ, неизбіжныя, все гозраставшія оговорки, такъ участившіяся къ концу статей, и какой-то слишкомъ уже разсудительный окончательный приговоръ. Туть еще далеко до шестидесятыхъ годовъ, до того настроенія, когда и Полонскій сказаліъ: "Поэтомъ можещь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ", —но уже чувствуется, что почва, когда обострившаяся граждянственность призоветь къ себъ на судъ Пушкина за то, что онъ только поэтъ, расчищается, что этотъ призывъ будетъ не случайностью и что его можно было предвидеть за 15--20 летъ до того.

Я приведу нѣсколько выписокъ и пусть тоть эти штрихи возстановять въ памяти читателя блѣдное воспоминание о томъ лучшемъ, что есть у насъ о Пушкинѣ,—о статьяхъ Бѣлинскаго и ихъ двойственномъ, колеблющемся настроеніи:

"Муза Пушкина—это дъвушка-аристократка, въ которой обольстительная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородной простотой, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще болъе возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сдълалась ей природой...

"Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборъ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всъ предметы были равно исполнены поэзіи...

"Онъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому ученію, ни къ какой доктринъ, въ сферъ своего поэтическаго міросозерцанія онъ, какъ художникъ по преимуществу, былъ гражданинъ вселенной, и въ самой исторіи, такъ же, какъ и въ природъ, видълъ только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій.

Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Если бъ его натура была другая и онъ шелъ по этому нествойственному ей пути, то безъ сомивнія это было бы въ немъ больше, чѣмъ недостаткомъ, но какъ онъ въ этомъ отношеніи былъ только въренъ своей натуръ, то за это его такъ же нельзя хвалить или порицать, какъ за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у него русые а не черные...

"Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтвержають нашу мысль объ его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубокость. и вмість съ тімъ такъ человічно, гуманно.

"И оно всегда проявляется у него въ формъ, столь художнически спокойной, столь граціозной. Что составляєть солержаніе медкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболъе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастія и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ, на все смотрить съ любовью и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свътла и прозрачна, она усмиряеть муку души и цълить раны сердца. Общій колорить поэзіи Пушкина и въ особенности лирической-внутренняя красота человъка и лельющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человъческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человъческое а не животное, то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здёсь разумень не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна: нътъ, каждое чувство. лежашее въ основани каждаго его стихотворенія, изящно, грацісано и виртуозно само по себъ, это не просто чувство человъка, а чувство человъка-художника, человъка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, ивжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствъ Пушкина"...

Выше я подчеркнуль несколько строкъ насчеть того, что "Пушкинъ и въ самой исторіи, и въ природе видель лишь матеріаль для поэтическихъ концепцій" и что за это его такъ же мало можно обвинять и оправдывать, какъ человека вообще за его черные или русые волосы. Пушкинъ следоваль своей натуре—въ этомъ вся суть. Но ведь точка зренія на природу и исторію—какія все это большія слова—только какъ на матеріаль для художественныхъ концепцій можеть, съ одной стороны, повести Богъ знаетъ куда—къ полному равнодушію къ людямъ и ихъ судьов, а въ крайнемъ, извращенномъ случав даже къ устройству надъними всевозможныхъ экспериментовъ, съ другой—совершенно не соответствуетъ "духу времени", все боле рвущемуся къ самосознанію и гражданственности. Оттого-то Белинскій и говорить довольно жестоко:

"Какъ бы то ни было, но по своему воззрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного

великаго поэта. Духъ *анализа*, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи".

Словомъ, время исключительной художественной артистичности, надъ которой Бълинскій подсмънвался (отчасти и побанвался ея), по его митнію прошло. Настало другое, когда мышленіе, "полно любви и ненависти", но—увы,—ни той, ни другой не зналъ Пушкинъ. Поэтому, онъ—"властитель думъ лишь своего поколънія". Эту свою точку эртнія Бълинскій особенно хорошо высказалъ въ разборъ "Сцены изъ Фауста".

Какъ бы то ни было, Бълинскій сдълаль все, что могь, все, что требовало его время для оцънки Пушкина. Эстетическая часть этой оцънки, особенно разборь "Евгенія Онъгина", "Бориса Годунова", лирическихъ пьесъ и драматическихъ опытовъ превосходны и такъ же свъжи и оригинальны въ наши дни, какъ и въ дни своего появленія. Великій критикъ заканчиваеть свою статью словами:

"Заключаемъ: Пушкинъ былъ по преимуществу поэтомъ-художникомъ и больше ничемъ не могъ быть по своей натуре. Онъ далъ намъ поезію, какъ искусство, какъ художество. И потому онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзін, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежить ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумъя подъ этимъ словомъ безконечное уважение къ достоинству человъка, какъ человъка. Несмотря на генеалогическіе свои предразсудки, Пушкинъ, по самой натуръ своей, быль существомъ любящимъ, симпатичнымъ, готовымъ отъ полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему "человъкомъ". Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характеръ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много дътски-кроткаго, мягкаго и нъжнаго. И все это отразилось въ его изящныхъ созданіяхъ. Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будуть образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство"...

Бълинскій, какъ мы видниъ, смотрълъ на Пушкина совершенно трезво и, преклоняясь передъ его геніемъ, дълалъ оговорки съ точки зрънія своего времени. Бытъ можеть, вся его ошнока заключалась въ томъ, что онъ мьстами противопоставлялъ поэзію Пушкина кодексу радикальныхъ убъжденій 40-хъ годовъ, а не тому, чему ее дъйствительно слъдуетъ противопоставлять—мертвой казенщинъ и бюрократическому формализму 20-хъ и 30-хъ годовъ, подъ которые она подкапывалась самымъ вольнымъ духомъ своимъ. О, конечно, въ этомъ послъднемъ случать ея все еще плохо оцъненная обновляющая роль должна выказаться съ особенной яркостью, во всей своей нетлъвной крассть.

Пушкинъ въ исторіи. О Пушкинъ писано и переписано, и, замъчательно, что вы въ этихъ поистинъ безчисленныхъ статьяхъ почти не найдете двухъ одинаковыхъ митий, и разнообразіе ихъ прямо одуряющее, чувствуещь, что какъ будто очутился среди несыгравшагося оркестра со всевозможнъйшими пиструментами и артистами, начиная отъ первоклассныхъ п кончая совствъ "малыми и писколько не безсмертными". Это съ любой точки зрвнія характерно, такъ какъ указываеть и на трудность задачи, и на сложность натуры Пушкина, и на разнообразіе мыслей и настроеній въ его книгахъ иногда поразительное. Онъ возбуждалъ къ себв любовь, доходившую до преклоненія, онъ возбуждаль и презрівніе, и ненависть, полубогь, пророкъ-предвозвестикъ — для однихъ, онъ оказывался пустымъ, хотя и ловкимъ стихоплетомъ для другихъ; вызывая въ себъ огронное внимание со стороны почти всьхъ выдающихся людей пережитыхъ нами эпохъ, онъ накопилъ на своей характеристикі сліды самых различных исторических настроеній, порою случайныхъ, и все же знаемъ мы его очень мало... Но все же ясно, что огромное большинство писавшихъ и говорившихъ о Пушкинъ чувствовали, что передъ ними литературное явленіе прямо исключительное, дійствительно важное и часто поразительное по своему вліянію на умы. Распредъляя въ одномъ изъ разговоровъ съ Сергъенко вліяніе разныхъ представителей на ходъ развитія нашей общественной мысли по процентамъ, Толстой наибольшое ихъ количество уділиль Пушкину — именно 180/о тогда какъ на долю, напримъръ, Герцена досталось всего 100/о, а Тургенева и этого меньше- $-7^{0}/o$. Конечно, можно спросить себя, почему собственно $18^{0}/o$, а не 15^{0} /о или 20^{0} /о, можно было бы пожелать, чтобы Л. Н. Толстой высказался о смысле этого вліянія, но все же то важно, что мысль объ этихъ 180/о несомивно присутствовала въ головъ большинства критиковъ Пушкина - даже Писарева.

Особенно интересны наслоенія исторических эпохъ и ихъ наростаніе на оцінкі нашего великаго поэта. По его поводу каждой изъ этихъ эпохъ надо было сказать что-нибудь дійствительно свое собственное и выставить дійствительно свою точку зрінія. Превосходно предсказаль это Бітлинскій:

"Пушкинъ принадлежитъ къ въчно живущимъ и движущимся явленіямъ, не останавливающимся на той точкъ, на которой застала ихъ смерть, но продолжающимъ развиваться въ сознаніи общества. Каждая эпоха произноситъ о нихъ свое сужденіе и какъ бы ни върно поняла она ихъ, но всегда оставитъ слъдующей за нею эпохъ сказать что-нибудь новое и болъе върное, и ни одна и никогда не выскажетъ всего"...

Бълинскій быль правъ: оцънки Пушкина мы не имъемъ, зато "своихъ сужденій"—сколько угодно. И кажется, ближайшая причина такого невеселаго явленія ясна: въ Пушкинъ хотъли видъть учителя жизни, чъмъ онъ

никогда не быль и даже не хотыль быть, какъ хотыли того изъ равныхъ ему Гоголь, Достоевскій, Толстой. Поэтому одни, не видя въ немъ учителя, обижались, другіе же, видя въ немъ учителя, естественно ошибались. И мы въ точности знаемъ только то, что въ нашей жизни Пушкинъ—величина огромиваймая, хотя насчеть количества процентовъ вліянія можно все еще спорить много, долго и безрезультатно.

Только въ томъ я нисколько не сомнъваюсь, что для 20-хъ годовъ Пушкинъ имълъ гораздо больше значенія, чтих для нашихъ дней: тогда онъ дъйствительно былъ "любимцемъ публики", теперь можно говорить скорте объ уваженіи къ нему, даже о преклоненіи передъ его геніемъ, чти о любви, но живая связь между поэтомъ и обществомъ не могла уже не порваться за слишкомъ 60 лтть, всякіе виды видавшихъ и имтьшихъ столько другихъ любимцевъ.

Я нискомько не отрицаю, что, быть можеть, настанеть день, и значеніе Пушкина станеть еще большим, чёмъ въ то далекое оть насъ время. Но я сомвѣваюсь, чтобы наши дни могли быть сколько-нибудь соотвѣтствующей обстановкой для поэзіи Пушкина. Наши дни — все еще "дни скорби и печали", дни напряженныхъ понсковъ счастья и истины, дни ожесточенной борьбы человѣка съ человѣкомъ, и можетъ ли найти полные отзвуки своему господствующему настроенію Пушкинъ—этотъ "поэть свѣтлой жизни", какъ превосходно назваль его Вл. С. Соловьевъ? Пусть наша тяжелая и грустная эпоха, требующая ежедневно столько и столько человѣческихъ жертвъ, придавившая человѣка своей артиллеріей, крѣпостями, мониторами, безчисленными машинами, — "пусть смѣнится она свѣтлой жизнью", пусть обида, таящаяся въ нашемъ сердцѣ, обида сжедневно начоснымая намъ неправдой, дастъ мѣсто лучшему, болѣе ралостному настроенію, и, думаю, Пушкинъ возродится во всемъ прежнемъ своемъ блескѣ величія.

Еще въ 1839 году Варнгагенъ, одинъ изъ умивашихъ людей своего времени, написалъ о Пушкинъ прекрасную статью, гдъ, опредъляя значеніе Пушкина, говоритъ между прочимъ:

"...Но отъ Байрона отличается Пушкинъ существенно уже тъмъ, что онъ тотчасъ же противопоставляетъ скукъ и исполненной сомнънія досадъ, тоскъ объ утраченномъ и недостижимомъ счасть в — свъжую веселость, которая освъщаетъ его поэзію подобно солнечному лучу и при непріятныхъ происшествіяхъ и отчаяніи чувствъ сохраняетъ утъшеніе и надежду.

"Въ этомъ направленіи къ веселости, добру и силъ, которое укръпляетъ сердце и возбуждаетъ духъ, можно его сравнить съ Гете.

"Истинное поэтическое призваніе основано собственно на томъ, что поэзія есть радость и утішеніе, и только для того снисходить ко встыть

скорбямъ и страданіямъ. Воодушевляющую, живительную силу Пушкива можетъ испытать всякій, кто имъ занимается. Онъ столько же приверженъ къ комическому и шуткъ, какъ и къ трагическому и страстному, по преобладаетъ у него иронія, и до такой степени, что онъ часто достигаетъ въ высочайшемъ смыслѣ юмора. Его веселость всегда составляеть основное настроеніе, которому прочія настроенія служать твнями. Выраженіе его также выказываетъ такой характеръ: вездъ быстрая краткость, свѣжія, сжатыя картины, яркіе блестки ума, рѣзкіе обороты. У рѣдкаго поэта встрѣчаетея менѣе слѣдовъ изысканности, отступленій кълюбви, безполезныхъ распространеній, его естественность довольствуется самымъ простымъ словомъ, быстро охватываетъ и оставляеть каждый предметь, его пылкое воображеніе, исполненное искренности и величія, его то нѣжная, то ѣдкая острота,—все соединяется къ тому, чтобы произвести пріятное, благотворное впечатлѣніе на читателя, всегда заинтересованнаго и всегда свободнаго, никогда не терзаемаго".

Характеристика Пушкина. Конечно, поэзія Пушкина не сплошная прсиру частрующий разрость, но и не союсь несколько обидъть его великую тънь, сказавъ, что его мораль была прежде всего моралью эпикурейца, а наша ниветь другой, болве супрачный общественно-подвижениескій характерь. Это мораль тяжелая, требовательная, возлюбившая страданія жизни, совъстливо отстраняющаяся отъ ея радостей, мораль отвътственности, раскаянія, и грознаго: "ты должень". Да, Пушкинь, прежде всего, по преимуществу поэть светлой жизни. Меткія замечанія Варнгагена на этоть счеть давно оцівнены между прочимь и такимь серьезнымь ученымь, какъ А. Н. Пыпинъ, который говоритъ: "въ поэзіи Пушкина сказались другіе мотивы: удивительная свежесть и сила его таланта предохранили его оть романтического мистицизма. Это быль, напротивь, поэть наслажденія живой дъйствительности, романтические порывы его фантазін обращались къ русской народной жизни, и русская поэзія впервые усвоила здісь истинно народные мотивы. Вліяніе Байрона отразилось у Пушкина тімъ разочарованіемъ, которое впоследствін прошло целой полосой въ нашей поэтической литературъ. Байроновское вліяніе было чужимъ элементомъ въ поэзін Пушкина, которая вскор'в и освободилась отъ него; Пушкинъ не могъ даже понять байроновскаго отрицанія во всей силь его общественно-политическаго и философскаго значенія, - но это вліяніе не было однако случайностью. Оно отв'вчало его тогдашнему либеральному настроенію, недовольство настоящими порядками, съ одной стороны, дълало для него сочувственнымъ байроновское отрицаніе, съ другой-внушало его свободолюбивыя стихотворенія". Если же теперь мы считаемъ-правильно или неправильно, что безразлично-пскание радостей жизни чемъ-то презръннымъ и даже буржуванымъ, если, по нашему мивнію, человъкъ не можетъ жить вполив правственно, не принимая постоянно во вниманіе своей отвътственности передъ обществомъ и своей зависимости отъ него — то какъ можемъ мы вполив оцънить поэта наслажденія, радости и свътлой жизни и въ состояніи ли мы съ легкимъ сердцемъ повторить хоть бы такую воть программу жизни:

Но не хочу, о други, умирать, Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать, Я въдаю: мнъ будутъ наслажденія Межъ горестей, заботь и треволненья, Порой опять гармоніей упьюсь, Надъ вымысломъ слезами обольюсь И можетъ быть—на мой закатъ печальный Блеснетъ любовь улыбкою прощальной.

Пушкинъ—поэтъ прошлаго и, надъюсь будущаго, но для того, чтобы быть поэтомъ настоящаго, въ его "лиръ" не достаетъ многихъ и многихъ струнъ. Мнъ кажется, что желаніе сдълать его "руководителемъ" и вызывало десятки разъ прямо отрицательное и жестоко несправедливое отношеніе къ нему и со стороны Полевого, и Писарева и отчасти даже со стороны Бълинскаго.

Не то, совершенно не то было въ двадцатые годы, когда слава Пушкина поднялась сразу, затмила собою другія, когда его геній разрушиль на дорогь искусства всь преграды, разбросаль, какъ пухъ, тяжелыя бревна классическихъ теорій, когда онъ возбуждалъ восторги, любовь, поклоненіе, ненависть, недоумение, когда его стихи быстро разлетались по всей Россіи, жогда онъ действительно быль центральной фигурой умственной русской жизни... Каждый конечно знаеть, чемь были двадцатые годы, и я лишь въ самыхъ общихъ чертахъ напомню ихъ характеристику. Время было тяжелое, мрачное, съ черной тучей аракчеевщины, нависшей надъ вимъ, но далеко не безъ просветовъ. Съ одной стороны — Аракчеевъ скучный, тусклый и жестокій, стремившійся превратить всю Россію въ одно огромное военное поселеніе, уставить ее рядами домиковъ, окрашенныхъ въ мутно-струю краску съ плацъ-парадами на извістныхъ разстояніяхъ другь отъ друга,--где бы люди вставали и ложились, объдали и ужинали, работали и экзерцировались, шли подъ вънецъ все подъ тоть же однообразный бой барабана, --- люди, одътые въ ту же форму, съ невольными товарищами и даже женами, "одинаковаго роста", безъ мысли, безъ чувства, съ одной готовностью быть машинами и только,---или князь Голицынь, напвный п добродушный мистикъ, дов'врчивый и недалскій, любившій всякія кувырканья съ будто бы религіозной целью и действовавшій то по наущеніямъ кликушъпроходинцевъ, то по внушенію Магницкаго, одного изъ крупнъйшихъ предателей того времени, — или архимандрить Фотій, мечтавшій разыграть роль Сильвестра, усвонвшій его излюбленные пріемы внезапныхъ появленій, страшныхъ угрозъ и ни капли его бодраго честнаго духа, узкій фанатикъ и едва ли не поврежденный въ разумъ, своемъ, которому лишь обстоятельства помъшали добиться перваго мъста, -- или общій тонъ, общее направленіе "политики", разв'єрпвинейся въ самой себя, боявшейся всякаго крошечнаго проявленія человітческаго въ человікі, —политики, полной противорѣчій и находившей успокоеніе и конечную свою пѣль въ общемъ окостенвнін... Воть что мы видимь съ одной стороны. Съ другой-небольшая кучка романтически настроенныхъ людей, съ честивищими сердцами и горячей головой, побывавшихъ на Западъ, видъвшихъ ту далекую жизнь и мечтавшихъ о томъ, чтобы не дать остыть великому одушевленію, охватившему Россію въ 1812 году, не дать народу, посвободившему Россію единственно своимъ беззавътнымъ мужествомъ, пребывать въ унизительномъ и постыдномъ состояніи рабства и нев'єжества". Были гоненія на все живое самостоятельное, на всв ростки будущаго, было и смутное брожение умовъ и, въ основъ всего, народъ грубый, молчаливый, съ непреоборимой силой терпізнія и вірой въ судьбу, наполнявшей все существо его и дававшей ему могучую силу молча страдать и терить. Многіе помнили еще первые годы царствованія Александра I-го, ихъ радужныя надежды, ихъ несбывшіяся мечтанія, ихъ общій радостный тонъ, когда казалось, еще немного доброй воли, - еще нъсколько шаговъ впередъ п "надъ отечествомъ, свободой просвъщеннымъ", взойдетъ дъйствительно прекрасная и свътлая заря новой жизни. И черная туча аракчеевщины, медленно и верно раздвигавшая свои тяжелыя крылья надъ всей страной, раздражала, выводила изъ себя, вызывала негодованіе, Молодежь предавалась романтическимъ грезамъ. Вотъ, напр., что дъналось въ Царскосельскомъ лицев того времени:

"Исторія первыхъ годовъ лицея, --пишеть г. Пыпинъ, —достаточно извъстна, первый кружокъ лицейскихъ воспитанниковъ освъщается личностью Пушкина-мальчика, потомъ юноши, который, по выходъ изъ лицея тотчасъ занимаетъ высокое мъсто въ русской литературъ. Вокругъ него сближаются всъ поколънія литературы, отъ Державина, котораго овъ привелъ въ восторгъ, до самаго юнаго поколънія, въ которомъ поэзія Пушкна господствовала безраздъльно.

"Лицейское воспитание началось подъ впечативніями двинадцатаго года, первый выпускъ воспитанниковъ оставиль лицей въ тотъ періодъ, когда молодая часть общества, особенно аристократическо-военнаго, была полна идеальными гражданскими увлеченіями". Ближайшій лицейскій другъ Пушкина, И. И. Пущинъ тотчасъ по выходъ изъ лицея вступиль въ первое тайное общество основанное въ 1817 г. Самъ Пушкинъ не быль

его членомъ ни теперь, ни послѣ, но онъ подозрѣвалъ, потомъ положительно зналъ о его существованіи, иногда самъ порывался вступить въ него,—но его не принимали, отчасти бережливо охраняя геніальнаго поэта отъ роковыхъ случайностей тайнаго общества, отчасти не довъряя его подвижному, непостоянному характеру".

Въ Пушкинъ, конечно, былъ вольный духъ, много вольнаго духа, но не въ формъ политическихъ мечтаній п "необходимыхъ преобразованій общественности", а совершенно въ другой. Его живая натура, гордая и свободолюбивая, капризная и радостная, не могла ни на мннуту мириться съ тусклымъ и чаднымъ духомъ аракчеевщины; она требовала себъ простора и свободы, и эта боязнь передъ жизнью, которую старались заключить въ казармы, этотъ общій страхъ передъ "человъкомъ" — то пугали, то смъщили его. Послъ первыхъ же его полудътскихъ стихотворныхъ опытовъ, отъ него ждали страшно много, и ждали лучшіе люди того времени. Пушкинъ не обманулъ.

"Въ обществъ этого времени, - продолжаетъ А. Н. Пыпинъ, - среди увлеченій либерализмомъ и столкновеній съ дъйствительностью, развилась цълая легкая литература, не попадавшая въ печать, - литература, гдъ недовольство и остроумная насмъшка сдерживались тъмъ меньше чъмъ больше цензура стъсняла ихъ въ печати. Въ то время, какъ либералы тапнаго общества приходили къ убъжденію въ испорченности различныхъ формъ русской жизни, въ необходимости для нея новыхъ идей и учрежденій, эта литература -- безъ всякой связи съ тайнымъ обществомъ-дъйствовала противъ тъхъ же людей и вещей, которые, по мивнію общества, были виною застоя и бъдствій русскаго народа, противъ смъшныхъ и уродливыхъ явленій жизни. Остроуміе Пушкина было неистощимо въ эпиграммахъ, мелкихъ и крупныхъ стихотвореніяхъ, выражавшихъ это зарождение пезависимаго общественнаго мития. У насъ всего чаще ославляли этотъ разрядъ стихотвореній Пушкина какъ дъло легкомыслія, отъ котораго впослъдствін онъ самъ "торжественно отказывался". Правда, некоторыя изъ стихотвореній этой поры были только легкомысленны; зато въ очень многихъ другихъ эпиграмма наводила и на серьезныя мысли, или легкомысленная форма оправдывалась самой сущностью дъла: чемъ, въ самомъ дель, надо было действовать противъ людей, противъ которыхъ безполезно, а кромф того и невозможно было бы спорить инымъ образомъ? Таковы были его эпиграммы на кн. А. Н. Голицына, Аракчеева, архим. Фотія и другія подобныя. Это было единственное возможное отмщеніе за нарушаемый здравый смыслъ. Стихотворенія Пушкина ходили по рукамъ, переписывались, читались наизусть. "Не было живого человъка, который не зпалъ бы его стиховъ", - говорятъ современники, и этому можно повърить, потому что и тридцать лътъ спустя эти стихотворенія ходили по рукамъ въ тетрадкахъ и усердно переписывались, когда потерялась уже и ихъ современность".

Этпин колкими эпиграммами, --- ничуть не презрънными и, къ счастью,

оцівненными уже по достопиству такими серьезнійшими людьми науки, какт. Пыпинъ, — часто пробивавшими иначе непроницаемыя шкуры, Пушкинъ шелъ рука объ руку съ лучшей частью общества. Имъ-то, быть можеть, онъ обязанъ большею частью своей первоначальной славы, благодаря имъ онъ такъ поразительно скоро еділался любимцемъ публики, ея баловнемъ, славой и гордостью.

Но у него, кром'в "тусклой аракчеевщины", голицынской хлыстовщины, мракоб'всія Магницкаго, лицем'врія Фотія и пр., быль и другой врагь, свившій себ'в гивіздо въ самой дорогой для поэта области — области искусства. Туть тоже царила дисциплина, туть тоже были свои плацъ-парады, свои фельдфебели, обучавшіе по регламенту французкихъ теорій и такъ же строго пресл'вдовавшіе за нарушеніе единства д'вйствія, или отсутствіе лирическаго безпорядка, или пренебреженіе къ александрійскому стиху, какъ строго наказывалось въ строю плохое равненіе или "носки вивсть", или еще что-то такое, чего теперь умъ челов'вческій не можеть и постигнуть, были и свои генералы "вс'в важны, въ сорокъ пудъ", въ род'в Петрова или Хераскова, которыхъ хотя и мало читали, но передъ которыми искренно благогов'вли за ихъ воспареніе духа, за кимвалы бряцающіе пуъ поэзін, за м'ядь звенящую ихъ лиризма, за в'яный громъ поб'єды въ ихъ стихахъ и гигантскую черецаху ихъ вдохновенія.

Ни "легкій" таланть Богдановича, пи геній Державива, ни даже романтика Жуковскаго съ ея дъвами, луной, мертвецами и часто вонстину превосходнымъ стихомъ не могли разбить этихъ оковъ, опутавшихъ только протиравшее себъ послъ въкового сна очи россійское творчество.

Все равно, какъ "система" Аракчеева считала совершенно невозможнымъ подойти къ человъку просто, предварительно не оглушивъ его, такъ точно и поэзія того времени оглушала читателя или эпическимъ бубномъ, пли лирическимъ кимваломъ и патріотическимъ бряцанісмъ. Въ превосходной пародій на оду гр. Хвостова Пушкинъ осмъялъ, и уже разъ навсегда, эту музу поэзіп "болье похожую на патріотическую Феклу, самолично перебившую 40 тысячъ китайцевъ, чъмъ на изящную грацію древности":

Султанъ ярится. Кровь Эллады
И рѣзко скачетъ, и кипитъ.
Открылись грекамъ древни клады,
Трепещетъ въ Стиксъ лютый Питтъ,
И се—летитъ предерзко судно
И мещетъ громы обоюдно.
Се Байронъ, Феба образецъ,
Притекъ, но педугъ быстропарный,
Строптивый и неблагодарный,
Внесъ смерти на него рѣзецъ. И пр.

Рядомъ съ этими троглодитами русскаго Парнаса дъйствовали и троглодиты русской критики. Надо представить себ' ихъ недоуменіе, часто переходившее въ гнівъ, когда передъ ними съ веселой усміникой предстала поэзія Пушкина, съ виду легкомысленная и капризная и въ то же время такая прекрасная. Не спрашивая ни у кого ин совъта, ни указаній, зародившаяся гив-то тамъ, налеко отъ всякихъ теорій, пінтикъ и риторикъ, ув'єренная въ себъ, ръзвая и блестящая, какъ сама юность, она явилась передъ сонными глазами этихъ наивныхъ мудрецовъ, измерявшихъ поэзію ея тяжеловъсностью. Она не боялась никого, смъялась надо всъмъ и вышла на свою собственную дорогу сразу безъ всякихъ усилій и потугъ. Конечно. критика троглодитовъ не опънила и не могла оценить ее, но Пушкину этого и не надо было: его опънила публика и опънила очень дружно. "Вольнымъ духомъ", неслыханной до сей поры смелостью мысли, легкостью ея выраженій въяло оть каждаго прихотливаго стиха юнаго поэта. Ясно было, что юный поэтъ какъ-то особенно смело и свободно смотрить на всю окружающую его жизнь, на все тяжеловесныя теоріп и почтенные ствин. Неожиданными шутками вызывала эта поэзія невольную улыбку, и эта улыбка разгоняла дремоту мысли, боролась безъ устали со спячкой мозга и точно подходила къ каждому съ привътомъ разсказать, что солеце встало, что оно горячимъ свътомъ по листамъ затрепетало. И тутъ суть дъла заключалась не столько въ дъйствительномъ, реальномъ содержаніи,--такъ какъ, что, на самомъ дъль, за содержание въ "Русланъ и Людинлъ", напр.? — сколько въ отношени къ жизни, къ формъ стиха, порядку и стройности изложенія, и-въ этомъ юномъ задор'є генія... Точно радостный и веселый богь въчной юности, неувядающій Кришна явился въ сониъ другихъ боговъ, где медленно жевалъ свою жвачку быкъ-Шива, чавкалъ огромный крокодиль Муггерь и ревыть "осель съ расщепленнымъ носомъ". Если борьба и началась, то исходъ ея быль ясенъ съ самаго начала. Когда читателю предлагали на выборъ: "вотъ поэма, составленная по всемъ правиламъ, прочти которую, ты отупесть" или: "вотъ стихи: прочти иль, и ты восчувствуеть радость бытія, смелый порывь къ новой свободной жизни" — съ его стороны не могло быть сомивнія. Аристархи удалились на очередное засъданіе, гдъ и заснули навъки, а молодая критика пошла за Пушкинымъ, следя за каждымъ его произведениемъ, учась у него тому, что есть истинное искусство... Успъхъ былъ колосальнымъ.

Въ 20-хъ годахъ Пушкинъ не слышалъ другихъ прозвищъ, какъ "полночная звъзда", "съверное сіяніе на снъжныхъ пустыняхъ нашей словесности", "Любимецъ Публики" (съ большой буквы); но еще не успъли кончиться эти наивные 20-ые годы, какъ картина ръзко измъняется. Публика перестала понимать своего Любимца, а поэтъ, повидимому, пере-

сталъ хотъть понимать свою Публику. Разладъ обнаружился какъ-то сразу и ръзко, и восторжествовала всякая мелкая литературная сошка—и, увы, даже не сошка. Что такое случилось и кто виновать? Вопросъ тъмъ болье любопытный, что, въ сущности говоря, и въ шестидесятыхъ годахъ по тъмъ же причинамъ говорилось то же самос.

Начиная съ тридцати-лътняго возраста, любимымъ мотивомъ его поэзіи является жалоба на увяданіе юности, на холодность чувства, на ръдкость вдохновенія:

Душа, какъ прежде, каждый часъ Полна томительною думой, Но огнь поэзіи погасъ. Ищу напрасно впечатлівній. Она прошла, пора стиховъ, Пора любви, веселыхъ сновъ, Восторговъ краткій день протекъ И скрылась отъ меня навіжь Богиня чистыхъ піснопівній...

Въ этихъ преувеличенныхъ жалобахъ слышится дъйствительная, глубокая грусть. Мит нечего разсказывать общензвъстныхъ фактовъ его біографіи, изъ которыхъ несомивно, что перемъна витшихъ обстоятельствъ его жизни въ значительной степени отразилась и на самомъ его характеръ. Вольный духъ юности, въчная готовность къ протесту, насмъщка надъвствиъ отжившимъ и отживающимъ, броженіе неустановившагося ума, — словомъ, все то, что такъ привлекало къ Пушкину покольніе 20-хъ годовъ, исчезло, такъ какъ не могло не псчезнуть. Съ одной стороны, Пушкинъ попытался "укротить свою свободную лиру изсколькими оффиціальными струнами", съ другой, въ немъ происходилъ дъйствительно серьезный и важный внутренній перевороть, разсмотръть и оцънить который было не легко, едва ли даже возможно.

Онъ началь съ участія въ масонской ложів, той самой ложів, "наъ-за которой были закрыты всів остальныя"...

Членомъ ложи былъ Грибовдовъ, въ степени мастера, и въ масонской должности находимъ "офицера гусарскаго" Чаадаева, которому Пушкинъ въ это самое время, въ 1818 г., писалъ свое посланіе, гдв находятся навъстные стихи:

...Пока свободою горимъ, Пока сердца для чести живы, Мой другъ, отчизнъ посвятимъ Души прекрасные порывы. Товарищъ, въры: взойдетъ она, Заря илънительнаго счастья, – Россія вспрянетъ ото сна... Но теперь отъ этого либерализма мало что осталось.

Въ немъ, повторяю, происходила важная внутренная перемъна, стремленіе сосредоточиться въ самомъ себъ, въ своемъ внутреннемъ міръ, отдать себъ отчеть въ смыслъ жизни, ея загадкъ, ея предназначеніи. "Подъ тридцать льтъ,— пишетъ В. С. Соловьевъ, прекрасно характеризуя этотъ періодъ развитія Пушкина,—ръшительно обозначается у Пушкина "смутное влеченіе чего-то жаждущей души", — неудовлетворительность игрою темныхъ страстей и ея свътлыми отраженіями въ легкихъ образахъ и нъжныхъ звукахъ. "Позналъ онъ гласъ иныхъ желаній, позналъ онъ новую печаль". Онъ понялъ, что "служенье музъ не терпить суеты", что "прекрасное должно быть величаво", т. е., что красота, прежде чъмъ быть пріятною, должна быть достойною, что красота есть только ощутительная форма добра и истины"...

Осматриваясь на свое прошлое, Пушкинъ опять-таки съ огромнымъ преувеличениеъ говоритъ:

Воспоминанія безмольно предо мной Свой длинный развивають свитокъ. И съ отвращеніемъ читая жизнь мою, Я трепещу, я проклинаю И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строкъ печальныхъ не смываю...

Или:

Безумныхъ лътъ угасшее веселье Мнъ тяжело, какъ смутное похмълье, Но, какъ вино, печаль минувшихъ дней Въ моей душъ чъмъ старъй, тъмъ сильнъй...

Туть есть значительный отказъ оть прошлаго, но разумвется, ни о какой измвив юности не можеть быть и рвчи. Все равно, какъ въ области поэзіи онъ не перешель къ александрійскому стиху, такъ и ни въ какой другой не перешель къ мракобъсію. Страшно рвзко измвинлся кругь знакомства, свободолюбивыя мечты не находили пищи ни въ лъйствительности, ни въ горячихъ рвчахъ, и Пушкинъ, нисколько даже не отказываясь отъ нихъ, просто-на-просто пересталъ ими вдохновляться. Но п выступившіе на сцену ввчные вопросы бытія, поэтъ, оставаясь въренъ себъ, ръшаеть также какъ истинный эпикуреецъ и даже въ самомъ характерномъ для эпикурейства направленіи, сближающемъ его съ стоицизмомъ.

...И пусть у гробового входа Младая будеть жизнь играть, И равнодушная природа Красою въчною сіять.

При такой точкъ зрънія очевидно, что центръ тяжести всъхъ жизненныхъ вопросовъ для человека внутри его "я", а не во внешнемъ міре. Повидимому, Пушкинъ стихійно стремился перейти на путь самосовершенствованія. Путь этоть, какъ нав'єстно, терепстый, и особенно тяжелы его первые шаги. Какъ-то невольно, незамътно для него самого, человъкомъ овладъваеть непабъжная гордыня. Возвысившись надъ собою, онъ думаеть, что возвысился и надъ всемъ остальнымъ; "читая съ отвращениемъ свою жизнь", онъ съ отвращениемъ начинаетъ читать и жизнь другихъ людей; увидя столько грязнаго, ничтожнаго въ самомъ себъ, онъ склоненъ выискивать только грязное и инчтожное въ окружающихъ. Туть и тъ духовнаго равновъсія, нътъ ясности и безпристрастія внутренняго міра, есть гнъвъ противъ прежнихъ ошибокъ, гнъвъ противъ ошибокъ міра, всегда соблазнительныхъ, всегда соблазняющихъ. Таниственная работа собственнаго "я", давшая толчокъ къ возроженію, занимаеть все поле эрвнія, переоцівнивается, выростаеть вы глазахы до размівровы огромной важности н закрываеть весь міръ.

Но—замъчательная черта—въ Пушкинъ и въ этотъ періодъ преобладаетъ поэтъ свътлой мысли. Ни одной мистической строчки нътъ въ его произведеніяхъ; соблазны мистики, такъ хорошо примиряющіе гордыню духа со смиреніемъ его, очевидно даже нензвъстны ему. Онъ твердо стоитъ на землъ и если мечтаетъ о безсмертіи, то развъ земномъ, такъ же, какъ и въ прежніе годы:

> Чтобъ обо мет, какъ втрный другъ,— Напомнилъ хоть единый звукъ...

Онъ не хочеть быть даже учителемъ жизни, не читаетъ никому ни совътовъ, ни нравоученій, ни въ чемъ никого не упрекаетъ и упрекать не хочетъ, ни передъ къмъ не выставляетъ себя примъромъ достойнымъ подражанія, огненнымъ столпомъ, который можетъ и долженъ быть единственнымъ руководителемъ въ пустынъ бытія. Онъ просто замкиулся въ себъ, загородилъ себя отъ общественныхъ треволненій, которыя, впрочемъ, были настолько незначительны, что отъ нихъ и загородиться не стоило ровно ничего. Богъ его юности—искусство, которому раньше онъ служилъ такъ своенравно и какъ бы шутя, все больше выросталъ въ его глазахъ по своему значенію и важности, требовалъ все новыхъ жертвъ, обновленнаго духа и обновленной жизни, и поэтъ съ гордостью человъка, познавшаго истинный путь, провозглашалъ:

Ты царь, ---живи одинъ...

Это не было просто романтическимъ взглядомъ на пскусство, а настоящимъ исповъданіемъ въры.

Обстановка, въ которую попаль Пушквиъ после 1825 года, не только не служила противовъсомъ его эстетическому индивидуализму, а, напротивъ того, всеми внушеніями и впечатленіями укрепляла въ немъ этотъ духъ. Онъ не слышаль болье вокругь себя страстныхъ рычей будущихъ декабристовъ или своихъ друзей-масоновъ и не получалъ ниоткуда ни мальйшаго толчка къ тому, чтобы интересоваться политикой въ широкомъ смысль этого слова. Посль сновидьній парствованія Александра I и безпокойной дремоты мысли, прельщавшейся романтическими конституціями, политика окончательно заснула и уже надолго. Где-то совсемъ-совсемъ въ тиши готовился общественный перевороть громадибйшей важности, но чтобы предвидеть исходъ этого процесса, совершавшагося за семью печатями, надо было быть уже не только прозорлявцемъ, но настоящимъ пророкомъ. Поле, устянное мертвыми костями, едва ли могло вдохновить такую живую, непосредственную и требующую все новыхъ и новыхъ впечатленій натуру, какъ натура Пушкина. Люди и посильнъе его, въ смыслъ общественнаго настроенія и общественнаго питереса, должны были сознаться, что въ этомъ смысле ихъ роль сыграна. Пушкинъ нашелъ верный для своей натуры выходъ въ искусстве...

Пушкина, какъ человъка, постоянно тянуло въ высшія, даже экзотическія сферы. Это черта різкая и для него характерная. Ему нужно было упиваться игрою ума, той обстановкой, которая, хотя и не безъ значительной примъси инжегородскихъ элементовъ, напоминала собой обстановку салоновъ 18-го въка, въ родъ салона Смирновыхъ. Нападать на него за это, я, откровенно говоря, не вижу никакой причины, и наши специфическіе на этоть счеть взгляды можно, пожалуй, оставить про себя. Быль ли Пушкинъ общественнымъ дъятелемъ въ нашемъ смыслъ слова? Конечно, нътъ. Былъ ли онъ проникнутъ демократическими тенденціями? Нисколько. Быль ли онъ подвижникомъ? Какъ разъ напротивъ. Онъ быль прежде всего великниъ поэтомъ, въ самомъ простомъ и понятномъ смысле этого слова. И, наконецъ, куда же было ему приткнуться? Въ народъ? Тогда объ этомъ никто и не думалъ. Въ журнальную среду? Но, за самыми ничтожными исключеніями, она представляєть нічто прямо непристойное. Къ интеллигенція? А гдъ въ то время находилась такая пителлигенція? Какъ разъ около самого Пушкина. Никто, разумъется, не мъщаеть намъ празднословить и ставить ему въ упрекъ отсутствие въ его жизни общественно-героическихъ поступковъ, но что же дълать, если онъ совершенио не быль способень на нихъ. Если бы онъ и совершиль начто подобное, то въ юности это объяснилось бы волненіемъ крови молодой, а послъ это было бы сознательной ложью въ отношеніи къ самому себ'в. Мн'в нажется, совершенно достаточно и того, что Пушкинъ не слился съ окружавшей его обстановкой, не проникся ни ея духомъ, ни ея симпатіями, все же оставался вёренъ себё до конца дней и, очевидно, лишь противъ себя заставлялъ звучать оффиціальную струну своей совершенно неприсиособленной къ ней лиры. За несліяніе онъ заплатилъ своею кровью, все равно какъ Чавдаевъ за свое непримиреніе—оффиціальнымъ титуломъ сумасшедшаго. И тотъ, и другой были лишь случайными пришельцами и гостями той эпохи, которая въ концё концовъ ненавидёла и гнала ихъ, гнала злобно и съ ожесточеніемъ и держала постоянно направленными свои копья противъ ихъ груди. Тотъ и другой были ранены смертельно—одинъ духовно, другой физически.

О Пушкинъ можно свазать, что новая обстановка, среди которой онъ очутился, только закръпила въ немъ его эстепическій индивидуализмъ. Это не нравилось уже въ 30-хъ годахъ.

Я говориль выше, что въ Пушкинъ цънили больше всего не изящество формы, не поразительную подвижность мысли, а вольный духъ, въ отношени къ чему бы онъ ни проявлялся. Когда онъ стихъ, когда вдохновение поэта выбрало для себя другое русло—его или перестали понимать, или съ упрекомъ указывали на прежнее. Доходили до странныхъ вещей—до полнаго отрицания въ немъ поэзип, до низведения его въ разрядъ ловкихъ стихотворцевъ.

Трагическая смерть Пушкина и цосльдовавшія за нею дуббельто-бенкендорфскія безобразія его отпіванія и похоронь въ очень сильной степени примирили съ намъ и критиковъ, и большинство публики. Правда, некрологи безжалостно вычеркивались цензурою и искажались ею до неузнаваемости, но по темъ отрывкамъ, которые дошли до насъ, можно видеть, что знаменитая фраза "солнце русской поэзін закатилось" была у каждаго на перъ. Поняли, что произошло нъчто важное, ужасное и непоправимое; поняли это не столько даже умомъ своимъ, сколько непосредственнымъ чувствомъ, и только схоласлика конца въка въ лицъ Вл. С. Соловьева попыталась доказать, что ничего во всемъ этомъ ни важнаго, ни непоправниаго не было, а случилось и вчто совершенно естественное и даже разумное, въ чемъ онъ, Вл. С. Соловьевъ, подписуется. Но въ то время произошло такъ, что критика точно раскаялась въ своихъ ничтожныхъ нападкахъ на великаго . поэта, и свои вънки на гробъ ему постаралась украсить самыми свъжнии и красивыми цвътами. Было почти полное единодушіе въ общемъ сожалівнін, и только люди бенкендорфской партін держались другого мнівнія и ликовали, и въ ликовании ихъ скрывалась ненависть... Какъ хотите, а въ

этой ненависти къ Пушкину такихъ людей, ненависти, не остывавшей ни на минуту въ теченіе слишкомъ 10-ти літь, есть много характернаго и не лишена она большого историческаго значенія. Нельзя никакъ объяснить ее тімъ только, что и лично Пушкинъ не ладилъ съ Александромъ Христофоровичемъ Бенкендорфомъ, позволяя себіз даже смізться надъ нимъ. Туть скрывалось нічто большее, туть былъ повиненъ тоть дукъ вольности, вольной мысли, царящій во всемъ, что вышло изъ-подъ пера поэта, духъ ненавистный властямъ аракчеевской школы. Этого они не могли простить никогда, потому что въ немъ они несомивнитыйшимъ образомъ читали свой смертный приговоръ и знали, что распространись онъ—и все ихъ казарменное зданіе тогдашней государственности разлетится прахомъ.

Поэты Пункинской эпохи.—К. О. Рыльевь. При программы моего обзора литературы крыпостной Россіи, большинство ихъ достаточно только перечислить: это были: А. А. Дельвигъ (1798—1831); К. О. Рыльевъ (1792—1826); П. А. Вяземскій (1792—1878 г.); Е. А. Баратынскій (1800—1844); Д. В. Веневитиновъ (1805—1827); Н. М. Языковъ (1803—1846). Изъ только что перечисленныхъ наиболье серьезнымъ поэтическийъ дарованіемъ обладалъ Е. А. Баратынскій, ио общественное содержаніе его произведеній настолько ничтожно и отвлеченно, что митприходится оставить ихъ въ сторонь. Остановлюсь поэтому на одномъ изъ самыхъ горачихъ нашихъ поэтовъ-романтиковъ и навъстномъ декабристь Кондратіи Оедоровичь Рыльевъ. Свое некрупное дарованіе онъ одушевилъ идеей, странно звучащей въ 20-хъ годахъ. Въ посвященій къ "Войнаровскому" онъ говоритъ:

Какъ Аполлоновъ строгій сынъ, Ты не увидишь въ нихъ искусства, Зато найдешь живыя чувства— Я не поэтъ, а гражданинъ.

Этн пылкія гражданскія чувства самое цінное, это осталось отъ Рылівева. Вынесенный волной александровской эпохи, двінадцатымъ годомъ, общивъ либеральнымъ движеніемъ, запрятавшимся въ тайныя общества благодаря политикі Аракчеева—онъ отдалъ свой даръ и свою молодую жизнь тімъ идеямъ, которыя считалъ справедливыми. Всі эти иден группируются возлі понятія "истинный патріотизмъ", какъ самоотверженнаго служенія родині во пия ея блага и развитія. Въ своихъ думахъ онъ восъваляеть—Ермака, Матвівева, Волынского, Годунова—всіхъ, кто такъ или

пначе сочувствовалъ простому народу и боролся съ гнетомъ деспотизма. Свобода "плъняла его", но скоръе не въ своихъ опредъленныхъ общественно-политическихъ формахъ, а какъ романтическая мечта, какъ греза, навъянная столько же воспоминаніями о новгородской вольницъ, о въчъ, сколько и знакомствомъ съ западно-европейскимъ строемъ. Все свое очарованіе этой свободой онъ выразилъ въ своихъ "Одахъ и думахъ" — часто неуклюжихъ, стилистически неправильныхъ, но искреннихъ и воодушевленныхъ, какъ все, что выходило изъ-подъ его пера. Въ тайномъ обществъ онъ игралъ выдающуюся роль, что, впрочемъ, доказывается его трагической кончиной (повъшенъ 13-го іюля 1826 г.); первоначально же судьи приговорили его къ четвертованію. По сохранившимся у него письмамъ, мы видимъ передъ собой человъка очень мягкаго, даже нѣжнаго, человъка радищевскаго типа, скромно, но правильно цънившаго свое дарованіе, очень демократически настроеннаго, наконецъ человъка съ горячимъ темпераментомъ, умъвшаго върить "вплоть до костра и плахи".

Эпоха Николая I-го.

Система. Всякій, думается намъ, знаетъ, что въ николаевскую эпоху господствовала "система". Эта спстема ясная, точная, такая, которая еще и теперь поражаеть насъ своимъ грандіознымъ размахомъ. Эта система являлась какъ бы живымъ воплощеніемъ непреклонной личности самого Императора Николая І. Идея, которая проникала собой всю спстему и какъ мозгъ наполняла кости ся, была идеей вившинго могущества и силы Россіи—съ одной стороны, безусловнаго единства ея духовной жизни-съ другой. Относительно вившняго могущества будемъ кратки: его не только добивались, имъ пользовались. Познакомившись хотя немного съ исторіей дипломатическихъ сношеній времени Николая І го, вы прежде всего видите тоть факть, что въ продолжение долгаго ряда лътъ въ европейскомъ концерть Россія держала первую скрипку. Императоръ быль настоящимъ ръшителемъ европейскихъ судебъ, чьему приказанію волей-неволей должны были подчиняться за границей. Въ дъла другихъ европейскихъ государствъ онъ вившивался властно и требовательно; его голосъ раздавался, какъ голосъ власти, силу и право имъющей, главное-силу. Стоитъ припомнить классическую угрозу Николая I-го отправить въ Парижъ милліонъ слушателей, т. е. солдать, въ случав, если будеть допущена къ представленію пьеса, гдт выводилась далеко не въ привлекательномъ видѣ Екатерина II; Лун-Филипиъ послушался: пьесу посиѣшили упразднить. Участіе Россіп въ венгерскомъ возстаніи—новая иллюстрація того же самаго. Венгерцы возстали потому, что у нихъ были съ австрійцами свои собственные счеты; но такъ какъ Императоръ Николай І-й возложилъ на себя трудную задачу сохраненія европейскаго мира и считалъ безусловнымъ своимъ долгомъ заботиться о прочности всѣхъ европейскихъ престоловъ и поддерживать династическую идею вездѣ и повсюду, то Россіи пришлось вмѣшаться и въ венгерское возстаніе ради его успокоенія. Русскій колоссъ въ эту удивительную эпоху расправлялъ свои могучіе члены и явился въ полномъ блескѣ величія и власти. Но, очевидно, чтобы пользоваться въ Европѣ такой первенствующей ролью, ему пришлось пустить въ ходъ всѣ свои силы, которыя только были, пришлось дѣлать невѣроятное напряженіе, пришлось идеѣ внѣшняго могущества подчинить все остальное и принести ей въ жертву лучшія дарованія, лучшія способности.

Однимъ изъ необходимъйшихъ условій витшиняго могущества, по митнію Императора Николая, являлось полное, безусловное, ветерпящее никакихъ даже самоналівнішня уклоненій, духовное единство всіхь русскихь людей. Имъ должны были проникнуться всь, начиная съ перваго вельможи и кончая послёднимъ мужиченкомъ. Система николаевской эпохи стремилась подчинить себь всь мысли и чувства пятидесятимилліоннаго населенія. Это была поистинъ грандіозная попытка. Всъ усилія правительства, въ области внутренней политеки, сводились къ дисциплинъ, идеаломъ которой была дисциплина военная. Каждому было указано свое, строго опредёленное мъсто; отъ каждаго требовалось, чтобы онъ говорилъ, думалъ и чувствовалъ именно такъ, какъ было предписано. Одинъ долженъ былъ чувствовать побольше, другой поменьше; одному полагалось знать то, чего не полагалось внать другому; въ мысляхъ одного могло быть больше развязности и бойкости, чемъ въ мысляхъ другого или третьяго, которому совсемъ не полагалось интть никакихъ мыслей. Все это было строго предусмотртно системой, все это математически точно соотвътствовало положению человъка на землъ.

Все равно какъ царствованіе Екатерины было высшимъ "расцвътомъ" кръпостного права, а значить и дворянства, такъ царствованіе Николая І-го—высшимъ расцвътомъ государственности, какъ системы общественныхъ отношеній, основанныхъ на строжайшихъ сословныхъ подраздъленіяхъ. Государство — земной богъ. Все должно служить ему, все должно полагать на это служеніе всъ свои силы. Общества, общественной жизни нътъ и быть не можетъ.

Государственность въ этомъ смыслю слова и полное обезличение идуть всегда рука объ руку. Это два тождественныя явленія, изъ кото-

рыхъ одно порождаеть другое, образуя въ концѣ концовъ переплеть взанино дѣйствующихъ силъ. Такая государственность не признавала за человѣкомъ нп права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себѣ занитіе. Онъ долженъ былъ отдать себя всего, безъ остатка, въ службу. Его жизнь была предопредѣлена заранѣе, она вся проходила по чужой волѣ. Лучшій примѣръ такого полнаго поглощенія человѣза—это военная служба при Николаѣ Павловичѣ, продолжавшаяся цѣлыхъ 25 лѣтъ, иногда больше. Спрашивается, что же оставалось человѣку самому, когда могъ онъ пожить для себя, поѣсть не пзъ казеннаго котла, лечь и встать не по барабану, повернуться въ ту сторону, въ которую хочетъ, завестись своей семьей? Ничего и внкогда.

Прежняя государственность была безжалостна. Она, какъ Кальвинъ, объявляла, что для нея не существуеть людей, а голько поступки. Въ Женевъ ребенокъ, провинившійся въ богохульствъ, подвергался суровому наказанію. У насъ дореформенная государственность объявила Чавдаева сумасшедшимъ за то, что онъ думалъ иначе, чъмъ слъдуетъ, ввела безконечно долгую военную службу, регулировала частную жизнь человъка, и горе тому, кто отступалъ отъ правила: наказаніе ностигало его немедленю, несмотря ни на что. Государственность была вездъ, въ канцеляріяхъ и департаментахъ, въ казармахъ и семьяхъ. Отъ крестьянина она требовала только труда (во имя чего, кстати замътить, многіе помъщики сами брали на себя руководительство половымъ подборомъ), отъ солдата— только службы, отъ чиновника — только исполнительности, отъ дътей — только повиновенія. Даже священники того времени были обязаны проповъдывать, что главная заслуга заключается въ покороности властямъ.

Больше всего, конечно, боялись мысли, и какъ жилось ей въ этой обстановкъ — сообразить не трудно. Интеллигентная мысль менъе всего подходила подъ требованія системы. Въдь вся привлекательность умственной или творческой дъятельности въ томъ п заключается, что въ ней человъкъ выражаетъ свою особенность и пидивидуальность. Разъ нътъ послъдняго, разъ нътъ свободы, позволяющей проявить самого себя,—то не все ли равно, что икону писать, что утаптывать мостовую. Но какое дъло "системъ" до особенности и индивидуальности? Крупныхъ людей, какъ, напр., Пушкина, она старалась привтечь на свою сторону. Съ мелкими она совершенно не церемонплась, и даже мрачные казематы Соловецкаго монастыря для "заживо погребенныхъ" никогда не оставались пустыми.

"Было, --говоритъ г. Пыппнъ—полное отсутствие публичности, слъдовательно незнание того, что дълается въ странъ или знание изъ одного оффиціальнаго бюрократическаго источника". Поэтому "литература этого

періода, взятая въ пёломъ, не говорить о самыхъ насущныхъ вопросахъ жизни, о которыхъ уже говорила во времена Александра І-го. Такъ, литература ни словомъ не запкалась о политическихъ предметахъ, о необходимости реформъ въ учрежденіяхъ административныхъ и судебныхъ, о внутреннихъ делахъ вообще". Все, кроме победъ надъ иноплеменниками, считалось канцелярской тайной, и эта тайна, вредная сама по себъ, была еще въ 10 разъ вредне потому, что ею обусловливалось могущество этой ужасной см'есн застоя, рутины, самодовольства, пошлости, жестокости, непониманія, т. е. русскаго чиновника. "Въ своихъ лучшихъ представителяхъ, продолжаеть г. Пыпинъ, — литература ушла въ чистую художественность, стремилась къ отвлеченной философін, ставила общіе правственные вопросы. Публицистика не существовала. Предметы политические были до такой степени удаляемы отъ общественнаго мизнія какъ вещь опасная, -этил н кінавалоподи лен доклиноте кідотон каморитници при доклиници н дитературы, политическая экономія считалась наукой разрушительной, а преподаваніе философіи въ конце концовъ упразднили, прикомандировавъ къ богословію".

Господствовала теорія, которую г. Пыпинъ какъ нельзя удачиве называеть поффиціальной народностью". Признавалось и върилось, что пРоссія есть совершенно особое государство и особая національность, не похожая на государства и національности Европы. Европа ниветь свои основы быта -- католицизмъ, протестантство, конституціонныя и республиканскія учрежденія, свободу слова, печати и свободу общественную. Всемъ этимъ она гордится какъ прогрессивными и культурными явленіями, но такая гордость есть заблуждение и результать французского вольнодумства. Россія, къ счастью, осталась свободной отъ этихъ тлетворныхъ вліяній, почему ей, какъ особой части свъта, и предстопть особенная будущность. Въ цълости п неприкосновенности сохранила она преданія в'єковъ, которывъ и должна пребывать непаженно верной. Сочувствовать либеральнымъ стремленіямъ, какія обнаруживаются и даже находять сипсхожденіе правительствъ въ разныхъ государствахъ Европы- -Россія не можетъ, какъ не можетъ она не поддерживать съ своей стороны принципа чистой монархіи. Въ религіозномъ отношения Россія страна православная и даже напболье православная. "Ея исповедание запиствовано изъ древняго византійскаго источника, върно хранившаго преданія церкви, и она осталась свободна отъ техъ религіозныхъ волненій, которыя первоначально отклонили отъ истиннаго пути католическую церковь, а потомъ поселили распри въ ея собственной средъ и произвели протестантизмъ съ его безчисленными сектами". Правда, и у насъ есть раскольники, но "правительство и церковь употребляють всь усплія, убъжденія и міры строгости къ возвращенію заблудшихъ и

къ искорененію ихъ заблужденій". Раскольники, по ихъ нев'вжеству, заслуживають н'вкотораго списхожденія, но вообще терпимы быть не могуть.

И во внутреннемъ своемъ быть Россія не похожа на европейскіе народы, продолжая оставаться особой, шестой частью свёта. "Съ оригинальными учрежденіями, съ древней вірой она сохранила патріархальныя добродътели, мало извъстныя народамъ западнымъ.... Добродътели эти следующія: 1) народное благочестіе, 2) полное доверіе подданныхъ къ предержащимъ властямъ, 3) безпрекословное повиновеніе имъ и 4) простота нравовъ и потребностей. Нашъ бытъ удивляетъ нностранцевъ п ппогда вызываеть ихъ осужденія, но онъ отвітаеть нашимъ правамъ п свидетельствуеть о непспорченности народа: такъ крепостное право (хотя и нуждающееся въ улучшении и преобразования) сохраняеть въ себъ много патріархальнаго, и хоромій поміщикъ лучше охраняеть интересы крестьянь, чёмъ могли бы сдёлать они сами.... Управленіе государствомъ учреждается на всеобщемъ, всесторовнемъ и исключительномъ попечения власти о благъ народа". Само по себъ управление совершенно, а если въ практическомъ теченін дель замічаются недостатки, то повинны въ нихъ людскіе пороки. "Люди должны исправиться успленіемъ надзора, воспитаніемъ въ строгой дисциплинъ, устранениемъ вредвыхъ книгъ, строгой цензурой" и т. п.

Если мы и отстали отъ Европы въ цивилизаціи и наукт, то обстоятельство это служить на нашу же пользу, такъ какъ наука получается у насъ въ томъ видт, когда вст стмена ея тщательно отділены отъ плевелъ. "Высшія учрежденія блюдуть за тти, чтобы наука приносила намъ только полезное, и запрещають все, что можеть повести къ вреднымъ умствованіямъ".

Такова въ общихъ чертахъ была система "оффиціальной народности", съ достаточной полнотой разработанная во всёхъ своихъ частяхъ и имъвшая на все готовые отвъты. Основная ея мысль —уваженіе къ преданію, отождествлевіе термпновъ "патріархальный" и "добродѣтельный", "древній" и "нстинный", взглядъ на правительство какъ на исключительно сдерживающую, консервативную силу. Россія отказывалась имѣть что-нибудь общее съ либеральными стремленіями, провозглашала себя опорой и защитницей существующаго и съ негодованіемъ смотрѣла на тѣ правительства, которыя относились къ новшествамъ съ снисхожденіемъ. Послѣднимъ словомъ политической мудрости, единственнымъ залогомъ народнаго счастья и благосостоянія провозгласила она полную административную власть надъ гражданами, и въ этомъ отношеніи не желала дѣлать никакихъ уступокъ.

Масса общества, конечно, стояла на сторонъ этихъ оффиціальныхъ теорій, да и не было ничего другого, къ чему она могла бы прислониться. То же надо сказать и о литературъ. Жуковскій, этоть удивительно доволь-

ный собою и всемъ окружающимъ человекъ, съ самаго начала быль склоненъ къ оффиціальной восторженности и честно консервативному міросозерцанію. Впрочемъ, его заоблачная туманная поэзія никакниъ путемъ н не могла сталкиваться съ земною дъйствительностью; она не заключала въ себь ничего исторического съ точки зрвнія общественного развитія, удовлетворяла своими чарующими наифвами, а не стремленіями. Півець "Леноры" и "Світланы" сначала, переводчикь "Одиссен"-- потомъ. Жуковскій, какъ писатель, служилъ украшеніемъ своему времени, но жизнь этого времени, его тайныя думы, его волевое начало, его порывы и стремленія не наводили м'вста въ мечтательныхъ и грустнокраснвыхъ созданіяхъ поэта. Жуковскій и его муза-- пноземныя растенія, и что здлось вообще русскаго, нашего я не знаю, если не считать ивсколькихъ оффиціально-патріотическихъ стихотвореній. Влиже другихъ къ Жуковскому Батюшковъ, несмотря на некоторую свою разочарованность и стремление философствовать. О Вяжемскомъ нечего и говорить. Какъ поэть, онъ совершенно ничтоженъ и извъстенъ лишь своими литературными связями. Пушкинъ началъ съ либерализма, но онъ былъ слишкомъ аристократиченъ, слишкомъ любилъ жизнь, какъ она есть, чтобы долго удержаться на этой точкъ зрвнія. Другь многихъ декабристовъ. онъ однако не интересовался ни политикой, ни общественностью и Эта непріязнь, а можеть быть успленная осторожне любилъ изъ. ность, проявилась въ немъ очень рано. Еще когда въ обществъ Арзамасъ, сначала исключительно литературномъ, появился расколъ и и вкоторые члены пожелали разговаривать о вопросахъ внутренией жизни -- Пушкинъ былъ противъ этого. Гоголь -- не только литературный, но и духовный крестивкъ Пушкина и Жуковскаго.

Система ломала все, что встръчалось у ней на пути и огромная часть ся усилій была направлена къ тому, чтобы оградить себя отъ возможности и въ дальнъйшемъ встрътиться съ какями бы то ни было непріятностями. Туть на первомъ планъ выступають заботы о цензуръ.

Исторія цензуры эпохи императора Николая І—это рядъ апекдотовъ то комическихъ, то печальныхъ, оставляющихъ однако по себѣ чувство какого-то недоумънія. Читая, напримъръ, исторію русской цензуры А. М. Скабичевскаго, или дневипкъ Никитенко или матеріалы, собранные Барсуковымъ, начинаешь жалѣть нашихъ цензоровъ, хотя между ними и попадались удивительные экземиляры въ смыслѣ типичности, съ какой они воплотили въ себѣ духъ времени и бурбонства. Послѣ введенія новаго цен-

зурнаго устава эти маленькіе чиновники совершенно растерялись, не зная, чего же въ концѣ-концовъ отъ нихъ требуютъ. Не малая бѣда заключалась, конечно, и въ томъ, что кромѣ одного спеціальнаго цензурнаго вѣдомства при министерствѣ народнаго просвѣщенія, было ихъ еще одиннадцать при разныхъ другихъ министерствахъ и управленіяхъ. Эта спеціальная цензура слѣдила за тѣмъ, чтобы литература не только не обидѣла ихъ канцелярій и департаментовъ, но и вообще не заглянула туда нескромнымъ окомъ своимъ.

Нъсколько выписокъ изъ дневника Никитенко (самого цензора) дадутъ намъ представление о томъ невъроятномъ, что творилось въ этой области.

"Сочиненіе мое о "Политической экономіи" во многихъ мѣстахъ урѣзано цензурою. Между прочимъ, въ одномъ мѣстѣ у меня сказано: "Адамъ Смитъ, полагая свободу промышленности краеугольнымъ камнемъ обогащенія народовъ" и прочее. Слово "краеугольный" вычеркнуто потому, какъ глубокомысленно замѣчаетъ цензоръ, что краеугольный камень есть Христосъ, слѣдовательно, сего эпитета нельзя ни къ чему другому примѣнять.

"Былъ въ театръ на представленіи комедіи Грибовдова "Горе отъ ума". Нъкто остро и справедливо замътилъ, что въ этой пьесъ осталось одно только горе: столь искажена она роковымъ пожемъ бепкендорфской литературной управы.

"Вечеръ провелъ у Плетнева. Тамъ засталъ Пушкина. "Европейца" запретили. Тъфу. Да что же мы, наконецъ, будемъ дълать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно...

"Новое гонепіе на литературу. Нашли въ сказкахъ Луганскаго какой-то страшный умыселъ противъ верховной власти и т. д..

"Сидонскій разсказывалт мнв, какому гоненію подвергался онъ отъ монаховь, разумвется отъ Филарета, за свою книгу: "Введеніе въ философію". Отъ него услышаль я также забавный анекдоть о томъ, какъ Филареть жаловался Бенкендорфу на одинъ стихъ Пушкина въ "Онъгинъ", тамъ, гдв онъ описывая Москву, говоритъ: "н стая галокъ на крестахъ". Здѣсь Филаретъ нашелъ оскорбленіе святыни. Цензоръ, котораго призывали къ отвѣту по этому поводу, сказалъ, что "галки, сколько ему извѣстно, дъйствительно, садятся на крестахъ московскихъ церквей, и что, по его мнвнію, виноватъ здѣсь болѣе всего московскій полицмейстеръ, допускающій это, а не поэтъ и цензоръ". Бенкепдорфъ отвѣчалъ учтиво Филарету, что это дѣло не стоитъ того, чтобы вмѣшивалась такая почтенная духовная особа: еже писахъ, писахъ.

"У насъ па образованіе смотрять какъ на заморское чудовище: повсюду устремлены па него рогатины, немудрено, если оно взбъсится". Когда въ "Библіографическихъ Запискахъ" появилось стихотвореніе:

Красавицъ.

Когда бъ я былъ царемъ всему земному міру, Волшебница, тогда бъ повергъ я предъ тобой Все, все, что власть даетъ народному кумиру: Державу, скипетръ, тронъ, корону и порфиру, За взоръ, за взглядъ единый твой. И если бъ Богомъ былъ—селеньями святыми Клянусь—я отдалъ бы прохладу райскихъ струй, И сонмы ангеловъ съ ихъ пъснями живыми, Гармонію міровъ и власть мою надъ ними За твой единый поцълуй.

пропустившій ихъ Никитенко быль посажень на гауптвахту, такъ какъ стихотвореніе оказалось "атенстическимь".

Лучше всего принципъ цензуры того времени изложилъ министръ народнаго просвъщения ки. Шпринский-Шихматовъ. Онъ запретилъ одно стихотворение Ив. Аксакова и на вопросъ "почему?", отвъчалъ: "оно можетъ податъ поводъ къ толкованиявъ". Поэма того же Аксакова "Бродяга" была запрещена на томъ основании, что авторъ выбралъ себъ въ герои безпаспортнаго человъка.

Между твиъ литература существовала. Мало того—эпоха Николая I одна пвъ самыхъ плодотворныхъ эпохъ въ исторіи русскаго общественнаго развитія. Это доказываетъ лишь то, какъ безполезны вообще стъсненія и уставы противъ всемогущаго духа времени.

А жить имслящему человъку было все-таки тяжело. Недаромъ Бълинскій воскликнуль какъ-то въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Боткину: "страшное время переживаемъ мы теперь". Недаромъ Грановскій писалъ Герцену послѣ 48-го года: "благо Бълинскому, умершему во время"! Недаромъ скромный средній челогъкъ (а въдь это ужасно много значить, когда даже средній человъкъ почувствуетъ) Никитенко дълаеть такія воть записи въ своемъ дневникъ:

"Выло время, что нельзя было говорить объ удобреніи земли, не сославшись на тексты изъ Священнаго Писанія. Тогда Магницкіе и Руничи требовали, чтобы философія преподавалась по программ'в, сочиненной въ министерствъ народнаго просвъщенія, чтобы, преподавая логику, старались бы въ то же время увърить слушателей, что законы разума не существують, а преподавая исторію, говорили бы, что Греція и Римъ вовсе не были республиками, а такъ чемъ-то похожимъ на государства съ неограниченною властью, въ родъ турецкаго и монгольскаго. Могла ли наука принести какой-нибудь плодъ, будучи такъ извращаема? А теперь? О, теперь совсъмъ другое дъло! Теперь требуютъ, чтобы литература процебтала, но никто бы ничего не писалъ ни въ прозъ, ни въ стихахъ: требуютъ, чтобы учили лучше, но чтобы учащіе не размышляли, потому что учащіе-что такое? Офицеры, которые сурово управляются съ истиной и заставляють ее вертъться во всъ стороны передъ своими слушателями. Теперь требують отъ юношества, чтобы оно училось много и притомъ не механически, но чтобы оно не читало книгъ и никакъ

не смъло думать, что для государства полезнъе, если его гражадне будуть имъть свътлую голову, вмъсто свътлыхъ пуговицъ на мундиръ.

"Въ странномъ положеніи находимся мы. Среди людей, которые имъютъ претензію дъйствовать на умъ общественный, нътъ никакой нравственности. Всякое довъріе къ высшему порядку вещей, къ высшимъ началамъ дъятельности исчезло. Нътъ ни обществолюбія, ни человъколюбія, мелочной, отвратительный эгоизмъ проповъдуется тъми, которые призваны наставлять юношество, насаждать образованіе или двигать пружинами общественнаго порядка.

"Нравственное безчиніе, цинизмъ обуялъ души до того, что о благородномъ, о великомъ говорять съ насмъшкою даже въ книгахъ. Сословіе людей, сильныхъ умомъ, литераторовъ, наиболье погрязло въ этомъ пинизмъ. Они въ своихъ произведеніяхъ восхваляютъ чистую красоту, а сами исполнены правственнаго безобразія. Они говорять объ идеяхъ, а сами живутъ безъ всякаго сознанія высшихъ потребностей духа, выставляють въ жизни своей самыя позорныя стороны житейскихъ страстей. Можетъ быть, и всегда такъ было, по отъ иныхъ причинъ. Причина вынъщняго нравственнаго паденія у насъ, по моему паблюденію, въ политическомъ ходъ вещей. Настоящее покольніе людей мыслящихъ не было таково, когда, исполненное свъжей юношеской силы, опо впервые вступало на поприще умственной дъятельности Опо не было провикнуто такимъ глубокимъ безвъріемъ, не относилось такъ цинично ко всему благому и прекрасному. Но власти объявили себя врагами всякаго умственнаго развитія, всякой свободной дъятельности духа. Не уничтожая ни наукть, ни ученой администраціи, они однако до того затруднили насъ цензурою, частными преслъдованіями, что мы вдругъ увидъли себя въ глубинъ души какъ бы запертыми со всъхъ сторонъ, отторженными отъ той почвы, гдъ духовныя силы развиваются и совершенствуются.

"Сначала мы судорожно рвались на свътъ. Но когда увидъли, что съ нами не шутятъ, что отъ насъ требуютъ безмолвія и бездъйствія, что талантъ и умъ осуждены цъпенъть и гноиться на днъ души, обратившейся для нихъ въ тюрьму, что всякая свътлая мысль является преступленіемъ противъ общественнаго порядка, когда, однимъ словомъ, намъ объявили, что люди образованные считаются въ нашемъ обществъ наріями, что оно пріемлеть въ свои нъдра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственнымъ началомъ, на основании котораго позволено дъйствовать — тогда все юное поколъніе вдругь нравственно оскудьло: всь его высокія чувства, всъ идеи, согръвавшія его сердце, воодушевлявшія его къ добру, къ истинъ, сдълались мечтами безъ всякаго практическаго значенія, а мечтать людямъ умнымъ смъшно. Все было приготовлено, настроено и устроено къ нравственному преуспъянію--и вдругъ этотъ складъ жизни и дъятельности оказался несвоевременнымъ, негоднымъ, его пришлось ломать и на развалинахъ строить канцелярскія камеры и солдатскія будки.

"Но, скажутъ, въ это время открывали новые университеты, увели-



чивали штаты учителямъ и профессорамъ, посылали молодыхъ людей за границу для усовершенствованія въ наукахъ. Это значило еще увеличивать массу несчастныхъ, которые не знали, куда дѣться со своимъ развитымъ умомъ, со своими требованіями на высшую умственную жизнь.

"Вотъ картина нашего положенія; оно незавидно. Мудрено ли теперь, что мы, воспитавъ себя для высшаго назначенія и униженные въ собственныхъ глазахъ, кидаемся, какъ голодныя собаки, на всякую падаль лишь бы доставить какую-нибудь пищу нашимъ силамъ.

"Конечно, и у насъ есть люди, дъйствующіе въ другомъ духъ, но ихъ очень мало и они слишкомъ безсильны, слишкомъ робки, слишкомъ недовърчивы къ собственнымъ чистымъ побужденіямъ, чтобы могли перетянуть въсы на сторону добра; есть затворники, постники, которые ръшились пребыть до конца върными своимъ идеямъ и лучше задохнуться, чъмъ измънить имъ. Но эти люди—исключеніе, и они несчастнъе первыхъ, ибо не вкушаютъ сладости даже минутнаго забвенія. Ничего удивительнаго, если иные изъ молодыхъ людей доходятъ до самоубійства, какъ то было съ нашимъ Поповымъ.

"Конечно, эта эпоха пройдеть, какъ и все проходить на земль, но она можеть затянуться надолго—на иять десять, на шесть десять лъть. Тъмъ временемъ успъешь умереть въ этой глухой, дикой, каменистой Аравіи, вдали отъ Земли Святой, отъ Сіона, гдъ можно жить и пъть высокія пъсни. Увы!

Рабы, влачащіе оковы, Высокихъ пъсней не поютъ"...

Журналистика эпохи Николая І-го.

Если не считать "Въстника Европы", издававшагося Карамзинымъ въ началь стольтія (1802—1804), "Московскій Телеграфъ", (1825—1834), быль первымъ русскимъ журналомъ, заслуживающимъ это названіе даже съ нашей точки зрвнія. Братья Полевые вели его не только живо и разнообразно но, что удивительно для той эпохи, въ совершенно опредъленномъ направленіи. Перелистывая ветхія страницы "Въстника Европы" Карамзина вы видите, что онъ заботился лишь о томъ, чтобы быть интереснымъ, не больше. И это, конечно, было почтенной задачей для того добраго стараго времени, когда читатель быль прямо ръдкость, а имена субскрибентовъ, т. е. подписчиковъ печатались крупнымъ шрифтомъ въ каждой книгь журнала, "какъ покровителей литературы". Но все же "В. Е." Карамзина не журналъ въ нашемъ смыслъ слова. Исторію журналистики надо начинать или съ сатирическихъ листковъ временъ Екатерины пли, повторяю, съ "Московскаго Телеграфа" Полевого.

Бълинскій, Панаевъ и вообще кружокъ "Современника" произнесли

Digitized by Google

когда-то Полевому суровый приговоръ. Вотъ, напримъръ, что говоритъ Панаевъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ: "Немногіе изъ замівчательных людей оберегають до старости то живое начало, ту см'влость духа, тв благородныя стремленія, которыя одушевляли ихъ и давали имъ силу въ молодости... Грустно смотреть на этихъ ослабевшихъ людей, но... ничто не можеть быть жалче и печальные, когда видишь человъка разбитаго жизнью, безсильнаго, пережившаго самого себя, старающагося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему нъкогда по праву человъка, прикидывающагося молодцомъ, когда уже ноги дрожать и изменяють ему на каждомъ шагу и съ робкой завистью отрицающаго действительную силу, проявляющуюся въ новомъ поколеніи. Тавое зрълище представляль, къ сожальнію, въ последніе годы своей жизни н жогда сильный литературный боець, подъ вліяніемъ котораго воспитывалось почти все наше покольніе. Я говорю о Полевомъ... Если бы онъ, послъ рокового произвола, обрушившагося надъ нимъ, присмирълъ поневол'в и продолжаль бы честно и смиренно трудиться, съ единственною цълью поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнаннымъ въ исторін русской литературы. Но Полевой съ испугу поспъшилъ употребить слабые остатки своего таланта на угодинчество, лесть, которыхъ никто отъ него не требовалъ, безпрестанно унижалъ безъ нужды стое литературное и человъческое достоинство, протягивая свою руку людямъ отсталымъ, пошлымъ и защитникамъ тъхъ принциповъ, противъ которыхъ онъ когда-то ратовалъ, отъявленнымъ негодяямъ, и,--что всего хуже, — съ завистливою ненавистью обратился къ новому поколенію... Хотя онъ совершенно потерялъ въ последние годы свое литературное значеніе, но смерть его на мгновеніе примирила всёхъ съ нимъ. Полевой, восхвалявшій романы частнаго пристава Штевена, писавшій "Парашей-Сноирячекъ" и другія тому подобныя произведенія, быль забыть. Въ простомъ деревянномъ гробъ, выкрашенномъ желтою краскою, --- овъ завъщалъ похоронить себя какъ можно проще, —передъ намп лежалъ прежній Полевой, тотъ энергичный редакторъ "Моск. Тел.", которому мы были такъ много обязаны нашинъ развитіемъ..."

Жестокая правда скрыта въ этихъ словахъ, но правда односторонняя, слишкомъ, я бы сказалъ, сухая. Мы имъемъ полное право нъсколько иначе отнестись къ Полевому. Странная и даже ужасная судьба выпала на его долю. Нуженъ художникъ, чтобы изобразить эту простую и виъстъ съ тъмъ исполненную трагизма жизнь. Авторъ "Исторіи русскаго народа", сильный боецъ и передовой человъкъ, гибкій и энергичный умъ, открытое, живое сердце—это Полевой въ первой половинъ своей жизни. Авторъ заядло-патріотическихъ произведеній, сотрудникъ Булгарина, человъкъ, не

останавливавшійся ни передъ какими униженіями, торговавшій своимъ талантомъ и быстро промотавшій свою великую славу на скользкомъ пути подслуживанія,—это тотъ же Полевой, но уже послѣ закрытія "Москов. Тел.". Что же случилось? Панаевъ объясняетъ такую перемѣну испугомъ и матеріальными затрудненіями. Полевой былъ сломленъ, по словамъ пословицы: снла солому ломитъ.

Разскажемъ вкратить его литературную біографію,—это избавить насъ отъ необходимости произносить непріятный приговоръ самому видному изъ русскихъ журналистовъ вплоть до Бълинскаго и, быть можетъ, хоть нъсколько послужить ему оправданіемъ. Тъмъ мрачите представятся намъ различнаго рода независящія обстоятельства, среди которыхъ приходилось дъйствовать и Бълинскому. Кстати же увидимъ, чты этотъ послъдній обязанъ Полевому, такъ какъ во всякомъ случать одинаково можно говорить о вліянін Полевого на Бълинскаго, какъ о вліянін Надеждина. Въ сущности "Отечественныя Записки" были прямымъ продолженіемъ "Московскаго Телеграфа", а не "Телескопа".

Полевой—сынъ купца и самоучка. Ему было съ небольшимъ 20 лѣтъ, когда онъ принялся за изданіе "Телеграфа". Нельзя не согласиться, что, несмотря на свою молодость, онъ былъ какъ нельзя лучше приготовленъ къ роли журналиста. Не особенно образованный, онъ обладалъ однако многочисленными и разнообразными знаніями, писалъ онъ легко, свободно и литературно, прекрасно владѣя своимъ нѣсколько рѣзкимъ и оригинальнымъ юморомъ, а главное—онъ былъ достаточно смѣлъ, чтобы довѣратъ своему вкусу и настроенію. Какъ истинный журналистъ, писалъ онъ обо всемъ,—о русской и всеобщей грамматикѣ, о санскритскомъ языкѣ, объ исторіи всеобщей и русскихъ лѣтописяхъ, о театрѣ и политической экономіи, о промышленности и о Шекспирѣ, о научныхъ теоріяхъ и объ искусствѣ, о преобразованіяхъ и усиѣхахъ по всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности, даже о новыхъ модахъ.

Конечно, академія имъетъ полное право не причислять его къ лику своихъ членовъ, а наука — отнюдь не меньше — забыть его, но намъ трудно не вспомнить съ благодарностью объ этой кипучей, разносторонней дъятельности. Она имъла большой смыслъ и въ свое время прекрасно сыграла роль толчка — и притомъ очень энергично.

Полевой повсюду съ възкимъ и грубоватымъ даже юморомъ нападалъ на заснувшихъ лънтяевъ и педантовъ; онъ буквально не давалъ имъ покоя, въ какія бы спеціальныя сферы или норы они ни прятались. Онъ по пятамъ преслъдовалъ ученое и литературное самодовольство, безжалостно осмънвая его представителей, искрение утвержденныхъ въ мысли о своей геніальности, вслъдствіе какой-нибудь плохо изданной компиляціп по

нъмецкимъ учебникамъ. Если и въ настоящее время неръдко попадаются люди, основывающіе всь свои претензін на величіе на томъ, что имъ извъстна грамматика такого языка, который даже не снидся простому смертному, то что же было 60-70 лътъ тому назадъ? Все равно какъ каждый, строчившій библіографическія зам'єтки, наявно воображаль себя критикомъ, какъ авторъ дикаго стихотворенія требовалъ причисленія къ сониу поэтовъ, -- такъ и ничтожный компиляторъ находилъ въ своей душф достаточно самоувъренности, чтобы мнить себя жрецомъ науки и съ этой высоты съ презраніемъ посматривать на окружающее вообще, и на человъчество въ частности. У Полевого на этотъ счеть была своя собственная точка зрвнія, недостаточно різко формулированная, быть можеть, не совсьиъ ясная даже для него самого, и все же замъчательная, и для насъ очевидная. Эта точка зрвнія, одушевленная впоследствін геніемъ Белинскаго, согратая его чуднымъ, безконечно любящимъ и варующимъ сердцемъ, составила всю славу нашего великаго критика. Я говорю, конечно, объ общественной точкъ зрънія. Не особенно симпатичная, когда ее примъняють механически и односторонне къ произведеніямъ науки и искусства, она однако всегда имъла и будетъ имъть большое значение. Прекрасно формулирована она Бълинскимъ: "Свобода творчества, --- говоритъ онъ, --- легко согласуется съ служениемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать насильно, насиловать фантазію, для этого нужно быть только гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отдъляеть убъжденія отъ дъла, сочиненія отъ жизни". Всякому извъстно, какой переворотъ въ нашихъ взглядахъ и понятіяхъ произвела эта общественная точка эрвнія; несомивнию, что она была у Полевого. Понятно теперь, почему онъ съ такой энергіей преследоваль всяких ученыхъ педантовъ и птичьихъ поэтовъ, ибо на всякую деятельность-все равно научную или литературную---онъ смотрълъ, прежде всего, какъ на дъятельность общественную. Большой поклонникъ Пушкина, вполнъ убъжденный въ его геніальности, онъ нападаль даже на него. "Полевой,--говорить А. Скабичевскій въ своей "Исторіи новъйшей литературы", представиль въ своемъ "Моск. Тел." первые задатки оценки писателей, принимая въ соображение не одну степень талампливости и эстетическия достоинства произведеній, но также и политическую репутацію. Такъ, при всьхъ похвалахъ, расточаемыхъ имъ Пушкину, онъ, насколько возможно, довольно прозрачно проводиль ту мысль, что Пушкинъ уже не тоть, что былъ, и, нападая на его стремленія къ великосветскости, ясно намекалъ на тв новыя оффиціальныя связи и отношенія, которыя завязались у Пушкина посл'в 1826 года". Сильный и остроумный писатель, врагь всякаго авторитета, прекрасный полемисть, Полевой очевидно должень быль возбудить противь себя ц'ялую стаю литературных недруговь, буквально не дававшую ему ни минуты покоя. Совершенно правъ его брать, говоря:

"Издатель "Московскаго Телеграфа" только началъ свое литературное поприще и уже въ первое время существованія его журнала, быль, можно сказать, осыпавъ нападеніями всякаго рода, начиная отъ обывновенныхъ литературныхъ противоръчій до самыхъ дерзкихъ и нелитературныхъ выходокъ. Онъ былъ не Карамзинъ, не прославленный ученый и профессоръ. онъ учился не въ университетахъ, не въ академіяхъ, а въ глазахъ тогдашней публики было важно не только это обстоятельство, но и то, что у него не было дипломовъ ни на какое ученое званіе, что такъ усердно старались пояснить благородные, повитые на щитахъ его противники. Онп упрекали, кололи его знаніемъ, выводили последствія, по ихъ мивнію, очень логическія, что званіе купца, слёдовательно торговца, промышленника, несовитьстно съ литературными занятіями, и, почитая его какимъ-то парією среди благородныхъ кастъ, на этомъ основанін позволяли себъ дерзости, какихъ не осивлились бы сказать другому. Наконецъ, издатель "Московскаго Телеграфа" могъ опасаться, что съ нимъ сбудется то, что Бонарше вложиль въ уста Донъ-Базиліо о клеветь: "самая пошлая, самая нелъпая клевета оставляеть послъ себя слъдъ".

Въ этихъ клеветахъ, злостныхъ и упорныхъ нападкахъ на Полевого, какъ нельзя лучше проявились булгаринскіе вравы литературы того времени. Но на Полевого нападали и съ другой стороны.

Въ немъ на самомъ дёлё была та самостоятельность мысли и чувства, которая такъ не нравилась 50 лётъ тому назадъ. Въ литературё Полевой выступиль защитникомъ романтизма, въ исторіи—противникомъ Карамзина. Обратимъ винманіе на последнее обстоятельство—оно это заслуживаетъ. Какъ писалъ Карамзинъ свою исторію—извёсто, это псторія государства, а не народа, это панегирикъ виёшней силё и виёшнему могуществу, это прекрасный арсеналъ для всёхъ аргументовъ національнаго самодовольства. Народа на сценё нётъ, виёсто философской точки зрёнія господствуетъ иравственная. Пріобрётеніе удёла— великая заслуга, эпитеты добродётельный и недобродётельный пестрятъ страницы. Сантиментальный моралистъ повсюду стоитъ рядомъ съ панегиристомъ государства. Какъ бы въ отвётъ "Исторіи Государства Россійскаго" Полевой пишеть свою "Исторію русскаго народа".

Прекрасная книга, не утерявшая своей цѣны еще и до настоящаго времени: для людей же 20-хъ и 30-хъ годовъ она была настоящимъ откровеніемъ. Молчаливый и закабаленный народъ впервые заявилъ о сноемъ

непосредственномъ участіи въ дълъ созданія и государства и исторіи. Ему было отведено свое мъсто, и тъмъ ярче выступило противоръчіе между народомъ, создавшимъ исторію, и кръпостной безправной массой, въ которую превратился тотъ же народъ, и о чемъ совстиъ забылъ Карамзинъ.

Одна эта книга могла бы обезсмертить имя Полевого, а если прибавить къ ней его заслуги какъ издателя "Московскаго Телеграфа", то, право, становится грустнымъ, что у насъ итъть даже его приличной біографіи, и только десятокъ статей, разбросанныхъ въ журналахъ, да давно затерявшійся памятникъ на Волковомъ кладо́ищъ—вотъ и все, что осталось отъ сильнаго бойца, когда-то передового дъятеля нашего общества...

Правда, впоследствіи Полевой самъ себя опровергь и набросиль на свое имя очень темную темь. Случилось это после неожиданнаго прекращенія "Московскаго Телеграфа", когда его издатель остался безъ всякиль средствъ къ жизни и къ довершенію всего получиль строгое внушеніе. Человекъ умалился. Теперь, если ужъ надо о чемъ разсказывать, то не о прежней почти героической борьбъ съ самодовольствомъ и обскурантизмомъ, а о писаніи только патріотическихъ произведеній, о сотрудничествъ съ Булгаринымъ, объ откровенномъ ухаживаніи и забъганіи передъ силой жизни. Полевой делаль все, что могь, чтобы забыли его же самого и первую половину его деятельности. Однако онъ не достигь этого.

За что закрыли "Телеграфъ?" Разсказывають про это обыкновенно такъ. Куколькинъ написалъ патріотическую пьесу подъ заголовкомъ "Рука всевышняго отечество спасла" и эта пьеса удостоилась высочайшаго одобренія. Не зная объ этомъ, Полевой въ своемъ журналѣ помъстилъ не особенно хвалебную зам'ятку о ней. За это "Телеграфъ" пріостановили навсегда, а надателю пригрознаи ссылкой. По поводу этого обстоятельства какой-то шутникъ написалъ эпиграмму: рука всевышняго три чуда совершила: отечество спасла, поэту кресть дала и Полевого погубила. Но, конечно, погубила не "она". "Она" явилась только предлогомъ, придиркой, причина лежала глубже-въ томъ, что къ Полевому давно присматривались и давно на него косились. Не нравилось, во-первыхъ, то, что онъ никому не кланялся и не льстиль, не нравилась его репутація человъка независимаго, не нравилось просто то, что онъ думаетъ, и, конечно, его насмъшливая изворотдивость, которая не позволяла такъ долго наложить на него руку. Наконецъ-то онъ оступился, и тутъ уже не было ему пощады. Въ докладъ про него было даже сказано, что онъ стремится продолжать дело декабристовъ. А кто знаетъ обстановку царствованія Николая І-го, тотъ пойметь, что значить такое обвинение или подозржие въ устахъ сильнаго человъка. Въ данномъ случать этимъ спльнымъ человъкомъ явился министръ народнаго просвъщения—Уваровъ. По крайней мъръ раньше, говоря съ Никитепко о Полевомъ, онъ доказывалъ необходимость запрещения его журнала вотъ на какомъ основании:

"Это проводникъ революцін, — говорилъ Уваровъ, — онъ уже нъсколько лътъ систематически распространяетъ разрушительныя правила. Опъ не любить Россін. Я давно уже наблюдаю за немъ, но мит не хотелось вдругь принять решительных мерь. Я лично советоваль ему въ Москве укротиться и доказываль ему, что наши аристократы не такъ глупы, какъ онъ думаетъ. После былъ сделанъ ему оффиціальный выговоръ: это не помогло. Я сначала думаль предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить съ публикою-это правительство всегда властно сделать и при томъ на основаніяхъ вполне юридическихъ: ибо въ правать русского гражданина нёть права обращаться письменно къ публикъ. Это привиллегія, которую правительство можеть дать и отнять, когда хочеть. Впрочемъ, -- продолжаль онъ, -- извъстно, что у насъ есть партія, жаждущая революцін. Декабристы не истреблены. Полевой хотёль быть органомъ ихъ. Но, да знають они, что найдуть всегда противъ себя твердыя міры въ кабинеть государя и его министровъ. Съ Гречемъ и Сенковскимъ я поступилъ бы иначе: они трусы, имъ стоитъ погрозить гауптвахтою, и они смирятся. Но Полевой-я знаю его: это фанатикъ. Онъ готовъ претерпеть все за идею. Для него нужны решетельныя меры. Московская цензура была непростительно слаба".

Онъ фанатикъ, онъ готовъ все претерпъть за пдею. Не все, конечно, но кое-что, и это кое-что не давало покоя, потому что во всякомъ случать онъ производилъ впечатлъние сильнаго человъка. Интересный портреть его рисуетъ Никитенко:

"Вылъ на вечеръ у Синрдина. Такъ находились также Сенковскій, Гречъ и недавно прітхавшій изъ Москвы—Поленой. Съ последнимъ я теперь только познакомился. Это изсохшій, бледный человекь, съ физіономіей сумрачной, но и энергической. Въ наружности его есть что-то фанатическое. Говорить онъ не хорошо. Однако, въ речахъ его умъ и какая-то судорожная сила. Какъ бы ни судили объ этомъ человекть его недоброжелатели, которыхъ у него тьма, ко онъ принадлежить къ людямъ необыкновеннымъ. Онъ себт одному обязанъ своимъ образованіемъ и известностью—а это что-нибудь да значить. При томъ онъ одаренъ сильнымъ характеромъ, который твердо держится въ своихъ правилахъ, иесмотря ни на соблазны, ни на вражду сильныхъ. Его могутъ притеснять, но онъ, кажется, мало объ этомъ заботится".

"Мив могутъ, сказалъ опъ, —запретить изданіе журнала: что же? я

имъю, слава Богу, кусокъ хлъба и въ этомъ отношении ни отъ кого не завищу".

Что онъ проповъдываль? Прежде всего романтизмъ. Конечно, послъ Жуковскаго и Баратынскаго, послъ первыхъ произведеній Пушкина въ этомъ не было ничего особенно новаго: романтизмъ уже былъ привитъ вкусу публики и въ особенной защить не нуждался. Но, во-первыхъ, надо было упрочить его побъду въ журналистикъ, гдъ псевдоклассическія теоріи имъли еще такихъ упрямыхъ защитниковъ какъ "Въстникъ Европы" Каченовскаго, а во-вторыхъ, Полевой понималъ романтизмъ очень широко какъ свободу мысли, чувства и выраженія, какъ свободу творческаго духа вообще. Здъсь-то защита Полевого и становится интересной, потому что въ указанной сторонъ и заключалось прогрессивное, жизненное значеніе романтизма. Исевдоклассическая теорія, выросшая въ обстановкъ французскаго двора, навсегда сохранила на себъ его отпечатокъ: она стремилась соблюдать этикстъ во всей его строгости и преклонялась передъ авторитетными именами. Ни то, ни другое къ Полевому не подходило.

Литературную историческую роль романтизма г. Пыпинъ въ своей "Исторіи русской литературы" сводить къ слёдующему:

"Романтизмъ... началъ съ того, что отвергъ въ псевдо-классицизмъ самое его пониманіе древности, узкую эстетическую теорію, и провозгласилъ свободу поэтическаго творчества; онъ отвергъ пренебреженіе къ среднимъ вѣкамъ и находилъ въ нихъ образцы высокой поэзіи; онъ пе только не презиралъ народной поэзіи, но искалъ и изучалъ ее, какъ непосредственное проявленіе пароднаго духа, старался возсоздать ее и открывалъ въ ней живительный источникъ для современнаго художества, если оно хотъло стать истично-національнымъ; на мъсто педантическихъ правилъ старой пінтики онъ ставилъ свободу геніальнаго художника, который долженъ былъ быть самъ для себя закономъ. Немудрено, что люди ложно-классическаго въка приходили въ ужасъ отъ этого литературнаго безначалія и считали его паденіемъ поэтическаго искусства..."

Но романтическія стремленія Полевого не ограничились, какъ я только что указаль, областью литературы. Въ области воспитанія онъ пропов'ядываль отсутствіе рутины и ст'єсненія; въ области жизни вообще онъ защищаль свободу личности и необходимость иниціативы, возставаль противъ преданій и авторитетовъ, опиравшихся лишь на свои л'та.

Въ одномъ изъ Ж.У. "Московскаго Телеграфа" есть интересная каррикатура: самъ Полевой и его братъ (Ксенофонтъ) сидять за ужиномъ, встръчая новый годъ. Вдругъ со всъхъ сторонъ выступають костяки и размахивая своими длинными безобразными руками подвигаются къ столу, грозно оскаливъ зубы и потряхивая своими костями. Этямъ образомъ Полевой върно передалъ свою роль, свое значеніе, всю ненависть, какую возбуждалъ онъ своею дъятельностью.

Послѣ закрытія журнала сильных человѣкомъ онъ себя не проявилъ. Но не трудно, кажется, вообразить себѣ нную обстановку, гдѣ съ такими людьми, какъ Полевой, никакого зла не случилось бы, не пришлось бы ему въ этой иной обстановкѣ ни холопствовать, ни лицемѣрить, не пришлось бы отрекаться отъ себя и восхвалять романы частнаго пристава только потому, что тому дана власть вязать и развязывать. Можно ли разсуждать съ точки зрѣнія этой, не идеальной даже, но все же лучшей обстановки?

Намъ думается, что да. Въдь общество существуетъ совсъмъ не для героевъ, а общественная жизнь—не для героическихъ поступковъ. Героевъ такъ мало, что изъ-за нихъ бы не стоило хлопотать. Большинство смертныхъ представляетъ изъ себя коллекцію весьма и весьма дюжинныхъ людей. Умныхъ, не глупыхъ по крайней мъръ, между ними достаточно, но тъ, кто одаренъ псключительной силой воли, могучей върой и способностью приносить въ жертву идеалу свое тщеславное, въчно алчущее "я",—встръчаются въ видъ исключенія. Герой въ любой обстановкъ—развъ уже самой исключительной, не затеряется, но общественная жизнь должна быть приспособлена къ людямъ средней воли, и ихъ-то чувство достовиства она и должна оберегать. А если она не дълаетъ этого, если она это человъческое достоинство топчетъ въ грязь, если она возводитъ въ принципъ неуваженіе къ нему, въ систему—преслъдованіе его, то кто же виновать? Неужели слабый человъкъ средней руки, обремененный многочисленнымъ семействомъ?...

Тридцатые же и сороковые года нашего въка къ этикъ, основанной на уваженін къ человъку, приспособлены не были, а какъ бы, наоборотъ, задались спеціальной цёлью доказать, что чувства собственнаго достоинства у человъка нътъ, да и быть но можетъ. На Полевомъ они проявили все свое могущество, и онъ былъ сломленъ. Конечно, никто не мъшаетъ намъ обвинять его: "жестокія" слова и такъ уже не разъ градомъ сыпались по его адресу. Но будетъ ли правда въ этихъ "жестокихъ" словахъ? Если и будетъ, то не полная. Не знаю, какъ другіе, но я, вчитываясь въ письма Полевого, относящіяся къ послъдней эпохъ его дъятельности, чувствовалъ одну лишь жалость и состраданіе къ этому когда-то сильному человъку. Долги, заботы о семействъ, о насущномъ кускъ хлъба, тревожныя думы о подневольной работъ, постоянное насильственное напряженіе своихъ силъ—вотъ тема этихъ писемъ. Передъ нами слабый, несчастный, подъяремный человъкъ, боязливо оглядывающійся, боязливо протягивающій руку.

Мить кажется, можно просто сказать: пусть въ Полевого бросить камень тоть, кто чувствуеть себя лучше и выше его. Онъ дълаль все, что могь. онъ бился, какъ можеть только биться рыба, выброшенная на берегъ; боль-

ной, разслабленный, онъ работалъ по 16-ти часовъ въ сутки — но нвчего не выходило: судьба слишкомъ крѣпко затянула свой узелъ. Съ невыразимой тоской неудачника, поставившаго надъ собой крестъ, смотрѣлъ онъ и на свою жизнь, и на свои послѣдніе труды. Онъ видѣлъ, какъ изо дня въ день мельчаетъ и гибнетъ его репутація, какъ отворачиваются отъ него прежніе друзья, какъ презираютъ его бывшіе поклонники, но очевидно, что онъ началъ катиться слишкомъ съ крутой горы. Остановиться не было силъ, и за свое малодушіе, которое, — къ ужасу своему, — прекрасно сознавалъ, онъ расплатился сторицею, быть можетъ, даже слишкомъ жестоко расплатился за него.

Консчно, Вълинскій не поступиль бы такъ, и въ этомъ все наше утъшеніе. Онъ не разъ бываль въ такомъ же положеніи, какъ Полевой, не разъ нищета и томительная неопредъленность положенія надрывала его силы,—повидимому, онъ предпочель бы умереть съ голоду, чёмъ сдаться... Но все же, изъ всёхъ враговъ знаменитаго публициста, онъ одинъ отнесся къ нему по-человічески, поняль его, пожалість и... простиль въ душів.

Полевой шелъ въ уровень съ публикой, учился вмѣстѣ съ нею, но учился настойчиво, проникновенно. Этимъ, какъ и Бѣлинскаго, въ значительной степени объясняется его вліяніе. Не совсѣмъ то представляеть изъ себя Надеждинъ, издатель и редакторъ одинаково шумѣвшаго когда-то "Телескопа". Это былъ, прежде всего, профессоръ и ученый человѣкъ. Какъ профессоръ, онъ былъ вполнѣ на своемъ мѣстѣ и пользовался большими симпатіями слушателей.

"Надеждинъ производилъ, съ начала своего профессорства, большое впечатлъніе своими лекціями, — разсказываетъ К. Аксаковъ. — Онъ всегда импровизировалъ. Услышавъ умную, плавную ръть, почуявъ, такъ сказать, воздухъ мысли, молодое поколъніе съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину, но скоро увидъло, что оппиблось въ своемъ увлеченіи. Надеждинъ не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей: скоро замътили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ знаній. Тъмъ не менъе, справедливо оцънивъ Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его ръчи. Я помню, что Станкевичъ, говоря о недостаткахъ Надеждина, прибавлялъ, что Надеждинъ много пробудилъ въ немъ своими лекціями, и что если онъ, Станкевичъ, будетъ въ раю, то Надеждину за то обязанъ. Тъмъ не менъе, благодарный ему за это пробужденіе, Станкевичъ чувствовалъ бъдность его преподаванія. Надеждина любили за то еще, что онъ былъ очень деликатенъ со студентами, не требовалъ, чтобъ они ходили на лекціи, не выходили во

время чтенія, и вообще не любиль никакихь полицейскихь пріемовь. Это студенты очень цівнили, — и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекціяхь, какъ у Надеждина. Обладая текучею рівчью, закрывая глаза, и покачиваясь на кафедрів, онъ говориль безъ умолку, и случалось, что проходиль назначенный часъ, а онъ продолжаль читать: онъ быль крайнимъ. Однажды, до поступленія моего на второй курсъ, прочель онъ два часа слишкомъ, и студенты не напоминали ему, что срокъ его лекцій давно прошель".

Но если студенты прощали Надеждину и сухость его словь и нъкоторую неясность выраженій и даже "собственное безучастіе къ предмету", то публика не простила ему этого. Прежде всего она плохо его понимала. Не то чтобы Надеждинъ писалъ слишкомъ уже тяжело -- нътъ, но, воспитанный на произведеніяхъ німецкихъ философовъ, опъ усвоиль себів и ихъ безконечные періоды, совершенно не подходящіе для русскаго истерпъливаго и невнимательнаго мозга, а также довольно трудную терминологію, которая приводила провинцію въ искреннее недоуменіе и даже замешательство. Не понимала публика и тонкой проніи Надеждина. Ей въ то время надо было говорить резко и прямо: "это воть прекрасно и возвышенно", а "это скверно и низко". А туть человъкъ смъялся, да еще такъ странно и ехидно, что никакъ нельзя было отличить, гдв онъ говоритъ серьезно, гдв иронически. Но самое главное, конечно, въ томъ, что Надеждинъ какъ въ лекціяхъ, такъ и въ критикъ одинаково проявляль собственное безучастіе къ предмету. Этого-то ужъ нельзя было не зам'єтить, н это было непростительной ошибкой. Въдь въ то время задача критики сводилась не только къ тому, чтобы оценить произведение, растолковать его общественный смысль и поставить на подобающее мъсто-первымъ ея дъломъ было возвысить любовь и уважение къ русской литературъ. Эту задачу Надеждинъ просмотрълъ, и всю се пъликомъ вынесъ Бълинскій одинъ на своихъ плечахъ. Однако Чернышевскій, и при томъ съ очень значительнымъ, основаниемъ видитъ въ Надеждинъ предшественника Бълинскаго *).

Если Вълинскій ръшительнымъ образомъ отвергаетъ трескучій романтизмъ и шарлатанскую пустоту тогдашней ходячей литературы и проч., то въ этомъ онъ шелъ по слъдамъ Надеждина. Надеждину наша литература также казалась безплоднымъ пустыремъ, на которомъ только изръдка возникаютъ прекрасные цвъты, почти приводящіе въ недоумъніе своимъ появленіемъ. Надеждинъ видълъ мало отраднаго въ старыхъ преданіяхъ русской литературы и въ самой исторін: древняя русская жизнь представля-

^{*)} Г. Венгеровъ это отрицаетъ, но я предпочитаю держаться мивнія Черныше вскаго.



лась ему "дремучимъ лівсомъ безличныхъ именъ, толкущихся въ пустотів безжизненнаго хаоса", и онъ даже спрашиваеть: "нивемъ ли мы прошедшее, -- жилъ ли подлинно народъ русскій въ это длинное тысячельтіе?" Возникновение умственной жизни онъ начинаетъ только съ Петра, и литература, или вся образованность русская съ техъ поръ казалась ему только слабой копіей европейскаго просв'ященія, гді "все европейское забрасывается къ намъ рикошетами, черезъ тысячи скачковъ и переломовъ, и потому долетаеть въ слабыхъ, издыхающихъ отголоскахъ". Въ "Телескопъ" онъ съ язвительностью прежияго Надоумки (его псевдонимъ) огворить о новъйшемъ романтизмъ, нападаетъ, какъ и раньше въ "Вьстникъ Европы" Каченовскаго, на Пушкина за отсутствие въ его поэзін общественности, но -надо отдать ему справедливость-и самъ не отдичается ею. Появляется въ немъ какая-то напускная вычурность, страсть оригинальничать, какая-то гимнастика ума. Никитенко очень язвительно зам'ятиль въ своемъ дневникъ: "это они какъ будто стараются перещеголять одипъ другого пышностью варварской терминологіи и туманнымъ краснорізчісмъ. Надеждинъ, напримъръ, столиъ вавилонскій почитаетъ изрядивйшимъ произведеніемъ древняго зодчества, на коемъ почили тайны въковъ, первообразомъ древняго міра и т. д...."

До такихъ тонкостей публика того времени не доросла.

Собственный журналь Надеждина успъха не питлъ: Тогда надатель ръшиль прибъгнуть въ героическому средству и напечатать въ немъ письмо Чаадаева. Письмо воздъйствовало: "Телескопъ" быль прекращенъ въ 1836 г., самъ Надеждинъ отправленъ въ ссылку въ Устьсысольскъ, что, впрочемъ, его чиновничьей карьеръ не помъщало: вернувшись, онъ благополучно служилъ при Перовскомъ и умеръ въ 1855 году.

Мало, къ сожалѣнію, даже слишкомъ мало симпатичнаго можно сказать о третьемъ знаменитомъ современномъ журналистѣ Бѣлинскаго — Осипѣ Ивановичѣ Сенковскомъ, еще болѣе извѣстномъ подъ псевдонимомъ барона Брамбеуса.

Профессоръ университета и блестящій лекторъ, знатокъ восточной литературы и Востока вообще, ученый, прекрасно владѣвшій языками: персидскимъ, арабскимъ, турецкимъ, коптскимъ, французскимъ, англійскимъ, нѣмецкимъ, русскимъ, польскимъ, итальянскимъ п испанскимъ, свободно писавшій на пяти языкахъ, и вмѣстѣ съ этимъ талантливый публицистъ, критикъ, авторъ безчисленныхъ повѣстей, единственный редакторъ и почти единственный сотрудникъ самаго распространеннаго когда-то журнала, — таковъ Осипъ Ивановичъ Сенковскій съ внѣшней стороны своей дѣятель-

ности. Громадная память, блестящій умъ и не мен'є блестящая фантазія, нев'є розтное трудолюбіе, разносторонній таланть и энциклопедическое образованіе, д'єлали его самымъ зам'єтнымъ и вліятельнымъ челов'єкомъ среди русскихъ журналистовъ.

Прочтите любую страницу изъ произведеній Сенковскаго, все равно откуда выхваченную, --- изъ его повъстей или фантастическихъ разсказовъ, изъ его критики или литературной летописи, изъ его фельетоновъ или ученыхъ трактатовъ, - вамъ сейчасъ же бросится въ глаза резко очерченная индивидуальность автора. Посяф самаго незначительнаго опыта, безчисленные псевдонимы Сенковскаго не будуть затруднять васъ. Какъ бы онъ ни подписывался — баронъ Брамбечсъ, Тютюнджю-Оглу, Т.—О., О. О., Б. Б. Осипъ Морозовъ, Бълкинъ, Сиъгинъ и пр. пр., - вы его сейчасъ узнаете, какъ узнавала его нъкогда публика тридцатыхъ годовъ. У Сенковскаго не только резко очерченная индивидуальность, это - - индивидуальность утрированная, утрированная саминъ Сенковскимъ. Тамъ, гдъ вы уведите блестящее и общедоступное изложение самыхъ трудныхъ вопросовъ лингвистики или политической экономін, пли даже медпцины, внезапно прерванное веселой шуткой или иронической фразой, въ которой авторъ подсмънвается и надъ предметомъ, и надъ самимъ собой, тамъ, гдв послв одушевленныхъ прасивыхъ строкъ вы натолкиетесь на другія, въ которыхъ дается полный просторъ скептицизму, готовому заподозрить все - сделанные выводы, усплія ученыхъ, собственную эрудицію автора, и даже самого себя, тамъ, гдъ шутка зачастую переходить въ буффъ, полный утрировки, гдъ читателю нельзя лодчась разобраться, серьезно ли говорять ему, или шутять, гав насившливая улыбка автора ни на минуту не исчезаеть съ написанных строкь, где все такь искусственно, где все такь тревожить п тормошить вашь умъ и такъ мало действуеть на сердце, волю, -- тамъ вы угадаете руку Сенковскаго.

Но не останавливайтесь на первыхъ страницахъ, не поддавайтесь очарованію безусловно умнаго человѣка, у котораго, кажется, весь организмъ пропитанъ умомъ, — идите дальше. Идите дальше, и вами скоро начнетъ овладѣвать утомленіе. Вашъ умъ удовлетворенъ стройной логикой, смѣлыми парадоксами, интересомъ аргументаціи, ваше воображеніе пріятно провело время, слѣдуя за прихотливой фантазіей автора, за ея изысканными арабесками, но ваша воля и чувство остались незатронутыми. Сенковскій объяснить вамъ все, что угодно, но гдѣ тотъ предметь, который бы онъ заставиль полюбить, гдѣ та цѣль, ради которой весь этотъ шумъ и блескъ? Ваша воля осталась безъ напряженія, нѣтъ слезъ негодованія, нѣтъ любовнаго волненія сердца. Вызванная чтеніемъ работа ума и игра фантазіи не замѣняеть остающейся отъ него пустоты и холодности чувства.

Задача художника, актера, артиста вообще, какъ служителя искусства,—
разогръть предметь. Мит простять неудачное выражение "разогръть", но
лучшее по краткости. Можно сказать иначе: "задача искусства—представить вамъ предметъ или всю совокупность предметовъ, указать съ ихъ симпатической стороны", т. е. затромуть любовь в ненависть вашего сердца,
повліять на вашу волю. Этого не было у Сенковскаго.

Сравните его съ Бълнискимъ. По всей въроятности, несомивнио даже, онъ былъ въ десять разъ образованиве послъдняго, если не болъе того. Но Бълинскій умълъ угадывать, тогда какъ Сенковскій только понималъ; Бълинскій носилъ въ своей груди благородное, смълое сердце, въ немъ таились всё муки и надежды современности, онъ воспитывалъ наши стремленія и умълъ обсуждать ихъ; какъ истинный художникъ, онъ вызывалъ наши восторги и наши негодованія; какъ человъкъ съ творческой силой,— онъ былъ всегда самостоятеленъ. А гласное, статьи Бълинскаго — сама жизнь измученной, но не утерявшей героической въры души, поэма, созданная върой въ грядущее счастье, мукой и страданіями своей эпохи. Сенковскій уменъ, уменъ какъ Мефистофель, но какъ часто оставляеть онъ насъ при одномъ безцѣльномъ, безсодержательномъ смѣхѣ!.. Бълинскій — боецъ. Сенковскій — наблюдатель.

Есть униое изреченіе, которое гласить: "жизнь представляется трагедіей тому, кто смотрять на нее съ точки зрѣнія чувства, и комедіей тому, кто стремится только понять ее". Вся жизнь для Сенковскаго преобразовалась въ комедію, часто въ водевиль, иногда въ скверный анекдоть. Онъ не любиль касаться высокихъ страстей, героическихъ порывовъ, не вѣрялъ даже въ мрачныя силы человѣческой природы. Рѣдко возвышался онъ до взгляда на жизнь, какъ на таннственную драму, разыгрывающуюся на нашей маленькой сценѣ-землѣ, онъ предпочиталъ видѣть въ ней интересную комбинацію довольно-таки безсмысленныхъ случайностей. Величіе не поражало его, зло не пугало. Въ первомъ онъ находилъ всегда яркіе слѣды эгонзма, во второмъ- тоть же эгонзмъ, въ формѣ мелкихъ страстей, если угодно—мошенничества, тщеславія, подобострастія.

Строго говоря, онъ ни во что не върилъ, ничего не хотълъ, ни къ чему не стремился.

Въ его рукахъ "Библіотека для чтенія" стала журналомъ питереснымъ, разнообразнымъ и, по существу, совершенно безпринциинымъ.

Передъ нами болъе ста томовъ журнала, изъ которыхъ каждый — плоть отъ плоти и кость отъ костей самого Сенковскаго. Признаемся, мы не безъ уваженія просматривали ихъ. Мирно и спокойно стоять они теперь въ библіотекъ, плотно прижатые другъ къ другу, всъ въ переплетахъ, съ по-

желтышин, запятнанными страницами. Изрыдка тревожить ихъ рука спеціалиста или такого случайнаго работника, какъ я, большую же часть времени никто ни на минуту не чувствуеть въ нихъ ни малъйшей надобности. Груды книгъ вырастають возле нихъ, надъ нихи, внизу, и эти небольшіе томы съ каждымъ годомъ все болье и болье затериваются среди новыхъ пришельцевъ. Ихъ дело сделано, покончены все расчеты, итогъ подведень, и, молчаливые свидетели прошлаго, они не имеють достаточно внутренней силы, чтобы коть чемъ-нибудь заявить о себе новымъ поколеніямъ. А ведь было время, когда выходъ каждой изъ этой сотин киижекъ ожидался съ нетерпъніемъ, когда торопливыя руки нервно разрізали страницы, и лобродушный читатель, съ невольной улыбкой, выражавшей предчувствие удовольствия, набрасывался на "Литературную летопись", или критическія статьи, ожидая веселой шутки, бойкой остроты. Но все это прошло. Какъ замирающее эхо доносятся до насъ восторги читателей барона Брамбеуса, тоть говорь и шумь, который возбуждала "Вибліотека": спокойные и забытые стоять ея томы. Habent sua jata libelli — родятся и умирають, и одна изъ сотни тысячь достигаеть безсмертія...

"Вибліотека для чтенія" — журналъ Сенковскаго. Это, повторяемъ, плоть огъ плоти его; онъ самъ фигурируетъ передъ нами на каждой страницѣ, и, зная его, мы уже предчувствуемъ, чѣмъ должны быть и онѣ. Мы видѣли, что у Сенковскаго было много данныхъ, чтобы быть хорошимъ редакторомъ; такимъ же вышелъ и его журналъ.

У редактора-энциклопедиста журналъ не могъ не быть энциклопедическимъ: отделы наукъ, вностранной словесности и смеси были те отделы, въ которые Сенковскій вложиль всю свою душу. Онъ быль нісколько англоманомъ, особенно въ литературъ. Новой французкой школы онъ не долюбливалъ и даже энергично преследовалъ ее, доходя подчасъ до страннаго и неприличного даже вышучиванія такихъ крупныхъ величинъ, какъ Жоржъ Занлъ. Эту последнюю онъ именоваль не иначе, какъ г-жею Егоръ Занлъ. Ему больше нравилась англійская литература, .съ ея спокойнымъ анализомъ человъческаго сердца, и почти всь лучшія ея произведенія появлялись въ "Библіотекъ". Постоянно встръчаемъ мы переводы изъ Кольриджа, Вордсворта, Диккенса, Теккерея, Скотта, Брума, Соммервилль и т. д. Не мало и статей посвящено этимъ талантливымъ писателямъ, такъ что въ общемъ читатели "Библіотеки" могли быть благодарны ея редактору, Въ "Сивси" печатались каждый ивсяцъ краткія обозрвнія новостей англійской п французской литературъ, съ библіографическими списками появившихся на рынкъ книгъ. Въ отдълъ наукъ, особенно интересномъ и разнообразномъ, Сенковскій знакомилъ публику со всеми открытіями и новпиками въ области положительныхъ знаній.

Въ отдёлахъ "Критики" и "Литературной літописи" въ первые годы изданія "Библіотеки" почти всё статьи написаны Сенковскийъ, хотя не всё оні статьи критическія: многія представляють лишь обозрініе содержанія книги, съ выписками изъ нея для образца и съ немногими, иногда серьезными, но большею частью шутливыми, юмористическими замічаніями. "Литературная літопись" посвящена была почти исключительно подобнымъ заміткамъ; отдёлъ "Критики" всегда былъ серьезніве. Въ первые годы существованія журнала рецензіп "Літописи" писались вообще спокойнымъ тономъ, хотя не безъ саркастическихъ выходокъ и отступленій. Онітовсего боліве и нравились публиків, ими то всего боліве и восхищались.

Туть Сенковскій сділаль великую ошибку: онъ послушался публики. Та, повидимому, різшительно не им'єль ничего противъ гаерства и балагана даже требовала того и другого, и вскоріз почти вся "Литературная лізтопись" превратилась въ непрерывную шутку: стали разсматриваться преимущественно такія сочиненія, которыя представляють наиболізе смізшныхъ сторонъ, наконець шутка дошла даже до буффа, и "Літочись" заставляєть новыя вниги плясать передъ собою, играть комедію, водевиль и представлять сцены изъ "Тысячи и одной ночи"... "Литературная лізтопись" была накъ бы отдыхомъ и гимнастикою для ума, требовавшаго перемізны занятій, и въ то же время жертвою вкусу публики".

Противъ гимнастики ума и потворства вкусу публики можно, конечно. возразить очень много.

Можно свести къ немногимъ основнымъ пунктамъ міровоззрѣніе "Библіотеки для чтенія".

- 1. Читатель глупъ-его надо учить.
- 2. Читатель настолько глупъ, что въ сущности ничему научить его нельзя.
- 3. Безъ читателя нѣтъ журнала. Надо нравиться читателю, забавлять его, смѣшить его, льстить его вкусамъ, а такъ какъ онъ неисправимо глупъ, то и смѣяться надъ нимъ.
 - 4. Литературы піть, есть книжная торговля.
- 5. Всё литераторы пошляки, силетники, прыщи больного самолюбія, подчась доносчики. Надо ихъ бить и крепко бить словомъ, разуметься.
- 6. Смъйтссь же, господа, надъ своей несуществующей литературой, несуществующей общественностью. А не хотите смъяться,—плачьте пли патріотически во все горло кричите "ура!" на драмахъ Куколькина,—Куколькинъ выше Гоголя...

Еще ниже, читатель; теперь недалеко и до дна. Единственная газета съ политическимъ отделомъ была знаменитая "Северная Пчела". "Она помѣщала статьи по политическимъ вопросамъ и усердно проповѣдывала такую точку зрвнія: Россія и Европа, особенно Европа конституціонная, представляють резкую противоположность-порядка и спокойствія съ одной стороны, буйства и своеволія-сь другой; Россін нечего было завидовать Западу, потому что мнимая цивилизація приводить Западъ только къ безбожію и революціямъ; намъ, напротивъ, следуетъ всячески отъ него оберегаться, чтобы къ намъ не проникла его зараза". "Свверная Пчела" не находила словъ, чтобы выражать свое отвращение къ конституціямъ и насивяться надъ ними: парламентские ораторы Франціи и Англій были крпкуны, вольнодумцы, которыхъ слёдовало просто усмирить полицейскими внушеніями... Правда, "Стверная Пчела", ужъ съ первыхъ поръ своего существованія, стала пріобр'єтать очень и очень некрасивую репутацію, но эта репутація, дівлавшая ее предметомъ презрівнія въ кругу образованнаго меньшинства, не мішала ей представлять особое мнівніе цівлаго огромнаго слоя русскаго общества изъ средняго грамотнаго класса - чиновинчества, дворянства, гостинодворской публики, военнаго сословія... Гречъ, который, говоря о своихъ связяхъ оъ Булгаринымъ, самъ, какъ разсказываютъ, съ наумительной откровенностью сравниваль себя съ "каторжинкомъ, таскающимъ за собою свое ядро"-Гречъ, и его сподвижникъ, имъли своего рода популярность, въ тв времена очень общирную. И какъ эта популярность, Вогь въсть какъ пріобрітенная и еще худшими способами поддерживаемая, популярность Сенковскаго, Греча, Булгарина должна была стоять поперекъ пути такихъ людей, какъ Вълинскій, раздажая и обижая пуъ...

. Объ "Отечественныхъ запискахъ" — самомъ вліятельномъ журналѣ 1840 — 1847 г. я скажу ниже въ главѣ о Вѣлинскомъ.

Выли на сцент, конечно, и другіе журналы, но такъ какъ я пишу не исторію журналистики собственно, а лишь исторію литературныхъ идей, то для меня совершенно достаточно ограничиваться лишь напболъе типичными представителями общественной мысли. Жаль только, что я могу очень мало сказать о читателъ собственно—этомъ таинственномъ незнакомцъ, создающемъ усиъхъ или неусиъхъ произведенія, опредъляющемъ силу или безсиліе даннаго направленія. Оппраясь на скудныя данныя, можно сказать, что любимыми писателями разсматриваемаго періода (1826—1840) были Бестужевъ-Марлинскій, Бенедиктовъ, Гречъ, Булгаринъ, Сенковскій, Н. Полевой, а самыми распространенными органами—"Телеграфъ", "Стверная

Ичела", "Библіотека для чтенія". Нельзя сказать, чтобы эти имена кром'в Полевого говорили о высокомъ вкуст публики и о большихъ умственныхъ вапросахъ, и ошибаются ть, кто думаеть, что первое мьсто занимали Пушкинъ и Гоголь. Они были первыми-это конечно, но масса предпочитала имъ другихъ. Всъ современники единогласно-кто съ прискорбіемъ, кто съ завистью свидетельствують о поразвтельномъ успёхё "Северной Пчелы": это быль настоящій, непререкаемый авторитеть для всёхь ея читателей, ея приговоры для нихъ не подлежали ни кассаців, ни апелляців, ея подоарительное остроуміе см'єшило всю провинцію. Романтическія пов'єсти Бестужева-часто, впроченъ, действительно талантливыя, но слишкомъ пряныя ультраромантическія, такъ сказать, наполненныя привлюченіями благородныхъ разбойниковъ, дикими возглясами страсти, зубовнымъ скрежетомъ нечеловъческих страданій и т. д. - читались нарасхвать, давая острыя ощущенія среди утомительной скуки, пустоты и однообразія жизни. Почти одинаково действовали и стихи Бенедиктова. Между прочимъ, появился вкусъ къ исторической беллетристикъ. Созданная романтизмомъ, любившимъ образы прошлаго, она быстро расцетла. Къ ней относятся повъсти и романы Н. Полеваго (напр. "Альфъ и Альдона"), Лажечникова, Загоскина (особенно его "Юрій Милославскій"), Куколькина, Булгарина ("Выжигинъ") н т. д. Разумъется, никакой исторіи въ этой исторической беллетристикъ нъть, туть господствуеть романтическій шаблонь, пристрастіе къ необычному, къ сильнымъ страстямъ, смъсь неизвъстныхъ Россіи рыдарскихъ преданій съ дешевкой м'встнаго приготовленія. Впрочемъ, историческая беллетристика не процветаеть у насъ и теперь, и чемъ въ саномъ деле Г. Данилевскій лучше Лажечникова, а что онъ хуже Загоскина---это уже несомнино. Какъ бы то нп было, литература демократизировалась. Росла масса читателей; разночниецъ быстро завоевываль себъ мъсто въ журналистикъ, а журналистика стала чъмъ-то дъйствительно нужнымъ, безъ чего стало просто немыслимо обходиться. "Дай Богъ намъ болъе журналовъ, плодять читателей они", а такъ какъ безъ читателей литература не можеть стать общественной силой-то, если бы результаты сводились лишь къ этому, все же журналистика свое дело сделала.

Гриботдовъ, Гоголь, Лермонтовъ.

Мив надо говорить теперь объ этихъ трехъ крупивишихъ представителяхъ художественной литературы разсиатриваемаго періода. Очень сожалью, что психологическій п эстетическій анализъ ихъ произведеній мив придется оставить почти-что въ сторонь. Такой анализъ не входитъ въ планъ моей работы и можетъ только нарушить ея единство. Я ограничусь

болъе скроинымъ дъломъ и разсмотрю, какъ историческій моменть отразился въ этихъ глгантахъ слова и какую степень общественнаго самосознанія выразили они. Я очень хорошо знаю, что въ нихъ было больше, гораздо больше, что люди интересуются (и совершенно основательно) подробностями ихъ личной исихики, всякимъ шагомъ въ развитіи ихъ творчества, обстоятельствани ихъ жизни; -- что не все создано въ нихъ эпохой, что ихъ самосознаніе шире и глубже — но, я спрашиваю себя: если политическая экономія имфеть право разсматривать человіна только какъ производителя и потребителя ценностей; если физіологія видить въ немъ только организмъ, а соціологія только члена общества-то почему же историкъ зитературы изъ всего огромнаго матеріала, который подлежить его разсмотрівнію, не можеть выдълить одинь наиболье существенный для него элементь, одну наиваживищую для него сторону? Все это не только необходимо, но и прямо неизбъжно для него, разъ онъ, по возможности, хочетъ приблизиться къ требованіямъ научности, а не расплываться въ необозримомъ моръ біографическихъ, библіологическихъ данныхъ или всегда произвольныхъ эстетическихъ сужденій и оцінокъ. Мий скажуть, что такая оцінка будеть не полной. Совершенно върно. Но передъ исторіей литературы стоить диллема: или обратиться въ энциклопедическій словарь всевозможныхъ свъдъній и данныхъ о людяхъ, писавшихъ книги или сочинявшихъ журнальныя статьи, или попытаться стать наукой. Въ сущности объ эти задачи одинаково почтенны, но лично мет представляется невозможнымъ см'єшивать оба ремесла и я предпочитаю ограничиться попыткой. Герой моей вниги общество въ его литературных представителяхь, а не сами литературные представители. Воть, что прошу имъть въ виду.

У всёхъ трехъ названныхъ мною въ заголовите было не мало общаго и это общее заключалось въ скептическомъ — даже более того-— въ пессимистическомъ отношени къ русской действительности, въ мучительномъ и напрасномъ искании идеала и положительныхъ данныхъ для него, — а также въ полной раздвоенности ихъ духа. Ихъ скептицизмъ и критика окружающаго — страдающе, и въ этомъ смыслъ ихъ сатира, ихъ недовольство сделала действительно огромный шагъ сравнительно съ прошлымъ. Въ этомъ ихъ истинная оригинальность и значене, что, впрочемъ, нисколько не можетъ заставить насъ забыть ихъ предшественниковъ. Этими предшественниками были — сатирические журналы эпохи Екатерины II-й, графъ Капнистъ и его великолепная комедія "Ябеда", журналы и басни Крылова. Относительно этихъ басенъ следуетъ сказать, что въ своемъ роде и въ литературномъ смысле они представляють нечто близкое къ совершенству, лучшимъ доказательствомъ чему служитъ одинаковое удовольствие, получаемое отъ нихъ и взрослыми и детьми. Можно ли смотреть на басни

Крылова, какъ на замаскированную исторію своего времени — вопросъ большой и окончательно не рішенный, но кажется, что въ такомъ предположеніи много справедливаго. Въ смыслів положительнаго стремленія (участь большинства русскихъ писателей) Крыловъ даетъ очень мало, но его критика всегда мітка, ядовита и лукава. И это, конечно, критика самодовольнаго до напыщенности общественнаго строя и его властныхъ представителей.

А. С. Грибовдовъ. (1795—1829). Грибовдовъ прославился своей комедіей "Горе отъ ума". Больше онъ не создалъ инчего достойнаго своего имени. Прочтя комедію, Пушкинъ сказалъ: "Грибовдовъ очень умный человъкъ, но Чацкій не уменъ". Это лучшая критика не только всего произведенія, но и общественной его роли.

Грибовдовъ человъкъ умный — это безспорио. Каждое его, слово режетъ какъ бритва; вся комедія состопть изъ афоризмовъ, ставшихъ поговорками и представляющихъ изъ себя самый сложный и остроумный синтезъ жизненныхъ наблюденій. Но Чацкій, несмотря на все свое краснорвчіе, несмотря на все глубочайшее основаніе для своего гивва, производить впечатльніе человъка напрасно и безполезно мечущагося, не знающаго чего онъ хочеть и чего ему надо. Продолжая его исторію, Щедринъ съ удивительной міткостью заставиль его жениться на Софьі Фамусовой, надіть на себя маниловскій халать, подружиться съ Молчалинымъ, а въ предчувствін близкой кончины написать завізщаніе всего изъ одной фразы: "все оставляю другу моему Соничкі". Конечно, другь мой Соничка ничего не получила, зато Молчалинъ попользовался боліве, чімъ могь ожидать.

Весь геніальный умъ Грибовдова сказался въ его отрицаніи, все недомысліе Чацкаго въ его утвержденіи, и поэтому-то тамъ, гдв Грибовдовъ является однимъ изъ лучшихъ нашихъ сатириковъ, Чацкій машетъ въ воздухв руками. Русская двйствительность не дала Грибовдову ничего положительнаго, онъ былъ лишь пораженъ и возмущенъ ен ужасающей пустотой, ея безпримврнымъ ничтожествомъ. Произнести ей приговора онъ не хотълъ, ему мучительно надо было ухватиться за что-нибудь цвиное и ввское, что открывало бы перспективы въ лучшее будущее, и онъ ухватился, какъ сейчасъ увидимъ, за что-то двтское, ребяческое. Стараясь воплотить это въ живомъ человвквъ—онъ создалъ Чацкаго.

Въ этомъ большомъ человъкъ, Грибоъдовъ, былъ еще и маленькій человъкъ Грибоъдовъ — въ этомъ и загадка той странности, что величайшая русская комедія страдаетъ такимъ крупнымъ недостаткомъ, какъ ходульная, неживая фигура своего главнаго героя.

Въ симпатіяхъ маленькаго Грпботдова было что-то старовърческое, такъ проницательно и съ такимъ знаніемъ дѣла отмѣченное А. Н. Пыпинымъ въ его "Исторіи русской литературы". И эти старовърческія симпатіи имъють не лично-исихологическое, а общественное значеніе, потому что онт являются основой классоваго самосознанія русскаго барства, такъ пышно выразившагося въ концт концовъ въ славянофильствт. Любонитны иткоторые факты.

Въ юности Грибоъдовъ сочувствовалъ Шишкову и морщился отъ нововведеній Карамзина. Въ своихъ замъткахъ о путешествіи на Кавказъ онъ пишеть:

"Разгоряченный тымъ, что видълъ и проглотилъ, я перенесся за двъсти лытъ назадъ въ нашу родину. Хозяннъ представился мнъ въ видъ добродушнаго москвитянина, угощающаго прівъжихъ нъмцевъ, фараши — его домочадцами, самъ я — Олеарій. Кръпкіе напитки, сырыя овощи и блюда съ сахарными брашнами, все это способствовало къ переселенію моихъ мыслей въ нашу съдую старину, и даже увертливый красный человъкъ, который хотя и называется англичаниномъ, а право, нельзя ручаться, изъ какихъ онъ, — этотъ анонимъ только разсыпался въ нельпыхъ разсказахъ о томъ, что дълается за-моремъ, я видълъ въ немъ Маржерета, выходца при Дмитріи, прозванномъ Самозванцемъ, и всякаго другого бродящаго иностранца того времени, который въ нашихъ теремахъ пилъ, пълъ, разживался и, возвратясь къ своимъ, ругательствомъ платилъ русскимъ за русское хлъбосольство. И эриванскій Маржеретъ... язвительно отзывается насчетъ персіянъ, которые не допускаютъ его умереть съ голоду".

Эти строки какъ будто взяты изъ оффиціальныхъ и оффиціозныхъ опроверженій сообщаемыхъ иностранцами свідіній о Россіи, опроверженій, которыми такъ богата литература XVII-го и XVIII-го віковъ. Опровергающіе всегда упрекали критиковъ за то, что ті пили іли, а потомъ по хамству своему начинали бранить. Выше этого Грибойдовъ не поднялся, какъ не поднялся въ виді восторговъ передъ гостепріниствомъ русскихъ и странной формулы: "гостепріниство должно притупить насмішливыя стрільні".

"Преслѣдуя иноземцевъ въ русской старинъ, Грибоѣдовъ еще больше не терпитъ ихъ въ современной жизни. Забавенъ разсказъ, (въ письмѣ къ Бѣгичеву, 1818) о путеществіи его вмѣстѣ съ сослуживцемъ Амбургеромъ, котораго Грибоѣдовъ хотѣлъ увѣрить въ ненохвальности его нѣмецкаго происхожденія. "Вообще, — пишетъ Грибоѣдовъ съ дороги, —вездѣ на станціяхъ остановка; къ счастію, что мой товарищъ — особа прегорячая, бичъ на смотрителей, хорошій малый, я уже увѣрилъ его, что быть нъмцемъ очень глупая роль на сель свътиъ, и онъ уже подписывается Амбургевъ, а не - ръ. и вмѣстѣ со мною цѣмцевъ ругаетъ наповать, а мнѣ это съ руки". Онъ прибавляетъ вслѣдъ за тѣмъ: "Одинъ томъ Петровыхъ акцій у меня въ бричкъ, и я зело на него и на его

колоасниковъ сержусь; коли найдешь что-нибудь чрезвычайно забавное въ Дъяніяхъ, пожалуй напиши, я этимъ воспользуюсь". (Пыпинъ, IV, 305).

Сравнивая эти отрывки съ монологами Чацкаго, вы видите, что ихъ настроеніе произошло изъ того же источника. На самомъ дѣлѣ, что могъ видѣть передъ собой Чацкій? Картпну невыразниой пошлости, тупости, безсердечія, пронырства, самодовольства, полной духовной простраціп, цинической откровенности, наглаго деспотизма — словомъ, всего того, что такъ геніально изобразилъ Грибоѣдовъ въ отрицательныхъ лицахъ своей комедіи. И что же оказывается въ концѣ концовъ? Оказывается, что ничего бы этого не было, если бы мы не носили фраковъ и заняли бы у китайцевъ хоть немного "премудраго незнанья иноземцевъ". Вы отказываетсь вѣрить, что Грибоѣдовъ могъ это сказать, вы чувствуете что это слова Шишкова, который увѣрялъ, что Россія благоденствовала бы, если бы виѣсто "министръ" значилось "дѣловѣцъ государственный"!..

Это старо-барское старовъріе въ такемъ проницательномъ и умномъ человъкъ, какъ Грибоъдовъ, очень характерно. Очевидно, оно могло явиться результатомъ лишь такихъ глубокихъ и непровъренныхъ критикой влеченій человъческой натуры, надъ которыми самъ онъ не властенъ. Здъсь мы имъемъ дъло съ исторической традиціей, и та же властная, могущественная традиція помъшала Грибоъдову отнестись хоть сколько-нибудь внимательно къ кръпостному праву. Жизнь не дала ему принципа, съ высоты котораго онъ могъ бы охватить этотъ предметъ. Онъ, конечно, мимомодомъ говорить о немъ, возмущается тъмъ, что набранные въ кордебалетъ Амуры и Психеи бы и потомъ распроданы по одиночкъ, но очевидно, что въ этомъ случать его поражаетъ фактъ распродажи въ розницу. А если бы оптомъ? спрашиваете вы себя... Какъ бы Грибоъдовъ отнесся къ такому факту? По всей въроятности—никакъ.

На сцену выступаеть полное раздвоеніе духа. Съ одной стороны, мощная критика, обращенная на современность, на самую кронку общественнаго строя—его "великихъ писцовъ", какъ Фамусовъ; "полководцевъ", какъ Скалозубъ; вездъ принятыхъ мошенниковъ, какъ Загоръцкій; титулованныхъ плантаторовъ и т. д.—съ другой, полное безсиліе создать хоть что-нибудь положительное, указать хоть на какой-нибудь выходъ. Выхода не было. Чацкій служитъ. На службъ онъ разсорился съ министрами. По обстоятельствамъ дъла выходитъ, что это хорошо. Но представьте себъ, что Чацкій самъ сталъ бы минпстромъ? Что бы онъ сдълалъ, какую бы идею осуществилъ онъ въ своей дъятельности? Очевидно, что ровно никакой, хотя и издалъ бы томъ циркуляровъ, предписаній, увъщевалъ бы не брать взятки, съ прискорбіемъ узнавалъ бы, что взятки берутся даже при

приведения върноподданныхъ къ присягъ и т. д, а все же министерство продолжало бы управляться письмоводителями и столоначальниками.

Но это "полное безсиліе создать что-нибудь положительное" показываеть, что отвращеніе къ жизни созрѣло, что она, эта жизнь, оскорбляла лучшихъ людей, давала имъ великольпный матеріалъ для сатиры п ровно ничего для созиданія. Развъ старовъріе Гриботдова выходъ? Развъ выходъ—католицизмъ Чаадаева? или проповъдь Домостроя со стороны Гоголя? или самоубійство Лермонтова? Конечно, нътъ. У Пушкина было нъчто положительное — это его отношеніе къ жизни, но только отношеніе; общественной же творческой иден у него не было, какъ п у другихъ его сверстниковъ.

Н. В. Гоголь. (1809—1852). Въ Гоголь это раздвоение еще сильнъе чъмъ въ Грибовдовъ. Онъ такъ и не вышелъ изъ него до конца своихъ дней, и всъ попытки, которыя онъ дълалъ, чтобы примириться съ собой, были печально неудачны. Эти попытки—вторая часть "Мертвыхъ душъ" и "Переписка съ друзьями". Великій геній погноъ оттого, между прочимъ, что не могъ найти никакого положительнаго идеала и даже просто положительной стороны жизни. На самомъ дълъ, легко себъ представить, какимъ уничтожающимъ смъхомъ осмъялъ бы онъ своихъ Костанжогло, добродътельныхъ откупщиковъ, ангеловъ, спустившихся на землю, чтобы принять видъ генералъ-губернатора, и какимъ бы удивительно страннымъ человъкомъ показался бы ему прежде всего самъ Николай Васильевичъ Гоголь, который, только что нарисовавъ своихъ Ноздревыхъ, Собакевичей, Маниловыхъ, и Плюшкиныхъ, вдругъ принялся оплакивать паденіе дворянства въ Россін, приписывая его тому обстоятельству, что дворяне пьютъ слишкомъ много шампанскаго!

Одни пытаются объяснить драму жизни Гоголя ненормальностью его натуры, которая (т. е. ненормальность) приняла въ концъ-концовъ угрожающіе размъры въ формъ меланхоліи религіознаго помъщательства, другіе, признавая въ немъ огромный талантъ и даже геній, считають его человъвомъ съ дурнымъ характеромъ, нравствинно испорченнымъ и т. д. Энергичнъе всего это миъніе высказывалъ всегда самъ Гоголь. Въ такихъ словахъ, напр., описывалъ онъ процессъ собственнаго творчества:

"...Съ этихъ поръ я сталъ надълять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дълалось: взявши дурное свойство мое, я преслъдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщъ, старался себъ изобразить его въ видъ смертельнаго врага, нанесшаго миъ самое чувствительное оскорбленіе, преслъдовалъ его злобою, насмъшкою и всъмъ, чъмъ ни попало. Если бы

кто видълъ тъ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего въ началъ для меня самого, онъ бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебъ только то, что, когда я началъ читать Пушкину, первыя главы изъ "Мертвыхъ Душъ", въ томъ видъ, какъ онъ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смъялся при моемъ чтеніи—онъ же былъ охотникъ до смъха,—началъ понемногу становиться все сумрачнъе, сумрачнъе, а паконецъ сдълался мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: "Господи, какъ грустна наша Россія!"...

Но у Гоголя—замѣчу—было слишкомъ много наклонности къ покаянію чтобы можно было особенно полагаться на его слова; вообще же разслѣдованіе подробностей его психологіп совершенно не входить въ программу этого обзора.

Драма жизни Гоголя представляется мнѣ гораздо глубже во всякомъ случаѣ и гораздо общественно содержательнѣе, почему я считаю нужнымъ остановиться на ней. Это на самомъ дѣлѣ жажда вѣры и невозможность вѣрить, это дѣйствительное непониманіе, куда мчится тройка—Россія, куда мчится самая жизнь.

Гоголь быль сатирикомъ, значить такимъ дарованіемъ, которое видить и въ жизни и въ людяхъ прежде всего ихъ отрицательныя стороны. Но странно, онъ какъ бы не замвчалъ преступленій, жестокостей, которыя ежедневно и ежеминутно творились возле него, не замечаль человеческой злобы, взаимной ненависти, зависти и т. д., словочъ всего того, что дълаеть существование невыносимымъ и преступнымъ. Не замъчалъ онъ и слевъ людскихъ, людского страданія, и трудно болѣе иягкими красками описывать крипостное право, чимъ дилаль это онъ. Видь ему даже не пришло въ голову заглянуть, что творится среди мужиковъ Манилова, Плюшкина, Ноздрева и какія драмы происходять тамъ. Его мужички добродушно подсменваются надъ Плюшкинымъ, добродушно разсуждають о томъ, добдеть ли колесо до Казани, или не добдеть, и больше инчего. О цензурномъ стесненін туть, разум'вется, говорить нечего: позволили же Пушкину напечатать его "Деревню"; не запретили же первыхъ повъстей Григоровича. Значить дело не въ этомъ, а въ томъ, что Гоголь не думалъ н думать не хотель о страданіяхь людей, вызванныхь какими-нибудь общественными причинами. Но, не видя преступленій, злобы и жестокости, Гоголь, какъ никто и никогда, чувствовалъ человъческую пошлость-тупую, застоявшуюся, самодовольную и непалічниую. Эта пошлость заслоняла передъ нимъ всю жизнь; густымъ туманомъ окутывала она всякій горизонть; это были какія-то теплыя, зловонныя испаренія затхлаго болота, нагло закрывавшія самое солице. Откуда эта пошлость, спрашиваль онъ себя? Отчего люди, которымъ такъ скоро предстоить смерть, даже не думають о ней, не "встрепенутся отъ ужаса, представляя себъ ея мрачный и неумолимый образъ, и не повысятъ своего существованія такъ, чтобы оно им'то смыслъ настолько цітный и яркій, чтобы въ его лучахъ терялся самый призракъ пугающей смерти, этотъ призракъ вічной ночи?"...

О ненависти Гоголя къ пошлости мы находимъ нъсколько любопытныхъ строкъ въ знаменитыхъ "Воспоминаніяхъ" Анненкова:

"Важнъе всего была въ Гоголъ та мысль, которую онъ приносилъ съ собой въ это время повсюду. Мы говоримъ объ энергическомъ пониманіи вреда, производимаго пошлостью, пенью, потворствомъ влу съ одной стороны, и грубымъ самодовольствомъ, кичливостью и ничтожествомъ моральныхъ основаній съ другой. Въ его преследованіи темныхъ сторонъ человъческаго существованія была страсть, которая и составляла истинное нравственное выражение его физіономіи. Онъ и не думаль еще тогда представлять свою дъятельность, какъ подвигъ личнаго совершенствованія, да и никто изъ знавшихъ его не согласится видъть въ ней намеки на какое-либо страданіе, томленіе, жажду примиренія и проч. Она ненавидаль пошлость откровенно, и наносиль ей удары, къ какимъ только была способна его рука, съ единственной цълью: потрясти ее, если можно, въ основаніи... Честь безкорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и по одному только отвращенію къ извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголемъ этой эпохи, даже и противъ него самого, если бы нужно было".

Его влекло къ наблюденію общества и къ д'яйствію на него, на первыхъ шагахъ своего поприща онъ хватается за сатиру и комедію.

Эту "пошлость", даже въ лучшую эпоху своей діятельности, Гоголь и не думаль связывать съ условіями общественной жизни. Онъ не приписывалъ ее ни крѣпостному праву, ни канцелярскому бюрократизму, ни однообразію духовныхъ интересовъ или, вереее, полному ихъ отсутствію. Сначала онъ просто удивлялся ей, слёдиль за ея разнообразнейшими проявленіями, нанося ей каждой строкой своихъ произведеній міткіе и неожиданнъйшіе удары, --- потомъ онъ начинаетъ склоняться къ мысли, пошлость жизни это н'вчто роковое, неизовжное, что въ ней проявляется сокровеннъйшая основа человъческой натуры — ея инчтожество, и наконецъ приводить ее въ связь съ отсутствіемъ религіозности. Нужно верить. чтобы жизнь получила спыслъ, нужно върить, чтобы избавиться отъ пошлаго самодовольства, на которое человъкъ не имъетъ никакого права, нужно върить, потому что одна въра даеть идеаль, одухотворяющій бытіе и наполняющій его в'янымъ и ціннымъ содержаніемъ. Воть къ чему онъ пришель, понявь, что пошлая жизнь это прежде всего жизнь невърующая, наполненная мелочами, удовлетворяющаяся малымъ и ничтожнымъ и забывающая о существеннъйшемъ-о смерти, той смерти, которая его, Гоголяэту ввчно ищущую, религіозную, хотя и эгонстическую натуру-повергала всегда въ мистическій ужась. Выхода Гоголь не нашель. Этимъ выходомъ нельзя считать и "Переписку".

"Человъкъ и душа человъка сдълались больше, чъмъ когда-либо, предметомъ наблюденій. Я обратилъ вниманіе на узнаніе тъхъ въчныхъ законовъ, которыми движется человъкъ и человъчество вообще. Книги законодателей, душевъдцевъ, и наблюдателей за природой человъка стали моимъ чтеніемъ".

А затъмъ его интересы поднялись еще выше:

"Все, гдъ только выражалось познаніе людей и души человъка, отъ исповъди свътскаго человъка до исповъди анахорета и пустынника. меня занимало, и на этой дорогь, нечувствительно, почти самъ не въдая какъ, я пришелъ ко Христу, увидъвши, что въ Немъ ключъ къ душъ человъка, и что еще никто изъ душезнателей не выходилъ на ту высоту познанія душевнаго, на которой стояль Онь. Пов'єркой разума повърилъ я то, что другіе понимають ясной върой, и чему я върилъ дотолъ какъ-то темно и неясно. Къ этому привелъ меня и анализъ надъ моею собственной душой... Итакъ, на нъкоторое время занятіемъ моимъ сталъ не русскій человъкъ и Россія, но человъкъ и душа человъка вообще... Жизнь я преслъдоваль въ ея дъйствительности, а не въ мечтахъ воображенія, и пришелъ къ Тому, Кто есть источникъ жизни. Отъ малыхъ леть была во мне страсть замечать за человекомъ, ловить душу его въ малъйшихъ чертахъ и движеніяхъ его, которыя пропускаются безъ вниманія людьми-и я пришель къ Тому, Который одинъ полный въдатель души и отъ Кого одного я могъ только узнать полнъе душу".

Въ религіозности Гоголя была одна черта, напоминающая религіозность Лермонтова. Это было лишь алканіе въры, но не въра; это было вождельніе религіознаго экстаза, но не самый экстазъ, иногда вождельніе настолько страстное и напряженное, что принималось за самое обладаніе. Какъ бы то ни было, выходъ—въра, быль найденъ, и Гоголя—при его огромномъ самолюбій, при сознаній своей огромной славы и при свойственной каждому русскому человъку жаждъ пророчествовать—онъ неотразимо повель къ учительству. Гоголь рышился научить людей какъ жить, каковы у нихъ семейныя, общественныя и личныя обязанности и какъ они должны эти обязанности исполнять. Задача была трудная, тымъ болье трудная, что Гоголь никогда не зналъ семьи, никогда даже не сближался ни съ одной женщиной, никогда не ласкалъ ин одного ребенка и никогда не нитересовался обществомъ. Все же онъ издалъ свою знаменитую "Переписку съ друзьями".

Когда вы читаете эту удивительную книгу, этоть истинный "Домострой" XIX въка, возобновляющій, а иногда буквально повторяющій произведеніе попа Сильвестра, написанное за три въка до того—вы невольно спращиваете себя—откуда она? Я думаю, что въ данномъ случать много и много помогли Гоголю его друзья Аксаковы, особенно же Константинъ, помогли, разумъется, совершенно безсознательно, потому что, какъ извъстно. старикъ Сергъй Тимофъевичъ одинъ изъ первыхъ возмущался "Перепиской". Но Гоголь часто бываль у нихъ, онъ видълъ передъ собой прекрасную, безупречную патріархальную семью, - прекрасныхъ и безупречныхъ патріархальных помещековь, слышаль восторженныя речи о старой Руси, о безобразныхъ идеяхъ Запада, все сводившихъ къ личному началу въ человъкъ и все выводившихъ изъ него, - и съиз упало на добрую почву. Что собственно хочеть сказать Гоголь своемъ "Домостроемъ"? То, что человъкъ, личность, не можеть быть самъ собой, не можеть и не сифеть полагаться самъ на себя. Прежде всего онъ долженъ быть тымъ, чымъ сделаль его случай рожденія, и не стремиться выйти изъ своего состоянія. Затемъ, какъ членъ семьи, онъ обязанъ безусловно повиноваться ен главе, а какъ членъ общества-его. Главными добродетелями, спасающими человъка отъ гръховныхъ ошибокъ и преступленій гордости, — это смиреніе. довольство малымъ, покорность. Лучшей книги въ защиту того, что существовало кругомъ, въ защиту криностного права и патріархальнаго идеала, усугубленнаго славянофильствомъ, нельзя было и написать. Но Гоголь забыль одно, что немного раньше ("Мертвыя души" вышли въ 1842 г., "Переписка" въ 1847 г.) всв его геніальные удары, направлялись какъ разъ противъ существующаго, и хотя онъ призналъ все раньше имъ написанное ненужнымъ, лживымъ и даже вреднымъ-но этого противоръчія ему не простели. Изв'ястно, какъ обрушился на Гоголя Б'ялинскій, и въ этомъ случать Бълинскій быль не одинъ. Я уже упоминаль, что его другь и почитатель, старикъ Аксаковъ, тоже обратился къ нему съ негодующимъ письмомъ.

Конечно, однимъ вліяніемъ Аксаковыхъ, одной, часто разнузданной, пропов'єдью Константина нельзя объяснить "Переписки". Причины ея появленія глубже. Ихъ надо искать также въ духовномъ одиночеств'є Гоголя, его жажді аскетическихъ подвиговъ, его постоянной мысли о роковой гріховности челов'єческой природы и объ окружающихъ ее соблазнахъ, — надо искать и въ томъ, что никакого другого выхода онъ не вид'єлъ. Быть можеть, даже онъ старался найти этоть выходъ въ будущности Россіи и ея народа, по крайней м'єрі, въ мечтахъ объ этой будущности. Но у него не было даже такихъ мечтаній. Сравнівая Русь со скачущей тройкой, онъ съ недоум'єніємъ спрашиваль—куда она скачеть? — и не получаль отв'єта.

Его геніальная сатира—истинный смыслъ которой и глубину намъ разъяснили потомъ Гончаровъ (своимъ Обломовымъ), Островскій и Щедринъ, эти его три ближайшихъ преемника—вскрыла всю пошлость жизни крѣпостной Россіи, весь ужасъ этой пошлости, затянувшей всѣ правящіе классы общества, выражала собой одну сторону его духа, а другая цѣли-

комъ запуталась въ безнадежномъ признанін, что выхода н'этъ, и въ тщетвыхъ попыткахъ найти этотъ выходъ. Тутъ-то и скрывается драма его жизин--та же, которую пришлось пспытать и Лермонтову, а въроятно, и сотнямъ другихъ менее известныхъ русскихъ людей. Да, выхода нетъ! Люди--пошляки и мераввцы, занятые сплетнями и пересудами, погруженные въ самодовольство, такіе, которыхъ даже ужасъ смерти не можеть остановить отъ самаго ничтожнаго мощенничества. Что же можетъ изивнить эту жизнь, обратить инчтожное въ великое, безсиысленное -- въ прекрасное и исполненное въры? Утилизація отбросовъ, которой занимался Констанжогло, или человъколюбіе послъ основательнаго грабежа, какое мы видимъ въ откупщикъ Муросовъ? Повторяю, никто бы на разсиъндся такниъ злымъ смехомъ надъ такимъ решениемъ вопроса, какъ самъ Гоголь. Если бы великій сатирикъ быль действительно религіозенъ, а не мучился бы только тоскою по религіозности и вождельніямь экстаза -- онъ создаль бы своего старца Зосима за 40 лътъ до Достоевскаго. Но его безсиліе создать что-нибудь положительное, такъ же ярко бросается въ глаза, какъ, наприм'яръ, въ сатиръ Свифта. И отсюда полное раздвоеніе духа, потому-то, оплевавъ всю крвпостную Россію, какъ никто, онъ вдругъ возвелъ ее въ перлъ созданія.

Воть это-то "нѣть выхода" со стороны такого человѣка, какъ Гоголь, и было лучшимъ приговоромъ того положенія дѣлъ, среди котораго создались его произведенія. Все, очевидно, доходило до своего тупика, упиралось въ глухую стѣну, несмотря на славу, купленную кровью, и полный гордаго довѣрія покой. Вирочемъ, скоро отъ этой славы и этого покоя не осталось и слѣда, такъ какъ значились они въ рапортахъ, а не въ лѣйствительности.

М. Ю. Лермонтовъ. (1815—1841).

Нътъ, я не Байронъ, я другой Еще невъдомый избранникъ; Какъ онъ, гонимый въ міръ странникъ, Но только съ русскою душой...

—говорить о себѣ Лермонтовъ. И въ этихъ строкахъ каждое слово—
правда, каждое слово—чистое золото, какъ вообще всѣ слова Лермонтова.
Онъ, дѣйствительно, не былъ Байрономъ, и въ настоящее время можно
говорить о сходствѣ ихъ характеровъ, объ общемъ имъ страстномъ, хотя
и исполненномъ недовѣрія отношеніи къ жизни—но не о подражаніи
великаго русскаго поэта великому англичанину. Опять правъ Лермонтовъ,
называя ссбя невѣдомымъ избранникомъ. Благодаря своей ранней кончинѣ,

которую онъ съ пророческой прозорливостью предвидътъ до мелочей ("Сонъ") и ускорить которую онъ такъ стремился ("Давно пора мнъ міръ увидъть новый", или "Я рано началъ, рано кончу")—онъ былъ и остался невъдомымъ, какой-то грозной и таинственной загадкой, негодующимъ упрекомъ своему времени. Но что хотълъ сказать онъ строкой о "своей русской душъ"? Какія свои особенности подчеркнулъ онъ этимъ словомъ? Ту ли совъстливость своего духа, которая не позволяла ему радостно пользоваться благами жизни? Или презръніе къ внъшнему блеску? Или его жажду самосожженія, потому что онъ въ жизни своей дъйствительно жегъ себя съ двухъ концовъ? Или то кроткое любящее настроеніе, которое то и дъло смъняли его бурные негодующіе порывы? Или, наконецъ, стихійность своей натуры, не вылившуюся ни въ одномъ опредъленномъ стремленіи? Увы! Мы, русскіе люди, такъ мало знаемъ, что такое "русское"—что пока этотъ вопросъ долженъ остаться безъ отвъта. Но эта "безотвътность" только усиливаеть впечатлъніе слъдующихъ строкъ:

Я раньше началь, кончу рань, Мой умь немного совершить; Въ душт моей, какъ въ океант— Надеждъ разбитыхъ грузъ лежить. Кто хочеть, океанъ угрюмый, Твои извъдать тайны? кто Толит мои разскажеть думы? Или поэть—или никто!...

Будто греческій богь, Лермонтовь ушель сь земли окутанный облакомь. Но воть у него на той же почве ужаса передъ пошлостью жизни, ея развратомъ, ея безвыходностью -- мотивъ негодованія. Его слава началась съ этого негодованія, съ великольпнаго стихотворенія "На смерть Пушкина", съ особенно великольшиой второй его части, гдь онъ грозно клеймить презрынныхъ потомковъ "извъстой подлостью прославленныхъ отцовъ", называя ихъ палачами "свободы генія и славы". И то же негодованіе въ знаменитомъ "на 1-е Января", гдъ онъ бросаеть этой окружающей его толпъ прямо въ лицо, "жел взный стихъ, облитый горечью и злостью". И это негодованіе, такое р'ядкое въ Россін, совершенно непонятное Пушкину, такъ робко звучащее въ ръчахъ Чацкаго, несвойственное Гоголю-является чънъ-то новымъ, неслыханнымъ, и вамъ кажется, что передъ вами говорить не русскій Лермонговъ, а одинь изъ его отдаленныхъ предковъ, грозныхъ шотландскихъ бароновъ, ведущихъ за собою дружину отищенія,--пли туть рокочеть Терекъ, или кто-то страшный, неизмітричый "въ блесків власти всталь могучій какъ гроза"!.. Но въ этомъ-то Лермонтовскомъ негодованін русскій человъкъ и созналь себя впервые воистину человъкомъ, п оно отъ Лермонтова передалось Герцену, съ такой гражданской опредъленностью выразилось у Бълинскаго, потомъ у Добролюбова и Щедрина, что придало совствъ особенный тонъ нашей литературъ—тонъ протестующій, что такъ не нравится вствъ искреннимъ и неискреннимъ сторонцикамъ нашего славянофильства, считающимъ коренными русскими добродътелями—незлобіе, смиреніе, кротость и полноту въры. Но какъ тутъ быть съ Лермонтовымъ и тъми, кто въ своихъ пропаведеніяхъ отразили ту же негодук щую струю?

На что негодоваль Лермонтовь — сказать не трудно. Здёсь прежде всего окружающая его пошлость, ложь враговь и клевета друзей, неисполненныя надежды, обманы жизни, наглое самодовольство сильныхь, муки чуткой совёсти за всю эту неправду жизни; дальше — всё эти реальные, отчасти даже личные мотивы преобразуются въ суровый приговоръ надъ жизнью вообще и заканчиваются гордымъ презрительнымъ вызовомъ самому Провидёнію въ стихахъ: "за все, за все Тебя благодарю я" и жаждой смерти.

Но гораздо труднъе сказать во имя чего негодовалъ Лермонтовъ? Что положительное было у него на душъ, словомъ, какой идеалъ носилъ онъ въ себъ?

Этотъ пдеалъ, очевидно, нельзя искать въ прошломъ. Это прошлое онъ разъ навсегда заклеймилъ, сказавъ въ своей "Думъ": "и предковъ скучны намъ роскошныя забавы, ихъ легкомысленный ребяческій развратъ" и признавъ про себя и свое поколъніе, что—

Богаты мы едва изъ колыбели Ошибками отцовъ и поздвимъ ихъ умомъ.

Нельзя искать этого идеала и въ настоящемъ. Отношение Лермонтова къ настоящему отчасти негодующее. На свое покольние онъ смотрълъ какъ на обреченное. Онъ не върилъ, что изъ него выйдеть толкъ, не върилъ чтобы что-нибудь могло вдохнуть духъ живъ въ это истощенное, дряблое племя людей, съ дътскихъ лътъ знакомыхъ съ тоской, томлениемъ и усталостью духа. Какой безнадежностью звучатъ послъдния строки его "Думы":

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда, Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой, Ни геніемъ начатаго труда. И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ...

Остается будущее... Но увы — Лермонтовъ не говоритъ о немъ совершенно. Во всякомъ случат ясно, что оно не звало его къ себт и не манило какимп-пибудь дающими отраду призраками. Ему не хотълось быть

тамъ—среди новыхъ людей и новыхъ покольній, оттого-то онъ такъ торопился покончить съ собою, хоти и сознаваль въ себъ всю мощь своего генія.

Во ния же чего негодовалъ Лермонтовъ — опять приходится спросить себя? Мив думается, что изо всей гаммы чувствъ особенно сильно было въ немъ развито чувство человъческаго достоинства. Не только спльно. но часто бользненно, до демонической гордости, до презрыния ко всыль окружающимъ. И во ния этого человъческого достоинства, обиженного и непризнаваемаго въ жизни, онъ и негодовалъ. Ему казалось, что не только общество, не тольно палачи свободы и генія, но самое божество, наградившее его жизнью, посягають на его неотьемленыя права, какъ человъка, не давая ему возможности жить той полной, вічной жизнью, которая единственно казалась ему цінной. А разъ не было этой візчной жизни, этой полноты существованія, любви безъ изміны и страсти безъ пресыщеніято онъ не хотель брать меньшаго, какъ не хочеть развенчанный властединъ брать подачку отъ побъдителя. Оттого-то на всъ соблазны жизни онъ отвъчаль презръніемъ, стараясь оградить себя отъ той пошлости, которую эти соблазны неминуемо вели за собою... "Какъ ты,--- говорилъ онъ, объ окружающемъ его міръ, -- не вижу въ немъ предмета ил спльной алобы, ни любви", -- или же называль жизнь пустою и глупою шуткой.

Лермонтовъ натура религіозная, но его религія— это исканіе прежде всего, это лишь неопределенное, неоформленное признаніе роковой тайны бытія.

Форма всего этого, конечно, романтическая, но основаніе—реально и жизненно. Разв'в одна смерть Пушкина, обидная и преступная, не давала Лермонтову права на подобное негодованіе противъ современниковъ, съ постыднымъ равнодушіемъ отнесшихся къ гибели великаго поэта, и противъ жизни вообще, такъ холодно принявшей ненужную ей жертву. "Смерть Сократа создала Платона, сдѣлала его непримиримымъ врагомъ демократіи, вызвала въ немъ то безконечное презрѣніе къ толиѣ, т. е. порочному большинству людей, которое заставпло его считать рабство ихъ вѣчнымъ удѣломъ". Смерть Пушкина создала Лермонтова, и на самомъ дѣлѣ: реальные мотивы неудовлетворенной мести и грознаго негодованія начинають звучать у него лишь послѣ катастрофы 1837 г. Къ этому рѣшающему факту прибавились другіе, и создалась поэзія Лермонтова — романтическая, негодующая, полная мысли о величіп человѣка въ идеѣ п обиды, за его низкое, ничтожное положеніе на землѣ.

Есть такіе, которые все же хотять выставить его върующимъ человъкомъ, върующимъ во все и въ Бога, и въ безсмертіе, и въ любовь, и въ счастливое будущее. Такимъ върующимъ онъ не былъ никогда. Что отличаеть его отъ Гриботдова, Гоголя, Чаадаева, романтиковъ вообще, это то, что онъ даже не искалъ выхода, потому что самоубійство--это не выходъ. Онъ утвердился въ своей негодующей безнадежности, какъ никто, и его поэзія лучше, ярче всего доказываеть, въ какой тупикъ ударилась русская жизнь того времени. Но живому человтку нуженъ принципъ жизни, и русская мысль, раздвонвшись, старалась найти его въ ученіи славянофиловъ и западниковъ.

Славянофилы и западники.

И уже говорилъ выше, что сначала въ споръ, а затъмъ и во враждъ этихъ двухъ направленій воплотилась одна изъ главнъйшихъ идей нашей литературной исторіи. Этотъ споръ и эта вражда не закончились еще и теперь, въ чемъ легко можетъ убъдиться каждый, прослъдивъ полемику между марксистами и народниками.

Славянофильство это стремленіе опереться на народныя, чисто русскія основы жизни, — воплотить въ общественныхъ отношеніяхъ идеаль патріархальнаго быта, основанный на дов'єріп, сознаній кровной родственной связи и религіозныхъ представленіяхъ, — это признаніе за русскийъ народомъ особаго историко - культурнаго назначенія и даже провиденціальной миссій утвержденія христіанства и царства Божія зд'єсь на землів. Славянофильство — гордыня нашего духа его самовозвеличеніе; все равно какъ западничество — его самоотрицаніе, или по крайней мірті его скроиное сознаніе собственныхъ недостатковъ. Вибсто иден патріархальности, основной пдеей западничества является идея законности и личнаго развитія, вибсто взгляда на русскій народъ, какъ на особый культурно-историческій типъ — признаніе, что единственно в'єрный для него путь — это тотъ же, по какому шли народы Запада.

Славянофильство и западничество вышли изъ того же источника—изъ философскаго броженія 30-ыхъ и 40-хъ годовъ, различіе ихъ создано темпераментомъ, разнымъ пониманіемъ прошлаго, разными историческими традиціями. Вскоръ къ этому присоединилось и различіе общественнаго положенія. Съ извъстной осторожностью на славянофильство можно смотръть, какъ на смутное стремленіе дворянства сохранить патріархальный бытъ Россіи, только улучшивъ его, очистивъ отъ всей грязи, которую насидъло на немъ чиновничество,—а вмъстъ съ этимъ бытомъ и свое привилегированное положеніе. Западничество съ самаго начала выбирало своихъ руководителей изъ разночинцевъ. Дворяне-западники всегда тяготъли и тайно и

явно къ славянофильству, во всякомъ случать непримиримой вражды къ нему не питали и держались закранны, довольно свободно переступая границы обоихъ ученій. Это были воистину западники съ славянофильскимъ настроеніемъ, и такая черта очень поучительна *).

Но Чаадаевъ на основании своей статьи долгое время оставался, какъ западникъ, безъ всякаго подозрвнія, и только очень недавно было сдълано открытіе... Нашлось одно его письмо, въ которомъ онъ пишетъ неизвъстному другу слъдующее:

"Мы русскіе искони были люди смирные и умы смиренные. Такт воспитала наст наша церковь. Горе намт, если мы измънимъ ея мудрому ученю; ему обязаны мы своими лучшими народными свойствами, своимъ величіемъ, своимъ значеніемъ въ мірть. Къ сожальнію, новое направленіе избранный шихъ умовъ нашихъ именно къ тому клонится... Пути наши не тв, по которымъ идутъ другіе народы. Мы, копечно, достигнемъ всего того, изъ за чего они быются, но по сіе время мы столь мало еще содыйствовали общему дълу человьческому, что безумно намъ величаться предъ старшими братьями нашими. Они не лучше насъ, но они опытные насъ... Не повырите, до какой степени личности людей въ нашемъ краю измынились съ тыхъ поръ, какъ облеклись этой народной гордынею, невыдомой отцамъ нашимъ".

Приводя это письмо, авторъ приложеній къ "Запискамъ Казанскаго Университета" очень осторожно, по и основательно говоритъ:

"Когда полиція въ 1852 г., составляя оффиціальный списокъ славянофиловъ, какъ людей опасныхъ для правительства, впесла туда и Чаадаева, паравнъ съ Аксаковыми и Киръевскими, къ негодованію и смъху лицъ, понимавшихъ дъло, какъ, напримъръ, того же кн. Вяземскаго, то она, конечно, не руководилась какими-либо фидософскими анализами сходственности ихъ ученій. Но будущій историкъ литературы несомнънно натолкнется па весьма любопытныя и неожиданныя сближенія... даже и въ частномъ случаъ—одинаковыхъ и у Чаадаева, и у славянофиловъ—симпатій къ Шеллингу".

Чаадаевъ поверпулъ къ православію и славянофильству уже подъ старость; другіе сдълали это значительно раньше, иные всю жизнь колебались между обоими ученіями, стоя на закраинъ. Вначалъ это было очень нетрудно дълать, тъмъ болъе, что, какъ славяне, такъ и западники такъ сходились въ большинствъ случаевъ въ критикъ современнаго имъ общественнаго строя, что не всегда есть возможность сказать по поводу одного, что онъ былъ славянофилъ, по поводу другого, что онъ былъ западникъ. Это нъсколько затрудняетъ изслъдованіе. Второе покольніе славянъ и западниковъ высказалось гораздо опредъленнъе— одни пошли

^{*)} Среди западниковъ называютъ обыкновенно Герцена и Чаадаева... Выли ли они въ дъйствительности ими? О Герценъ возможны по этому поводу очень серьезные споры и нельзя не видъть, что въ немъ была славянофильская закваска, хотя онъ и разошелся съ Аксаковымъ, долго полемизировалъ съ "славянами" и полемизировалъ жестоко.

Я сказаль выше, что славянофильство и западничество, не какъ настроенія и в'янья, а какъ попытка историческаго и теоретическаго обоснованія двухь міровозэріній, явились результатомь философскаго броженія русской мысли 30-ыхъ и 40-ыхъ годовъ. Здесь очевидно вліяніе Запада, н вообще, когда ны говоринъ о русской дитературъ, этого вліянія забывать нельзя. Оно вездъ, всегда и во всемъ. То является оно въ видъ догмы, неумодимой и воспринимаемой до последней буквы, - то прошедшимъ черезъ гориндо нашего самосознанія, въ видь готовыхъ п разработанныхъ формъ, напримъръ, псевдоклассицизма, сантиментализма, романтизма и т. д. -то въ видъ теорін. Но безъ него мы еще не обходились и пока обойтись не можемъ - да и было бы это совершенно ненужнымъ и задорнымъ деломъ. Центромъ этого философскаго движенія явился московскій университеть въ лицъ своихъ профессоровъ — Велланскаго, Павлова, Давыдова, Надеждина и пр. Всв они знакомили главнымъ образомъ съ Щеллингомъ, но думается, что его натуръ-философія, возбуждая большой интересъ своей новизной, оказалась для насъ русскихъ слишкомъ трудной. По крайней мъръ ен изложение у Велланскаго смутно и запутанно до послъдней степени. Но важно здесь не увлечение натуръ-философіей Шеллинга, а увлеченіе работой мысли вообще, которая жадно пскала выхода. Въ этомъ исканів одинаковое участіе принимали профессора и студенты. Особенно студенты, выдълнвшіе даже изъ своей среды типъ "студента 30-ыхъ годовъ"-- горячей головы, благороднъйшаго сердца, романтика и утописта, и нъсколько кружковъ, въ которыхъ, по словамъ увлекавшагося Герцена, зазаключалось въ то время будущее Россін. Не Россін, конечно, а пожалуй, независимой русской мысли. Глава одного изъ этихъ кружковъ, Станкевичъ, "вывезъ изъ Германіи Гегеля". 0! Это было не только открытіемъ, ато было откровеніемъ, за которое жадно и страстно ухватились мыслящіе люди того времени. Своей круглой, законченной и дивно разработанной системой Гегель даваль отвёты на всф вопросы бытія не только отдёльныхъ людей, но и целыхъ націй, всего человечества. Сначала ухватились за его знаменитую формулу "все действительное разумно". Это значило оправдывать все, именно оправдывать, признавая разумнымъ все существующее и пре-

въ сторону государственности и націонализма, другіе развивали теорію личнаго начала и мечтали о европейскихъ формахъ общежитія. Вначаль же такого раздъленія не было. Но я надъюсь все-же ясно представить читателю различіе обоихъ ученій, прося его помнить объ одномъ, что съ классовой точки зрѣнія славянофильство—доктрина несомпѣнно барская, дворянская, барами и дворянами формулированная и выношенная всѣмъ ихъ вѣковымъ прошлымъ.



клоняясь передъ нимъ какъ проявленіемъ Единаго Абсолютнаго Разума. Даже страстный Бѣлинскій противъ себя самого, противъ истинной протестующей сущности своей натуры принялъ эту формулу, видя "разумное" въ безудержиомъ произволѣ, чуть ли не въ татарщинѣ. Подъ вліяніемъ Гегеля русскіе люди стали эстетиками. Они стремились къ нравственной красотѣ своего духовнаго міра и, оправдывая все окружающее, не думали даже о немъ, сосредоточившись исключительно на себѣ.

Гегель не то хотёль сказать, что поняли въ немъ русскіе люди. Онъ хотёль сказать: "все дёйствительное разумно". Но далеко не все существующее онъ считаль дёйствительнымъ. Дёйствительнымъ онъ считаль лишь то, что развивается, что идеть впередъ, что является одной изъ необходимыхъ стадій, однимъ изъ логически неизбёжныхъ звеньевъ самопознанія Единаго Разума. Мертвый, неподвижный Китай въ его глазахъ былъ существующимъ, но не дёйствительнымъ, потому что въ будущемъ онъ не ждалъ отъ него инчего. Китай, по Гегелю, свое дёло сдёлалъ, Когда-то онъ быль нуженъ, когда-то въ немъ была жизнь, было развитіе, движеніе, божество пребывало въ немъ, но Богъ ушелъ въ другой народъ, въ другую культуру, двинулся на Занадъ, и существующій Китай пересталъ быть дёйствительнымъ, а значить, п разумнымъ.

Не оправданіе существующаго училь Гегель. Его философія была строго зволюціонной, философіей развитія прежде всего. Онъ могъ воспитать человъка въ мысли, что нътъ ничего въчнаго, застывшаго, навсегда опредъленнаго, что всякая мысль, всякій пдеаль, всякая форма жизни и общественныхъ отношеній являются лишь переходомъ къ дальнъйшему высшему, что само Божество находится въ процессъ въчнаго совершенствованія, т. е. самопознанія.

Этого долго не понимали, въ чемъ значительная вина падаеть на самого Гегеля, безусловно оправдывавшаго современное ему прусское государство и провозгласившаго свою философскую систему совершенствомъ. Его ученики въ почтительномъ недоумъни спрашивали: что же дълать Божеству послъ Гегеля, въ учени котораго Оно познало себя?

Тотъ же вопросъ задавали себъ и русскіе ученики. Но вотъ что, какъ ни склонны мы къ теоретическимъ увлеченіямъ, съ какимъ фанатизмомъ ни прилъпляемся мы къ философскимъ и научнымъ догматамъ—мы въ концъ концовъ ищемъ вездъ нравственной сущности, оправданія своей жизни, своихъ поступковъ, своей любви и ненависти и своихъ общественныхъ стремленій.

Всеоправдывающее пониманіе теорін Гегеля натолкнулось прежде всего на этотъ основной и чудно-красивый фактъ нашего духовнаго міра. Во ния нравственныхъ и религіозныхъ стремленій человіка пошли противъ

Digitized by Google

Гегеля славянофилы, признавъ своей задачей создание своей русской культуры; возстали и западники, особенно въ лицъ Герцена и Вълинскаго (съ 1842 г.), во имя справедливаго общественнаго устройства. Опять помогла Европа въ лицъ своихъ соціалистовъ первой формаціи—Сенъ-Симона, его учениковъ, Леру, Жоржъ-Зандъ. Это направление оказалось наиболье для насъ подходящимъ и вскоръ сталъ господствующимъ.

Славянофилы.

"Славянофильство,—писалъ Герценъ,--или руссицизмъ не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе и массовый инстичнкть, какъ противодъйствіе исключительно иностранному вліянію, существовало со времени обритія первой бороды Петромъ Великимъ.

"Противодъйствіе петербургскому "объевропеиванію" Россіи никогда не перемежалось; казненное, четвертованное, повъшанное на зубцахъ Кремля и тамъ пристръленное Меньшиковымъ и другими царскими "потъшными" въ видъ буйныхъ стръльцовъ, оно — это противодъйствіе—является какъ партія Долгорукихъ при Петръ II, какъ ненависть къ нъмцамъ при Виронъ, какъ разнузданная брань геніальнаго Ломоносова, какъ сама Елисавета, опиравшаяся на тогдашнихъ славянофиловъ, чтобы състь на престолъ: въдъ народъ въ Москвъ ждалъ, что при ея коронованіи выйдетъ приказъ избить нъмцевъ. Всъ раскольники—славянофилы по настроенію. Солдаты, требовавшіе смѣны Барклая-де-Толли за его нъмецкую фамилію, были предшественники Хомякова и его друзей.

"Война 1812 года сильно развила чувство народнаго сознанія и любви къ родинъ, но патріотизмъ 1812 года не имълъ старообрядческиславянскаго характера. Мы его видимъ въ Карамзинъ и Пушкинъ, въ самомъ Императоръ Александръ. Практически онъ былъ выраженіемъ того инстинкта силы, который чувствуютъ всъ могучіе народы, когда ихъ задъваютъ чужіе; потомъ это было торжественное чувство побъды, гордое сознаніе даннаго отпора. Но теорія его была слаба; для того, чтобы любить русскую исторію, патріоты перекладывали ее на европейскіе нравы; они вообще переводили съ французскаго на русскій римскогреческій патріотизмъ Корнеля и Расина и не шли далъе стиха:

Pour un coeur bien né que la patrie est chere! Какъ дорого отечество для благородно рожденнаго сердца!

"Правда, Шишковъ бредилъ уже и тогда о возстановленіи стараго слога, но вліяніе его было ограниченно. Что же касается до настоящаго народнаго слога, то его зналъ одинъ офранцуженный графъ Растопчинъ, да и тотъ частенько перевиралъ его, преобразовывая въ "балаганный стиль".

"По мъръ того, какъ война забывалась, патріотизмъ этотъ утихалъ и выродился наконецъ, съ одной стороны, въ подлую циническую лесть "Съверной Пчелы", съ другой—въ пошлый Загоскинскій патріотизмъ, называвшій Шую Манчестромъ, Шубуева—Рафаэлемъ, хваставшій штыками и дистанціей огромнаго размъра "отъ стънъ Кремля до стънъ Китая..."

Теоретическое славянство и самая славянская пдея никогда, впрочемъ, ясно не формулированная, какъ будто боявшаяся свъта ясныхъ опредъленій, явнлась лишь во время Николая Павловича. Изъ настроеніи "славиство" обратилось въ теорію. Въ этомъ многое было повинно. Усиленный государственный режимъ, гнетъ "оффиціальной народности", не могъ не вызвать чисто инстинктивнаго желанія опереться хотя бы въ мечтахъ своихъ на голосъ живой души. Вифшиниъ поводомъ приведенія себя славянофилами въ военное положеніе можно считать знаменитое письмо Чаздаева (о немъ ниже) гдѣ проводилась мысль, что для Россіи "нѣтъ выхода", что мы—бродяги мысли и чувства, блуждающіе въ мірѣ безъ всякаго интереса, безъ всякой цѣли. "Это почти значило, что пора умереть, и Чаздаевъ прислонился къ католицизму".

"Славянофилы, — продолжалъ Герценъ, — ръшили вопросъ иначе. Въ ихъ ръшеніи лежало върное сознавіе живой души въ народъ, чутье ихъ было проницательнъе ихъ разумънія. Они поняли, что современное состояніе Россіи не смертельная, а лишь временная бользнь. И въ то время, какъ у Чаадаева слабо мерцаетъ возможность спасенія лицъ, а не народа, у славянофиловъ ясно проглядываетъ мыслъ о гибели лицъ, захваченныхъ современной эпохой, и въра въ спасеніе парода—его будущность.

"Выходъ за нами, —говорили славянофилы, —выходъ въ отреченіи отъ петербургскаго періода, возвращеніе къ народу, съ которымъ разобщило иностранное образованіе; воротимся къ прежнимъ допетровскимъ нравамъ. — И чтобы не оставалось никакого сомнѣнія, они требовали возвращенія во всемъ — въ языкъ, одеждъ, презрѣнія и ненависти къ иностранцамъ. К. С. Аксаковъ одѣлся такъ національно, что народъ на улицахъ принималъ его за персіянина, какъ раззказывалъ Чавдаевъ.

"Мурмолки и персидскіе кафтаны должны были набрасывать твнь на всв славянофильскія теоріи. Эта твнь по необходимости сгустилась, когда узкій, назойливый, даже наглый націонализмъ нашель себв убъжище и радушный пріемъ въ славянофильскомъ лагерв.

"Письмо Чаадаева заставило славянъ организоваться. Въ началъ 40-хъ годовъ они были въ полномъ боевомъ порядкъ съ своей легкой кавалеріей, подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пъхотой Піевырева и Погодина, со своими застръльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее послъ кіевскаго періода, и умъренными, отвергавшими только истербургскій періодъ: у нихъ были свои каеедры въ университетъ, свое ежемъсячное обозръніе, какъ бы символически выходившее всегда двумя мъсяцами позже, чъмъ слъдо-

вало, но все же выходившее. При главномъ штабъ состояли православные гегеліанцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ п пр. и пр. По всей линіи происходили ожесточенныя стычки съ западниками. Эти постоянныя, черезъ день повторявшіяся стычки очень интересовали литературные салоны въ Москвъ. Надо замътить вообще, что Москва входила тогда въ ту эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся вопросами жизни. Появленіе замъчательной книги, напр., "Мертвыхъ Душъ" составляло событіе".

Исторія нашей литературы до такой степени разработана, что не трудно отдать себт ясный отчеть въ сущности славянской доктрины и убъдиться въ ея утопичности. Но сначала ознакомиися съ главными ея дъятелямиправда, возможно короче, потому что слишкомъ уже мало внесли они пока въ наше самосознаніе. Защитникамъ славянства не мъщаеть спросить себя: где ихъ ученые труды, где ихъ публицистическая деятельность, въ ченъ проявилось ихъ гражданское мужество? Славянофиловъ можно подраздёлить на насколько группъ: Первая это славянофилы-москвичи въ рода Загоскина, Фролова и т. д. Сущность ихъ "теорін" заключалась въ томъ, что они приходили въ восторгь отъ одного имени Москвы, бранили Петербургь, возили каждаго на Воробьевы горы, заставляли любоваться на Замоскворъчье, кормили селянкой и пирогами, а сами благополучно проходили служебную карьеру. Загоскинъ-тогь написаль, по крайней мірів, "Юрія Мплославскаго" — знаменнтый романь въ герончески сантиментальномъ тонъ, другіе не оставили и такого слъда по себъ. Это, такъ сказать, приматы славянства, смъсь пошлости и добродущія, глупости и восторженности, гостепріниства и удивительной обломовщины. Далее идуть теоретпки славянства съ Ю. Самаринымъ, А. С. Хомяковымъ, К. С. Аксаковымъ и братьями Кир'вевскими во глав'в. На этихъ надо остановиться подробите.

Алекс. Степ. Хомяковъ (1804—1860 г.) столбовой дворянинъ, сынъ богатаго помъщика и самъ богатый помъщикъ—натура въ высшей степени талантливая, даровитая. Памятью онъ обладалъ прямо псключительной, зналъ наизусть имена всъхъ византійскихъ патріарховъ, всъхъ московскихъ митрополитовъ, римскихъ папъ, и т. д. Онъ носилъ въ своей головъ цълую библіотеку, сыпалъ цитатами, былъ страстнымъ спорщикомъ и любилъ споръ какъ искусство, при чемъ всегда готовъ былъ спорить о чемъ угодно— о философскихъ основаніяхъ въры (любимая тема), о преимуществахъ православія (также), о первоначальномъ мъстъ жительства алановъ и лонгобардовъ и вообще о чемъ угодно. Натура блестящая,

но въ то же время едва ли особенно глубокая. нетерибливая и порывистая, за все кватавшаяся. Всю жизнь онъ не могь найти своего настоящаго призванія, хотя было оно у него, несомнівню было-это поэзія п поэзія гражданская-звучная, міткая и умная, часто злая, всегда пскренняя. Кто не знаеть его знаменитыхъ стиховъ: "въ судахъ черна неправдой черной и игомъ работва клеймлена", которыя онъ сымпровизироваль, а у него такихъ нипровизацій масса. Но ему некогда было остановиться, его тянуло въ развыя стороны. Сегодня онъ полемизироваль съ Грановскимъ о переседенін народовъ, завтра... изобрѣталъ паровую машину, отправляль плобретение въ Лондонь, очень безпокоплся о его участи, потомъ мстался по Москвъ, все опровергая и все доказывая, -- засиживался у себя въ деревит, спорилъ цтлыми днями съ мъстнымъ архіереемъ и вводилъ улучшенныя системы хозяйства. Онъ горячо и неутомимо проспорилъ вею жизнь сначала въ московскихъ гостиныхъ, затъмъ за границей и все во славу православія и славянства. Богословомъ онъ быль нешуточнымъ и даже не разъ приводель втупикъ отцовъ іезунтовъ. Но вотъ что хорошо-онъ не быль изуверомъ ни въ чемъ, даже въ своемъ славянствъ. Для него было наслаждениемъ привести въ замъщательство своего протявника и туть онъ самъ начиналъ добродушно см'яяться. Слишкомъ подвижной и умный, онъ и не могь стать фанатикомъ: ему нужны были не костры для еретиковъ, а игра для ума и онъ игралъ имъ, всю свою жизнь играль имъ. Убъжденія его были очень благородны и очень отвлеченны: туть и панславизмь, и ненависть къ крепостичеству, и ненависть къ чиновникамъ, и мистика, мистика безъ конца, но мистика отвлеченняя. во всеоружін діалектики--оттого сухал и безплодная, закончившаяся въ догнатических спорахь и тяжелых брошюрахь. Онь любиль Москву, и, конечно, Москва съ своими гостиными, своими безконечными "шумимъ братецъ, шуминъ", литературными интересами, а главное обломовщиной великольно подходила къ нему. Герценъ такъ описываеть московскія гостиныя 40-хъ годовъ:

"...Туть К. Аксаковь съ мурмолкой въ рукъ свиръпствоваль за Москву, на которую никто не нападаль, гдъ Р. выводиль логически личнаго Бога ad majorem gloriam Hegelü, гдъ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой ръчью, гдъ всъ помнили Бакунина и Станкевича, гдъ Чаадаевь, тщательно одътый, съ нъжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердиль оторопъвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замъчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намъренно замороженными гдъ молодой старикъ А. П. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всъхъ знаменитостяхъ Европы отъ Шатобріана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгагенъ, гдъ Боткинъ и Крюковъ патетически наслаждались разсказами М. С. Щепкина, и куда наконецъ падалъ, какъ конгревова ракета. Бълинскій, выжигая кругомъ все, что попадало..."

"Въ этихъ кружкахъ за литературпыми чаями и литературпыми ужинами все волновалось и кипъло. Москва принимала дъятельное участіе въ спорахъ за мурмолки и противъ нихъ, барыни и барышни читали статьи очень скучныя, и слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или за Грановскаго, жалъли только, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ. Споры возобновлялись на всъхъ литературныхъ и нелитературныхъ вечерахъ, на которыхъ встръчались западники и славянофилы, а это бывало раза два или три въ недълю. Въ понедъльникъ собирались у Чаадаева, въ пятницу у—Свербъева, въ воскресенье у Елагиной. Сверхъ участниковъ въ спорахъ, сверхъ людей, имъвшихъ мвънія, на эти вечера прівзжали охотники, даже охотницы, и сидъли до двухъ часовъ ночи, чтобы посмотръть, кто изъ матадоровъ кого отдълаетъ и какъ отдълаютъ его самого: прівзжали въ томъ родъ, какъ встарь ъздили на кулачные бои п въ амфитеатръ за Рогожской заставой.

"...Ильей Муромцемъ, разившимъ всъхъ со стороны православія и славянизма, былъ А. С. Хомяковъ, "Горгіасъ, совопросникъ міра сего", по выраженію Морошкина. Умъ сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый въ нихъ, богатый памятью и быстрымъ соображеніемъ, онъ горячо и неутомимо проспорилъ всю свою жизнь. Боецъ безъ устали и отдыха, онъ билъ и кололъ, нападалъ и преслъдовалъ, осыпалъ остротами и цитатами, пугалъ и заводилъ въ лѣсъ, откуда безъ молитвы выйти было нельзя."

И онъ требоваль молитвы на основании діалектики!..

"Философскіе споры его состояли въ томъ, что онъ отвергалъ возможность разумомъ дойти до истины (одинъ изъ краеугольныхъ догматовъ славянофильства); онъ приписывалъ разуму одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, даваемыя откровеніемъ, получаемыя върой. Если же разумъ оставленъ на самого себя, то, бродя въ пустотъ и строя категорію за категоріей, опъ можетъ обличить свои законы, но никогда не дойдетъ ни до понятія о духѣ, ни до понятія о безсмертіи. На этомъ Хомяковъ билъ на голову людей, остановившихся между религіей и наукой. Какъ они ни бились въ формахъ гегелевской методы, какія ни дълали построенія, Хомяковъ шелъ за ними шагъ за шагомъ и подъ конецъ дулъ на карточный домикъ выстроенный ими..."

И въ концъ концовъ грустно, что такая богатая натура потеряла ссбя на борьбу съ карточными домиками, на блестящіе, ненужные турнпры въ гостиныхъ. И еще больше жаль, что тутъ затерялся большой поэтическій талантъ, ненашедшій себя среди московской безалаберности, деревенской обломовщины и общаго безвременья эпохи... Вирочемъ, большая часть написапнаго имъ все еще находится подъ спудомъ.

Взгляды Хомякова на крестьянскій вопросъ характерны для славянофиловъ вообще. Въ изложеніи Самарина они сводятся къ слѣдующему: Устраняя вопросъ о правъ на личность, онъ основывалъ будущій поря-

докъ вещей на чисто-поземельныхъ отношеніяхъ между землевладёльцемъ н сельскою общиною. Необходимость сохранить ея неприкосновенность при вськъ будущихъ преобразованіяхъ составляла одно изъ коренныхъ его убъжденій. Онъ дорожиль ею не только, какъ самороднымъ произведеніемъ народной жизни, и какъ върнъйшимъ средствомъ застраловать право крестьянь на землю оть техь несчастныхь и неизбежныхь случайностей, которыхъ бы не вынесли разобщенныя личности, но еще болъе, какъ нравственною средою, въ которой лучшія черты народнаго характера спасались оть заразительнаго крепостного права. Эта высль, въ одномъ изъ его писемъ, выражена въ следующихъ словахъ: "Чемъ более я всиатрпваюсь въ крестьянскій быть, темъ более убеждаюсь, что міръ для русскаго крестьянина есть какъ бы олицетворение его общественной совъсти, передъ которою онъ выпрямляется духомъ, міръ поддерживаеть въ немъ чувство свободы, сознаніе его нравственнаго достоинства и всі высокія побужденія, отъ которыхъ мы ожидаемъ его возрожденія. Можно бы написать легенду на следующую тему: Русскій человекь, порознь взятый, не попадеть въ рай, а цълой деревни нельзя не пустить."

Эти взгляды легин впоследствін въ основу народничества.

Глубже и ўже, нетерпин'ве (но опять безъ паув'трства) былъ К. Аксаковъ, (1817—1860) сынъ знаменитаго автора "Семейной хроники", братъ Ивана Серг'вевича Аксакова, одинаково знаменитаго публициста и издателя "Русн". Старшій сынъ и любимецъ, онъ провелъ всю жизнь подъ семейнымъ кровомъ, и ни одно жизненное горе не коснулось его вплоть до смерти отца, которой онъ не перенезъ, и сошелъ въ могилу недолго спустя.

"Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ петровской Руси, противъ петербургскаго періода во имя непризнанной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступала діалектикъ Хомякова, онъ не былъ поэтъ-мыслитель, какъ Н. Кирѣевскій, но онъ за свою въру пошелъ бы на площадь, пошелъ бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убъдительными. Онъ въ началъ 40-хъ годовъ проповъдывалъ сельскую общину, міръ и артель. Онъ научилъ Гаксгаузена понимать ихъ и, послъдовательный до дътства, первый опустилъ панталоны въ сапоги и надълъ рубашку съ кривымъ воротомъ. "Москва—столица русскаго народа, говорилъ онъ, а Петербургъ—только резиденція". (Герценъ).

Аксаковъ остался до конца жизни въчно восторженнымъ и безпредъльно благороднымъ юношей: онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда споры славянофиловъ съ западниками дошли до того, что они уже не хотъли болъе встръчаться,

Герценъ какъ-то шелъ по улицъ. К. Аксаковъ ъхалъ въ саняхъ. Г. дружески поклонился ему. Онъ было проехалъ, но вдругь остановиль кучера, вышель изъ свией и подошель къ Г. "Мив было слишкомъ больно, сказаль онь, -- пробхать инио вась и не проститься съ ваин. Вы понимаете, что послъ всего, что было между вашими друзьями и монии, я не буду къ вамъ тадить; жаль, жаль, но дълать нечего. Я хотълъ пожать вашу руку и проститься". Онъ быстро пошель къ своимъ санямъ, но вдругь воротился. Г. стояль на томъ же мъстъ: ему было грустно. Аксаковъ броселся къ нему, крешко обнялъ его и крешко поцеловалъ. У него на глазахъ были слезы. Этому-то младенцу сердцемъ, но убъжденному и непреклонному фанатику и пришлось играть видную роль въ проповеди славянофильства. Можно себе напередъ представить, сколько горячности было внесено въ эту проповедь и къ какимъ жизненнымъ практическимъ результатамъ могла она привести! Быстро и далеко зашла ссора изъ-за теоретическихъ разногласій между западниками и славянофилами, и полемика за литературными чаями мало-по-малу перешла въ журнальную...

Ни на чемъ такъ хорошо не можете вы изучить старо-барскаго обломовскаго духа, его лёни и безалаберности, его мечтаній о патріархальномъ строё общества, какъ на произведеніяхъ К. Аксакова. Они многочисленны и разнообразвы, въ стихахъ и прозё, въ формё драмъ и пов'єстей, историческихъ изследованій и характеристикъ, и вездё во всемъ одна идея: народъ чудно хорошъ своей д'єтской в'єрой, своимъ смиренномудріемъ, но его портить Петербургъ, чиновники и культуртрегеры. Народъ святыня. Прочь отъ него со своими грязными лапами и хищиическими душами, дайте ему жить какъ онъ жилъ 200 - 300 лётъ тому назадъ, съ одними священными книгами, съ зав'єтами предковъ. Подходите къ нему съ чистыми сердцами, будьте старшими и ведите народъ не принужденіемъ, а любовью.

Своего ученія К. Аксаковъ нігді не плагаль въ совершенно стройномъ и систематическомъ порядкі, мы знаемъ только, что идеаломъ его была Русь XVII или даже XVI віка съ земскими соборами, выборнымъ началомъ. Но входили ли въ этотъ идеалъ и дворяве? Да, несомивно, хотя дворяне любовные, радушные, патріархи — старшіе надъ дітьми и чисто русскіе люди. На этомъ-то, какъ мит думается, и выясняется лучше всего слідующее положеніе.

Славянофильство было несомнюнно классовой теоріей. Лучиіе изъ славянофилось были благороднюйшими представителями стараго родовитаго дворянства: выйдя изъ его среды, они всёмъ сердцемъ проннялись его идеаломъ—патріархальнымъ строемъ жизни, они распространили этотъ идеалъ на всю совокупность общественныхъ отношеній; страстные, фанатически уб'єжденные, почерпавшіс свой аргументъ

пзъ воспоминаній дітства, изъ преданій цілаго покольнія семей,—они не хотілн знать, что идеаль, строй жизни—историческая категорія, что патріархальность отношеній немыслима во второй половинь XIX-го віка.

Когда я говорю, что славянофильство "классовая теорія", я нисколько не хочу обидіть благородной памяти Аксаковыхъ, Кирізевскихъ, Хомякова, Самарина. Они были невольными представителями своей среды.

Впитавши съ молокомъ матери извъстныя традиціи, они, конечно, расшприли ихъ путемъ серьезнаго образованія, но осталось изчто неподлающееся разложенію — это закваска стараго барства. Искренве, отъ всей души ненавидя крепостное право, возставая противъ него, они въ то же время смугно сознавали, что подрубають тоть сукъ, на которомъ сами сидять. И въ сущности, въ кръпостномъ правъ они ненавидъли не столько самый институть, сколько пом'вщичьи безобразія и увлеченія своими привилегіями. "Если мы вспомнимъ, — говоритъ С. А. Венгеровъ, — съ какимъ добродушіемъ относился Сергій Тимофеевичь къ кріпостному праву, то намъ станеть вполит понятнымъ, что п въ сынт его, разъ онъ жизни не зналь, только теоретические импульсы могли создать иное, более озлобленное отношеніе. Но именно теоретическіе импульсы и направляли его на вные пути борьбы. Тъ импульсы, которые вдохновляли бывшихъ друзей Константина Сергъевича на возможно ръзкій протесть противъ темныхъ сторонъ кръпостного права, для него были несимпатичны уже въ источникъ своемъ, потому что помимо того, что они шли съ Запада, они говорили о вражде и фрондерстве, столь нелюбимыхъ имъ. Общее же его міросозерцаніе и складъ восточно-русской натуры гнули въ сторону усматриванія положительных сторонъ. Конечно, это не умаляло степени нелюбви Константина Сергъевича къ кръпостному праву, въ ненависти къ коему онъ едва ли уступалъ кому бы то ни было. Но со стороны, т. е. для читателя, --- получалось очень странное впечатление, получался тоть совершенно неумъстный мажорный тонъ, то идиллистическое изображение кръпостного быта, по поводу коего каждый крипостникь могь сказать: зачимь отивнять крепостное право, когда при немъ такъ хорошо живется народу?"

Константинъ Аксаковъ рисовалъ въ своихъ произведеніяхъ крѣпостипческія идилліи — это несомивню, но онъ сдвлалъ ивчто еще большее онъ далъ намъ настоящую утопію беззаконнаго существованія. Знаменитые стихи:

По причинамъ органическимъ Мы совсъмъ не снабжены Смысломъ здравымъ юридическимъ, Симъ исчадъемъ сатаны. Широки натуры русскія;

Нашей правды идеалъ Не влъзаетъ въ формы узкія Юридических вачалъ.

вполит примънимы къ нему.

Законъ всегда, съ юныхъ лътъ и до смерти, представлялся ему чъмъ-то холоднымъ, мертвымъ, формальнымъ. Онъ презиралъ его такъ же, какъ и его представителей—чиновниковъ. Идеалъ кръпостного права — любовное, заботливое отношение старшихъ къ младшимъ, не юридическую, а нравственную связь между людьми онъ распространялъ на всю общественную жизнь. Что законъ? Законъ можно нарушить, обойти, неправильно истолковать; нравственная связь и нравственный долгъ — кръпче. Если кому-инбудь нужны доказательства этого послъдняго обстоятельства — пусть онъ посмотритъ на жизнь крестъянскаго міра, "ученаго лишь по церковнымъ книгамъ, да по преданіямъ старины".

Туть старшіс п младшіс, отцы и дітп, соединенные любовью, но не договоромъ. Туть живая нравственная связь между людьми, которая поддерживается общинными укладами. При ней ніть міста для формальной справедливости, защищающей лишь интересы большинства, при ней есть полная свобода для проявленія внутреннихъ позывовъ къ добру, есть місто для непрестанно дійствующей религіозности.

Нельзя не найти эту утопію нісколько странною. Віздь если любовь да старыя кинги -- все, то намъ ровно ничего не надо: ни образованія, ни законовъ, ни борьбы, а все, что намъ нужно-пивется въ изобилів. И все это говорилъ человъкъ, изучившій гегелевскую премудрость, побывавшій за границей, одинь изъ образованныйшихь людей своего времени, обладавшій несомнівню самостоятельной мыслью, но мыслью, совершенно затуманенной преданіями рода и пом'вщичьей среды. Только эти преданія, сохранившіяся еще съ XVI-го и XVII въковъ, и могли заставить Константина Аксакова такъ упрямо держаться своихъ выводовъ, утверждать, что Европа намъ не нужна, а завъщанный старпною крестьянскій міръ спасеть насъ оть всякихъ несправедливостей, б'єдъ и напастей. И нечего и говорить, что барство вообще очень симпатично относилось къ теоріямъ Аксакова, и даже такіе баре, какъ Герценъ п Грановскій, зато воть Вълнискій никакъ не могь взять въ толкъ всей этой премудрости, до конца дисй негодовалъ на нее, не переставая попутно и упрямо ворчать на встав устроителей примиряющихъ объдовъ. Очевидно, что ничто, прямо или косвенно связанное съ феодализмомъ, его предавіями, его господствующимъ настроеніемъ, никакой своей стороной не могло подкупить его. Для него, нищаго разночинца и янтеллигента, нужна была несомивиная опора въ жизип, а не только довъріе или милостивая подачка. И онъ видълъ эту опору въ образованін, правахъ, лучшемъ экономическомъ устройствъ. Онъ рвался впередъ; это "впередъ" объщало ему полное признаніе его какъ человъка, признаніе его правъ на личное счастье и активную роль въ общественной жизни. Признаніе славянофильскаго "назадъ", домой, къ до-петровскимъ временамъ было для него —разночинца и пителлигента — чистымъ самоубійствомъ.

Въ сущности политическія идеи К. Аксакова довольно неопредъленны и пат путаницы противорічій можно выділить дишь 1) мечты о земскомъ соборіз и 2) требованіе свободнаго слова. Мечты о земскомъ соборіз были формулированы имъ такъ: Правительству—неограниченная власть государственная, народу — полная свобода нравственная, свобода жизни и духа. Правительству— право дійствія и, слідовательно, закона; народу — право митінія и, слідовательно, слова.

Положительный человъкъ нашихъ дней, конечно, спросить себя: возможно ли такъ ръзко отдълять "власть государственную отъ свободы правственной" и не окажется ли послъдняя въ любой моментъ отданной въ распоряжение первой? Отвътъ на этотъ вопросъ долженъ показать положительному человъку, что онъ имъетъ дъло съ благороднымъ идеалистомъ 40-хъ годовъ, который всъмъ существомъ былъ преданъ прекраснымъ словамъ. Да, К. Аксаковъ былъ дъйствительно благороднъйшимъ идеалистомъ, человъкомъ высоко цъломудреннымъ физически и нравственно. Его можно уважать, какъ одного изъ лучшихъ и краспвъйшихъ представителей нашего стараго барства.

Изъ его сочиненій, очень, какъ я сказалъ выше, разнообразныхъ п многочисленныхъ, ни одно не пережило его самого, кромъ общензвъстныхъ двухъ статей "Объ основныхъ началахъ русской исторін" и "О древнемъ быть у славянь вообще", гдь онь, мъстами блестяще, проводить мысль объ исконномъ различія народа русскаго отъ народовъ Запада, такъ какъ русскій народъ всегда отділяль землю отъ государства, т. е. никогда не стремился къ политической власти, даже чурался ея, и что истиннымъ укладомъ древне-русской жизни былъ не родовой (какъ дучали Эверсъ, Соловьевъ, Кавелинъ) и общинно-въчевой быть. Это последнее — если не открытіе, то все же серьезная поправка ко всімь теоріямь о "юридическомъ быть древнихъ славянъ", но п она; ценная сама по себъ, доказываеть только, въ сопоставленін съ другими взглядами, какъ многое было смутно въ головъ добраго и корошаго К. С. Аксакова, потому что какъ же это можно утверждать, что русскій народъ всегда чурался государственной власти, и въ то же время, что истиннымъ укладомъ его жизни быль общинно-въчевой. Развъ въче-не власть государственная?

Необходимо опредълить "большой разумъ" славянофильства, его историческія и общественныя основы, чтобы уловить его истинную сущность. Изученіе Шеллинга и Гегеля мало помогуть ділу, потому что философія дала славянамъ лишь ніжоторые пріемы мышленія, ніжоторыя второстепенныя иден, но корин истинной сущности ихъ ученія гораздо глубже. Потому что славянофильство дійствительно органическая теорія, вскормленная русской жизнью, русскими историческими преданіями, и нисколько не странно предположить, что со временемъ славянофильство съ его изгибами и развітвленіями, его странной смісью дерзости мысли и ея холоцства, политичекой безтактности и фанатизма, протеста и оправданія дастъ драгоцівный матеріаль соціологу-этнографу, желающему проникнуть въ психологическую и таинственную сущность русской народности. Быть можеть, при всей неправильности и произвольности толкованія, при всей фантастичности освіщенія выступаеть однако наружу исторически и стихійно сложившійся духъ этой теорія. Воть ея важнійшія, хотя отрицательныя черты:

1) Иевъріе въ человъческое "я", признаніе массоваго разума, гораздо болье могущественнаго и правильного, чымь отдыльный человыческій разумъ. Когда впоследствін народники (изв'ястная ихъ честь) требовали следовать мижніямь народа, его массовому самосознанію, а не плану реформъ и преобразованій -- они, конечно, только повторяли аргументь славянофиловъ, Когда Толстой въ 8-ой части "Войны и міра" далъ свою философію исторіи, гдъ сводиль къ пулю работу геніевь и талантовь --онь шель, конечно, за Самарпнымъ, К. Аксаковымъ, Хомяковымъ, съ обычной для него теоретической примолинейностью развивая до конца ихъ точку арвнія. Туть ясно слышится голось исторіи, потому что русская исторія дъйствительно никогда не давала (за самыми ръдкими и несущественными нсключеніями) простора личности, личной работь и предпрівмчивости. "Личность" она держала — въ оковахъ, стесненіп, невежестве, робкой покорности и рабскомъ подчиненіи. Міромъ отражала она насъдавшихъ на нее враговъ, міромъ заняла и колонизовала безконечныя пространства. Въ русской исторія вы видите прежде всего медленную и молчаливую работу массоваго стихійнаго приспособленія, не считающаго жертвъ, не печалящагося о нихъ и массой своей наполняющаго ровъ-разъ ровъ встретится на дорогь, чтобы могля перейти следующія толпы. Это вечное повтореніе живого моста, изображеннаго на картинъ одного извъстнаго художника: рытвина до верху переполнена солдатами, а по ихъ головамъ переважаетъ артиллерія. И воть это-то стихійнос, массовое, безсознательное славянофилы и возводили въ пераъ созданія. Оттого-то на первый планъ они и выдвигали такія качества, которыя въ конц'в концовъ противор'вчать личному началу-смиреніе, покорность, покаяніе и даже особенно понимаемую

нин *религіозность*, какъ низведеніе своего "я" къ безмірно малому передъ безмірно большимъ, передъ православнымъ Богомъ.

2) Недовъріе къ разуму, къ разсудку человъческому вообще (философски это отъ Шеллинга), признаніе его ограниченности, отрицаніе его полновластія. Ръзко и отчетливо формулируеть это Ю. Самарниъ:

"Какъ у насъ, такъ и во Франціи, Англіи, Германіи, на первомъ планъ одинъ вопросъ: законно ли самодержавное полновластіе разсудка въ устройствю души человъческой, гражданскаго общества, государства? Въ правъ ли разсудокъ ломать и коверкать духовныя убъжденія, семейныя и гражданскія преданія,—словомъ исправлять по-своему жизнь? Тиранія разсудка въ области философіи, въры и совъсти соотвътствуеть на практикъ, въ общественномъ быту, тираніи центральной власти. Страсть всъмъ управлять, все регламентировать, подставлять на мъсто преданія и свободнаго вдохновенія правило, выведенное изъ отвлеченнаго принципа — вотъ наша бользнь. Власть относится къ обществу, какъ разсудокъ къ душъ человъческой. Законное чувство тоски и пресыщенія, вызванное самовластіемъ разсудка и правительства, лежить въ основаніи стремленій Монталамбера, Токвиля и "Русской Бестьды".

Монталамберъ и Токвидь тутъ собственно не при чемъ. Но при этомъ вопросъ о преимуществъ въры надъ разсудкомъ, при этомъ Платонъ Каратаевъ въ своемъ язвительномъ разсказъ о бумажномъ исканіи правды, при этомъ Л. Толстой съ своимъ "не суди", при этомъ Хомяковъ, считавшій въру, религію основаніемъ народности, общественнаго и семейнаго строя, при этомъ К. Аксаковъ съ своимъ презрѣніемъ къ юридическимъ началамъ, къ регламентаціи разсудкомъ междучеловіческихъ отношеній. Туть, несмотря на смутность формулировки, чувствуется психологическая глубина, потому что, конечно, не однимъ разсудкомъ живетъ человъкъ, но тутъ же на сцену выступаеть и весь утопизмъ славянофильства, потому что, мечтая объ основанін общественныхъ отношеній на дов'врін, любви, нравственной связи, славянофилы не спросили себя, гдв и когда видвли мы что-нибудь подобное и можеть ли оно быть безъ предварительной огромной работы разсудка, закрыпляющаго въ юридическихъ нормахъ успыхи общественности? Законы святы, да исполнители лихіе супостаты. И, конечно, свято дов'єріе, любовь, нравственная связь, но гдт и въ чемъ нхъ гарантія? Что пом'єщаєть имъ перейти въ произволь?

3) Несмотря на отдівльныя очень смівлыя и даже по тому времени "революціонныя" мнівнія славянофиловь, ихъ ученіе, взятое вы цівломъ, безусловно консервативно. Земледівльческій и дворянскій строй старой Россів нашель здісь истинное свое выраженіе. Опять-таки совершенно откровенно раскрываеть подоплеку славянофильства Ю. Самаринъ. Сказавши объ общей для Россіи и Европы борьбів съ полновластіємъ разсудка, онъ продолжаеть:

"Но вотъ разница: Токвиль, Монталамберъ, Риль и другіе, отстаивая свободу жизни и преданія, обращаются съ любовью къ аристократія, потому что въ историческихъ данныхъ Западной Европы аристократія лучше другихъ осуществляеть жизненный торизмъ. Самъ Монталамберъ только признаеть, и то съ прискорбіемъ, что демократическое начало имъетъ на своей сторонъ удивительный перевъсъ. Напротивъ, мы обращаемся къ простому народу, но по той же самой причинъ, по которой они сочувствуютъ аристократіи, т.-е. потому, что у насъ народъ хранитъ въ себъ даръ самопожертвованія, свободу нравственнаго вдохновенія и уваженіе къ преданію. Въ Россіи единственный пріють торизма—т.-е. консерватизма—черная изба крестьянина".

Конечно, не въ отдельныхъ параграфахъ славянофильской доктрины нало искать ея торизма (такъ какъ, повторяю, есть очень радикальные параграфы), а въ ея духв, ея настроенін. Этоть "торизмъ" лучше и ярче всего выразнися въ отношения къ крепостному праву, въ техъ идилліяхъ, которыя безсознательно выливались изъ-подъ пера К. Аксакова и особенно его знаменитаго отца, одного изъ талантливъйщихъ русскихъ бытописателей—С. Т. Аксакова (1791—1859). Въ его "Семейной хроникъ" п "Дътскихъ годахъ Вагрова внука" передъ нами въ замъчательно красивой, эпической форм'в развертывается жизнь пом'вщиковъ начала XIX-го в'яка. Вотъ, кажется, совершенно правильная оцфика этихъ произведеній: "необыкновенно горячая симпатія къ патріархальной обстановкі жизни помішиковъ временъ крепостного права, любовь къ окружающей природе заслоняють отъ него всё мрачныя стороны личной зависимости крестьянъ оть связующий в цементом в объих сторонъ". Это вы высшей степени важно особенно потому, что все это высказано въ яркихъ художественныхъ формахъ, въ процессъ творческаго ясновидънія. Въ этой идиллической окраскъ "крипостных отношеній" вылился весь полувиковой опыть С. Т. Аксакова, она же, вонечно, обусловливала и политические взгляды славянофиловъ.

4) Совершенно теперь понятно враждебное отношеніе славянофиловъ въ Петру І-му и его реформамъ. Въ этихъ послѣднихъ Петръ, конечно, не справлялся съ самосознаніемъ массы и миѣніями народа; несомиѣнно, что онъ признавалъ самовластие разсудка. Во имя государственной выгоды онъ безжалостно ломалъ патріархальныя основы жизни, доходя до насмѣшекъ надъ самой религіей. И съ этой точки зрѣнія Самарпнъ совершенно правъ, говоря:

"Два недуга разъвдали древнюю жизнь: лихоимство и обрядность противъ этого г. Соловьевъ спорить не будетъ. Древняя Русь ихъ не скрывала, напротивъ, она каялась въ нихъ во всеуслышаніе, искала противъ нихъ, по не находила исцъленія,—съ этимъ также согласится г. Соловьевъ. Итакъ, съ полнымъ и яснымъ сознаніемъ своей болъзни, съ готовностью на все для кореннаго исцъленія, поступила Русская

земля на попеченіе безстрашнаго хирурга (Петра I), привезшаго изъ-за границы новую систему лѣченія. Она теперь испробована, прошло полтораста лѣтъ. Мы не спрашиваемъ: здорова ли Россія? Нѣтъ--это было бы много. Мы просимъ только, чтобы намъ указали; какое новое, притомъ дъйствительное и древней Руси невъдомое или недоступное, средство открыто и употреблено въ дѣло? Противъ двухъ коренныхъ недуговълихоимства и обрядности, которыхъ всѣ признаки такъ подробно описаны, что пріобръла Россія? И когда намъ укажутъ, что она пріобрѣла, мы беремся показать, что она утратила".

Что утратила? Конечно, религіозность, конечно, любовь и довтріе, какъцементь общественныхъ отношеній.

Но было ли это когда-нибудь въ дъйствительности—воть вопросъ. А другой не менъе важный: не является ли реформа Петра органическить и необходимымъ результатомъ всей московской государственности?

5) Но, конечно, больше всего любопытно это постоянно повторяющееся настойчивое "назадъ" или это закръпленіе разъ навсегда формъ общественной жизни. Потому что дворянству, какъ классу, впередъ и нечего было некать. Все было у него пли въ прошломъ пли въ настоящемъ, раньше п теперь, но не впереди. И большой безсознательный "историческій" разумъ цълаго сословія громче и отчетливъе всего высказался въ этомъ "назадъ".

Любовь, нравственность и религія заміняли славянофиламъ всякую политику. Религія въ формі православія нграла въ ихъ ученіи роль преобладающую. Но у Хомякова потребность ея вытекала изъ доктрины, Аксаковъ преклонялся передъ ней, какъ основой древне-рускаго быта, только у Кирітевскихъ, особенно у Ивана, она питла мистическую окраску, Любовную характеристику братьямъ Кирітевскимъ даетъ Герцевъ.

"Оба брата Киръевскихъ стоятъ печальными тънями на рубежъ народнаго воскресенія: пе признанные живыми, не дълившіе ихъ интересовъ, они не скидывали савана.

"Преждевременно состаръвшееся лицо Ивана Васильевича носило ръзкіе слъды страданій и борьбы, послъ которыхъ уже выступилъ печальный покой морской зыби надъ потонуршимъ кораблемъ. Жизнь его не удалась. Съ жаромъ принялся онъ за ежемъсячное обозръніе "Европеецъ". Двъ вышедшія книжки были превосходны; при выходъ второй, "Европеецъ" былъ запрещенъ. Онъ помъстилъ въ "Денницъ" статью о новиковъ—"Денница" была схвачена, и цензоръ Глинка посаженъ подъ арестъ. Киръевскій, разстроившій свое состояніе "Европейцемъ", уныло почилъ въ пустынъ московской жизни; ничего не представлялось вокругъ—онъ не вытерпълъ и уъхалъ въ деревню, затая въ груди глубокую скорбъ и тоску по дъятельности. И этого человъка, твердаго и чистаго какъ сталь, разъъла ржа страшнаго времени. Черезъ десять лътъ онъ возвратился въ Москву изъ своего отшельничества мистикомъ и православнымъ.

Digitized by Google

"Жаль было разрушать его мистицизмъ, — эту жалость я прежде испы тывалъ съ Витбергомъ. Мистицизмъ обоихъ былъ художественный: за нимъ будто не исчезала истина, а пряталась въ фантастическихъ очертаніяхъ и монашескикъ рясахъ. Безпощадная потребность разбудить человъка является только тогда, когда онъ облекаетъ свое безуміе въ полемическую форму, или когда близость съ нимъ такъ велика, что всякій диссонансъ раздираетъ сердце и не даетъ покоя.

"И что же было возражать человъку, который говориль такія вещи: "Я разъ стояль въ часовнъ, смотръль на чудотворную икону Богоматери и думаль о дътской въръ народа, молящагося ей; нъсколько женщинь, больные, старики стояли на колъняхъ и, крестясь, клали земные поклоны. Съ горячимъ упованіемъ глядъль я потомъ на святыя черты и мало-по-малу тайна чудесной силы стала мнъ уясняться. Да, это не просто доска съ изображеніемъ... въка цълые поглощала она эти потоки страстныхъ возношеній, молитвъ людей скорбящихъ, несчастныхъ; она должна была наполниться силой, струящейся изъ нея, отражающейся отъ нея на върующихъ. Она сдълалась живымъ органомъ, мъстомъ встръчи между творцомъ и людьми. Думая объ этомъ, я еще разъ посмотрълъ на старцевъ, на женщинъ съ дътьми, поверженныхъ въ прахъ и на святую икону—тогда я самъ увидълъ черты Богородицы одушевленными: она съ милосердіемъ и любовью смотръла на этихъ простыхъ людей... и я палъ на колъни и смиренно молился ей".

"Петръ Васильевичъ былъ еще неисправимъе и шелъ дальше въ православномъ славянизмъ-натура, можетъ быть, меньше даровитая, но пъльная и строго послъдовательная. Онъ не старался, какъ Иванъ Васильевичь или какъ славянскіе гегелисты, мирить религію съ наукой, западную цивилизацію съ московской народностью; совсёмъ напротивъ: онъ отвергалъ всъ перемирія. Самобытно и твердо держался онъ на своей почвъ, не напрашивался на споры, но и не миновалъ ихъ. Бояться ему было нечего: онъ такъ безвозвратно отдался своему мифнію и такъ спаялся съ нимъ горестнымъ состраданіемъ къ современной Руси, что спорить ему было легко. Соглашаться съ нимъ нельзя было, какъ и съ братомъ его, но понимать его можно было лучше, какъ всякую безпощадную крайность. Въ его взглядъ, и это я оцънилъ гораздо позже, была доля тъхъ горькихъ, подавляющихъ истивъ объ общественномъ состояніи Запада, до которыхъ и мы дошли послъ бурь 1848 года. Онъ понялъ ихъ печальнымъ ясновидфијемъ, догадался ненавистью, местью за эло, принесепное Петромъ во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, какъ у его брата, рядомъ съ православіемъ и славянизмомъ, стремленія къ какой-то гуманно-религіозной философіи, въ которую разръщалось его невъріе въ настоящее. Нътъ, въ его угрюмомъ націонализмъ было полное, оконченное отчужденіе отъ всего запалнаго".

Впрочемъ, Петръ Кирѣевскій мало интересенъ для историка литературы: онъ почти ничего не писалъ. Но Иванъ это довольно крупная литературная величина, которой лишь обстоятельства не позволили развернуться во всю ширь. Разносторонне, хотя по преимуществу философски, образо-

Digitized by Google

ванный онъ скрываль въ себъ ръдкій Божій даръ настоящаго журналиста, н къ журналу его тянуло постоянно. Сначала онъ самъ принялся издавать "Европейца". Любоцытная вещь -- спеціально славянофильского въ журналъ ничего нътъ. Все внимание редакции обращено на Западъ. Западъ въ лицъ своихъ мыслителей возбуждаетъ восторгъ. Только какой-то странный тонъ статей, особенно статей самого Кирвевскаго (его нашумвышихъ въ свое вреия обозрвній литературы) выдаляеть "Европейца" изъ другихъ журналовъ. Это тонъ не примиреннаго человека, но такого, который хочеть примириться, который не даеть простора своему недовольству, ищеть чего-инбудь положительнаго, къ чему бы можно было прислониться, чень можно было бы жить. Полемики неть, важно, сосредоточенно, серьезно, все говорить о томъ, что во главт дела стоить человекъ созерцанія, какимъ и быль Кирфевскій. Если читатель знакомъ съ обозрфијями или статьями о Стефенсъ -- онъ согласится со мной. Жаль, что Киръевскій не сказаль прямо, чего онь хочеть оть литературы, что такое вообще въ его глазахъ литература. Но и косвенныхъ указаній достаточно. Литература для него одно изъ выраженій религіознаго духа человівка, ищущаго правды жизни и техъ основъ, на которыя можетъ опираться нравственная, т. е. стремящаяся къ самоусовершенствованію жизнь. Эта страшно важная мысль осталась невыясненной и неразработанной: помъщали обстоятельства. Просуществовавъ насколько масяцевъ, "Европеецъ" былъ закрыть, а новая попытка Кирвевского приминуть къ журналистикв, взявши на себя редакцію Погодинскаго "Москвитянина" кончилась такъ же скоро п плачевно. Киръевскій остался не у дълъ...

Таковы вожди славянофильства.

Обыкновенно говорять о заслугахъ славянофиловъ въ дёлё историческаго изученія. Отрицать этихъ заслугъ невозможно тёмъ болёе, что передъ нами люди образованные, часто ученые, которыхъ сама ихъ доктрина обязывала заниматься исторіей. Ихъ идеалъ былъ въ прошломъ и они любовно вглядывались въ него. Погодинъ всю свою жизнь просидёлъ за Несторомъ и другими л'єтописями, К. Аксакову удалось выяснить значеніе вѣча въ древней Руси, Хомяковъ интересовался преимущественно прошлымъ Запада. Посл'є него остались мало извѣстныя "Записки о всемірной исторіи" — незаконченныя и необработанныя, но поражающія широтой плана, невѣроятнымъ запасомъ свѣдѣній и выдержанностью основной точки зрѣнія. Средп нашей бѣдной философско-исторической литературы, эти "Записки" занимаютъ несомитино очень видное мѣсто. Во всякомъ случать это первый на русскомъ языкть опыть философскаго обо-

артнія судебь міра и челов'тества, гдт проявилась вся "пррегулярная". но удивительная даровитость ихъ автора. Въ подробное разсмотръніе взглядовъ Хомякова входеть не могу, ограничусь лишь общими замізчаніями. Очевидно, что двъ задачи стояли передъ умонъ автора. Во-первыхъ, онъ лотель ответить на формулу Гегеля: "люди и славяне", совершенно уничтожающую историческую роль славянскаго племенп. и показать. что славяне свою историческую роль въ судьбахъ міра сыграли, больше того: что эта историческая роль была велика и почетна. За судьбами излюбленныхъ славянъ Хомяковъ и следить съ особой охотой, начиная чуть ли не съ третичной формаціи, не пренебрегая ни малійнией подробностью, почти безъ критики пользуясь всеми фактами. Во-вторыхъ. Хомяковъ не устаеть говорить о великомъ значенія вёры, религін, религіозныхъ представленій въ жизни народовъ. Для него діленіе человівчества на расы, племена, государства (особенно государства) не представляется особенно существеннымъ и совершенно стушевывается передъ дъленіемъ по верамъ. Вера, являясь результатомъ всехъ племенныхъ и историческихъ особенностей народа, въ то же время сама представляеть ихъ. Разумъется. въ результать оказывается, что славяне представляють изъ себя высшій правственный типъ человъчества, и этому типу принадлежить будущее, и такимъ образомъ "Записки" Хомякова представляють собою настоящее правоверное исповедание веры славянофильской школы. Его философія исторін просто и кратко резюмирована Ю. Самаринымъ такъ: "Борьба религін нравственной свободы (начало Иранское), окончательно осуществляющейся въ полноть божественнаго откровенія, хранимаго православною церковью-съ религіей необходимости вещественной или логической (начало Кушитское) -- эта борьба олицетворяющаяся въ въроученіяхъ и въ исторической судьов передовыхъ народовъ-такова основная тема, связывающая разрозненныя изследованія Хомякова въ одно органическое целое".

Попытаюсь резюмпровать смысль этой главы въ нѣсколькихъ замѣчаніяхъ. Нечего и говорить, что никакой ненависти и раздраженія противъ первыхъ славянофиловъ питать нельзя. Напротивъ, трудно не видѣть въ нихъ людей, дѣйствовавшихъ или лучшо сказать мыслившихъ по побужденію благороднѣйшаго сердца. "Ложь не оскверняла уста ихъ". Они не были холопами и не выслуживались ни передъ кѣмъ, мало этого, ихъ преслъдовали, сажали въ крѣпость, какъ Самарина, брали подъ надзоръ, какъ Аксаковыхъ, Кошелева, Хомякова, Свербѣева и т. д. *). Въ критикѣ суще-

^{*)} См. слъд. главу.

ствующаго они шли рука объ руку съ лучшими умами своего времени. Они искренно ненавидели крепостное право, черную неправду судовъ, пропаволъ чиновниковъ. Въ отвращени и непріязни, которыя они питали къ нашему служилому сословію, быть можеть, заключается главная ихъ заслуга. Они были правы и въ критике западническихъ увлеченій, начиная отъ теоріи родового быта Соловьева и Кавелина и кончая "lasciate ogni speranza" Чаадаева. Они превосходно понимали, что намъ, русскимъ, надо работать и работать. Они первые узаконили гражданскіе мотивы въ поэзін въ лице К. Аксакова, Ив. Аксакова и Хомякова, которые въ этомъ отношеніи были предшественниками Некрасова. Они вполить разделяли взглядъ Вёлинскаго на реальныя, общественныя задачи литературы и критики, и любопытныя слова сохранились намъ въ этомъ смыслё отъ К. Аксакова.

Воть что писалъ этоть учитель, наставникъ, и, я бы сказалъ, начетчикъ славянофильства: "Въ наше время поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда возможны) можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извъстенъ анекдотъ о математикъ, который, выслушавъ изящное произведеніе, спросилъ: что этимъ доказывается? Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случав, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже ноэтическомъ, произведеніи является вопросъ: что этимъ доказывается? Таковы эпохи псканій, изслъдованій, трудовыя эпохи постиженія и ръшенія общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха". Какой изъ критиковъ шестидесятниковъ лъваго, конечно, лагеря литературы отказался бы подписаться подъ этими словами? Принадлежать же они, какъ сказано, К. Аксакову, начетчику славянофильства...

Все это плюсы. Я не забываю и еще одного, поставленнаго на счеть славянофиловъ уже позже, въ эпоху 60-хъ годовъ, Н. Г. Чернышевскимъ. Чернышевскій заявляль, что всё теоретическія заблужденія, всё фантастическія увлеченія славянофиловъ съ набыткомъ вознаграждаются уже однимъ уб'єжденіемъ ихъ, что общинное устройство нашихъ селъ должно оставаться неприкосновеннымъ при всёхъ переменахъ въ экономическихъ отношеніяхъ. Эти заявленія тёмъ характерніве, что, вообще говоря, "Современникъ" относился къ позднему славянофильству лишь съ насмішливымъ презрічніемъ. Но, конечно, кто какъ не Чернышевскій, нашъ первый народникъ-соціалисть могъ оцінить полностью эти открытіе "общины", "артель", "міра" въ нашей старой жизни, этотъ взглядъ на общину, артель и міръ, какъ на устой, откуда духъ живъ не ушелъ, гді онъ пребываль въ теченіе всёхъ віковъ крізпостного права, гді онъ долженъ жить независимо отъ экспериментовъ просвіщенной бюрократін?...

Но въдь все это относится къ области критики, отрицанія и ежели бы

славянофилы ограничились бы только ею, они не могли бы вызвать къ себъ ничего кромъ почтительнаго удивленія. Но роль критиковъ казалась имъ недостаточной и даже малоцънной. Въ душь они даже презирали ее, считая ее, какъ Хомяковъ и Аксаковъ, эманаціей лишь "низшаго" разума, низшей стороны человъческой натуры. Всь усилія ихъ творчества обращались на созиданіе и утвержденіе. И они утверждали и созидали, разрушая при этомъ правой рукой, что было сдълано лъвой. И какъ только дъло доходило до созиданія и утвержденія, даже такіе мягкіе, въротериимые люди, какъ Грановскій, — не говоря уже о Вълинскомъ — выходили изъ себя.

"Ты не можешь себѣ вообразить,—писалъ Грановскій Станкевнчу о Кирѣевскихъ, — какая у этихъ людей философія. Главныя ихъ положевія: Западъ сгнилъ и отъ него не можеть быть уже ничего; русская исторія пспорчена Петромъ. Мы оторваны насильственно отъ родного историческаго основанія и живемъ наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоить въ возможности безпристрастно наблюдать чужую исторію; это даже наше назначеніе въ будущемъ; вся мудрость человюческая истощена въ твореніяхъ св. отщовъ греческой церкви, писавшихъ послю отдъленія отъ западной (!). Ихъ только нужно нзучать: дополнять нечего, все сказано. Кирѣевскій говорить это всегда въ прозѣ, Хомяковъ въ стихахъ"...

Всь утвержденія славянофиловъ похожи на это.

Они возставали противъ невърія и "фейербаховщины" современныхъ имъ людей — во имя утрени и вечерни, какъ К. Аксаковъ; оптинской пустыни, какъ Киръевскіе; догматическаго православія, какъ Хомаковъ. Они возставали противъ безобразія современной имъ обстановки во имя русской жизни XVII-го въка или аскетическаго идеала отцовъ церкви; они защищали лучшее и главнъйшее свое положеніе, что духъ русскаго народа живъ, хочетъ и долженъ жить, и не забывали немедленно же прибавлять къ этому, что Западъ гніетъ и разлагается.

Въ конечномъ анализъ, послъ долгихъ тревогъ надъ этимъ вопросомъ я думаю, что ошибка славянофиловъ, прежде всего дискретировавшая ихъ ученіе у современниковъ и потомства, органическій недостатокъ ихъ доктрины, заключалась въ томъ, что положительная ея сторона была въ сущности лишь и всколько исправленнымъ и улучшеннымъ тезисомъ, стоявшимъ все время въ видъ угрозы и предостереженія передъ русской литературой—формулой оффиціальной народности.

Начать съ того, что они охотно допускали въ свою среду лицъ, для которыхъ, какъ, напр., для Загоскина, Фролова, Погодина, Шевырева и т. д., это было неопровержимымъ символомъ въры, благодаря чему вивсто патріотизма получался самый узкій націонализмъ. Когда нев'єдомый поэть мечталь о томъ, что онъ упьется "кровью мадьяровь и н'ємцевъ" или когда Языковъ, обращаясь къ западникамъ, называлъ ихъ "изм'єнниками" и говорилъ:

Вы—людъ заносливый и деракій, Вы—опрометчивый оплоть Ученья школы богомеракой, Вы всь—не русскій вы народь! Умолкнеть ваша злость пустая, Замреть проклятый вашъ языкы! Крыпка, надежна Русь святая, И русскій Богь еще великъ!..

то было надъ чёмъ призадуматься, и дальнёйтій фазисъ славянофильства стремился утвердить такія воть мысли за русскимъ самосознаніемъ. Недаромъ умирающій Грановскій, узнавъ, что славянамъ распечатали уста и позволили издавать свой органъ, писалъ Кавелину: "Хорошо... Надо будеть сказать послёднее слово системы, а это послёднее слово православная патріархальность, несовивстимая ни съ какимъ движеніемъ впередъ. Ив. Кирвевскій уже удостоился искомой награды и достигь своей цёли. Здёшніе п... нарекли его Русскимъ Златоустомъ. А этотъ Златоусть смёло говорить о необходимости изгнать изъ государства всёхъ иноверцевъ или по крайней мёрё подчинить ихъ строгому надзору православной церкви".

Воть, значить, какое утверждение таплось въ славянофильствъ, по митению Грановскаго. И еще любопытное обстоятельство: историку литературы приходится имъть дъло не съ развитиемъ славянофильской доктрины, а лишь съ историей ея вырождения, какъ бы для иллюстрации положения: живое живетъ, а мертвое лишь разлагается.

Но посмотримъ на критику славянофиловъ. Надо спросить себя, во-первыхъ, кто эту критику слышалъ? Она происходила въ московскихъ гостиныхъ, барскихъ угольныхъ, за семью замками и семью печатями не по волѣ, конечно, самихъ славянъ, однако она все же была ученіемъ почти что тайнымъ. Когда же она увидъла свътъ Вожій, то другая, большая критика уже сдѣлала свое дѣло. Это бы, впрочемъ, не бѣда, хотя все-таки замѣтимъ, что славянофилы вполнѣ удовлетворялись крошечнымъ кружкомъ своихъ друзей и знакомыхъ, и совсѣмъ не особенно ретиво рвалось наружу ихъ вѣрное слово "отрицанія и сомнѣнія". Наоборотъ, если наружу и рвалось какое слово—это слово утвержденія и признанія и это слово склоняется во всѣхъ падежахъ, числахъ и родахъ на каждой страницѣ ихъ "Москвитянина", не говоря уже о "Маякъ", и даже "Московскаго Сборника", редактировавшагося Ив. Аксаковымъ. Это слово утвержденія и признанія было: "мы народъ особенный, набранный, мы народъ право-

славный, и у насъ другіе пути, задачи и ціли, чіль у другихъ неспособныхъ, неизбранныхъ и неправославныхъ народовъ. Земля наша создана святителями. Въ сокровищиницахъ нашего прошлаго мы найдемъ все нужное для нашего обновленія, для начиего счастья. Домой же назадъ!"... Вотъ что слышали люди. Назадъ, куда назадъ? Исторія не возвращается. Самый торжествующій тонь такихь призывовь, такихь восторговь передъ прошлымъ былъ огромною безтактностью. И эта безтактность становилась вредной, когда крепостное право въ воображение своего ненавистника К. Аксакова оказывалось чуть ли не райскимъ уголкомъ. И туть-то выступаеть на сцену во всей своей сил'т второе: "но". Но... лучшіе славянофилы были большія д'ти. Увы, это даже не я говорю, это говорить человъкъ глубоко любившій К. Аксакова, не позволявшій слова дурного сказать о немъ и даже выросшій подъ его вліяніемъ-его собственный младшій брать Ив. Аксаковъ. "Вотъ и Константинъ здъсь, —писалъ онъ 20 января 1850 г. — Онъ прівхаль какь бы къ давно знакомымъ людямъ. Съ одной стороны, это ему пріятно, съдругой, я бы желаль, чтобы онь лицомъ къ лицу встрівтплся съ дъйствительностью. До сихъ поръ это не совстиъ ему удавалось; теперь же я теряю надежду, чтобы когда-либо онъ былъ способень ее увидать. Этоть человько никогда не смущался, не сомнювался въ своихъ убъжденіяхъ-н ны во многихъ взглядахъ поэтому съ нимъ расходимся". Въ другомъ письмъ: "я не могу, подобно Константину, утышаться такими фразами: главное-принципъ, остальное случайность; или что русскій народь ищеть царствія Божія н т. д. Равнодушів къ пользамь общимь, люнь и апатія, и предпочитаніе собственных выгодь — признается за исканіе царства Божія!.. *). Что касается до принципа, то, признаюсь, это выражение Константина заставило меня улыбнуться. Это все равно, что говорить голодному: другь мой, ты будешь сыть на томъ свъть, а теперь голодай, --- это случайность; намажь хлебъ принципомъ вместе масла, посыпай принципомъ--и вкусно; нужды нётъ, что сотии тысячъ умругъ; другіе сотин уйдуть-- это случайность. Легкое утішеніе. Если бы я такъ върплъ въ принципъ и въ жизненность этого принципа въ русскомъ народъ, то, право, и горевать бы не сталъ. Возмущаютъ меня факты—ничего; вынуль изъ кармана табакерку, понюхаль принципа и счастливъ! Гдъ онъ этотъ принципъ? Куда девался? Поди, Константинъ, достань пыльную летопись, понщи его въ XII и XIII векахъ, когда князья терзали русскую землю, воюя другь у друга удёлы. Поздравляю съ этой находкой"...



Ну, можно ли съ большей язвительностью написать критику на мла денчество "общественной" мысли у Константина Аксакова.

И, конечно, это очень странное на первый взглядъ, однако несомнънное обстоятельство, что правительство Николая I очень подозрительно относилось къ славянофиламъ. Многіе изънихъ пострадали (даже Погодинъ былъ подъ надзоромъ полиціп), но никто серьезно. Чемъ же собственно были подозрительны славянофилы? Темъ прежде всего, что большая ихъ часть не служила, темъ, во-вторыхъ, что они представляли изъ себя тесно сплоченный кружокъ, темъ, въ-третьихъ, что они занимались литературой, твиъ, въ-четвертыхъ, что у нехъ были какія-то панславистскія мечтанія. Хотя всв эти обвиненія напоминають несколько горбуновскій обвинительний акть: "признаете ли вы себя виновнымъ въ томъ, что въ неизвъстное время, въ неизвъстяюмъ мъстъ, вели съ неизвъстнымъ лицомъ бесъду о предметаль, оставшихся суду неизвъстными?" - однако это дъйствительно такъ было. По прайней мърв въ 1852 г. Дуббельтъ писалъ министру народнаго просв'вщенія: "съ н'вкотораго времени образовалось въ Москвъ общество славянофиловъ; что цъль этихъ людей состоить въ томъ, дабы сделать неревороть въ русской литературе, не подражать иностраннымъ западнымъ писателямъ, искать для своихъ сочиненій предметовъ самобытныхъ и народныхъ; что хотя секретное наблюдение за членами сего общества не обнаружило до сей поры ничего положительно вреднаго, но какъ общество это подъ вліяніемъ людей неблагонамъренныхъ легко можеть получить вредное политическое направление и жакъ члены онаго большею частью литераторы... То... государь императоръ сонзволилъ высочайше повельть, дабы на представляемыя сочиненія въ духѣ славянофиловъ было обращено со стороны цензуры особенное и строжайшее винманіе"...

Я привель это отношеніе для того, чтобы показать, какъ легко было въ тѣ времена стать подозрительнымъ, подпасть подъ надзоръ полиціи и даже лишиться возможности говорить съ своими читателями, потому что при особенномъ и строжайшемъ вниманіи цензуры славянофилы дѣйствительно лишились ея *). Я привель это отношеніе еще и потому, чтобы на прощанье оттѣнить одну хорошую, быть можеть, лучшую сторону стараго славянофильства, ту именно, что, не будучи противъ, оно не было за. Не всѣ, конечно. Въ самыхъ первыхъ ихъ рядахъ были люди, которыхъ Герценъ съ полнымъ правомъ называеть добровольными холопами и преданными рабами—Погодинъ и Шевыревъ, но зато другіе не имѣли ни-

Прекратился совстви "Московскій Сборникъ" на 3-мъ выпускт.

чего общаго ни съ оффиціальнымъ міромъ, ни съ оффиціальной народностью. Но эти-то *другіе* и создали славянство, больше даже, придали ему ореоль какой-то исключительной чистоты и гражданской порядочности.

Какъ бы то ни было, они должны были оставить свои бесёды съ публикой. Для многихъ, особенно же для К. Аксакова, который былъ агитаторомъ по природъ—это было мучительно тяжело.

Часто осмънваемые и часто побиваемые на самыхъ разнообразныхъ пунктахъ, почти безъ читателей, обыкновенно безъ подписчиковъ, чувствуя, что ихъ понимають какъ разъ такъ, какъ понимать не следуеть, славянофилы то и дело брались за журналистику. У нихъ былъ свой почти постоянный органъ "Москвитянинъ" Погодина, они были недовольны имъ. "Москвитянинъ" прославился своею неаккуратностью, сухостью своего содержанія, "неметенымъ" слогомъ самого Погодина и темъ, что Погодинъ разомлалъ его черезъ военнаго московскаго полициейстера. Главная задача журнала было отстоять старину. "За нашу старину" — такъ называется одна изъ статей Погодина, и здесь исповедание веры журнала. Погодинъ старательно отмінчаєть все, что было хорошаго въ старой Руси, удивляется на Котошихина, удивляется историкамъ, которые довъряютъ человъку, повъщенному за мошенничество. Впрочемъ-это обычная славянофильская пъсня, гораздо громче и не разъ пропътая К. Аксаковымъ. На страницахъ "Москвитянина" разыгрывались политическія стычки славянъ съ западниками. "Москвитянинъ" по пятамъ преследовалъ "Отечественныя Записки" в "Современника"; ему отвітали насмішливо и полупрезрительно. Онъ не унывалъ и снова начиналъ свою старую пъсею о томъ, что у насъ есть собственная культура, есть собственныя преданія, которыя выше западныхь. Есть ли они? Воть основной вопрось полемики--его развътвленія ненитересны и малопоучительны. Объ сторовы находились въ ужасно непріятномъ положенін: имъ нельзя было договориться до конца, нельзя было затронуть самыхъ насущныхъ вопросовъ, но на сторонъ западниковъ было вліяніе, сочувствіе публики, были такіе язвительные таланты какъ Герцевъ и Бълинскій, такія молодыя научныя селы, какъ Грановскій и Кавелинъ. Бълинскій, какъ всегда, былъ непримиримъ и неистовствоваль. После схватки Кавелена съ Самаринымъ онъ резко писаль последнему о славянофилахь вообще: "Церемониться съ славянофилами нечего. Я не знаю Киртевскихъ, но, судя по разсказамъ Грановскаго и Герцена, это фаталисты, полупомъщанные, особенно Иванъ, но люди благородные и честные: я хорошо знаю лично К. С. Аксакова; это человівкь, въ которомь благородство - врожденный инстинкть. За исключеніемъ этихъ людей, всѣ остальные славянофилы, знакомые мнѣ лично или по сочиненіямъ, странные и на все готовые, или пошлецы... Катай ихъ" *)...

Останавлюсь теперь на кое-какихъ подробностихъ спора.

Особенно раздражало Бълинскаго то, что онъ видълъ, какъ его друзьябаричи колеблются между обонии лагерями и, иътъ-нътъ, печатаются въ "Москвитянинъ". Онъ сердился, негодовалъ, пока не научился наконецъ пожимать плечами. Въ этомъ фактъ какъ нельзя лучше выразилась истинная "закваска и основаніе" кружка Станкевича. Члены его, отяжелъвши отъ праздности, все больше и больше склонялись къ незлобію, добродушію и всепримиренію. Примирить западниковъ и славянофиловъ имъ очень хотълось, хотя Бълинскій и предупреждалъ ихъ, какая это смъшная, безполезная задача. Къ этому времени относится одинъ эпизодъ, очень характерный, разсказъ о которомъ сразу выяснить намъ отношеніе объихъ партій.

"Въ концъ ноября 1843 г., Грановскій открыль публичный курсь объ исторіи среднихъ въковъ, окончившійся въ апрълъ слъдующаго года. Лекцін имъли необычайный успъхъ. Чаздаевъ назваль эти лекцін "событіемъ", и справедливо, потому что это было первымъ подобнаго рода испытаніемъ умственныхъ интересовъ публики: находили, что въ Москвъ никогда ничего подобнаго не было. Успъхъ быль таковъ, что сами славянофилы его признали, какъ ни мало сочувствовали они характеру и содержанію лекцій. Таланть Грановскаго, искреннее убъжденіе, которое слышалось въ каждомъ его словь, побъдило всъ препятствія. "Лекціи Грановскаго, — сказалъ Чаадаевъ, выходя съ третьяго или четвертаго чтенія изъ аудиторіи, биткомъ набитой дамами и всъмъ московскимъ свътскимъ и интеллигентнымъ обществомъ, - имъютъ историческое общество". Его ръчь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смълости и поэзін, которыя мощью потрясали слушателей, будили ихъ. Смълость его сходила ему съ рукъ, -- онъ читалъ о средневъковой исторіи Франціи и Англіи, — не отъ уступокъ, а отъ кротости выраженій, которая была ему такъ естественна, отъ отсутствія сентенцій во вкусь фрацузскихъ авторовъ, ставящихъ огромныя точки на крошечными і. Излагая событія, художественно группируя ихъ, онъ говорилъ ими, такъ что мысль, не высказанная имъ, но совершенно ясная, представлялась темъ более известной слушателю, что она казалась его собственной мыслыю.

"Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человъчность, сочувствіе, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствіе, готовое на все отозваться, любовь широкая и многообъемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно привътствуеть, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронить со слезами. Нигдъ, ничему не вырвалось слово ненависти въ его чтеніяхъ, онъ про-

^{*)} Позже Бълинскій признать здоровое зерно славянофильской доктрины, но, конечно, попрежнему отрицательно продолжаль относиться къ ихъ историческимъ толкованіямъ.



ходилъ мимо гробовъ, векрывалъ ихъ, - но не оскорблялъ усопшихъ. Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человъчества далека была отъ его наукообразнаго взгляда, онъ вездв покорялся объективному значенію событій и стремился только раскрыть смысль ихъ. Мив кажется, что именно этотъ характеръ преподаванія возбудилъ такое участіе общества къ чтеніямъ Грановскаго. Уміть во всь въка, у всёхъ народовъ, во всёхъ проявленіяхъ найти съ любовью родное, человъческое, не отказаться отъ братій, въ какомъ бы они рубицъ ни были, въ какомъ бы неразумномъ возрасть мы ихъ ни застали, видъть сквозь туманныя испаренія временнаго просвъчиваніе въчнаго начала. т. е. въчной цъли – великое дъло для историка". Отсутствіо ненависти къ Западу и національнаго самохвальства, вмістів съ искрепней, горячей любовью къ наукъ, знанію, мысли-воть что одушевляло и самого профессора и его блестящую аудиторію. Грановскаго обвиняли въ пристрастін къ Западу, онъ отвъчаль на это: "я явился читать часть его исторіи и не вижу, почему долженъ читать ее съ ненавистью. Западъ кровавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плоды ея достались намъ почти даромъ, нътъ права не любить ея".

"Мсжду тъмъ продолжение лекцій Грановскаго, имъвшее въ публикъ прежній успъхъ, начало производить въ противномъ лагеръ совсъмъ иное дъйствіе, которое наконецъ могло стать неблагополучнымъ. "Славяне", какъ называли тогда "Москвитянъ" и славянофиловъ, быть можетъ, раздраженные и новыми нападеніями изъ западнаго лагеря, подняли говоръ о лекціяхъ Грановскаго, пегодовали, что читая о среднихъ въкахъ въ Европъ, онъ не говоритъ о Руси, о православіи, слъдуетъ западной наукъ, мало говоритъ о христіанствъ. Возраженія и обвиненія были нельны, но имъли свое дъйствіе. Второй отчетъ Герцена о лекціяхъ уже не былъ разръшенъ, университетское начальство стало думать о мърахъ противъ распространенія нъмецкой философіи, митрополитъ московскій поручилъ обличеніе Гегеля извъстному профессору московской академіи Голубинскому...

"При такомъ положеніи дълъ невольно возпикаль вопросъ, — "въ чью-же руку играють московскіе друзья и пріятели, мѣшаясь съ славянофилами и "Москвитяниномъ?" Бълинскій прекраспо понималь, сердился и больше всего боялся, какъ бы и Герцена не засосало это московское болото. Въ мав 44 г. онъ написаль въ Москву целое длинное посланіе. "Я жидъ по натуръ,-говорилось тамъ между прочимъ-и съ филистимлянами за однимъ столомъ ъсть не могу... Грановскій хочеть знать, читаль ли я его статью въ "Москвитянинъ". Нътъ, и не буду читать, скажи ему, что я не люблю ни видъться съ друзьями въ неприличныхъ мъстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія". Предположенія Бълинскаго о непрочности мира съ славянофилами оправдались уже скоро. Къ осени 44 г. отношенія московскихъ его друзей къ славянофильскому кружку, который они такъ защищали отъ Бълинскаго, стали портиться, друзья приходили къ заключенію, что не можетъ быть мира съ людьми, которые такъ расходятся съ нимъ въ понятіяхъ, открылась наконецъ явная война. Грановскій, въ то время наиболте видное лицо "западной" партіи въ Москвъ, -сдълался предметомъ самыхъ непріязненныхъ нападеній съ "славянской"

стороны въ университетъ, въ печати и за угломъ, въ стихотвореніяхъ, ходившимъ по рукамъ. Въ ноябръ 1844 г., въ университетъ хотъли не принять представленной имъ магистерской диссертаціи и съ позоромъ возвратить ему ее, какъ неудовлетворительную. Это не удалось врагамъ Грановскаго, но раздражить его они, конечно, успъли. Грановскій теперь самъ отказался отъ участія въ "Москвитянинъ". Славянофильскій кружокъ обнаруживаль тоть мрачный фанатизмъ, который друзья имъли и прежде случаи видъть. Хомяковъ, нъсколько позднъе, напаль на Грановского въ печати. Языковъ, извъстный поэть, "славянофилъ по родству", истощивши свою музу на мниморазгульной поэзіи. напаль на "западную" партію въ стихотвореніяхъ, которыя можно было бы назвать памфлетами, если бъ современники не считали ихъ за "юридическія бумаги", какъ тогда говорилось. Онъ началь это въ декабръ 1844 г., кажется, стихогвореніемъ. "Къ не-нашимъ", направленнымъ противъ Грановскаго, Герцена и Чаадаева, которыхъ онъ обвинялъ не меньше, какъ въ измънъ отечеству, затъмъ послъдовали еще два такихъ же: изъ нихъ одно было посвящено спеціально обличенію Чаадаева, другое было посланіе къ К. Аксакову, гдт за изъявленіями дружбы и славянофильскаго союза следовали упреки Аксакову за то, что онъ подаетъ руку людямъ, которые "нашу Русь ненавидятъ всей душой и передались лукавой нъметчинъ", и наконецъ поощрение на борьбу съ этими врагами отечества.

"Раздоръ продолжался.

"Въ февралъ 1845 г. Грановскій защищаль свою диссертацію; факультеть, въ которомъ были непримиримые враги его изъ славянъ, наконецъ долженъ былъ принять ее. Диспутъ снова раздражилъ партіи. Грановскому сдълана была овація, его противникамъ шикали. Въ новомъ "Москвитянинъ" дъло не ладилось между самими "славянами". Бълинскій смъялся или сердился на воображаемыя примиренія, на торжественные объды и лобызанія съ своими противниками, и теперь московскимъ друзьямъ пришлось согласиться съ нимъ. Московскіе друзья разошлись наконецъ съ тъми людьми "славянскаго" кружка, которые внушали имъ наиболъе сочувствія по характеру и таланту".

Я не могь пзобъжать нъкоторыхъ, быть можетъ, даже палишнихъ подробностей, но дъло въ томъ, что споръ этотъ представляется мит не только важнымъ, но и основнымъ для исторіи русской литературы. Все начинается съ него и все къ нему возвращается. Въ совершенно ребяческой формъ является онъ передъ нами у Шншкова съ его защитой высокаго, средняго и инзкаго стилей, съ его ненавистью къ иностраннымъ словамъ. Славянофилы и западники подняли его до философской высоты, до вопроса о самосознаніи русскаго общества. И вы ясно видите, какъ это этотъ споръ растетъ и ширится, принимая въ себя все болъе важные вопросы. Ръчь идетъ сначала о томъ, чъмъ была Россія во времена Алексъя Михайловича и переходить въ другую—чъмъ она должна быть, какія ей отношенія къ

западной жизни вообще, къ наукъ и мысли Запада, къ его политическимъ формамъ и укладамъ? Есть у насъ русскихъ такіе устои, оппраясь на которые ны можемъ сами самобытно рашить роковые вопросы общественной жизни, передъ которыми самъ Западъ остановился съ ведоумъніемъ? Или такихъ устоевъ нътъ, и нашъ путь уже проторенная дорога? Что значать наши коренныя добродетели, которыхь по славянофильскому списку 12: смиреніе, смиреномудріе, религіозность, радушіе, общинность, отсутствие самоувъренности, преклонение передъ тъмъ, что получило освящение въковъ, доброта, способность довольствоваться малымъ, презрѣніе къ благамъ жизни, безсеребренность и удаль — остатокъ ли это архаическихъ временъ вли камни красугольные новой жизни? Истина ли цівнюсть, какую придають западные люди писанному закону, или эта цънность закона и договора вообще-преувеличена, и вся суть заключается въ любви одного къ другому, въ доверіи младшаго къ старшему, въ _опекъ" слабыхъ сильными? Длеть ли человъку какое-нибудь правственное удовлетворение исполненная, писанная правда, или есть нечто высшее этой писанной формальной правды-правда сердца, стихійно въ насъ заложенная? И какой правдъ долженъ слъдовать человъкъ? Славянофилы высказались за правду сердца (вспомникъ о презрѣніи Аксакова къ договору) правду старыхъ книгъ, любви, патріархальныхъ любовныхъ отношеній. Въ этомъ ихъ главная "историческая" ошибка. Еще дальше на почвѣ того-же спора, и мы достигаемъ вершинъ философскихъ вопросовъ человъчества-вопроса о роли личности въ псторіи. Потому-то очевидно, что славянофилы и западники должны были решать этоть вопросъ разно.

Первые съ своимъ смиреномудріемъ, своимъ признаніемъ высокаго религіознаго начала, управляющаго жизнью людей, не могли довърить отдъльному, самонадъянному разуму, который для нихъ съ любой точки зрънія былъ недостаточенъ; они говорили о въръ, какъ Хомяковъ, объ общинномъ мышленіи, какъ Аксаковъ, объ откровеніи, какъ Киртевскій. Западники, на на первыхъ порахъ по крайней мъръ, безусловно полагались на науку и въ ней, т. е. въ маломъ разумъ человъка видъли все спасеніс.

Вотъ "антиномін" нашей общественной мысли, наполняющія всю исторію нашей литературы...

Западники.

Говорять, что въ ученіи славянофиловъ есть нѣчто отъ Востока взятое, оттуда идущее и близкое его духу. При этомъ указывають на религіозный элементь ихъ міросозерцанія, на отрицаніе личнаго начала и при-

знаніе какъ въ жизни отдёльныхъ людей, такъ и цёлыхъ народовъ какойто даже судьбы, все опредёляющей и властно требующей отъ всёхъ исполненія своихъ приказаній. Къ этому прибавляють еще, что въ ученіи славинофиловъ есть лёнивые, квіэтическіе элементы, въ концё концовъ все сводящіе къ примиренію. Есть, словомъ, то, что заставняю поэта сказать:

> ... Все, что здѣсь доступно оку, Спитъ, покой цѣня.

И, конечно, славянофилы, несмотря на громы и молніи слова, порою вырывавшіяся у нихъ, были люди примиренные и даже въ концѣ концовъ сознательно примирившіеся. Всѣ ихъ начала какъ "масса" и "массовой разумъ", какъ "религія" и притомъ религія догматическая, какъ презрѣніе къ отдѣльному разуму и боязнь раціонализма—все это должно было возстановлять ихъ противъ постоянныхъ исканій, недовольства и томительной неудовлетворенности отдѣльныхъ личностей и заставить ихъ воскликнуть (какъ впослѣдствіи Достоевскаго): смирись гордый человѣкъ, спасеніе—не въ твоихъ исканіяхъ, не въ гордомъ возстаніи противъ преданій и устоевъ старины, а въ чистой догмѣ православія (Хомяковъ); въ умиленіи передъ иконой (Кирѣевскій), въ отреченіи отъ себя, отъ личнаго въ себѣ во имя общаго, цѣлаго и стройнаго—общенародныхъ основъ жизни.

Западъ сталъ, поэтому, чуть ли не пугаломъ въ ихъ глазахъ, потому что оттуда-то шло это неудержимое возстаніе личности противъ сложившихся и упроченныхъ формъ жизни, этотъ ея байронизмъ, эти ея безпокойныя исканія. Но туть-то и больше всего понадобилась поправка западниковъ, даже страстная и невоздержанная зачастую поправка ихъ, какъ у Герцена и Вълинскаго, вся страстность ихъ отрицанія восхваляемыхъ и превозносимыхъ основъ пстинно русской жизни, какъ у Чаадаева, все глубоко заложенное въ нихъ недовольство, не соглашавшееся ни на какое примиреніе. Туть надо было вспомнить и громко сказать, чъмъ былъ всегда для насъ Западъ, чъмъ его наука выше, чъмъ его личность, несмотря на свое постоянное броженіе, больше и даже красивъе въ своемъ гордомъ исканіи хотя бы самого Парамона Юроднваго или дурака Левки или вообще всей огромной толпы "божьнуъ людей".

Чънъ былъ для насъ Западъ? Порою — единственнымъ пристанищемъ, постоянно "учителемъ", щедро дълившимся всъми своими завоеваніями въ области мысли и знанія, и ужъ, конечно, постояннымъ, суровымъ напоминаніемъ, что смыслъ человъческаго существа не въ обладаніи и пользованіи, а въ въчномъ стремленіи и исканіи чего-то тлинственнаго и все еще не дающагося человъку, но страстно манящаго его къ себъ. Даже такую элементарную и про-

стую вещь, какъ "надо учиться и работать", все же сказала намъ Европа, ея культура, ея дисциплина. И западники всегда помнили это громадное различіе между недвижимой, сожженной солнцемъ божсьей страной и суровыми требованіями все усложняющейся жизни, гдъ

... Желъзная лопата Въ каменную грудь, Добывая мъдь и злато, Връжетъ страшный путь.

Человъкъ— одинъ изъ великихъ ищущихъ русскихъ людей, но слишкомъ нервный и впечатлительный и любившій часто и неосторожно повторять, что Западъ гніетъ, Западъ сгнилъ, Западъ умеръ, все же лучше другихъ сумълъ опредълить для насъ, русскихъ, значеніе этого гніющаго, сгнившаго и умершаго уже Запада. Этимъ человъкомъ былъ Достоевсвій.

"У насъ русскихъ--говорить онъ--двѣ родины -Россія и Европа.--Европа-но въдь это страшная и святая вещь! О, знаете ли вы господа какъ намъ дорога, намъ мечтателямъ славянофиламъ, эта самая Европа. эта страна святыхъ чудесъ!.. знаете ли вы, до какихъ слезъ и сжатій сердца мучають и волнують насъ судьбы этой дорогой и родной намъ страны, какъ пугаютъ насъ эти мрачныя тучи, все болъе и болъе заволакивающія ея небосклонъ? Русскому Европа такъ же драгоцівна, какъ Россія. О, болбе! Нельзя болбе любить Россію, чъмъ люблю ее я, но я не упрекалъ себя за то, что Венеція, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ наукъ, вся исторія ихъ мить милье, чемъ Россія. О, русскимъ дороги эти старые чужіе камни, эти чудеса стараго божьяго міра, эти осколки святыхъ чудесъ; и даже это намъ дороже, чъмъ имъ самимъ...-Я хочу въ Европу съездить, Алеша-говорить Иванъ Карамазовъ-и ведь я знаю, что поъду лишь на кладбище, но на самое дорогое, на самое дорогое кладбище-воть что! Дорогіе тамъ лежать покойники, каждый камень надъ ними гласить о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной въръ въ свой подвигъ, свою истину, въ свою борьбу, въ свою науку, что я, знаю заранве, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать надъ ними, -- въ то же время убъжденный всъмъ сердцемъ моимъ, что все это давно уже кладбище и никакъ не болъе!"

Конечно, больше чёмъ кладбище, но все же удивительно вёрна мысль о двухъ родинахъ русскаго человёка и о святыхъ чудесахъ Европы. И вотъ это не сразу даже поняли, а почувствовали западники. И вы слышите ту же мысль, когда Грановскій говорить вамъ: "Западъ кровавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плоды ея достались намъ почти даромъ, нётъ права не любить ея",—когда Чаадаевъ указываетъ на иден долга, закона, порядка, какъ необходимыя условія міра общественнаго,—когда Герценъ, скатившись въ глубнну невёрія и отрицанія, все же и оттуда проповёдуєть смиреніе передъ наукой и истиной,—когда Бълинскій пишеть свое грозное нисьмо Гоголю пли умпрающій ходить любо-

ваться на строющійся вокзаль желізной дороги, какь на дарь Запада,—когда молодые ученые, какь Кавелинь, начинають въ прошломъ искать юридическаго обоснованія русскаго существованія,—когда Гончаровъ твердить вамь свое аккуратное "надо работать"—-нли когда Тургеневъ боязливо отстраняется оть мистики и вообще оть віры въ широкую русскую натуру—и т. д., и т. д.—во всемь этомъ голось Европы. Но онъ еще слышніте тамъ, гді идеть спорь о смыслі человіческаго существованія потому что Востокъ, славяне, барская обломовщина говорить о покої, о забвеніи, а Западь объ исканіи и о вічномъ стремленіи, хотя бы и неудовлетворенномъ.

Страстность западнического отрицанія, сводившая на неть всю Россію въ ен прошномъ и настоящемъ, такъ же мало обязательна для кого-нинибудь, какъ и мысли о гниломъ Западъ или славянофильское утвержденіе, что мы призваны обновить міръ-но все это лишь крайности спора, крайности полемическаго увлеченія. Сущность же глубже, серьезніве. Она въ противоръчіи личности и массы, личнаго и общественнаго развитія "съ полнымъ гордаго довърія покоемъ", стремленія и пользованія, старо-барской Россіи и того новаго общественнаго слоя разночиннаго, -- который въ сороковыхъ годахъ сталь выходить изъ-подъ барства и впервые въ общихъ крупныхъ чертахъ созналь себя въ Бълинскомъ, - мистики, доходившей до поклоненія передъ полупудовыми железными колпаками юродивыхъ, и раціонализма, утверждавшаго, что все спасеніе въ наукъ, знанів... Туть столько противоръчій, что и теперь, черезъ 60 лътъ работы, они не ръшены. Но на той и другой сторонъ-наше родное русское, и воть, переверните въсколько страницъ исторіи и вы увидите уже попытку примиренія обоихъ началъ, увидите, какъ раціонализмъ западничества, его разсудочность становятся въ ученін народниковъ мистическими!

Девизомъ западниковъ было: мы ученики Европы и должны еще больше, еще самоотвержените учиться у нея и первое, что намъ нужно— это развитие въ себъ чувства законности и собственнаго достоинства.

Западники начали, конечно, съ полнаго отрицанія настоящаго и самобытнаго будущаго Россіи и здѣсь (хронологически) первая роль принадлежитъ ІІ. Я. Чаадаеву.

И. Я. Чаадаевъ (1793—1856), Біографію Чаадаева можно разсказать въ 10-ти строкахъ. Вообще замѣчательно, что у русскихъ людей біографіи нѣтъ, что совершенно естественно при полной скудости нашей общественной жизни. Знатный и богатый баринъ, Чаадаевъ, сначала блестящій гвардей-

скій офицеръ съ великольпной карьерой впереди, посль одного ръзкаго замьчанія Александра I, вышель въ отставку и сталь разносить свое недовольство по гостепрінинымъ московскимъ гостинымъ, гдь и скороталь свой въкъ.

Въ 1836 г. онъ напечаталъ свое "Письмо" въ Надеждинскомъ "Телескопъ", за что былъ объявленъ сумасшедшимъ и еженедъльно, до помилованія, подвергался освидътельствованію полицеймейстера. Онъ писалъ и еще, кромъ напечатаннаго въ "Телескопъ", но "Письмо" создало ему славу, какъ "Горе отъ ума" Грибоъдову. Находился въ дружбъ со многими славными современниками (Пушкинымъ, Герценомъ и т. д.) и велъ переписку съ Шеллингомъ.

Однако глубокую *русскую* драму нашель, напр., Герцень въ этой въ сущности пустой и безцвътной жизни талантливаго, а можеть быть, и геніальнаго русскаго человъка.

"Въ міръ не было ничего противоположнъе славянофиламъ, какъ безнадежный взглядь Чаадаева, которымъ онъ истель русской жизни, --- какъ его обдуманное, выстраданное проклятіе ей, которымъ онъ замыкаль свое печальное существование и существование целаго періода русской исторіи. Онъ долженъ былъ возбудить въ нихъ сильную оппозицію, онъ горько и уныло-эло оскорбляль все дорогое имъ, начиная съ Москвы... Въ Москвъ, говаривалъ Чаадаевъ, каждаго иностранца водять смотръть большую пушку и большой колоколъ. Пушку, изъ которой стрелять нельзя, и колоколь, который свалился, прежде чемь звониль. Удивительный городь, въ которомъ достопримечательности отличаются нелепостью; или, можеть быть, этоть большой колоколь безь языка — гіероглифъ, выражающій эту огромную нъмую страну, которую заселяеть племя, назвавшее себя славянами, какъ будто удивляясь, что имфетъ слово человъческое... Чаадаевъ н славяне равно стояли передъ неразгаданнымъ сфинксомъ русской жизни; они равно спрашивали: Что же изъ этого будетъ? Такъ жить невозможно, тягость и нелепость настоящаго очевидны, невыносимы --- где же выходъ?-Его нътъ, отвъчалъ человъкъ петровскаго періода, псключительно западной цивилизацін, вършвшій при Александръ І въ европейскую будущность Россін. Онъ печально указываль, къ чему привели безплодныя усилія цілаго віка. "Исторія другихъ народовь -повість плъ освобожденія. Русская исторія празвитіе кріпостного состоянія".

"Переворотъ Петра сдълалъ изъ насъ худшее, что можно сдълать изъ людей, — просвъщенныхъ рабовъ. Довольно мучились мы въ этомъ тяжеломъ смутномъ нравственномъ состояніи, непонятые народомъ—пора отдохнуть, пора свести миръ въ свою душу, прислониться къ чему-нибудь...

это почти значило — пора умереть, и Чаадаевъ думалъ найти объщанный всъмъ страждущимъ и обременнымъ покой въ католической церкви".

Свои горькія и уныло-злыя мысли Чавдаевъ и изложилъ въ "Философическомъ письмъ". Вотъ отрывки, которые дадуть ясное представленіе о немъ:

"Посмотрите вокругъ себя. Все, какъ будто, на ходу. Мы всъ, какъ будто, странники. Нътъ ни у кого сферы опредъленнаго существованія... нътъ ничего, что бы привязало, что бы пробуждало ваши сочувствія, расположенія, нізть ничего постояннаго, непремізнаго: все проходить. все протекаеть, не оставляя следовь ни на внешности, ни на васъ самихъ. Дома мы будто на постов, въ семействахъ, какъ чужіе, въ городахъ, какъ будто, кочуемъ и даже больше, чъмъ племена, блуждающія по нашимъ степямъ, потому что эти племена привязаниве къ своимъ пустынямъ, чъмъ мы къ своимъ городамъ... У всъхъ народовъ бываютъ періоды сильной, страстной діятельности, періоды юношескаго развитія, когда создаются ихъ дучшія воспоминанія, поэзія и плодотворнъйшія идеи: въ нихъ источникъ и основаніе дальнъйшей ихъ исторіи... Мы же не имъемъ ничего подобнаго. Въ самомъ началъ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевъріе, затъмъ жестокое, унизительное владычество татаръ-завоевателей, владычество, слъды котораго въ нашемъ образъ жизни не изгладились совству и донынт. Вотъ горестная исторія нашей юности: мы совсъмъ не имъли возраста этой безмърной дъятельности, этой поэтической игры нравственныхъ силъ народа. Эпоха нашей общественной жизни, соотвътствующая этому возрасту, наполняется существованіемъ темнымъ, безцвътнымъ, безъ силы, безъ энергіи. Нътъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, нътъ сильныхъ, наставительныхъ примъровъ въ народныхъ преданіяхъ. Пробъгите взоромъ всъ въка нами, прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминанія, которое бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказаль вамъ прошедшее сильно, живо, картинно. Намъ должно молотами вбивать въ голову то, что у другихъ сделалось инстинктомъ, привычкою. Наши воспоминанія не дальше вчерашняго дня, мы, такъ сказать, чужды самимъ себъ".

У насъ нътъ ничего: "ни чарующихъ воспоминаній", ни "сельныхъ наставительныхъ примъровъ въ народныхъ преданіяхъ", и мы живемъ въ "тупомъ равнодушій ко всему, въ самомъ тъсномъ горизонтъ безъ прошедшаго, безъ будущаго"... Мы—невольные бродяги вольной и широкой исторической дороги, и осмысленная жизнь Запада—не для насъ. Тамъ этотъ смыслъ дается прежде всего идеями. "Хотите ли — спрашиваетъ Чаадаевъ—знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Онъ — необходимыя начала міра общественнаго". Чъмъ же мы замъняемъ все это? Ничъмъ, и происходить страшное, грустное явленіе: "далеко лучшія идеи отъ недостатка связи и послъдовательности, какъ безплотные призраки, цъпеньють въ нашемъ мозгу. Человъкъ теряется, не находя

средства придти въ соотношение и связать себя съ тъмъ, что ему предшествуетъ, онъ лишается всякой увъренности, всякой твердости потому, что не руководить чувство общаго существования, и онъ заблуждается въ міръ. Такія потерявшіяся существа встръчаются во всъхъ странахъ. Но у насъ это черта одщая".

Неужели же все это только злоба, только раздражение? Прослушайте въ такомъ случав еще одно небольшое мъсто изъ "Апологи сумасшедшаго":

"Повтрыте — пишеть Чаадаевъ, — я больше, чти кто-либо изъ васъ, люблю свое отечество, желаю ему славы, умтю цтить высокія качества своего народа; но справедливо также, что патріотическое чувство, меня одушевляющее, создано не совстить по тому способу какъ то, чъи крики разрушили мое существованіе. Я не умтю любить свое отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами. Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его впдтть; я думаю, что время сліпыхъ амуровъ прошло, что теперь, прежде всего, мы обязаны отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его. Признаюсь, у меня ніть этого блаженнаго патріотизма, этого ліниваго патріотизма, который устранвается такъ, чтобы видіть все въ лучшую сторону, который засыпаеть за своими пллюзіями, и которымъ, къ сожаліню, въ наше время страдаеть много хорошихъ умовъ"...

Трудно не слышать въ этихъ превосходныхъ строкахъ чуднаго мотива Лермонтова:

"Люблю отчизну я, но странною любовью"...

Въ своемъ "Письмъ" Чаадаевъ выразилъ крайнюю степень отрицательнаго отношенія къ Россіи и русской жизни съ западнической точки зрѣнія. Онъ не видить ничего хорошаго не только въ прошломъ и настоящемъ, но п въ будущемъ. Это сатира Гриботьдова и Гоголя, переведенная на публицистическій языкь, в на знаменитый вопрось поставленный впоследствіп въ "Мертвыхъ душахъ" — "куда мчится русская тройка?", Чаадаевъ заранъе отвъчалъ: "никуда". Но что хорошаго видълъ онъ на Западъ? Его отв'ять на вопрось, какъ и большинство отв'ятовъ русскихъ людей того времени, мысль которыхъ только начинала работать, не отличается опредъленностью. Она говорить объ идеяхъ закона, долга, правды, порядка, но нигдъ и никогда точно ихъ не формулируеть. Его знаменитое "Письмо" ниветь лишь критическую, отрицательную цвиность. Онъ зналь то, что русская идея, такъ величественно и такъ самодовольно истолнованная книжниками XVI-го въка, возродившаяся, какъ идея оффиціальной народности при императоръ Николаъ, вступила въ фазисъ своего чистаго отрицанія. Оттого-то Чавдаевъ и прислонился къ католицизму, нисколько не заботясь о томъ, что католицизмъ его времени меньше всего воплощаетъ въ себъ идеи долга, закона, правды, порядка, и что часы исторіп показывали уже не ІХ-ый, а ХІХ въкъ. Но все же вы чувствуете въ Чаадаевъ очень дъятельное броженіе мысли, напряженную и потому уже одностороннюю критику, стараніе добраться до глубины дъла, и легко представить себъ, какое ошеломляющее впечатлівніе должно было это "Письмо" произвести на современниковъ. Вопросъ былъ поставленъ ръзко: есть ли у Руси какія нибудь основы для самостоятельнаго будущаго? Или же намъ суждена одна ученическая роль вплоть до полнаго сліянія съ культурой Запада? Что въ конців концовъ можетъ дать намъ Западъ?

Идею личнаго развитія, и общественнаго совершенствованія—отв'я чали В'ялинскій и Герценъ, беря критику Чавдаева исходнымъ своимъ пунктомъ.

Перехожу поэтому къ Бълинскому, при чемъ остановлюсь на нъкоторыхъ фактахъ его личной жизни, имъющихъ однако общее историко-литературное значеніе.

В. Г. Бълинскій (1810—1848). Сынъ бъднаго уваднаго врача, онъ независимо, впрочемъ, отъ семьи получиль все же нъкоторое скудное образованіе, побывалъ даже въ университеть, но былъ исключенъ оттуда подъ предлогомъ малоуспъщности за написанную имъ трагедію "Дмитрій Калининъ", въ которой ярко и ръзко-негодующе выставлялъ ужасы кръпостного права. Потомъ онъ сталъ литераторомъ, пребывалъ въ этомъ унизительномъ для того времени званіи всю жизнь до послъдняго вздоха, теперь онъ легенда—самое чистое, свътлое и великое имя русской литературы.

Уже съ выходомъ изъ гимназіп начинается дъйствительно самостоятельная жизнь Бълинскаго, полная невзгодъ и тяжелыхъ испытаній, и туть же завязывается узель его жизненной драмы, опредълить смыслъ и значеніе которой—задача не легкая. Мы видимъ, какъ Бълинскій, полагаясь исключительно на свои силы и едва ли опредъленныя ожиданія чего-то лучшаго, перевзжаеть въ Москву, бросивъ почти навсегда родныя палестины, гдъ во всякомъ случать ему съ матеріальной стороны живется легче, благодаря родственнымъ и пнымъ связямъ. Онъ оказывается въ огромномъ городъ одинъ, безъ друзей, безъ знакомыхъ, съ запасомъ нъсколькихъ несчастныхъ грошей въ карманъ—настоящій Робинзонъ Крузоз на необитаемомъ островъ. Все надо сдълать самому, все надо добыть своими руками, начиная съ пищи и кончая положеніемъ въ обществъ. А у него нътъ ничего, даже необходимыхъ свъдъній, даже ничтожной практической опытности. Впрочемъ, надо думать, что онъ не особенно боится матеріальныхъ лишеній: онъ уже привыкъ къ нимъ, и его потребности доведены до минпиума. Желудокъ

рёдко безпоконть его и быстро умолкаеть при малёйшемъ къ нему вниманіи. По части одежды Бёлянскій совсёмъ уже не стёсняется, также и по части пом'єщенія. Но ему нуженъ театръ, книги, наука... да мало ли что вообще нужно живому челов'єку, съ горячимъ, нёсколько фантастическимъ даже, воображеніемъ. И предстоить борьба,—тяжелая, огромная, полная невзгоды и разочарованія, предстоять безконечные стрые дни безплодныхъ ожиданій, злобныхъ проклятій и скрежета зубовнаго. Только духъ крівнеть въ этой борьб'є,—тіло и самая жизнь рушатся...

Узель жизненной драмы Вълинскаго, между прочимъ, и въ его инщетъ, — нищетъ, доходившей подчасъ до того, что онъ цълыми недълями сидълъ дома за неимъніемъ необходимъйшихъ принадлежностей носильнаго платья. Кръпко схватила его инщета своими костистыми руками и въ сущности не выпускала изъ нихъ до самой смерти и дальше: умирая, онъ оставиль нищую семью. Эта нищета постоянно ставила передъ нимъ вопросъ, на что же онъ имъетъ право и имъетъ ли онъ вообще право на что-инбудь въ жизненномъ пиру? Только этотъ вопросъ и интересовалъ его. Отвъты на него въ зависимости отъ обстоятельствъ жизни, постоянно получались самые разнообразные.

Вълинскій быль пролетаріемъ, слюдовательно, онъ не имъль права ни на что, далъе онъ быль недоучившимся студентомъ, -- слюдовательно — ни на что; наконецъ онъ былъ литераторомъ, а не "служивымъ", слюдовательно — ни на что. Словомъ, куда ни кинь все клинъ. Извит шли впечататнія самыя неблагопріятныя. Жизнь ежеминутно твердила человъку, что ты-нуль, и какъ таковой и можешь пропасть, не требуя даже, чтобы при этомъ, для тебя, трагическомъ обстоятельствъ, шевельнулся листъ на деревъ. Бълинскій, далье, сошелся съ кружкомъ интеллигентныхъ баричей, Станкевича и à la Станкевичъ. Что гръха тапть - къ нему тамъ относились покровительственно. Необразованный, дикій, хотя и геніальный, жадно искавшій истины и готовый признать за истину всякое самоувъренно высказанное слово, онъ игралъ самую жалкую роль и не могь ничего возразить, когда "друзья" на одномъ изъ своихъ совъщаній съ шампанскимъ и рейнвейномъ постановили потребовать, чтобы Бълинскій больше ничего не писаль, такъ какъ у него нътъ "эстетическаго вкуса". Дело въ томъ, что "друзья", обезпеченные наследствомъ, не понимали, какъ это возможно пускать въ толпу высокія мысли и получать за это гривенники. А Бълинскій, которому всть было нечего и который самъ быль сыномъ этой толны, все это великольно понималь, только не могъ, по робости, ничего возразить противъ дикихъ репликъ гг. столбовыхъ и потомственныхъ. Да и где ему было, несчастному, отовсюду прогнанному человъку возражать, когда онъ чувствовалъ себя ежеминутно идущимъ по краю пропасти. Онъ молчалъ пли кланялся изъ уваженія къ той высокой премудрости, которая яко бы таплась въ прочтенныхъ его пріятелями брошюркахъ о Шеллингѣ и Гегелѣ.

Подъ ихъ вліяніемъ онъ дошель до настоящаго индейскаго квізтизма, и, если хотите, это дъйствительная психологическая несообразность. И онъ, нищій, брошенный человікь, гордо говориль: все существующее разумно; человъкъ, въ какоиъ бы положения онъ ни находился, не имъетъ права протестовать противъ чего бы то ни было; онъ можеть страдать, кусать себъ руки отъ боли въ сердцъ, но все же... существующее-разумно. Дъйствительно, странно. И Бълинскій не останавливался перель самыми крайниме выводами изъ этого фантастического ученія; онъ презираеть всёхъ тъхъ, кто не раздъляеть его, онъ готовъ былъ не только спорить, но и ссориться со всеми, возстававшими противъ его оригинальнаго гегеліанства. Разъ дело касалось ученія, догиы, истины — для него переставали существовать друзья в знакомые. "Все существующее разумно". Я зам'вчу прежде всего, что Бълинскій далеко не сразу увлекся этой формулой, что онъ подошелъ въ ней тихими шагами, быть можеть, даже незаметно для самого себя. И путь, который вель его къ ней, не представляль ни угрозъ, ни ужасовъ. Формула подкупала незамътно: она проникла въ душу среди страстных разговоровь объ искусстве, въ обстановие суровой борьбы чедовъка съ саминъ собою во имя нравственнаго долга и красоты, она выросла изъ обстоятельныхъ рвчей Станкевича о германской философіи и германской эстетикъ, она оправдывалась восторженнымъ настроеніемъ духа.

Но, самое главное, знаетъ ли вто-нибудь, почему Вълинскій сталъ тавимъ горячимъ ея приверженцемъ? Нѣтъ, не знаетъ нивто, потому что еще нѣтъ возможности проникнуть въ тайники этой страстной, увлекающейся, почти безумной души нищаго поэта. Кто знаетъ, не искалъ ли онъ въ ней, въ этой всепримиряющей формулъ утъшенія отъ бурь и невзгодъжизни, которыя еще долго не давали ему ни минуты покоя, —искалъ безсознательно, подчиняясь лишь инстинктивному чувству самосохраненія? Не давала ли она ему бодрости и силы? Не оправдывала ли она того ничтожнаго мѣста, которое онъ занималъ во вселенной? Если разумно все существующее, то, значить, разумна и моя нищета, и мои муки, и мои неудачи, и мои горести. Ницъ же передъ этой всемогущей, всепроникающей разумностью, потому что иначе мнѣ остается лишь прицѣпить веревку къ первому торчащему изъ стѣны гвоздю.

Вы не върите въ возможность такого рода психологіи, но надо замътить, что мы нитемъ дёло не съ обывновеннымъ человъкомъ, а человъкомъ огромной фантастичности, огромной способности самозабвеннаго увлеченія.

Гегеліанской мудрости своей онъ предавался до самозабвенія. Въ то время съ нимъ встрітился Герценъ.

"Бълинскій, самая дъятельная, порывистая, діалектически-страстная натура бойца, проповъдывалъ тогда, въ 1840 г., индъйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вибсто борьбы. Онъ въровалъ въ это воззръніе и не блъднълъ ни передъ какимъ послъдствіемъ, не останавливался ни передъ нравственнымъ приличіемъ, ни передъ мнъніемъ другихъ, чего такъ стращатся люди слабые и несамобытные.

- Знаете ли, сказалъ я ему однажды, что съ вашей точки зрвнія вы можете доказать, что и чудовищный произволь разумень и должень существовать.
- Безъ всякаго сомнънія,—отвъчалъ Вълинскій, и прочелъ мнъ "Бородино" Пушкина.

"Это-то, — разсказывалъ Герценъ, — я не могъ вынести и отчаянный бой закипълъ между нами".

Разныя жизненныя обстоятельства (между прочимъ перевадъ въ Петербургъ), следить за которыми возможно лишь въ отдельной монографіи, заставили Белинскаго одуматься и отрезветь, и отрезвевши, онъ "опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей своей неистощимой энергіей на свое прежнее міросозерцаніе". Литература скоро почувствовала кто у нея хозяннъ.

Кто не помнить его статей о "Тарантась", о "Парашь" Тургенева, о Державинь, о Мочаловь, о Гамлеть? Какая вырность своимь началамь, какая неустрашимая послыдовательность, ловкость вы плавании между цензурными отмелями и какая смылость вы нападкахы на литературную аристократію, на писателей нервыхы трехы классовы, на статсы-секретарей литературы, готовыхы взять противника не мытьемы, такы катаньемы, не антикритикой—такы доносомы.

"Бълинскій стегалъ ихъ безпощадно, терзая мелкое самолюбіе чопорныхъ, ограниченныхъ творцовъ эклогъ, любителей образованія, благотворительности и нъжности; онъ отдавалъ на посмъяніе ихъ дорогія, задушевныя мысли, ихъ поэтическія мечтанія, цвътущія подъ съдинами, ихъ наивность, прикрытую лентой.

"Какъ же они за то его и ненавидъли.

"Славянофилы, съ своей стороны, начали оффиціально существовать съ войны противъ Бълпискаго: онъ ихъ додразнилъ до мурмолокъ и зипуновъ.

"Статьи Бълинскаго судорожно ожидались въ Москвъ и Петербургъ съ 25-го числа каждаго иъсяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофейныя спрашивать, получены ли "Отечественныя Записки", тяжелый № рвали изъ рукъ въ руки: "Есть Бълинскаго статья?" "Есть", — и она поглощалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смъхомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ върованій, уваженій какъ не бывало".

Недаромъ Скобелевъ, комендантъ Петропавловской крѣпости, говорилъ шутя Бълинскому, встръчаясь на Невскомъ проспектъ: "Когда же къ намъ? У меня совсъмъ готовъ тепленькій казематъ, такъ для васъ его и берегу".

Нъть ничего отрадите и даже, — сказаль бы я, — болте возвышающаго душу, какъ зрълище возрождения человъка, который послъ долгихъ, томительныхъ годовъ псканія нашелъ твердую опору для своего духовнаго міра, для своего нравственнаго и уиственнаго развитія и, вернувшись къ себъ, сознавъ истинныя потребности своей натуры и темперамента, является передъ нами какъ бы преображеннымъ. Тоска замъняется върою, упадокъ духа-бодростью. Это именно и случилось съ Белинскимъ. Что возродило его? Городъ Петербургъ съ дъловитымъ, холоднымъ складомъ своей жизни? Конечно, нътъ. Не одного петербургскаго принципа жизни Бълнискій не облюбоваль и ни однимь не увлекся. Онь до самой своей смерти остался такимъ же идеалистомъ, какимъ былъ раньше въ Москвъ и еще до тоговъ Пензъ. Правда, самъ онъ не разъ говорилъ, что его "передълалъ Пптеръ", --- но не надо придавать особеннаго значенія этимъ словамъ. "Питеръ" никогда инкого не возрождаль и возродить не можеть по самому существу своему, -- вотъ наоборотъ развъ. Бълинскаго, конечно, возродила работа и любовь-первая и единственная въ его жизни разделенная любовь къ женщинъ. Когда мало-по-малу онъ началъ сознавать свою силу и вліяніе, когда онъ увидълъ, что съ нимъ считаются, онъ, какъ работникъ по призванію, не могь не приподнять своей усталой головы, и успахь влиль значительную бодрость въ его измученное сердце. Да, надо работать, только работать, не думая о себь, думая лишь о человъкь, котораго жизнь растаптываеть такъ презрительно и равнодушно.

"Для меня человъческая личность выше исторін, выше общества, выше человъчества", — говорить онъ въ письмъ къ Боткину. Эта-то человъческая личность и была тъмъ камнемъ краеугольнымъ, на которомъ онъ воздвигь свое новое міросозерцаніе. Пусть жизнь огромна, велика, могущественна, пусть она считаеть за собой миріады въковъ прошлаго, все же человъкъ не обязанъ падать передъ ней ницъ, а напротивъ того — онъ долженъ призывать ее къ суду передъ своимъ сознаніемъ, своими нравственными запросами и добиваться во что бы то ин стало своего личнаго и общаго счастья. Теперь передъ нами уже настоящій Бълпискій, тотъ, который не выносилъ никогда никакого внъшняго давленія и почти ребенкомъ понялъ всь ужасы кръпостного права.

"Если несчастенъ я, и несчастны другіе, значить—жизнь неразумна", такъ разсуждаеть опъ и инстинктивно онъ всегда такъ думалъ, хотя и не ръшался высказать подобнаго рода ересь. Когда исходная точка найдена,—сдълать изъ нея выводъ не трудно, и Бълинскій съ обычной своей страст-

ностью и неистовствомъ принялся за эту работу. Въ это время онъ уже ръзко измънилъ свой взглядъ на Шиллера. Презрънный Шиллеръ сталъ для него великимъ Шиллеромъ. Онъ ненавидълъ его прежде за то, что его поэзія исполнена интимными запросами души человъческой, что въ ней кипитъ страсть, что въ ней слышатся проклятія злу жизни. Но теперь, когда онъ призналъ законность всего этого — Шиллеръ сталъ ему дорогъ и даже дороже олимпійски спокойнаго, величаваго Гёте. По той же причинъ онъ примирился съ французами и пересталъ находить глупыми и пошлыми ихъ увлеченія идеалами лучшаго общественнаго устройства.

Отсюда уже простъ переходъ къ общественности. Въ последнихъ своихъ статьяхь онь отдаеть себя въ жертву обществу и въ служеніи этому обществу видить единственное назначение человъка. Его безконечно тяготила мысль, что много голода и холода на земль, и онъ готовъ отказаться оть самого себя, отдать последнюю рубашку, чтобы поправить жизнь п сделать ее болье соотвытствующей досгоннству человыка. Его оскорбляють чужія страданія, ему не дають покоя чужія слезы, опъ думаєть, что челов'ять питесть право на счастье здёсь на земле, и если этого счастья нёть, то виноваты обстоятельства, которыя можно и должно устранить. Наивный, онъ много разъ вздыхаеть о томъ, что у него нътъ какой-нибудь сотии милліоновъ, которая дала бы ему возможность гдв-нибудь въ Южной Америкв или Австралін основать колонію и показать людямь, какъ они могуть жить почеловъчески и какъ безмърно могуть быть они счастливы здъсь на земль. Здоровый, свіжій воздухъ, работа сообразно съ призваніемъ и назначеніемъ, свободная обязательность, любовь безъ страха передъ завтрашнимъ днемъ-все это мерещилось Бълинскому, все это вдохновляло его. Въ этомъ своемъ настроеніи онъ твердо вірить, что все зло жизни — не что пное, какъ результатъ невъжества и глупости, онъ отрицаетъ какіе-бы то ни было законы исторіи, которые будто бы предопределили страданія человека. Онъ ненавидить эти страданія, онъ думаеть, что они не нужны, онъ готовъ схватиться съ самою судьбой во имя достоинства личности и гордо, стоя одной ногой въ могиль, говорить, что человъкъ имъетъ право на все, даже на безсмертіе: счастье на землъ-его назначеніе.

И высшимъ выражениемъ этой общественности является, конечно, знаменитое письмо его къ Гоголю, гдъ онъ писалъ между прочимъ:

"Проповъдникъ кнута, апостолъ невъжества, поборникъ обскурантизма и мракобъсія, панегиристъ татарскихъ нравовъ, что вы дълаете? Взгляните себъ подъ ноги, въдь вы стоите надъ бездною!.. Вспомнилъ я еще, что въ вашей книгъ вы утверждаете, какъ великую и неоспоримую истину, будто простому человъку грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вамъ на это? Да проститъ вамъ Богъ за эту мысль, если только, передавая ее бумагъ, вы въдали, что творили...

Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила васъ въ глазахъ публики и какъ человъка? Вы, сколько я вижу, не совстви хорошо понимаете русскую публику. Ея характеръ опредъляется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипять и рвутся наружу свъжія силы, и, не находя исхода, производять только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной литературѣ есть жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почтенно, почему у насъ такъ легокъ върный успъхъ, даже при маленькомъ талантъ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ мнъніемъ такъ называемое либеральное направленіе, даже и при бъдности таланта. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга цала не отъ ея дурного направленія, а отъ ръзкости истинъ, будто бы высказанныхъ вами всемъ и каждому. Положимъ, что вы могли это думать о пишущей братіи, но публика то какъ могла попасть въ эту категорію? Неужели въ "Ревизоръ" и "Мертвыхъ Дущахъ" вы менъе ръзки, съ меньшей истиной и талантомъ, и менъе горькой правды высказали? И она дъйствительно разсердилась на васъ до бъщенства, но "Ревизоръ" и "Мертвыя Души" не пали отъ этого, тогда какъ ваша послъдняя книга провалилась сквозь землю. И публика тутъ права; это показываеть, сколько лежить въ нашемъ обществъ, хотя и въ зародышъ, свъжаго, здраваго чувства, и это показываетъ, что у нея есть будущность. Если вы любите Россію, порадуйтесь вмъсть со мною паденію вашей книги".

И это слова умирающаго человъка. И тотъ же умирающій человъкъ, котораго Достоевскій встрътиль какъ-то у Знаменья, сказаль ему:

— Я сюда часто захожу взглянуть, какъ идеть постройка (вокзала Николаевской жельзной дороги). Хоть тыть сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконець-то и у насъ будеть хоть одна жельзная дорога. Вы не повърите, какъ эта мысль пногда облегчаеть миъ сердце.

"Это было горячо и хорошо сказано", замъчаеть при этомъ Достоевскій. Хорошо сказано—это такъ. Но въ то же время, сколько общественнаго интереса надо имъть въ душъ, чтобы, въ послъднемъ градусъ чахотки интересоваться постройкой вокзала Николаевской желъзной дороги!

Изъ трехъ періодовъ литературной діятельности Вілпискаго для насъ важенъ лишь первый и послідній. Отъ перваго намъ остались такія крупныя вещи, какъ трагедія съ ея страстнымъ протестомъ противъ крівностного права, и исповіданіе візры новой критики "Литературныя мечтанія" (1834); отъ послідняго все, что мы разумівемъ обыкновенно подъсловами "дитературная діятельность Вілинскаго". Второй періодъ (1836—1842), когда Вілинскій "поклонялся философскому колпаку Гегеля", признаваль все, даже турецкія звірства, разумнымъ—этотъ періодъ псканія

и насильственнаго примиренія съ д'я дійствительностью очень интересенъ для психологін самого Б'ялинскаго и мало для исторіи литературы.

О драмѣ мы скажемъ потомъ въ отдѣлѣ драматической литературы. Обращаюсь къ "Литературнымъ мечтаніямъ". Важность этой статьи заключается не въ мысляхъ, высказанныхъ въ ней (это въ большинствѣ случаевъ мысли Надеждина и Полевого), а въ несываломъ до той поры и п совершенно неслыханномъ отношеній къ литературѣ.

Вась поражають въ стать двъ вещи. То, во-первыхъ, что здъсь литература разспатривается не по кусочкамъ, а въ своемъ целомъ, — разсматривается, словомъ, вся нзящная литература въ процессъ своего историческаго развитія. Юноша-авторъ не пошель, значить, по торной дорогь, не ограничелся уголкомъ темы, а взглянулъ на свою задачу широко и смъло, какъ истинный геній. Въ этомъ пріемъ не было, пожалуй, сознательной философін-критической точки зрѣнія, быть можеть, онъ явплся невольно, подсказанный инстинктомъ, но вёдь важность его нисколько отъ этого не уменьшается. Во-вторыхъ, Вълинскій отнесся къ литературт не только съ любовью, но и съ полной серьезностью. Литература для него, очевидно, огромное и важное дело, которое можеть наполнить всю жизнь человька, пробудить въ немъ лучшія его чувства, расширить до безконечности его уиственный горизонть. Здёсь, въ своей первой стать в, Белинскій не позволяеть себ'в ни одной шутки. Онъ-весь восторгь, весь-увлеченіе и весь-серьезность. А это и было нужно, чтобы положить начало истинной критикъ и литературному самосознанію. Шутниковъ было всегда достаточно, а скоро они появиллсь въ обидномъ изобиліи.

Въ парадоксальной мысли "Литературныхъ мечтаній" — "у насъ и тъ литературы, а есть лишь великія художественныя произведенія" — скрывается однако почти несомнънная истина. Что такое литература? Можно отвътить на этотъ вопросъ очень просто и коротко: литература-это проявленное въ написанномъ словъ самосознаніе общества. Самосознание бываеть разное: историческое, политическое, художественное и, какъ разное, воплощается и въ разныхъ формахъ. Поэтому и отделовъ литературы очень много, но когда мы употребляемъ слово литература,мы понимаемъ ихъ все сразу. Нечего и говорить, что всякому самосознанію присущи и критика окружающаго и исходящій изъ нея практическій идеализмъ, т. е. желаніе чего-то лучшаго и болъе совершеннаго. Такой литературы у насъ дъйствительно не было, были лишь намеки на нее, преимущественно въ журналистикъ и именно въ "Московскомъ Телеграфъ" Полевого. Но "Московскій Телеграфъ" плачевно закончиль свое существованіе какъ разъ въ этомъ 1834 году, за рецензію на драму Кукольника "Рука Всевышняго", Полевой какъ-то сразу сдълался другимъ человъкомъ,

н, странно, вся тижесть литературы, какъ общественнаго и художественнаго самосознанія, упала на 24-хъ-льтняго юношу, котораго презрительно третпровали недоучившимся студентомъ! Страшная тяжесть, но въдь и силы были огромныя!

Прежде всего надо было выбрать изъ всей массы печатной бумаги то, что можно было бы назвать "литературой будущаго", о которой такъ восторженно говорилось въ "Мечтаніяхъ". Вълинскій на первыхъ же порахъ сділаль это, поставилъ Пушкина рядомъ съ Шекспиромъ и Гете, принявшись въ слідующей своей стать толковать Гоголя. Да, онъ сразу оцівниль этотъ великій талантъ, прозріль его славное будущее; это большая заслуга, хотя отчасти мы обязаны ею и кружку Стайкевича.

Гоголь быль постоянно на глазахъ, устахъ Вълинскаго; фразы и отдъльныя слова изъ его произведеній вошли у друзей, и у Бълинскаго особенно, въ привычное употребленіе... Съ какимъ восторгомъ онъ говорплъ о Гоголъ еще въ 1835 г. въ первомъ разборъ его повъстей, это извъстно.

Имън передъ глазами Пушкина и Гоголя, Бълинскій дъйствительно могь сибло смотреть на будущее русской литературы и самь, какъ представитель этого будущаго, смело относиться къ признаннымъ авторитетамъ. Не мало ихъ онъ развенчалъ, не мало и похоронилъ ихъ, но поступать иначе онъ не могъ, какъ призванный реформаторъ. "Литературныя Мечтанія" произвели большое впечатлівніе-не въ публикі, разумівется, которая почти не читала "Молвы", а упивалась преимущественно "Съверной Пчелой" и другими изделіями Греча съ комп., —а въ кружкахъ, такъ или иначе прикосновенныхъ къ литературъ. "Одобряли прекрасный языкъ, удивлялись горячности, съ какой написана статья, ея неподдъльному увлеченію н въ то же время большинство негодовало". Негодовали за то, что Ломоносовъ быль объявлень не-поэтомъ, Бенедиктовъ простымъ риторомъ словомъ, прежде всего за смълость, съ какою неизвъстный авторъ нападаеть на общепризнанные авторитеты. Дело дошло до того, что Шевыревъ-тогда извъстный профессоръ, прочтя относящіяся къ нему страницы "Мечтаній", затопаль ногами и закричаль: "какь смюль этоть писака такъ судить обо миъ ? Собенно дерзкой казалась основная мысль статън. Авторъ решительно и безъ обиняковъ заявилъ, что у насъ на Руси истъ никакой литературы и цицатой къ первой главъ выбраль извъстный афоризмъ барона Брамбеуса: "есть ли у насъ хорошія книги?—Нъть, у насъ есть великіе писатели, — Такъ, по крайней мѣрѣ, —у насъ есть Словесность? Напротивъ, у насъ есть только книжная торговля". Правда, въ заключительных строках авторъ старался смягчить свой суровый приговоръ: "У насъ нътъ литературы, --- писалъ онъ, --- я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ сей истиню вижу залогь начиихъ

будущих успъхооъ"—но самое отсутствие логики въ двухъ частяхъ этой фразы, связанныхъ между собою произвольнымъ "ибо" было очень подозрительно.

После долгих и тяжелых исканій, Вёлинскій отъ всёх своих абстракцій пришель къ соціализму, къ нёсколько утопическому, конечно, но единственно изв'єстному и возможному въ тё дни. Онъ быль сень-симонистомъ, насколько успёль ознакомиться съ Сень-Симономъ по произведеніямъ Жоржъ Зандъ. Онъ поняль очень простую для насъ, но совсёмъ не простую для своего времени вещь, что челов'єк прежде всего продукть окружающихъ его реальныхъ обстоятельствъ жизни и изм'єняется ви'єстё съ ними. Не съ челов'єка надо начинать, а съ обстоятельствъ. Поэтому онъ долженъ быль признать огромное значеніе д'єйствительности и съ обычнымъ воодушевленіемъ заявилъ, что д'єйствительность для него теперь все. Надо знать эту д'єйствительность для того, чтобы бороться съ ней. И хороша только та литература, которая знакомить насъ съ этой д'єйствительностью. Отсюда—восторги Б'єлинскаго передъ натуральной (реальной) школой искусства.

Но, конечно, не этими восторгами, отдъльными признаніями и отдъльными отрицаніями опредълялось, литературное значеніе Вълинскаго; это значеніе лучше всего охарактеризовано человъкомъ, страстно любившимъ Бълинскаго и страстно греклонявшимся передъ нимъ—Ап. Григорьевымъ, и мнъ остается только привести его слова.

"Было время, — начинаеть Ап. Григорьевь, — что критика наша стояла во главъ всего нашего развитія, мы разумьемъ, конечно, критику литературную. Эта роль принадлежала критикъ въ то время, когда въ литературъ совивщались для насъ всъ серьезные духовные интересы, --- когда критикъ, не переставая ни на минуту быть литературнымъ критикомъ, въ то же самое время быль и публицистомъ, -- когда его художественные идеалы не разрознивались съ идеалами общественными. Этимъ-кромъ своего огромнаго таланта-быль такъ силенъ Вълинскій, въ его эпоху все другія убъжденія, кром'є его уб'єжденій, и вс'є другіе взгляды, кром'є его взгляда, не считались и не могли считаться благородными и современными убъжденіями и взглядами. Кто не виділь въ Пушкині, Гоголі, Лермонтові того, что видълъ въ нихъ Бълинскій, —попадалъ неминуемо въ число ограниченныхъ, отсталыхъ людей и мраколюбцевъ. И тогда это было совершенно нормально, потому что литература была тогда все для насъ, н двухъ убъжденій въ отношеніи къ высшинь литературнымъ явленіямъ быть не могло. Уровень единства литературнаго взгляда проводимъ былъ съ безпощадною последовательностью, но, вероятно, ни у кого языкъ не повернется, даже и теперь, назвать эту безпощадную последовательность, этоть деспотизмъ мысли-несправедливымъ. Идея изящиаго тесно сливалась тогда съ идеями добра и правды, или, лучше сказать, идея правды и идея добра не имъли возможности проявляться пначе, какъ черезъ идею изящнаго. Бълнискій быль поставлень въ такія же условія борьбы, какъ Лессингь. Пламенно толкуя Пушкина, пламенно выдвигая Лермонтова, пламенно ратоборствуя за Гоголя и т. д., онъ былъ въ то же самое время главнымъ общественнымъ двигателемъ нашимъ и великимъ глашателемъ истины. Весь уиственно и нравственно пропитанный философскою системою, до нашихъ временъ еще не смъненною никакою другою, онъ проводилъ ее въ жизнь черезъ органъ литературной критики. Его противоръчія и изміненія мнівній могли казаться противоръчіями и измъненіями митий только людямь дъйствительно ограниченнымъ, въ его эпоху. Для него самого, для его учениковъ, т. е. для всъхъ насъ болъе или менъе, это были моменты развитія, моменты стремленія въ истинъ. Бълнискій стояль впереди умственнаго прогресса и сивло вель впередъ покольніе. Въ высочайшей степени одаренный художественнымъ пониманіемъ, способный трепетать, какъ пифія, отъ всего прекраснаго, переживавшій съ каждымъ великимъ явленіемъ нравственнаго міра всю жизнь этого явленія: чистую ди поэзію Пушкина, здую ли скорбь и пронію Лермонтова, карающій ли сміхь Гоголя, мучительную ли игру Мочалова и т. д., отзывавшійся на все съ необыкновенной чуткостью, онь, однако, какъ человъкъ стремленія и прогресса, не задумывался замънять явленія явленіями, когда один казались ему ближе къ истинъ, т. е. по его върованію, ближе къ последнему слову прогресса, чёмъ другія. Своего рода террористь литературный, онъ приносиль жертвы за жертвами, хотя, конечно, едва ли бы принесъ въ жертву Пушкина и его значение въ нашей жизни. Дъло нравственнаго возбуждения, совершенное въ лицъ его нашею критикою, было велико и благотворно по своимъ последствіямъ".

Это какъ нельзя болье справедливо. Бълинскій быль гораздо больше, чыть литературный критикъ и больше, чыть историкъ литературы: онъ быль трибуномъ своего времени (да и поздныйшаго) въ области его семейныхъ и общественныхъ отношеній, его религіи и нравственности, отчасти даже и политики. Роль его воистину была революціонная, но не только въ сторону разрушенія, но и созиданія того новаго строя, который какъ мечта о правахъ личности и человыка, о счасть всыхъ, преслыдоваль его въ теченіе всей жизни и особенно настойчиво, особенно опредыленно въ первый и послыдній періоды его діятельности.

Онъ былъ революціонеромъ въ литератур'я и по самому факту своего происхожденія, какъ разночинецъ. Не первый по времени, конечно, но

первый по своему значенію, твердо и разъ навсегда установившій литературныя права разночинцевъ вообще. И разночинецъ ясно виденъ въ немъ и въ дълъ сокрушенія авторитетовъ, и въ страстной ненависти къ барствовавшему славянофильству, и въ той узкой даже практичности, которой онъ пришель после долгихъ и мучительныхъ исканій. Своимъ талантомъ и своимъ нравственнымъ всличіемъ онъ безгранично раздвинулъ права человека въ литературе, где, какъ это ни странно, въ его время все еще упорно держались сословные предразсудки, такъ какъ литература считалась деломъ (или времяпрепровожденіемъ) барскимъ, и на всякаго, кто пришелъ со стороны, очень п очень косились, какъ на армейца. Стоить только припомнить отношение литературной аристократии къ Полевому, или тоть факть, что Пушкинъ хотьль было переслать первый № своего "Современника" Бълинскому такъ, чтобы никто, никто не зналь объ этомь, да все же не переслаль, боясь mésaillance'a. Но Бълинскаго признала, по крайней мере, молодежь, хоти все же настоящей своей оценки онъ дождался лишь въ эпоху полнаго торжества разночинпевъ-въ 60-е годы. Собственно говоря, въ литературт 60-е годы начались со статей о Бълинскомъ и съ воспоминаній о немъ. Здесь-то онъ и былъ поставленъ на настоящую свою высоту, здёсь онъ былъ признанъ не какъ проникновенный эстетикъ, что было лишь частью его, а темъ, чтить онъ быль въ действительности -- истиннымъ борцомъ за права человъка, внъ вопроса о его происхождении.

Понятна теперь вся страстность и непримиримость его западничества, такъ какъ, если уже барину Чаздаеву пришлось жаловаться, что у него, несмотря на столько-то портретовъ предковъ и записи въ такія-то книги, никакихъ корней въ русской жизни нѣтъ,—если русская литература только и дѣлала, что занималась лишними людьми, не чувствовавшими подъ ногами почви—то какіе же корни, какая же почва могли быть у разночинца Бѣлинскаго? Назадъ ничто и никогда не тянуло его, теперь—ничто не привязывало, привязывало лишь будущее родины, но будущее, не какъ повтореніе вчера и сегодня, а какъ новое, подъ вліяніемъ Запада выработаннос, то новое, что обезпечивало бы личности полноту ея свободы, а обществу полноту его благосостоянія.

Мужикъ въ русской литературъ. Последнія статьи Белинскаго были посвящены горячей защите натуральной школы, — школы, созданной Гоголемъ, которая понимала искусство, какъ воспроизведеніе въ типахъ—действительности во всей ея пстине съ точки зренія общественнаго идеала

самого автора. Своими типами литература должна была разъяснять разумъ явленій, т. е. смыслъ и содержаніе жизни, и быть руководительницей человъка въ его познаніи окружающаго. Бълинскій разночинецъ, Бълинскій, въ которомъ, въ концъ концовъ, такъ властно заговорили практическія дъйственныя стремленія—страстно увлекся такимъ воть искусствомъ, видя въ немъ выходъ для безцъльнаго существованія литературы. Имъ все больше овладъвало желаніе воздъйствія на жизнь, но, очевидно, чтобы воздъйствовать, надо знать и знать именно самую жизнь во всей ея глубинъ. Но о чемъ же могло говорить это знаніе жизни? О пошлости окружающаго? о преступно-ничтожномъ содержавіи человъческихъ стремленій, т. е. о всемъ томъ, о чемъ твердили Гоголь, Гриботдовъ, Лермонтовъ? Да, объ этомъ, но къ концу сорововыхъ годовъ воспроизведеніе дъйствительности, все углубляясь, дошло наконецъ до истинной подпочвы — до кртпостого мужика и его ужаснаго безправнаго состоянія.

Слово было найдено, п у литературы явилось знамя. Это слово, говорю я, быль мужикь. Это знамя—жальніе мужика, печаль о немъ.

Безпокойныя томптельныя исканія литературы закончились. Она вышла на свою настоящую дорогу и нашла свое настоящее діло. И въ сущности все давнымъ давно, уже со времени Радищева, вело къ этому, все кричало о немъ, все указывало здісь единственный выходъ. Весь пдеализмъ 30-хъ и сороковыхъ годовъ, все увлеченіе западной философіей и западнымъ искусствомъ должно же было вылиться въ опреділенную форму. Тутъ и мечты о нравственномъ самоусовершенствованіи и увлеченіе соціалистическими утопіями и вліяніе народолюбивой Жоржъ-Зандъ — все сошлось въ томъ, чтобы указать русскому лишнему, безпочвенному человіться его настоящее діло.

Съ 1847 года мужикъ становитоя властителемъ думъ. И въ этомъ, повторяю, нётъ ничего страннаго. Русское самосознание доросло теперь до пониманія, что въ основів всіхъ бідъ, всей этой безцільности жизни лежитъ безправное состояніе народной массы и существованіе на чужой кабальный трудъ... Но это было не просто сознаніемъ. Это было чімъто большимъ, что въ конції концовъ захватило всего человіна и прежде всего его совість, властный и настойчивый голосъ которой я отмічалъ уже раньше у тіль и другихъ представителей литературы.

О народъ много говорили уже славянофилы. Лучшіе пзъ нихъ возмущались кръпостнымъ состояніемъ. Но странно, это возмущеніе сопровождалось всегда такой массой восхищенія передъ нравственными качествами и достоинствами закабаленнаго народа, что никакого вліянія на русскую мысль оно оказать не могло.

Но воть заговорили западники, т. е. люди, напболе подчинившиеся

вліннію демократических европейских идей, — заговориль Григоровичь своей "Деревней" и "Антономъ Горемыкой", заговориль Герценъ своей "Сорокой-Воровкой", Тургеневъ— "Записками Охотника", Бълинскій своими статьями о натуральной школь, — и вивсто "восхищенія" выдълился во всемъ ужась своемъ факть, поражавшій еще Радищева, тоть, — что человъкъ съ человъкомъ можеть дълать все, что ему угодно, что у мплліоновъ людей отнята личность и всякая тень права, что существуетъ русская деревня, не какъ мъстопребываніе пейзановъ, не какъ хранительница принциповъ русскаго духа, а какъ тюрьма и каторга, гдъ

Среди цвътущихъ нивъ и горъ Другъ человъчества печально замъчаетъ Вездъ невъжества губительный позоръ.

Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здъсь барство дикое безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себъ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледъльца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,
Здъсь рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго владъльца.

Здъсь тягостный яремъ до гроба всъ влекутъ, Надеждъ и склонностей въ душъ питать не смъя.

Здізсь дізвы юныя цвізтуть Для прихоти развратнаго злодізя. Опора милая старізющих отцовъ Младые сыновья, товарищи трудовъ, Изъ хижины родной идуть собою множить Дворовыя толпы измученных рабовъ.

И воть этоть-то закабаленный мужикъ воззваль теперь къ разуму и совъсти русскаго человъка и русской литературы...

Прежде было проще: въ народъ видъли главнымъ образомъ простонародье (такъ его понимали и беллетристы, и драматурги, и историки, и самъ Пушкинъ) иъчто стадное, само по себъ склонное къ буйству и неистовству, но великолъпно покорное при наличности хорошихъ руководителей. И все было исно и понятно. По міросозерцанію всъхъ плававшихъ и неистовствовавшихъ на поверхности жизни человъковъ, народъ находился тамъ гдъ-то, внизу, чутъчуть не въ препсподней, молчалъ и работалъ, работалъ и молчалъ, распахивая десятину за десятиной, выкорчевывая лъса муромскіе и брянскіе размножаясь съ быстротой низшаго организма, пестуя русское государство и русскую культуру, и безъ задержки уплачивая всъ протори и убытки исторіи. Хорошо, должно быть, жилось ему въ обществъ лъшвъх, домовыхъ, русалокъ, и овъ обыкновенно оставался за сценой. Но случалось,

что его выводили на показъ, какъ бы въ доказательство того, что онъ дъйствительно существуетъ, что онъ—не миеъ какой-инбудь, не мечта, итъчто осязаемое и обоняемое, "волнующееся, какъ море, способное кричатъ, бъжатъ, двигаться". "Идемъ братцы, бъжимъ братцы!" вдохновенно восклицала какая-инбудь борода, и "русскій" народъ точно спросонокъ, не прозъвавшись хорошенько и не протеревъ слипшихся глазъ, шелъ и бъжалъ, по дорогъ выбрасывалъ какого-инбудь "вора" изъ окна, давилъ кого-инбудь, а добъжавши до площади, сначала вопіялъ "ура". а потомъ падалъ на кольни. Не прелесть ли это на самомъ дълъ? И подобныя картины не возбуждали ни въ комъ сомивнія и представлялись совершенно правоподобивми не только Сумарокову, Озерову, Куколькину, Полевому—но и исторіографу Карамзину, и славянофилу Аксакову и самому Пушкину, у котораго въ "Борисъ Годуновъ" народъ только и знаетъ идти и бъжать.

Но, начиная съ конца 40-ыхъ годовъ — народъ это прежде всего сърая, закабаленная крестьянская масса, стонущая отъ всякой жизненной неправды. Въ такомъ видъ онъ впервые появился въ интеллигентной литературь у Григоровича, грязный, обтрепанный, въ рваномъ зипунишкь, котораго обижають и обижають всв. Прославления повъсть Григоровича "Антонъ Горемыка" (1847 г.), въ сущности говоря, совствиъ даже не художественное, а дубочное произведение, сразу же возбудившее къ себъ сердечное отвращение людей, обладавшикъ эстетическимъ развитиемъ, напр., В. П. Боткина. Въ ней все дълано, искусственно, грубо, аляповато, н действительная правда жизни выставлена въ ней такъ неумело, что даже и не върится правдъ этой правды. Схема русской трагедіи, та нменно, что человъкъ, разъ "споткнувшись", разъ перенеся извъстное несчастіе или потерю, не только не им'веть силы бол'ве встать, но, напротивъ, случайно и противъ своей воли, путемъ сцепленія чорть знасть какихъ обстоятельствъ, доходить до преступленія, полной гибели п Сибпри, намъчена совершенно върно: у Антона украли лошадь и Антона же отправили по владимірскому тракту, но отъ этой "в'врностн" до художественности, повторяю, очень далеко. Однако пов'есть произвела поистинъ грожадное впечатление. По нелицепріятному свидетельству Щедрина, она была и "живымъ лучомъ" и "свежимъ глоткомъ воздуха". Белинскій писаль о ней Воткину: "Въроятно ты уже получилъ XI-й № Современника. Тамъ повъсть Григоровича ("Антонъ Горемыка"), которая измучила меня; читая ее, я все думаль, что присутствую при экзекуціяхь. Страшно! Воть поди ты!.. Цензура чуть ее не прихлопнула; конецъ передъланъ-выкпнута сцена разбоя, въ которой Антонъ участвуетъ". И далъе: "Я знаю, что сужу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалтью, и

болью о тыхь, кто не сидить въ ней. Воть почему въ Антонь я не замьтиль длинноть, или, лучше сказать, упивался длиннотамп... Боже мой! Какое изучение русскаго простонародья въ подробныхъ до мелочности описанияхъ ярмарки... Но перечитывать Антона я не буду, хотя всегда перечитываю по нъсколько разъ всякую русскую повъсть, которая мив понравится. Ни одна русская повъсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлъния: читая ее, мив казалось, что я въ конюшиъ, гдъ благонамъренный помъщикъ поретъ и пстязуетъ цълую вотчину—законное наслъдие его благородныхъ предковъ"...

Бълинскій—пронивновенная проницательность котораго въ этомъ случать выразилась по-моему гораздо ярче, чтмъ, скажемъ, въ признаніи величія Гоголя, передъ которымъ и раньше уже преклонялся весь кружокъ Станкевича, отрицая художественность въ "Антонт Горемыкт", видълъ однако въ этой повъсти "дъло,—произведеніе, способное возбуждать вопросы и производить нравственное впечатлтніе на общество". Для него въ то время это было дороже всего. Повъсть на самомъ дълъ была историческимъ моментомъ въ развитіи русской литературы и сыграла историческую роль.

Д. Григоровичъ сказалъ то слово, которое было на языкъ у всъхъ, и котораго почему-то никто не ръшался высказать: - - слово это было мужикъ, самый обыкновенный сермяжный мужикъ, не мужикъ-пастушокъ начала въка и безчисленныхъ "Пъсенниковъ", не мужикъ - орало и скоморохъ патріотическихъ драмъ и комедій, а мужикъ сърыхъ будень, обыденной жизни, обыденныхъ, но тяжелыхъ страданій. Слово было найдено, и мужикъ воцарился въ литературъ. Вълинскій защищалъ его вторженіе всъми силами своего таланта.

"Что за охота наводнять литературу мужиками?" восклицають аристократы известнаго разряда,—писаль онь.—Въ ихъ глазахъ писатель—ремесленникь, которому, какъ что закажуть, такъ онъ и дълаеть. Имъ въ голову не входить, что въ отношеніи къ выбору предметовь сочпненія писатель не можеть руководствоваться ни чуждой ему волей, ни даже собственнымъ произволомъ; ябо искусство имъетъ свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуеть чтобы писатель былъ въренъ собственной натуръ, своему таланту, своей фантазіи. А чъмъ объяснять, что одинъ любить изображать предметы веселые, другой—мрачные, если не натурой, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любить, чъмъ интересуется, то и знаетъ лучше, а что лучше знаетъ, то лучше изображаеть. Вотъ самое законное оправданіе поэта, котораго упрекають за выборъ предметовъ; оно не удовлетворительно

только для людей, которые ничего не смыслять въ искусствъ и грубо смішивають его съ ремесломъ. Природа візчный образець искусства, а величайшій и благороднійшій предметь въ природії — человікь. А разві мужнить не человъкъ? Но что же можеть быть интереснаго въ грубомъ. необразованномъ человъкъ? -- Какъ что? -- его душа, умъ, сердце, страсти, склонности-словомъ, все то же, что и въ образованномъ человъкъ. Положийъ, последній выше церваго; но разве ботанисть интересуется только садовыми, улучшенными искусствомъ растеніями, презирая ихъ полевые, дико-растущіе первообразы? Развіз для анатомика и физіолога организмъ дикаго австралійца не такъ же интересенъ, какъ и организмъ просвіщеннаго европейца? На какомъ же основании искусство въ этомъ отношения должно такъ разниться отъ науки? А потомъ — вы говорите, что образованный человъкъ выше необразованнаго. Съ этимъ нельзя не согласиться съ вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой свътскій человъкъ не сравненно выше мужика, но въ какомъ отношения? Только въ свътскомъ образованін, а это нисколько не помінаеть иному мужику быть выше его, напримъръ, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развиваеть нравственныя силы человёка, но не даеть ихъ: даеть нхъ человъку природа. И въ этой раздачъ прагоцъннъйшихъ даровъ своихъ она действуеть слепо, не разбирая сословій... Если изъ образованныхъ классовъ общества выходить больше замечательных людей, это потому, что туть больше средствъ къ развитію, а совсемъ не потому, что природа была для людей низшихъ классовъ скупте въ раздачт даровъ своихъ. "Чему можно научиться изъ книги, въ которой описывается какой-нибудь спившійся въ кругу горемыка?" — говорять еще эти аристократы средней руки. Какъ чему? разумъется, не свътскому обращению и не хорошему тону, а знанію человъка въ извъстномъ положеніи. Одинъ спивается отъ лъности, отъ дурного воспитанія, отъ слабости характера; другой отъ несчастныхъ обстоятельствъ жизни, въ которыхъ онъ, можеть быть, несколько не виновать".

Въ сущности, впрочемъ, нечего было и защищать. Въ обществъ въдь всегла есть, да и не можетъ не быть предчувствія близкаго будущаго, а это будущее скоро, всего черезъ накія-нибудь десять лътъ пошло по одному руслу и вылилось въ одномъ—въ "эмансипаціп" мужика.

Въ предчувствін этомъ н'ять ничего тапиственнаго, ипстическаго. Оно доказываеть только, что всякій фактъ жизни, всякая ея перем'яна, прежде ч'ять быть сознанными и получить названіе революціи или реформы, уже произошли въ матеріальной, стихійной обстановк'я, и люди чувствуютъ ихъ, хотя и не понимають.

На помощь нашему интеллигенту пришелъ мужикъ и перевернулъ всю

нашу психологію. Такъ свазать, изъ небытія мысли, хотя и огромной жажды ея—мы вступили на твердую почву, на цёлыя десятильтія определивши и наше настроеніе, и нашу работу. Туть есть за что, туть можно и должно сказать спасибо нашей деревив, послужившей превосходной школой нашей мысли.

Растерзанной фигурѣ Антона Горемыки русская литература положительно должна была бы воздвигнуть памятникъ. Ея духомъ, ея содержаніемъ она жила почти полъ-вівка-правда, содержаніемъ расширеннымъ н углубленнымъ, но въ сущности темъ же самымъ. Здесь заключалась целая программа, здёсь быль дань лозунгь-одинь изъ техъ лозунговъ, которые являются въ десятилетія, и второстепенное литературное произведеніе сыграло первую историко-литературную роль. После него можно было написать о чемъ угодно и сочинять что угодно, но тотъ писатель, который такъ или иначе не выяснилъ своего отношенія къ мужнку, къ народу, не могъ уже разсчитывать на продолжительное общественное вниманіе; на него смотрели только, какъ на забавника, его читали только для развлеченія, къ нему не относились серьезно. "Мужикъ" и мужицкій вопросъ стали воистину нравственной цензурой — строгой, непреклонной, подчасъ неумолимой, избъжать которой не было никакой возможности. Было признано и всь согласились, что это "самое важное". Сотин и тысячи произведеній посвящались "самому важному"; оно создавало репутаціи и уничтожало ихъ; оно подчиняло себъ эстетику, оно стало душою критики, мало тогоу Толстого оно вылилось въ целую философски-религіозную систему. Какъ превосходно предчувствоваль это Бълинскій, когда писаль Боткину: "Будь повъсть русская хоть сколько-пибудь хороша, главное, сколько-нибудь дъльна-я не читаю, а пожираю... Ты сибарить, сластена... тебъ, вишь давай поэзін да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами, А мять поэзін и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повъсть была истина, т. е. не впадала въ шаржъ и аллегорію или не отзывалась диссертаціею. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатленіе. Если она достигаеть этой цъли и вовсе безъ поэзіп и творчества — она для меня тымъ не менье интересна"... (Письмо начала 1848 г.).

Несомивно, что, благодаря мужнку или, лучше сказать, мужицкому вопросу, ясно и широко сознанному лишь въ концв сороковыхъ годовъ, мы перестали быть "странниками"; появилась дъйствительная "сфера опредвленнаго существованія", нвчто такое, что "привязывало, что пробуждало наше сочувствіе, наше расположеніе и нравственное сочувствіе"—появилась "почва мышленія и жизни"... Мужикъ выручаль не разъ, надо сознаться, и есть что-то положительно трогательное въ этомъ настойчи-

вомъ появленіи мужика, въ той молчаливой опект, въ которой онъ держалъ вравственность не только отдівльныхъ людей, но и цівлыхъ историческихъ эпохъ.

Отношеніе къ Антонамъ было сначало покровительственно-сантиментальное, отчасти даже слезливое. Чисто барская эпоха и не могла выработать другого. Въ Антонахъ видъли людей, но что нужно этимъ людямъ, на что они способны, что они представляють изъ себя, кромъ нъкоторого виъстилища страданія, этого въ сущности не знали. Матеріалъ былъ ничтоженъ, случаенъ, и одна поэзія Кольцова глубоко заглядывала въ мужицкую душу. Но любопытно, что къ этой поэзіи даже Вълинскій отнесся прежде всего какъ эстетическій критикъ, и только Майковъ взглянулъ на дъло пошире и написалъ нъсколько блестящихъ страницъ о значеніи "экономическихъ условій въ крестьянской жизни" и о возможности подвергать экономическія темы поэтической обработкъ. Но теперь литература почти исключительно задалась цълью возбудить состраданіе къ мужику и заставить видъть въ немъ человъка съ плотью и кровью.

І. В. Григоровичъ. (1822- -1900). "Григоровичъ, —писалъ Бълинскій въ 48-иъ году, - посвятиль свой таланть исключительно изображенію жизни низшихъ классовъ народа. Въ его талантъ много аналогіи съ талантомъ **Даля.** Онъ также постоянно держится на ночвѣ хорощо извѣстной и изученной ниъ дъйствительности, но его два последние опыта-"Деревия" и въ особенности "Антонъ Горемыка", -- идутъ гораздо дальше физіологическихъ очерковъ. "Антонъ Горемыка" -- больше, чемъ повесть: это романъ, въ которомъ все върно основной идеъ, все относится къ ней, зввизка и развизка свободно выходять изъ самой сущности дела. Несмотря на то, что внешняя сторона разсказа вся вертится на пропажв мужицкой лошаденки, несмотря на то, что Антонъ-мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта пов'єсть трогательная, по прочтенін которой въ голову невольно теснятся мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжаль идти по этой дорогь, на которой оть его таланта можно ожидать такъ многаго... И пусть онъ не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для вернаго определении объема таланта: чемъ большая ихъ стая бежить вследь успеха, темъ значить, успехъ огромнъе"...

Своей "Деревней" и "Антономъ Горемыкой" Григоровичъ попаль въ первые ряды литературы. На извъстной фотографіи онъ снять рядомъ съ

Тургеневымъ, Толстымъ, Островскимъ. По его значению и вліянію здѣсь ему неоспоримое мѣсто, хотя, конечно, не по силѣ художественнаго творчества.

Онъ былъ человъкомъ сороковыхъ годовъ. Этимъ сказано не все, а многое, потому что эпоха была такова, что налагала нензгладниый отпечатокъ на каждаго, кто принадлежалъ къ ея высшимъ интеллигентнымъ слоямъ. Несомнънно, чъмъ-то красивымъ и свъжимъ, чъмъ-то молодымъ и барски щедрымъ, барски самонадъяннымъ въетъ оттуда. То была геронческая эпоха нашей мысли, рыцарскій періодъ ея исторіи. Кто провелъ въ ея атмосферъ свою юность, тотъ къ воспоминаніямъ о ней, или, лучше, о ея литературъ, сохранилъ какое-то восторженное, пожалуй, колънопреклоненное отношеніе. Щедринъ сравниваетъ ее со сказочной царевной, которая, заключенная въ неприступномъ чертогъ, дремала, окутанная сновидъніями. И хороши были эти сонныя грезы о правдъ, добръ, истинъ и справедливосты человъческихъ отношеній.

Григоровичъ примкнулъ къ общему настроенію, подчиняясь скорѣе его стихійности, чѣмъ влеченію своей натуры. Мало того, сму удалось создать главный его "моментъ". Онъ первый заговорилъ о жалости и состраданіи къ мужику, первый въ яркихъ краскахъ обрисовалъ его несчастное положеніе и такимъ образомъ положилъ основаніе нашему народничеству. Его "Деревня" и "Антонъ Горемыка" (объ вещи въ 1847 г.) сыграли серьезную историческую роль потому, конечно, что ими была дана конкретная форма идеализму 40-хъ годовъ, который съ той поры и сталъ постепенно спускаться съ туманныхъ высоть на землю. Тутъ былъ найденъ выходъ для чувства, для одушевленія.

Это было нъсколько неожиданно для самого Григоровича.

Деревни онъ, конечно, не зналъ, въ чемъ и самъ охотивнимъ образомъ признавался, да и кто зналъ ее въ то время? Кто и теперь ее знаеть? Не въ томъ суть, а въ томъ, что онъ первый сказалъ громко и выразительно: "Въдное, загнанное и забитое существо этотъ мужикъ, и его жалъть надо". И стало это слово потрясать сордца. Конечно, черезъ пятьдесять лътъ кажется страннымъ огромное вліяніе такого слова, вліяніе чисто историческое, и невольно спрашиваещь себя: да неужели же раньше никто до этого не додумался? Додумался —это такъ, напр., Радищевъ, —но великая это вещь во-время повторить даже самое простое слово. А егото Григоровичъ какъ разъ во-время и повторилъ.

Григоровичъ вообще представляется мить натурой прежде всего артистической. Онъ быль эстетикомъ и любилъ красоту во вставь ея видахъ. Даже въ жалости къ мужику онъ видахъ прежде всего ея красивую и поэтическую сторону. Да и онъ самъ весь былъ красивъ красотой хоро-

шаго старо-барскаго типа—снокойный, уравновышенный, знатокъ изящнаго, довърчивый и щедрый въ своемъ неглубокомъ, но ласковомъ вниманіи даже къ незнакомымъ людямъ. Онъ обладалъ талантомъ общительности и это въ высокой степени, быть можетъ, потому, что никогда особенно пристально не всматривался въ людей и не требовалъ отъ нихъ большаго, чъмъ они могутъ дать по самому существу своей натуры. Онъ былъ очень уже милъ и легко сходился съ людьми самыхъ различныхъ положеній, но предпочиталъ высшіе слои, куда влекли его изящные вкусы...

Въ началѣ 60-хъ годовъ онъ какъ бы разсорился съ литературой и не брался за перо около 25 лѣтъ; быть можетъ, ему было не по натурѣ и рѣзкость демократическаго движенія и чисто практическія цѣли его главарей. Формула "мужика жалѣть надо и проливать слезы надъ его грустной участью" какъ-то сузилась въ эту эпоху, переродилась въ программы, налагала обязательства и лишилась своей поэтической и потому, для Григоровича, симпатичной окраски. Да и не въ жалости только была уже главная сила. Въ жизни происходило что-то другое, происходила борьба. Григоровичъ отшатиулся.

Впрочемъ, я не думаю, чтобы ссора съ литературной слишкомъ дорого ему стоила. Въдь это не Тургеневъ, который десятки разъ проклиналъ писательство, а какъ только хандра и обида проходили, сейчасъ же опять брался за перо. Это не Тургеневъ и не Толстой, это — Григоровичъ. Никогда дъйствительнымъ литераторомъ, въ томъ смыслъ, какъ понимали эти слова его современники — Бълинскій, Герценъ, Толстой, Достоевскій, Тургеневъ, Некрасовъ — онъ не былъ: онъ только занимался литературой, какъ однимъ изъ изящныхъ искусствъ, сталъ писать потому, что въ кружкъ писали ръшительно всъ и всъ ръшительно върили, что писательство — самое большое изъ искусствъ. Одинаково, если не больше, тянуло его къ живописи, но всъ его попытки въ этомъ направленіи оказались неудачными.

Какъ натура художественная и артистическая, онъ былъ, конечно, диллетантомъ. Изящное и краснюе онъ любилъ во всъхъ проявленіяхъ, такъ
какъ для него они были цѣнны и дороги сами по себѣ, безъ всякаго отношенія къ задачамъ и цѣлямъ общественной жизни. Передаютъ, что главный его талантъ заключался въ умѣньѣ разговаривать. Онъ говорилъ безъ
всякаго принужденія, удивительно просто и красиво, вполнѣ увѣренный,
что людямъ, слушающимъ его, интересно каждое слово, что и было въ
дѣйствительности,—говорилъ обо всемъ, преимущественно о своихъ заграничныхъ путешествіяхъ и художественныхъ музеяхъ, которые онъ осматривалъ, — говорилъ барскимъ бархатнымъ тономъ, безъ рѣзкой горячности, но съ очевиднымъ увлеченіемъ и удовольствіемъ. Говорилъ онъ въ

сущности одниъ, но какимъ-то образомъ умълъ придавать своимъ ръчамъ видъ бесъды. Слушать его можно было цълые часы безъ всякаго утомленія. Это тоже одниъ изъ "героевъ слова".

И. С. Тургеневъ (1818—1883). Корин тургеневскаго влохновенія находятся въ эпох'в криностных отношеній. Изъ нея, изъ этой обстановки нзвлекъ онъ свои мастерские художественные образы и руководящия чувства своей жизни. Онъ сталъ западникомъ прежде всего изъ отрицанія крѣпостинчества, изъ ненависти къ родному лицемфриому рабству, а когда онъ творилъ, дореформенная Россія наполняла его воспоминанія, возбуждая то ненависть, то поэтическую созерцательную меланхолію, которую мы все испытываемъ на кладбище или при виде покойника. На самомъ деле что-то грустное проникаеть всв произведения Тургенева, какая-то темная тынь легла на все, что вышло изъ-подъ его пера. "Дворянское гитадо"въроятно, самая грустная повъсть новъйшей русской литературы. Но неужели эта грусть, тоска и меланхолія— результать сожалінія о томъ, что прошло и прошло невозвратно? Послъ фактовъ, извъстныхъ намъ изъ біографін, на этоть вопрось можеть быть только одинь, безусловно отрицательный отвіть. Тургеневь грустить не какъ гражданинь, а какъ художникъ: вёдь въ той обстановке, какова бы она ни была, прошли его детство и юность, ведь тамъ остались много хорошихъ воспоминаній сердца, въдь тамъ онъ нашелъ матеріалъ для свонхъ чудныхъ женскихъ образовъ — Въры ("Фаустъ"), Лизы ("Дворянское гитадо"), Наташи ("Рудинъ"), идеалиста Пунина, честнаго и добраго Николая Петровича Кирсанова, родителей Базарова, Фомушки и Фимушки ("Новь") и многихъ другихъ имъ подобныхъ, къ которымъ и мы не можемъ не отнестись иначе, какъ съ глубокимъ уважениемъ и даже любовью... Безобразны были кртьпостныя отношенія, эти писанныя и неписанныя статьи, отдававшія человъка въ безусловную власть ему подобнаго, -- но не люди, такіе же какъ и мы, нвогда лучшіе, чёмъ мы. Припомните пушкинскую няню Арину, двороваго изъ Спасскаго, восторгавшагося Херасковымъ, основательнаго, умнаго Хоря, поэта Калиныча, долговязую фигуру суроваго охотника Ермолая, съ его дътски-чистымъ, чуткимъ сердцемъ, а главное припоменте тургеневскихъ женщинъ и дъвушекъ, особенно дъвушекъ, и поэтическая эмоція коснется и вась. Вы не дадите ей всецьло овладьть вами, не станете восторгаться върными холопами и върными рабами, - мрачный образъ Салтычихи или Варвары Петровны Тургеневой немедленно же возстанеть передъ вами и отравить ваше серяце, вы поймете, что, какъ ни хороши тъ исчезнувшее люди, на каждомъ изъ нихъ кръпостныя отношенія наложили свою печать, неистребимую и съ нашей точки зрънія позорную. Върнымъ колопамъ и рабамъ вы пожелаете больще чувства собственнаго достоинства, другимъ, какъ Лизъ, —большаго простора для мысли, для правъ своей личности—и все же сердце ваше будетъ задъто. Тъмъ сильнъе такіе типы должны были задъвать сердце художника. Вызывая ихъ, онъ стоялъ какъ бы на кладбищъ, подъ колодными плитами котораго похоронено столько жестокаго, безобразнаго, столько добраго, честнаго, высокаго, а виъстъ съ ними—его собственное дътство, его собственная юность и ея мечты.

Къ новой, начавшейся посл'в 61-го года, жизни Тургеневъ могъ относиться съ симпатіей, интересомъ, но она уже не захватывала такъ всепъло его сердце, какъ дореформенная Русь. Онъ не понималъ многаго и
не могъ понять многаго. Его художественное творчество постоянно обращалось туда, къ старымъ дворянскимъ гнъздамъ, къ аллеямъ густолиственныхъ кленовъ, гдъ полная красоты и печали стояла "она", вся сотканная
изъ лунныхъ лучей, изъ чистыхъ влеченій дътскаго, искренняго сердца...
Лнза или Въра. Дъйствіе большинства его романовъ происходитъ въ эпоху
кръпостного права, къ ней же относятся и лучшіе его разсказы. Върный
преданіямъ юности, онъ дюбитъ прежде всего идеалистовъ сороковыхъ
годовъ съ ихъ благородными порывами, ихъ надломленной волей. Только
ихъ въ сущности онъ и изображаетъ. Онъ придалъ Базарову рудинскія черты, онъ сдълалъ изъ Нежданова лишняго, хотя и благороднаго
человъка.

"Я творю, когда гуляю по кладбищу своего сердца" — сказаль Гейне, н эту фразу Тургеневъ съ полнымъ правомъ могъ применить къ самому себъ. Мы знаемъ, какія могилы были на кладбищъ его сердца: тамъ поконлись Станкевичъ и Бълинскій, покоились старыя дворянскія гитэда. Тургеневъ виделъ исчезновение этихъ гитадъ, виделъ, какъ вековые дубы срубались на дрова, какъ заростали сады и парки всякими плевелами, какъ покрывались плесенью стены старыхъ домовъ, изъ оконъ которыхъ выглядывало когда-то грустное личико Лизы. Онъ могъ радоваться, видя, какъ падають и разрушаются стены тюремъ, но какая же радость можеть быть на могил'в своего честнаго товарища по заключенію... Онъ творилъ, когда гулялъ по кладбищу своего сердца. Что могла сказать ему новая, начавшаяся при немъ жизнь? Онъ быль связань съ нею головой, но не сердцемъ, онъ признавалъ, что она полезна, нужна, хороша — онъ этимъ исполнилъ долгъ гражданина, но герои, "Что делать?"---не его герои. Онъ несомненно имель въ виду идеалистовъ сороковыхъ годовъ, когда пытался создать своего Нежданова или писаль следующія строки въ одномъ изъ писемъ по поводу 60-хъ годовъ:

"Теперь— говорить онъ—не нужно ни особенных талантовъ, ни даже особеннаго ума—ничего крупнаго, выдающагося, слишкомъ индивидуальнаго,—нужно умъть смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы—я беру слово "жизненный"—въ смыслъ простоты, безпристрастности... Чувство долга, славное чувство патріотизма въ истинномъ смыслъ этого слова—воть все, что нужно... Мы вступаемъ въ эпоху только полезныхъ людей... и это будуть лучшіе люди. Ихъ въроятно, будеть много, красивыхъ, плънительныхъ—очень мало".

А ему нужны были красивые и пленительные Рудины, Шубины, Станкевичи, понимавшие красоту, преклонявшиеся передъ искусствомъ. Въ средъ "только полезныхъ людей" баринъ Тургеневъ чувствовалъ себя не дома.

Это одниъ изъ источниковъ его меланхоліи, другой—наслъдственность. Онъ быль баричемъ съ головы до ногъ, баричемъ стараго времени, съ привычками широкой жизни, добродушный, недъятельный... "У Ивана Сергъевича,—вспомпнаетъ Вогюз—рука была щедрая и открытая, какъ и сердце его. Онъ безъ разбора жертвовалъ всъмъ неимущимъ: достаточно было носить имя русскаго, чтобы быть принятымъ въ его домъ, чтобы найти его кошелекъ открытымъ и слышать изъ его устъ ласковое слово". Въ немъ не было ни мелочной разсчетливости, ни мелочной зависти, созданныхъ конкуренціей и слишкомъ обострившимися отношеніями нашихъ дней. Свободно уступалъ онъ первое мъсто Толстому, свободно признавалъ онъ юные таланты, напримъръ, Гаршина.

Лучшія черты стараго барства несомнівню воплотились въ его скромной, представительной, внушавшей невольное уваженіе фигурів.

Ригористомъ и доктринеромъ онъ не былъ и не могъ быть по самымъ условіямъ своихъ жизненныхъ впечатліній, по устройству своего ума, склоннаго къ скептицизму, по слабости воли, наконецъ. Однажды онъ такъ формулировалъ свое міросозерцаніє: "Я преимущественно реалисть и боліве всего интересуюсь живою правдою людской физіономіи, ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не візрю, люблю больше всего свободу и, сколько могу судить, доступенъ поззіи. Все человізческое мить дорого, славянофильство мить чуждо, какъ и всякая ортодоксія. Вольше ничего не иміть доложить вамъ о себь"...

Онъ быль мнителенъ и склоненъ къ меланхоліи. Стопть припомнить, какъ по-дітски боялся онъ холеры и убіталь за тысячи версть при первомъ же слухі о ея приближеніи. Онъ самъ признался, что мужество— не его добродітель. Въ письмахъ своихъ онъ постоянно жалуется на все— на болізни, старость, нужду. Его излюбленная фраза: "Я человікъ конченный". Онъ любилъ славу, горячо дорожилъ ею, но никогда не могь повірить въ нее вполні. Ему постоянно казалось, что публика его не лю-

бить, молодежь презираеть, что его повъсти и разсказы проваливаются съ трескомъ. Сколько разъ сообщаетъ овъ о своемъ непременномъ желанін броснть литературу "и уже навсегда", хотя самъ, въроятно, понималъ, что это для него совершенно невозможно, такъ же органически невозможно какъ не пить и не ъсть. Однажды судьба подвергла его жестокому испытанію, и несомивино, что онъ не сумвль перенести его, не сумвль встратиться лицомъ къ лицу съ бурей и непогодой. Это было въ 60-е годы, во время литературной исторіи съ "Отцами и дітьми". Тургеневъ обидълся, загрустиль, не писаль нъсколько лъть, жаловался на свою судьбу, поторопплся подписать себь приговорь, хотя рышительно никакой надобности въ этомъ не чувствовалось. Онъ поступилъ какъ избалованный капризный ребенокъ, --- большой ребенокъ, ребенокъ-гигантъ, но все же ребеновъ. Онъ далъ полный просторъ своей меланхолін, создалъ свое знаменитое "довольно" — эту лучшую по картинности п'вснь нашей славянской тоски, славянского пессимнима. А въдь недоразумъние должно было разсъяться рано или поздно. И это чувствовалось уже въ самомъ началъ. Часть молодежи была на сторонъ Тургенева, Писаревъ прямо провозгласиль Базарова героемъ. Но, следуя пріему всехь слабыхъ людей, нашъ великій писатель, чтобы найти какое-нибудь утішеніе, вообразиль свою пеудачу полной и безусловной. Разъ все кончено-и жалъть больше не о чемъ.

Натура созерцательная по прениуществу, Тургеневъ не былъ ни общественнымъ, ни политическимъ дъятелемъ. Это прежде всего поэтъ, художникъ, мечтатель, котораго неотразимо тянуло къ себъ творчество. Онъ любиль писать, любиль страстно, хотя принимался за работу съ трудомъ и даже отчаяніемъ. Онъ весь вылился въ своемъ языкъ, свомъ стилъ, какъ Толстой въ своемъ. Его музыкальныя фразы, граненые періоды, аристопратическая сдержанность выраженій, умітье вызывать настроеніе по прениуществу меланхолическое однимъ построеніемъ словъ, ихъ созвучіемъ-все это д'вляеть изъ него первокласснаго писателя и въ то же время позволяеть намъ заглянуть въ его душу. Въ каждаго изъ своихъ героевъ онъ вложилъ частицу собственнаго духа, и посмотрите, какіе это люди--мягкіе, нъжные красивые, настоящія женщины безъ дерзости духа, безъ гордости, даже безъ жестокости-кром' разв' одного, да и то совершенно неудавшагося Инсарова изъ "Наканунъ". И самъ Тургеневъ относится къ нимъ съ такимъ же вниманіемъ, такой же предупредительной ласковостью, какъ будто всв они безъ исключенія действительно женщины. Совершенно справедливо назвали его поэтомъ лишнихъ людей, этихъ героевъ слова, этихъ мужчинъ съ красивою женской душой. Одного взгляда на этихъ героевъ достаточно, чтобы сказать, что они не сделаютъ ничего,

что ни къ какой упрямой борьбѣ они не способны, что всякое усиліе глубоко претить ихъ вялой натурѣ, ихъ выхоленнымъ рукамъ—красоту которыхъ самъ Тургеневъ отмѣчаетъ постоянно—и выхоленнымъ сердцамъ, гдѣ таится все честное, хорошее, благородное, но переливается не въ работу—тѣмъ болѣе въ черную упрямую работу 60-ыхъ годовъ—а въ слезы умиленія, въ восторги слова, въ художественные образы. Они способны лишь на красивые порывы, какъ Рудинъ, умирающій подъ звуки марсельезы, а больше всего на тихую созерцательную грусть, какъ Лаврецкій, какъ самъ Тургеневъ. Даже про суроваго на видъ Базарова вы, подслушавъ его разговоръ на сѣнѣ съ Аркадіемъ, принуждены будете сказать то же самое. И всѣ они родные братья Тургенева по духу; оттого онъ такъ любить ихъ, такъ ласково относится къ нимъ и тратитъ весь свой изумительный художественный талантъ на описаніе тонкихъ изгибовъ ихъ души.

Въ другое время и въ другой обстановкъ онъ непремънно увлекся бы въ сторону отчаянія, быть можеть даже мистицизма. Его любимымъ писателемъ былъ Шопенгауеръ, самъ онъ всю жизнь не могь отдълаться отъ тоски и грусти, подъ старость онъ создалъ свои "Стихотворенія въ прозъ"... Любовь, красота, искусство—все, чему онъ служилъ, во имя чего жилъ и работалъ,— все это то и дъло представлялось ему ненужнымъ, пустымъ, тлъннымъ. Но онъ кръпко держалъ себя въ рукахъ, и мы знаемъ—почему.

Мнительный и склонный къ меланхоліи по насл'єдству, съ широкими, размащистыми, иногда обломовскими привычками, Тургеневъ однако такъ долго и часто подвергался вліянію европейской дисциплинерованной культурной жизни, что выработаль въ себъ и стойкость и въротершиность западнаго образованнаго человъка. Холопская формула "либо въ зубы, либо ручку пожалуйте", не мен ве холопская привычка падать собственной своей физіономіей въ грязь, для выраженія собственнаго своего восторга-претили ему до тошноты. Чувство собственнаго достоинства: и чувство меры были для него не пустыми словами и какъ для художника, и какъ для человъка. Въ роли пророка и Мессін, такъ привлекавшей Гоголя, Достоевскаго. а теперь привлекающей Тодстого, онъ не выступаль някогда и добродушно подсмъивался надъ пророками и мессіями. Скептикъ по натуръ, проникнутый сознаніемъ безконечной сложности человіческой жизни, онъ не могъ бы никогда сказать, что "я — истина", а все остальное Онъ цениль въ человеке прежде всего его свободу. ческія способности, а не всероссійскую наклонность "ндти жать" куда прикажете-въ исповъдальню Достоевскаго или въ интеллигентную колонію. Всякая ортодоксія была ненавистна ему, и наклонность къ ортодоксін онъ порицалъ чаще и різче всего — по-моему, слишкомъ даже ръзко. Припомните его ръзкія выходки противъ "идола" Губарева

пли секты матреновцевъ, т. е. последователей взбалмошной бабы Матрены Савишны ("Дымъ"). Справедливо заменено, что русскій человекъ—сектанть по пренмуществу, что ему необходимо восторгаться или плевать, иначе нивакъ невозможно. Противъ этого узкаго сектантскаго духа и направлены всё резкія выходки Потугинъ въ "Дыме". "Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ, —говоритъ Потугинъ, —бариномъ этимъ бываетъ большею частію живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ называемое направленіе надъ нами власть возыметь: теперь, напримеръ, мы всё къ естественнымъ наукамъ въ кабалу... Почему, въ силу какихъ резоновъ мы записываемся въ кабалу — это дело темное, такая ужъ, видно, наша натура. Но главное, чтобы у насъ былъ баринъ. Ну, вотъ онъ и есть у насъ, это значитъ нашъ, а на все остальное —наплевать. Чисто холопы! п гордость холопская, и холопское угожденіе... Новый баринъ народился — стараго долой. То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ: въ ухо Якову, въ ноги Сидору... Кто палку взялъ, тотъ и капралъ"...

Что въ этихъ словахъ много вѣрнаго, это несомнѣнно, только не совсѣмъ вѣрно они сказаны. Въ силу какихъ резоновъ записываемся мы въ кабалу—знать можно, и натура наша тутъ не при чемъ. Все же это исканіе, это вѣра какая ни на есть и куда она выше пустопорожней погони за лишнимъ рублемъ...

Но это между прочимъ. Европейски дисциплинированной натуръ Тургенева претило наше холопство, какъ претило и наше самодовольство. Онъ слишкомъ ясно видълъ и зналъ превосходство европейской культуры надъ нашей, чтобы колебаться въ выборт пути, по которому следуетъ идти Надо перенимать, но какъ? "Кто же васъ, — спрашиваеть онъ, — заставляеть перенниать зря? Въдь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вамъ пригодно, стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатовъ, --- такъ вы не извольте безпоконться: своеобразность въ нихъ будеть въ силу этихъ и встныхъ, климатическихъ и прочихъ условій... Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудокъ переварить ее по-своему, и со временемъ, когда организмъ окръпнеть, онъ дасть свой сокъ... Весь вопросъ въ томъ, крвика ли натура? а наша натура-ничего, выдержить: не въ такихъ была передълкахъ. Вояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могуть один нервные больные, да слабые народы, точно такъ же какъ восторгаться съ пъной у рта тому, что мы - русскіе, способны один вздорные люди".

Въ этомъ пунктъ не согласиться съ Тургеневымъ, какъ кажется, совершенно невозможно. Наша культура все болъе сблежается съ западно-европейской, сближается не по днямъ, а по часамъ, съ каждымъ новымъ торговымъ трактомъ, каждой новой переведенной статьей, каждой построен-

ной фабрикой. Мы такъ далеко зашли по пути европейскаго просвъщенія п европейскихъ экономическихъ отношеній, что если бы отъ Вержболова до Границы, а отъ Границы вдоль Карпать до устья Дуная воздвигнуть Гималайскій хребетъ, намъ все же бы пришлось идтп тою же дорогой, какъ европейцы. Перенимать—выгодите, экономите, благоразумите, да и безопасите... особенно когда "перенимается" хотимъ ли мы того или не хотимъ.

Но спѣшу оговориться, западническія убѣжденія нисколько не мѣшали Тургеневу любить Россію. Вмѣстѣ съ Потугинымъ онъ могъ-бы сказать: я люблю и ненавижу Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину.

Если бы теперь мий предложили возможно короче опредёлить міросозерцаніе Тургенева—я бы не употребиль ни пошлаго слова "либераль", ни неопредёленнаго "западникъ", а сказаль бы, что нашъ великій писатель былъ гуманистомъ. Человічность—воть что одухотворяеть его произведенія, воть что составляеть ихъ красоту.

Какъ умъ европейски дисциплинированный, Тургеневъ не могъ, разумъстся, имъть никакого пункта соприкасательства съ нашими доморощенными консерваторами или, какъ ихъ лучше звать, "охранителями". Нашъ консерватизмъ, на самомъ деле, вещь странная, въ XIX-омъ веке почти невъроятная. Такъ или иначе, въ той или другой формъ, онъ-мракобъсіе. Это совствить не то, что представляеть изъ себя, напр., англійскій консерватизмъ. Последній эгонстиченъ, остороженъ, но онъ никогда не ломится въ открытую дверь и никогда не стучить лбомъ въ ствну. Англійскіе консерваторы, исторически дисциплинированные, проводять въ жизнь смёлыя демократизирующія общество реформы, какъ Дизраэли въ 66 г., какъ Салисбери въ 84 г. Они понижають цензъ, увеличивають число голосовіциковъ на парламентскихъ и муниципальныхъ выборахъ. Они повимаютъ, что задерживать исторію можно, но становиться ей поперекъ дороги-опасно и не къ чему. Русскій консерваторъ- это прежде всего добровольный соглядатай-въ худшенъ случать, мистикъ-въ лучшенъ. Онъ знасть только одно, что надо поворачивать назадъ. Онъ стоить за розги въ школъ, кнутъвъ судъ, кръпостинчество-въ деревиъ. Его благополучную голову не смущаеть даже мысль о томъ, что поворачивать назадъ не только глупо, но и невозможно. Русскій консерваторъ убъжденъ, что нътъ инчего на свъть сильнъе розги или оффиціальной бумажки.

Тургеневъ не былъ и либераломъ въ европейскомъ смыслѣ слова. Западный либерализмъ живетъ формулой: "права, свобода, счастье для собственника". Тургеневъ просто любилъ права, свободу, счастье, но не дѣлилъ человъчество на чистыхъ и нечистыхъ. Онъ былъ гуманистомъ въ пипрокомъ смыслѣ слова. Любилъ ли онъ мужика, народъ? Не столько любилъ, пожалуй, сколько видёлъ въ мужике человека, признавалъ въ немъ живую человеческую душу и ценилъ ее. Онъ не народникъ, онъ не говоритъ, что надо учиться у мужика, что надо делать такъ, какъ мужикъ хочетъ, онъ видитъ, что мужикъ грязенъ, невежественъ, голоденъ, что зверь еще сидитъ въ немъ, и желаетъ для него счастья, не особеннаго какого-нибудъ, въ роде того, которое мерещилось прежде Достоевскому, а теперь мерещится Толстому,—а единственно возможнаго: основаннаго на знаніи, достаткъ, правахъ.

Какъ гуманисть, Тургеневъ безусловно искрененъ. Онъ туманисть не только по убъжденіямъ, но по природъ. Онъ прежде всего добръ, какъ человъкъ, какъ художникъ. Не трудно замътить, что отрицательные типы не давались ему. Два-три урода выведены имъ въ "Запискахъ охотника", къ нимъ онъ относится съ негодованіемъ, но что значатъ эти два-три типа въ громадной галлереъ образовъ, созданныхъ имъ? Въ этомъ смыслъ Ренанъ правъ, говоря:

"Его миссія была вполн'в умиротворяющей. Онъ быль, какъ Богь въ книг'в Іова, творящій на высяхъ. То, что у другихъ производило разладъ, у него становилось основой гармоніи. Въ его широкой груди примирялись противор'вчія, проклятія и ненависть обезоруживались волшебнымъ обаяніемъ его искусства"...

Въ этомъ гуманизмѣ близость Тургенева съ народной душой, съ народной совъстью. Заклейменный каторжникъ, убійца, жестокій истязатель для него прежде всего несчастный, которому слъдуетъ сострадать. И Тургеневъ сострадаль всьмъ всю жизнь.

"Любовь, — писалъ онъ, — сильнъе смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь"...

Изъ всемірно-литературныхъ типовъ Тургеневъ выше всего цанилъ Донъ-Кихота. Почему?

"Жить для себя, заботиться о себъ,—говорить онъ,—Донъ-Кихоть почель бы постыднымь. Онъ весь живеть, если можно такъ выразиться, внъ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для истребленія зла, для противодъйствія враждебнымъ человъчеству силамъ—волшебникамъ-великанамъ, т. е. притъснителямъ. Въ немъ нътъ и слъда эгонзма, онъ не заботится о себъ, онъ весь — самопожертвованіе, оцъните это слово, онъ върить кръпко и безъ оглядки... Смиренный сердцемъ, онъ духомъ великъ и смълъ"...

Тургеневъ и самъ котълъ порою, чтобы и его захватилъ и "закрутилъ порывъ въры, любви, самопожертвованія и не въ творчествъ лишь, а въ жизни",—но "каждому свое". Въ Тургеневъ не было злобы. Онъ оставался добрымъ, добродушнымъ, даже когда сердился. Иногда на словахъ онъ да-

валь увлечь себя личному раздраженію, но это било лишь иннутнычь настроеніемь. Великія слова: "мирь между людьии" и всепрощеніе были

Еще ніскольно словь объ этомъ большомъ и славномъ русскомъ человікі. Какъ сталь онь писателемъ?

Потти въ одно время съ "Антононъ Горенькой" появились и первые очерки "Записовъ олотинка". Странно, что они не поправились Бълинскому, — просто, въроятно, потону что онъ видъль въ нихъ слишкомъ иного "щегольства", отъ обаянія котораго, въ то время по крайней итрт, онъ совершенно старался освободиться. Однако тутъ было и дъло—притонъ очень серьезное дъло: "Запискани олотинка" Тургеневъ исполнялъ свою "ганинбаловскую клятву" — бороться "до послъдняго издыханія" съ стращнымъ врагонъ—крепостивнят правонъ.

Позволю себт здъсь маленькую оговорку. Преклоняясь передъ огрожнымъ тудожественнымъ дарованіемъ Тургенева, им, кажется, не совстиъ справедливо относнися въ нему, какъ въ человеку. Мы все еще не ноженъ отрешиться отъ взгляда на него, какъ на геніальнаго петичетра и далеко не всегда довърменъ испренности его диберализна, подозръвая, что за нинъ скрывается огронная доля облоновенны. Въ 60-лъ и 70-лъ годаль было пряно въ модъ упрекать Тургенева въ зангрывацін передъ современностью и дъдать косвенные намени, что онь, какъ плоть оть плоте и кость оть костей стараго барства, ничему народному, демократическому сочувствовать не ножеть. Скажу прямее, что, если въ этиль упрекаль и намекаль и скрывается истина, то лишь въ дозъ саной незначительной. Ин всегда забиваемъ, что Тургеневъ быль и по образованію, и по впечатлініямъ молодости, н по санону складу своего свътлаго аналитическаго уна-настоящинъ европейценъ. Допустинъ даже, что онъ преувеличиваетъ ужасъ своихъ дътскихъ кріпостных впечатліній, допустних, что кріпостное право нало сравнительно задъвало моральную сторону его натуры, что онъ не чувствоваль за собою "гръза", видя народъ невъжественнымъ и закабаленнымъ — но спросите себя, какъ долженъ былъ онъ, европейски образованный человъкъ, относиться въ сценамъ на конюшей или административнимъ ибропріятіямъ своей матерь? Туть можно даже оставить въ сторонъ вопросъ о "совъсти" и моральномъ воздъйствін, туть надо помнить лишь, что для человъка другой, высшей культуры факты низшей кажутся прямо невозможными, противоестественными и отвратительными. Такъ, между прочимъ, и смотрълъ на дело Тургеневъ, и ужъ въ этомъ случае никакія подозренія невозможны. Но думается, что они невозножны и ни въ какомъ другомъ: им уже слишвомъ утвердились въ признанін своей обломовщины — гражданской п общественной и на всякое отклонение отъ нея смотримъ недовърчиво.

Искренняя ненависть Тургенева къ крыпостному праву для меня несомнына; сомнительно его народолюбіе, но выдь имъ овъ никогда не красовался, никогда даже не говориль о немъ. Высшая культура просто тыть фактомъ, что она жила въ немъ, предъявляла свои требованія, и всы эти требованія шли противъ крыпостничества. Эта высшая культура во всякомъ случать не могла не научить уваженію къ личности, и имъ быль полонъ Тургеневъ.

Какъ бы то ни было, первые очерки "Записокъ охотника" появились въ "Современникъ" 1847 года. Тутъ цълый рядъ портретовъ нашихъ кръпостныхъ людей, красивая исторія того, какъ приспособлялась душа человъческая къ своему невыносимому положенію, и неопредъленно высказанный протесть Тургенева противъ этихъ ужасовъ. Именно неопределенно, потому что стоить вамь сравнить любой изъ очерковь "Записокъ" съ появившимся въ тв же дни "Сорокой-Воровкой" Герцена, вы сразу замътите огромную разницу. Тамъ, где Герценъ волнуется и негодуеть, -Тургеневъ только задумывается, а иногда весь уходить въ свое меланхолическое настроеніе, самое для него родное и близкое. Такимъ Тургеневъ оставался на всю жизнь, какъ будто образъ смерти ни на минуту не оставляль его, образъ не столько даже страшный и ужасающій, сколько теснящій сердце, навевая на него тоску, говоря о безсиысленности и кратковременности его существованія. Но все же какая огромная разница между "Записками охотника", въ которыхъ Тургеневъ, какъ могъ, исполнялъ свою ганнибаловскую влятву н исполняль общественное дело, --- и "Стихотвореніями въ прозв". Этими стихотвореніями Тургеневъ прощался не съ читателями, не съ Россіей, не съ своей собственной жизнью даже, а съ жизнью вообще, жизнью всего живого, что когда-либо страдало и радовалось на земль. Въ лучшемъ изъ этихъ стихотвореній земля представлиется ему уже мертвой, замерзшей глыбой льда, безучно и безправно несущейся въ безконечномъ пространствр. Все молчить; ни звука надъ этой могилой человъчества, и какимъ-то грознымъ щепотомъ разговаривають между собою одив горы. И эти горы торжествують свою победу. Теперь оне спокойны. Люди надобдали имъ, надобдали своими криками, плачемъ, смехомъ, своей неугомонною деятельностью. Такія маленькія и въ то же время исполненныя такого самомнічнія существа! Вообразили себф, что земля создана для нихъ и распоряжались на ней, какъ господа, какъ цари! Но — теперь хорошо. Въчное молчаніе могилы, вваное сіяніе льда, вваный холодъ... И съ такой философіей и вивств съ какимъ-то робкимъ полупризнаніемъ чего-то таниственнаго, мистическаго въ жизни, что онъ выразилъ въ своихъ предсмертныхъ разсказахъ "Песнь торжествующей любви" и "Клара Миличъ"—Тургеневъ ушелъ въ могилу. Философія отчаянія, конечно, и отчаянія не протестующаго даже,

Digitized by Google

а какъ бы примирившающагося съ тъмъ, что выхода—нътъ! Какое-то предсмертное равнодушіе—но, повторяю, эта философія всегда, даже въ годы юности была у Тургенева, какъ была она у всъхъ художественныхъ натуръ сороковыхъ годовъ... И не казались ли имъ нъсколько смъшными угловатые и взвинченные гражданскіе мотивы слъдующаго покольнія, а если не самые мотивы, то, по крайней мъръ, тотъ фанатизмъ, та любовь и ненависть, та непримиримость, которая влагалась въ нихъ?.. Этого, какъ все испытавшіе и пресыщенные баре, они не понимали...

А. И. Герценъ (1812 — 1870). Получивши для своего альманаха интермедію къ роману "Кто виновать", Бълинскій писаль Воткину: "Я изъ нея окончательно убъдидся, что Герценъ большой человъкъ въ нашей литературъ, а не диллетантъ, не партизанъ, не навздникъ отъ нечего дълать. Онъ не поэть — объ этомъ смешно и толковать: но ведь и Вольтеръ не быль поэть не только въ Генріадъ, но и въ Кандидъ, поднако, его Кандидъ потягается въ долговъчности со многими великими художественными созданіями, а многія невеликія онъ уже пережиль и еще переживеть ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходить въ талантъ, въ творческую фантазію, — и потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно, огромно умем, а какъ люди, ограничены и чуть не глупы (Пушкинъ, Гоголь). У Герцена, какъ у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наобороть, чувства ушли въ умъ, осердеченный и согрътый гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ, не вываженнымъ, а присущимъ его натуръ. У него страшно много ума, такъ много, что я н не знаю, зачемъ его столько одному человеку".

На мой взглядъ, въ этой коротенькой и, въ сущности, случайной характеристикъ каждое слово на своемъ мъстъ и каждое имъетъ огромное значеніе. Это ничего, что Бълинскій видълъ лишь часть литературной дъятельности Герцена и притомъ, несомивнио, часть слабъйшую по сравненію съ другой, опредълившейся лишь послѣ европейской катастрофы 1848 года: онъ обладалъ великой и цѣнной способностью угадыванія. И онъ угадалъ Герцена по немногимъ, хотя и крупнымъ намекамъ, далъ ключъ къ пониманію его творчества, "подчиненнаго уму и просвътленнаго имъ", даже и не подозрѣвая, какую злую и трагическую шутку сыграетъ это "страшно много ума" въ жизни знаменитаго эмигранта. Проницательная, скептическая мысль, сознаніе, ясное до предвидѣнія, неподкупный, мучительный анализъ, ежеминутно готовый обратить свое орудіе даже про-

тивъ самого себя—на самовъ дълв первое, что бросается въ глаза, при чтеніи Герцена. Припоминте, какъ ръзко и ръшительно предсказаль онъ круппеніе европейскихъ надеждъ 1848 года, хотя большинство еще носнлось съ своими мечтами. Свою знаменитую фразу: "теперь, графъ Бисмаркъ, ваше дъло, пожалуйте", Герценъ написалъ еще до Садовой—н въ это время для него была ясна не только неизбъжность борьбы Германіи съ Франціей, но и побъда первой. Онъ никогда, ни на минуту не върилъ въ успъхъ польскаго дъла 1863 года и прекрасно сознавалъ, чъмъ оно могло и должно было окончиться.

Никто, какъ онъ, не видълъ такъ ясно все безсиліе европейской эмиграціи 50-хъ годовъ, хотя онъ самъ находился въ центрв ея, а Гарибальди, Мадзини и Кошутъ были еще живы и полны, если не надеждъ, то силъ. Онъ не умълъ подчиняться ни обману, ни самообольщенію, хотя бы на одинъ день или даже минуту. Онъ первый понялъ, что послъ 63-го года его роль въ Россіп сыграна, что никакими усиліями не удастся вернуть "Колоколу" его прежняго положенія, и приневолилъ себя уйти почти псключительно въ свои воспоминанія—обстоятельство, счастливое для литературы, обогатившейся такою удивительною вещью, какъ "Былое и думы", не далеко не особенио счастливое для него самого.

Да, это быль огромный умъ. Его способность провидънія приводить въ положительное изумленіе даже покойнаго Страхова, и это совершенно понятно, потому что надо перенестись въ обстановку 60-хъ годовъ, въ эту сумятицу международныхъ отношеній, припоминть обаяніе Наполеона III-го, никому невидный и незамітный рость Пруссіи, чтобы по достоинству оцібнить проникновенныя слова "теперь, графъ Бисмаркъ, ваше діло", въ которыхъ высказанъ смертный приговоръ второй имперін.

Но въ тоже время это чисто-русскій умъ, несмотря на полунѣмецкое происхожденіе Герцена, — умъ, не знающій предѣла своей скептической работь, стоящій насторож протпвъ всякой иллюзіп, вдохновенно работающій лишь при голось совысти. Это умъ безъ традицій, безъ исторических догматовъ, безъ тын предразсудковъ и самообольщенія, подавленный своимъ могуществомъ, органической невозможностью остановиться на чемъ-нибудь положительномъ въ окружающей жизни. Какъ хорошо идетъ къ нему—хотя, какъ скоро увидимъ, не покрываеть его извъстиая характеристика Чаалаева:

"Посмотрите вокругъ себя. Все (у насъ), какъ будто, на ходу. Мы вск, какъ будто, странники. Нътъ ни у кого сферы опредъленнаго существованія... Нътъ ничего, что бы привязывало, что бы пробуждало ваши сочувствія, расположенія, ничего постояннаго, непремъннаго: все проходитъ, все протежаетъ, не оставляя слъдовъ ни на внъшности, ни на васъ самихъ".

На этой-то почев вырось и развился Герценъ. Сынъ родовитаго барина, онъ однако не могъ чувствовать особеннаго уваженія къ портретамъ предковь уже потому, что онъ былъ незаконнорожденнымъ п еще ребенкомъ презрительно называлъ генеалогію зоологіей, а генеалогическія таблицы — зоологическими. Главный устой жизни того времени, крипостное • право стило ему несносно и отвратительно съ двенадцатилетняго возраста, котя деревенскіе ужасы были знакомы ему лишь по наслышкі. 17-літинмы мальчикомъ онъ поступилъ въ московскій университеть, и начались годы чисто-абстрактнаго восторга передъ сенъ-симонизмомъ, затъмъ годы ссылки въ Вятку, въ Новгородъ и службы въ губерискомъ правленіи. Разумфется, все время онъ чувствуетъ себя совершенно чуждымъ провинціальному обществу и, телько возвратившись въ Москву, онъ поступаеть въ самый центръ пителлигентной жизни. Но и это длится немного лътъ 1840 — 1846. Его скоро начинаеть тянуть за границу подальше отъ въждиваго Дуббельта и всемогущаго III-го отделенія. Онъ радостно переважаеть заставу, жадно вдыхаеть въ себя европейскій воздухъ, долго не можеть повърить, что онъ въ Парижъ, потомъ въ Ремъ, что онъ видить около себя взволнованныя толпы народа, слышить высокія, звучныя фразы. Увы, фразы скоро замолкян, и бъдный Герценъ, безповоротно загубившій свою репутацію въ 1848 г., обращается въ візнаго странняка, держать котораго боится Швейцарія, котораго гонить отъ себя Франція. Онъ не смітеть показаться ни въ Италіи, ни въ Австро-Венгріи, одна Англія не отказываеть ему въ пріють. О возвращеній въ Россію онъ уже и не думаеть.

Исторія на самомъ ділів не завівщала ему ни одной традицій, которая была бы для него привычкой, ни одного воспоминанія, которое бы сділалось для него пистинктомъ. Все завівщанное прошлымъ было отвратительно до послідней степени, потому что это завівщаніе исчерпывалось рабствомъ, ложью, низкопоклонствомъ. Исторія начиналась для него дійствительно со вчерашняго дня—съ реформы Петра Великаго, она вся была въ будущемъ, но и въ это будущее вірилось плохо. И онъ всю жизнь былъ странинкомъ — и въ домі родного отца, съ которымъ не чувствобаль никакой связи, и въ университетъ, такъ какъ что же общаго между теоріей Сенъ-Симона и практикой николаевской эпохи, и въ провинцій, гді всі люди представлялись ему помішанными, и потомъ за границей, гді Наполеонъ ІІІ преслідоваль его, какъ Дуббельть, а Швейцарія віжливо просила освободить ее оть "весьма лестнаго при иныхъ обстоятельствахъ въ ней пребыванія"...

Представьте себ'є теперь могучій, пытливый умъ въ такой странной обстановк'є, гд'є все воспитывало ненависть въ прошлому и отвращеніе къ окружающему, гд'є на каждомъ шагу беззаконно и беззастівнупво подавля-

лось самое святое для Герцена свобода человъческой личности и ея достоинство, подавлялось и кръпостнымъ правомъ, и чиновничьниъ произволомъ, и всякими случайностями, — гдъ все, казавшееся прекраснымъ в благороднымъ, быстро погрязало въ пошлости, лицемъріи и предательствъ, — жизнь тижелую и утомительную, надъ которой лишь въ недосягаемой высотъ, блъдными призраками, ръяли чудные завъты свободы и братства, и вы поймете то разочарованіс, ту усталь, въ которую онъ долженъ былъ впасть.

Но до крушенія февральской революціи, до страшныхъ іюньскихъ дней, подвиговъ Кавеньяка, торжества Наполеона, у Герцена была еще радостная въра въ "Западъ и его могучую мысль". Отраженнымъ свътомъ эта въра падала и на русскую жизнь. Критикуя впоследствін славянофиловъ, онъ говорилъ: "Ихъ ошибка состояла въ томъ, что имъ кажется, будто Россія нивла когда-то свойственное ей развитіе, затемненное разными событіями и наконецъ петербургскимъ періодомъ. Россія никогда не имъла этого развитія и не могла вивть. То, что приходить къ сознанію у насъ, то, что начинается въ мысли, въ предчувствін, то, что существуєть безсознательно въ крестьянской изов и на полв — то теперь только всходить на пажитяхъ исторіи, утучненныхъ кровью, слезами и потомъ двадцати поколеній. Это основы нашего быта не воспоминанія, это живыя стихін, существующія не въ літописихъ, а въ настоящемъ, но оні только упітальн подъ труднымъ историческимъ вырабатываніемъ государственнаго единства и подъ государственнымъ гнетомъ только сохранились, но не развились. Я даже совить ваюсь, нашлись ли бы внутреннія силы для ихъ развитія безъ петровскаго періода, періода европейскаго образованія. Непосредственныхъ основъ было недостаточно. Въ Индін теперь испоконъ въка существуетъ сельская община, очень сходная съ нашей и основанная на раздёлё полей, однако индейцы съ ней недалеко ушли. Одна мощная мысль Запада, къ которой примыкаеть вся исторія его, въ состояніи оплодотворить зародыши, дремлющіе въ патріархальномъ быту славянскомъ."

Только въ самыхъ общихъ чертахъ, только откладывая осуществленіе мечты все дальше на въка и покольнія, пораженный въ то же время ужасомъ и отвращеніемъ къ тому, что дълалось въ Европъ его дней, Герценъ сохранилъ въру въ могучую мысль Запада до конца. Но эта въра не имъла уже въ себъ ничего радостнаго, торжествующаго, это было скоръе умственное обязательство— ничтожный кристаллъ, осъвшій среди постоянныхъ разочарованій и напряженной скептической работы. Эта въра не питалась ничътъ конкретнымъ, жизненнымъ, въ ней не было уже яркихъ красокъ вдохновенія. Вокругъ все противоръчило ей, все было ей враждебно. Оттого-то жалобы, стоны все чаще начинаютъ вырываться у

Герцена, какая-то безнадежная грусть слышится въ его словахъ, становится его господствующить настроеніемъ, а попрежнему могучій, но уже значительно озлобленный умъ непрестанными усиліями подтачиваетъ посл'яднія основы жизни...

Это серьезная, мучительная драма. Рядомъ съ скептическимъ, безстрашнымъ умомъ, такъ легко освободившимся отъ преданій и зав'ятовъ "несуществующей русской старины" --- уможь, начавшимъ свою работу, безъ воспоминаній о вчерашнемъ днъ, безъ инстинктовъ, безъ преградъ, поставленныхъ жизнью и исторіей, а въ дии юности радостно принимавшимъ всъ выводы "свиръпой имманенцін", чего бы они ни касались: Бога, религін, допетровской старины, русской общественности, — Герценъ обладаль въ высшей степени живымъ, даже страстнымъ темпераментомъ, который не позволяль ему ни на минуту оставаться на м'есте, въ покое, постоянно толкаль его въ самую свалку жизни и делаль его агитаторомъ, хотя для такой роли онъ былъ слишкомъ мало фанатикъ и слишкомъ много скептикъ. Его радовала борьба, онъ упивался ея атносферой, онъ любилъ ее и вдохновенную, и напрягающую вст силы человтка. Въ видт спора онъ любиль борьбу еще въ д'ятские и университетские годы. Онъ прив'ятствовалъ ее въ знаменитомъ споръ западниковъ и славянофиловъ, въ статьяхъ Бълинскаго, въ лекціяхъ Грановскаго, а еще раньше въ знаменитомъ "Философическомъ письмъ" Чавдаева, онъ отправился искать ее на Западъ, со всемъ увлечениемъ примкнулъ къ ней въ начале шестидесятыхъ годовъ, --- но все это оказалось одними иллюзіями, случайными порывами въ далекое будущее. Сомн'янія, анализъ, этотъ тревожный, в'ячно д'явтельный анализъ заполчалъ на минуту, чтобы сейчасъ же наверстать потеряннос, обнаружить факты жизни и ея основы во всей ихъ уродливости, облить ядомъ провін' мгновенный восторгь. Приходилось замыкать себя на ключъ, слушать "дикія бредни" эмпгрантовъ, мучительно сознавать свое безсиліе, а темпераменть, эта основа жизни, не даваль покоя и, застоявшись, не находя себъ исхода, осаждался въ безконечную грусть, въ уныніе, въ разочарованность... "Сядемте съ вами на корабль, будемъ переплывать оксанъ, будемъ всегда наготовъ помочь тъмъ, кто борется за свободу", -- говорилъ какъ-то Гарибальди Герцену. Онъ могъ лишь улыбнуться тоскливо въ ответъ, -- нетъ свободы въ жизни, есть дело А. И. Герцена, дворянина"-въ рукахъ Дуббельта, въ канцелярін Наполеона, десятокъ другихъ въ Пруссін, Австрін, Италін, Швейцарін. Н'єть свободы въ жизви и пе можеть быть ея пока, потому что "теперь, графъ Висмаркъ, ваше дъло"...

Въ удивительномъ п въ высшей степени своеобразномъ стилъ Герцена вы ясно видите отражение этой постоянной, глухой борьбы между пылкимъ, дъятельнымъ темпераментомъ и скептическимъ умомъ—гораздо менъе склон-

нымъ къ добродушной насмешке, чемъ къ злой ироніи. Ничего подобнаго стилю Герцена русская литература не знаетъ: онъ самъ по себъ. Если хотите, онъ до последней степени небреженъ, его слова, языкъ--- не правиленъ, тугъ немало нъмецкихъ оборотовъ ръчи и англійской краткости. Герценъ пишеть до невозможности сжато: безъ всякаго особеннаго труда вы можете распространить каждую его фразу на десятокъ. Отгого-то у него такое пристрастіе ко всевозможнымъ причастіямъ, депричастіямъ и вводнымъ предложениямъ. Онъ положительно скупъ на точки. Онъ нагромождаеть одинъ эпитеть на другой, и каждый его эпитеть цълая мысль. Возьмите хотя бы начало его знаменитой характеристики славянофильства: "Славянофильство, --- пишеть онъ, --- или руссициямъ, не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе, какъ противодъйствие исключительно иностранному вліянію, существовало сс времени обрятія первой оороды Петромъ Великимъ"... Такъ по-русски ни до, ни послъ Герцена не писалъ никто: это почти сжатость Тацита, это въ немногихъ словахъ сконцентрированная мысль, даже цълый рядъ мыслей, это меткій намекь на целую доктрину, о которой вы получаете однако яркое представленіе, благодаря такимъ эпитетамъ, какъ "оскорбленное народное чувство", "темное воспоминаніе". Вы сразу видите, что Герцевъ признаетъ законность славянофпльства, какъ возстанія противъ обиды и оскорбленія, и осуждаєть его, какъ темное воспоминаніе, какъ стихійный инстинкть. И этимь сжатымь, своеобразнымь стплемь, въ которомъ вы не найдете ни одного непродуманнаго слова, гдв каждый эпитеть говорить вамъ объ огромной вдумчивости, объ огромномъ запасъ чувства, потраченнаго на процессъ мысли, написаны целые томы, начиная "Съ того берега" и кончая последнею страницею "Вылого и думъ". Именно, много чувства, но чувства сконцентрированнаго, сдержаннаго, много порабощенной страсти слышится въ каждой фразъ Герцена. Конечно, поэтому-то онъ-эти фразы производять такое неотразимое впечатление. И когда онъ порою даеть полный просторъ тому, что у него въдушв-свеей обидъ, горечи, -- это чувство вырывается наружу, разбиваясь то на безчисленныя брызги желчной неподражаемой ироніи — настоящей ироніи Свифта, предлагавшаго когда-то поджаривать ирландскихъ ребятишекъ, чтобы они не умирали съ голоду--или гордаго вызова грубому и безпощадному насилію жизни, --- или безконечной ніжности, при грустных воспоминаніяхъ о любимомъ п утерянномъ въ жизни. Вся гамма чувствъ была доступна Герцену, и онъ превосходно приспособилъ къ ней свой стиль, всегда готовый ко всякимъ неожиданнымъ переходамъ, гдв умъ всегда сторожить чувство, гдт итжность сменяется гитвомъ. Совершенно невольно, но какъ нельзя бол'е кстати, вспоминается при этомъ фраза изъ

Digitized by Google

приведенной выше характеристики Бълпискаго: "умъ Герцена—осердеченный и согрътый гуманистическимъ направлениемъ, но не привитымъ извиъ, а присущимъ его натуръ".

Рядомъ съ этимъ, во всемъ, что вышло изъ-подъ пера Герцена, вы чувствуете какое-то особенное благородство, даже аристократизмъ, пожалуй, которые производять на вась сильное и серьезное впечатление. Вы не можете не замътить совершенно инстинктивной и невольной боязни передъ общими мъстами, избитыми фразами, всяческой банальностью. Онъ говоритъ только о томъ, что глубоко затронуло его, и уметь передать вамъ глубину своего настроенія. Это благородство стиля совсемъ не французское даже, за которымъ можеть скрываться плачевная пустота, это даже гораздо больше чемъ порядочность, --- это своеобразное рыцарство духа, органически отвращающееся отъ всего пошлаго и низменнаго, темъ болве низкаго: это высшая красота огромнаго ума, которая не нуждается ни въ какомъ крикливомъ нарядъ, ни въ какихъ побрякушкахъ, ни въ какой вычурности. Вы должны всмотреться въ нее, чтобы оценить всю почти сверхчеловъческую правильность формъ и линій, чтобы почувствовать у себя на душт отражение этой гармонии. Оттого-то, быть можеть, Герценъ и пользовался такъ осторожно своей ироніей, отгого-то его озлобленіе и разръшалось всегда раздумьемъ. Да, благородство, сдержанность, еще лучше англійское reserve-это слова, которыя удачиве другихъ характеризують стиль Герцена. И здісь, конечно, рыцарскій стиль только отражаеть рыцарскій духъ. Я напочню читателю навъстную параллель, сделанную Герценомъ ("Къ вопросу объ историческомъ развитіи чести" и "Западныя арабески") нежду рыцарень и мещаниномь, где первому отдается полное предпочтеніе, хотя онъ страшный нев'єжда, "драчунъ", "бреттеръ, и разбойникъ и монахъ, пьяница и пістистъ" по сравненію со вторымъ, этимъ "истертымъ и промежуточнымъ лицомъ". Рыцарь былъ больше "онъ самъ", больше "лицо", быль всегда открыть и откровенень-и этого совершенно достаточно, чтобы поставить его безконечно выше современнаго буржуа, отяжельнияго въ своей полезной добродьтели. Я помню далье извъстный разсказъ о пребываніи Гарибальди въ Лондонъ, когда министры мъщанской Англін постарались внушить знаменитому революціонеру, что его драгодънное здоровье очень разстроено, - что, конечно, они въ восторгъ отъ лестнаго его пребыванія въ портахъ острова, но опасаются, какъ бы сырой климать не повредиль, и т. д. и т. д. — говориль Гладстонъ. Надо перечесть этотъ разсказъ, надо вникнуть въ этотъ тонъ сдержаннаго негодованія, чтобы понять, съ какой силой ненавидёль и презираль Герценъ эти экивоки, это лицентріе, эту диплонатическую ложь. Быть открытымъ и откровеннымъ все время и до конца, -- это быль девизъ его жизни и его стиля. Онъ не задумался порвать съ Грановскимъ на долгіе годы, послъ того какъ тотъ, въ значительной степени обмосквившійся, попросилъ, и притомъ ръзко и раздражительно, не затрогивать нъкоторыхъ вопросовъ. Герценъ сразу понялъ, что произошло въ этой маленькой сценъ, и что образовавшейся трещины не заполнить ни дружескими словами, ни визитами. Благородная прямота — лучшее украшеніе его характера и лучшее же украшеніе—его стиль.

Стель этотъ порою, благодаря изумительному сочетанію раздумья и нронін, капризовъ чувства и глубокой прозрачной мысли, достигаеть неожиданныхъ и даже грандіозныхъ эффектовъ. Казалось бы, какъ легко затеряться въ этомъ рядь фразъ, періодовъ, такъ мало связанныхъ между собою и проникнутыхъ такимъ разнообразнымъ настроеніемъ. Но въ томъто и заключается могущество таланта Герцена, что онъ заставляеть васъ, и не поверхностно какъ-нибудь, а действительно глубоко, какой-нибудь дюжнной словъ пережеть цёлую гамму чувствъ, вызывая ихъ иногда одними эпитетами и намеками. Когда вы встречаете подобную страницу, вы видите ясно, что она можеть принадлежать только великому писателю и мало того — человъку, когорый много испыталъ и много поречувствовалъ, -- человъку, который имълъ полное право сказать о себъ: "жизнь учить насъ годами лишеній, мукъ и горя"... Еще одно замѣчаніе: такой стиль, какъ стиль Герцена, очевидно, можеть принадлежать только действительно чуткому человъку, способному глубоко любить, глубоко ненавидъть и глубоко негодовать. И конечно, это негодование было у Герцена особенно въ техъ случаяхъ, когда насиліе или лицемтріе затрогивали то, что онъ считалъ за святое святыхъ нашей жизни — свободу человъческой личности. Малейшее посягательство на нее бросало его въ дрожь, и эта дрожь всего организма слышна въ слоге его. Въ последнихъ своихъ пропзведеніяхъ Герценъ выростаеть до размітровь Вайрона. Та же тоска и тоть же сарказив въ его фразъ, та же печаль, любовь и негодование въ его настроенін, та же грусть на гордой и холодной высотв одиночества, та же инлая детская улыбка рядомъ со словомъ проклятія и неверія. И тотъ же стпль, всегда свободный и могучій, несмотря на уныніе, близкое къ отчалнію...

Литературнан дівятельность Герцена въ Россіи псчерпывается собственно сліждующими крупными произведеніями: "Письмами объ изученій природы", "Письмами о дилетантизмів и буддизмів", романомъ "Кто виновать", "Записками мологого человівка", "Еще изъ записокъ молодого человівка", "Записками доктора Крупова", "Сорокой Воровкой" и "Письмами изъ Avenue Marigny" и немногими другими. Были мелкія публицистическія работы, напримівръ, письма изъ Москвы о лекціяхъ Грановскаго, полемика съ славянофилами и т. д., — но эти мелкія публяцистическія работы яснаго представленія о настоящемъ Герценъ намъ пе дають. Настоящій Герценъ весь въ "Письмахъ о дилентантизмъ", въ "Запискахъ Крупова", въ его романъ. Сопоставляя эти вещи, вы видите уже ту роковую борьбу, которая происходила въ душть знаменитаго писателя въ теченіе всей его жизни — борьбу между страстной върой въ силу знанія, въ конечное горжество справедливости, въ возможность полной перестройки жизни при помощи положительной науки и смутнымъ въ то время, но уже глубокимъ скептицизмомъ, видъвшемъ порою въ жизни торжество какой-то темной и безсмысленной силы. Сначала о въръ.

Въ своихъ философскихъ статьяхъ Герценъ ставитъ вопросъ: почему наука не можетъ водворить счастья на землъ? Казалось бы, для этого въ ея распоряжении всъ средства; къ тому же, если ложь человъческаго существования и ея непримиренныя противоръчия ведутъ къ враждъ, гибели, мученичеству, то очевидно, что наука, какъ истина, не можетъ не вести къ торжеству справедливости и любви. Почему же этого нътъ? Виновата, конечно, не наука, виноваты прежде всего и только сами люди, которые не умъютъ и не знаютъ, какъ относиться къ этому сокровнщу.

Онъ близко подходить къ этому вопросу уже въ "Письмахъ объ изученій природы". Въ этой крупной работь (стр. 34—300 II-го тома) онъ разсматриваеть борьбу и соотношение между различными философскими системами, дълая ихъ основательное историческое обозрѣніе. Его сиълая юная мысль стремится здёсь къ высшему синтезу между идеализмомъ и реализмомъ, между философіей и естествознаніемъ. Онъ особенно недоволенъ разграниченіемъ, часто враждебнымъ, всегда різкимъ, этихъ двухъ последнихь областей мышленія. Естествознаніе сознательно ставить себе точку передъ пълымъ рядомъ вопросовъ, не обращая винманія "на голосъ вопіющаго разума, не умъющаго останавливаться на полдорогъ. -- голосъ самой naturae rerum, стремящейся вполне просветлеть въ мышленіи человечества". "Въроятно, вы замъчали, -- соворить Герценъ, -- съ какою поспъщностью естествоиспытатели предупреждають о предълахъ своего возорънія, какъ бы стращась услышать вопросы, на которые они ответить не могуть; но такого рода границы несостоятельны; поставленныя личной волей, онъ столько же визшие чужды предмету, сколько заборъ, поставленный правомъ собственности, чуждъ полю, на которомъ стоитъ. Цеховые натуралисты громко и смело говорять, что имъ дела нетъ до самыхъ естественныхъ и законныхъ требованій разума, что человіжь не должень заниматься тімь, чего нельзя разръшить"... "Кому нельзя? когда? почему? гдъ критеріумъ?—Наполеонъ считалъ пароходы невозможностью" -- съ страстнымъ возмущеніемъ замъчаетъ Герценъ и ппшетъ дальше: "Вольшею частью смълость (цеховыхъ

ученыхъ), полозрительна: она проистекаетъ или отъ ограниченности, или отъ дени... У неыхъ, однако, она имфетъ высшее начало для нихъ — это ложныя утещенія, которыми человекь хочеть отвести свои собственные глаза отъ зла, считаемаго неисправинымъ. По несчастію, вопросамъ такого рода нельзя навязать каменьевъ на шею и бросить ихъ въ воду и потомъ забыть о нихъ: они какъ упрекъ совъсти, какъ тень Банко, мещають наслаждаться пиромъ опытовъ, открытій, сознаніемъ истинныхъ и прекрасныхъ заслугъ, напоминая, что нътъ полнаго успъха, что предметъ не побъжденъ... Въ самомъ дълъ, неужели можно успоконтся на предположении невозможности знанія? Туть челов'єку науки остановиться и забыть такъ же не подъ сплу, какъ скупому стяжателю знать о кладъ, зарытомъ на его дворъ, и не искать его"... Изъ этихъ строкъ совершенно ясно видно какъ Герценъ относился къ позитивизму. Очевидно, что идея научной философіи, въдающей смыслъ и связь всъхъ явленій жизни, всъхъ данныхъ добытыхъ опытомъ была уже ясна ему. "Правильно развиваясь, эмпирія (опыть) должна перейти въ спекуляцію и только то умозр'вніс не будеть пустымъ идеализмомъ, которое основано на опытъ". Отсюда---необходимость высшаго синтеза, "Нътъ ни малъйшаго сомнънія, что умозръніе и эмпирія равно виноваты во взяимномъ непониманіи... И философія, и естествов'ядівніе выросли изъ временнаго антагонизма своего, имъють всъ средства въ рукахъ понять, откуда онъ вышель и въ чемъ состоить его историческая необходимость-одно только унаследованное чувство вражды можеть поддерживать обветшалыя и жалкія взаниныя обвиненія. Имъ надобно объясниться во что бы то ни стало, понять разъ навсегда свое отношеніе"... "Что туть за мъстинчество? Наука одна; двухъ наукъ нътъ, какъ нътъ двухъ вселенныхъ; споконъ въка сравнивали науку съ вътвящимся деревомъ-сходство чрезвычайно верное; каждая ветвь дерева, даже каждая почка ниветь свою относительную самобытность; ихъ можно принять за особыя растенія; но совокупность ихъ принадлежить одному целому, живому растенію этихъ растеній — дереву; отнимите вітви — останется мертвый пень, отнимите стволь—вётви распадутся. Всё отрасли вёдёнія имеють самобытность, замкнутость, но въ нихъ непремънно вошло нъчто давное, впередъ идущее, не ими узаконенное. Они только органы, принадлежащие одному существу, отдълите органъ отъ организма и онъ перестанеть быть проводникомъ жизни, сдълается мертвою вещью: н организмъ, въ свою очередь лишенный органовъ, сдълается искаженнымъ трупомъ, кучею частицъ... Смерть и гніеніе трупа-полное освобождение частей ...

Наука должна отдълаться отъ метафизическихъ бредней, отъ тьмы тьмущей спеціальностей (кромъ технической своей части) и въ такомъ только случать она станетъ доступной всёмъ людямъ и будетъ въ состояніи потребовать голоса во всёхъ дёлахъ жизни. Это возможно и достижимо. Герценъ мечтаетъ о полной демократизаціи науки, потому что нётъ "мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особевно въ ея діалектическомъ развитіи".

Въ одинъ радостный для человъчества день, наука отпразднуетъ свое бракосочетание съ жизнью. Но для этого должны предварительно исчезнуть и *цеховые ученые*, замкнувшиеся въ отдъльной вътви какой-инбудь специальной науки.—и диплетанты, смотрящие на жизнь въ телескопъ, и буддисты, которыхъ калачомъ не заманишь въ миръ дъйствительности: такъ имъ хорошо и почетно въ миръ отвлеченностей.

Идея научной философіи, борьба съ духомъ спеціализаціи и цехового самодовольства; мечта о наукт какт общемт достоянін, отрицаніе всякихт абстракцій и сущностей-въ чемъ трудно не видъть вліянія фейербаховской философія, требованіе переработать д'яйствительность и привести ее въ согласіе съ разумомъ, единой истинной наукой и нравственнымъ чувствомъ человъка и въра въ возможность осуществленія этой грандіозной задачивоть Герценъ въ большинствъ своихъ статей до рубежа его жизникраха февральской революціи и романтическихъ надеждъ Европы. Рядомъ съ этимъ боевое отношение къ факту действительности, исполненная печали насмъшка надъ глупостью, самодовольствомъ и пошлостью техъ, кто распоряжается жизнью, имъетъ власть надъ нею, пользуется ея привилегіями, -- тынь мысли, что человычество неизлычию и неисправиио и яркій свъть въры въ скорое грядущее возрождение... Стремись къ полнотъ научнаго знанія, никогда не мирись съ действительностью и ея зломъ, умей бороться и даже погибнуть, но не лгп никогда ни передъ собой, ни передъ требованіями высшей истины. Это-правственная сторона пропов'єди Герцена.

Не разрѣшивъ безусловно поставленныхъ вопросовъ, Герценъ тѣмъ не менѣе сдѣлалъ очень много: роль его статей и статей Бѣлинскаго въ области публицистическаго мышленія такая же, какъ Пушкина въ области художественнаго творчества. Пушкинъ былъ первымъ реалистомъ, первымъ, который умѣлъ вдохновляться дѣйствительностью. Герценъ и Бѣлинскій были первыми истинными реалистами, первыми, которые признали практическую дѣйствительную жизнь за необходимый элементъ мышленія, которые потребовали отвътственности передъ обществомъ отъ жрецовъ искусства и наукп.

Именно этой стороной своего міросозерцанія Герценъ оказалъ наибольшее вліяніе на своихъ современниковъ. Онъ удачно развязаль путы гегельской философіи, стъснявшія иногихъ и прежде всего, конечно, Бълинскаго. Въ его статьяхъ звучалъ бодрый призывъ къ работъ, къ борьов со зломъ, къ водворенію правды въ человъческихъ отношеніяхъ. Онъ былъ противъ всякаго примиренія и противъ буддизма, уходившаго отъ двиствительности, и противъ дилетантизма, отворачивавшагося отъ нея.

Статьи Герцена пользовались успёхомъ, ими зачитывались. Въ нихъ было что-то новое, вёяло новымъ духомъ точной науки, положительнаго знанія, общественныхъ преобразованій, которыя должны явиться, разъ наука войдеть въ жизнь. Выло и самое дорогое для русскаго читателя — нравственная проповёдь, хотя, разумется, въ тонъ проповёдника Герценъ не впадаль никогда. Но онъ, очевидно, требовалъ отъ всякаго, чтобы тотъ, какъ первое элементарное условіе нравственности, защищалъ отъ жизненной лжи, лицемерія и насилія то единственное несомнённое, что есть — "человеческую личность" и ея достоинство. Ни тёни метафизическихъ уклеченій, уже набившихъ оскомину. Никакихъ отвлеченностей, взятыхъ у Гегеля или Шеллинга: все просто и ясно, все подчинено одному верховному принципу: наша общественная жизнь есть ложь; только наука можеть и должна водворить истину вмёсто этой лжи. Но гдё же взять эту науку? Конечно, на Западё, старшемъ годами и мудростью, и Герценъ преклонялся передъ мощной мыслью Запада.

Но быль ли онь действительно западникомь? Это очень трудный вопросъ. Если вы соберете воедину его работы того времени, его письма и разговоры, его корреспонденціи, мелкія публицистическія статьи, его насифики надъ славянофилами---надъ "Маякомъ" и "Москвитяниномъ", Погодинымъ и Шевыревымъ, вспомните о его дружбъ съ Бълинскимъ и Грановскимъ---вы должны будете признать въ немъ истинааго западника. Потому что для Россіи онъ видъль одинь выходъ — въ свропейской наукъ, европейской мысли. Но въ то же время что-то тянуло его къ славянофильству. это "что-то", опредълившееся гораздо позже, лишь въ началъ 60-ыхъ годовъ. Ненависти къ славянофильству онъ во всякомъ случав не чувствовалъ. Онъ, баринъ, не мого оборвать съ славянами такъ резко и сразу, какъ Вълнскій (за что и слышаль постоянно упреки оть последняго), его насившки добродушны, $u\partial e \pi$ славянофильства, очевидно, смущаеть его, притягиваеть къ себъ. Онъ расправляется съ нею совершенно свободно, когда она является передъ немъ въ виде воспринятой Шевыревымъ и Погодинымъ формулы оффиціальнаго руссофильства, но мистическія, вдохновенныя рвчи Аксакова и Хомякова, очевидно, заразили его. Онъ колебался, двонлся, онъ дупаль о примиреніи двухъ лагерей, примиреніи, которое тоть же Вълинскій, напр., считаль совершенно невозможнымъ, заявляя: "я жидъ по натуръ и сидъть за одникъ столомъ съ гоями не могу!" Повторяю --его смущала идея. На самомъ дълъ, чего хотъли славяне? Они хотъли исторически обосновать право русскаго народа и русскаго человъка на самостоятельное существованіе. Они хотьли узаконить его личность, его природу среди личности и природы другихъ національностей. Они хотьли показать, что русскіе — славяне не случайные гости всемірной исторіи, не безплатное и обременительное приложеніе къ германсьому міру, а нѣчто "само по себь" сущее, съ своимъ прошлымъ, своимъ настоящимъ и будущимъ, своими задачами и своими же средствами для осуществленія этихъ задачъ. Пунктъ за пунктомъ старались они опровергнуть Чаадаева, который думалъ, что у насъ "ничего нѣтъ", что мы странники и бродяги исторіи, духовные босяки. И эта большая идея смущала Герцена, какъ мыслителя, привлекала къ себь какъ художника. Впослъдствіи, обрадованный первыми нашими реформами, онъ защищалъ ее въ "Колоколъ"; теперь — онъ больше склонялся на сгорону западничества, потому что оно объщало борьбу, науку...

Еще о его раздвоенія.

Этими философскими статьями все равно, какъ и случайными публицистическими работами, не только не исчерпывалась деятельность Герцена въ Россін, но, собственно говоря, онъ дають лишь половинчатое представленіе о немъ, какъ о человъкъ, "Върой въ торжество положительнаго знанія" не обманеть себя тоть, кто хорошо знасть натуру Герцена. Герценъ признаваль, конечно, въ далекое время, въ дни молодости и увлеченій, окончательную побъду добра надъ зломъ, но въ немъ всегда танлась мысль, что "никогда не исправится родъ человъческій", которую онъ прибавиль въ окончательной редакцін къ "Запискамъ Крупова". Рядомъ съ умомъ, поб'єдами науки, величіемъ разума и пр., онъ видёлъ въ жизни какую-то огромную н страшную силу, силу чисто стихійную, которая ведеть людей независнио отъ ихъ воли, даже противъ нея... куда — неизв'естно, толкаетъ ихъ на преступленія, кладеть въ основу на существованія ложь и неправду. Впоследствін онъ назваль эту силу — силой исторической необходимости и съ провлятіями, со скрежетомъ зубовнымъ призналъ ее первенствующей. Но онъ видълъ все могущество ея уже и въ дни молодости, выставилъ торжество ея въ "Запискахъ Крупова" и, въ своемъ романъ "Кто виноватъ". Туть на самомъ дълъ передъ вами гибель трехъ честивнимхъ и благороднъйшихъ людей, гибель совершенно безсиысленная, ничъиъ не оправданная, вызванная случайною встречей. Кто на самонь деле виновать въ гибели Крупиферскихъ и Бельтовыхъ? Недостатокъ образованія, дряхлость натуры, "отсутствіе раціональнаго бракоразводнаго законодательства"? Конечно, нътъ. Представьте себъ на самомъ дълъ, что Круциферская ушла бы къ своему возлюбленному Бельтову. Что же, кто-нибудь изъ троихъ сталъ бы счастливъ? Никогда и ни на минуту. Круциферскій одинаково спился бы, Лизу замучила бы совъсть, а Бельтовъ замучился бы муками Лизы. И

воть получается какой-то роковой кругь, изъ котораго исть и не можеть быть выхода. Виноваты очевидно "обстоятельства", т. е. что-то оть воли человъческой независящее, что-то стихійно необходимое, такъ сразу раздавившее трехъ людей. На вопросъ о виновник Герценъ не ответилъ, онъ въ то время и не могъ ответить на это такъ примо и ясно, какъ онъ привыкъ отвічать на всі имъже поставленные вопросы. Въ немъ, говорю я, боролись два начала, изъ которыхъ одно звало его къ борьбъ, вызывало въ немъ радостные и торжествующіе гимны наукі, прогрессу, человічеству, другое бросало въ объятія религін или вызывало полное разочарованіе, полное назведеніе человъка до нуля передъ огромной силой "всторін"... Въ концъ концовъ подъ старость, утомленный жизнью, виля вокругь себя один кресты надъ могилами жены, друзей, надъ мечтами и надеждами своей юности, онъ сказалъ: намъ остается смиреніе передъ наукой и истиной... А что если истина въ нашей гибели, а не въ конечномъ торжествъ "добра" надъ зломъ-что тогда? Тогда, говорилъ этотъ гордый духъ, ни разу въ жизни не преклонявшійся передъ кумиромъ, разрушавшій всь кумиры вплоть до кумира справедливости, кром'ь одного человъческаго достоинства--тогда остается то же смиреніе. Странно, безумно звучить это слово въ устахъ Герцена, но оно звучить; оно набросило грустную тень сумерокъ на все его воспоменанія; оно окрашиваеть каждую страницу его "Вылого и думъ", оно заставляетъ рыдать его чудное, геніальное перо... Неть выхода — неть, кроме того, куда поведеть исторія... И какъ онъ, агитаторъ и эмигрантъ, похожъ въ данномъ случав на славнаго русскаго барина Тургенева, подслушавшаго въ старости разговоръ между Юнгфрау и Финстерааргорномъ надъ замерзшей уже землею. Это родные братья по духу: у обонть -- нёть выхода! Это невольное раздвоеніе преследовало Герцена всю жизнь. Его страстный темпераменть, настоящій темпераментъ борца тянулъ его въ самую свалку жизни. Это было для него совершенно неизбъжно, потому что вокругъ него были факты, были явленія жизни, съ которыми онъ не могь мириться. Онъ не могь признать законной и справедливой ложь, въ какомъ бы красивомъ виде ни являлась она передъ нимъ, какими бы нерушимыми законами ни была она узаконена. Въ поддержку этому темпераменту являлась его въра въ науку, въ положительное знаніе, въ могучую мысль Запада, вера радостная и торжествующая. И онъ звалъ людей за собою — онъ, гордый, блестящій и в'врующій. Онъ ссорится съ Бълинскимъ, когда тотъ хочеть все оправдать, и со всемъ примприться, потому что знаетъ, что со всемъ мириться нельзя, ссорится съ Грановскимъ, когда тотъ отказывается слышать критику слишкомъ дорогихъ для него вещей, потому что знаетъ, что права критики неограничены... И въ то же самое время, въ его меланхолической барской

натур'є поднимается какой-то странный загробный голось пресыщенных покольній предковь и говорить ему, что все безполезно, что всь усилія людей ни къ чему, что — выхода ньть! Тогда онъ издаеть первую часть "Записокъ Крупова", "Кто ввновать", стараясь самъ разобраться въ этой мучительной раздвоенности. Такъ идеть діло до 1846 г., когда Герценъ побхаль за границу, гді все уже волновалось въ предчувствіи 48-го года и февральскихъ дней въ Парижь.

Онъ побхалъ, чтобы больше не возвращаться, и -странно-ему улыбнулись только первые дни пребыванія на Западъ. Страшно своро наступило новое разочарованіе, какое-то капризное даже и раздраженное, основанное на проницательности генія и, пожадуй, дітской наивности. Но, все равно, — разочарованіе наступило. Онъ думаль, что Западъ дасть ему то, чего недоставало дома-широкой и смілой общественной дізятельности. Онъ думалъ, и эту мечту раздъляло большинство современниковъ, что дюли Запада готовы стряхнуть съ себя всѣ цѣци и путы прошлаго и дружной семьей народовъ вступить въ новую жизнь. Онъ думаль, что еще одно усиліе- и отъ в'екового рабства не останется и следа. Первые дни онъ на все спотрелъ съ точки зренія этого ожиданія, и радостно волновалось его сердце. Однако буря промчалась, и наступнии дни возмездіяэти страшные іюньскіе дни, когда кровь лилась потокомъ, когда Кавеньякъ готовиль тронь Людовику Наполеону. Герцень поняль, что съ революціей кончено, что ея вътъ больше, что то "стихійное и грозное", о которомъ онъ писалъ въ своихъ "Запискахъ Крупова", въ своемъ "Кто виноватъ", выступило на сцену, и теперь человъкъ, даже тысячи людей безсильны передъ нимъ.

Онъ написалъ тогда книгу, одну изъ самыхъ грустныхъ книгъ, какую я только знаю во всемірной литературѣ.—Это Ат andern Ufer.—"Съ того берега" (1851 г.). Онъ разсказалъ намъ, на что вадѣялся, что видѣлъ и какъ странно разрѣшилось "грозное ожиданіе". Онъ не отказался ни отъ чего, никому не сдѣлалъ онъ уступки, прежніе враги его остались врагами, но онъ самъ съ какою-то грустью, какимъ-то печальнымъ недоумѣніемъ останавливается передъ той грозной силой, которой онъ не замѣчалъ раньше, силой чисто стихійной, прикрытой было блестящими фразами, заслоненной надеждами и вдругъ выступившей на сцену, чтобы разсѣять мечты, чтобы сказать свое грозное "veto" человъческимъ надеждамъ. Какая это сила, какъ назвать ее?—онъ не зналъ, но теперь только онъ почуялъ ея огромность, какъ будто эти пережитыя волненія вскрыли передъ нимъ гранитные слои, на которыхъ поконтся жизнь людей. И при видѣ ихъ мощи, обвѣянный и напуганный ихъ холодомъ, онъ отступилъ съ незалѣченной раной въ сердцѣ, съ обиднымъ сознаніемъ человѣческаго

безсилія. И онъ громко сказалъ, что революція кончена, и что систематическій правительственный терроръ вступаеть въ свои права. За эту чудную книгу, въ которой, быть можетъ, только та ошибка, что онъ хотель сказать въ ней всю правду, какъ будто вся правда доступна человеку, какъ будто въ лексиконъ человъчества есть слова всей правды, его прозвали чуть ди не предателемъ. Взволнованное чувство не улеглось еще, оно стало, напротивъ того, уже фанатичнъе, нетерпъливъе и каждую минуту прислушивалось, не раздастся ли набать, и всякій, кто прямо и откровенно говориль, что вечевой колоколь народовь замолеь, и это надолго, что еще вчера мы шли за бледными призраками ночи, могь показаться предателемъ. Но нътъ, онъ не былъ, никогда не былъ предателемъ: онъ былъ только проницательные другихъ. Его вина, если вообще тутъ есть вина въ томъ, что онъ слишкомъ откровенно признался въ своемъ утомлевін н разочарованім революціей, слишкомъ вслухъ это отмётиль и этимъ многихъ обидълъ. "Кинга твоя, — сказалъ ему по этому поводу Грановскій, — дошла до насъ. Я читалъ ее съ радостью, гордымъ чувствомъ. Но при всемъ томъ въ ней есть что-то усталое; ты стоишь слишкомъ одиноко и, можетъ, сделаешься великимъ писателемъ, но что было въ Россіи живого и симпатичнаго въ гвоемъ талантъ, какъ будто исчезло на чужой почвъ". Въ этой лучшей, быть можеть, книгь Герцена несомненно дучше всего сказалась и его капризная барская натура. Но въ то же время, сколько проницательности. Въ этой проницательности огромное проклятіе его жизни. Онъ виділь слишкомь много тамь, гді для душевнаго спокойствія, для красиваго самообиана, для увлеченія борьбой и идеей было бы лучше ровно ничего не видъть. Онъ видълъ пошлость подъ маской добродушія, безсиліе, прикрытое громкими фразами, трусость за смелыми, красивыми жестами, и полное презрѣніе къ труду и народамъ у тѣхъ, кто объявлялъ себя ихъ вождями. И въ грустномъ раздумы остановился онъ передъ этой странной и страшной картиной, поразившей его своею преданностью прошлому и мощью своего гранитнаго основанія. Съ прежней проницательностью, но уже руководимой недовировы и разочарованностью, онъ изучалъ западноевропейскую жизнь и "гегелевскаго бога, живущаго въ Берлинъ", и величайшаго изъ комиссаровъ полиціи, царившаго въ Парижъ, и все больше расходился съ ними, расходился-говорю я-и съ какимъ-то капризнымъ раздраженіемъ... Теперь онъ не жальеть уже мрачных красокъ. Мрачные юньскіе дни разовяли его ввру въ Европу, въ мощную мысль Запада. Что-то говорило ему, что и тутъ изтъ выхода, Я приведу изкоторыя изъ его капризныхъ европейскихъ впечатленій, но надо помнеть, что его оценка Европы-одънка разочарованнаго и начинавшаго уже уставать человъка, оттого-то она такъ одностороння, такъ узка, такъ прямолинейна наконецъ

Digitized by Google

несмотря на всю свою дъйствительно геніальную проникновенность. Вмъстъ съ послъднимъ взрывомъ романтическихъ страстей и героическихъ проектовъ обновленія, для него исчезла вся прелесть, все обаяніе западной жизни. Минута—и онъ готовъ былъ ставить надъ ней кресть, совсъмъ похерить ее, потому что вся она сосредоточилась для него въ мъщанинъ, мъщанствъ, потому что и въ 48-омъ году даже онъ не увидълъ ничего другого, кромъ парада политической романтики. Онъ не разсмотрълъ нъкоторыхъ мрачныхъ и сердитыхъ фигуръ, дополнявшихъ картину и не увидълъ, что эти мрачные и сердитые въ эти-то страшные дни поняли, и это уже навсегда, чего могутъ они ожидать отъ всъхъ этихъ шумныхъ и блестящихъ проектовъ единства народовъ, въчнаго мира, величія свободы и священныхъ правъ собственности. Мъщанинъ и мъщанство, и это уже навсегда, закрыли отъ него Европу.

И конечно, для него, благороднаго рыцаря и капризнаго барина, это ибщанство было особенно отвратительно. Но вотъ его слова:

"Рыцарская доблесть, изящество арпстократическихъ нравовъ, строгая чинность протестантовъ, гордая независимость англичанъ, роскошная жизнь итальянскихъ художниковъ, искрящійся умъ энциклопедистовъ и мрачная энергія террористовъ---все это переплавплось и переродилось въ целую совокупность другихъ господствующихъ нравовъ и вщанскихъ. Они составляють цълое, т. е. замкнутое, оконченное въ себъ воззръніе на жизнь, со своими преданіями и правилами, со своимъ добромъ и зломъ, со своими пріемами и со своей нравственностью низшаго порядка... Политическій вопросъ съ 1830 года делается исключительно мещанскимъ, и вековая борьба высказывается страстями и влеченіями господствующаго состоянія, жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось въ меняльныя лавочки и рынки-редакціи журналовъ, избирательныя собранія, камеры. Англичане до того привыкли все приводить къ лавочной номенклатуръ, что называють старую свою церковь--старая лавочка... Всв партів и оттенки мало-по-малу разделились въ мір'є м'єщанскомъ на два главные стана: съ одной стороны, мъщане-собственники, упорно отказывающіеся поступиться своими монополіями, съ другой-ненмущіе міжщане, которые хотять вырвать изъ рукъ достояніе, но не нивють силы, т. е., съ одной стороныскупость, съ другой - зависть. Такъ какъ действительно иравственнаго начала во всемъ этомъ нізть, то и мізсто лица въ той или другой сторовів определяется вившними условіями состоянія, — общественнаго положенія. Одна волна оппозиціи за другой достигаеть поб'єды, т. е. собственности нли м'вста, и естественно переходъ со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не можеть быть лучше, какъ качка парламентскихъ преній— она даеть движеніе и предёлы, даеть видъ дёла и форму общихъ интересовъ для достиженія своихъ личныхъ цёлей.

"Мѣщанскіе вопросы это, само мѣщанство—грозная, могучая сила. Подъ его вліяніемъ все перемѣнилось въ Европѣ. Рыцарская честь замѣнилась бухгалтерской честностью, изящные нравы—правами чинными, вѣжливость — чопорностью, гордость — обидчивостью, парки — огородами, дворцы — гостиницами, открытыми для всѣхъ, т. е. для всѣхъ имѣющихъ деньги.

"Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелье и невыносимье тамь, гдъ современное западное состояніе наибольше развито, тамь, гдъ оно върнье своимъ началамъ, гдъ оно богаче, т. е. промышленнъе. И воть отчего гдъ-нибудь въ Италіи или въ Испаніи не такъ невыносимо удушливо жить, какъ въ Англіи и во Франціи. И воть отчего горная бъдная сельская Швейцарія—единственный клочокъ Европы, въ который можно удалиться съ миромъ".

А туть еще преслѣдованія не столько мучительныя, сколько назойливыя, невозможность дѣйствительно гдѣ-нибудь основаться и всякое шпіонъство и доносы. Не брезгливость только, но и нѣчто болѣе глубокое возмущалось въ немъ.

Далекая родина и великая работа обновленія, готовившаяся и совершавшаяся уже въ ней, съ воцареніемъ Александра II-го, на время подняли усталый духъ. При первыхъ же въстяхъ, донесшихся оттуда, съ прежней юной силой проснулся въ немъ борецъ и романтикъ *). Онъ пошелъ на-

^{*)} Онъ сталъ издавать "Полярную Звёзду", затёмъ знаменитый "Колоколъ" съ еще болъе знаменитымъ отдъломъ "Подъ судъ!" гдъ предавалъ гласности всв продълки административныхъ лицъ, не скрывая ихъ именъ. Освъдомленъ онъ былъ всегда великольно и документально, благодаря массъ корреспондентовъ изъ Россіи. "Колоколъ" пользовался огромной популярностью и расходился одно время почти въ 4000 экземпляровъ. Огромное значеніе имъли въ немъ статьи по крестьянскому вопросу, въ которыхъ, защищая общину, міръ, право крестьянъ на землю, Герценъ какъ бы проектировалъ всесословную волость,-полное сліяніе верхнихъ и нисшихъ слоевъ общества во имя устройства такого самоуправленія, которое освободило бы Русь отъ опеки бюрократіи. Но послъ 63-го года имъ какъ-то перестали интересоваться. Съ одной стороны "общество" не могло простить Герцену его сочувствія полякамъ да и безъ этого оно, пройдя черезъ горнило патріотическаго одушевленія, всегда по существу своему консервативнаго, просто устало играть въ радикализмъ, съ другой молодежь ръшительно отшатнулась отъ заграничной эмиграціи, находя что та устартла и слишкомъ умъренна. Это последнее обстоятельство призналъ самъ Герценъ. "Вы насъ считаете отсталыми-писалъ онъ,-мы не сердимся за это и если от-

встртчу встыть неопределеннымъ и смедымъ ожиданіямъ, всемъ прекраснымъ и высокимъ надеждамъ. Великанъ просыпался и, казалось, готовъ былъ, стряхнуть съ себя вековой сонъ, готовъ встать въ блеске и силе сказочнаго богатыря. Герценъ поверилъ всему со страстью и самозабвеніемъ. Онъ, который когда-то такъ зло высменвалъ "гегелевскаго бога, живущаго въ Берлине, и едва ли не съ прусской каской на голове", — онъ решилъ, что этотъ богъ обновленной молодой жизии переселился на безконечныя пространства далекой родины. Сердце жаждало веры, и онъ отдался ей... Онъ не сторонился даже мистическихъ ожиданій, и сколько мистики хотя бы въ этихъ вотъ словахъ, напр.:

"Мять кажется, что есть итетто въ русской жизни, что выше общины и государственнаго могущества, это итетто трудно уловить словами, а еще труднъе указать пальцемъ. Я говорю о той внутренней, но вполить сознательной силть, которая столь чудесно сохранила русскій народъ подъ игомъ турецкихъ ордъ и итемъ бюрократіи, подъ восточнымъ татарскимъ кнутомъ и подъ западными капральскими палками, — о той внутренней силть, которая сохранила прекрасныя и открытыя черты и живой умъ русскаго крестьяннна подъ унизительнымъ гнетомъ кртноствого состоянія, которая на царскій приказъ образоваться ответила черезъ сто літь колосальнымъ явленіемъ Пушкина,—о той наконецъ силт и вторть въ себя, которая жива въ нашей груди. Эта сила ненарушнию сберегла русскій народъ, его непоколебимую втору въ себя, сберегла вить всякихъ формъ, и противъ всякихъ формъ, для чего?.. покажетъ время". Дальше: "Россія является послітднимъ народомъ, полнымъ юношескихъ стремленій къжизни въ то время, когда другіе чувствуютъ себя усталыми и отжившеми".

Новое разочарованіе не замедлило, но не было уже силъ справиться съ нимъ, и онъ ушелъ въ себя и въ ту область, къ которой воистину онъ былъ предназначенъ, въ художественное творчество, въ элегическую лирику своихъ воспоминаній, въ одинокое творчество генія, не нашедшаго себѣ мѣста въ жизни и ея борьбѣ. Результатомъ этого явились "Былое и думы". Основой этого замѣчательнаго произведенія были воспоминанія Герцена о личной жизни. Было что вспоминть—и о барскихъ московскихъ кружкахъ 20-хъ годовъ, и о годахъ университетской науки, и о кружкѣ Бѣлинскаго, и о расколѣ интеллигенціи на западниковъ и славянофиловъ, и о скучныхъ 20 слишкомъ годахъ заграничной жизни. Передъ нами цѣлая галлерея портретовъ, нарисованныхъ рукою мастера, такъ хорошо и мътко характеризующихъ главные моменты развитія нашей мысли, что ни-

стали отъ васъ въ миъніяхъ, то не остали отъ васъ сердцемъ, а сердце даетъ тонъ".



какая исторія не можеть замінять "Былого и думь". Но это лишь фонъ. Самое ценное въ книге это, вероятно, те размышленія, которымъ предается Герценъ по поводу разсказанныхъ событій. Я не говорю уже объ остроумін этихъ разсужденій, въ нихъ столько же глубины. Всв эти разсужденія сводятся въ жонців концовъ къ одному вопросу: по свободному ли своему желанію, путемъ ли вакопленія знаній и опыта устранваеть свою жизнь человъкъ здъсь на землъ, или же есть сила безличная, стихійная, толкающая человічество къ невіздомому концу? Склонившись передъ последней, Герценъ, очевидно, призналъ побежденнымъ себя и свой романтизмъ. Но здесь та же торопливость, та же капризность, какъ и въ безнадежности выводовъ "Съ того берега". "Былое и думы" произведеніе прежде всего художественное. Собственно это философско-лирическая поэма на почвъ строго фактической. Здъсь человъкъ и его гордый духъ, безпокойно мятущійся въ положенныхъ на него государствомъ, обществомъ, исторіей, личными привязанностями ціпяхь, борется во имя своей внутренней свободы и своего достоянства съ человечествомъ и исторіей. Человекъ неподкупенъ; онъ не хочетъ продать себя ни за довольство, ни за спокойствіе, ни даже за справедливость. Онъ ищеть свободы и самостоятельности и, не находя ихъ-тоскуеть. Въ этомъ симслъ поэмы. Онъ великъ и выраженъ въ дивныхъ художественныхъ образахъ. Это настоящій байронизмъ, такой же глубокій, но болье разнообразный, чыть у Байрона, потому что у Байрона, какъ у англичанина, было что-то положительное, у Герцена, кромъ смутной мистической въры въ особое будущее Россіи — не было ничего. "Исторія ничего ему не зав'ящала". Т'ямъ глубже, остріве и безнадежніве тьма. И, правда, сколько тоски въ "Былое и думы", сколько порою отчаянія, обрывающагося на різкомъ геніальномъ сарказміт—le sarcasme d'un pendu, какъ говорилъ Гюго. И чъмъ дальше-тымъ больше. Есть еще добрая, ласковая улыбка на страницахъ детскихъ воспоминаній, есть веселый сибхъ при разсказъ объ университетскихъ увлеченіяхъ, о кружковой жизни 40-хъ годовъ, но потомъ тьма все гуще и гуще и наконецъ мракъ, какъ предчувствіе смерти, но смерти, ведущей не къ возрожденію, а поглощающей совствив. И туть хохоть измученнаго пыткой человтка: "признать, что неть исхода... значить тоже найти исходъ"...

Вотъ итогъ этой богатой, исполненной борьбы и впечатленій жизни, начавшейся такъ радостно и хорошо:

"Разочарованіе, усталь,—сказали бы о монхъ выбольвшихъ строкахъ демократическіе рецензенты. Да, — разочарованіе, да, усталь. Разочарованіе—слово битое, пошлое, дымка, подъ которой скрывается льнь сердца, эгонзять, придающій себь видъ любви, звучная пустота самолюбія, имъющаго притязанія на все, силы—ни на что. Давно надовли намъ всь эти высшія

неузнанныя натуры, исхудалыя отъ зависти и несчастныя отъ высокомърія, въ жизни и романахъ. Все это совершенно такъ, а врядъ ли нють чего-нибудь истиннаго, особенно принадлежащаго нашему времени на лит этихъ стращныхъ психическихъ болей, вырождающихся въ ситшиныя пародін н пошлый маскарадъ!" О да! конечно, Герценъ могъ разсчитывать на лучшую участь. Суровость, съ какою съ нимъ поступали въ юности, обидъла эту властную, гордую натуру, и онъ далъ себв клятву не мириться никогда. Роковой шагъ эмиграцін всю жизнь тяготьль наль нимъ своими тяжелыми последствіями. Герцену пришлось скитаться всю жизнь; какъ Вайронъ, онъ не нашелъ нигдъ покоя. Швейцарія опротивъла ему своимъ мелкимъ разсчетливымъ мъщанствомъ, Англія — своимъ крупнымъ мъщанствомъ, Франція — своей трусливой покорностью Наполеону. А сжечь корабли эмиграціи, вернуться въ Россію онъ не могь, не хотелось--- да и къ чему бы это повело? Бросая его изъ угла въ уголъ, изъ страны въ страну, наъ города въ городъ, эмиграція окружала его всегда чужимъ обществомъ нли, лучше сказать, это общество было его только наполовину. Съ эмигрантами другихъ странъ онъ не могъ чувствовать никакой кровной связи, свои собственные эмигранты доставляли больше горя, чемъ радости...

Но почему же онъ не могъ сойтись съ эмиграціей ни молодой, ни старой? Да просто по той причинъ, что его интересы и интересы всевозможныхъ эмигрантовъ были въ сущности совершенно различны. Онъ постоянно смотрълъ впередъ и гораздо больше видълъ въ немъ, читалъ въ немъ, чъмъ върилъ въ него. Онъ предсказалъ неуспъхъ революціи 48-го года, франкогерманскую войну, торжество политики Висмарка. Онъ быль настроень на ирачный ладъ, и что же было делать ему среди фанатиковъ, ожидавшихъ торжества своихъ идей, проектовъ, предложеній чуть ли не на завтрашній день. Ему не было мъста между ними еще п потому, что въ немъ кръпко сидъла черта, общая почти всемъ деятелямъ 40-хъ годовъ, за исключеніемъ одного Бълинскаго, -- это черта умственнаго аристократизма, своего рода даже пресыщенія. Старое барство отзывалось въ этомъ и всегда съ невыгодой для тъхъ, кто былъ его преемникомъ. Возьинте Тургенева п его, --оба они, несмотря на весь демократизмъ своихъ убъжденій, никакъ не могли сойтись съ тъми людьми, которые были плоть отъ плоти и кровь отъ крови демократіи. Ихъ коробили манеры, языкъ, замашки "новыхъ людей", выступившихъ въ Россіи на сцену въ шестидесятыхъ годахъ. Они искали изящества, особенной утонченности чувствъ и идей и, разумъется. не находили ихъ у дъятелей, явившихся на смъну ихъ поколънію. Но больше всего ихъ мутило-и это настоящее слово-отъ догматизма мысли, отъ всего, что провозглашалось съ безусловной самоувъренностью и съ ненавистью къ какому бы то ни было ограниченію, возраженію, колебанію. Они извъдали слишкомъ много, ихъ жизнь была слишкомъ богата, они не признавали никакого подчинения. Въ ихъ взглядъ всегда слышится пресыщение и утомленность. Художественная закваска, своего рода дилетантизмъ жизни ставилъ между ними и истинными "практиками" непреодолимую преграду— и это, несмотря на искреннее желание объихъ сторонъ сговориться, несмотря даже на общность теоретическихъ убъждений.

Къмъ же быль онъ въ концъ концовъ, этотъ таниственный человъкъ и странный незнакомецъ русской жизни?

Онъ былъ, думаю, идеалисть и романтикъ. Онъ преувеличивалъ силы людей и ихъ увлеченія, вызвавныя высокими чувствами. Онъ думалъ, что достаточно одного мгновенія, чтобы переродить нашу землю и избавить ее отъ зла, несправедливости и иасилія, и здѣсь-то жизнь нанесла самые сильные и жестокіе удары его сердцу... Грозная и неожиданная, возстала передъ нимъ историческая дѣйствительность, стихійный ходъ ея развитія, и онъ долженъ былъ признать ея могущество, но и признавъ его, онъ продолжалъ видѣть въ ней врага. Отсюда его разочарованность и усталь, его проклятія по адресу историческаго хода вещей...

"Кто-то,—говорить онъ,—объщаль, что все въ мірѣ будеть изящно, справедливо и идти какъ по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и историческаго развитія, пора догадаться, что въ природѣ и исторіи много случайнаго, глупаго, неудавшагося, спутаннаго. Разумъ, мысль—это заключеніе, все начинается тупостью новорожденнаго, возможность и стремленіе лежать въ немъ, но прежде, чѣмъ онъ дойдеть до развитія и сознанія—онъ подвергается ряду внутреннихъ и внѣшнихъ вліяній, отклоненій, остановокъ...

"Сознаніе безсилія иден, отсутствіе обязательной силы истины надъ д'айствительнымъ міромъ огорчаеть насъ. Мы скорбимъ, бол'єемъ. Боль эта пройдеть со временемъ, трагическій и страстный характеръ уляжется, ея почти н'ятъ въ Новомъ Св'ять — Соединенныхъ Штатахъ.

"Но чему-нибудь послужили и мы. Наше историческое призваніе, наше дівяніе въ томъ и состоить, что мы нашимъ разочарованіемъ, нашимъ страданіемъ доходимъ до смиренія и покорности передъ истиной и избавляемъ отъ этимъ скорбей слідующія поколітнія. Наше человітчество протрезвляется, мы—его похмелье, мы—его боли родовъ.

"Мы знаемъ, какъ природа распоряжается съ личностями: послѣ, прежде, безъ жертвъ, на грудахъ труповъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ, что попало —десятки тысячъ лѣтъ наноситъ какойнибудь коралловый рифъ, всякую весну покидая смерти забѣжавшіе ряды. Полипы умираютъ, не подозрѣвая, что они служили прогрессу... Чему-нибудь послужимъ и мы... Войти въ будущее, какъ элементъ — не значитъ

еще, что будущее исполнить наши идеалы. Римъ не исполниль ни Платонову республику, ин вообще греческій идеаль. Средніе въка не были развитіемъ Рима. Современная западная мысль воплотится въ исторію, будеть имъть свое вліяніе и мъсто, такъ какъ тёло наше войдеть въ составъ травы, людей. Намъ не нравится это безсмертіе, что же съ нимъ дълать?.."

Онъ, ндеалистъ, дошелъ и, конечно, слишкомъ скоро, слишкомъ поспѣшно и, повторяю, слишкомъ странно до безсилія идеи. Это не его ошибка, это ошибка цѣлаго поколѣнія, выросшаго на грезахъ романтики. Онъ не зналъ, что, кромѣ идей, которымъ гордые люди предназначили роль руководительницъ исторіи и жизни, ея законодателей,—идей высокихъ и славныхъ, стремящихся свернуть дѣйствительность съ ея пути,— есть другія, болѣе скромпыя, но в могущественныя зато... Эти идеи проникнуты сознаніемъ, что только сила побѣждаетъ въ жизни, что свою силу они могутъ взять только изъ дѣйствительности и соотвѣтствія съ ней, ходомъ ея развитія, ея необходимыми итогами, которые, все равно хотимъ ли мы этого или не хотимъ, она вноситъ, хотя бы кровавыми цифрами, въ приходо-расходную книгу человѣчества...

"Теперь, графъ Бисмаркъ, —ваше дѣло"... Это стонъ и крикъ души человѣка, выросшаго на грезахъ и утопіяхъ, это отчаяніе художника, которому кто-то, грубый и невѣжественный, испортилъ чудную картину, нарисованную его же воображеніемъ, раскрашенную дивными красками горячаго и благороднаго чувства... И онъ, художникъ, ушелъ самъ въ себя обиженный и оскорбленный, ушелъ и потому еще, что исторія не исполнила его "святого каприза"...

Есть много драмъ въ жизни человъка, есть много драматическихъ коллизій, но и эта драма столкновенія страстной мечты съ суровой и безличной исторіей не меньше другихъ. Кто же для кого, въ концъ концовъ, — исторія для человъка или человъкъ для исторіи и ея невъдомыхъ, можетъ быть, и совстви несуществующихъ цтлей?.. Неужели вся наша работа, наши мечты и наши стремленія — простая иллюзія, прихотливая игра стихійныхъ силъ природы на поверхности земного шара?

Онъ склонился къ последнему ответту въ минуты тяжелаго раздумья, когда онъ остался почти одинокимъ въ жизни, одинокимъ среди людей и истомленный работой неверующаго духа.

Онъ говорилъ: "Мы знаемъ, какъ природа распоряжается личностями: послѣ, прежде, безъ жертвъ, на грудахъ труповъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ, что попало"...

Ему страшно было написать такія слова, потому что святая святых в его настроенія, его романтическаго чувства, его міросозерцанія заключалась въ слові "человікъ". Въ этомъ онъ и Білинскій шли рука объ руку.

На самомъ дълъ въ ихъ натурахъ и убъжденияхъ было по существу много общаго. Свою личную самостоятельность они оба цвнили выше всего, это право самостоятельности они оба распространяли на всехъ людей, они оба искали для нея опоры въ дъйствительности и находили ее въ образованів, наукт, натеріальной обезпеченности. Въ словт "человтвъ" для нихь заключалась разгадка жизни, звучало что-то святое. Они какъ бы винтали въ себя знаменитый афоризиъ Новалиса: "Помни, что когда ты дотрогиваенься до руки человъка, ты дотрогиваенься до колониъ храма, въ которомъ обитаетъ божество". И когда оба они видъли храмъ, это человъческое сердце загрязненнымъ и униженнымъ, эту жизнь его, сведенную къ приходо-расходной книгъ, къ мелкимъ и пошлымъ заботамъ "чтобы не быть хуже другихъ" --- они скорбели то сильно и горько, то въ тяжеломъ раздумын. И въ это же время оба они одинаково были испелнены въры. То мрачное, тоскливое настроеніе, которое впоследствін резко окрасило все міросозерцаніе Герцена и которому онъ слишкомъ даже подчинялся по излишней требовательности своей натуры, еще таилось въ глубинъ его души и ръдко и какъ бы случайно прорывалось наружу.

Да, личность, ея свобода и самостоятельность было то "все", что онъ хотель и искаль въ жизни. Это быль его богь и кумирь, — которымь ни для кого и ни для чего онъ не хотыть жертвовать. Идея личности и личнаго развитія, вообще говоря, проходить красною нитью черезь все написанное имъ, -- или, лучше, черезъ все, имъ продуманное и пережитое. Въ своемъ университетскомъ кружкъ онъ увлекался Сенъ-Симономъ, а не Гегелемъ или Шеллингомъ: - пройдя черезъ необходимую стадію инстицизма. онъ быстро освободился отъ него, увлекшись философіей Фейербаха. Не теоретически только, а и органически ненавидель онъ крепостное право и произволъ. Атмосфера современной ему русской жизни заставила его эмигрировать за границу. Во имя личности, ея правъ, ея свободы, онъ полемезироваль съ славинами. Въ защите своей личности и личнаго достоинства -- онъ видълъ первую ступень нравственности. Всякая сильная, оригинальная, ярко выраженная личность неотразимо привлекала его къ себъ. Овъ-гордый, самолюбивый и властный, преклонялся передъ Гарибальди, а въ прошломъ-передъ Петромъ. И въ Прудонъ привлекало его не столько его ученіе, сколько то, что Прудонъ былъ всегда самъ собой и даже одинъ. Съ той же точки зрвнія-личность, трактуеть онъ философію Прудона. Когда тоть утверждаль, что все должно служить торжеству справедливости, онъ спрашивалъ: "какъ, свергнувъ Молоха-государственность, вы хотите поставить на его место Молоха-справедливость?" Оттого же онъ такъ глубоко ненавиделъ всякую доктрину и самодовольство доктринеровъ, потому что зналъ, что нътъ большихъ цепей для человъка,

какъ цепи догматическаго ученія, за которымъ не слышно ни слезъ, ни стоновъ...

Онъ зналъ и върилъ, что свободный человъкъ долженъ населять свободную землю, и если онъ отчаялся въ концъ концовъ въ возможности достигнуть этой свободы—то это было не его личной ошибкой, а ошибкой всего его поколънія, покольнія романтиковъ общественности, покольнія нашихъ гуманистовъ, геніальнъйшимъ представителемъ котораго онъ былъ.

Не стану пока ничего говорить о Кавелинъ тоже человъкъ 40-ыхъ годовъ: онъ тоже былъ изпуганъ шестидесятыми. Но довольно и приведенныхъ фактовъ. Ясно, что разрывъ между двумя поколъніями долженъ былъ произойти. Тутъ встрътились два міропониманія, двъ разныхъ натуры, встрътились Тургеневъ съ Ръшетниковымъ, Герценъ съ Чернышевсчимъ, баринъ
съ разночищемъ. И они говорили другъ съ другомъ на разныхъ языкахъ.
Младшее въ душъ смъялось надъ старшими, язвительно (какъ, напр., Добролюбовъ и Чернышевскій) упрекало ихъ въ прекраснодушіи, въ томъ, что
они способны лишь на красивыя слова, а не на смълые поступки, что
они, какъ руссзій дворянинъ на гепфег vous (герой "Аси") готовы ретироваться отъ дъла назадъ въ самую ръшительную минуту. И разумъется,
чъмъ дальше развивалось движеніе 60-ыхъ годовъ, чъмъ болье ръзкія и
угловатыя формы принимало оно — тъмъ разрывъ становился глубже, непримиримъе. Даже то большое общее, что было между людьми 40-ыхъ и
60-ыхъ годовъ, было забыто; на сценъ осталась вражда.

Н. П. Огаревъ, (1813—1877) поэтъ, другъ Герцена, въ концѣ концовъ эмигрантъ, какъ онъ, сонздатель и сотрудникъ "Полярной Звѣзды", "Колокола", и т. д., является однимъ изъ самыхъ симпатичныхъ и красивыхъ представителей талантливой группы людей 40-ыхъ годовъ. Имя Огарева знаютъ всѣ, но его личность какъ бы утонула въ яркихъ лучахъ блестящей личности Герцена и остается все еще малонзвѣстной, все еще въ тѣни. Нѣсколько робкій и застѣнчивый, несмотря на свое огромное богатство и очень знатное дворянское происхожденіе, совѣстливый въ лучшемъ и высшемъ смыслѣ этого слова—онъ не производитъ импонирующаго яркаго впечатлѣнія. Его убѣжденія тѣ же, что у Герцена—та же вѣра въ науку и мощную мысль Запада, то же разочарованіе въ европейскомъ строѣ и порядкахъ, то же отрицаніе, не безъ ненависти къ дореформенной Россіи. Это впечатлительный, чуткій, духовно-красивый русскій баричъ нѣсколько обломовскаго типа и въ своей жизни, гдѣ онъ постоянно дѣйствовалъ по чужой ини-

ціативъ и подъ чужниъ вліяніемъ (охотно, напр., на ряду съ Герценомъ подчиняясь вліянію и Мих. Бакунина). "У Огарева, — говорить одинъ изъ новъйшихъ его біографовъ, --- не было самаго необходимаго -- выдержки для труда; поэтому отъ него осталась масса набросанныхъ плановъ, начатыхъ работь, да и ть не сохранились до насъ въ цъльномъ видъ; мы узнаемъ о нихъ по письманъ; цельнаго же осталось одно стихотвореніе, да несколько стихотворныхъ повъстей и поэмъ-вообще очень мало извъстныхъ въ Россіи". Огаревъ быль поэтомъ преимущественно личной своей интимной жизни, своей дружбы съ Герценомъ, но и къ своему несомнънному поэтическому дарованію онъ, цівя его, относился небрежно, пожалуй даже боліве небрежно, чемъ Хомяковъ. Онъ только набрасываль и редко-редко исправляль. Онъ писаль какъ будто для себя и для близкихъ друзей, но на то, чтобы заковать свою работу въ броню обработки, у него не доставало ни энергін, ни охоты. Не онъ виновать въ этомъ, виновать весь строй жизни среди русскаго барства, бездъятельный и распущенный, не имъвшій ничего общаго съ трудомъ, презиравшій даже его. Въ этой атмосфер'в богат'яйшіе замыслы обращались въ маниловскія мечтанія, порывы разстивались гдт-то въ междупланетномъ пространствт, и какія большія, важныя перспективы открывають намъ біографіи такихъ прекраснодушныхъ людей, какъ Огаревъ, въ прошлую исторію нашего дворянства. Воля оказывалась парализованной, анемичной съ самаго детства, и никакое образованіе, никакое благородство натуры не могли заміжнить ея. А между тыть для поэзін у Огарева были и достаточныя средства и богатышій матеріаль. Онь вырось подъ вліяніемь нёмецкой идеалистической философін и соціальных утопій; въ его стихах нізмецкій идеализмъ и французскій соціализмъ впервые подали другь другу руки во имя протеста противъ существовавшаго тогда въ Россіи правственнаго и общественнаго строя. Недовольство вравственными и общественными условіями той среды, которая его окружала, опровержение догматовъ оффиціальной народности отвлеченными началами умозрительной философіи и соціалистическими теоріями Запада, тщетное стремленіе успоконться въ созерцанін природы и грустный фантастическій колорить -- воть отличительные признаки его недоразвившейся лирики. Въ ней лучше всего ея протестующее настроеніе, ся порывы къ свобод'в (напр. "Искандеру" 1858 г.), ея ненависть къ крѣпостничеству. И при большей настойчивости со стороны поэта она могла бы имъть серьезное общественное значение. Кончиль Огаревь тымь же, чымь и Герцень-resignation: это не примиреніе, конечно, а только признание того, что существують въ жизни огромныя могущественныя силы, передъ которыми поневолъ склоняется человъкъ. Эта resignation иногда съ пессимитической, иногда съ скрытно-негодующей (какъ у Герцена) окраской должна считаться однимъ изъ характеривишихъ, заключительныхъ мотивовъ нашей старо - барской литературы.

Лучшими вещами Огарева считають его "Монологи", "Старый домъ", его стихотворенія "Купанье", "Искандеру", "У моря" и нѣкоторыя лирическія пьесы.

И. А. Гончаровъ (1812—1891 г.). Съ какимъ-то опасеніемъ, даже неохотой, — иногда какъ будто просто изъ въждивости люди присоединяютъ имя Гончарова къ именамъ Тургенева, Толстого, Достоевскаго и ставятъ его такимъ образомъ въ первомъ ряду нашей литературы, котя мысль о томъ, что онъ едва ли принадлежитъ къ этому первому ряду, смущаетъ ихъ. "Гончаровъ, — писалъ еще въ сороковыхъ годахъ Аполлонъ Григорьевъ, — дарованіе примъчательно яркое, но, да позволено будетъ сказать прямо, дарованіе чисто внъшнее, безъ глубокой мысли въ задаткъ безъ истиннаго стремленія въ идеалу". Строго говоря, это общее митене. Что-то недъятельное, что-то далеко отстоящее отъ ищущаго теченія русской литературы видимъ мы въ Гончаровъ, и это больше всего удаляетъ отъ него читателей, къ счастью — не отстраняетъ, потому что авторъ "Обломова" велична во всякомъ случать крупнъйшая. Эта отдаленность видна столько же въ литературной дъятельности, сколько и въ личной жизин Гончарова.

Гончаровъ-купеческаго происхожденія, но барскаго воспитанія. Его отецъ-богатый симбирскій купецъ, умеръ рано, оставивъ послів себя крупное состояніе, благодаря которому Гончаровъ жиль и вырось въ совершенно пом'ьщичьей обстановкв. Онъ получиль прекрасное домашнее, а затвмъ и общее образованіе — сначала въ пансіонъ, а затьмъ въ московскомъ университетъ въ лучшую его годину, когда тамъ процеттало шеллингіанство и романтизмъ. Очень сдержанный по характеру, Гончаровъ отдаль дань юности своимъ увлеченіемъ романтизмомъ. Но и здесь дальше прекраснодушія и кое-какихъ туманныхъ грезъ о будущемъ онъ не пошелъ. После университета онъ немедленно опредълнася въ чиновники и тянулъ эту лямку всю жизнь до самой смерти, за исключеніемъ того промежутка времени, когда онъ на фрегать Паллада совершиль свое кругосвътное путемествіе. Въ жизни его не было ни волненій, ни передрягь, ни сильныхъ привязанностей. Овъ держался оть нея въ сторонъ — даже оть литературы, въ которую вступиль въ 1847 г., напечатавъ въ "Современникъ" свою "Обыкновенную нсторію". Въ 1858 г. появился, какъ великольшное созданіе его медлительнаго но вдумчиваго творческаго духа — "Обломовъ", въ 1868 — "Обрывъ". Этими тремя романами опредъляется и исчерпывается его литературное значение.

"Обыкновенная исторія" сразу обратила общее вниманіе на молодого писателя и поставила его на очень зам'ятное м'ясто. Но при ея появленій Б'ялискій уже зам'ятнов: "Гончаровъ—поэть, художникъ, больше ничего; у него н'ять ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселять, не сердять, онъ не даеть никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю, онъ какъ будто думаеть: кто въ б'яд'я тоть и въ отв'ять."

На эти скрытые упреки и скрытыя требованіи Вѣлинскаго — Гончаровъ могъ отвъчать, разумъется, только своей улыбкой. Онъ вообще не понималь этого киптнія, этого исканія правды жизни, этого проповъдническаго жара. Жизнь представлялась ему интересной, но не захватывающей, поучительной, конечно, но не такой, которая бы непремінно требовала подвига. Онъ любилъ ее тихую и ровную "съ постепеннымъ движеніемъ впередъ" и морщился, когда она вдругъ выходила изъ русла, какъ это случилось въ 60-хъ годахъ. Конечно, инчего крепостническаго, инчего реакціоннаго въ его міросозерцанія вы не найдете и следа, онъ просто не понималь, зачемь это люди слишкомь ужь горячатся. Старую русскую жизнь онъ любиль не въ ея безобразныхъ барскихъ или бюрократическихъ проявленіяхъ, — а въ ея укладахъ, строго опредъленныхъ, ясно очерченныхъ, и любовался ими издали какъ художникъ; въ новой нахлынувшей волит онъ просто не умтать, не могь разобраться, хотя и понималъ, что старая жизнь свое последнее слово сказала и должна сойти со сцены. И должна сойти прежде всего потому, что она была слишкомъ праздная, слишкомъ лізнивая, слишкомъ недізятельная. Прежде же всего надо работать, работать осмысленно и упорно — это Гончаровь зналь и это было камнемъ красугольнымъ его міросозерцанія. Характервый мотивъ нашей литературы -- мотивъ больной совъсти, создавшій столько трагическихъ фигуръ среди нашихъ писателей, остался неизвъстенъ Гончарову. Его творчество носить на себъ явные слъды его умиротворенной, тихой отъ начала и до конца и обезпеченной жизни.

Крѣпостное право, крѣпостническая обстановка не были воспитательной школой для Гончарова, какъ, напр., для Тургенева или Герцена. Онъ не замѣчалъ ихъ ни въ дѣтствѣ, ни въ юности, а впослѣдствіи относился къ нимъ съ полнымъ благодушіемъ. Ни одно отрицательное чувство не усиѣло зародиться и вырости въ его душѣ: легко и спокойно принялъ онъ свою барскую долю, не задавая себѣ тревожнаго вопроса о своемъ правѣ; легко и спокойно до конца дней своихъ пользовался онъ привилегіями и пренмуществами. Натолкнуть его на сомпѣнія, педовольства, протесты—было

Digitized by GOOGLE

некому; даже Якубовъ, (его воспитатель) хотя и просвъщенный человъкъ, хотя и масонъ, держался примирительнаго взгляда на окружающее.

На литературное поприще онъ выступилъ поздно.

Философію своей "Обыкновенной исторін" онъ самъ превосходно растолковалъ въ своихъ "Литературныхъ воспоминаніяхъ": "Въ борьбъ дяди съ племянникойъ, -- говоритъ онъ, -- отразилась и тогдашняя только что начинавшаяся ломка понятій и нравовъ -- сантиментальности, каррикатурныя преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзія праздности, семейная и домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ (напр., любви съ желтыми цвътами старой дъвы тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостепріниство и т. п. Словомъ, вся праздная, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ, съ обычными порывами юности-къ высокому, великому, въящному, къ эффектамъ, съ жаждою высказать это въ трескучей прозћ, всего болве въ стихахъ. Все это отживало, уходило: являлись слабые проблески новой зари, чегото трезваго, делового, нужнаго. Первое, т. е. старое исчерпывалось въ фигуръ племянника -- и оттого-то онъ вышелъ рельефиъе, ясиъе. Второе, т. е. трезвое сознаніе необходимости діла, труда, знанія, выразвлось въ дядъ; но это сознаніе только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полнаго развитія, и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-гдъ, въ отдъльныхъ лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блёднёе фигуры племянника... Адуевъ (племянникъ) кончилъ, какъ большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать въ службъ, писалъ и въ журналахъ (но уже не стихами) и, переживъ эпоху юношескихъ волненій, достигь положительных благь, какъ большинство, заняль въ службъ прочное положение и выгодно женился; словомъ, обделалъ свои дела. Въ этомъ и заключается "обыкновенная исторія".

Гораздо глубже "Обломовъ".

Добролюбовъ первый понялъ и разъяснилъ, что туть дѣло не въ героъ романа—Обломовѣ, а въ общественномъ явленіи—обломовщинѣ, этой отрицательной квинтъ-эссеціи нашего мало дѣятельнаго, растительнаго и мелочнаго феодализма, т. е. крѣпосного барства.

"Обломовка, -- говоритъ онъ, — есть наша прямая родина, ея владъльцы — наши воспитатели, ея триста Захаровъ -- всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово Обломовкъ"... "Если я вижу теперь помъщика, толкующаго о правахъ человъчества и о необходимости развитія личности, я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ. "Если встръчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дълопроизводства, онъ — Обломовъ. "Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ и смълыя разсужденія о безполезности тихаго шага и т. п., я не сомнъваюсь, что онъ — Обломовъ. "Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ зло-

употребленій и радость о томъ, что наконецъ сдълано то, чего мы давно надъялись и желали, — я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки. "Когда я нахожусь въ кружкъ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человъчества и въ теченіе многихъ лътъ съ неуменьшающимся жаромъ разсказывающихъ все тъ же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточникахъ, о притъсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода, — я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку".

Обломовщина для Добролюбова — эта капризная лѣнь, барская изнѣженность, созданная услугами трехсотъ Захаровъ и наложившая какъ бы неизгладимое пятно на всю нашу культурную интеллигентную жизнь.

Разумъется, Добролюбовъ не находить въ душъ ни крупицы симпатін къ Обломову и обломовщинъ. Онъ разсматриваеть этотъ типъ исключительно съ точки зрънія его общественной пригодности. При такой постановкъ вопроса обвинительный приговоръ неизбъженъ. Въдь нельзя же не видъть, что пухлый, красивый, добрый Илья Ильичъ— не болъе какъ тунеядецъ чистой воды, что рабочее начало не привилось къ нему, да и не могло привиться, разъ къ его услугамъ триста Захаровъ.

Писаревъ въ своей юношеской, но блестящей статъъ "Обломовъ" удъляетъ гораздо больше мъста исихологической критикъ.

"Мысль Гончарова, -- говорить онъ, -- проведенная въ его романъ, принадлежить всимь выкамь и народамь, но имыеть особенное значение вы наше время, для нашего русскаго общества. Авторъ задумалъ проследить мертвящее, губительное вліяніе, которое оказывають на человъка умственная апатія, усыпленіе, овладъвающее мало-по-малу всьми силами души, охватывающее и сковывающее собою всв лучшія, человвческія, разумныя движенія и чувства. Эта апатія составляєть явленіе общечелов'вческое, она выражается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и порождается самыми разнородными причинами, но вездъ въ ней играеть главную роль страшный вопросъзачемъ жить? къ чему трудиться? -- вопросъ, на который человекъ часто не можеть найти себъ удовлетворительнаго отвъта. Этоть неразръшенный вопросъ, это неудовлетворенное сомниніе истощаеть силы, губить діятельность: у человека опускаются руки, и онъ бросаетъ трудъ, не видя ему цъли. Одинъ съ негодованіемъ и желчью отбросить отъ себя работу, другой--отложить ее въ сторону тихо и лениво, одинъ будеть рваться изъ своего бездъйствія, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чтить можно было бы наполнить внутреннюю пустоту, апатія его приметь оттеновъ мрачнаго отчаянія, она будеть перемежаться съ лихорадочными порывами къ безпорядочной дъятельности и все-таки останется апатіей, потому что отниметь у него силы действовать, чувствовать и жить. У другого равнодушіе къ жизни выразится въ болье мягкой безцвытной форм'в, животные инстинеты тихо, безъ борьбы выплывуть на поверхность души, запруть безъ боли высшія стремленія, человікь опустится въ мягкое кресло и заснеть, наслаждаясь своимъ безсмысленнымъ покоемъ, начнется вмъсто жизни прозябаніе, и въ душт человъка образуется стоячая вода, до которой не коснется никакое волненіе внъшняго міра, который не потревожить никакой внутренній перевороть... Во второмъ случат является апатія покорная, мирная, улыбающаяся, безъ стремленія выйти изъ безтрытьствія, это обломовщина, какъ назваль ее Гончаровъ, это бользнь, развитію которой способствуеть и славянская природа, и жизнь нашего общества.

"Илья Ильичъ стоить на рубежт двухъ взаимно-противоположныхъ направленій: онъ воспитанъ подъ вліяніемъ обстановки старо-русской жизни, привыкъ къ барству, къ бездъйствію и къ полному угожденію своимъ физическимъ потребностямъ и даже прихотямъ; опъ провелъ дътство подъ любящимъ, но неосмысленнымъ надзоромъ совершенно неразвитыхъ родителей, наслаждавшихся въ продолжение несколькихъ десятковъ леть полной умственной дремотою, въ родъ той, которую охарактеризовалъ Гоголь въ своихъ "Старосвътскихъ помъщикахъ". Онъ изиъженъ и избалованъ, ослабленъ физически и нравственно, въ немъ старались, для его же пользы, подавлять порывы резвости, свойственные детскому возрасту, и движенія любознательности, просыпающіяся также въ годы младенчества: первые, по мивнію родителей, могли подвергнуть его ушибамъ и разнаго рода поврежденіямъ, вторыя могли разстронть здоровье и остановить развитіе физическихъ силъ. Кормленіе на убой, сонъ въ волю, поблажка всёмъ желаніямъ и прихотямъ ребенка, не грозившимъ ему какимъ-либо тълеснымъ поврежденіемъ, и тщательное удаленіе отъ всего, что можетъ простудить, обжечь, ушибить или утомить его - воть основныя начала Обломовскаго воспитанія. Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не усивли сдвлать труды родителей и нянекъ. На тепличное растеніе, не ознакомившееся въ дітстві не только съ волненіями действительной жизни, но даже съ детскими огорченіями н радостями, пахнуло струей свъжаго живого воздуха. Илья Ильичъ сталъ учиться и развился настолько, что понялъ, въ чемъ состоитъ жизнь, въ чемъ состоять обязанности человъка. Онъ поняль это умомъ, но не могъ сочувствовать воспринятымъ идеямъ о долгь, трудь и деятельности. Роковой вопросъ: къ чему жить и трудиться? вопросъ, возникающій обыкновенно после многочисленных разочарованій и обманутых надеждъ, прямо самъ собою, безъ всякаго приготовленія, во всей своей ясности представился уму Ильи Ильича... Образованіе научило его презпрать праздность; но стмена, брошенныя въ его душу природой и первоначальнымъ воспитаніемъ, принесли плоды".

Эти плоды навъстны — постоянное лежаніе, льнь, развившаяся до полнаго безволія, и бользненный страхъ передъ требованіями дъйствительной жизии.

Болізнь Обломова была бы не боліве какъ интереснымъ патологическимъ случаемъ, если бы Гончаровъ не показаль еамъ, какъ глубоко пущены ея корни и въ русскую жизнь, и въ русскую исторію. Анализируйте эту болізнь, и вы увидите, что источникъ ея—услуги трехсоть Захаровъ и легкая, праздная жизнь на чужой счетъ. Обломовъ—высшее достигнутое въ нашей литературі обобщеніе дореформенной, барской Россій-

Обломовъ — баринъ. Съ дивнымъ комизмомъ выводитъ Гончаровъ на сцену его сословные взгляды въ разговорѣ съ Захаромъ, который имѣлъ несчастіе въ спорахъ о переѣздѣ на квартиру сказать, что "другіе-де переѣзжаютъ"... Этимъ приравненіемъ себя къ другимъ Илья Ильичъ обидѣлся до глубины цуши.

— "Другой" работаеть безъ устали, — негодоваль онъ, — бъгаеть, суетится, не поработаеть, такъ и не поъсть, другой кланяется, другой просить, унижается. А я? Ну-ка, ръши: какъ ты думаешь, "другой" я-а?. Да развъ я мечусь, развъ я работаю? Мало тъмъ что ли? Худощавъ или жалокъ на видъ? Развъ не достаетъ мнъ чего-инбудъ? Кажется, подать, сдълать — есть кому. Я ни разу не натянулъ себъ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу. Стану ли я безпокоиться? Изъ чего мнъ? И кому я это говорю? Не ты ли съ дътства ходилъ за мною? Ты все это знаешь, видъль, что я воспитанъ нъжно, что я ни холода, ни голода никогда не терпълъ, нужды не зналъ. хлъба себъ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дъломъ не занимался...

На сущности всёхъ этихъ выраженій и основывается сословная гордость Обломова. И это не сатира. Иль Ильнчу на самомъ дёлё больно и странно было бы очутнться въ толиё "другихъ", работающихъ, худощавыхъ, полуголодныхъ, видёвшихъ нужду и лишенія. "Вёлая кость", пухлое нёжное тёло, матеріальная обезпеченность — все это, съ его точки зрёнія, необходимыя принадлежности званія. Если бы онъ мыслилъ послёдовательно, если бы не воспоминанія дётства, не запасъ — почти неистощимый — добродушія, онъ не могъ бы и къ своему другу Штольцу относиться иначе, какъ съ презрёніемъ...

Образованіе расширило мысль и симпатіи Обломова, онъ мечтаєть даже о всеобщемъ благополучін, но это не мѣшаєть ему обнжаться, и притомъ глубоко, искренно обнжаться, когда его приравнивають къ разношерстной суетливой толиѣ разночинцевъ. Онъ баринъ, но баринъ эпохи вырожденія, сословная гордость котораго опираєтся не на положительныя заслуги, а на отрицательное превосходство надъ другими... Счастья онъ не можетъ понимать иначе, какъ сытое довольство, какъ физическое блаженство.

"Теперь—пишетъ Гончаровъ-Обломова поглотила любимая мысль, онъ думаеть о маленькой колоніи друзей, которые поселятся въ деревенькахъ

и фермахъ, въ пятнадцати или двадцати верстахъ отъ его деревни, какъ поперемънно будутъ съъзжаться каждый день другъ къ другу въ гости, объдать, ужинать, танцовать, ему видятся все ясные дни, ясныя лица, безъ заботъ и морщинъ, смъющіяся, круглыя, съ яркимъ румянцемъ, съ довольнымъ подбородкомъ и неувидающимъ аппетитомъ, будетъ въчное лъто, въчное веселье, сладкая тда, да сладкая лѣнь"... Добролюбовъ пытался свести къ типу Обломова, къ воплощенію вырождающагося, больного барства, всъхъ "героевъ нашего времени"—Онъгиныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, Вельтовыхъ. Отчасти это справедливо. Обломовская закваска естъ у всъхъ понменованныхъ героевъ, но только закваска. Генеалогія Ильи Ильича нъсколько другая. Онъ—прямой сынъ и наслъдникъ Манилова или Тентетникова, дъдомъ или прадъдомъ его можно считать Митрофанушку Простакова, въ близкомъ родствъ съ нимъ состоятъ московскіе славянофилы, не Хомяковъ, не Аксаковъ, разумъется, а тъ, кто пониже, напр., Загоскинъ.

Обывновенно говорять: "Обломовъ — это старая крѣностная Россія, 19-10 февраля 61-го года Обломова не стало". Но даже и теперь это справедливо только отчасти. Точно ли совершенно и окончательно умеръ Илья Ильичъ?

Присмотритесь повнимательные къ жизни и вы, пожалуй, придете къ заключению, что Обломовъ совстиъ умереть и не можетъ. Нътъ, Обломовъ—типъ ще только временный, исторический, а племенной, стереть который изъ жизни можетъ лишь работа многихъ поколъній.

Въ юные годы мы вст зачитывались романомъ Гончарова, не могли оторваться отъ дивныхъ страницъ, посвященныхъ сну Облонова, весело см'емлись надъ безпечностью и гомерическою ленью этого вечно лежащаго человъка, напряженно слъдили за его отношеніями къ Ольгь и немного даже плакали, услышавъ о его ужасно скучной смерти. Потомъ, когда мы стали постарше и вернулись къ Ильв Ильичу, перечли о немъ, намъ стало грустно. Насъ испугала ръзкая правда романа, но особенно стало то, что добродушный Илья Ильнчъ, вся дізятельность котораго заключается въ лежанін, вси красота въ добродушін, все жизненное назначеніе въ тунеядствъ, никакъ не умъщается въ рамкахъ романа, а выходитъ изъ нихъ, захватываеть какъ будто большую полосу жизни, расплывается по встыъ общественнымъ отношеніямъ. Мы увиділи, словомъ, что герой романа совсемъ не Обломовъ, -- какой же онъ герой, -- а обломовщина, что эта обломовщина удивительно какъ близка намъ и понятна до того, что мы сразу и невольно начинаемъ отыскивать въ себъ обломовскія черты и, къ нашему ужасу, находимъ ихъ. А реформа Петра Великаго? Въдь достаточно краткаго учебника, чтобы понять, какіе удары были нанесены обломовщинъ даже самыми маленькими мерами великаго преобразователя. Вся же его реформа — это борьба съ обломовщиной не на животь, а на смерть, это живое отрицаніе ея во всемъ, это преследованіе ея въ самыхъ затаенныхъуголкахъ души человъческой и общественной жизни. Однако обломовщина осталась и черезъ 200 лёть послё смерти Петра является передъ нами во всемъ своемъ великольнін... Выдь воть, кажется, сотни льть муштрують насъ по части государственности и исполненія гражданских обязанностей. А кому вошли они въ плоть и кровь? Кто изъ насъ — изъ громаднаго большинства — способенъ на какую-нибудь иниціативу; не обладаеть глубокою кротостью, мягкодушіемъ н лінью Обломова, на почві которыхъ возможны всякія посягательства на нашу самостоятельность, личное счастье, счастье близкихъ намъ людей? Какъ угодно, Обломовъ глубоко засълъ въ насъ, и даже въ одномъ изъ недавнихъ нашихъ движеній-толстовщинівтрудно не замътить черть, свойственных обломовскому типу. Толстовщина--- это последнее слово, сказанное русскими людьми после краткаго періода воодушевленія, -- по духу своему какъ нельзя лучше напомвнаеть Илью Ильича и присныхъ его.

Толстовцы хотяті отрешиться отъ всехъ формъ, выработанныхъ государственной жизнью, отъ культуры и цивилизаціи, гражданскаго общества и семьи, деятельности воли и разума; они могуть мудрить сколько имъ угодно, но ихъ идеалъ — растительная жизнь. Они — люди усталые, не терпящіе на рынка, ни конкуренціи, и прямо себя рекомендують таковыми. Ихъ привлекаетъ нирвана, полное спокойствіе души, полная неподвижность и однообразіе бытія. Бороться съ жизнью и ея зломъ они не намерены: уставши, они уходять на покой въ деревню, на подножный кориъ, гдв могуть дышать свежимъ воздухомъ, спать спокойнымъ сномъ. Трудъ--простая необходимость, инфющая целью только поддержать жизнь, а не совершенствовать ее; если бы можно было питаться однимъ воздухомъ, они отбросили бы работу, какъ отбросили науку и цивилизацію. Да, Обломовъ живъ. Онъ возрождается съ каждымъ поколениемъ, меняя свою форму, но въ глубинъ души пребывая тъмъ же мягкосердечнымъ, горизовтальнымъ человъкомъ, не видящимъ и не понимающимъ смысла дъятельности, во ния покоя готовымъ отрицать развитіе. Обломовъ живъ, и со стороны даже жалко смотреть, какъ его муштрують, дисциплинирують, открывають ему европейскую науку и европейскіе идеалы. Онъ лежать хочеть, а его гонять въ департаменть, заставляють сочинять проекты, усовершенствовать одно, передълывать другое, бороться въ жизни... Въдный горизонтальный человъкъ, которому всъ эти призывы къ дъятельности ужасно надобли н которому, въроятно, спать хочется, на всь этн призывы и возванія отвъчаеть: "пустите душу на покаяніе, хочу опроститься".

Въ любимомъ дътищъ Гончарова-его романъ "Обрывъ" все хорошо,

что относится къ прошлому (бабушка, Марфинька, провинціальная глушь, Райскій, какъ герой 40-ыхъ годовъ) все несовершенно, что относится къ настоящему и будущему (Волоховъ, Тушинъ). По собственному признанію Гончарова, трудно было разбираться въ неопредълившихся фигурахъ современности. Онъ и не разобрадся въ нихъ.

Общія замічанія о литературі 40-ыхъ годовъ. Эта превосходная, исполненная гуманности литература была, за однимъ лишь крупнымъ исключеніемъ (Бълинскій), барской. Говоря такъ, я разумью лишь высшіе слон литературы-ть, которые вошли въ ея исторію и эту исторію создали. Низшіе теперь меня не питересують, но въ высшихъ, говорю я, преобладаеть баринь, барскія или проникнутыя барствомъ иден, барское настроеніе, которое бросало свой отблескъ даже на такія воть, повидимому, общенетеллигентныя чувства, какъ ненависть къ крипостичеству, какъ стремленіе къ личной свободъ. Заслуживаеть ли это обстоятельство вниманія? Думаю, что да, и очень доволенъ, что не одинъ я такъ думаю, хотя знаю, что это далеко не обычная точка зрвнія. Люди сороковыхъ годовъ, этотъ цвътъ нашей интеллигенціи—такъ дороги намъ и такъ высоко стоять въ нашехъ глазахъ, что мы охотно забываемъ о нхъ сословномъ происхожденіи, смотримъ на нихъ просто какъ на людей, чутко прислушивавшихся къ голосу своей человъческой чести и совъсти и смъло вставшихъ по его призыву на защиту правъ и интересовъ закабаленной нассы. Такъ оно и было въ дъйствительности. Но все же барство, какъ традиція, какъ рядъ воспоминаній и опытовъ, укрівпленныхъ и кристаллизованныхъ наследственностью, какъ сумма впечатленій, полученныхъ отъ известного воспитанія, въ известной обстановке-является такимъ огроинымъ психологическимъ фактомъ, что забывать о немъ, умалчивать о немъ более чемъ странио. И зачемъ? Разве въ этомъ обстоятельстве есть чтонибудь постыдное, принижающее? Развъ для кого - нибудь секретъ, въ такой малокультурной, темъ более крепостной стране, какъ Россія, все образованіе и даже возможность образованія вплоть до энохи реформъ сосредоточивалось въ одномъ классъ общества? Развъ сообразно съ чъмънноудь предположение, что человъкъ путемъ развития можетъ до конца стереть съ своего духа всю насл'едственность, всю впечатленія детства, все вліяніе обстановки? Требовать этого значить требовать большаго, чемь доступно оно природѣ человѣка. Мнѣ думается, что заслуга людей 40-ыхъ годовъ не въ томъ, что они перестали быть барами, а въ томъ, что свою барскую культуру они довели до высшей ступени ея развитія, что, оставаясь барами, они не защищали кровныхъ интересовъ своего сословія, а,

напротивъ, боролись съ ними и ихъ представителями, какъ и сколько могли, что защищали они и чужіе интересы, напр., закабаленной массы, но, конечно, защищали ихъ по-барски.

Воть что пищеть по этому поводу г. Протопоповъ:

_Мы, русскіе, гордимся своей литературой, въ особенности такъ называемой изящной-и по праву: она блестить такими яркими и могучими талантами, которыя сдълали бы честь любой европейской литературъ. Пересчитаемъ по пальцамъ эти таланты, принимая во вниманіе только ихъ непосредственную художественную силу, безъ всякаго отношенія къ ихъ относительному значенію, ихъ направленію и тенденціямъ. Грибовдовъ, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тургеневъ, Достоевскій, Писемскій, Гончаровъ, Левъ Толстой, Некрасовъ, Салтыковъ и, можетъ быть, Сергъй Аксаковъ и Григоровичъ-вотъ корифеи нашей художественной литературы, вотъ тв наши классики, произведенія которыхъ составляютъ нашу гордость и славу. И что жъ? Фактъ въ своемъ родъ единственный, ни въ какой другой странъ небывалый: всь эти первоклассные литературные дъятели принадлежать къ одному и тому же общественному слою, всв они безъ исключенія вышли изъ стародворянскихъ, коренныхъ помъщичьихъ родовъ. По рожденію, по воспитанію, по семейнымъ традиціямъ, по всъмъ безчисленнымъ нитямъ, связывающимъ человъка съ средою, они--господа, въ буквальномъ значении этого слова. Это роскошные цвътки, выросшіе среди лютой зимы, въ оранжерейной атмосферѣ счастливой, сытой обезпеченности, на тучномъ черноземѣ крѣпостного рабовладъльчества. Нужно ли говорить, что въ нашей метафоръ нътъ даже малъйшей тъни упрека этимъ писателямъ? За общіе факты не можетъ быть личной отвътственности. Напротивъ, высшая заслуга и лучшая красота большинства этихъ писателей въ томъ и состоитъ, что они, вопреки своимъ сословнымъ интересамъ и несмотря ни на какія традиціи, говорили вслёдъ за своимъ учителемъ и главою:

> Увижу ли, друзья, народъ освобожденный И рабство, падшее по манію царя, И надъ отечествомъ свободы просвъщенной Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

"Нравственные идеалы были для нихъ всего дороже, духовные интересы стояли въ ихъ глазахъ ближе и выше интересовъ матеріальныхъ, и въ этомъ отношеніи, съ этой точки зрѣнія, они безукоризненны и неуязвимы. Большинство изъ нихъ сдѣлали все, что можно было ожидать даже отъ лучшихъ, совершеннѣйшихъ людей въ ихъ положеніи — они сострадали, жалѣли, любили и защищали, какъ могли, кого могли просто забыть и не замѣчать тѣхъ, кого мало кто любилъ и жалѣлъ. Почти каждый изъ нихъ чистъ отъ нареканій этого рода, почти къ каждому изъ нихъ примѣнимы слова ихъ вождя:

Да будеть омрачень позоромь Тоть малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутить укоромъ Его увънчанную тънь,

"Пусть же спять спокойно въсвоихъ гробахъ эти первые передовые дъятели во имя "прекрасной зари" и, конечно, "освобожденный народъ" не развънчаетъ ихъ тъней, не оскорбитъ "укоромъ" ихъ памяти.

Слабъ человъкъ и охотно преклоняеть онъ ухо къ внушеніямъ злого духа эгонама и только въ редкія, дучшія минуты своего бытія возвышается до чистаго альтрувана, до полнаго забвенія своего себялюбиваго, неугомоннаго, въчно недовольнаго и въчно требовательнаго я. Дореформенная литература наша была порождена не интересами, а идеалами. Влагородные, гуманные, совъстливые люди возставали противъ исторической несправедливости, которой они въ то же время были много обязаны — и своимъ блестящимъ образованіемъ, и своею независимостью, и всімъ наяществомъ своего конфортабельнаго существованія. Добрые, сострадательные, чуткіе люди проливали слезы надъ чужой бъдой, надъ горемъ, которое — язвительная иронія судьбы — собственно имъ, лично имъ, приносило или выгоду въ родъ "легкаго оброка" и "ярема барщины старинной", или цвъты удовольствія въ род'в "младого и св'вжаго поц'ялуя смуглянки черноокой". Дъйствіе этого разлада, этого отсутствія гармонін между идеалами и интересами не могло не сказаться умъряющимъ образомъ и на силъ протеста этихъ людей, не могло не отразиться невыгодно и на правдѣ ихъ картинъ и образовъ. Повторяю опять-таки, что не въ судъ и не въ осужденіе подчеркиваю я это обстоятельство, а исключительно въ видахъ исторической и психологической точности.

- Даже и въ этихъ предълахъ изучение барской психологии должно занять почетное місто въ исторіи русской литературы, но эти предізлы очень и очень раздвинутся, если мы сравнимъ литературу 40-ыхъ годовъ съ литературой 60-ыхъ, созданной разночинцами прежде всего, если вспомнимъ, что въ 60-ыхъ годахъ отъ литературы должны были отшатнуться такіе ея дъятели, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Кавелинъ, Герценъ, Огаревъ, Фетъ и т. д. И отшатнулись они потому, что на сцену выступилъ другой слой общества съ своими требованіями, задачами, стремленіями, взглядами на науку и искусство, на красоту и матеріальную обезпеченность, на горе и радости жизни, выступиль классь, еще не жившій до той поры, значить, свирьно хотывшій жить во имя своихь идеаловь добра и справедливости и своимъ страстнымъ натискомъ оттеснившій на второй планъ значительно пресыщенныхъ и утомленныхъ "забавами предковъ" баръ. И не только оттесниль, но и шпыняль ихъ постоянно и даже черезъ меру такими классическими прозвищами какъ "баре", "обломовы", "лишніе люди", "романтики" и т. д. Потому что человъку 60-ыхъ годовъ мало было "хотъть", "чувствовать", "плакать", "созерцать" -- ему прежде всего нужно было дело, дело и дело...

Гуманистъ съ нъсколько отвлеченными стремленіями встрътился съ революціонеромъ общественности, который очень зналъ, чего онъ хочетъ, и мало того, стремился каждое свое требованіе закръпить въ непреложныя формы законодательства. Гуманистъ жалълъ униженнаго человъка, признавалъ въ немъ то достоинство, выше котораго нътъ ничего въ жизни, и старался возбудить къ нему состраданіе. Онъ чувствовалъ ложь и жестокость существованія, плакалъ надъ ними, но какъ-то безсильно опускалъ въ то же время руки. Онъ уходилъ въ свои отвлеченнъйшія метафизическія системы, въ художественное творчество, въ храмъ въчной красоты, чаще всего—въ тревоги повседневной жизни, свои личныя чувства, свою меланхолію. Его заслуга въ томъ, что онъ сильно чувствовалъ...

Встръча 40-ыхъ годовъ съ 60-ыми это въ малыхъ размърахъ встръча гуманизма и реформаціи. Красивые, блестящіе, даровитые, образованные гуманисты встрътились съ суровыми монахами и ригористами — Эразмъ съ Лютеромъ, Шекспиръ съ Ноксомъ, Раблэ съ Кальвиномъ. Они не поняли другъ друга и разошлись съ взаимными проклятіями. Одни мечтали прежде всего о свободъ духа, о радостяхъ свободной жизни, другіе о чемъ-то ненэмъримо большемъ — о перерожденін всъхъ людей, о томъ, чтобы всъ люди стали праведниками и безстрашно выступили на страшномъ судъ передъ грознымъ судіей... Одни съ упоеніемъ занимались отрицаніемъ стараго, разрушеніемъ его авторитетовъ, другіе сочиняли катехизисы. Одни хотъли уничтожить папство и инквизицію, другіе водворить царство Божіе здъсь на землъ.

Повторяю, въ малыхъ, конечно, размърахъ у насъ случилось то же самое, произошла встръча гуманистовъ 40-хъ годовъ съ реформаторами и революціонерами 60-хъ. И эта встръча двухъ теченій мысли хорошо оттъняется личной встръчей Чернышевскаго съ Герценомъ. Приведу характерный отрывокъ изъ ихъ разговора:

- "— Что вы заступаетесь за этихъ лѣнтяевъ,—говорилъ Чернышевскій, — дармоѣдовъ, трутней, бѣлоручекъ, тунеядцевъ à la Онѣгинъ?.. Извольте видѣть, они образовались ипаче, имъ міръ, ихъ окружающій, слишкомъ грязенъ, не довольно натертъ воскомъ, замараютъ руки, замараютъ ноги. То ли дѣло стонать о песчастномъ положеніи и при томъ спокойно ѣсть да пить!
- "Мы (т. е. Герценъ) было ввернули слово въ защиту, но Чернышевскій и слушать не хотълъ. Напротивъ, онъ напалъ на насъ за нашу защиту и, пожимая плечами, говорилъ, что онъ смотритъ на насъ, какъ на хорошій остовъ мамонта, какъ на интересную ископаемую кость, принадлежащую міру иного солнца и другихъ деревьевъ.
- "— Позвольте же мит хоть на этомъ основаніи защитить нашихъ сопластниковъ. Неужели вы въ самомъ дълъ думаете, что эти люди по доброй волъ ничего не дълали, или дълали вздоръ?

- "— Безъ всякаго сомнънія, они были романтики и аристократы: они ненавидъли работу, они себя считали бы униженными, взявшись за топоръ или за шило. Да и того, правда, они не умъли!
- "— Вътакомъ случав я буду называть имена: напримвръ, Чаадаевъ, онъ не умвлъ взяться за шило, но умвлъ написать статью, которая потрясла всю Россію и провела черту въ нашемъ разумвніи о себъ. Статья эта была началомъ его литературнаго поприща. Что вышло, вы знаете. Чаадаевъ сдълался празднымъ человъкомъ. Иванъ Киръевскій, положимъ, не умвлъ сапогъ сшить, но умвлъ издавать журналъ; издалъ двъ книжки—запретили журналъ; онъ помъстилъ статью въ "Денницв", цензора Глинку посадили на гауптвахту. Киръевскій сдълался лишнимъ человъкомъ. Николая Полевого, конечно, нельзя обвинить въ лъни; человъкъ онъ былъ изворотливый, а все-таки крылья "Телеграфа" подвязали, и признаюсь въ моей слабости, когда я читалъ, какъ Полевой говорилъ Панаеву о томъ, что онъ, женатый человъкъ, обремененный семьей, боится квартальнаго, я не смвялся, а чуть не плакалъ."

Конечно, Чернышевскій быль очень и очень неправъ, но вѣдь все же самая большая уступка, которую онъ могь сдѣлать Герцену, вся исчерпывается словами: виновны, но заслуживають снисхожденія. И что, какъ не "виновны", скажете вы о людяхь, проклинавшихъ крѣпостное право п жившихъ все же насчеть своихъ собственныхъ крѣпостныхъ крестьянъ или—чтобы окончательно раздѣлаться съ этой мерзостью, т. е. крѣпостными отношеніями—закладывавшихъ мужиковъ въ ломбардъ? Воть чего — этого великолѣпія мысли и этой скудости нравственнаго содержанія жизни — не могь понять человѣкъ 60-хъ годовъ. Первый его вопросъ: что же сдѣлали вы для осуществленія своей идеи, для воплощенія ея въ жизни? оставался безъ отвѣта или съ такимъ лишь отвѣтомъ: "мы писали" или еще лучше: "мы пытались писать".

Все равно какъ центральной фигурой 60-хъ годовъ являлся разночинецъ, такъ центральной фигурой 40-хъ является баринъ-идеалистъ, выростий на Сенъ-Симонъ, Шеллингъ, Гегелъ, Леру, Жоржъ-Зандъ и т. д. Это красивая и содержательная фигура, къ которой воистину стоитъ приглядъться поближе. Многіе даже думають, что это единственно цъльное и гармоничное, созданное русской культурой. Не забираясь такъ глубоко, можно сказать, что баринъ-идеалистъ, какъ продуктъ крестьянскаго хлъба и иностраннаго образованія—нъчто въ высокой степени самобытное, русское. Онъ превосходно извъстенъ намъ по фигурамъ всъхъ этихъ когда-то первенствовавшихъ героевъ нашей литературы — Рудиныхъ, Лаврецкихъ, Бельтовыхъ; его больше нътъ, онъ умеръ, сохранилась лишь память о немъ, лишенная ненависти, но лишенная и любви. Когда понадобилось настоящее дъло, простое и даже черное, неблагодарное по своимъ результатамъ, баринъ-идеалистъ горячо взялся за него, но какъ-то быстро отсталъ, потому

что не въ "дълъ", не въ работъ было его истинное назначение. Натура артистическая, художественная, склонная къ меланхоліи, къ созерцанію конечныхъ целей бытія, онъ провель свою юность (въ ту пору затягивавшуюся очень долго) въ чтеніи превосходныхъ книгь, въ дружескихъ горячить беседахь, вы романтическихь мечтахь и грезахь о чудныхь странахъ н океаническихъ островахъ, где дарствують добро, красота, истина. За редкими исключеніями, онъ не работаль, предпочиталь обходиться безъ службы. Но таланты рвались наружу, не давали покоя, и въ часы, свободные отъ романтическихъ радостей и огорченій, онъ, какъ прирожденный дилетанть, занимался поэзіей, музыкой; -- самъ писаль стихи или прозу, изобръталъ летающія машины, сочиняль филологическіе или историческіе трактаты, или даже увлекался химіей. Отъ его ученой работы мало что осталось. Кажется, даже ничего не осталось, потому что наука требуеть усидчивости, --- но наше искусство, особенно наша литература многое взяли у него. Главныя силы уходили, впрочемъ, на разговоры и споры объ умныхъ и высокихъ предметахъ. Кажется, никогда и нигдъ на Руси не разговаривали такъ много, какъ въ интеллигентныхъ кружкахъ 30-хъ и 40-хъ годовъ. Эти разговоры-такъ хорошо питавшіе въ одно и то же время и барскую лень, и жажду уиственной деятельности-заменяли всю общественную жизнь. И Хомяковъ, и Рудинъ, и Райскій проговорили и проспорили всю жизнь. Эти разговоры были яркимъ отраженіемъ богатой жизни Запада, потому что тамъ, конечно, а не у себя дома баринъ-идеалистъ находиль достойную его умственную пищу. Дома были невъжество нищета; тамъ-самое дорогое близкое и въ сущности даже понятное. Никогда, конечно, русскій интеллигентный человъкъ не быль такъ духовно близокъ Европъ, какъ въ эти приспопамятные красивые 30-е и 40-е годы.

"Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ, — читаемъ мы въ четвертой главѣ "За рубежомъ", — для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то-есть о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнъ и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредъляло ея содержаніе.

"Какъ извъстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература, а за нею, конечно, и молодая читающая публика подълняась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ коношились Булгарины, Бранты, Кукольники и т.п., но этотъ лагерь не имълъ ни малъй-шаго вліянія на подростающее покольніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ въдомству управы благочинія. Я въ то время только что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Вълинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не

къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ подоженій нѣмецкой философін, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣстся, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда.

"Въ Россін, —впрочемъ, не столько въ Россін, сколько спеціально въ Петербургъ, --- мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, нивли "образъ жизни". Ходили на службу въ соответствующія канцелярін, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесъдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собой область, какъ бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дъло, какъ опубликование "Собрания русскихъ пословицъ", являлось прихотливымъ и предосудительнымъ: напротивъ того, во Франціи все было ясно какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ выръзками н помарками. Такъ что, когда министръ внутреннихъ дълъ Перовскій началь издавать таксы на мясо и хлебь, то и это заинтересовало насъ только въ качестве анекдота, о которомъ следуетъ говорить съ осмотрительностью. Напротивъ, всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрогиваль нась за живое, заставляль и радоваться, и страдать. Въ Россін все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятью печатями сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранте предположено не разыскивать; во Францін--все какъ будто только что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а больше полустольтія сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малейшаго желанія кончиться...

"Въ особенности эти симпатіи (къ Франціи) обострились около 1848 г. Мы съ неподдѣльнымъ волненіемъ слѣдили за перипетіями драмы послѣднихъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались "Исторіей десятилѣтія" Луи-Блана.... Луи-Филиппъ и Гизо, и Дюшатель, и Тьеръ—все это были какъ бы личные враги (право, даже болѣе опасные, чѣмъ А. В. Дуббельтъ), успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ радовалъ. Процессъ министра Теста, агитація въ пользу избирательной реформы, высокомѣрныя рѣчи Гизо по этому поводу, 'палата, составленная изъ депутатовъ, нагло называвшихъ себя conservateurs endurcis, наконецъ февральскіе банкеты—все это п теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ будто происходило вчера."

Ни смінться, ни пронизировать надъ подобными увлеченіями, разумінется, нельзя. Въ нихъ было исканіе того, что такъ нужно человіку и въ чемъ такъ плачевно отказывала ему русская дійствительность — общественной жизни, было и нічто серьезное, скрывавшееся за этими увлеченіями и разговорами—было теоретическое прощаніе съ крізпостнымъ правомъ, А больше всего было, конечно, игры воображенія, фееріи мысли.

Но въ словахъ и разговорахъ спасались отъ страшной дъйствительности, закрывали ими себя отъ нея.

"Были слова, —продолжаетъ Щедринъ въ другомъ мѣстѣ, —которыя производили чарующее дѣйствіе, которыя онъ (т. е. самъ сатирикъ) въ свои юные годы готовъ былъ повторять безчисленное число разъ, и слушая которыя, онъ былъ безконечно счастливъ. Если бы отъ него потребовалось наполнить эти слова содержаніемъ, онъ удивился бы—до того они представлялись ему несомиънными и обязательными, до того его прельщалъ самый звукъ ихъ..."

"Слова. Слова", —сказалъ Гамлетъ... но какъ люди могли насыщаться словами? Какъ могли они не спрашивать себя о ихъ содержании, которое дюдянь Запада далось лешь въками кровавой борьбы? Здъсь-то и выступаеть характерная особенность эпохи, и даже не одной эпохи сороковыхъ годовъ, а поздивищихъ. Принципы были шерочайщие и великольпивищие въ родъ миражей пустыни. Попробуйте-ка на самомъ дълъ одольть такія слова, какъ добро, истина, красота, человекъ, свобода, историческое развитіе... Попробуйте, не умилнясь дорогими звуками, отдать себъ отчеть въ томъ, когда человъкъ есть дъйствительно человъкъ, когда добро есть точно добро, когда свобода есть свобода доподлинная, и вы увидите, что и теперь еще, после пятидесяти леть работы и опыта, не такъ-то легко это сделать... А тогда и совсемъ нельзя было это сделать, потому что сказочная царевна только дремала и всякіе хорошіе сны вид'яла. Но все же въ отвъть на поставленный вопросъ приходится сказать, что люди насыщались не одними словами: для этого они были слишкомъ молоды и не даромъ воспитывались на Бълинскомъ и Жоржъ-Зандъ. Пониманія не было , это такъ, "маленькій разумъ", отдающій себ'в отчеть въ содержанія еще спаль, но "большой разунь"---это стихійное сознанье челов'яка --уже проснулся и создалъ настроение эпохи. Отвлеченное настроение, красивое, которое все исчерпывалось понятіемъ "гуманизмъ", гуманность, жалость къ обездоленному... Правда, и это-слова, но этими словами наше старое барство прощалось со своимъ прошлымъ, прощалось, говоря кратко, съ крепостнымъ правомъ.

На ряду съ другими словами и слово "дъйствительность" у всъхъ на умъ и на языкъ. Но это не значило, чтобы кто-нибудь серьезно думалъ изучать дъйствительность, тъмъ менъе практически воздъйствовать на нее. Эстетика и дилетантизмъ стояли на первомъ планъ. И несомнънно поэтому, что и сороковые годы отличались немалой отвлеченностью.

Да! Сороковые годы отличались не малой отвлеченностью. Гегель быль объявленъ царемъ мысли. Къ нему обращались все мыслящие и чувствующие люди за решеніемъ всехъ своихъ сомивній, какъ къ новому дельфійскому оракулу, и вопрошали его: "что есть истина?" Къ сочиненіямъ Гегеля лодходили "со страхомъ п върою", какъ выразнися Огаревъ, и готовы были "стоять передъ ними на колтняхъ", какъ говорилъ Грановскій. "Есть вопросы, - писалъ последній, - на которые человекъ не можеть дать удовлетворительнаго ответа. Ихъ не решаеть и Гегель, но все, что доступно теперь знанію человъка, и самое знаніе у него чудесно объяснено"... Изученіе философіи Шеллинга и Гегеля преврачилось въ настоящій культъ. Философскія системы не только передумывались, но и переживались. Ничтожныя книженки о Гегелъ "псправно выписывались и зачитывались до дыръ, до пятенъ въ нъсколько дней". Увлечение доходило до смъшного: "всякое простое чувство возводилось въ категорін", все определялось по субстанціямъ, гуляли не для того, чтобы осв'яжиться и отдохнуть, а чтобы "предаться пантеистическому чувству единства съ космосомъ". Все это любопытно и поучительно. Гегельянская закваска не могла исчезнуть очень долго, и опить-таки тъ же шестидесятые годы въ извъстной статьъ Антоновича (о книгъ Гайма) не только попытались развънчать Гегеля, но и обратить его въ ничто. Въ искусствъ сороковыхъ годовъ Гегель также былъ учителемъ. Съ его точки зрвнія, цвль искусстса — воспроизводить прекрасное, проявлять гармонію. Таково его единственное назначеніе. Всякая другая цізль: очищеніе, нравственное совершенствованіе, поучительность, — только подробности, аксесуары, или следствія. Созерцаніе красоты вызываеть въ насъ тихое и чистое наслаждение, несовитстимое съ грубыми удовольствіями чувственнаго характера: оно поднимаеть душу надъ обычною сферою ея помысловъ, предрасполагаетъ ее къ благороднымъ решеніямъ и великодушнымъ поступкамъ путемъ теснаго сродства, существующаго между чувствами и идеями добра, красоты и истины. Это и было исповъданіемъ въры людей 40-хъ годовъ, оттого-то Бълинскій и написалъ между прочимъ целый томъ о Пушкине, а Анценковъ просидълъ нъсколько лътъ надъ изданіемъ сочиненій поэта. Гдъ, на самомъ дёлё, такъ проявилась гармонія, гдё такъ воспроизводилось прекрасное, какъ не у Пушкина? Ему поклонялись, его "обожали", читали и комментировали, впервые поняли его.

Искусство, творчество—воть высшее въ жизни. Только здъсь человъкъ лучше всего, полнъе всего, безъ всякой зависимости проявляеть самого себя и получаеть наслажденіе, равиаго которому ніть на землі. Грпгоровичь трогательно высказаль этоть взглядь въ заключительныхъ словахъ свонкъ воспоминаній. Разумітется, это не мішало людямъ сороковыхъ годовъ быть гуманистами; въ нихъ жило сознаніе человіческаго достопиства, и они возмущались, видя это достопиство заточтаннымъ въ грязь. Но еще больше, чіть возмущенія, было радости, высокой, несонзмітримой ип съ чіть радости творчества, созерцанія красоты, проявленія гармоніц.

Это одна сторона сороковыхъ годовъ. Была въ нихъ и другая, развившаяся и опредълившаяся лишь въ шестидесятые. Я говорю о демократической струнь, о жалости ко всыль униженнымъ и оскорбленнымъ, о желанін счастья человіку, какимъ бы онъ ни быль въ настоящую минуту. Оказалось, что созерцать красоту и проявлять гармонію, по крайней мірть, недостаточно. Въдь у того же пророка Гегеля есть прямо обидныя слова. Напримеръ, "нечего,--говоритъ онъ,-проливать слезы и жаловаться, что хорошемъ и нравственнымъ людямъ часто и даже большей частью плохо живется, тогда какъ дурнымъ и злымъ хорошо". Позвольте, какъ такъ нечего плакать? Неть, туть есть оть чего плакать, надо не только красоту созерцать, не только проявлять гармонію, но и думать о томъ, --- во ния того работать, чтобы "хорошинъ и нравственнымъ людямъ" на самомъ деле хорошо жилось. "Мы, — говорила демократическая партія сороковыхъ годовъ, -- ровно ничего не имъемъ противъ красоты и гармонія. Мы обожаемъ пхъ и поклоняемся пхъ, только что же прикажете делать съ униженными и оскорбленныме?" Бълинскій глубоко задумался надъ этимъ н съ своей обычной страстностью написалъ следующія строки: "Мив говорять: развивай все сокровища своего духа, для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утьшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, люзь на верхнюю ступень люстницы развитія, а споткнешься — падай, чорть съ тобой, таковскій и быль, с... с... Влагодарю покорно, Егоръ Оедоровичъ Гегель, кланяюсь вашему философскому колиаку, но со всемъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ честь имею донести вамъ, что если бы мне удолось влезть на высшую ступень развитія, --- я и тамъ попросиль бы васъ отдать отчеть во всель жертваль условій жизни и исторіи, во всель жертваль случайностей, суевърія, инквизиціи Филиппа II и пр., вначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если пе буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ собратій по крови".

Эго прямо пророческія слова. Візлинскій какть нельзя лучше угадаль то направленіе, по которому пойдеть мысль русская. И она поклонится "философскому колпаку", и она будеть иміть честь донести, что "если

дисгармонія—условіе гармонін, то ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью пдею дисгармонін".

Сороковые годы выработали пдеаль человька, научно и эстетически развитой культурной личности, стоящей на высшей ступени развитія. Это было настолько ново въ Россін, что мудрено было не увлечься такичь пдеаломъ. И имъ увлекались, больше даже—его боготворили. Надо, необходимо надо возвыситься надъ мерзкой и пошлой дъйствительностью, надо умъть находить красоту во всемъ и въ сіяніи солнца, и въ жизни мужика. Только тотъ, кто достигъ высшей ступени развитія, кто позналь наслажденія творчества—можеть съ полнымъ достоинствомъ носить названіе человъка. Есть одна тапиственная, притягательная область — область пскусства, въ которой, отдаваясь порывамъ вдохновенія, талантъ можеть поствінуть всю красоту, всю гармонію жизни.

Но тутъ же началась и реакція. Человівкъ — человівкомъ, но гді же гражданинъ? Русская мысль сороковыхъ годовъ слишкомъ мало думала о гражданстві. Обиженный жизнью, окружающимъ его формализмомъ, жестокостью, человівкъ инстинктивно искалъ какого-нибудь примиренія съ дійствительностью и паходилъ его въ творчестві, искусстві... Но звучала уже въ эти богатые годы другая струна:

Поэтомъ можешь ты не быть, Но гражданнюмъ быть обязанъ...

Этой струнъ не всъ сочувствовали, не всъ, прямо говоря, поняли се. Слишкомъ трудно было отказаться отъ принятыхъ взглядовъ, съ этими взглядами связано было такъ много дивныхъ воспоминаній, пмъже люди были обязаны "долей истиннаго счастья". На сцену выступили люди "весьма дяровитые", но "холодные и замкнутые". Опираясь на тъ же сороковые годы, на ихъ демократизмъ, на ихъ увлечение Жоржъ Зандъ, на ихъ стремленіе осуществить свою мысль въ действительности, -- они выдвинули на сцену прежде всего гражданские мотивы и идею правственнаго долга человъка передъ обществомъ. Это было иъсколько сухо. Прежије кумпры не легко могли найти себъ мъсто и часто даже не находили его. Совершенно естественно почему. Въ сороковыхъ годахъ мирно уживались два направленія: эстетическое п гуманитарное. Лучшіе представители сороковыхъ годовъ, какъ Тургеневъ, Григоровичъ п т. д., сосдиняли въ себъ то п другос. Они столько же взывали къ состраданію и уваженію къ униженному и оскорбленному, сколько заботились и о красоть формы. Они были классиками искусства и вибств съ твиъ людьми, глубоко сочувствовавшими страданіямъ Антона Горемыки.

Но настала пора, и "общегуманитарныя" воззрънія пришлось переве-

сти на практическій языкъ. Какъ же, спроспли себя, устронть дівло такъ, чтобы Антонъ Горемыка пе только возбуждаль сочувствіе и состраданіе людей, достигшихъ высшихъ ступеней развитія, но и вообще "былъ бы счастливъ"? Законно ли, чтобы человівкъ, описывая страданія Горемыки, чувствоваль высочлішее художественно з наслажденіе и "испытываль петинное счастье"?..

Туть, какъ хотите, что-то такое есть.

Подвергнувь "что-то такое" тщательному анализу, нашли, что люди сороковыхъ годовъ, воспитанные на Гегелъ и его эстетикъ, на общегуманитарныхъ воззръніяхъ, на доктринъ, которая хотя и соглашалась признавать зло существующаго, но постоянно старалась примириться съ нимъ во имя дивной красоты и общей гармовій мірозданія,—были больше людьми, чъмъ гражданами, имъющими ясное и опредъленное представленіе о тъхъ путихъ, которыми можетъ процвътать, развиваться и совершенствоваться родина. Надо было найти эти пути. Расколъ неминуемо долженъ былъ явиться, и люди сороковыхъ годовъ временно или навсегда устранили себя отъ литературной дъятельности.

Вмѣсто нопросовъ эстетики, философіи и религіи, на первый планъ выступили вопросы соціальные, политическіе, и туть разночинецъ оказался спльнѣе барина. Барскій романтизмъ и барскую эстетику, все равно какъ и барскую меланхолію, онъ отбросилъ съ презрѣніемъ въ сторону, что, впрочемъ, не помѣшало скоро обзавестись ему своимъ романтизмомъ и своей меланхоліей.

Въ 60-ые годы — на сценъ новые люди, разночинцы, люди въ большинствъ случаевъ испытавшіе сами суровую ипщету. Что же удивптельнаго, если они не могли столковаться какъ следуеть ни по одному вопросу. Возьмите, напр., отношение къ Пушкину. Кумпръ и богъ для поколенія, создавшаго Тургенева и Гончарова, онъ вызвалъ несколько равнодушныхъ словъ у Добролюбова, такихъ же у Чернышевскаго и враждебныя, алыя насміншки Писарева. Посмотрите дальше, какъ относится Гончаровъ къ своему Обломову? Безъ преувеличенія можно сказать, что онъ любить его и порою прямо любуется мягкостью, добродущіемъ и красивымъ изяществомъ его барской натуры. Для Добролюбова Обломовъ и обломовщинасамое отвратительное, прямо гнусное явление нашей русской жизии. Не сипсхожденія заслуживаеть этоть классическій тупеядець, а лишь пскореиенія. Въ отношенін къ нему никакой пощады все равно, какъ п къ его братьямъ по духу, опять-таки несомивано краспвымъ Рудинымъ, Вельтовынь, Онвгнимь, Печоринымь, Лаврецкимь и т. д. Все это избалованные и красивые баричи. И совершенно достаточно, - разсуждалъ Добролюбовъ, попользовались они всеми радостями бытія, пора очистить м'ясто... Возьинте наконецъ и самое важное—отношеніе къ народу. Для людей 40-хъ годовъ онъ былъ прежде всего предметомъ глубочайшей жалости, 60-ые годы совершенно отбросили эту точку зрѣнія. Для нихъ народъ былъ огромной новой общественной силой со всѣми задатками прекраснаго будущаго, рыступавшій на историческое поприще. Требовалось уже не жальть его, а любить и уважать его, вѣруя въ его предназначеніе. Требовалось только расчистить почву для его дѣятельности. Жалость, совершенно искренняя, вызывала, конечно, жесланіе освобожденія, но не требованіе его. Можно было ненавидѣть крѣпостное право, но ненавидѣть весь связанный съ нимъ дореформенный строй дѣло мудреное, а еще мудренѣе было требованіе мести въ отношеніи къ нему, еще мудренѣе было мечтать о мужицкомъ царствѣ подъ главенствомъ разночинной интеллигенціи, т. е. раздѣлять основную мечту 60-ыхъ годовъ. Дальше желанія эмансиваціи и нѣкоторыхъ реформъ внутренняго строя люди 40-ыхъ годовъ не шли. Шестидесятники пошли гораздо дальше, и разрывъ былъ нензбѣженъ.

Разрывъ этотъ произошелъ съ взанинымъ раздражениемъ. У Чернышевскаго, Добролюбова, даже Писарева установилось прямо-таки насмъшливое отношение къ барству. Жалость баръ къ мужику, идеализацию его. псканіе въ немъ человъка-Чернышевскій прямо вазываль "чесаніемъ пятокъ"; для Добролюбова они Обломовы; въ Писаревъ ихъ тоска, грусть, разочарованіе не возбуждають ни малейшаго сочувствія, и въ своей статью о "Войнъ и миръ" онъ съ подавляющимъ презръніемъ говорить о барствъ. Но мы лично такъ далеко ушли отъ этой эпохи, что съ нашей стороны всякое раздраженіе было бы несправедливымъ. Мы охотно назовемъ лучшихъ изъ баричей сороковыхъ годовъ красивыми людьми, исполненными благородныхъ пдеалистическихъ порывовъ; намъ не покажется, конечно, только маской ихъ меланхолія, потому что корин ея - въ пресыщеніи и въ обстоятельствахъ времени; ны пойменъ трагизнъ положенія людей, которые ъли чужой вкусный хлебъ и понимали минутами, что хлебъ этотъ действительно чужой; мы оправдаемъ, по крайней мірів дадимъ синсложденіе всемъ обломовскимъ чертамъ характера стараго барства; мы полностью оцівнить все, что оно сділало, чтобы привить къ нашей умственной жизни питересы религіозныхъ, философскихъ и правственныхъ проблемъ, и тамъ неизбъжнъе станетъ для насъ разрывъ двухъ поколъній, изъ которыхъ одно потратило лучшія свои силы, чтобы создать типъ высококультурной личности, страшно стремящейся удовлетворить свои философскіе и религіозные запросы, --- другое же попыталось создать культурную обстановку для только что освобожденной массы, отдало этой массь всь свои сплы, всь лучшіе свои порывы и изъ служенія ей сдулало свою религію.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ *).

Общая характеристика.

Шестидесятые годы понимались разно, такъ разно, что по однимъ представленіямъ тамъ жили и дъйствовали одни нигилисты, а по другимъ — какіе-то архистратиги всевозможныхъ гражданскихъ доблестей. Безпристрастное изслъдованіе въ далекомъ или недалекомъ будущемъ покажетъ, иасколько то или другое представленіе близко къ истинѣ, и выскажется, въроятно, въ томъ смыслѣ, что на сценѣ работали и боролись люди въ большей или меньшей степени обыкновенные, ничего исключитсльнаго, тъмъ менѣе противоестественнаго въ себѣ не заключавшіе. Было у нихъ, впрочемъ, одно свойство, очень драгоцѣнное, почти что утерянное нами, — свойство, которое даже на ординарнѣйшую физіономію накладывало особый, несомнѣнно краспвый и горделивый отпечатокъ. Выла значительная удо-

^{1) 50-}ые годы. Ихъ называють обыкновенно пустымъ мъстомъ русской литературы. Это преувеличение, конечно, потому что природа, вообще говоря, боится пустоты, -- но, дъйствительно, эти годы создали очень мало своего, оригинальнаго. Своей физіономіи у нихъ нътъ, есть только вившнія очертанія. Тянулись эти годы цізлых семь лізть отъ 1848-го до 1855-отъ февральской революціи во Франціи, до наступлеція освободительной эпохи. Надъ литературой въ это время свиръпствовалъ знаменитый бутурлинскій комитеть, и литература, разумфется, притаилась, такъ какъ комитетъ имълъ цълью оградить общественную мысль отъ всякихъ "въяній" и такимъ образомъ обезпечить торжество охранительныхъ началъ. Въ то время, какъ русскія войска возстановляли потрясенный порядокъ въ Венгріи, -- русская литература отчасти продолжала прежнюю свою работу, формулированную Бълинскимъ, отчасти очень робко и неумъло пыталась сказать свое новое слово, хотя бы въ женскомъ вопросъ, напр.,-отчасти спасалась отъ преслъдованія и подоарвий въ эстетику. Возродился культъ Пушкина, оцениваемаго исключительно съ точки зрѣнія красоты, журналистика, даже передовая въ лиць "Отечественныхъ Записокъ" и "Современника" стала попрежнему стремиться лишь къ интересному. Особенно характеренъ, разумъется,



влетворенность жизнью, полное сознание правоты и нужности своего вителлигентнаго положенія, была увіренность въ себі, своихъ силахъ, было
вдохновеніе работы. Это красивое освіщеніе, потому что въ немъ чувствуется сила. Не всякая эпоха знаетъ его, а большинство эпохъ только
тоскуєть о немъ и мечтаетъ. "Что хорошо?—спрашиваетъ Ницше.—Все,
что возвышаеть въ людяхъ чувство силы, стремленіе къ силъ, самое
силу.—Что плохо? Все, что вытекаеть изъ слабости". И Ницше, какъ
большинство его современняковъ, проклиналъ слабость, болівань, малодушіе.

Въра нужна, бодрость духа. Люди въ концъ концовъ любять то только, что дълаеть ихъ сильными и смълыми. Если они еще плохо понимають, гдъ и въ чемъ источникъ ихъ силы и слабости, то въ этомъ бъда не велика. Поймуть рано или поздно. Въ этой силъ и смълости вся красота жизни,

эстецизмъ какъ теорія, какъ принципъ, что у молодыхъ народовъ можетъ говорить лишь объ упадкъ духа, о временномъ разочаровании въ себъ. Самыми крупными пменами этой эпохи были имена Дружинина и II. Анненкова. Анненкова еще помнять, какъ біографа и комментатора Пушкина, но кто помнитъ Дружипина, хотя нельзя не отдать полной справедливости его красивому языку и легкому изложенію. Изложенію образцовыхъ иностранныхъ писателей (напр., Карлейля), онъ и отдалъ преимущественно свои силы. Критика же его безцвътна, потому что исходила изъ такихъ началъ, которыя сами по себъ, отдъльно взятыя, не удовлетворяють насъ. Такими началами являлись красота, изящество, тепленькая гуманность, искусство для искусства и т. д. Все это гашишъ переутомленнаго духа, для массы же читателей такая проповъдь вразумительна лишь въ той степени, насколько "интересно", литературно и красиво изложена. Но не больше. Приходится поэтому сказать, что наиболъе плодотворнымъ элементомъ литературы 50-хъ годовъ является ея продолжение прежней работы. Отмфчаю критико-литературную дфятельность Дудышкина, очень осторожно и безъ всякихъ крайностей развивавшаго основныя положенія Бълинскаго, - а главное то литературное теченіе, которое извъстно подъ именемъ "изученія русской народности". Туть чувствуется что-то повое и все это новое въ словъ "изученіе", въ стремленіи проникнуть въ истинную сущность действительной жизпи народа. Здёсь на первомъ планъ стоятъ имена С. В. Максимова (1831-1901), П. И. Якушкина (1820-1872), П. И. Мельникова (1819-1883), отчасти Г. П. Данилевскій (1829 -1890). Двое изъ перечисленныхъ (С. В. Максимовъ и П. И. Якушкинъ) начавши просто съ этнографическихъ очерковъ, ими и ограничились; Мельниковъ возвелъ свои богатыя наблюденія въ превосходные художественные образы; Г. И. Данилевскій измънилъ этнографіи ради историческихъ романовъ, благодаря которымъ добился если не славы, то извъстности и широкаго распространенія. Но это движеніе оформилось лишь въ 60-ые годы, которые виесли въ него свою идею.

а разочарованность, Blasierkeit,—къ чему она? Разочарованые люди, если они честные люди, если они настолько пскрении, что не хотять жить самообманомъ, должны признать себя больными, устаръвшими, псреутомленными и скромно удалиться подъ сънь, на теплыя воды—вообще убрать себя, потому что проповъдывать уныніе и невъріе—то же, что давать камень вмъсто рыбы. А нужна рыба,—изображеніе которой было символомъ для первыхъ христіанъ, нужна бодрость фередъ бездной ала и несчастій, открытой передъ нами, нужна цълящая пища, а не экзотическій майонезъ изъ мистики, самолюбованія и новой красоты. Какъ подумаещь, сколько ненужнаго зла въ жизни, ничъмъ не оправданнаго зла, все впередъ идущаго, и такого, что какъ будто нътъ ему предъла, нътъ мъры его движенію, становится больно и страшно. И научить борьбъ съ этимъ зломъ—лучше и выше, чъмъ, видя передъ собой лежащаго и обезспленнаго, молча поставить надъ нимъ крестъ.

Обращаюсь однако къ скромной своей задачь— напомнить цвиное изъ пережитой нами эпохи бодрости духа. Полагаю, что какъ ин случайно оно по многимъ причинамъ и отрывочно по еще большему количеству причинъ, оно и теперь имъстъ свой смыслъ. Человъкъ прежде и послъ всего работникъ здъсь на землъ. Безъ работы опъ никому и ни для чего не нуженъ. Все сводится къ ней, ей только все должно служить, и даже наши страсти должны быть направлены такъ, чтобы сдълать трудъ человъка возможно болъе удовлетворительнымъ.

Воть простой и совершенно понятный теоретическій принципь шестидесятых годовь. Но, конечно, когда принципь переходить въ жизнь, онъ по необходимости становится уже, непримиримъе и враждебнъе, чъмъ прежде, относится къ другимъ принципамъ, стоящимъ у него поперекъ дороги. Сороковые годы и красотъ поклонялись, и мужику глубоко сострадали, шестидесятые — прежде всего рабочіе годы, и, какъ отъ таковыхъ, смъщно и странно требовать, чтобы они являлись передъ нами съ цитатами изъ Пушкина или Гюго на устахъ. Имъ было не до того: имъ надо было по краснвому и изящно нарисованному типу выстроить зданіе. Естественно, что пачкались въ пыли и мусоръ и, отброспвши комфортъ и эстетику, изо всъхъ силъ принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы къ человъку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его вмъстъ съ вами полюбоваться на голубое небо, на струю свътлой лазури и т. д. — вамъ придется услышать, въроитно, что-нибудь очень ръзкое.

Психологія торопливаго труда, труда, одушевленнаго во имя вполить ясно сознанной ціли, по вполить опреділенной программів, и притомъ неотложнаго,—такова исихологія шестидесятыхъ годовъ; другой нечего искать. И если кому не нравится, какъ люди работаютъ молоткомъ и топоромъ, тому

нечего читать шестидесятниковь, а следуеть обратиться къ совершенно другой эпохв. И такихъ эпохъ—достаточно.

Посмотрите, повторяю, на шестидесятые годы безъ предубъжденія, а такъ, какъ они могутъ представиться хладнокровному и даже незанитересованному наблюдателю, отбросьте въ сторону легенды о нигилистахъ, которыми васъ пугали въ детстве, и вы увидите прежде всего оживленную работу и своеобразную серьезность и идейность жизни. Передъ вами оживаеть целое поволение, ссли хотите не совсемъ "уклюжее", не совсемъ изящное, совершенно не созерцательное, — покольніе, на долю котораго выпала преимущественно черная работа —ликвидаціи кріпостного права и крепостных отношеній вообще. Ведь и Левь Толстой быль тогда мировымъ посредникомъ и училъ ребятишевъ въ яснополянской школъ. Другіе составляли справочныя книжки, энциклопедическіе словари, популяризпровали науку. Инженеру, проводящему жельзную дорогу, нътъ дъла до того, что ему придется срубить въковой дубъ, подъ съяью котораго еще вчера цъловались влюбленные, или что онъ, прорывъ канаву, испортитъ чудный видъ п остановить журчанье ручейка. Съ этой точки зрвнія шестидесятники относились къ красоте и чистому искусству. То и другое они заменили "обществомъ", общественными вопросами, ответственностью человека передъ себѣ подобными и т. д. Имъ положительно некогда было штудировать философскія системы, Петрарку п Пушкина, Тассо и Гегеля, --- имъ надо было разрѣшить, и не припципіально, а подробно и практически, вопросъ о нормѣ надъла, присяжныхъ и т. д.

Всю эту черную, подготовительную работу они сделали-и вдругь оть нась видять одну неблагодарность. За что? За то, что были въ поту и съ мозолями на рукахъ. Работа, тъмъ болъе торопливая и черная, всегда развиваеть въ человъкъ своего рода ригоризмъ. Сосредоточенный, винмательный работникъ всегда кажется дилетанту и ограниченнымъ, и узкимъ, потому, что ему, этому сосредоточенному и внимательному работнику, не всегда есть время и охота погрустить о роковой тайнъ бытія и пр. Этотъ рабочій, трудовой ригоризиъ очень характеренъ для шестидесятыхъ годовъ. Вы его найдете и у Чернышевскаго, и у Добролюбова, и у Писарева. ну. а второстепенные д'вятели доводили его до крайности и подчасъ прямо бранились, когда имъ очень ужъ надобдали эстетикой. По части манеръ и пріятнаго обхожденія — туть действительно есть недочеть. Журнальныя статьи того времени зачастую писались съ плеча, фразы подбирались ръзкія, быющія, то п дело вставлялись, для украшенія стиля, слова очень ръшительныя... Но въдь тогда было не до пріятнаго обхожденія -- это вопервыхъ, а во-вторыхъ, --- соединить въ себ'в сразу и чернорабочаго, и джентльмена подъ сплу очень немногимъ. Прямолинейность въ довершение всего ---

ошибка, а не преступленіе, п наша обязанность — указывать ошибкя, крайности, увлеченія, но не винить.

Многія "ошибки", по тщательномъ разсмотрѣніи, могуть, вѣроятно, оказаться очень простительными. Возьмите, напр., отношеніе шестидесятыхъ годовъ къ наукѣ вообще, естествознавію въ частности. И той, и другимъ увлекались. Лучшія, серьезнѣйшія вещи читались, перечитывались не только спеціалистами, а просто интеллигентными людьми. Мы далеки отъ такой научности и еще дальше отъ попытокъ и стремленія перестронтъ жизнь на научномъ основаніи. Л. Толстой, напр., прямо презираетъ медицину, а къ естествознанію относится очень скептически. Но работникъ такъ смотрѣть на дѣло не можетъ. Каждый его шагъ, каждое его соприкосновеніе съ дѣйствительностью убѣждаютъ его, что единственная опора труда—это знаніе, что чѣмъ это знаніе ближе къ основнымъ потребностямъ жизни, тѣмъ оно полезнѣе. Отсюда восторгъ передъ естествознаніемъ.

Благодаря отсутствію научнаго анализа, къ движенію шестидесятыхъ годовъ преобладаетъ отрицательное отношеніе, даже въ тёхъ случаяхъ, когда н'ётъ прямой злобы и ненависти. Подчасъ подсмёнваются и улыбаются, какъ улыбается челов'єкъ, значительно одряхл'явшій, съ усталымъ сердцемъ и пустой жизнью, смотря на свой портретъ, снятый въ юности, когда онъ страдалъ, любилъ и верилъ. Что-то скорбное есть въ этой улыбкъ, и намъ пора отд'ёлаться отъ нея.

Человъкъ— работникъ. Это конечно. Но еще красивъе, когда онъ работникъ, върующій въ безусловную нужность своего дъла. А тогда было много такихъ на сценъ, и странно, что эпоха, изображаемая въ нашихъ полулегендахъ мрачной, была въ сущности полна жизнерадостности. Кто, какъ не препсиолненный жизнерадостности и въры человъкъ, могъ написатъ такія вотъ воистину руководящія строки объ эстетическихъ отношеніяхъ нскусства къ дъйствительности:

"Самое общее изъ того, что мило человъку, и самое милое ему па свътъ—жизнь; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотълось бы ему вести, какую любить онъ; —потомъ и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить: все живое уже по самой природъ своей ужасается погибели, небытія и любитъ жизнь. И кажется, что опредъленіс: "прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тогъ предметъ, который выказываетъ въ себъ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни", —кажется, что это опредъленіе удовлетвотворительно объясняеть всъ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго."

Это удивительно характерныя строки, въ которыхъ схвачена суть настроснія, номогшаго людямъ совершить діла, представляющіяся намъ почти что чудодъйственными, — отдълаться отъ кръпостного права и поставить жизнь на другой, болъе правпльный и шпрокій путь. Это настроеніе, несмотря на свою поразительную трезвость, повторяю, красиво, потому что человъкъ говорить вамъ отъ своей силы и бодрости, а не своего безсплія и пригнетенности.

Прицомните главныя литературныя произведенія того времени, его критику и беллетристику, и прежде всего вамъ опять-таки бросится въ глаза. ихъ въ высокой степени жизнерадостное и боевое настроеніе. Закрывая, напр., "Что делать?"—читатель не ощущаеть не только грусти, но и мечтательной задумчивости. Онъ совершенно спокоенъ за участь запитересовавшихъ его людей, потому что онъ знаетъ, что они носители бодраго и върующаго духа, и что этотъ духъ вынесеть много такихъ испытаній, которыя разбили бы другой, бол е слабый. Даже такая неудача, какъ измъна любимой женщины, не ставитъ этихъ людей втупикъ, не заставляеть ихъ растеряться: они думаютъ, что есть выходъ даже изъ этого положенія и что земля відь не клиномъ сошлась на одной Въръ Павловиъ. Они разсуждали такъ: человъкъ созданъ не для эгопстического наслажденія, а для работы, но такъ какъ эгонстическія наслажденія, поднимая жизненную энергію, содъйствують усившности работы, то они законны и необходимы. Величайшимъ изъ этихъ наслажденій для огромнаго большинства людей является любовь. Она двигасть и вдохновляеть трудь. Но любовь безь взаимности, безь полной своей удовлетворенности становится изъ благод втельной злой сплой. Надо встии способами бороться противъ этого, такъ какъ единственняя задача разума въ дъль устроенія жизин заключается въ томъ, чтобы заставить страсти служить питересамъ труда. Только тогда можно будеть достигнуть наибольшей напряженности работы и наибольшей успъшности ея результатовъ. Все работа, все для нея и во имя ея. Она святая святыхъ жизни и молитва человъка. И когда она является полнымъ и свободнымъ проявленіемъ всехъ его силь, когда въ ней онъ успеваеть выразить себя целикомъ, тогда только наступаетъ счастье, которое возможно и достижимо.

Въ такомъ взглядъ навсегда лучие всего, конечно, отразилось боевое настроение эпохи. Это упоение борьбы и борьбы удачной, это ликующее чувство при видъ разрушенныхъ идоловъ, это гимнъ радости по поводу того, что жизнь признала человъка въ человъкъ и открыла ему пути для свободной дъятельности. Это естественная въ то время въра въ свои сплы и жестокая насмъшка надъ прежними учениями, которыя хотъли лишь смирения и покорности отъ человъка, того, чтобы онъ безропотно выносилъ всъ тягости жизни, всю ея неправду и не смълъ бы возвышать голоса въ защиту себя и близкихъ своихъ. Человъкъ просто какъ человъкъ имъетъ право на все, на счастье и радость столько же, сколько на свъжий воз-

духъ, пищу и питье. Осуществляя, путемъ работы, въ жизни свои пдсалы счастья и радости, человъкъ исполняетъ человъческое...

Но уже у Чернышевскаго было предчувствіе, что борьба потребуеть напряженія всёхъ силь, потребуеть самопожертвованія и жертвъ, жертвъ безъ конца. Онъ создаль фигуру своего Рахметова. Не предчувствіе даже, а полное и ясное пониманіе мрачныхъ дней грядущаго вы видите у Добролюбова. Не на радости и не па счастье призываеть онъ людей, а на подвигь, на суровыя лишенія.

Чемъ дальше, темъ больше выясняется призывъ Добролюбова, заглушенный сначала общимъ ликованіемъ. Сначала опешпившее и растерявшееся темное царство оправляется. Лозунгъ "прекрасное есть жизнь" и "жизнь можетъ быть прекрасной для всехъ", сменяется другимъ: "жизнь это борьба во имя долга и борьба суровля, страшная"...

Еще объ одной характерной черть времени.

Бывають эпохи, какъ это всякому извъстио, когда общество состопть пзъ личностей особенно пластичныхъ, особенно воспріимчивыхъ, налсту схватывающихъ новыя въянія; бывають эпохи гораздо болье тяжелыя и скучныя—личности нелегки на подъемъ и глухи ко всему, что не носитъ на себъ печати старины. Значеніе внъшнихъ условій ничуть отъ этого не умаляется; такъ какъ степени воспріимчивости и глухоты могутъ быть очень различны.

Шестидесятые годы были движеніемъ массовымъ, движеніемъ, охватившимъ значительную часть общества и пропикшимъ въ такіе уголки, что просто приходится днву даваться, какъ это такъ могло произойти. Другой разъ недостаточно десяти томовъ капитальнъйшаго научнаго изслъдованія, чтобы убъдить въ чемъ-нибудь человъка; тогда было довольно одного слова, одного намека. Почему? Для этого была подготовлена почва. Но отвътить такъ—значить ровно ничего не отвътвть.

Пластичность и воспріничивость людей шестидесятых годовъ різко бросаются въ глаза, какъ только начинаешь знакомиться съ большимъ числомъ біографій людей этого времени. Мысли и уб'єжденія хватались тогда налету съ такою же нетерп'єливой страстностью, такою же удивительной торопливостью, кавъ это было, скажемъ, въ иныя эпохи французской или и'ємецкой исторіи. Эта "физіологическая" сторона историческихъ явленій разработана такъ мало, что гораздо легче указать на нее, ч'ємъ разъяснить. А между т'ємъ странно было бы отрицать ея значеніе, еще странн'єе отрицать фактъ ея существованія.

С. В. Ковалевская въ своихъ въ высшей степени любопытныхъ литературныхъ воспоминаніяхъ разсказываетъ о томъ переполохѣ, который произошелъ въ ихъ уѣздѣ при заревѣ шестидесятыхъ годовъ.

"Жили себъ,—читаемъ мы, --жители Палибина мирно и тихо: росли и старились, ссорились и мирились другъ съ другомъ; ради препрово жденія времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи и того или другого научнаго открытія, вполив убъжденные однако, что всв эти вопросы принадлежать чуждому, удаленному отъ нихъ міру и никогда непосредственнаго соприкосновенія съ ихъ обыденной жизнью имъть не будуть. И вдругь, откуда ни возьмись, совсемъ рядомъ съ ними объявились признаки какого-то страннаго броженія, которое несомнівню подступало все ближе и ближе и грозило подточиться подъ самый строй ихъ тихой, натріархальной жизни. И не только съ одной какой-нибудь стороны грозила опасность; она шла какъ будто разомъ, отовсюду. Можно сказать, что въ этотъ промежутокъ времени, отъ начала 60-хъ до начала 70-хъ годовъ, всъ интеллигентные слои русскаго общества были заняты только одвимъ вопросомъ: семейнымъ разладомъ между старыми и молодыми. О какой дворянской семь в ни спросишь въ то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились съ дътьми. И не изъ-за какихъ-нибуль вещественныхъ, матеріальныхъ причинъ возникали ссоры. а единственно изъ-за вопросовъ често теоретического, абстрактного характера. "Не сошлись убъжденіями", -- вотъ только и всего, но это "только" вполнъ достаточно, чтобы заставить дътей побросать родителей, а родителей-отречься отъ дътей. "Дътьми", особенно дъвушками, овладъла въ то время словно эпидемія какая-то-убъгать изъ родительскаго дома. Въ нашемъ непосредственномъ сосъдствъ, пока еще Богъ миловалъ, все обстояло благополучно, но изъ другихъ мъстъ уже приходили слухи: то у того, то у другого помъщика убъжала дочь, которая за границу -учиться, которая въ Петербургъ---къ "нигилистамъ".

Самъ Писаревъ разсказываеть намъ въ своихъ воспоминанияхъ слъдующее:

"Уже въ 1858 и 1859 гг. студенты, поступившіе въ университеть, не были похожи на насъ, студентовъ III и IV курсовъ. Поступая въ университеть, мы были робки, склонны къ благоговънію, расположены смотръть на лекціи и слова профессоровъ, какъ на пищу духовную и какъ на манну небесную. Новые студенты, напротивъ того, были смълы и развязны и оперялись чрезвычайно быстро, такъ что черезъ какіе-нибудь два мъсяца послъ поступленія они оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дъльные вопросы и серьезные споры. Они затъвали концерты въ пользу бъдныхъ студентовъ, они приглашали профессоровъ читать публичныя лекціи для той же благотворительной цели, они устроили студенческую библіотеку, а мы старые студенты, считавшіе себя цвътомъ университета и солью русской аемли, мы остались въ сторонъ, изобразили на лицахъ своихъ недовъріе и пронію и стали повторять стихъ Грибовдова: "шумите вы и только". Но скоро оказалось, что иронія наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и успъшно; оказалось, что движеніе и жизнь пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ."

А въдь всего-на-всего прошло 2 года... Но, подхваченные массовымъ одушевлениемъ, — люди формировались очень быстро, иногда даже неожиданно для самихъ себя.

Совершенно о томъ же самомъ говоритъ намъ и біографія Добролюбова. Очень тихій, вдумчивый и глубоко религіозный мальчикъ почти что вдругъ, даже безъ видимаго вившияго толчка, становится въ ряды отрицателей и превращается въ непримиримаго и даже мстительнаго борца за свою правду и во имя своихъ нравственныхъ требованій. И было бы клеветой подумать, что такое быстрое обращеніе было легкомысленнымъ и поверхностнымъ. Напротивъ, оно охватило всего человъка и перевернуло весь его духовный строй.

Не буду умножать примъровъ. Достаточно сказать, что призывной голосъ времени услышали и люди уже пожилые, сформировавшіеся въ совершенно другой обстановит и при другомъ общественномъ настроеніи. Но и они не могли устоять противъ необычной атмосферы, противъ ея возбуждающаго вліянія. И имъ захотълось общественной самодъятельности, активнаго участія въ борьбъ. Да, это было странное, полное неотразимаго призыва время.

При переходъ отъ литературы 40-хъ годовъ къ литературъ 60-хъ вы чувствуете такую разницу въ тонъ, идеяхъ, настроеніяхъ, что если бы не звено — Вълинскій, такъ странно соединившій въ себ'в барина и разночинца, эстетика в поклонинка пользы, --- вы бы сказали, что имъете дъло съ литературой другого народа. Однако это литература только другого класса общества. Идеалисть и теоретикъ баринъ 40-хъ годовъ уступилъ мъсто нителлигенту разночинцу. Отвлеченная этика, стержнемъ которой была идея личнаго самосовершенствованія, уступила м'єсто этик' утилитарной; красота была отодвинута на второй планъ-пользой; вопросы отвлеченно философскіе уступили мъсто-чисто практическимъ и т. д. Призванный къ жизни разночнецъ задавалъ тонъ всему, и больше, — онъ действительно былъ руководителемъ эпохи. Онъ внесъ въ свою работу свою философію, свое міросозерцаніе; въ свои вагляды -- совершенно понятное нетерп'яливое желаніе овладеть жизнью и ся благами-наукой, искусствомъ, обезпеченностью (для себя и другихъ, конечно), которые еще наканунъ казались ему чёмъ-то недостижнимымъ. Онъ внесъ и раздражение противъ вчерашнихъ господъ, передъ которыни онъ долженъ былъ такъ долго молчать. Его любовь къ обездоленному и униженному собрату была равносильна его ненависти къ тому, кто обездоливалъ, развращалъ и унижалъ. Часто онъ просто истилъ, темъ более что виделъ, что врагъ, хотя и сбитый съ позиціи, все еще живъ и надъется рано или ноздно восторжествовать. И онъ торопился въ своихъ презрительныхъ и, увы, совершенио заслуженныхъ, гитвныхъ насмъпкахъ пзлить накиптвиную злобу и отомстить за свое вынужденное раньше молчаніс. Вотъ основы его міросозерцанія:

- 1) Матеріализмъ въ философіи. Въ жизип человька и общества все просто объясняется сстественно-механическими законами. Все матерія. Вні этого нечего пскать. Всякое псканіе безплодно и даже вредно, такъ какъ отвлекаеть человька отъ общественныхъ задачъ. Матеріализмъ вообще боевой кличъ эпохи въ ея схваткахъ съ оффиціальнымъ спиритуализмомъ.
- 2) Утилитаризмъ въ этикъ. Главная сила человъка въ его разумъ, разсудкъ. Путемъ науки, знанія онъ достигаетъ побъды надъ природой и собственнаго благополучія и счастья. Но собственное благополучіе и счастье возможно лишь при счасть всъхъ. Поэтому санкціей нравственности должна быть польза общества и сгремленіе къ такому его состоянію, которое обезпечиваетъ для каждаго равную долю въ пользованіи жизненными благами.
- 3) Утплитаризмъ въ искусствъ. Роль искусства подчиненная. Самостоятельнаго значенія оно не имъетъ. Оно одинаково должно служить счастью всъхъ. Единственный псточникъ прекраснаго—жизнь, дъйствительность. Всякое ен украшеніе, всякая неосуществимая мечта вредна, потому что прежде всего надо сосредоточнть всъ силы людей на устройствъ земного благополучія. Въ литературъ 60-хъ годовъ слышится даже "вопіяніе" противъ красоты, которая отвлекаетъ человъка отъ его прямыхъ земныхъ задачъ.

Однако все это временное, случайное, историческими обстоятельствами вызываемое и исчезающее вивств съ ними. Но вотъ святое и въчное подъ этой случайной оболочкой: уваженіе къ достопиству человъка какъ человъка, каковъ бы онъ по своему происхожденію не былъ, — признаніе полнаго равенства и полной равноправности между людьми во всей совокупности общественныхъ отношеній. И все это слилось въ одномъ маленькомъ и даже чуждомъ для насъ словъ — эмансипація. Это ключъ къ пониманію эпохи. Эмансиппровались крестьянинъ отъ помъщика, женщина отъ семейной кабалы, гражданинъ отъ государства, мысль отъ преданій и кумировъ прошлаго. Былъ порывъ, была страсть, было вдохновеніе. И въ этомъ красота эпохи, несмотря на грубоватую и часто неуклюжую форму.

Мив кажется такъ: въ любую историческую эпоху въ человвисствв и обществъ-огромный, даже безгранпиный запасъ силы. Много талантовъ, даже геніевъ, много самыхъ разнообразныхъ дарованій, много также честныхъ и безкорыстныхъ замысловъ. Но все это находится лишь "въ возможности"; большая часть гибистъ въ самомъ зародышь; другая выбираетъ себъ неправильный путь и теряется, заблудившись; третья далеко не развертывастъ всей своей силы и ограничивается первыми ступенями,

и т. д. И. разумъется, чъмъ жизнь инчтожнъе, скудиъе — тъмъ больше этихъ безполезныхъ жертвъ, этихъ даромъ разселянныхъ силъ, этихъ не проявившихся дарованій. Даже наша русская исторія можеть доставить положительно любопытную иллюстрацію этой мысли, и говоря такъ, я, разум'вется, нм'ью въ виду две рядомъ стоящія эпохи-эпоху 1848—1855 и затемъ 1855-1863 гг. На сценъ, собственно говоря, тъ же люди и то же покольніе, ть же Ростовцевы, Самарины, Арцимовичи, Кавелины, ть же Хомяковъ и Аксаковъ и даже тотъ же Червышевскій и тоть же Герцевъ. Но до 55--56 года никто изъ нихъ не находилъ настоящаго. нужнаго слова или высказываль его такъ робко, что оно терялось и замирало въ окружающей мертвой жизпи, какъ въ глухомъ лъсу. Но измънилось настроеніе высшихъ сферъ, произошла крымская война, люди поняли, что идея освобожденія созр'вла, что она жвзненно оправдывается и потребностями государства, - и вм'всто бутурлинскаго комитета; передъ нами комиссія освобожденія крестьянь, комиссія о новыхь судахь, земствъ и т. д., и т. д., -- передъ нами, словомъ, краспвая и бурная эпоха 60-хъ годовъ. Красивая совствъ не потому, что создала какія-нибудь особенныя художественныя произведенія, паобрёла оригинальныя философскія системы, а потому, что жизнь расширилась, пдейно разбогатела, и ей понадобились люди, ей понадобилось человъческое творчество. Вотъ въ чемъ красота. Вчера ненужные, ипытыть не признанные, загнанные куда-то въ уголъ таланты и дарованія, люди свободной мысли вдругь оказались на первыхъ мъстахъ, а все эти человъки въ футляръ, все эти жрецы и холоны жестокой и формальной правды, оказались не у дълъ.

Намъ надо однако внимательные присмотрыться къ герою эпохи—разночинцу, смынившему барина-идеалиста. Тымъ болье, что споръ между этими двумя типами не законченъ, и спитезъ, сдинение ихъ взглядовъ не найденъ.

Разночинецъ. Вѣдь это не Богь знаетъ какая прелесть п какое совершенство, вѣдь чаще всего, это человѣкъ, измученный и загрязненный жизнью (напр., алкоголизмъ Рѣшетникова, Н. Успенскаго, Щапова, Помяловскаго, Левптова п т. д.)—обыкновенно еще до начала своей литературной дѣятельности жестоко растерзанный всякими и, въ большинствѣ случаевъ, дѣйствительно ужасными обстоятельствами, какъ нищета, бурса, пьянство. Часто это человѣкъ полуграмотный, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, едва преодолѣвшій азы. Въ смыслѣ образованія, начитанности, дисциплины мысли это —за рѣдкими, хотя и крупными исключеніями — совсѣмъ пичтожество передъ человѣкомъ 40-ыхъ годовъ. Однако, временно по крайней мѣрѣ, побѣда была на его сторонѣ и пменно въ той области, гдѣ образованіе, начитавность, дисциплина мысли пмѣютъ такое важное значеніе. Мнѣ ду-

мается, что причина этого въ томъ, что баринъ-ндеалисть сильно чувствоваль, разночинень сильно хотьль. Воль же, хотьню всегда принадзежить въ жизни первенствующая роль. Баринъ-идеалистъ сильно чувствоваль и художественно созерцаль. Въ этомъ его неотъемлемая заслуга. Онъ сильно чувствоваль мерзость и пошлость жизни, безправное положение народной массы, красоту человъческой свободы и независимости, --- это чувствование преобразовывалось въ его душт какъ художественное воспріятіе, было почвой для идеала. Но чего онъ хотълъ? Всегс? да. Ничего? тоже да. Онъ хотель очень и очень многаго, но где тоть элементь его настроенія, который помогь бы хотвию обратиться въ факть жизни? Такого элемента не было. После иннуты страстнаго хотенія, наступало полное разочарованіе, и все, вся жизнь представлядась дыномъ, а все усилія людей — скачками земляныхъ блохъ. Не было "свинца" въ хотвији, не было упрямства, настойчивости, непримиренности. Выло иного капризнаго, еще больше словеснаго. Исихологія нашего барина-идеалиста въ значительной степени психологія пресыщенности и необходимыхъ при ней меланхоліи и разочарованности. Такими богатыми, но обреченными натурами, какъ Тургеневъ и Герценъ, жизнь слишкомъ даже щедро иллюстрировала эту элементарную истину. Что такое пресыщенность -- дело известное. При ней въ міръ своихъ чувствованій человъкъ быстро можеть дойти до высшей точки кипівнія, но-уви!- -такъ же быстро и остываеть онъ. Только что будущее расцветнлось всеми цветами радуги, только что показалось оно самымъ дорогимъ и цівнымъ, какъ сейчасъ же нахлынуло въ душу что-то . новое, и мечта утеряла свой блескъ, будущее — свою привлекательность. Все погрузилось въ сърые тусклые будни. Наслъдственно усталые нервы отказываются поддерживать чувство на прежней высоть, и оно падаеть въ глубь, въ отрицаніе самого себя настолько же, насколько прежде высоко поднялось. Никакого упорства, никакой действительной силы хотвыя. Дилетантизиъ чувства, столько же, сколько дилетантизиъ мысли.

Но возвращаюсь къ разночинцу.

Разночинецъ голоденъ. Голодъ можно понимать буквально, какъ голодъ физическій (былъ и такой),—но, върнъе, что на первомъ планъ былъ голодъ духовный. Долгое время содержимый въ черномъ тълъ, встръчая передъ собой большею частью запертыя дверп, не находя доступа къ вліянію на общество, видя близкихъ своихъ въ кабалъ и приниженности—разночинецъ вздыхалъ. Даже въ литературъ, гдъ существовалъ своего рода табель о рангахъ, гдъ на разночинца косились какъ на рагчепи, или попросту проходимца, гдъ заклевали Полевого за его "купечество", гдъ исключеніе, да и то съ оговорками, было сдълано для одного Вълинскаго—разночинецъ чувствовалъ себя въ значительной степени чужимъ. Тамъ, въ выс-

шихъ сферахъ, по крайней мёр'ё требовалось столько красоты, изящества, такой преданности интересамъ отвлеченной философіи, что удовлетворить этимъ требованіямъ онъ не могъ. Тонъ литературі 50-хъ годовъ задаваль Тургеневъ. Поставьте теперь рядомъ съ этой благообразной, съ головы до ногъ барской фигурой какого-нибудь коряжистаго Рашетникова и вы увидите, что Ръметникову до того момента, какъ на сцену выступили практические вопросы, когда понадобилась правда и только правда, а искусство заменилось доломо-настоящаго места въ литературе не было: онъ могъ говорить лишь, и это безъ всякихъ прикрасъ, о гнов и язвахъ жизни. Но вотъ голодному, алкавшему и для себя, и для другихъ всякихъ благъ жизни, разночинцу была предоставлена возможность и право высказаться. Въ экзотическую, созданную бариномъ культуру, которая дълала для человъка возножнымъ послъ восторговъ передъ Жоржъ-Зандъ идти въ ломбардъ закладывать крестьянъ-онъ вступилъ варваровъ. Но хорошій это быль варварь съ здоровыми чувствами, съ здоровымъ, хотя часто злымъ и мстительнымъ, настроеніемъ. Изъ дебрей и трясинъ жизни принесъ онъ ничемъ неприкрашенные разсказы о страданіи массы, ея голоде, нищеть, невъжествъ, разсказы такіе же сухіе, лишь ужасомъ фактовъ своихъ поражающіе, какъ судебные отчеты. Но онъ сказаль еще, что эта воть сврая масса хочеть жить и всячески ищеть путей для своихъ мечтаній. Какъ же удовлетворить это котвије жизни, какъ облегчить исканје путей? Развочинецъ весь отдался этому вопросу, а по дорогь, не безъ злобы и раздраженія, разбиваль барскіе кумиры, временно ему ненужные, разбиваль ихъ съ суровымъ фанатизмомъ протестанта, вопіяль противъ красоты, противъ соблазновъ художественнаго творчества, отвлекавшихъ человъка отъ дъла-и не столько не понималь, сколько боялся цвътовъ поэзін, созданій искусства, ихъ притягивающаго и одуряющаго аромата. Наука, внаніе, какъ средство наилучшаго воздействія на практическую жизнь, стальной скальпель, а не скальпель діалектическій, анатомія организмовъ, а не силлогизмовъ-вотъ что объщало ему побъду. И опъ склонился передъ этимъ новымъ, но уже своимъ кумиромъ!

Этой своей работь онъ призаль особую окраску страстнаго увлеченія на почвы практическихы интересовы и отомщенія не лицамы, конечно, а всему прошлому, старобарской культуры, которая какы бы воплотилась для него вы образы лишняго человыка, вы образы Рудина, быть можеты, и любившаго вы идей массу, но чуждаго ей и инчего для нея не дылавшаго. Масса же была истиннымы предметомы заботы разночища. Но что нужно массы? Вещи самыя простыя и понятныя: 1) обезпеченность; 2) просвыщеніе; 3) независимость оты произвола. Поэтому:

Трезвый реализмъ-вотъ что характерно для 60-ыхъ годовъ. Разночинецъ

не хотълъ уходить съ земли, онъ жилъ цъликомъ ея интересами, заботами, ея думами о счасть Въ элементарной грубоватой формъ эту земную основу идеализма выразилъ Ръшетниковъ, сказавъ: человъкъ созданъ для того, чтобы самому себъ добывать пропитание, а такъ какъ человъку нужно для этого немного, то онъ былъ бы виолит доволенъ и спокоенъ, если бы его не обижали тъ, кому хочется жить въ свое удовольствие. Но не то же ли самое сказалъ и Добролюбовъ или Чернышевский своими картинами семейнаго счастья Лопухова и Кирсанова, или Помяловский своимъ "Молотовымъ" и "Мъщанскимъ счастьемъ"? Не трезвый ли реализмъ слышите вы въ проповъди пользы, полезнаго, этой проповъди, которая такъ назойливо даже наполняетъ собой журналистику? Но рядомъ съ этимъ безмърность хотънія, проявившаяся въ мечтахъ о счасть всъхъ, о водвореніи на землъ фаланстеровъ и кооперацій, въ настойчивомъ вопрость о томъ, когда же придетъ настоящій день?

Трезвый реализмъ 60-хъ годовъ заключается въ пониманіи, какъ велико значеніе въ жизни человъка матеріальныхъ, экономическихъ условій; весь идеализмъ въ въръ, что назначеніе человъка—безконечное, непрестанное развитіе, полное развертываніе всъхъ его духовныхъ и физическихъ силъ. Экономическое благосостояніе — первая ступень, а дальше недосягаемый идеалъ совершенства...

Литература записокъ и писемъ, какъ предисловіе къ литературъ 60-хъ г.г. собственно.

Я сказаль выше, что 60-е годы — суровые рабочіе годы, вид'явшіе сиыслъ жизни только въ работв и только въ ней одной. Въ передовоиъ дагер'в все служело этой центральной идев, все даже пригонялось къ Аей. Возьмете ли вы критику, публицистику, философію-везд'в и повсюду тотъ же взглядъ на человъка, какъ на носителя трудового начала, та же оцънка его съ точки зрвнія пользы, которую онъ приносить обществу. И это была проповедь совершенно прямолинейная, безъ какихъ-нибудь поблажекъ и уклоненій въ сторону. И ясно, что такая пропов'ядь могла появиться, пользоваться успекомъ и находить себе самоотверженных поклонниковъ лишь въ эпоху повышеннаго общественнаго настроенія. А что оно дівствительно было-это несомивно, особенно если вы знакомитесь по подлиненивь документамъ конца 50-хъ и начала шестидесятыхъ годовъ. Кто же создалъ его? Что толчокъ быль данъ правительствомъ-спорять объ этомъ трудно, по общество радостно подхватило его и заволновалось, сначала робко и неувтренно относясь къ новому курсу, а заттив все сплытье и восторженнъе. Отдъльныя слова, случайные циркуляры, слухи о подаяныхъ н

принятыхъ запискахъ, объ отставкѣ какого-нибудь важнаго и наканунѣ еще всемогущаго лица (напр., Клейнинхеля), о тостахъ въ честь "общественнаго миѣнія", какъ извѣстный тостъ К. Аксакова и пр. и пр.—все это поддерживало общественное возбужденіе. Скоро подошли разговоры и разсужденія о предстоящей отмѣнѣ крѣпостного права и заняли первое мѣсто. Приходится удивляться, какъ малымъ были довольны люди первое время, и какъ быстро росли ихъ желанія. Надо, впрочемъ, замѣтить, что всѣ эти желанія направлялись въ одну сторону—сторону общественной самодѣятельности. Но вначалѣ помыслы были въ высшей степени умѣренны, и люди приходили въ восторгь отъ мелочей...

Первымъ пришлось порадоваться славянофиламъ. Въ царствованіе Николая І-го ихъ дъйствительно преследовали, заставили черезъ полицію сбрить бороду, перемънить сорочку на ивмецкое платье и не печатать ничего. Теперь вопросъ о русскомъ плать быль рышень въ пріятномъ . для самолюбія смысль. "Говорять, Государь сказаль о бородь въ отвыть на вопросъ о бородъ и русскомъ платъъ вообще: А миъ какое дъло? Пусть одповоются, како хотято". Эти слова, облетьли, конечно, всв дворлискія угодья, и тамъ возликовали, какъ ликують дети. Хомяковъ писаль: "Зявсь всв радуются проявленію стремленія къ народному и русскому. Освобождение отъ наружнаго подражания важно, какъ знамя, вызывающее освобождение мысли, какъ вызовъ къ самомышлению". К. Аксаковъ съ удовольствіемъ сообщаеть, что "камергеровъ персименовывають въ стольниковъ, камеръ-юнкеровъ въ ключниковъ". Кошелевъ писалъ Погодину: дскажу вамъ радость: въ Сапожковскомъ убадъ начинають носить русское платье". На эту тему сочинялись целыя диссертаціи. Выли и другіе слухи, болъе существенные, но все изъ одинаково необычныхъ и совершенно невозможныхъ какіе-нибудь місяцы назадъ вещахъ. "Государь намітренъ лично слушать докладъ только министровъ Двора, Финансовъ и Военнаго, а прочіе будуть докладывать Комитету и Государственному Сов'єту". "Преслъдование раскольниковъ прекращено". "Императрица подарила Тютчевой Маколея". Странно, что изъ того же славянофильскаго лагеря вышли двъ вещи большого литературно-общественнаго интереса, которыя лишь недавно увидели светь. Это записка о Царевомъ времени М. П. Погодина, знаменитаго редактора "Москвитянина", и тоже записка К. Аксакова. Вотъ что инсалъ Погодинъ (Апрель, 1855).

"Время царское дороже всего. Оно должно быть сберегаемо и соблюдаемо до послъдней минуты, для ръшенія важнъйшихъ вопросовъ государственныхъ, для размышленія о существенныхъ предметахъ управленія. Занимать свъткостями и подробностями, развлекать формами и церемоніями—есть величайшее гражданское преступленіе.

"Петръ I, отличавшійся отъ природы особенной дівятельностію, и работавшій во всю жизнь отъ утра до вечера, жаловался часто на недостатокъ времени. А у него въ управленіи было только десять милліоновъ. Теперь Русское государство считаетъ до семидесяти милліоновъ жителей, следовательно, число дель умножилось всемеро, по естественному приращенію народонаселенія, въ семьдесять разъ по вновь возникшимъ разнообразнымъ отношеніямъ между гражданами, не имъющимъ сравненія съ прежними. Въ такой же соразм'врности всв діла стали сложнъе и труднъе для ръшенія. Войско Петра I едва равнялось одному нынъшнему отдъльному корпусу. Что такое была торговля, внъшняя и внутренняя, финансовая часть при немъ, и что онъ при насъ. О печати ему нечего было почти думать, между тъмъ какъ для современнаго государя печать есть одинъ изъ самыхъ важныхъ предметовъ заботы. Сравните число служащихъ чиновниковъ, которыхъ надо руководствовать, наблюдать, награждать и наказывать. А донесенія объ особыхъ происшествіяхъ со всъхъ концовъ Имперіи, оффиціальные пріемы, осмотры, путешествія, проекты, доносы, жалобы, мевнія. Присоедините множество дълъ, назову ихъ искусственными, -- дълъ пустыхъ и ничтожныхъ, коимъ придается иногла важность для полученія лишней аудіенціи, для сообщенія докладу разительности, при чемъ запутываются понятія, в должны напрягаться умственныя способности, съ заблужденіемъ часто въ награду.

"Мы не говорили еще о внёшнихъ отношеніяхъ, кои ограничивались при Петрів I, сосівдними государствами. Нынів къ Русскому царю везутся депеши изъ всівхъ пяти частей світа, изъ Европы и Азіи, Африки, Америки и Австраліи. Политика отдаленнійшихъ государствъ, со всіми ея превратностями, связь ихъ между собою, требуютъ неусыпнаго вниманія. До какихъ же колоссальныхъ разміровъ достигло количество діль, повергаемыхъ на высочайшее возгрівніе, утвержденіе. Мысль цівпеніють.

"Есть ли физическая, не только умственная возможность заниматься ими, съ перерывами и отвлеченіями, еще болъе тягостными, безъ противуестественнаго напряженія, безъ неизбъжнаго утомленія, безъ разслабленія всъхъ силъ, иногда медленнаго, но всегда гибельнаго, не зародивъ во глубинъ своего сердца этого страшнаго внутренняго червя тоски, досады, неудовольствія, который подточить самое кръпкое тълесное здоровье и истомить самую твердую душу? Какое зръніе не притупится оть однихъ взглядовъ, бросаемыхъ по заказу на всю эту пестроту?"

Далже Погодинъ говоритъ о томъ, какія бы дѣла могъ взять на себя Государственный Совѣтъ. Но вотъ, вѣроятно, самыя любопытныя и сиѣлыя строки, за которыя въ эпоху Николая авторъ ихъ прослылъ бы декабристомъ со всѣми послѣдствіями для такого званія: "Надо опредѣлить, въ какой степени можетъ быть допущена гласность въ видахъ предохраненія правигельственныхъ и прочихъ рѣшеній отъ пропзвольности и учрежденія подъ ними новой необходимой инстанціи—бдительнаго общественнаго миѣнія, безъ котораго самому правительству остается часто бродить во тьмѣ"...

"Государь получить такимъ образомъ возможность посвящать полное вниманіе на діла, достойныя его высокаго сана"-заканчиваеть Погодинъ тогь самый Погодинь, который раньше занимался исключительно сочиненіемъ докладныхъ записокъ о своей благонамъренности. Очевидно, что если человъкъ можетъ красить время, то еще больше время можетъ красить человека. Записка, повидимому, довольно свободно обращалась въ обществъ и заинтересовала собою многихъ. Читая ее теперь и зная, къмъ н чёмъ былъ Погодинъ, невольно думаешь: "воистину горы тронулись съ мъста!" На ту же тему-желанія нъкоторой общественной самостоятельности, писалъ и К. Аксаковъ, высказывая въ запискъ "О внутреннемъ состоянін Россів" свои излюбленныя уже изв'ястныя намъ мысли (смотри стр. 95) о томъ, что прусскій народъ никогда не стремился принять участіе въдълахъ государственныхъ... но желаеть вполнъ жить своей правственной христіанской жизнью... При этомъ развитін духовнаго начала онъ не хотълъ ограниченія въ своей жизни семейной и домашней... Пари русскіе до Петра благопріятствовали развитію жизни народной, но Петръ... наложиль руку на народъ, на святилище жизни семейной, на все, чемъ дорожить въ человекте память его сердца... Увлекаясь жаждой перемень, Преобразователь принуждаль черезъ полицію ходить въ ассамблен, брить бороды, носить кафтанъ нѣмецкій. Со времени его уже болье не созывались земскіе соборы... Нынь земскіе соборы созывать невозможно, но въ необходимыхъ случаяхъ полезно было бы совъщаться съ сословіями по предметамъ непосредственно ихъ касающимся".

"Насчетъ народа, предоставить лицамъ всъхъ сословій полную свободу въ ихъ частной жизни, не стъсняя ихъ никакими ограниченіями. Пускай всякій занимается дъломъ по своей наклонности, живетъ, гдъ заблагоразсудитъ, ъздитъ, куда хочетъ, одъвается, какъ ему вздумается, и все это дълаетъ безпрепятственно, пока дъйствія его не прэтивны существующимъ узаконеніямъ. Вмъшательство во внутреннюю жизнь народа, не принося никакой пользы правительству, производитъ неудовольствіе и даже негодованіе. Свободу слова и письма подчинить благоразумному контролю относительно вопросовъ, касающихся въры, верховной власти и нравственности, допуская, во всякомъ случаъ, благонамъренное сужденіе о всъхъ мърахъ и дъйствіяхъ правительственныхъ и другихъ, относящихся до народнаго благосостоянія".

И въ этой запискъ, и въ томъ, что ее обсуждали, повинны, конечно, все тъ же слухи о новыхъ въяніяхъ. Люди ловили слова и намеки на новое, что должно было замънить собою утомительную тяготу предыдущаго режима, и откликались на этотъ тогда еще неоформленный призывъ всъмъ, что было лучшаго въ нихъ. Слухи росли и ширились, переходили въ факты. Циркуляръ В. Кн. Константина, требовавшій правды отъ оффи-

ціальныхъ отчетовъ—правда, скоро отобранный, вызвалъ огромное впечатлівніе. Нельзя было не порадоваться разрішенію издать сочиненія Гоголя "безъ всякихъ помарокъ и изміненій". Даже такой фактъ комментировали на всі лады.

"Разсказываютъ еще, что недавно будто бы въ какомъ-то отелъ собрались студенты, потребовали особую комнату и хотъли покутить. Къ нимъ привязался шпіонъ и такъ приставалъ, что они есо вытолкали и заперлись на ключъ. Изъ этого возникло дъло, доложили царю, что дескать задумывали юноши заговоръ и т. д. На это послъдовало ръшеніе весьма мудрое: Не видно еще заговора въ томъ, когда люди не хотъли кутить при постороннемъ, особливо котораго они считали шпіономъ, потому что очень свойственно желать друзьямъ и пріятелямъ пировать и бесъдовать между собою безъ свидътелей."

Во всей этой радости, особенно въ первыхъ ея проявленіяхъ, конечно, не мало ребяческаго и дътскаго, напоминавшаго ликованіе и даже иллюминаціи петербуржцевъ по поводу разръшенія носить круглыя шляпы послъ смерти Павла Петровича,—но есть туть кое-что и серьезное. Кавелинъ превосходно отмътилъ эту стор ну въ одномъ изъ самыхъ прочувствованныхъ и горячихъ писемъ:

"Здъсь, въ Петербургъ, общественное миъніе расправляетъ все болъе и болъе крылья. Нельзя и узнать больше этого караванъ сарая солдатизма, и невъжества. Все говорить, все толкуеть вкось и вкривь, иногда и глупо, а все-таки толкуеть и чрезъ это, разумъется, учится. Если лътъ пять-шесть такъ продлится, общественное мні ніе, мотучее и просвъщенное, сложится, и позоръ недавняго еще безголовья хоть немного изгладится. Можетъ быть, и не слъдуеть, и еще рано, и сще глупо въ мои лъта, а я не на шутку начинаю сердцемъ привязываться къ нынъшнему царю, который... дълаетъ умно, и котораго доброе, исполненное върнаго чутья сердце мало-по-малу выводить насъ изъ работы египетской. Дай-то Боже, чтобъ хватило у него силъ на благо... Меня также въ ужасъ приводитъ, что когда вымрутъ последніе Александровскіе, ни одной головы не останется. Повърьте, что я не преувеличиваю и говорю, къ сожалънію, какъ по писанному, ибо полътлазами у меня происходитъ: какъ только намордники свалились, старичье разболталось, и тутъ-то вы видите всю разницу между поколъніемъ Александровскимъ и солдатами и писарями.... Не Богъ знаетъ какъ густы графъ Киселевъ и Блудовъ, а я просто боюсь, когда вспоминаю, что имъ обоимъ за семьдесять, за ними идуть Долгорукіе, Норовы, Броки, Панины, Анненковы, Ростовцевы. Побывайте въ кухиъ, гдъ готовятся государственныя міры и законы, да послушайте этихъ господъ и васъ страхъ возьметъ; нътъ, лучше мужикъ изъ-за сохи, лучше торгашъ базарный, чемъ эти.... годные только на мелкія интрижки... потерявшіе изъ-за нихъ простой здравый смыслъ, которымъ русскіе люди одарены такъ богато."

Къ этому быстро присоединилось и женское движеніе. Началось оно, положимъ, раньше во время увлеченія Жоржъ Зандъ и ея романами (въ сороковыхъ годахъ), но только геперь, связанное съ другимъ болье могущественнымъ общественнымъ движеніемъ перешло въ жизнь и заставило счигаться съ собой, какъ чёмъ-то реальнымъ. У него нашлись свои подвижники и подвижницы свои рыцари, какъ Михайловъ, С. Шашковъ, свои беллетристы, какъ Авдъевъ. Брошюра Милля объ эмансинаціи была, разумьется, настольной книгой для всвхъ передовыхъ людей. Прежнія требованія или лучше сказать пожеланія, не выходившія за предоставленіе женщинамъ нъкоторой свободы въ ихъ домашней обстановкъ или интимныхъ отношеніяхъ— отвътомъ на которыя и являлись такія вещи, какъ "Поленька Саксъ" Дружинина,— смънились стремленіемъ къ полной равноправности въ области общественной и экономической и встръчали большое сочувствіе. И опять это женское движеніе впадало въ то же русло, которое вело къ отрицанію прошлаго и полному разрыву съ нимъ.

Еще два слова о литературъ записовъ, чтобы покончить съ ней. Уже въ 1855 г. Кавелинъ писалъ Погодину:

"Я, съ своей стороны, убъжденъ и сердцемъ, и умомъ, и всъмъ моимъ существомъ, что изъ всъхъ вопросовъ, -- вопросъ, изъ всъхъ золъ, -ало, изъ всъхъ несчастій нашихъ, --несчастье есть кръпостное право. Не то, чтобъ мало было у насъ худого и отвратительнаго и безъ того, но все, что вы ни возьмете, прицадлено къ этому коренному злу и легко измънится къ лучшему, когда его не будетъ. Отгого-то, только что царствованіе смінилось, я сталь писать объ этомъ предметь большую статью въ примирительномъ тонъ, съ одною мыслью свести всъхъ къ соглашенію, а не къ враждъ; я живо представилъ себъ,--что бы я сталъ говорить, если бъ былъ закоренълый помъщикъ, и чего бы потребовалъ, и такъ далъе, старался войти въ мысль мужика и правительства. Плодомъ этого была большая статья, больше въ видъ программы съ доводами и разсужденіями, въ которой говорится: о вредв отъ крыпостного права, хозяйственномъ или экономическомъ, нравственномъ, политическомъ. Историческій взглядъ, предлагается общій планъ освобожденія выкупомъ съ владъемою крестьянами землею по существующимъ цънамъ, посредствомъ банковъ, съ уплатою крестьянами выкупной суммы въ теченіе тридцати семи лізть, и наконецъ разныя приготовительныя и косвенныя м'тры. По примирительному своему характеру, она принята даже самыми закорузлыми и деревянными помъщиками весьма хорошо, была уже и находится: у графа Киселева, у великаго князя Константина, у товарища министра Внутреннихъ Делъ. Есть надежда довести до царицы. Здесь я важу, читаю, толкую и разжевываю, сколько понимаю діло, и, кажется, не безъ успівха; скучновато подчасъ.... Но что

дълать. Это служба и служба прямая родинъ, дъло любви, святъйшая изъ святъйшихъ обязанностей."

Я отмътиль это письмо Кавелина, потому что въ немъ лучше всего сознаніе важности исходнаго и даже центральнаго пункта движенія шестидесятыхъ годовъ—т. е. освобожденія крестьянъ. Въ сочувствін ему, въ признаніи его необходимости и сошлись, и разночинецъ, и баринъ. Но дальше этого дороги ихъ разошлись, и они перестали понимать другь друга. На сцену явились чрезмърность стремленій и чрезмърность требованій. "Умственное волненіе было тогда чрезвычайное; вст вопросы поднимались съ самаго корня, ръшались, переръшались и опять поднимались. Знакомые, не видъвшіе другь друга годъ или два, встрічались между собой съ горячими и жадными вопросами: "пу что, къ чему вы пришли? На чемъ вы теперь остановились?" Едва ли когда повторится въ такихъ разытрахъ эта лихорадка мысли...

Журналистика 60-хъ годовъ.

Но всё эти слухи, всё эти неясные намеки и надежды на новый курсъ должны были наконецъ сгруппироваться возлё одного какого-нибудь центра, сосредоточиться на немъ по взаимному согласію возможно большаго числа людей и преобразоваться въ опредёленную, оформленную задачу передъ обществомъ. Этимъ центромъ и этой задачей оказался, какъ и слёдовало ожидать, вопросъ о крёпостномъ правё. Въ свою очередь, литература записокъ и писемъ, въ которой чувствуется серьезное и искренее возбужденіе, должна была найти себё новое русло, выйти изъ сферы частныхъ кружковъ, гостиныхъ и застольныхъ и явиться передъ всёмъ обществомъ, говоря ему понятнымъ и доступнымъ языкомъ. Это исполнила знаменитая журналистика, къ разсмотрёнію которой мнё и надо теперь перейти.

Начну съ любопытной страницы изъ "Воспоминаній" Шелгунова:

"Еще никогда не бывало въ Россіи такой массы листковъ, газетъ и журналовъ, какая явилась въ 1856—58 гг. Изданія появлялись какъ грибы, котя точнёе было бы сказать, какъ водяные пузыри въ дождь, погому что какъ много ихъ появлялось, такъ же много и исчезало. Одними объявленіями объ изданіяхъ можно было окленть башню московскаго Ивана Великаго. Изданія были всевозможныхъ фасоновъ, размъровъ и направленій, большія и матыя, дешевыя и дорогія, серьезныя и юмористическія, литературныя и научныя, политическія и вовсе неполитическія. Появлялись даже летучіе уличные листки. Вся печать съ оффиціальной доходила до 250 изданій".

"Тогда, правда, и время было такое, — читаемъ ны въ другомъ мѣстѣ, что на пиру русской природы первое мѣсто принадлежало литератору. Никогда, ни раньше ни послъ, литераторъ не занималъ у насъ въ Россіи такого почетнаго мъста. Когда на литературныхъ вечерахъ впервые является на эстраде писатель, пользовавшійся симпатіями публики, стонъ стояль отъ криковъ, восторга и аплодисментовъ и стучанья стульями и каблуками. Это былъ не энтузіазиъ, а какое-то бъснованіе, но совершенно върно выражавшее то воодушевленіе, которое вызываль писатель въ публикъ. И, дъйствительно, между темъ временемъ, когда можно было разсказывать и все верили, что Пушкина высъкли за какое-то стпхотвореніе, и 60-ми годами легла уже целая пропасть. Теперь писатель всталь сразу на какую-то недосягаемую высоту. Въ умчавшуюся пору, когда, по общему межнію, Пушкинаможно было выстчь, писатель не нитлъ корней въ обществт и по своимъ интересамъ былъ для общества недосягаемъ. Поэть и беллетристь услаждали тогда липь праздный досугь, доставляли занимательное чтеніе, а вкусы и требованія были еще настолько неразвиты, что изв'єстной части образованной публики трагедін Варкова были понятніве и выше "Полтавы" Пушкина. Въ шестидесятыхъ годахъ, точно чудомъ какимъ-то, создался внезапно совствить новый, небывалый читатель съ общественными чувствами, общественными мыслями и интересами, желавшій думать объ общественных делахь, желавшій научиться тому, что онъ хотель знать. Когда можно высечь Пушкина, у насъ была только литература. Сенковскій ув'єрялъ, что у насъ была тогда не литература, а только книжная торговля; теперь же явилась печать, т. е. литература общественно-воспитательная, литература поучающая и учащая, а писатель, какъ творецъ этой литературы, сталъ общественнымъ учителемъ, воспитателемъ и пророкомъ, открывавшимъ горизонты будущаго, указывавшимъ идеалы и цели стремленіямъ. Отношенія между читателемъ и писателемъ установились теперь вполнъ практическія, осязательныя, такъ сказать, земныя, утилитарныя; инсатель пересталь только развлекать праздный досугь, онъ сталь наставникомъ и учителемъ общественнаго строительства. Словомъ, когда весь успъхъ реформъ зависълъ отъ общественнаго развитія, нельзя было не ставить высоко техъ, кто творилъ это развитие."

Роль писателя была настолько живая и привлекательная, что было бы странно, если бы талантъ не соблазнился ею.

"Главными мъстами изданій, —продолжаетъ Шелгуновъ, —какъ и главными очагами русской мысли, были Москва и Петербургъ. Въ петербургскихъ изданіяхъ слъдилось пренмущественно за интересами дня, за тъмъ, что дълалось въ русскомъ міръ, за вопросами, которые намъчались и разръшались. Петербургская печать была передовымъ и главнымъ боевымъ полкомъ. Она стремилась руководить и не однимъ общественнымъ миъніемъ, и ставила иногда вопросы, если не опережавшіе правительственную мысль, то пытавшіеся расчистить ей путь и въ дъйстви-

тельности его расчищавшіе. Москва больше теорезировала и углублялась въ основы русскаго духа. Какъ только явилась большая свобода, и повъяло духомъ перемънъ, Москва принялась издавать славянофильскіе и полу-славянофильскіе органы, объявила войну исторіи Запада и Петру Великому (конечно, вмъстъ съ Петербургомъ), и въ поддержку "Русской Бесъды" Кошелева явился "Парусъ" Ив. Аксакова. Но та же Москва создала и солидный органъ на западно-европейской подкладкъ—"Русскій Въстникъ", основанный въ 1856 г. въ умъренно-либеральномъ направленіи и сразу завоевавшій популярность интересомъ и дъльностью содержанія.... Въ Москвъ же издавался тогда критическій органъ "Московское Обозрѣніе", въ которомъ участвовали только безыменные сотрудники, поставившіе себъ задачей полную свободу и независимость отъ авторитетовъ.

"Но умственный центръ былъ не въ "сердцъ" Россіи, а въ ел головъ—въ Петербургъ, гдъ началъ издаваться и занялъ первое мъсто между журналами "Современникъ". За "Современникомъ" стояли "Отечественныя Записки" и "Библютека для чтенія". Петербургъ не уступилъ Москвъ, а превзошелъ ее обиліемъ и разнообразіемъ новыхъ органовъ. Въ Петербургъ явился "Экономическій Указатель", проповъдывавшій свободу торговли, неограниченную конкуренцію и личную поземельнную собственность; "Искра", юмористическій и сатирическій журналъ, основанный В. Курочкинымъ съ цълой компаніей поэтовъ и юмористовъ; "Русскій Дневникъ" Павла Мельникова, а въ 1858 г. "Русское Слово" графа Кушелева".

При первомъ же взглядъ на литературу 60-хъ годовъ для каждаго очевидно, что журналистика преобладала. И дъйствительно, она играла руководящую роль. Преобладающій ея характеръ былъ критически-обличительный. Обличительная литература одно сремя выражала собою сущность настроенія эпохи. Она развилась съ легкой руки Щедрина и его замѣчательныхъ "Губернскихъ очерковъ", закръпилась "Свисткомъ" Добролюбова, имъла спеціальное свое мъстопребываніе въ "Искръ" Курочкина, вообще же вездъ и повсюду являлась на первомъ планъ. Оно и понятно, если взять во вниманіе настроеніе эпохи, которая первой своей задачей ставила ръшительное свое желаніе освободиться отъ всего стараго и обновиться съ головы до ногъ во имя новаго и несомнънно европейски-новаго.

"Современникъ". Основанный Некрасовымъ и Панаевымъ еще 1847 г. онъ, благодаря участію Бѣлинскаго, быстро занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ литературѣ, но особеннаго значенія не имѣлъ. Скорая смерть Бѣлинскаго (1848), а главное бутурлинскій комитетъ и невозможная для мысли удушливая атмосфера приснопамятнаго семилѣтія (1848—1855) позволяли лишь влачить существованіе, сосредочивъ всѣ заботы на "интересности". Но съ но-

вымъ духомъ, пов'явшимъ въ жизии, "Современникъ" переродился и вспомнилъ, что онъ журналъ Бълинскаго. Онъ сталъ Современникомъ своихъ дней въ полномъ смыслъ этого слова, выразителемъ самыхъ смълыхъ и затаенныхъ думъ своей эпохи, самымъ отзывчивымъ ея органомъ. На его страницахъ вы найдете отражение всего, что волновало людей сорокъ леть тому назадъ, заставляло ихъ любить, ненавидёть, надёяться или приходить въ отчаяніе. Здісь всі шерековатости стиля, вси грубость и блескъ полемики - такъ характерные для того времени, вся гамма общественнаго настроенія отъ первыхъ глухихъ и робкихъ нотъ первыхъ упованій до полныхъ самоув'вренных аккордовъ людей, думавшскъ, что они изъ глупой Россіи сделали уже Россію умной, наъ Россіи молчаливой—Россію говорящую. Здізсь напечатаны лучшіе стихи Некрасова, здісь прошла вся діятельность Добролюбова и почти вся Чернышевскаго--здесь, словомъ, главный умственный центръ эпохи. Успъхъ журнала быль поразителенъ; его читали вездъ, гдъ думали, а его редакторовъ-Некрасова и Чернышевскаго, почти боготворили. Насъ "Современникъ" можетъ интересовать только какъ характерный памятникъ эпохи, какъ выразитель ея правды, ошибокъ и увлеченій... Что дълать, habent sua fata libelli — родятся и умирають, и сегодия живыя, полныя огня, страсти и волненій страницы завтра уже угрюмо и скучно смотрять на насъ съ книжныхъ полокъ, не возбуждая ин любви, ни гитва.

Характеристику Некрасова, какъ поэта, читатель найдетъ ниже, теперь нъсколько словъ о томъ, чъмъ онъ былъ для "Современника". Прежде всего онъ былъ превосходнымъ редакторомъ, съ дъйствительно поразительной проницательностью разгадывавшій таланты и нужныхъ ему людей подъ какой бы непривлекательной внѣшностью они ни являлись къ нему. Онъ разгадалъ Чернышевскаго, Помяловскаго, Рѣшетникова, М. Михайлова, Елисѣева и т. д. Но онъ дѣлалъ еще больше и лучше: замѣтивъ, что человѣку есть что сказать, и что онъ можетъ высказать себя, онъ предоставлялъ ему полную свободу и уже не вмѣшивался въ его отдѣлъ. Противники Некрасова, которыхъ у него и теперь еще очень много, называютъ это ловкостью, а особенно отмѣчаютъ то искусство, съ какимъ онъ проводилъ свой журналъ сквозь цензурные рифы. Дѣло не въ имени, а ловкость въ хорошемъ дѣлѣ вещь хорошая, заслуживающая искренняго уваженія. Если мы скажемъ про кого: онъ ловко и умѣло сдѣлалъ многое—то развѣ это не похвала?

Какъ поэтъ, онъ въ "Современникъ" былъ прежде всего поэтомъ униженныхъ и оскорбленныхъ, воплотивъ ихъ въ образъ мужика. И и настаиваю на томъ, что онъ былъ искреннимъ поэтомъ, вдохновеннымъ защитникомъ слабаго.

"Онъ чувствовал себя хозяином скорбящаю народнаю царства, этихъ необозримо богатыхъ владъній для извлеченія изъ нихъ въ каждую минуту чего-нибудь ужасающаго для "сильныхъ міра". "Народъ безмол-

ствоваль", но это только придавало еще болве трагическій оттвнокъ пъснямъ Некрасова. Онъ увлекался своею миссіей, облагораживался въ ней, возвышался до голоса истиннаго гражданина, видълъ въ ней свою славу, свое искупленіе за какой-то гръхъ, на который содержатся горькіе, сдержанные памеки въ его поэзіи. Въ теченіе многихъ лътъ на глазахъ цълой Россіи развертывался этотъ романъ Некрасова съ народомъ. Поэзія была уже не только въ томъ, что онъ писалъ, но въ самой его роли, въ этой исторіи нераздъльной. болъзненной любви Некрасова къ народу. Такъ что, когда онъ умеръ, то его, издавна уже избалованнаго богатствомъ, несмътная толпа хоронила со слезами, какъ страдальца за народъ и убогихъ."

И овъ несомивно быль имъ, быль именно страдальцемъ и жалътелемъ, изъ обстановки личной жизни почерпавшимъ толчки и стимулъ къ дъйствительно страстному состраданію и жальнію.

Пока довольно о Некрасовъ. О Чернышевском в надо сказать много больше, потому что онъ воистину "центральный" человъкъ. Жалъю только, что не могу сообщить ничего изъ его біографіи, кром'є двухъ, трехъ чисто вефшнихъ фактовъ. Но внутренняя интимная жизнь этого замфчательнаго журналиста совершенно скрыта отъ насъ. Ни одной подробности, ни одного письма не появилось въ печати, и мы знаемъ только, что сынъ богатаго саратовскаго протопопа, Чернышевскій родился въ 1828 году, получиль сначала домашнее воспитаніе, затымъ поступиль въ семинарію, гдв блестяще окончиль курсь, но оттуда по обычной для поповичей дорогь не пошель, а отправился въ Петербургъ, въ университетъ. Здъсь его выдающіяся способности обратили на себя общее вниманіе, и онъ, получивши дипломъ историко-филологическаго факультета, быль оставлень для приготовленія къ канедръ. Но изъ этого не вышло ничего, такъ какъ его диссертамія "Эстетическія отношенія искусства къ действительности" не была утверждена министромъ народнаго просвъщенія Норовымъ. Чернышевскій занялся журналистикой, и съ 1853 года мы видимъ его уже сотрудникомъ "Современника", гдъ онъ скоро напечаталъ два обширныхъ трактата: "Очерки Гоголевскаго періода русской литературы" и "Лесснигь и его время". "Очерки Гоголевскаго періода" были чемъ-то совершенно новымъ, такъ какъ, строго говоря, это восхваленіе, признаніе и защита Б'ялинскаго, котораго Чернышевскій, впрочемъ, не называеть: съ точки зрівнія цензуры того времени, Вълинскій быль чемъ-то вь роде государственнаго преступника, которому лишь преждевременная, хотя и безъ заранте обдуманнаго намтренія, смерть помъшала понести заслуженную кару. Чернышевскій на все критико-философское движение до Бълинскаго смотрить, какъ на подготовку его дъятельности, и ясно высказывается, что мы обязаны продолжать начатое великимъ критикомъ.

Съ вовымъ духомъ и съ переходомъ изъ критическаго отдела въ публицистическій, Чернышевскій заняль первое місто вь текущей журналистикъ, и слава его выросла до огромныхъ разифровъ. Съ нимъ считались даже высшія сферы, министры (напр., Норовъ) принимали его у себя на раутахъ, интеллигенція считала его главой освободительнаго движенія. Работаль онь массу, при чемъ главный предметь его работь быль, разумъется, крестьянскій вопросъ. Туть замечательны его статьи: "Критика фидософскихъ предупрежденій противъ общиннаго землевладінія" и "О необходимости держаться умфренныхъ цифръ при определении величины выкупа". Поливе всего его міросозерцаніе высказалось въ статьв "Антропологическій принципъ философін". Много занимался онъ также популяризаціей историческихъ знаній и несомнівню, что это онъ привиль къ русскому мышленію политико-экономическую точку зрвнія (особенно переводами и примъчаніями къ "Основаніямъ" Милля). Слава и значеніе, и еще что-то темное и страшное, неясное и невыясненное не прошли ему даромъ. Арестованный въ 1862 году, онъ былъ сосланъ сначала на каторгу въ Александровскій заводъ, оттуда на поселеніе въ Вилюйскъ. Возвращенный въ 1883 году онъ съ совершенно разстроеннымъ здоровьемъ жилъ въ Саратовъ и умеръ въ 1889 году. Кромъ этихъ фактовъ и его статей изъ "Современника" -- его жизнь легенда.

Журналистомъ онъ быль замъчательнымъ по темпераменту, настроенію по огромному литературному таланту. Въ пріемахъ публицистики, въ его краткихъ молніеносныхъ фразахъ, гдф слышится то страсть, то негодованіе, то ядовитый саркязив, вы слышите боевой призывъ въ освобожденію отъ стараго, дореформеннаго, къ полной перестройкъ жизни. Его мысль отличалась прямоленейностью, часто предумышленной, высказанной нарочно, съ заранъе обдуманнымъ намъреніемъ, чтобы читатель не увлекался въ сторону, не путался ни въ діалектическихъ, ни въ схоластическихъ тонкостяхъ, а зналъ бы одно и одно: что онъ не читатель, не мыслитель, а прежде всего работнико во имя общаго блага и радости. Каждой своей статьей онь указываль путь къ живой работь, какъ любили тогда выражаться, и поэтому самымъ характернымъ его произведениемъ является его романъ "Что дълать?". Онъ комментировалъ Милля, полемизировалъ съ Юркевичемъ и со всей русской журналистикой, соблазиялъ идеаломъ Фурье все съ одной и той же целью создать сдиную всероссійскую партію интеллигентныхъ работниковъ, которая не позволила бы молодому, только что проснувшенуся обществу погрузиться въ прежнюю спячку, уже невозможную теперь, когда даровой мужнцкій трудъ ушель въ область преданія, и чувствуется полное обновленіе всіхъ сторонъ жизни, всего міросозерцанія.

Вначаль (до появленія на сцену Добролюбова) Чернышевскій выстуналъ прежде всего, какъ литературный критикъ и историкъ литературы. Решительно нельзя отказать ему въ вритической проницательности, лучшимъ доказательствомъ. чему могутъ служить хотя бы его отзывы о Толстомъ и Островскомъ. Имъя въ своемъ распоряжении лишь "Дътство и Отрочество" и "Военные разсказы", онъ дълаеть о талантъ Толстого иного, дъйствительно, остроумныхъ и глубокихъ замъчаній. Напр.: "Вниманіе графа Толстого болье всего обращено на то, какъ однъ чувства и мысли развиваются изъ другихъ, ему интересно наблюдать накъ чувство, непосредственно возникающее изъ даннаго положенія или впечатлівнія, подчиняясь вліянію воспомиваній и силь сочетаній, представляемых воображеніемь, переходить въ другія чувства, снова возвращается къ прежней исхолной точкі и опять и опять странствуеть, изміняясь по всей ціпи воспоминаній; какъ мысль, рожденная первынъ ощущеніемъ, ведеть къ другамъ мыслямь, увлекается дальше и дальше, сливаеть грезы съ действительностью, мечты о будущемъ съ рефлексіею о настоящемъ... Гр. Толстого занимаеть всего болъе самъ психическій процессь, его формы, его законы, діалектика души, чтобы выразиться опреділительнымъ терминомъ"... Или: "есть живописцы, которые знаменяты искусствомъ уловлять мерцающее отраженіе луны на быстро катящихся волнахъ, трепетаніе цвъта на шелестящихъ листьяхъ, переливы его на изивичивыхъ очертаніяхъ облаковъ: о нихъ по преимуществу говорятъ, что они умъютъ уловлять жизнь природы. Нечто подобное делаеть Толстой относительно таниственнейшихъ движеній психической жизни. Въ этомъ состоитъ, какъ намъ кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Изъ встять замізчательных русских писателей онъ одинъ мастеръ на это дело". Нечего и говорить, что Чернышевскій привътствуетъ выступление Толстого на литературное поприще, называетъ его "прекрасной надождой нашей литературы" и заканчиваеть свою статью, написанную въ 1856 г. словами: "мы предсказываемъ, что все, данное донын'в графомъ Толстымъ нашей литератур'в, только залоги того, что совершить онъ впоследствін, но какъ богаты и прекрасны эти залоги!" Въ Островскомъ Чернышевскій признаваль огромный таланть и въ то же время онъ понималь, что этоть таланть совершенно чуждый и "Современнику", и западничеству, что истриныя симпатіи великаго драматурга на сторонъ патріархальной русской жизни, ея старыхъ родовыхъ устоевъ. Опять-таки тоть же Чернышевскій среди общихь восторговь публики и критики и нацерскоръ имъ поставилъ на свое мъсто Авдъева, Евг. Туръ и т. д. Но главная его заслуга заключается, какъ я думаю, въ томъ, что овъ съ увлечениемъ и большимъ знаниемъ дъла напомнилъ Вълинскаго, передъ которымъ онъ преклонился, и далъ связный очеркъ русской дитературы и особенно русской журналистики, въ своихъ "Очеркахъ Гоголевскаго періода". Туть журналистика впервые разсматривается, такъ выраженіе общественной мысли, какъ общественная сила и общественное служсеніе. Свои теоретическіе взгляды на искусство Чернышевскій высказаль въ своей неодобренной министерствой диссертаціи "Эстетическія отношенія искусства къ дъйствительности". Въ высшей степени любопытно вспомнить, что видъли въ этой работь наиболье чуткіе изъ современниковъ. Обращаюсь поэтому къ "Воспоминаніямъ" Шелгунова:

"Умственное направление шестидесятыхъ годовъ (я говорю преимущественно о литературномъ движеніи мысли), выразившееся наиболѣе ярко съ 1859 по 1862 годъ, создалось не въ эти годы. Оно проходить черезъ цълый рядъ годовъ и въ первый разъ въ своемъ зачаточномъ видъ было провозглашено въ 1855 году на публичномъ диспутъ въ петербургскомъ университеть. Я говорю о публичной защить Чегнышевскимъ его диссертацін; О эстетических отношеніях искусства къ дъйствительности. Задолго до публичной защиты о ней было уже извъстно въ кружкахъ, болъе близкихъ къ автору.... Небольшая аудиторія, отведенная для диспута, была биткомъ набита слушателями. Тутъ были и студенты, но кажется было больше постороннихъ, офицеровъ и статской молодежи. Тесно было очень, такъ что слушатели стояли на окнахъ. Я тоже быль въ числъ этихъ.... Чернышевскій защищаль диссертацію съ своей обычной скромностью, но съ твердостью непоколебимаго убъжденія. Послі диспута Плетневъ (предсівдательствовавшій) обратился къ Чернышевскому съ такимъ замъчаніемъ: "Кажется, я на лекціяхъ читалъ вамъ совсёмъ не это!" И действительно, Плетневъ читалъ не то, а то, что онъ читалъ, было бы не въ состояніи привести публику въ тотъ восторгъ, въ который ее привела диссертація. Въ ней было все ново и все заманчиво: и новыя мысли, и аргументація, и простота, и ясность изложенія. Но такъ на диссертацію смотръла только аудиторія, Плетневъ ограничился своимъ замвчаніемъ, обычнаго поздравле) нія не послідовало, а диссертація была положена подъ сукно.... Я напомню читателю главное содержание диссертации.

"Уваженіе къ дъйствительной жизни, недовърчивость къ апріористическимъ, котя бы и пріятнымъ для фантазіи гипотезамъ, — воть характеръ направленія, господствующаго нынъ въ наукъ; къ тому же знаменателю слъдуетъ привести и наши эстетическія убъжденія, — говорилъ молодой магистрантъ. — Наука о прекрасномъ, эстетика, имъетъ разумное право на существованіе только въ томъ случать, если прекрасное имъетъ самостоятельное значеніе, независимое отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. Здоровый человъкъ встртвчаетъ въ дъйствительности очень много такихъ предметовъ и явленій, смотря на которые не приходитъ ему въ голову желать, чтобы они были не такъ, какъ есть, или были лучше. Мнъніе, будто человъку непремънно нужно "совершенство", — мнъніе фантастическое, если подъ "совершенствомъ" понимать такой видъ предмета, который бы совмъщалъ всевозможныя достоинства и былъ чуждъ всъхъ недостатковъ. Прихотливая строгость

требованій ведеть только, къ праздности, холодности и пресыщенности. Русскія женшины не такъ красивы какъ итальянки, которыхъ рисовалъ Рафаэль, но какъ бы ни было велико наше недовольство этимъ, русскія женшины отъ него не похорошъють. Недовольство дъйствительностью совершенно безплодно и нельпо, когда оно обращено на красоту, и напротивъ того, оно необходимо когда направлено противъ житейскихъ неудобствъ, устроенныхъ умами и руками людей. "Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметь, который выказываеть въ себъ жизнь или напоминаеть намъ о жизни". Искусство не можетъ создавать такихъ чудесъ красоты, какихъ не бываеть въ дъйствительности, и оно должно воспроизводить дъйствительность, т. е. все то, что интересно для человъка въ жизни. Для чего же нужно это воспроизведеніе? А воть для чего. Потребность, рождающая искусство, въ эстетическомъ смыслъ слова (изящныя искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается въ портретной живописи. Портретъ пишется не потому, чтобы черты живого человъка не удовлетворяли насъ, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человъкъ, когда его нътъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нъкоторое понятіе тъмъ людямъ, которые не имъли случая его вильть. Искусство только напоминаеть намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до нъкоторой степени познакомить насъ съ тъми интересными сторонами жизни, которыхъ не имъли мы случая испытать или наблюдать въ дъйствительности. Содержаніе, достойное вниманія мыслящаго человъка, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто оно пустая забава, чъмъ оно и дъйствительно бываетъ чрезвычайно часто: художественная форма не спасеть отъ презрѣнія или сострадательной улыбки произведеніе искусства, если оно важностью своей идеи не въ состояніи дать отвъта на вопросъ: да стоило ли трудиться надъ такими пустяками? Безполезное не имъетъ права на уваженіе. Человъкъ самъ себъ цъль; но дъла человъка должны имъть цъль въ потребностяхъ человъка, а не въ самихъ себъ. Въ этомъ отношении чаще другихъ погръщали поэты. Привычка изображать любовь, любовь и въчно любовь заставляетъ поэтовъ забывать, что жизнь имъетъ другія стороны, гораздо болъе интересующія человъка; вообще вся поэзія и изображаемая въ ней жизнь принимаеть какой-то сантиментальный, розовый колорить; вмъсто серьезнаго изображенія человъческой жизни, произведенія искусства представляють какой-то слишкомъ юный взглядь на жизнь, и поэть является обыкновенно молодымъ, очень молодымъ юношею, котораго разсказы интересны только для людей того же нравственнаго или физіологическаго возраста. Наука не думаеть быть выше дъйствительности; это не стыдъ для нея. Искусство также не должно думать быть выше дъйствительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цъль ея-понять и объяснить дъиствительность, потомъ примънить къ пользъ человъчества свои объясненія; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его, - для вознагражденія человека, въ случав отсутствія полнъйшаго эстетическаго наслажденія, доставляемаго дъйствительностью, — воспроизвести, по мъръ силъ, ату драгоцънную дъйствительность и ко благу человъка объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначениемъ: въ случаъ отсутствия дъйствительности, быть нъкоторою замъною ея и быть для человъка учебникомъ жизни.

"Эти прекрасныя мысли, выраженныя съ такой страстной любовью къ людямъ, и до сихъ поръ дышать свъжестью и будять въ душъ благородныя чувства. Какой же увлекающей силой онъ явились тридцать лътъ назадъ! Это была цълая проповъдь гуманизма, цълое откровеніе любви къ человъчеству, на служеніе которому призывалось искусство. Вотъ въ чемъ заключалась влекущая сила этого новаго слова, приведшаго въ восторгъ всъхъ, кто былъ на диспуть, но не тронувшаго только Плетнева и засъдавшихъ съ нимъ профессоровъ. Плетневъ, гордившійся тъмъ, что онъ угадывалъ и поопірялъ новые таланты, тутъ не угадалъ и не прозрълъ ничего; онъ даже и не предчувствовалъ, что передъ нимъ возстала во всемъ своемъ будущемъ величіи новая идея, которой суждено овладъть всъмъ движеніемъ мысли и указать новый путь, которымъ и пойдетъ затъмъ наша литература и журналистика....

"Явись эта диссертація только шестью-семью годами раньше, когда кончаль Вълинскій и выступаль В. Майковъ, вліяніе ея, конечно, не перешло бы литературныхъ предвловъ. Но теперь было другое время, теперь мы ужъ узнали Севастополь. Общественное вниманіе, хотя и смутно, но уже устремилось къ оцвакъ дъйствительности. И моменть не могь быть выбранъ болье удачно, чтобы сказать обществу, что никакого другого дъла у него не можетъ и не должно быть, какъ только думать о своихъ дълахъ. Еще внушительные и необходимые было это указаніе для художниковъ слова, раньше не знавшихъ, о чемъ имъ слъдуетъ говорить; "говорите о жизни, и только о жизни, — возвъстилъ имъ одинъ изъ лучшихъ представителей своего времени, —отражайте дъйствительность, а если люди не живутъ по-человъчески, учите ихъ жить, рисуйте имъ картины жизни хорошихъ людей и благоустроенныхъ обществъ".

Я сомиваюсь, чтобы книга Чернышевскаго могла бы вызвать теперь хоть частицу восторговъ Шелгунова. Нечего и говорить, что область искусства шире, что никакихъ обязательствъ передъ обществомъ брать на себя оно не можеть, что заставить его отражать двйствительность, значить, въ сущности, упразднить его, что у него есть своя "красота", которой оно служило и служить, что по природъ своей оно романтично, а не натуралистично, что оно не только напоминаеть, а и ведеть, и радуеть, и печалить, что желанія, мечты, идеалы человъка, его скорбь и надежды такъ же для него дороги, какъ и дъйствительность—доставляющая лишь кирпичъ для его построекъ—но все это не можеть инсколько помъщать намъ признать интересъ и значеніе "Эстетическихъ отношевій". Туть разночинецъ впервые создаеть свою теорію искусства (чего не успъль сдълать Бълинскій) и его пользу для человъка, его служеніе обществу ставить верховнымъ принципомъ. Здъсъ полное опроверженіе эстетическихъ теорій Станкевича и его

кружка, теорій прекрасныхъ, но слишкомъ барскихъ, слишкомъ индивидуалистическихъ для новой эпохи.

Чънъ дальше, тънъ текущія событія, текущая жизнь получали все большее значение въ глазахъ Чернышевского. Въ концъ концовъ, онъ весь отдался ниъ съ тъмъ страстнымъ увлеченияъ, на которое была способна его глубокая натура. Онъ быль учителемъ и, конечно, въ извъстнемъ направленіи съ пдеаломъ общественной свободы и самод'яятельности, съ идеаломъ крестьянского матеріально и духовно-обезпеченного царства въ душть. Онъ весь ушель въ интересы дня, которые казались ему наибол ве удобными для осуществленія завітнівшихъ думъ. Первая и завітнівшая изъ этихъ думъ была полное отречение отъ дореформеннаго патріархальнаго строя, его ндеаловъ и его устоевъ. Поэтому вивсто нравственности, основанной на идев долга, онъ проповъдываль утилитаріанизмъ. "Добро, — говориль онъ, это польза для встхъ, по крайней мъръ, для большинства и если добро чтит-нибудь отличается от пользы, то развт темъ, что въ немъ съ особенной силой выдвинута черта постоянства, прочности, плодотворности съ наиболъе хорошими, долговременными и многочисленными результатами. Польза — качество поступка, добро — качество человъка, т. е. огромнаго ряда поступковъ. Добро -- это польза въ превосходной степени, это какъ будто очень полезная польза. Творя полезное и доброе, человъкъ дълаетъ пріятное себъ, осуществляеть идею своего личнаго счастья, но дъйствительно прочное, истинное счастье человъка возможно лишь при счастьъ вскіъ.

Нравственное ученіе Чернышевскаго построено исключительно на естественно-научных данных. Можно спросить себя, откуда такое уваженіе къ естественнымъ наукамъ, которыя объявлялись камнемъ краеугольнымъ всъхъ человъческихъ знаній вообще? Почему такъ дорожили открытіями Фохта, Бюхпера и Молешотта, почему ихъ сочиненія давались какъ первое, необходимое руководство всякому, желавшему, по терминологіи того времени, стать мыслящимъ субъектомъ? Почему, далье, даже такіе критики, какъ Писаревъ, считали популяризацію естествознанія едва ли не главной задачей своей работы? Мнъ кажется, что здъсь, въ этомъ фактъ, проявляется прежде всего стремленіе къ выработкъ яснаго и опредъленнаго міросозерцанія. Думали, что данныя естествознанія наиболье способны разрушить всъ предразсудки и порвать всякую связь человъка съ прошлымъ. Въдь собственно говоря, данныя изъ книгъ Молешотта и Бюхнера не имъли ровно никакого отношенія къ основнымъ задачамъ времени, тъмъ, которыя зажигали сердца, и едва ли существуетъ какая-нибудь дъйствитель-

ная связь между происхождением человька оть плышивой обезьяны и требованием самопожертвования въ пользу общества. Но все равно — люди искали безспорнаго и положительнаго и брались за первое, что попадалось имъ въ руки. Подъ влиниемъ Запада попалось естествознание.

"Въ движени 60-ыхъ годовъ, -- пишетъ г. Головинъ, -- была одна, такъ скавать, общечеловъческая черта, нъсколько приближавшая его къ раціонализму конца прошлаго въка въ Западной Европъ. Черта эта заключалась въ восторженномъ, даже въ страстномъ поклоненіи точному знанію, отъ котораго ожидалось не только расширеніе научнаго кругозора. но и нравственное обновленіе. Какъ разъ въ десятильтіе съ 50-го по 60-й годъ естественныя науки не только сдълали большіе успъхи сами по себъ, но проникли собою и своимъ методомъ чуждую имъ до того область обществознанія. Имена Фарадея, Гельмгольца, Тиндаля, Дарвина, Ляйеля, Вирхова, Гексли обозначають собою такой подъемъ естествовъдвнія, что за эту эпоху оно совершенно затмило собою прочія науки. тъмъ болъе, что, благодаря его методу изслъдованія, открылись новыя широкія гипотезы, совершенно изм'внявшія господствовавшее до того міросозерцаніе. Не фбращая вниманія на то, сколько въ этихъ гипотезахъ было сомнительнаго и недоказаннаго, масса читающей публики и на Западъ, и въ особенности у насъ ринулась на новые пути съ тъмъ большимъ довъріемъ, чъмъ менъе она была въ состояніи критически отнестись къ научнымъ догадкамъ. Съ этимъ расширеніемъ области естествовъдънія шла рука объ руку иная работа-нопытка распространить на ходъ развитія человъческихъ обществъ законы и методы естественныхъ наукъ, - объединить, такъ сказать, въ одно цълое всю природу, оть движенія небесныхъ тыль до ощущеній луши человыка. Понятно, что въ этой области, менъе доступной провъркъ опыта, было еще болъе мъста для фантазіи, лишь прикрытой именемъ науки, чъмъ въ области такъ называемыхъ точныхъ знаній. Строго говоря, новыя философскія ученія, получившія названія позитивизма, эволюціонизма, утилитаризма, были ученіями вполив матеріалистическими, такъ какъ они стремились подвести подъ одинъ уровень явленія физической и нравственной жизни. Отъ чистаго матеріализма ихъ отличалъ только способъ постановки вопроса -- именно отсутствіе какихъ-либо доктринальныхъ приананій единства матеріи и духа и допущенное ими симптоматическое различие между физическими процессами съ одной стороны и исихиче- . скими съ другой. Но едва ли будетъ ошибкою признать, что быстрая популярность, именно у насъ пріобрътенная именами Лекки, Милля, Литра, Бокля, Спенсера, была вызвана всего болъе сходствомъ ихъ выводовъ съ матеріалистическимъ ученіемъ."

Изученіе литературной дізятельности Чернышевскаго лучше всего показываеть, что матеріализмъ лишь вившняя форма, случайная одежда того быющаго черезъ край идеализма, который формулируется нами какъ движеніе 60-хъ годовъ. По интенсивности своего идеалистическаго порыва, по той самоотверженности, которую проявляли представители этого движе-

нія, по силѣ вѣры, вложенной въ него—оно можеть быть названо даже религіознымъ. Ибо такими словами, какъ общество, общественныя задачи, служеніе обществу, человѣкъ воистину не только малымъ разумомъ своимъ—разсудкомъ, но и большимъ разумомъ, т. е. всѣмъ своимъ существомъ, всей волей своей и своими стремленіями отвѣчалъ на страшный и таинственный вопросъ о смыслѣ жизни. Только для этого и стоитъ жить. И въ служеніи массѣ, еще вчера закабаленной, въ дѣятельности, которая приподнимала бы ея самосознаніе, заключался идеализмъ эполи.

Матеріалистическое міросозерцаніе было, повторяю, лишь оболочкой, одеждой истинной сущности движенія 60-хъ годовъ, было прежде всего протестомъ протявъ оффиціальнаго спиритуализма предшествовавшей эпохи. Разсулокъ, какъ верховный руководитель человека, польза, какъ конечная цъль его поступковъ, матеріальное благосостояніе, какъ необходимое и первое условіе жизни-все это, конечно, правственный матеріализмъ. Но не надо обманываться вившностью, не надо допускать, чтобы вивщность скрывала истинное содержание и значение вещей. Потому что этимъ истиннымъ содержаніемъ и значеніемъ были интересы массы. Воть они-то и придали совершенно особенный характеръ всему міросозерцанію. "Разсудокъ" "польза", "матеріальное благосостояніе" — все это узенькое, маленькое м'ьщанство, все это принципы, которымъ ничего не стонть опошлиться до pig's philosophy — философін свиного корыта. Но въ руслѣ этого узенькаго ившанства 60-ые годы пробыли, быть можеть, одинъ лишь день, или даже лишь случайно заглянули туда. Безмфриость желаній и стремленій русской интеллигенцін быстро оттіснили всі проявленія этого духа. Идеаль счастья становился все болъе отвлеченнымъ, идеалъ героизма и подвижничества все болье жизненнымъ. Но и раньше, и всегда было нъчто серьезно противо-мъщанское въ проповъди наиболъе мъщанскаго. Возьмите хоти бы ндею матеріальнаго благосостоянія. Естественно, что ее выставили на своемъ знамени люди, сами вышедшіе изъ массы, изъ среды тёхъ, кто жилъ "между нищими и средними". Имъ она была дорога, безконечно дороже, чъмъ, скажемъ, барину-идеалисту. Но въдь это матеріальное благосостояніе понималось не какъ конечная цъль, а лишь какъ необходимое условіе развитія, потому что нищета действительно душить и гадить человіка. И потомъ въ какихъ грандіозныхъ картинахъ рисовалось это общее матеріальное благосостояніе! Туть были и дворцы изъ агата и хрусталя, былъ общій земной праздникъ, была веселая земля, населенная веселыми людьжи, - приволье и радость разумно трудищихся работниковъ. Фурье никогда не возбуждаль такихъ восторговъ, какъ въ это время. -- Нътъ, это не такъ просто! Нравственный матеріализмъ есть нечто отвратительное, когда онъ соединенъ съ малостью и робостью духа и съ сухимъ эгонзмомъ натуры,

но не когда онъ является однивъ изъ рычаговъ для переоцънки нравственныхъ цънностей. А это-то и было въ 60-ые годы, которывъ надлежало переоцънить цънности, созданныя кръпостной эпохой.

Экономическія статьи Чернышевскаго были руководящими для журнала, п естественно, какой огромный интересъ возбуждали онт въ то время, когда мысль объ устройствъ крестьянскаго быта была у всъхъ на умъ, пугая однихъ или возбуждая — увы! — несбывшіяся мечты въ другихъ. Чернышевскій въ этихъ статьяхъ выступалъ съ совершенно опредъленными взглядами и требованіями, чтыть и обусловливается ихъ значеніе и ихъ историческая роль. Прекрасно начитанный по части западной экономической литературы, онъ ясно видътъ, что экономическая эволюція Россіи представляеть изъ себя нъкоторыя особенности, остальнымъ европейскимъ государствамъ или неизвъстныя или извъстныя очень мало, и понимая, что эти особенности, главной изъ которыхъ было существованіе общины, хороши съ точки зрънія экономической самостоятельности крестьянъ, естественно проповъдываль ихъ сохраненіе, поддержку и развитіе. Основную свою точку зрънія на крестьянскій вопросъ "Современникъ" выразилъ въ слъдующихъ словахъ:

"Фантазія—способность очень слабая, она не въ силахъ отдаляться отъ дъйствительности. Она не въ силахъ создать для своихъ картинъ ни одного элемента, кромп даваемых ей дъйствительностью. Въ дъйствительности по вопросу о пользованіи продуктомъ труда высшій элементъ, внакомый нашему воображенію — положеніе поселянина - собственника. Вст теоріи коренныхъ улучшеній человъческаго быта построены на этомъ понятіи. Со временемъ, конечно, будетъ представлять дъйствительность данныя для идеаловъ, болъе совершенныхъ, но теперь никто не въ силахъ отчетливымъ образомъ описать для другихъ или хотя бы представить самому себъ иное общественное устройство, которое имъло бы своимъ основаніемъ идеалъ болѣе высокій. Да, изъ этого скромнаго основанія возникають и эту скромную ціль преслідують всі такъ навываемыя утопін: дайте намь такой быть, вы которомь каждый человькы могь бы занимать положение поселянина-собственника или другое положеніе равнозначительное ему, въ которомъ каждый человікъ могь бы работать дъйствительно въ свою пользу."

Подчеркнутыя слова лежать въ основания всёхъ экономическихъ разсужденій Чернышевскаго. Передъ собой онъ видёлъ воистину мужицкое царство и онъ думалъ, что это мужицкое царство можетъ развиваться безъконца, пока въ немъ не осуществятся сны Вёры Павловны о дворцахъ изъвгата, о вёчной радости и весельи людей. Въ основу этого царства онъ полагалъ общину и общинный духъ, духъ круговой поруки и артелей, изъкотораго должно выработаться новое братство и единеніе. Онъ считалъ общину камнемъ краеугольнымъ нашего экономическаго развитія; онъ ду-

малъ, что эта община, вызванная къ новой жизни реформами и западной наукой, допустившая въ свою среду интеллигенцію, легко перейдеть въ другое, безконечно лучшее существованіе. Община представлялась ему живучей и устойчивой, отгого-то такъ п раздражали его выходки бюрократовъ. Въ двухъ словахъ его идеалы на этотъ счеть можно выразить такъ: Чернышевскій считалъ не только желательнымъ, но и безусловно возможнымъ влить самое богатое и разнообразное культурное содержаніе въ самыя примитивныя и даже арханческія формы экономическаго быта безъ обитна, безъ капитала и даже безъ государственнаго вмѣшательства въ строй общинной жизни. Онъ вѣрилъ, что такъ должно было бы быть, но уже и въ ту эпоху, когда считались осуществимыми самыя смѣлыя надежды, сомитьніе иѣтъ-нѣтъ овладѣвало имъ, и онъ тоскливо спрашивалъ, будетъ ли такъ?

Н. А. Добролюбовъ (1836—1861). Быть можеть, это самая глубокая и серьезная фигура всей нашей литературы 60-ыхъ годовъ. Я не говорю-самая вліятельная: самымъ вліятельнымъ журиалистомъ былъ, конечно. Чернышевскій. Но я настанваю на словахъ глубокой и серьезной и хотъль бы даже удесятерить ихъ значеніе, замівнивь однимь опредівленіемь: Добролюбовъ быль натура религозная; счастье человъчества было его богомъ, и онъ служилъ ему, какъ жрецъ, съ страстной любовью, нёжнымъ умиленіемъ, но и съ безпощаднымъ негодованіемъ въ то же время противъ всехъ людей иной въры, пного кумира. Даже у противниковъ 60-ыхъ годовъ по поводу Добролюбова вырываются порою хорошія строки, какъ вырываются он'в у всехъ, кто проникъ въ истинный смыслъ хоти бы одной изъ статей, написанной такъ безжалостно рано умершимъ критикомъ. Его обвиняютъ въ холодности, его называють подчасъ мертвой головой, затвердившей одно слово: "счастье всталь" и безконечное число разъ переворачивавшей его на всв лады. Да, оть него действительно вветь холодомъ, по это хо-лодъ сдержаннаго негодованія, холодъ страсти, кристализованной, поглотившей всего человька, сдълавшей изъ него въ одно и то же время маньяка и ясновидца и испепелившей его наконецъ. "Милый другъ, я умираю, оттого что быль я честень"--- не пустыя слова и не гордыня духа. Честность не та, конечно, пошлая мещанская честность, которая не воруетъ платковъ, а та большая, мучимая муками всёхъ обездоленныхъ, откликающаяся на всь ихъ слезы, сдълавшая задачу ихъ отомщенія своей задачей, дъйствительно свела въ могилу. И онъ ушелъ въ нее безъ слезъ и безъ отчаянія съ теми же словами предсмертнаго завета, съ которыми онъ при жизни обращался къ толив учениковъ: "вврыте, что богъ-счастье всвять людей, богъ, которому мы служимъ - теперь обиженный и опозоренный, еще сойдеть на землю во всей красоть и величіи и сдылаєть изъ этой юдоли страданій и плача—юдоль красоты и веселья. Вырьте, что вы будете отомщены, потому что всь униженные и оскорбленные достойны отомщенія".

Онъ умеръ на 26-мъ году, и конечно, у него нътъ біографіи. На его могиль Некрасовъ прекрасно сказаль: "бъдное дътство въ домъ бъднаго сельскаго священника, бъдное полуголодное ученье; потомъ 4 года лихорадочнаго, неутомимаго труда и наконецъ годъ за границей, проведенный въ предчувствін смерти — воть и вся біографія Добролюбова". Но за этимъ послужнымъ спискомъ скрывается богатая питимиая жизнь, и къ счастью любящая рука его друга и учителя, Чернышевскаго, сохранила намъ кое что изъ нея. И все сохраненное изъ дневника, изъ писемъ, изъ воспоминаній знавшихъ Добролюбова говорить о томъ, что все его дітство и юность прошли въ страстной въръ въ простого русскаго Бога, въ страстномъ желанін положить за Него душу свою, въ подвигахъ самобичеванія, въ пыткахъ, добровольно наложенныхъ на себя. Потомъ простой русскій Богъ замънился Богомъ — человъчествомъ, и вся религіозная страсть, ничуть не ослабленная, но какъ будто еще больше раскалившаяся, направилась въ новое русло, вся неудовлетворенность жизни и счастья, всё вынесенныя униженія бъдности, возвышенныя и очищенныя религіознымъ экстазомъ, одухотворенныя имъ, вылились въ мучительной жаждъ счастья для всъхъ. Многое ли онъ сдълалъ, сдвинула ли горы въра его? Послушаемъ враговъ его эпохи, его настроенія.

"Связать литературу съ жизнью, - говорить В. Розановъ, - заставивъ первую служить послъдней и понимая послъднюю черезъ явленія первой - это составило смыслъ и задачу второго періода нашей критики, высшимъ выразителемъ котораго явился Добролюбовъ. Прекрасное въ литературъ было отодвинуто на второй планъ, какъ и наслаждение только имъ было признано мало достойнымъ. Какъ на самое существенное указывалось въ ней на то, что она можетъ глубже и върнъе, нежели что-либо другое, отражать въ себъ жизнь, и притомъ не только съ внъшней стороны, которую одну мы наблюдаемъ въ дъйствительности, но и съ внутренней, болбе глубокой, которая часто ускользаеть отъ насъ. Художникъ или поэтъ есть какъ бы безсознательный мудрецъ, который въ выводимыхъ имъ образахъ или передаваемыхъ фактахъ концентрируетъ разсъянныя черты жизни, иногда схватываетъ глубочайшую ихъ сущность и даже угадываетъ ихъ причины. Поэтому, изучая литературу, мы изучаемъ самую жизнь, а съ темъ вместе и научаемся, какъ относиться къ послъдней. Но не всякое литературное произведение выполняетъ всъ эти задачи одинаково и совершенно: несмотря на совершенство, напримъръ, въ изображении и обобщении, оно можетъ невърно опредълять смыслъ изображаемаго или, еще чаще, можетъ погръщать въ указаніи его причинъ. Задача критики и состоитъ въ томъ, чтобы внести поправки ко всему этому. Она есть строгій и обстоятельный комментарій кълитературъ, который вносить въ нее недостающее, исправляеть неправильно сказанное, осуждаеть и отбрасываеть ложное, и все это — на основаніи сравненія ея содержанія съживою текущею дъйствительностью, какъ ее понимаеть критикъ.

"Невозможно было придать литературь болье жизненное значеніе, пробудить къ ней болье глубокій интересъ, такъ слить ее съ душой исторически-развивающагося общества, чъмъ какъ это сдълалъ подобный взглядъ на ея сущность и на задачи критики. Именно полъ его вліяніемъ литература пріобръла въ нашей жизни такое колосальное значеніе. Не знать ея, не любить ея, не интересоваться ею—это значило съ того времени стать отщепенцемъ своего общества и народа, ненужнымъ отброскомъ родной исторіи, узкимъ и невъжественнымъ эгоистомъ, которому никто не нуженъ и который самъ никому не нуженъ. Писатель сталъ главнымъ, центральнымъ лицомъ въ нашемъ обществъ и исторіи, къ мысли котораго всъ прислушиваются. И все это совершилось безъ словъ, даже безъ видимыхъ, осязаемыхъ вліяній, просто черезъ измъненіе взгляда на литературу, черезъ новое отношеніе къ ней, въ которое стала критика, а за ней—общество.

"Великое значеніе исторически развивающейся жизни заключается въ томъ, что она, въ своемъ ровномъ и могущественномъ теченіи, удерживаетъ въ себѣ все истинное и доброе, что въ нее вносится индивидуальною волею, даетъ ростъ ему и силу, и сама отъ него возрастаетъ, ложное же и дурное почти все и безъ усилій оставляетъ въ сторонъ. Дъятельность Добролюбова, какъ ни кратка она была по времени, вошла органическимъ звеномъ въ духовное развитіе нашего общества, и трогательныя слова, написанныя имъ въ предвидъніи близкой смерти, въ виду ранней и незаслуженной могилы.

Но зато родному краю Върно буду я извъстенъ,

осуществились такъ, какъ только онъ самъ могъ пожелать для себя, даже болъе—какъ могъ онъ пожелать для самыхъ дорогихъ своихъ надеждъ. Цълый рядъ покольній, какъ-то быстро выступившихъ и быстро же сошедшихъ со сцены, неотразимо подчинился его вліянію, усвоилъ тотъ особый душевный складъ, тотъ оттьнокъ чувства и направленіе мысли, которое жило въ этомъ еще такъ молодомъ и уже такъ странно могущественномъ человъкъ. И кто изъ насъ теперь живущихъ и уже свободныхъ отъ этого вліянія людей, обратясь къ лучшимъ годамъ своей юности, не вспомнитъ, какъ за томомъ сочиненій Добролюбова забывались и университетскія лекціи, и вся мудрость, ветхая и великая, юторая могла быть усвоена изъ разныхъ старыхъ и новыхъ книгъ. Къ нему примыкали всѣ надежды, вся любовь и всякая ненависть."

Это хорошо, сильно, а главное, върно сказано. Добролюбовъ не думаль отрицать ни эстетики, ни художественности, но онъ органически, всъвъ существомъ своимъ понималъ, что бываютъ эпохи и задачи, несовиъстимыя съ эстетикой, что есть категоріи добра и зла, несовиъстимыя съ другими категоріями, и главнымъ образомъ, съ категоріей красоты. Какъ настоящій

шестидесятникъ, какъ одинъ изъ творновъ эпохи, онъ былъ работникомъригористомъ, чуждавшимся всякой роскоши даже художественной и боявшимся ея. Поэтому онъ очень мало говориль о Пушкинъ и Гоголь, о Толстомъ, недолюбливаль Тургенева за его очевидную красивость и любовное свсе вниманіе сосредоточиль на Гончаровъ и особенно на Островскомъ, который хотя и не ответиль на главный вопрось жизни самого Добролюбова: "какъ устроить такъ, чтобы всемъ было хорошо?" — зато картинами и типами своего темнаго царства ближе всего, по мибнію критика, подходиль къ отвъту на другой вопросъ: отчего людямъ не хорошо? Отъ самодурства, отъ предразсудковъ, отъ собственной трусости самихъ страдающихъ, а главное, отъ той страшной экономической зависимости, въ которой находится большинство людей. Въ то же время скептикъ Добролюбовъ спращивалъ себя, достаточно ли велики діятели современной литературы и вообще всей русской литературы, чтобы заслуживать разбора съ самостоятельной художественной точки артнія — и спокойно отвічаль: "ність: они не Гете, не Шекспирь, не Данте или Байронъ". Ихъ романы и комедін вызывають интересь настолько лишь, насколько они дають намъ живое отражение русской жизни; и потому эта жизнь съ ея вопросами и тревогами гораздо болъе заслуживаеть разбора, чёмъ герои повъстей и комедій. И черезъ голову этихъ героевъ, которыми онъ почти и не занимается вовсе, Добролюбовъ направляетъ свои удары противъ ненавистнаго ему строя русской жизни. За современной литературой онъ признаеть одно лишь значеніе, значеніе прикладное и служебное - будить въ обществъ сознание уродливости этой жизни, вызывать его на борьбу съ темными силами застоя. Хотя Добролюбовъ при этомъ говорить, что литература не должна становиться орудіемъ партіи, что отъ нея требуется одно лишь-безусловная, неумолниая правда, но едва ли онъ имълъ что-пибудь и противъ чисто партійной литературы. стать ... Лучь свыта въ темномъ царствъ онъ спрашиваеть себя, должно служить мериломъ при оценке литературныхъ произведений, всякихъ -- художественныхъ и не художественныхъ, и отвъчаетъ на этотъ резко и определенно поставленный вопросъ такъ:

"Мърою достоинства писателя или отдъльнаго произведенія им принимаемъ то, насколько служать они выраженіемъ естественныхъ стремленій пзвъстнаго времени и народа. Естественныя стремленія человочества, приведенныя къ самому простому знаменателю, могуть быть выражены въ двухъ словахъ: чтобы всюмъ было хорошо."

Совершенно естественно поднимается вопросъ "почему же людямъ плохо?" и почему все въ жизни идетъ противъ естественныхъ стремленій людей? Добролюбовъ прямого и яснаго отвъта на только что поставленные вопросы не далъ; слишкомъ увлеченный быстрой смъной событій

своего времени, онъ давалъ лишь случайные и частные отвъты. Отъ души пенавидя дореформенный русскій строй, онъ зло и мѣтко подводилъ ему итоги. Онъ указывалъ на самодурство темнаго царства, на то, въ какое безвыходное положеніе ставить людей экономическая зависимость, на зло отъ робости, невѣжестве и трусость людей. (Статьи "Темное царство" и "Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ"). Но, вѣроятно, лучшей его статьей слѣдуетъ признать "Что такое обломовщина?" Туть онъ весь искренній и непримиренный. Туть онъ весь разночинецъ, возставшій противъ барской культуры и ея "героевъ". Обломовщина для него самое отвратительное явленіе нашей жизни, и понимаетъ онъ ее очень широко. Рудинъ, Бельтовъ, Онъгинъ и т. д. — всѣ герои нашей литературы въ барскую эпоху ея развитія—тѣ же Обломовы съ его лѣнью, прекраснодушіемъ и полной пустотой своей прикрашенной чужимъ трудомъ жизни. Они прежде всего тунеядцы и привилегированные люди, а этихъ двухъ "грѣховъ" Добролюбовъ не прощалъ никому...

Вся д'вятельность Добролюбова прошла до эмансипаціи, хотя онъ и пережиль "Манифесть" на нісколько місяцевь. Ясно, что онъ не могь не уділять большого вниманія и крестьянскому вопросу

О правоспособности мужика къ свободъ Добролюбовъ высказался въ сущности одинъ только разъ, но высказался такъ ръзко и ръшительно, какъ только этого можно желать, въ своей знаменитой статьъ, посвященной разсказамъ Марко-Вовчокъ. Напомнить ее читателю для меня прямо необходимо: къ тому же и данная здъсь характеристика М.-Вовчка имъетъ для насъ значеніе.

"Новая книжка "Народныхъ разсказовъ", — писалъ Добролюбовъ, — проникнута тъмъ же характеромъ и тенденціями, какъ и прежнія "Народні Оповідання". Великія силы, таящіяся въ народъ, и разные способы ихъ проявленія подъ вліяніемъ крѣпостного права—вотъ, что мы видимъ въ этихъ разсказахъ. Топъ автора, обрывисто пѣвучій, характеръ разсказа грустный и задумчивый, второстепенныя подробности, полныя чистой и свѣжей поэзіи въ описаніяхъ—все это осталось таково же, какъ и въ прежнихъ разсказахъ."

· Конечно, это очень большая похвала и сама по себѣ взятая, и несомнѣнно еще большая, разъ она принадлежить такому суровому критику, какъ Добролюбовъ, который вообще не долюбливалъ комплиментовъ. Онъ, впрочемъ, нисколько не увлекался и превосходно видѣлъ, съ кѣмъ и съ чѣмъ ниѣетъ дѣло. Характерно, съ этой точки зрѣнія, самое заглавіе его статьи: "Черты для характеристики русскаго простонародья". Замѣтьте: только "черты", и этого Добролюбовъ не забываетъ ни на минуту. Онъ пишетъ: "...Мы беремъ книжку Марка Вовчка и напомнимъ вамъ нъсколько русскихъ характеровъ, въ ней изображенныхъ.

"Надо замътить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественной полнотою, а только лишь нам'вчены въ коротенькихъ разсказцахъ Марка Вовчка. Мы не можемъ искать у него эпопеи нашей народной жизни, - это было бы уже слишкомъ много. Такой эпопеи мы можемъ ожидать въ будущемъ, а теперь покамъстъ нечего еще и думать о ней.... Сознаніе великой роли народныхъ массъ въ экономіи человъческихъ обществъ едва начинается у насъ, и рядомъ съ этимъ смутнымъ сознаніемъ появляются серьезныя, искренно и съ любовью сдъланныя наблюденія народнаго быта и характера. Въ числъ этихъ наблюденій едва ли не самое почетное м'всто принадлежить очеркамъ Марка Вовчка. Въ нихъ много отрывочнаго, недосказаннаго, иногда фактъ берется случайный, частный, разсказывается безъ поясненія его внутреннихъ или вившнихъ причинъ, не связывается необходимымъ образомъ со обычнымъ строемъ жизни. Но... для насъ довольно и того, что въ разсказахъ Марка Вовчка мы видимъ желаніе и умънье прислушиваться къ этому еще отдаленному для насъ, но сильному въ самомъ себъ, гулу народной жизни: мы чуемъ въ нихъ присутствіе русскаго духа, встръчаемъ знакомые образы, узнаемъ ту логику, тв требованія и наклонности, которыя мы и сами замъчали когда-то, но пропускали безъ вниманія. Вотъ чімъ и дороги для насъ эти разсказы; вотъ почему и цівнимъ мы такъ высоко ихъ автора. Въ немъ видимъ мы глубокое вниманіе и живое сочувствіе, въ немъ находимъ мы широкое пониманіе той жизни, на которую смотрятътакъ узко и убого многіе изъ образованнъйшихъ нашихъ экономистовъ, славянистовъ, юристовъ, либераловъ, нувеллистовъ и пр., и пр."

Что Добролюбовъ подразумъвалъ подъ "широкимъ пониманіемъ" народной жизни, извъстно всемъ и каждому. Больше всего возмущалъ его взглядъ на народъ, какъ на безличную массу, живущую лишь стилійными нистинктами и коллективно-физіологическими процессами. Оттого-то онъ съ особенной любовью отивчаль проявленія личнаго начала, прощая даже его заблужденія, какъ, напримъръ, при разборъ характера Ефима изъ разсказа М. Вовчка: "Купеческая дочка". Онъ віврить, что это "личное начало" существуеть, что оно только притаилось, запуганное вившними обстоятельствами кръпостного права и гнетущей мыслью о невозможности для -человека сделать хоть что-нибудь и хоть чемъ-нибудь заявить о самостоятельности своей мысли и чувства. Въ то же время онъ старается доказать хотя бы чисто апріорнымъ путемъ, что отсутствіе подобнаго "начала" было бы вещью совершенно необъяснимой и даже противоестественной, что оно есть, что его не можеть не быть, что оно должно быть, наконецъ. Онъ предсказываетъ ему полное и разумное развитіе въ будущемъ, когда исчезнеть не только вившній гнеть криностного права, но и всевозможныхъ его остатковъ и переживаній. Поэтому главная задача его за-

Digitized by Google

мъчательной статьи сводится къ тому, чтобы избавить разсказы М. Вовчка отъ нареканія въ идеализація, прикрашиванія, жоржъ-зандизив и пр., доказать, что они не "фантазія", не идиллія въ соціальномъ вкусть, не "мечты будущаго золотого въка", а плоть отъ плоти настоящей дъйствительной жизни, той жизни, которой не хотять видеть практическіе люди съ судачьими глазами, "гуманными взглядами и тайными симпатіями къ крфпостнымъ отношеніямъ". Въ конців концовъ, резюмируя свой разборъ разсказовъ Вовчка, онъ говорить: "Мы можемъ здъсь еще разъ обратить внимание читателей на мысль, развитие которой составляеть главную задачу этой статьн, -- мысль о томъ, что народъ способенъ ко всевозможнымъ возвышеннымь чувствамь и поступкамь наравню сь людьми всякаго другого сословія, если еще не больше, и что слюдуеть строго различать въ немъ послъдствія внъшняго гнета отъ его внутреннихь и естественныхь стремленій, которыя совстмь не заглохли, какъ многіе думають.... Съ такимъ довтріємъ къ силамъ народа и съ надеждою на его добрыя расположенія, можно дъйствовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое двло крвпкія, свъжія силы и предохранить ихъ оть того искаженія, какому оню такъ часто подвергаются при настоящемь порядки вещей."

Отношенія къ мужику — единственная область, где Добролюбовъ обходился безъ своего обычнаго и очень глубокаго скептицизма. Здесь онъ допускалъ даже идеализацію, не въ смысль прикрашиванія, разумъется, а лишь "ошибокъ любви и въры". Здъсь онъ говорить о великихъ силахъ, таящихся въ народъ русскомъ, здъсь у него другой тонъ, другіе пріемы критики. Но совствиъ иначе относился опъ къ русскому обществу и русской нителлигенцін. Здісь на одного избраннаго онъ виділь десятки и сотни козлищъ, здъсь не радовали его ни Кокоревы ни Ламанскіе, какимъ бы отснованиямъ всероссійскаго прогресса ни придавались они, здісь онъ давалъ полный просторъ своему злому, язвительному и очень часто элорадному смъху. Искренней ненавистью ненавидъль онъ барство и всв проявленія барской натуры, съ отвращеніемъ смотр'єль онъ на то, какъ вчерашніе крізпостники ломались передъ публикой на либеральныхъ подмосткахъ, чтобы сорвать дешевыя стадныя рукоплесканія. Ему казались глупыми и безсиысленными восторги общества, когда ничего еще не было савлано, когда все было впереди, и заря настоящаго дня не брежжила еще. Созданный имъ "Свистокъ" и былъ тёмъ лобнымъ м'естомъ, куда онъ выводилъ всъхъ ликующихъ, праздноболтающихъ, а ихъ, конечно, было большинство. Не ликованія и праздноболтанія нужно было ему; онъ хотьть, чтобы "эпоха великихъ реформъ" совершилась въ серьезности и молчаніи, съ огромнымъ

пониманіемъ той страшной отвътственности, которую возлагаетъ на каждаго будущее народной жизни. Въ прочность оффиціальнаго прогресса онъ не върилъ никогда. Онъ точно предчувствовалъ, что этотъ прогрессъ очень скоро повернетъ маршъ-маршемъ назадъ, и несомивнио видълъ, что все это "очаровательное зданіе" реформъ стоитъ на курьихъ ножкахъ. Гдѣ наше общество, которое могло бы поддержать сдѣланное, гдѣ наши ручательства за будущее? — спрашивалъ онъ въ каждой своей статъв, и на это приходилось давать лишь отрицательные отвъты. Указывали многіе на журналистику, какъ на крупную общественную силу. Добролюбовъ смѣ-ялся и надъ этимъ. Журналистика крупная сила? И онъ принимался подсчитывать число нашихъ читателей, число грамотныхъ вообще. Получалось нъчто воистину мизерное... Нътъ общества, иътъ общественнаго самосознанія, а есть гг. Кокоревы, однимъ словомъ, болтуны. Теперь, полагаю, станетъ совершенно ясной вся тъдкость знаменитаго стихотворенія "Нашъ демонъ":

Въ тъ дни, когда намъ было ново Значенье правды и добра И обличительное слово Лилось изъ каждаго пера; Когда Россія съ умиленьемъ Внимала звукамъ Щедрина И разсуждала съ увлеченьемъ Полезна палка иль вредна; Когда возгласы раздавались, Чтобъ за людей считать жидовъ, И мужики освобождались, И вредъ былъ сознанъ откуповъ...

Въ тъ дни исполненный злого скептицизма демонъ предсталъ передъ русскимъ обществомъ и, не зная ничего святого, не върилъ, что

...Нуженъ геній, Чтобы разумный дать отвътъ Среди серьезныхъ пашихъ преній, Нужна ли грамотность иль нътъ? Онъ хохоталъ, какъ мы ръшали, Чтобъ мужика не баринъ съкъ, И какъ гуманно утверждали, Что жидъ есть тоже человъкъ... Весь нашъ прогрессъ, всю нашу гласность, Громъ обличительныхъ статей, И публицистовъ нащихъ страстность И даже самый Атеней-Все жертвой грубаго глумленья Содълалъ желчный этотъ бъсъ, Бъсъ отрицанья, бъсъ сомивнья, Въсъ, отвергающій прогрессъ.

Это лучшая характеристика "Свистка".

По самой натурт своей Добролюбовъ не любилъ карнаваловъ—онъ былъ постникомъ и подвижниемъ и боялся этого ребяческаго увлеченія красивой иллюминаціей. Вцереди ему представлялась одна работа, которая потребуеть отъ человъка встать его силъ, а можетъ быть, и жизни. Отгого-то такъ мало радовали его даже личные успъхи и личная слава. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній онъ говоритъ:

....Боюсь,
Чтобъ кто-нибудь въ усердьи глупомъ
На гробъ цвътовъ мнѣ не принесъ...
Чтобъ безкорыстною толпою
За нимъ не шли мои друзья,

Чтобъ подъ могильною землею Не сталъ любви предметомъ я

У него было слишкомъ мало друзей, были люди, только сочувствовавшіе ему, понимавшіе его лишь съ внёшней стороны, но которые даже и не заглядывали въ истинную глубину его требованій отъ жизни. "Чтобы всёмъ было хорошо" — вотъ его девизъ, вотъ смыслъ всей его пропов'яди; увлекались же больше тімъ, какъ онъ отд'ёлалъ Пирогова за снисхожденіе къ розгі, осм'ёллъ Погодина за его напыщенное академическое самодовольство. И чёмъ больше страдалъ онъ, тімъ зліве и безпощадніте становилось его перо, отъ уколовъ котораго не могли не корчиться несчастныя жертвы "Свистка".

Посл'є смерти Добролюбова и ссылки Чернышевскаго журналъ перешелъ въ руки эпигоновъ, такихъ какъ М. А. Антоновичъ, Ю. Г. Жуковскій, Г. З. Елис'євъ, А. Н. Пыпинъ и т. д. Нельзя сказать, что онъ остался на прежней-высотъ, несмотря на яркій расцв'єть таланта Некрасова и на фельетоны Щедрина, принявшагося теперь за ежем сячную литературную д'ятельность. Трудн'є стало самое время. Освобожденіе крестьянт было д'яломъ настолько назр'євшимъ, такъ хорошо подготовленнымъ самою жизнью, вс'ємъ прошлымъ нашего экономическаго и умственнаго развитія, даже нашими международными отношеніями—(это, кстати сказать, смутно чувствовалось самими современниками, которые думали, что освобожденіе было потребовано Наполеономъ и союзниками)—что русская мысль двигалась въ сущности по одному руслу, и лагерь кр'єпостниковъ былъ ей не страшенъ. Но теперь наступила разноголосица, такъ какъ, очевидно, предстояли дальн'єйшія реформы, по поводу которыхъ митенія очень разд'єлились. Одни требовали полнаго обновленія всего строя, другіе рекомендовали ум'єренность, третьи хот'яли вер-

нуться назадъ, какъ будто исторія возвращается. Выступили на сцену вопросы дворянскій, судебный, педагогическій, университетскій и т. д., которые требовали самаго пристальнаго вниманія къ себъ. Со всьиъ этимъ приходилось считаться, что было очень трудно "Современнику", гдъ главная роль перешла теперь къ М. Антоновичу, человъку очень талантливому, очень образованному, но которому во всякомъ случать очень трудно было замънить сразу публицистику Чернышевскаго и критику Добролюбова. Но всеже вліяніе журнала не уменьшилось, оно стало лишь уже, партійнъе. Въ 1866 г. "Современникъ" былъ закрыть по причнить смутнаго состоянія умовъ.

"Русское Слово" (основано въ 1858 г.). Въ симслъ популярности "Русское Слово" не уступало "Современнику", но въ смыслъ вліянія на жизнь его приходится поставить на второе м'ясто. Къ голосу "Современника" прислушивались даже въ высшихъ сферахъ, съ намъ считались всв партіи. "Русское Слово" такого значенія не имело. Издаваемое подъ редакціей Благосв'ятлова, одухотворенное талантомъ Писарева, собравшее вовругь себя немало заметных дарованій, таких какъ Шелгуновь, Зайцевь, Соколовъ, Омулевскій и пр., оно поражаеть насъ сиблостью и яркостью своей мысли, своимъ молодымъ задоромъ, полнымъ отсутствіемъ какого бы то ни было скептицизма. Тонъ журналу давали статьи Писарева, но какъ ни велико было дарование этого третьяго замъчательнаго нашего критика, никакъ нельзя забывать и его товарищей. Каждый изъ нихъ делалъ свое дъло и дълалъ его хорошо. Шелгуновъ занимался преимущественно популяризаціей, и если статьи его не представляють ничего оригинальнаго, то несомивню, что онв были очень нужны въ то время. Нельзя, на самомъ дълъ, забывать, что въ какихъ бы яркихъ краскахъ не представлялась намъ эпоха великихъ реформъ -- невъжество русскаго общества было поразительное. Это было общество иладенческое, наивное, едва выходившее изъ состоянія кріпостной дикости. Оно пичему не училось, ничего не знало, ему нужно было разсказывать о самых элементарных вещахъ, выяснять самыя обыденныя представленія. Оно столько же нуждалось въ руководителяхъ, сколько въ популяризаторахъ. И взявшись за это безъ всякихъ претензій, безъ всякаго самомнічнія, съ обычной милой скромностью, Шелгуновъ, разумъется, отвъчалъ потребности, вполнъ и безусловно назръвшей. Замътнъе дъятельность Зайцева — совершенно несправедливо забытаго и даже заживо забытаго. Темъ же, чемъ былъ Писаревъ для критики, темъ былъ Зайцевъ для библіографіи. Своими крошечными статейками, проникнутыми всё одною мыслью, что намъ необходимо разстаться

со всёмъ прошлымъ, —его авторитетомъ и его "вёрой" (для Зайцева только суевёріями), онъ действоваль точно изъ скорострельнаго орудія, постоянно дисципленируя и возбуждая читательскую мысль. Но было и еще нечто въ его деятельности — это то, что онъ одниъ изъ первыхъ, если не первый, серьезно и внимательно отнесся къ рабочему движенію на Западе и старался ознакомить съ нимъ общество. Здесь приходится отметить его переводъ речей и мелкихъ брошюръ Лассаля.

Имело ли "Русское Слово" право на самостоятельное существованіе, была ли его постоянная полемика съ "Современникомъ" результатомъ задора пли вызывалась необходимостью? Мит думается, что нитьло и вызывалось необходимостью. Обращу пока внимание на одинъ только, но существенный пункть, на отношение къ мужику. Для "Современника" этоть мужикъ, въ симсле ли великих таящихся въ народе силъ Побролюбова или въ симсле крестьянина-собственника Чернышевскаго, или истиннаго начала всьхъ началъ Елисеева, былъ действительно камиемъ красугольнымъ всего мышленія. Елисеевъ, напр., писалъ не только сь точки зрвнія его интересовъ, но, по возможности, его языкомъ, подражая его грубоватому юмору, его уступинвому лукавству-вообще его "себт на умъ". Онъ тонко полсививался надъ барскими затвями, надъ интеллигентными мечтаніями, встин своими статьями онъ говорилъ, что пока въ крестьянствт, въ старой молчаливой масст не будеть для этого почвы-то вообще не будеть ничего. Вфрилъ же опъ и въ то, что такая почва можетъ быть очень скоро полготовлена. "Современникъ" поэтому по всей истинъ и справедливости можетъ быть названъ органомъ стараго народничества. "Русское Слово" въ лицъ своихъ главарей, по крайней мъръ, было въ мужику сравнительно равнодушно. Писаревъ очень опредъленно высказался по этому поводу, указывая, что единственное горе народа въ его нев'ьжеств'в, единственное лекарство-просвещение. "Пока наука не перестанеть быть барскою роскошью, пока она не сделается насущнымъ хлебомъ каждаго здороваго человъка, пока она не проникнеть въ голову ремесленника, фабричного работника и простого мужика,- до техъ поръ отдиость и безиравственность трудищейся массы будуть постоянно усиливаться, несмотря ни на проповеди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовъ, ни на теоріи соціалистовъ. Есть въ человъчествъ только одно эло-нев'яжество, противъ этого зла есть только одно л'якарство-наука, но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а сорокаведерными бочками. Слабый пріемъ этого лекарства увеличиваетъ страданія больного организма. Сильный пріемъ ведеть за собою радикальное испраение. Но трусость человъка такъ велика, что спасительное лекарство считается ядовитымъ."

Вотъ и все, что могло сказать "Русское Слово" по адресу мужика. Тутъ нътъ не только порыва, но и особенной сердечности. Ни малъйшей мысли о томъ, что мужикъ—начало всъхъ началъ. Начало всъхъ началъ—наука, просвъщение п—какъ превосходно добавлялъ Зайцевъ — ръшение экономическихъ противоръчий современнаго общества, взятаго цъликомъ. И несомивно, что конечный пдеалъ "Современника"—мужицкое царство, гдъ каждый былъ бы "крестъяниномъ-собственникомъ", былъ совершенно чуждъ "Русскому Слову".

Главной силой "Русскаго Слова" и, вероятно, самымъ блестящимъ и остроумнымъ русскимъ критикомъ, на котораго все другіе сотрудники журнала, по откровенному признанію Н. В. Шелгунова, смотрали снязу вверхъ, быль Дмитрій Ивановичь Писаревь (1841—1868), работавшій въ "Русскомъ Словъ" и только въ немъ цълыхъ 5 л. (1861—1866), послъ дакрытія котораго пере цель въ "Дъло", гдь успъль нацечатать одну статью, и затемъ, разсорившись съ редакторомъ Влагосветловымъ, остался не удель. Сынь полураззорившихся помещиковь, онь, получивши прпличное домашнее образованіе, поступиль въ 3-ю гимназію С.-Петербурга, оттуда въ университеть, который и окончиль благополучно въ 1860 г. Вышель онъ кандидатомъ, съ медалью и самыми мплыми убъжденіями, которыя потомъ съ весельиъ юморомъ изложилъ въ своихъ статьяхъ "Наша университетская наука"; но духъ времени быстро измънилъ его, и уже черезъ годъ онъ является передъ нами передовымъ журналистомъ. Писалъ онъ много, сморо и всегда превосходно. Главной своей задачей онъ считалъ популяризацію естественно-научныхъ и псторическихъ знаній, о чемъ онъ говорить между прочинь въ одномъ изъ инсемъ къ своей матери: "общія разсужденія и высшіе взгляды составляють совершенно безполезную роскошь и мертвый капиталь для такого общества, которому недостаеть самыхь элементарныхъ знаній. Поэтому обществу надо давать всв необходимыя знанія, т. е. знакомить публику съ лучшими представителями европейской науки. Мит эта задача во встать отношеніяхь по силамь и по душть". Эта задача, такъ подходившая къ духу времени, когда масса, ея интересы, ея роль и значение въ жизни дъйствительно пріобръли огромное значение во всъхъ соображеніяхъ и надеждахъ мыслящаго человъка, — нашла въ Писаревъ талантливъйшаго исполнителя. Писаревъ прекрасно поним лъ, что движеніе захватило лишь верхи, что для прочности ему надо проникнуть въ массу, что надо эту массу приподнять до себя, чтобы потомъ уже на ея знаніяхъ, на ея самостоятельной жизни построить что-нибудь прочное и цънное. Много преданныхъ людей пошло за нимъ и между прочниъ ихъ усиліями эпохі 60-ыхъ годовъ быль придань ея раціоналистическій, просвътительный характеръ.

Какъ извъстно, начиная съ 1861 г., Писаревъ сдълался постояннымъ сотрудникомъ и даже помощникомъ редактора "Русскаго Слова". Успъхъ его статей превзошелъ самыя смълыя и нетериъливыя ожиданія. Имъ зачитывались большіе и малые, мужчины и женщины. Дальнъйшая его біографія обращается въ постоянное литературное гортніе. Писаревъ жегъ свой талантъ съ обоихъ концовъ. Впрочемъ, и время было такое, что не жаль было жечь его. Весело было работать для виниательныхъ и возбужденныхъ слушателей, жадно ловившихъ каждое твое слово, весело и отрадно было сознавать, что ни одна трезвая, хорошая мысль не пропадетъ даромъ, а найдетъ себъ сочувственный откликъ въ читательскомъ сердцъ. Какъ истинный журналистъ, Писаревъ не только любилъ дъло, онъ любилъ читателя, и на такое къ себъ вниманіе читатель того времени имълъ полное право.

"Теперь къ моему характеру,—пишеть опъ 17 января 1865 года,—присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мнъ до нихъ не было никакого дъла. Прежде я писалъ отчасти ради денегъ, отчасти для того, чтобы доставить себъ удовольствіе; мнъ пріятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чемъ не думалъ и не хотълъ думать. А теперь мнъ представляется часто, что мсю статью читаетъ гдъ-нибудь въ глуши очень молодой человъкъ, который еще меньше моего жилъ на свътъ и очень мало знастъ, а между тъмъ желалъ бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда мнъ представляется такой читатель, то мною овладъваетъ самое горячее желаніе сдълать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знапій и главное возбудить въ пемъ охоту къ дъльнымъ занятіямъ.

"Это навърное отражается и въ изложеніи моихъ статей, и въ выборь ихъ сюжетовъ, и это придаетъ процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестаетъ быть дъломъ одной мысли и начинаетъ удовлетворять потребности чувства"....

Вернемся однако къ жизни Писарева. Отсылая за подробностями къ его біографіи, я ограничусь самымъ существеннымъ и необходимымъ. Въ 1862 году въ іюль мъсяць за одну статейку, напечатанную имъ въ подпольномъ органь, онъ попалъ въ крыпость, гдь и просидълъ 4 года съ половиной. Оторванный отъ семьи и общества, отъ своихъ литературныхъ друзей и развлеченій юности, Писаревъ однако не упалъ духомъ. Напротивъ того: во время интильтняго заключенія въ крыпости развернулись всь лучшія стороны писаревской души и таланта. Какъ это ни изумительно, однако таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны здъсь, что здъсь ни на минуту не прекращалась работа мощнаго духа. Перечтите такія статьи, какъ "Наша университетская наука", "Реалисты", "Романъ кисейной дъ-

вушки", "Промахи незрѣлой мысли"—гдѣ же тутъ хотя бы тывь вполав законнаго унынія и тоски? Нравственное мужество 22-хъ лѣтняго литератора не было пи на іоту сломлено страшнымъ испытаніемъ. Работа ума, кнпучая, напряженная, торжествующая, продолжалась безъ перерыва, міросозерцаніе развивалось въ томъ направленіп, которое было указано предшествовавшей жизнью. Прибаньте ко всему этому то, что цѣлыхъ два года Писаревъ совершенно не зналъ, что съ нимъ сдѣлаютъ: отправятъ ли его въ ссылку, или оставятъ на мѣстѣ. Но и эта неопредѣленность положенія—самая мучительная изъ всѣхъ пытокъ—не сломила его. Онъ засѣлъ за работу въ тоть день, какъ захлопнулись за нимъ двери каземата, и съ той же работой, съ такими же планами вышелъ изъ крѣпости. Написанныя нмъ за эти годы статьи, проходя всевозможныя цензурныя мытарства, печаталнсь въ "Русскомъ Словъ".

Отиту любопытный факть, что наибольшее число листовъ и статей притомъ самыхъ блестящихъ, написанныхъ Писаревымъ, относится къ 1865 году, или третьему году его заключенія. Это факть, не требующій комментарій.

Послѣ выхода изъ крѣпости Писаревъ прожилъ всего около 2 л. и умеръ въ іюлѣ 1868 года. Съ этой стороны онъ можетъ быть воистину причисленъ къ великомученикамъ русской литературы, которая и замѣнила ему жизнь. Жизнь (опять таки внѣ литературы) прямо таки не улыбнулась ему, да и была ли она?.. Положительно приходится удивляться духовной мощи этого человъка, его заражающей бодрости, его настойчивому призыву къ работъ, несмотря ни на что.

Онъ не ликоваль—о нѣть! Слишкомъ ясно повималъ онъ, какую толщу невѣжества, предразсудковъ, крѣпостичческаго наслѣдства вообще надо пробить, чтобы дать ходъ новому человѣку; онъ сознавалъ, что работа, предстоявшая новому человѣку, велика и серьезна, онъ не обѣщалъ скорой побъды и скораго наступленія пира жизни, онъ зналъ, что въ одинъ моменть не поумнѣютъ и не пріобрѣтутъ нп гражданской выправки, нп гражданскаго мужества 80 мил. русскихъ людей, изъ которыхъ 79 находились въ первобытномъ состояніи, но онъ вѣрилъ, что въ концѣ концовъ доброе, разумное, честное побѣдитъ злое, глупое, подлое, и требовалъ, чтобы каждый шелъ по истинному пути "мыслящаго реализма".

Писаревъ никогда не формулировалъ ясно своего общественнаго идеала, но у него былъ "герой", въ выяснении индивидуальности котораго и заключается суть его критическихъ статей. Этотъ герой — мыслящій реалисть, нашедшій свое литературное воплощеніе въ типъ Базарова. Писаревъ облю-

боваль этоть типь, облюбоваль, какъ эстетикь, потому что для него жизнь мыслящаго реалиста не только самая полезная, но и самая красивая. Въ мыслящемъ реалистъ на первомъ планъ стоить его ярко выраженная инливидуальность. Этотъ человъкъ встми способами зашищаеть свою духовную самостоятельность. Онъ върить только въ умъ, знаніе, науку. Онъ врагь всякихъ предразсудковъ, стесняющихъ личную свободу, онъ врагъ всякихъ сословныхъ, кастовыхъ перегородокъ, мъшающихъ человъку работать въ сферт истиннаго своего призванія, "гдт онъ только и можеть принести нанбольшую пользу обществу съ наибольшимъ наслаждениемъ для себя". Онъ имъеть дело прежде всего съ действительностью, которая, вследствіе нищеты и невежества людей, требуеть постоянных улучшеній и настойчивой работы. Эта работа, руководимая и вдохновляемая встить прежинить реальнымъ опытомъ человъчества, пстинное его назначение. Но во ния чего станеть работать мыслящій реалисть? Во имя долга? Конечно, изть, такъ какъ Писаревъ не признавалъ долга. Во имя нравственной отвътственности передъ людьми? Тоже н'ыть, потому что реалисть такой отв'ытственности не знасть. Во имя общественной пользы?—Польза, конечно, будеть. но не она вдохновляеть къ труду. Вдохновляеть лишь красота самой работы, наслажденіе, получаемое оть нея, вдохновляеть творческое осуществленіе цъли и вліяніе на жизнь.

Этимъ Писаревъ какъ бы замыкаетъ кругъ решенія задачи о смыслё жизни. Все выходить наъ личности, все возвращается къ ней. Она не требуетъ для себя никакой опеки, никакого руководства, кром'в руководства науки и знанія. Внё себя она не ищетъ ни опоры, ня ц'али. Она совм'ещаетъ въ себ'в весь полный Божій міръ, и даже работа, которую она отдаетъ обществу, возвращается къ ней въ вид'е наслажденія и вліянія. Ея первая, главная, единственная ц'аль—собственное развитіе, собственное совершенствованіе. Внё личности, важн'ве личности п'атъ ничего; все, что отвлекаетъ личность отъ самой себя,—все это вредно. И Писаревъ всею силою возставалъ противъ мистики, говорящей о началахъ высшихъ, ч'амъ личность—и противъ схоластики и метафизики, т. е. той же мистики, только преображенной, введенной въ логическія схемы и формулы.

Личность мыслящаго реалиста есть нечто самоценное и самодовлеющее, значить, нечто такое, что можеть пользоваться абсолютной, безграничной свободой и полной безответственностью. Реалисть всегда поступаеть за свой счеть и на свой страхъ. Если разумъ и наука оправдывають его поведеніе, то никакого другого оправданія ему и не нужно. И Писареву въ сущности оставалось сделать одинъ только шагь, чтобы дойти до "потребляющей ближнихъ своихъ" личности Штирнера или даже до сверхъчеловека Ницше. Но этого шага онъ не сделаль и не могь сделать. Сынъ

60-ыхъ годовъ, ученикъ Чернышевскаго, Писаревъ долженъ былъ считаться съ идеей общественной пользы и интересовъ массы, т. е. господствующей, центральной идеей эпохи,—такой даже, которая составляла истинное ея содержаніе, ея одухотворяющее начало. И эту идею онъ принялъ такъ же щёльно, такъ же органически, съ тёмъ же увлеченіемъ, съ какимъ и идею личной свободы. Она-то и ставитъ не совсёмъ логичныя, но серьезнѣйшія ограниченія его индивидуализму.

Надо замътить, что полную, безграничную свободу Писаревъ предоставляеть только иыслящнить реалистамъ, а никакъ не всемъ людямъ. На мыслящихъ реалистовъ онъ надъется-п върить, что наука и знаніе не допустять ихъ до ложнаго шага. Эти наука, знаніе, разумъ очень требовательны. Они не только требують, чтобы человъкъ работаль, но и работаль непременно въ известномъ направления, сообразно съ интересами массы. Для своей эпохи онъ не видълъ, напр., ничего болъе полезнаго, чемъ популяризація историческихъ и естественно-научныхъ сведеній и борьба съ невъжествомъ и нищетой. Конечно, внутренняя свобода реалиста этимъ не нарушается, потому что такая работа (по схемъ Ппсарева) какъ нельзя болъе соотвътствуетъ истиннымъ требованіямъ его натуры, и голоса ведущей его науки онъ слушается не по приказанію или указкъ, а съ радостно раскрытымъ его внушеніямъ сердцемъ, но все же у насъ получается и опредъленная работа, и опредъленная цъль, а значить, и самоограничение. Чтобы сдълать такое самоограничение свободнымъ и не зависящимъ отъ чего-нибудь вившияго, посторонияго — Писаревъ создаеть свою систему средняго и высшаго образованія. Школа и литература — воть двъ главныя силы, вырабатывающія мыслящаго реалиста, и объ онъ должны быть сплошь реорганизованы, чтобы реалисть получился должныхъ разивровъ и сообразныхъ съ своимъ призваніемъ качествъ. Въ школъ на первомъ планъ реальныя знанія, самостоятельная работа, духовная независимость ученика; въ литературъ-реальные общественные вопросы, указаніе пстинныхъ путей для борьбы съ нищетой и нев'яжествомъ, распространеніе полезныхъ св'ядіній, а главное, борьба съ предразсудкахи, борьба не на животь, а на смерть со всеми пережитками схоластики, метафизики и крепостного права.

Кром'в того, чтобы пользоваться свободой, реалисть должень быть самь свободень не только уже от предразсудновь или пережитновь; но больше того: онь должень быть мыслящимь пролетаріемь. Почему, когда говорять о Ппсарев'в или свысока называють его талантливымь мальчикомь, или отказываются вид'єть въ немь что-нибудь другое, кром'в бойкаго и талантливаго пера,—не считають нужнымь упомянуть объ этомъ пункт'в его ученія,—я не знаю, по это ничуть не умень-

шаетъ его важности. Мыслящій реализиъ, получившій уже свои ограниченія отъ науки и знанія, этимъ вотъ требованіемъ Писарева обращается, пожалуй, даже въ подвижничество, потому что только ради идейнаго самоуслажденія, ради полноты своего духовнаго міра работаетъ мыслящій реалистъ, а не ради какой-нибудь витіпней выгоды. Писаревъ требовалъ отъ человіка работы и думалъ, что истинную работу можетъ совершать лишь пролетарій, который знаетъ, въ чемъ дтйствительно нуждается его бъдная и невъжественная родина. Онъ, человъкъ настоящихъ, а не выдуманныхъ потребностей, будетъ стремиться къ полезному и необходимому по существу, или въ різкой формулировків—научитъ сначала шить сапоги, а затівшъ уже понимать Шекспира. И мало того, его личные интересы, какъ пролетарія, органически, безкорыстно, безъ душевнаго надрыва сольются съ интересами нищей и голодной массы. Владівніе чізмъ-нибудь, какая-нибудь привидегія, все это не можеть не явиться поміхой въ трезвой работі реалиста.

И воть странное, повидимому, явленіе, что самъ барпиъ и чуткій эстетикъ, Писаревъ съ поражающей силой благороднаго негодованія или съ уничтожающей насмышкой обрушивается на все барское и на эстетику прежде всего! Онъ прямо-таки вопість противъ эстетики, противъ самодовліжощей красоты, онъ мечеть на нихъ громы и молнім, хотя идеть самодовл'вющей и самоцівнной личности онъ нисколько не противорівчить. Но настроеніе эпохи и тонъ, приданный ей господствующимъ типомъ разночинца, оказались сильнъе барской закваски Писарева и заставили его самое ценное пріобретеніе барской культуры, идею красоты подчинить идеё пользы. Вообще по этому поводу мий хотилось бы сдилать небольшое заминание. Я думаю, что не следуеть быть слишкомъ большимъ теоретикомъ въ вопросахъ "живой жизни", которая, разумъется, своею сложностью всегда перещеголяеть самую сложную теорію, а по своему разнообразію не хочеть уложиться ня въ какія строго определенныя рамки. Поэтому, придавая очень большой сиысль вопросу о сословномъ происхождения человъкая никогда не дуналъ однако требовать, чтобы у каждаго барина были непременно иден барскія, а у каждаго разночинца—празночинныя". Это равнялось бы требованію, чтобы всіз кошки были непремізню стрыя. Въ той же сословной средъ возможны самыя разнообразныя вліянія, а значить, и разные результаты. Я думаю только, что основной типъ своего сословія человъкъ дъйствительно сохраняетъ очень упрямо, такъ что попа и въ рогож'в узнають. Но въ то же время всякій культурный слой, всякая общественная идея — при чемъ, конечно, и слой, и идеп создаются препмущественно жизнью и духомъ извъстнаго сословія-обладають силою внушенія, притомъ очень часто распространяють свою власть и вліяніе на области совершенно для нихъ чуждыя. Благодаря этой силъ, онъ способны находить себь самыхъ неожиданныхъ последователей даже тамъ, где, казалось бы, кром в вражды онв не могли встретить ничего. Поэтому барское происхождение Писарева меня рішительно не смущаеть. Подчинившись многимъ идеямъ господствовавшаго разночница, радостно подрубая тотъ самый сукъ, на которомъ сидели его предки и родичи, волнуясь и спеша, съ юношеской восторженностью опровидывая всё барскія традицін, провожая ихъ пинками и насужшками, -- Писаревъ однако очень упрямо сохранялъ основной типъ своего сословія. В'єдь не даромъ все же такъ недолюбливалъ его "Современникъ", напр., въ лицъ Антоновича, потому что въ глазахъ "Современника" "мыслящій пролстарій" Писарева очень напоминалъ "мыслящаго аристократа-офлоручку", а г. Михайловскій въ свопать воспоминаніям съ большим основаніем говорить в Писаревь: "въ то время, какъ Писаревъ и другіе наыскивали программу чистой святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны" и т. д., -- т. е. просто напросто упрекаеть Инсарсва въ прекраснодушін, вопстину отличавшемъ передовыхъ представителей нашего барства. Развитая личность для Писарева была действительно выше всего. Величія массы понять онъ не могъ. Никакого мистического влеченія къ массь (какъ у Добролюбова, напр.) онъ не чувствовалъ. Онъ видълъ, что она глупа и бъдна, и мало ею интересовался. Даже лучь свыта въ темномъ царствы нисколько его не радоваль: онь не могь повірить, чтобы лучь этоть самь собою загорълся внутри массы, и думаль, что этотъ лучъ долженъ быть внесенъ въ массу реалистами. Я думаю, что Добролюбовъ очень и очень не одобрилъ бы Писарева за это отсутствіе віры въ народъ и въ таящіяся тамъ великія силы. Но тоть же Добролюбовъ едва ли бы отказался отдать справедливость Инсареву не только уже за огромный, прямо-таки исключительный литературный таланть, но и за ту неутомимость, за ту м'яткость, съ какою онъ разстръливалъ барскіе идеалы и пережитки барской культуры, и какъ славно и лихо велъ онъ съ ними свою партизанскую войну, воистину не давая имъ ни отдыха, ни срока.

Установить связь пдей Писарева съ идеями его предшественниковъ--не трудно. Припомните, какъ отстанвалъ В'алинскій личную свободу и самостоятельность.

Современники то и дѣло обвиняли его за то, что онъ не признаетъ никакихъ литературныхъ авторитетовъ и осмѣливается по поводу каждаго разбираемаго автора свое суждение имътъ. Обвинение совершенно справедливое, но мы, разумъется, поставимъ его въ заслугу великому критику.

Это "свое сужденіе" и создало его славу, оно—его право на безсмертіе. Литературный авторитеть такъ же вредень, какъ и всякій другой, разъчеловъкъ подчиняется ему не сознательно, а лишь изъ робости мысли и чувства, словомъ—съ чужого голоса. Личность всякаго человъка должна быть свободна. Этому училъ Вълинскій. Разумъется, что эмансицація личности не ограничивалась у него областью литературы и критики. Вооруженный тыкъ же принципомъ, онъ смело подходилъ къ вопросамъ любви, семейной и государственной жизни.

"Нашъ романтизмъ, —говорилъ онъ, —хлопочетъ не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобы не разбить другого предавшагося вамъ сердца и не быть причиной несчастія его жизни. Одинъ такъ, другой ниаче, тотъ -- одинъ разъ въ жизни, этотъ—десять разъ, оба равно правы, лишь бы только на совъсти котораго-нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастье".

Любовь должив быть свободна, и человъку нечего взваливать на себя какихъ бы то ни было обязательствъ въ дёлё чувства. "Нётъ боле чувтва, — пишетъ Белпнскій, — и верность геряетъ свой смыслъ". То же и на счетъ власти родительской: "если бы отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына ложе его жизни на основаніи собственныхъ корыстныхъ разсчетовъ, — всё бы увидёли, что отецъ любитъ себя, а не сына, и темъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ: ибо, если и тътъ любви, связывающей отца съ дётъми, то у дётей и темъ отца".

Не такое было время, чтобы Бълинскій могъ высказываться свободно, но все же его симпатіп п антипатіп намъ извъстны очень хорошо. Что привлекало когда-то въ его статьяхъ, что продолжаетъ привлекать въ нихъ и въ настоящее время? Очевидно, одно: уваженіе къ человъку, настойчивое требованіс простора для мысли и чувства. Не даромъ же Писаревъ съ такой почтительностью относился къ Бълинскому: онъ продолжалъ его дъло.

Идея эмансппаціи личности разрушила крѣпостное право, создала реформы 60-хъ годовъ и внесла много свѣта въ темную область старинныхъ семейныхъ условій. Для русской жизни она была отвровеніемъ и продолжаеть быть имъ до настоящаго времени.

Следуя духу времени, Писаревъ придалъ ей резкую гражданско-утилитарную окраску. Этой стороной своего міросозерцанія онъ вилотную приросъ къ 60-мъ годамъ и несомиенно является однимъ паъ самыхъ яркихъ и талантливыхъ представителей "пдеализма земли". Онъ ценилъ все, что улучшаетъ бытіе человека здесь на земле, но одинъ вопросъ постоянно смущалъ— и притомъ совершенно основательно смущалъ его мысль: можно ли вливать новое вино въ старые межи? Какой прокъ можетъ выйти изъ

всёхъ реформъ и благихъ начинаній, разъ самые люди ничтожны? Что подёлаете вы съ карликами и господами, приспособленными лишь къ мартышвину труду? Только то обновленіе прочно, которое воспринято критически-мыслящимь умами. Оттого-то онъ и сосредоточилъ всё свои усилія на созданіи интеллигентныхъ людей, мысль которыхъ являлась бы основой хорошей человъческой жизни. Оттого-то онъ такъ страстно проповёдывалъ критику и науку. Остановимся па минуту на терминё пителлигентный человъкъ. Это приведеть насъ къ философско-историческимъ взглядамъ Писарева.

Интеллигентнымъ человъкомъ Писаревъ называетъ того, у кого въ головъ ссть своя самостоятельная мысль. Дъло не въ образованін, не въ знанія даже, а діло въ томъ, чтобы человікть въ своей собственной жизни, по мітрі силь и способностей, повториль умственный опыть человъчества, насколько это, конечно, возможно. Если говорять, что надо повторить опыть человічества, то это совсівнь не значить, что слідуеть каждому начинать съ состоянія троглодита, пзобрести самому хижины п куртки, пройдя предварительно черезъ стадію звіриныхъ шкуръ, потомъ--огонь, и т. д. вплоть до философіи Канта и Спенсера включительно. Это совсьмъ пустяки. Хижины и куртки изобрътены и довольно уже давно Канть и Спенсеръ свою философію написали, и изобрѣтать изобрѣтенныя вещи-значить совстви напрасно тратить время. Но начать съ того, что въ самомъ способъ воспріятія выработаннаго уже матеріала есть большая разница: можно воспринимать механически, можно и съ полнымъ уваженіемъ къ авторитету, и вивств съ полнымъ желаніемъ сохранить свою самостоятельность.

Это законно и даже необходимо. Знаменитое декартовское "doute absolute" еще и теперь не утеряло своего громаднаго значенія для развитія и, я думаю, никогда его не утеряеть. Нельзя, конечно, во всемъ сомиваться и ко всему относиться недовърчиво. Эго мотовство и самомивніе. Когда вамъ говорять: "дважды два—четыре", что туть спорить?

Писаревъ постоянно твердилъ, что дорога самостоятельнаго мышленія съ должной дозой скептицизма—вотъ единственно, что вырабатываетъ пителлигентныхъ людей, а не ходячія формулы. Формулы могутъ быть очень снипатичны, но люди, воплощающіе пхъ, могутъ тѣмъ не менѣе никуда не годиться. Они очень мизерны—это во-первыхъ, очень подозрительны—это во-вторыхъ. Да, подозрительны. Вѣдь, если они съ такой легкостью восприняли сегодня одну формулу, то кто же поручится, что завтра они не воспримутъ съ одинаковой легкостью другой формулы, прямо противоположной первой? Выработавъ себя путемъ самостоятельнаго мышленія, интеллигентный человъкъ отличается поэтому двумя качествами: чувстви-

тельностью къ личному опыту — во-первыхъ, въротерпимостью — вовторыхъ.

Люди, у которыхъ прекрасно развита шишка двуперстія, къ личному опыту, да и не только къ личному, а и вообще ни къ какому опыту не чувствительны. Имъ хоть колъ на головъ теши, а они знай свое повторяютъ: "Исусъ", да "Исусъ". Не помню, какому-то типичному аббату среднихъ въковъ ученикъ сообщилъ свое астрономическое открытіе, что "на солнцъ есть пятна".

· — Другъ мой, — отвъчаеть типичный аббать, — я всю жизпь читалъ . Аристотеля и никакихъ пятенъ на солнцъ у него не показано. Совътую и тебъ перечесть внимательно творенія мудреца.

Въ данномъ случать очевидно, что между двуперстіемъ и творевіями мудреца рішптельно никакой разницы нітъ. Но это-то двуперстіе и уничтожаєть всю красоту, всю полезность интеллигентной діятельности. Писаревъ ни въ чемъ другомъ ея красоты не видіблъ, какъ именно въ оригинальности, въ самостоятельности, а когда передъ человікомъ, вмісто этихъ прекрасныхъ качествъ, штампъ, то, признаться, ничего кромі скуки и самаго искренняго позыва къ зівоті — никто и ощутить не можетъ.

"Увлечься идеею,—говорить онъ,—не трудно, подчиниться идет способень человъкъ очень ограниченныхъ способностей, но такой человъкъ не принесеть идет инкакой пользы и самъ не выжметь изъ этой идеи инкакихъ плодотворныхъ результатовъ. Чтобы переработать идею, напротивъ того, необходимъ живой мозгъ; только тотъ, кто переработалъ пдею, способенъ сдълаться дъятелемъ или измънить условія своей собственной жизни подъ вліяніемъ воспринятой имъ идеи, т. е. только такой человъкъ способенъ служить идет и извлекать изъ нея для самого себя осязательную пользу. Подчиняются идеямъ многіе, овладъваютъ ими избранныя личности, оттого въ слояхъ нашего общества, которые называютъ себя образованными, господствуютъ идеи, но эти идей не живутъ; идея только тогда и живетъ, когда человъкъ вырабатываеть ее силами собственнаго мозга, какъ только она перешла въ категорическій законъ, которому всть подчиняются, иначе она застыла, умерла и начинаеть разлагаться..."

Въ этпхъ словахъ Ппсарева, какъ нельзя лучше изложена разница между человъкомъ интеллигентнымъ, въ которомъ идея живеть, и человъкомъ образованнымъ, въ которомъ она лишь пребываеть.

Интеллигентныхъ людей характеризуетъ творческая способность, творческая самостоятельность. Степень этой способности можетъ быть очень различна, по, малая или великая, она должна быть и при лучшихъ условіяхъ можетъ быть и у большинства.

Такъ смотрълъ Писаревъ на интеллигентныхълюдей. Они — соль земли,

иниціаторы всего хорошаго, ихъ критическая мысль—залогь прогресса и устойчивости этого прогресса.

Слідовательно, чтобы пересоздать жизнь, надо прежде всего эмансипировать личность и открыть ей дорогу, какъ къ развитію, такъ и проявленію самой себя.

Совершенно понятно, почему идея эмансипаціп такъ страстно пропагандировалась русской журналистикой съ самой минуты ея пробужденія и
проходить красною нигью черезъ сочиненія лучшихъ нашихъ критиковъ и
публицистовъ. На Западѣ личность сознала себя уже въ XVI вѣкѣ и потребовала къ себѣ винианія и уваженія, хотя бы въ области религіозныхъ
върованій. Карлейль увѣряетъ, что новую исторію надо начинать со словъ
Лютера: "hier stehe ich und anders kann ich nicht. Gott helfe mir", т. с.
"я настанваю на томъ, что это истина, иначе думать и вѣрить не могу.
Богь да поможетъ мнъ". Лютеръ сказалъ, что онъ имъетъ право толковать священное писаніе, какъ онъ его понимаетъ, и вѣрить сообразно съ
своимъ разумомъ. Французская революція признала личность, какъ политическую единицу, и лишь особенныя обстоятельства ограничили понятіе личности принадлежностью къ одному классу собственниковъ—буржуа. Въ самой же буржуазной средѣ личность достигла и экономической пезависимости.

Какъ бы то ни было, въ теченіе XIX въка Еврона добилась правовой эмансипаціи личности и могла всь усилія свои сосредоточить на томъ, чтобы дать праву реальность, т. е. обезпечить его въ экономическомъ отношеніи.

У насъ по этой части все шло шивороть на вывороть. Мы учились у Запада, жадно прислушивались къ тому, что проповъдуется съ берлинскихъ каеедръ и парижскихъ трибунъ, читали Жоржъ Занда, Луи Блана и пр., а между тъмъ государственная жизнь поконлась на кръпостномъ правъ, т. е. на полиъйшемъ отрицания личности, семья—на идеяхъ Домостроя, отрицавшихъ личность жены и дътей передъ воплощениемъ патріархальнаго права, т. е. отцомъ. Это противоръчіе сразу бросалось въ глаза и въ 40-хъ и въ 60-хъ годахъ не менъе ярко, чъмъ въ 20-хъ, или даже въ предыдущемъ столътіи.

Вълнискій уже очень серьезно занимается этимъ вопросомъ, еще больше вниманія удъляєть ему Герценъ. Паступають наконецъ 60-ые годы. Вино подается новое но мъхи остаются прежними. Эти мъхи — кръпостная личность, кръпостная, хотя не юридически уже, но фактически, благодаря своей дикости, невъжеству, умственной робости.

Отчаяннымъ натискомъ и геройскимъ приступомъ 60-ые годы заняли много позицій, гдв очень самодовольно и въ кажущейся безопасности гивадились устои прежней жизни. Если ихъ можно было, и притомъ сра-

внительно легко, выкурить изъ кодекса законовъ, то выкурить ихъ изъ понятій оказалось куда труднѣе—прямо не подъ силу никому. Писаревъ посвятилъ этому всю свою молодую жизнь, всю страсть своей горячей натуры, весь свой громадный талантъ, и миѣ думается, что онъ шелъ вѣрной дорогой, дополняя "Современникъ", съ его строгой "политико-экономической программой"...

"Отношенія между мужемъ и женою, между отцомъ и сыномъ, матерью и дочерью, воспитателемъ и воспитанникомъ—все это, —говорилъ онъ. —должно быть обсуживаемо и разсматриваемо съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. И это обсужденіе пе должно привести къ составленію законовъ семейной жизни. Боже упаси. Догматизмъ вреденъ въ такихъ отношеніяхъ, въ которыхъ не должно быть ничего условнаго, въ которыхъ понятіе обязанности должно уступить мѣсто свободному влеченію и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убѣжденія объ условіяхъ домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы натолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смѣлому пересмотру существующія формы, освященкыя вѣками и потому подернувшіяся вѣковою плѣсенью".

Русская исторія постоянно грішпла какинтьто вполить систематический отрицаніємъ личности. Въ этомъ повинны столько же монгольское иго, сколько и Петръ Великій. Человтка на сцент не было инкогда, развт въ легендарный періодъ, когда соловып-разбойники прятались по літеамъ муромскимъ и брянскимъ. Люди, создавшіе русское просвіщеніе, какъ нельзя лучше понимали это, и эмансипація личности— первъ прогрессивной русской мысли.

Пропов'дуя ее, Писаревъ становится на почву выгоды и экономін силъ, оставляя такимъ образомъ шаткіе подмостки добра и зла. Овъ, обращаясь къ здравому смыслу и разсудку своихъ читателей, старается доказать ниъ, что счастье можеть быть достигнуто только при этомъ условін. И это не личное маленькое счастье, а напротивъ - широкое, общечелов'вческое счастье. Ему жаль, и притомъ совершенно основательно жаль, тъхъ пногда недюжинныхъ силъ, которыя разбрасываются на служение обычаямъ и приличиять, въ погонъ за различными плиозиями, жаль и той работы, которая совершенно не отвічаеть влеченію ихъ природы. И такая постановка вопроса ссветыть не пустящная, а какт разъ наоборотъ. Одинаково смотрели на дело Сократъ и Платонъ и все, кто умелъ трезво взглянуть на человъческую п общественную жизнь. "Познай самого себя" училь здравый, глубоко практическій геній Греціи. Что собственно означаеть это познание самого себя? Оно означаеть, что обязанность каждаго, какъ человъка и гражданина, заключается прежде всего въ токъ, чтобы взвъсить свои силы, тщательно и безъ всякаго санообольщенія опредълить

пхъ разм'вры и найти для нихъ такую точку приложенія, когда он'в могли бы обезпечить наибольшую пользу для общества, наибольшее счастье для самой личности.

Таковъ истинный смыслъ эмансипаціи личности, какъ понималь ее Писаревъ. Личность свободно опредъляеть свои силы и свое влеченіе и свободно работаєть на избранномъ поприщъ. Въ результатъ—прежде всегоэкономія силъ.

Это существеннъйшій пункть.

Выло когда-то въ модѣ восторгаться мудростью природы и ппсать на тему, какъ все прекрасно устроено въ этомъ лучшемъ изъ міровъ. Наконецъ наука пришла къ той простой мысли, что хогя природа и совершенствуется по части приспособленія, но дѣлаеть это съ безумной расточительностью. Лотце уподобляеть природу охотнику, который, желая убить одного зайца, пускаетъ во всѣ стороны 10,000 выстрѣловъ, въ чаяніи, что авось который-нибудь зарядъ и попадеть, куда нужно. А не попадеть—что за бѣда?

Путемъ безконечно долгой и упорной работы мысли человъкъ отдълилъ себя отъ природы и увъровалъ, что онъ можетъ и долженъ устроить свое благополучіе, пользуясь собственными сплами и средствами. Слъдовательно, онъ призналъ, что его дорога къ счастью другая, чъмъ у природы-матери, если у послъдней вообще есть какая-нибудь дорога, и различіе двухъ дорогъ ръзче всего проявляется въ двухъ пунктахъ:

- 1) въ экономпанрованіи силь и
- 2) въ уваженія къ личности, какъ таковой.

Экономія силъ для природы—вещь совершенно посторонняя. Также посторонне для нея уваженіе къ личности, индивидууму. Къ нимъ она относится съ обиднымъ даже пренебреженіемъ и жертвуеть милліонами, не чувствуя при этомъ ни малѣйшаго угрызенія совѣсти. Всякій знаеть, я думаю, какая это въ сущности жестокая; съ нашей, человѣческой точки зрѣнія, вещь—естественный подборъ. Гибнуть десятки и сотни, чтобы дать возможность выжить одному.

Говорить читателю, что діятельность Писарева заключалась главнымъ образомъ въ пропагандії этихъ двухъ великихъ ндей новой науки, т. е. экономіи силъ и признанія за каждымъ права на полноту существованія,— излишне. Но надо замітить, что онъ—русскій человікъ, слідовательно— отъ. Онъ забылъ на свои философско-историческіе взгляды наліппть соотвітствующіе ярлыки, забылъ указать въ нужномъ місті, что это его мысль, что раньше, до него, этого никто не говорилъ.

Причина, какъ видитъ читатель, совершенно основательная, чтобы пользовались его идеями, не указывая источника. Но еще большая бъда,

что, какъ журналистъ, Писаревъ не успълъ придать своимъ взглядамъ научный характеръ и систематически изложить ихъ въ двухъ—или сколько тамъ—томахъ съ соотвътствующими ссылками на первоисточники.

Но что будешь дѣлать? Не удалось Бѣлинскому написать своей "Исторів литературы", а пришлось разбросать ее на протяженіи XII томовъ, не удалось и Ппсареву разработать свою идею "до такихъ ясныхъ и осязательныхъ результатовъ, до какихъ еще никто не доводиль раньше меня", какъ выражается онъ въ письмѣ къ матери. Онъ ограничился журнальными статьями, по необходимости обремененными массой посторонняго текущаго матеріала. Но все же очевидно, что онъ больше, чѣмъ кто-инбудь изъ русскихъ писателей, сдѣлалъ для того, чтобы закрѣпить за русскимъ самосознаніемъ вдею объ исторической силѣ эмансиппрованной, критической личности. Что бы вышло изъ этой идеи потомъ, какъ измѣнплась бы она подъ вліяніемъ обстоятельствъ времени, мы не знаемъ, но, конечно, для своего времени идея его была самая живая и подходящая...

Главное обалніе Писарева въ той юной силь, которая бьеть въ немъ ключомъ. Оттого-то его сочиненія и им'єють неувядаемую прелесть, что съ вами какъ будто разговариваеть самъ богъ молодости. Мы и теперь съ непонятнымъ наслаждениет перечитываемъ его статьи, готовые шагъ за шагомъ опровергать ихъ содержаніе. Но обаяніе юности сильнъе всего. Иногда попадается въ руки забытая тетрадь съ пожелтевшими уже страницами, съ стрыми, вмъсто черныхъ, строками, размащисто и торопливо написанными. Очевидно, время не ждало, очевидно. человъкъ, подчиняясь внутреннему непреоборимому импульсу, какъ въ бреду записывалъ свои мысли, стремясь охватить своимъ умомъ все, готовый на борьбу со всеми препятствіями и влекомый потокомъ своей вдохновенной мысли, уносияся все выше п выше туда въ область утопій и счастливаго грядущаго. Этоюность съ своими несоразифрими размахами, своею гордостью и самонадеянностью и виесте съ темъ той истиной, которая доступна безкорыстному, страстному мышленію. Надо читать такія тетради и вливать свъжіе соки въ свое сердце. А сочиненія Писарева какъ разъ-есть тетрадь пылкой и верующей юности.

Впрочемъ, не все юность... Въ мысляхъ Писарева объ искусствъ, въ его педагогическихъ статьяхъ, въ общемъ строть его міросозерцанія есть много цъннаго, что останется цъннымъ надолго, если не навсегда. Сдълаемъ краткій обзоръ основныхъ его взглядовъ. Говорятъ, что онъ отрицалъ искусство, и ссылаются при этомъ на его статьи "Пушкинъ и Вълинскій" и "Разрушеніе эстетики". Это неправда. Натура глубоко-худо-

жественная, съ чуткимъ пониманіемъ всего прекраснаго, онъ никогда искусства не отрицалъ. Онъ отрицалъ лишь замкнутое въ себъ самомъ служеніе красотъ. Напротивъ, болье горячей и страстной тирады во славу поэтовъ и поэзін, чъмъ та, которая сорвалась съ пера Писарева, вы не найдете ни въ нашей, ни въ иностранной литературъ. Я считаю нужнымъ иъликомъ напомнить ее:

"Истинный "полезный" поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуеть самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвъщенныхъ представителей его въка и народа. Понимая вполиъ глубокій смысль каждой пульсаціи общественной жизни, поэть, какъ человъкъ страстный и впечатлительный, непремънно долженъ всъми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидъть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мъщаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дъйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою ненавистью, составляеть и непремённо должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнъйшій смысль всего его существованія и всей его дівятельности. "Я пишу не чернилами, какъ другіе, — говорить Берне: — я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ". Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тотъ долженъ шить сапоги и печь кулебяки.

"Поэть, самый страстный и впечатлительный изъ всёхъ писателей, конечно, не можетъ составлять исключенія изъ этого правила. А чтобы дъйствительно писать кровью сердца и сокомъ нервовъ, необходимо безпредъльно и глубоко-сознательно любить и ненавидъть. А чтобы любить и ненавидьть, и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты отъ всякихъ примъсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узпать. А когда все это сдълано, когда поэть охватиль своимь сильнымъ умомь весь великій смысль человьческой жизни, человъческой борьбы и человъческого горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ кръпкую связь между отдъльными явленіями, когда онъ поняль, что надо и что можно дёлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами следуеть действовать на умы читающихъ людей, тогда безсознательное и безцъльное творчество дълается для него безусловно невозможнымъ. Общая цъль его жизни и дъятельности не даетъ ему ни минуты покоя; эта цъль манитъ и тянетъ его къ себъ; онъ счастливъ, когда видить ее передъ собой яснъе и какъ будто ближе; онъ приходитъ въ восхищеніе, когда видить, что другіе люди понимають его пожирающую страсть и сами съ трепетомъ томительной надежды смотрять въ даль на ту же великую цёль; онъ страдаеть и элится, когда цёль исчезаеть въ тумане человеческихъ глупостей и когда окружающіе его люди бродять ощупью, сбивая другь друга съ прямого пути....

"Человъкъ, прикоснувшійся рукою къ древу познанія добра и зла, никогда не сумъетъ и, что всего важиве, никогда не захочетъ возвра-

титься въ растительное состояніе первобытной невинности. Кто поняль и прочувствоваль до самой глубины ваволнованной души различіе между истиной и заблуждевіемъ, тотъ волей и неволей въ каждое изъсвоихъ созданій будетъ вкладывать идеи, чувства и стремленія въчной борьбы за правду.

"Итакъ, по моему мивнію, истинный поэтъ, принимаясь за перо, отдаетъ себъ строгій и ясный отчетъ въ томъ, къ какой общей цъли будетъ направлено его новое созданіе, какое впечатлъніе оно должно будетъ произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажетъ имъ своими яркими картинами, какое вредное заблужденіе опо подроетъ подъ самый корень. Поэтъ—или великій боецъ мысли, безстрашный и безукоризненный "рыцарь духа", какъ говоритъ Генрихъ Гейне, или же—ничтожный паразитъ, потъщающій другихъ ничтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплоднаго фиглярства. Середины нътъ. Поэтъ— или титанъ, пострясающій горы въкового зла, или же козявка, копающаяся въ цвъточной пыли. Н это не фраза, это строгая психологическая истина".

Чемъ-то могучимъ и страстнымъ веть отъ этой патетической тирады, и где туть хотя бы только намекъ на отрицание искусства?...

Педагогическими вопросами онъ занимался очень внимательно. Онъ посвятилъ имъ цёлый рядъ статей. "Наша университетская наука", "Мысли Вирхова о воспитаніи женщилъ", "Педагогическіе софизмы" и т. д. И все равно, какъ въ искусствъ онъ отрицалъ педантизмъ искусства, такъ и здъсь онъ боролся лишь противъ недантизма школьной схоластики. Онъ хотълъ, чтобы школа выпускала здоровыхъ, сильныхъ, по возможности умныхъ людей, снабженныхъ реальными свъдъніями, а не чучелъ, набитыхъ вокабулами.

Но, конечно, главное значеніе Писарева въ его общественныхъ идеяхъ. Что онъ увлекался, что онъ переоцівниваль роль критическихъ личностей, что онъ призналь огромность этой роли на въру—все это элементарныя, азбучныя вещи, которыя и повторять не стоптъ. Онъ говорилъ: "обязанность критической личности опредълить, что дъйствительно общеполезно, и обязанность мыслящаго человъка совершать общественную работу, слъдуя влеченію своей натуры, провъренному и руководимому мыслью и опытомъ жизни. Общеполезно же прежде всего то, что дълаетъ насъ умнъе и богаче". Это голосъ эпохи—громкій и самонадъянный, полный въры. Но мнъ кажется, воть пдеалъ, во нмя котораго Писаревъ совершилъ свою гигантскую литературную работу, и пдеалъ несокрушимый, такой, который надолго будетъ служить еще путеводной звъздой. Это проповъдь принципа экономіи силъ...

Во-первыхъ, — говоритъ онъ, — мы бідны, а во-вторыхъ глупы... Глупость и бідность пе какія-нибудь мечтательныя бідствія, а реальныя, и чтобы побіднть ихъ, надо притянуть къживой, полезной діятельности всів силы русскаго общества. Гдів же и въ чемъ она, эта живая полезная діятельность?

"Во-первыхъ, извъстно, что значительная часть продуктовъ труда переходить изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непроизводящихъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ производителя, значитъ уменьшить его нищету и дать ему средства къ дальнъйшему развитію... Во-вторыхъ, можно дъйствовать на непроизводящихъ потребителей, но, конечно, надо дъйствовать па нихъ не моральной болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только къ тъмъ потребителямъ, которые желаютъ взяться за полезный и увлекательный трудъ, но не знаютъ, какъ приступить къ дълу и къ чему приспособить свои силы. Тв люди, которые, по своему положенію, могутъ и, по своему личному характеру, желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайней осмотрительностью и разсчетливостью; то-есть они должны браться только за ть работы, которыя могуть принести обществу дъйствительную пользу — Такая экономія умственныхъ силъ необходима вездъ и всегда, потому что человъчество еще нигдъ и пикогда не было настолько богато дъятельными умственными силами, чтобы позволять себъ въ расходованіи этихъ силъ мальйшую расточительность. Между тъмъ расточительность всегда и вездъ была страшная, и оттого результаты до сихъ поръ всегда получались самые жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и расточать-то намъ нечего. У насъ до сихъ поръ всего какой-нибудь двугривенный умственнаго капитала, но мы, по нашему извъстному молодечеству, и этотъ песчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно. Намъ строгая экономія еще необходимъе, чъмъ другимъ, дъйствительно образованнымъ народамъ, потому что мы въ сравненіи съ ними-нищіе. Но чтобы соблюдать такую экономію, надо прежде всего уяснить себъ до послъдней степени ясности, что полезно обществу и что безполезно...

"Экономія умственныхъ силъ есть не что иное, какъ строгій и послъдовательный реализмъ..."

Н. В. Шелгуновъ (1824—1891 г.). "Мы бёдны и глупы"—говориль Писаревъ. Шелгуновъ обратиль особенное свое вниманіе на вторую половину этой формулы. "Намъ нужны школы, еще школы и еще школы"—любиль говорить онъ. Но, конечно, не однёми только школами ограничивались его вожделёнія, да и сама школа для того, чтобы дёйствительно просвёщать, требуеть куда какъ много отъ жизни. Въ общую литературу (именно въ "Русское Слово") Шелгуновъ вступиль въ 1862 г. и совершенно въ духъ своего міросозерцанія началь съ популяризаціи историческихъ и экономическихъ знаній. Затёмъ онъ сотрудничаль въ "Дѣлъ", а въ 1885 г. началь въ "Русской Мысли" свои извъстные и популярные "Очерки русской жизни", въ которыхъ съ удивительной искренностью и уваженіемъ къ чужому мнёнію, старался разобраться въ наступившей послё крушенія народничества смугё умовъ и вывести заблудившуюся русскую мысль на путь простого и яснаго міросозерцанія 60-ыхъ годовъ. Ему

больно было видёть въ молодежи или разнузданный индивидуализмъ, или "толстовство"; карьеризмъ, конечно, былъ прямо ненавистенъ ему. Радостно привътствовалъ онъ всякія культурныя начинанія, какъ бы ни малы были ихъ размъры, указывалъ постоянно на огромность общественных задачъ, лежащихъ на интеллигенціи,—на бъдность и невъжество народа, которому помочь надо. — на чудное сознаніе исполненнаго общественнаго долга. Особенно, повторяю, подкупалъ онъ своею искренностью, своею душевной бодростью, которую онъ такъ счастливо сохранилъ и въ преклонномъ возрастъ. Совершенно, поэтому, былъ правъ г. Михайловскій, сказавъ про него: "Съ шестью десятками лъть на плечахъ, послъ десятковъ лътъ утомптельной литературной работы, послъ всяческихъ житейскихъ невзгодъ, «онъ не зачерствълъ, не состарился умомъ и чувствомъ и не сложилъ рукъ. Онъ—все тотъ же идеалистъ земли и на фонъ нынъшней литературы онъ кажется даже моложе, чъмъ когда-нибудь".

Шелгуновъ не весь въ Писаревъ, не весь въ уиственномъ самоусовершенствованіи. Онъ знасть уже настоящую цвну общественныхъ и экономическихъ условій и, высоко ставя внтеллигенцію, онъ однако не преувеличиваль ея роли. Онъ зналь, что интеллигенція должна опираться на умный, просвъщенный и во всякомъ случать не на нищій народъ. Поклонники Шелгунова въ особенную заслугу ставять ему дъйствительно талантливую полемику съ "абрамовщиной", т. е. проповъдью малыхъ дълъ на пользу народа, съ популяризаціей отрадныхъ фактовъ и свътлыхъ явленій, что, разумъется, должно было бы повести къ самоуслажденію и съ ученіемъ Л. Толстого, особенно его знаменитымъ непротивленіемъ злу. Но съ этимъ намъ придется встрътиться еще позже. Пока же замъчу, что Шелгуновъ одна изъ самымъ твердыхъ, выработанныхъ эпохой общественнаго подъема фигуръ, до конца не измънившій основамъ міросозерцанія своей юпости.

- М. Н. Катковъ и "Русскій Въстникъ". Очень значительное и, въ началь по крайней мърф, очень плодотворное участіе въ движенія 60-ыхъ годовъ принималь и Мих. Ник. Катковъ съ свониъ "Русскимъ Въстникомъ". И самъ Катковъ, и его журналъ—явленія въ нашей жизни настолько крупныя и прямо характерныя, что намъ нъть возможности обойтись безъ подробнаго отчета о нихъ.
- М. Н. Катковъ родился въ 1818 г. въ Москвъ. Отецъ его совершенно раззорившійся русскій дворянивъ рано умеръ, и послъ его смерти семья осталась безъ всякихъ средствъ къ существованію. Отмъчаю и подчеркиваю это обстоятельство, придавая ему серьезнъйшее значеніе. Каткову

пришлось яспытать крайнюю общность и необходимо сопровождающія ее **УНВЖЕНІЯ.** П**ДИШЛОСЬ НЕ ДАЗЪ НАТОЛКНУТЬСЯ НА ДАВНО**ДУШІЄ ЛЮДЕЙ, ЧУВСТВОвать свое безсиліе хоть въ чемъ-нибудь помочь матери, самоотверженно отдавшейся воспитанію дітей, и мит кажется — весь вопрось въ томъ, на какую почву упадуть такія впечатленія. Представьте себе натуру гордую, властолюбивую, замкнутую въ себъ, натуру ищущую и требующую отъ другихъ дюдей и поклоненія и подчиненія, и въ то же время въ теченіе долгихъ летъ обреченную на заботы о куске хлеба, на необходимое смиреніе, по крайней мірть, на постоянное самоограниченіе. Не вызоветь ли это въ ней раздраженнаго и даже озлобленнаго отношения къ жизни, желания властно захватить ее въ свои руки и прп иткоторой удачт выразить свое непремънное желаніе, чтобы никто кругомъ не смълъ даже никнуть? Миъ кажется, что натура Каткова была именно такова, какъ я сказалъ, и онъ въ теченіе жизни пережиль только что указанный мною психологическій процессъ: -- онъ хотелъ властвовать, онъ любилъ мстить -- особенно подъ старость, необходимымъ спутникомъ которой является обыкновенно духовная черствость и сухость. Къ этому прибавьте еще обиды отъ литературы, которан не признавала его таланта, считала его изменникомъ лучшимъ убъжденіямъ юности и памяти Вълинскаго, видъла въ его огромномъ вліянін на бюрократическія сферы результать мітропріятій съ его стороны, имъющихъ лишь самое отдаленное сродство съ литературнымъ мастерствомъ собственно, и вы прибавите еще лишній штрихъ къ раздраженной и истительной исихологіи этого челов'вка. Нечесо при этомъ придавать какую бы то ви было въру его будто бы презрънію къ литературъ во всемъ ея составъ: онъ при своемъ огромномъ самолюбін хотълъ, чтобы и здъсь, въ этой сферв склонились бы передъ нимъ, его умомъ, проницательностью, талантомъ. А свой талантъ онъ очень ценилъ, что видно хотя бы изъ его хвастливой фразы: "трижды одинъ на одинъ ходилъ на Искандера".

Очень радъ, что могу для избъжанія упрековъ въ пристрастін, привести характеристику Каткова, принадлежащую перу одного изъ его духовныхъ питомцевъ—В. Розанова. Трудно не согласиться съ большею частью сказаннаго въ ней:

"Катковъ" и его "десятилътняя" память, Катковъ "какъ великій государственный человъкъ". Нътъ-малый. Почему? Онъ-среди идущихъ, а не тъхъ, которые ведутъ. Его сущность, какъ она правдиво формулирована г. Грингмутомъ, и заключается не только въ отсутствіи, но до извъстной степени въ коренномъ отрицаніи—въ отрицаніи на въка, въ отрицаніи для всего народа этихъ "зовущихъ голосовъ", этихъ таинственныхъ "зововъ", на которые оборачивая во всъ стороны голову, мы не понимаемъ, откуда они несутся, но почему-то, всъ дъла бросая, спъшимъ ихъ выполнить. Какъ это прекрасно выразилъ нашъ поэтъ, очевидно, въ себъ эту глубокую тайну почувствовавъ:

Digitized by Google

...Изъ пламя и свъта Рожденное слово...

"Мы выше назвали Каткова "мечтателемъ": это-потому, что имъ не принята въ расчетъ коренная дъйствительность исторіи, самый главный ся нервъ, хотя въ то же время и наиболъе тонкій, менъе всего грубо нащунываемый, и потому же еще мы назвали его "неонытнымъ сердцемъ": онъ не знатъ человъческаго сердца въ древнъйшихъ, исконнъйшихъ его основаніяхъ-тьхъ основаніяхъ, которыя бросили военную Францію за 17-ти літнею дівушкою, кинули Карно и даже позднів Бонапарта распространять "исповъданіе савойскаго викарія" и, наконець, циничную и растленную, какова она была при Борджіяхъ, римскую церковь повлекли вслъдъ страннаго паладина, еще менъе разсудительнаго, чъмъ герой Ла-Манча. Все это, вся эта громада психики и реальнъйшей дъйствительности осталась непонятною Каткову. Конечно, подобныхъ движеній мы у себя не знали, все было у насъ меньше, блъднъе, и суженность русской исторіи, сравнительно съ европейскою, заключается въ томъ, что "ветхій деньми" туманъ "юродства" и истинной "хромоты духа" чуть-чуть брежжилъ у насъ въ почти-политическихъ, т. е узкихъ и сухихъ, слишкомъ "умныхъ" для настоящей значительности партіяхъ славянофиловъ и западниковъ. Но и это ему не понравилось: даже блъдную зарю "взыскуемаго града" - какъ еще говоритъ и, говоря. конечно, освящаетъ Апостолъ- онъ хотълъ бы согнать съ съренькаго неба нашей исторіи. Онв еще "ищуть", эти партіи, онв "алчуть"--когда онъ такъ "сытъ". Въ самомъ дълъ, какая бъда и "мука" для уравновъшенности отъ этого! И вотъ "великій государственный человъкъ", взявъ въ руки "государственную клюку", хотълъ бы вымести всю эту "мистику", или, какъ говоритъ Өедоръ Павловичъ Карамазовъсвоей женъ "кликушъ": "я изъ тебя эту мистику-то выбью", не подозръвая, что "мальйшій въ царствъ семъ" непреоборимо сильнъе его, и, какъ гиппопотамъ Іова, безъ труда и даже равнодушно мнетъ "выгребающія клюки", подобныя для него "мягкому тростнику". Вотъ мы, "искренно уповая", какъ и г. Грингмутъ, "на Бога", окончили анализъ "идеала" и опредълили "великое" какъ малое, поставивъ на мъсто его кой-что "малое", но что и для Бога, а главное -- для самихъ людей, есть истивно "великое", оплакиваемое и возлюбленное".

Возвращаюсь къ н'бкоторымъ штрихамъ пзъ біографін Каткова. Повидимому еще въ студенческіе годы онъ познакомился съ Б'єлинскимъ и примкнулъ, хотя совс'ямъ не вплотную, къ его кружку. Вплотную онъ ни къ чему и ни къ кому не примыкалъ. М'єшало властолюбіе, м'єшало п то, что онъ постоянно съ к'ємъ-нибудь да ссорился *). Онъ ссорился даже съ Б'єлинскимъ, который прямо таки надо'єдалъ своимъ друзьямъ хвалебными отзывами о его дарованіяхъ. Любопытные отзывы о Катков'є мы находимъ въ письмахъ Б'єлинскаго къ В. П. Боткину: Вотъ что писалъ Б'єлинскій:

^{*)} Ссора съ М. Бакунинымъ едва не разръщилась дуэлью.

"Что это дълается съ К.? Онъ въ восторгъ отъ Одесскаго альманаха, отъ стиховъ Огарева и Сатина - педостаетъ ему приходить въ восторгъ отъ новъстей К. Ф. Павлова... Онъ полонъ дивныхъ и дикихъ силъ, и ему предстоитъ еще много, мпого надълать глупостей. Я его люблю, хоть и не знаю, какъ и до какой степени. Я вижу въ немъ великую надежду науки и русской литературы. Онъ далеко пойдеть, далеко, куда нашъ братъ и носу не показывалъ, и не покажетъ. Славная его статья о книгъ Максимовича, прекрасная статья, мысль такъ и свътится въ каждомъ словъ. Вообще, преобладаніе мысли въ опредъленномъ и яркомъ словъ-есть отличительный характеръ его статей и высокое ихъ достоинство, а отсутствіе сосредоточенной, непосредственной теплоты сердца- недостатокъ, но это недостатокъ не его натуры, а его льть. Общее поглощаеть его духъ и, такъ сказать, обезличиваеть его индивидуальность. Это-чудное начало, -- оно всегда останется съ нимъ. укръпляясь наукой, а когда онъ перестанетъ пылить... то и недостатокъ. о которомъ я говорю и который опредъленно не умъю назвать, исчезнетъ. Я читаю его статьи съ особеннымъ уваженіемъ-наслаждаюсь ими и учусь мыслить"...

Следующій отзывъ уже далеко не такой восторженный:

"Въ пемъ бездна самолюбія и эгоизма и мы много развили въ немъ и то, и другое. Сперва держали его въ черномъ тълъ, а съ исторіи ІЦ. начали носить его въ хлопочкахъ вотъ онъ и зазнался.

"Вспоминая объ извъстной тебъ моей исторіи съ пимъ, ясно сознаю, что я тогда же видълъ то, чего никто не видълъ, и ты особенно, и что съ другимъ къмъ у меня была бы невозможна подобная исторія, что онъ слишкомъ безчестно наслаждался плодами своей побъды надо мною и что его ненависть послъ того, какъ все объяснилось въ его пользу, выходила изъ самаго черстваго эгоизма и что не онъ, а я жестоко оскорбленъ былъ. Да, Боткинъ, признаюсь въ слабости, а и теперь иногда тяжело вспомнить объ этой исторіи. Вотъ этотъ человікть какъто не вощель въ нашъ кругъ, а присталъ къ нему. И онъ не могъ войти въ него; онъ для этого слишкомъ молодъ, и онъ еще только теперь страдаетъ тъми болъзнями, которыя мы или давно перестрадали, или къ которымъ притерпились, такъ что не чувствуещь ихъ, какъ лошадь хомута и упряжи. Это важное обстоятельство - одновременность развитія. Да, много, много пятенъ въ этой, впрочемъ, прекрасной натуръ. Время образуеть ее: есть натуры, трудно и туго развивающияся къ такимъ принадлежитъ и натура нашего юноши. А между тъмъ, это натура, полная силы, энергіи, могучая, натура широкая, если пока еще не глубокая, онъ никогда не сдълается ни піэтистомъ, ни резонеромъ, ни сантиментальнымъ шутомъ. Только онъ носить въ себть страшнаго врага -самолюбів, которос... чорть знавть до чего можеть довести его. Удивительно върпо твое выражение: "бравады субъективности" *). Это конекъ, на которомъ нашъ мноша легко можетъ свернуть себъ шею. Самолюбіе ста-

^{*)} На "птичьемъ" языкъ нашихъ гегеліанцевъ "бравадами субъективности" назывались самонадъянность, самохвальство, самомиъніе и пр.

вить его въ такія положенія, что отъ случайности будеть зависѣть его спасеніе или гибель, смотря по тому, куда онъ повернется, пока еще есть время поворачивать себя въ ту или другую сторону".

Надо зам'втить, что, вообще говоря, Б'влинскій быль не мастеръ различать людей: въ этомъ очень м'вшала ему его доброта. Но его характеристик каткова не можемъ отказать въ значительной проницательности и даже дух'в предвид'внія.

Кончивъ курсъ университета, Катковъ сталъ готовиться къ профессуръ и въ то же время занялся писательствомъ. Печатался онъ почти исключительно въ "Отечественныхъ Запискахъ", и надо сказать, что каждая его статья обращала на себя очень серьезное вниманіе. Вълинскій часто приходилъ въ восторгъ отъ его статей, а публика принимала написанное имъ написанное Вълинскимъ. Но уже въ этихъ раннихъ юношескихъ произведеніяхъ обращаеть на себя вниманіе ихъ реторичность. Теплыми словами и знаками восклицанія прикрываются очень холодныя и часто пустыя мысли. Мив кажется, опять правъ Бълинскій, сказавшій "читаю статьи Каткова и восторгаюсь; закрываю книгу—и не помню ничего". В. П. Боткину, человъку очень чуткому и первоклассному стилисту, статьи Каткова не нравились. Но какъ бы то ни было, Катковъ въ то время (начало сороковыхъ годовъ) работалъ рука объ руку съ вождями юной Россіи.

Занявши каоедру философіи въ Москвъ, Катковъ вскоръ вынужденъ быль оставить профессуру, такъ какъ преподавание философіи свътскими людьми было признано ненужнымъ и вреднымъ, и философію было ръшено прикомандировать къ канедръ богословія. Такъ рышиль бутурлинскій комитеть, образованный, какъ извъстно, для искорененія "французской революцін въ Россіи". Катковъ остался не у дель, повидимому, сильно нуждался, пока ему не удалось получить редакцію "Московскихъ В'ядомостей". Между прочимъ онъ издавалъ съ К. Леонтьевымъ сборникъ "Пропилен", посвященный изученію классической древности. Отивчаю этоть факть, самъ по себъ въ исторіи литературы неважный, но какъ любопытный въ томъ отношеній, что онъ является какъбы предисловіемъ къ классической (во всъхъ смыслахъ) реформъ средней школы, произведенной вцослъдствів графомъ Д. Толстымъ, Катковымъ и Леонтьевымъ. Но это дело его не удовлетворяло: "Московскія Въдомости" были изданіемъ оффиціальнымъ, его тянуло на широкую литературную дорогу, и онъ при первой же возможности выступиль на ней. Это случилось въ 1857 году, когда ему было разрешено издавать "Русскій Вістникъ".

Каковы были его убъжденія въ это время, можно судить по тому, что, критикуя, напр., программу "Русской Бесьды", онъ почти наканувь изданія собственнаго журчала писаль въ "Московскихъ Въдомостяхъ": "изъ про-

граммы, признаемся, не видно, чемъ именно новый журналъ будетъ отличаться отъ другихъ нашихъ журналовъ. Правда, въ программе говорится о посильномъ содействи къ развитию русскаго воззрения на науки и искусства, но ведь науки и искусства допускаютъ лишь одно воззрение—просвещенное, следовательно общечеловтеческое". Это очень ядовито сказано для будущаго "защитника русскаго единства", какъ назвало Каткова московское дворянство, поднося ему чернильницу.

Разръшение на издание "Русскаго Въстинка" было получено въ 1855 г., и редакція составилась изъ Е. О. Корша, Кудрявцева, Леонтьева и самого Каткова. Душою всего дъла былъ, конечно, онъ самъ, и надо отдать ему полную справедливость, повель его прямо блестяще, особенно съ 1858 года, когда онъ взяль въ свои руки политическія обозрівнія. Въ нихъ онъ задался странной мыслью привить къ русской жизни и вкоторыя формы общественнаго и государственнаго строя Англів, правовое самосознаніе ея гражданъ и винсти съ этимъ... англійскій лендлордизмъ. Послиднее обстоятельство очень любопытно отметить: думаю, что это-то и есть то горчишное зерно, изъ котораго впоследствій распустилось пышное дерево Катковщины въ общеупотребительномъ смыслѣ этого слова, подъ сѣнью которой мы прожили почти 26 летъ! Однако, на первыхъ порахъ, Катковъ выдвигалъ впередъ не свои аристократическія симпатіи, а свои несомивнио либеральные, ивстами даже демократическіе взгляды. Это нравилось; даже такой благопристойный въ политическомъ смысле человекъ, какъ Кавелинъ, очень одобрялъ Каткова и его журналъ.

"О "Въстникъ", кажется, приговоръ вашъ строгъ. При такомъ министерствъ и цензуръ и надежды-то нътъ разгуляться, а что вы сдълаете, когда перо ходитъ подъ вліяніемъ убійственной мысли: этого-то цензоръ не пропустить, это исковеркаеть, это въ Ш-е отдъленіе пошлеть. Цъпи на рукахъ, и на мысли тъ же цъпи. Бросимте предубъжденія, которыя насъ губять, пусть хорошее будеть хорошо и для насъ, хотя бы врагъ сказалъ или написалъ. Хоть и разныхъ приходовъ, а все свои. Теперь такое время, что даже за нъсколько выходящихъ изъ ряда мыслей и даже фразъ, внушенныхъ любовью къ добру и высказанныхъ смъло, можно сказать спасибо".

Такъ въ то время понимали Каткова благопристойные люди и имъли на это полное основаніе. Какъ въ нашей полудикой странт было, на самомъ дълт, не привттствовать хотя бы англоманство, ттить болте, что лендлордизмъ почти не выпячивался впередъ, а скрывался подъ звучными словами: правовое самосознаніе, самоуправленіе, гражданская отвътственность и т. д. И выговариваль эти слова не кто другой, какъ человъкъ

обширной учености и начитанности, какъ бывшій профессоръ университета, и выговариваль ихъ горячо, съ темпераментомъ...

"Съ давнихъ поръ, еще съ прошлаго столътія, государственное устройство Англіи было предметомъ тщательныхъ изученій. Интересъ этихъ изученій возрасталь съ теченіемъ времени, непрерывно обогащая теорію и практику государственнаго права новыми элементами. Но никогда страна эта не возбуждала столь сильнаго и столь сознательнаго интереса, какъ въ паше время. Публицисты всѣхъ странъ поставляютъ одною изъ главныхъ задачъ своихъ изученіе всѣхъ особенностей англійскаго устройства, которое раскрывается передъ взорами, какъ неистощимо разнообразный и многосложный міръ, требующій такихъ же пріемовъ изученія, какъ и природа. Здѣсь нѣтъ написанныхъ словъ, готовыхъ формулъ, отвлеченныхъ понятій, англійское устройство не есть конституція на бумасъ, это не книга, это даже не нація, это—жизнь и природа въ своемъ развитіи, въ своемъ дъйствительномъ созиданіи".

Чему же хорошему можеть, по мнвнію Каткова, научить Англія, хотя бы даже и Россію? Прежде всего чувству законности п законности твердой и затвить свободів общественных отношеній... По этому поводу онъвысказывается очень опреділительно—я прошу внимательно прочесть хоти бы слідующія строки:

"Возможно и должно поставить гражданъ въ такое положеніе, чтобы они не скрывали того, что думають, и не говорили того, чего не думають. Въ Англіи болье, нежели гдь-либо, эти требованія находять себь удовлетвореніе, и вотъ почему мы расположены всегда сказать доброе слово объ Англіи и при всякомъ случат указываемъ на нее нашимъ читателямъ... Единственными ручательствоми за искренность сужденій служить гражданское обезпечение личной свободы. Обезпечение это заключается въ твердости и ясности закона и въ безпристрасти его примъненія. Разематривая съ этой точки зрънія западныя европейскія государства. мы онять находимъ, что въ Англіи болье, нежели въ которомъ-либо изъ нихъ, личность и собственность обезпечены, а законъ, безъ всякаго сомивнія, стоить твердо и примъняется безпристрастиве, нежели гдв бы то ни было... До сихъ поръ, вамъчаетъ Катковъ, только англичане выучились искусству дълать реформы безъ революцій, и мы, кажется, инчего не потеряемъ, если будемъ соревновать имъ въ этомъ отношеніи... Если на страницахъ нашего журнала, заявляеть въ заключение та же статья, - часто говорится объ Англіи, если мы часто обращаемъ на нее вниманіе нашихъ читателей и во многихъ случаяхъ представляємъ ее классическою страной новъйшей цивилизаціи, то пусть вспомпять, что не одни мы это дълаемъ".

Слора эти прямо золотыя и написаны въ декабрт 1861 года. Въ нихъ implicite заключается требование судебной реформы, которая, впрочемъ, въ то время была у встхъ на умт и на языкт. Въ томъ же 1861 г. Катковъ въ своемъ журналт принялъ подъ свою защиту и судъ присяжнихъ, который даже Спасовичъ признавалъ для насъ несвоевременнымъ,

находя, что у насъ слишкомъ мало "зрѣлой опытности въ сужденіи объ общественныхъ дѣлахъ, а въ случаѣ надобности, нѣтъ даже и рѣшимости взять на свою душу осужденіе обвиняемаго преступника. Катковъ горячо возсталъ противъ такого мнѣнія — доказывалъ, что и нравственная простота народа, является скорѣе достоинствомъ, чѣмъ недостаткомъ и нимало не препятствуетъ введенію у насъ этой формы суда"... Англія въ этомъ случаѣ могла служить Каткову прекраснѣйшимъ аргументомъ; судъв присяжныхъ одно изъ исконныхъ ея учрежденій.

Въ то же время поднимался вопросъ, куда приткнуться дворянству послѣ реформы, на самомъ дѣлѣ выбившей его изъ исторической колеи? Совершенно естественнымъ представлялось въ это время слѣдующее рфшеніе вопроса. То были неосуществимыя пожеланія о всесословной общинѣ Отмѣчаю фактъ, что эту всесословную волость одинаково горячо защищали Герценъ, Щедринъ и Катковъ.

Ингересную страницу находимъ мы по этому поводу въ его біографіп: "По вопросу о сословности въ "Современной Летописи" 1861 года, пом'єщена статья М. Салтыкова, нашего знаменитаго сатирика, въ которой указывается на необходимость общенія дворянъ съ народомъ, какъ на единственный предстоящій для нихъ исходъ, при чемъ пом'вщикамъ рекомендуется для этого обращаться въ члены трать сельских обществъ и волостей, въ которыхъ находятся ихъ нивнія. Съ своей стороны, Катковъ счелъ нужнымъ весьма ръшительно высказаться по сословному вопросу, въ виду падавшихъ на него въ то время нареканій въ "аристократическомъ направленін". "Когда бароны были господами вассаловъ, — говорить онъ, когда дворяне владъли населенными имъніями и кръпостнымъ людомъ, они могли дорожить своимъ исключительнымъ состояніемъ, которое давало имъ право власти надъ другими людьми, но когда эта власть исчезла, то для людей особой породы нътъ причины находиться въ исключительномъ и разобщенномъ состояніи. Все, что имъло цену этому состоянію, исчезло, остается лишь только то, что даетъ чувствовать его невыгоду". "Арпстократическое начало, -формулируеть онъ свою мысль - никакъ не должно существовать подъ фирмой особой породы или благорожденнаго сословія" ("Совр. Лът.," 1861 г. № 51, стр. 17). "У насъ, слава Богу,--продолжаеть онъ, -- особыя гражданскія состоянія, основанныя на родовомъ началъ, или гражданскія породы-дъло не туземное, не домашнее, не коренное, а случайное и пришлое. Это дело со многимъ другимъ заимствовано нами изъ Германін. Особыя гражданскія породы, или, какъ мы выражаемся, сословія у насъ происхожденія очень недавняго. Въ прежнюю пору были у насъ исключительные служебные и общественные разряды, но они не были породами, не были особыми гражданскими состояніями".

Нечего и говорить, что защита крестьянской реформы (путемъ выкупа) входила въ программу "Р. Въстника". А сколько превосходныхъ мелочей на которыя впослъдствіп съ недоумъніемъ долженъ быль смотръть самъ Мих. Ник. Катковъ...

"Искра" — юмористическій журналь, издававшійся В. С. Курочкинымь въ - сотрудничествъ главнымъ образомъ съ извъстнымъ каррикатуристомъ Степановымъ. Въ свое время "Искра" пользовалась большимъ успъхомъ и вліяніемъ, являясь грозою всей мелкой администраціи и всёхъ крѣпостническихъ остатковъ русской жизни. "Искра" обличала. Въ этомъ было ея главное назначеніе; она обличала своими стихами, пародіями, каррикатурами, пногда очень даже серьезными статьями (напр., противъ Н. С. Лъскова), и попасть въ "Искру" значило больше, чемъ сесть на скамью подсудимыхъ: судъ общественнаго мизнія въ то время значиль больше, чемъ судъ оффиціальный, быль болье жестокь и требователень, разь дыло касалось застоя, взяточничества, административнаго произвола. Кто были сотрудниками "Искры"? Кром'в Курочкина, Степанова, Д. Минаева, кром'в некоторых в изв'ястных литераторовъ, всё такъ называемые литераторы - обыватели прогрессивнаго лагеря — этоть интересный типъ, выдвинутый на сцену русской жизни обновившими ее реформами и ніжоторой струйкой повізявшей на нее свободы. Называя этихъ литераторовъ-обывателей литературной богемой, Елисвевъ говорить о нихъ: "она--явленіе не случайное, не д'яло каприза или бездълья тъхъ или другихъ лицъ, а явленіе необходимое, неизобжное, потому что времена созрѣли... Представители богсиы дѣйствують не по постороннимъ побужденіямъ, корыстнымъ разсчетамъ и т. п., а по чувству долга, въ твердой увъренности что обличать то ихъ нравственная обязанность, ихъ призваніе, за которое они готовы подвергнуться какимъ угодно непріятностямъ, страданіямъ. Эта черта (т. - е. безкорыстіе и самоотреченіе) різко отділяєть богему начала 60-ыхъ годовъ, оть длиннаго ряда обличителей последующаго времени. Вогема по своимъ талантамъ и сведеніямъ была разнообразна до безконечности. Большая часть ея, въроятно, не знала ничего, или, можеть быть, развъ немного болъе десяти запов'вдей. Но этого было совершенно достаточно для ея д'виствій. Не убій, не укради, не послушествуй на друга твоего свид'єтельства ложна и т. д.-воть весь тоть кодексь нравственности, за исполнениемъ котораго въ общественной жизни она следила, въ техъ, впрочемъ, только явленіяхъ, которыя окружены были тайною для закона, суда и полицін или истинная духовная сущность и смыслъ которыхъ были неуловимы для нихъ, какъ преследующихъ неисполнение только буквы закона или которыя происходили публично, въ наглой расправъ надъ лицами безза-

Digitized by Google

щитными. Ложь, лицем'вріе, своекорыстіе, самоуправство, наглость, эксплоатація, нахальство—воть т'є общественные пороки, которые преимущественно пресл'єдовала богема со всею неутомимостью, ни в при этомъ всегда въвиду защиту эксплоатнруемыхъ, прит'єсняемыхъ, обижаемыхъ, въ особенности если они беззащитны по возрасту, полу, своему общественному положенію и т. п.".

Этн-то литераторы-обыватели и были главными поставщиками матеріала для "Искры". Обработавный Курочкинымъ, иллюстрированный Степановымъ, этотъ матеріалъ возвращался въ провинцію, производя впечатлѣніе взрыва бомбы. Провинціальный администраторъ, по словамъ одного изъ современниковъ, плохо спалъ наканунѣ полученія Ж "Искры".

"Искра"—въ койцъ концовъ была трибуналомъ общественнаго миънія и совъсти, главнымъ образомъ по домашнимъ, мелкимъ дъламъ. Для болъе крупныхъ былъ другой трибуналъ—это знаменитый отдълъ "Колокола" "Подъ судъ".

Славянофильскіе органы. Про славянофиловъ, какъ про Бурбоновъ послѣ ихъ реставрація, можно сказать, что "они ничему не научились". Оффиціальная реставрація славянофильства произошла, какъ мы видъли, въ началѣ новаго царствованія, а въ 1857 г. у нихъ, хотя и послѣ успленныхъ хлопотъ, былъ уже свой органъ "Русская Весѣда". На какія силы разсчитывали они? Прежде всего на старыхъ славянъ—К. Аксакова и Хомякова, а затѣмъ славянъ юныхъ, изъ которыхъ, по общему миѣнію, особенной благонамѣренностью отличался Т. И. Филипповъ. Какъ на критика была надежда на удивительно даровитаго и удивительно безпутнаго русскаго человѣка Аполлона Григорьева, про котораго его покровитель Погодинъ какъ-то съ большой проницательностью замѣтилъ: "странный онъ: подъ лѣстницей молится, а въ переднемъ углу"... Обѣщалъ свое участіе и Ив. Аксаковъ, который, впрочемъ, въ то время былъ очень и очень далекъ отъ славянофильскаго правовѣрія.

Въ программъ "Русской Бесьды" значилось:

"Основное начало мивній, распространенію коихъ посвящается сей журналь, есть Православіе. Оно душа всей Русской *) жизни, оно же должно опредвлить характерь всякой умственной двятельности въ нашей родинв: таково убъжденіе издателей.

"Посвящая себя преимущественно служенію Русскаго начала, журналъ сей ни мало не будеть враждебнымъ къ западной цивилизаціи. Всякій просвъщенный Русскій знаеть, сколь мпого онъ ей обязанъ сво-

^{*)} По ореографіи славянъ прилагательное "Русскій", всегда писалось съ большой буквы.



имъ умственнымъ развитіемъ, и убъжденъ, что еще весьма многому онъ долженъ у нея научиться, преимущественно по части такъ называемыхъ положительныхъ знаній, но вмъстъ съ тъмъ, очевидно для всякаго истиннаго Русскаго, что западная цивилизація, лишенная необходимаго основанія всякаго истиннаго Просвъщенія – Религіи, можетъ быть для Россіи полезною только по пропущеніи ея черезъ критику Русскаго духа и его коренныхъ началъ. Заимствовать какъ можно болье у богатаго свъдъніями Запада, переливать занятое въ Русскія формы, показывать отношенія Запада къ Россіи и Россіи къ Западу и содъйствовать настоящей оцънкъ въ Россіи западной цивилизаціи, — вотъ предметы, которые "Русская Бесьда" постарается имъть постоянно въ виду.

"Будутъ прилагаться къ журналу виды замъчательныхъ Русскихъ и Византійскихъ зданій, изображенія Русскихъ одеждъ и уборовъ и пр"...

Если мы вспомнимъ время, когда появлялась "Р. В". то не правы ли были мы, сказарши, что славянофилы ничему не научились! На самомъ дълъ, кого въ 57 г., когда ожидалась отмъна кръпостного права и, слъдовательно, необходимый историческій переломъ всего строя русской жизни— могли интересовать виды Византійскихъ зданій и изображенія (!) Русскихъ одеждъ и кокошниковъ?

Какъ бы усугубляя впечатление программы, А. С. Хомяковъ въ первомъ же № "Русской Веседы" писалъ: "Русскій духъ создаль Русскую землю въ безконечномъ ея объемъ, ибо это дъло не плоти, а духа; Русскій духъ утвердиль навсегда мірскую общину, лучтую форму общежительности въ тесныхъ пределахъ; Русскій духъ понялъ святость семьи и поставилъ ее, какъ чистъйшую и незыбленую основу всего общественнаго зданія: онъ выработаль въ народ'є всіє его правственныя сплы, втру въ святую истину, терифніе несокрушимое и полное смиреніе. Таковы были его діла, плоды милости Божіей, озарившей его полнымъ світомъ Православія. Теперь, когда мысль окрівпла въ знанін, когда самый ходъ исторін, раскрывающей тайныя начала общественныхъ явленій, обличилъ во многомъ ложь западнаго міра, и когда наше сознаніе оцівнию (хотя, можеть быть, еще че вполнъ) силу и красоту нашихъ началъ, намъ предлежить снова пересмотрить вси ти положенія, вси ти выводы, сдъланные западною наукою, которымъ мы върили такъ безусловно; намъ предлежить подвергнуть все шаткое зданіе нашего просвізщенія безстрастной критикъ нашихъ собственныхъ духовныхъ началь и тъмъ самымъ дать ему несокрушимую прочность". (Хомяковъ. Соч. т. 1, изд. 1861 г.).

Любопытно отмітить, что эта статья подписана не Хомяковымъ, а редакціей "Бесізды". Статья очень значительная и естественно, что у Грановскаго, бывшаго уже накануні смерти, вырвалось такое рішительное слово:

"Надобно будетъ сказать послъднее слово системы, а это послъднее слово—Православная патріархальность, несовмъстная ни съ какимъ дви-

женіемъ впередъ. Иванъ Киръевскій уже удостоился искомой награды и достигъ своей цъли. Здъшніе п... нарекли его Русскимъ Златоустомъ. А этотъ Златоустъ смъло говоритъ о необходимости изгнать изъ государства всъхъ иновърцевъ или, по крайпей мъръ, подчинить ихъ строгому надзору Православной Церкви. Изъ всей этой безобразной партіи, только у Петра Киръевскаго и у Ивана Аксакова есть живая душа и безкорыстное желаніе добра".

Да, это, пожалуй, главная заслуга "Русской Бесьды", что она первая дала возможность славянофильству явиться съ изложениемъ задушевныхъ своихъ мыслей, изображениемъ византийскихъ видовъ, и разрушить легенду, сложившуюся около него, благодаря неосторожнымъ преслъдованиямъ III-го отлъления.

Влизко къ редакцін "Вестады" стояль зам'ячательнівній русскій риторъ И. С. Аксаковъ. Онъ старался удержать редакцію отъ преувеличенных выходокъ, отъ византійскихъ увлеченій—но напрасно. Его не слушали, ибо: славяне не научились ничему. Воть что писалъ И. Аксаковъ:

Въ письмъ 17 сентября 1857 г.:

"Вудьте, рали Бога, осторожны съ словами: народность и православіе. Оно начинаеть производить на меня то же бользенное впечатлъніе, какъ и Русскій баринъ, Русскій мужикъ и т. д. Будьте умърены и безпристрастны и не навязывайте насильственныхъ, неестественныхъ сочувствій къ тому, чему нельзя сочувствовать, къ до-Петровской Руси, обрядовому православію, къ монахамъ, какъ И. В. Кирѣевскій. До-Петровской Руси сочувствовать нельзя, а можно сочувствовать только началамъ, невыработаннымъ или ложно направленнымъ, проявленнымъ русскимъ народомъ; но ни одного сквернаго часа настоящаго я не отдамъ за прошедшее! Что касается до православія, т. е. не до догматовъ въры, а до бытового историческаго православія, то, какъ ни вертись, а не станешь ты къ нему въ тв же отношенія, какъ и народъ или какъ до-Петровская Русь: ты постишься, по не можешь ты на пость глядъть глазами народа. Тутъ себя обманывать нечего и зажить одною цъльною жизнью съ народомъ, обратиться опять въ народъ ты не можень, хотя бы и соблюдаль самымь добросовъстнымь образомъ всъ его обычаи, обряды и подчинялся его върованіямъ. Я вообще того убъжденія, что не воскреснеть ни Русскій, ни Славянскій міръ, не обрътетъ цъльности и свободы, пока не совершится внутренней реформы въ самой церкви, пока церковь будеть пребывать въ такой мертвенности, которая не есть дъло случая, а законный плодъ какого-нибудь органическаго недостатка"...

Въ письмъ 9 октября изъ Екатеринослава:

"Много я вздилъ по Россіи: имя Бълинскаго извъстно каждому скольконибудь мыслящему юношъ, всякому жаждущему свъжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нътъ ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, которые бы не знали наизусть письма Бълинскаго къ Гоголю; въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только теперь еще проникаетъ это вліяніе и увеличиваетъ число прозелитовъ. Тутъ ивтъ ничего страннаго. Всякое ръзкое отрицаніе нравится молодости, всякое негодованіе, всякое требованіе простора, правды принимается съ восторгомъ тамъ, гдъ сплошная мерзость, гнетъ, рабство, подлость грозитъ поглотить человъка, осадить, убить въ немъ все человъческое. Мы Вълинскому обязаны своимъ спасеніемъ, говорятъ мить вездъ молодые, честные люди въ провинціяхъ"...

И дальше въ томъ же письмъ:

"... О славянофильствъ же здъсь въ провинціи и слыхомъ не слыхать, а если и слыхать, такъ отъ людей враждебныхъ направленію. Да оно и не можеть возбуждать сочувствія молодежи, льзущей впередъ, оно требуетъ большой справедливости, безпристрастнаго разумънія, основательности и проч. Требованія эмансипаціи, жельзныхъ путей и проч., и проч., сливающіяся теперь въ одинъ общій гуль по всей Россіи, первоначально возникли не отъ насъ, а отъ западниковъ, а я помию время, когда, къ сожальнію, Славянофилы, хотя и не всь, противились жельзнымъ дорогамъ и эмансипаціи, послъдней потому только, что она формулирована была подъ вліяніемъ западныхъ идей. ...Воть въ Екатеринославской губерніи во всей нъть ни одного экземиляра "Русской Бесьды", а получается "Русскій Въстникъ" и другіе журналы. Въ нихъ слышится направленіе новое, требованіе Просвъщенія, жизни, простора: ему сочувствуютъ съ жаромъ и. невольно подчиняясь авторитету журнала, вмъсть съ хорошимъ принимаютъ и дурное"...

"Весёда", конечно, не пользовалась никакимъ уситхомъ. Не только молодежь, но и вся Россія "лёзла" впередъ. Со страннцъ же журнала все же раздавался призывъ: "назадъ... домой" и какія-то странныя для насъ панславистскія стремленія... "Русская Бесёда" скоро перешла подъ редакцію И. Аксакова, но странно, что онъ, высказавшій такъ много дёйствительно умнаго и дёльнаго въ своихъ "письмахъ въ редакцію", ровно ничего не сдёлалъ для улучшенія журнала и продолжалъ самоотверженно тянуть старую лямку славянофильства, не "бросивши вёкамъ ни мысли плодовитой, ни геніемъ начатаго труда". То же можно сказать о собственномъ его журналѣ "Парусъ": Россіи, ея жизни почти нѣтъ, зато на каждой страницѣ:

…На Ладу, Мареву, на дальнюю Саву. На Тиссу, на Дриссу, на Драву, Молдаву, На сипій прозрачный Дунай…

Приходится отмѣтить странное обстоятельство: и "Русская Бесѣда", и "Парусъ", котораго вышло только два №Ж, были скоро закрыты. Причину этого обстоятельства я вижу псключительно въ томъ, что славянофилы съ свонми панславистскими стремленіями всегда слишкомъ близко подходили къ области международныхъ отношеній (съ Австріей), прямо таки затрогивали ее, мечтая все о томъ же и о томъ же времени.

Когда славянскіе ручьи сольются въ русскомъ морб...

т. е. о какомъ-то всеславянскомъ государствъ, какъ политическомъ и дудовномъ противовъсъ германскому міру.

О журналахъ братьевъ Достоевскихъ "Время" и "Эпоха" я не считаю нужнымъ распространяться. Оба они просуществовали очень недолго и вліянія на общество не имъли. Во "Времени" читали "Записки изъ мертваго дома" въ "Эпохъ" не было и этого, и вся тяжесть лежала на Н. Страховъ, человъкъ очень талантливомъ, къкъ говорятъ его поклонники, но несомнънно плохомъ журналистъ.

Не стану одинаково распространяться о журналѣ В. И. Аскоченскаго "Домашняя Бесѣда". Это уже не литература. Это изувърство бывшаго атеиста, ставшаго ханжей. Достаточно сказать, что Аскоченскій травилъ ингилистовъ съ такимъ же бъщенымъ ожесточеніемъ, съ какимъ въ наши дни нъкоторые травятъ "жидовъ".

Но еще о двухъ писателяхъ новаго славянофильства надо сказать изсколько строкъ.

Ап. Ал. Григорьевъ (1822—1864). Выражаясь собственными стяхами Аполлона Григорьева, онъ въ литературъ и жизни

> Стоитъ съ ноднятой головой, Бурнусъ напяливъ обветшалый, Съ растрепанною бородой, Несчастный, пьяный, исхудалый, Но съ русской, чистою душою...

"Безалаберность" Ап. Григорьева—воть что прежде всего бросается въ глаза и въ его жизни, и въ литературной дъятельности. Такъ онъ и умеръ, не выяснивъ себъ ни тамъ, ни здъсь настоящихъ своихъ стремленій. А между тъмъ въ его сочиненіяхъ видна большая работа мысли, видна оригинальность творчества и критическихъ пріемовъ, видна живая душа, широко открытая всъмъ лучшимъ впечатлъніямъ окружающаго. Но выражая "путанымъ языкомъ" свою "мутную мысль", Григорьевъ такъ и остался непонятымъ своими современниками, недостаточно еще опъненный потомками, хотя имя его и растетъ постепенно.

Онъ жилъ и работалъ въ эпоху нашего раціонализма. Совершенно сложившимся явился онъ въ обстановку 60-хъ годовъ, и надо сказать прямо-онъ понималъ ее и сочувствалъ ей гораздо больше и лучше, чѣмъ она понимала его и сочувствовала ему. Всѣ его убъжденія были глубоко демократичны, и въ этомъ отношеніи онъ воспринялъ лучшія традиціи славянофиловъ первой формаціи. Еще больше расширилъ онъ ихъ своимъ увлеченіемъ французскими соціалистами. Никакихъ дворянскихъ или вообще

классовыхъ симпатій онъ не имъль: его кумиромъ быль народъ, русскій народъ, какъ трудящаяся въ потв лица своего, достойная счастья и радости, но еще не добившаяся ихъ масса. Этотъ взглядъ онъ вносилъ въ свои критическія работы. Онъ спориль всегда съ дилетантами и теоретиками искусства; безсимсленной представлилась ему формула "искусство для искусства". "Искусство, — писалъ онъ, — всемъ истиннымъ художникамъ открывалось въ видъ великой, ввъренной имъ міровой воли, въ видъ великаго служенія на пользу души человівческой, на пользу жизни общественнюй". Илп: "Понятіе объ нскусствів для искусства является въ эпоху упадка, въ эпоху разъединенія сознанія немногихъ лицъ, утонченнаго чувства дилетантовъ съ народнымъ сознавіемъ, съ чувствомъ массъ... Истинное искусство было и будеть всегда народное, демократическое, въ философскомъ смысле этого слова. Поэты суть голоса нассъ, народностей, м'істностей, глашатан великихъ пстинъ и великихъ тайнъ жінзни, носители словъ, которыя служать ключами къ уразуменію эпохъ-организмовъ во времени и народовъ -организмовъ въ пространствъ". Такимъ образомъ требование Аксакова, чтобы художественное произведение "что-нибудь доказывало" и отвечало какой-нибудь потребности, какомунибудь общественному запросу, остло въ трудахъ Ап. Григорьева.

На этой почвъ, почвъ своего демократизма и общественности, Григорьевъ могъ, повидимому, столковаться съ главарями шестидесятниковъ; однако онъ виделъ съ ихъ стороны одно пренебрежение, одни насмешки, и чемъ ближе ны знакомимся со взглядами Григорьева, темъ очевидие становится для насъ, что иначе оно не могло и быть. Главари шестидесятниковъ были прежде всего раціоналистами съ верою въ решающую силу разума. Въ эту решающую силу разума Григорьевъ не вериль, темъ менъе вършлъ въ разсудокъ, т. е. въ расчетъ выгоды или невыгоды, создавшій нашъ (въ области нравственныхъ началъ) далеко не философскій утилитаризмъ. Онъ думалъ, что въ жизни человъкъ руководится и долженъ руководиться цвютиной, какъ онъ называль, или органической истиной. Что такое цвътная истина? Это истина плюсъ весь человъкъ--т. е. чувство, его воля, его идеалы, словонъ весь онъ со встии своими особенностями, съ голосомъ и вліяніемъ встать создавшихъ его условій, всей его исторической обстановки. Конечно, идеалъ души человъческой всегда и повсюду остается неизм'винымъ, но такой идеалъ въ чистомъ его видв никогда не можеть быть ни познанъ, ни воплощенъ. Для своего познанія и воплощенія онъ нуждается во внішней формі, въ конкретной оболочкі, которая, консчно, случайна и временна. Но зато въ результать мы получаемъ нъчто органическое, т. е. выражение всего человъка. Но далеко не всв способны найти такое выражение для себя, тымъ менье для массы.

для даннаго общества, для данной эпохи, для народа. Это дёло художни-ковъ, дёло искусства.

Какъ бы развивая взгляды немецкаго романтизма, Ап. Григорьевъ смотрёль на искусство, какъ на высшее выражение творческой деятельности человъка; онъ прямо переопънивалъ его значение и съ обычнымъ своимъ эмфазомъ говорилъ порою, что искусство--это все. Только искусство осмысливает жизнь, говориль онъ. Или "искусство должно осмысливать жизнь, опредъять разумъ ен явленій, --положительно или отрицательно-на что имъеть два орудія: трагизмъ или, лучше сказать, лиризмъ и комизмъ". Тутъ опять проявляется недоверіе Григорьева къ разсудочнымъ основамъ жизни. "Теорін, какъ птоги, выведенные изъ прошлаго разсудкомъ, правы всегда только въ отношенін къ прошедшему, на которое онъ, какъ на жизнь опираются. Прошедшее же-трупъ". Поэтому никогда теоріп не дають ничего новаго, нужнаго, органическаго. Одно искусство способно дать его, способно заставить поверить въ свои мысли, свои идеалы. "Для того, чтобы въ мысль поверили, —пишеть Григорьевъ, —нужно, чтобы мысль приняла тело, и съ другой стороны, мысль не можетъ принять тъла, если она не рождена, а сдълана пскусственно". Родить же мысль можеть лишь художникъ-творецъ.

"Искусство опредъляеть разумъ явленій жизни", выражаеть сущность стремленій и идеаловъ маєсъ, эпохи, народа. Особенно важна его функція въ послъднемъ случать. Говорить отъ лица народа, его голосомъ — вотъ высшее, на что можетъ разсчитывать художникъ. Отъ лица русскаго народа говорили полите, правдивте встать Пушкинъ сначала, потомъ Островскій.

Существуеть ли русскій народь, какъ начто отдальное оть другихь, отдельное не только во времени и пространстве, но отдельное органически, по самому существу своему, отныне и до века? Двухъ ответовъ на этоть вопросъ со стороны Григорьева быть не могло. Конечно, говорилъ онъ я нстратиль массу мысли и работы, чтобы определить эти коренныя, существенныя особенности народа русскаго, чтобы утвердить въ русской дитературъ ясное и точное содержание понятия народности. "Не только въ мір'в художественномъ, но и въ мір'в всехъ общественныхъ и нравственныхъ нашихъ сочувствій, Пушкинъ есть первый и полный представитель нашихъ сочувствій". "Въ Пушкин внадолго, если не навсегда завершился, обрисовавшись широкимъ очеркомъ, весь нашъ душевный процессъ". Пушкинъ мърка нашихъ принциповъ, говорить потомъ безудержный критикъ. Надо зам'ятить, что въ Пушкине онъ больше всего ценилъ создание имъ имъ типа Бълкина. Но что такое Бълкинъ? Это "наше, настоящее, русское", это воплощенная кротость, -- въ противоположность самомнящимъ, разсудочнымъ хищникамъ Запада, это смиреніе, постигшее религіозную тайну жизни. Правда, Григорьевъ понималь, что "голосъ за простое и доброе (т. е. за Вълкина—мужика—русскій народъ), поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго (т. е. западно-европейскаго), есть, конечно, прекрасный, возвышенный голосъ, но заслуга его ссть только отрицательная: его положительная сторона, есть застой, закись, моральное мъщанство"— но понимая это, Григорьевъ все же, какъ основныя свойства русскаго духа, выдвигалъ кротость, смиреніе, смиренномудріе, православіе. Воплощеніемъ же этого оказывается или безхитростный Вълкинъ или Любимъ Торцовъ!

Отсюда необходимый разладъ съ эпохой.

Пользуясь прекрасной работой г. Гольцева, привожу сделанный ниъ сводъ мивній Аполлона Григорьева о задачахъ критики: "Что художество въ отношения къ жизни, -- писалъ онъ, -- то критика въ отношения къ художеству: разъяснение и толкование мысли, распространение свъта и тепла, таящихся въ прекрасномъ созданія". Чисто эстетической, замкнутой критики быть не можеть: жизнь такъ или иначе заденеть. Критика чисто техническая была безполезна и для художника, и для массы. "Въ наше время можеть существовать только историческая критика, которая разсматриваеть литературу, какъ органическій продукть въка и народа, въ связи съ развитіемъ государства, общества и моральныхъ понятій". Во всемъ временномъ есть частица въчнаго, непримътнаго, поэтому "общіе эстетическіе эаконы подразуміваются исторической критикой художественныхь произведеній". "Показать относительное значеніе всіхъ литературныхъ произведеній въ массь, опредълнть каждому подобающее м'ясто, какъ органическому, живому продукту жизни,--и повърить каждое безотносительными законами изящнаго, — непременно поверить каждое — воть дело исторической критики"... Органическая же критика признаеть, что идеаль можеть быть затерянь, но остается всегда одинь и тоть же, всегда составляеть единицу, норму души человъческой... Искусство заранъе чувствуетъ приближающееся будущее, какъ птицы заранъе чувствуютъ грозу или ведро. Въ немъ поэтому, съ особенной силою выражается историческое чувство: сознаніе цъльности души человъческой и единства ся идеала. Для художника необходимо, съ этой точки эрвнія, субъективное стремленіе къ идеалу и объективная способность воспроизводить явленія вившняго міра въ типическихъ образахъ".

Этимъ взглядамъ Григорьева, какъ вообще всемъ его взглядамъ, не достаетъ ясности и опредъленности.

Н. Н. Страховъ (1828-1896). Страховъ писалъ много, писалъ всю свою жизнь и умеръ почти что съ перомъ въ рукахъ. Но вліянія онъ не имълъ никогда, не имъетъ его и теперь, послъ смерти, несмотря на всв даже талантливыя попытки гальванизировать его имя и иден. Между темъ у него несомивно есть очень цвиныя крптическія изследованія (напр. о "Нигилизмен", о "Войне и мирен", о борьбе съ Западомъ или лучше сказать съ раціонализмомъ въ русской и европейской литератур'в и т. д.) — но онъ былъ слишкомъ журналистомъ, чтобы ученые могли признать его своимъ, и слишкомъ ученымъ (въ смыслъ теоретичности своихъ возарвній), чтобы журналисты хоть сколько-нибудь дорожили имъ. Каждый вопросъ, съ которымъ ему приходилось сталкиваться, онъ разсматривалъ, какъ некоторую научную проблему изъ области естествознанія и при непрем'єнномъ требованіи нашей журналистики принадлежать душой и теломъ къ какому - нибудь лагерю, защищать какъ его ощибки такъ и истину, имъть прежде всего въ виду практические результаты иден - Страховъ былъ просто не на мъсть, особенно въ 60-ые и 70-ые годы. Благодаря своей "научности", привычкъ высказывать свои воззрънія съ дюжиною оговорокъ, онъ попадаль порою прямо въ комичныя положенія: въ то время, какъ надъ нинъ потешались радикалы, правительство запретило журналь за его статью (напр., за статью "Роковой вопросъ" было запрещено "Время").

Въ началъ своей литературной дъятельности въ 60-хъ годахъ онъ игралъ роль мишени дли "Современника". Потомъ его какъ-то забыли временно, впрочемъ; позже онъ дважды и очень неудачно выступалъ какъ защитникъ "анти-дарвинистскихъ" и "почвенныхъ" взглядовъ Н. Я. Данилевскаго. Объ его полемики съ проф. Тимирязевымъ и Влад. С. Соловьевымъ были печальны.

По всёмъ даннымъ своей натуры Страховъ былъ приспособленъ лешь ко второй роли, чо такъ какъ его вожди — Апол. Григорьевъ и Н. Я. Данилевскій ни извёстностью, пи вліяніемъ не пользовались, то естественно, что еще меньше вліянія и извёстности выпало на долю ихъ посл'ядователя, хотя по разносторонности своего образованія и по своему литературному таланту онъ былъ выше обоихъ.

Направленіе, котораго держался Страховъ, носить названіе почвеннаго, это славянофильство, но безъ его панславистской утопін и исправленное въ грубъйшей ошнбкі, будто намъ надо вычеркнуть два віка своей исторін и вернуться назадъ, домой въ до-петровскую Русь. Вычеркнуть два віка исторін и забыть нхъ—нельзя. Это почвенники знали. Но съ тімъ большею ціпкостью и, пожалуй, страстью (особенно θ . М. Достоевскій, какъ публицисть, и Ап. Григорьевъ) ухватились за другую часть славянофиль-

скаго наслъдства—за самобытность основъ нашего духовнаго развитія, за существованіе особаго (русскаго или славянскаго) культурно-историческаго типа, который, пользуясь пріобрътеніями европейскаго разума и просвъщенія, ему однако не подчиняется и идеть своей дорогой.

Пропов'тауя эти взгляды въ области литературной критики. Страховъ следоваль, конечно, взглядамь Хонякова и Григорьева. По его межнію, "въ произведеніяхъ ряда поэтовъ и художниковъ, начиная отъ Пушкина, послів нъкотораго колебанія и склоненія въ сторону западно-европейскихъ типовъ духовной красоты человъка, им замъчаемъ возвращение къ самостоятельности и создание типовъ и характеровъ, въ безусловной правственной красотъ которыхъ им не можемъ сомнъваться, передъ которыми преклоняются, какъ только узнаютъ ихъ, и западные писатели — и которые виъстъ съ тъмъ совершенно гармонирують съ душевнымъ складомъ, до спхъ поръ живущимъ въ нашемъ простомъ народъ". Каковъ же этотъ душевный складъ, живущій въ нашемъ простомъ народъ? Ап. Григорьевъ много говорилъ о немъ, но не выяснилъ его; Страховъ также много о немъ говорилъ, но одинаково не выясниль. Въ сущности даже послъ знаменитой пушкинской рван Достоевского этотъ вопросъ остался открытымъ. Собирая крупицы яснаго и определенного, находящогося въ сочиненияхъ почвенниковъ, находимъ прежде всего мотивъ Тютчева:

Не пойметь и не оцвнить Гордый умъ иноплеменный, Что сквозить и тайно свътить Въ наготъ твоей смиренной.

Эта сипренная нагота фигурировала у Григорьева, какъ кротость, противоположная хищническому, завоевательному западно-европейскому типу. Страховъ на этотъ счеть высказался въ своихъ критическихъ статьяхъ о "Войнъ и миръ".

"То,—говорить его комментаторь, В. Розановь, — чего онь смутно искаль, чего ожидаль съ сомньніемь, появилось въ образахъ удивительной красоты и твердости, передъ которыми невольно склонилось читающее общество, еще не понимая всего ихъ значенія. Ни для кого это значеніе не могло быть такъ ясно, какъ для него (Страхова). Въ 6-ти томахъ громаднаго литературнаго произведенія онъ нашель двъ строчки, мимоходомъ брошенныя авторомъ, въ которыхъ была сгруппирована вся мысль романа, быть можетъ не такъ отчетливая для самого знаменитаго художника. Эти строки онъ и избралъ эпиграфомъ для своего разбора. "Нютъ всличія тамъ, гдю нють простоты, добра и правды"—въ этихъ короткихъ словахъ содержится указаніе иного и высшаго типа для всемірной исторіи, по которому она еще никогда не двигалась и который хранится, какъ правственный идеалъ, безсознательно, въ нъдрахъ народа нашего;

по нему, конечно, ступая и вкривь и вкось, развивался и быть нашъ до реформы Петра. Этоть типъ можетъ быть удержанъ при всей сложности развитія, при всякой высоть умственныхъ созерцаній или обширности замысловъ и стремленій. Нельзя не согласиться, что онъ есть норма для человъческого духа и мърило достоинства для человъческой двятельности. Придерживаясь его, первый никогда не почувствуеть неудовлетворенности и тревоги, а вторая успъеть достигнуть всякихъ цълей. Если мы всмотримся въ двухтысячелътнюю исторію западной Европы, мы увидимъ, что все великое, въ ней совершившееся, совершилось по инымъ типамъ, нежели этотъ. Могущество вившияго авторитета въ одни моменты ея развитія, свобода личной совъсти въ другіе, гражданское равенство въ третьи, далъе спиритуализмъ или матеріализмъ возаръній, чувствъ и отношеній-воть окончательныя цъли, которыя преследовались западными народами и породили великіе циклы ихъ развитія: католицизмъ и реформацію, систему централизованныхъ государствъ и революцію, рыцарство и промышленность, аскетизмъ монастырей и шумъ энциклопедистовъ. Идеалъ всегда бываетъ несложенъ, онъ называется двуми-тремя словами, но его осуществление на встхъ ступеняхъ жизни, проникновеніе имъ всьхъ формъ развитія, всьхъ моментовъ личнаго существованія и общественныхъ отношеній наполняють собою въка народной жизни, поглощають трудъ безчисленныхъ покольній. Западная Европа въ теченіе всего последняго стольтія движется въ предълахъ мысли, которую мы можемъ читать въ двухъ словахъ, выръзанныхъ на французскихъ пушкахъ, хранимыхъ въ Московскомъ Кремлъ-"liberté, égalité": сюда примыкають рядь монархій и республикь, законодательства и журналистика, индустрія и пролетаріать. Итакъ, слова эти кратки, но смыслъ ихъ дологъ. Не трудно понять, какъ забвеніе великаго идеала, хранимаго въ нашемъ народъ, пренебреженіе которою-нибудь изъ его чертъ, порождаетъ наше безсиліе достигнуть хоть какихъ-нибудь изъ своихъ цвлей, и не нужно быть особенно проницательнымъ, чтобы предвидъть, по какой степени легко и радостно мы достигли бы ихъ встхъ, если бы въ стремленіи своемъ действительно были всегда просты, совершенно правдивы и не заботились ни о чемъ, кромъ добра. Но къ добру мы примъшали лживость, къ правдъ-ожесточеніе, извратились сами и извратили свою жизнь, и несемъ ее какъ бремя, ненавистное для себя и для другихъ".

Все это, какъ видить читатель, довольно наивно: до торжества Москвы, до раззоренія Новгорода Грознымъ наша исторія смиренія не знала. Смиреніе вколочено, вбито въ русскую натуру казнями Грознаго, дубинкой Петра,—а больше всего монгольскимъ нгомъ и крѣпостнымъ правомъ, когда смиреніе оказалось единственнымъ средствомъ самозащиты. Но надо отмѣтить, что панегирики Страхова и Григорьева кротости не скрывали за собой никакой задней мысли, и оба эти почвенника воистину не знали, что творять...

У Страхова была еще пдея, общая всімъ славянофиламъ, всегда, какъ я указывалъ раньше, тяготъвшимъ къ Шеллингу (во второй половині его

дъятельности). Это недовъріе къ разуму, разсудку, раціонализму, вообще неудовлетворенность ими. Забсь Страховь опять таки шель за Аполлономъ Григорьевымъ (вообще своихъ главныхъ мыслей у него не было). Грпгорьевъ, проповъдуя свою органическую критику, разспатривалъ каждую нлею, каждое художественное произведение не какъ продукть личнаго инивничального творчества, а какъ результать работы общого, большого разуна, разуна "итстности, нассы народа"-т. е. какъ продуктъ чего-то стихійнаго. Это, несомнічно, самая драгоцічная идея славянофильства, н жаль, что они говорили о ней такъ бледно, вяло и неясно. Этотъ большой стихійный разумь Григорьевь называль органическимь, Хомяковь втрой; Самаринъ видълъ всецъло въ его неприкосновенности, нетронутости, въ томъ, что онъ уцфльлъ у насъ, а не раздробился на мелкіе индивидуальные разсудки-наше преннущество передъ Западомъ, залогъ нашего будущаго. И опять надо сказать, что у Страхова и Григорьева это недовъріе къ раціонализму, къ разсудочному, чисто механическому толкованію природы и человъка не переходило въ мракобъсіе. Но оно перешло въ мракобъсіе у наъ меньшихъ сторонниковъ, которые для своихъ цълей воспользовались ихъ аргументами. Вотъ, повторяю, горе Страхова, что онъ никогда не зналъ и не пониматъ, въ чью руку онъ пграетъ, какъ не понимали, въ концъ концовъ, и всъ славянофилы.

"Неудовлетворенность — и безотчетная — одною изъ самыхъ общихъ и великихъ формъ европейской цивилизаціи, дала ему возможность безошибочно опредълять подобное же недовольство ею и въ другихъ умахъ, которое сказалось такъ же враждебно, повело къ такимъ же, какъ и у него. страстнымъ отрицаніямъ. Раціонализированіе природы въ философін и наукъ, безграничное стремленіе, избъгая всякаго страданія, улучшать каждую частность жизни и черезъ это надежда достигнуть ея полнаго совершенства, въра въ могущество своей природы и отвержение необходимости для себя какой-ипбудь помощи въ релпгін -- все это можеть считаться главными и самыми общими чертами европейского общества второй половины XIX-го въка. Въ пъломъ рядъ западныхъ писателей онъ (Страховъ) открываетъ, какъ въра въ раціонализмъ, столь же горячая, какую онъ исповъдываль нъкогда, привела къ недовольству и отрицанію другихъ сторонъ европейской цивилизацін, то подавляемому еще, какъ у Штрауса, то колеблющемуся, какъ у Д. С. Милля, то исполненному какого-то недоумънія, какъ у Фейербаха, то открытому и ръзкому, какъ у Ренана и отчасти у Герцена.

"Но если для западно-европейских писателей за отрицанісих своей цивплизаціи остается только сумракъ и отчанніе, то для писателя иного народа, еще не вошедшаго окончательно въ формы этой цивилизаціи, остается надежда на возможность иной культуры. Къ этой надеждѣ прп-

мыкаеть, изъ нея исходить вся критическая дѣятельность Н. Страхова".

Надежда превосходная, но когда вся она строилась на стихахъ Тютчева и Хомякова и сомнительной философско-исторической теоріи Данилевскаго,—нечего удивляться, что вліянія она не вміла, что вызывала она лишь насмішки и даже вражду. Потому, между прочимъ, что не у Страхова, а у меньшихъ она перешла въ шовинизмъ, націонализмъ, гордыню духа, ті самыя вожделінія и мечты о третьемъ Римъ, которыя въ конці концовъ могли сыграть лишь чисто отрицательную, реакціонную роль.

Полемика. Для полноты картины мив хочется сказать ивсколько словъ о журнальныхъ буряхъ 60-ыхъ годовъ. Много было этнхъ бурь, очень много и, быть можеть, онв-одно изъ характеривйшихъ явленій того времени. Онъ поражають своей страстностью, высокимь вздыбомъ своихъ полемическихъ волиъ, своею резкостью. Поводы зачастую были малы и случайны, напр., вопросъ о томъ, откуда пришли первые князья---изъ Литвы нин изъ "норманновъ", — но это не мъщало людямъ влагать въ нихъ весь свой темпераменть. Масса электричества, которымъ была наполнена атмосфера 60-ыхъ годовъ, разряжалась въ этихъ полемикахъ, потому что, какъ ни случайны были поводы, речь въ конце концовъ сводплась къ тому, какъ и какимъ образомъ переустроить на новыхъ началахъ общественную жизнь для огражденія ея гражданской самод'ятельности? И надо отдать полную справедливость публикъ того времени: ея настроеніе было главнымъ источникомъ высокой журнальной температуры того времени. Какое бы, казалось, дело этой публике до ученаго спора между Костомаровымъ и Погодинымъ; до того-литовское ли это имя "Игоръ" или ивтъ?--Но публика знала, что Костомаровъ человъкъ передовой, Погодинъ-академикъ, издатель славянофильскаго "Москвитянина", человъкъ очень соминтельных общественных симпатій, очень близкій къ теоріи оффиціальной народности, вообще журналисть и ученый -- чиновникъ, и этого было достаточно, чтобы всв симпатін были на сторонв Костонарова. Погодина освистали. Въ болъе близкихъ для нея вопросахъ, публика проявляла еще болъе ръшительности. Это прекрасно доказывается трагической исторіей "Въка" (редакт. П. Вейнбергъ). Въ этомъ журналъ П. И. Вейнбергъ, въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ осмъялъ иркую г-жу Толмачеву за то, что та на одномъ изъ литературныхъ вечеровь прочла "Египетскія ночи" Пушкина. Насмъшка была воистину неосторожная, и публика ея не простила. Въ какіе-нибудь 2-3 мъсяца всв подписчики "Въка", которыхъ было около 4000, разбъжались, и журналъ перешелъ въ другія

руки. Было вообще много чуткости, страстнаго увлеченія, много и ребячества, конечно,—надъ чёмъ такъ ядовито подсмёнвался Добролюбовъ въ своемъ "Свистке", но надо вспомнить, что время было горячее.

Почти весь 1860-ый годъ тянулась знаменитая полемика между Чернышевскимъ и Юркевичемъ. Вопросъ шелъ о матеріалистическихъ и идеалистическихъ основахъ человъческаго бытія. Публика примкнула, конечно,
къ Чернышевскому и его матеріализму. Почему? Отчасти и потому, конечно,
что Юркевичъ былъ профессоромъ духовной академіи, но главнъйше по
той причинъ, что правильно или неправильно, но въ идеализмъ она
видъла одну изъ основъ стараго русскаго быта, что она знала оффиціальную боязнь николаевской эпохи къ матеріализму.

Волна настроенія была высокая. Многихъ подняла она, еще больше кого захлеснула. Не только всё двуличные и двуязычные, но и всё недостаточно решительные оказались не у дёль, загнанными въ уголъ.

Многихъ удивляетъ ожесточенная полемика между "Современникомъ" и "Русскимъ Словомъ", хотя оба они стояли во главъ передового движенія и оспаривали одинъ у другого симпатіи молодежи. Однако ничего страннаго въ этой полемикъ нътъ. Върный духу Чернышевскаго, "Современникъ" держался народнически-соціалистской программы; "Русское Слово"—программы мыслящаго реализма. Различіе обоихъ журналовъ такъ же велико, какъ различіе между Чернышевскимъ и Писаревымъ, особенно ярко проявилось оно въ оцънкъ Вазаровскаго типа, по поводу появленія "Отцовъ и дътей" Тургенева (1862).

"Современникъ" въ лицъ Антоновича нашелъ, что Тургеневъ, рисуя своего Базарова, унизиль молодежь. Онъ спращивалъ, что дълаетъ этотъ всеотрицающій нигилисть? Неужели осмысленный человъкъ можетъ удовлетвориться ръзаньемъ лягушекъ и любовью къ полной барынъ Одинцовой? Неужели его не тянетъ въ ряды погибающихъ за великое дъло любви? Если не тянетъ—то, очевидно, онъ—клевета. Писаревъ посмотрълъ на дъло иначе. Для него Базаровъ властитель думъ. Онъ—человъкъ безъ предразсудковъ, онъ занимается естественными науками, онъ построилъ свою жизнь на тріединомъ принципъ любви, знанія, труда. Что онъ не думаетъ о переустройствъ жизни—это несущественно, потому что самымъ фактомъ своего существованія онъ переустранваетъ ее. Отсюда полемика, которая, только благодаря исключительному таланту Писарева, кончилась не въ пользу "Современника".

Страстность журналистиви 60-ыхъ годовъ можно, кажется, объяснить тъмъ обстоятельствомъ, что вопросы, интересовавшіе ее, были чисто практическаго свойства. Нужна ли розга въ школахъ? Нужна ли розга въ крестьянскомъ быту? Какъ произвести крестьянскую реформу? Каковъ дол-

женъ быть разм'връ выкупа? И т. д. Вс'в эти вопросы слидись въ конп'в конповъ въ одинъ: Что надо д'влать, чтобы закр'впить за жизнью новыя начала общественной самод'вятельности?

Беллетристика 60-ыхъ годовъ.

Веллетристика 60-ыхъ годовъ по преимуществу учительская. Она вела читателя, указывала ему смыслъ и цёль жизни, отвёчала на вопросъ: что дёлать? Надо работать во имя счастья всёхъ, надо работать во имя того, чтобы освободить и массу, и отдёльныя личности отъ предразсудковъ, надо работать во имя водворенія на землё справедливости — вотъ ея отвётъ. Задачи и средства художественнаго творчества были отодвинуты на второй планъ. Часто беллетристика являлась лишь иллюстраціей ко взглядамъ, изложеннымъ въ журнальныхъ статьяхъ. Во всякомъ случаё это была проповёдь, было учительство, проникнутое вёрой во всемогущество человёческаго разума и его зиждующую роль на землё.

Высокія художественныя произведенія, одно за другимъ, какъ бы изърога изобилія, появлявшіяся въ шестидесятые годы, внутренне духовно имъ не принадлежать: они связаны съ нею только хронологически и для нея не характерны за исключеніемъ, быть можеть, "Отцовъ и дѣтей" Тургенева, "Тысячи душъ" Писемскаго. Но все же надо помнить, что на сценѣ были Толстой, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Писемскій, и первенствовавшая въ эту эпоху критика извлекла нзъ ихъ произведеній полезные для себя публицистическіе выводы чисто общественнаго содержанія и при томъ такого, о которомъ самимъ авторамъ, быть можеть, и не снилось. Такъ, Добролюбовъ для своихъ статей "Темное царство" и "Пучъ свѣта въ темномъ царствъ" взялъ матеріалъ у Островскаго; для статьи "Что такое Обломовщина"—у Гончарова; Писаревъ особенное вниманіе обратилъ на произведенія Тургенева (особенно его женскіе тицы и типъ Базарова) и Писемскаго. Любопытно, что на "Войну и миръ" критика передового лагеря почти не откликнулась, но этотъ романъ Толстого появился въ концѣ эпохи.

Мит бы следовало, повидимому, посвятить особыя главы произведеніямъ двухъ первоклассныхъ нашихъ художниковъ слова— -Островскаго и Писемскаго, но я этого не сделаю и вотъ по какимъ причинамъ. Преклоняясь передъ художественнымъ геніемъ Островскаго (1823—1886 г.), я думаю, что истинную свою оценку онъ можеть найти въ общеэстетической части исторіилитературы, или той, которая поставить себе целью определить проявленіе русскаго духа, русской народной индивидуальности, поскольку она отразилась въ художественныхъ произведеніяхъ. Но эта почтенная этнографиче-

Digitized by Google

ская задача не входить въ программу моей работы, такъ какъ я совершенно теряюсь передъ ея громадностью и сложностью. Какъ понимали русские художники слова русския начала своей жизни-на этогь отвыть, конечно, долженъ ответить анализъ творчества Кольцова, Островскаго, С. Т. Аксакова, Толстого и т. д. — и особенно, конечно, Островскаго и Толстого. Островскій, несомнівню, старательно, любовно и проникновенно отм'бтиль все то положительное, что можно найти даже въ нашихъ самодурахъ-купцахъ. Я едва ли буду далекъ отъ истины, если скажу, что героемъ, центральной фигурой его творческой діятельности является Козьма Мининъ Сухорукъ. Въ этой легендарной фигурт онъ видълъ истинное воплощеніе русскаго народнаго генія, русскаго народнаго духа. Но частица яркаго свъта, озаряющаго могучую личность Минина, несомивнио надаеть п на всых положительных героевъ Островскаго, которых у него очень много. Этой воть стороной своего міросозерцанія Островскій, несомн'вино, примыкаль къ славянофиламъ, п превосходныя, примо таки художественнопрекрасныя статьи Добролюбова о его, произведенияхъ — едва ли проникають въ ихъ истинную сущность. Россія для Островскаго светлое, а не темное царство, съ темной развъ закранной. А. О. Писемскій (1820— 1881 г.), этотъ истинный нашъ натуралисть, даже (порою) протоколисть, опять таки въ высокой степени важенъ для характеристики русскаго народнаго духа, русскаго характера, къ которому онъ, въ противоположность Островскому, относился совершенно отрицательно. Русская жизнь для него тускла, стра, окутана пошлостью и какой-то ненужностью. Истинные ея герон — это Тюфяки, ипохондрики, Калинины — люди безъ воли, безъ идеп. "Возреждающее" движение 60-ыхъ годовъ одинаково не создало ничего цівнаго, положительнаго, и Писемскій отнесся къ нему сь явной насмішкой н неодобреніемъ. Для чего живемъ мы, русскіе люди — это никому не пзвістно, да и не живемъ, а просто прозябаемъ. Писемскій несомнівный сатерикъ, прямой ученикъ Гоголя, но бевъ всякихъ исканій, спокойно ставящій кресть на всёхь своихъ пошленькихъ герояхъ.

Перехожу къ беллетристикъ 60-ыхъ годовъ собственно.

Веллетристика Чернышевскаго. Существують два рода художественных произведеній, достоинство которых можеть быть совершенно одинаковым по степени и совершенно различных по типу. Одни изъ этихъ произведеній дійствують прежде на наше эстетическое чувство и возбуждають нашу эстетическую эмоцію красотой своих образов п изложенія; чтобы оцінть ихъ, надо очень мало рефлексін: заключающіяся въ нихъ чувства передаются, такъ сказать, телепатическим путемъ. Они могуть

быть вічны, по крайней мірів, долговічны, но въ нихъ такъ тщательно удалено все временное и случайное, ихъ настроение такъ обще, что вы ни за что не опредълите, когда они написаны. Что, напр., за превосходная вещь "Довольно" Тургенева или его "Призраки", или его "Собака", однако, попробуйте установить ихъ хронологію безъ документовъ и свидътельствъ, инчего общаго съ этими произведеніями не имъющихъ, и вамъ ни за что это не удастся: "Довольно", "Призраки", "Собака" и пр принадлежать решительно каждому веку. Еще относительно "Довольно" вы по проникающей его слишкомъ барской меланхоліи, догадаетесь, пожалуй, что оно написано русскимъ человъкомъ, но другія можетъ создать и французское, и нъмецкое и вообще любое человъческое гуманное воображение. Въ такихъ вещахъ на первоиъ планъ психологическій анализъ и чувства, принадлежащія или могущія принадлежать каждому человівческому существу. Он'в иногда чудио красивы, но все безъ роду, безъ племени, настоящіе метеоры, приносящіеся неизвістно откуда: такъ, изъ ніздръ духа человівческаго.

Переходя теперь ко второму роду художественныхъ произведеній, немилосердно бракуемыхъ эстетической критикой, надо сказать, что ихъ главный характерь заключается въ ихъ въ высшей степени рельефной историчности. Каждая строчка, каждая страница въ нихъ носить печать своей эпохи и таха интересова, которыми жило тогда общество. Здась уже невозможны никакія сометнія по части хронологін: она подсказывается всьмъ — и ходомъ действія, и общимъ настроеніемъ автора, и отношеніемъ къ дъйствующимъ лицамъ, и самымъ стилемъ, который не могъ бы быть раньше или позже. Это извъстные продукты общественной эволюціи. Они такъ плотно приросли къ извъстной ея стадін, что по необходимости чувствують себя чужеземными растеніями во всякой другой. Плоть отъ плоти и кость отъ костей, и они прекрасны, и ярки лишь при особенномъ осв'ьщенін своего времени: только это освітшеніе можеть открыть всі ихъ достоинства и соединить въ одно гармоническое превосходное цълое ихъ неясныя и кажущіяся угловатыми данныя. Чтобы сдівлать ихъ памятными п привлекательными для другого времени, другихъ людей, выросшихъ въ другихъ условіяхъ общественности и въ другихъ ея интересахъ, критика должна стать прежде всего исторической и критикъ обратиться прежде всего въ историка. Конечно, это нисколько не помъщаетъ ему перейти потомъ къ ихъ научному анализу и къ эстетическому, но тотъ и другой будуть въ значительной степени страдать погрешностями, если для нихъ не приготовять предварительно чисто исторического фундамента. Какъ относились люди къ жизни въ ту прошлую эпоху, въ чемъ видъли ея смыслъ, какъ понимали важивищие вопросы личного счастья, долга, будущности

Digitized by Google

человъчества, "роль личности въ исторін" и т. д., — воть вопросы, на которые прежде всего должна отвътить критика, разсматривая подобныя произведенія. Насчеть же степени ихъ художественности, сужденіе должно быть установлено по общимъ правиламъ, т. е. по правиламъ, приложимымъ ръшительно во всякаго рода произведеніямъ творческаго духа человъка. Насколько широко захвачена въ нихъ жизнь, насколько ярки вывеведенные въ нихъ типы и— простите за нъсколько неуклюжее выраженіе — насколько эти типы типичны и т. д. Если по всъмъ указаннымъ пунктамъ получатся удовлетворительные отвъты, то произведеніе должно быть названо художественнымъ. Художественность выражается прежде всего въ красотъ выполненія, въ той полнотъ впечатлънія, которую выносить читатель, въ силь и яркости образовъ п, въ сущности, ни въ чемъ больше.

Романъ Чернышевскаго "Что делать?", такъ же, какъ и первый незаконченный его романъ, въ которомъ разсказывается жизнь четы Волгиныхъ - принадлежить, конечно, ко второму роду художественныхъ произведеній. Это, прежде всего, документы своего времени, въ которыхъ лучше, чтить гдт-нибудь отразилось его настроеніе, въ то же время это программа жизни, какъ она нонималась тогда... когда розы росли безъ шиповъ... и развъ съ самыми маленькими. Если это и не ръшаеть вопроса о степени художественности, то вопросъ о важности и значительности во всякомъ случать уже рышень. Прежде всего, что поражаеть или лучше сказатьбросается вамъ въ глаза въ романахъ Чернышевскаго, это ихъ въ высокой степени жизнерадостное настроеніе. Закрывая книгу, читатель не ощущаетъ не только грусти, но даже "мечтательной задумчивости". Онъ совершенно спокоенъ за участь заинтересовавшихъ его раньше героевъ, ни одна ужасная сцена, исполненная трагизма, не встретилась ему на протяженін сотенъ страницъ, ни разу не было упомянуто о смерти, выведенные на сцену люди всегда достигали чего хотели и, въ сущности, безъ особенныхъ усилій, человіческая жизнь заключалась въ работі для счастья и въ достижения этого счастья. Это важивищий и, по моему мивню, самый интересный признакъ романовъ Чернышевскаго. Имветъ ли онъ общее историческое значеніе для своей эпохи или же самъ авторъ просто проявиль себя въ немъ-воть вопросъ, на который мы пытаемся отвётить.

Личное счастье человъка законно, личное счастье человъка гръховно. Личное счастье человъка достижимо, личное счастье человъка недостижимо. Возлѣ этихъ двухъ полюсовъ колебалась мысль человъка, особенно русскаго человъка и, разумъется, русскаго интеллигента. Съ этой точки зрънія было бы положительно интересно разсмотръть исторію русской литературы, хотя бы за одинъ только XIX въкъ. Конечно, къ этому надо прибавить разное пониманіе счастья въ разныя эпохи.

То или другое пониманіе счастья кажется мит центральнымъ пунктомъ правственной философіи человічества. Отъ какихъ причниъ зависить его разнообразіе—для насъ это въ настоящую минуту не важно. Но все равно, какъ нельзя отрицать его, такъ нельзя не признавать въ немъ одного изъ самыхъ характерныхъ признаковъ самосознанія той или другой эпохи.

Какъ отнеслись къ вопросу о счасть в шестидесятые годы? Насчеть законности или права на него не могло быть, конечно, и рѣчи. Но, самое главное, счастье считалось совершенно достижнимив, и главная ответственность за него возлагалась на самого человъка. Онъ можеть его заработать, если захочеть. Такъ ръшаеть вопрось Чернышевскій въ своихъ романахъ, Писаревъ въ свонуъ статьяуъ, -- только скептикъ Добролюбовъ никогда не забывалъ прибавить: "если обстоятельства позволять". Возьмите всехъ героевъ Чернышевскаго, кромъ одного-Рахметова, разсмотрите всю ихъ жизнь оть начала до конца, и вамъ невольно захочется воскликнуть: "какъ все это просто и изъ-за чего на самонъ деле люди мучаются?" Какъ будто п правда не изъ-за чего. Стоитъ только "пошевелить мозгами", "раскинуть умомъ" съ точки зрвнія двухъ верховныхъ принциповъ "наибольшей полезности и наилучшаго примъненія сплъ, и всь жизненныя затрудненія распалаются сами собой"... Припоминте, на самомъ деле, известный эпизодъ разрыва Лопухова съ Върой Павловной. Въ чемъ туть суть? Мужъ убъждается въ томъ, что жена больше не любить его. Правда, оъ ея стороны нъть измъны тъла, но есть измъна души. На лицо, следовательно, полная программа для той романической коллизін, которую Щедринъ осміняль въ своей программ' для всякаго рода беллетристических произведеній: "возьми, сказаль онь, двухь мужчинь и одну женщину и не стесняйся". Читатель естественно ожидаеть драмы, что и предчувствоваль Чернышевскій, начавши романъ съ примърнаго самоубійства. Драмы однако ровно никакой не происходить. Лопуховъ превосходно знасть, кого любить его жена. Видя, какъ та худфеть и бафдефеть, и понимая, что возврата къ прошлому быть не можеть, онъ начинаеть "шевелить мозгами" и "раскидывать умомъ", при чемъ для него становится все болбе и болбе очевиднымъ, что такъ дело продолжаться не можеть и не должно. Можно, разумется, убить Кирсанова на дуэли, запереть хорошенькую Вфру Павловну подъ замокъ, наконецъ застрълиться самому, но будеть ли какой-нибудь прокъ? Очевидно, ровно никакого. Следовательно, произойдеть лишь напрасная трата силь. Съ другой стороны, принципъ наибольшей полезности требуетъ, чтобы всъ люди были по возможности счастливы. Чтобы достигнуть этого, Лопуховъ

устранваетъ примърное самоубійство, удаляется въ Америку и предоставляетъ Кирсанову и Въръ Павловиъ устранвать жизнь по-своему.

Коллизія страстей разрешается просто, даже слишкомъ просто, особенно съ точки зрѣнія нашихъ дней, когда мы склонны переоцънивать страсти человъка и когда каждый изъ насъ ставить себя куда "превыше" общества и даже цізлой вселенной. Но віздь наша точка зрівнія різшительно не годится для опънки 60-хъ годовъ и точки зръніи Чернышевскаго. Последняя въ краткихъ словахъ заключается въ следующемъ: человъкъ созданъ не для эгопстическаго наслажденія, а прежде всего для работы, но такъ какъ эгонстическія наслажденія, поднимая жизненную энергію, содъйствують успашности работы, то они законны и необходимы. Высочайшимъ изъ этихъ наслажденій для огромнаго большинства людей является любовь. Она двигаеть и вдохновляеть трудъ. Но любовь безъ взаимности становится изъ благод втельной злой силой. Поэтому надо достигать этой взаимности или содъйствовать ся достижению. Становясь именно на эту често трудовую точку зранія, Лопуховь ні отдаеть свою жену Кирсанову, такъ какъ понимаеть, что безъ Въры Павловны тотъ обратится въ нуль, да и самъ онъ, Лопуховъ, видя страданія близкихъ людей, не избітнеть той же грустной участи. Поступивъ иначе, онъ, несомнънно, измънилъ бы тому, что составляеть сущность его натуры и костный мозгь его твердыхъ и непоколебиныхъ убъжденій, т. е. трудовой теоріи. Конечно, Лопуховъ-натура разсудочная, къ тому же никакой страсти къ женъ онъ въ сущности не питалъ, онъ скорве любить ее, какъ товарища и друга:---иначе бы онъ и не выпутался такъ легко изъ своего затруднительнаго положенія, но все же полагаю, что нътъ ръшительно никакого основанія считать его лишь чиновникомъ особыхъ порученій при теоріи экономіи силъ. Въ сго душъ много жизни, много движенія, и легко представить себъ обстоятельства, при которыхъ онъ выросъ бы въ героя: напр., если бы ему предложили отказаться отъ своихъ убъжденій. На это онъ не пойдеть инкогда. Посмотрите дальше, какъ легко подавляеть онъ въ себъ свое мелочное самолюбіе. Допустимъ, действительно, что онъ совсемъ не любитъ Въры Павловны, но въдь въ немъ могъ бы заговорить мужчина со всъмъ его эгопамомъ и себялюбіемъ. Однако этого ивть и сліда.

Заставить страсти человіка служить интересамъ труда—воть задача разума въ ділів устроенія человіческой жизни. Только тогда можно будеть достигнуть наибольшей напряженности въ работі и наибольшей успішности ся результатовъ. Все работа, все для нея, все во имя ся. И когда она является новымъ и свободнымъ проявленіемъ всіхъ силъ человіка, когда въ ней онъ успіваєть выразить самого себя ціликомъ, тогда наступаєть моменть счастья.

Такъ понимаетъ Чернышевскій счастье, въ законности, необходимости и достижимости котораго онъ пе сомиввается ин на минуту.

Свътлые сны Въры Павловны представляютъ изъ себя не что-нибудь постороннее для романа, напротивъ того, они органически связаны съ его основной идеей. Потребность въ чемъ-нибудь исключительномъ, экстраординарномъ, такъ сказать, Чернышевскій объясняеть прежде всего противоестественными условіями нашего бытія, необходимостью жестокой борьбы съ силами окружающаго насъ зла, а совствиъ не естественной эволюціей человъческаго рода. Его привлекаютъ прежде всего простые и искренніе люди, люди дъла, а не подвига, обыденной жизни, а не исключительныхъ обстоятельствъ. Онъ съ наслажденіемъ погружается въ интересы плъ существованія, слъдить за борьбою ихъ страстей и съ спокойнымъ сердцемъ устранваеть ихъ благополучіе и, строго говоря, благополучіе очень некрупныхъ, а съ героической точки арънія, даже мелкихъ размъровъ. Все это простые работники, которые развятся между собою лишь по степени талантливости. Припомните на самомъ дълъ его дъйствующихъ лицъ.

Литераторъ Волгинъ *) пользуется большою популярностью среди учащейся молодежи. Онъ стоить во главе передового журнала, проповедующаго демократическія пден, п передъ нимъ постоянно цёлыя груда самой неотложной работы: его читатели привыкли, чтобы онъ самъ лично откликался на всё вопросы текущей жизни и просвещаль ихъ съ своей, излюбленной ими, точки зрёнія. Онъ дёлаеть это охотно, съ увлеченіемъ, но ни слёда самомиёнія найти у него нельзя. "Литературнаго таланта у меня нётъ,—говорить онъ о себе, —я пишу плохо, длинно, часто безжизненно. Десятки людей у насъ умёють писать гораздо лучше меня. Мое единственное достоинство, но важное, важные всякаго мастерства писать, состоить вътомъ, что я правильнёе другихъ понимаю вещи".

Волгинъ не предастся никакимъ несбыточнымъ мечтамъ, никода не выходитъ за предълы обычной журнальной публицистики и проповъдуетъ лишь "примъненіе разума къ жизни". Онъ хочетъ, чтобы люди думали больше и не бросали свои думы въ окошко, разъ въ нихъ заговорила страсть. Онъ нисколько не аскетъ, напротивъ, свое настоящее наслажденіе жизнью онъ находитъ лишь у себя въ семьъ возлъ своей красавицы жены, ласки которой совершенно вознаграждаютъ его тяжелую, неутомимую работу. Онъ не только не фанатикъ, но полагаетъ даже, что всъ стремленія и надежды

^{*)} Любонытно, что исевдонимомъ Волгинъ подписывался Добролюбовъ въ "Современникъ" (подъ стихотвореніями).



людей должны прежде всего сообразоваться съ окружающими условіями и ни въ коемъ случат имъ не противортчить. Фанатизмъ онъ можетъ цтнить, можетъ восторгаться имъ, но прежде всего онъ хотълъ бы видъть возлт себя искреннюю убъжденность: ее-то намъ и недостаетъ прежде всего. Онъ въ сущности счастливъ, любимый трудъ, и любимая жена, и успъхъ—вотъ условія его счастья, и никакія необычныя ожиданія не тревожать его трезвую, ясную голову. Онъ талантливый работникъ и только.

О Лопуховъ мы говорили выше и къ его характеристикъ намъ остается прибавить очень немногое. Съ нашей точки зрънія онъ, несомнънно, самав несимпатичная личность изъ всъхъ, нарисованныхъ Чернышевскимъ. Насъ невольно отталкиваеть его раціоналистическая бухгалтерія, его отношеніе къ жизни и къ женщинъ, лишенное всякой эстетичности, всякой поэзів Но надо имъть въ виду, что Лопуховъ прежде всего человъкъ массы, въ высшей степени простой, нъсколько грубо обдъланный и безъ всякихъ барскихъ затъй. Онъ дорогь Чернышевскому, потому что тоть знаеть, какъ дороги такіе моди во всъхъ обстоятельствахъ жизни: на нихъ можно положиться безусловно. И естественно, что онъ съ особенной любовью отмъчаеть заботы Лопухова о чужомъ счастьъ, которое должно быть куплено цъною его собственнаго. Онъ даже подсмънвается нъсколько надъ Лопу, ховымъ, когда тотъ старается заглушить голосъ собственнаго сердца двойной бухгалтеріей принципа наибольшей полезности.

Лопуховъ-рядовой рабочей армін.

Цълой головой выше его Кирсановъ. Талантливость расширила его горизонть, познакомила его съ вдохновеніемъ и—что можеть показаться страннымъ для всъхъ, основательно забывшихъ Чернышевскаго, —дала ему то. чего недоставало прежде всего Лопухову— эстетичность. Онъ эстетикъ въ самой своей работъ, для исторой нужна обстановка, онъ эстетикъ въ своей любви къ Въръ Павловиъ, онъ можетъ весь цъликомъ отдаться своей страсти. Ничего суроваго иътъ въ его натуръ, напротивъ, въ ней все удивительно нъжно, а часто и капризно. Но зато, когда его страсти не противъ, а за его дъло—онъ работаетъ вдохновенно, съ упоеніемъ п огромнымъ успъхомъ.

О женскихъ типахъ Чернышевскаго надо говорить или очень много, или совсемъ ничего не говорить. Ограничусь поэтому лишь однимъ замечаніемъ. Неправы даже очень неправы те, кто считаетъ Чернышевскаго доть на каплю повиннымъ въ крайностяхъ и резкостяхъ женскаго движенія. Какъ разъ наоборотъ: всё эти крайности и резкости решительно противоречатъ темъ образцамъ, которые онъ далъ своимъ читателямъ и читательницамъ: его героини не имеютъ ничего общаго съ вечной памятью

"нигилистками" и очень даже не прочь заботиться о своихъ нарядахъ, не забывая, разумъется, обо всемъ прочемъ. Писаревъ былъ десять разъ неправъ, когда увидълъ въ проповъди Чернышевскаго какое-то разрушение эстетики. Никакого разрушения эстетики на самомъ дълъ не было. Вся суть лишь въ томъ, что для Чернышевскаго красота никогда не была самодовлющимъ началомъ, такъ же какъ и женская красота. Та и другая должны были служить высшей цъли—-работъ.

Передъ нами такииъ образомъ различные представители "единой" и "нераздельной" жизнерадостной трудовой армін, во главе которой мы видимъ однако не личность, а боле отвлеченное понятіе - разумъ. Ничего особенно эффектнаго и поразительнаго неть во всехъ этихъ людяхъ, н Чернышевскій съ особеннымъ удовольствіемъ подчеркиваетъ, что его "герон"--такіе же люди, какъ и всь, но только съ головой, устроенной получше, и съ мыслями, которыя у нихъ не способны расходиться съ явломъ. Върнъе, у него совствиъ нътъ героевъ въ общепринятомъ смыслъ слова, единственная героння его романовъ-жизнь, которая за тѣ блага, какія она даеть челов'яку, требуеть оть него работы. А какъ работатьэто ужъ его дело: носить ли решетомъ воду, или же, наобороть, "пораскинувъ умомъ", сообразить, какъ важна и драгоцения, какъ, прямо говоря, дорого стонтъ каждая крупица силы и какъ выгодно не только использовать ее полностью, но и все болье увеличивать ея производительность. призвавши на помощь ей страсти и разумъ--выборъ между этими двумя крайностями предоставленъ ему самому. Его герон выбирають второй членъ дилеммы и благо имъ: въ награду за это имъ дается полнота земного, человъческаго счастья.

Я уже сказалъ выше, что въ общемъ это простое счастье не заключаеть въ себѣ ничего героическаго. Это именно счастье, а не блаженство, въ немъ нѣтъ никакого порыва, и свѣтитъ оно тихо и ровно. Оно не результатъ служенія идеѣ, самоотверженія во имя ея, оно живетъ не будущимъ—хотя и вдохновляется имъ, а прежде всего настоящимъ. Просто силамъ человѣческимъ данъ просторъ, и для нихъ найдено наилучшее и самое плодотворное примѣненіе. Остальное приложилось къ этому такъ же естественно, какъ прикладывается прибыль къ капиталу, затраченному на выгодное предпріятіе.

Но все ли этимъ сказано, вся ли жизнь исчернывается такимъ ея раціоналистическимъ пониманіемъ и просвъщеннымъ эгоизмомъ ея работниковъ? Развъ сны Въры Павловны уже осуществились? Развъ трудно представить себъ такія обстоятельства, когда двойная бухгалтерія Лопухова и слабовольная талантливость Кирсанова окажутся недостаточными? Волгина минутами томить тяжелое предчувствіе, что надъ жизнью вообще, надъ его личнымъ счастьемъ въ частности, соберутся когда-нибудь черныя тучи. Къчему же приводится въ такомъ случав идеалъ личиаго счастья, хотя бы безукоризненно честно пріобрѣтеннаго, хотя бы даже и общественно полезнаго, какъ обусловливающаго наибольшую продуктивность работы? Нужны будутъ другіе идеалы и другіе стимулы труда, и понимая это, Чернышевскій выдвигаеть на заднемъ фонѣ движущейся картины могучую фигуру Рахметова.

Рахметовъ-- не действующее лицо въ романе, или, лучше сказать, все его "дъйствіе" ограничивается тъмъ, что онъ говорить съ Върой Павловной, съблаеть кусокъ ветчины, выкуриваеть сигару и ложится спать. Однако, съ добавленіями изъ его прошлой жизни, онъ сразу же производить впечатление человека, неизмеримо более сильнаго, чемь все его окружающіе. Это челов'ять долга, иден, воля котораго настолько сильна, что сумела претворить этотъ долгь въ свою вторую натуру. Настоящимъ Рахметовъ не живеть, онъ весь въ будущемъ, --- въ служенін народу, къ которому и готовится, какъ къ схимъ или постриженію. Пока онъ самъ считаеть себя на положени послушника и лишь закаляеть свою душу и тыло. Естественно, что онъ аскеть, есть случайно и наскоро, какъ въ походе, спить на доскъ, утыканной гвоздями, съ какимъ-то наслаждениемъ вырывая изъ себя всв остатки барства. Но это совствиъ не значитъ, чтобы онъ стремился къ состоянію полнаго безразличія. Напротивъ-онъ живой человъкъ, который не только понимаеть, но и любить все радости бытія, но только-онъ "не для него".

Рахметову нътъ ни малъйшаго дъла въ окружающей его жизни. Оттогото онъ и держится въ сторонъ; онъ готовится. Это герой 70-хъ годовъ, которыхъ онъ и ждетъ. Тогда на самомъ дълъ всъ идеи долга и самоотреченія, дающія ему жизнь, окажутся наиболье подходящими и заражающими.

Чернышевскій, мить кажется, поступиль превосходно, удаливь Рахметова на вторую сцену. Его романъ, какъ историческій документь, исчезъ бы совершенно, будь Рахметовъ впереди. Что бы мы подумали тогда о Лопуховъ, Кирсановъ и т. д.? и какую дозу вниманія могли бы мы удълить ихъ жизни? Очевидно, слишкомъ незначительную и совершенно недостаточную для художественнаго впечатльнія. Одинъ Волгинъ, быть можеть, не стушевался бы передъ этой могучей фигурой, дышащей жизнью, правдой и героизмомъ и способной однимъ случайнымъ взглядомъ подчинять себъ людей, но и Волгину пришлось бы почтительно отступить въ сторону.

Я такъ подробно остановился на романт Чернышевскаго, потому что онъ—самое яркое и главное, что дала намъ спеціальная, просвітительная беллетристика 60-ыхъ годовъ. Его верховный принципъ, что жизнь

человъка можеть быть устроена лишь при помощи разума и знанія, повторяется безчисленное множество разъ. Такимъ образомъ въ этомъ отношенін инчего новаго не даетъ намъ, напр., романъ Омулевскаго (И. В. Федорова) *) "Шагь за шагоиъ" ("Свътловъ"). Все равно, какъ Лопуховъ спасаеть Въру, такъ и Светловъ спасаеть геронню. Все равно, какъ Лопуховъ наталкиваеть Въру на путь общественной дъятельности, такъ и Свътловъ, избавивъ героиню отъ ужасной семейной обстановки, помогаеть ей стать образованной женшиной. Роль интеллигенціи огромна, и бодрый, исполненный візры призывъ этой интеллигенціи на борьбу съ мракомъ жизни во имя поддержанія челов'ьческаго достоинства, во имя обезпеченія счастья всехь обездоленныхь, составляеть самое красивое и юное, и притягательное, что есть въ Светлове.

Еще общей чертой героевъ литературы, созданной 60-ми годами, является то, что всв они (хорошіе) непременно общественные деятели и признають, что яншь въ общественной д'аятельности челов'якъ можетъ найти въ конц'я концовъ свое полное удовлетвореніе. Конечно, выборъ того или другого рода общественной діятельности зависить отъ ихъ индивидуальности, но она должена быть для полноты жизни. И она, эта общественная дъятельность настолько высока и привлекате льна, что все узко-личное кажется передъ цей ничтожнымъ и мелкимъ. На этой идев построенъ романъ Арнольди "Василиса", героиня котораго-молодая свътская дама, недавно разъткавшаяся съ мужемъ и проживающая въ Ниццъ, страстно любить молодого русскаго эмигранта, врача Ворисова. Ворисовъ-агитаторъ, онъ отдается своему дълу со страстью, больше того, съ религіознымъ фанатизмомъ, и на этой-то почвъ разыгрывается драма. Василиса требуеть, чтобы возлюбленный принадлежаль ей, и только ей; Борисовъ, конечно, отказывается, и герония топится въ Женевскомъ озеръ.

Перехожу теперь въ другимъ крупнымъ явленіямъ беллетристиви 60-хъ годовъ, миновать которыхъ мей нельзя, и замичу лишь, что въ ти дин "крупное" особеннаго выдающагося значенія, строго говоря, не им'тло. Передовая литература превосходно диспиплинированная, не особенно нуждалась въ тяжелыхъ осадныхъ орудіяхъ и, очень искусно направляя свои удары все въ ту же сторону, действовала, если можно такъ выразиться, изъ скоростръльныхъ орудій мелкаго калибра, осыпая читателя градомъ беллетристическихъ произведеній г.г. Бажина, Засодимскаго и друг.

Н. Г. Помяловскій (1835—1863) — дарованіе очень крупное, но слишкомъ рано погибшее, чтобы нисть возможность высказаться. Сынъ дьякона съ Малой Охты, Помяловскій въ свое время быль отданъ въ бурсу, гдъ вытериълъ все, что только можетъ привести человъка къ озлобленію.

^{*) 1836-1883.}

По его собственному приблизительному подсчету, его высъкли что-то 400 разъ; сколько разъ онъ былъ наказанъ иначе --- сосчитать, разумъется, невозможно. Особенно тяжело пришлось ему вначаль, когда, по установившемуся обычаю, всь съ какимъ-то азартомъ набросились на восьмильтняго новичка. Доставалось отъ товарищей столько же, сколько отъ учителей, доставалось въ вид'в побоевъ, изд'ввательства. Суровое было время и суровая школа! Изобравивъ ее впоследствін въ своихъ "Очеркахъ бурсы", Помяловскій произвель на читателей впечатлъние прямо потрясающее: по русскому обычаю читатели, разумъется, не знали, что дълается у нихъ бокъ-о-бокъ. "Пересъченъ я или недостчень?" философствоваль впоследствін Помяловскій по поводу своихъ бурсацкихъ воспоминаній, и какова была эта философія, видно изъ того, что несчастный сейчась же хватался за водку. Душа больла и ныла, и отъ этого Помяловскій не освободился до конца. По окончаніи семинаріи, онъ, "проболтавшись" годика два, принялся за литературу. Выступилъ онъ въ нее съ огромнымъ запасомъ наблюденій и съ темъ уиственнымъ кругозоромъ, который успълъ выработать себъ настойчивымъ, коти и безпорядочнымъ чтеніемъ. Жажды знанія бурса засьчь въ немъ не могла; кромъ того, самая эпоха съ своимъ быстрымъ кровообращениемъ, своей повышенной жизнью облегавла воспріятіе идей. Конечно, Помяловскій, разночинець и семпнаристь, примкнуль къ передовому кругу, представителемъ котораго былъ "Современникъ". Иден Добролюбова и Чернышевскаго сформировали его, дали смыслъ и направленіе тому жгучему протесту, который жилъ у него въ душъ, сформировали самый его идеалъ, который — вполиъ въ духъ эпохи можеть быть формулировань такъ: всякій человъкъ имъеть право на счастье. Несчастныхъ нътъ, есть только несправедливо обиженные, лишенные своей доли радостей несправедливостью и жестокостью ближнихъ. Литература оказалась истиннымъ призваніемъ Помяловскаго. Исключительно и со страстью занявшись ею, онъ въ теченіе двухо только літь написаль: "Мъщанское счастье", "Молотовъ", "Очерки бурсы"; сдълалъ нассу набросковъ для своего романа "Брать и сестра". Онъ умерь въ 1863 г.

Помядовскій—величива очень крупная. Расширю поэтому его характе-, ристику.

Человъкъ пилъ, страшно пилъ и умеръ, собственно говоря, отъ того, что совсъмъ разстроилъ свой организмъ непробуднымъ пьянствомъ. Пилъ мрачно, безъ перерыва, желая заглушить въ себъ въчное безпокойство и тревогу, дикую злобу противъ сытой и довольной жизни. Пилъ безъ жалобъ и умеръ безъ нихъ, сдълавши такъ мало, несмотря на свои огромныя силы, оставивъ недоконченными, быть можетъ, лучшія, во всякомъ случать самыя глубокія свои работы, какъ "Гражданскій бракъ", какъ "Вратъ п

сестра"—особенно "Братъ и сестра"—эту страшную картину петербургской нищеты и петербургскихъ трущобъ, гдъ героями должны были явиться отверженные люди. Долго мечталъ Помяловскій объ этомъ своемъ романъ, набрасывая изъ него рядъ отрывковъ, мечталъ съ злорадствомъ какимъ-то, говоря: "вотъ ужо я выставлю эти картинки напоказъ нашему обществу — пусть полюбуется".

Туть на первомъ планъ должна была быть правда, жестокая и обидная для общества, которое создаеть этихъ отверженныхъ и, сдавши ихъ куда-нибудь въ вяземскую лавру или на горячее поле, успоканвается и не хочеть знать несчастных, а хочеть лишь того, чтобы они не показывались ему на глаза, выползали бы изъ своихъ трущобъ лишь въ темноте, пробирались бы какъ-нибудь по улицамъ вдоль стенъ, танлись бы вообще и прятались и никакъ не смъли бы нарушать гармоніи довольнаго и сытаго міросозерцанія. Потому что они погибшіе, потому что больше съ ними нечего дълать. И, пожалуй, погибшими считаль ихъ и самъ Помяловскій, но въ этой же гибели видълъ онъ великую обиду для человъка и человъческаго достоинства и хотель онь раскрыть всё муки и тоску этой гибели, хотель отомстить за нее своей "правдой" - бросить ее неприкращенную и грубую вълнцо довольнымъ и сытымъ, чтобы "полюбовались", бросить, какъ лермонтовскій новогодній стихъ, облитый горечью и злостью. "Вы не сивете быть довольными, потому что туть рядомъ человожь гибнеть"—воть что хотель онъ сказать прежде всего.

Онъ много ходиль по трущобамъ, жилъ въ нихъ целыми неделями, взучалъ ихъ, изучалъ не со стороны, не съ высоты величія прославленнаго молодого беллетриста, котораго редакціи рвали на части, отъ котораго, и совсёмъ основательно, такіе люди, какъ Некрасовъ, Чернышевскій и Писаревъ, особенно Писаревъ, ждали такъ иного, -- научалъ съ тоскующимъ и мучительнымъ любопытствомъ, потому что и самъ въ себѣ чувствовалъ отверженнаго, потому что и самъ, какъ и все, кто быль возле него въ этихъ трущобахъ, страдаль отъ той же обиды, отъ той же неотоищенной своей гибели и шелъ ей навстръчу. Ему надо было сказать правду о нихъ, досказать то недосказанное, что таилось у нихъ на душт, проклятие ихъ и слезы ихъ надо было выразить и такъ, чтобы затрепетали сердца людей, чтобы задрожали они отъ ужаса, отъ этихъ смрадныхъ картинъ нищеты, отъ этихъ ея оголенныхъ язвъ, отъ промозглыхъ трущобъ, гдв тантся она. Ведь эти трущобы--- кладбище, и туть похоронены неудачные порывы талантливыхъ натуръ, робкія мечты о счастью, надломленныя непосильнымю трудомю силы, загубленныя жестокой и колодной жизнью души людей, --- эти все же святыя души, несмотря на всю грязь, все унижение, въ какое попали онъ. Грустныя, скорбныя тени маленькихъ детей, погибшихъ отъ холода и голода,

таниственныя и печальныя, съ невысказанной безсильной жалобой на крошечныхъ личикахъ, съ предсмертнымъ недоумъніемъ въ этихъ правдивыхъ корошихъ глазкахъ; — тъни встахъ, кто котълъ счастъя, самаго маленькаго, законнаго человъческаго счастья, но не сумълъ ръшить мудреной задачи жизни и могъ лишь неслышно спрашивать: за что? — ръютъ надъ этими трущобами. И Помяловскій котълъ быть мстителемъ за нихъ.

Сколько, на самомъ дёлё, непримиримой, здоровой и возрастающей злобы было въ немъ все равно, какъ въ самой жизни его было много такого, о чемъ не могъ онъ вспомнить безъ содраганія и ужаса, безъ жажды мести.

"Желчными, глубоко рвущими сердце страданіями выражалось его опьяненіе, такъ что, глядя на эти муки, и жалко, и страшно становилось за него. Бывало начнеть онъ, будто нарочно, представлять передъ собой непріяшныя для него личности и припоминаєть все зло, какое нанесли они ему. Съ дьявольскимъ наслажденіемъ онъ разбираль эти призраки, призываль на нихъ всевозможным проклятія, силился върить, что они рано или поздно будуть отомщены...—"Проклятые!—шепчетъ онъ бывало задыхаясь отъ злости.— Какъ я васъ ненавижу! о, какъ страшно я васъ ненавижу! Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшія мон надежды!"—И не плачетъ онъ: выраженіе лица сдержанное, тяжело спокойное, а у самого слезы такъ и льются... Въ эти минуты съ трудомъ можно было удержать его отъ скандала; онъ готовъ былъ сейчась же бъжать и мстить... Тяжело было глядъть на эти страданія, на эти холоднія, нелегко выдавливаемыя слезы"... (Н. Благовъщенскій).

Въ глубинъ души этого могучаго и большого человъка таилась любовь и жгучая жалость къ людямъ, но на поверхности была злоба и жажда мести. Обида жила въ сердцъ и рвалась наружу, обида за этихъ погибшихъ и за себя, надломленнаго, истерзаннаго и загубленнаго жизнью и прежде всего бурсой, куда онъ попалъ семильтнимъ чистымъ мальчикомъ, а вышелъ мрачнымъ, озлобленнымъ и тоскующимъ кандидатомъ въ духовное званіе. Это званіе было, конечно, не по немъ, и зачемъ же въ такомъ случае целыхъ 14 леть безтолковой долбии и всей той мерзости, которая такъ хорошо знакома намъ даже изъ его отрывочныхъ, въ сущности, только начатыхъ "Очерковъ бурсы"... Въдь припомните, на самомъ дълъ, эти картины "зниняго вечера", этихъ странныхъ, жестокихъ игръ, этого безконечнаго зубрежа, этого въчно напряженнаго состоянія отъ голода и холода, отъ ожиданія порки, этихъ жестокихъ кровавыхъ расправъ со стороны полупьяныхъ, озлобленныхъ и тоже обиженныхъ учителей, --- всей этой примозглой атмосферы, передъ которой, по мивнію Писарева, бледивють даже ужасы "Мертваго дома", и вы поймете, откуда эта алоба, откуда эта жажда мести. Не совсемъ погибъ здівсь Помяловскій; слишкомъ много силы было заложено въ него; долбия

не уничтожила въ немъ страсти къ ученію; розгами не забили его таланта—
но здѣсь привилась къ нему та скверная и мрачная болѣзнь, отъ которой погибъ опъ въ концѣ концовъ. И буров своей опъ отомстилъ, навѣки пригвоздивъ ее къ позорному столбу, расшатавъ тѣ гнилые столбы, на которыхъ она еще держалась въ то время. Онъ разсказалъ о ней правду, только правду, онъ вспомнилъ, описывая ее, весь ея странный воровской языкъ, ея противоестественные воровскіе нравы, ея жестокость, нищету, ея смрадъ; онъ нарисовалъ страшную картину гибели чистой дѣтской души; онъ показалъ намъ во всемъ ея ужасѣ школу, гдѣ учителя и ученики самые жестокіе и непримиримые враги другъ друга, онъ проклялъ ее, и въ этомъ проклятіи было его торжество. Онъ отомстилъ, и вся жестокость нанесенной ему обиды нашла здѣсь, въ этихъ удивительныхъ, полныхъ сдержаннаго великаго добролюбовскаго гнѣва, очеркахъ, свое искупленіе.

Но онъ хотель большаго. Хотель мести и за жертвы гибнущихъ и погибшихъ уже въ трущобахъ большихъ городовъ. Хотель мести путемъ все
той же "правды". И, заметьте, не къ жалости взываль онъ—о нетъ!—
онъ былъ для этого слишкомъ гордъ и озлобленъ и понималъ, что не жалостью можно исцелить эти гнойныя язсы общественной жизни,—и не къ
состраданію, а къ чувству чести, къ чувству достоинства, къ стыду людей,
допускающихъ все это рядомъ съ собой... Онъ хотель бы видеть испуганныя "правдой" глаза читателя, видеть, какъ онъ, ошеломленный, растерявшійся, начинаетъ бормотать о "преувеличеніи", о "вредё натуралистическаго направленія нашей литературы" и прочихъ глупостяхъ, и злорадно
разсм'язться ему въ лицо; разсыпаться дьявольскимъ см'ехомъ гибнущаго
челов'ека и мучить правдой все дольше, мучить безъ конца, терзая душу
картинами чердаковъ и подваловъ, этими грозными картинами нищеты; мучить эту сытость, это самодовольство, которыя сямъ Помяловскій, конечно,
ненавидель всего больше на св'етъ.

И этого страшнаго дьявольскаго эффекта, такъ вдохновлявшаго его при первыхъ мазкахъ "Врата и сестры"—романа, блёдное отраженіе котораго мы нивемъ въ "Петербургскихъ трущобахъ" Всев. Крестовскаго, въ столичныхъ очеркахъ Левитова, въ наброскахъ Новодворскаго или Кущевскаго—онъ хотвлъ, говорю я, добиться правдой. Въ правду онъ вёрилъ, ей онъ хотвлъ служить.

Въ этой въръ, въ этомъ служени, въ смълости, съ какой она высказывалась, въ ея безбрежии вы видите отражение мощнаго духа эпохи. Тогда дъйствительно люди хотъли знать жизнь, какъ она есть со всеми ея ужасами, срывали всъ сто ризокъ съ насъ возвышающихъ обмановъ, со всего, что можетъ успокоить и убаюкать нашу совъсть и воображение и заставить насъ сказать со вздохомъ удовлетворенности: ахъ, какъ хорошо!.. Нътъ—не хорошо. Скучно, когда хорошо, а вообще... какъ страшно и больно жить! Почему страшно и больно? Потому что загрязнена, унижена и оскорблена самая святыня жизни — человъкъ. И надо показать всю глубину, всю мерзость этой грязи, этого униженія и этой обиды. Надо и не страшно сдълать это, потому что чувствуется кругомъ, въ только что обновленномъ великими реформами обществъ, рость могучихъ силъ, готовыхъ на борьбу и достойныхъ побъды.

Безстрашіе правды—самое краспвое, самое світлое, что осталось намъоть литературной эпохи 60-хъ годовъ. Были кумиры, но не было идоловъ. Была жалость, но не было сантиментальности, рядомъ съ любовью была злоба. Не боялись говорить полную, грубую правду даже о мужикъ.

Того же—и я думаю, что этого прежде всего—хотълъ и Помяловскій. Во имя чего? Во имя жгучей жалости къ людямъ, боли за ихъ неотомщенныя и невидныя, какъ-то пренебрежительно забываемыя обиды, во имя святая святыхъ жизни—человъческаго достоинства. Это не былъ натурализмъ, не былъ протоколъ себъ довлъющій, не было "констатированіе фактовъ", менъе всего—рисованіе съ натуры — это, какъ все въ ту эпоху, было пропагандой, проповъдью, было призывомъ къ работъ, для усившности которой надо знать всю правду, какъ она есть. Это оыло въ то же время крикомъ боли и мести обиженнаго человъка, въ основъ своей такого прямого, честнаго и даже простодушнаго *).

*) То же безстрашіе правды по отношенію къ тімь идеямь времени, которыя многимъ казались самыми передовыми, а значить по убогой логикъ нашихъ интеллигентовъ и самыми несомнънными-видно и изъ замысла его романа "Гражданскій бракъ". Здёсь онъ намеревался изобразить невинную нъсколько экзальтированную дъвушку, попавшую въ общество пустопорожнихъ прогрессистовъ, въ родъ Ситниковыхъ и Кукшиныхъ. Эти господа отуманили ее напыщенными фразами и соблазнили ее вступить въ такъ наз. гражданскій бракъ, что будто бы было нужно для служенія идев. Помяловскій хотвлъ сорвать маску съ этихъ самозванцевъ передового движенія и обнажить весь ихъ цинизмъ, прикрытый громкими фразами. "На насъ клевещуть, -- говорилъ онъ, -- и наша честь требуетъ, чтобы съ молодого поколънія сняли то пятно, которое кладуть на него эти лица. Всякая сила вызываеть непремънно множество бездарныхъ подражателей, однако по этимъ бездарностямъ общество судить объ оригиналахъ и пріобратаеть недоварчивость къ нимъ. Надо доказать, что они-не наши, что наши стремленія не тв. Трудна эта задача, но я возьмусь за нее, потому что это -- дъло нашей чести".

Нечего напоминать читателю, что часто даже большіе люди робко отступали передъ "несомнѣннѣйшими" и "прогрессивнѣйшими" идеями времени, хотя и чувствовали ихъ ложь или напыщенность. Для шага, на который хотълъ рискнуть Помяловскій, дѣйствительно нужно было его безстрашіе правды и вся дерзость его молодой искренней мысли.

Но въ Помяловскомъ, конечно, нисколько не было ненависти противъ культуры. Въ этомъ онъ върный сынъ 60-хъ годовъ, чистый западникъ, который въ формахъ европейскаго общежитія видълъ нѣчто заманчивое и обезпечивающее достоинство и счастье человъка. Онъ раздражался лишь тъмъ, что блага культуры были распредълены такъ неравномърно, съ такимъ очевиднымъ капризомъ и несправедливостью Права же человъка на личное счастье онъ такъ же мало думалъ отрицать, какъ и самую культуру; страданіе онъ такъ же мало проповъдывалъ, какъ и опрощеніе. Совершенно въ духъ времени написаны имъ два романа "Молотовъ" и "Мъщанское счастье", героемъ которыхъ является голодный рязночинецъ.

Туть замъчательно все, начиная отъ первей строки до послъдней—замъчателенъ и сърый будничный колоритъ разсказа и видимая удовлетворенность автора своимъ героемъ и его внутренняя неудовлетворенность "мъщанскимъ счастьемъ", которому однако онъ хочетъ любовно сочувствовать. Молотовъ — какъ всъ герон эпохи — разночинецъ, темнаго происхожленія, и въ то же время новый человъкъ. Воспитанный изъ милости старикомъ-профессоромъ, Молотовъ вступаетъ въ жизнь одинокимъ и безпомощнымъ и лишь мало-по-малу кропотливымъ, усерднымъ трудомъ обезпечиваетъ себъ достатокъ и личное счастье. Въ томъ, что онъ долженъ во что бы то ни стало добиться этого личнаго счастья, что онъ, какъчеловъкъ, имъетъ на него полное неотъемлемое право — Молотовъ нисколько не сомъвается. Это его мъщанская логика, которой онъ пропитался до мозга костей.

Что же такое Молотовъ? Надо отдать полную справедливость энергів и настойчивости его характера, грубой и подчасъ прямо жестокой искренности его натуры, несколько зачерствевшей въ своемъ духовномъ одиночествъ. Въ немъ есть что-то цъльное и сильное, правда угловатое и, пожалуй, неуклюжее, но во всякомъ случат ложь и даже подобіе лжи далеки отъ него. Человъкъ массы, самый обыкновенный, средній человъкъ толпы, онъ ни разу однако не думаеть склониться передъ обстоятельствами, не боится мелкаго, кропотливаго труда. Онъ пришелъ въ жизнь, какъ завоеватель, и не сумълъ обойтись безъ жертвъ. Совъсть его спокойна до конца, и самымъ характернымъ для него было то обстоятельство, что онъ ни разу не спросиль себя: да законень ли мой идеаль личнаго счастья, да стоить ли онъ действительно техъ жертвъ и усилій, какія я приношу ему, в правъ ли я, отождествляя понятіе счастья съ домашнимъ благополучіемъ? Помяловскій, повидимому, все время на сторонъ своего героя: онъ разделяеть его негодование на Обросимовыхъ, находить совершенно естественнымъ поступокъ съ Леночкой, въ концъ концовъ награждаетъ Молотова любовью такой серьезной и милой дівушки, какъ Надя Дорогова и

"исполнениемъ всехъ желаний"; но спросите себя, точно ли художникъ Помяловскій, эта крупная черноземная и, увы, недоразвившаяся творческая сила русской литературы, считаеть "счастьемъ" мъщанское счастье своего героя и не сочувствуеть ин онъ ему скорбе изъ принципа, чемъ по влеченію? Конечно, только изъ принципа. Будь Помяловскій удовлетворенъ самъ, онъ не закончилъ бы романъ страннымъ восклицаніемъ: "экъ, что-то скучно жить на светь, господа",--восклицаниемъ, такъ неподходящимъ къ побъдному тону послъдней страницы:--онъ не вывель бы на сцену и Череванова съ его мрачной, кладонщенской философіей, давнымъ давно махнувшаго рукой на молотовскіе кумиры, --философіей, отъ которой пахнеть тлівномъ, смертью и разложеніемъ. Мнів кажется, что въ этомъ, т. е. въ признанін законности и необходимости для каждаго личнаго счастья съ одной стороны, въ сознаніи невозможности найти удовлетвореніе въ личномъ счастью и, пожалуй, ибкоторой его незаконности, разъ человыхъ дотя немного выше толиы и ея пошлаго самодовольства -- съ другой, и завлючается любопытная черта міросозерцанія 60-хъ годовъ.

Съ точки эрвнія господствующаго настроенія Помяловскаго, "Молотовъ" и "Мъщанское счастье" — пожалуй, ошибка. Не для него это сытое довольство, этотъ покой, заработанный годами канцелярской барщины, этотъ тихій семейный очагь, расположившійся по близости трущобъ Вяземской лавры. Это лишь временный миръ усталой души, волна бодрости, оживившей измученнаго человъка, волна, которая роковымъ образомъ должна отхлынуть, чтобы очистить мъсто мрачнымъ картинамъ бурсы и "Врата и сестры". Но хорошо въ то же время любовное отношеніе къ человъческому счастью, даже тусклому и съренькому, потому что для Помяловскаго всякій человъть былъ святыней.

Обиду и горечь, минуты радости и годы тоски и томленія, жгучую жалость къ людямъ и жажду мести за нихъ зналъ онъ въ своей короткой двадцати-восьмильтней жизни. Въ могилу онъ унесъ съ собой огромную недоразвившуюся силу и тайну своего правдиваго честнаго творчества. Я радъ, что напомнилъ хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ образъ его, радъ я, и грустно мить въ то же время, потому что не веселое, а тяжелое пришлось напомнить мить—загубленную жизнь, загубленную силу. Силу большую, но не сознавшую себя во всей полнотть. Что-то роковое, стихійное, и дай Богъ, чтобы навсегда прошедшее, есть въ судьбть Помиловскаго, и прежде всего эта его жажда самосожженія, которая роднить его жизнь съ жизнью столькихъ и столькихъ хорошихъ и талантливыхъ русскихъ людей, ни капли себя не жалъвшихъ, ни пальцемъ не ударившихъ, чтобы пристроиться какъ-нибудь и утихомирить свою тревожную душу. Не для нихъ это все. Не для нихъ, такъ какъ ежедневно и ежеминутно видъли

они, какъ самое для нихъ дорогое, какъ великій ихъ идеалъ топчется въ грязь, и все питало обиду ихъ сердца. Они хотели, и это прежде и больше всего хотели, чтобы жизнь хранила и лелеяла святыню человека, чтобы давала ему все нужное для развитія его силъ и способностей, чтобы гордый и счастливый, полный здоровой любви къ ближнему, бодрой веры въ себя и свои мечты, шелъ онъ по житейской дороге, а не тащился по ней усталый и измученный, съ ярмомъ на шев, мимо труповъ уже уставшихъ товарищей. И они думали, что такъ оно должио быть.

А. И. Левитовъ. (1842-1877). Послѣ сказаниаго о Помяловскомъ. — о Левитовъ достаточно и всколькихъ словъ. Тоть же типъ, то же настроеніе, почти та же самая жизнь, сначала въ дом'я б'яднаго сельскаго священника, потомъ въ бурст и семинарін, наконецъ (послт ссылки въ Шенкурскъ и Вологду за какую-то неразъясненную хорошенько исторію) --- за нятіе литературой, скитальчество и оброшенность. Но Помяловскаго побаловали еще литературные успёхи, которыхъ Левитовъ виделъ очень нало; посвиовала еще Помяловского и ранняя смерть среди неостывшаго еще общества, среди сивлыхъ надеждъ и не растерянныхъ упованій. Левитовъ выступиль на сцену позже и увидёль вокругь себя лишь разрушенную хранину. Оттого краски его еще мутиће, отношение въ жизни граничитъ съ полной безнадежностью, сочащаяся кровью рана въ обиженномъ сердцъ не затягивается ни на минуту. Онъ, навернвшійся во все, только рыдаеть, и это рыданіе, этоть стонь то и діло слышны въ его разсказахъ. Онъ описываеть деревенскую нищету, невъжество, семейные раздоры, обманутыя ожиданія, жизнь босяковъ и потерянныхъ людей, единственнымъ утішеніемъ которымъ служить водка. Но въ началів литературной карьеры ("Степные очерки" и т. д.) эти картины темнаго царства чередуются съ другиин--- изъ жизни, привольныхъ степей, изъ собственныхъ детскихъ летъ Потомъ колорить все более сгущается. Мракъ безнадежности закрываеть передъ глазами автора ("Горе селъ и деревень") всю жизнь. Передъ вами талантливый горемыка, затерявшійся среди улицъ большого города, среди его шума и треска, не знающаго куда преклонить свою голову. То злоба, то отчанніе, то постыдное сознаніе полнаго своего безсилім чередуются у него на душт, и - говорю я-онъ плачеть. Но сквозь слезы слышится сивать, конечно, алобный и сардонический, инсколько не облегчающий душу. Это прощаніе со всіми надеждами и мечтами, еще оставшимися гдів-то въ тайникахъ души, это насмъшка надъ собой, своей минувшей юностью, насмышка надъ жизнью, приманивающей къ себы человыка обманчивыми грезами. Насмъшка и прощеніе-потому что кругомъ тьма и гибель. Левитова зовуть обыкновенно "южнымъ степнымъ цвъткомъ, затерявшимся въ колодныхъ пустыняхъ съвера". Это крисиво и, пожалуй, върно. Его богатое, цвътистое и прихотливое воображение, неумолкающий лиризмъ, говорять о его горячей крови, о его страстныхъ чувствахъ. Но больше всего въ немъ жалости къ погибшимъ и погибающимъ, жалость къ этимъ безчисленнымъ жертвамъ обыденной жизни—скитальцамъ, одинокимъ, горемыкамъ, проституткамъ, жалости къ себъ и злобы противъ всъхъ, кто еще находитъ время и возможность быть довольнымъ собой, или достаточно жестокости, чтобы толкать погибающаго.

А. К. Шеллеръ. (1838-1900). Дебютировалъ въ "Современникъ" двуми большими романами "Гнилыя болота" (1864) и "Жизнь Шупова" (1865), затвиъ сотрудничалъ въ "Русскомъ Словъ", редактировалъ "Дъло", "Недълю" и "Живописное Обозръніе". Изъ его многочисленных романовъ назову: "Лесь рубять--щепки летять", "Въ разбродъ", "Гг. Обносковы", "Старыя гивада", "Хлеба и зрълищъ", "Ртищевъ" и т. д. Кроме романовъ онъ написалъ иного публицистическихъ работъ, напримъръ: "Пролетаріатъ во Францін", "Ассоціацін во Францін, Германів и Англін", "Наши дътя" и проч. Онъ былъ истинимъ сыномъ 60-хъ годовъ, ученикомъ Писарева, публицистомъ въ романахъ, апологетомъ интеллигенціи, человъкомъ, върующимъ въ великую и даже безусловную силу разума, который призванъ рішить всі соціальныя противорічія и устроить счастливую жизнь здісь на землі (по программі фаланстеровь). Съ особенной любовью Шеллеръ прослеживаеть процессь выработки критического взгляда на действительную жизнь. Сынъ лакея ("Гиилыя болота"), сынъ пом'ящика ("Жизнь Шупова"), сынъ дворянина н т. д. въ концев концовъ выбиваются изъ сознанія безсознательнаго къ твердому преслідованію идеаловъ. Они стоять за всехъ угнетенныхъ и обиженныхъ; ихъ практическая деятельность сводится къ занятіямъ наукой, открытію школь и вообще всякаго рода культурной работв" — къ "маленькимъ дъламъ" вообще по раціоналистической, писаревской программ' 60-хъ годовъ.

"Талантъ его не былъ крупный, но произведенія его получали свое значеніе отъ того нравственнаго содержанія, какое онъ вносилъ въ свои труды. Онъ воспитался на той эпохѣ начала шестидесятыхъ годовъ, которая одушевила русское общество перспективою преобразованій, надеждами на лучшее будущее въ умственной и общественной жизни, и люди молодого поколѣнія, съ какими-нибудь задатками идеализма, жадно устремлялись къ этому будущему,—не воображая, конечно, какія тяжкія испытанія ожидали ихъ уже вскорѣ. Шеллеръ былъ изъ числа тѣхъ, ко-

торые сохранили на всю жизнь лучшіе порывы молодости: это сказалось въ его многочисленныхъ романахъ и сообщало имъ живой интересъ, несмотря на художественные недостатки". Онъ не заблуждался, — какъ заблуждается множество второстепенныхъ писателей, — о художественной цънъ своихъ произведеній и справедливо говорилъ: "мои произведенія будутъ дороги тъмъ людямъ, кому дороги вден и мысли, сильно выраженныя, о нашей жизни... Писатель всегда силенъ идеями, а не картинами... Что и за картина, если въ ней нътъ содержанія, что и за образъ, если онъ ничего не говоритъ русскому обществу?"

Тотъ же недостатокъ художественности исполненія и горячую преданность идеямъ всегда отмічала въ Шеллерів и критика. Напр.:

"Пусть въ его сборникахъ нътъ такихъ женщинъ, плънительныхъ, благоуханныхъ, какъ у Тургенева, нътъ той щемящей сердце психологіи, какъ у Достоевскаго, нътъ глубокаго реализма, какъ у Толстого. Можеть быть, Михайловъ не владветь тайной, художественнаго внушенія, какою владъють даже молодые наши корифеи. Но у Михайлова есть великій даръ внушенія нравственнаго, способность волновать сердце не красотою, а совъстью своего таланта. Секреть этого таланта въ томъ, что у него есть, что сказать, и за это существенное читатель охотно прощаеть ему нъкоторую блъдность стиля и разные конструктивные недочеты. Вся сила Михайлова-въ благородномъ отношеніи къ жизни, которымъ онъ особенно заражаетъ молодежь. Вспоминая свою юность, я всвиъ прузьямъ рекомендую Михайлова, какъ писателя-идеалиста, какъ лучшаго друга для вступающаго въ міръ молодого поколінія. Особенно дорогъ онъ для техъ среднихъ слоевъ, которые томятся среди гнилыхъ болоть жизни или бредуть въ разбродъ засоренными дорогами, добиваясь дъятельности достойной и свътлой "Жизни Шупова".

Шеллеръ до конца своихъ дней оставался преданнымъ представителемъ идей 60-хъ годовъ, горячо защищалъ ихъ даже въ формъ увлеченій:

"Я понимаю свободу и счастье человъка въ зависимости отъ того или другого политическаго порядка вещей, отъ степени образованія въ странъ, но ничего не понимаю въ "метафизической свободъ". Если говорять о внутренней свободъ человъка при любомъ порядкъ вещей. то... развъ этимъ и кончается все? Въдь этой внутренней свободой нельзя же самого себя тъщить! Съ нею связаны дъла и поступки, то-есть нужды времени, опять-таки не въчныя, а настоящія... Таковъ складъ моего ума. Я всегда былъ врагомъ фразерства. Пока русскій народъ будеть безъ сапогъ,—ему не до Шекспира и Пушкина. Я достаточно понимаю Пушкина, и когда я разстроенъ, то ничто такъ не успокаиваетъ мон нервы, какъ чтеніе въ сотый разъ того же Пушкина. Но если до крестьянскихъ школъ доходятъ только сказки Пушкина, и только одинъ старый кабакъ реформируется въ казенную винную лавку, а больше ничего изъ реформъ не попадаетъ въ деревню, то Пушкинъ и Шекспиръ будутъ ему чужды. "Съйте рожь, а васильки сами выростутъ"... При та-

комъ пониманіи эта мысль о ржи ничего не содержить въ себъ пошлаго и матеріалистическаго. Разные нынѣшніе учители проповѣдують "метафизическій идеализмъ" противъ ржи и каши... Они думають, что утилитаризмъ есть предпочтеніе сапоговъ Шекспиру; они думають, что Писаревъ не понималъ превосходства Шекспира. Ошибаются. Писаревъ лучше ихъ понималъ и Пушкина, и Шекспира. А только, пока русскій народъ будеть безъ сапохъ, не читать ему ни Шекспира, ни Пушкина. Воть о чемъ надо заботиться. Никто изъ нестидесатниковъ не опровергаль идеализмъ, то-есть стремленіе къ тому, чтобы прежде самому быть лучше, а потомъ ужъ и строй измѣнится... Но мы понимали, что онъ измѣнится не иначе, какъ если мы будемъ сѣять хлъбъ, а василькъ сами народятся".

Шеллеръ высоко ставилъ преданіе "шестидесятыхъ годовъ"; онъ не скрываль отъ себя ихъ недостатковъ, но горячо защищалъ ихъ общій характеръ и направленіе, и съ негодованіемъ возставаль противъ тіхъ, кто отряцаль ихъ значеніе. "Я вообще за руководительство народа интеллигенціей со встыми переходными фазами, а народъ мы даже мало знаемъ въ политическомъ значеніи…"

Въ сущности все это упрощенные взгляды Писарева.

Беллетристы народники.

60-ые годы не боялись правды, какой бы она ни была. Напротивъ, ее-то прежде всего они искали, ее-то и гребовали. Въ нихъ была органическая ненависть, было и органическое отвращение ко всякой лжи, всякому обману, хотя бы и "насъ возвышающему". Въ свое "представление" о жизни они не хотъли допускать никакихъ самообольщений. Оттого-то они производять нъсколько грубоватое, прямо ненавистное разнаго рода эстетикамъ, впечатлъние. Правда безъ всякихъ нллюзій, безъ всякой идеализаціи было ихъ девезомъ, и, естественно, имъ не нравилось изображение мужика въ нашей старо-барской литературъ. Они находили его прикрашеннымъ и не безъ основанія спрашивали: откуда бы могло явиться столько доблести в всяческихъ добродътелей въ сердцахъ людей, выросшихъ подъ розгой кръпостного права? Такой способъ изображенія мужика Чернышевскій ръзко называлъ барскимъ самоуслажденіемъ и сантиментальнымъ чесаніемъ пятокъ.

Н. В. Успенскій (1837—1889). Опроверженіемъ "мужика" барской литературы являются разсказы изъ народнаго быта Н. В. Успенскаго. Съ перваго же своего появленія въ "Современникъ" (1857 г.) эти разсказы обратили на себя общее вниманіе. Автора засыпали похвалами, и на то

были серьезным причины, а не просто новый тонъ, который Успенскій взяль въ отношенін къ мужнку. Эти серьезныя причины превосходно выясниль Н. Г. Чернышевскій въ своей стать "Не начало ли перешъны?" (1861), посвященной какъ разъ сборнику разсказовъ Н. В. Успенскаго.

"Павнымъ-давно. -- писалъ Чернышевскій. -- критика стала замізчать. что въ повъстяхъ и очеркахъ изъ народнаго быта и характеры, и обычаи, и понятія (народа) сильно идеализируются. Стало быть, намъ нечего и доказывать это, когда всемъ оно известно. Мы лучше поищемъ причинъ по которымъ не могъ отстать отъ идеализированія народа никто изъ прежнихъ нашихъ беллетристовъ, несмотря на совъты критики. По нашему мнънію, источникъ непобъдимаго влеченія къ прикрашиванію народныхъ нравовъ и понятій быль и похвалень, и чрезвычайно печаленъ. Замъчали ли вы, какую разницу въ сужденіяхъ о человъкъ, которому вы симпатизируете, производить ваше мнъне о томъ, можно или нельзя выбиться этому человъку изъ тяжелаго положенія, внушающаго вамъ состраданіе къ нему? Если положеніе представляется безнадежнымъ, вы толкуете только о томъ, какія хорошія качества находятся въ несчастномъ, какъ безвинно онъ страдаетъ, какъ злы къ нему люди, и т. д. Порицать его самого показалось бы вамъ напрасною жестокостью. говорить о его недостаткахъ-пошлою безчувственностью. Ваша ртчь о немъ должна быть панегирикомъ ему,-говорить о немъ въ иномъ тонъ было бы вамъ совъстно".

По митнію Чернышевскаго, идеализація мужика была необходимостью для барской литературы 40-хъ годовъ, когда положеніе мужика представлялось безвыходнымъ. Но теперь выходъ найденъ. Нужна, слъдовательно, правда и только правда о народъ, которая помогла бы вывести его на настоящую дорогу. Къ чему, — спрашиваетъ Чернышевскій, — вела идеализація? И отвъчаетъ:

"... Читайте повъсти изъ народнаго быта гг. Григоровича и Тургенева со всъми ихъ подражателями---все это насквозь пропитано запахомъ "шинели" Акакія Акакіевича.

"Прекрасно и благородно, — въ особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза изъ этого — народу? Для насъ польза
дъйствительно была, и очень большая. Какое чистое и вкусное наслажденіе получали мы отъ сострадательныхъ впечатлѣній, сладко щекотавшихъ нашу мысль ощущеніемъ нашей способности трогаться, умиляться, сострадать песчастію, проливать надъ нимъ слезу, достойную
самого Манилова. Мы становились добрѣе и лучше, — нѣтъ, это еще
очень сомнительно, становились ли мы добрѣе и лучше, —но мы чувствовали себя очень добрыми и херопіими. Это очень большая пріятность,
се можно сравнить только съ тъмъ удовольствіемъ, какое получаль
покойный мужъ Коробочки отъ чесанія пятокъ"...

Словомъ ндеализація—-это барскій самообманъ, самообольщеніе. И опять отмівчаю фактъ, какъ въ этомъ вопросі о мужикі столкнулись двів культуры, два общественныхъ слоя. Сколько злой проніи въ словахъ Чернышевскаго

и съ какимъ очевиднымъ удовольствіемъ сводить онъ всю идеализацію къ самоуслажденію, къ сантиментализму. Правду онъ увид'єль въ разсказакъ. Успевскаго. Была ли она тамъ? Я знаю, какъ грудно ответить на этотъ вопросъ. Имя Н. В. Успенскаго далеко не пользуется популярностью. Слава его расцвила такъ же быстро, какъ и упала. Уже въ конци 60-хъ годовъ его почти забыли и перестали печатать. Дело въ томъ, что требование правды и только правды продержалось очень недолго. Скоро и, пожалуй, слишкомъ скоро онять понадобилась идеализація мужика, потому что его быть и устои его жизни интеллигенція клала во главу угла зданія будущей счастливой жизии. Понадобилось ипостазирование крестьянства, по крайней жъръ-самое строгое и любовное отношение къ нему. Этого-то у Успеискаго не было: онъ лишь зналъ народъ и ничего больше. Поднявшаяся волна народничества смыла его, его разсказы и его славу. Они стали казаться мелкими, анекдотичными, а главное, легкомысленными. Въ нихъ не было проповъди, не было требованія служить народу, не было любви. Они никуда не звали. Очень богатые по части подробностей, особенно бытовыхъ, зачастую яркіе, всегда занимательные, они затрогивали сердца. Больше того: они шли противъ быстро распространявшейся въры, что интеллигенція опору своимъ стремленіямъ найдеть въ народъ. Напротивъ того, мужниъ Успенскаго былъ грубъ, невъжественъ и прямо таки непрезентабеленъ. У него мало что можно было найти. За эту-то вотъ правду" интеллигенція и не валюбила Н. В. Успенскаго.

О. М. Ръметниковъ. (1841—1871). Совершенно по той же причинъ быстро сощель со сцены и О. М. Ръшетниковъ. Онъ-сынъ дьячка, родился въ Екатеринбургъ, вынесъ въ своемъ дътствъ столько, сколько, по его собственному выраженію, не дай Боже вынести "безпризорной собакъ". Отъ пеленокъ до могилы ближайшимъ его спутникомъ была нищета съ ея свитой: униженіемъ, побоями, шатаніемъ съ мъста на мъсто, ожесточенностью и, наконецъ, пьянствомъ. А сердце у него было хорошее, честное, обиженное только жизнью, но не запачканное ею. Добравшись въ 1863 году какими-то путями до Петербурга, онъ въ 1864 году напечаталъ въ "Современникъ" свои "Подлиповцы" и потомъ весь отдался литературъ. Лучшини его произведеніями считаются: "Между людьми", "Глумовы", "Гдв лучше", "Свой хлюбъ". Считать его фотографомъ действительности нътъ никакого основанія: въ писанія свои Ръшетниковъ вкладывалъ всю свою душу, безконечная жалость къ народу видна за грубой ихъ оболочкой. "Я задумаль описать бурлацкую жизнь съ целью хоть скольконебудь помочь этимъ бъднымъ труженикамъ",--- говорилъ онъ въ письмъ къ Некрасову, посылая ему "Подлиповцевъ".

У Решетникова, въ его произведеніяхъ, гораздо боле сердца, жалости, чемъ у Н. Успенскаго. Онъ любовно следить за похожденіями своихъ героевъ, за ихъ напряженными исканіями того уголка въ жизни, где рабочему люду действительно лучше.

Несомнівню, что для Рівшетникова, который вышель не только изъ народа, а изъ самыхъ низшихъ его слоевъ, то-есть самыхъ обездоленныхъ, это счастье представлялось особенно дорогимъ, и забота о немъ является главной опредълительницей его вдохновенія. И это уже безъ всякихъ уступокъ, безъ всякихъ уклоненій въ сторону; вотъ почему его разсказы, несмотря на полное отсутствіе "прикрасъ", несмотря на свою топорность, производятъ такое потрясающее впечатлівне. Это голосъ самой стихін, это не писательство, а работа рудокопа, откапывающаго своихъ засыпанныхъ товарнщей, чьи стоны онъ слышитъ изъподъ земли. Рівшетникова ничівть соблазнить нельзя, онъ приросъ къ своему ділу, къ своимъ Подлиповцамъ и Глумовымъ, знаетъ, что они задыхаются, потому что и самъ всю жизнь задыхался, — и на всі прекрасныя слова, на всі благороднійшія бездіятельныя чувства, на всі указанія благодіянія культуры и завоеванія прогресса онъ отвітить своимъ презрительнымъ: "Эхъ, ты, цивилизація парикмахерская". Въ этой неуступчивости и прямолинейности — его сила.

Можно жалъть объдныхъ тружениковъ и желать имъ всякаго счастья, какъ жалъли и желали наши славянофилы и почти всъ люди сороковыхъ годовъ; но можно и жить этимъ, сдёлать изъ этого свою религю, наполнить имъ все свое существо, всъ свои помыслы, стать фанатикомъ, и вотъ тогда-то всякое ваше простое слово и неуклюжая ръчь пріобрітуть особенное, грозное значеніе. И оно есть, конечно, въ томъ суровомъ приговоръ "парикмахерской цивилизаціи", въ этомъ вопль противъ красоты или, върнъе, красивости, заставляющей человъка забывать о настоящемъ дълъ. Въ этомъ случать въ творчествъ Ръшетникова было много мрачнаго п даже озлобленнаго, несмотря на мягкость и дътскую наивность его характера.

Надломленная съ дътства жизнь Ръшетникова протянулась недолго: онъ умеръ 5-го сентября 1871 года, 30-ти лътъ съ небольшимъ. Смыслъ его біографіи для его произведеній, конечно, тотъ, что Ръшетниковъ самъ на своихъ плечахъ вынесъ всю тяготу народной жизни и, говоря о страданіяхъ бъдныхъ тружениковъ, не только о нихъ плакалъ, но плакалъ съ ними.

Перехожу къ его сочиненіямъ. Конечно, объ ихъ формѣ, ихъ техникъ я не скажу ни слова: Ръшетниковъ рубилъ топоромъ—это ясно для каждаго, знакомаго хотя бы съ двумя написанными имъ страницами. И вообще

какія эстетическія требованія можно предъявлять къ человъку, вопіявшему противъ красоты, отворачивавшемуся отъ всякихъ прикрасъ, пожалуй, съ тыть же чувствомь, съ какимь раскольникь отъ табачнаго дыма (т. е. съ фанатизмомъ даже), и для котораго польза людей, служение имъ были своеобразной, но всеодухотворяющей религіей? Но если вм'єсто требованій красоты, наящества мы предъявимъ Рашетникову требованія характерности (чего эстетика нисколько не чуждается), то наша оцінка выйдеть совствить другая, и Решетникову придется отвести едва ли не одно изъ первыхъ мъстъ въ нашей литературъ. На самомъ дълъ до него никто такъ глубоко не заглядывалъ въ народный быть и не рисоваль его такими ръзкими, простыми и небрежными на первый взглядъ штрихами, какъ онъ. Главное, что простыми и резкими, которые вотъ сразу всей картиеть или всей фигур'в лица придають совсемь особенное, только ей свойственное выраженіе, а безъ нихъ это было бы что-то дюжинное, шаблонное. И. благодаря этимъ-то чертамъ и черточкамъ, вы сразу видите, какой эпохъ, какому мъсту, какому человъку принадлежить такая-то страница. Въдь ясно, напр., что беллетристь 40-хъ годовъ, т. е. беллетристь старобарской культуры, ни за что не посмълъ бы изобразить глубину любви Сысойки въ Апроськъ тъмъ, что Сысойка у ней мертвой хочеть отвусить носъ или что начинаетъ драться съ ея отцомъ, потому что тотъ тороинтся законать ее. Тоть же беллетристь ни въ какомъ бы случать не ръшился бы втиснуть целую жизненную драму въ две строчки. А Решетниковъ это делаль постоянно. Изъ любой почти страницы Решетникова опытный беллетристь легко можеть составить пов'всть. Но Решетниковъ точно торопился и разбрасываль пригоршиями свои драгопънныя наблюденія, инсколько не заботясь о томъ, чтобы облегчить для читателя трудъ ихъ пониманія. Онъ какъ будто говорить угрюмо: "сами разберетесь, коли хотите", и какъ опять въ этомъ онъ (какъ и лицомъ своимъ) дохожъ на свою суровую стверную природу, которая такъ скупа на все, привлекающее къ себъ человъка, ласкающее, и которая требуеть отъ него труда, терпінія, выносливости, чтобы открыть предъ нимъ крошечную частичку своихъ богатствъ. Надо долго пробродить по тайгъ, пробираясь сквозь частый переплеть миріадъ вътвей и деревьевь, сидящихъ другь оть друга въ такомъ же разстоянія, какъ пальцы на рукт, чтобы оцтанть ея своеобразную прелесть; надо въ теченіе нъсколькихъ дней, а еще лучше недъль "прилежаться" къ своей юрть, чтобы понять красоту безконечной тундры. Такъ и сочиненія Рішетникова (особенно самыя цінныя: "Глумовы" и "Гдв лучше?") требують значительнаго предварительнаго искуса, чтобы раскрыть свою историческую идею, составляющую ихъ душу.

А въ нихъ-въ этихъ сочиненіяхъ-не только захваченъ, по даже

выраженъ одинъ изъ самыхъ важныхъ моментовъ нашего недавняго прошлаго. Вск они относятся какъ разъ или къ кануну освобожденія, или къ первымъ днямъ послѣ него, т. е. къ 59-62 годамъ прошлаго въка. Прошлое, т. е. крепостное право собственно, захвачено Решетниковымъ только описательно. Его интересуеть самый моменть, когда засидъвшаяся въ одной изъ самыхъ скудныхъ и унылыхъ окраинъ Русь сиялась съ своего мъста и пошла бродить, куда глаза глядять, въ поискахъ за такимп мъстами, "гдъ лучше", гдъ рабочему человъку можно жить. Очевидно. ей предстояло долгое и трудное странствование. Съ чемъ же, съ какимп данными, какими селами и запасами вышла она въ дорогу, какая сила стихійно и неотразимо толкала ее впередъ шагь за шагомъ, довела подлиповцевъ паъ Чердынскаго края до Нижняго, потомъ до Москвы и до Петербурга, что нашли они здъсь? Передъ вами, конечно, люди, выращенные предыдущей эпохой, когда крепостная Русь неподвижно сидела на месте, люди почти что дикіе, но въ нихъ во всёхъ есть пован черта какой-то странной, наивной предпринячивости, которая, очевидно, явилась въ нихъ подъ живительнымъ вліяніемъ освобожденія. Имъ опротив'єло, очертело прежнее м'єсто, где наводили человека работой и наказаніями, где всякая мелкая сошка въ родъ приказчика играла роль самодержца (одинъ изъ приказчиковъ Решетникова до такой степени проникся своимъ самодержавіемъ, что нивль даже привычку въ день своихъ пиенинъ облегчать участь всёхъ пострадавшихъ по его претензіямъ!), гдф завтрашній день обфщаль лишь точное повтореніе сквернаго сегодия, гдё все, созданное годами труда, умомъ или талантомъ, пропадало, какъ отъ пожара, отъ малейшей прихоти властителей. Но вотъ двери тюрьмы раскрылись, и огромныя толны заключенных, грязных п оборванных, пріученных лишь къ безропотному сипренію, какъ бы даже срыкшихся уже со стінами острога и різметками камеръ, - вышли въ безпорядкъ, толкая и давя другъ друга, на вольный Божій свыть и сейчась же разлились вы разныя стороны, какъ вода въ половодье. Все было ново для нихъ, все поражало своей необычайностью, и они, растерянные отъ массы нахлынувшихъ впечатленій, брели шагъ за шагомъ, все впередъ и впередъ, подталкиваемые смутнымъ и радостнымъ сознаніемъ, что руки и ноги у нихъ безъ кандаловъ. Эта-то первая иннута воли, когда человъкъ пошатывался, какъ пьяный, отъ непривычнаго свъжаго воздуха, зная, что ни право, ни лъво, ни впередъ ему не заказаны, эта-то первая волна новой бродячей Руси, вдругъ переполнившая города, дороги, всякія вяземскія лавры и катакомбы, -- удивительно изображены Ръшетниковымъ. Точно сцены изъ великаго переселенія народовъ, безъ битвъ на Калкахъ, или Каталаунскихъ поляхъ, но, пожалуй, съ неменьшимъ числомъ жертвъ, не вынесшихъ тяжести пути и умершихъ гдъ-то въ придорожной канавъ, какъ Пила и Сысойка, пли дъйствительно добравшіеся до Рима,—слъдують одна за другой съ поражающей отчетливостью. Шли, куда глаза глядять, эти люди, способные заблудиться между трехъ сосенъ, или потому, что дома за ними не оставалось ничего, кромъ голода и побоевъ, потому что впередъ манилъ ихъ, точно огненный столиъ въ пустынъ, все дальше и дальше уходившій отъ нихъ кусокъ хлъба. И вотъ совсьмъ не геросвъ, не личностей надо пскать у Ръшетникова, а надо понять въ его изображеніи жизнь этихъ тысячъ чсловъческихъ песчинокъ, разнесенныхъ въ разныя стороны вътромъ и волнами, вызванными въ русской жизни великить освобожденіемъ. Здъсь непосъдливая психологія самого Ръшетникова какъ-то сливается съ психологіей толиы.

Прямо страшенъ по своей духовной нищеть исходный пункть движенія—подлиповщина и глумовщина.

Подлиповщина- царство голода, инщеты, безпросвътнаго мрака, отъ колыбели до могилы повторяющее одно унылое "ись хоцу" (хочу тсть). Это "ись ходу"-главный определитель жизни подлиновцевь, и подъ его вліяніемъ они то и діло озвітревають, равнодушно смотрять на страданія и смерть близких и даже радуются их смерти, особенно смерти дътей. Впрочемъ, все хорошее, что въ нихъ есть, Ръшетниковъ отмъчаеть особенно старательно, но это-то "хорошее" особенно ярко оттеняеть тоть ужасъ нищеты, которую вынесла подлиповщина, и которую она носить въ себъ. И эта подлиповщина---этотъ предълъ паденія хронпчески голодающихъ людей-потянулась бродить, подчиняясь все тому же стихійному ожпвляющему всякими надеждами, призыву воли. Можно себъ представить, сколько мукъ и горя вынесли они на пути. Даже богатырь Пила, который собственноручно убиль 8 медвъдей, --- и тотъ не выдержалъ. Умеръ и Сысойка, --- много народу умерло подъ шумъ и грохотъ самой по себъ идущей жизни, не обратившей, разумъется, ни мальйшаго вниманія на эти жертвы. Но дело все же было сделано: подлиновщина тронулась съ места, а детп Пилы уже понабрались "кочсгарной" культуры, завели себъ сундучекь и зеркальце и даже способны задать вопросъ: "А пошто же не всв богаты?"

Тронулась и глумовщина. Глумовщина, впрочемъ, сила болье развитая, чъмъ подлиновщина. Это—заводскіе крестьяне пріуральской области. Изъподъ гиста крыпостного бича она все же вышла съ извыстнымъ запасомъ знаній (такъ какъ большинство изъ нихъ мастеровые), хитрости и лукавства, выработавшихся въ ежечастной борьбь съ начальствомъ,—даже коекакими мыслями въ родъ той, напр., что въ жизни многаго можно добиться трудомъ и ловкостью. Но въ гражданскомъ отношеніи и глумов-

ская толпа была такая же нев'ежественная и безпомощная, какъ и подлиповская.

Ноловодье, первая волна бродячей новой Руси, говорю я, захватило даже Пилу съ Сысойкой. Но самые тяжелые и неприспособленные элементы быстро осван, кто гдв и какъ; другіе докатились до Нижняго п даже Питера. Описанію похожденій этих последних посвящень лучній, по-носму, романъ Решетникова-"Где жучше?" Какъ эпопея жизни бродячихъ мастеровыхъ и чернорабочихъ, именно эпонея отъ перваго шага до посл'ядияго-это своего рода образдовое произведение искусства. У Ръшетникова есть уже и поэтическій, и философскій синтезь, попытка обобщать жизненныя явленія во всей ихъ массь и разнообразін. Гдь же лучше простому трудящемуся человъку? -- спрашиваеть онъ себя, и его герон то и дело возвращаются къ этому вопросу, отвечая на-двое, что "богатому вездъ корошо, а бъдному вездъ плохо", или "что человъкъ созданъ для того, чтобы самому себъ добывать пропитаніе", а такъ какъ человеку нужно для этого немного, то онъ быль бы вполне доволень п спокоенъ, если бы его не обижали тв, которымъ хочется жить въ свое удовольствіе. Философія немудреная и нев'трная, конечно, но вполи'ь подъ стать людямъ "переой волны".

Мит нечего, конечно, разъяснять читателю всю важность историческаго момента, изображеннаго Решетниковымъ. Этотъ моментъ начало нашей собственной жизни и насъ самихъ, конечно, въ нашихъ общественныхъ отношенияхъ. Новая Русь вступила на сцену и разбрелась въ разныя стороны искать своего счастья. Бредетъ она и теперь и въ Приморскую область, и въ Сибирскую тайгу, и Приалтайския степи, и на Кавказъ, и въ Закавказъе, даже въ Америку... Дай же ей Богъ найти того, чего ищетъ она. Мит же лично надо еще на минуту вернуться къ Ръшетникову.

То, что онъ былъ разночинецъ, играло, разумъется, большую роль какъ въ обстоятельствахъ его личной жизни, такъ и въ складъ его творчества, больше даже въ исторіи нашей литературы.

"Дореформенная литература наша была порождена не интересами, а пдеалами, — говорить г. Протопоповъ въ своей стать о Решетниковъ. — Благородные, гуманные, совъстливые люди возставали противъ исторической несправедливости, которой они въ то же время были лично много обязаны и своимъ блестящимъ образованіемъ, и своею независимостью, и всымъ изяществомъ своего комфортабельнаго существованія. Добрые, сострадательные, чуткіе люди проливали слезы надъ чужой бъдой, надъ горемъ, которое — язвительная пронія судьбы — собственно имъ, лично имъ, приносило или выгоду въ родъ "легкаго оброка" и "ярема барщины ста-

рвиной", или цвёты удовольствія въ родё "младого и свёжаго поцёлуя смуглянки черноокой". Действіе этого разлада, этого отсутствія гармоніп между идеалами и интересами не могло не сказаться умёряющимъ образомъ и на силё протеста этихъ людей, не могло не отразиться невыгодно и на правдё ихъ картинъ и образовъ. "Не съ ними плачешь, а о инхъ",—говорилъ Константинъ Аксаковъ по адресу Некрасова, оплакивающаго въ своихъ стихахъ "сёятеля и хранителя" русской земли. Этотъ упрекъ—если это упрекъ — долженъ быть отнесенъ не къ Некрасову только, а ко всей господской фракціи нашей литературы, ко всёмъ нашимъ первостепеннымъ художественнымъ талантамъ, защищавшимъ народъ не на почвё его практическихъ интересовъ, а на почвё своихъ теоретическихъ идеаловъ".

"Но воть "порвалася цёпь великая", народъ призванъ къ а ктивному участію въ историческомъ процессё; повёнло весеннимъ воздухомъ, и въ литературё появляются новыя птицы, и слышатся новыя пёсни. Въ числё самыхъ первыхъ ласточекъ, не дёлающихъ, но знаменующихъ весну, былъ и нашъ скромный, неувёренный, невзрачный дедоръ Михайловичъ Рёшетниковъ".

Все это представляется мнв совершенно справедливымъ. О Решетипков'т на самомъ д'еле никакъ нельзя сказать, что онъ только о никъ плачеть; нъть-онъ плакалъ всегда съ ними. Это даже не значить, что онъ умиве, честиве, благородиве и прочее всехъ раньше писавшихъ о народъ: онъ просто ближе къ нему, просто лучие понимаетъ его, самъ знаеть, что такое голодь, безработица, неожиданное и грубое насиліе со стороны какой-нибудь мелкой сошки. Въдь согласитесь сами, что ни Тургеневъ, ни Григоровичъ, ни Щедринъ не могли постигнуть съ полной очевидностью, что значить быть человекомъ, надъ которымъ начальниками являются решительно вст окружающіе. А Решетинковъ это понималь. Духъ, помыслы, интересы и идеалы народа были его собственными. Оттогото онъ нисколько не бонтся говорить о немъ правды, какъ бы неприглядна она ни была; онъ преврасно знаеть, что создало эту неприглядную правду (голодъ, нев'тжество, крипостная зависимость и т. д.), знаеть и то, что ни подлиповцы, ни глумовцы въ ней не вниоваты, что они не виноваты ни въ чемъ, что ихъ надо учить, чтобы они хорошо работали н т. д. Оттого онъ такъ практиченъ и ищеть прежде всего "дъла", оттого-то идеалы его на первый взглядь могуть показаться такими скудными, какъ бы исчерпывающимися заботами о кускъ длъба. Но въдь это дишь первая ступень, и пока она-то не обезпечена за человъкомъ, пока въ достиженін ея ему мішають на каждомъ шагу, то чемъ, спрашивается, онь станеть думать? Оттого-то онъ одиниъ изъ первыхъ действительно серьезно отделался отъ всякаго жалостливаго и сантиментальнаго отношенія къ

народу. Онъ любить мужика, лучше всякаго другого знаеть, что мужикъ—
человъкъ, но знаетъ, что этого мужика можно довести и до дикаго состояніа, и ему не страшно показывать его въ такомъ видъ. Напротивъ
того, это дикое состояніе служить для него лучшимъ доказательствомъ
всей мишурности, всей лживости культуры, такъ горделиво превозносящей
себя. "Эхъ, ты, цивилизація парикмахерская!"—сурово восклицалъ онъ,
потому что фундаменть этой цивилизаціи—мужикъ, народъ только страдаетъ
и только терпитъ, потому что, пока омъ не будетъ обезпеченъ, уважаемъ
и возведенъ на высоту, не будеть ничего.

Поэты 60-хъ годовъ

Н. А. Некрасовъ. (1821—1877).

Я призванъ былъ воспъть твои страданья, Терпъньемъ изумляющій народъ! И бросить хоть единый лучъ сознанья На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ.—

говорить о себѣ Некрасовъ. Это гордыя, сильныя слова гордаго и сильнаго человѣка. Но это не претензія. Некрасовъ сдѣлалъ то, о чемъ онъ говорить; онъ дѣйствительно воспѣлъ страданія "изумляющаго терпѣніемъ народа", потому что онъ умѣлъ плакать его слезами и болѣть его болью. Онъ пѣвецъ горя народнаго, но и странной, живучей вѣры народа въ себя, его неистребимой бодрости, его чудной способности своимъ юморомъ, своей примитивной удалью становиться выше окружающаго и какимъ-то смутнымъ сознаніемъ, что какъ ни соблазнительны блага міра, какъ ни тянуть къ себѣ богатство, власть, почеть—, человѣкъ все же выше этого".

"Какой же всточникъ этой любви Некрасова къ народу?—спрашиваетъ С. А. Андреевскій.—Намъ кажется, здісь вліяли два фактора: во-первыхъ, эпоха общей влюбденности въ крестьянскую массу, во-вторыхъ, событія изъ личной жизни поэта".

"Проницательный Некрасовъ не заносился въ облака, но общее тяготъне къ народу, съ которымъ онъ бокъ-о-бокъ выстрадалъ голодъ, было ему на руку. Изъ живни этого народа онъ сталъ брать темы для своихъ потрясающихъ картинъ. Онъ увидълъ свой успъхъ; эта работа его увлекла. По натуръ сдержанный и крутой, почти не отзывчивый на чувство прекраснаго, человъкъ сильный и глубокій, но изуродованный и оторченный жизнью, Некрасовъ нуждался въ отмщеніи за обиды судьбы, и онъ полюбилъ мстить самодовольнымъ за несчастныхъ. Граница между искреннимъ и искусственнымъ у него потерялась. Часто онъ любилъ только "мечту свою", часто обливался слезами надъ "вымысломъ". Но онъ чувствовалъ себя хозяиномъ скорбящаго народнаго

царства, этихъ необозримо богатыхъ владъній для извлеченія изъ нихъ въ каждую минуту чего-нибудь ужасающаго для "сильныхъ міра". "Народъ безмолвствовалъ", но это только придавало еще болье трагическій оттънокъ пъснямъ Некрасова. Опъ увлекался своею миссіею, облагораживался въ ней, возвышался до голоса истиннаго гражданина, видътъ въ ней свою славу, свое искупленіе за какой-то гръхъ, на который содержатся горькіе, сдержанные намеки въ его поэзіи. Въ теченіе многихъ лътъ на глазахъ цълой Россіи развертывался этотъ романъ Некрасова съ народомъ. Поэзія была уже не только въ томъ, что онъ писалъ, но въ сямой его роли, въ этой исторіи нераздъльной, бользненной любви Некрасова къ народу. Такъ что, когда онъ умеръ, то его, издавна уже избалованнаго богатствомъ, несмътная толпа хоронила со слезами, какъ страдальца за народъ и убогихъ".

По сложности и разносторонности своей духовной организаціи, Некрасовъ, въ памить его великаго и вліятельнаго имени, требуеть для себя подробнъйшей, любовно и художественно составленной біографіи, для воторой теперь нътъ матеріала. Ограничусь немногими внъшними фактами, чтобы не послъдовать примъру тъхъ, и даже очень почтенныхъ людей, кто изъ неяснаго и недоговореннаго, а иногда просто неизвъстнаго заключаеть къ глубокимъ нравственнымъ недочетамъ Некрасова.

Некрасовъ происходилъ изъ объднъвшаго дворянскаго рода. Нигдъ не кончивъ, какъ слъдуетъ, курса, и не составивъ себъ никакой оффиціальной карьеры—онъ всю свою жизнь прожилъ по паспорту недоросля изъ дворянъ. Дътство сохранило ему главное святое воспоминание его жизни—любовь къ матери, обожание ея и это навсегда. Потомъ наступила юностъ полная нищеты и лишений. Въдный, оброшенный, одинокий явился онъ въ столицу, но не растерялся, онъ далъ себъ слово завоевать этотъ гордый шумный городъ и исполнилъ это слово. Нъскольно лътъ пришлось жить буквально впроголодь. Вотъ его уняверситетския воспоминания (1839—1841).

"...Ровно три года, — говорилъ Некрасовъ, — я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Приходилось ъсть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того. что я отправлялся въ одинъ ресторанъ на Морской, гдъ дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросилъ себъ. Возьмешь бывало для виду газету, а самъ пододвинешь себъ тарелку съ хлъбомъ и тыв."...

Некрасовъ на себѣ вынесъ нищету и оброшенность трущобной жизни кто смѣетъ сомнѣваться въ его искренности, въ его глубокомъ и, конечно, сочувственномъ пониманіи души нищаго и оброшеннаго человѣка. Но такъ какъ я лично совсѣмъ не поклонникъ нищеты и ея будто бы воспитатель-

наго значенія, то думаю, что кое-что изъ вынесенной грязи на душ'в Не-красова осталось.

Какъ онъ выбивался изъ трущобы, какъ завязалъ отношенія къ литературѣ, какъ вошелъ въ кружокъ Бѣлинскаго, какъ, наконецъ, въ 1847 г. очутился во главѣ "Современника", —разсказывать долго, и знаемъ мы обо всемъ этомъ лишь урывками. Долго былъ онъ просто литературнымъ поденщикомъ, тѣмъ болѣе, что его "поэтическая" попытка—изданіс сборника своихъ нервыхъ, Богъ знаетъ гдѣ и какъ написанныхъ, стихотвореній "Мечты и звуки" — кончилась полной неудачей. Очень нелегки были и первые 8 лѣтъ изданія "Современника". Приходилось перебиваться, платить долги, писать самому по нѣскольку печатныхъ листовъ въ мѣсяцъ—даже романы (напр. "Три страны свѣта") и только въ 1855—1856 году его журналъ сталъ на ноги, и во всемъ величін явилась передъ обществомъ его муза "мести и печали". Послѣ прекращенія "Современника" въ 1866 году, онъ вмѣстѣ съ Елисѣевымъ, а потомъ и Щедринымъ всталъ во главѣ "Отечественныхъ Записокъ" п создалъ нашъ лучшій передовой журналъ. Въ 1877 г. онъ умеръ.

Трудно представить себь поэта, писателя, журналиста, который такъ близко, такъ вплотную подходилъ бы къ своей эпохъ, какъ Некрасовъ. Онъ въ своихъ стихахъ раскрылъ всю ея тоску, всь ея порывы, всь ея страданія и неудовлетворенность, ея смълыя надежды и ея глубокую, терзающую близость къ обездоленному. Конечно—

...бывало, Когда грозилъ неумолимый рокъ, У лиры звукъ невърпый исторгала Моя рука...—

но эти невърные звуки ръдки и случайны. Върные же звуки Некрасовъ находилъ всегда, когда былъ въ своей огромной и важной области – въ отношеніяхъ передовой интеллигенціи 60-хъ годовъ къ мужику, къ народу. Свизующими звеньями этихъ двухъ общественныхъ слоевъ въ его поэзіи является: 1) сознаніе своей дворянско-пителлигентной слабости и оторванности отъ народа и 2) жалость къ обездоленному.

Совъсть, тоска переплетались въ его душъ съ чувствами мести и раздраженія. Въ какомъ-то странномъ сочетаніи любви и ненависти, элобы и умиленія онъ во склицаль:

Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ, Омывающихъ руки въ крови— Отведи меня въ станъ погибающихъ За великое дъло любви—

но въ тотъ станъ онъ пойти не могъ, хотя и стремился туда въ лучшія минуты своей жизни.

Его поэзія впервые раскрываеть намъ всю глубнну психологін кающагося дворяннна—типа, особенно распространняшагося въ 70-ые годы, т. е. человъка, который прежде всего жиль (въ лучшіе моменты, конечно), тревогами и муками своей отравленной совъсти за свое общественное положеніс. Это мотивъ опредъленный и властный, способный охватить всего человъка. Совъсть ве знала покоя. Ее тревожили картины прошлаго, собственное безсиліе ен обладателя въ настоящемъ и, въроятно, ожиданіе Немезиды въ будущемъ. Прошлое—это гръхи предвовъ, совершенные ими въ привольныя времена кръпостного права; прошлое—это собственная культурность, пріобрътенная за чужой счеть, за чужой—опять таки кръпостной—трудъ. Настоящее—это сознаніе, что отвътственность передъ народомъ, долгъ народу—

Чьи работаютъ грубыя руки, Предоставивъ почтительно намъ Погружаться въ искусство, науки, Предаваться мечтамъ и страстямъ—

огроменъ. Расплатиться надо, но есть ли на это силы у того, кому суждены благіе порывы, но кому ничего не дано совершить? Отсюда терзанія и муки, потому что—выхода не было.

На эту тему Некрасовъ написалъ одну изъ лучшихъ своихъ вещей "Рыцарь на часъ". Это цѣлая поэма. Понимая буквально—она обращена къ матери. Но образъ матери нарисованъ въ ней такими общими штрихами, что онъ безъ всякаго труда со стороны читателя, безъ всякаго его насилія надъ собой, легко и свободно расширяется до образа русской женщим ("все выносящаго русскаго племени— многострадальная мать", какъ любилъ ее называть Некрасовъ), до образа русскаго народа вообще, пзумляющаго своимъ долготеривніемъ. Что же этотъ кающійся дворянниъ несетъ народу?

Я кручину мою многольтнюю На родимую грудь изолью, Я тебь мою пъсню послъднюю, Мою горькую пъсню спою.

Это стонъ безсилія. Народъ, русскую женщину, мать ему нечемъ утвинть и съ самобичующей откровенностью, съ жестокостью погибающаго онъ предупреждаеть:

О, прости! то не пъснь утъшенія, Я заставлю страдать тебя вновь.—

Единственное его оправдаціе это его собственная гибель.

Но я гибну—и ради спасенія Я твою призываю любовь!..

Какъ видитъ читатель, это очень сложное отношеніе къ народу. Тутъ и голосъ отравленной совъсти, и стыдъ, и муки за свое безсиліе, и жалость къ обездоленному, и какой-то наивный эгоизмъ, достойный извиненія лишь за глубину выстраданнаго. Но чъмъ сложнъе психологическій мотивъ, тъмъ роскошнъе поэзія большого таланта, и роскошной была она у Некрасова. Онъ нашъ первый, и, въроятно, самый крупный народникъ, потому что народничество движеніе глубоко-этическое, безмърно совъстливое. И исходя изъ основной посылки расплаты съ народомъ, оно требовало отъчеловъка героизмъ, героическихъ поступковъ, когда же героизмъ оказывался не по плечу, оно давало терзанія.

Нечего и говорить, что народъ не веселилъ Некрасова, да и не за весельемъ шелъ онъ къ твиъ,

> Кто идеть по житейской дорогь Въ безразсвътной глубокой ночи Безъ понятья, о правдъ, о Богъ, Какъ въ подземной тюрьмъ безъ свъчи...

По собственному признанію поэта-

Но и крестьяне съ унылыми лицами Не услаждають очей. Ихъ нищета, ихъ терпънье безмърное Только досаду родить...

И какая, дъйствительно, услада можеть исходить отъ толиы, собравшейся возлъ параднаго подъъзда? Некрасивы на взглядъ, и мало надежды внушаеть это прониженное смиреніе...

И пошли они солнцемъ палимы... Разводя безнадежно руками, И покуда я видъть ихъ могъ, Съ непокрытыми шли головами...

Возьмите картины Некрасова изъ крестьянскаго быта и что найдете вы тамъ? Описаніе нищеты, голода и холода, бользней, мукъ отъ зноя въ страдную пору, трудностей этапнаго порехода, удушливыхъ потемокъ каторжныхъ норъ, вреднаго воздуха фабрики, невыносимой тяготы бурлацкаго труда, а главное этого гнетущаго душу безропотнаго синренія безъ конца и краю, которое заставляеть спрашивать въ тяжеломъ раздумьи:

> Ты проснешься ль, исполненный силъ, Иль судебъ повинуясь закону,

Все что могъ, ты уже совершилъ, Создалъ пѣсню, подобную стону, И духовно навъки почилъ?..

До такого отчання доходиль Некрасовь въ своихъ сомивніяхъ, и характерно, что здісь, какъ всегда, спасаль его образь женщины, приниженный и страдальческій, но чудно врасивый въ ореолів своего страданія. Онъ изображаль безсильныхъ героевъ современности въ "Рыцарів на часъ", въ "Сашть", онъ бросаль имъ въ лицо жестокіе стихи:

Покорись—о ничтожное племя, Неизбъжной и горькой судьбъ! Захватило насъ трудное время, Неготовыми къ трудной борьбъ: Вы еще не въ могилъ, вы живы, Но для дъла вы мертвы давно. Суждены вамъ благіе порывы, Но свершить ничего не дано...

и въ то же время рисовалъ свою Сашу, портреты Трубецкой и Волконской или величавый образъ крестьянки Дарыи ("Морозъ Красный носъ")

Есть женщины въ русскихъ селеньяхъ, Съ спокойною важностью лицъ, Съ красивой силой въ движеньяхъ, Съ походкой, со взглядомъ царицъ— Ихъ развъ слъпой не замътитъ, А зрячій о нихъ говоритъ: "Пройдетъ—словно солнце освътитъ! Посмотритъ—рублемъ подаритъ".

Эта Дарья послъ смерти мужа береть на себя всю мужскую работу и справляется съ ней стоически и самоотверженно, чудно, красиво справляется съ ней...

И вотъ этими-то своими героическими образами русской женщины, этой своей жалостью къ обездоленному—этимъ сознаніемъ великой своей отв'єтственности передъ народомъ и страданіемъ, Некрасовъ и подходилъ вплотную къ своей эпохѣ—и сливался совстиъ уже съ наступавшей эпохой 70-хъ годовъ.

"Мић борьба мѣшаеть быть поэтомъ"—говорить о себѣ Некрасовъ и онъ правъ, но лишь въ томъ случаѣ, если слово поэтъ понимать въ его обычномъ, даже шаблонномъ смыслѣ. "Красота и женская любовь—эти вѣчные родники поэзін,—почти не пробуждали его вдохновенія". Его вдохновеніе пробуждалось отъ другихъ родниковъ—жалости, печали и мести. Поэтому не безъ упрека даже говорить Андреевскій по адресу Некрасова:

"не одна борьба (мъшала Некрасову быть ноэтомъ), но и время, въ которое онъ дъйствовалъ, и требованія читателей, и вліяніе руководящихъ критпковъ и, конечно, больше всего, собственная натура Некрасова, самая положительная, дъльная, земная, какую только можно себъ представить. Пусть онъ быль энергичнымъ, искреннимъ, даже пламеннымъ дъятелемъ слова—все-таки грунтъ его природы былъ по преимуществу практическій, вкусы—трезвые и матеріальные".

Да, это быль идеалисть земли въ чистоит его видь. Вивсть со всеми своими современниками онъ считалъ счастье—земное конкретное счастье, увънчаниемъ здания человъческихъ усилий и стремлений. Не даромъ и отъ глубины натуры своей писалъ онъ въ 1874 г.:

Я видёлъ красный день: въ Россіи нётъ раба! И слезы сладкія я пролилъ въ умиленьи... "Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьи" Шепнула Муза мив: "Пора идти впередъ: Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?.."

И посмотрите въ то же время, какія часто напвныя, милыя формы принимаеть его идея о народномъ счастьй! Когда же, спрашиваеть онъ, станеть "сносивй престьянская страда?" Когда побъжить по лугу "играя и свистя съ отцовскимъ завтракомъ довольное дитя?" "Цъли земныя, насущныя всегда оставались наиболье близкими сердцу Непрасова" и тотъ героизмъ, требованіе котораго inplicite заключается въ его поэзін, разрышался въ человыческомъ довольствы и счастьъ.

- Человъкъ 60-хъ годовъ виденъ и въ окончательной его характеристикъ: "Ръчь его была сильная, проповъдь горячая и грозная,—но въ основъ все-таки сидълъ человъкъ дъла, рачитель объ общественныхъ нуждахъ, красноръчивый гигіенисть или пламенный соціальный депутатъ". Но эта трезвая основа міросозерцанія скрашивалась требовательнымъ ндеализмомъ земли...

Совершенно естественно, что въ народолюбивое время 60-хъ—70-хъ годовъ истиннымъ успёхомъ и вліяніемъ могъ пользоваться только Некрасовъ или тѣ, кто ближе всего подходилъ къ его настроенію, напр., Т. Г. Шевченко или И. С. Никитинъ. Другія крупныя поэтическія дарованія, какъ, напр., А. А. Фетъ, А. Н. Майковъ, Ө. И. Тютчевъ, Л. А. Мей, Я. П. Полонскій, оставались, въ сущности говоря, въ тѣни, лишь изрѣдка обращая на себя благосклонное вниманіе публики, чаще же возбуждая насмѣшки. Стиховъ, вообще говоря, не долюбливали: ихъ считали какъ бы роскошью, барской за-

бавой и охотно прощали ихъ одному Некрасову. Господствующее настроение эпохи было, словомъ, напряженно вытянуто въ одну линию.

Общія заключительныя замізчанія.

Что же дали намъ 60-ые годы?—И какой періодъ русской жизни можно назвать этимъ именемъ?

На последній вопрось я могу ответить, если не ошновюєь, очень определительно: 60-ме годы продолжались отъ 19-го февраля 1855 (если уже нужна безусловная точность) до 4-го апреля 1866 г., т. е. слишкомъ 11 леть. 19 февраля 1855 г. вступилъ на престолъ Александръ II-ой, и сошла въ могилу система Николая I-го; Въ 66-омъ году начались покушенія, которыя дали невозразниое основаніе для робкой до того времени правительственной реакцін, — а эта, все усиливаясь, разростаясь, пдя въ ширь и глубь, породила интеллигентное движеніе 70-хъ годовъ, нуждавшееся уже въ иныхъ нравственныхъ, философско-историческихъ принципахъ, чемъ движеніе ихъ предшественниковъ. Поворотнымъ пунктомъ исторін 60-хъ годовъ я считаю 19-ое февраля 1861 года, т. е. день изданія манифеста о волъ. Я считаю этотъ день поворотнымъ пунктомъ оттого, что единодушная до него передовая интеллигенція, сходившаяся на необходимости освобожденія, раздѣлилась на группы и фракцін: кто пожелаль здѣсь и остановиться, кто пошелъ направо, а кто налѣво.

Труднъе отвътить на первый изъ поставленныхъ вопросовъ. Однако сдълать это необходимо.

Пестидесятые годы называють обыкновенно эпохой великих реформъ. Это названіе очень хорошо, но далеко не покрываеть всего движенія эпохи. Но если бы діло ограничилось только реформами—и то 60-ые годы заслуживають полнаго уваженія: какъ граждане, мы живемъ только ими; если что ділаєть насъ культурной націей, а не только сосідкой Турців, Персіи и Китая—то опять та же эпоха. Въ ней при первомъ же взглядів можно различить нівкоторыя характерныя особенности. Во-первыхъ—стремленіе отділаться отъ наслідства барской культуры, стремленіе настолько різкое и часто одностороннее, что оно возстановило противъ себя и даже озлобило всіхъ людей 40-ыхъ годовъ. Надъ этимъ дізломъ—и, конечно, не безъ злобы и раздраженія—работаль разночинецъ, работали и сами дворяне иногда съ юношеской восторженностью, какъ Писаревъ, иногда въ скорбномъ раздумьи, съ проклятіемъ собственному своему безсилію, какъ Некрасовъ. Всіз основы патріархальнаго барскаго строя были объявлены упраздненными, такъ какъ реалисть работникъ 60-ыхъ годовъ не чувство-

валь въ нихъ никакой надобности. Славянофилы были прямо не у дълъ п вызывали однъ насмъшки. Вдко смъялись надъ ними Добролюбовъ и Писаревъ; Чернышевскій не видълъ въ ихъ ученіи ничего цъннаго, кромъ признанія общины. Патріархальность и оффиціальная народность — вотъ истинныя мишени журнальной канонады 60-ыхъ годовъ. Вмъсто этого (во-вторыхъ) люди желали автономіи общественной жизни отъ бюро-кратической опеки и автономіи личности, которая была признана способной руководствоваться собственнымъ разумомъ, собственной критической мыслью, воспитанной и дисциплинированной пирокимъ естественно-научнымъ образованіемъ. По этому поводу позволю себъ небольшую оговорку.

Иные во всей эпох'в 60-ыхъ годовъ, за вычетомъ д'вятельности правительства, видятъ какое-то бъснованіе мысли, какую-то разнузданность чувства, почему и называють ее эпохой бъснованія и разнузданности. Насчеть бъснованія мысли литература, какъ мы вид'вли, никакихъ указаній не даеть, боль'ве, повидимому, обоснованъ упрекъ въ разнузданности чувствъ. Въ подтвержденіе указывають обыкновенно на 1) "Что д'влать?" Чернышевскаго, 2) проповъдь Писарева и 3) появленіе нигилистовъ.

Въ "Что делать?" находять проповедь свободной любви. Хотя эта проповедь и ье занимаеть перваго места—она есть. Мужчина и женщина могуть жить вместе лишь въ томъ случае, если любять другь друга. Разълюбовь по какимъ бы то ни было причинамъ прошла—самое лучшее для нихъ разстаться. Неть ничего постыднаго въ томъ, если женщина отъ нелюбимаго человека уйдеть къ человеку любимому. Вотъ что говорить авторъ исторіи Веры Павловиы. Но, посудите сами, какая же туть разнузданность? Где, въ чемъ? Ведь у Чернышевскаго все этп сближенія и разставанія "ограничены" любовью и при томъ самой горячей и искренней. Никакого намека на "безпорядочное половое сожительство". И потомъ—это самое главное—не надо забывать, что ни Лопуховъ, ни Кирсановъ, ни Вера Павловна—совсёмъ не идеаль для Чернышевскаго.

Проповъдь Писарева называють обыкновенно проповъдью сенсуализме или, просто говоря, проповъдью пріятных ощущеній. Ничто не можеть быть смѣшнѣе такого названія. На знамени Писарева было написано: любовь, знаніе, трудъ,—насчеть же ощущеній ровно ничего не сказано. Писаревъ котѣлъ въ сущности одного,—чтобы человъкъ, освободившись отъ всякаго рода предразсудковъ, весь отдался истинному своему, опять-таки "общественному", призванію, развивалъ его до совершенства, просвъщалъ его наукой и приносилъ обществу возможно большую пользу. Онъ котѣлъ, конечно, чтобы трудъ человъка былъ пріятнымъ. Но, скажите, неужели трудъ человъка долженъ быть непріятнымъ и даже проклятіемъ его жизни? Почему? Зачъмъ? Какая кому отсюда выгода? Пріятный трудъ, трудъ

творческій, работа по призванію, а не по принужденію, не изъ страда голодной смерти, во всякомъ случав продуктивнее, но это не значить, что она работа мегкая и обращается яншь въ усладительное времяпрепровожденіе. Напомню еще разъ одинъ небольшой отрывокъ изъ письма Писарева къ матери; быть можеть, онъ хорошо объяснить читателю разнузданность этого столна сенсуализма и ингилизма: "Теперь мив представляется часто, — пишеть Писаревъ, — что мою статью читаеть гдв-инбудь въ глуши очень молодой человъкъ, который еще меньше моего жилъ на свътъ и очень мало знаеть, а между тъмъ желалъ бы что-инбудь узнать. И воть, когда мив представляется такой читатель, то мною овладъваеть самое горячее желаніе сдълать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дъльнымъ занятіямъ". Хороша распущенность и разнузданность, особенно если всномнить, что эти строки написаны на 4-й или 5-й годъ заключенія въ крѣпости!

Не разнузданность, а напротивъ того, "самоограничене" являлось характернымъ элеменгомъ проповеди главарей литературнаго движенія. Добролюбовъ требовалъ его въ форме подвижничества, Писаревъ—работы. Подвижническій характеръ проповеди Добролюбова отмечаютъ даже... постоянные сотрудники "Русскаго Вестника" последней его формаціи. "Добролюбовъ,—говоритъ, напр., г. К. Головинъ,—правда, не разъ призывалъ къ свободе отъ стесненій, налагаемыхъ семьею—избыткомъ родительской власти и неразрывностью супружескаго союза. Но совствъ не забавы онъ сулилъ молодежи вне родительскаго дома, а суровый трудъ; и не во имя наслажденій свободной любви онъ стоялъ за женскую эманспиацію: онъ только перемещалъ центръ тяжести иравственнаго долга. Его этическій идеалъ далеко расходится съ общепринятымъ, но онъ все-таки впдить въ немъ не простое удовлетвореніе прихотливыхъ требованій своенравной воли, а напротивъ того—строгое подчиненіе этой воли обязанностямъ не менёе тяжелымъ, чёмъ тё, какія налагала на нее традиціонная мораль".

Въ этихъ словахъ, которыя, конечно, примѣнимы не только къ одному Добролюбову, есть кое-что пзъ глубнны эпохи взятое. Странное, на самомъ дѣлѣ, было время. Оно началось при несомивнномъ подъемѣ настроенія, при нѣкоторой восторженности, при нѣкоторомъ даже феерическомъ освѣщеніи разныхъ упованій и огромныхъ надеждъ; оно закончилось, когда было признано, что все это неосуществимо пли, въ лучшемъ случаѣ, отложено на неопредѣленный срокъ. Въ дѣйствительности было пережито только 10 лѣтъ и нѣсколько реформъ, хотя и крупнѣйшихъ. Но въ мечтахъ, упованіяхъ, въ надеждахъ и созерцаніи было пережито страшно много—отъ личности, живущей подъ опекой патріархальныхъ устоевъ,—весь

ужасъ когорыхъ такъ удивительно обрисованъ Островскимъ въ его безсмертныхъ драмамъ-до личности, не признающей надъ собой ничего, кромъ власти разума и добровольно возложенных на себя обязательствъ. Все это, разумъется, оказалось сномъ, но такимъ сномъ, котораго, разъ его увидъвши, человъкъ не могъ уже забыть. Не о пустякахъ шло дъло, не о подробностяхъ, не о "немножко побольше гласности", не о немножьо болъе правомъ судъ, а обо всемъ этомъ въ высшей степени. Не на преждевременность такихъ стремленій надо указывать намъ--- благодарному потомству" -- нбо преждевременность указана и доказана хронологіей - а надо понять ихъ огромность, понять и то, что и тогда въ массъ ликующихъ и праздноболтающихъ все же были люди, хотя бы отдъльные только люди, вліятельные однако и задававшіе тонъ, которые тоже понимали всю серьезность и важность переживаемого момента. Ужъ никакъ не въ легкомыслін или пропов'яди разнузданности можно ихъ упрекнуть, и кто знаеть, на сколькихъ памятныхъ и хулимыхъ-и още больше- -на сколькихъ забытыхъ, заброшенныхъ и поросшихъ лопухомъ могилахъ можно было бы написать вивсто эпитафіи двустишіе:

> милый другъ, я умираю Оттого, что былъ я честенъ...

Пе слова все это, нътъ не слова, какъ не слова и движение 60-хъ годовъ. Есть въ немъ, конечно, много наивнаго, въ родъ непоколебимой и безграничной въры въ разумъ, въ возможность раціональнаго устройства человъческой жизни, но развъ когда что-нибудь примъчательное и важное въ жизни людей обходилось безъ примъси наивнаго?

Но наивность наивностью, однако очевидно, что лучшіе люди 60-хъ годовъ страдали скорѣе скептицизмомъ, чѣмъ легкомысліемъ. Они думали, что цѣну имѣетъ только та вѣра въ торжество добра, истины и справедливости, которая основана на знаніи. Они думали, что знать нужно многое и прежде всего дъйствительность жизни. Нужно соразмѣрять свои сплы и свои удары,—говорили они. Нужно опредълять шансы успѣха и неудачи. Самонадѣянность, хотя бы проистекающая наъ благороднѣйшихъ источниковъ, всегда одинаково вредна. Человѣкъ, не полагаясь только на свои силы, долженъ прислониться къ наукѣ, массѣ народа, долженъ стремиться къ достижимому. Общественный дѣятель, руководящій умами, какъ полководецъ, не долженъ увлекаться. Поэтому-то ни бубновъ, ни барабановъ не видимъ мы въ лучшихъ статьяхъ того времени, но видимъ ясное сознаніе необходимости работать въ "истинномъ" направленіи, не скрывая отъ себя громадности работы, не предаваясь легкомысленнымъ упованіямъ. Это не "полегоньку" н "потихоньку", не малыя дѣла позднѣйшей эпохи.

Надо помнить, что въ эпоху 60-хъ годовъ человъкъ вообще, разночниецъ въ особенности, вторилт въ себя и свои силы. Мысль о томъ, что онъ служить обществу, прогрессу, совершенствованію жизни вообще удванвала его энергію. Это не ентелингенть нашихь дней, который, повидимому, всю свои упованія возложиль на кокарду и въ случав ся отсутствія чувствуєть себя какъ бы оплеваннымъ и ненужнымъ. Въ своей самоуверенности человъкъ говорилъ тогда: для защиты праваго дъла надо напрягать вст свои силы, все свои способности, работать, не покладая рукъ, не печалиться отъ неудачъ и верить въ неминуемое торжество справедливости, дотя бы и тамъ, далеко, въ туманъ голубого дня. Мысль, что ты стоишь на сторонъ праваго дъла, что его конечная побъда настолько же обусловиева твоими личными усиліями, какъ и роковымъ ходомъ нашей общественной эволюцін-единственная, которая въ состоянін придавать человіку неисчерпаемую веру и сделать ее правственной въ лучшемъ смысле этого слова. Истинная нравственность не можеть не основываться на знаніи исторін и современности: человекъ только помогаеть исторической эволюціи, но не создаеть ен. Защищать папство и католицизмъ въ XVI-мъ веке было не только глупо, но и безиравственно. Нравственное поведение-то, которое содъйствуеть развитію общества; безиравственное (хотя бы проистекающее изъ честивишихъ и прекрасивищихъ мотивовъ) — то, которое тормовить развитіе общества.

Воть эта-то простая и элементарная этика 60-къ годовъ совершенно забыта намя.

Оцфинвая 60-е годы (я имъю въ виду ръдкіе случан оцфики безъ страсти и раздраженія), мы, какъ кажется, прибъгаемъ къ одному пріему, вообще говоря, правильному, но пользоваться которымъ надо съ величайшей осторожностью. Мы говоримъ: "60-ые годы не оправдали надеждъ, возлагавшихся на инхъ, не имъли серьезнаго и продолжительнаго усиъха, следовательно, они виновны, хотя, быть-можеть, и заслуживають снисхожденія". По моему искреннему убъжденію, оцфинвать историческія явленія по ихъ успъху и неуспъху-пожно и должно. Это даже существенный, правильный и реальный критеріумъ, безъ котораго мы непремінно запутаемся въ дебряхъ метафизики и высокихъ фразъ. Но, къ сожалению, этотъ критеріумъ нельзя употреблять съ такой же легкостью, какъ аршинъ или фунтъ. По интересующему насъ вопросу замътниъ прежде всего, что мы люди 80-хъ и 90-хъ годовъ, далеко не компетентны въ оценке успеха или неуспеха эпохи, слишкомъ близкой отъ насъ, нашего, такъ сказать, "наканунъ". Въ исторія то и дъло бывають временныя остановки и временные повороты назадъ. Такъ случилось, напр., во Франціи съ раціоналистическимъ движеніемъ, которому сначала сочувствовали всё монархи Европы, и которое

нотомъ въ періодъ реакціи оказалось униженнымъ и стоптаннымъ въ гряжь. Но реакція не помѣшала тому же раціоналистическому движенію возродиться впослѣдствіи и вновь вызвать къ себѣ полное сочувствіе... Дидро и его научное трезвое міросозерцаніе, совершенно непонятое современниками, получили истинное свое признаніе лишь въ наши дни. Геній Вольтера униженный въ періодъ 1800—1830 гг., опять расправиль свои орлиныя крылья и воспариль надъ землей въ періодъ 1831—1848 гг., и т. д. Разумѣется, все истинное, правдивое, нужное для жизни должно имѣть успѣхъ, иначе оно не истинно, не правдиво, не нужно, но—увы!—исторія, эта капризная шовіе donna, сегодня оттолкнеть, завтра привлечеть, потомъ опять оттолкнеть. Только историкъ, имѣющій передъ собой весь циклъ развитія явленія, можеть смѣло оцѣннвать по успѣху и неуспѣху; современникъ долженъ быть скромнѣе.

Но что же дълать ему? Не можеть же онъ положить печать молчанія на свои уста и воздержаться отъ личнаго мивнія въ ожиданін, что жизнь выскажется, и грядущія стольтія разъяснять все? Конечно, не можеть Поэтому, кромів скромности, я позволю себів напомнить ему правило, пользовавшееся всеобщимъ признаніемъ со стороны лучшихъ людей 60-хъ годовъ Правидо это гласить: Только то міросозерцаніе можеть разсчитывать на побъду и торжество въ жизни, только то міросозерцаніе полезно, истинно и правственно, которое, опираясь на знаніе дъйствительности и исторіи, соотвівтствуєть прогрессивнымъ и неустранимымъ потребностямъ жизни.

Значить насчеть бъснованія и разнузданности 60-хъ годовъ можно и не говорить.

Перехожу теперь спокойно къ нигилизму, какъ одному изъ любопытнъйшихъ теченій мысли въ описываемую эпоху, созданному автономіей личности. Самое слово "нигилизмъ", "нигилистка" хотя и было изобрътено гораздо раньше (Надеждинымъ), но упрочилось за нашимъ литературнымъ обиходомъ лишь въ 60-ые годы и пользовалось широкой распространенностью. Но... что такое нигилизмъ? За разъясненіями я позволю себъ обратиться къ одному человъку тъхъ дней, тогда журналисту и довольно видному—Н. Н. Страхову. Онъ въ данномъ случать компетентенъ вся "исторія" вигилизма прошла на его глазахъ, онъ самъ боролся съ этимъ явленіемъ, насколько могъ. Временами онъ ненавидълъ его, если вообще ненависть и Страховъ понятія совмъстимыя.

"Нигилизмъ,—говоритъ Страховъ,—есть явленіе нашей умственной жизни, представляющее великое множество безобразій. Встмъ извъстны

Digitized by Google

эти безобразія, они описаны въ повъстяхъ и романахъ, каждый о нихъ разсказываетъ съ разными добавленіями и варіантами.

"Поэтому первое невольное отношеніе, въ которое мы становимся къ нигилизму, есть высокомъріе. Мы обыкновенно смотримъ на него презрительно, смъемся надъ нимъ, какъ падъ дътскимъ неразуміемъ или возмужалымъ сумасбродствомъ.

"Справедливо ли это? Справедливо ли судить о какомъ бы то ни было фактъ умственной жизни по однимъ его безобразнымъ проявленіямъ? Самыя безобразія, чъмъ чаще и обильнъе онъ происходятъ—не свидътельствують ли только о силъ источника, изъ котораго они проистекаютъ, не представляють ли очевидно крайностей, до которыхъ неизбъжно должно вырождаться въ иныхъ послъдователяхъ настроеніе, глубоко пропикающее въ умы?"

Считая нигилизмъ явленіемъ историческимъ и серьезнымъ, Страховъ совътуетъ прежде всего не плеваться, а спросить себя, откуда оно? Конечно, съ Запада, отвъчаетъ онъ, или подробнъе:

"Прежде всего нигилизмъ есть нъкоторое западничество. Онъ возникъ подъ вліяніемъ Запада, следовательно, подъ темъ вліяніемъ, которое такъ давно и такъ сильно на насъ дъйствовало и постоянно дъйствуетъ. Напрасно у насъ нъкоторые критики и публицисты, ради пущаго униженія нигилизма, увъряють, что онь есть наше доморощенное, туземное сумасбродство, что на Западъ ничего подобнаго не существуетъ, а все идетъ чинно, стройно и благополучно. Совершенно ясно, что умственныя явленія Запада дали точки опоры для развитія вашего нигилизма, явленія, давно тамъ зародившіяся, имфющія силу и будущность, и потому составляющія постоянный источникъ, постоянную поддержку для нашего нигилистического движенія. Нигилизмъ, какого бы оттънка онъ не быль, всегда характеризуется великимъ уваженіемъ къ Западу, всегда имъетъ тамъ какихъ-нибудь божковъ и оракуловъ, можеть быть, превратно понимаемыхъ, но отъ всего сердца поклоняемыхъ и славимыхъ. Это та сторона нигилизма, въ которой обнаруживается недостатокъ у насъ самостоятельнаго развитія-наше подчиненіе Западу.

"Во-вторыхъ, нигилизмъ есть не что иное, какъ крайнее западничество, — западничество, послъдовательно развившееся и дошедшее до конца. Въ этомъ отношени опъ представляетъ дъйствительный, неизбъжный прогрессъ, и напрасно нъкоторые наши западники чураются нигилизма, утверждая, что и нынъ, какъ встарь, можно питаться западными взглядами и идеями, нимало не впадая въ нигилизмъ".

Западъ, — продолжаетъ Страховъ, — въ умственномъ и нравственномъ отношении великъ и многообразенъ. Здъсь полный просторъ для выбора по вкусу, чего кто хочетъ — отъ праваго гегеліанства до анархизма. Но почему же мы, русскіе люди, показали особую наклонность къ воспріятію доктринъ отрицательныхъ? Потому, — отвъчаетъ Страховъ, — что:

"Западъ самъ училъ насъ, что его формы преходящія, что все подчинено теченію, измъненію, прогрессу; и мы, столь жаждавшіє измъ-

неній у себя дома, жадно примкнули къ этому ученію. Мы повърили всей душой теоріи прогресса, которая утверждала, что рапо или поздно не останется въ старой Европъ камня на камнъ; мы не захотъли исповъдывать то, что должно было скоро отжить и разрушиться, а прямо примкнули къ новому, будущему, къ надеждамъ и порываніямъ впередъ"...

Признавши критику Запада надъ самимъ собою, мы должны были или:

1) преклониться передъ началами собственной народности, или 2) примънить методъ и штандпункты западной критики къ своимъ доморощеннымъ порядкамъ. Мы выбрали второй путь, и это естественно тамъ, гдѣ доморощенные порядки даютъ обильнъйшій матеріалъ, до того обильный, что умъ теряется.

Именно таковъ конечный выводъ Н. Н. Страхова—этого замъчательнаго и глубокомысленнаго русскаго публициста, который всегда какъ-то удивительно ловко и остроумно приходить къ утвержденію тъхъ выводовъ, которые онъ взялся отрицать!.. Вотъ его слова:

"Нигилизмъ есть прежде всего и главнъе всего—отрицаніе; это его основная и здоровая, правильная черта. Все, что можетъ служить опорою для отрицанія, все, что даетъ отрицанію разумность и право, все идеть въ прокъ нигилизму, составляетъ его законную пищу, законный источникъ. Русская жизнь, которою въ сущности дъла зызывается это отрицаніе, вызываетъ его съ двухъ сторонъ. Слабость нашего духовнаго развитія, неясность, неформулированность его глубокихъ основъ, внушаютъ смълость отрицать эти основы, отвергать ихъ состоятельность въ силу тъхъ требованій и задачъ, съ которыми мы, повидимому, имъемъ полное право приступать къ нимъ. Съ другой стороны, безобразія, которыми преисполнена русская жизнь, составляютъ еще болъе распространенную и общедоступную пищу отрицанія. Можно сказать утвердительно, что каждое безобразіе, творимое нынъ на русской землъ, имъетъ своимъ непосредственнымъ слъдствіемъ, между прочимъ, и усиленіе нигилизма, отражается въ его пропорціональномъ наращеніи.

"Эта здоровая сторона пигилизма пикогда не должна быть упускаема изъ виду. Скептицизмъ, недовъріе, отсутствіе наивности, насмъшливость, бездъятельная, но умная лъность, —всъ эти черты русскаго характера находять здъсь себъ исходъ" *).

Словомъ, Западъ далъ орудіе, русская жизнь — матеріалъ, и что проще всего, если закниъла прежде всего чисто отрицательная работа. По Стратову, она не только естественна и необходима, но и здорова въ то же время. И туть опять приходится вспоминть знаменитыя слова Чаадаева о нашемъ духовномъ и историческомъ босячествъ. О, конечно! Будь у насъ больше ума, культуры, знанія, мы не начали бы съ нигилизма, не увлеклись бы имъ, потому что онъ, въ концѣ-концовъ, сводится на мычаніе.

^{*)} Страховъ. Бъдпость нашей литературы. Спб. 1868, стр. 44-52.

Но, по Страхову, нигилизмъ былъ нуженъ для расчиски почвы... Это свое дъло онъ сдълалъ.

Пока, какъ видите, ни слова о разнузданности. Есть мимоходомъ брошенное замъчание о безобразіяхъ нигилизма... Но кто и когда думаль ихъ отрицать? Но гдъ общественное движение безъ ила и грязи?.. И какое все это имъеть отношение къ литературъ 60-хъ годовъ?

Пора однако сказать, въ чемъ ихъ суть, какъ я ее понимаю. Суть эта заключается въ дружномъ, а временами и единодушномъ стремленін къ общественной самодъятельности. Не о ней ли говорять въ своихъ запискахъ Погодинъ и К. Аксаковъ? Не эту ли ихъ мысль привътствуетъ К. Кавелинъ, полностью подписуясь подъ ней? Не о томъ же ли мечталъ Хомяковъ? Не ее ли защищалъ Катковъ въ своемъ англоманствовавшемъ "Русскомъ Въстникъ". Не ту же ли самую цъль преслъдовали наконецъ и всъ наши реформы вплоть до судебной, т. е. до 1866 года? Конечно, да.

. Итакъ, стремленіе къ общественной самод'вятельности и къ автономіи личности отъ опеки устоевъ патріархальнаго строя является центральной осью движенія 60-хъ годовъ какъ въ литературѣ, такъ и въ жизни. Эти мечтанія стали для насъ преданіемъ, почти легендой, надъ міромъ они пронеслись хотя съ шумомъ, но безъ слѣда. Но не въ судъ и не въ осужденіе говорю я такъ: все же практическіе результаты эпохи 60-ыхъ годовъ и ея литературы чувствуются и теперь. Откуда иначе наша гражданственность, хотя бы и запуганная, хотя бы ползающая, но все же существующая, какъ нѣкоторый общепризнанный фактъ жизни?

СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ.

Общая характеристика.

Что-то напряженное, скорбное, часто пряво-таки фантастическое чувствуется въ этой эпохъ. Она близка къ предшествовавшей ей эпохъ 60-ыхъ годовъ, родственна ей и въ то же время представляетъ нѣчто особенное. отличное и обособленное. Въра въ непреложность и истину науки и ея выводовъ сохраняется, конечно, но даже и здёсь, въ этой области человъкъ, личность заявляеть свои права на верховенство и соглашается, въ концѣ концовъ, принять лишь такіе выводы, которые соотвѣтствують его нравственному идеалу (субъективный методъ). Это грань индивидуализма и своеволія. Религія челов'вчества продолжается — это единственная религія двухъ десятильтій-но требуеть она уже не разуннаго, раціональнаго служенія людямъ, а подвежничества прежде всего и самоотреченія. Проповъдують счастье съ надрывомъ, даже отказываясь отъ собственнаго личнаго счастья, идея котораго вся целикомъ поглощена идеей подвига. Тотъ же надрывъ въ отношеніи къ народу. Мысль о немъ, забота о немъ-на первомъ планъ, какъ и раньше; — но самый народъ или идеализируется нин даже является въ мистическомъ ореоле сказочнаго богатыря, целые, въка спавшаго и теперь готоваго проснуться, чтобы всъмъ людямъ, всему человъчеству указать путь и осуществить идею своего нравственнаго миссіонизма, т. е. водворить если и не царство Божіе здісь на землі, то, по крайней мъръ, парство справедливаго распредъленія земныхъ благъ. Личность еще больше въ своихъ глазахъ, еще могуществените, еще "самоцънвъе" — но тъмъ больше и ея подчинение. Не вынося своей свободы и полноты своего своеволія, она жадно вщеть преклоненія и преклоняется, прежде всего, передъ крестьянской массой, передъ темъ залогомъ грядущаго справедливаго распредъленія богатствъ и гармонически цъльной жизни, который она несеть въ себъ. Пока же на первоиъ планъ (въ ли-

тературъ) жалость къ освобожденному, но не счастинвому еще народу, жалвніе его до слезь, умиленіе передъ сохраненной имъ чистотой своего внутренняго образа, "лика" такъ сказать и, конечно, непримирамая ненависть из окружающимъ народъ обстоятельствамъ. Кающійся дворянинъ вносить въ эту атмосферу мотивы своей больной совъсти, жажду покаянія, тоть духовный надрывъ, --- который помогъ-де ему сразу перешагнуть пропасть, отделяющую его отъ народа, — и идею красоты. Она эта идея выдвинута на первый планъ. Съ ея точки зрвнія созерцается, между прочить, и крестьянская жизнь,---почему мы то и дело слышимъ разговоры о поэзін земледівльческаго труда, о праведности (высшая степень красоты этической) крестьянской жизии вообще, — и самая жизиь, отвлечение взятая. Въ центръ представленія о ней лежить идея подвига, прекраснаго виъ отношенія къ своимъ результатамъ, влекущаго къ себъ внутренней красотой своей. И все это-и огромность стремленій, и жажда подвижничества, и безнадежный утопнамъ въ отношения къ народу и интеллигенции -- все это, повторяю, придаеть эпохів ея напряженный, фантастическій характерь.

Въ общемъ своемъ стремленін 60-ые годы были скромные. Ихъ часто и справедливо называють просвътительными". Ихъ умственное движеніе сравнивають даже съ умственнымъ движеніемъ Европы XVIII в., разумъется, mutatis mutandis. На самомъ дълъ въра въ разумъ, въ возможность построенія жизни на разумныхь началахь, требованія школы, образованія, преклоненіе передъ естественными науками — этимъ точнымъ енаніемъ- все это явленія той же категоріи и все это одицаково характерно для эпохи. Шелгуновъ всю свою жизнь твердилъ: намъ нужна школа, еще школа и еще школа. Камнемъ красгольнымъ ученія Писарева было сознаніе, что мы отдим и глупы, и значить, наша первая обязанностьучиться, чтобы развивать свои производительныя силы. Вся беллетристика того времени была построена на противоположения людей умныхъ, раціонально устраивающихъ свою жизнь, и людей неумныхъ, держащихся рутины, традицій и предразсудковъ. Прибавьте къ этимъ фактамъ женское стремленіе къ образованію, воскресныя школы, массу публичныхъ лекцій, которымъ лишь обстоятельства помещали превратиться въ народные университеты, упорную популяризацію, напряженное изданіе дешевыхъ и общедоступныхъ книжекъ, работу на поприщъ народнаго образованія- и вы увидите, что просвъщение -- это нервъ эпохи. Не единственный, конечно, но самый важный, и можно сказать, что, когда псчезли всв другія мечты, когда все другія ея верованія оказались разрушенными -- эта мечта видеть народъ умнымъ, образованнымъ и самодъятельнымъ, эта въра въ могущество разума и знанія уцілівли среди обломковъ и составляють необходимые элементы "людей 60-ыхъ годовъ", очутившихся среди новой обстановки. Слова Писарева, что мы біздны и глупы и что, пока мы біздны и глупы, ничто намъ не дается, быть можеть, самое драгоцівное, что завіщано намъ тімъ временемъ. Отсюда понятнымъ и опить-таки характернымъ для эпохи, является интересъ къ вопросамъ воспитанія, понятной и характерной — роль лучшихъ нашихъ педагоговъ, напр., Ушинскаго, Водовозова, Стоюнийа и т. д. — потому что 60-ые годы это та же мечта о созданіи путемъ науки и просвіщенія новой породы развитыхъ, умныхъ, здоровыхъ и самодівятельныхъ людей.

Мечта быстро доказала, если и не свою неосуществимость, то во всякомъ случав — стало очевиднымъ, что се приходится отложить въ очень долгій ящикъ, разъ въ распоряженіи у людей неть какихъ-нибудь средствъ кромъ популяризаціи, лекцій, воскресныхъ школъ...

Это сознание неосуществимости мечты становилось изо-дня въ день все очевидите. Все вело къ нему и все укртиляло его и прежде всего, конечно, та реакція, которая началась въ правительственныхъ сферахъ. Симитомы этой реакціи можно было разсмотртть уже съ 62-го года въ такихъ фактахъ какъ пріостановка "Современника" п "Русскаго слова" на 8 мъсяцевъ; петербургскіе пожары, и самое главное — польское возстаніе 63-го года дали этой реекціи твердую почву подъ собой. Послт выстрта Каракозова (1866) она стала фактомъ, обратилась въ систему. Чиновничество и дворянство, какъ бы стушевавшіяся въ эпоху великихъ реформъ, нъсколько огорошенныя общимъ увлеченіемъ и напуганныя имъ, подняли свои головы. Катковъ началъ свою упорную и въ общемъ побъдоносную борьбу съ радикалами, либералами, или, какъ онъ презрительно говорилъ, "мальчишками", волна общественнаго увлеченія отхлынула.

"Нелегко и не весело, — пишетъ, напр., К. Арсеньевъ, — жилось русскимъ людямъ въ ту эпоху, съ которою совпадаетъ второй фазисъ развитія щедринской сатиры. Противодъйствіе реформамъ, предпринятымъ въ концъ пятидесятыхъ годовъ, не прекращалось, собственно говоря, ни на одну минуту, безпрестанно подбрасывая палки подъ колеса, создавая или сочиняя преграды, ограничивая задуманное, искажая исполненное; перевъсъ однако оставался сначала на сторонъ движенія, активъ политической жизни оказывался крупнъе ея пассива. Въ первой половинъ шестидесятыхъ годовъ, вслъдъ за великимъ днемъ 19-го февраля, реакціонныя стремленія стали быстро рости и укръпляться, но въ свътлыхъ промежуткахъ все еще не было недостатка. Окончательно потемнълъ горизонтъ не раньше 1866 года; къ 1868 г. темнота была уже явленіемъ нормальнымъ и привычнымъ. Ни одна реформа не была формально отмънена, но всъ были въ большей или меньшей степени обръзаны, обезсилены, извращены, выражаясь словами поэта, всъ рановременныя

мъры - рановременныя, коночно, только съ реакціонной точки зрънія, теряли должные разміры и съ трескомъ пятились назадъ. Осуществленіе преобразованій было отдано, за однимъ лишь исключеніемъ, въ руки людей, имъ враждебныхъ. Закрытіе земскихъ учрежденій въ с.-петербургской губернін (1867-68) послужило грознымъ предзнаменованіемъ для всего земства. Цълые отдълы новаго законодательства о печати сдвлались мертвой буквой, прежде чемъ было вполив испытано ихъ дъйствіе; практика, стъснительная для печати, была узаконена дополнительными постановленіями 1872 и 1873 г. Новые суды, едва вступивъ въ жизнь, стали предметомъ недоброжелательства и подозръній. Отъ крестьянскихъ учрежденій уцільто почти одно только имя, крестьянскій вопросъ быль объявлень навсегда порышеннымъ, бодыше не существующимъ. Податная реформа, поставленияя было на очередь самимъ правительствомъ, застыла на одномъ мъстъ, несмотря на длинный рядъ сочувственныхъ ей земскихъ постановленій; на первый нланъ выдвинулся, взамънъ ея, вопросъ объ усилении губернаторской власти. Въ общественной жизни все ръзче и ръзче заявляли себя обычные результаты реакціи и застоя, зарождались всв тв явленія, которыя достигли своего апогея къ концу семидесятыхъ годовъ. Мельчали учрежденія, мельчали люди, усиливался духъ хищенія и наживы, всплывало наверхъ все легковъсное и пустое".

Разсмотримъ хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ положение двухъ основныхъ сословий въ государствъ-—дворянскаго и крестъянскаго, и этотъ краткий обзоръ только подтвердитъ справедливость приведенныхъ строкъ.

Въ самый разгаръ эпохи бури и натиска многіе, и прежде всего сами дворяне, искренно полагали, что ихъ дворянское сословіе упразднено. Въ историческомъ прошломъ дворянская иден до такой степени срослась съ крѣпостнымъ правомъ, съ рабствомъ и привилегіей, что когда смѣлыя реформы подкопались подъ этотъ фундаментъ, не трудио было, особенно сгоряча, съ перепугу, вообразить полное ниспроверженіе дворянства. Нелицепріятное свидѣтельство на этотъ счетъ мы находимъ у Щедрина.

"Странное дъло, —читаемъ мы въ "Письмахъ о провинціи": —покуда существовало кръпостное право, никому не приходило въ голову усомниться въ существованіи русскаго дворянства. Это существованіе заявляло себя цълымъ рядомъ такихъ дъйствій, которыя самаго невърующаго человъка заставляли върить... Трудно было не повърить тому, что всегда стояло, какъ живое, передъ глазами, то въ видъ помъщика, творящаго судъ и расправу, то въ видъ исправника, творящаго судъ и расправу, то въ видъ судьи или засъдателя, творящихъ судъ и расправу. Это было сословіе, какъ бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имъло возможность предъявлять нъкоторую силу среди общаго безсилія, нъкоторую иниціативу среди общаго безмолвія. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходить сквозь всю исторію этой корпоративной силы, заключается, все-таки, въ томъ, что, однажды устроившись, она до самаго конца осталась при этомъ

устройствъ, занимаясь повтореніемъ задовъ и ни разу не поставивъ себъ вопроса, возможно ли для нея дальнъйшее развитіе, въ какомъ именно смыслъ и въ какую сторону? Будущее для нея не существовало.

"Но будущее имъетъ за собой то неудобство, что оно непремънно является въ срокъ. Въ настоящемъ случать, оно пришло въ видъ упраздненія кръпостного права—и что же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить всъ связующія нити, что вмъстъ съ исчезновеніемъ кръпостного права, исчезло и дворянство!"

И, конечно, старое дореформенное дворянство, какъ первая экономическая сила государства, обладавшая къ тому же огромными привилегіями, какъ его единственный культурный представитель-исчезло. Но, наперекоръ фактамъ жизни, осталась дворянская идея и она то, при первыхъ признакахъ реакців, подняла голову. Эта дворянская идея слагалась изъ нъскольких элементовъ. Прежде всего изъ элемента обиженности, потому что, дотя за крестьянъ было заплачено и заплачено очень щедро, хотя, въ видъ выкупныхъ платежей, дворянство получило более 400 милліоновъ и почти столько же въ видъ желъзнодорожныхъ концессій и ссудъ наъ земельныхъ банковъ, однако крепостное право по общему мненію представляло наъ себя такое устройство человъческой жизни, что потери его не могли вознаградить никакіе милліоны. Кріпостное право, какъ нічто устойчивое, обезпечивало, полагалось, все будущее дворянство; деньги въ его рукахъ не удержались и только раззадорили аппетить. Второй элементь дворянской иден заключался въ томъ, что государство обязано содержать и кормить всехъ дворянъ, безъ различія пола и возраста. Этоть элементь, конечно, самый существенный, и какъ только упала горячка 60-хъ годовъ, замолкли либеральныя фразы, а выкупныя свидътельства были прозьдены, мы видимъ поучительное зрълище - движение дворянства въ города и . преимущественно столицы на службу или върнъе на кориъ.

"Неизбъжнымъ послъдствіемъ дворянскаго оскудънія,—пишетъ одинъ критикъ,—было исканіе благъ насущныхъ вдали отъ родныхъ гнъздъ—исканіе, за которое наиболъе расторопные изъ помъщиковъ и принялись весьма усердно.

"Шло оно по двумъ главнымъ направленіямъ—въ сторону государственной службы, гдъ пристроиться особенно старалось молодое покольніе, и въ области дъловой спекуляціи, манившей къ себъ преимущественно зрълыхъ представителей дворянства. Какъ разъ въ половинъ 60-ыхъ годовъ на томъ и другомъ поприщъ открылись широкіе виды на обильную жатву. Реформы значительно размножили административносудебный персоналъ, обставивъ новыя должности и сытными окладами, а разростаніе желъзнодорожной съти значительно увеличило тяготъніе провинціи къ столицъ. Это тяготъніе и вызванный имъ усиленный обмъть не только людей, но и товаровъ, между деревней и городомъ, въ свою очередь создало, прежде совсъмъ неизвъстные, источники обогащенія.

"Сидъвшее по своимъ угламъ провинціальное дворянство протерло глаза, почуявъ негаданную добычу. Возможность пріобръсти нъсколько учредительныхъ паевъ въ желъзнодорожной концессіи или пристроиться къ какому-нибудь вновь открывшемуся банку, блестящимъ миражемъ проносилась предъ восхищенными глазами старосвътскихъ помъщиковъ, которымъ прежде и во снъ не снились сказочныя суммы, теперь представлявшіяся уже не во снъ только, а и наяву. Въ то же время въсти о новыхъ мъстахъ и неслыханные прежде оклады по судебному, финансовому и другимъ въдомствамъ, давали надежду обезпечить сынковъ, которымъ уже не сидълось въ деревнъ и прежняя карьера армейскаго кавалериста, да украшеніе сельскихъ досуговъ прелестями разныхъ Палашекъ и Матрешекъ, казались очень уже мизерными. Аппетитъ разыгрался и у дътей, и у отцовъ, и разыгрался не потому только, что дома наступило оскудение, а потому въ особенности, что далекая прежде столица, стала такою доступною, благодаря чугункъ. Я охотно бы даже сказаль, что не оскудьніе вызвало эмиграцію въ Петербургь, а какъ разъ наоборотъ, пробуждение новыхъ потребностей и погоня за мишурными приманками столицы, вызывали бросаніе имъній на произволъ судьбы и потому разворили помъщичьи хозяйства. Какъ бы то ни было, надежда обогатиться разомъ, вдругъ, естественнымъ образомъ должна была обусловить и готовность достичь такого обогащенія, какимъ бы то пи было путемъ. Погоня за успъхомъ, во что бы то ни стало, не могла не подъйствовать разрушающимъ образомъ".

На интеллигентное движение надвигался беззастъпчивый карьеризмъ и разгулявшіеся аппетиты. И оно было беззащитно, потому что его подавляла масса, а что еще хуже: правительство, отвернувшись отъ него, стало относиться къ нему сначала подозрительно, а потомъ и прямо враждебно. Это сразу должно было изменить положение вещей и, очевидно, не къ выгодъ для людей 70-ыхъ годовъ. Но было и еще въ жизни нъчто, если не въ одинаковой степени замътное, то въ одинаковой-крупное и стихійное. Я говорю, конечно, о той новой общественной сплъ, которая успѣла такъ сказать оформиться и выступить на сцену жизни (и для многихъ, конечно, совершенно неожиданно) -- это сила русской буржуазін, русскаго мещанства. Куда-инбудь да пошли 400 милліоновъ выкупныхъ платежей и столько же милліоновъ земельныхъ ссудъ. Пошля они на упроченіе русскаго кулачества и русскаго капитализма. Изъ своихъ подваловъ и лавокъ, изъ своей скрытой застъночной жизни купецъ вышелъ на улицу и скоро эту улицу себъ подчинилъ. Баринъ все же держалъ его въ передней: теперь ему не мізшали не только зайти въ гостиную, но и разсъсться тамъ чуть ли даже не въ переднемъ углу. Что онъ несъ съ собою? Конечно, на первыхъ порахъ только духъ хищнической наживы, торгашескаго расчета и того узкаго практицизма, который знаеть, что рубль долженъ дать рубль, и больше ничего не знастъ. Вибств съ карьеризмомъ дворянства эти вотъ разнузданные торгашескіе пистинкты и составили господствующій духъ времени. Бороться съ нимъ и поб'єдить его хот'єла вителлигенція. Изъ какихъ элементовъ состояла она въ эту эпоху?

Конечно, не все дворянство пошло по пути карьернама и не все оно сосредоточило свои думы на прокормленіи. Рядомъ съ дворянской идеей была сильна, хотя и не въ одинаковой степени, культурная традиція. Эта культурная традиція, исполненная еще воспоминаніями объ интеллигентномъ движеніи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, какъ бы напрягла теперь всё свои силы и, видя себя окруженной врагами извить, теснимая предателями изнутри, создала одинъ изъ самыхъ краспвыхъ, хотя и бользненныхъ русскихъ типовъ—типъ кающагося дворянина. Тутъ—голось совъсти, встревоженной воспоминаніями о неправдъ предковъ, тутъ безкорыститьйшее благородство, тутъ надрывъ души, то самообожавшей себя всей полнотой самообожанія, то презиравшей себя всей полнотой презрънія.

Въ кающемся дворянинъ прежде всего и слышнъе всего голосъ совъсти. Онъ спрашиваетъ себя, откуда у него образованіе, откуда культурныя стремленія, откуда тонкость вкуса, откуда благороднівшія побужденія, н на все это у него готовъ одинъ отвътъ: "все оттуда же, все изъ условій крібностного состоянія, въ которомъ цівлые віжа томился народъ, и этотъ народъ безропотно, а часто и самоотверженно кормилъ, одъвалъ, услаждаль монхъ предковъ, а они расплачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшев, полнымъ превебрежениемъ къ личности человъка"... Онъ можетъ, конечно, успоконть себя вотъ какимъ разсужденіемъ: "мон пріятели, кръпостные Федька и Яковъ проданы, и этою ціною оплачено мое воспитаніе; такимъ образомъ создался образованный гучанный, развитой, либеральный молодой челов'якъ, который, выйдя на стезю жизни, еще болъе расширить предъль гуманности, образованности, развитія и либерализма", — но онъ не хочеть, не можеть сдівлать этого. Его мучить совъсть. Его тяготить дворянское происхождение. Онъ знаеть, что онъ долженъ ответить за все это, долженъ искупить вину. И онъ спъшить, торопится, хотя каждый шагь дается ему нелегко. Онъ точно взбирается на высокую гору и часто лишь отчаяннымъ приступомъ, надрывомъ беретъ крутизны:

"Но во имя правды, —восклицаеть онъ, —пожалуйста, не говорите о "веселой торопливости". Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпълъ впослъдствін, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое... Нътъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъже не торопиться? Какъ не торопиться изъ угарпой комнаты, когда голову ломитъ, дышать труд-

но, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху! свъта!.. Какъ не каяться, если совъсть мучить? Пусть она мучить вздоромъй неправильно, да въдь мучить. Это—фактъ"...

Историческое прошлое русской барской интеллигенціи (разум'ю ется, въ лиц'й лучшихъ ен представителей), доказало, что вопросы сов'ю (начиная съ Радищева), не только не чужды ей, а напротивъ того, самые для нея близкіе и родственные. Стонтъ вспомнить имена Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Герцена, характеристику декабристовъ въ изв'ю стихъ, "хл'ю съ, возд'ю ланный рабами, не шелъ имъ въ прокъ" и наконецъ Толстого со вс'ю его исканіями, самобичеваніемъ и т. д.—чтобы сд'ю лать эту истину очевидной. Что же удивительнаго, если—вполн'ю согласно съ исторической традиціей—вся работа духа у кающагося дворянина подчинилась голосу встревоженной сов'ю сти. Отсюда предстояло два выхода—или упорная работа самосовершенствованія, или другая бол'ю широкая работа въ вид'ю расплаты передъ народомъ за грфхи прошлаго. Кающійся дворянинъ выбралъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ посл'ю днее.

_Воть замічательный и. смію сказать, историческій факть: въ то время, какъ Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу въ жизнь, въ это самое время, всъ эти Помяловскіе, Ръшетниковы, Щаповы, Нибуши и проч. знать не хотели никакихъ эпитемій и знакомидись съ бълой горячкой. Они были полны ненависти и были правы въ своей ненависти. Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвътственности за свое общественное положение, ихъ могла душить только злоба за искалъченную жизнь. Но они были все-таки близки намъ, именно своею ненавистью, и изъ этой близости возникали чрезвычайно странныя столкновенія. Прежде всего, они насъ спасли отъ окончательнаго погруженія въ писаревщину. Мы готовы были совершенно закупориться въ тъсную раковинку собственной чистоты, примирившись съ тъмъ фактомъ, что въ нижнемъ этажъ того самаго зданія, гдъ мы себъ устроили уютное гнъздышко, живетъ непроглядное невъжество, безысходная нищета. Но разночинцы выходили именно отсюда, изъ этого страшнаго подвала, и вносили съ собою струю свъжаго воздуха. Такъ что они, со всъмъ своимъ пьянствомъ и буйствомъ, спасали насъ".

Эти Помяловскіе, Ръшетниковы, Щаповы спасали, указывая путь искупленія, пробуждая въ барской душть несвойственныя ей ръзкія и ръшительныя чувства, собственной своей искальченной судьбой напоминая кающимся, что

"Для того, чтобы изъ меня геніальный комокъ нервовъ выработался, нужно кому-нибудь снять съ меня весь физическій трудъ, необходимый въ данную минуту, то-есть нужны Өедьки и Яковы, не крѣпостные, такъ "вольные", но, во всякомъ случаѣ, приспособленные къ стихіи физическаго труда и превосходно съ пей справляющіеся".

Такова этическая почва, на которой выросло народническое движение 70-хъ годовъ. Это была почва истерванной совъсти, расплаты, жажды искупления и жальния.

Туть не только любовь и уваженіе къ мужику, не только печалованіе объ его участи, — туть нічто большее, я бы сказаль даже мистическое туть жалівніе, жалость до боли, до самопожертвованія, туть плачь объ исчезающихь устояхь народной жизни, непримиримая обида, наносимая сердцу человіческому самодовольнымь ходомь жестокой дійствительности, туть жажда вірить во что бы то ни стало, несмотря ни на что, желаніе держать ичащійся побіздь голыми руками.

Голосъ совъсти—вотъ что слышнъе всего. А она не считалась, не соразивряла силъ.

"Надъялись на народъ, на самихъ себя-интеллигенцію. На мужика надъялись потому, что его идеализировали, а это было вполнъ естественно въ "кающихся дворянахъ" по отношенію къ тъмъ, передъ къмъ они каялись. Этого мужика горячо любили за надежды, которыя на него возлагались, и за тотъ гръхъ, въ которомъ себя передъ нимъ винили и, можеть быть, еще горячье любили за тв страданья, которыя онъ перенесъ въ прошедшемъ и переносилъ въ настоящемъ: любили-жалъли. Самихъ себя-интеллигенцію тоже любили, но лишь постольку, поскольку отрекались отъ себя, скидали съ себя барскія "ризки", "сливались" съ народомъ, дълая его дъло... Подъ интеллигенціей разумъли всъхъ... _хорошихъ" людей. Въ горячей любви къ мужику, въ великихъ надеждахъ коренился источникъ и великой способности къ самоножертвованію... Къ серединъ 70-хъ годовъ жизнерадостности уже было немного. Надежды оставались, но уже были не розовыя: онв какъ бы светили сквозь какой-то мрачный туманъ отъ твхъ трагедій, которыя чуялись въ воздухъ... Не одна уже была введена поправка, не мало было сдълано оговорокъ. Но все-таки надежды были великія. Лирическое, пробавлявшееся однимъ собственнымъ настроеніемъ, народничество, уступило мъсто критическому. Послъднее уже видъло, что община — это "чортъ знастъ что, а не община", но еще держалось-и теперь намъ видится, пожалуй, здёсь какой-то порывъ отчаянія—держалось за надежду-_безсознательную красоту ржаного поля", стихійное благообразіе формъ народной жизни превратить въ сознательную красоту и благообразіе, и сдълать это могла и должна была интеллигенція, которая для того сама должна стать свободной"... Невтодомскій.

Все это такъ, но въ высшей степени, съ надрывомъ даже. Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Интеллигентныя стремленія имъли противъ себя:

1) нежеланіе правительства продолжать дѣло реформъ, 2) новый фактъ жизни—ея "окапитализированіе", такъ сказать, 3) господствующій духъ торгашеской наживы и карьеризма. Словомъ, оно имѣло противъ себя всѣ дѣятельныя, организованныя силы общества. А за себя? Вѣрили и думали, что "за себя" былъ народъ, хотя эта вѣра и эти думы были совершенно

фантастическія. Но все равно он'в были и были именно въ безмърной степени— въ такой же, въ какой была въра и въ себи, интеллигенцію, и въ науку и во власть человъка надъ жизнью. Возьмите хотя бы такую вотъ программу: "русская интеллигенція и русская буржуазія не одно и то же и до извъстной степени даже враждебны и должны быть враждебны другъ другу; предоставьте русской интеллигенціи свободу мысли и слова, и можеть быть, русская буржуазія не събсть русскаго народа; наложите на уста интеллигенціи печать молчанія, и народъ будеть навърное събдень"—и вы поймете, чъмъ была русская интеллигенція въ своихъ собственныхъ глазахъ.

Шли къ мужику, раздавали свое имъніе, надъясь обновить себя, успоконть встревоженную совъсть, отръшиться оть "проклятаго" барства, а
потомъ чъмъ дальше тъмъ больше, тъмъ напряженнъе шли къ мужику
осуществить идеалъ крестьянскаго царства. На мужика надъялись, его идеализировали, считали его носителемъ не только "зоологической правды",
правды, выработанной властью земли и въками общинной жизни, но правды
вообще, способной обезпечить счастье всъхъ. Но мужикъ спалъ и спалъ
глубоко въ какой-то одури отъ своего труда и заботъ. Въ то время, какъ
интеллигенція шла къ нему съ своей гордой, самонадъянной върой, съ
своей мечтой о возрожденіи человъчества, онъ былъ еще въ эпохъ Даждь
Бога п молился аллилуевой жент безъ мысли о собственномъ достоинствъ,
собственныхъ правахъ—забитый и заколоченный тяготой недопмокъ, весь—
продуктъ и порожденіе кръпостного права. Онъ былъ, по скорбно-саркастическому опредъленію Щедрина, Конягой, поражавшимъ своей живучестью,
и только.

Произошла во всякомъ случат трагическая встртча двухъ міровоззртній — народнаго и интеллигентнаго, при чемъ втрили и признавали, что народъ и интеллигенція могутъ превосходио столковаться другь съ другомъ. Думали дальше, что мы, интеллигенція, знаемъ народъ.

Точно ли знаемъ мы его? Можемъ ли мы его знать? А если мы его знаемъ, то можемъ ли мы его понять? Я не говорю уже о глубочайшемъ фатализмъ земледъльческаго мірососерцанія *), но и кромъ него, какъ объяснять эти буржуазные, мъщанскіе, накопляющіе инстинкты русскаго крестьянина, какъ объяснять то, что стоитъ только человъку изъ народа

^{*)} Это очень важно, и чтобы фатализмъ земледъльческаго міросозерцанія не былъ пустымъ словомъ въ глазахъ читателя, напомню хотя бы слъдующія вотъ строки изъ сочиненій Гл. Успенскаго: "Корнемъ вліяній (на мужика)—говоритъ этотъ замѣчательный писатель,—я долженъ былъ признать природу. Съ ней человѣкъ дълаетъ дъло, непосредственно отъ

отшатнуться отъ него, и онъ начинаетъ маклачить и кулачествовать? Какую дальше цену придать этимъ инстинктамъ?

Щедринъ сурово напоминаетъ хозяйственному мужику, что не о единомъ хлѣбѣ живъ бываетъ человѣкъ. Но мужикъ, конечно, этотъ самый насущный хлѣбъ и заботы о немъ ставитъ на первый планъ своего житейскаго обихода и не можетъ не ставить его. Тургеневъ, который зналъ мужика не хуже нашихъ народниковъ, а пожалуй, что и получше ихъ, писалъ какъ-то Герцену: "Народъ, передъ которымъ вы преклоняетесь, консерваторъ раг excellence и даже носитъ въ сеоѣ зародыши такой буржузаій въ дубленномъ тулупѣ, теплой и грязной избѣ, съ вѣчно набитымъ до изжоги брюхомъ и отвращеніемъ ко всякой гражданской отвѣтственности и самодѣятельности, что оставитъ за собой всѣ мѣтко вѣрныя черты, которыми ты изобразнлъ западную буржузаію въ своихъ письмахъ. Далеко нечего ходить—посмотри на нашихъ купцовъ"...

Тотъ же Тургеневъ написалъ "Новъ" — это удивительное произведение нашей литературы, безконечно грустную сатиру на наше народничество.

нея зависить-чему же она его учить? Она учить его признавать власть и при том власть безконтрольную, своеобразную, капризно прихотливую и бездушно жестокую. Въ самомъ дълъ, чего только не выдълываетъ природа надъ Иваномъ Ермолаевичемъ! По какому-то необъяснимому алорадству она, напр., изсущаетъ его пиву, буквально облитую потомъ. Съ безпощадной жестокостью она не день, не два, а два-три мъсяца подъ рядъ томить его ежеминутно, ежесекундно мыслью о голодъ, о нуждъ, томить и молчить... Ежедневно она безъ всякаго милосердія сулить ему дождь, урожай, съ утра собираются тучи, ходять въ небъ станицами, громоздятся несмътными массами, глыбами, сулять благодать и счастье... Нужно быть на мъстъ Ивана Ермолаевича, чтобы понять ту чистофизическую жажду къ этой тучъ, къ этой водъ, которую сулитъ небо, чтобы понять его страстную муку, страстную внимательность къ этому небу. къ этой тучъ... Вотъ, наконецъ, она собралась, вотъ она тронулась и обложила небо со всъхъ сторонъ, она гремитъ и сверкаетъ, она дышетъ влагою, Иванъ Ермолаевичъ даже собственнымъ горломъ чувствуеть эту влагу и воду, жаждетъ-жаждетъ и ничего! Прошла туча!.. И все это съ безбожнъйшимъ, несправедливъйшимъ равнодушіемъ... Терпи, Иванъ Ермолаевичъ! И Иванъ Ермолаевичъ умъетъ терпъть, не думая, не объясняя, терпъть безпрекословно.

"Онъ знакомъ съ этимъ выраженіемъ на фактъ, на своей шкуръ, знакомъ до такой степени, что ръшительно нътъ возможности опредълить этому терпънію болье или менье точный предълъ". Или: "...Случайности въ природъ онъ (мужикъ) сосредоточиваетъ въ Богъ, случайности всевозможной политики—въ царъ. Царь пошелъ воевать, царь далъ волю, царь раздаетъ хлъбъ. Что царь скажетъ, то и будетъ: деньги платятся царю, а разбирать, что такое урядникъ или непремънный членъ — это уже совершенно ненужная подробностъ" (т. II, 541). А въ поясненіе всего

Digitized by GOOGLE

Однако о "Нови" было принято не говорить, а надъ Тургеневымъ было принято подситиваться, въ чемъ, между прочимъ, не разъ упражнялся и г. Михайловскій.

Но если Тургеневъ правъ, если наша вышедшая изъ народа буржуазія способна заткнуть за поясъ даже западную буржуазію, потому что она дика, какъ лѣсной звѣрь. — то не смѣшно ли самое предположеніе, что кающійся дворянинъ Неждановъ, голова котораго набита сенсимонизмомъ и проектами архигектурныхъ чудесъ XV-го вѣка можетъ столковаться съ Хоремъ, любящимъ жилой запахъ? А Хорь — это сила, дѣйствительная жизненная сила, не считаться съ которой просто смѣшно: сынъ его откроетъ кабакъ или лавку и не ударитъ въ грязь даже въ роли господина Губонина, будетъ превосходно играть на струнахъ народолюбія и

этого Успенскій говорить: "Повинуйся и повельвай до такой степени прочно вбиты природою въ сознаніе Ивана Ермолаевича, что ихъ оттуда не вытащишь никакими домкратами. Непосредственная постоянная связь Ивана Ермолаевича съ природой, отъ которой онъ единственно почерпаеть всв свои свъдънія, взгляды, вкореняя въ основаніе всего жизненнаго обихода Ивана Ермолаевича эти два положенія "повинуйся и повельвай" до такой степени послъдовательно продолжается въ его семейнообщинной жизни, что пошатнуть что бы то ни было во всей этой стройной организаціи нътъ ръшительно ни возможности, ни смысла. Но и кромѣ этого, читатель долженъ согласиться, что всякія попытки человъка, имъющаго о тъхъ же вещахъ понятія книжныя бумажныя и т. д. должны непремѣнно оказаться безплодными. Въ отвътъ на всъ такія книжныя разглагольствія Иванъ Ерм. можетъ отвътить молько одно: "безъ этого нельзя", но это "только" имѣетъ за собой въковѣчность и прочность самой природы".

Жаль, что мужика поняли такъ поздно и нельзя не воскликнуть: "Бъдные и птеллигенты!" Потому бъдные, что они попали въ самое непріятное положеніе. Они не поняли, да и не хотели понять, что крестьянинъ есть собственникъ прежде всего, они дали себя обмануть остатками общиннаго духа, потребительнаго хозяйства, артелей и т. д., они думали, что ихъ идеалъ коммунистическаго благополучія какъ нельзя лучше и проще вивдрится въ народную жизнь. А между тъмъ, на ихъ же глазахъ деревня дълилась на 2 лагеря-хозяйственныхъ мужиковъ, этихъ упрямыхъ мелкихъ буржуа, способныхъ къ ожесточенному владънію собственностью, и голь, для которой единственный выходъ — фабрика. Но что общаго между коммунистическимъ идеаломъ и хозяйственнымъ мужикомъ или невъжественной, неорганизованной голью,--идеаломъ, который, какъ это прекрасно доказывается исторіей, для своего хотя бы кратковременнаго только осуществленія, требуеть оть человъка высочайшаго подъема идеалистическихъ и религіозныхъ его стремленій?..

пріобр'єтать акцін, очарованіе которыхъ для него, разум'єтся, мил'є, ч'ємъ очарованіе жилого запаха.

Уиственный мужикъ идетъ въ буржуазію—воть жизненный фактъ, теперь слишкомъ очевидный, чтобы его оспаривать, но совершенно незамѣтный для интеллигенціи 70-ыхъ годовъ. Не то, чтобы она не знала его, а просто знать не хотѣла, онъ не пугалъ ее, не входилъ необходимымъ элементомъ въ ем мышленіе, онъ не существовалъ для нем, а если и существовалъ, то лишь какъ "грустное явленіе", "какъ ненормальностъ", какъ матеріалъ для нравственнаго суда и нравственнаго осужденія. И догматъ: "интеллигенція и народъ могутъ превосходно столковаться другъ съ другомъ"—не возбуждалъ вначалѣ никакихъ сомнѣній.

Не хотвлось бы этого говорить, а надо: на сцену выступаеть почтн невъроятное самомивніе интеллигенціи и замътьте-интеллигенціи очень немногочисленной и въ масст своей жестоко-некультурной, набиравшейся съ бору да съ сосенки. На ея сторонъ было нъсколько крупныхъ литературныхъ талантовъ, нъсколько проблематическихъ обобщеній несуществующей наукисоціологіи и жажда самопожертвованія---воть все, что было на ея сторонъ. Была еще обида за жестокость жизни, была и жалость къ народу, при полномъ его непониманін. Думали, напр., что земледъльческое міросозерцаніе крестьянина радостно прилішнтся къ высшинь и даже 'коммунистическимъ формамъ общежитія, а вотъ Успенскій, самъ изъ числа мечтателей, говорить, что по строгой логикъ своего земледъльческаго міросозерцанія отвъть мужика "колебателю той или другой язъ основъ долженъ непремънно выразиться въ представленін этого самаго колебателя по начальству" (т. II с. 550). Разберитесь воть хотя бы въ этомъ одномъ противоръчін, и вамъ станетъ ясна вся шаткость надеждъ и упованій нашихъ народниковъ. Но и понятна въ то же время вся настойчивость героической проповеди съ ихъ стороны, все признаніе, что вера двигаетъ горами, потому что кромъ какъ на это, не на что было бы и опереться. Эта/ проповъдь геронама выходила не только изъ больной совести кающагося дворянина, не только изъ гитва, жажды отмщенія и жалости разночинца, но и пзъ смутнаго сознавія, что воистину надо горы сдвинуть съ м'яста, Потомъ п въра не могла не ослабъть и на сценъ лишь невозможность примиренія, лишь отчание, несущее гибель... Туть уже нравственная эстетика на первомъ планъ, красота порыва и отваги, противопоставленная прозъ буденъ и съраго за себя дрожащаго существованія и гложущая жалость сердца.

Философія критической личности.

Въ литературномъ отношеніи эпоху 70-ыхъ годовъ можно начинать съ 1868-го года, когда умеръ Писаревъ, появились "О гечественныя Записки" подъ обновленной редакціей Некрасова, Елисеева, Щедрина— и Арнольди напечаталъ въ "Недълъ" свои замъчательныя и глубоко характерныя для эпохи "Историческія письма".

Точка эрвнія "Историческихъ писемъ" — одного изъ первыхъ на русскомъ язык философско-исторических произведеній -- несмотря на броню, падітую на нее высоко образованнымъ авторомъ - чисто этическая. Это спряжение глагола "быть должнымъ". Это горячій, полный веры призывъ къ борьбе во ния прогресса, цълью котораго объявлено общечеловъческое счастье. Это начто большее, это призывъ къ расплата за та жертвы, которыя уже принесены людьми въ ихъ прошломъ во имя все еще неосуществленнаго. идеала, т. е. идея, которая не иогла не придтись особенно по душть кающемуся дворянину. Это утопія, въ которой нельзя не видіть ни огромной требовательности по отношенію къ каждому отдёльно челов'єку, ни яснаго желанія задіть его совість, представляя ему безмірность ціны прогресса и выставляя на видъ всю полноту его нравственной ответственности передъ страданіями прошлаго и настоящаго. То было тяжкое бремя, добровольно возлагаемое на себя. "Современникъ, — говорилось тогда, — помни, что у тебя нътъ ничего собственнаго. Все, чъмъ ты гордишься, все, что доставляеть тебъ наслаждение, весь комфорть, которымъ ты пользуещься, критическая мысль, освободившая тебя отъ предразсудковъ, — все это стоить страшно дорого и стоить на твоемъ личномъ счету. Расплатись же по этому счету, если у тебя есть честь, совъсть, сознание собственнаго досгоинства"... Каковъ, какъ не этотъ, могъ, д'ействительно, быть смысль такой воть рвчи:

"Исторія не кончена. Она совершаєтся около насъ и будеть совершаться покольніями растущимъ и еще не родившимся. Настоящее нельзя оторвать отъ минувшаго, но и минувшее потеряло бы всякое живое и реальное значеніе, если бы оно не было неразрывно связано съ настоящимъ, если бы одинъ великій процессъ не охватывалъ исторію въ ея цъломъ. Умерли дъятели минувшаго. Измѣнилась культура общества. Новые конкретные вопросы стали на мѣсто прежнихъ. Девизы минувшаго измѣнили смыслъ и значеніе. Но общечеловюческая роль личностей въ настоящемъ осталась та же, что была за тысячи лютъ. Подъ пестрыми формами культуры, въ сложныхъ вопросахъ новаго времени, подъ разнообразными девизами побѣжденныхъ и побѣдителей скрыты все

ть же задачи. Внъ истины и справедливости прогресса никогда не существовало. Безъ личной критики не добыта ни одна истина. Безъ личной энергіи не осуществилось ничто справедливоє. Безъ въры въ свое знамя и безъ умънья бороться съ противниками не восторжествовала ни одна прогрессивная партія. Формы культуры требують для своего развитія работы мысли, какъ и въ минувшія тысячельтія. Великіе точно такъ же мало застрахованы отъ опасности потерять или изм'єнить свой смыслъ. Общественныя условія для возможнаго прогресса не нам'єннянсь. Требованія уплаты за прогрессъ не могуть быть игнорируемы развитою личностью"...

Любопытно отмътить, какъ настойчиво повторяется слово "уплата" въ проповъдяхъ того времени и какъ охотно даже серьезные люди принимають тонъ
моралиста и проповъдника. Создаются формулы прогресса, сочиняются философско-историческіе труды и все это имъетъ единственною, главнъйшею цълью
воздъйствовать на совъсть слушателя, пробудить уснувшую или непросыпавшуюся еще, поддержать колеблющуюся. Атмосфера была насыщена
иравственною отвътственностью, и считалось чъмъ-то пошлымъ и прямо
буржуванымъ говорить о правъ каждаго на личное счастье.

Арнольди постоянно и настойчиво возвращается къ мысли о цене прогресса, о жертвахъ, понесенныхъ человечествомъ.

"Дорого, — продолжаеть онъ, — заплатило человъчество за то, чтобы нъсколько мыслителей, въ своемъ кабинеть, могли говорить объ его прогрессь. Если бы счесть образованное меньшинство нашего времени, число жизней, погибшихъ въ минувшемъ въ борьбъ за его существованіе, и оцънить работу ряда покольній, трудившихся только для поддержанія своей жизни и для развитія другихъ, и если бы вычислить, сколько потерянныхъ человъческихъ жизней и какая цънность труда приходится на каждую личность, нынъ живущую нъсколько человъческою жизнью, — если бы все это сдълать, то, въроятно, иные наши современники ужаснулись бы при мысли, какой капиталь крови и пруда израсходованъ на ихъ развитие. Къ уснокоенію ихъ чуткой совъсти служить то обстоятельство, что подобный расчеть невозможенъ.

"Впрочемъ, слъдуетъ ужаснуться не тому, что прогрессъ меньшинства обощелся дорого, но развъ тому, что онъ обощелся такъ дорого и что за эту цъну сдълано такъ мало. Если бы меньшинство ранъе и старательнъе позаботилось о распространеніи около себя развитія, пріобрътеннаго въ области культуры и мысли, то число потерянныхъ жизней и труда было бы не такъ велико, сумма, приходящаяся на каждаго изъ насъ, была бы менъе, и не увеличивалась бы такъ громадно съ каждымъ поколъніемъ. Надъ законами естественной необходимости мы не властны, а потому раз-

судительный человъкъ долженъ съ ними помириться, ограничиться ихъ спокойнымъ изследованіемъ и, насколько возможно, воспользоваться ими для своихъ цълей. Не властны им и надъ исторією, прошедшее доставляеть намъ лишь факты, которые могуть намъ иногда служить для исправленія будущаго. За грежи отцовъ мы ответственны лишь настолько, насколько продолжаемъ эти гръхи и пользуемся ими, не стараясь ясправить ихъ последствій. Мы властны въ некоторой степени лишь надъ будущимъ, такъ какъ ваши мысли и наши действія составляють матеріаль, изъ котораго организуется все содержание будущей истины и справедливости. Каждое покольніе отвытственно передь потомствомь за то лишь, что оно могло сдълать и чего не сдълало. Поэтому и намъ, въ виду суда потоиства, предстоить решить вопросы: какая доля неизбежнаго, естественнаго зла лежить въ томъ процессъ, который мы называемъ громкимъ нменемъ историческаго прогресса? Насколько наши предки, доставившіе намъ, цивилизованному меньшинству, возможность воспользоваться выгодами этого прогресса, безъ нужды увеличивали и продолжали страданія и труды большинства, выгодами прогресса никогда не пользовавшагося? Въ такомъ случать ответственность за это эло можеть пасть и на насъ въ глазахъ будущихъ покольній.

"Въ виду этого мы должны признать, что выгоды современной цивилизацін оплачены не только непзовжнымъ зломъ, но еще огромнымъ количествомъ совершенно ненужнаго зла, ответственность за которое лежить на предыдущихъ покольніяхъ цивилизованнаго меньшинства, частью по беззаботности, частью по прямому противодъйствію всякой цивилизующей дъятельности. Исправить въ прошедшемъ это зло мы уже не можемъ. Страдавшія покольнія умерли, не облегченныя въ своемъ трудь. Нынышнее цивилизованное меньшинство пользуется ихъ трудомъ и страданіями. Мало того: оно пользуется еще страданіями и трудомъ огромнаго числа свонхъ современниковъ и можетъ вліять на увеличеніе труда и страданій ихъ внучатъ. Такъ какъ за это послъднее обстоятельство мы несли и будемъ нести нравственную отвътственность передъ потомствомъ, то историческое изследование цены совершавшагоси прогресса приводить къ следующему практическому вопросу: какія средства имфеть настоящее поколфніе, чтобы уменьшить свою отвътственность? Если бы живущія личности различнаго развитія спросили ссоя: что намъ делать, чтобы не отвечать передъ потоиствоиъ за новыя страданія челов вчества?"

Чтобы не нести этой страшной правственной отвітственности и чтобы расплатиться за прошлыя жертвы, человікть долженть знать, что главнымъ дівятелемъ прогресса является критически мыслящая личность, которая ставить ціли (идеалъ) и осуществляеть нхъ.

По прямолинейности это почти писаревская точка зрѣнія. Критическая мысль превознесена, ей воспѣть гимнъ, на нее возложены всѣ упованія. Если она разрушила родовой строй, создала науку, искусство, воспитаніе, раздѣленіе промышленныхъ работь, политическія формы государственной жизни, то можемъ ли хоть на минуту сомнѣваться въ ея великомъ предназначеніи для будущаго. Посмотрите, какъ тщательно удалены всѣ безчисленные элементы культурной эволюціи—дѣятельность подражанія, самостоятельное развитіе формъ жизни путемъ развитія внутреннихъ противорѣчій и т. д. Только критическая мысль объявлена всемогущей, только въ ней сосредоточилось все доброе исторіи. Она выработала, вырабатываеть и выработаетъ еще обстановку общаго счастья и благоденствія. Конечно, ей отводится первое мѣсто и въ разрѣшеніи экономическихъ неудобствъ и золъ нашей жизни...

Опровергать туть въ сущности нечего. Это — въра цълой эпохи, такой далекой отъ насъ по своему духовному строю, что намъ почти невозможно проникнуть въ ея истинное настроеніе. Въ этихъ нъсколько неуклюжихъ гимнахъ Арнольди чувствуется и живое слово, и "духъ живъ", чувствуется въра, исходившая изъ таниственныхъ глубинъ человъка. Это не фразы, не наборъ словъ, не систематическое изложение тъхъ и другихъ взглядовъ-это нетеривливый, нервный катехизись, бывшій такъ страшно нужнымъ для людей, считавшихъ себя призванными дълать исторію п нравственно отвітственными за ея ходъ, за всі прошлыя и современныя ниъ страданія человъчества... Измученная совъсть кающагося дворянина, старо - бар ская щедрость значительно пресыщеннаго и утомленнаго духа, интеллигентная гордость разночинца, смело противоставившая свою критику "векамъ и народамъ" - все соединилось для того, чтобы создать эти искренніе, свътлые и бодрящіе призывы. Можно целикомъ отрицать эти мысли, можно не видеть въ нихъ ни крупицы научности, но нельзя смеяться надъ восторженными р'вчами фанатика, готоваго умереть за свои иллюзіи и призраки.

Эта въра, повторяю, —поражаеть своею огромностью и, быть можеть, причиной этой огромности было то, что выросла она на чисто нравственной почвъ отвътственности передъ счастьемъ и злополучіемъ людей. Не были спокойны люди, мучительно тревожились они, видя себя окруженными несчастьемъ и страданіемъ. Страшно ненавидъли они всю эту скверность жизни, всю ея жестокость, и ихъ ненависть была тижелой бользнью. Ничто не ослабляло ея, кромъ мысли, что зло и неправда сейчасъ же должны быть упразднены, что люди для этого могутъ и должны пожертвовать даже личнымъ своимъ бытіемъ. Нравственныя начала окрашивали собою проповъдь, въ этихъ воззваніяхъ слышался упрекъ равнодушію и объ

щаніе блаженства. Они усиливались еще воспоминаніями о жертвахъ, уже принесенныхъ Молоху цивилизація, и эти воспоминанія, очевидно, стремились пробудить совъсть, стыдъ и вдохновить на новые подвиги устававшихъ борцовъ...

Я думаю, что представление эпохи о смысл'в жизни, способахъ борьбы со эломъ, счасть вличномъ и общечеловъческомъ имъють огромное значение для ея пониманія. Эта философія исторіи отражается и въ критикъ, и въ поэзіи, и беллетристнкъ. Это центральный пунктъ, который суммируетъ въ счастье. Не зная философіи исторіи даннаго времени, вы не знаете его психологіи. Поэтому я позволю себъ еще немного остановиться на ученіи Арнольди о прогрессъ, точнъе же его формулъ прогресса, почти безъ перемъны принятой въ настоящее время многими, напр., Максимомъ Ковалевскимъ.

"Чтобы отвътить на вопросъ, въ чемъ могъ состоять прогрессъ, приходится прежде всего опредълить его элементы и отыскать въ разнообразныхъ процессахъ, охватываемыхъ словомъ, развитіе, то, что для насъ представляетъ стремленіе къ лучшему.

"Здѣсь намъ представится два процесса, въ которыхъ мы не можемъ не признать, съ перваго же взгляда, процессовъ прогрессивныхъ, но которые какъ бы различаются настолько, что могутъ оказаться противорѣчивыми и дѣйствительно входили между собою въ столкновеніе въ реальной исторіи.

"Предъ нами ростъ личной мысли, съ ея техническими изобрътеніями, съ ея научными завоеваніями, съ ея философскими построеніями, художественными созданіями и правственнымъ героизмомъ. Предъ нами солидарность общества съ ея основными побужденіями: "каждый за всъхъ, всъ за каждаго", "всъмъ все необходимое для жизни и развитія, отъ каждаго всъ его силы для работы на общественную пользу, для общественнаго блага, для общественнаго развитія".

"Ростъ сознательныхъ процессовъ въ личности, развитіе личности въ области мысли, есть безспорное для насъ явленіе прогресса. Тъ условія которыя обезпечивають наибольшій и наибыстръйшій рость личной мысли въ человъчествъ, суть, вслъдствіе этого, условія прогресса.

"Съ другой стороны, прочность общественной связи является необходимымъ условіемъ здороваго существованія общества и благосостоянія особей въ него входящихъ. Поэтому все, скръпляющее эту связь, является намъ элементомъ благодътельнымъ, прогрессивнымъ; все, ослабляющее эту связь, все, вызывающее вражду въ обществъ, создающее неравенство въ его средъ, есть для насъ явленіе патологическое, регрессивное. Идеаломъ общества является для насъ въ этомъ отношеніи общество личностей равныхъ, солидарныхъ другъ съ другомъ по своимъ интересамъ и по своимъ убъжденіямъ, живущихъ при одинаковыхъ условіяхъ культуры и устранившихъ, по возможности, изъ своей среды всъ враждебные другъ другу аффекты, всякую форму борьбы за существованіе между членами общества".

"Прогрессь (такинь образонь) есть рость общественного сознанія, насколько оно ведеть къ усиленію и расширенію общественной солидарности, онъ есть усиленіе и расширеніе общественной солидарности, насколько она опирается на растущев въ обществь сознаніе. Органомь прогресса является развивающаяся личность, вню дъятельности которой прогрессь невозможень, которая, въ процессь развитія своей мысли, открываеть законы общественной солидарности, законы соціологіи, прилагаеть эти законы къ современности, ее окружающей, и въ процессь развитія своей энергіи находить пути практической дъятельности, именно перестройки окружающей его современности во имя своего знанія".

Важна, впрочемъ, для насъ не сама формула, важно положеніе, что "вні діятельности развивающейся личности прогрессъ невозможенъ", и изъ этого простого соціологическаго положенія вытекала уже вся этическая система Арнольди. Во имя своего долга передъ человічествомъ, во имя своей отвітственности передъ принесенными уже жертвами личность обязана стремиться къ развитію. Это развитіе даетъ ей истинное наслажденіе собственнаго сознаваемаго роста и вмісті съ тімъ вызываеть желаніе и потребность предоставить возможность и условія развитія встомъ людямъ, которые по своей внутренней цінности равны и одинаковы. Высшимъ проявленіемъ нравственной діятельности является поэтому творчество новыхъ соціальныхъ формъ, т. е. формъ, наиболіве способствующихъ возможности общаго развитія, въ непрестанности и успішности котораго находятся всі условія человіческаго счастья.

Народничество.

Съ значительнымъ основаніемъ можемъ мы смотріть на народничество, какъ на синтезъ, или, візрніве говоря, какъ на попытку синтеза двухъ основныхъ теченій русской мысли: западничества и славянофильства. Разумівется, это замівчаніе относится только къ теоретической части народничества, которое однако никогда не иміло вида строго разработанной, систематизированной доктрины. Это было ученіе чисто органическое, т. е. такое, которое отвічало не однимъ потребностямъ разсудочной мысли, а и потребностямъ воли, т. е. мечты, надежды, стремленій. Воспитанные препмущественно на образцахъ западной мысли, на теоріяхъ французскихъ утопистовъ, какъ на фундаменть, — народники продолжали діло западниковъ,

развивая и обостряя ихъ критику окружающихъ условій, относясь съ полнымъ и непримиримымъ отрицаніемъ ко всей совокупности и ко всёмъ частностямъ доктринъ оффиціальной народности. Только въ Россіи неоффиціальной, крестьянской прежде всего, — они видёли существованіе такихъ устоевъ, опираясь на которые, по ихъ миёнію, можно было питать самыя смёлыя надежды. Этими устоями были артель, община, кустарная промышленность и иные остатки "первобытнаго хозяйства", какъ называють это явленіе западные соціологи. Это сближало народниковъ съ славянофилами.

Что же отличало народниковъ 70-хъ годовъ отъ народничества-соціализма 60-ыхъ, главнымъ представителемь котораго былъ, какъ мы видъли, Чернышевскій? Не программа — нѣтъ. Программы тѣхъ и другихъ совпадали по всѣмъ существеннымъ пунктамъ. Но разница во времени вызвала и различіе въ настроеніи. Народничество 70-хъ годовъ имѣло передъ собой уже совершившійся фактъ— капитализаціи русской промышленности, а отчасти и земледѣлія. Для Чернышевскаго же это было дѣло будущаго, устраненіе котораго вполнѣ находилось во власти людей. И потому тамъ, гдѣ Чернышевскій обращался къ разуму для предупрежденія и устраненія, народники должны были звать къ борьбѣ, къ героическимъ порывамъ и поступкамъ, которые не только бы направили жизнь по надлежащему руслу, но и повернули бы ее съ одного русла на другое.

Раціоналистическая этика 60-хъ годовъ замѣнилась героической и абсолютной 70-хъ.

Народничество какъ народолюбіе, какъ признаніе за народомъ первенствующаго значенія въ общественной и государственной жизни, какъ стремленіе опереться на народные уклады жизни, не представляло изъ себя чего-то единаго, а напротивъ того, раздълялось на толки и направленія, усиленно даже враждовавшія одно съ другимъ. Многое раздъляло и прежде всего самое понятіе народа.

Понятіе народа въ русской литературъ—категорія чисто историческая. Съ какой-то странной, чисто механической правильностью оно мънялось каждое десятильтіе,—на которыя судьба подраздълила ходъ развитія русской мысли. Отъ народа — "Идемъ — бъжниъ", перешли къ народу-Горемыкъ; затымъ върили въ народъ, исполненный стремленія къ свободъ, съ затаеннымъ, но сильнымъ чувствомъ собственнаго достоинства (Добролюбовъ и его школа), явился наконецъ народъ-учитель, передъ которымъ оставалось только снять шапку и низко-низко поклониться въ тайной надеждъ, что онъ своей въковой мудростью, безкорыстіемъ своей правды,

выросшей на почвъ въковыхъ сграданій, излъчить интеллигентную душу оть всякой скверны и убълить ее бълъе снъга. Такъ и сдълали Достоевскій, Толстой и одновременно съ ними въ грубой, топорной формъ почему-то такъ безжалостно забытый и всъми пренебрегаемый (даже народниками, которымъ ужъ оно совсъмъ не къ лицу) І. Юзовъ. Нечего, конечно, и говорить, что, одинаково, представленіе о народъ, какъ о стадъ и быдлъ ни на минуту не покидало извъстную часть нашей литературы, но какъ ни могущественна была эта часть въ сферъ своей спеціальности,—на общественную мысль собственно она оказывала вліяніе самое незначительное.

Впрочемъ, какъ ни различны опредъленія понятія "народъ", въ основъ его всегда лежало и лежитъ еще понятіе простонародья и мужика. Это своеобразное наслъдіе нашей исторіи, остатокъ дореформеннаго кастоваго строя, отръшиться отъ котораго мы никакъ не въ состояніи.

Какъ ни различны опредъленія отъ "народь—это мужикъ", до "народь—это трудящіеся классы общества, живущіе исключительно на заработокъ", но для народничества собственно они не характерны. Характерно такое опредъленіе: народъ — это трудящияся крестьянская масса, живущая въ особыхъ экономическихъ (общиное землевладъніе, артель, кустарная промышленность п т. д.) и обычно правовыхъ (міръ) условіяхъ. Народники върпли, что эти экономическія условія представляють изъ себя своего рода устои, почему одной изъ основныхъ догиъ народничества была такая:

Для нась, русскихь, путь западнаго экономическаго развитія не обязателень. Мы можемь пойти своимь путемь, опираясь на устои крестьянской хозяйственной жизни.

Еще больше, чёмъ понятіе народа, разд'яляль д'яйствительно трудный вопросъ: съ чёмъ слёдуеть (или слёдовало бы) согласоваться — съ миёніями или интересами народа. Въ различныхъ рёшеніяхъ этого вопроса особенно ясно отразилось преобладаніе славянофильской или западнической струи. Начну съ преобладанія первой.

I. Юзовъ. (О. И. Кабляцъ). (1848—1893). Въ одномъ изъ некрологовъ Юзова-Каблица мы читаемъ:

"Народничество—любимый терминъ покойнаго, было символомъ любовнаго и внимательнаго отношенія къ народу, прислушиванія не къ одной только нуждѣ его (радикальное направленіе), но и къ его думамъ, чувствамъ, всему нравственному и умственному строю, безъ какого-либо признанія за собою права насильственно измѣнять его, по и безъ чув-

ства обязанности быть съ нимъ безусловно слитымъ—что часто не можетъ быть сдълано искренно.

"Достаточно было хотя несколько знать покойнаго, или раскрыть и прочесть несколько страниць изъ его книги, чтобы почувствовать въ собеседнике или авторе прежде и ярче всего золотое сердце. Признаемся, выслушивая иногда его умныя и сложныя соображенія, или ссылки на авторитеты, еще недавно такъ значущіе и теперь такъ поблекшіе (какъ Спенсеръ и др.), мы никогда не могли быть такъ внимательны къ нимъ, какъ этого желалъ бы покойный: сквозь всё эти разсужденія и ссылки мы видёли нечто гораздо боле свётлое и прочное, чёмъ оне, соемсть, которая никогда и ни съ кёмъ его не допустила бы до насилія. Отсутствіе притесненія, въ какой бы форме оно ни совершалось, отъ кого бы ни исходило, ради какихъ бы цёлей ни начиналось, было краеугольнымъ камнемъ всего его міросозерцанія, всякой беседы, каждой страницы его писаній; и, съ тёмъ вмёсте, онъ вовсе не былъ либераломъ".

Юзовъ въ своемъ народничествъ ближе всего къ славянофиламъ. Отъ народа, его общинно-мірскихъ укладовъ, его характера онъ приходилъ въ восторгъ и умиленіе. Общинно-мірскіе уклады жизни не были въ его глазахъ формою хозяйственныхъ отношеній ни прежде всего, ни исключительно-они были воплощениемъ нравственной стороны народнаго духа. Этоть духъ высокъ и крвнокъ; онъ не ищеть матеріальной выгоды, не соблазняется ею; онъ ищеть и хочеть правды жизни. Онъ достоннъ того, чтобы въ него пов'врили, чтобы его уважали какъ святыню. И поэтому мнюнія народа тоже святыня, которая не подлежеть никакимъ ни интеллигентнымъ, ни бюрократическимъ, ни интеллигентно-бюрократическимъ экспериментамъ, ни улучшеніямъ. Улучшенія нужны, конечно, но самъ народъ лучше всего знаетъ, что ему нужно, и въ этомъ случат не только необходимо его выслушать, но необходимо и слушаться его. Юзовъ не то чтобы отрицалъ интеллигенцію и ея возможную роль въ жизни народа, по онъ не довъряль ей. Онъ любилъ распространяться о ея дряблости, книжности, теоретичности, объ отсутствін у нея живого знанія жизни, заивняемаго мертвымъ знаніемъ журнальныхъ статей; онъ боялся ея сближенія съ народомъ, ея экспериментовъ. Мечта его заключалась въ томъ, чтобы только помогать народу идти, куда онъ хочеть, куда онъ самъ выбивается. Лучше всего даже не помогать, а только не мъщать. Очевидно, что любимая мысль Константина Аксакова о совершенствъ вравственныхъ (но не религіозныхъ) основъ народной жизни крепко сидела въ душе Юзова, и онъ пугливо отстранялся отъ всякаго "насилія" надъ мивніемъ народа все равно съ какою бы цёлью ни производилось оно. Народъ онъ защищаль до конца. Готовъ быль защищать даже сожжение колдуновъ и въдьмъ, даже обращение съ "бабами". Вылъ же онъ въ концъ концовъ темъ, что мы назыгаемъ благороднымъ мечтателемъ, но съ очень опредъленной гидеей. Главное его сочинение "Основы народничества".

В. В. (Воронцовъ). Воронцовъ—навъстный экономисть и очень смутный, нудный философъ. Имъ написаны: "Судьбы капитализма въ Россін", "Крестьянская община", "Прогрессивныя теченія въ крестьянскомъ хозяйствъ", "Очерки кустарной промышленности", "Наши направленія". По существу онъ довольно близокъ къ Юзову и довольно далекъ отъ "Отечественныхъ Записокъ", гдъ однако постоянно работалъ. Онъ самъ себя называетъ народникомъ и совершенно основательно.

Основными положеніями его народинчества являются следующія:

"Итакъ—интересы народа, какъ цёль, формы вырабатываемыя его коллективною мыслью, или другія, соотвётствующія его желаніямъ, какъ средства, и самод'єятельность населенія, какъ рычагъ общественной эволюцін—таковы три положенія, характеризующія народничество, какимъ оно опред'єлилось въ пореформенную эпоху нашей исторіи. Практическое осуществленіе этихъ ріа desideria требуетъ умственнаго подъема массы, который поэтому и поставленъ, какъ главная задача переживаемаго момента".

Эта программа шпре юзовской, культурнъе. Народничество Юзова—сермяжное; у Воронцова оно, если можно такъ выразиться, въ нъмецкомъ платъъ. Но умиленіе передъ общиннымъ землевладъніемъ, но недовъріе къ интеллигенціи, боязнь ея одинакова у обонхъ.

"Изученіе,— говорить, напр., В. В.,— обнаружило во наробной средов наличность таких формо быта и таких возгроній, которыя лучше других, досель осуществлявшихся въжизни, соотвытствують требованіямь, какія можно предъявить обществу съточки зрынія идеальных представленій о правды и справедливости".

Нечего и говорить что изъ "такихъ" формъ быта первое мѣсто занимаеть община—этотъ нашъ исконный, драгоцѣнный укладъ, на самостоятельное развитіе котораго В. В. и возлагаетъ всѣ свои упованія. Поэтому главная его задача сводится къ тому, чтобы слѣдить за прогрессивными явленіями въ крестьянскомъ хозяйствѣ и тщательно отмѣчать ихъ всѣмъ на удивленіе.

Опредъленнаго отвъта на вопросъ, чего надо держаться—мнѣній или интересовъ народа, В. В. не далъ. Похоже на то, что этого вопроса во всей ръзкости для него и не существуетъ. Онъ успокоился на мысли, что уклады нашей народной жизни лучше другихъ соотвътствуютъ идеальнымъ представленіямъ о правдъ и справедливости. Такими считаетъ ихъ самъ народъ, такими долженъ считатъ пхъ всякій порядочный человъкъ.

:Народу прежде всего надо не мѣшать и содѣйствовать не его экономической эволюціи, а лишь умственному развитію.

Близость В. В. къ Юзову и славянофильству очевидна. Опять-таки все сводится къ выуживанію отрадныхъ и прогрессивныхъ фактовъ крестьянской жизни. Эта близость не разъ отивчалась въ печати. Напр., по адресу В. В. "Въстинкъ Европы" говоритъ:

"Что касается этическаго вопроса, извёстно, что именно из этомъ давно настанвала славянофильская школа, утверждавшая, что русскій народъ носить въ себё высшія нравственныя начала, неизвёстныя европейскому Западу, даже, что онъ есть единственный истинный христіанскій народъ. Рискованно также сказать, будто бы до народниковъ у нашихъ экономистовъ и публицистовъ не было представленія объ особыхъ условіяхъ экономической жизни русскаго земледёльческаго народа. Въ обоихъ случаяхъ вёрнёе бы было просто сказать, что экономисты, называющіе себя народниками, только дальше ведуть дёло изслёдованія, начатое ихъ предшественниками".

Народники государственники. Программа ихъ очень проста: Иниціативу "прогресса" и руководительство имъ береть на себя государство (т. е. бюрократія), которое и дъйствуеть въ интересахъ народа. О самодъятельности народа или о его мивніяхъ туть не было уже річи. Эта программа какъ бы была списана съ діятельности іезуитовъ въ Парагвать: іезуиты обезпечивали новообращеннымъ матеріальное довольство и спокойствіе совъсти на томъ условін, чтобы ті не разсуждали, не сомніввались, не думали, а только слушались. Здіть весь идеаль въ счасть сытаго стада...

Критическое народничество.

Народничество "Отечественныхъ Записовъ" нъчто другое, или, во всякомъ случать, нъчто гораздо болъе сложное, имъющее съ корнемъ народничества, т. е. славяпофильствомъ лишь то общее признаніе, что путь западноевропейскаго экономическаго развитія для насъ не обязателенъ. Въ программъ "От. Зап". гораздо даже болъе въры въ интеллигенцію, въ критическую мысль, чъмъ въ народъ собственно и уклады его жизни, хотя г. В. В., повторяю, постоянно работалъ въ этомъ журналъ. По основному вопросу "кого считать народомъ?" "От. Зап." въ лицъ г. Михайловскаго отвъчали: "всъ трудящіеся классы общества". По другому вопросу: "держаться ли мижній или интересовъ народа? "От. Зап." старались держаться синтеза, но, очевидно,

склонялись въ пользу "нитересовъ". По этому поводу любопытныя разъясненія мы находимъ въ одной изъ позднихъ статей Н. К. Михайловскаго. Напр.:

"Представимъ себъ, что вы, читатель, присутствуете при той "эксилуатаціи народнаго невъжества" какимъ-нибудь колдуномъ, которую г. Юзовъ росцисалъ даже черезчуръ яркими красками: не то, чтобы колдунь такъ ужь кого захочеть отравляль, но, положимь, онь держить въ страхъ все окрестное населеніе, върующее въ его сверхъестественную силу, и береть съ него всякаго рода дани. Въ интересахъ населенія, если вы таковые признаете достойными вашего вниманія, вы постараетесь упразднить вліяніе колдуна, и именно для этого должны будете встать въ оппозицію къ мижнію о его могуществъ. Представимъ себъ лалъе, что, по мивнію выведеннаго наконець изъ терцвнія народа, колдуна надо сжечь. Я надъюсь, что вы не испугаетесь громовъ г. Юзова насчеть "покровительства" и "писанной торбы" и ръшительно не согласитесь съ этимъ мивніемъ народа; и при этомъ, препятствуя всеми доступными вамъ средствами совершенію варварскаго преступленія, вы будете дъйствовать въ интересахъ народа. Въ послъдніе холерные безпорядки мивніе народа состояло въ томъ, что холеру пускають господа въ подворную трубу, а хлъбъ раздаютъ голоднымъ слуги антихриста. Вы можете какъ вамъ угодно думать о происхождени подобныхъ мивній. винить въ ихъ существовани самихъ "господъ", скорбъть объ общемъ порядкъ вещей, порождающемъ такія отношенія, но съ самыми мизніями согласиться не можете. Именно не можете, хотя сообразоваться съ ними, т. е. имъть ихъ въ виду и поступать съ соотвътственною осмотрительностью вамъ, конечно, придется. И это будеть въ интересахъ народа. Не можете вы согласиться и съ тъмъ, напримъръ, очень распространеннымъ въ народъ мивніемъ, что мужъ имветъ право "учить" жену, т. е. чуть не на смерть ее заколачивать, и т. п. Это не значить, чтобы народъ не имъдъ иныхъ мнъній, кромъ нельпыхъ и безобразныхъ. Это аначить только, что, разбираясь въ мивніяхъ народа, вы по необходимости одни изъ нихъ признаете правильными, а другія отвергаете, какъ неправильныя, и иного критерія, какъ ваше собственное, личное мивніе, не имъть и имъть не можете при этой разработкъ. Ваше миъніе можеть, конечно, оказаться ошибочнымь, но признаете его таковымъ вы только тогда, когда вамъ это докажуть, а не тогда, когда укажуть на разногласіе вашего митнія съ чьимъ бы то ни было, въ томъ числъ и съ миъніемъ народа. Поступаться своими интересами ради интересовъ народа или вообще кого бы то ни было-возможно, и при извъстныхъ обстоятельствахъ на этой почвъ произрастаютъ цвъты и плоды великодушныхъ подвиговъ. Поступаться же своими мижніями — фактически нельзя; можно лишь подчиниться чужимъ мнъніямъ и затаить свои собственныя "страха ради іудейска" или по инымъ побочнымъ соображеніямъ, при чемъ очень часто это не только не подвигъ какой-нибудь, а дрянная трусость или лицемъріе. Поэтому человъкъ, для котораго интересы народа священны, совстить не обязанть признавать таковыми же и его мивнія. Великое для него счастіе, если его мивнія совпадають съ мнъніями народа, и великое несчастіе, если они расходятся, но измъною

своимъ мнѣніямъ эта трагедія не разрѣшается, потому что верховнымъ судьей конфликта остается все-таки наше собственное сознаніе и наша собственная совѣсть. И это фатально, никакими изворотами мысли, а тѣмъ болѣе слова—неотвратимо".

"Отечественныя Зап." слишкомъ върили въ интеллигенцію, въ силу и мощь критической личности, которая должна освободить Россію отъ бъдствій западно-европейской экономической эволюціи, чтобы непосредственно примкнуть къ народничеству. Но у нихъ было народолюбіе, было уваженіе къ устоямъ народной хозяйственной жизни, истиннымъ ихъ героемъ являлся интеллигентъ, посвятившій свои силы служенію народу и его интересамъ, они върили, что при энергической работъ и героизмъ критически мыслящихъ людей, сохраняющихъ и развивающихъ народно-хозяйственные устои возможно миновать стадію капитализма, пролетаріата, мъщанскихъ правовыхъ формъ жизни и устроить здъсь на землъ крестьянское интеллигентное царство. Впрочемъ, надо замътить, что въ первой половинъ 70-хъ годовъ "От. Зап." были гораздо ближе къ народничеству, чъмъ во второй или въ началъ 80-ыхъ.

"Отечественныя Записки" (1868 — 1884). Перехожу въ журналистикъ и главному органу этого времени — "Отечественнымъ Запискамъ". Въ центръ программы этого замъчательнаго журнала стоялъ "мужикъ", "мужицкое счастье" и то самое крестьянское царство, о которомъ мечталъ раньше "Современникъ". Собственно даже "От. Зап." были прямымъ продолженіемъ "Современника". Ихъ редакція состояла изъ тіхъ же липъ: Некрасова, Елисъева, Щедрина. Не доставало лишь М. Антоновича и Ю. Жуковскаго, но ихъ съ большинъ успъхонъ заменилъ Н. К. Михайловскій, въ въдъніе котораго съ 1870 г. перешло все обществовъдъпіе, а отчасти и литературная критика. Мало отличались "Отечественныя Записки" отъ "Современника" и по тону, хотя онъ былъ нъсколько сдержаннъе и литературно болъе обработаннымъ. "Современникъ" былъ началомъ, "Отечественныя Записки"—завершеніемъ. Онт, въ духт времени, говорили о долгь, нравственной отвътственности, расплать съ народомъ-Онъ требовали геронама и самопожертвованія. Находясь въ полной оппозицін къ бюрократін, все яснъе вступавшей на путь политической и общественной реакціи, он' главную свою надежду возлагали на вителлигенцію и на народъ. Въ лице Елисевва оне верили, что въ народной жизни кроется самовозрождающаяся сила. Интеллигенція лишь должна дать толчокъ. Отсюда идеализація крестьянства и той части интеллигенціи, которая ему самоотверженно служила. Эта идеализація гораздо больше, слышиве, замътнъе, чвиъ въ "Современникъ" и, на ряду съ полнымъ и окончательнымъ недовъріемъ къ оффиціальному государству, составляеть характернъйшую особенность физіономін журнала.

Интересъ къ мужику и мужиколюбіе, пдеализація крестьянства и візра въ него,—а у болізе скептических умовъ, страстное желаніе постичь мужика, чтобы точно знать, какъ и въ какой мізріз можно на него разсчитывать— были, повторяю, потребностью и насущнізйшей потребностью эпохи.

Ссиндесятые годы вообще находились подъ знакомъ. "мужика", который и былъ точкой приложенія ихъ силъ. Одинъ изъ современниковъ, жившій тогда въ провинціи, въ самомъ центрѣ Россіи, такъ характеризуеть ту эпоху. Характеристика неполная, но интересная:

"Всякій сирашиваль себя съ недоумфніемъ, откуда это взялось, и вмъсть съ тьмъ каждый невольно подчинялся тому же настроенію. Стоило только сойтись двумъ-тремъ интеллигентнымъ людямъ, хотя бы самаго различнаго общественнаго положенія, начиная съ предводителей дворянства и кончая студентами университета, какъ немедленно же разговоръ ихъ, точно руководимый какою-то стихійною силою, обращался къ мужику, условіямъ его жизни, его силъ и его безсилію. Въ сущности только этимъ и интересовались. Всъ съ грустью чувствовали и сознавали, какъ недосталочно ихъ знакомство съ реальной крестьянской жизнью, поставленной, благодаря недавнимъ реформамъ, въ совершенно особенную обстановку, и отъ всей души создавали широкіе планы экономическихъ, статистическихъ и иныхъ изслъдованій, которыя должны были наконецъ перекинуть мостъ отъ барина къ мужику. Нетерпъливые съ итъкоторымъ презръвіемъ относились къ проектамъ такихъ работъ и пли въ народъ прямо, надъясь на свою интуицію, армяки и полушубки.

.Пробовали свои силы. Иумали и стремились отръщиться отъ фразъ какъ бы высоки онъ ни были и какъ бы красиво ни звучали составлявшія ихъ слова. Искали прежде всего дъла, настоящаго дъла и винили отцовъ за то, что тъ говорили слишкомъ много и ничего, кромъ словъ, послъ себя не оставили. Одно время было даже въ модъ жениться на крестьянкахъ и распространить такимъ образомъ народническую доктрину и на свою личную и семейную жизнь. Что въ большинствъ случаевъ выходило изъ этихъ браковъ-представить себъ не трудно, но они гармонировали съ настроеніемъ и ръшительно никого не удивляли: до того вся атмосфера была переполнена призывомъ къ сліянію. Каждая книга журнала приносила въ изобиліи въсти изъ мужицкаго міра. Талантливъйшіе публицисты подъ вліяніемъ всеобщей экзальтаціи писали: "пусть съкутъ, мужика съкутъ же". Многіе и притомъ совершенно искренно избрали на все "мужицкую" точку арънія или, по крайней мъръ, такую, которая казалась имъ самой естественной для мужика и наиболье отвъчающей его интересамъ. Кто пережилъ то время, тотъ превосходно знаетъ, какъ неправы люди, считавшіе все это однимъ маскарадомъ и нездоровымъ случайнымъ повътріемъ! Напротивъ того, все дълалось изъ глубины души. Совъсть заставляла расплачиваться за въковыя обиды, нанесенныя

мужику крѣпостнымъ правомъ, культурою и образованностью. Всѣ брали этотъ историческій грѣхъ на себя, никто не пугался огромности предъявленнаго счета, потому что искали жертвы и самопожертвованія*.

Доказать превосходство крестьянскаго царства надъ другими царствами вообще, утвердить читателя въ мысли о его возможности и необходимости сліянія народа и интеллигенцій, при чемъ народъ дастъ высокій типъ своей жизни, а интеллигенцій степень своего развитія; воплотить въ общественной жизни правду-истипу (науку) и правду-справедливость; дискредитировать бюрократію; дискредитировать русскій либерализмъ и его надежды на реформы, на общественную самодъятельность; убъдить встать въ недостаточности однихъ только гражданскихъ преобразованій— воть пункты программы "Отечественныхъ Записокъ", которые должны выясниться намъ изъ характеристики главныхъ сотрудниковъ журнала: Щедрина, Елистева, Михайловскаго, Успенскаго, Златовратскаго, Скобичевскаго. Изъ случайныхъ крупныхъ сотрудниковъ "От. Зап.", надо отмѣтить Достоевскаго и О стровскаго.

Г. 3. Елистевъ (1821 — 1891), — собраніе сочиненій котораго такъ долго заставляеть себя ждать, быль все время вторымъ редакторомъ "Отеч. Зап.". Происходя изъ духовнаго званія, онъ отличался большими способностями, долгое время занималь мъсто профессора казанской духовной академін, но когда тамошніе порядки пришлись ему не по душть, прітькаль въ 1858 году въ Петербургь и здісь быстро сошелся съ редакціями "Искры" и "Современника". Свое литературное положение онъ упрочилъ, глявнымъ образомъ, внутренними обозрѣніями въ "Современникъ" (1861 — 1866 г.) и, какъ думають нъкоторые, создаль типъ этого существеннаго отдела нашей журналистики. Человекъ живой дъйствительности, съ практической складкой ума, недолюбливавшій философствованій вообще — онъ цінель жизненные факты въ полнотів ихъ значенія, отнюдь однако не подчиняя имъ своей духорной свободы. Центръ его помышленій составляль—народь, что по тому времени значило мужнкъ, и главнымъ вопросомъ представлялся ему всегда такой: какъ та или другая м'бра, какъ то или другое явленіе жизни отразятся на жизни народа, т. с. мужика. Онъ былъ народникомъ въ томъ сиыслъ, что твердо признавалъ общину, артель, кустарные промыслы, но въ народническую утопію, т. е. въ немедленное обращеніе этихъ утопій въ идеальную форму общежитія онъ не віриль. Для этого онъ быль слишкомъ практичень и слишкомъ хорошо сознаваль, что значить действительность. Елистевъ

быль настоящимь, подлиннымь литераторомь, представлявшимь въ лятературъ интересы мужика и ничего больше. Эту почетную позицію онъ занималъ долго и съ честью, успѣшно пуская въ ходъ свой грубоватый мужицкій, нісколько лукавый, но всегда добродушный юморъ всякій разъ, вакъ дело шло о томъ, чтобы облагодетельствовать народъ какими-нибудь бумажными проектами. Конечно, услежи нашей промышленности и торговли нисколько не приводили его въ восторгъ, но онъ и не пугался ихъ, раздъляя общее редакціи "Отеч. Зап." мнізніе, что съ капитализиомъ можно еще справиться. Его сореданторъ по журналу, г. Михайловскій даеть ему такую характеристику: "Елистевъ былъ, если можно такъ выразиться, аскеть текущей жизни и непосредственныхъ фактическихъ результатовъ... Въ теоретическія сферы онъ пускался крайне різдко. Но онъ не мізшаль дълать это другимъ, хотя, можеть быть, и скептически относясь къ подобной работь и лишь убъдившись, что эта работа можеть быть приведена въ связь, хотя бы отдаленную, съ темъ, что онъ считалъ обязательнымъ центромъ не только литературной д'ятельности, но и всей общественной и государственной жизни. Такимъ центромъ былъ для него народъ, мужикъ... Въ своихъ обозрѣніяхъ онъ цѣнить просвѣщеніе и свободу, требуеть честнести и добросовестности въ делахъ, клейнитъ самоуправство и произволъ и т. д... Но настоящимъ, вполит Елистевымъ, онъ становится тогда, когда задаеть себт вопросъ: "какъ отзывается или отзовется такое-то явленіе нашей жизни на мужикъ".

М. Е. Салтыковъ-Шедринъ (1826 — 1889). Щедринъ оставилъ послъ себя очень богатое наслъдство, заключениое въ 12 томахъ "Полнаго собранія сочиненій", гді столько врекраснаго историческаго и художественнаго матеріала. Весь этотъ этотъ матеріалъ относится къ четыремъ десятильтіямъ, написанные въ немъ статьи, очерки и разсказы имъють дъло съ самыми разнообразными общественными настроеніями и условіями русской политики, и при чтеніи Щедрина это постоянно надо имъть въ виду, такъ какъ чисто публицистическая струя замолкала въ немъ сравнительно редко Случалось такъ, что Щедринъ начнетъ кажую-инбудь работу, оставить ее и примется за другую, снова вернется къ первой, опять сдівлаетъ перерывъ и конецъ ея отсрочивался такимъ образомъ на итсколько лъть. Разобраться въ массъ перемъняющихся настроеній положительно не легко. Многое притомъ же въ этой блестящей публицистикъ значительноустартью, кромт, разумтется, вкрапленных въ нее чисто художественныхъ сцевъ и картинъ, и не всегда понятно современному читателю, а если и понятно, то далеко не въ такой степени, какъ въ дни написанія: даже

самая талантинвая публицистика увядаеть очень скоро. Проходить какойнибудь десятокъ лѣтъ, и общество совершенно измѣняеть свою физіономію и волнуется другими вопросами, задачами, думами, и отъ живого когда-то организма остается лишь сгнявшій трупъ. Къ счастью для долговѣчности памяти Щедрина, онъ умѣлъ даже злобу дня брать въ такомъ широкомъ масштабѣ, связывая ее съ общечеловѣческими вопросами и интересами, что и она лишь въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ является совершенно увядшей и всегда сохраняеть свое историческое значеніе.

Щедринъ сказалъ самъ о себт въ третьемъ лицт:

"Всъ силы своего ума и сердца онъ посвятиль на то, чтобы возстановлять въ душахъ своихъ присныхъ представление о свътъ и правдъ и поддерживать въ ихъ сердцахъ въру, что свътъ придетъ и мракъ его не обниметъ. Въ этомъ собственно заключалась задача всей его дъятельности".

Щедринъ былъ прежде всего огромнымъ художественнымъ зарованіемъ. Но онъ жилъ въ такое время, когда все окружающее каждымъ явленіемъ твердило человеку: "поэтомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ". То были 60-е и 70-е годы. Правильно или неправильно, но Щедринъ думалъ, что, создавая свои превосходные по силъ и глубивъ мысли, по богатству образовъ, по разнообразію красокъ "Губернскіе очерки" — онъ не въ достаточной степени исполняеть свой гражданскій долгь. Ему захотелось более близкаго, более непосредственнаго участія въ жизни и коловращеніяхъ судебъ. Онъ сталъ публицистомъ. Въ сущности говоря, этимъ неотразимымъ вліяніемъ эпохи и объясняется такое обиліе публицистического матеріала въ произведеніяхъ того времени. Жизнь — нъсколько, впрочемъ, лицемърно - изъявляла готовность слушаться людей, и люди принялись учить ее. Щедринъ одинъ изъ первыхъ вступилъ на этотъ путь послі 10 літь работы, заставиль всёхь мыслящихь людей читать себя. Но художникъ, къ счастію, не замиралъ въ немъ ни на минуту, и лучшія мъста его фельетоновъ--это несомнънно тъ художественныя вкраплины, которыми они такъ богаты. И здёсь онъ оставался веренъ себе, и здёсь проповедь "света и правды" была для него прежде всего проповедью "человъчности", - въ самомъ широкомъ и въ то же время, какъ скоро увидимъ, самомъ опредъленномъ смыслъ слова.

Онъ былъ человъкомъ сороковыхъ годовъ. Объ этихъ годахъ онъ сохранилъ самое чистое и свътлое воспоминаніе, но это воспоминаніе обнимало, разумъется, не всю жизнь, а почти исключительно дитературу, къ которой у него такъ рано проявилось тяготъніе. Правда, и литературу эту

далеко нельзя было принимать во всемъ ея цёломъ, не жертвуя саминъ собой, но все же, по словамъ Щедрина, ей удалось отыскать извъстные ндеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась, она же создала те человечныя преданія, ту честную брезгливость, которыя выделили ее изъ общаго строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною изъ-подъ ига всевозможныхъ давленій. Никакого прямого выхода въ жизнь, никакой возможности прямо воздействовать на нее литература, конечно, не имъла; она, "какъ сказочная царевна, была заключена въ неприступномъ чертогъ и только дремала, окуганная сновидъніями... въ основъ которыхъ лежало человъчное, такъ что, ежели литература не принимала деятельнаго участія въ негодованіяхъ и протестахъ жизни, то не участвовала и въ ея торжествахъ. Вотъ почему и замаранность была въ ть времена явленіемъ исключительнымъ, ибо гдь же и когда могла "замараться" царсвна, дремлющая въ волшебныхъ чертогахъ"... Больше всего Щедринъ увлекался статьями Бълинскаго, и французской литературой и жизнью, гдф въ началф его литературной дфятельности все готовилось къ 1848 году. "Я, —вспоминаетъ онъ, — естественно примкнулъ къ западникамъ, къ тому безвъстному кружку ихъ, который прилъпился къ Франціи. Разумъется, не къ Франціи Луи Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабэ, Фурье, Лун Блана, въ особежности Ж. Зандъ". Подъ вліяніемъ Францін въ атмосферѣ дъйствительно чувствовалась какая-то новая струя свъжаго воздуха, чуялось брожение въ умахъ, вызванное и нъмецкимъ идеализмомъ, и романами Жоржъ-Зандъ, готовилось откровеніе, которое и выразплось скоро въ народолюбін-этомъ знамени русской интеллигенцін, начиная съ сороковыхъ годовъ.

Вст идеалистическіе порывы ихъ духа, вст хорошія прочитанныя книги французскихъ соціалистовъ о правахъ человъка и итмецкихъ романтиковъ о святости человъческаго достоинства, все это вело къ отрицанію основы государственно-сословной жизни, т. е. кръпостного права. Это общензвъстно и здъсь довольно того, если мы признаемъ тотъ несомитиный фактъ, что-для образованныхъ кръпостное право, главнымъ образомъ, ужасы конющин, тургеневское "чики-чики", дъйствительно представлялось учрежденіемъ отсталымъ и безобразнымъ, и живя у себя въ деревить, они все болтье проникались ужасомъ.

На всемъ движеній сороковыхъ годовъ лежитъ печать чего-то отвлеченнаго, пожалуй, даже сантиментальнаго. Этотъ посл'ядній элементъ мало зам'ятенъ у Тургенева, благодаря его огромному художественному дарованію, но у Григоровича онъ на первомъ планть. Я надтюсь показать, что и Щедринъ былъ нтоколько склоненъ къ пему, хотя сатира и часто преднам'тренная грубость слова и заслоняють отъ читателя эту сторону его

дарованія. Но все отвлеченное положительно на первомъ плант и въ области философія, и въ области нравственности, которая понималась какъ стремленіе къ абсолютному самосовершенствованію, и въ области религіи, гдт все верттвлось на доказательствт бытія Божія, и въ области пониманія общественныхъ явленій. Это "отвлеченное", отъ котораго скорте всего отдълались Бълинскій и Герценъ, и которое заключалось въ полномъ игнорированіи матеріальной стороны историческаго процесса, доходило прямо до крайностей и составляетъ одну изъ самыхъ характерныхъ сторонъ разсматриваемаго времени. Даже въ формулъ "мужикъ—человткъ" вы безусловно чувствуете его, такъ какъ слово "человткъ" само по себъ означаетъ очень мало. Но въ немъ же и заключалась сильная сторона умственной эпохи. Оно помогло создать и "идеалы добра и истины", и "человтвчныя преданія", п "честную брезгливость".

Щедринъ полностью пережилъ въянія своего времени и, вспоминая о дняхъ своей юности, онъ говорилъ потоуть, по обыкновенію, въ третьемъ лицъ:

"Еще въ ранней молодости онъ быль уже идеалистомъ, но это было скоръе сонное мечтаніе, нежели сознательное служеніе идеаламъ. Глядя на вожаковъ, онъ называлъ себя фурьеристомъ, но въ сущности сившивалъ въ одну кучу и сенъ-спионизмъ, и икаризиъ, и фурьеризиъ, и скоръе всего, примыкаль къ сенъ-симонизму. Въ особенности его пленяла Жоржъ-Зандъ въ своихъ первыхъ романахъ. Онъ зачитывался ими до упоенія, находилъ въ нихъ неисчерпаемый источникъ той анонимной восторженности, которая чаще всего лежить въ основаніи юношеских в втрованій и стремленій. Были слова добро, истина, красота, любовь, которыя производили чарующее дійствіе, которыя онъ въ свои юные годы готовъ быль повторять безчисленное число разъ, и слушая которыя, онъ былъ безконечно счастливъ. Если бы отъ него потребовалось наполнить эти слова содержаніемъ, онъ удивился бы-до того они представлялись ему несомивнимыми и обязательными, до того его прельщаль самый звукъ ихъ". Подъ этимъ вліяніемъ онъ написаль свое "Запутанное дъло", гдъ изобразилъ несчастное положение одного молодого провинціала, попавшаго въ столицу. Самое важное, конечно, то, что несчастія своего героя Щедринъ объясняеть не его личнымъ характеромъ, не сплетеніемъ случайностей, а общими причинами. Герой гибнетъ стихійно, задавленный общественной инрамидой, въ низшемъ слов которой находится онъ. Это взглядъ соціалиста, но все же пока на первомъ планъ находились слова.

Изв'єстной дозой реальнаго содержанія высокія слова "любовь, красота, истина" и пр. наполнялись критикой окружающей русской обстановки. Положимъ, что челов'єкъ не зналъ, что такое добро и истина, но онъ твердо зналъ, что все признаваемое за добро и истину обыденной моралью, не

добро и не истина; пусть даже для него быль непонятень истинный смысль слова человъчный, но опъ не сомнъвался, что "человъчное" обыденной морали въ дъйствительности безчеловъчно и т. д. Нельзя не согласиться, что это, д'вйствительно, очень оригинальный "методъ" мышленія "отъ противнаго", но исторія всероссійской интеллигенціи говорить намъ, что онъ примънялся всегда и съ одинаковымъ успъхомъ. Не встръчаемъ ли мы его опять въ безчисленныхъ, такъ называемыхъ, семейныхъ драмахъ шестидесятыхъ годовъ, когда къ каждому слову моральныхъ сентенцій своихъ родителей діти прибавляли "не". Хорошій женихь, по этому способу, превращался въ нехорошаго жениха, законные доходы въ доходы незаконные, справедливая кара за непослушание отцу или матери или обониъ вивств въ кару несправедливую. Человъкъ, слетъвшій съ луны, могь бы посмъяться туть многому, но людямъ земли туть положительно смеяться не надъ чемъ. И совершенно естественно, гдв источникъ этого назойливаго и постояннаго "не". Съ одной стороны кругъ понятій, основанный на преданіи, авторитеть и идеаль личнаго довольства, оъ другой -- такой же кругь понятій, но основанный уже на признаніи личной независимости, на мечтахъ о будущемъ. Столковаться въ то время было совершенно невозможно, п драма. смінялась драмой, а слезы слезами...

Вст эти слова Щедринъ хоттьлъ возобновить для больного усталаго покольнія впоследствін въ память подъ пиенемъ "забытыхъ". Онъ не успель этого сдълать и такъ и умеръ лишь съ мечтами о такой работь. Но настойчивость, съ какой его память возвращалась къ забытымъ словамъ, показываеть, какъ сильно запали они въ его душу. Расширенные, просвътленные сознаніемъ и опытомъ, ставшіе настоящими живыми существами съ плотью и кровью, они на самомъ дёлё являлись истинными руководителями всей его жизни. Они даже не утеряли нисколько своего отчасти отвлеченнаго характера: закваска юности оказалась ферментомъ целаго человеческого существованія. Эта отвлеченность несомнічню обусловливала и огромную требовательность отъ всего окружающаго, и жажду совершенства во всемъ, и въчную неудовлетворенность крохоборными усовершенствованіями, -- что такъ часто приводило въ недоразумъніе добрыхъ людей. Конечно, пребываніе въ провинцін только утвердило его отрицательное отношеніе къ русской действительности. Иля въ своихъ "Губерискихъ очеркахъ" за Гоголемъ, онъ не углубилъ, конечно, но расширилъ его сатиру, распространилъ ее на весь государственный и общественный быть и туть же началь свою огромную вадачу - полнаго дискредитированія русской канцелярін.

Однимъ пзъ самыхъ красивыхъ, привлекательныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неопредѣленныхъ словъ сороковыхъ годовъ было слово "человѣкъ" и про-исходящее отъ него "человѣчное". Щедрвнъ привязался къ нему со всей

страстностью, на которую только была способна его, вся состоявшая изъ нервовъ, натура, и на развитие его истиниаго сиысла посвятиль всю свою литературную діятельность, при чемъ прублицистика" являлась простымъ подспорьемъ художественнаго творчества. Насколько такое-то явленіе "человічно"-воть вопрссь, который интересоваль его прежде всего. Его нельзя было ни обмануть, ни обойти словами, или что-инбудь подобное. Въ этомъ отношении онъ былъ безусловно неуступчивъ и, если мы посмотримъ на него съ этой стороны, то увидомъ, какая огромная доза моралиста скрывалась въ этомъ большомъ русскомъ человъкъ - какъ, впрочемъ, и вообще въ большихъ русскихъ людяхъ, близко принимавшихъ къ сердцу жизненные питересы своего отечества, а не ограничивавшихся тымь только, чтобы наблюдать за коловращеніями его судебь, регистрируя ихъ то въ статистическихъ таблицахъ, то въ художественныхъ образахъ... Очень въроятно и даже навърное, что по сочинениямъ Щедрина трудно отвътить на вопросъ о сущности красоты и истины, но сущность "человъческаго" разъяснена имъ полностью. Впрочемъ, "человъческое" было тъмъ верховнымъ понятіемъ, которому онъ охотно подчиняль все остальныя. Только челов'вческое могло быть д'яйствительно прекраснымъ, только оно могло быть истиннымъ. Замечу, впрочемъ, что по свойству своего ума и дарованія онъ останавливался не столько на положительныхъ опредѣленіяхъ человъческаго, сколько на уклоненіяхъ отъ него, на его извращенностяхъ. Если онъ мало говорить о исихологіи настоящаго человъка, который у него обыкновенно за сценой, зато о психологін не-человека раба, куклы н алодъя онъ говорить очень и очень много. Рабъ, кук і в и злодъй-это для него главныя разновидности не-людей, все равно какъ и служители формальной правды.

Больше всего онъ говорить о психологіи раба. Чувствоваль ли онъ, что здісь заключается главитійшій слабый пункть русскихъ преуспізній, или по какой-нибудь другой причиніз—судить не берусь, но мніз кажется, что нізсколько строкъ объ этой другой причиніз не помізшають ясности діла. Рабство и его разновидности, хамство, холопство, это непониманіе своего достоинства, это отрицаніе достоинства въ другихъ, эта жестокость сильнаго, переходящая въ человізконенавистничество, издізвательство надъ слабымъ—воть наслідіє крізпостного права. И, конечно, корни вдохновенія Щедрина какъ вдохновенія Тургенева, Гончарова п т. д., находятся здісь. Несомпізню, что высшее пізь созданнаго имъ относится именно ко времени крізпостного права. Онъ зналь его и даже больше чізиъ зналь: по его собственному признанію, оно преслідовало его "по пятамъ" въ теченіе всей жизни.

Въ воспоминаніп Щедрина о временахъ кръпостного "быта" есть что-то страшное—вплоть до самоубійства дітей.

"Я, — говорить онъ, — слишкомъ близко видълъ кръпоствое право, чтобы имъть возможность забыть его... Я видълъ глаза, которые ничего не могли выражать, кромъ испуга, я слышалъ вопли, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кромъ физической боли, я былъ свидътелемъ звърскихъ вожделъній, которыя разгорались исключительно по поводу куска хлъба... Въ царствъ испуга, физическаго страданія и желудочнаго деспотизма нътъ ин одной подробности, которая бы минула меня, которая въ свое время не причинила бы миъ боли..."

Можно привести массу подобных выписокъ, но это совершенно излишне. Дъло ясно само по себъ, и смъщно даже сомивъваться въ томъ, что впечатлънія дореформенной эпохи были, въроятно, самыми сильными въ жизни Щедрина: великольпная эпопея кръпостного быта—"Пошехонская старина"— создана имъ на склонъ дней, а "Господа Головлевы" написаны въ теченіе 1872—1876 гг., т. е. 11—15 лътъ послъ реформы... Создавая рабовъ, холоповъ и хамовъ, общую атмосферу лести, подхалимства, жестокости и напуганности, поддерживаемой въчной пыткой, кръпостное право вырабатывало основной элементъ такихъ страстныхъ натуръ, какъ у Щедрина—негодованіе и тоску о здоровой, человъчной жизни.

Кръпостное право не знало людей собственно, а знало господъ и холоповъ. Первые командовали, вторые слушались, и объ стороны взаимно и незаметно развращали другь друга. Когда крепостное право было уничтожено, оно исчезло только изъ свода законовъ. Жизнь такъ освоилась съ нимъ, ея уклады примънились къ нему, оно пустило такіе глубокіе корни во всъхъ ея областяхъ и прежде всего въ области нравственности и общественности, что и долгое время спусти можно было видъть не только "следы" его, но и целый кодексъ морали и общественныхъ отношеній, оставленный имъ на пользование и поучение потомства. Еще Добролюбовъ, говоря о неизбъжномъ и неминуемомъ паденіп кръпостного права, строго прибавляеть, что этимъ задача далеко не исчерпывается, и что всероссійскій гражданинь отнюдь не имбеть полнаго права почить на лаврахъ, что напротивъ того, ему предстоить еще трудивашая задача бороться съ последствіями крепостничества, не только забравшагося во все щели, но и растворившагося, такъ сказать, въ атмосферъ общественной жизни. Задача была огромная и, чтобы выполнеть ее, нужны были огромныя сиды. Щедринъ взялся за нее, начиная съ "Губернскихъ очерковъ".

Въ основъ этого духовнаго рабства и всепоглощающаго самосохраненія лежить трусость, Ей въ чистомъ ея видъ Щедринъ посвятилъ двъ превосходныхъ сказки: "Премудрый ппскарь" и "Самоотверженный заяцъ", слишкомъ извъстныя, чтобы на нихъ останавливаться, и вообще его сочиненія—это галлерея рабовъ, при чемъ обыкновенно рабами оказываются

и тѣ, кто считаетъ себя за господъ. Разное рабсто и разоообразное. Рабство прямое, юридическое, какъ крѣпостныя отношенія; рабство духа, съ дѣтства запуганнаго; рабство въ видѣ матеріальной зависимости; рабство подчиненныхъ въ отношеніи къ начальникамъ. "Вѣдная страна эта Россія: ее надо жалѣтъ", говоритъ Щедринъ; бѣдная, потому что страна рабовъ...

Премудрые пискари, самоотверженные зайцы, гордыя пом'вщицы, какъ Арина Петровна, Гудушка—все это не люди, способные воспринять "истину, добро и красоту" жизни, а лишь полъ-челов'вка, четверть челов'вка, вообще какія-то дроби людей. Один зануганы, какъ премудрый пискарь, и страхъ вы'влъ ихъ душу, у другяхъ холопство стало второй натурой и преобразилось въ беззав'втную преданность, у третьихъ умерло все, кром'в злобной наклонности къ пакостинчеству и негодяйству. "Господи, да куда же настоящіе-то люди попрятались? "—съ ужасомъ спрашиваеть себя художникъ и спова беретъ въ руки свой діогеновскій фонарь и днемъ съ огнемъ ищетъ челов'вка. Но кукольныхъ д'влъ мастеръ Изув'вровъ объясняеть ему, что челов'вка н'втъ. "Взглянешь,—говорить онъ,—кругомъ—все-то куклы, везд'в-то куклы. Не есть конца этимъ кукламъ. Мучатъ, тиранятъ, въ отчаянность, въ преступленіе вводять. В фрите ли, иногда думается: Господи, кабы не куклы, в'вдь десятой бы доли злыхъ д'влъ не было противъ того, что теперь есть".

Въ тоску привелъ Изувъровъ Щедрина, показывая ему своихъ деревянныхъ людишекъ: слишкомъ близки они къ жизни, чтобы отдълаться отъ впечатлънія, что настоящая фабрика ихъ тамъ, въ этой путанной съти человъческихъ отношеній, себялюбивыхъ и недовърчивыхъ, гдъ человъкъ человъку врагъ, гдъ гибель одного вызываетъ торжество другого, а торжество другого зависть третьяго и желаніе видъть гибель удачника...

Куклы—порождение столько же дореформеннаго, сколько и пореформеннаго времени, когда процессъ обездушивания человъка происходитъ не сразу, а постепенно и систематически, путемъ непрестаннаго воздъйствия мелочей жизни. Въ добрые старые дни обрядъ оглушения производился болъе энергично, сразу: самый фактъ рождения въ курной избъ или барскихъ хоромахъ предопредълялъ судьбу человъка отъ колыбели до могилы.

Кром'я того, въ распоряжени бурмистровъ и другихъ начальствующихъ лицъ находились сильно дъйствующия (heroica) средства, быстро приводившия къ общему знаменателю забывшагося человъка. Экономическая зависимость — тоже рабство, но дъйствуетъ не казацкими набъгами, не неожиданными натисками, а гораздо деликатиъе, хотя результаты, въ концъ концовъ, тъ же самые, да и жизнь, въ сущности говоря, та же самая—про-

ходящая въ въчномъ страхъ передъ завтрашнимъ днемъ, въ въчномъ трепеть за свое существованіе. Быть можеть, горечь такой зависимости усиливается еще близкимъ къ пллюзін сознаніемъ, что, по д'вйствующимъ законамъ, циркулярамъ и постановленіямъ, возможность добиться довольства в, такъ сказать, "матеріальной" свободы предоставлена рішительно каждому. Могій вибстити пусть вибстить, говорять эти законы, циркуляры и постановленія челов'єку, лукаво подмигивая въ сторону счастливцевъ и удачниковъ. Правда, несколько напряженныхъ попытокъ быстро убеждаютъ любого изъ нетерпъливыхъ, что довольство и обезпеченность — удълъ лишь очень и очень немногихъ, и опъ все свои вожделения сводить къ скромной формуль: "хоть бы какъ-нибудь свести концы съ концами"; но это дъло очень затруднительно: скудный кусокъ достается лишь подъ условіемъ постояннаго страха утерять его. Этотъ-то страхъ гораздо более, чемъ самый трудъ, и есть то иго, которое несеть современное человъчество подъ разными широтами, на разныхъ меридіанахъ, представляющее изъ себя поскудное зредище твари дрожащей. Эту грандіозную картину оскуденія духа, полнаго забвенія имъ не только уже божественнаго, но и просто челов'вческаго своего существованія, сатприкъ наобразиль въ одной изъ лучшихъ и позднихъ своихъ вещей, названной имъ "Мелочами жизни"...

И вдругъ просыпаєтся душа и, среди окутавшей все существо человъческое, тымы мелочей властно и неумолнио раздается ся голосъ: "что ты дълалъ? зачъмъ жилъ?".. Много ухищреній изобрътено человъкомъ, чтобы не слышать этого призыва къ покаянію и раскаянію, но все же, рано или поздно, долженъ наступить этотъ страшный моментъ и "человъческое" предъявитъ свои права.

На этой простой мысли Щедринъ строилъ свои драмы. "Господа Головлевы" кончаются тыть, что даже Іудушка задаеть себъ страшный во просъ, зачыть онъ жилъ и зачыть кровопійствовалъ. Герой эпопен "Въ средь умфренности и аккуратности", Молчалинъ въ ужась видитъ, какъ почва уходитъ у него изъ-подъ ногъ, какъ онъ послъ катастрофы съ сыномъ покатится въ какую-то зіяющую пропасть, и отъ всей его жизни, усилій, кровопійства, человъконенавистничества не останется ничего, кромъ, отчаннія и мрака.

Щедринъ върялъ въ человъка, върилъ въ то, что въ основъ нашей жизни и нашей природы лежатъ всемогущія нравственныя сплы, совершенно устранить которыя изъ своего бытія человъкъ не въ состояніи. Только давая просторъ этимъ именно силамъ, не заслоняя ихъ ни мелочами, ни ложью, можно разсчитывать на истинное счастье. Иначе вся жизнь окажется не только суетой суетъ, но и гръхомъ. Правда, иначе гръщитъ покорный рабъ Черезовъ, чъмъ злодъй Іудушка, иначе губитъ

Digitized by Google

людей бездушная кукла, чёмъ кровожадный волкъ, но и здёсь и тамъ все гръхъ, гръхъ и гръхъ. Это точка зрънія морадиста? Да, конечно, и, какъ художникъ, Щедринъ обыкновенно стоялъ на ней. Мало того, онъ быль проникнуть ею и постигаль ее во всей ея глубинъ. Высшимъ вердовнымъ судьей человъка онъ признавалъ его собственную совъсть, которая надъ собой не знаетъ уже никакого судьи. Ей отищеніе и она воздастъ... а мы можемъ только върнть въ необходимое торжество этого верховнаго начала. Только поэтому Щедринъ примирилъ насъ съ Гудушкой н съ кровожаднымъ волкомъ, который, замученный совъстью, самъ, учуявъ облаву, спокойно вышель навстрёчу охотникамь со словами: "воть она смерть избавительница". И кто же бросить камень въ лежащій невдалекь оть погоста холодный трупъ Гудушки или въ этого волка, почти-сероя? "Будьте людьми, не давайте мелочамъ жизни заполнить духа своего, не давайте элодъйству загрязнить его"-воть завъть Щедрина... Но что же дълаетъ изъ человъка Іудушку, куклу, Молчалина, кровопійцу, служителя формальной и жестокой правды? Что заставляеть людей радоваться горю блежнихъ, издеваться надъ ними, бить лежачаго? Какъ въ "Запутанномъ дълъ", такъ и вообще во всъхъ своихъ произведеніяхъ Щедринъ давалъ на это одинъ отвътъ: причина такого униженія человъка кроется въ общественныхъ условіяхъ. Они-то создають изъ человіжа раба. А рабъ есть рабъ. Онъ не можеть быть правдивъ и честенъ, смедость и порывъ недоступны ему, онъ выросъ въ затхлой атмосферѣ обиды и униженія и умъеть только обижать и унижать. Жизнь сдълала его бездушнымъ, его счастье и спасеніе только въ этомъ бездушін, и самое страшное, самое трагическое -- это пробуждение въ рабъ человъка...

Отвлеченный, въ юности воспринятый пдеалъ красоты, добра, истины, человъчности, идеалъ Щедрина нашелъ свое воплощение въ крестьяскомъ царствъ... Умъ огромный и глубоко скептический, Щедринъ боялся отдаться ему совсъмъ, но позволялъ ему увлекать себя.

Если отбросить крайности народническаго движенія, то несомнівно, что Щедринымь оно было пережито полностью. Въ крестьянской жизни онъ виділь прежде всего наиболіве полное воплощеніе идеаловь правды, добра, справедливости—даже красоты и истины. Онъ любиль противопоставлять жизнь пителлигентную, чиновничью, барскую съ жизнью мужицкой, и читателю ни разу не придется сомніваться, на чьей сторонів симпатін художника. Но въ то же время у него есть и очевидные сліды перелома правовіврной народнической мысли. Любопытная черта: несомнівно идеализпруя мужика и устон его существованія, — Щедринъ въ то же время никогда не доходиль до

идолопоклонства. Его умъ былъ въ высшей степени трезвый, отчасти даже скептическій, который всегда заставляль его остановиться во время. Онъ не носился ни съ общиной, ни съ міромъ, ни съ артелями, ни съ круговой порукой. Проникая въ истинную "подоплеку"—его выраженіе,—онъ говорилъ, напр., объ общицъ:

"Теперь все это до того стерлось, что самыя рубрики сдёлались иустопорожними выраженіями. Теперь большинство славянофиловъ убёдилось, что есть община и община, что община, на которой они созидали благополучіє и силы Россіи, не обезпечиваеть ни отъ пролетаріата, ни отъ обидъ, приходящихъ извить, что, наконецъ, будущая форма общежитія, наиболте удобная для народа, стоитъ еще для всёхъ загадкою. Напротивъ, по странной случайности, бывшіе западники, ставши ближе къ кормилу, примирились съ общиной, потому что съ нею связана круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять".

Можно, какъ кажется, прямо утверждать, что, разділяя народническое настроеніе, види въ крестьянской жизни основу жизни всего народа и всего государства, источникъ его силы и слабости--- Шедринъ не раза-лялъ народинческихъ идеаловъ и не соглашался признавать въ устояхъ крестьянского быта чего-то самодовлеющого. Если община лучше канцелярін-это еще не значить, что она хороша, если крестьянская работа лучше, реальные работы столоначальника — это не значить, что она хороша и т. д., и съ этой точки зрвнія известная картина, изображающая Щедрина на опушкъ лъса передъ поляной, на которой пашетъ мужикъ, картина, внушающая, такъ сказать, зрителю, что вотъ этоть пашущій мужнкъ и есть идеалъ сатирика — совершенно неосновательна. Это годилось бы развъ, да и то съ натяжкой, для Толстого. На самомъ дълъ, если пашущій мужикъ можеть служить идеаломь, то отсюда прямой нравоучительный выводъ: "бери соху, паши землю" и оставь въ сторонъ искусство и науки. До такого вывода Щедринъ не доходилъ п дойти не могъ, потому что въ немъ очень и очень была сильна культурная, европейская закваска.

Есть каверзный вопрось: кому у кого учиться? интеллигенту у мужика или мужику у интеллигента, или же тому и другому, къ общей радости и благополучію, мъняться взаимными услугами? Мужикъ, говорять, будеть обучать насъ нравственности и добродътели, а мы его грамотъ, сельскому хозяйству и прочинъ хорошинъ вещамъ. И будетъ въ такомъ случать на землъ миръ и благоволеніе. Но, во-первыхъ, можно ли научиться нравственности и добродътель? Сократъ это признавалъ, это былъ одинъ изъ краеугольныхъ камней его проповъди, но, въ сущности, научилъ ли онъ кого-нибудь, чему хотълъ? Это сомнительно. Наша моральная жизнь является, прежде всего, про-

явленіемъ нашего характера, нашей натуры и лишь въ очень и очень незначительной степени нашихъ пдей. Иден указывають точку приложенія силы, но самой силы онъ никогда никому не давали и давать не могуть. Вся система нашихъ нравственныхъ понятій находится въ такой близкой органической связи съ условіями нашей жизни, что произвольно ихъ разъединять нівть різшительно никакой возможности. Возьмите, напр., отношение къ женщинъ. Вообще говоря, "учить жену" принято въ крестьянскомъ мірѣ, а мы смотримъ на такого учителя, какъ на варвара и башибузука. Насъ возмущаеть даже всякое насиліе надъ личностью. Этимъ насиліемъ надъ личностью живетъ община. Насъ приговоръ большинства ничуть ве освобождаеть отъ упрековъ совъсти, но крестьянинъ, разъ "міръ постановиль", хотя и нъчто завъдомо несправедливое, умываеть свои руки и остается совершенно спокойнымъ. Міромъ приковали сумасшедшую на цель и постановили, чтобы она сидъла на цъпи до конца дней. Міромъ отправили Ивана Непомнящаго въ Сибирь на поселеніе, и о чемъ еще толковать туть... И т. д. Такова система правственныхъ понятій, неразрывно связанная съ сохой. Взявшись за соху, сделавшись общинникомъ, вы должны принять и эту систему правственныхъ понятій. Но у насъ многіе склонны смотреть на дело иначе и видять въ "системв нравственныхъ понятій" своего рода шапку, которую съ большимъ или меньшимъ успъхомъ можно наиялить на любую голову. Крестьянское моральное міросозерданіе для насъ совершенно не годится, для современнаго крестьянскаго общинника не годится и наше. Что, дъйствительно, станеть онъ делать съ нашимъ скептицизмомъ, критикой, нашимъ преувеличеннымъ даже преклонениемъ передъ личной свободой и независимостью? Онъ на первыхъ же порахъ столкнется съ міромъ, и это столкновеніе сразу же и непаб'яжно станеть трагическимъ. Міръ себя покажеть, какъ, по свидътельству нашихъ народниковъ, онъ сотни и тысячи разъ показывалъ себя, продавая за ведро водки свое достовнство, свои права и преимущества.

Мы всегда забываемъ самую простую вещь, что "система нравственныхъ понятій" общинника есть не что иное, какъ система нравственныхъ понятій нищаго человіка, жмущагося къ стаду, потому что, въ конці концовъ, на міру и смерть красна. Вы хотите крайняго и різпающаго доказательства этой простой мысли? Кажется, что за нимъ очень и очень недалеко ходить и стоитъ только обратиться къ свидітельству той же самой народнической литературы по части всізсь тіхъ "особей", которыя экономически прежде всего, а потомъ и духовно выбрались изъ обычнаго для крестьянина полунищенскаго уровня существованія.

Изъ пъсни слова не выкинешь. Не выкинешь и изъ картины нашей жизни того несомивнаго и очевиднаго факта, что всв эти Колупаевы и

Разуваевы порожденіе нашего міра, нашей общины, укладовъ нашей крестьянской жизни. Почему же это такъ постоянно случается, что стоить только человъку подняться ступенью выше сравнительно съ ближними своним, стоить ему только начать торговать водкой, каперскить чаевъ илиночими ситцами, какъ отъ его добродътели не останется и слъда пытьсто сипренія духа появляется наглость его, виъсто жалости и состраданія—желаніе затоптать ближняго въ грязь, презръніе къ слабому и гордое торжество надъ погибшимъ и погибающимъ? Нътъ хуже и горше обидъ, которыя наносили крестьянину въ лицъ бурмистровъ при кръпостномъ правъ, въ лицъ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ теперь.

Повторяю: совершенно неправы поэтому тѣ, кто навязывалъ Щед рину идеалы крестьянскаго быта или преклоненіе передъ его устоями. Все равно, какъ онъ не могъ въ свое время признагь пягплязиъ "высшей формой мышленія"—какъ впослѣдствін онъ не восторгался дѣятельностью земскихъ учрежденій, такъ и къ основному пункту народнической доктрины, провозгласившему общину панацеей всѣхъ золъ, онъ отнесся прямо отрицательно. Въ отвѣтъ на всѣ пѣснопѣнія слышался его суровый скептическій голосъ: "современная намъ форма крестьянскаго общежитія неудовлетворительна", и "будущая форма общежитія, намболѣе удобная для народа, еще загадка для всѣхъ". Только тотъ, кто знаетъ, какую роль играла "община" и "общинность" при созданіи народническихъ утопій, какія надежды возлагались на нихъ, до какой степени незыблемыми онѣ представлялись, — оцѣнитъ по достоинству предостерегающій голосъ Щедрина.

Но въ то время онъ бы не быль человъкомъ своего времени и даже вождемъ его, если бы не видълъ въ крестьянствъ и крестьянской жизни основы жизни всего народа и не требовалъ бы въ отношении къ ней наибольшаго вниманія, наибольшей любви и даже наибольшей самоотверженности.

Но что же дівлать, если мізцанскіе пистинкты, обоготвореніс имущества, такъ глубоко заложены въ крестьянскую душу, что ждуть лишь удобнаго случая для пышнаго своего расцвіта? На этоть огромный вопрось Щедринъ не отвітиль. Въ своемъ отношеній къ крестьянству и крестьянскому міру онъ быль столько же трезвымъ мыслителемъ, сколько поэтомъндеалистомъ. Онъ отдыхалъ на картинахъ мужицкой жизни и правды, онъ давалъ этимъ картинамъ возможность обманывать—увлекать себя. Сатирикъ часто надіваль на себя костюмъ идиллиста, но, увы, этотъ костюмъ былъ слишкомъ не по міркі ему, чтобы онъ могъ долго оставаться въ немъ.

Перечтите разсказъ Пименыча о святой земль или повъствование о чудесахъ, видънныхъ на пути странницей Пахомовной, и скажите, развъ это не умиление? Развъ не умилялся и Крамольниковъ, произнося свою

страстную річь на юбилеї "Полита Мосенча", разві не то же чувство продиктовало Щедрнну слово Искупителя, обращенное къ тімъ, кто поливаеть землю потомъ и кровью своей? Стравнаго, неожиданнаго въ нихъ ничего ніть. Щедринъ ничуть не виновать, что мы его плохо знаемъ, что для однихъ онъ все еще писатель по смішной части, для другихъ "политическій" сатирикъ по пренмуществу, развінчавшій и дискредитировавшій всіхъ ярыжекъ, подъячихъ и канцелярскихъ служителей. Оба взгляда одинаково обидны для Щедрина. Онъ былъ, прежде всего, великимъ русскимъ писателемъ, такимъ же, какъ Гоголь, Толстой, Некрасовъ— значитъ боліль ихъ же болями, значить пскалъ и находиль утішеніе тамъ же, гді находили они—въ вічныхъ завітахъ любви и жизни народа, его будущемъ. Обращаясь къ народу, онъ могъ бы сказать словами Некрасова:

Я кручину свою многолѣтнюю На родимую грудь изолью... Я тебѣ мою пѣсню послѣднюю, Мою горькую пѣсню спою... *)

^{*)} Я думаю, мит нечего даже и прибавлять по этому поводу, что Щедринъ одинаково, какъ и Некрасовъ былъ однимъ изъ нашихъ кающихся дворянь. Если вообще этоть типь сыграль существенную роль, то, разумъется, потому лишь, что онъ имълъ въ своей средъ очень крупныхъ представителей. Однимъ изъ крупнъйшихъ былъ Щедринъ. Въ доказательство принадлежности его къ кающемуся барству не буду ссылаться, какъ иные, на его служебную карьеру, до которой историку литературы очень мало дъла. Историкъ литературы скажеть только, что гуманныя и радикальныя мечты и идеи 40-хъ годовъ были очень широки, лишены дъйствительно реальнаго содержанія, и что о безусловной отвътственности передъ ними не могло быть и ръчи. Оттого-то такіе люди, какъ Добролюбовъ и Чернышевскій, и не переваривали "барства". Но по отношенію къ народу стоить остановиться. Факть былъ тотъ, что освобожденный народъ не былъ счастливъ и, больше того, оказался почти что въ прежней кабалъ, хотя и у другихъ уже хозяевъ. Такое несчастное положение народа должно было во всъхъ лучшихъ людяхъ, -- къ какому бы классу они ни принадлежали, вызывать самое простое и естественное чувство жалости къ нему, желаніе его научить, дать ему въ руки хорошую книгу, дать ему основы гражданскаго существованія. Но кающійся дворянинъ къ этому простому, повторяю, и естественному чувству долженъ былъ прибавить ту напряженность и даже истеричность, которыя зависъли не отъ исключительной любви къ слабому, а отъ воспоминаній о собственныхъ или отцовскихъ грѣхахъ, т е. кричащій голосъ своей совъсти. Это было, значить, народолюбіе, ра-

Между Гоголемъ и Щедринымъ есть та разница, что то, что Гоголь преследовалъ съ нравственно-религіозной точки зренія, то Щедринъ клеймилъ какъ моралистъ и общественный деятель. Гоголь былъ близокъ къ обстановке своего времени, но эта обстановка интересовала его, прежде всего, съ ея метафизической и религіозной стороны. Онъ искалъ ответа на вопросъ, въ чемъ смыслъ жизни, выводилъ на сцену людей, которые придають этой жизни какой-то странный и пошлый смыслъ, т. е. обращають ее въ безсмыслицу, и тосковалъ объ этомъ, потому что грозные призраки смерти и вечности совсёмъ не мирились въ его представленіи съ образомъ

зогръваемое и разгорячаемое чувствами совершенно досторонними. И такого народолюбія не могло быть, напр., ни у Ръшетникова, ни у Добролюбова. Здъсь духовный надрывъ. Здъсь не только желаніе помочь народу, но и мысль о расплатъ съ нимъ.

Вообще же къ сказанному мною выше я долженъ прибавить, что барскими и разночиными идеями я считаю совсемъ не тъ, которыя находятся въ головъ даннаго барина или разночинца. При изслъдованіи каждаго даннаго случая въ отдъльности могутъ быть сдъланы совершенно неожиданныя открытія, діаметрально противоположныя ожидаемымъ. Это значить лишь то, что извъстныя идеи обладають силой внушенія, достаточной для преодольнія классовых в симпатій или антипатій, разъ тому благопріятствують обстоятельства. Барскія идеи должны быть выработаны и дъйствительно вырабатываются на почвъ прочныхъ укладовъ барской, крыпостнической культуры. Такъ же вырабатываются и барскія натуры, и вся барская связка чувствъ. У разночинцевъ тоже были прочные уклады или лучше сказать отсутстве этихъ укладовъ, была жизнь, отданная на произволъ каприза, прихоти и случайности, выработавшая свои идеи и настроенія, напр., чувство мести, идею утилитаризма, вопіяніе противъ красоты и т. д. Кто какими идеями увлечется-это часто дъло житейской случайности, но вообще естественно предположить, что барское ближе барину, чемъ кому-нибудь другому и что баринъ - отрицатель останется въ основъ своей натуры все тъмъ же Рудинымъ, тъмъ же Бельтовымъ, т. е. бариномъ, занявшимся отрицаніемъ. И въ отрицаніи будеть слышаться тоть же барскій смѣхъ, та же барская избалованность или то же барствованје во Христъ. Могутъ быть ръдчайшія исключенія, но не о нихъ ръчь.

Кающійся баринъ 70-хъ годовъ шелъ тою же дорогой, какъ и протестующій разночинецъ. Во всякомъ случать, той противоположности взаминаго непониманія и вражды, какая была между бариномъ и разночинцемъ въ 60-ыс годы, теперь на сценть нттъ. Кающійся дворянинъ ушелъ въ свое народолюбіе, птъсколько сузивъ сферу другихъ своихъ интересовъ, все больше отказываясь отъ широчайшей и всеобъемлющей гуманности 40-хъ годовъ, отъ своего эстетическаго отношенія къ дъйствительности. Это уже баринъ, переработанный шестидесятниками и ихъ прямолинейными взглядами. Онъ во многомъ подчинился разночинцу, но во многомъ подчинился разночинцу, пере

жизни, заботами, тревогами и радостями Маниловыхъ, Плюшкиныхъ, Ноздревыхъ и т. д. Когда Гоголю приходилось спрашивать себя, сткуда это пониженное существованіе людей, это полное умаленіе ихъ духа, эта непроходимая и пошлая низменность ихъ существованія—онъ отвъчалъ на это не указаніемъ на исторію, хотя самъ быль, положнить случайно, историкомъ, или—крѣпостное право, которое онъ принималъ, какъ фактъ, не возмущаясь имъ, не допуская, повидимому, даже мысли о возможности и необходимости его упраздненія, и говорилъ: люди оттого живутъ такъ безобразно и даже гадко, оттого они ползаютъ въ грязи, что не понимаютъ своей судьбы, тайны своего рожденія и тайны смерти, не понимаютъ и той огромной отвѣтственности, которая ждетъ ихъ за гробомъ. Какъ натура глубоко-религіозная съ нѣкоторымъ даже оттѣнкомъ церковничества, Гоголь и не могъ отвѣчать иначе на тотъ вопросъ о смыслѣ жизни, который онъ поставилъ себѣ.

Какъ всякій крупный русскій человѣкъ, Щедринъ былъ одинаково натурой религіозной. Но его религіозность надо понимать въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаеть ее, напр., Солтеръ въ своей "Religion der Moral". Сущностью этой религіозности является тотъ же вопросъ о смыслѣ жизни, но отвѣтъ на него диктуется прежде всего и даже исключительно нравственнымъ чувствомъ, совѣстью, —тѣмъ, что Кантъ называлъ присущимъ человѣку моральнымъ закономъ. Смыслъ жизни можетъ быть осуществленъ лишь въ той обстановкѣ, которая обезпечнваетъ счастье всѣхъ; теперь смыслъ жизни можетъ быть найденъ лишь въ стремленіи къ этому счастью, что въ глазахъ Щедрина является долгомъ каждаго. Его нравственность сводилась къ требованію подвижничества во имя общественныхъ цѣлей.

Онъ весь въ общественныхъ интересахъ, онъ дышитъ и живетъ ими. Съ обстоятельностью хроникера онъ следитъ за всеми переменами общественныхъ мыслей и настроенія, за всякимъ меропріятіемъ особенно любимыхъ имъ сферъ, за каждымъ выдающимся фактомъ газетной хроники, за

выя мъста. Его народолюбіе (какъ расплата съ народомъ, какъ велѣніе больной совъсти) очень близко подходило къ народолюбію разночинца. Народъ онъ идеализировалъ, между прочимъ, и потому, что кающійся всегда идеализируетъ измученнаго имъ, или такого, кого онъ считаетъ собою измученнымъ, человъка. Но идеализировалъ народъ и разночинецъ, какъ единственный предметъ своей любви, теперь съ каждымъ днемъ все больше оплевываемый, а не освобождаемый, какъ раньше. И муки совъсти, и единственная любовь возвеличивали красоту безымяннаго даже подвига. Такимъ образомъ въ 70-ые годы мы видимъ своего рода синтезъ разночинца и барина. Это можно прослъдить даже въ подробностяхъ, напр., въ философіи Арнольди или Михайловскаго, которые, очевидно, синтезировали взгляды 40-хъ и 60-хъ годовъ.

всякой интересной книгой. Въ немъ настоящій темпераменть журналиста: онъ и редакторъ, и сатирикъ, и фельстонистъ, и внутренній обозр'яватель, и библіографъ. Поражаешься его неутомимости и его отзывчивости. Онъ слъдить за всемъ и на все откликается. Онъ исполненъ гнева и благоволенія, любви и ненависти, подавляющаго презрівнія, жестокаго сарказна, самаго непримиримаго раздраженія и самой ніжной жалости. Его письменный столь-это трибуналь, передь которымь каждый месяць должны пройти всь факты общественной жизни и отдать ему отчеть въ своемъ содержанін. Онъ допрашиваеть и пытаеть ихъ, онъ разражается то смехомъ, то слезами, онъ в'ячно въ воднении. И въ этомъ его огромная сила, какъ и въ непримиримости. Всв его заботы сосредоточены на томъ, чтобы разбудить наконець эту сиящую или засыпающую публику. Онъ тормошить ее постояню. То обращается онъ къ ней съ добродушной насмъшкой, увеселяеть и развлекаеть ее разными шутками, уговариваеть и учить ее, даеть ей совыты, высмынваеть ея увлеченія, ея скоропреходящихь героевъ, хохочетъ ниъ прямо въ глаза, отъ лирическаго воззванія переходить къ художественному изображенію какого-пибудь ужаса жизни, изображаеть его съ настоящей трагической силой и гивно спрашиваеть: да неужели вы не понимаете, что скрывается подъ этимъ, чъмъ это грозитъ вамъ? Онъ прекрасно знаетъ, что публика любитъ его, что у него масса восторженных читателей, что ему простять всякія дерзости и оплеваніе кумировъ, и онъ щедръ на дерзости и на оплевание. Но въ основъ своей онъ всегда серьезенъ, потому, что та цель, которой онъ служить, вслика н важна въ его глазахъ, потому что онъ въренъ разъ навсегда своей любви и ненависти, потому что онъ непримиримъ въ своей борьбъ съ канцеляріей и канделярщиной. Великій мастеръ слова, онъ съ огромнымъ искусствомъ пользуется всеми его оттенками, всеми родами писательскаго искусства (вплоть до стиховъ) — чтобы расшевелить человъческую душу своей милой публики, тетеньки, чтобы поднять ея уважение къ себъ, разрушить ся равнодушіе.

Сатира Щедрина преследовала самодовольство и самоуслаждение во всёхъ его видахъ и въ чемъ бы оно ни проявлялось. Самодовольство явлиется необходимымъ и неотъемлемымъ элементомъ всёхъ его отрицательныхъ типовъ, начиная отъ изувёровскихъ куколъ и кончая Гудушкой Головлевымъ и Угрюмомъ Бурчеевымъ, грозно приказывающимъ рёчному потоку поворотить свои волны вспять. Самодовольство—синонимъ уиственной и нравственной отупёлости, это броня, защищающая человека отъ всякаго состраданія, отъ всякой любви къ ближнему. Пусть льются слезы, пусть царитъ неправда, пусть нищета высасываетъ последніе соки изъ своихъ жертвъ...—"я заплатилъ за мёсяцъ прислугь, я ни копейки не

долженъ въ мелочную лавочку, я вызубрилъ краткіе начатки либерализма.-и благо мив"... Надо спросить себя, откуда эта странная, все побъждающая сила Іудушекъ, кузинъ Машенекъ и прочей-виноватъ за выраженіе. сволочи? Не въ томъ, разумъется, что у нихъ есть деньги, такъ какъ начали они все же безъ гроша, и не въ лицемвріи, потому что на одномъ лицемфрін далеко не уфдешь, -- ихъ сила въ самодовольствъ, въ той нравственной тупости, которая позволяеть имъ бить и добивать лежащихъ людей, и успоканвать свою совесть соображениемъ, что они поступають на на законномъ основаніи. И вст отступають передъ ними, и вст попалають въ ихъ паутину, потому что формальная правда на ихъ сторонъ. Прямо они не ворують, прямо не насильничають, и кто же посыветь придраться къ нимъ. Какъ вороны, издали зачуявъ запахъ тлена и разложения, слетаются къ трупу и падали, такъ Тудушки и кузины Машеньки кружатся возлѣ вствъ слабыть и гибнущихъ, чтобы, воспользовавшись минутой полной растерянности, доканать ихъ. Н'ътъ у нихъ той веудобной вещи, которая въ общежитін называется сов'єстью, представляющейся съ психологической точки зрѣнія процессомъ самокритики... Самодовольство самодовольству розь. Оно знаеть самыя различныя степени, ступени и градаціи. Оно можеть быть наивнымъ и добродушнымъ, какъ у безсмертныхъ героевъ Диккенса, Стерна, Раблэ, можеть соединяться и съ колодной злобой опустошенной души, какъ у большинства героевъ Щедрина. Оттого-то его сатира такъ часто и переходить въ драму, что онъ выбиралъ действующими лицами своихъ разсказовъ людей, пожалуй, и добродушныхъ, но такихъ, руки которыхъ "запачканы кровью". Возьмите, напр., Молчалина. "Я, — разсказываеть Щедринъ, — видълъ однажды Молчалина, который, возвратившись домой съ обагренными безсознательнымъ преступленіемъ руками, преспокойно принялся этимъ руками разръзывать пирогъ съ капустой. Алексъй Степановичъ. воскликнулъ я въ ужасъ, -- вспомните, въдь у васъ руки"...-Я вымылъ.-ответиль онь мне совсемь просто, доканчивая разрезать пирогъ". Молчалинъ совствъ не злодъй, онъ превосходный семьянинъ, страшно любить своную дътей и ко всему этому настолько добродушень, что откушать у него пирогъ съ капустой прямо пріятно. - Также и старикъ Разумовъ изъ "Больного мъста" - тоже добрый человъкъ. Всю свою жизнь онъ куры не обидълъ, служилъ всегда по сущей совъсти и, право, ему не за что упрекнуть себя. Аккуратный, исполнительный, разсуждающій, онъ жилъ для своего семейства и прежде всего для единственнаго сына-Степы, возлів котораго сосредоточивались всв лучшія его чувства и всв вожделенія. Степа выйдеть уминцей, Степа возвеличить родь Разумовыхъ. Старикъ доживаеть всю свою жизнь, не зная, за что и въ чемъ упрекнуть себя,съ точки зрвнія формальной морали, онъ правъ. "Что-то" однако застанло одну обездоленную мать провожать, его по улицѣ съ проклятіями "сатана, сатана, сатана",—что-то заставило честнаго Степу кончить жизнь самоубійствомъ послѣ того, какъ онъ подробнѣе ознакомился съ прошлымъ своего отца.

Сатира и трагедія всегда ндеть рука объ руку въ произведеніяхъ Щедрина, и въ этомъ случать онъ представляєть явленіе исключительное во всей европейской литературть! Правда, вы найдете то же самое у Капниста—"Ябеда", у Гоголя——"Ревизоръ" и "Мертвыя души", и у Герцена въ описаніп малиновскихъ нравовъ— во далеко не въ такой степени.

Гоголь определиль юморь, какъ видимый міру смехъ сквозь невидимыя міру слезы. Почему-то мы приняли это опреділеніе безъ всякой критики. Возьмите однако комедію Плавта и его излюбленный типъ "miles gloriatus", большую часть фигуръ Диккенса и безсмертнаго Пиквика, откориленныхъ Грангузье и Гаргантюв Раблэ, мужиковъ малороссовъ у самого Гоголя, его Подколесина, Кочкарева, Жевакина и пр. и скажите, вдв туть слезы? Если я слышу ихъ за сценой "Ривизора", въ жалобв несчастной солдатской вдовы, которая сама себя высъкла, если ихъ---этихъ слезъ такъ много въ "Мертвыхъ душахъ", въ которыя Гоголь вложилъ всю свою глубокую тоску о пустой и безпізльной человівческой жизни, поставленной съ глазу на глазъ съ ведикой тайной мірозданія, гдв онъ съ образностью мірового генія воплотиль страшное протпворічіе между жизнью "какъ самымъ втрнымъ путемъ къ смерти", и жизнью, наполненной игрой мелкаго тщеславія, -- то никто не заставить меня видіть этихъ слезъ ни въ "Коляскъ", ни въ "Женитьоъ", ни въ "Сорочинской ярмаркъ". Гоголь даль свое определение слишкомъ поздно, когда его настроение было уже окрашено глубокимъ мистицизмомъ, когда онъ искренно скороблъ о жизни людей, какая бы она ни была, потому что считалъ ее несоотвътствующей по достопиству ни съ правственными задачами человъчества, ни съ его міровой ролью.

Но за смъхомъ Щедрина дъйствительно почти всегда слышатся слезы—то безсильнаго состраданія, то одинаково безсильнаго гнтва. Возьмите любую изъ его сказокъ, лучшія страницы нзъ "Головлевыхъ" и "Пошехонской старины", процессъ дохлаго пискаря, "Повъсть о правдт и торжествующей свиньт, "Губернскіе очерки" и многое, многое другое, и для васъ станеть яснымъ, что въ основт всего этого лежитъ тоска—не отвлеченная, не мистическая грусть Гоголя, а тоска по униженномъ человъческомъ достоинствт, по этой правдт, которая такъ жестоко запоздала своимъ появленіемъ въ свъть. И жалость о судьбт этого бъднаго вороньяго рода, на котораго вст эти хищныя ястреба, соколы, копчики, коршуны разсчитываютъ какъ на "каменную гору"... О, этотъ бъдный вороній родъ, обреченный ва

гибель и растерзаніе... И это не мужикъ исключительно, хотя, разум'вется, мужикъ по преимуществу. Кадры его наполняются всёми дов'врчивыми, нанивными душами, всёми готовыми на жертву и самопожертвованіе во нмя любви и правды. Туть и заяцъ, мечтающій о синсходительности и милосердім волка, и премудрый карась, ни для кого не зам'єтно попадающій въ разверстую пасть щуки, и сестры-актрисы Аннинька и Любинька, и сельская учительница, нагло обманутая какимъ-то либеральнымъ прохвостомъ, и сотни другихъ пискарей, корчащихся въ кипяткъ, чтобы была д'єйствительно вкусная уха для самодовольныхъ и самоуслаждающихся. Гдіъ, въ чемъ эта страшная сила нравственной тупости? Почему, встрічаясь съ нею, нам'єченныя рокомъ жертвы притягиваются къ ней съ тою же неотразимой силой, какъ желізные опилки магнитомъ, какъ мотыльки сжигающимъ ихъ світомъ? Вічно занятый этимъ вопросомъ, Шедринъ и создаваль свои удпвительныя сатиры-драмы.

Н. К. Михайловскій (род. 1842 г.). Настроеніе 70-хъ годовъ нуждалось въ научномъ пли, по крайней мъръ, наукообразномъ, похожемъ на научное, обоснованій, такъ какъ предыдущее десятильтіе уже пріучило видъть въ наукъ главнаго руководителя. И это наукообразное обоснование несомятьно даль г. Михайловскій въ своихъ многочисленныхъ статьяхъ, чёмъ и объясняется значительность его роли въ исторіи русской мысли. Задача, стоявшая передъ нивъ въ началъ его литературнаго поприща, была велика и существенна, и для своего времени, по крайней мъръ, онъ ръшплъ ес въ высшей степени успъшно. Эта задача -- борьба съ коренными стихіями русскаго духа: обломовщиной и фатализмомъ, потому что русскаго человека гнетъ къ фатализму, къ признанію надъ собой стихійной власти ("линін", "планиды"), какимъ бы самонадіяннымъ не представлялся онъ иногда. Это та же задача, которая стояла передъ Бълинскимъ и, особенно, Герценомъ (напр. - въ его письмахъ о дилетантизмѣ и буддизмѣ въ наукѣ), и, я повторяю, для своего времени г. Михайловскій справился съ нею какъ нельзя болье успышно. Его блестящій публицистическій таланть, въ которомъ чувствуется или "художникъ-недоносокъ" или просто невыработавшійся художникъ (потому что для меня вполнъ несомнънна эта художественная закваска г-на Михайловскаго и, не будучи въ состояніи оцфинть всей глубины его научных открытій, я лучшимь его наследствомь считаю "Изъ сказокъ Таволгина" и нъкоторыя главы "Въ перемежку") — его полемпческое жестокосердіе, уступающее разв'є жестокосердію Добролюбова или Чернышевскаго, его серьезная научная подготовка, особенно въ области естественно - историческихъ дисциплинъ, поражающая самоувъренность его

тона, глубокая искренность и красивый, подкупающій лиризмъ — сділали его однимъ изъ самыхъ видныхъ писателей-учителей 70-хъ годовъ. Въ его стиль, въ его капризномъ изложеніи, его міткой ироніи, его способности передавать негодующія струны духа есть что-то напоминающее Герцена, хотя и умаленное, разжиженное, такъ сказать, журнализмомъ, — но минутами прекрасное; въ его бодромъ идеализмі, подернутомъ однако дымкой меланхоліи, скептицизма, а пожалуй, и пессимизма (хорошо говоритъ Таволгинъ: "кабы настояще вірилъ, такъ не такъ бы и жилъ, а кабы совсімъ не вірилъ, такъ тоже иное ом діло") — вы видите истиннаго наслідника старобарской культуры, кающагося дворянина, кающагося барина, — въ значительной степени переработаннаго разночищемъ, но сохравившаго свою художественную подоплеку, свои художественныя требованія и къ жизни отдільныхъ людей, и всего общества.

Литературная роль, выпавшая на долю г. Михайловскаго, очень велика, и надо было быть действительно центральной фигурой своего времени, чтобы ответить на его сложные вопросы. Надо было не создать, конечно, а формулировать "религію" или такое ученіе, которое связываеть понятіе о мір'є съ правилами личной жизни и общественной д'ятельности; надо было для больной, возмущенной и обиженной сов'єсти людей указать работу, поведеніе, ц'яль въ жизни, которая соотв'єтствовала бы ихъ научному міропониманію. И, конечно, формулированіе такой воть этико-научной "религін" было самой дорогой, упонтельной даже мечтой всей литературной д'ятельности Михайловскаго. Надо, впрочемъ, столковаться о словахъ. Подъ "религіей" г. Михайловскій разумфеть:

"такое ученіе, которое связываеть существующія въ данное время понятія о мірѣ съ правилами личной жизни и общественной дѣятельности; связываеть такъ прочно, что для исповѣдующаго это ученіе поступить противъ своего нравственнаго убѣжденія въ такой же мѣрѣ невозможно, какъ согласиться, что, напримѣръ, дважды-два равняется стеариновой свѣчкъ. Очевидно, что первые христіане обладали такимъ ученіемъ. Ихъ понятія о прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ вселенной были самымъ тѣснымъ, неразрывнымъ образомъ связаны съ понятіями о нравственной жизни, и связь эта была такого возбуждающаго свойства, что давала имъ возможность дѣйствовать съ полной опредѣленностью. Очевидно также, что мы такого ученія не имѣемъ; наши понятія о существующемъ стоятъ сами по себѣ, понятія о долженствующемъ существовать—тоже сами по себѣ, наконецъ, наши дѣйствія—опять сами по себѣ".

Въ предисловіи къ полному собранію своихъ сочиненій, опять возвращаясь къ тому же вопросу о задачахъ своей литературной діятельности, г. Михайловскій говорить:

"Я никогда не могъ повърить и теперь не върю, чтобы нельзя было

найти такую точку зрвнія, съ которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука объ руку, одна другую пополняя. Во всякомъ случав, выработка такой точки зрвнія есть высшая изъ задачъ, какія могуть представиться человъческому уму, и нъть жизни, которую жалко было бы потратить на нее. Везбоязненно смотрять ез глаза дяйствительности и ея отраженію, правди-истиния, правдя объективной и ез то же время охранять правду-справедливость, правду субъективную—такова задача всей моей жизни".

Какъ позитивисть, какъ сынъ 70-хъ годовъ г. Михайловскій, разумістся, стремился вывести свое зданіе на фундаменть точныхъ наукъ. Онъ убъжденный врагь всякой метафизики, отчего задача его, разумъется, только усложивлась. Не желая и не см'я передъ своей позитивной совъстью допускать ничего произвольнаго, г. Михайловскій для своей религіи нуждался болъе всего въ точныхъ выводахъ и обобщеніяхъ соціологіи. Но -- увы-такихъ точныхъ выводовъ и обобщеній не существовало, какъ не существовало и самой науки. Если и теперь еще соціологическія работы ненаотжно п какъ бы роковымъ даже образомъ начинаются съ вопросовъ: "что такое соціологія", какой ея методъ и пр. "ав ovo"-то легко себъ представить, что было 30 слишкомъ леть тому назадъ. Надо было начинать сначала, создать самую науку соціологін, но "туть же, --говорить г. Михайловскій, — иногда среди самаго процесса теоретической работы, привлекала меня къ себъ своею яркой и шумной пестротой, всею своей плотью и кровью житейская практика сегодняшняго дня, и я бросаль высоты теоріи, чтобы черезъ насколько времени опять къ нимъ вернуться и бросить". Естественно, поэтому, что у г. Михайловскаго, какъ у случайнаго гостя высоть теорін, чисто научныя изследованія отличаются какъ бы отрывочностью и некоторой даже неожиданностью и едва ли могуть удовлетворить полностью кого-нибудь (особенно при такой задачь, какъ создание религия!) и лучшее заглавіе имъ, какъ и всему написанному г. Михайловскимъ, это, разумъется, "въ перемежку". "Въ перемежку" — наука и публицистика, высоты теоріи и плоть и кровь житейской правды сегоднящняго дня, въ перемежку -- даже случайныя, чисто беллетристическія работы, и въ результать-почтенные 6 томовъ полнаго собранія сочиненій Михайловскаго, въ которыхъ читателю предоставляется разобраться самому. И, конечно, если въ немъ самомъ есть нечто отъ г. Михайловскаго, отъ психологіи кающагося дворянина, отъ голоса больной совести-вообще отъ настроенія 70-хъ годовъ-онъ кое въ чемъ разберется; въ противномъ случат, его недораразуменія отъ всего этого недосказаннаго, неполнаго, разбросаннаго и случайнаго, всехъ этихъ "высотъ" и "незпнъ" могутъ быть очень многочисленны. Цементь разнообразнъйшихъ работь г. Михайловскаго-настроеніе эпохи, ея идеаловъ, и если ихъ ивтъ въ насъ самихъ, то эти 6 томовъ не

могутъ не показаться чёмъ-то въ родё разрушенной храмины. Это, впрочемъ, прекрасно понималъ г. Михайловскій, когда въ срединё 80-хъ годовъ писалъ по поводу предъявленныхъ ему недоразуменій: "Хорошее это было время (70-е годы)". Тогда писатель зналъ и чувствовалъ, что у него: "есть собеседники, въ головахъ которыхъ жавутъ тё же задушевныя мысли, которые стоятъ на одной съ вами почве, поймуть васъ на полуслове, договорять для себя недоговоренное вами и, въ свою очередь, однимъ своимъ присутствіемъ начнутъ рёчь, которую вамъ стоитъ только договорить и развить..." "Миё случалось тогда писать кроме отдельныхъ статей по два ежемесячныхъ обозренія заразъ по самымъ разнообразнымъ вопросамъ—философскимъ, соціологическимъ, нравственнымъ, чисто практическимъ, литературнымъ. И все это связывалось единствомъ пульса жизни, который у меня бился въ тактъ съ монин читателями. Да, хорошее было время!..."

Все это такъ, но все же трудъ читателя, живущаго послѣ этого хорошаго времени, мало облегчается такими соображеніями.

Создать религію (въ положительномъ, познтивномъ смыслѣ этого слова), удовлетворить жаждѣ служить прогрессу, вселяя при этомъ убѣжденіе, что этотъ прогрессъ не мечта, не иллюзія и что формула его имѣетъ за собой серьезнѣйшія, строго-научныя основанія,—приподнять то нравственное, героическое, что таптся въ душѣ человѣка, взывая къ его совѣсти и чувству чести — этого хотѣлъ и это для своего времени сдѣлалъ г. Михайловскій. Мнѣ онъ представляется, прежде всего, не человѣкомъ науки, не философомъ, а хорошимъ русскимъ публицистомъ, мечтающимъ о созданіи новыхъ общественныхъ формъ жизни, политикомъ, для котораго правда-справедливость, т. е. условія, обезпечивающія человѣческое счастье—первенствуетъ надъ правдой-истиной, т. е. холодными и равнодушными къ судьбѣ людей выводами науки. И онъ служилъ своей мечтѣ въ теченіе цѣлыхъ сорока лѣтъ, служилъ съ огромной страстью и темпераментомъ, и подкупающей искренностью. Что вдохновляло его? Воть вопросъ, на который онъ отвѣчаетъ съ полной откровенностью.

"Мы -- я говорю "мы", потому что вмёняю себё въ честь стоять въ рядахъ этихъ сітоусповъ - мы поняли, что сознаніе общечеловъческой правды и общечеловъческихъ идеаловъ далось намъ только благодаря въковымъ с траданіямъ народа. Мы не виноваты въ этихъ страданіяхъ, не виноваты и въ томъ, что воспитались на ихъ счетъ, какъ не виноватъ яркій и ароматный цвётокъ въ томъ, что онъ поглощаетъ лучшіе соки дастенія. Но, принимая эту роль цвётка изъ прошедшаго, какъ нёчто фатальное, мы не хотимъ ея въ будущемъ. "Погическимъ ли теченіемъ

идей", какъ вы смъетесь надъ Герценомъ, или непосредственнымъ чувствомъ, долгимъ ли размышленіемъ или внезапнымъ просіяніемъ, исходя изъ высшихъ общечеловъческихъ идеаловъ или изъ прямого наблюденія, -- мы пришли къ мысли: мы должники народа. Можеть быть, такого параграфа и нътъ въ народной правдъ, даже навърное нътъ, но мы сго ставимъ во главу угла нашей жизни и дъятельности, хотя, можеть быть, не всегда вполнъ сознательно. Мы можемъ спорить о размърахъ долга, о способахъ его погашенія, но долгь лежить на нашей совъсти, и мы его отлать желаемъ. Вы смъетесь налъ нелъпымъ Шигалевымъ и несчастнымъ Виргинскимъ за ихъ мысли о предпочтительности соціальныхъ реформъ передъ политическими. Это характерная для насъ мысль, и знаете ли, что она значить? Для "общечеловъка", для citoyen'a, для человъка, вкусившаго плодовъ общечеловъческаго древа познанія добра и ала, не можеть быть ничего соблазнительные свободы политической, своболы совъсти, слова устваго и печатнаго, свободы обмъна мыслей, (политическихъ сходокъ) и проч. И мы желаемъ этого, копечно. Но если всъ связанныя съ этой свободой права должны только протянуть для насъ роль яркаго и ароматнаго цвътка, -- мы не хотимо право и этой свободы. Да будутъ они прокляты, если они не только не дадутъ намъ возможности разсчитаться съ долгами, но еще увеличать ихъ. А, г. Достоевскій, вы сами сітоуен, вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать о ней, соблазнительно желать ея во что бы то ни стало, для нея самой и для себя самого. Вы, значить, знаете, что гнать отъ себя эти мечты, воздерживаться отъ прямыхъ и, слъдовательно, болъе или менъе легкихъ шаговъ къ ней-есть нъкоторый подвигъ искупительнаго страданія".

Въ другомъ мъсть г. Михайловскій пишеть въ томъ же духъ:

"Скептически настроенные по отношенію къ принципу свободы, мы готовы были не домогаться никакихъ правъ для себя, не привилегій только, объ этомъ и говорить нечего, а самыхъ даже элементарныхъ параграфовъ, того, что въ старину называлось естественнымъ правомъ. Мы были совершенно согласны довольствоваться въ юридическомъ смыслъ акридами и дикимъ медомъ и лично претерпъвать всякія невзгоды. Конечно, это отречение было, такъ сказать, платоническое, потому что намъ, кромъ акридъ и дикаго меда, никто ничего и не предлагалъ, но я говорю о настроеніи, а оно именно таково было и доходило до предъловъ, даже мало въроятныхъ, о чемъ въ свое время скажетъ исторія. "Пусть сткуть, мужика сткуть же"-воть какъ, примфрно, можно выразить это настроеніе въ его крайнемъ проявленіи. И все это ради одной возможности, въ которую мы всю душу клали, именно возможности непосредственного переходо къ лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадію европейскаго развитія, стадію буржуазнаго государства. Мы върили, что Россія можеть проложить себъ новый историческій путь, особливый отъ европейскаго, при чемъ опять-таки для насъ важно не то было, чтобы это былъ какой-то національный путь, а чтобы онъ быль путь хорошій, а хорошимъ мы признавали путь сознательной, практической пригонки національной физіономіи къ интересамъ

народа. Предполагалось, что нъкоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильные либо властью, либо своею многочисленностью, возьмутъ на себя починъ проложенія этого пути".

Это очень характерныя строки, изъ которыхъ, прежде всего, съ полной очевидностью выступаетъ фактъ, что толковать г-на Михайловскаго внё конкретной, исторической обстановки его времени, внё настроенія его эпохи—трудъ совершенно безполезный, потому что очевидно, что никакія теоретическія изысканія не могутъ привести къ формулё сердечнаго надрыва: "пусть сёкуть, мужика сёкуть же". Это голосъ совёсти, все равно, какъ слова: "мы должники народа", "мы не хотимъ правъ и этой свободы", "долгъ (передъ народомъ, мужикомъ) лежитъ на нашей совёсти и мы его отдать желаемъ"—никому въ мірё не могутъ принадлежать, какъ кающемуся дворянину. Имъ, прежде всего, и былъ г. Михайловскій и въ большомъ, и маломъ, и въ своей формулё прогресса, и въ своихъ разсужденіяхъ о томъ, какъ несправедливо въ наши дни вознаграждается трудъ кухарки.

Г-ну Михайловскому принадлежить прекрасное произведение "Въ перемежку", гдъ между прочимъ изложены психологія и обстоятельства жизни кающагося дворянина Темкина. Отнюдь не смъшивая дворянина Темкина съ г. Михайловскимъ, думаю однако, что нъкоторыи размышленія перваго имъютъ ближайшее родство и съ такими формулами послъдняго, какъ только что приведенныя и даже съ "самой" формулой прогресса.

Отецъ Темкина не каялся, хотя чувствоваль, что въ жизни его есть что-то неладное, во всякомъ случав не отличался непосредственностью дедовъ и прадедовъ. Сынъ сравниваетъ свой душевный міръ съ водой въ неподвижно стоящемъ сосуде, которую подвергаютъ медленному охлажденію. Ртуть давно уже упала ниже нуля, а вода не замерзаетъ, но стоитъ лишь слегка всколохнуть сосудъ, и на поверхности немедленно же появляется ледъ. Значитъ и тутъ термометръ давно уже стояль ниже точки замерзанія, нуженъ былъ самый крошечный толчокъ, и этотъ толчокъ далъ дяденька-генералъ свомыть разсказомъ объ одной действительно крупной и даже занятной несправедливости по отношенію ни къ кому даже другому, а къ своему же ближайшему родственнику — изъ летописей рода Темкиныхъ. Разсказъ слишкомъ длиненъ, чтобы его тутъ приводить, — но неподвижный сосудъ всколыхнулся...

И воть дворянинъ Темкинъ сначала мало, потомъ все больше, до истеричности даже, начинаеть заподозръвать правоту своего привилегированнаго положенія, своего образованія, какъ купленнаго цъною пота и крови разныхъ кръпостныхъ Федекъ, и конечно, какъ баринъ, какъ прирожденный эстетикъ—потому что идея красоты у насъ вся изъ барской

культуры—прежде всего пришелъ въ восторгъ отъ дивной красоты своего покаянія:

"Съ тъхъ поръ, какъ стоитъ святая Русь, никто, болъе насъ, поэтическаго апоесоза не заслуживалъ. И мы его, наконецъ, получимъ. Ахъ, если бъ я былъ первоклассный художникъ, если бы я могъ разлиться въ звукахъ, въ образахъ, въ краскахъ—я воспълъ бы васъ, братья по духу, изобразилъ бы васъ, мученики исторіи, и изломалъ бы затъмъ перо, ръзецъ и кисти, потому что, отвъдавши сладкаго, не захочешь горькаго, не запоешь подблюдныхъ пъсенъ... Но дъло такъ ярко говоритъ само за себя, что даже я, вполнъ сознавая ничтожество своихъ силъ, надъюсь дать вамъ, по крайней мъръ, намекъ на дивную красоту нашего покаянія".

И конечно, была красота, была красота духовнаго міра, почти что внезапно проснувшагося отъ долгаго сна и вдругъ постигшаго свои глубочайшія связи съ жизнью и ея первоосновой—трудящейся, обездоленной массой народа. Впрочемъ, и красота покаянія, и восторги барина Темкина были ограничены кое чёмъ существеннымъ...

"Но во имя правды, — пишетъ онъ, — пожалуйста, не говорите о "веселой торопливости". Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпъль впослъдствіи, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое... Нътъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъ же не торопиться? Какъ не торопиться изъ угарной комнаты, когда голову ломитъ, дышать трудно, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху! свъта... Какъ не каяться, если совъсть мучитъ!"

Очевидно, что онъ уже побъдът и, если чему радуется, то никакъ не покаяню, а именно своей побъдъ. Жизнь заставила его отказаться отъ дарового труда, отъ всъхъ привилегій положенія, мысль, въ концъ концовъ, указала, что это не зло, а благо, что это-то и есть самое настоящее, чего только можно желать. Изъ угарной комнаты, угарной отъ хамскихъ предразсудковъ дяденьки-нъмца, откупной службы отца, зуботычинъ дяденьки-генерала, разврата, насилія, всякой нечести онъ перешелъ хотя и въ коморку, но въ коморку со свѣжимъ воздухомъ.

Онъ дъйствительно и искренно заподозрилъ правоту своего общественнаго положенія. Опять нъсколько любуясь собой, нъсколько торопливо подчеркивая свою современность, онъ говоритъ: "Личное благополучіе, какъ принципъ, есть штука, конечно, очень, какъ бы сказать... мъщанская что ли. Стремленіе къ личной чистотъ и соотвътственное покаяніе— штука старая, давшая искусству, кажется, уже все, что съ нея взять можно. Но чувство личной отвътственностии за свое общественное положение есть тема новая, почти незатронутая".

Какъ ни случайно, повидимому, явилось въ душт нашего героя "чув-

ство личной отвътственности за свое общественное положеніе", оно все же оказалось достаточнымъ, чтобы перевернуть вверхъ дномъ н его жизнь, и его внутренній міръ. Дѣло, разумѣется, въ томъ, что это не было его личное чувство, а чувство и настроеніе цѣлой эпохи, по крайней мѣрѣ цѣлой общественной группы, часть которой ушла въ карьеру, а другам часть въ себя, чтобы копаться въ душѣ своей, копаться въ ней вплоть до дѣтскихъ воспоминаній и даже дальше того—до лѣтописи и поколѣній, копаться тамъ и мучить себя, переходя отъ рыданій къ восторгамъ передъ дивной красотой новаго чувства. Мелко это или крупно—это въ сущности безразлично, но совсѣмъ не безразлична другая точка зрѣнія на жизиь, выработанная неугомонной совѣстью. Вотъ, напр., совсѣмъ маленькое соображеніе:

"Для того, чтобы изъ меня геніальный комокъ нервовъ выработался, нужно кому-нибудь снять съ меня весь физическій трудъ, необходимый въ данную минуту, то - есть нужны Өедьки и Яковы, не кръпостные, такъ "вольные", но, во всякомъ случать, приспособленные къ стихіи физическаго труда и превосходно съ ней справляющіеся".

Просто любопытно, какъ правильно, какъ даже схематически правильно повторяется въ геро 70-хъ годовъ кающійся процессъ всего на шего культурнаго дворянства вообще! И тутъ послѣдній, еще необходимый штрихъ—кром удивительно характерной "дивной красоты покаянія"—изъ котораго видно, что процессъ покаянія у Темкина просто и естественно долженъ былъ перейти въ прекраснодушіе, въ исключительныя заботы о собственномъ правственномъ благообразіи.

"Вотъ замъчательный и, смъю сказать, историческій фактъ: въ то время, какъ Писаревъ и другіе чэыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большин ство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу вз жизнь, въ это самое время, вст эти Помяловские, Ръшетниковы, Щаповы, Нибуши и проч. знать не хотъли никакихъ эпитемій и знакомились съ бълой горячкой. Они были полны ненависти и были правы въ своей ненависти. Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвътственности за свое общественное положеніе, ихъ могла душить только злоба за искалъченную жизнь. Но они были все-таки близки намъ, именно своею непавистью, и изъ этой близости возникали чрезвычайно странныя столкновенія. Прежде всего, они насъ спасли отъ окончательнаго погруженія въ писаревщину. Мы готовы были совершенно закупориться въ тъсную раковинку собственной чистоты, примирившись съ тъмъ фактомъ, что въ нижнемъ этажъ того самаго зданія, гдъ мы себъ устроили уютное гивадышко, живеть непроглядное невъжество, безысходная нищета. Но разночинцы выходили именно отсюда, изъ этого страшнаго подвала, и вносили съ собою струю свъжаго воздуха. Такъ что они, со всъмъ своимъ пьянствомъ и буйствомъ, спасали насъ.

Разночинецт не далъ кающемуся дворянну осуществить программу Станкевича и его кружка, — программу чистой святой жизни, уединенной отъ всякой скверны, т. е. программу, такъ подкупавшую наше барство тридцатыхъ годовъ; разночинецъ въ эту прекраснодушную психологію внесъ свою ненависть и оольше— правоту своей ненависти, свой гнѣвъ, свою жажду отмщенія и жертвы. Не механически соединились теперь оба эти элемента—кающагося барвиа и непримиримаго разночинца, идеи красоты и общественнаго служенія, ближайшей пользы, ближайшаго стремленія— помочь голодной массъ, накормить ее—и лучезарнаго идеала, эстетически созерцаемаго идеала (какъ сейчасъ увидимъ) — гармонически развитой личности, — а полно и органически и создали движеніе 70-хъ годовъ и его философическое отраженіе— 6 томовъ собранія сочиненій г-на Михайловскаго.

Г. Михайловскій несколько разь публично заявляль, что онь не народникъ. И, конечно, онъ не народникъ юзовскаго толка, напр., такъ что н самое понятіе "народъ" онъ не сметинваеть ср понятіемъ "мужнка", а расширяеть его до опредъленія "всё трудящіеся классы общества" и въ вопросъ о томъ, какъ надо поступать "сообразно ли съ митніями или съ нитересами народа?" -- высказался скорте (хотя итсколько неопредтленно) за янтересы, а не за митяня. Въ то же время онъ и не почвенникъ, потому что не находить ничего привлекательнаго въ томъ, что "блеститъ н тайно светить" въ смиренной красоте русскаго народа или въ простодушін отставного солдата Кудимыча, у котораго всё народы - хорошіе люди, и который всехъ этихъ хорошихъ людей "эва сколько перебилъ". Г. Михайловскій, такъ сказать, убъжденныйшій интеллигенть, убъжденныйшимъ образомъ исповедающій веру въ силу критической личности и разделявшій нъкогда самонадъянныя мечты и надежды русской интеллигенцін 70-хъ годовъ. Это его слова: "предоставьте русской интеллигенціи свободу мысли и слова, и, можеть быть, русская буржуваія не съфсть русскаго народа". Самая задача его дъятельности синтезировать правду-истину и правду-справедливость свидетельствуеть о полномъ его уважения къ наукъ, знанію, пителлигентность вообще. Но все же я думаю, что и самъ г. Михайловскій не станеть отрицать, что въ ніжоторых существенных пунктахъ онъ очень близокъ не только яъ народникамъ, но и къ народникамъ опростителямъ. Такое, напр., признаніе, что онъ в'єрилъ (и вначалъ, разумівется, безъ сомнівній) въ "возможность (для Россін) непосредственнаго перехода къ лучшему высшему порядку, минуя среднюю стадію европейскаго развитія, стадію европейскаго государства" — заставляеть

очень многихъ считать его народникомъ. И, конечно, у него есть или было духовное согласіе съ этимъ существеннымъ пунктомъ программы послѣднихъ. Къ кому же, впрочемъ, какъ не къ народу и было прислониться ему — кающемуся дворянину, кого же больше всего жалъть, о комъ же мучительнъе всего думать! Восклицаетъ же дворянинъ Темкинъ, вспоминая о ребяческой своей подлости въ отношеніи къ дворовому человъку: Федька великодушный, прости меня!—почему бы не поискать того же крика и въ формулъ прогресса г-на Михайловскаго? Конечно, туть строгая наука, формула Бэра и пр., но суть, кажется, не въ этомъ, а въ томъ, что наслъдственно-утомленная барская культура ищетъ выхода въ идеалъ опрощенія (не даромъ же увлекалась Руссо двѣнадцативъковая аристократія Франціи), а русская—въ нъсколько очищенной отъ грязи, нъсколько прикрашенной мужицкой жизни.

Напомню центральное мъсто изъ статьи г. Михайловскаго "Что такое прогрессъ".

"Первобытное общество представляеть въ цёломъ массу совершенно одпородную. Всъ члены его занимяются одпими и тъми же дълами, обладають одними и тъми же свъдъніями, имъють одни и тъ же нравы и обычаи. Но каждый изъ нихъ, отдъльно взятый, вполиъ разнороденъ: онъ и рыбакъ, онъ и охотникъ, и пастухъ, онъ и лодки умъетъ дълать, и оружіе, и жилище себъ самъ стройтъ и т. д. Словомъ, каждый членъ первобытнаго общества совмъщаетъ въ себъ всъ силы и способности, какія только могуть родиться при тогдашнемъ уровні культуры и містныхъ физическихъ условіяхъ. Но вотъ происходить первое дифференцированіе общества на управляющихъ и управляемыхъ. Общество сдълало шагъ отъ однородности къ разнородности, но входящія въ составъ его недълимые перешли, напротивъ, отъ разнородности къ однородности. Мускульная система у однихъ стала развиваться въ ущербъ нервной системъ, а у другихъ наоборотъ. Прежде каждый членъ общества умълъ строить жилища и ловить звърей, а теперь одна половина ихъ отвыкла отъ этихъ занятій, но зато научилась управлять, лечить, гадать и т. д. Слъдующій шагъ къ соціальной разнородности есть, вмъсть съ тьмъ, и шагъ дальнъйшей индивидуальной спеціализаціи, т. е. однородности. Правящій классъ распадается на світскихъ и духовныхъ правителей. Одии сосредоточиваютъ свои силы и способности, главнымъ образомъ, на войнъ, а другіе на собственно интеллектуальной дъятельности, въ предълахъ, допускаемыхъ уровнемъ культуры, и затъмъ каждый изъ представителей того и другого подкласса избираетъ себъ все болъе узкія спеціальности. Это есть усложненіе, увеличеніе разнородности общества въ цъломъ, но вмъстъ съ тъмъ, спеціализація, уменьшеніе разнородности въ каждомъ недълимомъ. Нъкоторыя силы и способности отъ долгаго неупотребленія въ цъломъ ряду покольній какъ бы

атрофируются, перестають дъйствовать, и это отзывается, разумъется, и на физической организаціи.

_Нельзя сказать, чтобы дъятельность первобытныхъ людей исключительно состояла изъ физического труда. Это митне, весьма распространенное, въ сушности совершенно ложно. Если мы примемъ въ соображеніе неудовлетворительность первобытныхъ орудій для добыванія пищи, устройства жилища и т. д., тъ опасности, среди которыхъ жилъ первобытный человъкъ, то для насъ станетъ совершенно ясно, что мозгъ его долженъ быль быть въ постоянномъ напряженіи, быть постоянню насторожъ, постоянно придумывать весьма трудвыя для него комбинаціи. которыя въ настоящее время давно уже готовы и рѣшаются простымъ приложеніемъ механической силы. Умъ и тъло человъка первобытнаго работали единовременно и съ одинаковымъ напряжениемъ, и если мы, современные пивилизованные люди, не признаемъ этого, то только потому, что смотримъ на первобытное общество изъ прекраснаго далека, слишкомъ отъ него отличнаго. Современный цивилизованный человъкъ. вообще говоря, физическаго труда не знаеть, и потому ему кажется громаднымъ и всепоглощающимъ физическій трудъ человіка, съ другой стороны, современный цивилизованный человъкъ обладаеть такимъ количествомъ знаній, что умственная работа дикаря-представляется ему ничтожною. Придумать топоръ-штука не хитрая, а вотъ дровъ нарубить--такъ тяжело,-такъ разсуждаетъ современный цивилизованный человъкъ, постоянно видъвшій топоры и никогда не рубившій дровъ. Естественно поэтому, что ему кажется, что мысль первобытнаго человъка не работала вовсе и что вся жизнь его сводилась на трудъ физическій. Первобытный человъкъ, какъ членъ однороднаго общества, до того поворотнаго пункта, на которомъ ръзко обозначилось раздъленіе труда, былъ личностью цълостною, личностью, въ которой умственная и физическая стороны находились во взаимной гармоніи. Другое дълокругъ его умственной дъятельности: онъ не быль и не могъ быть обширенъ. Каждый изъ членовъ первобытнаго общества обладалъ такими же свъдъніями и понятіями, какъ и всъ остальные, но всъ они имъли свъдънія весьма ограниченныя. Поэтому въ однородной массъ первобытнаго общества недълимыя были вполнъ разнородны, насколько это допускалось условіями міста и времени. Горизонть діятельности ихъ быль небольшой, но представляль полный кругь, замкнутую линію. Они были полными носителями современной имъ культуры. Съ дифференцированіемъ общества на управляющихъ и управляемыхъ, съ диффецированіемъ, обусловившимъ развитіе общества, т. е. переходъ общества отъ однороднаго и простого къ разнородному и сложному, началось нарушение пълости отдъльныхъ личностей и переходъ ихъ отъ разпороднаго къ однородному. Дальнъйшія распаденія правящаго класса имфютъ тотъ же двойственный характеръ: вызываютъ разнородность въ общественномъ строъ и, напротивъ, однородность и односторонность въ отдъльныхъ личностяхъ.

"Сравнивая, затъмъ, первобытное состояніе общества съ современнымъ состояніемъ низшихъ классовъ, мы придемъ къ тому же результату. Возьмите работу дикаря, съ одной стороны, и трудъ современнаго

фабричнаго, съ другой. Дикарь собирается построить себъ жилище. Онъ самъ выбираетъ годныя для его цели деревья, самъ валитъ ихъ, самъ свозить ихъ на мъсто, самъ дълаетъ срубъ и доканчиваетъ хижину. Хижину онъ, положимъ, навърное слъпилъ очень плохую, но не въ томъ дъло. Во все время работы онъ жилъ полною жизнью Въ то время, какъ онъ потълъ и надрывался въ лъсу, онъ работалъ не только физически: выборъ деревьевъ, мъста для провоза ихъ, мъста для постройкивсе это требуеть извъстной умственной напряженности. Кромъ того, во все время работы дикарь думаеть о своей будущей жизни вътой хижинъ, надъ постройкой которой онъ бъется, о техъ удобствахъ, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи; на эти мысли его наводить каждый уголъ каждая щель Въ то же время онъ вносить въ планъ хижины свою убогую идею красоты и пускаеть въ ходъ всъ свои физико-математическія знанія. Словомъ, дикарь живетъ во время работы всъмъ существомъ своимъ. Совершенно противоположную картину представляетъ работа современнаго фабричнаго въ тъхъ областяхъ труда, которыя подверглись наибольшему числу дифференцированій. Напримъръ, производство карманныхъ часовъ, по Воббеджу, состоитъ изъ ста двухъ отдъльныхъ операцій, по числу отдъльныхъ частей часового механизма, такъ что изъ сотни людей, занятыхъ этимъ дъломъ, каждый всю жизнь сидитъ надъ одними и тъми же колесами или винтиками, или зубчиками - и только мастеръ, складывающій разрозненныя части механизма, умветь двлать что-нибудь, кромв своего спеціальнаго двла. Понятное дъло, что это однообразіе занятія исключаеть какую бы то ни было умственную дъятельность, или, по крайней мъръ, низводить ее до возможнаго minimum'a. Какъ говоритъ Шиллеръ: "Въчно возясь съ какимъ-нибудь обрывкомъ цълаго, человъкъ и самъ превращается изъ цълаго въ обрывокъ". Въ тульскомъ оружейномъ заводъ раздъленіе труда доведено до такой степени, что мастеръ не только всю жизнь свою дълаетъ собачки, или курки, или сверлить стволы, но передаетъ свое мастерство дътямъ по наслъдству. Постоянное и однообразное занятіе естественно должно выразиться не усложненіемъ, а упрощеніемъ организаціи, должно провести въ организмъ болье или менье глубокую, такъ сказать, борозду однородности, которая и безъ того, въ силу наслъдственной передачи особенностей организма, можетъ усвоиться потомствомъ, а въ этомъ случав естественный факторъ-наследственность усиливается содъйствіемъ соціальнаго фактора. Понятно поэтому, что въ ряду поколеній тульских оружейников мы должны встречать все большій и большій переходь оть разнородности къ однородности. Предки ихъ дълали все ружье, и потому должны были принимать въ соображеніе» такія данныя, которыя совершенно не нужны и непригодны потомкамъ, только сверлящимъ стволы или дълающимъ курки. Поэтому предки были разнородиве потомковъ, и въ то же время появление этихъ спеціалистовъ-потомковъ способствовало увеличенію разнородности щества, т. е. его развитію".

Я привелъ центральное мъсто статьи г. Мяхайловскаго, въ которомъ онъ устанавливаетъ основанія своей формулы прогресса. Не знаю, что собственно

напоминаетъ оно вамъ, мит же лично за этими фразами, такъ горячо и такъ воодушевленно написанными, слышатся мечтанія Руссо и то чувство очарованія и восторга, которое овладъвало французскимъ философомъ при мысли о первобытномъ состояніи людей, ихъ полной свободъ и независимости.

"Свобода исчезла и зам'внилась рабствомъ", — говоритъ Руссо. "Ц'альность личности, ея разнородность, полнота развитія всёхъ ея силь и способностей — словомъ всё необходимыя условія для счастья — уступили м'єсто экономической и общественной спеціализаціи, тому процессу, который превращаєть челов'єка въ "палецъ отъ ноги", въ колесико безконечно большой общественной и государственной машины", — говоритъ г. Михайловскій. Прочтя "Discours sur l'inegalité", Вольтеръ сказалъ, что ему хочется встать на четверенки и уб'єжать въ л'єсъ; сказать то же самое посл'є прочтенія статьи г-на Михайловскаго, пожалуй, не захочется никому, но если кто д'єйствительно проникнется настроеніемъ его блестящихъ картинъ, тоть можетъ пожелать уйти, напр., въ деревню и путемъ хотя бы опрощенія достигнуть состоянія прежней ц'єльности и полноты.

Конечно, и г. Михайловскому приходится сознаться, что не все въ этой первобытной жизни и среди условій простого сотрудничества такъ уже хорошо и привлекательно. Довольно різко отмічаєть онъ, напр., зависимое и рабское положеніе женщины, по, очевидно, что имъ же нарисованная картина заключаєть въ себів такія черты, которыя искупають всів ея недостатки. Онъ любить ее и много любить, потому что много ненавидить противоположную ей картину современнаго строя, гдів ність, разумівется, и сліда ни цільности личности, ни ея разнородности, гдів она не можеть быть человічески-счастлива, потому что пеобходимость заставила ее развить въ себів лишь одну способность, лишь одинъ какой-нибудь органь, — глаза, голову, руки.

Не можетъ г. Михайловскій одинаково отказаться и оть мысли, которая являлась одиниъ изъ догматовъ вёры интеллигента 70-хъ годовъ, — той, что золотой вёкъ не позади, а впереди насъ, что всё наши усилія должны быть направлены къ тому, чтобы водворить царство его здёсь, на землѣ. Но прообразъ этого будущаго вёка данъ уже въ прошломъ, и наша интеллигентная задача заключается въ томъ, чтобы возстановить типъ этой прошлой жизни, предоставить человёку полную возможность развитія всѣхъ своихъ силъ и всѣхъ способностей. Человѣкъ долженъ возродиться передъ нами во всей своей "разнородности" и во всемъ своемъ могуществъ, долженъ вернуть себъ отнятое у него обществомъ и государствомъ, экономическимъ и общественнымъ раздѣленіемъ труда, долженъ войти въ жизнь не одной какой-нибудь стороной своего организма — мыслью, или руками, трудомъ только физическимъ и только умственнымъ, — а всѣмъ существомъ своимъ.

Я полагаю, что никто не станеть оспаривать эту, быть можеть, даже неумышленную идеализацію первобытнаго бытія со стороны г-на Михайловскаго. Очевидно, что для него "правда" жизни была тамъ, а затымъ исторія дълала ошибку за ошибкой. Онъ, впрочемъ, самъ очень откровенно говорить объ этомъ:

"Во временныхъ и случайныхъ союзахъ простого сотрудничества эта чръльность и непосредственность взаимныхъ отношеній остаются во всей своей силъ... Если бы принципъ простого сотрудничества восторжествовалъ, если бы цивилизація постепенно раздвигала именно этимъ видомъ коопераціи личное существованіе равномърно во всъ стороны, не раздробляя индивидуальности, а пріобщая къ ней все новыя и новыя индивидуальности, столь же цъльныя, если бы при этомъ воззръніе на природу путемъ коллективнаго опыта очищалось отъ объективнаго антропоцентризма... я не знаю, что было бы въ такомъ случаъ",—

во всякомъ случать, добавлю я отъ себя, не такая мерзость, которую мы видимъ вокругъ, потому что мерзъе этой мерзости г. Михайловскій не можетъ себъ ничего и представить.

"Раздѣленіе труда одолѣло". "Запутанный порядокъ сложнаго сотрудничества постепенно стиралъ непосредственность взапиныхъ отношеній и дробплъ индивидуальную цѣльность". Цивилизація развивалась, но все ея развитіе происходило за счеть отдѣльнаго человѣка, личности. Чтобы использовать одну какую-нибудь его силу, одинъ его органъ, отъ него отнимались другіе. Цивилизація дѣйствовала такъ же жестоко, какъ спартанцы, которые выкалывали глаза своимъ рабамъ, приставленнымъ къ ручнымъ мельницамъ, чтобы эти несчастные не развлекались, а могли бы молоть и молоть безъ конца.

Исторія вступила на ложный и страшный путь постепенной и систематической кастраціи личности. Правда, на другой путь она и не могла вступить, что и г. Михайловскій признаеть, но все же путь ея ложень и страшень. Это путь общественнаго и экономическаго разділенія труда, все зло, весь вредь котораго такъ горячо, такъ убіжденно выставлены въ стать в "Что такое прогрессь". Разділеніе труда— зло огромное и безусловное, и никакихъ оговорокъ, никакихъ уступковъ г. Михайловскій не дівлаеть. Цитируя даже осторожное замічаніе Милля насчеть того, что "разділеніе занятій, псполненіе одновременнымъ трудомъ многихъ работы, которая не могла бы быть окончена какимъ бы то ни было числомъ порознь,—воть великая школа коопераціи", — онъ сейчасть же замічаеть, "великая ли это школа— это вопросъ, подлежащій обсужденію, но это не единственная школа коопераціи, потому что есть еще школа простого сотрудничества"... Во всякомъ случать, чтобы достигнуть счастья, человічество должно оть разділенія труда вернуться къ простому сотрудничеству.

Однако, гдт же эта первобытная жизнь, высокая по своему типу, хотя п низкая по степенн? гдт это простое сотрудничество, которое для г. Михайловскаго, дтйствительно, является великой школой коопераціи? Я дунаю, что всякій самъ легко укажеть источникъ вдохновенія г-на Михайловскаго до того онъ очевиденъ, до того онъ былъ близокъ къ нему.

. Русскіе люди исходили изъ обычнаго настроенія всякаго критическаго періода,—изъ настроенія, указывающаго идеаль въ условіяхъ естественчаго существованія, но они видъли это естественное существованіе передъ собой, видъли его на всемъ протиженій русскаго государства, въ таинственныхъ и молчаливыхъ деревняхъ, устоямъ которыхъ, повидимому, ничто не предрекало скорой гибели. Мало того: прошлое нашей исторіи, почти непзвъстное тогда, очень плохо понятое и еще хуже истолкованное, говорило о прочности этихъ устоевъ и возможности продолжить ихъ жизнь въ неопредъленно далекое будущее.

Интеллигентная мечта прилъпилась къ деревиъ, въ ней нашла она конкретный образъ своего идеала, и естественна и понятна была ея радость и торжество по этому поводу. За десять-пятнадцать верстъ отъ города находили и Америку, и Эльдорадо, и острова Тихаго Океана, и всъ условія для возможнаго человъческаго счастья здъсь, на землъ. Находили и простое сотрудничество, и объективно-антропоцентрическое міросозерцаніе, и возможный minimum раздъленія труда, и разнородность личности, и отсутствіе спеціализаціи. Находили, словомъ, исходный пунктъ историческаго процесса, тотъ пунктъ, съ котораго исторія Запада въ какомъ-то слъпомъ и страшномъ заблужденіи свернула, чтобы породить безчисленныя бъды и безчисленныя противоръчія.

Въ своей статъв "Что такое прогрессъ" и какъ разъ въ твхъ ея мъстахъ, гдв выставляются прелести первобытнаго существованія, г. Михайловскій ни словомъ ни обмолвился о мужикъ. Но, приведенная мною выше характеристика жизни первобытнаго общества прекрасно подходитъ къ нашей деревнъ: стоитъ только вмъсто словъ "первобытнаго общества" подставить "крестьянское общество", вмъсто "первобытный человъкъ"— "мужикъ". Совпаденіе прямо трогательное. Сдълавъ подстановку, мы прочтемъ:

Крестьянское общество представляеть въ цѣломъ массу, почти однородную. Всѣ члекы его запимаются одними и тѣми же дѣлами, обладають одними и тѣми же свѣдѣніями, имѣютъ одни и тѣ же нравы и обычаи. Но каждый изъ нихъ отдѣльно взятый — вполнѣ разнороденъ: онъ и рыбакъ, онъ и охотникъ, и пастухъ, онъ и лодки умѣетъ дѣлать, и оружіе и жилище самъ себѣ строитъ и т. д. Словомъ, каждый членъ крестьянскаго однороднаго общества совмѣщаетъ въ себѣ всѣ силы и способности, какія только могутъ родиться при деревенскомъ уровнѣ культуры и мѣстныхъ физическихъ условіяхъ...

Нельзя сказать, чтобы дъятельность мужика исключительно состояла изъ физическаго труда. Это мнъніе, весьма распространенное, въ сущности, совершенно ложно... Возьмите работу мужика, съ одной стороны, и трудъ современнаго фабричнаго — съ другой. Мужикъ собирается построить себъ жилище. Онъ самъ выбираетъ годныя для его цъли деревья, самъ валить ихъ, самъ свозитъ на мъсто, самъ дълаетъ срубъ и доканчиваетъ избу... Во все время работы мужикъ думаетъ о своей будущей жизни въ той избъ, надъ постройкой которой онъ бъется, о тъхъ удобствахъ, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи, на эти мысли его наводитъ каждый уголъ, каждая щель. Въ то же время онъ вноситъ въ планъ хижины свою убогую идею красоты и пускаетъ въ ходъ всъ свои физико-математическія знанія...

И т. д., —словомъ, до мельчайшихъ подробностей быта и міросозерцанія. Термины "дикарь", "первобытный челов'єкъ", "первобытная жизнь" и проч. были просто-на-просто façon de parler. На самомъ д'ялъ им'ялись въ виду крестьянинъ и крестьянскій трудъ, и такъ въ д'яйствительности всіс г-на Михайловскаго и поняли.

Напр., одинъ изъ героевъ Гл. Ив. Успенскаго, Пигасовъ, -- Протасовъ тожъ-очевидно, очень и очень начитанный по части сопіологическихъ статей г. Михайловскаго, говоритъ: "Въроятно, послъ морей крови и страданія они, т. е. западные люди, придуть путемъ огромныхъ усилій знанія и воли къ тому, что ассоціація-то должна быть въ одномъ человѣкѣ, что въ немъ одномъ должны сосредоточиваться, если такъ можно выразиться, всь знанія, всь науки, ремесла, а союзъ такихъ всесторонне развитыхъ людей будеть община, общество... То-есть придутъ къ типу нашего мужика, который все самъ, на все руки, все можетъ; ни въ комъ не нуждается и, сосредоточивая въ одномъ себъ возможность всесторонняго развитія врожденных въ немъ физических и нравственных силь, представляеть типъ "полнаго человъка", а не башмачника, сапожника, телеграфиста... Но зато, если культурный человъкъ послъ всъхъ усилій ума, знанія и воли, после всехъ страданій, после морей крови придеть къ тому же типу, который въ нашемъ крестьянинь уже есть, существуеть во всей краст и силт — не завоеванных имъ, а взятыхъ даромъ — тогда уже и самостоятельность, и независимость этого, своей волей выбившагося изъ мрака и холода мукъ, человъка будетъ въковъчная"...

Крестьянивъ и крестьянскій трудъ, типъ мужицкой жизни, существуюшій во всей красѣ и силѣ — вотъ истинный идеалъ эпохи, но идеалъ, если можно такъ выразиться, неодушевленный. Это просто-на-просто прекрасная статуя "первоначальнаго сотрудничества", вышедшая изъ рукъ великаго художника — природы, которую надо воодушевить и воодушевить прежде всего интеллигентной мыслью, чтобы сдѣлать ея бытіе вѣковѣчнымъ. Если все прошлое русской интеллигентной мысли,—о чемъ я подробно говорилъ раньше,—подготовило насъ къ особенному, любовному отношенію къ мужику, къ идеализаціи его жизни, къ взгляду на нее, какъ на законченный, красивый и спльный типъ человъческаго существованія,—то старое барство, поминвшее еще ужасы кръпостничества, съ своею жалостью къ обиженному и обобранному человъку, и кающееся дворянство съ своею больною совъстью—не могли не усилить степени этой идеализаціи.

Эта идеализація была не только психологически, но и логически неизб'яжна. Интеллигентный челов'якъ не могъ отказаться отъ своихъ традицій. Эти традиціи влекли его къ мужику, съ одной стороны, къ преклоненію передъ личнымъ развитіемъ, личной свободой и самостоятельностью, съ другой. Какъ примирить эту личную свободу, личное развитіе
и личную самостоятельность съ общинной жизнью? Можно ли ихъ примирить?

Для г-на Михайловскаго простое сотрудничество, т. е. сотрудничество безъ раздъленія труда, — ненависть и отвращеніе къ которому заставили его признать типъ крестьянской жизни не только высшимъ по отношенію къ типу жизни западно-европейскаго рабочаго, но и высшимъ вообще изъ всёхъ прошлыхъ, настоящихъ и будущихъ, — наиболѣе обезпечиваетъ индивидуальное развитіе, всесторонность и полнота котораго и даетъ человѣку счастье.

На его формулу критика откликнулась очень вяло. Въ сущности мы имъемъ по этой части одну статью, резюмировать которую можно въ очень немногихъ словахъ: "Прогрессъ, по взглядамъ г-на Михайловскаго, есть постепенное приближеніе къ цъльности недълимыхъ, къ возможно полному раздъленію труда между органами и возможно меньшему раздъленію труда между людьми. Возможно ли, вообще говоря, достиженіе такого идеала, т. е. полнаго равенства и всесторонняго развитія индивидуумовъ? Съ одной стороны, различіе пола и возраста, а также прирожденныхъ способностей противопоставляется самой природой возможности полнаго равенства между особями, съ другой,—кратковременность человъческой жизни мъшаетъ всестороннему развитію отдъльной личности, мъщаетъ тому, чтобы эта личность была всъмъ для себя, ни въ комъ не нуждалась, все знала, все понимала, все умъла".

"Чтобы всв были равны и всесторонне развиты, пришлось бы пожертвовать очень немногимъ—устранить, напр., некоторыя отрасли знанія, уменьшить область науки и техники, чего ни въ какомъ случав нельзя назвать прогрессомъ. Съ другой стороны, разъ такой идеалъ достигнутъ, и всв особи избъгаютъ всякой теоретической и практической дъятельности, которая бы отличала каждую изъ нихъ отъ другихъ, возможенъ ли будетъ тогда дальнъйшій прогрессъ, и не грозило ли бы это обществу китаизмомъ? Наконецъ, вставъ на эту точку эргьнія, мы должны были бы смотрыть на исторію, какт на рядт явленій регрессивных, ибо несомнюнно, что вт общество дикарей существуетт большее равенство между индивидуумами и каждый изт нихт болье способент ко всымт родамт дъятельности, доступной человьку вт дикомт общество, нежели мы видимт это у цивилизованных народовт".

Авторъ этой статьи приходить къ тому выводу, что формула прогресса г. Михайловскаго въ любой данный моменть можеть поставить точку всякому прогрессу. И въ концъ концовъ, самъ г. Михайловскій, какъ я думаю, ровно ничего противъ этого не имъстъ. Исторія представляется ему рядомъ явленій регрессивныхъ, разділеніе труда овъ отбрасываетъ ціликомъ. Наконецъ, верховной целью поведенія онъ ставить счастье. Если же счастье ставится верховной целью — то не все ли равно, на какой ступени развитія оно достигнуто? Зачемъ прогрессъ науки, техники, самосознанія-- что ведеть, въ концт концовъ, все къ большей спеціализаціп людей, къ раздъленію труда между ними, разъ эти сажые люди достигли равенства между собой, а условія ихъ жизни обезпечивають имъ устойчивость этого равенства. Исторія — рядъ ошибокъ, вызванныхъ процессомъ общественнаго дифференцированія (разділенія труда), отъ насъ зависить не повторять эти ошибки въ будущемъ, воспользовавшись для этого особенными общинными условіями крестьянской жизни. Надо лишь внести въ нихъ высшее "интеллигентное содержаніе". Та боязнь передъ культурой, передъ развитиемъ, которая такъ характерна для русскаго духа вообще, для славянофиловъ въ частности, недовъріе къ этой культуръ и развитію, желаніе обезпечить счастье на нравственно-экономической почвів — все это нашло себъ, несомиънно, самое талантливое въ русской литературъ выраженіе у г. Михайловскаго. Онъ (опять-таки герценовская черта) усталь духомъ своимъ отъ этой безтолковой исторіи, которая идетъ, сама не зная куда и зачень пдеть, просто никакь, обращая людей въ орудія и средства для своихъ целей, ломая и уродуя ихъ, идеть съ слешыми глазами, вся въ крови, равнодушная и стихійно жестокая... И воть никакъ я не могу отказаться отъ мысли, что глубиной-то своей натуры, своего настроенія - этоть негодующій и страстный русскій публицисть, этоть челов'якъ, всю жизнь боровшійся и звавшій на борьбу, т. е. г. Михайловскій — способенъ увлекаться любимой мыслью о "маленькой колоніи друзей, которые поселятся въ деревенькахъ и фермахъ, въ пятнадцати или двадцати верстахъ оть его деревни, какъ поперемънно будуть събажаться каждый день другь къ другу въ гости, об'вдать, ужинать, танцовать". Конечно, маленькая колонія друзей въ представленін г. Михайловскаго должна разростись до всего человічества, - іда и лінь отойдуть на послідній плань, но все же чувствуется въ г-нъ Михайловскомъ такой же хорошій, безконечно добрый русскій утописть съ истощающей даже жалостью сердца, съ горячимъ порывомъ остановить это колесо исторін, воистину колесующее людей, какимъ былъ и Илья Ильичъ Обломовъ, и А.С. Хомяковъ, и наши дътски наивные и дътски добродушные "трибуны" — Герценъ и Бълинскій. Коренной стихійный идеалъ нашего прошлаго — равенство въ бъдности, а не уравненіе богатства. И не знаю, поэтому, зачъмъ жалълъ г. Михайловскій, что въ Бълинскомъ не было немножко Прудона, т. е. его оппортунизма, и что старый солдатъ Кудимычъ, переонвшій уйму поляковъ и черкесовъ, такъ безконечно глупъ и такъ безконечно добръ?

Красота ржаного поля, поэзія земледѣльческаго труда, не сознанная нравственность общинныхъ устоевъ жизни, равенство и разнородность людей первобытнаго общества—все это вошло, какъ эстетико-этическіе элементы въ формулу прогресса г. Михайловскаго. Потому что онъ эстетикъ. Истипная жизнь человѣка представляется ему не только нравственной, но и краспвой, гармонически пѣльной и ужъ никакъ не жизнью "колесиковъ", "обрубковъ", подробностей государственнаго механизма.

Формула прогресса г. Михайловскаго гласить: "правственно, справедливо, разумно, полезно только то, что уменьшаеть разнородность общества, усиливая тыть самымъ разнородность его отдыльныхъ членовъ. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживаеть это движеніе".

Для своего времени эта формула была своего рода откровеніемъ. За вопросомъ 60-ыхъ годовъ "что делать?" необходимо следовалъ вопросъ, что такое прогрессъ, такъ какъ дълать, очевидно, надо что-нибудь прогрессивное, что-нибудь такое, что дало бы возможность самымъ легкимъ н скорымъ способомъ осуществить здесь на земле пдеаль человеческаго счастья. Тутъ решена задача, какъ обосновать нравственность наукой, какъ примирить стремление къ правде-истине съ стремлениемъ къ правде - справедливости. Люди, разсуждаеть г. Михайловскій, или устранвають или должны сами взяться за устройство своей жизни, создать свою пригодную для нихъ (по формуль прогресса г. Михайловского) дъйствительность, которая и обезпечить ихъ счастье. Но согласна ин существующая действительность, коверкающая и колесующая людей, обратиться въ дъйствительность, обезпечивающую человъческое счастье? Да, если люди захотять — то согласна, отвъчаетъ г. Михайловскій, или его собственными словами: "предполагалось, что н'ікоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильные своею властью, либо своею многочисленностью (!!), возьмуть на себя починъ въ проложении этого пути". Но будетъ ли это сообразно съ наукой? Отв'вчая на этоть вопросъ, г. Михайловскій создаль свою собственную науку (исходя изъ ученія Конта и автора "Историческихъ писемъ", а думается, что и статей Герцена и Писарева) или, по крайней м'вр'в свой субъективный методъ. Этотъ методъ требуеть, чтобы челов'вческія желанія и стремленія и наши нравственные идеалы вошли необходимымъ элементомъ въ научное соціологическое мышленіе.

У меня нътъ ни малъйшаго жеданія останавливаться на достоинствахъ и недостаткахъ субъективнаго метода. Для меня важно лишь отметить и подчеркнуть то обстоятельство, что методъ этотъ у насъ явился въ семидесятые годы, эпоху оживленной общественности, въры въ силы интеллигенцін, -- эпоху, когда формула "мы делаемъ исторію и должны делать ее во ния общечеловъческого счастья", пользовалась не только усиъхомъ, но, пожалуй, что и общимъ признаніемъ. По мірть того, какъ жизнь ставила этой превосходной формуль все большія ограниченія и доказывала ея несостоятельность, -- и субъективный методъ все больше терялъ свой креизмънилъ ему окончательно только самъ г. Михайловскій. литъ. Не Иные продолжають признавать его, но все съ большими ограниченіями. Понять его сущность не затруднительно; стоить только припоменть, что онъ появился, главнымъ образомъ, для защиты формулы прогресса и способа ея полученія. Можно ли получить эту формулу лишь путемъ безстрастнаго наледованія исторических и соціологических фактовъ (какъ хотълъ Спенсеръ), или же такой путь недостаточенъ? Субъективисты признали его недостаточнымъ. Такъ какъ, по ихъ миъцію, исторія дълается людьми, путемъ ихъ личной иниціативы, во имя ихъ же собственныхъ желаній и цітлей, то, слітдовательно, для построенія правильной формулы прогресса--эти собственныя цели и желанія должны быть приняты во вниманіе. Но такъ какъ цілей и желаній какъ звіздъ небесныхъ, то выбираются лишь тв, которыя соответствують высшему нравственному идеалу. Увы, однако и нравственный идеаль у каждаго свой собственный. Чья же формула прогресса (въ ея субъективныхъ элементахъ) будеть въ такомъ случав истинной? Разумвется, того, чья личная правственность наиболъе подходить къ высшему нравственному идеалу и т. д.

Наука, словомъ, должна быть этической, должна служить человъку, считаться съ его нравственными идеалами и оправдывать ихъ. Потому что люди, критически мыслящія личности, попросту интеллигенція дълаетъ исторію и они-то могутъ спасти русскій народъ отъ переснективы быть пожраннымъ буржувзіей, и благодаря ихъ усиліямъ, станетъ возможнымъ миновать среднюю стадію европейскаго развитія, опираясь, конечно, на устои народной жизни.

Все, вь концъ концовъ, сводится къ этикъ, этическимъ требованіямъ,

пропов'вди нравственной и общественно-полезной д'ятельности. Почему, напр., Спенсеръ не годится? "Спенсеръ,—говорнтъ г. Михайловскій,— налагаетъ свои мысли въ высшей степени спокойно и безстрастию, обставляетъ ихъ множествомъ прим'вровъ изъ самыхъ разнообразныхъ отраслей науки и жизни, при чемъ обнаруживаетъ огромныя св'яд'внія и располагаетъ свои прим'вры чрезвычайно искусно. Эти-то свойства его аргументаціи д'ялаютъ ее чрезвычайно опасною. и въ особенности для насъ, русскихъ. Спенсеръ трактуетъ объ общественныхъ вопросахъ совершенно такъ же безстрастно, какъ о гипотезъ туманныхъ массъ или о фазахъ развитія гидры. Мы къ этому не привыкли" и т. д. 1)

Научное мышленіе, напротивъ того, должно включить въ себя нравственные идеалы человъчества, а человъкъ науки долженъ быть прежде всего общественнымъ дъятелемъ. Въ этомъ и долженъ былъ опять отразиться духъ времени, его настроеніе.

70-е годы дъйствительно отличались и темпераментомъ, и характе-

¹⁾ Субъективная правда требуетъ свободы, равенства и счастья всъхъ людей, но можно ли эту правду, это наше желаніе оправдать съ точки зрѣнія точной науки? Вопросъ жгучій и если, по мнѣнію нѣкоторыхъ, г. Михайловскій мало сділаль для его рішенія, то во всякомъ случать, онъ многаго хотълъ. Когда точная наука въ лицъ Спенсера заявила, что до запросовъ человъческаго счастья ей нътъ никакого дъла г. Михайловскій ополчился на Спенсера; когда явились попытки подвести явленія общественной жизни подъ открытые Дарвиномъ законы біологіи, г. Михайловскій выступиль противь этихь попытокь; то же было и при нъкоторыхъ толкованіяхъ теоріи Маркса. Критика Спенсера была первымъ серьезнымъ литературнымъ трудомъ г. Михайловскаго, гдъ онъ высказался съ полной опредъленностью. Здъсь онъ употребилъ и весь свой большой таланть, и все свое немалое остроуміе, чтобы развънчать англійскаго философа въ глазахъ русской публики и чуть ли даже не свести его на нътъ. Въдь Спенсеръ ровно ничего не говоритъ о величіи критической мысли, не признаеть героевъ, не упоминаеть о "крови, слезахъ и страданіяхъ" людей, т. е. "цвив прогресса", а только безстрасно изследуеть ходъ развитія, — и ослабить его авторитеть представлялось для своего времени дъломъ большимъ, значительнымъ и труднымъ. Оно-это дело было велико и значительно, потому что вместо формулы Спенсера: "ны не дълаеми исторіи" надо было поставить другую: "мы дълаемъ исторію и должны дълать ее"; оно было трудно потому, что за Спенсеромъ стояли европейскіе авторитеты, а къ нему самому, какъ прежде всего естествоиспытателю, невольно склонялись симпатіи русскихъ читателей, еще помнившихъ недавнее увлеченіе естественными науками и Боклемъ-тоже совершенно равнодушнымъ къ судьбъ отдъльныхъ людей.

ромъ. Эту справедливость имъ надо отдать въ полной мъръ. Припомните журналистику того времени, ен ожесточенныя полемики, быстрое ръшеніе, которое получали въ ней самые серьезные вопросы, ръзкость и опредъленность ен точекъ зрънія и вы увидите, что люди жили или, по крайней мъръ, имъ казалось, что они живуть полною жизнью. И было несомивнно больше опредъленныхъ физіономій, чъмъ потомъ. И въ общественной жизни чувствовался тоть же тепераментъ, та же напряженность ожиданія, тоть же, повторяю, своего рода фанатизиъ и сектантство. Чувствовалась, словомъ, извъстная вдохновенность общественностью. Было не мало признанныхъ вожаковъ, и теперь видно, какъ страстно и напряженно работали они, и едва ли кто-нибудь изъ нихъ предполагалъ, какое жестокое разочарованіе ожидаетъ ихъ всъхъ и притомъ въ самомъ непродолжительномъ времени. Въ этомъ не ихъ вина, конечно...

Нечего и говорить, что та же требовательная общественность стремилась подчинить себв и искусство. Г. Михайловскій благополучно здравствуєть и по настоящее время п такъ какъ онъ, повидимому, сосредоточился на критикъ художественныхъ произведеній, то его взгляды на этотъ счеть достаточно извъстны. Искусство, какъ и наука, должно служить все тому же разръшенію общественныхъ вопросовъ: художникъ, какъ и человъкъ науки, долженъ быть прежде всего общественнымъ дъятелемъ; одинаково долженъ онъ стремиться не только къ пониманію, объясненію п изображевію—нъть, прежде всего онъ долженъ страдать и радоваться, прежде всего въ его голосъ должны быть слезы о прошлыхъ и настоящихъ мукахъ человъчества...

Субъективный методъ въ соціологіи, во всякомъ случать, сослужилъ хорошую службу г-ну Михайловскому: онъ далъ ему возможность выработать итсколько соціологическихъ формулъ, которыя могли явиться основаніемъ для нравственнаго поведенія. Идея этого субъективнаго метода внушена нестолько отдъльными фразами положительной философіи Конта, сколько настроеніемъ эпохи, голосомъ ея совъсти, жаждой расплаты съ народомъ и той русской интеллигентной самонадъянностью, которая допускала возможность немедменнаго осуществленія человъческаго счастья върусской землъ.

Этотъ субъективный методъ, это вторженіе личности и ея нравственныхъ идеаловъ въ научное мышленіе — это безспорное верховенство личности и ея идеаловъ, которые, въ концѣ вонцовъ, создаютъ науку, исторію и дѣйствительность, говоритъ о безмѣрныхъ стремленіяхъ и безмѣрной жаждѣ "творчества общественныхъ формъ", владѣвшихъ рус-

скими интеллигентными людьми 30 летъ тому назадъ, о томъ чисто религіозномъ фанатизмъ, съ какимъ они относились къ служенію обществу и устроенію народнаго счастья. Больная совъсть кающагося дворянина, тревожная мысль о неоплатномъ долгѣ народу, истительная непримиримость разночинца, все это слилось въ одномъ настроеніи, требовательно искавшемъ путей для немедленнаго осуществленія своихъ мечтаній. Во имя своихъ нравственныхъ ндеаловъ личность декретировала свое верховенство не только надъ формами общественной жизни, но и мадъ выводами науки. Тутъ завершеніе нашего процесса "эмансипаціи", ибо личность, ея критическая мысль поглотила въ себѣ все — общественныя формы и объективные выводы науки... И все это странно, противорѣчиво соединилось съ любовью къ молчаливой и безличной массѣ народа и даже преклоненіемъ передъ ней.

Г. Ив. Успенскій (род. 1840 г.). Г. Ив. Успенскій одинъ наъ самыхъ замічательныхъ русскихъ художниковъ-публицистовъ 70-хъ годовъ. По удивительной правдивости своей натуры, по способности къ крайнему увлеченію, онъ, быть можеть, больше кого-нибудь другого напоминаеть Бълинскаго. Онъ народникъ, но народникъ-скептикъ. Каждой своей строкой онъ разрушаеть въру въ прочность устоевъ крестьянской жизни; въ сущности-онъ поэть распаденія этихъ устоевъ, и особенно ясенъ для него фактъ, что чумазый (капиталъ) "орудуетъ" и въ лѣсахъ, и въ лугахъ, и на пашит, и въ самомъ сердцъ "пригороднаго" мужика, къ типу котораго приближается роковымъ образомъ все русское крестьянство. Распаденіе деревенскихъ устоевъ, нарожденіе деревенскаго пролетаріата вотъ пугающее и страшное въ нашей жизни и особенно пугающее и страшное для Успенскаго, который удивительно чутко проникъ и въ гармоннчность и целостность земледельческого міросозерцанія, и въ поэзію крестьянского труда и красоту ржаного поля. Все это для него свитое и прекрасное, истинный храмъ, въ которомъ завоеватель-торгашъ устроилъ свой прилавокъ и стойла для своихъ лошадей. Успенскій понималъ, что торгаши, хищники, Разуваевы расположились очень основательно, что ихъ очень трудно выгнать, но все какъ-то надъялся, что можеть быть и удается выгнать всю эту сволочь, пачкающую, коверкающую и развращающую чудное произведение художника-природы-крестьянскую жизнь. Аргументовъ противъ народнической веры и даже противъ всякихъ мечтаній о томъ, что "добрый баринъ" можетъ направить крестьянскую жизнь но желательному руслу, -- въ произведеніяхъ Успенскаго сколько угодно, но ть же произведенія лучше всего другого раскрывають намь глубину этой

въры, затрагивавшей и подчинившей себъ самыя могущественныя струны души человъческой, жажду земной справедливости, жажду красоты.

Именно и именно красоты. До сихъ поръ мало кто подчеркивалъ эстетическую сторону міровоззрѣній Успенскаго (исключая г. Михайловскаго), а между тѣмъ ее придется, пожалуй, очень и очень выдвинуть впередъ. Дѣло въ томъ, что красота типа народной жизни, (конечно, болѣе ясная при патріархально - крѣпостномъ строѣ, чѣмъ теперь, потому что самый типъ былъ нетронутъ) — дѣйствовала на Успенскаго могуче и непосредственно внѣ вліянія всякихъ полнтическихъ п полнтико-экономическихъ соображеній. Она такь же обязывала, какъ и страданія народа... Между прочимъ у Успенскаго есть очеркъ "Выпрямила", посвященный Венерѣ Луврской. Стоитъ на немъ остановиться нѣсколько, чтобы примирить эту несообразность — народничество и высшую эсгетику. И мы увидимъ, что несообразности никакой здѣсь нѣтъ, такъ какъ восторги Успенскаго передъ луврской Венерой тѣ же самые, что и его восторги передъ красотой крестьянской жизни.

Красота крестьянской жизни, поэзія земледельческого труда, красота самаго земледельческого типа по существу своему для Успенского то же самое, что красота... луврской Венеры. Я не въ парадоксахъ упражняюсь и не о томъ говорю, что Успенскій нашель у Венеры "мужицкій" завитокъ волосъ. Но, спросите себя, чемъ Венера такъ обрадовала и такъ выпрямила русского интеллигента-пролетарія, Тяпушкина — Успенского? О впечатлівній "женской прелести" не можеть быть, конечно, и різчи. "Я окончательно увъриль себя, —пишеть Успенскій, —что г. Феть безь всякихъ резоновъ, а единственнио только подъ впечатлениемъ слова "Венера", обязывающаго воспъвать женскую прелесть, воспъль то, что не составляеть главнаго въ Венер'в Милосской, въ общей огромности впечатлънія, которое она оставляеть". Не въ прелести дівло, а совстви въ другомъ: донъ (художникъ) бралъ (при созданіи Венеры) то, что для него было нужно и въ мужской красотъ и въ женской, не думая о полъ, а пожалуй, даже и возрасть и ловя во всемъ этомъ только человъческое; изъ этого разнообразнаго матеріала онъ создаваль то истинное въ человікі, что составляеть смысль всей его работы, то, чего сейчась, сію минуту, ильть ни въ комъ, ни въ чемъ, ни нигд'в, но что есть въ то же время въ каждомъ человъческомъ существъ, въ настоящее время похожемъ на скомканную перчатку, а не на распрямленную... И мысль о томъ, когда, какъ, какимъ образомъ человъческое существо будеть распрямлено до тъхъ предъловъ, которые сулить каменная загадка (Венера), не разръшая вопроса, тъмъ не менъе рисуетъ въ вашемъ воображения безконечныя перспективы человъческаго совершенствованія, человъческой будущности и

зарождаеть въ сердцъ живую скорбь о несовершенствъ теперешняго человъка". Венера Милосская явилась передъ Усценскимъ съ обломанными руками, съ какими-то даже нишлепками на носу, и все же въ этомъ вотъ обломкъ онъ увидълъ то истинное человъческое, что есть въ каждомъ, увидёль безконечныя перспективы человёческого совершенствованія. Оттого-то онъ и впалъ въ чисто молитвенный восторгъ, что впечатление красоты человъческой соединилось въ немъ со скорбью о несовершенствъ теперешняго человека. Будь онъ только эстетикъ, онъ, конечно, увиделъ бы въ Веневъ больше "жевщины", чъмъ увидълъ въ дъйствительности. Но у него эстетика особенная. Это эстетика 70-хъ годовъ, эстетика насквозь этическая, вызывающая скорбь о несовершенствъ. Вотъ что надо понять: у чутких художественных натурь семидесятниковъ не только совъсть обязывала, обязывала не только истина и справедливость, а дъйствительно обязывала и красота. Коечто въ этомъ смыслѣ можно найти у Михайловскаго, но у Успенскаго оно ярче, поливе: восторгъ передъ красотой у него чисто молитвенный, кольнопреклоненный стоить онъ передъ святыней красоты, очарован. ный этой каменной загадкой, открывающей такія безконечныя перспективы челов'вческому совершенствованію. Не принаженнымъ, не скомканнымъ, какъ старая перчатка, не трусливо-безпокойнымъ, а именно божественнымъ, какъ луврская Венера, является передъ нимъ человъкъ будущаго, п эта мечта, этотъ призракъ обязываетъ. Въ это "этическое" время все становилось этическимъ. И помните, для чего, въ концъ концовъ "пригодилась" Венера: "вотъ стало быть и я, Тяпушкинъ, всей моей жизнью обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть въ какомъ-то не моемъ, но трудномъ деле ближняго, былъ глубоко радъ, что великое художественное произведение укръпляетъ меня въ моемь тогдашнемь желаніи идти вь темную массу народа. Теперь, благодаря всему, чему великое художественное произведение научило меня, я знаю, что мит по монть силамъ можно и должно идти туда", чтобы помочь начинающему жить человъку-народу подняться хоть на единую только ступень къ недосягаемому совершенству того божественно человъческаго, что воплотилось въ каменной загадкъ. Тутъ нътъ боязни красоты, воціянія противъ красоты, низведенія красоты къ пользъ, -- словомъ всего, что такъ характерно для разночинца 60-хъ годовъ. Кающійся дворянинъ съ своей барской культурою, эстетической традиціей расширилъ, порою прямо таки одухотворилъ міросозерцаніе этого разночинца, и вибсто вопіянія передъ нами молитвенный восторгь передъ красотой, пониманіе, къ чему она обязываеть.

Сначала, быть можеть, это даже смешно немного, что луврская Ве-

нера заставляетъ идти туда, въ темную массу народа. Но если пониманіе этого, на первый взглядъ комичнаго обстоятельства ускользнеть отъ читателя, то ускользнеть отъ него пониманіе 70-хъ годовъ. Пусть они чужды намъ, пусть черезъ край самонадѣянны и часто "напыщены" даже гипотезой собственнаго величія, но все же мыслью-то своей, остаточкомъ своей опустошенной граждаяственности можемъ мы приблизиться къ пониманію ихъ основного мотива. Молитвенный восторгъ передъ святыней врасоты, заложенной въ человѣкѣ художникомъ-природой (именно художникомъ, а не безличной матеріей), вѣдь это что же такое? Вѣдь это и есть та высь религіозная, та высь религіознаго настроенія, съ которой только и можеть быть понятной жажда не только уже безполезнаго, но даже и безымяннаго подвига.

Говорю'я все это къ тому, чтобы сділать такое заключеніе, что у Гліба Успенскаго и Златовратскаго красота Венеры Милосской, по впечатлівнію, которое она производить, по типу своему, по скрыгому въ ней нравственному обязательству то же самое, что красота Парамона-юродиваго, съ его полупудовымъ желізнымъ колпакомъ вмісто шапки, вародной ин теллигенціи, искони—народной жизни, вообще.

"Въ этихъ двухъ характерныхъ чертахъ народнаго строя жизни заключаются всъ данныя для многостороннъйшаго проявленія человъкомъ всего, что въ немъ есть божескаго и человъческаго... Облечь этотъ образчикъ полноты существованія въ такія формы, которыя бы плънили мысль и взоръ читателя, не позволяетъ горькая дъйствительность, и вотъ почему мы не смъемъ живописать красоту существованія Марфы".

Кажется ясно, въ чемъ дёло. Красога Венеры Милосской обязываетъ ндти въ народъ, чтобы не дать вачинающему жить человъку-народу унизить себя до размъровъ скомканной перчатки и колесика государственной машины. И къ тому же обязываетъ красота народной жизни, что

Сквозить и тайно свътить Въ наготъ ея смиренной.

Успенскій, художникъ большой изобразительной силы, не хотіль однако быть художникомъ. Больше даже: этого не позволяла ему его сов'єстливая, его кающаяся психологія. Не знаю, были ли у него даже въ юности такія минуты, когда бы онъ совершенно свободно отдавался своему творчеству безъ думы, безъ заботы о томъ, что же изъ этого выйдеть и выйдеть ли изъ этого что-инбудь. Но ясно, что такія думы и заботы стали тревожить его очень рано, тревожить настойчиво и властно, несомнішно стісняя его, налагая оковы и иго на его свободный духъ и свободное вдохновеніе. Різдко, поэтому, является онъ передъ читателемъ во весь свой

рость: онъ точно робъеть, точно прячется за свои длинныя "разсужденія публицистическаго характера", точно бонтся тъхъ простыхъ и ясныхъ вещей, которыя подсказываеть ему его огромная наблюдательность и его неменьшая художественная интуиція. Кто знаетъ, что вышло бы изъ него при полной внутренней свободъ, объ этомъ можно только гадать, но очевидно, что мы имъемъ полное право гордиться и тъмъ, что вышло въ дъйствительности. Но все же, повторяю, Успенскій боялся самого себя, и этимъ прежде всего, этой его робъющей совъстливостью, его застивничивостью объясняется обиліе публицистики, часто остроумной, часто дътски наивной, въ его произведеніяхъ.

Надо на минтту хотя бы припомнять время, когда онъ началъ работать, историческую идею этого момента и общее ожидание обновления жизни черезъ мужика.

Оказалось, что для новой цели прежнія рамки беллетриста, драматурга, статистика, публициста никуда не годятся. Вопросъ о мужицкомъ счасть в засталъ насъ врасплохъ. Не было исторіи крестьянъ, не знали, что такое расколь, спорили объ общинъ, и не въ томъ бъда, что спорили, а въ томъ, что доказательства брались не изъ фактовъ и опыта, а или изъ глубины благороднаго сердца, или изъ какого-нибудь другого не менъе подозрительнаго источника. Писатель, воспринявшій къ сердцу вопросъ о мужицкомъ счастьъ, долженъ былъ, какъ это оказалось по опыту, въ литературно-критическихъ статьяхъ разбирать политико-экономическія истины, въ разсказъ о страданіи двухъ сердецъ вставлять разсужденіе о круговой порукт или общиеть. Романы, повъсти, драмы, статистика и этнографія перепутались между собой до такой степени, что, казалось, святое искусство окончательно упразднено, пьяные мужики, опохивлившіеся фабричные кричали и безобразили на страницахъ литературныхъ произведеній, кровянили другь другу "рыла", давали другь другу въ "эту самую кость", а Антонъ-Горемыка, этотъ меланхолическій страдалецъ, решнтельно заявляль: "а теперь, братецъ, въ кабакъ"... Самъ писатель бросался изъ стороны въ сторону, наскоро сочинялъ очерки, разсказы, наброски, сцены, не думаль о красотв и стройности, а лишь о томъ, какъ бы успеть, какъ бы не упустить чего. Все, что важно въ мужицкой жизни, все это имъетъ полное законнъйшее право на внимание писателя. Г. И. Успенскій, самый яркій и талантливый представитель этой новой народолюбивой литературы, не могь не воспринять того же принципа во всей его полноть и прямолинейности. Попробуйте опредълпть, кто онъ, какова его литературная спеціальность-- и вамъ этого не удастся. Его сочиненія вы съ одинаковой свободой можете разбирать, вооружившись и курсомъ эстетики, и лучшими преданіями литературной критики, и сборникомъ статистическихъ таблицъ.



Передъ вами то художественные перлы, то художественныя иллюстраціи, то этнографическія замітки, то чуть ли не статистическія таблицы. И, вмість съ тімь, во всемь этомъ разнообразін вы видите самое строгое единство. Народная жизнь—воть что ділаеть стройнымъ цілымъ всі эти безчисленные очерки, разсказы, сцены, наброски, "мимоходомъ", "изъ разговоровъ", и проч. Разъ трава, рекомендуемая крестьянскимъ лічебникомъ и "полезная отъ січенія", играеть роль въ мужицкой жизни, то Успенскій уже не преминеть посвитить ей нісколько страницъ. Онъ не затруднится оборвать разсказъ на самомъ интересномъ мість и вставить разсужденіе о круговой поруків или народномъ суевізріи. Важно все, что важно для мужика, а въ какую форму воплотится это важное—не все ли равно? Поэтому-то и нельзя писать объ одномъ разсказъ Успенскаго, объ одномъ его очерків, о набросків, можно писать лишь обо всемъ, что вышло изъ-подъ его пера, такъ какъ все это органически между собою связано: беллетристика дополняется публицистикой, публицистика статистикой.

Очевідно для всёхъ и каждаго, что между Успенский и мужикомъ такая крёпкая, органическая связь, что нётъ никакой возможности говорить о нихъ въ отдёльности. Если Успенскій не потонулъ окончательно въ тряспить самобденія и самобичеванія, о чемъ ниже, если, несмотря на глубоко меланхолическій темпераменть, веседая, детски-простая и откровенная улыбка то и дёло освещаетъ страницы его писаній, если онъ является предъ вами бодрымъ и радостнымъ пли же, наобороть, тоскующимъ и хмурымъ, если онъ пишетъ на такую тему, а не на другую,—то за все это приходится и благодарить, и винить мужика. Возьмете ли вы слогъ Успенскаго, или его юморъ, или его міросозерцаніе, пли его манеру писать, куда бы, словомъ, вы ни обратили свой взглядъ—вездё мужикъ, вездё вліяніе его жизни, интересовъ и характера.

Если мужнить иногимъ обязанть Успенскому, то ничуть не меньшимъ обязанть и Успенскій мужнку. Между ними произошелть взаимный обмінть одолженій. Приведу слітадующій эпизодть изть литературной біографіи Успенскаго, оговорюсь только, что эта литературная біографія намъ извістна лишь сть витиней стороны, и притомъ вть самыхъ общихъ чертахъ.

Успенскій не сразу нашель мужика. Въ первыхъ его произведеніяхъ мужикъ почти не фигурируетъ. Здізсь передъ нами на сценіз фабричный, приказчикъ, мелкій чиновникъ, городская голытьба, разорившійся поміншикъ. Но коренного земледізльца, того земледізльца, во ния котораго впослідствій сталь исключительно страдать и радоваться Успенскій, здізсь нізтъ. Описывая эту городскую жизнь, Успенскій постоянно чувствоваль какую-то вполніз, впрочемъ, понятную неудовлетворительность. Его пьяные, съ опустошенной душой, героп, нхъ пустая, лишенная какого бы то ни

было живого чувства и наслажденія, жизнь едва ли могла навести чтонибудь, кром'в унынія. Измученная писательская душа искала отдыха, успокоенія, гармонін. Но ихъ не было, и естественно Успенскій сталь отридать себя и свою работу. Она представлялась ему неважной и ненужной даже. Общее народническое пробуждение сулило ему какъ будто какое-то большое дібло, куда можно было бы уйти цібликомъ, всей душою, но тогда онъ не зналъ еще, какое это дъло. "Общество, — пещеть онъ, вступившее въ совершенно новый періодъ жизни, требовало отъ литературы-и имело на это право-иногосложной и внамательной работы. Такимъ образомъ, какъ отсутствіе школы, такъ и глубокое внутреннее сознаніе, что "теперь" обновляющаяся жизнь требуеть большихъ дарованій и задаеть имъ огромныя задачи, дълали то, что незначительная способность написать "разсказецъ" или "очеркъ" ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ ненужности это:о дели. "Все это не то", --- думалось тогда, и вследствіе этого матеріаль обрабатывался плохо, кое-какъ, появляясь въ видв отрывковъ безъ пачала и конца".

Зная нервную, болъзненно-впечатлительную натуру Успенскаго, не трудно предсказать, чемъ закончилось бы это мучительное сознание ненужности и безполезности работы, какъ бы ни тянулъ къ ней талантъ, какъ бы ни авало вдохновение. И время-то не такое было, чтобы писать для писания, а туть еще этотъ страшный писательскій червь: "не нужно, не надо, безполезно..." Но воть явился мужикъ, и Успенскій сразу воспрянуль духомъ, сразу увидълъ передъ собой безконечную перспективу необходимой и привлекательной работы. Его удивительный жанровый таланть нашель себв полный просторъ и примъненіе, сознаніе, что онъ не только пишеть, а и дело делаеть, что передъ нимъ громадная, никому неизвъстная жизнь, отъ блага которой все зависить, не могло не придать непоколебимой бодрости и однако энергін. Юморъ развивался и "освіжіль", практическая дійствующая складка ума оказалась удовлетворенной, и посмотрите, какимъ глубокимъ сознаніемъ собственной надобности и спокойствіемъ дышать следующія слова:

"Вы, вотъ, все жалуетесь, что нътъ изящной словесности,—все только о мужикъ пишутъ. Во-первыхъ, это неправда: вы имъете ежемъсячную массу литературныхъ произведеній, написанныхъ вовсе не о мужикъ, и притомъ весьма изящно. А во-вторыхъ, зачъмъ вы читаете объ этомъ мужикъ и, главное, зачъмъ вы полагаете, что писанія эти надо причислить къ изящной словесности? Посмотрите, пожалуйста, повнимательнъе въ оглавленіи, и тамъ сказано, "замътки...", "отрывки..." Какая это словесность? Это просто черная работа литературы, а съ словесностью, въроятно, надобно повременить..."

Благодаря мужику, Успенскій примирился и самъ съ собой, и съспо-

собомъ своего писанія, и со всей отрывочной работой: онъ ясно увидель что это нужно.

Найдя "мужика", Успенскій сталь пользоваться своимъ художественнымъ талантомъ, главнымъ образомъ, для иллюстрацін. Добровольно возложенная на себя громадная задача определить наконецъ, что же это за "таниственный незнакомець", вынесшій на своихъ плечахъ всю тяжесть русской исторіи, эта "святая скотина", сохранившая свое золотое сердце, несмотря на татарщину, крипостничество, заставляла его бросаться изъ стороны въ сторону, выискивая повсюду мужникую подоплеку, приходить въ отчанніе при видт неизъяснимых противортчій, торжествовать, когда мужикъ оправдалъ себя, и недоумъвать, когда его дътски-наивная простая душа вдругь оказывается способной на всякія мерзости: забиваеть въ гробъ жену, обращается въ мірота, опанваеть водкой грудныхъ детей, — такъ вакъ они непужные, лишніе рты. Некогда было высиживать, выдумывать и, написавши что-нибудь, положить, по рецепту Гоголя, въ ящикъ на нъсколько леть и затемъ семь разъ переделать и семь разъ собственноручно переписать. Не о созданіи художественнаго произведенія шла туть річь, а о мужникомъ счастью; передъ вами не поэть, не художникъ, а поэтьжурналисть, художникъ-журналисть, у котораго не просто тенденція, а вполить опредтенная практическая программа, въ которой и общественныя запашки, и волостные суды должны найти и находять свое опредъленное мъсто.

Мить думается, что и самая сущность таланта Успенскаго какъ нельзя болье подходила къ этой разбросанной, отрывочной работь. Онъ не мастеръ въ дъль выдумки, интриги, развитія характера, онъ не любить описывать природу, сторонится отъ сильныхъ драматическихъ коллизій, онъ слишкомъ при верженъ къ факту, къ дъйствительности, чтобы посягнуть на созданіе чегонибудь крупнаго, цълостнаго. Пишетъ онъ всегда сразу, безъ подготовки, даже безъ помарокъ. Мгновеннаго впечатльнія ему совершенно достаточно, чтобы творчество заработало, фигура человъка обратилась въ характеръ, въ типъ, а фактъ дъйствительной жизни — въ образъ. Онъ пишетъ штрихами, даетъ всегда самое необходимое, удовлетворяется отдъльными картинами и не чувствуетъ ни мальйшаго зазрънія совъсти, оставляя героя на самомъ интересномъ мъстъ.

'По всёмъ этимъ пріемамъ вы безъ труда узнаете жанриста. Вёдь тому тоже все равно, подъ какимъ небомъ—голубымъ или перламутровымъ, при какомъ освёщенін и въ сосёдстве съ какими цвётами и полями происходила та или другая сцена. Ничто такъ хорошо не передается гравюрой, фотографіей или просто карандашомъ, какъ жанровая сцена. Именно карандашомъ, а не красками, и рисуетъ обыкновенно Успенскій. Его прежде

Digitized by Google

и больше всего интересуеть душа и ея бытовое проявленіе, и если это проявленіе ясно паъ одного штриха, то ничего больше и не требуется. Въ альбом'в произведеній Федотова есть снимокъ съ его недоконченныхъ, на скорую руку перомъ или карандашомъ набросанныхъ рисунковъ. Не хватаетъ иногда цёлой половины рисунка: тамъ недорисована рука или нога, тамъ роть или глаза едва нам'вчены. И все же вы понимаете, въ чемъ бытовая душа такого рисунка, по одному штриху угадываете мысль художника, такъ какъ этотъ штрихъ в'вренъ, см'влъ и такъ близокъ къ д'ябствительной жизни, что для насъ онъ является вполит достаточнымъ и даже богатымъ намекомъ. Совершенно такъ же работаетъ обыкновенно п Успенскій. Въ жанр'в — сущность и прелесть его дарованія, жанръ даетъ ему такую свободу, какой не можетъ дать ни одинъ изъ родовъ искусства, онъ какъ нельзя лучше подходитъ къ разбросаннымъ и отрывочнымъ, но вм'єст'є съ т'ємъ и глубокимъ наблюденіямъ Успенскаго.

Однако эти глубоко-проникновенныя наблюденія, эти художественные штрихи, на каждой страниців разбросанные и точно молніей освінщающіє эти длинныя, скучныя разсужденія, лешь въ самыхъ різдкихъ, пожалуй, даже исключительныхъ случаяхъ складывались у Успенскаго въ яркій образъ, въ опреділенную картину. Много сділалъ Успенскій, но и послів всего того, что онъ сділалъ, таниственный незнакомецъ — народъ такъ и остался таинственнымъ незнакомцемъ. "Некогда было такимъ діломъ заниматься, работа не ждала, не ждала и самая жизнь, взволнованная и ищущая пути, исполненная противорізчій и всякаго рода неожиданностей. Надо было ловить моменть, закрізплять, хотя бы въ штрихахъ, хотя бы въ эскизахъ постоянно мізняющуюся физіономію мужика и мужицкой жизни. Віздь незадолго до насъ "порвалась ціль великая, порвалась-раскачалася", горы еще накануніть сошли съ мізста своего, и было некогда..."

Новое всегда разрознено, разбито на куски, разбросано и тамъ, и здѣсь. Извольте подобрать всѣ эти его части и слить ихъ воедино. Если и есть примѣры такой удачной работы, то они—счастливыя исключенія, которыя могуть не идти въ счеть. Любопытно, что равнаго Петру Каратаеву или Поликушкѣ Толстого у Успенскаго нѣть ни одного типа. И причина этого не только въ томъ, что дарованіе Толстого выше, а и въ томъ еще, что до мужиковъ Успенскаго уже коснулось новое: коснулся кабакъ, воля, трактирная цивилизація, кредитъ, міроѣдъ и пр. Каратаевъ тѣмъ и удивителенъ, что въ немъ нѣтъ никакого противорѣчія, что овъ весь тутъ, какъ порожденіе вполнѣ опредѣленнаго строя, вполнѣ ясно выразнвшейся системы жизни. А мужикъ Успенскаго носить на себѣ отпечатокъ разрозненности: онъ то и дѣло двоится, какъ двоится и самая жизнь, создавшая его, какъ двоится наша община между кулакомъ и старыми порядками и преданіями.

Петръ Каратаевъ выросъ и могъ вырости только въ обстановкѣ крѣпостного права. Онъ рабъ, и только рабъ. Въ немъ вы видите идеальное отреченіе отъ самого себя и своей личности; забота о себѣ, о своемъ счастъѣ, очевидно, никогда не тревожила этой младенчески-чистой души. Вся жизнь Каратаева ушла на служеніе кому-то другому, о чемъ онъ едва ли и знаетъ что-инбудь опредѣленное, и на всѣ обиды, на всѣ страданія, вынесенныя имъ, онъ отвѣчаеть одной дѣтской, безконечно ласковой улыбкой. Красота такого типа—если вообще туть можеть быть рѣчь о красотѣ—въ томъ и заключается, что онъ прость, что ему не приходится бороться съ собой, что изъ утробы матери онъ вышелъ на свѣть такимъ же, какимъ уйдетъ въ могилу. Онъ просто живеть и просто умираеть, какъ листъ на деревѣ, какъ колосъ въ полѣ. И эта удивительная гармонія внутренняго міра освѣщаеть всю фигуру Каратаева мягкимъ и ровнымъ свѣтомъ. Его не можеть не полюбить всякій, кто любить природу.

Мужикъ Успенскаго "двоптся". Земля еще не утеряла своей власти надъ немъ: она все еще его поилица и кормилеца, она все еще руководитъ его жизнью, указываеть, когда надо ложиться и вставать, во что втрить, чего бояться, чему радоваться. Но рядомъ съ землею явплся всемогущій кабакъ, рядомъ съ земледъльческимъ трудомъ-нажива, проценты, обороты. Внутренняя жизнь мужика утеряла свою стройность, такъ какъ та же стройность исчезла изъ вившией обстановки его бытія. Это мужикъ переходнаго времени, безъ опредъленной физіономін, безъ прочныхъ устоевъ. Это что-то нарождающееся, формирующееся, не принявшее ни определенной формы, ни подобія. Его пинжакъ и его душа никакъ не могутъ сговориться между собою. Пинжакъ тянетъ къ легкой жизни, легкому труду, къ сладострастію, наживъ, чувственнымъ наслажденіямъ; душа, не забывшая еще старыхъ устоевъ, то тоскуетъ, то алобствуетъ или человъконенавистничаетъ. Пинжакъ уже заставляеть ее быть жадной, себялюбивой, возстать противъ всего во имя личнаго счастья. Но это мудреная задача, какъ мудрены всв задачи переходнаго времени.

Создать что-нибудь цёльное среди этой разорванной жизни мудрено Переходное время каждую минуту создаеть что-нибудь новое, неожиданное, не идеть ни подъ какую формулу. Люди какъ будто не люди, а что-то среднее "съ песьими головами", міръ какъ будто община, а какъ будто и кабакъ, мужицкая добродѣтель какъ будто добродѣтель, а какъ будто и непроходимая глупость. Растеряться во всемъ этомъ немудрено. Но громадный талантъ жанриста выручаетъ Успенскаго. За невозможностью создать и найти въ жизни Каратаева, полную и законченную фигуру, характеръ, онъ рисустъ лишь полныя и законченныя отдѣльныя сцены, гдѣ опять-таки полно и законченно проявляется одна какая-нибудь отдѣльная

сторона души, одна отдъльная сторона жизни. Бытописатель формирующейся жизни, онъ выводить на сцену лишь формирующихся людей, половина которыхъ тамъ, въ кръпостномъ правъ, а половина тамъ—въ невъдомомъ будущемъ.

Успенскій изъ ищущихъ, изъ вѣчно взыскующихъ града и не обрѣтающихъ его. Онъ "присматривается". Онъ страстно любитъ мужика, но его любовь проникнута болѣзненнымъ скептицизмомъ. Это не вдумчивый, меланхолическій скептицизмъ Некрасова, который, обращаясь къ народу, говорить:

Ты проснешься ль исполненный силъ?

Скептицизмъ Успенскаго — продуктъ въ высшей степени интеллигентнаго безъ конца анализирующаго ума. Оттого-то чтение его книгъ и производить, на ніжоторыхь, по крайней міррі, такое болізненное впечатлівніе. Я лично не только не знаю самъ, на чемъ остановиться, во что върить, я не знаю даже-на чемъ остановился, во что въруеть и самъ авторъ. Надо ли чему-нибудь учиться у мужика, или наобороть, мужика всему учить надо? Или положить упованія свои на "взаимодъйствіе"? Хорошъ ли мужикъ, или нътъ? Есть ли у него добродътель, или такой за нимъ не значится? Существуеть ли въ деревнъ общественность, или господствуетъ рознь? Кто одолжетъ: мужицкая идея или кулакъ? Разъ у мужика есть добродітели, то въ какомъ смыслів ихъ понимать надо: настоящая ли добродътель это, или стадность, вліяніе обстановки, а не нъчто сознательное п т. д. Правда, никто такъ рѣзко мнъ этихъ вопросовъ не поставить, какъ Г. И. Успенскій, никто не воплотить своихъ сомивній въ такихъ художественныхъ образахъ, но все же вопросы такъ вопросами и остаются. Любопытно было бы хоть попытаться осуществить программу лучшаго изъ нашихъ народниковъ, и полагаю, что пришлось бы "по суху плыть, а по водъ ходить". Передо мной самое искрениее, но бользиенное, надрывами какими-то, стремление полюбить мужика цельностью, рядомъ съ этимъ поразительный здравый смыслъ, который насквозь видить все зло деревенской жизни, и туть же мучительный, до последней буквы правдивый анализь, не смеющій отдаться спасительной верв и глубоко стралающій оть этой самой причины. Кого люблю, того и бью, -- говорять обыкновенно про отношение Г. И. Успенскаго къ народу. Но онъ мало того, что бъетъ, а просто хлещегъ, при чемъ видно, что ни въ чьемъ сердце эти удары не отражаются съ такою болью, какъ въ сердце самого Г. И. Успенскаго. Ему бы до страсти хотълось идилліи рисовать, да своихъ мужичковъ выводить все умными, да пригожими, да добродътельными, но перо, подчиняясь художественной правда и здравому смыслу, пишеть и рисуетъ совершенно другое. Прочти иныя страницы изъ произведеній Успенскаго, трудно не воскликнуть: "Однако, этотъ мужикъ"... Но авторъ, какъ бы самъ замъчая неблагопріятное впечатятніе, произведенное его кумиромъ, сейчасъ начинаетъ толковать про тысячу одно обстоятельство, препятствующее добродьтели кумира, набрасывается на интеллигенцію и этимъ самымъ доводить курсъ кумира до нормы. "Дъйствительно, думаете вы, обстоятельства—вещь существенная, да и интеллигенція бездъльничаеть... Нельзя же мужичку самому выбираться". Переверните еще нъсколько страницъ, и опять васъ начинають охватывать сомнічнія: "Ну, а если бы земли побольше, а если бы интеллигенція принялась дружно за работу?" Поторяю, большинство вопросовъ остается безъ отвіта.

Успенскій любить мужика, но и не втрить въ него въ то же время. Онъ любить его то какъ эстетикъ, находя въ быть его дивную красоту. то какъ человъкъ, утерявшій въ своей личной жизни всь цъли и весь сиыслъ и знающій почему-то, что только мужикъ можеть вернуть единство и здоровье его нравственному міру, любить его то съ оттёнкомъ покровительства, то съ надрывомъ раскаянія и душевной растерянности. Некогда на одинъ писатель не находился на такой опасной дорогь, какъ Успенскій, никогда ложь не представлялась такимъ естественнымъ и, пожалуй, необходимымъ исходомъ для наболъвшаго духа, какъ при его работъ, при его пъляхъ и задачахъ, и никто не сказалъ такъ много голой и страшной правды, какъ онъ. Все влекло его къ идеализаціи, все дълало соблазнъ ея неотразимымъ:--и настроение эпохи, и "разговоры съ пріятелями", и зарантве готовый выводъ, что въ мужикт и торжествъ мужилкой иден-единственный исходъ изъ зла, единственное наше спасеніе, н никто бы не сталъ обвинять Успенскаго, если бы онъ только идеализироваль: всякій бы поняль, что эта идеализація-его личное дівло, дівло его больной совъсти. Но отъ лжи и идеализаціи его спасла могучая художественная сила, какая-то поразительная чуткость къ жизненной правдѣ, пожалуй, даже смиреніе передъ ней.

Однако всякій, кто внимательно читаль Успенскаго, не могь не замістить, что окраска рисуемой имъ подлинной правды жизни произвольна. Въ этой окраскі такъ много любви, такъ много добродушія, что рішительно нізть возможности сердеться, негодовать, какой-нибудь одинъ мелкій штрихъ совсімъ васъ обезоруживаеть, готовое вырваться у васъ різкое слово замираетъ. Въ этомъ ділів Успенскій—великій мастеръ. Разсказываеть онъ вамъ, напримітръ, про то, какъ трое случайно встрітившихся послів урожая мужиковъ и распившихъ по этому поводу бутылку, завалились спать и задавили ребенка на смерть. Сцена, кажется, довольно отвратительна, но, описывая ее, Успенскій умітеть, пожалуй, даже и не разжалобить васъ, а просто обезоружить случайной подробностью, представить

вамъ этихъ мужиковъ до того наивно растерянными и съ такимъ недоумъніемъ повторяющими: "Вино-то дюже забрало... Вино хорошое, вино,
надо сказать прямо, первый сортъ",— что вы готовы, чего добраго, улыбнуться. Задавленный мальчикъ остался гдъ-то тамъ, въ полъ, а тутъ на
первомъ планъ серьезная и дъльно-простодушная похвала вину, которое,
"надо сказать, прямо первый сортъ". И дюже хорошее вино заслонило
въ вашихъ глазахъ холодный трупикъ...

Мужъ торгуетъ женой. Мужикъ жаденъ и хочеть во что бы то ни стало разжиться. Жадна и баба, къ тому же и красавица она. Подвериулся случай, и началась бойкая торговля. Но любопытное впечатлъніе остается у васъ въ душъ, хотя Успенскій ровно ничего не скрываеть и не утанваеть.

"И не какъ-нибудь зря стала Аграфена заниматься этимъ дъломъ, а такъ что самый разсчетливый, самый основательный человъкъ, осуждая ея поведеніе, могъ, въ концъ концовъ, только похваливать ее, признать въ ней необыкновенный умъ, направленный безъ всякихъ послабленій и увлеченій только къ одной цъли, которую она и достигла не какънибудь, а съ толкомъ, умно, разсчетливо. Она сумъла вытянуть изъ всъхъ пятерыхъ все, что у нихъ было, вытягивала все лъто возможными цънностями, при чемъ вниманіемъ удостаивала далеко не всъхъ, довела икъ до ссоры, чуть не до дуэли и въ то же время не только не измънила обличья крестьянской жены, работящей и молчаливой, но даже и тъни гордости не выказывала передъ завидовавшими ей пріятельницами. Вставала она попрежнему въ три часа, гнала коровъ, шла на ръку съ тяжелыми ведрами, жала въ полъ, ходила босикомъ по грязи, словомъ -- ни на волосъ не давала замътить ни господамъ, что они нужны ей, ни своимъ, деревенскимъ соперницамъ, что онъ нужны ей. "Къ намъ опять, баринушки, милости просимъ. Не оставьте ужъ насъ опять-то, оченно мы вами благодарны"--- какъ простая деревенская баба говорила она, кланяясь и держа конецъ фартука у губъ, когда баринушки осенью разъвзжались по домамъ, унося, быть можетъ, истинную любовь въ сердцъ. - "Непремънно, непремънно", - кричали ей искреннъйшимъ образомъ баринушки и махали шляпами. - "Присылайте другихъ, побогаче", - прибавила она грубо и безсердечно, когда баринушки умчались, и Аграфена осталась съ мужикомъ съ глазу на глазъ. Никакихъ больше разговоровъ, ни воспоминаній, ни даже именъ этихъ баринушекъ не повторялось. Точно ничего не было такого, о чемъ можно было шепнуть другъ другу пару словъ. Веселая и радостная послъ отъвада постояльцевъ, Аграфена потомъ поставила самоваръ и сама начала такую рѣчь: "А ты вотъ что. Михайла: ты вотъ лошаденокъ парочку безпремънно у Барсукова купи. Лошади первый сортъ"...-"За лошадьми надо въ Поговково... У Барсукова что?" И пошелъ дъловитъйшій изъ дёловитыхъ разговоровъ".

Успенскій и зд'ясь добплся своего. Онъ сказаль всю правду, какую только зналь, инчего не утаиль, не прикрасиль даже, но все д'якстви-

тельно отвратительное отодвинуто куда-то на второй планъ, заслонено и затушевано дъловитостью Аграфены, ея огромной выдержкой, ея преданностью интересамъ хозяйства. И вы уже прекрасно подготовлены къ обычному заключенію Успенскаго: "нътъ, не виновны", ни Аграфена, ин мужъ ея не виновны, хотя все истинно человъческое убито уже въ нихъ, выъдено этой страшной ржавчиной наживы и жадности.

Мужикъ не виновать ни въ чемъ: онъ не можеть быть ни въ чемъ виноватъ, — онъ никогда ни въ чемъ виноватъ не бываетъ. Даже странно какъ-то звучатъ такія вотъ слова Успенскаго: "Разъ онъ (мужикъ) дълаетъ такі, какъ велитъ его хозяйка-земля, онъ ни за что не отвъчаетъ: онъ убилъ человъка, который увелъ у него лошадь, — и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступать къ землъ; у него перемерли всъ дъти — онъ опять невиноватъ: не родила земля, нечъмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену — невиновенъ: дура, не нонимаетъ въ хозяйствъ, человъ нее стало дъло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, пе ждетъ". Словомъ, сваливъ всю отвътственность за хорошіе и дурные поступки съ мужика на землю, на интересы хозяйства, Успенскій этимъ самымъ какъ будто совершенно отрицалъ въ мужикъ личность, т. е. самое дорогое, что есть въ человъкъ, безъ чего его жизнь — не жизнь, а произрастаніе, а самое поведеніе такъ же нравственно или безнравственно, какъ полеть галки. Обидно...

Нечего и говорить, что этой привиллегіей полной невиновности въ глазахъ Успенскаго пользуется только мужнить. Другіе, особенно баринъ, тв могуть быть виноваты, п твхъ совесть мучаеть и укоряеть по всей истине и справедливости.

Надо замѣтить, что къ сатирѣ ни склонности, ни дарованія Успенскій не ниѣеть. Разъ онъ хочеть бичевать—у него получается каррикатура; къ злобѣ, ненависти у него нѣть влеченія, въ крайнемъ случаѣ, онъ раздражается и только заставить своего "барина не у дѣлъ" бить мухъ или напяливать на себя ордена отъ обезьяньей княгини, и затѣмъ разсиѣется самъ своей обычной, добродушной улыбкой. Юморъ его проявляется лишь тамъ, гдѣ его любовь, т. е. въ описаніи мужицкой жизни, изображая же господъ или интеллигентовъ-разночинцевъ ("Тише воды, ниже травы", "Волей-неволей", "Овца безъ стада"), онъ или раздражается, или тоскуеть—тоскуеть до полнаго умопомраченія. Но стоить лишь вынырнуть мужицкой фигурѣ, хотя бы грязной, растрепанной, пьяной, Успенскій оживаеть и становится неподражаемъ.

Любить Успенскій мужика и любить, очевидно, не за зв'єрнную правду, а за то же, за что любить его Толстой и Достоевскій,—за "интеллигентное" сердце, нли, лучше сказать, за остатокъ этого интеллигентнаго сердца, за какіе-то признаки его, которыхъ зачастую онъ и самъ не признаетъ.

И воть этому-то интеллигентному сердцу онъ хотель бы предоставить полный просторъ въ жизни. Читая его, вы, особенно при тщетныхъ попыткахъ разобраться во всехъ его безчисленныхъ противоречияхъ. чувствуете, что какая-то чуждая волна вторглась въ его творчество, его внутренній міръ, и замутила его. Сильно, настойчиво бьется онъ въ этой паутинъ теоретическихъ выкладокъ, очевидно, самъ увлекаясь формулой прогресса, и только порою нать-нать и брякнеть онь что-нибудь такое, за что все жрены прогресса и формулы должны бы предать его анафемъ. Но черезъ нъсколько строкъ Успенскій опять начинаетъ кадить культурнымъ идеаламъ, хотя по существу ни до какой культуры дъла ему нътъ, и кромъ зла, кромъ мерзости ничего онъ въ ней не видитъ. Не хватаеть у него смелости сказать то, на что решился наконець Толстой; "да уходите вы прочь съ вашей культурой... никому и на какого чорта не нужна она... ложь она, ваша культура, и источникъ лжи". Испренній художникъ Успенскій почему-то очень цівнить этикетку прогрессиста, и выходить это у него такъ же добродушно, такъ же по-детски наивно, какъ вышло бы это у Микулы Селяниновича или Еруслана Лазаревича, если бы нальшили имъ на грудь какую-нибудь бляху.

Въ Успенсковъ много отъ голоса больной совъсти и даже отъ психологіи кающагося дворянина. И отсюда страстное стремленіе его героевъ къ сліянію съ народомъ.

Все равно какъ человъкъ нашихъ дней, чувствующій, что погрязаетъ онъ все болье въ мелочныхъ, чисто буржуваныхъ заботахъ о завтрашнемъ дет, о шести парахъ брюкъ, о томъ, чтобы жить не хуже, чтмъ живутъ другіе и пр., — что гаснеть то геронческое, то красивое, что было у него когда-то въ душъ, что эта вотъ паутина мелочныхъ заботъ, соображеній, лжи, уступокъ, лицемърія, всегда въ большей или меньшей степени полезныхъ, а часто и необходимыхъ, становится господиномъ, властно распоряжающимся его внутреннимъ міромъ, --- вкогда въ минуту просв'етленнаго отчаянія завидуєть хотя бы босяку, не знающему страха жизни, этого пошлаго, мучительнаго страха, и готовъ идеализировать беззаботное и даже дерзкое существованіе нашей нищей городской вольницы-такъ баринъ, не видавшій покоя и свободы, превозносиль крестьянскую жизнь, сь которой у него все же были какіе-то неоконченные старые счеты. Ему казалось, что онъ не можеть иначе достигнуть счастья, какъ если молчаливая крестьянская масса поглотить его целикомъ и безъ остатка, какъ если онъ уничтожится въ ней и сольетъ свою больную психику съ безбрежной и здоровой психикой народа. Отношенія къ крестьянскому міру, заботы объ его счасть и благополучін были вопросами чести и совъсти, вопросами личнаго счастья и воплощеніемъ общественныхъ мечтаній и утопій. Ходили въ народъ, носили армяки и тулупы, женились на крестьянкахъ—все во имя того же и того же прекраснаго и недостижимаго крестьянскаго царства—царства труда, братскаго уединенія, здоровой и хорошей жизни.

Какъ художникъ, Успенскій не только понималъ, но и зналъ великолъпно, что никакихъ нужныхъ для утопіи данныхъ въ народной жизни уже нътъ, что эта жизнь пошла уже другой дорогой, но и его не могло не заразить господствующее настроеніе. Онъ даже подчинился ему: онъ увлекся теоретическимъ представленіемъ о народной жизни, ея красивомъ типъ, ея могучихъ устояхъ.

Это было нужно ему прежде всего для души, нужно какъ опора своего интеллигентного существованія, какого-то безпочвенного, пожалуй, даже оторваннаго отъ всего. И что на самомъ дълъ оставалось интеллигенту? Содъйствовать прогрессу промышленности и торговли, увеличивать собою и такъ уже густые ряды чиновниковъ и людей формальной правды? Нътъ, очевидно, не это его дъло, не здъсь его призвание и назначение, а со-. встиъ въ другомъ мъсть. Видя и зная, что крестьянской жизни уже нътъ, или кое-гдт уцталали лишь обломки ея прежинго строя. Успенскій все же неотступно и настойчиво зваль туда, въ этотъ призрачный мірь, интеллигентнаго барина, указываль ему, что онъ можеть, что онъ долженъ делать и какия огромная награда въ смыслъ нравственнаго успокоенія и нравственнаго здоровья ожидаеть его за это. Безжалостно опровергаль онъ самъ себя, иронизировалъ даже надъ собой и, сказавши такъ прямо, такъ ръзко, какъ никто, что мужикъ и баринъ столковаться не могутъ, что общины нътъ, что забота о рубль, о деньгахъ повла злою ржавчиной устой мужицкаго существованія, что и самого барина-то ніть, онъ все же съ какой-то детской, простодушной и, право, мелой наивностью начинаетъ писать на тему, что баринъ воть прівдеть, баринъ все разсудить похорошему и по-благородному.

Когда эта чужая повязка спадала съ глазъ Успенскаго, что видълъ онъ передъ собой въ этой дивно-краснвой мужицкой жизни? То только, что хранить и беречь ее нельзя, да и не къ чему, что въ сущности даже и нътъ ея, этой жизни, по крайней мъръ, въ освъщени, приданномъ ей тревожной совъстью кающагося дворянина.

"Въдь пора же знать, что сельское общество тогда только было, въ самомъ дълъ, самоуправляющейся крестьянской общиной, когда основаніемъ средствъ къ существованію всъхъ ея обывателей была земля и исключительно для всъхъ одинаковый крестьянскій трудъ. Какіе же это общинники теперь, если сосъдъ наживаетъ на сосъдъ капиталъ, -- скромную деревенскую копеечку на копеечку?"

-- "Главная причина, братецъ ты кой,—говорить одниъ изъ героевъ Успенскаго,—пищи ийту у насъ,—вотъ"...

Это отсутствие въ деревнъ новыхъ элементовъ, расширяющихъ размъры "общественнаго вниманія", дълаетъ то, что самое общиниое пользование землею въ настоящихъ условіяхъ деревенской жизни вовсе не избавляетъ члена общины отъ голодной смерти.

Но если вътъ общины, т. е. камня краеугольнаго народной жизни, если община только пустое слово, о чемъ Успенскій повторяеть тысячу разъ, слово радостное и многообъщающее для кающагося дворянина и нужное для соціологовъ-народниковъ совстить въ такой же степени, какъ разрывътрава или мечъ-кладенецъ для героевъ нашихъ легендъ и сказокъ, то спрашивается,— что же осталось? Въдь безъ общины никакой переходъ къ совершенному будущему немыслимъ, въдь если нътъ общинаго духа, то, очевидное дъло, надо поставить крестъ и надъ встин народническими утопіями... А этого общинаго духа дъйствительно нътъ. Всякъ за себя—Богъ за всталь. Рубль, деньги "нужны до умопомраченія", и стремленіе добыть этотъ рубль, эту кредитную бумажку,— цълая трагедія, унизительная и развращающая.

Рубль, рядомъ съ какимъ-то общимъ стихійнымъ обнищаніемъ природы, внесъ страшную разладнцу въ крестьянскую жизнь. Но не только рубль, а все —и хорошее, и дурное—и кабакъ, и лавочка, и школа даже вноситъ ту же разладнцу. Успенскій признаеть, что есть во всемъ этомъ что-то стихійное и неизбъжное, а съ еще большей грустью долженъ сознаться, что никакой силы сопротивленія у мужика нѣтъ, что онъ самъ по слабости первый идеть навстрѣчу тому, что грозить ему уничтоженіемъ.

"Вліяніе цивилизація отражается на простодушномъ поселянинъ ръшительно при самомъ ничтожнъйшемъ прикосновеніи. Буквально "прикосновеніе", одно только легкое касаніе—и тысячильтнія идеальныя постройки превращаются въ щепки. Вотъ передъ вами трудолюбивый, деликатный, умный, цъломудренный крестьянинъ, но поъздилъ онъ двъ зимы легковымъ извозчикомъ и ужъ развратился. Скажите, пожалуйста, какая же тутъ можетъ быть цивилизація тадить зимой въ морозы на облучкъ и сидя спать въ трактирахъ, опустивъ голову на столъ? А между тъмъ развращается. Въ двъ зимы человъкъ "насобачивается" такъ, что ужъ дълается чужниъ въ родномъ своемъ семействъ. Гордость рождается у него, фанаберія и наситыка, пріучается прятать деньги отъ матери, отъ большака, и непремънно задумываеть дълиться. И это въ лучшемъ случать, а то просто дълается мерзавцемъ: пной прівдегь изъ Петербурга безъ копейки, хоть и

"при часахъ", ничего не дълаетъ, не работаетъ, а свою же родную мать посылаетъ ходить по міру и ждетъ ее, поглядывая на свои часы".

И выходить, поэтому, для всякаго, что-нибудь думающаго о народъ, человека задача поистине неразрешимая: цивилизація идеть, а ты, наблюдатель русской жизии, мало того что не можешь остановить этого шествія, но даже, какъ увъряють тебя и какъ доказываеть самъ Иванъ Ермолаевичъ, не долженъ, не имъешь ни права, ни резона соваться въ виду того, что идеалы земледъльческие-прекрасны и совершенны. Изъ этого бъглаго очерка уже можно видъть, что разъединение деревенского общества на разные лагери, и лагеон не вполнъ дружелюбные, сулить въ перспективъ явленія. весьма неблагопріятныя. Теперь ужъ надобно делать усиліе, весправедливость для того, чтобы поравнять всёхъ такъ, какъ всё были уравнены кръпостнымъ правомъ. Преследуя те же идеалы, Иваны Ериоланчи должны уже бороться за нихъ, враждовать съ известною частью своихъ односельчанъ, когда-то имъ равныхъ, и помышлять объ отделени отъ нихъ, о выходъ изъ общества. Съ другой стороны, и противная партія, преслъдующая ть же земледъльческие идеалы, не можеть равнодушно сносить превосходства людей, когда-то равныхъ съ ними. Замъчательно при этомъ слъдующее: хромоногій солдать, или тоть работникь, на котораго жаловалась баба, всё они изнывають и нищають потому, что имъ и мысли не приходить о томъ, чтобы работать товариществомъ; напротивъ, живя старыми земледъльческими идеалами, каждый полагаеть, что въ возив на собственномъ дворв и должна быть сосредоточена вся жизнь и вст интересы, и вст удовлетворенія.

Нѣтъ общины, нѣтъ міра, нѣтъ единенія, нѣтъ уже народнаго интеллигента, который вносиль бы свѣть и правду въ эту нишую и озлобленную жизнь, но было бы слишкомъ грустно разстаться съ утопіей мужицкаго царства,—н Успенскій настойчиво начинаеть доказывать, что оно все же возможно. Но чтобы оно было возможно, надо возстановить власть земли.

Но точно ли крестьянская жизнь была когда-нибудь на вершинт горы, точно ли она была такой дивно прекрасной? Не призракъ ли этотъ исходный пунктъ и въры народниковъ, и ихъ отчаянія, —въры, всецъло раздълявшейся Успенскимъ, и отчаянія, такъ мучительно высказаннаго имъ. Если былъ такой исходный пунктъ, о которомъ стоило бы жалъть, то когда же былъ онъ?

Прочтите "Власть земли"—эти удивительно устроумныя, воистину блестящія страницы, и странный отв'ють получится на поставленный только что вопросъ. Крестьянская жизнь была дивно прекрасной въ самый разгаръ кабальнаго холопства и кр'юпостного права, когда ею влад'юла стилійная сила ржаного поля, когда никто и ничто не вносили въ нее раз-

лада, когда мужикъ безъ думы, слепо, опять-таки стихійно работалъ всю свою жизнь отъ колыбели до могилы, не отрывая глазъ отъ доставшагося ему клочка земли, порабощенный имъ и требовательными заботами съ его стороны, когда онъ былъ автоматомъ-пахаремъ и ничего больше. Нужна была невероятная тягость труда, нужно было полное закрепощение человека, чтобы произрастала здёсь, на земле, дивно-краснвая жизнь. Развратъ пришелъ лишь вместе съ культурой, школой, лавкой, возможностью другого, не чисто земледельческаго заработка, и развратъ этотъ развивается все шире, расходясь все возрастающими кругами отъ центровъ городской жизни.

Жизнь подъ невообразимо тяжелымъ давленіемъ, жизнь, постоянно пригибающая человъка къ землъ, не дающая даже сму свободной минуты, чтобы расправить спину, чтобы подумать о себъ, жизнь вся, цъликомъ отданная въ кабалу земледъльческому труду, безъ своей воли, безъ слъда сознанія, жизнь, продиктованная ржанымъ полемъ — воть она настоящая крестьянская жизнь, и она дивно прекрасная... Прекрасна и потому, между прочимъ, что безъ мукъ, безъ исканій, безъ надрыва досталась она человъку, а просто такъ. И мужикъ хорошо живетъ, честно и красиво живетъ тогда только, когда нътъ въ жизни его никакого ума, никакого своего стремленія, никакой своей воли.

"Онъ живетъ, лишь подчиняясь волѣ своего труда... А такъ какъ втотъ трудъ весь въ зависимости отъ разнообразныхъ законовъ природы, то и жизнь его разнообразна, гармонична и полна, но безъ всякаго съ его стороны усилія, безъ всякой своей мысли. Вынуть изъ этой жизни, гармонической, но подчиняющейся чужой волѣ, хотя капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо заполнить своей волей, своимъ человъческимъ умомъ, а это такъ трудно, такъ мучительно...

"Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, иныя въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта приписывають народному уму, и тогда онь кажется необъятнымъ. А между тъмъ эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человъкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи въковъ, существують и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ. Неисповъдимыми путями предуказано, чтобы кобыленка по веснъ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаетъ пучить, и въ концъ концовъ, получается прелестнъйшій жеребенокъ, въ милліонъ разъ умнъе и лучше выдуманнаго человъкомъ локомотива, но появляется безъ рабственной воли, устраивается и принимаетъ формы и строенія безъ рабственнаго ума, а просто такъ. И пародная жизнь въ огромномъ большинствъ самыхъ величественнъйшихъ явленій удивительна, стройна, гармонична, красива, просто такъ".

Галка премудро устроена и прежде всего потому, конечно, что ни

капли своей воли, своего ума не приложила она къ этому устройству, и, разумъется, самую сильную обиду ея галочьему совершенству можно нанести лишь попыткой вившательства въ стройность и гармоничность ея бытія. Ничего, кромъ даннаго ей отъ природы—галкъ не надо. Ничего не надо и мужику, даже школы не надо, потому что школа, потребность въ ней только показываеть и утверждаеть разладъ въ крестьянской жизни. "Развъ въ этой жизни,—спрадиваеть Успенскій,— основанной на власти земли, власти все проницающей, все устраняющей и все въ народной жизни уясняющей, развъ тамъ есть мъсто какой-нибудь книжкъ, какой-нибудь наукъ? Зачъмъ она тутъ? Зачъмъ сюда соваться и разрушать удивительную стройность ни въ какихъ указаніяхъ, кромъ указаній природы, не нуждающейся жизни?"

Да и кто сунется? Конечно, баринъ, культурный человъкъ, сунется съ своею книжкой и наукой, съ гордыней своей мысли, съ своею больною совъстью и внесеть сюда муки сознанія и все несовершенство дъла рукъ человъческихъ.

"Культурный человъкъ-это человъкъ, выгнанный изъ рая невъдънія, изъ рая, гдъ всякая тварь служила ему, какъ служить теперь нашему мужику, подъ условіемъ не касаться древа знанія... Его выгнали въ пустыню, въ голую безжизненную степь, на полную волю. И въ обидъ на неправду, а также и въ гордомъ сознаніи силы своего ума, въдь онъ вкусилъ отъ древа-то, онъ, въроятно, сказалъ, уходя изъ рая: "Такъ будетъ же у меня мой собственный рай, да еще лучие этого"... И вотъ надъ созданіемъ этого рая онъ и бьется несчетное число въковъ. Ему не служать твари-онь сдълаль своихь: локомотивъ его бъгаеть лучше лошади, онъ выдумалъ своимъ собственнымъ умомъ выдуманныхъ ихтіозавровъ-корабли онъ хочеть летать, какъ летаеть птица... И въроятно, когда-нибудь въ безконечные въка онъ добьется своего... Будеть у него свой собственный, выдуманный, взятый умомъ и волею рай. Но какъ еще ужасно, ужасно далеко это время. Когда-то еще его мерт-- вое животное, локомотивъ, достигнетъ поворотливсти любой деревенской кобыленки... Когда-то еще его упорное желаніе летать птицей осуществится хотя въ приблизительныхъ только размърахъ того совершенства, которымъ уже обладаетъ галка, обладаетъ такъ, безъ всякихъ усилій съ своей стороны, а просто такъ... галка такъ галка и есть, взяла да и полетъла. А Надары еще лътъ тысячи будутъ разбивать себъ головы и тонуть въ моряхъ прежде, нежели добьются умънья произвольно перелетать съ крыши на крышу... Вотъ точно такъ же и народная жизнь"...

Изъ-за чего собственно бьется Успенскій? Вѣдь то, что онъ въ приведенныхъ строкахъ говорить о культурномъ человѣкѣ, — еще далеко не самое рѣзкое, что можно найти на этоть счеть въ его произведеніяхъ. Это еще довольно милостивая характеристика. Если же вы возьмете рисуемые имъ портреты культурныхъ людей вообще, то какая вст они, съ позволенія сказать, дрянь, выбденная молью: какъ малосильны они, какъ безпомощны, какъ не умтють они ничего сделать и какъ не нужны они мужику, съ которымъ и двухъ-то словъ сказать они не умтють. "Не суйся", — вотъ единственное, что говорить имъ коренной мужикъ, для нихъ непонятный совствиъ и ими непонятый. "Не суйся", — говорить и мужицкая жизнь, одинаково непонятная и одинаково непонятая. Кажется, ясно, а между тъмъ, черезъ нъсколько страницъ Успенскій начинаетъ горячо звать барнна въ деревню и, тоскуя о разстройствъ деревенской жизни, объ исчезновеніи ея дивной красоты, ея стройности и гармоніи, пишеть и такія вотъ воистину наивныя строки:

"Конечно, масса случайностей была бы отстранена, если бы "хорошій" баринъ полумаль серьезно о народномъ кредить, который, въ самомъ дълъ нуженъ, какъ нуженъ и самому "хорошему барину".

Умный человъкъ Успенскій и понимаеть онъ, что хорошій баринъ—мисъ, и никакими кредитами не возстановишь совершенства мужицкаго бытія, а подите же... Туть прямо напуганность какая-то, туть человъкъ передъ вами хватается за соломенку. Или такая воть картина:

"Въ стров жизни, повинующейся законамъ природы, несомивина и особенно плънительна та правда, та справедливость, которою освъщена въ ней самая ничтожнъйшая жизненная подробность. Тутъ все дълается, думается такъ, что даже нельзя себъ представить, какъ могло бы дълаться иначе при тъхъ же условіяхъ. Лжи, въ смыслъ выдумки, хитрости, здъсь нътъ--не перехитришь ни земли, ни вътра, ни солнца, ни дождя, -а стало быть, и нътъ ея и во всемъ жизненномъ обиходъ. Въ этомъ отсутствии лжи, проникающемъ собою всъ даже, повидимому, жестокія явленія народной жизни, и есть то наше русское счастье, и есть основание той въры въ себя, о которой говоритъ Герценъ. У насъ милліонныя массы народа живуть, не зная лжи, въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ, -- вотъ въ чемъ держится наша въра. Впослъдствіи мы постараемся разсказать нъсколько самыхъ, повидимому, возмутительныхъ жестокостей въ народной жизни, и всъ онъ, съ точки зрѣнія міросозерцанія, воспитаннаго неизмѣнными законами природы, окажутся неизбъжными, а люди, совершившіе ихъ, чистыми сердцемъ, какъ голуби".

И опять, очевидно, на сцену долженъ явиться молью изъёденный культурный человёкъ, чтобы возстановить и сохранить отнынё и до вёка наше русское счастье, расползающееся и расползшееся уже по всёмъ швамъ.

Нътъ, не культуртрегеръ тутъ нуженъ, въчно пьяный къ тому же, и ни слова бы не сказалъ о немъ Успенскій, если бы не клющіеся господа, внущившіе ему свои идеалы. Суть-то въ томъ, что, съ точки зрънія самого же Успенскаго, не только культуртрегера, а и вообще никого и ничего не нужно, кромъ власти земли и кръпостной отъ нея зависимости. И кредита не надо мужику, какъ не надо его и галкъ, и школы не надо, а больше всего не падо барина, потому что:

"Проникнувшись непреложностью и послѣдовательностью взглядовъ, исповѣдуемыхъ Иваномъ Ермолаевичемъ, я почувствовалъ, что они совершенно устраняютъ меня съ поверхности земного щара".

"На мой взглядъ, жизнь современнаго крестьянина на каждомъ шагу, кажется, вопістъ о томъ, что только дружество, товарищество, взаимное сознаніе пользы общиннаго, коллективнаго труда на общую пользу суть единственная надежда крестьянскаго міра на болѣе или менѣе лучшее будущее, единственная возможность "сократить" тѣ невѣроятные размѣры труда, поглощающаго всю крестьянскую жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежитъ на крестьянинѣ такимъ тяжелымъ и, какъ мнѣ казалось и кажется, безплоднымъ бременемъ".

"Но это только—на мой взглядъ, а никакъ не на взглядъ мужика, который всъмъ существомъ своимъ противъ коллективности, и знать ея не кочетъ, который покорно и рабски подчиняется новымъ условіямъ, выдъляя изъ своей среды Мишенекъ, какъ раньше покорно и рабски подчинялся онъ власти ржаного поля".

Что выставить противъ этой силы?

Въ отвътъ на это душевная тоска, душевная растерянность, необходимость все увеличиваеть дозу и такъ уже отравившаго народную жизнь культурнаго яда... А не хочеть этого Успенскій, не хочеть онъ всемъ существомъ своимъ... Была бы сила, была бы возможность, взялъ бы онъ эту дивную, прекрасную мужицкую жизнь и унесъ бы ее куда-инбудь за лъса и болота, скрылъ бы ее отъ нескроиныхъ взоровъ представителей культурнаго человъчества, скрылъ бы съ ревнивымъ опасеніемъ за ея цъльность, стройность, гармонію. Онъ бы оставиль ее тамъ скрытую и запрятанную въ царственномъ довольстве собой, безъ мысли и знанія, подъ властью тяжелаго и непрестаннаго труда, законовъ природы и ржаного поля, законовъ непреложныхъ и истивныхъ, смиреніе передъ которыми даетъ человъку счастье. Вогь съ ней, съ культурой, и кому, для чего, на какой конецъ она нужна? Что несетъ она взаменъ безжалостно и жестоко нарушаемой стройности жизни? Вражду, алобу, ожесточение, гифвъ противъ жизни, обнищание природы, разладъ между людьми. Все это страшно. Правда, есть и приманки: гдв-то тамъ, вдали, за рядомъ ввковъ, за милліонами усилій, тщетныхъ попытокъ, за грудами жертвъ вырисовывается идеаль сознательнаго довольства и сознательнаго счастья, но-улита тдеть, когда-то будеть она, и будеть ли она? Какъ бы хорошо было остаться безъ нея, остаться при томъ, что есть, не тратить цълыхъ покольній для проблематическаго будущаго проблематическихъ потомковъ.

Но нельзя этого, и въ этомъ "нельзя" источникъ душевной драмы Успенскаго. Влюбленный въ народную жизнь въ тъхъ формахъ, которыя приданы ей властью ржаного поля, влюбленный въ это стихийное, безсознательное бытіе, ставящій выше всего его слепое счастье, его спокойствіе, онъ долженъ каждую минуту говорить объ исчезновеніи этого бытія, показывать неизбъжность этого псчезновенія, хотя вмъсть съ нимъ исчезаеть и святая святыхъ его жизни, его въры, долженъ призывать эту ненавистную, злую культуру, хотя бы въ формъ пьянаго хорошаго барина.

Это тяжелый и мучительный разладъ между человъкомъ и исторіей, между идеалами добраго сердца, пугливо отстраняющагося отъ всякаго страданія, и жестокой правдой, не нами устроенной, намъ навязанной жизни. И нътъ выхода отсюда: отстранить себя исторія не хочетъ и не можетъ, остается отстранить себя человъку.

Успенскій не вынесъ тяготы разлада. Въ своихъ произведеніяхъ вскрылъ онъ передъ нами муки своего сердца: страстный народникъ разрушилъ всѣ утопіи народничества, но всякій знаетъ, что стоило ему это, эта суровая правда, воистину добытая имъ кровью своего сердца и сокомъ своимъ нервовъ. Нѣтъ больше мужика, нѣтъ больше мужицкой жизни, есть уже рабъ чумазаго, и чумазый побѣдитъ, покоритъ это красивое бытіе и замѣнитъ ложью своей культуры его безыскусственную, стихійную правду.

- Н. Н. Златовратскій (род. 1845 г.). Златовратскій— ве ищеть вёры въ мужика: она далась ему отъ природы. Онъ не спрашиваеть себя каждую минуту: "хорошъ ли мужикъ, или нёть?" Онъ знаеть, что мужикъ хорошъ, и не тратитъ времени на ненужныя колебанія. Никакихъ надрывовъ, никакихъ вивисекцій надъ народомъ въ произведеніяхъ г. Златовратскаго замітить нельзя. Вст свои сомнтнія, муки, вопросы, ежели таковые были, онъ разртшилъ безапелляціонно глубокой, всепроникающей втрой и любовью къ народу, къ мужику, и чувствуетъ себя совершенно спокойнымъ возлт нарушенной, но все еще живой святыни народной жизни.
- Г. Златовратскій, самъ того не замѣчая, постоянно рисуеть вамъ ндпллін изъ крестьянской жизни, хотя, видимо, старается говорить правду. Но ему больно было бы навести хоть какую-нибудь тѣнь на излюбленную деревенскую жизнь, и онъ, о чемъ бы ни говорилъ, какіе бы ужасы ни описывалъ, все же приведетъ къ тому, что читатель вынесеть, въ концѣконцовъ, изъ своего знакомства съ мужицкимъ обиходомъ, отрадное и бодрящее впечатлѣніе, то самое, которое вынесъ и постоянно выноситъ самъ авторъ. Любопытно, между прочимъ, что тѣ самые кулаки изъ народа, о

Digitized by Google

которыхъ мы такъ иного наслышались, почти не фигурирують въ произведеніяхъ г. Златовратскаго. Если они и появляются, то такъ себъ, мимоходомъ. Вывести ихъ во всей наготь было бы обидно для автора-мужиколюбца. Г. Златовратскій втруеть, и втра наполняеть все существо его. Когда онъ говорить о мужикахъ, онъ становится эпически спокоенъ и благоленевь и ветлозаветень даже. Онь не боится, напримерь, переменивать свой разоказъ отступленіями страниць по 20, да и что бояться? Въль эти отступленія касаются все того же мужика, какъ же можно не интересоваться ими, какъ же можно, напримъръ, зъвать, читая безчисленныя біографін Пимановъ, Мысеевъ, Груздей, Ефимичей, Миновъ, Евтроповъ и еще кого тамъ? Эти мужики-радътели, ихъ жизнь — настоящан жизнь, не то, что "гниль интеллигентная"... У мужика все хорошо, даже разговоръ хорошъ, даже выговоръ "чаво", вмѣсто "чего", мелодиченъ, но лучше всего — это "довольство въ себъ", въра въ свою правоту, въ нужность своей жизни. Златовратскій, действительно, ничего не боится и ни въ чемъ не сомиввается. Не то, чтобы онъ въ то же время не видълъ ничего страшнаго, пугающаго. Онъ и его видить въ достаточной стецени: видитъ розвь между обыкновенными мужиками и умственными, видить нашествіе кулака, безземеліе, но відь сила его віры слишкомъ велика, чтобы не считать всего этого преходящимъ явленіемъ крестьянской жизни, отъ котораго она легко и просто можеть освободиться сама собой. Наши интеллигентные страхи не знакомы ему, и онъ ни на минуту не поддается имъ. Жизнь народа для него постоянный и неизсякаемый источникъ бодрости. Это уже полная увъренность, это знаніе. Что за бъда, если на крестьянина и его жизнь настли всякіе враги: стоить ему только развернуться во всю свою могучую ширь и силу — и враговъ какъ не бывало. Посмотрите, напримъръ, какъ описываетъ старикъ Минъ, "слушать котораго все равно, что въ церковь ходить", мужицкую жизнь, противопоставляя ей жизнь кулака.

"Такъ воть, говорю вамъ, кулакамъ и міровдамъ не жить... А не жить имъ потому, что у нихъ сытости нётъ... Коли сытости нётъ — шабашъ, пропало... А у нихъ, милые, даже ни чуточки ея нётъ. У барина хоть малось да было, а у кулака нётъ, у него одна злоба, жадность, гладъ душевный и тёлесный. Чёмъ больше жретъ, тёмъ больше утроба проситъ. Вотъ, что у пьяницъ: чёмъ больше пьетъ, тёмъ больше хочется. Онъ думаетъ: вотъ волью еще, —буду въ довольствъ, сытости, а его пуще злчба мучаетъ... Вотъ отъ этого самаго. А отчего эта алчба? Отъ неправоты. Правоты въ своемъ положеніи не видитъ... Коли кто правоту чувствуетъ свою, онъ всегда и сытость чувствуетъ, у него есть предълъ, у него довольство въ себъ есть. Вотъ, милые, гдъ ихъ гибель ожидаетъ".

Digitized by Google

Это приговоръ не только дяди Мина, а самого Златовратскаго, приговоръ рёшнтельный, рёзкій и безъ всякихъ смягчающихъ обстоятельствъ. Это приговоръ праведной жизни надъ другой жизнью, полной неудовлетворенныхъ стремленій, полной насилія надъ собой, полной грёха, а значить, и обреченной на гибель. Кулаческому существованію не на чемъ держаться. У него нётъ никакой опоры, такъ какъ, очевидно, что "алчба" такой опорой служить не можетъ. И крестьянину нечего -даже бороться съ кулакомъ, потому что непривольная, скверная жизнь послёдняго сама исчезнетъ, собой же съёденная, — исчезнетъ какъ дымъ отъ лица огня, какъ темнота ночи передъ разсвётомъ. Крестьянинъ доволенъ собой—и въ этомъ его огромная спла, его огромное преимущество. У лучшихъ нашихъ крестьянъ:

"Нѣтъ ни зависти къ людямъ, ни жадности: малымъ довольны, всѣхъ любятъ, душою равны, все въ нихъ, словно въ младенцахъ играетъ... Посмотри на него, онъ весь наружу, точно стеклянный.. Поговоришь съ нимъ,—словно сходишь въ Божію церковъ"...

Или послушайте разсказъ того же Мина о своемъ разговоръ съ бариномъ.

"Бывало молодой баринъ такъ-то однажды мив говорилъ: "Минька отчего ты всегда такъ доволенъ и веселъ?" — "Оттого, говорю, баринъ что у меня гъ душв довольство."—"Отчего же, говоритъ, это у тебя въ душв довольство?"—"А оттого, говорю, что я при правомъ двлв состою— клъбъ рощу. Безъ клъба людямъ жить нельзя."—"Ну а у Захарки, Захарка камардинъ былъ, при немъ значитъ нвтъ этого довольства?"— "Нътъ, говорю".—"Да ты, говоритъ, посмотри на него: вся рожа у него оплыла... Видишь, какъ улыбается."—"Нътъ, говорю, не можетъ быть у него довольства, потому не при правомъ дълв состоитъ."—"Какъ, говоритъ, не при правомъ? Въдь онъ тоже работаетъ. Въдь и поваръ Васька работаетъ, и Савельевна работаетъ". Савельевна была тогда нянюшкой взята.—"Савельевна, говорю, точно имъетъ въ душв довольство, потому что она при правомъ дълв: при дъточкахъ, дъточекъ произростаетъ. А при дъточкахъ наблюдать, все равно, что при молодомъ хлъбъ... Въ дъточкахъ неправаго дъла нътъ" и т. д.

На сторонъ этого Мина, очевидно, и самъ авторъ.

Чтобы имъть довольство въ душт, надо состоять при правомъ дълъ. Это прежде всего. Но развъ есть дъло болъе правое, чъмъ дъло крестьянина? Онъ "произрастаетъ" молодой хлъбъ, создаетъ только полезное и необходимое и не больше, чъмъ нужно его. Его трудъ—это молитва, служеніе Богу и людямъ, трудъ, устанавливающій равенство и любовь между людьми, исключающій между ними зависить и злобу, это трудъ, для всъхъ нужный, возлъ котораго каждая человъческая сила можетъ найти себъ примъненіе, не тъсня другую, не вступая съ нею въ борьбу. Это трудъ "совъстливый", красивый и поэтичный, трудъ, служащій источникомъ

общаго единенія. Таковы же и люди, созданные имъ и выросшіе въ немъ. Для Златовратского крестьянская жизнь - единственно истинная и правая, мало того, она поэтичная, и авторъ то и дёло выставляеть вамъ на видъ эту самую поэтичность, описывая деревенскій трудъ, деревенскую природу, деревенскую жизнь вообще. Возьмите мужиковъ г. Златовратскаго. Въ сущности, всё они хороши. Хорошъ старикъ Михей, твердо вёрующій, что "всемъ хватеть", хорошъ хозяйственный Пиманъ, хорошъ Груздь, еще лучше романтикъ Минъ Афанасьевъ. Мужицкая глупость у г. Златовратскаго прикрывается такой массой добродушія, напримітрь, у Лимподиста нан у Вонифатія, что даже эта самая глупость становится намъ симпатична. Индивидуалистическія наклонности "умственнаго" мужика непремънно сочетаются съ идеаломъ всеобщаго благополучія, съ непремъннымъ, хотя бы и неумельмъ желаніемъ осчастливить всехъ. Хитрый, хлопотливый староста Макридій, только и думающій о томъ, какъ бы "спустить" ненужные, т. е. неплатящіе элементы общины, очевидно, пресл'ядуеть добчественныя" выгоды. Ни одного кулака, конокрада, непробуднаго пьяницы. Прочтите описание жизни въ "Мысеевомъ поселкъ" и вы увидите передъ собою несомивнео идеализированную маленькую крестьянскую общину, радостно принимающую къ себъ всъхъ несчастныхъ, готовую безъ всякой бережности делиться съ нимъ землей и последнимъ мускомъ хлеба. Туть н общественныя запашки, н общіе закрома, н чего еще туть ність. Сравните теперь все это вийств взятое съ картинами Гл. Ив. Успенскаго и скажите, да неужто это не идиллія? Ну, хорошо, если это слово вамъ не нравится, возьмите другое -- оптимизмъ, хотя, по-моему, художникъоптимисть ничего другого, кром'в идиллій, рисовать не можеть. Г. Златовратскій віруеть, что основы народной жизни здоровы, хороши, идеальны, что эти основы выдержать какія бы то ни было сотрясенія и что все, въ концъ-концовъ, сольется въ крестьянскомъ моръ. Эта-то глубокая, непоколебимая въра и льеть на все картины, рисуемыя г. Златовратскимъ, на всь картины, выводимыя имъ, ровный, мягкій свыть, заставляеть его подчась писать гомерическимъ дактилемъ и выдвигать на первый планъ не конокрадовъ, кулаковъ и пр., а идеально-честныхъ Миновъ, идеально-хозяйственныхъ Пимановъ и всёхъ другихъ многочисленныхъ и прекрасныхъ рыцарей труда; это и дълаетъ его самого эпически наивнымъ и простодушнымъ авторомъ героическихъ легендъ, одъ и балладъ, цълыхъ эпопей нашего народничества. Его въра---не купленная, не взятая на прокатъ, не выработанная въ поискахъ и разочарованіяхъ, но взятая приступовъ въ минуту душевнаго надрыва -- это что-то спокойное, могучее и цельное.

Для Златовратскаго община не только устой, не просто результать инстинктивнаго приспособленія, а--идеаль, сознанный и прочувствованный крестьянствомъ. Въ подтверждение этого я могъ бы привести много цитатъ, но ограничусь наиболье зарактерными, изъ которыхъ, очевидно, следуеть, что сравненіе "общинниковъ" съ тупорылыми сазанами, общины съ коллективнымъ рыломъ даже и въ голову не могло придти г. Златовратскому. "Воть, -- говорить онъ, -- какія широкія и глубоко-гуманныя основы, для совивстнаго существованія человіческих видивидуумовь, выработаль народь. Эти же основы-красугольный камень нашей народной жизни; на нихъ поконтся все міровоззрівніе народа, его инстинкты, его будущее". Община не только коллективное рыло, нътъ, по чувству справедливости она является даже "покровительницей нравственной индивидуальной свободы", о чемъ едва ли думаеть волжская рыба-сазанъ. Самал народная жизнь сохранила, къ нашему счастью, въ своихъ, еще мало навъданныхъ глубпнахъ драгопънные чистые перлы, тв великіе зачатки общественныхъ идеаловъ, которые она излюбила когда-то и которые пронесла неприкосновенными черезъ весь ужасъ стихійной борьбы. Какъ ни глубоко затерялись эти перлы подъ игомъ всевозможныхъ вижшнихъ, историческихъ воздействій, какъ ни трудно, повидимому, открыть ихъ теперь, но, при мало-мальски честномъ, добросовъстномъ наблюденін народнаго быта, нхъ присутствіе чувствуєтся всюдуони, какъ золотой песокъ, разсыпаны по жиламъ народнаго организма. А тамъ, гдъ сила вибшнихъ вліяній была наименьшая, была сведена до нуля, тамъ уже теперь есть целые самородки, блистающие яркимъ, светлымъ отблескомъ первобытнаго идеала...

Какое благодарное поприще, какая великая сокровищинца для мыслящаго человъка эта народная жизнь... Хорошо.

Но оставимъ г. Златовратскаго какъ публициста, обратимся къ нему опять какъ къ художнику. Тутъ еще иснъе, конкретнъе, понятнъе. Для него крестьянинъ прежде всего—правственная личность, проникнутая сознаніемъ правоты и нужности своего дъла. Старикъ Минъ прямо утверждаетъ: "Да что намъ, други, съ чего горевать-то? Никто нашей правоты отъ насъ не возъметъ... Какъ нашу правоту отъ насъ взять то? Да ты меня куда хочешь посади, куда хошь пошли—я все-таки при своей правотъ останусь". Въ этомъ человъкъ есть нравственная основа. Это не волжская рыба-сазанъ, не дубъ, который растетъ, самъ не зная для чего. Онъ не только знаетъ, но и прекрасно знаетъ, къ чему клонятъ эти условія, торжество какой иден преслъдуетъ онъ. Это—мужицкая идея, торжество мужицкой правоты. Вы полагаете, что онъ неподвиженъ, что вліяніе климата, параллели и меридіана выработали въ немъ извъстныя догмы, дальше которыхъ онъ не можеть ступить ни шагу? По г. Злато-

вратскому, самъ народъ сознательно, въ лице лучшихъ своихъ представителей, стремится приспособить формулу своей старой общинной жизни къ новымъ условіямъ. "Въ то время, -- читаемъ мы у него, -- какъ столько людей, носителей старой правды, уже сгибло, изверилось въ эту старую правду или закорузло въ ней фанатически, когда изменилось положение - являлась необходиная поправка въ этой старой правдъ. Минъ уже творилъ новую правду... или нъть, не новую правду; правда всегда оставалась ненамънной, въ какія бы путы пли паутины не была заткана, -- эта нензбываемая правда въ себъ, внутренняя правота собственнаго существованія вськъ труждающихся и обремененныхъ, такъ какъ у народа только и есть правота производителей необходимых потребностей жизни, и правота романтика, какъ безкорыстнаго носителя и ратника идей этой правоты. Неть, не новую правду гвориль Минъ, такъ какъ никакой новой правды сотворить народъ не можеть, а твориль новыя ея формы". Итакъ, деятельность Мина, т. е. сознательное стремление приспособить формулы старой общинной правды къ новымъ условіямъ жизни, самъ г. Златовратскій объединяеть съ дъятельностью народа... При чемъ туть коллективное рыло?.. Въ сущности, только одинъ типъ хозяйственнаго мужика, выведенный Златовратскимъ, подходить подъ теорію власти земли, да и то не совствиъ. Чтобы этогь самый хозяйственный мужних могь чувствовать себя невиннымъ, правымъ, убивъ конокрада, вогнавъ въ гробъ и пр. -- это невъроятно съ точки зрвнія г. Златовратскаго. Повторяю, въ его произведенія у т. — мужикъ не сазанъ и не дубъ, община — не коллективное рыло, народная жизнь---сознательна и проникнута идеаломъ, въ ея представителяхъ господствуетъ стремление выйти на свъжий путь и осуществить мужицкую идею, распространить ее на всю жизнь, на все отношенія людей другъ къ другу.

Не народъ собственно и не народная жизнь внушаетъ такую въру Златовратскому, а народная интеллигенція—богатыри и рыцари молчаливой крестьянской массы, существованіе которыхъ онъ не считаетъ ни минувшимъ достояніемъ прошлаго, ни призрачнымъ. Напротивъ того, онъ твердо знаетъ, что народная интеллигенція была, есть и будетъ, что она въ конців концовъ повернетъ мужицкую жизнь въ то русло, которое ей надлежитъ принять.

"Принимая отъ земли, отъ природы указанія для своей нравственности, человікъ, т. е. крестьянинъ-земледівлецъ вносилъ волей-неволей въ людскую жизнь слишкомъ много тенденцій дремучаго ліса, слишкомъ много наивнаго лісного звітрства, слишкомъ много наивной волчьей жадности... Но не эту зоологическую, не лісную, а божескую правду вносила въ народную среду народиая интеллигенція. Она поднимала слабаго, безпомощно

брошеннаго безсердечною природой на произволъ судьбы, она помогала, и всегда дёломъ, противъ слишкомъ жестокаго напора зоологической правды: она не давала этой правдё слишкомъ много простора, полагала ей предёлы".

Такъ говорить Успенскій по новоду народной интеллигенціи. Но этоть скептикъ, этоть вѣчно сомнѣвающійся и вѣчно ищущій человѣкъ, этотъ страстный народникъ, боящійся вѣры въ народъ, немедленно же прибавляеть: "теперь нѣть въ народѣ такого типа, такого работника, никто не пачкаеть своего платья изъ-за чужой бѣды. Всѣ добрыя дѣла обязались дѣлать земскія собранія за умѣренное вознагражденіе. Народная душа опустошена и, пожалуй, ожесточена, такъ какъ и трудъ—не трудъ и жизнь одновременно, а только трудъ". Этой-то вотъ прибавки и не могъ, какъ всякій понимаеть, сдѣлать Златовратскій. Прежде, теперь, послѣ—все равно когда, во времена Ильи Муромца, подъ гнетомъ ли крѣпостничества вли въ переходную эпоху къ невѣдомой, но все же чудной, красивой жизни—народная интеллигенція не сходила и не сходить со сцены, и ея роль во всякое время одна и та же: роль глашатая правды, христіанской любви и братскаго единенія.

Удивительно красивы типы народныхъ интеллигентовъ у г. Златовратскаго. Это ничего, что они ободранные и въ лохиотьяхъ, это ничего, что у нихъ ни кола, ни двора, это ничего, что они знать не хотять своего хозяйства, не блюдуть его, считають его даже какой-то помехой для себя. Они чудно привлекательны неизсякаемымъ запасомъ своей любви и своей жизненной неустращимостью. Нъть въ сердцъ ихъ мъста для страха іудейскаго, нътъ унижающей заботы о завтрашнемъ днъ, жакое-то ровное спокойное, пожалуй, торжественное настроеніе постоянно владветь вин. Только своей внутренней мощью, не опираясь ни на какую внашнюю силу, поднялись они на почти что недосягаемую высоту любви, безстрация и смиренія. Они непобъдимы: никакой жизненный соблазнъ не подкупить ихъ, никакая сила не склонить ихъ передъ собой, не вырветь у нихъ слова лжи, неправды и лицемърія, ничто не испугаеть ихъ. Имъ нечего терять: у нихъ все въ себъ, въ этомъ цъльномъ духъ, постигшемъ всю красоту, всю радость жизни. Именно красоту ея и радость. Точно боги какіе, точно греческие боги, восприняли они въдухъ свой всю красоту, всю радость бытія и достигли высшаго блаженства, доступнаго человъку-блаженства безстрашія. Они видять постоянное торжество кулаковь и кулаческихь идеаловъ, видятъ, какъ неправда привольно чувствуетъ себя въ ихъ же собственной средь, видять эло и побъду этого эла, видять собственный неудачи, паконецъ, но свътлый и радостиый духъ ихъ ни на митуту не омрачается этими картинами. Они знають, кто и что побъдить, и въка тому назадъ, и теперь, и въка спустя будутъ дълами напоминать о высшей, божественной правде и полагать предель лесной и зоологической правдъ-правдъ борьбы за существованіе. Возьиме любую изъ выведенныхъ имъ фигуръ, хотя бы дядю Мина, "поговорить съ которымъ то же самое, что въ церковь сходить", и вы сейчасъ увидите, въ чемъ дёло. Въ Минт на первомъ плант-все равно, въ словахъ ли, устахъ ли, поступкахъ ли, въ его отношении къ природъ и людямъ-сердце. Гума вность его обходится безъ всякихъ теорій, безъ всякихъ стороннихъ соображеній. она непосредственна и свободна, какъ ростъ цветка, какъ пеніе птицъ. Сердце народнаго интеллигента тянеть, неотразимо тянеть къ любви и правдъ, просто потому, что онъ инстинктивно, какъ настоящій "художникъ добра", чувствуетъ ихъ красоту и прелесть, такую же красоту и прелесть. какъ въ небъ, лъсъ, поляхъ, природъ вообще. Ему жаль сорвать и бросить въ грязь красивый цв втокъ, жаль сломить молодое деревцо, только что выбравшееся изъ-подъ земли, жаль нарушить красоту челов'вческой жизни зломъ и несправедливостью. Онъ просто добродътеленъ и нравствененъ, -- онъ въ то же время поэтиченъ въ лучшемъ смысле этого слова, и Златовратскій никогда не устаеть отивчать именно эту черту народнаго интеллигента, на счеть которой можно спорить лишь въ томъ смыслъ: обычна ли она, или необычна, часто ли она встръчается, или ръдко, но отрицать ея нельзя. Откуда бы иначе взялась поэзія у Кольцова? У того добро и прасота также идуть всегда рука объ руку, и чудная картина "Урожая", напр., заканчивается полнымъ любви пожеланіемъ счастья и удачи труженику, взростившему это чудно-красивое поле.

Но это еще не все. Въ любви народнаго интеллигента итть ничего теоретическаго, итть въ немъ, словомъ, той любви, которую вырабатываеть наша интеллигентная жизнь. Мы, гртшные, можемъ, напримтръ, любить массу и презирать или быть постыдно равнодушными къ каждому изъ малыхъ сихъ въ отдельности. Какъ одинъ изъ героевъ Успенскаго, каждый изъ насъ смело можетъ сказать про себя: "личное участіе, личная жалость инт незнакомы и чужды, въ моемъ сердце итть запаса человтческаго чувства, человтческаго состраданія, которое я могъ бы раздавать встать этимъ песчинкамъ, милліоны же, которые въ видт цифры занимаютъ одну десятую часть вершка на печатной строкт, напротивъ, меня потрясали". На такую отвлеченность чувства народный интеллигентъ не способенъ: онъ любитъ не людей вообще, а каждаго человтка въ отдельности, не отвлеченную справедливость, во имя которой можно быть иногда ужасно жестокимъ, а справедливость, пригртвающую встать и каждаго, даже преступника, злодтя, врага.

Воть эти-то черты народнаго характера постоянно и тянули къ мужику

всёхъ нашихъ писателей: Григоровича, Тургенева, Толстого, Достоевскаго, Златовратскаго, привезанность именно къ этимъ чертамъ и даетъ нашему народничеству вполит опредъленную физіономію, краски которой, конечно, сгущены примъшавшимся сюда барскимъ покаявіемъ.

Народная интеллигенція у Златовратскаго—вся въ духів своемъ и нравственныхъ основахъ этого духа, не смущеннаго правилами человъконенавистничества и борьбы за существованіе. По вившности она нищая, безграмотная, въ ней есть даже что-то юродивое. Но вибшней силы, хотя бы то была сила знаніч, ей и не нужно. Эта вившиня сила обманчива, въ ней есть ядъ, отравляющій сердце, есть источникъ какого-то обмана, есть и могущественное стремленіе заглушить голось внутренняго человіка и внутренней правды. Оттого-то Златовратскій и не зоветь интеллигенція въ народъ, т. е. нашей образованной и начитанной интеллигенців. Онъ просто-на-просто не дов'яряеть ей. Онъ видить въ ея среде людей крупныхъ, безусловно честныхъ и искреннихъ, людей готовыхъ къ преданной самоотверженной д'ятельности, но не видить праведниковь и чистых духомъ. Много, конечно, могутъ они сделать, но могутъ внести и заразу въ эту чудно-красивую крестьянскую жизнь, въ это царство божеской правды, съ ея свъточемъ христіанской любви и единенія. Кто наъ этой начитанной интеллигенціи ослабъ уже духомъ и пропадаеть за скверной бутылкой водки, кто весь ушель въ заботы о собственномъ благополучін, въ мебель, квартиру, затягивающую тишь счастливой семейной жизип. И отъ прежнихъ увлеченій, отъ прежней гордыни самоотверженныхъ порывовъ у нихъ осталось лишь воспоминаніе, смутный и непріятный упрекъ.

Златовратскій знаеть и втрить, что такіе люди не нужны въ крестьянской жизни, что въ этой жизни есть собственный запась мощной силы и мощной интеллигентности, которыя рано или поздно сами преодолтвають всякое эло. Онъ знаеть и втрить, что та же крестьянская жизнь стремится сама собой къ тому, чтобы выбраться на истинный путь, развить свою мужицкую идею въ духт устоевъ прошлаго его: общины, артели, взаимопомощи. Онъ знаеть и втрить, что если есть эло и нищета, то это эло и нищета—временны и случайны, призрачны, пожалуй, что основы народнаго духа они нисколько не затронули, что духъ, этотъ несмотря на все вынесенное и претерптиное, сохранился чистымъ и радостнымъ, и въ этой-то его чистотт и радостности, дающихъ носящему ихъ въ себт возможность быть щедрымъ въ отношени другихъ, и заключается залогъ будущаго общечеловтческаго, по крестьянскому образцу устроеннаго счастья.

Невърующіе народники.

Эта меланхолическая группа имъетъ нъсколько крупныхъ представителей -- А. О. Новодворскаго, В. Гаршина, С. Надсона и, наконецъ, въ высшей степени оригинальнаго и самостоятельнаго писателя: —Ди. Нарк. Мампна (Сибпряка). Попытки теоретического обоснованія народничества, такъ и остались попытками, отъ которыхъ решительно никому ни тепло, ни холодно: никого онъ не задъли, никого и задъть не могуть. Народничество было прежде всего настроеніемъ, жалостью, голосомъ сов'єсти за свои общественныя привпллегіи. Оно было прекрасно и могущественно, когда жило въ сердцв человъка, но когда "народъ ушелъ изъ сердца", --исчезло и народничество, и когда этотъ факть быль сознавъ-русскій интеллигенть почувствоваль себя какимъ-то ненужнымъ и совствиъ одинокниъ. Еще вчера все было такъ ясно: былъ кумиръ, идолъ, которому следовало поклоняться; были устои, которые надо было защищать; ими определялась и любовь, и ненависть; было самое важное — было сознание своего родства, своей духовной близости съ молчаливой, строй массой; былъ и выходъ, совершенно исный и опредтленный, изъ своего положенія. "Въ народъ!" — и это слово, написанное на знамени, заключало въ себъ цълую программу, цълую философію, цълый кодексъ морали. Оно было жизненно и способно наполнить собой бытіе. Вспомните, на самомъ дълъ, созданные 70-мн годами типы народнаго учителя и особенно "учительки", земскаго врача, земца просто, и для васъ станеть яснымъ, какъ много внутренняго содержанія заключалось въ этомъ коротенькомъ словъ "народъ". И слезы кающихся дворянъ, и цъломудріе духа, отвернувшагося отъ соблазновъ жизни, и жажда самопожертвованія. и въра въ чудное будущее этой сърой массы, только что ссвободившейся отъ крипостной опеки, и понятная, законная гордость отъ сознанія, что и ты участвуень въ великомъ процессъ созиданія новой жизни, — все шло въ дело, все соедниялось для того, чтобы создать одно изъ самыхъ оригинальныхъ и привлекательныхъ общественныхъ теченій... и все это рухнуло или, лучше сказать, все это расплылось въ мутномъ туманъ съренькой жизни, въ которой сталъ уже орудовать хищникъ.

1

"Хищникъ, — писалъ Щедринъ еще въ 73-мъ году, — вотъ пстинный представитель нашего времени, вотъ высшее выражение типа новаго, ветъаго человъка. Хищникъ проникаетъ всюду, захватываетъ всѣ мѣста, заъватываетъ всѣ куски, интригуетъ, сгораетъ завистью, подставляетъ ногу, стремится, спотыкается, встаетъ и опять стремится... Хищникъ—это дикій, въ полномъ смыслѣ этого слова; это человъкъ, у котораго на языкѣ нътъ другого слова, кромѣ глагола "отнятъ". Но такъ какъ кусковъ разбросано

много, и это заставляеть глаза разбытаться; такъ какъ съ другой стороны, и хищниковъ развелось не мало, и строгаго распредъленія занятій между ними не имъется, то, понятно, какая масса злобы должна накнить въ этихъ въчно алчущихъ сердцахъ. Самое "торжество хищника" является озлобленнымъ. Онъ достигъ, онъ удовлетворенъ, но у него, во-первыхъ, есть еще ито впереди и, во-вторыхъ, есть счеть позади".

Хищникъ—съ одной стороны; полная инертность крестьянской массы, съ другой—воть что встрътило народничество въ жизни съ перваго же дня своего появленія на свътъ Божій, воть обо что разбились, да и не могли не разбиться всѣ его усилія. Такъ что говорить о медовомъ мъсяцъ народничества какъ-то даже не приходится, если не разумъть подъ этимъ общераспространеннаго въ началѣ 70-ыхъ годовъ "хожденія въ народъ", женнтьбы на крестьянкахъ и тому подобныхъ разновидностей "опрощенія".

Понадобились жертвы и жертвы, особенное мужество, отказъ отъ личнаго счастья, не изъ аскетическаго пренебреженія къ нему, а потому, что господствовавшій этическій принципъ признавалъ полную его невозможность рядомъ съ страданіемъ и горемъ народнымъ.

Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?—
спрашивалъ еще Некрасовъ. Пришлось отвътить ясно и просто: счастья
нътъ. Нищета, граничащая съ голодомъ, невъжество, поклоняющееся "святой Пятницъ", полное безправіе, жестокая экономическая кабала у хищниковъ,—вотъ обычные факты народной жизни, о какомъ уже тутъ счастьъ
можетъ идти ръчь?

Народническое настроеніе, вошедшее въ плоть и кровь естестественно обращалось въ жажду подвижничества и прямо-таки требовало этого подвижничества, потому что на пути народнаго счастья и идеала крестьянскаго царства было слишкомъ много преградъ. Ни перескочить черезъ нихъ, ни обойти было невозможно, надо было сдвинуть ихъ съ мъста, чтобы очистить дорогу, и сдвигать приходилось горы. Тутъ нуженъ былъ духовный восторгъ, фанатическая въра и фанатическая любовь. Если устами одного изъ своихъ вождей 60-ые годы говорили: прекрасное есть жизнь, и что при извъстной умъренности желаній, можно быть счастливымъ здъсь на землъ, то огромность задачи сдълать народъ счастливымъ и развившееся пожалуй, что до художественной полноты противоръчіе между административными и интеллигентными стремленіями, потребовали другихъ формулъ: "жизнь есть борьба и подвижничество" и "личное счастье, при несчастьи народа, незаконно". Но для всего этого, надо быть героемъ.

Муки своего безсилія, наряду съ непомфрной, вногда прямо бользненной жалостью къ обездоленнымъ, жажду вфры, наряду съ крфпнущимъ

сознаніемъ, что почва идеала уходить изъ-подъ ногъ, жажду личнаго счастья выбств съ ригористическимъ признаніемъ его незаконности — мы находимъ и у Новодворскаго (Осиповича), и у Гаршина, и у Надсона. Въ сущности — это паденіе народничества, потому что всякое жизненное теченіе держится лишь върой и душевной бодростью.

А. Н. Новодворскій-Осиповичъ (1853 — 1882). Человъкъ голодаль всю молодость, почти всю жизнь; не разъ быль на краю самоубійства. Началь писать въ 1877 г., немного оправился, но скоро умеръ отъ ранте запасенной чахотки. Былъ чутокъ, впечатлителенъ, наполненъ порывами бользненнаго безсилія. Онъ хотыль идти навстрычу трудищимся массамъ и отръшиться отъ традицій и условностей буржувано-дворянской культуры. Для этого надо было сжечь корабли. Но "сжиганіе кораблей, т.-е. отречение отъ личнаго счастья и своей семьи тяжело обходится героямъ Новодворскаго; лучшія страницы его произведеній, посвящены именно анализу внутренней борьбы героевъ, борьбы между чувствомъ общественнаго долга и "жаждой покоя и супружеской жизни". Изъ этой внутренней борьбы герон выходять изломанными людьми, которыми владфеть скверное чувство "отчужденности, ненужности, непутности". Эти люди представляють изъ себя типъ "ни павы, ни вороны", типъ "кающагося дворянина", не способнаго ни къ какой продуктивной работь. Но послъ этой общей характеристики, остановлюсь подробно на произведеніяхъ Новодворскаго.

Двадцать лъть уже прошло со дня смерти Новодворскаго, и развъ вамъ не кажется порою, что за эти годы мы пережили целую вечность? Найдите вы теперь на улицахъ столицы хотя бы человъка въ пледъ... Едва ли вамъ это удастся, а въ те времена человекъ въ пледе былъ алобой дня, и съ чего бы ни начиналась рычь, все же, въ концы концовъ, она сводилась къ тому таниственному процессу, который совершается подъ этимъ пледомъ. Но это, конечно, подробность, хотя и любопытная. Самое важное то, что тонъ, интересы, темы нашей современной литературы совершенно отдалились отъ Новодворскаго и его героевъ. Съ кающимся дворяниномъ тихо, такъ же тихо, какъ и съ мужикомъ, къ которому онъ хотель приблизиться, котораго онъ любиль съ какимъ-то надрывомъ и даже отчаяніемъ. Новыя лица--новыя пъсни, и, можеть быть, ни одна страница Новодворскаго не найдеть уже настоящаго отклика въ нашей душть, потому что совствить другіе теперь интересы. А Новодворскій сдълалъ не мало, хотя главное изъ сдъланнаго имъ чисто отрицательнаго характера: онъ испыталъ весь ужасъ безсилія и частичку этого ужаса сумълъ передать читателю.

Строго говоря, у Нодворскаго только одинъ герой—онъ самъ, есть правда, другіе, но они едва намічены, являются на сцену какъ-то случайно и исчезають неизв'єстно куда. Эти другіе—люди, въ большей или меньшей степени, сильные, в'єрующіе, преданные своимъ уб'єжденіямъ иногда съ фанатизмомъ и всегда до готовности пожертвовать собою, самъ Новодворскій только стонеть, подавленный невыносимой тяготой жизни и гнетущими мыслями о собственномъ безсиліи. Напрасно старается онъ облегчить свою тоску насмієшкой, сарказмомъ, каламбуромъ даже—она слітадуеть за нимъ, какъ тінь и какъ червь подтачиваеть его лучшія мысли, его молодыя силы; эта тоска—не апатія, она выросла на почв'є полной неприспособленности къ жизни и больной, надорванной сов'єсти.

Я не стану разсказывать біографію Новодворскаго, хотя бы потому, что, въ сущности, никакой біографія нѣть. Бѣдность въ дѣтствѣ, бѣдность въ гимназическіе и студенченческіе годы, потомъ бѣганье по грошовымъ урокамъ, простуда, чахотка и смерть въ Ниццѣ на казенной больничной койкѣ. И это вся жизнь, слегка прикрашенная литературнымъ успѣхомъ и, очевидно, рѣдкими минутами свободнаго творчества. Литературная біографія—шире, богаче, и только въ ней тоскующій, надорванный духътихаго и придавленнаго жизнью человѣка успѣваеть заявить о своемъ существованіи, о вынесенныхъ пмъ мукахъ и потребовать отвѣта на эти вѣчные "за что" и "почему". Нечего и говорить, что эти вопросы остаются безъ разрѣшенія, тѣмъ болѣе, что встать на шаблонную и патентованную точку зрѣнія Новодворскій не хочетъ.

0 его діятствів нечего распространяться. Это рядъ картинъ дворянской, т. е. самой неприкрытой инщеты. Но-вотъ юность.

"Домашніе уроки" дали ему возможность привести въ порядокъ свою внѣшность, хотя немного облегчить участь семьи и побывать даже въ университеть, гдѣ все же онъ узналъ, наконецъ, эту таинственную науку, хотя все время приходилось питаться кониной. Впрочемъ, конина—пустяки. По искреннему убѣжденію самого героя, "ее слѣдуетъ только хорошенько разбить гимнастическими гирями, бросить въ котелокъ, сварить съ должнымъ количествомъ соли и перцу и потомъ съѣсть. Больше ничего". Гораздо труднѣе справиться съ жизнью. Странно даже. Прошла она въ самой реальной обстановкѣ, весь ем горизонтъ ограничивался провинціальнымъ городишьой, а въ періодъ лежанія на диванѣ—плетнемъ, на которомъ съ утра до ночи сушилось бѣлье унтера и его сожительницы, потомъ наступило шатаніе по урокамъ, сразу и утомительное, и унизительное—а между тѣмъ душа героя полна самыхъ фантастическихъ настроеній и идей. Онъ никакъ не можетъ приспособиться къ жизни, никакъ не можеть понять, чего та хочеть отъ него. Казалось, ему отчитали только-

что по книгѣ цѣлый рядъ нравоученій, доказали ему, что онъ ничто, нуль, что ни на какую счастливую случайность онъ разсчитывать не можетъ, что лишь въ потѣ лица добьется онъ хотя частицы личнаго счастья. Но нѣтъ. Онъ не хочетъ сдаваться, онъ точно забываетъ всѣ полученые имъ щелчки и пинки, становится выше конины, нетопленой комнаты, разстроеннаго здоровья и, проводя за думами безсонныя ночи, приходитъ къ фантастическому представленію, что онъ долженъ быть героемъ. Отсюда прямой, логически необходимый выводъ: "я не имѣю права на личное счастье".

Въ разсказъ о его первой любви, вамъ въ глаза прежде всего бросится невъроятное обиліе каламбуровъ и шутокъ. Вы думаете, и вправду весело человъку. Нисколько, сму больно, у него сердце бьется, какъ подстръленная птица, при воспоминаніи о той минутъ, когда любовь едва не подхватила его на своихъ золотыхъ крыльяхъ куда-то далеко, далеко отъ всъхъ этихъ проклятыхъ вопросовъ мукъ больной совъсти. Но, разсказывая, онъ хочетъ смъяться, во что бы то ни стало смъяться, хотя бы цинично и грубо, чтобы никто не разглядълъ его слезъ, чтобы никто не услыхалъ его рыданій. Въдь онъ обиженный и озлобленный человъкъ и кромъ всего еще застънчивъ и самолюбивъ и теперь, когда онъ пишетъ, т. е. творитъ судъ надъ собой—онъ безпощаденъ къ самому себъ, какъ палачъ. Кто знаетъ, не мелькнетъ ли въ эту минуту въ его головъ мысль: "отказавшись отъ любви, ты пересталъ житъ"... Но онъ не выскажетъ вамъ ея, онъ спрячетъ ее за каламбуромъ и лучше состроитъ шутовскую гримасу, чъмъ попросить васъ о состраданіи.

Вотъ конецъ исторіи:

"Какъ она на меня посмотръла. Во всякомъ случав, скала почувствовала себя весьма тоскливо. Я тогда взялъ ее за руку и произнесъ глубокопрочувственную рѣчь слъдующаго приблизительно содержанія: "Другъ мой, —я вовсе не скала, я скорѣе слабъ, чѣмъ силенъ, но во мнъ есть кое-какой огонекъ, кое-какіе желанія и планы, и я хочу ихъ осуществить. Я не имъю права на личное счастье, хотя бы съ тобою: я его не заслужилъ. Я долженъ идти, куда ты не можешь слъдовать за мной а если бы ты пошла, то это принесло бы только вредъ: меня связала бы любовь къ тебъ. Если силы мои окажутся достаточно большими, чтобы вести насъ обоихъ, и если въ твоемъ сердцъ не угаснетъ любовь ко мнъ, то я приду, упаду къ твоимъ ногамъ, если же"... Она упала въ обморокъ. Ея обезсиленное гибкое тъло лежало у меня на рукахъ, я осыпалъ ее поцълуями... Часа черезъ два я уъхалъ изъ Севастополя".

Бъдный фантастическій человъкъ. Онъ боптся любви и счастья, онъ не можеть представить ихъ себъ иначе, какъ въ самой будничной, филистерской обстановкъ. Онъ въритъ, что любовь женщины потянетъ его



внизъ, отниметъ у него бодрость духа и жажду самопожертвованія. Въ ту минуту, когда могъ бы настать переломъ въ его жизни и вздохнула бы его усталая грудь, —его воображеніе заглядываетъ далеко, далеко впередъ и видитъ, какъ онъ отяжелълъ, опустился, какъ всё его заботы свелись къ кофейку и ветчинкъ. Въ ужасъ передъ этимъ онъ говоритъ свое "нътъ" Доминикъ Павловиъ и читаетъ ей натацію, не хуже, чъмъ Евгеній— Татьянъ. Онъ такъ запутался въ своихъ мысляхъ, въ своихъ теоріяхъ, что въ сущности не можетъ даже разобрать, любитъ онъ дъйствительно или нътъ? Онъ знаетъ только, что ему надо совершить подвигъ. И навърное онъ долго готовился къ этому подвигу, прибавляя дни вольнаго голоданія къ днямъ невольнаго, быть можетъ, даже, какъ Рахметовъ, спалъ на доскъ, утыканной гвоздями, въ тоскъ по правдъ сурово истреблялъ всякій признакъ наслажденія и удобства изъ своей жизни. Но въдь онъ любилъ— и стонъ, который то и дъло вырывается у него, слишкомъ ясно говорить объ этомъ.

Настала, наконецъ, минута испытанія. Онъ нанялся на барку таскать бревна.

"Въ эту минуту на берегу раздался ръзкій крикъ подрядчика: "Эй вы, принимайся"... Мужики встали, перекрестились, скинули съ себя верхнюю одежду и принялись за работу. Два бълоруса подавали бревна, остальные-каждый по одному носили ихъ по перекинутой съ барки доскъ на берегъ. Въ какомъ-то сладострастномъ опьянении подощелъ я къ полъну, но... въ этомъ полънъ, казалось, сосредоточилось, какъ въ фокусъ, все тяжелое, такое тяжелое, что при попыткъ поднять его, меня всего бросило въ жаръ. "Задержанное движеніе всегда превращается въ теплоту", плаксивно притворился я, яко бы хладнокровно размышляя, но собственно никакихъ мыслей въ головъ не было: было только одно чувство... Ахъ, какое это было чувство, прекрасная читательница... Если бы съ молодой дівущки, въ первый разъ выбхавшей въ світь, въ самый разгаръ бала свалилось платье, если бы только что обвънчавшійся страстно влюбленный юноша, выводя изъ церкви новобрачную, вдругъ почувствоваль, что на ласки любимой женщины можеть отвъчать лишь слезами отчаниія-ни та, ни другой, навърно, не испытали бы такого жгучаго стыда, такого пламеннаго желанія провалиться сквозь землю. Я употребилъ нечеловъческое усиліе и поднялъ. Въ спинъ что-то хрустнуло. Согнувшись въ три погибели, едва не провалившись съ доски, дотащилъ я бревно до берега и принялся за другое. Оно, это другое, было еще тяжелъе. У меня не хватило силъ донести его, я пошатнулся, выпустиль свою ношу и самь повалился на скользкія доски барки. "Ха, ха. Небось, не сладко?"-слышались голоса товарищей. Я смутно сознавалъ все происходившее вокругъ. Мнъ было невыпосимо жутко. "Но, парень, серьезно проговорилъ старый рабочій, -- это, видно, не твое дъло; тебъ бы сюда не соваться... Дай, помогу, что-ли?" Но мнъ не нужна была его помощь. Я всталь, молча подняль упавшую съ головы шапку и, тихо шатаясь, пошель прочь.—"Утекь, хлопцы, ей-Богу... ха, ха", слышалось сзади.—Ишь щелкоперь".—"Чего зубы скалишь? Ну, извъстно парень хворой. Изъ лакеевъ, должно быть". А у—меня полнъйшій хаосъ въ головъ. Я брелъ наудачу, едва различая предметы, въ глазахъ дрожали слезы, въ ушахъ раздавалось "хворый, хворый"... А дальше проклятія по адресу какихъ-то варваровъ, и бъдный освистанный актеръ бросается въ воду съ моста".

Такова біографія литературнаго двойника Новодворскаго, которую мы огрывками находимъ въ его разсказахъ. Героп Новодворскаго и его литературный двойникъ, такъ саркастически разсказывающій о своей любви, были и быльемъ поросли. Тутъ дъло, разумъется, не въ конинъ, которую и теперь ъдять очень и очень многіе изъ учащихся, а именно въ этой несоразмърной фантастичности, въ этой жажде подвига, въ этой экзальтаціи чувства и въ какомъ-то теоретическомъ фанатизмъ, заставляющемъ отказаться отъ единственнаго луча счастья, изъ боязни загрязнить свою душу прикосновеність къ жизненному пиру. Кто такой герой Новодворскаго? Неждановъ? Судьба ихъ, обстановка ихъ деятельности та же самая, но въ то же время это два разные типа. Неждановъ у Тургенева - аристократь по крови и эстетикъ. Герой Новодворскаго искрените, фанатичите и, пожалуй, серьезите. Все же его душа тамъ, куда онъ идеть, — въ толив меньшой братіи. Онъ много вынесь, много голодаль, и меньшая братія для него повятиве и ближе, чвиъ для Нежданова. Детски, наивно совершаеть онь свой геройскій поступокь, отказываясь отъ любен Доминики Павловны, но все же это - подвигъ, и этотъ подвигъ говоритъ о глубинъ его чувства. Это – не въра. Это – напряженное, дошедшее до слепоты чувство, которое вышло не столько изъ любви къ народу, сколько изъ сознанія своей отвітственности за его невъжество и его несчастіе. Надо ндти и спасать, надо слиться безъ остатка съ этой строй нассой и, забравшись въ самую ея сердцевину, вести ее къ свету и истине. Для него, слепого романтика, нетъ жертвы, которую нельзя было бы принести во имя этого, изтъ невозможнаго дала. И онъ рвется туда... до первой неудачи, потому что чувство, напряженное до последней степени, обрывается, какъ слишкомъ натянутая Все, что въ немъ есть, -это сленая, стихійная сила чувства и рядомъ съ этимъ тоска по правдъ. Онъ не ищеть правды, не добивается ея, -- онъ хочеть сразу овладать ею. А когда жизнь еще разъ ударяеть по головъ проученнаго мечтателя, онъ падаеть туть же, чтобы подняться, по уже безъ силы, безъ надежды, съ одною тупою тоскою въ сердцъ, съ подавляющимъ сознаніемъ своего безсилія.

Такіе герои были и... быльемъ поросли. Но если ихъ и нѣтъ теперь, го развѣ это мѣшаетъ намъ интересоваться произведеніями Новодворскаго? Поэтому, въ заключеніе—еще два слова о его стилъ. Странный стиль,

опять-таки неим'єющій ничего подобнаго себ'є въ текущей беллетристикъ. Это стиль надорваннаго духа и, въроятно, разбитаго сердца. Это стиль человъка, обойденнаго жизнью, который къ тому же гордъ н застенчивъ. Нетъ порядка въ ходе разсказа. Событія нагромождаются одно на другое, лирическія отступленія пестрять страницы. такъ и рвется наружу, кажется, хочеть растопить сердце, увлечь за собою людей, по крайней мірів, закрутить иль въ вихрів тоскливыхъ ощущеній, но сейчась же за признаніемь, за испов'ялью следуеть сарказиъ, неогда простой каламочръ. Новодворскій не хочеть даваться въ руки!.. Онъ прячется то за безпорядокъ своего разсказа, то за насмъшку. Онъ какъ будто истить и себъ, и вамъ. Вамъ, впрочемъ, овъ не върить. Онъ боится быть слишкомъ откровеннымъ, боится плакать передъ вами, чтобы не оказаться въ положении актера, надъ страстью котораго подсмънвается публика. Онъ знаеть, что вы прочтете его разсказъ и... забудете. А въдь это-кровь его сердца, все это, начиная съ конины, онъ д'яйствительно вынесъ, вся эта тоска, на самомъ д'ялъ, свела его въ гробъ. И онъ хочеть стать выше своихъ страданій, сивется искривленной улыбкой, надорваннымъ смѣхомъ, и зачастую его лирика не что иное, какъ пляска гейпевскихъ мертвецовъ надъ собственными могилами. Что подълаете? Жизнь обманула человъка. Она внушила ему въру во всемогущество его благородныхъ порывовъ, но не дала ему ни дъйствительной силы, ни знанія той обстановки, среди которой ему пришлось жить и бороться. Она твердила ему, что надо быть героемъ, она рисовала ему будущее въ самыхъ радужныхъ краскахъ, и онъ шелъ навстрѣчу ему голодный и оборванный, могущественный своими иллюзіями, но безъ силь и средствъ, шелъ по направленію миража пустыни, не обращая вниманія на свои израненныя ноги, на смертельную бользиь своего духа, уже не въровавшаго, а только старавшагося верить съ надрывомъ отчаянія, преследуеный своимъ насившливымъ Горе-Злосчастіемъ...

> Полетълъ молодецъ яснымъ соколомъ, А Горе за нимъ—бълымъ кречетомъ, Молодецъ полетълъ сизымъ голубемъ, А Горе за нимъ—сърымъ ястребомъ...

Новодворскій однить изта излюбленных талюбей семидесятниковть, признавших его своимть. И, конечно, онта былта своимть потому, что стастрашною силою разыгрался вта немъ драматическій моменть эпохи и жажда личнаго счастья, и добровольно-мученическій отказть отта него, и стремленіе слиться ста народомть, войти вта него, вта его тяжелую трудовую жизнь, вта его голодовку и холодовку, завершился слишкомть ужть яснымть

н убійственнымъ сознаніемъ собственнаго своего безсилія. Онъ не только не выполнилъ наложенной на себя задачи, но хуже того,—онъ понялъ что не можетъ выполнить ее...

Его господствующее настроеніе—безнадежная тоска и мучительная жажда верить, когда вера ушла уже изъ сердца...

В. М. Гаршинъ (1855—1888)—тоже излюбленный человъкъ, тоже съ такимъ же основаніемъ признанный своимъ, еще яснъе, еще шире, и безнадежнъе поэтому, взглянулъ на дъло.

На могилѣ Гаршина г. Минскій произнесь одно изъ лучшихъ своихъ стихотвореній:

Ты грустно прожилъ жизнь. Больная совъсть въка Тебя отмътила глашатаемъ своимъ, Въ дни злобы ты любилъ людей и человъка И жаждалъ въровать, безвъріемъ томимъ. Но слишкомъ былъ глубокъ родникъ твоей печали: Ты изнемогъ душой, правдивъйшій изъ насъ,—И струны порвались, рыданья отзвучали... Въ безвременье ты жилъ, безвременно угасъ... ... И творчество твое, и красота лица Въ одну гармонію слились съ твоей судьбою, И жребій твой похожъ, до страшнаго конца, На грустный вымыселъ, разсказанный тобою...

Грустный вымысель—это, быть можеть, все, созданное Гаршинымъ, а можеть быть, только "Красный цвътокъ". Но, въ сущности, это безразлично. Тамъ и здъсь — темы одинаково унылыя, настроеніе одинаково печальное и безнадежное. Тамъ и здъсь—отказъ отъ въры своего въка, отказъ мучительный, тамъ и здъсь — страстная жажда въры... хотя бы безумной, ведущей за собою смерть.

Гаршинъ былъ больной человъкъ, но, кажется, не надо уже слишкомъ подчеркивать это обстоятельство, потому что онъ зналъ и минуты полной ясности духа. Тогда онъ творилъ бережно и робко, недовърчиво относясь къ каждому своему слову. Быть можеть, его пугала глубина невърія п отчаянія собственнаго духа, и онъ не зналъ, можетъ ли, долженъ ли онъ, имъетъ ли онъ, наконецъ, право передать ее другимъ. На самомъ дълъ, что могь онъ сказать имъ, самъ подавленный огромностью жизненнаго зла? Прекрасно отвъчаетъ на этотъ вопросъ Успенскій:

"Жизнь не только не сулила Гаршину хотя бы мал'яйшаго движенія отъ глубоко сознаннаго зла къ чему-нибудь... да, хоть къ чему-нибудь лучшему, но, напротивъ, какъ бы окаменъла въ неподвижности, ожесточилась на 28*

Digitized by Google

малъйшія попытки не только хорошо думать, но и хорошо дълать. Изо дня въ день, изъ месяца въ месяцъ, изъ года въ годъ и целые годы, и целые десятки лать, каждое игновеніе, остановившаяся въ своемь теченін жизнь била по твиъ же самымъ ранамъ и язвамъ, какія давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Одинъ и тотъ же ежедневный "слугъ" — и всегда мрачный и тревожный, одинъ и тотъ же ударъ по одному и тому же больному місту, которому надобно зажить, поправиться, отдохнуть отъ страданія, ударь по серацу, которое просить добраго ощущенія, ударь по высли, жаждущей права жить, ударь по совести, которая хочеть ощущать себя. Песятками леть идеть какое-то безпрерывное, непрестанное, неумолнионастойчивое отталкивание человака оты малайшей попытки "поступить"воть что дала Гаршину жизнь после того, какъ онъ уже жгуче перестрадалъ ея горе. Немудрено после этого понять, что загипнотизированный окаментвиней на десятки лътъ дъйствительностью, подавленный неподвижностью грозныхъ вопросовъ жязни, онъ могъ, при обиліи мыслей о своихъ къ этой действительности обязанностяхь, потерять даже тень хотенья жить во имя желательнаго".

Жизнь пугала Гаршина, все, чего онъ хотълъ, воспитанный на лучшихъ началахъ ндеализма, представлялось ему недостижимымъ. Всъ герои его считаютъ себя, по шекспировскому выраженію, "пальцемъ отъ ноги". И естественно, что каждый его разсказъ пропитанъ ужасомъ передъ безсмысленностью, стихійностью, огромностью и неотвратимостью зла. Каждый разсказъ—сплоиное черное или кровавое пятно. Опять обращаюсь къ статъъ Успенскаго:

"Четыре дня", — говорить онъ, — ужасная драма, непостижниая ни совъстью, ни умомъ: убійство другь друга людьми, не имъющими къ этому ни тени надобности, - факть огромной важности, тяготьющій надъ всемъ человъчествомъ и обязывающій не выдълять его изъ общаго строя неправдъ. Думая о связи этого непонятнаго явленія жизни, есть отъ чего придти въ отчаније и есть отъ чего помутиться умомъ. А воть вамъ просто кочегаръ, котораго гакже общія явленія жизни терзають и молотомъ, и огнемъ, н бедностью, --- и опять весь строй жизии должень быть притянуть къ ответу за это терзаніе несправедливостью человіческаго существа. Точно такъ же весь строй жизни овладъваеть мыслью Гаршина, когда онъ пишеть о женщинъ легкаго поведенія, которая пришла къ необходимости броситься въ Неву, п тогда, когда онъ пишеть о человъкъ, который всю ночь борется съ необходимостью пустить себъ пулю въ лобъ и желаніемъ жить на свътъ. И такъ все въ томъ же родъ. Все это вокругъ насъ, все это обыкновенно, со встыть этимъ мы, большинство, слились, а еще большее большинство даже и не думало, что можно обо всемъ этомъ безпоконться. Но соберите

всё эти обыкновеннёйшіе сюжеты: война, самоубійство, каторжный трудъ невёдомому богу, невольный разврать, невольное убійство ближняго,— и вы увидите, что вся совокупность этихъ обыденныхъ явленій есть именно существеннёйшія язвы современнаго строя жизни, что за ними не видно хорошаго, что времени, возможности даже нёть выдёлить это хорошее изъ неотразимо действующихъ фактовъ зла. Нельзя не мучить себя сознаніемъ что все это страшный грёхъ человёка противъ человёка, и что этотъ ужасный грёхъ— наша жизнь, что мы привыкли жить среди него, что мы не можемъ не жить именно такъ, чтобы нашей страдающей отъ собственныхъ неправдъ душой не приносились эти безчисленныя жертвы".

Совъсть мучила Гаршина, но уже не за его общественное положеніе, а за огромность царящаго въ мір'в зла. Безбрежностью и могуществомъ этого зла онъ быль подавлень. Онъ не отказывается оть борьбы съ никъ, онъ требуеть этой борьбы во имя всего святого и чистаго, что есть въ душъ человека, но знаеть въ то же время, что эта борьба-безуміе, что неть снять распутать жизненных противоричій, воистину стихійных и грозныхъ и все растущихъ въ своемъ всемогуществъ. Гаршинъ--опять-таки признанный всемн главными представителями семидесятых годовь не только за своего, но даже за лучшаго изъ "своихъ" — прекрасно и глубоко понималъ силу исторін и безсиліе человіка и личности. Онъ даже доводиль эту мысль до крайности. "Ты идешь, -- говорить онъ въ разсказв "Трусъ", - вивств съ тысячами тебф подобных на край света, потому что исторіи понадобились твои физическія селы. Объ умственных забудь: он' никому не нужны. Что до того, что многіе годы ты воспитываль ихъ, готовился куда-то примінть ихъ? Огромному невіздомому тебіз организму, котораго ты составляещь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что ты можешь сделать противъ такого желанія, ты-палецъ отъ ноги?"... То же самое говорить и герой "Четырехъ дней", лежа на полъ сраженія возль убитаго ниъ турка: "За что я его убилъ? Онъ лежитъ здёсь мертвый, окровавленный. Зачемъ судьба пригнала его сюда? Кто онъ? Быть можеть, и у него, какъ и у меня, есть старая мать. Долго она будеть по вечерамь сидеть у крыльца своей мазанки да поглядывать на далекій стверт: не идеть ли ся ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ? А я? И я также... Я бы даже помънялся съ нимъ: онъ не слышитъ ничего, не чувствуеть ни боли отъ раны, ни жажды. Штыкъ вошелъ ему прямо въ сердце... Вотъ на мундирѣ большая, черная дыра, вокругъ нея кровь. Это сделаль я, — я не хотель этого"...

Каждый разсказъ, каждая сказка Гаршина—отрицаніе силы человъка. Только безумцы вступають въ борьбу, но они не побъждають. На эту тему написанъ "Красный цвътокъ" —самая сильная и глубокая вещь Гаршина и, виъстъ съ тъмъ, самая жестокая. Здъсь—высокое желаніе принести счастье

Digitized by Google

человъчеству, но это стремленіе живеть въ безнадежно-больной головъ и въ формъ больной иден. Сумасшедшій рветь цвъты мака, онъ думаеть, что въ красномъ цвъткъ живеть все зло міра, обагреннаго кровью, что этотъ цвътокъ надо сорвать и уничтожить и при этомъ отравиться его ядовитымъ дыханіемъ, чтобы погибнуть и умереть, "какъ честный боецъ". Онъ сорвалъ цвътокъ и умеръ. "Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цвътокъ, но рука закоченъла, и онъ унесъ свой трофей въ могилу". Зло же міра осталось попрежнему обагренное кровью, попрежнему торжествующее.

"Пессимнамъ", невъріе въ человъческія сплы, оскорбленная совъсть, подавленность духа, быть можеть, даже переломъ воли, на что намекаетъ въ своей стать в Успенскій—все это, конечно, есть и у Гаршина. Но онъ не весь еще въ этомъ, и это лишь путемъ какой-то иллюзіи дѣлало его близкимъ человѣкомъ дли людей его времени. На самомъ дѣлѣ, что могли сказать ему эти люди? Они могли лишь прочесть ему холодное нравоученіе въ родъ слъдующаго: "Мы хотъли бы только видѣть его болье бодрымъ, хотъли бы устранить преслъдующія его безнадежныя перспективы. И наша читательская любовь чего-нибудь да стоить въ этомъ отношсейе. Мы вѣдъ не безотчетно личною любовью любимъ: изъ любви Гаршинъ можетъ гочерпнуть въру и надежду". Холодныя и скучныя слова, и Гаршинъ отвътилъ на нихъ своею смертью. Никакой въры и надежды онъ питать не могъ.

Въ немъ, прежде всего, съ полной очевидностью выступаеть наружу болъзненная глубина психической жизни. Вся его психика -- сплошная рана, и довольно самаго ничтожнаго удара, чтобы заболёль, застрадаль весь человъкъ. Для него нътъ зла малаго и зла большого, онъ знаетъ лишь одно царящее ало, и этотъ пугающій призракъ всегда предъ его глазами. Это ночь, распростершая надъ нимъ свои черныя крылья. "Никакой трудъ не можетъ быть такъ тяжель, какъ трудъ писателя, -- говориль онъ, -- писатель страдаеть за всёхь, о комъ пишеть"-и за тысячи людей, распростертыхь на пол'в сраженія, и за разстр'влянных медв'вдей, и даже за раздавленных в ногою жуковъ и букашекъ, потому что для него все это тотъ же самый "Красный цвътокъ". Безграничная жалость ко всякому страданію виъ его разивровъ, условій, обстановки такъ же характерна для Гаршина, какъ и признание своего безсилія. Слишкомъ чуткое, больное сердце попало въ суровую обстановку и на всв уколы и удары могло отвъчать только стономъ. Онъ даже не искалъ утъшенія и въ мужикъ. Онъ не хотъль этого утьшенія, -- онъ хотьль лишь подвига, на который не могь отважиться, н смерти, --- хотълъ того же, чего и больной "Краснаго цвътка". Такая безграничная жалость -- смертельная бользнь духа, и Гаршинъ страдаль ею.

Науки онъ не зналъ, а то, что онъ зналъ изъ нея, представлялось ему

Digitized by Google

слишкомъ колоднымъ и безсердечнымъ. Съ мужикомъ онъ встретился, какъ съ солдатомъ, но эта встреча глубокаго впечатленія на него не произвела. хотя объ стороны поняли другь друга и полюбили. Онъ жилъ исключительно жизнью своего сердца, и все, чего онъ хотълъ бы дъйствительно хотъть, но не умълъ, можстъ быть выражено словомъ: диктатура сердцадиктатура полная, безусловная, безгранцчная. Не надо никакихъ формулъ, не надо никакой правды, ограниченной и ургазанной статьями и параграфами, не надо никакихъ укладовъ и строя жизни, больше всего не надо уступокъ неизбъжности и необходимости. Нужна лишь полная свобода сердцу, полный просторъ ему, чтобы оно своей безграничной любовью и безграничною жалостью излічило безграничность зла. Это уже не мечта поэта, это мечта безумца... или мечта техъ, далекихъ отъ насъ людей, которые будуть въ ужасъ и сиятенін ожидать последняго дня земли, обреченной на гибель. Это человъческое сердце, преисполненное жалости и состраданія, проникнутое любовью и всепрощеніемъ, лишь робко и трусливо заявляетъ о себъ, ежеминутно ощущая свою полную безпомощность. Оно живетъ лишь порывами, почти или совствъ не переходя въ дъйствіе. Оно встръчается съ преградами прямо непреодолнимия, оно мучится протяворъчемъ двухъ правдъ, напр., правды войны за свободу угнетеннаго народа или правды-"не убій"... и не знасть выхода и чувствуеть, что не можеть найти его, что этого выхода нътъ, и уходить въ себя, обиженное и трецещущее, готовое жалостью своей обнять весь мірь, но безсильное облегчить страданіе хотя бы маленькой букашки. И на помощь міру оно несеть лишь свои стоны и слезы, свою безграничную жалость, несеть стыдливо и совъстливо, - такъ же стыдливо и робко, какъ несла свою лепту вдовица...

С. Я. Надсонъ (1862—1887) превосходно дополняеть Гаршина и Новодворскаго. Но Надсонъ гораздо уже. Витсто безусловнаго и безнадежнаго отрицанія—у него лишь сомнітнія, лишь робкое желаніе отрицать. Однако мотивы тіз же самые, мотивы разсматриваемой мною драмы.

Онъ любить народъ, называеть его "апостоломъ труда и терпинья", но эта любовь не приносить ему покоя. Въ ней нить увиренности, и она слишкомъ заслоняется глубокимъ сознаниемъ личнаго своего безсилия. Это безсилие—источникъ его грусти. Онъ хотиль бы подвига и знаеть, "глубоко" знаеть, что не можеть совершить его. Этоть подвигь — такая же недосягаемая мечта, какъ "смилый и гордый стихъ". Вийсто подвига лишь быстро исчезающий въ тоски и невирии порывъ, носли котораго:

Твоя любовь казалась мнъ слъпой, Моя любовь—преступной мнъ казалась...



Конечно, неизл'ячным бол'язнь Надсона, — все равно, какъ такія же неизл'ячным бол'язнь Гаршина и Новодворскаго, сыграла огромную роль въ его жизни, но повторяю, не все же объясняется одною бол'язнью. Драматическій моменть эпохи, познававшей тщету своихъ усилій, зам'янявшей в'тру лишь жаждой в'тры, сказался зд'тсь не мен'те сильно. Подвигь великаго отрицанія оказался не подъ силу.

Но все же подвигь манилъ своимъ величіемъ и суровостью, своими требованіями самоотреченія,—манилъ, какъ смерть на полѣ битвы, хотя бы и проигранной уже. Онъ приказывалъ человъку признать незаконность и преступность личнаго счастья.

Однако манило и оно. Помните это превосходное стихотвореніе Надсона, гдё онъ выразиль всю слабость своего духа, всю свою жажду личной жизни и ея полноты въ ея борьб'є съ суровыми требованіями долга. Оно едва не заканчивается слезами:

> Я вчера еще радъ быль отречься отъ счастья, Я презръньемъ клеймилъ этихъ сытыхъ людей, Промънявшихъ туманы и холодъ ненастья На отраду и ласку весеннихъ лучей. Я твердилъ, что покуда на свътъ есть слезы И покуда царитъ непроглядная мгла Безконечно-постыдны заботы и грезы О теплъ и довольствъ родного угла. А сегодня -- сегодня весна золотая, Вся въ цвътахъ, и въ мое заглянула окно, И забилось усталое сердце, страдая, Что такъ бъдно за этимъ окномъ и темно... Милый взглядъ, мимолетнаго полный участья. Грусть въ прекрасныхъ чертахъ молодого лица-И безумно, мучительно хочется счастья, Женской ласки и слезъ, и любви безъ конпа!...

И совствить понятно, что все равно, какъ Гаршинъ весь вылился въ своемъ "Красномъ цвттктъ", такъ по той же причинъ, по тъмъ же мотнвамъ, Надсонъ создалъ своего Герострата—не пъснь торжествующей любви, а пъснь прекраснаго, даже въ безумін своемъ, подвига...

Гораздо глубже, иногда въ самую глубь д'вла, заглянулъ другой нашъ писатель, который лишь по какому-то случайному недоразуминию держится точно въ тини и не занимаеть по всимъ правамъ принадлежащаго ему высоваго м'вста. Я говорю, 'конечно, о Мамин'в-Сибиряк'в.

Д. Н. Маминъ-Сибирякъ (род. 1852 г.) — писатель съ совершенно опредъленнымъ философскимъ взглядомъ на коловращение су-

дебъ человъческихъ, и надо согласиться, что въ этомъ взглядъ очень мало отраднаго, вливающаго въру и утешение въ сердце человъческое, н еще меньше утопическаго. Маминъ — поэтъ съ большой изобразн-сколько лівнивое и чисто русское, любвеобильно обломовское (потому что н Илья Ильичъ красиво даже мечталъ о мирт всего міра) и измученное въ то же время всей этой ненужной, безсмысленной и непом'врно жестокой суетой человъческого существованія, -- любить отдыхать на жизни глухнуь угловъ, затерявшихся среди горъ и тайги, любить, по крайней ивръ, уходить туда, чтобы найти хоть что-нибудь истинно челов вческое, а не только химинческое и страшное. Можно было бы ждать, поведимому, иделлін, но ндидлін не для Манина, какъ и онъ не для нихъ. Чувству правды измівнеть онъ не можеть, проницательная наблюдательность не оставляеть его ни на минуту, и вотъ вивсто того, чтобы найти успокоение и порадовать читателя, онъ, какъ всегда, начинаетъ терзать и мучить его, потому что терзается самъ. Глухіе углы, обломки старой жизни съ каждымъ днемъ все дальше и глубже отходять въ область преданія: неть ихъ больше, и въ нихъ забрался хищникъ, развелъ свои костры, сжегъ на нихъ все древнее благополучіе, подкопался подъ устон, опрокинуль и растопталь ихъ, и водвориль свою колодную, жадную, кищническую жизнь. И приходится Мамину каждой страницей своей отм'бчать все новые усп'ехи хишника и очевидное разложение дорогой для него картины мирной и невидной, поэтическимъ вдохновеніемъ возводимой до святости, народной жизни.

Впечатлительности и чуткости у Мамина страшно иного, иного пониманія правды жизни, которую онъ не можеть не видіть, хотя и хотівль бы не видіть ея...

Въ нашей литературъ интересное изложение міросозерцанія Мамина сдівлаль г. Альбовъ. Я приведу это изложение, дополнивъ его нъкоторыми своими данными.

"Въ жизни господствуетъ не разумъ и ве воля людей, а слъпыя стихійныя силы. Изъ-за необозримыхъ рядовъ отдъльныхъ личностей, которыя кажутся какими-то живыми точками на жизненной сценъ, передъ глазами читателя вырисовывается иевидимая съть взанино перекрещивающихся и причудливо перепутанныхъ силъ, гигантская система невидимыхъ колесъ, шестерней, валовъ и приводовъ, которая связываетъ людей въ односложное цълое. Въ этой стихійной связи все обусловлено, все идетъ со страшной послъдовательностью и одно связано съ другимъ, какъ кольца желъзной цъпи. "Въ жизни,—говоритъ Маминъ,—всъ явленія и всъ люди связаны между собой невидимыми для глаза нитями. Эта внутренняя глубокая связь раскрывается только при исключительныхъ случаяхъ, когда только

обнаруживается внутренній остовъ этихъ отношеній". Добро и зло связаны другъ съ другомъ, какъ причина и следствіе, и наоборотъ. Самыя ценныя завоеванія ума, таланта, генія стоять дорогихь, ни въ чемъ неповинныхъ жертвъ; одно зло рождаетъ другое, это, въ свою очередь, покрывается третьимъ, одно служить другому. "Воть въ этой сочной травъ, подернутой утренней росой, съ виду такъ же тихо, какъ и въ воздухѣ, но сколько въ этоть моменть тамъ и здесь погибаеть живыхъ существованій, погибаеть безъ крика и стона, въ нъмыхъ конвульсіяхъ. Одна букашка душить другую, червякъ точить червяка, весело чирикающая птичка одинаково весело ъсть и букашку, и червяка, дълаясь въ свою очередь, добычей кошки или ястреба. Въ этомъ концертъ пожиранія другь друга творится тайна жизни". "Вся исторія человъчества создана на подобныхъ жертвахъ, подъ каждынъ благодъяніемъ цивилизаціи таятся тысячи и милліоны безвременно погибшихъ въ непосильной борьб'в существованій, каждый вершокъ земли, на которомъ мы живемъ, напоенъ кровью аборигеновъ и каждый глотокъ воздуха, каждая наша радость отравлена миріадами безвістныхъ страданій, о которыхъ позабыла исторія, которынъ мы не приберемъ названія и которыя каждый новый день хоровить мать-земля въ своихъ недрахъ". Но и сильный, и слабый являются одинаково жертвами стихійной связи вещей, жертвами взаимныхъ отношеній.

Отдельный человекъ--- ничтожная точка въ этой стихійной связи вещей, жалкій матеріаль въ рукахъ стихійныхъ силь, сліпое орудіе въ стихійномъ процесст развитія. Прошлое имтеть огромную власть надъ его судьбой. Жизнь течеть по руслу, вырытому покойниками. "Какая это ужасная мысль, что міръ управляется именно покойниками, которые заставляють насъжить опредъленнымъ образомъ, оставляють намъ свои правила морали, свои стремленія, чувства, мысли и даже покрой платья. Мы безсильны стряхнуть ст себя это иго мертвыхъ". Его настоящее — результатъ стихійныхъ силь, сталкивающихся, ослабляющихь и усиливающихь одна другую. "Есть роковыя силы, которыя заставляють человека делаться темь или другимь, и я увъренъ, что никакой преступникъ не думаеть о скамы подсудимыхъ, а тюремщикъ, который своимъ влючомъ замыкаетъ ему весь вольный бълый свёть, никогда не думаль быть тюремщикомъ". Съ этой точки эренія, "жизнь положительно страшная вещь". Нельзя сдівлать шагу, чтобы не натолкнуться на что-нибудь нензбіжное и безпощадное, какъ сама судьба, что властно вторгается въ челов'яческую жизнь; вопреки всякимъ расчетамъ и соображеніямъ, логикъ и разсудку. Длинный рядъ цъпляющихся другь за друга фактовъ, начало котораго скрывается въ глубине исторін, обложиль человтка желтанымъ кольцомъ, котораго онъ даже не нытался разорвать, потому что въ большинстве случаевъ не замечаетъ и не видить его, и

Digitized by Google

благодаря которому, онъ зайдеть въ такую трясину, гдѣ нѣтъ просвѣта и изъ которой нѣтъ выхода. Какая-то безпощадная и безжалостная рука властно распоряжается человѣческой судьбой и, вопреки всякимъ надеждамъ и планамъ, рисуетъ на ней своп собственные узоры. "Идешь туда, а глядишь, пришелъ совсѣмъ въ другое мѣсто, хочешь принести человѣку пользу, получается вредъ, любишь человѣка— платятъ ненавистью, хочешь исправиться — только глубже опускаешься". "Мы, какъ дѣти, утѣшаемся карточными домиками, а природа насъ хлопъ да хлопъ по носу". Нѣтъ ничего страннаго въ томъ, что этотъ слѣпой, стихійный характеръ развитія жизни отражается въ сознаніи людей, какъ дѣйствіе рока.

Если въ жизни господствують слепыя, стихійныя силы, а человекъигрушка этихъ силъ, то отсюда ясенъ выводъ: жизнь-прачная трагедія въ самыхъ основахъ своихъ, трагедія, въ которой нать виноватыхъ. Зло коренится въ условіяхъ жизни "не ниветь личной формы, а представляется чъмъ-то стихійнымъ, безразличнымъ и неуловимымъ". Оно не концентрируется въ какой-нибудь отдельной личности или классе общества оно въ самомъ стров вещей. За него никто исключительно не въ ответе, въ немъ никто исключительно не виновать. Всв одинаково виноваты и одинаково правы. Но есть же возмездіе за существующее зло, есть карающая рука. "Каждый день, — говоритъ Маминъ, — день итога, день день последняго ответа". Изъ круговой стихійной несправедливости ткется безконечная паутина человічнеской жизни. Но воть надъ этой паутиной пронеслось холодное дыханіе смерти. Зданіе, воздвигавіменся неимовърными усиліями въ продолженіе многихъ стольтій, готово рухнуть. Оно подгниваеть въ своихъ собственныхъ основаніяхъ. Являются вловъщіе признаки разложенія. Немезида вступаеть въ свои права, и ея мечъ поражаеть безъ разбора перваго встречнаго, часто совсемъ непричастнаго къ данному проявленію зла; вёдь всё люди служать жалкимъ матеріаломъ въ рукахъ слепыхъ стихійныхъ силь, строющихъ человеческое общество. Въ этихъ кризисахъ личной и общественной жизни выражается стихійное требованіе личной и общественной правды...

Основная, вдохновляющая идея Мамина, очевидно, выросла на почвъ перслома жизни подъ вліяніемъ новыхъ, мъщански-капиталистическихъ, культурныхъ условій. Живутъ себъ люди мирно и тихо среди извъстныхъ сложившихся и даже окаменъвшихъ устоевъ, которымъ, казалось бы, и навъки такими предназначено оставаться, и вдругъ налетаютъ на нихъ грозныя силы, въ видъ чугунки, капитала, новыхъ въяній, и въ мгновеніе ока отъ прежняго благополучія не остается и слъда. Наступаетъ моментъ шалости, тихіе начинаютъ буянить; звърь просыпается въ самыхъ благонадежныхъ, другіе каменъють, а среди невообразимаго хаоса и путаницы

начинають дымить фабричныя трубы, возникають винокуренные и иные заводы, пароходныя пристани, железнодорожныя станціи. Жизнь переворачивается вверхъ дномъ, и чумазый орудуеть, не смесотворный какой-инбудь чумазый, а могущественный, грозный и властный. Ничего не понимають люди стараго порядка и лишь въ недоумении спрашивають себя: да какъ же это такъ? Что за пестрыя, поражающія, исполненныя всякніъ катастрофъ и неожидянностей, картины вырисовывають на этомъ хаосъ, освъшенномъ заревомъ далекаго и страшнаго пожара-рубежъ двухъ эпохъ, двухъ "жизней". Совершая свои подвиги и безобразія по поверхности и все болъе убъждаясь въ своемъ могуществъ, капиталъ забирается и въ души дюлей. Съ особымъ, полнымъ меткой проницательности, искусствомъ Маминъ следить за проникновениет капитализма во все сферы человечесвой жизни, въ семью, въ область правовыхъ отношеній, въ нравы и понятія, въ науку и литературу. Его герои не ярлыки техъ или иныхъ экономических категорій, а живые люди съ разнообразной и сложной ценхической структурой. Захваченные стихійнымъ процессомъ-одии изънихъ легко и быстро приспособляются, другіе переживають внутренній мучительный процессъ разложенія прежняго духовнаго человъка и формированія новаго. Лишь немногіе остаются въ сторонъ".

Процессъ "капитализацін" общественныхъ отношеній является для Мамина, прежде всего, процессомъ ихъ разложенія. Это совершенно понятно и естественно, если припомнить, что капиталь, подвиги котораго онъ изображаеть, прежде всего хищинческій, безъ всякой миссін, кром'в сто на сто или двъсти на сто. На глазахъ у читателя горитъ подожженный съ заранъе обдуманнымъ намъреніемъ льсъ, на мъсть котораго, можеть быть, и будеть потомъ золотистая нива, --- а пока кромъ дыма и огня ничего не видно. И яркій, безпорядочный стиль Мамина, его воображеніе оченъ горячее, стремптельное, но и отрывочное п въ то же время, его настроеніе всегда нъсколько сумбурное, благодари иногииъ неръщеннымъ противоръчіямъ, какъ нельзя лучше приспособлено къ такого рода картинамъ. Маминъ, какъ и главный герой его произведеній-капиталъ-хищникъ, вообще не умъстъ владъть собой и своими огромными художественными силами. Онъ въ подчинении у своего необузданнаго, лишеннаго всякой мтры творчества, которому онъ даетъ полный просторъ. Картины столкновенія, перипетін страстей, комбинаціи сложивищнях психологических моментовъ возникають передъ нимъ съ такою быстротою и яркостью, что онъ и не думаетъ дорисовывать ихъ и часто бросаетъ начатое на полъ-дорогв. Точно онъ описываетъ ураганъ, вырывающій съ корнемъ візковые кедры, или землетрясение какое-нибудь. Слышенъ грозный шумъ, трескъ, и грохотъ; багрово-красное, точно налитое кровью, солнце съ пророческой угрозой

Digitized by Google

смотрить на бълную землю, всю въ цыли и обломкахъ, дрожащую отъ ужаса, залитую подземнымъ огнемъ, и страшно рвущуюся къ скоръйшей гибели, которая прекратила бы наконецъ эту ея муку, эту ея невыносимую пытку. А человъкъ? Самое печальное и даже пугающее-то, конечно, тто онъ, какъ существо мыслящее и волящее, тутъ совершенно не при чемъ, все происходить у него за спиной; онъ не видить ни завязки, ни развязки, драмы, ему выносится лишь приговоръ, не подчиниться которому онъ не можеть, и сумветь ли онъ подчиниться ему такъ, чтобы спасти хоть шкуру свою --- это уже его дело. И, въ конце концовъ, становится действительно страшно, потому что кромъ пыли и обломковъ вы ничего не видите, и самый запахъ гари одуряеть васъ. Повсюду обломки, и изъ-подъ нихъ слышатся стоны пришибленных и раздавленных людей или ликующіе возгласы техъ, кто успель уже нажиться и приспособиться. Хорошій, доброй души чедовъкъ--- Маминъ терзается особенно, когда приходится ему выводить на сцену ребятишекъ, со стихійной жестокостью брошенных въ общую свалку, и страшно и больно за нихъ, какъ вообще страшно и больно за человъка. Ну, а къ чему все это?.. А ни къ чему, --- отвъчаетъ Маминъ своей саркастической и мрачной рождественской фантазіей.

Туть больше, чемъ напуганность передъ капиталомъ-хищникомъ, туть чувствуется ужасъ, скорбь и безнадежность.

Реакціонная литература 60-хъ и 70-хъ годовъ.

Въ центръ ея надо поставить "Московскія Въдомости" Каткова, который однако не сразу разстался съ своимъ либерализмомъ. Только съ конца 60-хъ годовъ "Московскія Вѣдомости" приняли ту свою физіономію, которая является для нихъ наиболтье характерною и какъ бы присвоенною. Катковъ теперь ясно опредълнять свою задачу и этой задачей была борьба съ революціей во всехъ ея проявленіяхъ. Вольше -- Катковъ хотель предувозможность какого бы то ни было революціоннаго движенія, при чемъ слово революція понималась имъ въ самомъ шпрокомъ смысль. Подъ этимъ именемъ понимались: 1) стремленія окраннъ къ самостоятельности; 2) земскія начинанія и земская иниціатива; 3) хожденіе въ народъ и народнические идеалы вообще; 4) общественная самостоятельность. Въ концт концовъ, все не катковское, все не прямо и не непосредственно исходившее съ Страстного бульвара стало революціей и подвергалось преслъдованію "Московскихъ Въдомостей". Идеалъ Каткова, окончательно оформившійся, можеть быть выражень тремя словами-государственность, централизація и полицейская благонадежность. Во имя

государственности Катковъ боролся съ идеей 60-хъ годовъ, которая, какъ ны видели, сводилась нъ требованію общественной и личной самолентельности. Ту и другую онъ отрицаль въ корвъ, и земскія начинанія казались ему такими же отвратительными и незаконными, какъ и женская эмансипація, напримітръ. Польская интрига, проповідываль онъ, не замерда послѣ 1863 года. Она только спряталась. Не выступая на сцену лично, она продолжаеть действовать черезъ посредство русскихъ революціонеровъ. Ея рука видна въ студенческихъ безпорядкахъ прежде всего; она снабжаеть деньгами нашихъ нигилистовъ; она является постояннымъ ферментомъ недовольства. Русская революція--- это что-то наносное, внушенное, это желаніе маленькихъ людей нграть большую роль. Это результать невъжества, безобразнаго состоянія нашей школы, въ которой нътъ серьезной науки и серьезнаго преподаванія, гдъ учителя диберальничають ради синсканія популярности, а ученики бездільничають, занинаясь чёнъ угодно, только не прянынъ своинъ делонъ. Серьезную науку и серьезное преподаваніе нашей школы Катковъ хотьль дать путемъ введенія класенческой реформы, за которую онъ усиленно боролся съ либеральной прессой ("Голосъ", "Въстникъ Европы", "Современныя Извъстія" и т. д.), -- съ обществомъ и даже администраціей цізлыхь 7 літь. Эта классическая реформа, эти учителя-чехи, этотъ полицейскій режимъ школы должны были, по его мивнію, подразать революціи крылья. Къ тому же должно было вести обрустніе окраинъ, особенно стверо и юго-западныхъ, какими бы суровыми итрами оно ни сопровождалось. Въ этомъ случав все отступавшее отъ генералъ-губернаторской программы Муравьева, казалось ему послабленіемъ и заискиваніемъ передъ инородческими элементами. Не Россія должна считаться съ ними, а они должны считаться съ Россіей и нати ея путями. Но это возможно лишь въ томъ случать, если Россія возстановить основу своей жизни-твердую центральную власть, въ значительной степени расшатанную реформами 60-хъ годовъ. Эта твердая центральная власть должна безусловно избъгать какихъ бы то ни было уступокъ твиъ общественнымъ элементамъ, которые посягають на ея полноту. Истинная ея опора-коренное дворянство, такъ какъ бюрократія уже заражена либерализмомъ, особенно судебное відомство. Конечно, не о возстановленім крізпостного права мечталь Катковъ. Для этого онъ былъ слишкомъ уменъ, но онъ признавалъ, что реформы 60-хъ годовъ зашле слишкомъ далеко, что они разнуздали человъка, открыле ему совершенно неосуществимыя перспективы, а главное, вызвали къ жизни элементы, которые по своей некультурности должны были бы оставаться подъ спудомъ. Эти элементы разночницевъ, нигилистовъ, инородцевъ, всякаго рода эмансипаторовъ вообще. Ихъ необходимо водворить на

прежнее мѣсто жительства—внизу и дворянство своей тяжестью можетъ это сдѣлать. Но пусть дворянство въ томъ нли другомъ видѣ будетъ облечено властью, основы которой должны быть такія же, какъ у власти помѣщиковъ.

Реакціонная литература той или другой своей стороной примыкаеть къ его программъ.

"Въ романахъ реакціоннаго лагеря, — говоритъ А. М. Скабичевскій, — аристократическіе и дворянскіе классы рисуются въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ. Въ нихъ однихъ полагается залогъ спасенія расшатаннаго общества, поскольку они остаются върными исконнымъ, старо-русскимъ традиціямъ. Представители же движенія 60-хъ годовъ изображаются безшабашными отрицателями - нигилистами, которые отвергаютъ религію, семью, собственность, нагло смъются надъ всъмъ святымъ и завътнымъ и ради матеріальныхъ выгодъ готовы на всякое преступленіе.

"На первомъ планъ въ каждомъ реакціонномъ романъ рисуется герой-охранитель, — красивый, статный, съ изысканно-свътскими манерами и непремънно эстетикъ. Если онъ не князь и не графъ, то во всякомъ случав, принадлежитъ къ очень древнему роду. Характера онъ долженъ быть гордаго, непреклонно-твердаго, храбро-отважнаго, немного, пожалуй, вспыльчиваго. Онъ проникнутъ самыми благоразумными и спасительно - консервативными убъжденіями. Всъ силы его души стремятся къ борьбъ съ неправдою и зломъ, на охраненіе коренныхъ основъ религіи, нравственности, семьи, собственности и въ особенности окраинъ Россійской Имперіи.

"Еще до служебнаго поприща онъ начинаеть спасать отечество въ либеральной гостиной губернскаго города, разражаясь тирадами о паденіи современныхъ нравовъ, о томъ, что лягушки (т.-е. естествознаніе) никогда не могуть замънить того божественнаго упоенія, которое возбуждается сонатой Бетховена, сыгранной прекрасными пальчиками, и что наши предки тоже были скептиками, но скептицизмъ не мъшалъ имъ цънить изящное и любить родину больше жизни.

"Подобная рѣчь возбуждаеть смѣхъ въ легкомысленныхъ либералахъ, но чьи-нибудь глубокія синія очи затуманиваются тихой задумчивостью подъ обаяніемъ рѣчи героя и загораются живымъ участіемъ, когда герою, мимоходомъ, среди споровъ удается сбить съ толку отрицателя гимназиста или до такой степени сконфузить пана Бзексержинскаго, что панъ, схвативши конфедератку, быстро улепетываетъ, кипя злобой и объщаясь мстить герою до смерти.

"Затъмъ герой опредъляется на государственную или земскую службу въ качествъ мирового посредника, судебнаго слъдователя или чиновника особыхъ порученій при губернаторъ, и здъсь начинается уже серьезная борьба героя со зломъ, угрожающимъ основамъ и окраинамъ. Зло это представляется въ двоякомъ видъ: 1) въ видъ коварной польской интриги, осуществленной во образъ пана Баексержинскаго, который подъ

предлогомъ служенія отчизнів на самомъ ділів только и помышляєть. какъ бы ехидно отомстить герою романа за понесенную въ присутствін синеокой дъвы обиду; 2) въ видъ многоглавой гидры нигилизма, которая изображается въ романахъ не иначе, какъ панурговымъ стадомъ саврасовъ безъ узды, возмущающихъ крестьянъ, подсовывающихъ въ карманы героя возмутительныя прокламаціи, посягающихъ, наконецъ, на самую жизнь героя.-и все это подъ вліяніемъ все той же польской интриги. Въ борьбъ со всъми этими исчадіями ада герой бываеть оклеветанъ и попадаетъ подъ судъ; его отравляють, нъсколько разъ истекаеть онъ кровью отъранъ, но, въ концъ концовъ, выходить сухимъ изъ воды, побъдя и посрамя и польскую интригу, и панургово стадо нигилизма. Варіапіями служать современныя событія, которыя стоять на первомъ планъ. Если авторъ главное вниманіе обращаеть на польскую интригу, онъ посылаеть героя въ западный край геройствовать на славу; если же романисть напираеть на панургово стадо, то герой бдеть въ Петербургъ въ разгаръ движенія шестидесятыхъ годовъ и вращается адъсь въ студенческихъ, нигилистическихъ или литературныхъ кружкахъ; или же отправляется за гранцу, сталкивается тамъ съ русскими эмигрантами и на возвратномъ пути спасаетъ отъ гибели какого-нибудь юнца, выбросивши за борть парохода пукъ прокламацій, которыя юный спутникъ везъ неблагоразумно въ отечество.

"Въ перемежку между общественными подвигами идутъ любовныя приключенія героя, обладающаго, между прочимъ, и даромъ покорять женскія сердца. Женщины взацуски влюбляются въ него съ первой встръчи, и герой переживаеть три вида любви. Одна имъетъ игривый и скабрезный характеръ, предметомъ ея является или роскошная губернаторша, опутывающая героя чарами кокетства, или супруга закадычнаго друга, съ которой герой, не любящій осквернять чужихъ супружескихъ ложей, вовсе не предполагаетъ сходиться близко, но ему приходится ночевать съ ней въ двухъ смежныхъ комнатахъ, и неожиданно онъ дълается жертвою ея страстности. Другая любовь вспыхиваетъ внезапно, какъ ураганъ, доводить героя до высшаго экстаза страстности и повергаеть его въ крайнее изнеможение и нравственное ослъпление, это-любовь къ юной полькъ, сестръ пана Взексержинскаго, или къ россіянкъ, жаждущей широкаго простора жизни, уносящейся въ волны нигилизма и гибнущей кровавой смертью. Наконецъ, третья любовь, постепенно развивающаяся, неслышная, незамътная спачала, но впослъдстви самая глубокая, истинная и безконечная, это-любовь къ той синеокой дъвъ, которая, въ pendant герою, представляетъ собою типъ коренной русской женщины, стремящейся къ семейному очагу, свято охраняющей основы и неспособной къ мишурнымъ увлеченіямъ и легкомысленнымъ отрицаніямъ. Съ этой во всъхъ отношеніяхъ идеальный своей суженой герой почиваеть отъ всёхъ треволненій и, уставши охранять отечество собственной грудью, посвящаеть остатокъ дней воспитанію въ деревенской тиши новыхъ будущихъ охранителей.

"Къ этому ко всему слъдуетъ присоединить страсть изображать въ обольстительномъ свътъ великосвътскіе нравы, балы, рауты, придворные выходы и пріемы, парадные объды, пирушки золотой молодежи и пр.,

и пр.,—страсть, побудившая Достоевскаго, со словъ Ив. Панаева, обозвать писателей этого рода "коленкоровыхъ манишекъ безпощадными К)веналами".

Къ нашей реакціонной беллетристикъ часто причисляють "Вабаламученное море" Писемскаго, "Преступленіе и наказаніе" и "Бъсовъ" Постоевскаго, и даже "Обрывъ" Гончарова. Такое несомнънно остроумное открытіе исторія литературы должна однако счесть за простое недоразумініе. Дізло въ томъ, что все положительное, что есть въ указанныхъ произведеніяхъ, не имъетъ ничего общаго съ положительнымъ реакціонной беллетристики собственно. Ея положительное-это программа Каткова и дворянская идея, тогда какъ положительное, скажемъ, Достоевскаго тамъ, гдъ-то въ облакахъ и во всякомъ случаъ не имъетъ ничего общаго съ интересами оффиціальной, административной или дворянской Россіи. Эффекты реакціонной беллетристики нуждаются въ бубнахъ и литаврахъ, встрівчающих появленіе на сцену аристократических патріотовъ, въ свисткахъ и шиканьи, сопровождающихъ каждый шагъ и поступокъ нигилиста; ни Инсемскій, ни Гончаровъ, на темъ болье Достоевскій, ни въ чемъ подобномъ надобности не ощущають эти трое, какъ ни различны они, сами по себъ. Что такое нигилисть для Достоевскаго? Это, прежде всего, человъкъ, не върующій въ Бога, желающій, стремящійся преступить противъ заповъдей не только общественныхъ, но и божескихъ. Это человъкъ богомъ своимъ провозгласившій личный произволь и своеволіе (Кирилловъ въ "Въсахъ", Раскольниковъ и т. д.). Такъ это глубоко и мистично у Достоевскаго. У Инсенскаго и Гончарова проще и плоше. Но и они могли бы сказать многое противъ своеволія—и ни во что върующій Писемскій, и върующій въ медленную постепенную работу Гончаровъ, Особенно последній, который въ лице Тушина какъ бы отдаеть будущее Россін въ руки средненом встных работающих з дворянъ, дворянъ - земледъльцевъ. Интересы же реакціонной беллетристики часто сословные, оффиціальнные, особенно у Маркевича, Орловскаго (Головина) или Всев. Крестовскаго: не по своему отрицательному отношенію къ нигилистамъ реакціонна она, а по своей положительной, публицистической проповеди, по своей пропаганде еще более суженной Катковской программы.

В. П. Клюшниковъ (1841—1892 г.). Это все же не Маркевичъ п не Крестовскій. Въ извъстной степени идеалисть и эстетикъ, выросшій въ традиціяхъ сороковыхъ годовъ, онъ съ ужасомъ и отвращеніемъ от-

вернулся отъ движенія шестидесятыхъ. Ничего здороваго, буйно красиваго онъ въ немъ не нашелъ; нашелъ одно отвратительное, отталкивающее впечатлъніе, что и поторопился закръпить въ своемъ извъствомъ романъ "Марево", извъстномъ, впрочемъ, не столько по художественнымъ своимъ достоинствамъ, сколько по сокрушающей юношеской критикъ Писарева. Писаревъ, какъ дважды два доказалъ, что всъ герои "Марево" люди очень ограниченные, даже болъе, чъмъ ограниченные, и что причиной всъхъ бъдъ, постигающихъ ихъ, является ихъ собственное ничтожество. Но зато у нихъ много претензій, и больше всего претензій у героини Нины, которая, послъ долгихъ попсковъ "правды" въ движеніи 60-хъ годовъ, пришла къ такому вотъ выводу:

"Годъ тому назадъ я сошлась съ людьми, которые казались миъ поборниками правды, добра, свободы, всего, не потерявшаго для меня и до сихъ поръ своего истиннаго смысла. Теперь я вижу насквозь эту горсть честолюбцевъ, жадно рвущихъ другъ у друга власть, какъ стая коршуновъ тащитъ другъ у друга изъ клюва требуху дохлой скотины. Я видъла эту знаменитую борьбу, въ которой свобода народовъ — звучный предлогь для возвышенія однихъ тирановъ на счеть другихъ: я знаю всь ихъ средства къ достиженію цели самой низкой, прикрытой маской національности. Я стояла лицомъ къ лицу съ тъмъ самымъ народомъ, съ которымъ они заигрывали до поры до времени. Это было послъднею гирею на колеблющіеся въсы... Нъть словъ выразить презрънія, нътъ мърки для непависти, которыя почувствовала я къ нимъ. Я съ ужасомъ отвернулась назадъ... Тамъ, за мною осталась Върочка, сперва творившая себъ потъху изъ науки, а потомъ заигравшая въ революцію; тамъ былъ Ваня, сразу принявшійся за разрушеніе троновъ; тамъ, наконецъ, накопилась мелюзга, уже въ сравнени съ которой эти дъти казались гигантами... Я осталась одна на своей призрачной высоть, изломанная, искальченная, безъ всякой охоты къ жизпи, безъ всякой въры въ будущность..."

Надо отдать Клюшникову полную справедливость: онъ пишеть совершенно искрение, совершенно искрение не умъсть онъ отдълить пшеницы отъ плевелъ, совершенно искрение видить онъ только одно временное, случайное и часто дъйствительно безобразное въ эпохъ нашего возрожденія. Онъ не различиль того глубокаго и прекраснаго, что танлось въ ней: Мелочи, въ родъ самодовольства, самообольщенія, умственной наглости "нигилистовъ", заслонили отъ него горизонтъ и онъ, повторяю, поторопился съ своимъ приговоромъ. Къ нему отнеслись жестоко, онъ сталъ притчей во языцъхъ, сталъ посмъщищемъ передового лагери, тъмъ болъе, что его положительные типы, на самомъ дълъ, производять довольно смъхотворное впечатлъніе: они низменны, несмотря на весь свой патріотизмъ.

Н. С. Лъсковъ (1831—1895). Лъсковъ—натура страстная, экспансивная и озлобленная. "Нигилистовъ" онъ преслъдовалъ съ какимъ-то ожесточеніемъ въ своихъ романахъ "Некуда" и "На ножахъ", отчасти въ "Соборянахъ". Это, разумъется, нисколько не мъшаетъ ему быть однимъ изъ крупныхъ художественныхъ дарованій, ярко выдвинувшихъ религіозную проблему русскаго духа. Но въ то же время это очень неуравновъшенное дарованіе, часто падавшее до степени второ- и третьестепеннаго дарованія и лишь изръдка возвышавшееся до созданія глубокихъ, върующихъ типовъ.

Лично мит Лисковъ представляется писателемъ съ большимъ, нетеритливымъ самолюбіемъ, зачастую очень неискреннямъ и такимъ, который часто всь свои усилія устремляль на то, чтобы выделиться чемъ-нибудь и прослыть оригинальнымъ. Но у него не было идеи, не было опредъленнаго отношенія къ жизни, и онъ то и дело бежаль за темъ, что въ данную минуту объщало ему усивхъ, попадая при этомъ въ большинствъ случаевъ въ просакъ, потому что говорилъ онъ не отъ себя, а отъ своего мстительнаго раздраженія противъ либераловъ. Его литературная карьера началась очень скверно---статьями, въ которыхъ опъ, ничуть не сочувствуя женскому эмансипаціонному движенію, -- что впосл'ядствіи и высказалъ совершенно откровенно, -- заигрывалъ съ нимъ однако, понимая все его могущество и даже властность его, и другими подобными же статьями хоть и по инымъ вопросамъ. Но случился съ нимъ въ это же время, т. е. въ началь 60-ыхъ годовъ, именно въ 62-омъ году, и еще худшій эппзодъ,ръзкій и возмущающій. Въ Петербургъ происходили пожары. Полиція сбилась съ ногъ, такъ какъ бъдствіе принимало прямо-таки стихійные размъры. Обыватели окончательно растерялись. Лъсковъ выступилъ тогда со своими "разоблаченіями" въ "Стверной Пчелть" и среди общаго тревожнаго настроенія, которое искало себ' не только выхода, но и жертвъ для отищенія, заговориль о поджогахь и поджигателяхь, о прокламаціяхь, о студентахъ и, наконецъ, прямо обвинилъ въ пожарахъ "неизвъстную коалицію изъ нізицевъ", преслідующую ціли грабежа! Иные называють это безтактностью. Неть, туть что-то худшее, гораздо худшее, и надо припомнить, съ какимъ возмущениет возстала на Лъскова вси печать, съ какимъ негодованіемъ производились выдержки изъ его статей. И послѣ этого эпизода Лъсковъ разошелся съ либеральной журналистикой, — върнъе, со всёми порядочными людьми. Онъ озлобияся послё этихъ неудачныхъ дебютовъ и, нисколько не думая взять хоть часть вины на себя, весь ущелъ въ раздраженное самолюбіе, въ жажду мести. Онъ сталъ преслідовать "нигилистовъ", и тогда уже, когда нигилисты свою роль сыграли и подверглись другимъ более серьезнымъ преследованиямъ. Въ результате такого настроенія явились знаменитые романы: "Некуда" и "На ножахъ". Посрамленію нигилистовъ, самому пошлому, разнузданному посрамленію уже лежащихъ людей, отведена и большая часть романа "Соборяне"— несомивно лучшаго наъ произведеній Ліскова. Реакціонный и "консервативный" лагерь,—что въ тъ дни (начало 70-хъ годовъ) значило то же самое, послужилъ ему литературнымъ пристанищемъ. Но онъ понималъ, что здесь рядомъ не только съ Катковымъ и Леонтьевымъ, но даже Болеславомъ Маркевичемъ онъ не можетъ играть никакой роли. А ему нужна была роль, прежде всего роль, потому что этоть человъкъ самъ въ своихъ собственныхъ глазахъ наполнялъ собою все бытіе, былъ выше всего окружающаго, не признаваль никого и ничего. Онъ завидоваль всякому усптку и отъ своей злобной раздраженной зависти Лъсковъ не могъ отдълаться до конца дней своихъ. Ему страстно хотелось видеть крушение враговъ своихъ,-людей передового лагеря, -- но тъ стояли твердо, хотя бы только въ общественномъ мибнін. Пользуясь умственной сумятицей восьмидесятыхъ годовъ, онъ изръдка сталъ печататься въ ихъ органахъ. Но это было ему не на пользу. Луховное одиночество можеть воспитать и закалить только сильную душу. Душа слабая и себялюбивая, съ узкимъ горизонтомъ, становится еще меньше, еще мелочите отъ нанесенной ей обиды, которая, какъ проказа, расползается по всему ея существу, не оставляя, въ концъ концовъ, ни единаго живого м'еста, не отравленнаго заразой. Такъ случилось и съ Лъсковымъ. Его художественный талантъ сталъ проявляться очень и очень ръдко. Часто являлась поддълка подъ художество. Онъ создаль тоть невозможный вычурный стиль, ту лубочную подделку подъ языкъ древнихъ сказаній, который характеризуеть произведенія последнихь леть его жизви, — эти плохо, но съ претензіей на остроуміе разсказанные анекдоты, полные смакующаго сладострастія, безсильной, но голодной чувственности. Этотъ стиль Ліскова-- прямо позоръ нашей литературы и нашего языка. Напр., обрушиваясь на "цыбастыхъ" женщинъ, онъ увтряетъ, что настоящая женщина должна быть "пон'вдристве", "потвльнее и помясистве". Настоящія женщины -- это славянскія красавицы, у которыхъ "носина не горбылемъ, а все будто пипочкой; но этакая пипочка, она, какъ вамъ угодно, въ семейномъ быту гораздо поуветливее... "Или на одной только странице одного изъ разсказовъ Лъскова г. Вольнскій отметиль такія воть слова: "вздрючка", "взгефантулка", "пришпандорка", "изутіе", "изутіе сапога", "выгонъ на ять-голубей гонять" -- и такую вотъ образдовую фразу: "это нигдъ не писано закономъ, но преданіемъ блюдется до такой степени чинно и безспорно, что когда съ упразднениемъ выволочки и изутия, вошелъ въ обычай болье сообразный съ мягкостью въка-выгонъ на ять голубей гонять, то чины не обманулись, и это м'вропріятіе ими прямо было отнесено къ самой тяжелой категоріи, т. е. къ взгефантулкъ... Это уже паясничество, это полная прострація не только языка, но и писательства, нбо туть все непристойность.

Но все же художественныя заслуги Лъскова несомитины. Къ нимъ относятся иткоторыя главы изъ "Соборянъ", немногіе разсказы. Талантъ Лъскова вообще говоря, чаще зналъ паденіе, чтых подъемъ.

Всев. Крестовскій (1840—1895). Его романъ "Петербургскія трушобы" извъстенъ всей читающей Россіи. Въ немъ какъ бы закончено то, о чемъ мечталъ и что началъ Помяловскій въ своихъ наброскахъ "Брата и сестры" -- дана полная сравнительно и поражающая до ужаса картина жизни пербургской нищеты и петербургскихъ вертеповъ. Здъсь впервые явилась она передъ читателемъ оголенной, ничъмъ не прикрашенной, безнадежной и пугающей. Это настоящій дантовскій адъ, настоящее позоряще, нбо большаго паденія человъческаго невозножно себъ и представить. Въ протпвоположность отверженнымъ, Крестовскій выводить кружокъ хищныхъ аристократовъ, но эти последние обрисованы безъ всякаго таланта, по шаблону французскихъ бульварныхъ романовъ, гдъ элодъй всъмъ существомъ своимъ просится на гильотину. Зато, повторяю, описание вертеповъ, несмотря на очевидно сгущенныя краски и въ одномъ фокусъ собранные эффекты, способно заставить наши волосы подняться дыбомъ, и что особенно страшно-это очевидная невозможность возрожденія ни одной нзъ жертвъ петербургскихъ трущобъ, до того насквозь пропиталась она ихъ мівзмами, ихъ гнилью, алькоголизмомъ

Остальныя произведенія Крестовскаго ("Панургово стадо", "Двѣ силы", "Тьма Египетская") направлены къ посрамленію "нигилистовъ" въ частности, движенія 60-хъ годовъ вообще. Заглавіе "Нанургово стадо" особенно характерно для автора. Мелочно и злобно относится онъ къ описываемой имъ жизни, онъ видить въ ней что-то стадное, нельпое, прыжки барановъ въ море за прыжкомъ перваго барана. Такъ что нѣтъ ничего удивительнаго, если нѣсколько лѣтъ спустя Вс. Крестовскій ивился во главъ "Варшавскаго дневника", принявшаго при немъ оффиціально - обрусительный характеръ.

Б. Маркевичъ (1822—1884) г. Въ произведеніяхъ Маркевича и Орловскаго катковская программа и дворянская идея торжествують, отличаясь то нанвнымъ, то грубымъ, то озлобленнымъ характеромъ. Изъ произведеній Маркевича особенно читались: "Четверть въка назадъ", "Переломъ и бездна". Дъйствіе ихъ происходитъ въ великосвътскомъ кругу, ко-

торый для Маркевича являлся воплощением всякаго совершенства. Положительные герон—непременно титулованные—отличаются изяществомъ вкуса и манеръ, а также заботами о благ Россіи. Жизнь, въ конце концовъ, увенчиваеть ихъ служебными лаврами и награждаеть любовью красивыхъ и милыхъ женщинъ. Отрицательные герои изъ разночинцевъ полны зависти, злобы, тщеславія; они грубы, невежественны и оказываются посрамленными. Ничего искренняго въ ихъ душе, кроме привязанности къ рублю и самой низкой трусости.

Къ "школъ" Маркевича принадлежатъ В. Г. Авсъенко и Орловскій (К. Головинъ). Но, во-первыхъ, они оба гораздо талантливъе, а во-вторыхъ, искреннъе. Маркевичъ зналъ только два цвъта— обълый и черный, при чемъ обълымъ въ его глазахъ являлось все титулованное, важно-чиновное, родовитое, а чернымъ— все разночниное. Авсъенко и Орловскій разнообразнъе. Они не щадятъ и высокопоставленныхъ лицъ, когда того требуетъ художественная правда. Наибольшія свои надежды въ дълъ исцъленія русской жизни оба они возлагаютъ, повидимому, на среднее дворянство, которое должно понять, въ концъ концовъ, что его спасеніе въ землъ, въ работъ надъ землею, въ заботъ о ней и о благосостояніи крестьянъ. Эти послъдніе должны возстановить правственный престижъ дворянства въ глазахъ народа.

Какъ видить читатель, наша консервативно-реакціонная литература очень мала и слаба. Только одно дъйствительно крупное и вліятельное ими можеть она выставить изъ своихъ рядовъ-это имя М. Н. Каткова. Но я уже говориль выше, что это крупное имя, но не крупный человъкъ, не крупный характеръ, --- а лишь, если можно такъ выразиться, проницательный следователь по особо важнымъ деламъ. Но все же его иден по своей определенности и прямолинейности, по элементарности своего содержанія могли служить и действительно служили пищей для многихъ, такъ или иначе разсорившихся съ движеніемъ 60-хъ годовъ. Но все же это характерно- одинъ Катковъ, только Катковъ, какъ литературный представитель оффиціальной народности, защитникъ ея основъ-властный, требовательный и непреклонный. Катковъ и никого больше или рядъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ беллетристовъ и публицистовъ, кормившихся крохами съ его стола. Вотъ нашъ консерватизмъ безъ юродства, мистики, консерватизмъ, какъ политическая доктрина. Юродствующій консерватизмъ имълъ и имъетъ другихъ представителей, напр., Аскоченскаго, киязя Мещерскаго, Грингмута и т. д. Но съ нимъ не считались никогда и теперь не считаются. Надъ нимъ подсмънваются въ собственномъ лагеръ. Это не Катковъ.

Тотъ зналъ, чего хотълъ, нао дня въ день въ течение 25-ти лѣтъ онъ билъ въ ту же точку, стараясь ввести человѣка и общество въ рамку полицейской благонадежности, злобно набрасываясь на всякое проявление общественной самостоятельности и самодѣятельности. Но онъ, повторяю, одинъ, одинъ какъ вѣкій столпъ среди пустыни. Есть ли у нашихъ консерваторовъ и реакціонеровъ идеи? убѣжденія? талантливо ли они пишутъ? Знаютъ ли чего хотятъ? Что защищаютъ? Есть ли у нихъ идеалъ? На все одинъ отвѣтъ— да, Миханлъ Никифоровичъ Катковъ.

Толстой и Достоевскій.

Эти двое самые, быть можеть, крупные и глубокіе изъ всёхъ русскихъ писателей, конечно, ни въ какое десятильтие не войдуть. Своими вопросами объ отношеній человіка къ Богу, о смыслів жизни, о конечной цівли нашихъ стремленій они создали своеобразное теченіе русской мысли, которому было бы трудно подыскать другое названіе, кром'в религіознаго. Но пережитое нами въ 60-ые и 70-ые годы все же особенно ръзко отразилось на ихъ духовной физіономіи. Реформы 60-ыхъ годовъ, упразднившія патріархально-государственный строй и патріархальные уклады жизни, выдвинули въ первую голову вопросъ о личности. Личный разумъ, личная воля, личная въра и личное невъріе стали фактомъ, съ которымъ пришлось считаться. Въ произведеніяхъ Толстого и Достоевскаго личность, отдъленное человъческое "я", стремится выръшить всъ вопросы, связанные съ ея бытіемъ, какъ отдельной и самостоятельной, вис государства, церкви и преданій стоящей сущности. И какъ это характерно и естественно даже для насъ русскихъ людей съ нашей глубоко практичной и этической наклонностью ума, личность Толстого и Достоевского всв свои исканія и вопросы сосредоточила на одномъ: "что и во имя чего надо дълать?"

Л. Н. Толстой (род. 1828). Большая часть художественных произведеній Толстого—это геніальная літопись жизни нашего стараго родовитаго барства—его Иліада и Одиссея. Если Тургеневь — поэть лишних людей, красивых и талантливых, но ненужных представителей дворянской среды, то Толстой—поэть людей сильных и крыпких, которыми держалась дворянская жизнь. Онъ страстно любить эту жизнь, близкую къ природі и народу, —любить въ ея хозяйственной работі и ея отдыхі, ея развлеченіяхь и забавахь, ея горестяхь, въ ея педерости и ея домостроительстві.

Въ такихъ типахъ, какъ Николай Ростовъ или его сестра Наташа, онъ воплотилъ все устойчивое и положительное, что было создано тою обстановкой и чъмъ она держалась "твердо и нерушино". Но уже въ Андреъ Болконскомъ и Безуховъ онъ намътилъ необходимые элементы ея разложенія.

Рядомъ съ барской была жизнь народная. Самъ вышедшій изъ родовитой среды, Толстой почти всю жизнь промучился надъ противоръчемъ между бариномъ и мужикомъ, особенно послъ того, какъ ему пришлось побывать на севастопольских бастіонахъ. Туть онъ научился уважать пиростыхъ" людей, великихъ въ своемъ смиренномъ и молчаливомъ героизмъ. Онъ поняль, что чемъ-то онъ обязань перель инми, и вскоре, въ началь 60-хъ годовъ, находясь еще весь во власти теоріи совершенствованія, онъ принялся учить крестьянскихъ дътей въ своей яснополянской школъ. Но это ученіе быстро прівлось ему, какъ барская затвя, и онъ занялся свонии хозяйственными и интеллигентными делами. Только все же ни литературой, ни домашнимъ счастьемъ, ни великой славой, ни полнымъ успъхомъ во всёхъ делахъ не могь онъ вытравить изъ души своей какого-то стыда, какой то совъстливости за свое прявилегированное положение. И вотъ настала минута, когда этотъ стыдъ и совъстливость всецьло овладели его душой, когда онъ сталъ мечтать о самоубійстве, о раздаче ниенія, когда онъ захотьль стать мужикомъ, какъ всв мужнки вокругь него, когда онъ отрекся отъ своего художества и предалъ анаосмъ начку и искусство.

Въ этой личной драмѣ Толстого — всѣ мотивы, пережитые нашей интеллигенціей въ отношеніи къ народу. Сначала спокойное пользованіе дарами судьбы и чужимъ трудомъ крѣпостныхъ, потомъ уваженіе къ этой "округлой", гармонической жизни мужика и его смиренному геронзму, какое-то смутное пониманіе, что тревоги интеллигентнаго сердца могутъ прекратиться, лишь когда оно проникнется стихійнымъ міросозерцанісмъ народа, потомъ желаніе 60-хъ годовъ "учить" мужика, до себя поднять его, и наконепъ упреки совъсти за свое привилегированное положеніе и стремленіе учиться у народа правдѣ его трудовой жизни.

Барпнъ и мужикъ—вотъ основное противоръчіе. Какъ и въ чемъ примирить его? Толстой всю жизнь искалъ этого примиренія и не нашелъ, потому что примирить—значить въ этомъ случать разръшить всть сомитнія нашей прошлой исторіи. Толстой былъ то бариномъ-мужикомъ, то мужикомъ-бариномъ и лишь въ редкія минуты однимъ чтить-нибудь. Стихійно влекла его къ себть барская жизнь, въ обстановкть которой цталые втака жили его предки, стихійно влекла его къ себть и мужицкая жизнь, чъя красота постоянно "металась" ему въ глаза, чьей правды онъ не могъ не

признать. И онъ сталъ на распутъи, не разрѣшивъ ни одного изъ своихъ сомиѣній, но собравъ въ своей личной жизни всѣ исканія русскаго прошлаго—исканія осмысленнаго и правдиваго "бытія". Онъ-—великій мечтатель, каждый новый день увлекающійся новымъ идеаломъ во пмя голоса своей непримирниой совѣсти и неудовлетвореннаго представленія о правдѣ личной жизни и общественныхъ отношеній.

Проследить отношение Толстого къ мужику значить проследить всю исторію его духовнаго развитія. Это потребовало бы целаго трактата. Ограничусь лишь кое-чемь, что мие представляется существеннымь. Несомиенно, что мужицкая жизнь, ея потребности и устои были въ теченіе очень и очень долгаго времени темъ критеріумомъ, съ какимъ Толстой относился къ нашей наукъ, нашему искусству, нашей культуръ вообще, заставляя его метать на нихъ громы и молнін. Несомнінню, затімь, что основныя посылки нашего народничества и народодюбія Толстой со свойственной ему прямолинейностью довель до ихъ последнихъ, логическихъ выводовъ. Онъ говорилъ: если интеллигентная жизнь лжива въ самой сущности своей, если мужицкая жизнь имъеть свое незапятнанное святая святыхъ, если трудъ крестынина, ограниченность его потребностей дъйствительно обезпечивають не только спокойствіе, но и чистоту, святость совъсти-то надо опроститься, надо стать мужикомъ. Въ этой формуль нашла истинное свое рышение великая драма, великое столкновеніе между бариномъ п мужикомъ, болъе полустольтія разыгрывавшаяся въ нашей духовной жизни. Эта формула Толстого явилась въ дни тяжелаго, сумрачнаго разочарованія въ успішности нашихъ интеллигентныхъ усилій. Люди шли на съть идеала опрощенія; умственная работа была признана не только безполезной, но и вредной. Работа головой представлялась въ образъ умственнаго человъка, считающаго лбомъ и затылкомъ ступени при паденіи съ лестинцы. Все плюды просвітщенія" сводились къ ученому педантизму, къ полной правственной распущенности, къ увлеченію всякой модной глупостью, какимъ-нибудь новымъ "намомъ", хотя бы то былъ спиритизиъ.

Присмотримся поближе къ тому, какъ Толстой критиковалъ культуру съ мужицкой, или казавшейся ему мужицкой, точки зрѣнія.

Въ знаменитой пьесъ Толстого "Плоды просвъщенія" горвичная Таня, простая деревенская дівнушка, играеть въ отношеніи учености совершенно такую же роль, какую сыграль 100 літь тому назадь Фигаро въ отношеніи напыщеннаго и самодовольнаго дворянства. Въ ея лиці здоровый смысль и не испорченная примитивная натура побіждають "просвіщеніе", и то, бідное, посрамленное и оплеванное, уходить со сцены. Въ конців

концовъ, Толстой предложилъ намъ совершенно отказаться отъ культуры. Культура и развратъ стали для него синонпиами, все равно въ чемъ бы ни выражалась эта культура—въ спиритизмѣ, правственной распущенности или музыкѣ Бетховена. Заставляя насъ забывать о человъкѣ, забывать о своихъ естественныхъ потребностяхъ—работы, здоровья, общенія съ людьми, правственнаго совершенствованія— она создаетъ лишь потребности искусственныя, потребности раздраженныхъ и пресыщенныхъ нервовъ, которые все равно, какъ нервы морфиномана или алкоголика, дъйствительно насытиться и успоконться не могутъ никогда.

Что даетъ намъ наука? Отвъчая на тысячи и тысячи мелкихъ вопросовъ, удовлетворяя нашу пустую любознательность, она заставляетъ насъ забывать о тъхъ въчныхъ вопросахъ, которые наиболъе дороги для человъка. Говоря о химическомъ составъ звъздъ небесныхъ, она не говоритъ ни слова о смыслъ жизни; возбуждая пустое любопытство людей и поддерживая интересъ къ себъ своими будто бы важными и важнъйшими открытіями, она закрываетъ, на самомъ дълъ, роковую и страшную, одинаково роковую и страшную для всъхъ большихъ и малыхъ, слабыхъ и сильныхъ, богатыхъ и бъдныхъ загадку жизни и смерти. Но даже не въ этомъ ея первое зло. Первое ея зло точно такъ же, какъ и первое зло искусства, заключается въ томъ, что она служитъ лишь интересамъ богатыхъ и сильныхъ и, подчиняя себъ природу, отдаетъ ее во власть этимъ богатымъ и сильнымъ людямъ, обезпечивая ихъ праздность...

Впрочемъ, на взглядахъ Толстого, высказанныхъ имъ въ стать "Что такое искусство", надо остановиться подробите. Превосходно пзлагаетъ ихъ, между прочимъ г. Шестовъ:

"Толстой разсказываеть о томъ, какъ ему однажды пришлось присутствовать на репетиціи плохой оперы. По этому поводу онъ дъласть расчеты, сколько должна была стоить эта пельпая затья. Оказывается что очень дорого. Затъмъ опъ сообщаетъ, что капельмейстеръ грубо бранилъ хористовъ и статистовъ, что хористки были неприлично обнажены, а танцовщицы дълали сладострастныя движенія. Огромные расходы на постановку дурныхъ произведеній искусства и безобразное отношеніе старшихъ къ младшимъ, безправнымъ сотрудникамъ по общему делу, возводятся гр. Толстымъ въ правило и предъявляются къ искусству вообще, какъ первый тяжелый и серьезный обвинительный пунктъ. Что могутъ отвътить на это составители драмъ и симфоній? "Хорошо было бы, если бы художники все свое дъло дълали сами, а то имъ всъмъ нужна помощь рабочихъ не только для производства искусства, но и для ихъ большей частью роскошнаго существовація, и, такъ или иначе, они получають ее или въ видъ платы отъ богатыхъ людей. или въ видъ субсидій отъ правительства, которыя милліонами даются имъ на театры, консерваторіи, академіи. Деньги же эти собираются съ

народа, который никогда не пользуется тъми эстетическими наслажденіями, которыя даетъ искусство". Въ этомъ исходная точка зрънія Толстого; искусство стоить огромныхъ денегъ, деньги собираются съ народа, народъ же благами, приносимыми искусствомъ, не пользуется. Сверхъ того, подъ видомъ искусства, намъ преподносятъ множество всякихъ глупостей и гадостей, подобныхъ той оперъ, на репетиціи которой присутствовалъ гр. Толстой, во имя искусства одни люди оскорбляютъ человъческое достоинство другихъ. Возникаетъ вопросъ: дъйствительно ли искусство такое важное дъло, чтобы изъ-за него приносить подобныя жертвы? Не лучше ли совсъмъ отказаться отъ искусства, а затрачиваемыя на него силы и средства употребить на что-нибудь другое—хотя бы на народное образованіе, о которомъ такъ мало заботятся? Такъ поставлень вопросъ гр. Толстымъ.

"Едва ли кто-нибудь изъ его читателей не угадалъ въ самомъ началь книжки отвъта. Народъ такъ дорого расплачивается за искусство и не пользуется имъ. Развъ можетъ быть сомнъніе въ томъ, что такое положеніе вещей грубо, возмутительно, несправедливо? Богатые люди, у которыхъ все есть, идутъ къ бъднымъ и отнимаютъ у нихъ необходимыя не только на образованіе, но и на пропитаніе средства, чтобы устраивать театры, концерты, выставки. Развъ во время голода въ большихъ городахъ прекратились спектакли, развъ богатые отказались отъ эстетическихъ наслажденій, чтобы помочь несчастнымъ ближнимъ? Въ справедливости такого вопроса, повидимому, не можетъ быть сомнѣнія".

И его нътъ, — говоритъ Толстой. — Истинная наука и истинное искусство, — учитъ онъ дальше, — должны преслъдовать только религіозныя цъли. Современная наука и современное искусство преслъдуютъ цъли ничтожныя и похотливыя.

Толстой заканчиваеть превосходнымъ афоризмомъ:

"Искусство - - это то средство, которымъ люди передаютъ чувства другъ другу; искусство законно только при томъ условіи, если оно передаетъ чувства, полезныя цъли общества, какой является взаимная любовь людей, иначе говоря, если оно переводитъ религіозныя понятія изъ области разума въ область чувства при томъ предположеніи, что религіозныя понятія означаютъ человъческое братство".

Вотъ истины, которымъ, между прочимъ, мужикъ научилъ Толстого:

1) Основная идея жизни-идея религіозная.

"Какъ ни храбрись, — говоритъ Толстой, — привилегированная наука съ философіей, увъряя, что она ръшительница и руководительница умовъ, она не руководительница, а слуга. Міросозерцаніе всегда дано ей религіей готовое, и наука только работаетъ на пути, указанномъ ей религіей. Религія открываетъ смыслъ жизни людей, а наука прилагаетъ этотъ смыслъ къ различнымъ сторонамъ жизни".

Ту же самую мысль онъ повторяетъ постоянно. Напр.:

"Философія, наука, общественное мити говорять: ученіе Христа неисполнимо потому, что жизнь человтка зависить пе оть одного свыта разума, которымъ онъ можетъ освътить самую эту жизнь, а отъ общихъ законовъ, и потому не надо освъщать эту жизнь разумомъ и жить согласно ему, а надо жить какъ живется, твердо въруя, что по законамъ прогресса, историческаго, соціологическаго и другихъ, послъ того, какъ мы очень долго будемъ жить дурно, наша жизнь сдълается сама собой очень хорошей..."

Такіе нападки на науку п презрительный тонъ по адресу законовъ "историческихъ", "соціологическихъ" и другихъ не должны удивлять насъ. Наука никогда ничего не могла дать Толстому, потому что искалъ онъ въ ней успокоенія своей привилегированной совъсти.

2) Религіозная идея практична, т. е. ведеть человъка не къ созерцанію, а къ дъятельности, поступкамъ. Она даеть человъку правила жизни п прежде всего выводить его изъ заколдованнаго круга личнаго эгонзма.

Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Графъ Толстой рышительно это отрицаетъ.

"Всъ гъ безчисленныя дъла, которыя мы дълаемъ для себя, въ будущемъ не нужны; все это обманъ. Которымъ мы сами обманываемъ себя. Притчей о виноградаряхъ Христосъ разъясняетъ этотъ источникъ заблужденія людей..., заставляющаго ихъ принимать призракъ живни, свою личную жизнь, за жизнь истипную. Люди, живя въ хозяйскомъ обработанномъ саду, вообразили, что они собственники этого сада. И изъ этого ложнаго представленія вытекаетъ рядъ безумныхъ и жестокихъ поступковъ, кончающихся ихъ изгнаніемъ, исключеніемъ изъ жизни; точно такъ же мы вообразили себъ, что жизнь каждаго изъ насъ есть наша личная собственность, что мы имъемъ право на нее и можемъ пользоваться ею какъ хотимъ, ни передъ къмъ не имъя никакихъ обязательствъ. По ученію Христа люди должны "понимать и чувствовать", что со дня рожденія и до смерти они всегда въ неоплатномъ долгу передъ къмъ-то, передъ жившими до нихъ и передъ живущими и имъющими жить, и передъ тъмъ, что оыло и есть и будетъ началомъ всего".

Нѣсколькими строками ниже Толстой говоритъ и понятнѣе: "жизнь истинная есть только та, которая продолжаетъ жизнь прошедшую, содъйствуетъ благу жизни современной и благу жизни будущей".

Толстой вообше не устаетъ называть личную жизнь призракомъ—призрачной, откуда совершенно естественно вытекаетъ выводъ, что истинная жизнь можетъ быть основана лишь на отречени отъ себя для служения людямъ.

3) Современное ученіє міра противортчить ученію Христа. Толстой постоянно возвращается къ этой мысли и, надо согласиться. въ этомъ сила его ученія.

Онъ шелъ какъ-то по Москвѣ и увидѣлъ сторожа, грубо отгонявшаго нищаго отъ воротъ, гдѣ нищимъ стоять было воспрещено. "Евангеліе чи-

таль? — спросиль сторожа Толстой. "Читаль". — "А читаль: "и кто накоринть голоднаго?.." Я указаль ему это ивсто. Онь зналь его, выслушаль. И я видель, что онь смущень. Ему, видно, больно было чувствовать, что онь, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народь оттуда, откуда велено гонять, вдругь оказался неправь. Онь быль смущень и видимо искаль отговорки. Вдругь въ умныхь черныхь глазахь его блеснуль светь; онь повернулся ко мит бокомь, какъ бы уходя. "А нашь уставь читаль? — спросиль онь. Я сказаль, что не читаль. "Такъ и не говори", — сказаль сторожь, тряхнувъ побъдоносно головой и, запахнувъ тулупъ, молодецки пошель къ своему мъсту. Это быль единственный человъкъ во всей моей жизни, строго логически разръшившій тоть въчный вопрось, который при нашемъ общественномъ строть стояль передо мною и стоить передъ каждымъ, называющимъ себя христіаниномъ".

Ученіе Христа построено на любви и братств'є, наша жизнь на сил'є. Сильный преобладаеть надъ слабымъ, ученый надъ глупымъ, богатый надъ б'єднымъ, талантливый надъ безталаннымъ.

Что же дълать? Прежде всего одуматься и спросить себя: приносить ли мнв счастье та самая жизнь, на которую я трачу всв свои силы? Двухъ ответовъ на этотъ вопросъ, по словамъ Толстого, быть не можетъ. Мы живемъ по ученію міра, думаємъ о накопленіи богатствъ, о превосходствъ надъ другими, о галантномъ воспитаніи дѣтей своихъ, хлопочемъ, безпокоимся, мучаемся и все это изъ-за чего? Изъ-за такихъ пустыхъ вещей, какъ чтобы жить какъ люди, или чтобы не жить хуже другихъ людей. Толстой одумался и пришелъ къ тому выводу, что: "въ своей исключительно въ мірскомъ смыслів счастливой жизни я наберу страданій, понесенныхъ иною во имя ученія міра, столько, что ихъ стало бы на хорошаго мученика во имя Христа. Всв самыя тяжелыя минуты моей жизни, начиная отъ студенческаго пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и техъ неестественныхъ и мучительныхъ условій жизни, въ которыхъ я живу теперь, --- все это есть мученичество во имя ученія міра. Да, я говорю про свою, еще исключительно счастливую въ мірскомъ смыслів, жизнь. Мы не видимъ всей трудности и опасности исполненія ученія міра, только потому, что мы считаемъ, что все, что мы переносимъ для него, необходимо".

"Пройдите по большой толить людей, особенно городскихъ, и вглядитесь въ эти истомленныя тревожныя лица, и потомъ вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вамъ удалось узнать: вспомните вст тъ насильственныя смерти, вст тъ самоубійства, о которыхъ вамъ довелось слышать, и спросите: во имя чего вст эти страданія, отчаяніе и горе, приводящія къ самоубійствамъ?"

Отвътъ Толстого простъ; иы -- мученики ученія міра. Оно, противоположное ученію Христа, ведеть нась къ братоубійственной борьбь, алобь, ненависти, ожесточенному одиночеству. Оно заставляеть насъ желать гибели ближняго и опускаеть руку, протянутую на помощь ему. Оно ставить для нашей д'аятельности ненужныя и пустыя ц'али, преследуя которыя, мы совершенно забываемъ объ истинномъ смыслѣ жизни. И это забвеніе не проходить даромъ: мы расплачиваемся за него преступленіями, самоубійствами, тяжелымъ и постояннымъ чувствомъ недовольства и неудовлетворенности. Гонясь за призраками мірскихъ идеаловъ, мы ощущаемъ лишь пустоту и утомленіе. Въ нашей жизни нізть счастливых в людей. "Поищите, -- говорить Толстой, -- между этими людьми и найдите оть бъдняка до богача человъка, которому бы хватало то, что онъ зарабатываеть, на то, что онъ считаетъ нужнымъ, необходимымъ по ученію міра, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякій бьется изо всёхъ силъ. чтобы пріобръсти то, что не нужно для него, но что требуется отъ него ученіемъ міра и отсутствіе чего онъ считаеть для себя несчастіемъ. И какъ только онъ пріобрететь то, что требуется отъ него, потребуется еще другое и еще другое, и такъ безъ конца идеть эта сизифова работа, губящая жизнь людей".

Итакъ, виновато "ученіе міра", и виновато прежде всего потому, что никогда, ни при какихъ усиліяхъ не обезпечиваетъ человѣку счастья. Преступленія и самоубійства, разрывныя бомбы и казни, чума и неурожан, бунты и драки—вотъ, повидимому, тотъ матеріалъ, которымъ наполняется наше ежедневное существованіе. Изрѣдка выступаетъ на сцену какой-нибудь "отрадный фактъ", такой микроскоппческій, что сравнительно съ окружающимъ его зломъ онъ представляется камешкомъ, катящимся по крутизнѣ Казбека, и робкимъ блескомъ фонаря передъ темнотой пропасти, куда не достигаютъ даже лучи солнца. Гдѣ же тутъ говорить о счастьѣ?

4) Въ отвътъ на вопросъ что же дѣлать? какъ остаться чистымъ среди жизненной грязи, какъ быть нравственнымъ среди безнравственныхъ, правдивымъ среди лжи, христіаниномъ среди торжествующаго ученія міра, какъ добиться гармоніи между словомъ и дѣломъ, убѣжденіями и жизнью—
Толстой выставляетъ передъ нами идеалъ мужицкой трудовой жизни.

"На вопросъ, что нужно дълать?—пишетъ гр. Толстой, - явился самый несомнъный отвътъ: прежде всего, что мнъ самому нужно—мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я самъ могу сдълать... На вопросъ, нужно ли организовать этотъ физическій трудъ, устроить сообщество въ деревнъ на землъ, — оказалось, что все это не нужно, ибо человъкъ, трудящійся самъ собой, естественно, примыкаетъ къ существующему сообществу людей трудящихся. На вопросъ о томъ

не поглотить ли этоть трудъ всего моего времени и не лишить ли меня возможности той умственной дъятельности, которую я люблю, къ которой привыкъ и которую въ минуты самомнънія считаю небезполезною другимъ, отвътъ получился самый неожиданный. Энергія умственной дъятельности усилилась и равномърно усиливалась, освобождаясь отъ всего излишняго, по мъръ напряженія тълеснаго. Оказалось, что, отдавъ на физическій трудъ восемь часовъ,—ту половину дня, которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ усиліяхъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часовъ".

Истинное, къ чему нужно стремиться — это солидарность со всъми, всъмъ міромъ и человъчествомъ въ своей работь, это жизнь только на счетъ своего труда безъ малъйшей тьии эксплуатаціи другихъ, это полное неучастие во всъхъ тъхъ отправленіяхъ жизни, которыя такъ или иначе связаны съ насиліемъ надъ ближнимъ и эксплуатаціей его. Въ томъ, что совъсть Толстого ни съ чъмъ подобнымъ не мирится, главный источникъ его идеализма. Онъ дъйствительно идеалистъ, но идеалисть земли, для котораго вопросъ о человъческомъ счастъъ — первый вопросъ. Поэтому онъ такъ, повторяю, практиченъ.

Источниковъ идеализма Толстого два:

- 1) религіозность,
- 2) неудовлетворенная совъсть.

Изъ всего того, что написалъ Вогюз о Толстовъ—а онъ написалъ очень много умнаго, — мнѣ больше всего правится одно, блестяще развитое французскимъ критикомъ: "За всѣмъ, что изображено Толстымъ, — говоритъ Вогюз, — чувствуется присутствіе чего-то огромнаго, страшнаго, таинственнаго"... Это присутствіе чего-то огромнаго, страшнаго, таинственнаго поражаетъ французскаго критика, но оно не должно поражать насъ, русскихъ читателей, потому что Толстого мы узнали послѣ Гоголя, Достоевскаго и—хотълось бы прибавить — Лермонтова. Это что-то огромное, страшное таинственное есть загадка человъческой жизни, вопросъ объ ем смыслъ.

Позволю себ'в привести изъ "Войны и Мпра" страницу, которую справедливо считають характеритишей для пониманія Толстого. Воть эта страница:

"Только выпивъ бутылку или двѣ вина, Пьеръ смутно сознавалъ, что тоть запутанный, страшный узелъ жизни, который ужасалъ его прежде, не такъ страшенъ, какъ ему казалось. Съ шумомъ въ головѣ, болтая, слушая разговоры или читая послѣ объда и ужина, онъ безпрестанно видълъ этотъ узелъ какою-вибудь стороной его. Но только подъ вліяніемъ вина онъ говорилъ себѣ: "Это ничего. Это я распутаю—вотъ у меня и готово объясненіе. Но теперь некогда,—я послѣ обдумаю все это". Но это послѣ никогда не наступало.

"Натощакъ, поутру, вст прежніе вопросы представлялись столь же неразрѣшимыми и страшными, и Пьеръ торошливо хватался за квигу и радовался, когда кто-нибудь приходиль къ нему.

"Иногда Пьеръ всиоминалъ о слышанномъ имъ разсказѣ о томъ, какъ на войнѣ солдаты, находясь подъ выстрѣлами, старательно изыскивають себѣ занятіе, для того, чтобы легче переносить опасности. И Пьеру всѣ люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: "кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами. Нѣтъ ни ничтожнаго, ни важнаго, все равно: только бы спастись отъ нея, какъ умѣю", думалъ Пьеръ.—Только бы не видѣть ее, эту страшную ее".

"Только бы не видіть ее". Да разві драма жизни Толстого не въ этомъ восклицаній? Разві не приходилось ему десятки, сотни разъ завидовать людямъ, у которыхъ на все готовыя формулы, на все готовыя меню—на об'єдъ и ужинъ, на любовь и бракъ, на радость и горе, на умъ и глупость?.. Всю долгую жизнь смотріла на Толстого смерть своими страшными глазами, всю долгую жизнь виліть онъ передъ собой таинственную пропасть візности. Онъ сказаль недавно объ Аміэліть воть что:

"Впродолженій всіхх 30-ти лість своего дневника онъ чувствуєть то, то мы всі: такъ старательно забываемъ,—то, что мы всі: приговорены къ смерти, и казнь наша только отсрочена. И отъ этого-то такъ искренна, серьезна и полезна эта книга".

Да, страхъ смерти, страхъ передъ той страной, откуда никто не возвращался—такова красная нить жизни Толстого. Онъ искалъ забвенія въ карточной игрѣ, въ кутежахъ, въ поцѣлуяхъ любимой женщины, въ низведеніи человѣческой личности, а значить и себя самого, къ дифференціалу, т. е. безконечно малой величинѣ исторіи, въ религіозномъ и нравственномъ резонерствѣ и... что же онъ нашелъ? Спокойствіе духа... Изъ-за этого не стоило хлопотать такъ долго, не стоило такъ много страдать... Противопоставьте все то, что говорилъ Толстой о знаменитыхъ упряжкахъ, общемъ благѣ, общемъ счастъѣ и пр., раскрытой могилѣ, гдѣ скроются и упряжки, и физическій трудъ, и семейное счастье, и общее счастье—и вы получите тотъ самый нуль, съ котораго началъ гр. Толстой.

·Но это исканіе и есть источникъ идеализма Толстого. Ему, какъ живому человъку, нуженъ Богъ, во имя котораго можно даже уничтожить себя. Онъ искалъ Бога всю жизнь и нашелъ его наконецъ на Голгофъ. Этотъ Богъ--любовь, самоотреченіе.

Чтобы тебя не было—воть единственный путь человъческаго счастья. Возьми семью н уйди въ ся жизнь. Такъ сдълалъ Левинъ. Возьми народъ

и уйди въ его жизнь. Такъ сдёлалъ самъ Толстой. Возьми любовь и претвори въ ней свой эгонзмъ—такъ сдёлалъ опять-таки самъ Толстой. Только чтобы тебя не было, не было бы твоей требовательной, себялюбивой личности, иначе—страхъ смерти, невозможность примириться со смертью...

Какъ и Достоевскому, религіозная проблема всегда представлялась Толстому наиваживйшей. Какъ онъ самъ, такъ и всв его герои, заняты прежде всего исканіемъ Бога. Андрей Болконскій и Безухій въ "Войнъ и Миръ", Левинъ въ "Аннъ Карениной",—десятки другихъ лицъ, несмотря на всю внышнюю счастливую обстановку, постоянно ощущаютъ какую-то неудовлетворенность, отравляющую имъ лучшія минуты. Оттого-то Толстой, несмотря на свою огромную художественную память, никогда не могъ унизиться до протокола... Надъляя главныхъ своихъ дъйствующихъ лицъ муками невърующей души, ставя ихъ то и дъло съ глазу на глазъ съ загадкой жизни, Толстой этимъ самымъ то и дъло задаетъ себъ и ръшаетъ нравственнорелигіозные вопросы.

Въ отвътахъ, которые онъ даетъ, можно замътить всегда одну характерную особенность. Толстой практиченъ. Его тянетъ къ работъ, къ дъягельности. Изъ религіи онъ, прежде всего, извлекаетъ ея дъйственный элементь. Вопросъ о смыслъ жизни то и дъло подмъняется у него вопросомъ: "что же миъ дълать?.."

Вопросъ о смыслѣ жизни, какъ о своей нравственной удовлетворенности, всю жизнь тревожилъ Толстого. Ни этого смысла, ни этой удовлетворенности не могъ онъ найти въ фактахъ нашей матеріальной культуры, осно ванной на порабощеніи человѣка человѣкомъ.

Толстой—этоть огромный, стихійный разумъ—лишь зло промолчить на изложеніе культурныхъ начатковъ. Все то, что онъ знаеть о современной культурной жизни, все, что онъ можсето знать о ней, вызываеть въ немъ одно могучее, дивное по своей непримиримости:

"— Это не то... Это вы оставьте..."

Толстой въ ссоръ съ нашей культурой, потому что она всей своей тяжестью и своими приличіями, и своими жестокостями лежить на его совостии. Объективной критики культуры онъ не даваль никогда, даже разбирая вопросъ о роли и значеніи денегь. Онъ и не нуждается въ этой критикъ; для него совершенно достаточно знать и чувствовать, что онъ самъ недоволенъ, что онъ не знаетъ покоя. Вст его усилія какъ теперь, такъ и раньше были направлены къ тому, чтобы достигнуть душевнаго равновъсія, и во имя этого равновъсія создавалась теорія за теоріею, одна грандіознъе, одна смълье другой. Что эта работа великаго духа еще не

закончена—я полагаю, знаеть всякій; что, быть можеть, она и совсемъ не закончится — это тоже въроятно, потому что не въ своемъ личномъ гръхъ ищеть утъшенія и искупленія Толстой, а въ гръхъ всей прошлой культуры, всей прежней исторіи. Онъ — кающійся дворянниъ въ самомъ чистомъ и высокомъ его выраженіи, и насколько вообще психологія кающагося дворянна, сознавшаго неправоту своего привилегированнаго положенія, привлекаеть его вниманіе и какія мучительныя задачи ставить она передъ нимъ, вы видите столько же изъ "Исповъди", сколько и изъ послъдняго романа "Воскресеніе" — этой величавой эпопен пробудившейся совъсти. Но "Воскресеніе" — этой величавой эпопен пробудившейся совъсти. Но "Воскресеніе" — это конецъ. Съ самаго начала своей дъятельности Толстой поставилъ себъ вопросъ о причинахъ зла и страданій культурной жизни и такъ или иначе старался отвътить на него. Отвъты получались иногда неожиданно жестокіе: они были какъ бы оправданіемъ зла, какъ бы признаніемъ его необходимости, и это мы видимъ, заглянувъ въ "Войну и Миръ" или "Анну Каренину".

Но воть во время московской переписи Толстой столкнулся съ босяками и нищими ночлежныхъ домовъ. Совъсть заговорила громко и властно, и опять пришлось пересмотръть всъ свои взгляды на доброе и злое въ жизни. Воть до чего доходило дъло:

"И прежде, —пишетъ Толстой въ "Мысляхъ", вызванныхъ переписью въ Москвъ, — чуждая мнъ и странная городская жизнь, теперь опротивъла мнъ такъ, что всъ радости роскошной жизни, которыя прежде мнъ казались радостями, стали для меня мученіемъ. И какъ я ни старался найти въ своей душъ хоть какія-нибудь оправданія нашей жизни, я не могъ бязъ раздраженія видъть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытаго стола, ни экипажа, сытаго кучера и лошадей, ни магазиновъ театровъ, собраній. Я не могъ не видъть рядомъ съ этимъ голодныхъ. холодныхъ и униженныхъ жителей ляпинскаго дома".

Для меня, по крайней и рв, несомивно, что, несмотря на свои 50 слишкомъ лътъ и уже всемірную славу, авторъ "Войны и Мира" и "Анны Кареняной" увидълъ для себя и вчто новое. Мит кажется, что это-то и есть одна изъ особенностей барской психики, красной нитью проходящая, между прочимъ, въ исторіи перерожденіи князя Нехлюдова (героя "Воскресенія")—что тамъ, въ этой чуждой для насъ обстановкъ, мърка героизма и необычнаго—какая-то совершенно другая. Надъть на себя полушубокъ и въ немъ пройтись по московскимъ улицамъ—это героизмъ, не сдълать визита и вообще не дълать визитовъ—тоже героизмъ, заняться физическимъ трудомъ—подвигъ, увидътъ старуху, которая два дня ничего не та потому, что "прежде была распутная, а теперь никто не беретъ, и взять неоткуда"— значитъ увидътъ и вчто необычайное и т. д. Оттого-то, въроятно, психологія кающагося дворянина всегда до такой стелени экспансивна, потому что, на самомъ

дълъ, стоитъ ему лишь немного уклониться отъ условностей и обычаевъ своего круга, вынуть хоть одинъ камень изъ тщательно возведеннаго зданія привычной жизни, какъ вся его жизнь превращается въ рядъ для него воистину героическихъ дъяній: сегодня онъ не принялъ душа, завтра потът въ сухомятку, потомъ не спалъ всю ночь, потомъ перемънилъ объле не три, а два раза въ сутки, потомъ, какъ тотъ же князь Нехлюдовъ, выдержалъ борьбу съ насъкомыми, — и что удивительнаго, если въ душу его,
въ концъ концовъ, западаетъ мысль, что онъ герой, что его подвиги
самопожертвованія ндутъ рука объ руку съ самолюбованіемъ, отъ котораго
онъ не можетъ отдълаться, какъ бы ни хотълъ того?

Въ ляпинскомъ дом'в Толстой увиделъ нечто для себя действительно новое и необычайное. Впечативніе было огромное, потрясающее, потому что о существованін чего-нибудь подобнаго Толстой раньше и не подозрізвалъ. Въ Севастопольскую кампанію онъ видълъ, конечно, страданія н лишенія еще, пожалуй, большія, но тамъ они являлись въ ореол'в героическихъ поступковъ; видълъ онъ и хроническое недоъдание въ деревиъ, но въ нашей деревив умбють голодать съ достоинствомъ, по крайней мврв, съ кротостью. Здъсь же-въ ляпинскомъ домъ-медленное, тоскливое умираніе, разврать в грязь, ожесточенныя проклятія, люди, доведенные до образа и подобія вв'єрей. Т'ємъ мучительнісе всталь передъ Толстымъ вопросъ о привилегіяхъ его собственной жизин. "Я, самъ не замъчая того, -- разсказываеть онъ, --- со слезами въ голост кричалъ и махалъ на своего пріятеля. Я кричаль: "такъ нельзя жить, нельзя такъ жить, нельзя!" Но потомъ всв ему стали говорить, что онъ волнуется такъ не потому, что виденное имъ зредище — ужасно, а лишь потому, что "самъ онъ очень добрый и хорошій челов'єкъ". И эти разговоры уб'єдили его: "Я охотно повериль этому. И не успель оглянуться, какъ виесто чувства упрека и раскаянія, которое я испытываль сначала, во мить было чувство довольства своею добродътелью и желаніе высказать ее людямь".

Сейчась же послѣ переписи онъ занялся благотворительностью. Это успоканвало совѣсть, это подтверждало его мысль о себѣ, что онъ очень "хорошій и добрый человѣкъ", это доставляло ему много пріятныхъ минуть. Когда онъ голодающей старухѣ, бывшей проституткѣ, далъ рубль. то, говорить онъ: "Я помню, что очень былъ радъ, что другіе видъли это"...

Въ Толстомъ есть откровенность и наивность генія, но генія, выросчиаго въ экзотическомъ, барскомъ кругу и въ теченіе всей своей жизни часто мучительно, часто безплодно, но всегда съ порывомъ огромной искренности старающагося освободиться отъ внушенныхъ обстановкой впечатлічній дітства, отрочества, юности и дальше того — зрілыхъ літь. Это

Digitized by Google

борьба титана съ путами, борьба жестовая и упорная, но я и теперь еще не берусь сказать, кто побъдилъ—духъ ли, рвущійся къ полной свободъ и независимости, или эти внушенныя впечатлънія, эти пережитки въковыхъ условностей, эта экзотическая психологія, принимающая простую одежду и появленіе въ гостяхъ безъ галстуха за какой-то героизиъ, а голую, неприкрытую ничъмъ, кромъ босяцкаго цинизма, нищету за что-то необычайное.

Но какъ бы то ни было, Толстой старался утихомирить свою взволнованную совъсть благотворительностью. Скоро однако онъ убъдился, что помочь беденив нельзя и что даже не надо имв помогать. Конець этой исторін изв'єстенъ: Толстой бросиль московскихь б'єдныхъ, потому что, какъ онъ подробно сбъясняеть, имъ нельзя было помочь. Онъ кой-кому изъ нихъ даваль деньги --- и разъ, и два, и три раза, и давалъ столько, сколько по ихъ собственнымъ расчетамъ нужно было, чтобы стать на ноги, -- но все это ни къ чему не повело. Ни одного изъ нихъ Толстому че удалось спасти. Тогда онъ убхалъ въ свою деревию, чтобъ на досугв разобраться въ своихъ впечатл'вніяхъ и найти выходъ изъ тяжелаго положенія. А положеніе было дійствительно ужасное. Слова, которыми опредівляль Толстой свое настроеніе: "такъ нельзя жить", показывають намъ, — если его разсказы о московской бъднотъ и не произвели на насъ должнаго впечатленія, --- какъ онъ самъ отнесся къ обнажившимся передъ нимъ язвамъ столичной жизни. И точно, какъ можеть такой человикъ, какъ Толстой, жить, если на ряду съ нимъ существують обитатели ночлежныхъ домовъ? Хорошо темъ, которые някогда не открывали глазъ на эти ужасы. Но какъ быть тому, кто ихъ видель, кто ихъ не можеть забыть. не хочеть, не должевъ забыть? Можно ли ихъ забыть?

Убћ цившись (слишкомъ, впрочемъ, скоро) въ безполезности и ненужности филантропіи, Толстой рішилъ начать съ самого себя и въ своей жизни упразднить всі потребности и ту обстановку, и ті условія, которыя, какъ нічто общепринятое и практикуемое тысячами привилегированныхъ людей, создають босячество и пролетаріать. Біздняки и пропойцы ночлежныхъ домовъ внушили Толстому мысль, что для изліченія зла жизни надо, прежде всего, излічить самого себя, что внішняя неправда неизбіжна при существованіи неправды внутренней, что, въ конці концовъ, надо начинать съ самихъ себя, безъ чего тщетны и ничтожны будуть всі попытки общественнаго переустройства и если поведуть къ чему, то разві къ созданію новаго рабства взамінъ нынішняго. Вполні есгественно и даже неизбіжно для Толстого, какъ кающагося дворянина, какъ человіка съ юности носившаго въ себі сознаніе трагическаго противорічія между барниомъ и мужикомъ, привилегированнымъ и непривилегированнымъ, было обратиться къ старпку Акиму и въ его жизни пскать указаній.

Совъсть великаго писателя, возмущенная безобразіями и неправдой культуры, нашла свое усповоеніе въ подобів крестьянской жизни. Съ этой поры онъ не разстается съ мыслью о долгь передъ народомъ, о необходимости расплаты съ нимъ и въ каждомъ вопросъ онъ старается встать на мужицкую будто бы общинную точку зрънія. Критикуя современное яскусство, Толстой говоритъ между прочимъ:

"Нынче въдь куда ни пойди—въ книжный магазивъ, въ посудный, ювелирный — вездъ искусство. И не какое-пибудь любительское искусство, а патентованное, съ дипломами и золотыми медалями. Пойдите въ театръ—тамъ опять искусство: какая-нибудь госпожа ноги выше головы задираетъ. И эта гадкая глупость не только не считается неприличнымъ дъломъ, а, напротивъ, возводится въ нъчто первосортное и настолько важное для людей, что этому спорту отводится въ газетахъ даже постоянное мъсто, на-ряду съ величайшими міровыми событіями. Нъкоторые органы печати имъютъ еще для этого и постоянныхъ цънителей, которые часто ночью, прямо изъ театра, ъдутъ въ типографію и тамъ немедленно, при грохоть машинъ, пишуть свои впечатльнія, поспъшая, дабы міръ заутра могъ уже знать, какъ именно вчера такая-то госпожа въ такомъ-то театръ ноги вверхъ задирала".

Недовольство рѣзкое, полное и есть верховный принципъ этого недовольства:

"Да, мы ъдимъ, пьемъ, одъваемся и наслаждаемся. Мы рисуемъ дъпимъ, пишемъ, музицируемъ такъ, что "они" насъ не понимаютъ. Для собственнаго развлеченія мы пропагандируемъ какія-то "пакостныя" идеи и теоріи, мы даемъ просторъ своему извращенному и пресыщенному вкусу, восторгаемся "гнилымъ" декадентствомъ и "наглымъ" ницшеніанствомъ, тогда какъ мужикъ хочетъ и требуетъ, прежде всего, чтобы искусство возбуждало въ немъ добрыя чувства". "Съ этой точки зрѣнія, — замъчаетъ г. Шестовъ, — Толстой осуждаетъ все современное искусство, начиная съ собственныхъ произведеній и кончая Шекспиромъ, Данте, Гете, не говоря уже о менъе видныхъ и особенно болъе новыхъ писателяхъ, для осужденія которыхъ онъ въ своемъ краткомъ репертуаръ добродътельно-бранныхъ словъ не находить достаточно сильныхъ выраженій".

Посъщение ляпинскаго дома, — хотя, разумъется, этому посъщению совсъмъ нельзя приписывать роли послъдняго ръшающаго момента, — показало Толстому весь ужасъ, весь цинизмъ жизни "безъ труда". Страстио взялся онъ за трудъ, но не тотъ, который считался нужнымъ и важнымъ въ его кружкъ и которымъ онъ занимался и раньше, а трудъ, наиболье соотвътствующій его ярко выраженному индивидуализму, цълью котораго было бы самоличное и полное удовлетворение всъхъ своихъ потребностей. Онъ сталъ пахать и съять, тачать сапоги и класть печи и, благодаря тому, что ему казалось, что онъ достигъ идеала, т. е. простоты мужиц-

каго существованія, и что самой жизнью своей онъ расплачивается за старый барскій грёхъ жунрованія на чужой счеть — на него нахлынула радостная волна бодраго и смёлаго настроенія. Мрачное и тоскливое "такъ жить нельзя!" смёнилось увёреніемъ, что черезъ 15 люто все зло и страданіе жизни исчезнуть.

Толстой увлекся сначала, такъ сказать, чисто внішнить обиходомъ крестьянской жизни, но по мірів того, какъ назначенный имъ для исцівленія человівчества пятнадцатильтній срокъ приходиль къ концу, а человівчество продолжало пребывать въ прежней грязи нищеты и униженія,— это увлеченіе крестьянской жизнью стало принимать барски-мистическій характеръ подвижничества во ния искупленія гріховъ. Къ этому времени относятся его мечты о нищей жизни, о раздачів своего имущества ближнимъ; здісь же зародилась его теорія безбрачія и вегетаріанства.

Мужикъ и мужицкая жизнь продолжали служить огненнымъ столиомъ во время этого долгаго и утомительнаго странствованія по песчанной пустыні въ поискахъ за живой водой віры и догмата, но это былъ уже мужикъ преобразованный—скоріве раскольникъ, чіть "мирный землепашецъ", мужикъ, осмыслившій свою жизнь, знающій, гді и въ чемъ ев правда, и въ то же время сохранившій во всей его цілости крестьянскій обиходъ. "Правда жизни въ труді и братскомъ единеніи".

Толстой отказался отъ мысли, но не могъ отказаться отъ проповеди, которая давала ему власть надъ людьми, потому что эта власть нужна ему, потому что самолюбіе его безмёрно. Даже почтительный Сергенко дёлаеть положительно остроумное замёчаніе, говоря: "Л. Н. Толстой въто же время обладаеть всеобъемлющей душой, жаждущей самосовершенствованія. Съ одной стороны — ненасытная жаждущей самосовершенствованія. Съ одной стороны — ненасытная жаждущей самосовершенствованія. Съ одной стороны — венасытная жаждущей самосовершенствованія. Съ одной стороны — венасытная жаждущей самосовершенствованія. Съ одной стороны — пенасытная жаждущей самосовершенодьми, съ другой — неодолимое рвеніе къ внутренней чистоте и сладости смиренія" — что легко объясняется встревоженнымъ голосомъ "привилегированной жизни вообще и непріятнымъ сознаніемъ своего безсилія отдёлаться отъ этихъ привилегій, такъ облегчающихъ и красящихъ человёческую жизнь...

Къ чему же привели исканія Толстого правдивой и осмысленной жизни? его ужасъ передь неправлами современной культуры, его отвращеніе къ ея рабству, распущенности? Къ тому, конечно, что совъсть и разсудокъ являются и должны являться первыми и главными руководителями жизни, что совъсть человъка запрещаеть ему жить на счеть труда ближняго, обращать этого ближняго въ раба,—а значить и участвовать въ какомъ бы то ни было организованномъ или неорганизованномъ насиліи надъ себъ подобными. Совъсть—верховный руководитель и если не въ силахъ человъка уничтожить зло, то въ его силахъ удержаться отъ участія въ

практикъ зла или отъ содъйствія тънъ, кто это зло узаконяеть и увъковъчиваеть.

Несмотря на приступы мрачнаго отчаянія, о которыхъ самъ Толстой подробно разсказаль въ "Испов'яди", такіе приступы, когда онъ, счастлив'яйшій изъ смертныхъ, прячеть отъ себя шнурокъ, чтобы не пов'яситься, и не ходить на охоту, чтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ способомъ избавленія себя отъ жизни — въ немъ огромно и велико хот'яніе жить, все равно какъ огроменъ и великъ страхъ передъ смертью.

Вся его философія, всв противорвнія его философіи, всв изм'вны вчерашнему во имя сегодняшняго новаго и лучшаго или такого, которое кажется лучшимъ, объясняются его жаждой духовнаго самосохраненія. Человъкъ могучей энергін, онъ не хочеть и не можеть допустить отсутствія въ себъ цъльнаго и гармоническаго міросозерданія, онъ хочеть знать и понимать все. Его безпоконть печальная фигура Сони въ "Войнъ и Миръ"-и онъ жестоко, страннымъ и наивнымъ толкованіемъ евангельскаго текста оправдываеть смерть ея духа и увяданіе ея жизни; онъ ведеть на гибель Анну и Вронскаго потому, что въ ту минуту, когда онъ ведеть нхъ, ему для собственнаго спокойствія, блага и равновісія нужны абсолютныя правила, торжество которыхъ --- самое важное и ценное, безконечно болье важное и цънное, чъмъ личное счастье человъка; онъ напуганъ циничной гибелью обитателей ляшинскаго и рожновскаго домовъ, сначала "благотворить" имъ, но потомъ, понявъ, правильно или неправильно-безразлично, что эта циничная гибель явилась результатомъ пренебреженія къ труду, страстно берется за этоть самый трудъ, стараясь наполнить имъ весь свой день. Культура со всеми своими условностями, всей своей нищетой и развратомъ камнемъ ложится на его совъсть, и онъ всеми силами старается отделаться оть нея.

Это исканіе правды и смысла жизни, это страстное желаніе отдівляться отъ привилегій, чтобы стать просто человікомъ — дійствительно прекрасное и всемірно историческое зрілище. Конечно, во всемъ этомъ много мечтательности, много чрезмірныхъ заботъ о собственной правственной чистоті, даже чистоплотности, но когда говорятъ объ этомъ, то забываютъ, что всі указанныя черты только частичка гиганта Толстого, а не весь онъ, что весь онъ и не понять еще нами, что мы поймемъ его не раньше, чімъ поймемъ всю нашу прошлую культуру, самымъ типичнымъ, самымъ мощнымъ, красивымъ и самонадівннымъ представителемъ которой онъ является.

Не начатки Толстого важны и не его пропов'єдь важна, —важна его суровая критика, полная искренности, важно то, что въ Москв'в или Ясной Полян'в живеть челов'єкъ, который, какъ всі люди, можеть испытать

обманъ и иллозію, но не можетъ примъниться къ нимъ, который все самъ то дерзко, то съ несомнъннымъ страданіемъ и мукой срываетъ мишуру нашего культурнаго бытія. Что бы тамъ ни говорили, это во всякомъ случать "человъкъ высокаго роста, могучаго сложенія, по наружному виду дюжій и свыкшійся съ деревенской жизнью. Не совствиъ правильныя черты лица обличаютъ умъ необыкновенный". Это, говоря высокимъ слогомъ, герой-богатырь и Микула Селяниновичъ не только нашей литературы, но и нашей жизни, человъкъ, не знающій, что такое трусость мысли...

"Воскресеніе" Толстого лучше всего доказываеть, какъ неутомимо работаеть его критическая мысль, какъ старается онъ вскрыть язвы нашей жизни, похоронить мертвецовъ и еще разъ напоминть людямъ, что "суббота для человъка, а не человъкъ для субботы", что "веселы растенія, птицы и насъкомыя и дъти, но люди—большіе, взрослые люди—не перестають обманывать и мучить другъ друга", что они считають, что "важно не это весеннее утро, не эта красота міра Божія, данная для блага всъхъ существъ, красота, располагающая къ миру, согласію и любви, а священно и важно то, что мы сами выдумали, чтобы властвовать надълюдьми…"

Толстой въ своемъ романт перечисляеть вст тт субботы, въ жертву которымъ люди приносять живущее въ ихъ душт царство Божіе. Это субботы условностей, обычаевъ и приличій, жестокости и власти надъ другими, субботы формализма, рутины и правилъ, желанія стать выше другихъ и показать свое превосходство надъ ними. Въ этомъ смыслъ вопстину геніальнаго романа...

"Суббота для человъка,—а не человъкъ для субботы",—эта простая истина имъетъ универсальный, общеисторическій смыслъ. "Было всегда и есть теперь много ненужныхъ субботъ, которыя стъсняютъ и давятъ людей. Онъ, созданныя когда-то жизнью, скоро перерастаютъ ее и затъмъ продолжаютъ существовать независимо отъ общественныхъ нуждъ. Вмъсто того, чтобы служить человъку, человъкъ начинаетъ служить имъ. Это то, къ чему мы привыкли, но что не нужно намъ. Это то, что усложняетъ жизнь механически, лишая ее органической пъльчости. Это общественные предразсудки и установленія въ тъ историческіе моменты, когда они отслужили свою службу обществу. Это мертвецы, которыми мы окружены и которые сами не живутъ и другимъ не даютъ житъ. И именно противъ этихъ механическихъ усложненій жизни протестовали лучшіе люди въ исторіи. То упрощеніе жизни, къ которому они стремились, есть такимъ образомъ не сокращеніе ея органическаго роста, а отрицаніе всевозможныхъ условныхъ, отжившихъ институтовъ".

Но Толстой не только протестуеть, онъ требуеть борьбы во имя жалости и состраданія, во имя челов'вческаго достоинства и голоса правды,

живущаго въ каждомъ изъ насъ, — голоса, который не можетъ заглушить ни грязь, ни униженія жизни. Онъ говорить намъ: вотъ передъ вами непохороненные мертвецы, вотъ призраки, пугающіе васъ, вотъ тѣни прошлаго и его пережитки, ничего не дающіе живой жизни и требующіе лишь новыхъ и новыхъ жертвъ... Устыдитесь, воспряньте духомъ: борьба въ сердцѣ вашемъ возможна, необходима, легка и несетъ за собой радость.

Подведу нтоги. Прежде всего для меня очевидно, что между Толстымъхудожникомъ и Толстымъ-моралистомъ и проповъдникомъ существуетъ непримиримое противоръчіе. Толстой-художникъ отрицаетъ роль личности въ исторіи, ея силу, Толстой-моралистъ строитъ свою проповъдь на признаніи этой роли и силы. Для Толстого - художника человъкъ, прежде всего жертва, для Толстого-моралиста человъкъ герой.

Да, это такъ... И чтобы убъдиться въ этомъ, стоитъ только спросить себя: развъ идея необходимости не составляла всегда той оси, вокругъ которой творчество Толстого сдълало свой полный оборотъ? Развъ не это идея "Войны и Мира", "Анны Карениной" и даже "Крейцеровой сонаты" или "Власти тьмы?" Развъ, читая эти дивныя произведенія, вы не убъждаетесь на каждой страниць, что все случилось именно такъ, какъ должно было случиться, и что пначе оно и случиться не могло, что въ жизни есть какая-то страшная, неотразимая логика, не видя, не понимая которой, люди живуть иллюзіями страстей и своей будто бы свободной воли... Развъ Соня могла добиться личнаго счастья, развъ Анна могла не кончить самоубійствомъ?

Прекрасно зам'ятилъ одинъ изъ нашихъ критиковъ, им'я въ виду именно этотъ самонад'яянный элементъ пропов'яди Толстого:

"...Нужно удивляться. — говориль онь, — какъ графъ Толстой не поняль этого въ человъческой природъ. И особенно странно это будетъ для всякаго, кто, вчитываясь въ художественныя произведенія его, наблюдалъ, какъ всюду, рисуя жизнь человъческую, онъ оттъняетъ принудительность всъхъ движеній человъческаго сердца, его страстей и антипатій и вытекающихъ отсюда дъйствій. Неопредъленности, хаотичности, безбрежнаго произвола онъ мудро не нашелъ въ жизни и не изобразилъ. Все движется у него свободно и однако по опредъленныма путямъ, ота которыхъ не уклонится. Красота жизни, по этимъ путямъ движущейся и развивающейся, только повидимому свободной, но уже данной, заложенной въ характерахъ всъхъ дъйствующихъ лицъ, — это и составляетъ неисчерпаемый художественный и философскій интересъ его произведеній.

"И вотъ, такъ мудро и такъ глубоко понявъ жизнь, овъ непости-

жимымъ образомъ на самый источникъ ея — человъка, въ моментъ такихъ страшныхъ для себя тревогъ и ръшеній, вдругъ посмотрълъ, какъ ребенокъ. Все непонятно въ этомъ, и однако все это такъ. Самъ излившій такое богатство идей, самъ невольно и, быть можетъ, иногда безсознательно бравшій перо и писавшій чудныя страницы своихъ проваведеній, Богъ знаетъ откуда и однако нетерпъливо выливавшіяся,— этотъ человъкъ могъ подумать и сказать, что другіе люди, милліоны подобныхъ ему существъ, могутъ по произволу заставлять себя или тачать сапоги, или заниматься философіей; что человъкъ есть самодвижущаяся кукла, которая можетъ опредълить себъ: "пойду до этого", или еще — "никогда не сверну направо". Удивительное зрълище пророка, истиннаго пророка, который подумалъ бы, что вдохновенныя ръчи говоритъ черезъ него не Богъ, но обманщикъ-жрецъ, за нимъ сидящій.

"Какъ только произошла эта ошибка въ главномъ, — еще въ тѣ старые тревожные дни, которые пережилъ въ своей совъсти нашъ знаменитый писатель, — такъ тотчасъ все смъшалось въ хаосъ въ его идеяхъ и требованіяхъ. Все стало ошибочно и однако ужъ непреодолимо, — разъ отклонились въ сторону при разръшеніи центральнаго вопроса его высокое сердце и благородный умъ. Неизбъжно стало отрицаніе всего, что, за отсутствіемъ связи съ какой-либо высшею цѣлью, потеряло опору въ себъ. Все, что наросло на человъкъ въ исторіи, — представилось ему, — наросло фатально и ненужно, безъ какого-либо опредъленнаго смысла и безъ прочнаго основанія. Все это не выросло изъ человъка, но придумано имъ, какъ забава для своего пустого ума или для заглохшаго сердца. Только безъ цѣли все это давитъ людей, и они должны сбросить эту историческую тяжесть, чтобы стать передъ природой такъ же легко, какъ стояли тысячельтія тому назадъ".

В. Розановъ

Это върно. "Теперь Толстой хочеть сразу перешагнуть въ царство любви и правды, онъ призналь полную, абсолютную свободу человъческой воли, полную и безусловную возможность согласовать историческій ходъразвитія съ нашими желаніями и такъ же смъло сталь отрицать необходимость и закономърность нашей жизви".

То же говорить и г. Шестовъ съ своимъ обычнымъ недовъріемъ къ Толстому:

"Несомненно, что не только Ницше, но и гр. Толстой съ учениками разговариваетъ по-школьному, делясь съ ними только "выводами" и утанвая отъ нихъ ту неспокойную и тяжелую работу своей души, которая представляется ему исключительнымъ уделомъ "учителя". Оттого у него на первый плавъ выдвигается чисто писаревская, т. е. юношеская уверенность, что "стоитъ только захотеть людямъ", и искусство для искусства будетъ заменено другимъ хорошимъ искусствомъ. Гр. Толстой знаетъ, что кроется подъ этимъ "стоитъ людямъ захотеть". Въ этихъ словахъ говоритъ не писаревская молодая вера, а разочарованее долго и упорно боровшагося стараго человека, решившагося отказаться отъ неравной

борьбы. Онъ эти слова не для себя придушаль, а для учениковь, для другихь, чтобы имъть возможность отвязаться оть преслъдующихъ сомнъній и перейти оть ставшаго невыносимо тяжелымъ дъла—философіи— къ болье легкому, простому и утышительному занятію— проповъди".

Но нитя въ виду это противортне можно согласиться, какъ кажется, въ следующемъ:

- 1) Толстой, съ моей точки зрѣнія, является самымъ крупнымъ и яркимъ выразителемъ всѣхъ лучшихъ идеалистическихъ сторонъ нашей прежней старо-барской культуры. Въ своихъ произведеніяхъ онъ подвель ей итоги, онъ далъ ея отрицаніе, но не могъ, конечно, освободиться отъ ея власти, потому что это власть вѣковъ п поколѣній. Онъ говорить не отъ себя, онъ говорить отъ всего прошлаго, вѣрнѣе сказать, его верховъ-—его высшаго слоя, почему естественно, что
- 2) мотивъ совъсти является преобладающимъ въ его книгахъ, его работахъ, всей его жизни. Его основная задача найти миръ и спокойствіе своей встревоженной совъсти. Съ самаго начала эта задача встала передъ нимъ во всей ея огромности. Онъ зналъ ее еще въ дни юности, когда онъ увлекался Лермонтовымъ, когда вмъстъ съ нимъ, смотря на картины войны, онъ могъ сказать:

Я думаль: "жалкій человѣкъ! Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно, Подъ небомъ мѣста много всѣмъ, Но безпрестанно и напрасно Одинъ враждуетъ онъ... Зачимия?.."

И это "зачёмъ?" — вопросъ неотвязный, вопросъ на всю жизнь. Сначала на Кавказв или подъ Севастополемъ странно и дико было видёть среди этой грандіозной, могучей природы маленькихъ людей, мучающихъ себя, убивающихъ себя, интригующихъ, завидующихъ, и странной казалась смерть живого и страстно хотящаго жить существа отъ крошечной пульки, у подножья суроваго Казбека, подъ въковыми чинарами, шептавшими о чемъ-то въчномъ, таниственномъ; потомъ все болъе странной и дикой стала казаться вся человъческая жизнь съ случайнымъ и жестоко-несправедливымъ распредъленіемъ счастья и страданія... Культура и культурное существованіе все болье тяготили совъсть;

3) у Толстого, какъ у кающагося дворянина, между прочимъ, какъ у человъка, по праву своего рожденія получившаго огромныя привилегіи, совъсть должна была говорить особенно властно и сильно. Я указываль выше, что мърка кающагося дворянина, какъ слишкомъ узкая, хотя и глубокая, исторически такъ превосходно покрывающая нашихъ самобытныхъ "радикаловъ"— далеко не покрываетъ собой сложной и огромной психологіи Тол-

стого, но и этого элемента не вычеркнешь изъ его души, и онъ самъ дорожитъ имъ, самъ ценитъ его, что доказывается его любовнымъ отношеніемъ хотя бы къ пустопорожнему князю Нехлюдову. Толстой позналь муки за свое привилегированное общественное положеніе: оно стесняло его, какъ сытость среди голодныхъ, какъ слишкомъ яркій и дорогой костюмъ среди оборванцевъ человечества, но совсемъ разстаться съ нимъ онъ, конечно, не могъ, хотя, какъ раньше, такъ и теперь, мысль о техъ—

Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно намъ
Заниматься искусствомъ, наукой,
Предаваться мечтамъ и сграстямъ

- -- бол'взненно смущаеть его. Чтобы примирить свой внутренній міръ, гармонія котораго постоянно нарушалась "жертвами культуры и цивилизацін", онъ сталь
- 4) стремиться къ простоть жизни. Конкретный образь этой простой, правдивой жизни быль дань ему мужикомъ. Сначала онъ постарался приблизиться къ нему съ внъшней стороны: сталь пахать, косить и съять, тачать сапоги, класть печи, но постепенно мужицкое міросозерцаніе все больше овладъвало ниъ. И онъ сталь громить культуру, науку, цивилизацію, сталь ставить имъ строго утилитарныя, практическія цъли, сталь требовать отъ нихъ немедленнаго исцъленія язвъ человъчества, проповъди добра и братскаго единенія и, иаходя, что они въ этомъ случать безсильны, отвергь ихъ. Главные пункты его обвиненія сводятся къ тому, что
- 5) культура, наука и искусство, служа интересу лишь сильных и богатых, только усложняють жизнь и находять это служение богатымь и сильнымь настолько для себя пріятнымь и выгоднымь, что еще больше угнетають и принижають массу, которая можеть подняться лишь съ торжествомь добра и братскаго единенія. Между тымь и добро, и братское единеніе совершенно забыты культурой, наукой и цивилизаціей. Эти послёднія "три" только усложняють жизнь, господиномь которой каждый можеть быть лишь при ся безусловной простотив, при ея потребительно хозяйственныхь и общинных укладахь. Каждый самь должень удовлетворять всёмь своимь потребностямь и имёть для этого достаточныя средства. Идеаломь является близость къ природё и жизнь, согласно ея указаніямь, которыя вопстину прекрасны. Въ этомь идеаль напболёе ярко проявился титаническій индивидуализмь Толстого, какъ проявился онь и
- 6) въ его нравственной проповъди, и между прочимъ, въ требованіи непротивленія злу, которое напрасно понимается, какъ голосъ смиренномудрія. Смиренномудрія у Толстого нъть, есть

- 7) гордыня жысли, есть пугающая даже сила вёры въ свою мысль и ея безусловную истинность. Эта сила въры, порожденная геніемъ, безконечными удачами, тъмъ, что Толстой говорить не отъ себя, а отъ стихійной мудрости въковъ и покольній, отъ радостей и разочарованій всей нашей старо-барской культуры, - вынесла испытанія почти невівроятныя, но и теперь осталась такой же могучей, юной и смелой, какой была десятки леть тому назадъ. Сомивнія безмірныя, отчаяніе глубокое, внушающее даже мысль о самоубійств'є все "образовалось", и старый, великій челов'якъ не знаеть дряхлости мысли, какъ не знаеть онъ дряхлости тела. Онъ попрежнему деятеленъ, попрежнему ищеть, попрежнему учить, попрежнему презрительно отвергаеть всв отвъты, идущіе извив, и говорить: "это не то, это вы оставьте. Это лень вашей мысли и равнодущіе вашего сердца, это робкая жажда покоя и примиренія заставляєть вась прив'єтствовать пустыя и ничтожныя поправки нашего знанія и нашего общежитія... А самъ онъ непримиримъ, потому что онъ въритъ въ силу человъческаго хотенія, во всемогущество голоса внутренней правды, въ возможность воскресенія для каждаго, какъ бы визко онъ ни палъ, въ возможность воскресенія всей жизни и, какъ процовъдникъ,
- 8) совершенно отрицаетъ внушенную намъ наукой, культурой и сложностью жизни вообще, идею исторической необходимости. Онъ считаетъ ее ненужной и ничтожной, быть можетъ, главнымъ врагомъ своей проповъди. Не видитъ и не хочетъ видъть, какую силу придаетъ она людямъ, какъ, опираясь лишь на нее, могутъ они создавать свои воздушные замки на каменномъ фундаментъ. Онъ говоритъ намъ о фикціп свободнаго человъка, и въ этомъ
 - 9) дивная красота и привлекательность его проповеди...
- 10) Толстой понялъ, что наша культура—это прежде всего обязательство, это прежде всего уступка части или всего себя другимъ для "пользы цълаго", для построенія какого-то, невъдомаго никому зданія проблематическаго будущаго. Какъ и Толстой, каждый человъкъ, въ большей или меньшей степени чуткій, сознаеть, что культура требуеть отъ него очень многаго, даеть же ему взамънъ очень мало, если только онъ весь не ушелъ въ свое собственное довольство этотъ счастливый исходъ большинства.
- Ф. М. Достоевскій (1822—1881). Имя Достоевскаго упоминается, обыкновенно, на ряду съ именами Толстого, Тургенева, Гончарова, и никто, я думаю, не станеть отрицать за нимъ права быть поставленнымъ въ первыхъ рядахъ "стап славной" беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Но если и возможно сближать Достоевскаго съ его сверстниками съ точки зрівнія міста,

времени, силы таланта и общности "литературнаго происхожденія" отъ Гоголя, то подобное сближение очень трудно и потребуетъ самыхъ замысловатыхъ натяженъ, разъ мы перейдемъ къ духу, смыслу и формъ произведеній. Всемъ этимъ Достоевскій уже обязанъ пренмущественно себе и страннымъ обстоятельствамъ своей личной жизни. Это --его неотъемлемая собственность, въ которой ярко выразилась его ръзко очерченняя индивидуальность, его бользненный психопатическій геній, оригинальность его мышленія и фантазін, не нивющая ничего подобнаго и равнаго въ русской литературъ. Положительно трудно не согласиться съ словами Н. Н. Страхова изъ его письма къ Достоевскому: "очевидно, по содержанію, по обилію и разнообразію идей вы-у насъ первый человъкъ, и самъ Толстой, сравнительно съ вами, однообразенъ. Этому не противоръчить то, что на всемъ вашемъ лежить особенный и рызкій колорить". Въ чемъ же эта, всыми замыченная, но никымъ вполнъ ясно не формулированная особенность всей жизни и всей дъятельности Достоевскаго? Кой-какія параллели дадуть намъ отвіть на этоть вопросъ.

Въ произведеніяхъ Гончарова и, въ особенности Тургенева, вамъ, прежде всего, бросается въ глаза удивительная отделка формы. Все вызолочено, вылощено, вылакировано, отполировано, каждое слово на своемъ мъстъ, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности, ни одной страницы, въ которой было бы замътно утомленіе или неровность таланта. Каждое произведеніе такъ и просится въ переплетъ съ золотымъ обрезомъ. Каждая фигура, каждая, даже мимолетно появляющаяся на сцену личность у Тургенева - точно изъ иранора выточена: ни прибавить, ни убавить нельзя ничего. Видно, что это десятки разъ обдумывалось и передумывалось, писалось и переписывалось и только потомъ уже давалось публикъ на прочтеніе, съ полной увъренностью въ успъхъ, безъ всякой торопливости, безъ всякихъ занскиваній. Хорошо такъ работать, и счастливъ тоть художникъ, который можеть такъ работать. Но для этого нужны, прежде всего, средства и выдержка, внутренняя дисциплина. Ни того, ни другого у Достоевскаго не было. Во всю свою жизнь только двъ вещи онъ написалъ не на спъхъ и не къ сроку. Это--"Въдные люди" — первый его романъ и "Братья Карамазовы" — послъдній. Все остальное писалось столько же изъ потребности, сколько и изъ-за заработка, когда, бывало, и всть нечего, и самъ Достоевскій по уши въ долгахъ спдить въ Сибири или за границей. Оттого-то, за весьма малыми исключеніями, у Достоевскаго нътъ ничего выдержаннаго, обработаннаго. Иногда цълая сотня страницъ производить впечатавніе какого-то набора словъ, и только вдругь, въ концъ, геній, преодольвъ усталость, проявляется во всю мощь, точно молнія проріззываеть тучи и освіщаеть всю картину фантастическимъ, дивнымъ блескомъ, Обыкновенно же-это тысячи ненужныхъ подробностей, десятки отдельныхъ интригъ, нагроможденныхъ другъ на друга, частыя перемъны темъ, внезапныя появленія новыхъ героевъ и героннь. Все это на сивхъ, на-скоро, съ натугами и порывами, кризисами творчества, молніеносными проблесками генія и удручающимъ вымучиваніемъ. Но мначе было нельзя: копить деньги Лостоевскій не уміль и зачастую запродаваль, вийсто романа, бълый листь бумаги, при чемъ "мошенники издатели" огораживали свои интересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевскаго, въдь это одинъ и тотъ же мотивъ: "денегъ, денегъ, денегъ", и мало-мальски чувствующій и мыслящій человікь пойметь, какая трагедія разыгрывалась въ душт великаго писателя, которому кътакому-то сроку непремтино надо приготовить такое-то количество листовъ. Разъ попавши въ лапы гг. Краевскихъ, Стелловскихъ, Достоевскій только подъ конецъ жизни вырвался наъ нихъ. Какой же силы долженъ быль быть таланть, успъвшій проявить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, падучую и резкіе признаки если и не помраченія, то, во всякомъ случать, психопатизма, по нашему---истеричности?..

Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ писали и пишутъ, нотому что у нихъ была потребность писать, такая же неотразимая, "органическая", какъ у другихъ фсть, пить, спать. Литература и для нихъ-главное дфло жизни, но не будь у нихъ таланта, они преспокойно прожили бы и безъ нея. Пишу потому, что пишется, потому, что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевского литературная деятельность была столько же потребностью, сколько и необходимостью. Онъ самъ себя не разъ называлъ литературнымъ пролетаріемъ и называль совершенно основательно, хотя успъхъ и удача пріобретались имъ сравнительно легко. Какъ ни великъ былъ его геній, спішка портила діло, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя, то со злобой, то съ отчаяніемъ повторять: "эхъ, кабы хоть одинъ романъ написать такъ, какъ пишутъ Тургеневы да Толстые"... А сколько униженій, сколько невидныхъ самолюбивыхъ мукъ, сколько зависти и ревности къ другимъ, болъе счастливымъ, которымъ отъ рожденія дано то, чего ему Достоевскому, удалось достичь лишь трудомъ целой жизни, т. е. матеріальнаго обезпеченія. Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы, сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказовъ, писать, несмотря на припадки, и пр. Жизнь Достоевскаго — это полная трагизма борьба генін съ рынкомъ...

Но, вмістів съ этимъ, Достоевскій до страсти любиль литературу и внів ея не искаль ни заработковъ, ни занятій. Онъ съ гордостью называль себя литераторомъ, хотя и нищимъ литераторомъ, и даже обижался, когда ему предлагали занять какую-нибудь казенную должность или что-нибудь въ

этомъ родъ. Только по временамъ срывались у него невольныя проклятія, когда нужда слишкомъ ужъ начинала давить, но и туть онъ твердо оставался на посту. Воть любопытный отрывокъ изъ одного письма, достаточно характеризующій эту душевную трагедію литературнаго пролетарія. Дізло въ томъ, что Кашпиревъ, редакторъ "Зари", не выслалъ ему къ сроку 75 р. Достоевскій разражается слідующими строками: "Неужели онъ думаеть, что я писаль ему о своей нужде только для красоты слога. Какъ могу я писать, когда я голодень, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложиль. Да чорть со мной и съ моимъ голодомъ. Но, въдь, моя жена кормить ребенка, что жъ, если она последнюю свою шерстяную юбку пдеть сама закладывать. А, вёдь, у насъ второй день снёгь идеть, не вру, справьтесь въ газетахъ, -- въдь она простудиться можетъ. Неужели онъ не можеть понять, что мнв стыдно объяснять ему все это. Да неужели уже онъ не понимаетъ, что онъ не только меня, но и жену мою оскорбилъ, обращаясь со мной такъ небрежно, послѣ того, какъ я писалъ ему о нуждахъ жены. Оскорбилъ, оскорбилъ... — Онъ скажетъ, можетъ быть: "а чорть съ нимъ и съ его нуждой. Онъ долженъ просить, а не требовать" п т. д. И такую вещь приходится писать автору "Въдныхъ людей", "Записокъ изъ Мертваго дома", "Преступленія и наказанія"... Фразы же, въ родъ: "я до того заработался, что отупьль, и голова какъ забитая" — повторяются постоянно.

И все же Достоевскій не только не оставляль, но даже и не думаль оставить своей литературной лямки.

Оставимъ однако борьбу съ рынкомъ и перейдемъ къ другой сторонъ вопроса. "Ловкій французь или немець, —писаль Н. Н. Страховь къ Достосвскому, - нитъй онъ десятую долю вашего содержанія, прославился бы на оба полушарія и вошель бы первостепеннымъ св'атиломъ въ исторію всемірной литературы. И весь секреть, мив кажется, въ томъ, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образовъ и сотни сценъ остановиться на одномъ образъ и десяткъ сценъ". Этотъ совершенно върно указанный недостатокъ — такъ какъ сущность литературнаго таланта въ томъ и состоитъ, чтобы съ наименьшими затратами выраженія, въ широкомъ смыслів слова, произвести наибольшее впечатлівніе на читателей-происходить отчасти отъ спешки въ работе, отчасти и отъ другихъ причинъ. Дъло въ томъ, что талантъ Достоевскаго, -талантъ совсемь особенный, исключительный. Владеть имъ онь такъ и не научился до конца жизни. Это таланть неровный, вспыльчивый, раздражительный, до посл'ядней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо. Достоевскому нужно было вдохновение, иначе у него и двухъ строкъ не выходило. Свои темы онъ бралъ сразу, приступомъ, однимъ размахомъ

рисоваль самые сложные свои типы, напр. Ив. Карамазовъ, Раскольниковъ, Свидригайловъ, а не подбирался въ нимъ исподтишка, понемногу. Великій настеръ въ психологическомъ анализъ, Достоевскій совстив не быль настеромъ въ детальной живописи. Онъ не могъ такъ возиться, такъ разглядывать по частямъ своихъ героевъ, какъ Толстой, не умълъ такъ вырисовывать ихъ, какъ Тургеневъ, но онъ, какъ никто, умълъ жить съ ними, страдать съ ними, мучиться и волноваться. Созерцательности въ немъ не было ни на іоту, оттого-то творчество такъ истощало его. Въ то время какъ Гончаровъ смотрить на жизнь удивительно умнымъ, понимающимъ и въ то же время удивительно сытымъ взглядомъ, Достоевскій — весь нервы, весь напряжение, весь мука и томление. Когда Толстой стоить передъ вами, вперных свой испытующій геніальный взглядь въ самую глубных души человъческой, творя судъ надъ правымъ и неправымъ съ медлительностью все испытавшаго и все постигшаго генія, Достоевскій или прокливаеть, или благословляеть, съ любовью или съ ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность таланта, это въчное клокотание въ груди, мучительно любящей, мучительно ненавилящей.

Повидимому, виновать въ этомъ личный, по наследству полученный Достоевскимъ характеръ, его, какъ сейчасъ увидимъ, истеричность а потомъ и еще одно обстоятельство. "Въ то время, какъ большинство беллетристовъ 40-хъ годовъ, будучи выходцами изъ деревень, принадлежать къ рыклому помещичьему типу. Достоевскій является представителемъ разночинаю, служилаго класса общества, холерически нервнымъ сыномъ города, а во-вторыхъ, въ то премя, какъ большинство ихъ были люди обезпеченные, Достоевскій одинъ среди нихъ принадлежаль къ вновь возникшему классу нетеллигентного пролетаріата". Этому сыну города, интеллигентному пролетарію всегда раздраженному, всегда разстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу съ жизнью и рынкомъ, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своихъ героевъ. Его безпоконть жизнь, ея матеріальная сторона, ея нравственныя проблемы. Онъ какъ бы сторонится отъ красоты, изящества, наслажденія. Онъ терпеть не можеть никакихъ художественныхъ аксессуаровъ. Жизнь — это ужасно серьезная, ужасно трудная, даже жестокая вещь. Где туть целовяться да инловаться или описывать поцелуи да милованія. Жизнь-задача, долгь, обязанность, борьба, наконецъ, послъ которой руки и ноги будуть въ крови. Поэтому въ произведенияхъ Достоевского вы не найдете ни очаровательныхъ описаній природы, ни захватывающихъ сценъ любви, свиданій, поціалуевъ, ни обворожительныхъ женскихъ типовъ. Все это Достоевскій отридаеть въ принципъ. Въ "Бъсахъ", въ лицъ писателя Кариазинова, онъ потъщался надъ Тургеневымъ за его "страсть изображать, напр., поцелуи не такъ,

Digitized by Google

какъ они происходять у всего человъчества, а чтобы кругомъ росъ дрокъ или какая-инбудь другая трава, о которой надо справляться въ ботаникъ, при чемъ и на немъ долженъ быть непремънно какой-инбудь фіолетовый оттънокъ, котораго, конечно, никто не видалъ, а дерево, подъ которымъ усълась интересная пара, непремънно какого-инбудь оранжеваго цвъта". Этотъ пуризмъ, очевидно, происходилъ отъ слишкомъ серьезнаго, слишкомъ вдумчиваго отношенія къ жизни, которая представлялась Достоевскому, какъ религіозная проблема прежде всего. Все равно, какъ каждаго его героя жизнь прежде всего мучаетъ, такъ она мучпла и его самого. Гдъ тутъ описывать поцълуи интересныхъ паръ... Это-то ужъ, несомивнио, взглядъ на жизнь тяжкодума, городского пролетарія.

Сынъ города виденъ также и въ выборъ сюжетовъ. Баре Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ баръ прежде всего и рисовали и, какъ дополнение въ нииъ, мужика. Третьяго сословія, горожанъ, мѣщанъ, разночищевъ, они почти не затрогивали, иногда развъ прениущественно для ради "опроверженія". Изящнаго общества Достоевскій не зналь и не выводиль на сцену въ своихъ произведеніяхъ. Міръ чиновничества, интеллигенцій, городского пролетаріата воть его сфера. "Онъ любить вводить читателя въ городскіе вертепы, трущобы, гдв царять нищета и разврать. Онъ даже, какъ Диккенсь, проникнуть ихъ мрачной поэзіей. Не вдаваясь въ описаніе красоть природы, онъ очень часто развертываеть передъ читателемъ иного рода ужасающія картины, оть которыхъ мурашки ползуть по спинь. Это въ особенности Петербургу свойственная картина городскихъ улицъ ночью. въ осеннее ненастье, или зимнюю вьюгу, когда вст, у кого есть теплый кровъ, прислушиваются къ засываніямъ бури въ своихъ тепленькихъ уголкахъ, и лишь безпріютныя, обиженныя, сбившіяся со всякаго пути, полуодътыя въ жалкія рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемыя мокрымъ сифгомъ, пронизываемыя вътромъ и погруженныя въ какія-нибудь полубезумныя грезы".

Къ довершенію всего, т. е. своей особенности, Достоевскій быль несомевннымъ психопатомъ, не помвшаннымъ, говорю я, а психопатомъ, что
не то же самое. Въ дътствъ онъ страдалъ галлюцинаціями, потомъ падучей.
Но и кромъ этого, у него были ярко выраженные признаки мнительности
и истеричности характера. Что такое мнительность, знаетъ всякій, это мучительное недовъріе къ себъ, своимъ силамъ, жизни, это подозрительность
въ отношеніи ко всякому, опять-таки начиная съ себя, это боязнь, испуганность передъ жизнью вообще. Что же такое "истеричность", объ
этомъ лучше всего скажсть намъ самъ Достоевскій—величайшій изъ психопатологовъ. Отсылая за подробностями къ "Братьямъ Карамазовымъ", я
беру характеристику истерической натуры въ изложеніи д-ра Чижа: это

"неустойчивое равновъсіе исихических отправленій, чрезиврно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакція психическаго механизма и быстрая сміна его возбужденій. Въ характеріз такого рода больныхъ бросается въ глаза пестрая смъсь настроеній и аффектовъ, симпатій и антинатій, представленій то веселыхь, то грозныхь, то серьезныхь, то инзменныхъ, то съ философскимъ пошибомъ, стремленій, полныхъ энергін, но скоро и процадающихъ... У этихъ же больныхъ есть и другая зам'ечательпая черта --- самодюбіе. Они самые наивные эгонсты, говорять только о сеов и постояню, съ самымъ живымъ интересомъ, стараются обратить на себя общее вниманіе, возбудить участіе, запитересовать всёхъ своею дичностью, своею бользнью, даже пороками". Въ этомъ портреть трудно не узнать Өед. Мих. Достоевскаго, его неуравновъщенную, неровную натуру, полное отсутствие внутренней дисциплины, капризность, быструю, безпричинную смену восторговъ и отчаянія, симпатій и антипатій, крайняго увлеченія и холоднаго равнодушія. Страшно за челов'єка, которому приходится жизнь прожить съ такимъ характеромъ, а къ тому же если этотъ человъкъ талантливъ, бъденъ, наивенъ, какъ ребенокъ...

Литературную діятельность Достоевскаго можно грубо разділить на два періода: до каторги и послів каторги. Первый быль главнымъ образомъ посвященъ униженнымъ и осворбленнымъ, человіческому страданію вообще и протесту противъ него съ точки зрінія гуманныхъ началъ, выработанныхъ движеніемъ 40-хъ годовъ. Во второмъ періодів Достоевскій сосредоточилъ главное свое вниманіе на изученіи русскаго "своеволія", которому и посвящены лучшіе его романы "Преступленіе и наказаніе", "Бісы", "Братья Карамазовы".

Опредъля свое литературное происхожденіе, онъ говорить: "вст мы вышли изъ Гоголевской "Шинели". Не изъ "Шинели" вышли, конечно, "Преступленіе и наказаніе" или "Братья Карамазовы", но "Шинель" могла дать толчокъ къ вдохновенію для "Въдныхъ людей", "Двойника", Униженныхъ и оскорбленныхъ" и т. д. Важнте "Шинели" общее филантропическое настроеніе эпохи, которое заступилось за права угнетенныхъ, на какой бы ступени общественной лъстницы опи ни находились. Самъ больной, несчастный и всю жизнь нищій, Достоевскій такъ глубоко, какъ никто, могъ заглянуть въ эти подполья и чердаки нашей общественной жизни и въ психологію оскорбленнаго, въ которомъ теплится еще искорка собственнаго достоинства. Оскорбленнаго за что? Вотъ вопросъ, который мучаетъ героевъ первой половины его литературной дъятельности, и этотъ вопросъ задаютъ себть одинаково настойчиво и Дъвушкинъ, и Голядкинъ, и Иванъ

Петровичь, стоя передъ глухой стальной съткой общаго равнодушія человъка къ человъку. "За что? Развъ мнъ нъть мъста на землъ? Развъ крупица счастья не должна бы выпасть и на мою долю?"---робко вообще и сміло лишь въ припадкахъ сумасшествія, съ тоской безнадежности и варывами негодованія, съ жгучей ненавистью и съ жгучей любовью къ дюдямъ спращиваютъ себя эти замухрыщки-чиновники и замухрышки-писателн, у которыхъ лишь изредка достаеть силы, чтобы совсемъ уйти въ подполье и оттуда "истить" людямъ, но истить, терзая себя и полосуя свое сердце каждой местью. Туть у Достоевскаго глубочайшая психологія современнаго человъка -- пролетарія, рвущагося къ жизни и безжалостно отталкиваемаго отъ нея то дворянскими привилегіями, то наглостью сильныхъ, то чемъ-то стихійнымъ, вырастающимъ до размеровъ судебъ. Но что же делать съ этимъ выпавіцимъ на долю униженіемъ, какъ принять его? Какое фантастическое зданіе смиренія, радостно воспринимающаго удары, или же борьбы, свиръпо расточающей эти удары, надо выстроить, чтобы жить? И каждый романъ Достоевскаго —такое новое зданіе, въ которомъ могь бы жить живой Вогь человека, давая ему ответы на все вопросы, разръпая всъ сомитнія, обрекая на смиренную любовь или гордое возстаніе. И зданіе все равно какое: съ Богомъ или безъ Него-должно быть воздвигнуто, такъ какъ убить человъка нельзя, такъ какъ въ каждомъ, самомъ большомъ и самомъ маленькомъ, богатомъ и бъдномъ, въчномъ каторжникъ и выпачканномъ чернилами чинушкъ- лежитъ одинаковое, священное право на счастье и смыслъ своей жизни.

Какой смыслъ человъческаго страданія? Есть ли въ немъ смыслъ вообще? Какъ примирить страданіе человъка съ сострадающимъ Богомъ? вотъ вопросы, къ которымъ прилъпился геній Достоевскаго. И первый фактъ, который онъ здѣсь увидѣлъ, это тотъ, что страданіе приводить и къ полному паденію, простраціи, и къ высочайшей нравственной чистотъ, къ святости. Паденіе такъ же влекло его къ себъ, какъ и святость, быть можетъ, даже больше. Человъка въ безднѣ его паденія онъ больше всего понималъ, больше всего любилъ.

"Какъ ни привлекателенъ міръ красоты, — говоритъ одинъ изъ его критиковъ — есть нѣчто еще болѣе привлекательное нежели онъ: это паденія человѣческой души, странная дисгармонія жизни, далеко заглушающая ея немногіе
стройные звуки. Въ формахъ этой дисгармоніи проходятъ тысячелѣтнія судьбы
человѣчества и, если мы посмотримъ на всемірную литературу, мы увидимъ,
что ннчей взоръ въ ней не былъ устремленъ съ такимъ проникновеніемъ
на причины этой дисгармоніи, какъ взоръ писателя, котораго мы разбираемъ
(Достоевскаго). Оттого среди всего хаоса его произведеній мы ни у кого
не найдемъ такой цѣльности и полноты: есть что-то кощунственное въ

немъ и вмъстъ религіозное. Онъ не избираеть ни одной картины въприродъ, чтобы любить ее и возсоздавать; его интересують только швы, которыми стянуты всё эти картины, онъ какъ холодный аналитикъ всиатривается въ нихъ и хочеть узнать, почему весь образъ Божьяго міра такъ искаженъ и неправиленъ? И съ этивъ анализомъ онъ непостижимымъ образомъ соединилъ въ себъ чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Какъ будто то искажение, которое проходить по лицу Вожьяго міра, особенно глубоко прошло по немъ самомъ, тронуло его внутренній міръ, и, какъ никто другой, онъ ярко почувствовалъ и все страданіе, которое онъ несеть въ себь, и приблизился къ пониманію его сирьтой сущности. Отсюда вытекаеть глубокая субъективность его произведеній и ихъ страстность: онъ не извиж зоветь нась пойти и разджавть съ нимъ его интересы, которыми мы можемъ заняться наравив со всякими другики, его голосъ доходить до насъ какъ будто издали, и когда мы приблежаемся, мы видимъ одинокое и странное существо тамъ, гдф нивого другого етть, и онъ говорить намъ о нестерпиныхъ мученіяхъ человъческой природы, о совершенной невозможности выносить ихъ и о необходимости найти какіе-нибудь пути, чтобы изъ нихъ выйти. Отсюда болізненный тонъ всіхъ его произведеній, отсутствіе въ нихъ виішней гармоніи частей, и міръ неутолимаго страданія, который онъ открываеть, переплетенний съ мыслью о его непонятных причинахъ, о его непостижимыхь пеляхъ".

Чувство трагическаго было особенно сильно развито въ Достоевскомъ. Оттого-то, быть-можетъ, центральной осью своихъ произведеній онъ выбираль убійство. Здёсь въ убійстві онъ виділь самое страшное, извращенное проявленіе измученной человіческой души, крайній ея протестъ противъ личнаго невыносимаго страданія и крайнее проявленіе ея своеволія. И онъ пристально всматривался въ убійцу, находя въ немъ безконечно униженнаго и безконечно своевольнаго человіка. Убійца это рабъ (напр., рабство идей у Раскольникова, рабство похоти у Свидригайлова, рабство опять-таки идей у Верхоленскаго, рабство въ своемъ соціальномъ положеніи у Смердякова и т. д.) ставшій анархистомъ и въ анархизмі своемъ "преступающій черезъ святыню человіческой личности".

Жизнь—страданіе. Въ ней есть злое начало, ділающее это страданіе необходимымъ, искажающее світлый и радостный ликъ Божьяго міра. Но что же ділать въ такомъ случай съ стремленіемъ человіка къ счастью. Что сначалю Достоевскій сочувствоваль ему, виділь въ немъ что-то хорошее и милое—это несомийнно какъ и то, что онъ до конца жалізль несчастныхъ. Но все же онъ пришель къ выводу, что страданіе необхо-

димо и что только оно, очищая огнемъ мукъ своихъ душу доводить ее до святости.

Между тыть онь жиль въ такое время, когда счастье людей являлось какъ бы основой и стержнемъ стремленій всей русской интеллигенців. Почти каждый изъ героевъ его произведеній создаеть свой собственный идеаль общественнаго и государственнаго устройства, который бы обезпечиваль человъческое счастье. Въдь это было время, когда каждый считалъ себя какъ бы призваннымъ распоряжаться судьбами государства и народа. Возьмите Раскольникова. По его теоріи лишніе люди должны быть убраны со сцены. Они, ихъ жизнь и личность простой матеріалъ для постройки зданія. Везконечно высоко надъ ними стоить Сверхчеловъкъ, герой, которому все позволено, даже убійство. Онъ самъ для себя Богъ; отъ себя получаеть онъ свои веленія, онъ имееть право надъ жизнью и смертью другихъ. Еще дальше идеть полупомъщанный Кирилловъ. Онъ долго нскаль и нашель наконець своего Бога-своеволіе. Этому Вогу онь хочеть научить людей. "Тогда новая жизнь, -- говорить онъ Ставрогину, -тогда новый человъкъ, тогда все новое. Тогда исторію будуть раздълять на двъ части: отъ гориллы до уничтоженія Бога и отъ уничтоженія Бога до..." — "До гориллы — съ холодной усившкой подхватываеть Ставрогинъ". — "До перемены земли и человека физически"-продолжаеть Кирилловъсъ невозмутимостью. $Bu\partial em$ σ Bosom σ человань и переманится физически. И міръ перемінится и дівла перемінится, и мысли и чувства". Даже педанть и нелігийній изъ нелігими Шигалевь весь вь вопросі объ устроенін человъческаго счастья. "Онъ предлагаеть въ видъ конечнаго разръшенія вопроса раздъление человъчества на двъ неравныя части. Одна десятая доля получаеть свободу личности и безграничное право надъ остальными девятью десятыми. Тъ же должны потерять личность и обратиться въродъ какъ въ стадо и при безграничномъ повиновеніи достигнуть рядомъ перерожденій первобытной невинности, въ роді какъ бы первобытнаго рая, хотя, впрочемъ, и будутъ работать". У Шигалева все разработано и предусмотръно... "Онъ выдумалъ равенство — говорить про него Верхоленскій. — У него хорощо въ тетради, -- у него шпіонство. У него каждый членъ общества смотрить одинь за другимь и обязань доносомь. Каждый принадлежить всемь и все каждому. Все-рабы и въ рабстве равны. Въ крайнихъ случаяхъ-клевета и убійство а, главное, равенство. Первымъ дівломъ понижается уровень образованія, наукъ и талантовъ. Высокій уровень наукъ и талантовъ доступенъ только высшимъ способностямъ, не надо высшихъ способностей! Высшія способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшія способности не могуть не быть деспотами и всегда развращали болъе, чъмъ приносели пользы. Рабы должны быть равны. Безъ

деспотнама еще не бывало ни свободы ни равенства, но въ стадъ должно быть равенство, и воть Шигалевщина!" Высказывается, наконець, и самъ Верхоленскій: "Я за Шигалевщину... Слушайте, Ставрогинъ, горы сравнятьхорошая высль, не сифшная. Я за Шигалева! Не надо образованія, довольно науки! И безъ науки хватить матеріалу на тысячу літь, но надо устроиться послушанію. Въ міръ одного только не достаеть — послушанія! Жажда образованія есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь-воть уже жажда собственности. Мы уморимъ желаніе; мы пустимъ пьянство, сплетии, доносъ, мы пустимъ неслыханный развратъ, ны всякаго генія потушинь въ младенчествів. Все къ одному знаменателю, полное равенство. Необходимо лишь необходимое, воть девизъ земного шара отсель. Но нужна и судорога. Объ этомъ позаботнися мы, правители. У рабовъ должны быть правители. Полное послушаніе, полная безличность, но разъ въ тридцать леть Шигалевъ пускаеть и судорогу и все вдругь начинають поедать другь друга до известной черты, єдинственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; въ Шигалевщинъ не будетъ желаній"... И т. д.

Достоевскаго не разъ упрекали въ преувеличении и даже издъвательствъ. Нъкоторое преувеличение, въроятно, есть, хотя и трудно судить о неизслъдованной и неизученной страницъ исторіи "русской мысли". Намъ людямъ въ значительной степени не только наученнымъ, но и проученнымъ "опытомъ исторіи" трудно, невозможно даже проникнуть въ то настроеніе. Но въдь туть было воть что прежде всего: ненависть къ барству, ожесточенная и непримиримая, ненависть, требовавшая мести и рядомъ съ этимъ жалость къ массъ, которая во что бы то ни стало— хочетъ ли она этого или не хочеть—должна быть возвращена къ первобытной невинности въ родъ какъ бы въ первобытный рай.

Со всёми этими дикими проектами соціальнаго преобразованія у Достоевскаго соединялся одинъ величайшій вопросъ: въ чемъ назначение человтька — въ свободть или рабствть. Этотъ вопросъ—ось, вокругь которой вертятся всё его разсужденія. Онъ бонтся свободы и ненавидить рабство. Изъ этого противорёчія онт не вышель и не могъ выйти. Онъ понималь что свободы человёка не убъешь, что нёть, въ концё концовъ, ничего, передъ чёмъ бы она распростерлась. Во имя своей свободы личность способна не только ндти противъ расчета, выгоды, но и противъ самого Бога. Декретировать свою свободу, своеволіе свое даже въ самой дикой безразсудной формё—это потребность, глубочайшая потребность человёка, хотя бы какъ у Раскольникова или Свидригайлова черезъ убійство, даже черезъ конщунство. Но туть, въ своемъ гипостазированіи личность встрёчается съ Богомъ, съ идеей Божества. И туть-то Достоевскій прихо-

дить въ ужасъ отъ одиночества человъка и снова готовъ отдать его подъ только что свергнутое иго совъсти страданія, въры — словомъ всего того, что свою дъйствительную санкцію имъетъ въ Богъ. Оттого-то стремящаяся къ неограниченной свободъ личность человъка чувствуетъ, что это главное ея препятствіе, главный камень, о который спотыкаются ея вождельнія. Оттого-то религіозные вопросы всегда на первомъ планъ. Возлъ нихъ все вертится и ужъ конечно для Достоевскаго они въ центръ бурнаго движенія 60-хъ и семилесятыхъ головъ.

Здъсь не только даже о счасть в людей идеть ръчь, ноздаже о физическомъ ихъ перерожденін, и воть Кирилловь, напр., прямо думаеть, что научивши людей своеволію, онъ тыть самымь добьется и ихъфизическаго перерожденія. Въ центръ всего движенія Вогъ, вопрось о Богь, о смысль жизни и эту самую дорогую, самую серьезную для Достоевскаго мысль чуть-чуть пронически высказываеть Иванъ Карамазовъ (потому что Достоевскій вообще интель привычку самыя дорогія, самыя серьезныя для него мысли высказывать чуть-чуть иронически): "другимъ одно, --говоритъ Иванъ, -- а намъ, желторотымъ, другое, намъ прежде всего надо предвичные вопросы рышнь. Вся молодая Россія только лишь о въковъчных в вопросахь и толкуеть. Именно теперь, какъ старики всв полежи вдругь практическими вопросами заниматься... Въдь русскіе мальчики какъ до сихъ поръ орудують, иные то-есть? Воть, напр., здешній вонючій трактирь, воть они и сходятся, засёли въ уголь. Всю жизнь прежде не знали другъ друга, а выйдуть изъ трактира, сорокъ лёть опять не будуть знать другь друга,--- ну и что же, о чемъ они будуть разсуждать, пока поймали минутку въ трактиръ-то?... О міровыхъ вопросахъ, не иначе: есть ли Вогъ, есть ли безсмертіе? А которые въ Бога не верують, ну, те о соціализм'я и объ внархизив заговорять, о переделяв всего человъчества по новому штату, - такъ ведь это одинъ же чорть выйдеть: все то же вопросы, только съ другого конца". Алеша совствъ согласенъ съ братовъ: "да, — отвъчаетъ онъ, — настоящимъ русскимъ вопросы о томъ: есть ли Вогъ и есть ли безсмертіе, или какъ ты вотъ говоришь, вопросы съ другого конца, конечно, первые вопросы и прежде всего, да такъ и надо".

Но, конечно, глубже всего эти вопросы сидъли въ самомъ Достоевскомъ и при разсмотръніи ихъ, онъ, несмотря на всю истеричность и ирраціональность своей натуры, проявляеть даже удивительно строгую логику. Есть ли Богъ, спрашиваеть онъ себя. Толстой энаетъ, что какой-то Богъ есть, только не знаетъ нажой. Достоевскій не знаетъ ничего. Онъ мучительно думаетъ и ищетъ. Совмъстима ли, спрашиваетъ онъ себя, идея Бога сострадающаго съ человъческимъ страданіемъ? и, очевидно, что

лично онъ, въ глубниъ души своей этихъ идей совивстить не можетъ. Но хотвлъ бы, страстно бы хотвлъ совивстить ихъ. "Я клопъ,—говоритъ Ив. Карамазовъ,—и признаю со всвиъ приниженіемъ, что ничего не могу понять, для чего все такъ устроено. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему я знаю лишь то, что страданіе есть, что виновныхъ ивтъ, что все одно изъ другого выходитъ прямо и просто, что все течетъ и уравновъщивается.—но ввдь это лишь эвклидовская дичь, въдь я знаю же это; въдь жить по ней я не могу же согласиться. Что мить въ томъ, что виновныхъ изтъ и что я это знаю — мить надо возмездіе, иначе въдь я истреблю себя"...

Ни передъ къмъ—ни изърусскихъ, ни изъ европейскихъ писателей вопросъ о страданіи человъка не являлся такимъ огромнымъ и пугающимъ, какъ передъ Достоевскимъ. Тъмъ, что ему, его земной жалости нужно было возмездіе и не въ безконечности гдъ-нибудь и когда-нибудь, а здъсь уже на землъ-—онъ какъ будто оправдываетъ своеволіе личности, оправдываетъ это возстаніе противъ боговъ, которое такъ характерно и необходимо для всъхъ его героевъ, но утвердиться на этомъ онъ не можетъ и не смъетъ. По истеричности своей натуры онъ преклоняется передъ свободой человъка и ненавидить ее. Все равно какъ къ Богу онъ относится и кощунственно, и религіозно, ежемниутно призывая его къ отвъту и проклиная его и падая передъ нимъ ницъ—такъ и къ свободъ человъческой. Ничего болъе священнаго и болъе ужаснаго, болъе отвратительнаго. Потому что въ Достоевскомъ одинаково сидъли и анархистъ и рабъ, способный даже познать все наслажденіе рабства, самоуниженія и самоуничтоженія.

"Ужаса" свободы онъ не вынесъ, хоти одинаково не могъ до конца отделаться отъ ея обаянія. Онъ пришелъ къ тому, что гордый челов'вкъ долженъ смириться, что челов'вкъ вообще долженъ страдать, такъ какъ страданіе очищаеть и ведеть къ свитости. Черезъ страданіе вообще познается любовь. Но передъ к'вмъ же смириться? Передъ Христомъ и его ученіемъ, передъ русскимъ народомъ, который въ своей жизни, въ своей смиренной нагот'в полн'ве и лучше всякаго другого народа воплотилъ ученіе Христа.

Въ своемъ взглядъ на русскій народъ Достоевскій близокъ къ славянофиламъ. Полнъе всего этотъ свой взглядъ онъ изложилъ въ знаменитой московской ръчи о Пушкинъ. Тутъ онъ даетъ полный просторъ фантастичности своего воображенія. Ръзко и непримиримо высказываетъ онъ мысль, что нашъ народъ Богоносецъ.

Достоевскій (въ своей знаменитой пушкинской різчи) прежде всего ссылается на реформу Петра. Допуская, что вначаль она производилась лишь въ сиыслів ближайше утилитарномъ, онъ думаеть однако, что "въ дальнівйшемъ развити имъ своей иден. Петръ несомивнио повиновался ивкоторому затаенному чутью, которое влекло его, въ его деле, къ целямъ будущимъ, несомиенно огромнъйшимъ, чъмъ одинъ только ближайшій утилитаризмъ". Не указавъ этихъ цілей, даже не намекнувъ ин на нихъ, ни на пророческое содержаніе "ніжотораго затаеннаго чутья", Достоевскій прямо переходить къ утвержденію, что "и русскій народъ не изъ одного только утилитаризма приняль реформу, а несомитино уже ощутивъ своимъ предчувствиемъ почти тотчасъ же иткоторую дальнівншую, несравненно боліве высшую ціль, чінь ближайшій утилитаризмъ, — ощутивъ эту цъль опять-тани, конечно, повторяю это, безсознательно, но однако же непосредственно и вполнъ жизненно". "Въдь мы разомъ устремелнсь тогда къ самому жизненному возсоединеню, къ единенію всечеловіческому! Мы не враждебно (какъ, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, съ подною любовью приняли въ душу нашу геніевъ чужой націи, всіхъ витсть, не ділая преимущественныхъ племенныхъ различій, ум'я инстинктомъ, почти съ перваго шага различать, снимать противоречія, извинять и примирять различія, и темъ уже выказали готовность и наклонность нашу, намъ самимъ только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечелов'вческому возсоединенію со всвин племенами великаго арійскаго рода. Да, назначеніе русскаго человъка есть всеевропейское и всемірное. Стать настоящимъ русскимъ, стать вполет русскимъ, можетъ быть. и значитъ только (въ концт концовъ, это подчеркните) стать братомъ встхъ людей, всечеловткомъ, если xomume".

Онъ говорить дальше о томъ, что въ теченіе двухъ стольтій Россія только и ділала, что служила Европів, можеть быть, гораздо боліве, чівмъ себів самой. Служила изъ-за любви, изъ-за своего христіанскаго смиренія. И будеть служить до конца, потому что духовно Европа уже умерла, тамъ остались лишь святые камии, святые покойники, задача же христіанскаго возрожденія человівка вся въ нашихъ рукахъ.

Гимнообразно заканчиваеть свою річь Достоевскій: "Все это,—говорить онь,—покажется самонадіяннымь: это намъ-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земліт такой уділь? Это намъ-то предназначено въ человічестві высказать новое слово? Что же, развіт я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстві людей и о томъ, что къ всемірному, къ всечеловічески-братскому единенію сердце русское, можеть быть, изъ всіхъ народовъ наиболіте предназначено, вижу сліды сего въ нашей исторіи, въ нашихъ даровитыхъ.

людяхъ, въ художественномъ геніи Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю "въ рабскомъ видъ исходилъ благословляя Христосъ". Почему же намъ не вмъстить послъдняго слова Его? Да и самъ Онъ не въ ясляхъ ли родился"?..

Превосходныя слова, но превосходно и это пренебреженіе къ нашей нищеть! Разъясняя эту свою мысль, Достоевскій впослідствін написаль строки, въ которыхъ, по моему митнію, и скрывается весь секреть его річи, вся истинная подоплека, вся причина ея головокружащей восторженности. Воть эти строки: "Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не можеть заключать въ себъ столь высокія стремленія, пока не сділается экономически и гражданственно подобною Западу,—есть уже просто нельпость. Основныя правственныя сокровища духа, въ основной сущности своей, по крайней мюрю, не зависять от экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кром'в высшаго своего слоя, вся сплощь какъ одинъ челов'ять. Всі 80 милліоновъ ея населенія представляють собою такое духовное единеніе, какого, конечно, въ Европ'я н'ять нигд'я и не можеть быть, а стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже въ строгомъ смысл'я нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже въ строгомъ смысл'я нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже въ строгомъ смысл'я нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже въ строгомъ смысл'я нельзя сказать, что нашая.

Еще: "Мы утверждаемъ, что вмѣщать и носить въ себѣ силу любящаго духа можно и при теперешней экономической нищетѣ нашей, да и не при такой еще нищетъ, какъ теперь: ее можно сохранять и вмѣщать въ себѣ и при такой нищетѣ, какая была послѣ нашествія Батыева или послѣ погрома Смутнаго времени, когда единственно всеединящимъ духомъ народнымъ была спасена Россія".

Это уже національный мистицизиъ. Это иден Хомякова, Аксаковыхъ, Н. Я. Данилевскаго, но возведенныя въ квадратъ и кубъ и освъщенныя фантастическимъ свътомъ восторженнаго даже болъзненно-восторженнаго воображенія.

Что же даль намъ бед. Мих. Достоевскій, какъ литераторь, какъ общественный діятель? Постараемся отвітить на этогь вопрось безпристрастно. Но сначала замітимъ, что этоть вопрось вводить насъ въ самую трудную область идей, а Достоевскій все же, прежде всего, быль художникомъ. Но его постоянно тянуло къ публицистикъ, къ алобъ дня. Даже многіе его романы, напр., "Вісы", иміноть очень замітную публицистическую тенденцію. Да и въ остальныхъ произвеніяхъ онъ формой разсказа часто прикрываеть пропов'ядь. Поэтому насчеть идей Достоевскаго можно бы толковать съ полной основательностью, не будь у него даже "Дневника Пи-

сателя". Онъ всегда откликался на самое насущное, что выдвигала жизнь. Иногда съ большой легкостью провозглашаль онъ, что Константинополь долженъ быть нашъ и что совсемъ уже пришла пора захватить его въ свои руки, иногда утверждалъ, что завершение европейской культуры—наше русское дѣло. Конечно, такое мнѣвие очень пріятно. Но на немъ, какъ и на всѣхъ взглядахъ Достоевскаго о взавимныхъ отношенияхъ России и Европы, теперь останавливаться не будемъ, потому что опредѣленнаго тутъ все же ничего.

Обратимся къ другой сторонъ валядовъ его, когда онъ говорить о народъ и нетеллигенціи, думаеть о нихъ, страдаеть за нихъ. Сочувствіе къ народу, стояніе за него, даже подвижничество появилось у Достоевскаго еще въ юние годы. Особенно резкую форму это "стояніе" приняло во время участія въ дуровскомъ кружкъ. Туть Достоевскій часто говориль объ ужасахъ крепостного права, часто называль его самымъ мерзкимъ и отвратительнымъ явленіемъ русской жизни. Образъ крѣпостного мужика являлся въ его глазахъ однимъ изъ воплощеній безысходнаго горя, того громаднаго и мутнаго потока униженности и оскорбленія, который такъ жестоко, такъ бурно разливается по всей жизни. Достоевскій былъ впечатлителенъ, всякое чужое страданіе бользаненно даже раздражало и мучило его. Онъ не могь выносить никакого насилія, котя и утверждаль, что въ каждомъ человеке есть наклонность къ мучительству. Но самъ онъ никого не мучиль, въ самомъ-то въ немъ никакой жестокости не было. Наобороть даже. "Всв ны вышли изъ гоголевской "Шинели" — говорилъ онъ, и съ этого ясно выраженнаго сочувствія къ униженному и оскорбленному и началась его литературняя деятельность. Только потомъ, напуганный свободой, темъ анархизмомъ, которому онъ придалъ слишкомъ большое значеніе, онъ сталь пропов'ядывать страданіе и каторгу, до конца однако мучительно содрогаясь при виде его. Действительно, онъ проповедываль смиреніе, онъ признаваль, что страданіе полезно... но только для кого?для гордаго невърующаго интеллигента, прежде всего полагающаго, что онъ имъетъ право распоряжаться по своему образцу съ жизнью и перестраивать ее... Этому Достоевскій говориль: "смирись, гордый человъкъ"...

Въ общемъ же великомъ движеніи всей лучшей части русской литературы и русской интеллигенціи—въ стремленіи сблизиться съ народомъ, въ пропов'єди той мысли, что, забывши о народ'є, вн'є народа, такъ сказать, нельзя сдёлать ничего, Достоевскій все равно какъ своей публицистикой, такъ и н'єкоторыми своими произведеніями сыграль большую и руководящую роль. Правда, мы не разд'єляемъ н'єкоторыхъ мистическихъ идей Достоевскаго и не настолько увлекаемся имъ, чтобы не вид'єть, какъ его нервный, истерическій темпераменть постоянно вводиль его въ про-

тиворъчіе съ самимъ собою и заставлялъ высказывать совствиъ не остроумные парадоксы въ роде того, напр., что народъ ищеть страданія, но нашь думается, что міросозерцаніе Лостоевскаго безъ его мястическихъ и щовинистскихъ угловатостей очень просто, ясно и не можетъ остаться непонятнымъ ни однимъ изъ русскихъ интеллигентовъ. Краеугольный камень этого игросозерцанія народъ, грязный, приниженный, скверный, но сохраняющій въ глубинъ души своей виутреннюю, высокую правду. Виъ народа, забывши о народъ, — нътъ правдивой жизни, и ътъ настоящей дъятельности. Уклоняясь во многомъ, Достоевскій въ этомъ пунктв, по крайней мірть, сходился со встин лучшими умами русской интеллигенців. Его отношеніе къ народу бережно - любовное. Напомнивъ хотя бы общензвъстный разсказъ о мужнив Марев. Благодаря такому-то красугольному камню любви къ народу, русская литература и русская интеллигенція им'єють передъ собой несометьно великую будущность, въ которой не забудется, конечно, и имя Достоевскаго. Онъ тоже интеллигенть и даже одинъ изъ вождей интеллигенцій... А что такое русская интеллигенція? Позволю себ'в привести одинъ отрывокъ, нъсколько ръзвій по формъ, нъсколько крайній по нысли, но недурно передающій самую суть дізла. Воть онъ въ видії річи, обращенной однимъ действующимъ лицомъ разсказа къ другому: "Скажу я тебъ, что всероссійская интеллигенція самая лучшая и привлекательная изъ всехъ существующихъ. Обойли ты весь светь и ничего подобнаго ей не найдешь. Это своего рода роскошь и великольніе, недостаточно еще одъненное, но поразительно прекрасное. И суть ея жизни именно въ этой совъстливости. Ступай куда угодно-въ Америку, во Францію, въ Англію или хоть въ Патагонію, и начни ты пропов'ядывать, что личное счастьенезаковно, что любовь, эгонамъ и пр. -- преступны. Да отъ тебя всв отвернутся. Какъ это такъ, что личное счастье не законно? Да что же законно послъ этого? А русскій интеллигенть пойметь это и прочувствуєть. Съ той самой минуты, какъ онъ проснулся, онъ почувствовалъ упреки и угрызенія совъсти и сталь онь философствовать. Береть онь, напр., въ руки булку и сейчасъ же передъ его совъстливымъ воображениемъ какаянибудь плантаторская картина. "Хльбъ, возделанный рабами", — говоритъ онъ, и эта самая булка кажется ему горькою. Онъ любить, а передъ его глазами униженный "меньшой брать", продающій за пятакъ все свое человъческое достоинство, и любовь теряеть въ его глазахъ всю свою привлекательность. Онъ помъщался на народъ, онъ ищеть пути, чтобы приблизиться къ нему и слиться съ этой молчаливой массой, тысячельтие выносившей на плечахъ всю русскую исторію. Везъ этого народа, безъ любви къ нему, любви дътской, наивной, мистической — немыслимъ россійскій интеллигенть. Посмотри-ка, что онъ теперь делаеть: сколько тоски, сколько

совъстиности въ его постоянныхъ исканіяхъ правды и пиеню мужицкой. народной правды. Онъ отрекается отъ всего, что составляеть гордость и счастье обыкновеннаго смертнаго... Оттуда-то, изъ этихъ деревень, изъ этихъ болоть и полей черноземныхъ русская интеллигенція всегда получала н получаеть свое душевное содержаніе. Ей совъстно, ниеню совъстно жить, забывь мужичка, и оть него же заимствовала она свою знаменитую формулу: "жизнь по правдъ" — а не по праву или доктринъ. Если на западъ господствуетъ наука, сознание необходимости-юридической или исторической, все равно, -- то у насъ-любовь. Мы вѣруемъ въ нее, какъ въ какую-то тапиственную силу, которая сразу разрушить всё преграды и установить новую жизнь прямо въ одно игновеніе, безъ всякихъ этихъ "развитій экономическихъ противорічій". Въ головів и сердців каждаго русскаго интеллигента въчно сидить этотъ образъ новой, любовной жизни, и если мы когда-нибудь, чтмъ-нибудь искренно вдохновлялись, то именно этой правдивой жизнью, основанной на любви въ ближнему, не признающей никакихъ формулъ, кромъ тъхъ, которыя диктуются сердцемъ"... Такова одна изъ формъ русскаго народничества, къ которой довольно ръзко примыкалъ Достоевскій.

Народъ и оторванный отъ народа интеллигентъ — это противоръчіе больше всего занимало и мучило Достоевскаго. Къ оторванному отъ народа интеллигенту онъ былъ положительно безжалостенъ. Не стесняясь, выставляль онь его въ самомъ ужасномъ видъ, напр., въ "Въсахъ", требоваль оть него не только покаянія, но и страданія. Сердце Раскольникова открылось только на каторгъ. Каторга была нужна ему, необходима даже. Въ чемъ же вина его? Прежде всего въ гордости и-послъ всего въ гордости. Это гордость личной мысли, это самоннение личнаго чувства, это властность личной воли. За это нужно наказывать, нужно страдать. Такой человъкъ прежде всего смириться долженъ, чтобы понять, что не одинъ онъ въ жизии, что до личнаго его счастья никому и дела-то въ сущности петь, что никакого права требовать его онъ не имъеть. Жизнь всегда представлялась ему ужасно труднымъ, ужасно серьезнымъ дѣломъ, своего рода подвигомъ, который каждому надлежить осуществить по мітріт сплъ и способностей. Осуществить же его можно при самоотреченій, извістномъ даже аскетизмі. Себя забыть надо, а полюбить дело, себя победить надо прежде, чемъ взяться за него. Отрицая право на личное счастье, Достоевскій тэмъ энергичнъе проповёдываль личное самосовершенствованіе, борьбу сь той самой карамазовщиной и анархизмомъ, которые сидять въ каждомъ изъ насъ. Все личное, индивидуальное, самовольное-гръховно, и типъ кающагося гръшникалюбиный типъ Достоевскаго. Онъ даже романъ хотелъ писать подъ заглавіемъ "Великій гръшникъ". Не то, чгобы онъ требовалъ отреченія отъ

себя, своихъ силъ и способностей: онъ ненавидѣлъ, преслѣдовалъ только личную волю, стремленіе къ личному счастью. Его любимецъ—это старецъ Зосима въ "Братьяхъ Карамазовыхъ". Грѣшилъ человѣкъ, много грѣшилъ, кутилъ, распутничалъ, на другого поднималъ руку. И пострадалъ онъ именно за властность своей натуры, за то, что смѣлъ самого себя противопоставить обществу, принять себя, свое достоинство за нѣчто высшее, чѣмъ достоинство другого человѣка; онъ спасся смиреніемъ, онъ сталъ человѣкомъ, лишь отрѣшившись отъ своего "я", выбросивъ изъ головы даже мысль, что это "я" есть нѣчто особенное, исключительно такое, что пиѣетъ право на "все". Послѣ побѣды надъ собой, можно н должно начинать дѣятельность. Гдѣ же, въ чемъ найти ее? — Въ служеніи народу.

Эту мысль Достоевскій десятки разъ повторяєть въ своемъ "Дневникъ", призывая каждаго принести "хоть лепту". Не о великомъ дълъ надо заботиться, а чтобы было оно любовно, чтобы неходило оно отъ сердца и шло въ народъ. "Не раздача имъній обязательна,— говорить онъ, напр.,— и не надъвайте зипуна: все это лишь буква и формальность: обязательна и важна лишь ръшпиость ваша дълать все ради дъятельной любви, все, что возможно вамъ, что сами искренне признаете для себя возможнымъ. Всъ же старанія опроститься— лишь одно только переряживаніе, невъжливое даже по отношенію къ народу и васъ самихъ унижающее. Вы слишкомъ сложны, чтобы опроститься, да и образованіе ваше не позволить вамъ стать мужикомъ. Лучше мужика вознесите до вашей осложненности. Будьте только искренни и простодушны. Это лучше всякаго опрощенія. Одна награда вамъ — любовь, если ее заслужите. Въдь глупъ мужикъ, дикъ мужикъ, необразованъ онъ, какъ же говорить: что дъла нътъ?.."

Какъ же смотрълъ Достоевскій на народъ, разъ служеніе ему является первымъ, самымъ большимъ и важнымъ дёломъ въ жизни интеллигента? "Обстоятельствами всей почти русской исторіи,—говорить онъ,—народъ нашъ до того былъ преданъ разврату и до того былъ развращаемъ, соблазняемъ, мучимъ, что еще удивительно, какъ онъ дожилъ, сохранивъ человъческій образъ, не то что сохранивъ красоту его. Но онъ сохранилъ красоту своего образа. Кто истинный другь человъчества, у кого хоть разъ билось сердце по страданіямъ народа, тотъ пойметь и извянить всю непроходимую пакостную грязь, въ какую погруженъ народъ нашъ, и сумъетъ въ этой грязи найти брилліанты. Повторяю: судите русскій народъ не по гѣмъ мерзостямъ, которыя онъ часто дѣлаетъ, а по тѣмъ великимъ и свѣтлымъ вещамъ, по которымъ онъ и въ самой мерзости своей постоянно вздыхаетъ. Идеалы его чисты, сильны и святы". Это — христіанскіе

идеалы. Они проявляются въ отреченіи отъ самого себя, въ стреиленіи послужить другому, въ любви и состраданіи къ несчастному. Или вотъ какія, между прочимъ, наблюденія надъ народомъ сдѣлалъ Достоевскій на каторгь: въ каждомъ мужикъ, даже арестантъ, онъ увидълъ не только чувство правды, душу, но и сознаніе собственнаго достоинства, требованіе справедливости.

"Высшая и самая ръзкая характеристическая черта нашего народа, это чувство справедливости и жажда ея". Или: "Арестанть самъ знаеть, что онъ арестантъ-отверженецъ, и знаеть свое мъсто передъ начальникомъ: но пикакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его. что онъ-человъкъ. А такъ какъ онъ дъйствительно человъкъ, то, слъдственно, и надо обращаться съ инмъ по-человъчески. Воже мой, да человъческое обращение можеть очеловъчить даже такого, на которомъ давно уже потускитьть образь Божій. Съ этими-то несчастными и надо обращаться наибол ве по-челов вчески". Какой вивств съ темъ глубокой гуманностью проникнуто его отношение къ арестантамъ. Вездъ онъ не только жалъетъ ихъ, онъ въ нихъ видитъ людей, онъ за ними признаетъ челов'вческое достоинство: "И сколько въ этихъ ствнахъ погребено напрасно молодости. сколько великихъ силъ погибло здъсь даромъ. Въдь надо уже все сказать: ведь этоть народь необыкновенный быль народь. Ведь это, можеть быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виновать?.. То-то, кто виновать?"

Въ каждомъ человъкъ личность есть, сознание собственнаго достоинства, стремление къ счастью, требование справедливости. Подавите все это, оно непремънно проявится, коть судорогой, но проявится. Припомните разсуждения Достоевскаго о значении денегъ въ острогъ, или вотъ этотъ глубоко-замъчательный отрывокъ:

"Удивляются иногда начальники, что воть — какой нибудь арестантъ жилъ себе несколько леть тамъ смирно, примерно, даже десяточнымъ его сделали за похвальное поведеніе, и вдругь решительно ни съ того, ни съ сего, — точно бесь въ него влезъ, — зашалилъ, закутилъ, набуянилъ, а иногда даже просто на уголовное преступленіе рискнулъ, или на явную непочтительность передъ высшимъ начальствомъ, пли убилъ кого-нибудь, или изнасиловалъ и проч. Смотрятъ на него и удивляются. А между темъ вся-то причина этого внезапнаго взрыва въ томъ человеке, отъ котораго всего мене можно было ожидатъ его, — это тоскливое, судорожное проявленіе личности, инстинктивная тоска по самомъ себе, желаніе заявить себя, свою приниженную личность, вдругъ появляющееся и доходящее до злобы, до бешенства, до омраченія разсудка, до припадка, до судорогъ.

Такъ, можетъ быть, заживо схороненный въ гробу и проснувшійся въ немъ колотитъ въ свою крышку и силится сбросить ее, хотя, разумъется, разсудовъ могъ бы убъдить его, что всъ усилія останутся тщетными. Но въ томъ-то и дъло, что туть уже не до разсудка, туть судороги".

Правда, такіе взгляды на народъ оказались слишкомъ "здравыми" для Достоевскаго. Зачастую принимали они другую, очень замѣтную окраску. Не чувство справедливости, не собственное достоинство выдвигалось ему на первый планъ, — а смиреніе, способность побѣждать жизненное зло внутренней силой. Народъ за этотъ послѣдній періодъ является для Достоевскаго великой, молчаливой массой, въ глубинѣ которой таится вся жизненная правда, рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, помощью любви, вѣры, нравственнаго первенствующаго во всемъ начала. Это, такъ сказать, кладезь всей сердечной премудрости, основа всего будущаго нашего и европейскаго, и мѣнять его жизнь по собственной программѣ, по собственнымъ интеллигентнымъ идеаламъ не только нельзя, но и прямо грѣшио. Народъ лучше знаетъ, что ему надо, и прежде всего надо выслушать его.

Съ какой-то ненавистью даже Достоевскій оттоняль оть своего излюбленнаго народа всёхъ интеллигентныхъ реформаторовъ. Что есть у тёхъ? Наука, свои ндеалы, свои страсти. У народа — больше, у него правда. "Послушаемъ сёрыхъ зипуновъ, — писалъ Достоевскій въ последнемъ номеръ своего "Дневника", "что-то они скажутъ... А мы пока постоимъ въ сторонкъ, чтобы научиться". Иногда же отрицаніе права интеллигенціи вмёшиваться въ народную жизнь принимала гораздо болёе рёзкую и раздраженную форму. Парадоксальный, быстро раздражающійся, всегда рёшающійся на крайности умъ не зналъ удержу и въ этомъ вопросъ. Но все же Достоевскій— народникъ прежде всего, — народникъ потому, что изъ всёхъ факторовъ русской жизни считалъ народъ за самый важный, большой. Внё народа нётъ дёнтельности, нётъ жизни. Это—сила, которой предназначено претворить въ себё все и разрёшить всё наши вопросы однимъ великимъ, выстраданнымъ принципомъ—любовью.

Славянофилы.

Въ 70-ыхъ годахъ славянофилы обрѣли прежнюю энергію, но и она не привела ни къ какимъ замѣтнымъ результатамъ. Неуспѣхъ отъ начала до конца преслѣдовалъ это направленіе, хотя ему и не приходилось жаловаться на отсутствіе дарованій. Въ описываемую эпоху, кромѣ Достоевскаго, во главѣ его стояли: извѣстный Ив. С. Аксаковъ и Н. Я. Данилевскій, попытавшійся въ своей любопытной книгѣ

"Россія и Европа" представить славянофильское ученіе въ систематическомъ видъ. Роль Ив. С. Аксакова, какъ пуслициста и оратора, была довольно странная; онъ постоянно не ладилъ съ администраціей за свой либерализмъ особенно за защиту свободнаго слова, и въ то же время либерально настроенное общественное мизніе относилось къ нему равнодушно, порою даже пренебрежительно. Онъ самъ тоскливо чувствоваль, что любимыя его панславистскія иден не пользуются ни любовью, ни вісомъ. Рыцарски, хотя и безнадежно служиль онь имъ до конца, все больше сознавая свое одиночество и безнадежность своей проповъди. Онъ воспрянуль было духомъ въ подготовительный періодъ русско-турецкой войны, его ръчи гремъли на всю Россію. Но вителлигенція все же не хотъла ихъ знать: въ міросозерцанів Аксакова было слишкомъ много патріархальнаго, чтобы передовой лагерь призналь его своимъ. Панславизмъ же въ русскомъ обществъ почвы не имъетъ. Любопытно отмътить, между прочимъ, то обстоятельство, что наибольшею популярностью Аксаковъ пользовался среди прупной московской буржуваін. Та прямо обожала его за его патріотизмъ и воинственность. Къ Ивану Аксакову особенно хорошо идеть одна изъ последнихъ характеристикъ славянофильства, данная въ нашей литературъ: "славянофильство-это напіоналистическій либерализиъ, одинаково благосклонный и къ господствующему аграрному классу, и къ проиышленной буржуазін, и въ то же время проникнутый романическими симпатіями ко встять исторически сложившимся и упрочившимся силамъ, учрежденіямъ и бытовымъ формамъ страны. Какъ либерализмъ, славянофильство было за свободу печати, за независимый судъ, противъ крипостного права; какъ историческая романтика, оно отстанвало освобожденіе крестьянъ съ землей и историческій "міръ"; благосклонность его къ дворянству выражалась въ принципіальномъ признаніи историческаго сословнаго строя; отношение его къ промышленной буржувайи характеризуегся отстанваніемъ протекціонняма и даже специфически предпринимательскихъ интересовъ (напр., противъ фабричной инспекціи). Кому, какому общественному слою больше всего пошло на пользу славянофильское міровозарізніе, какъ д'яйственная сила, и выразителемъ какого соціальнаго класса следуеть, потому, въ конечномъ счети считать настоящее славянофильство,это вопросъ сложный и, я думаю, и посл'в любопытной попытки Шульце-Геверинца-открытый" (П. Струве). Для меня, впрочемъ, во всякомъ случать патріархально - дворянскія симпатін Аксакова, ясиже его либерализма и сочувствія промышленному сословію, хотя онъ и состояль на служов у последняго, какъ председатель одного изъ московскихъ банковъ. – H. H. Данилевскій, какъ я сказалъ выше, задумалъ дать систематическое изложение славянофильства. Славянство онъ считаеть особымъ вультурноисторическимъ тиномъ, назначение котораго—завершить міровую культуру, "Мы можемъ надъяться,—говорить онъ,—что славяно і пльскій типъ будеть первымъ полнымъ четырехъ-основнымъ (т. е. сочетающимъ въ себъ дъятельность религіозную, культурную, политическую и общественно-экономическую) культурно-историческимъ типомъ. Особенно оригинальною чертою его должно быть имъющее въ первый разъ осуществиться удовлетворительное ръшеніе общественно-экономической задачи". Надо однако сказать, что прекрасныя надежды Данилевскаго обоснованы далеко не убъдительно и не выдержали даже довольно поверхностной критики Вл. С. Соловьева.

Общія замічанія о литературі 70-жь годовъ.

Главное ея русло — радикально-народническое, вызвавшее ярую оппозицію со стороны дворянско-государственной программы Каткова. Въ сущности продолжалось дъло 60-хъ годовъ и "Современника", но уже съ яркимъ характеромъ романтизма.

Выше я ограничился лишь самой общей характеристикой этихъ слишкомъ близкихъ отъ насъ, часто неясныхъ и часто таниственныхъ 70-хъ годовъ. Одинъ только фактъ съ полной очевидностью выступаеть наружу, что, разочаровавшись въ правительственныхъ реформахъ, бъдная и малосильная русская интеллигенція решила все же настанвать на нихъ. Это была безумная мечта. Малость, обидная недостаточность сплъ, полное незнаніе дійствительности, фантастичность всіль надеждь на народь, который долженъ понять интеллигенцію, и рядомъ съ этимъ безм'єрность стремленій-воть что прежде всего бросается въ глаза. Что хотя отчасти оправдывало эту безиврность — им видъли выше. Пока же литературная картина эпохи почти что умъщается для меня въ такомъ воть образъ. Представьте себъ, что люди-достаточно смълые взбираются вверхъ по катящемуся внизъ леднику. Имъ самниъ и темъ, кто смотрить на нихъ со стороны, кажется, что ндуть они чрезвычайно скоро. Въ действительности такъ оно и есть, но-увы-какъ ни старались наши путники, они, въ концъ концовъ, остались на прежнемъ мъстъ, а можетъ быть спустились даже ниже, потому что ниже и ниже катился самъ могущественный ледникъ жизни. Дело шло не къ упроченію связи и братства между людьми, а къ ихъ большей разрозненности, не къ торжеству крестьянскихъ общинныхъ устоевъ, а къ торжеству капитализма, не къ развитію общественной самодъятельности, а къ обращенію ея въ ничто. Но все же была минута, когда б'ёдная и малосильная русская интеллигенція думала и в'ёрила, что она преодолъетъ все ей враждебное.

Въ 70-хъ годахъ выяснился фактъ решительной победы капитализма надъ устоями крестьянскаго хозяйства и могущество дворянской, государственной традиціи. Это вызвало разочарованіе интеллигенціи въ своихъ силахъ и въ общемъ отреченіе отъ прежнихъ надеждъ (80-ые годы).

Но въ литературномъ отношеніи это несомивно одна изъ самыхъ богатыхъ и содержательныхъ эпохъ. Нравственная идея, признающая святость, высокое достоинство и равноцвиность человвическихъ личностей. окончательно закрвпилась за нашей литературой, ярко обозначивъ ея характеръ религіозно-общественнаго служенія. Въ основъ—подвижничество во имя міровыхъ, по существу чисто христіанскихъ цвлей.

80-ЫЕ И 90-ЫЕ ГОДЫ.

Общая характеристика 80-ыхъ годовъ.

Это годы не только развитія и укріпленія капитализма, но и значительнаго торжества его духа въ обществі и литературі, годы хищническаго раззоренія хозяйства и хищническаго раззоренія человіческой души борьбой за существованіе. Это годы отказа оть наслідства отцовь, торопливаго исканія новыхъ словъ и путей, годы тоски и приниженности и въ то же время годы наглаго глумленія надъ святыней прежвихъ идеаловъ.

Покольнію 80-хъ годовъ была завыщана мечтательная, но великольнная идея "облагод втельствовать народъ" и устроить общее благополучіе. Такая задача была неизмеримо трудной, пришлось отказаться оть нея, или, по крайней мъръ, сузить и ограничить ее до неузнаваемости, свести къ работамъ самосовершенствованія и удаленія отъ соблазновъ жизни или къ собиранію отбросовъ въ пользу страждущихъ и угнетенныхъ. Не всв примирились съ такимъ исходомъ, а у техъ, чьи замыслы были шире, чьи чувства восторжениве, чья впечатлительность больше, -- разочарованіе навсегда осталось въ душъ. Эта, вынужденная обстоятельствами, измъна грезамъ юности и послужила исходнымъ пунктомъ все разроставшагося ирачнаго и неудовлетвореннаго настроенія. Если, разсуждали, я ничего не могу сделать для народа, кроме какъ дать ему свою ненужную жалость, -- то что могу я сделать вообще? Что я могу знать? Что я могу любеть, во что я могу върить? Основные вопросы бытія выступали на сцену, но разумъ отвъчалъ на нихъ полнымъ молчаніемъ. Онъ не сказалъ, да и не могъ свазать ин слова о загадкъ жизни и смерти, о таниственномъ прошломъ и таинственномъ будущемъ нашего сознанія. безсилія отъ постоянной встрічи все съ новыми неразрішимыми метафивическими и нравственными задачами увеличивалось и удесятерялось. Выло ясно одно, что старыя народническія формулы обветшали и больше не годились, что дававшее имъ плоть, кровь и силу настроеніе-исчезло, что

въры въ мужика больше нътъ... Куда же было приткнуться? Какъ бы, отвъчая настроенію, г. Минскій написалъ недурное стихотвореніе, довольно ярко передающее настроеніе растерянности:

...Впереди
Съ тайной надписью камень стоялъ одинокій.
И прочелъ я на немъ приговоръ свой жестокій.
Я прочелъ: "Здѣсь лежатъ предъ тобой три пути.
Здѣсь раскрыты три къ жизни ведущія двери,
Выбирай, что твоимъ отвѣчаетъ мечтамъ:
Пойдешь вправо: жди совѣсти тяжкой потери,
Пойдешь прямо—съѣдятъ тебя лютые звѣри,
А налѣво пойдешь—станешь звѣремъ ты самъ"...
—И заснуть, о друзья, предпочелъ я въ предверьи...

Г. Минскій человъкъ умный и талантливый и прекрасно понимаетъ, что такое съ нимъ случилось и какая струна оборвалась въ его поэтической "лиръ". Прежде муза звала его "туда, на тъсный путь лишеній и борьбы, гдъ счастье — ръдкій гость, гдъ горе — гость привычный", и внушала ему такія прекрасныя филантропическія мысли, какъ: "ступай передъ толпой со словомъ окрыленнымъ, съ ней вмъстъ и живи, и вмъстъ умирай" — теперь, подчиняясь общему духовному маразму, общей растерянности, онъ понялъ, что все это не для него, — для него что-нибудь другое...

Сказалъ: "прости" онъ людямъ безсердечнымъ И въ глушь пустынь бъжалъ отъ нихъ какъ звърь.--

Кого не смущало тогда это новое слово? Кто не тщился сказать его уже просто потому; что большой спросъ не можеть не вызвать, въ концъ концовъ, и большого предложенія? Няцше, символисты, декаденты, маги, никогеренты, импрессіонисты, и Гегель, Фихте, Шеллингь, Шопенгауэръ, Юркевичъ и ужъ я не знаю, кто былъ призванъ на помощь пошатнувшейся русской мысли и, чорть знаеть, что за сутолока была на сцень,--точно въ третьемъ отдълении психівтрической лівчебинцы... Теперь, повторяю, когда кризисъ миновалъ и мы опять выбрались на дорогу, когда намъ предстоить такая работа, какъ пересмотръ всехъ прежнихъ верованій, взглядовъ на задачи жизни и дізтельности, на роль искусства и науки съ новой точки зренія, когда все яснее вырисовывается мысль, что до сихъ поръ ны въ унственномъ и нравственномъ отношения все еще жили традиціями крепостной культуры съ примесью благороднейшихъ утопій, когда мы действительно нашли орудія, при помощи которыхъ можемъ исполнить наконецъ зав'яты хорошихъ людей въ роде Добролюбова, Щедрина и т. д. и искоренить въ себъ и кругомъ всъ слъды връпостияче-

Digitized by Google

ства, когда наконець въ роли жизненнаго руководителя является не просто прекрасная во всъхъ отношеніяхъ и гуманнъйшая идея, а идея, продиктованная исторіей, — непонятно, какъ могли мы считать чъмъ-то серьезнымъ, напр., толстовщину, представляющую изъ себя отъ начала до конца сплошное недоразумъніе съ философской точки зрѣнія и рѣшительно ни для кого не обязательное лирическое изліяніе старо-барскаго духа со всякой другой. Прежняя утопическая закваска была еще слишкомъ сильна, только поэтому толстовщина и имъла нѣкоторый успѣхъ: конечно, что можеть быть пріятнѣе, какъ одной вѣрой заставлять ходить горы, одной любовью кормить голодныхъ мужиковъ и получать въ Ясной Полянѣ отпущеніе грѣховъ, отвѣты на всѣ вопросы и сомнѣнія взволнованной со-къстя?

Но Л. Н. Толстой страшно крупный человъкъ, поэтому и его ошибка была крупныхъ размъровъ и, въ концъ концовъ, ничего, кромъ пользы, не принесла. Толстой въ сущности сдълалъ очень простую вещь: онъ взялъ всъ посылки народничества, настоящаго, коренного, и сдълалъ изъ нихъ крайніе выводы. Въчное заигрываніе съ мужикомъ было ему противно, платоническіе восторги передъ мужицкой добродътелью также. Съ геніальной прямолннейностью онъ сказалъ людямъ: "вы утверждаете, что крестьянская жизнь выше, разумнъе вашей, въ такомъ случаъ живите какъ крестьяне и въ основу всего положите самоличное удовлетвореніе всъхъ своихъ потребностей". Онъ сказалъ дальше: "вы сами видите, что культура не удовлетворяетъ васъ, строй же мужицкаго бытія она несомнънно рушитъ: въ такомъ случаъ откажитесь отъ культуры". Больше Толстой ничего не говорилъ, но его слово было прямо и твердо, не вынося такого испытанія водой, мечомъ и огнемъ, не могло не рухнуть.

Толстой могъ дъйствовать обаяніемъ своего имени, своимъ огромнымъ художественнымъ талантомъ, тъмъ, наконецъ, что онъ ни на шагъ не уклонялся отъ главнаго теченія русской интеллигентной мысли XIX въка, руководился въ пустывъ сомнънія прежнимъ огноннымъ столпомъ и предоставлялъ полную возможность "расплаты" и притомъ расплаты суровой "за роскошныя забавы предковъ", "ихъ легкомысленный ребяческій развратъ"—и это понятно. Меланхолическая славянская натура, только что начинающая вывариваться въ котлъ цивилизаціи, въ концъ концовъ, вялая и не энергичная, любящая грезы, нравственную схоластику и бродяжество по мати-пустынъ, чуть-чуть хватившая науки, но далеко еще не увъровавшая въ нее, какъ въ непреложное условіе земного человъческаго бытія, или же готовая ежеминутно обратиться къ ней съ наивной дътской просьбой: "мама, доставь мнъ луну съ неба и объясни мнъ тайну жизни, и смерти"—не могла не откликнуться на призывъ къ мужицкой нирванъ,

и быль сдълвив десятокъ, другой попытокъ въ этомъ направлении, кончившихся или неудачей, или какой-нибудь пошлостью, въ родъ саполюбивой ссоры между участниками. Но толстовщина — это частица 80-хъ годовъ, у которыхъ, какъ я выше занфтилъ, дюжина дюжинъ и еще другихъ настроеній, теперь уже окончательно похороненных и мало даже повятныхъ. Возьмите хотя бы г. Волынскаго или нашихъ новаторовъ свиволизма, лекаданса, эстетики. Г-нъ Волынскій тоже відь шуміль и изображаль изъ себя фигуру. Почему же онъ изображаль изъ себя фигуру? Потому, конечно, что онъ задумалъ переоцвику литературныхъ цвиностей, но принялся за дъло такъ безтактно, такъ плохо понимая, какія стремленія связаны съ нъкоторыми именами, что естественно, если скоро его перестали совершенно слушать. Онъ не поняль Бълинскаго, онъ не поняль шестидесятыхъ годовъ, доказывая, какъ Бълинскій, Чернышевскій, Писаревъ и Добролюбовъ и др. были мало образованы и мало начитаны по части немецкой идеалистической философін. Смотреть такъ на дело--значить заниматься китайской живописью и не признавать никакихъ условій исторической перспективы. Допустимь даже, что Вълинскій и не понималь Гегеля, — это въ сущности несправедливо: можно ли на основаніи такихъ соображеній ставить ему обвинительный приговоръ? Конечно, нътъ. Задача Бълинскаго сводилась совствиъ не къ тому, чтобы растолковать русской публик'в діалектическій методъ, а къ чему-то совершенно другому-къ тому, чтобы поднять въ обыватель уважение къ себъ и къ личности человъческой вообще, чтобы выяснить ему общественную роль и значение литературы въ жизни, чтобы внушеть цонемание действительно прекраснаго и ціннаго и отучить отъ восторговъ передъ громомъ и трескомъ классической музы. Если бы даже онъ никогда не слыхалъ имени Гегеля и не словомъ не обмолвился объ "единой, въчно развивающейся идеь", дъло обстояло бы такъ же, какъ оно обстоить и въ настоящую минуту. Потому Бълпискій во всемъ, что не относилось прямо къ вопросу о красотъ, былъ истымъ моралистомъ и, какъ человъкъ не просто честный, а благородный въ лучшемъ смысле этого слова, шислъ право имъ быть. Чтобы понять его, надо перенестись въ ту обстановку, когда сцена была переполнена еще троглодитами классической эстетики, мастодонами пінтики и предателями, предателями, предателями, -- а сопоставлять такую-то страницу Бълинского съ такой-то страницей Гегеля---занятіе столь же плодотворное, какъ съ Гротомъ въ рукахъ выискивать ореографическія ошибки въ рукописяхъ Гоголя. Историкъ литературы, занимающійся подобными дізлами, по всей истиніз и справедливости заслуживаеть забвенія. Это значить, что онь или педанть, или пришлый челов'вкъ, кичащійся своею начитанностью, въ которой, взятой самой по себъ, ровно столько же проку, сколько въ картонныхъ орденахъ. До-

стигаеть идеала непониманія г. Вольнскій въ разборіз знаменитаго спора между Юркевичемъ и Чернышевскимъ. Онъ серьезно думаетъ, что Чернышевскаго Богъ въсть какъ интересовалъ вопрось о философскихъ преимуществахъ матеріализма надъ идеализмомъ и приходить въ ужасъ отъ пріемовъ его, но все-таки и не хочеть, и не можеть понять того простого обстоятельства, что Чернышевского интересовала не философская, а чисто публицистическая сторона дела, что въ матеріализме онъ видель прежде всего могущественное орудіе для борьбы съ пережитками старины, что онъ хлопоталь о выводахь, результатахь, а не о стройной аргументаціи. Онь видълъ себя въ центръ общества, очень взволнованнаго готовившимися и совершенными реформами, книтвинаго надеждами, часто несбыточными, но несомитьно гуманитайшеми, почуявшаго въ себт гражданскій духъ въ размъралъ, досель неслыханныхъ, видълъ ежеминутное нарождение все новыхъ вопросовъ, настойчиво требовавшихъ разрешенія, онъ искаль формуль точныхь, самоочевидныхь, способныхь кь немедленному осуществленію, и когда такіе люди, какъ Юркевичъ, старались затянуть его въ безконечный споръ на тему "такъ какъ человъкъ съ одной стороны духъ, съ другой стороны матерія-то почему сіе важно въ пятыхъ", -- овъ не могь отвечать иначе, какъ нанося презрительные полемические удары и произнося слова такимъ тономъ, чтобы люди ясно увидели, какъ Юркевичъ и Ко не ведають, что творять... Ведь тогда не было науки, не было философіи, художественной литературы, - все было окрашено публицистикой и пропов'ядью, пропов'ядью и публицистикой, и, повторяю, невъроятно просто, какъ г. Волынскій могь находить слушателей... Но все же это знаменіе времени. Конечно, г. Волынскаго очень наказали, но уже посл'в того, какъ онъ сталъ декретировать символизмъ и декадентство и кому же?--намъ, еще не жившимъ совствиъ сознательной жизнью и ни на іоту не обезпеченным отъ всевозможных внезапных пошечинь! Очевилно. что неть ничего легче, какъ вышутить восьиндесятые годы, съ ихъ китайскимъ оркестромъ, ихъ разнузданнымъ самомивніемъ, самодовольными физіономіями новаторовъ, дамами-меценатками, патріотическими балалаечниками, зудомъ тщеславія, философскимъ кувырканьемъ, символическимъ чириканьемъ и декадентскими многоточіями, но, повторяю, не всё кувыркались, многіе искали, мучительно переходя отъ одного сомивнія къ другому, отъ одной наглухо запертой двери къ другой, и тяжело было это исканіе. Съ истинной жаждой обновленія шли въ пустыню питаться акридами и дикимъ медомъ, подвижнически отръщались отъ соблазновъ жизни, истязали тело свое непосильнымъ трудомъ, нарочно вязали духъ свой, чтобы онъ въ рабствъ, тоскъ, унынін, отсутствін жизненныхъ впечативній восприняль крещеніе огненное, отказался отъ гордыни и

достигь блаженства равновісія. Не все діланное въ этопъ нытьів, стралів цередъ смертью, меланхолическомъ сознанін своего безсилія, своей безцъльности и ненужности. За крпкливыми фразами слышался стонъ духа, затерявшагося въ поискахъ безусловной правды. Развъ нало ны видъля молодыхь, здоровыхъ и образованныхъ людей, но недостаточно бодрыхъ и культурно дисциплинированныхъ, которые основывали колонін, чтобы стать блеже къ правдів-по коренному русскому предразсудку, скрытой въ землів. Говорю, тяжелы муки родовъ. Когда какое-нибудь міросозерцаніе, долго и властно господствующее надъ землей, -- настроеніе, захватывавшее сердце, -- цізль, казавшаяся такой самоочевидной и высокой, — изнашивается, наступаеть мучительный кризисъ. Никогда не твердое и даже сбивчивое въ своихъ теоретическихъ взглядахъ, народничество держалось лишь мистической върой въ мужика, той невольной близостью народа и интеллигенціи, которая обусловливалась сущностью кръпостного строя. "Порвалась цъпь великая" и разъединила оба элемента. Не стало д'втскихъ воспоминаній, всегда могущественныхъ-особенно же для художественныхъ натуръ, не стало грезъ юности, поневолъ сосредоточившихся возлів освобожденія закабаленной массы, — остались слова -- это жалкое рубище мысли и чувства, слова красивыя, но -- "слова, слова, слова"... Пришлось убъдиться въ одной непріятной вещи, что силы и значение интелигенціи разсиатривались до сихъ поръ въ увеличительное стекло и въ такое же увеличительное стекло разсматривались и тъ устои крестьянской жизни, которые, казалось, должны были сделать наидегчайшимъ переходъ къ новымъ общественно-экономическимъ отношеніямъ, полнъе другихъ воплощающимъ христіанскій идеаль общаго мира и братства. Но крестьянскій міръ не есть мяръ среди людей, крестьянская община такъ же далека отъ братолюбія, какъ любая акціонерная компанія, а артели, по злому выраженію одного изъ героевъ Гл. Ив. Успенскаго, созданы не сознаніемъ, не чувствомъ, а... "ну хоть вотъ этимъ самымъ сазаномъ, котораго артель ловить". Что, казалось бы, проще и удобопонятиве мысли, что изъ "ничего не выйдеть ничего" et nihilo nihil fit, но воспринять и осмыслить ее дъло совстви не легкое...

Эти предвзятыя иден—главныя цени человеческой мысли, еще въ XIX веке носящей на себе очевидные следы ледниковаго періода. Изъ ничего не выйдеть ничего. Нельзя предполагать появленія чего-нибудь прекраснаго и разумнаго тамъ, где полновластно царять нищета и невежество, где чтеніе по складамъ является редкостью, где человекъ имееть такое же смутное понятіе о собственномъ достопнстве и удобствахъ жизни, какъ рабочая лошадь, где потребности сведены къ тому minimum'у, когда люди не могутъ не обратиться въ зверей. Жаль, страшно жаль этихъ несчастныхъ—но увы, жалость, только жалость—чувство совершенно безполезное.

Когда исчезла въра въ народъ (очевидно, вслъдствие его полной неподвижности) и сознаніе неприкрашенной правды жизни, правды очень жестокой и разкой, почти достигло степени очевидности-вижето прежняго, все же по извъстной степени стройнаго и опредъленнаго міросозерцанія оказалось пустое мъсто. Крикливыя идейки, наскоро выхваченныя изъ западной литературы, — идейки по грошу за фунть, — зародившіяся въ парижскихъ кабакахъ подъ разухабистые звуки канкана, -- идейки не пресытнышейся цивилизація, а ея пресытившихся уродцевъ — разумівется, не могли заполнить пустоты. Съ своей славянской меланхоліей и не совствиъ еще исчезнувшей скроиностью, мало впавыше и мало переживше, очень мало сдълавшіе для науки и общества, мы чуть ли не возменли себя экзотиками и, съ комической серьезностью образованныхъ чимпанзе, стали вынскивать зеленые оттыки луннаго света и коричневые оттынки тумана при закать солица. Оснары Уайльды-да и только. Вы скажете, быть можеть, что все это такъ себъ-пустяки. Но позвольте вамъ напомнить одинъ любопытный фактъ. Когда въ 1896 г. молодежь задумала свой студенческій сборникъ, она поручила главную его редакцію экзотическому дипломату изъ "Новаго Времени" г-ну Сигив и наполнила его такими пикантными, "возвышенно-порнографическими" произведеніями, что совъстно было читать.

Неть, растерянность была полная, и кто пережиль то время--тоть согласится со мной. Я ничего не преувеличиваю, никого не оправдываю. Я просто констатирую факть и-чтобы перейти после этого затянувшагося предисловія къ своей темі-- ставлю вопросъ: какъ должно было чувствовать себя среди общаго сумбура мысли и настроеній молодое, еще не окръпшее дарованіе? По-моему, въ достаточной степени скверно. Не къ чему было приткнуться, не съ чего было начать. Если дарование было слабо и мало энергично, оно поневолъ увлекалось первымъ, на лету подхваченнымъ новымъ словомъ, казавшимся наиболте соблазнительнымъ, и тыть сразу же губило себя, потому что сразу же пріучалось къ ненскренности, лжи, самовзвинчиванію. В'єдь приходилось именно выдумывать такія глупости, какія раньше не грезились даже дикому, въ род'в гимна бліднымъ ночамъ или романа восьмидесятилітней дівственности или чегонибудь такого дикаго, чтобы у читателя глаза выскочили изъ орбитъ. Фраза являлась, въ концъ концовъ, самодовлъющей и господствующей н тыть большая слава устоявшимь противь ея соблазиа, какъ противъ соблазна всехъ новыхъ словъ изъ душной и развратной атмосферы парижскихъ cabarets.

Мъщанство. А нежду тъпъ въ эту по виду такую сърую эпоху въ общественной жизни довершался процессъ развитія и укръпленія мющанства. Давно уже выступившая на сцену эта новая общественная группа стала какъ бы даже задавать гонъ жизни, выставляя противъ всякаго идеалистическаго порыва, послѣ всего святаго и цѣннаго въ жизни свои грубые матеріальные расчеты, свой низменный пошлый вкусъ, свою приниженную, погрязшую въ тинѣ мелкихъ стычекъ борьбы за существованіе, натуру. Распространняся не только уже капитализиъ, а духъ капиталистическаго общества—безыдейный, ограниченный и по существу жестокій. Изъ обозрѣнія народнической литературы читатель уже знаетъ, что нашъ капитализиъ инъетъ особенный и яркій характеръ кулачества и хищинчества вообще. Идейной исторической миссін у него нътъ, —онъ не завоеватель, какъ капитализиъ Запада, а "чортъ совстиъ другого сорта"— чиномъ пониже.

Мив кажется, что если внимательно разсмотрыть нашу литературу за последнія 25 леть, то общій характерь русскаго мещанства обрисуется въ очень опредъленныхъ чертахъ. Ничего грандіознаго, увлекающаго, возбуждающаго вдохновеніе широкими замыслами, см'ялостью и дерзостью мысли, ничего такого, что мы видимъ на Западъ, у насъ — по крайней мъръ въ литературномъ отражении мъщанства — нътъ и въ поминъ. Все, напротивъ того, очень мелко, и крупны лишь бумажники. Кромъ того еще непочатый уголь традиціоннаго холопства и хамства, аршининчества и самоварничества настолько очевиднаго и такъ ярко мечущагося въ глаза. что старо-барская литература, расцийть которой совпадаеть съ 70-ми годами, имъла значительное основание презрительно относиться къ этипъ кулакамъ и міробдамъ, третировать ихъ, говорить о ихъ силь, но совсемъ не бояться ихъ. Еще любопытиве, быть ножеть, что Достоевскій совсвив даже не затронулъ итщанства: очевидно, что оно совствиъ не интересовало его, хоть онъ быль санымъ нервнымъ, впечатлительнымъ и геніальнымъ сыномъ русскаго города-этой все еще полудеревии. Щедринъ постоянно говорить о нашихъ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ, нашихъ биржевикахъ и Губониныхъ, но решительно отказывается видеть въ нихъ грядущую общественную силу. Для этого онъ слишкомъ баринъ, и еще болье баринъ, разумъется, Толстой, но Толстому уже пришлось кой-чъмъ поступаться, хотя и съ большой неохотой, пришлось -- хотя только теоретически -нризнать власть денегь въ своей брошюркв "Что такое деньги" и даже изобразить перевернутые вверхъ дномъ, подъ вліяніемъ новыхъ капиталистических отношеній, деревенскіе нравы въ своей "Власти тымы". Но Толстой стоить слишкомъ высоко надъ жизнью, слишкомъ вервть и въ мощь народа, и въ мощь души человъческой, способной къ возрожденію, — какая бы жизненная грязь не насъла на нее, - -чтобы принимать въ расчетъ силу

мъщанства. Собственно говоря, до нея ему ровно никакого дъла нътъ. "Отечественныя Записки", какъ журнальная группа, считали возможнымъ третировать ивщанство, что понятно, хотя и не доказываеть ихъ проницательности. Но одивъ изъ самыхъ крупныхъ представителей этой журнальной группы—Г. Ив. Успенскій, серьезніве других отнесся къ тому, какъ орудуеть чумазый, и въ сущности быль очень близокъ къ признанію за нимъ побъды въ недалекомъ будущемъ, но помъщало этому странное обстоятельство-почти мистическая надежда на барина-интеллигента, который воть-воть придеть въ деревню и устроить тамъ благораствореніе воздуховъ. Маминъ-Сибирякъ пошелъ гораздо дальше и сохранилъ лишь свои народническія симпатін просто какъ дорогую, красивую мечту, какъ чудный сонь, виденный когда-то въ детстве, который для действительности и для котораго действительность не имееть никакого значенія. Честь провозглашенія мізшанства, какъ новой общественной силы, несомнічно принадлежить г. Боборыкину, но необходино заметить, что совершиль онъ это хотя и восторженно, но неубъдительно. Онъ ограничился громкими словами, кое-какими эффектными проявленіями денежнаго могущества, а затыть даль шаблонь французскихь адюльтерно-психологическихь романовъ. Жизненнаго матеріала у него для общественной картины не хватило, потому что для этого недостаточно побывать на московскихъ амбарахъ и еще менъе достаточно прочесть, сидя на лихачъ, полуграмотную вывъску на нихъ. Но какъ бы то ни было, литература заинтересовалась ивщанствоиъ особечно въ 80-ые и 90-ые годы, когда жизнь выяснила, что такой интересъ инфеть глубочайшее основание въ действительности — заинтересовалась и общественной противоположностью иты данства т. е. рабочнин и продетаріями, какъ продуктомъ новыхъ экономическихъ отношеній. Всемъ было очевидно, что приходится уже им'єть дело не съ купцами Гоголя или Островскаго, а съ новой породой людей, присвоившей себъ, если не общественныя привилегіи дворянства, то во всяковъ случать его матеріальную силу и даже сознавшей ее. Знаменитая фраза какогото московскаго милліонера: "мы все можемъ!" -- показалась, разумъется, сившной и была объяснена лишь иногочисленностью тостовъ во славу и за процвътание российской промышленности, но самая возможность такой фразы и крупица истины, заключавшаяся въ ней, были, во всякомъ случать, однимъ изъ знаменій времени. Мітщанство нашло своихъ пітвцовъ и толкователей, такихъ милыхъ молодыхъ людей, которые старались даже показать намъ всю глубину и красоту его психики, напр., Вл. Ив. Немировича-Данченко, который съ ловкостью совершенио военнаго человъка расшаркивался передъ своими дамами и кавалерами и въ своей пьесъ "Пель жизни", и въ своихъ романахъ, названія которыхъ къ сожаленію

не помню. Кое-что, но въ счастью въ другомъ тонъ можно найти у Вас. Ив. Данченко въ его "Волчьей сыти" и другихъ вещахъ ("На пути къ счастью" и пр.). Но все же больше всего въ этомъ отношения сдълали-Маминъ, Чеховъ и Горькій. Горькій въ своемъ "Оомъ Гордъевъ" нарисовалъ две действительно крупныя фигуры межанства - Шурова и Маякина. наметивъ очень интересный и новый типъ въ лице Тараса и человека такой же складки, хотя и меньшаго размаха — сына куппа Пфтунникова (Бывшіе люди). Щуровъ Горькаго-прежде всего хищникъ крупной породы, не останавливающійся даже передъ уголовными преступленіями, въ родъ дъланія фальшивыхъ денегъ и убійства, Маякинъ-тоже хищникъ, но не безъ иден купеческаго могущества. Щуровъ просто разбойникъ. Маякивъ уже постигь все великое значение формальной правды, законнаго основанія, в провороваться для него немыслимо. Грізль, за который надо отвівчать лишь передъ Богомъ и совъстью, онъ возьметь на душу, но на явное преступление съ его непріятными уголовными последствіями онъ не пойдеть. Самое цвиное въ немъ---это сознание собственной силы, признания которой онъ требуеть отъ жизни и съ увъренностью ждеть его. Однако въ основ' своей натуры онъ все еще хищникъ, хотя и чествуемый, хотя в узаконенный, хотя и не нарушающій постановленій свода законовъ. Вся суть лишь въ томъ, что его хищинчество систематическое, а не внезапныя нападенія и грабежи среди бълаго дня и на большой дорогъ, какъ нападенія Щурова. Но дійствительно великое по художественной чолноть, по цъльности производимаго впечатлънія, по той красочности, которая напоминаеть лучшія созданія великихъ мастеровъ искусства, выраженіе мѣщанскаго хищничества ны находимъ въ произведении Чехова "Въ оврагъ". Я не могу здёсь подробно поговорить объ этомъ изумительномъ разсказ в -или нътъ, не разсказъ даже, а цълой поэмъ, такъ что ограничусь всего нъсколькими словами. Геронней "Въ оврагъ" является Аксинья — этотъ настоящій Бридо Бальзака въ юбкі, только безъ его размаха, безъ его словъ. Аксинья все время молчитъ и говоритъ только во время убійства ребенка, но темъ она страшите. Въ этомъ ея молчаніи есть что-то действительно пугающее и более страшное, чемъ въ целомъ лексиконе самых пугающих и страшных словъ. Это сдержанная злость, глубочайшее челов' вконенавистичество. И это чувствуется. "А теперь, — говорить наивная простенькая Липа, -- Аксиньи боюсь. Она ничего, все усмъхается, а только часомъ взглянеть въ окошко, а глаза у ней такіе сердитые и горять зеленые, точно въ хлівну у овцы... Вчера за объдомъ Аксинья говорить старику: "Я, говорить, хочу въ Бутскомъ виринчный заводъ ставить, буду сама купчиха". Говорить и усмъхается... А Григорій Петровичь съ лица потемивлъ: видно, не понравилось. "Пока, говоритъ, и живъ. нельзя

врозь; всёмъ вмёсте". А она глазами мотнула, зубами заскрипёла, "Подали оладын— не ёсть!"— "А-а-а!.. удивился Костыль. — Не ёсть". — "И скажи, сдёлай милость, когда она спить! — продолжала Лина. --Съ подчасика поспить, а тамъ вскочить, ходить, все ходить; не сожгли бы чего мужики, не украли бы чего. Страшно съ ней!".. И не даромъ боялась Липа: Аксинья на смерть обварила ея ребенка кипяткомъ, потомъ забрела все хозяйство и имущество въ руки, пустила всёхъ по міру и ничего: ничто человёческое не проснулось въ ней. Она восторжествовала, какъ темная стихійная сила и тоже безъ капли сознанія.

Если мы примемъ за установленный литературой фактъ, что нашъ мѣщанинъ хищникъ прежде всего, очень похожій на чеховскую Аксинью, то уже изъ одного этого, съ виду столь незначительнаго обстоятельства, иногое должно выясниться. Я, разумъется, далекъ отъ мысли унижать западнаго буржуа и увърять, что онъ не хищникъ. Онъ тоже хищникъ-то его неотъемленое, но не только хищинкъ. И потому съ нимъ должна быть и другая политика, и другое обращение. Напомню поэтому случай Щедрина, который въ одномъ изъ своихъ очерковъ пытался было по умному разговаривать съ Разуваевымъ, но кончилъ все же темъ, что такътаки взялъ и плюнулъ ему въ личность. И вообразите себъ, оказалось. что какъ разъ съ этого-то и надо было начать, потому что Разуваевъ уразумълъ и проникся. Но, очевидно, что съ Родсомъ или Чемберленомъ такой штуки вы не сдълаете; да вамъ и въ голову не придетъ подобный образъ поведенія, хотя разуваевская мошна одинаково, можеть быть, безграничныхъ разитровъ. Но у Разуваева хотя и бываетъ игра ума, но настоящей предприничивости, духа проимпленнаго нессіанизма-нізть и въ поминъ. Онъ даже внугренняго обозрънія не читаетъ и нисколько ниъ не интересуется. Тамъ не менъе, его вторжение въ область искусства и литературы интересны.

Вліяніе его духа—это пониженіе идейности, потому что м'єщанину, въ конц'є концовъ, нечего пропов'єдывать, не къ чему стремиться, кром'є того же—накопленія.

Хищничество вообще въ зсиледълін, торговлъ, промышленности, администраціи ведеть къ оскудънію и одичанію, хищническій индивидуализмътакъ же необходимо ведеть къ оскудънію и одичанію духа. Это почти трагизмъ и въ то же время нъчто неизбъжное. Хищническій индивидуализмъдичаеть и оскудъваеть, потому что ему некуда расширяться. Ну хорошо, человъкъ скажеть такъ: "если хочешь—иди согръщи"; или "я люблю безумную свободу"; или "мнъ все позволено"; или "я оплевалъ святыни человъчества" — а дальше что? Разъ согръщить, преступить, какъ говорилъ Достоевскій, хорошо, быть можеть, но что за удовольствіе стать гръховод-

никомъ сначала молодымъ, а потомъ старымъ греховодникомъ? Одинаково печально положеніе того, кто, по рецепту Минскаго, освободится отъ философіи, истины, добра. Просто даже въ толкъ не могу взять, что станеть дёлать тъкой несчастный человікъ? Онъ изойдеть отъ скуки и, чтобы хоть чёмъ-нибудь наполнить свою жизнь, начнеть, какъ Альма, цёловаться съ прокаженными. Быть можеть, единственно цённымъ выходомъ для него оказался бы религіозный экстазъ, но вопросъ, насколько религіозный экстазъ можеть быть глубокъ и длителенъ въ наши дни послё вёковой скептической работы и послё вёковыхъ разочарованій.

Единственное исторически возможное и исторически мыслимое расширеніе индивидуализма можеть происходить лишь въ сферт соціальности. На самомъ дъль: сдълать общечеловъческое знаніе своимъ знаніемъ, общечеловъческое искусство-близкимъ и дорогимъ, т. е. цъннымъ для себя, общечеловъческія стремленія своими стремленіями— не значить развъ расширить свою личность? Но мит думается, что мітщанскій индивидуализмъ совершенно не въ состояніи осуществить эту півль и задачи, потому что его методъ и его правственное содержание для этого недостаточны. Въ хищническомъ своемъ выражении, т. е. въ наиболее для него типичномъ, онъ начинаеть съ того, что кастрируеть личность, освобождая ее оть общественнаго содержанія. Н'єть общества или, лучше сказать, общество существуеть лишь какъ арена борьбы между индивидами, какъ ристалище конкуренцін и карьеризма. Самый верховный принципъ, который провозглашаетъ мъщанскій индивидуализмъ -- слишкомъ узокъ и одностороневъ для полноты развитія. Это принципъ накопленія. Здёсь все величіе и все ничтожество изщанства. Величіе потому, что принципъ накопленія, конкуренціи, промышленной иннціативы и предпріничивости даеть, даже ригористически приміняемый, огромный толчокъ развитію производительныхъ силъ, безъ котораго, разумъется, человъчеству не только нельзя сдълать дотя бы шага впередъ, но и жить. Ничтожество потому, что вызванное такимъ образомъ національное богатство даетъ слишкомъ мало для духовнаго развитія людей и скоръе даже ведеть ихъ къ одичанію, что блистательно подтверждають трансваальские и витайские подвиги, совершенные культурной Европой за последнее время, или эта ничтожная литература завижовъ и завитушекъ, на которые перешла американская и французская беллетристика и поэзія, на которые переходить и наша. Принципъ накопленія и роста разсматриваеть человіка лишь какъ орудіе, какъ средство, и очевидно, что мысль о полноть его развитія даже не можеть входить въ его содержаніе. Все равно, какъ въ области "добродітели" ивщанство можеть возвышаться до высокой честности и никогда до справедливости, такъ въ сферъ жизни вообще оно можетъ охранять всъ права собственника и никогда достоинство человъка. Потому что идеи справедливости и человъческаго достоинства относятся къ принципу распредъленія, а не накопленія. Задачи же распредъленія въщанство на себя не береть, чувствуя, что здъсь оно встрътится съ разными неожиданными препятствіями и сюрпризами. Оно естественно предоставило ее игръ стихійныхъсиль и случайностей, на биржъ довело эту случайность до высоты вавилонской башни. Это все равно, какъ въ нгорномъ домъ: расплата за про-игрышъ и выигрышъ можетъ быть скрупулезно честна, но при чемъ туть справедливость? И я люблю, когда мъщане говорятъ о промышленной предпрінмчивости и рость національнаго богатства—это выходитъ у нихъ хорошо, даже восторженно и я ничего не имъю, когда они говорять о добродътели и честности —это можетъ быть по ихъ части, но терпъть не могу, когда они разсуждають о справедливости. Что имъ справедливость и что они ей... Ибо справедливость— изъ области распредъленія.

Въ изображении этой плоскости и безыдейности и вщинства и борьбъ съ нимъ русская литература должна опять найти свою идею, свое возрождение.

А. П. Чеховъ (1860). Несомевно самое крупное художественное дарованіе, созданное печальной памяти десятильтіемъ 80-хъ годовъ. "Большинство героевъ Чехова лишены того огонька, который свётиль бы имъ вдали и въ которому они могли бы стремиться, Изнывая въжизненной пошлости, они поражаются въ человеческих делаль полной безсиысленностью и случайностью всего совершающагося: безсиысленно деятельное стремленіе къ добру, потому что черезъ 200 летъ люди насъ не вспомнять, безсимсленно зло, потому что оно вредить однимъ, а другимъ не приноситъ нивакой пользы, безсимсленно равнодушіе, потому что его удівль такъ же, вакъ удълъ протестантовъ, сдълаться жертвой зла... Апатія, бользненная раздражительность, неврастенія — таковы неизбіжныя свойства героевъ Чехова, которые выбств съ типичными особенностями своего класса и среды сохраняють общія черты унинія и бользненнаго сознанія безсиысленности человъческаго страданія... Въ длинной серіи разсказовъ Чехова несчастны всв: и жертвы, и обидчики, и возстающіе противъ зла и безразлично относящіеся къ нему".

Изъ крупныхъ вещей Чехова упомяну: "Степь", "Дуэль", "Палата № 6", "Моя жизнь", "Мужики", "Въ оврагѣ"; драмы: "Чайка" "Ивановъ", "Дядя Ваня", "Три сестры" и т. д.

Со своимъ огромнымъ талантомъ, своимъ неверіемъ въ счастливое

будущее людей, Чеховъ пришелъ уже на оголенное хищниками и кулаками итсто, и оно поразило его своимъ унылымъ однообразіемъ, своею безжизненностью, следами разрушенія, початью отчаянія и ненужности. Точно на какомъ-то пожарищъ, маленькіе, грязные, ошеломленные несчастіемъ люди копошатся, разворачивая обуглившіеся обломки, и огонь хищничества действительно истребиль и рыбу въ воде, и птицъ въ воздухъ, и народническое настроеніе въ душь интеллигента. Мив думается даже, что речь Астрова въ "Дяде Ване" чисто символическая и понимать ее надо шире. "Картина увада въ настоящемъ, -- говоритъ Астровъ. -- Зеленая краска леса лежить кое-где, но не сплошь, а пятнами: исчезли н лоси, и лебеди, и глухари... Отъ прежнехъ выселковъ, куторковъ, скитовъ, мельницъ и следа нетъ. Въ общемъ-картина постепеннаго и несомненнаго вырожденія, которому, поведимому, остается какихъ-небудь 10-15 льть, чтобы стать полнымь. Вы скажете, что туть культурныя вліянія, что старая жизнь естественно должна была уступить мізсто новой. Да, я понимаю, если бы на мість этих истребленных лісовь пролеган шоссе, жельзныя дороги, если бы туть были заводы, фабрики, школы, --- народъ сталь бы здоровье, умные, богаче, то выдь туть ничего подобнаго. Въ увзяв тв же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тифъ, дифтеритъ, пожары... Туть мы нивемь дело сь вырождением всявдствие непосильной борьбы съ природой, непосильной борьбы за существование. Это вырождение оть косности, оть нев'яжества, оть поливащаго отсутствія самосознанія, когда озябшій, голодный, больной человікь, чтобы спасти остатки жезни. чтобы спасти своихъ детей, инстинктивно, безсознательно хватается за всечень только можеть утолеть голодь, согреться, разрушаеть все, не думая о завтрашнемъ диъ... Разрушено уже почти все, но взамънъ не создано еще ничего..."

Дѣло туть, очевидно, не въ лосяхъ и лебедяхъ, а въ томъ, что озябшій. голодный, больной человѣкъ долженъ всю жизнь вести непосильную борьбу съ обнищавшей и расхищенной природой и разрушать все послѣднее, что попадается подъ руку, потому что ему, подъ угрозой голодной смерти дѣтей, нельзя и думать о завтрашнемъ днѣ. Дѣло туть въ опустошенной, расхищенной природѣ и въ опустошенной, тоже "расхищенной", душѣ человъка, коснѣющаго въ нищетѣ и невѣжествѣ, ошалѣвшаго и ополоумѣвшаго, отъ инщеты, невѣжества, угрозъ завтрашняго голоднаго дня. Все было, а теперь ничего нѣтъ, все водилось, а теперь все растащено и расхищено. Цѣлые уѣзды точно повторяютъ собою картивы прошлаго послѣ нашествія татаръ. И это-то "разореніе" и есть та соціологическая почвя, на которой Чеховъ рисуетъ свои жизненныя драмы.

Чеховъ, какъ никто другой, разработалъ психологію людей, которымъ

пришлось работать на голомъ мѣстѣ, раззоренномъ хищниками. "Непосильная борьба съ природой", "непосильная борьба за существованіе", "обнищаніе природы" и "обнищаніе человѣка"—воть что опредѣляеть основные моменты: усталость, даже переутомленіе и одиночество, доводящее до само-убійства, потому что ничего другого на пустомъ мѣстѣ не можеть и возникнуть.

Семидесятники звали къ борьбѣ. Они обращались къ совѣсти людей, ихъ чувству стыда, любили говорить о расплатѣ съ народомъ за вынесенное имъ въ прошломъ, за выносимое въ настоящемъ; угасавшее на ихъ глазахъ народолюбіе они старались подогрѣть картинами крѣпостного права и статистикой мужицкаго обнищанія. Они хотѣли разжалобить и вдохновить, и величіе ихъ проповѣди заключалось въ томъ, что они говорили о безкорыстіи и справедливости, что они обращались всегда къ лучшему, что есть въ человѣкѣ, старались внушить ему вѣру въ себя и свои силы, направленныя на борьбу со зломъ. Но когда оказались расхищенными и природа, и вѣра въ народъ,—на сцену выступили другіе мотивы и, прежде всего, повторяю, мотивъ одиночества и непосильной борьбы. Ихъ-то и взялъ себѣ Чеховъ.

Призыва къ борьбъ у него нътъ. Наоборотъ даже: вы найдете у него признаніе прокового, неизбъжнаго и стихійнаго хода событій". Есть даже растерянность, которая такъ естественна и понятна въ человъкъ, неожиданно для себя очутившемся на пожарище. За что, на самомъ деле, взяться, когда "разрушено почти все, а взамівнь не создано еще инчего"? Съ чего начать, если голодные, больные люди расхищають последние остатки? Конечно, не вст еще дъятели сощим со сцены. Между ними есть сильные духомъ, нисколько не жальющіе себя, радостно берущіеся за всв подвеги, нужность которыхъ подсказываеть имъ жизнь. Но проходить нізсколько літь "непрестаннаго горінія" и-посмотрите, во что обращаются эти борцы? Воть докторъ Астровъ, талантъ и уминда, клопающій рюмку за рюмкой, вотъ земецъ Ивановъ, совсемъ надорванный и переутомленный, у котораго достаеть силы лишь на самоубійство, воть честный и добрый дядя Ваня, отдавшій свою жизнь на безсимсленный подвигь, потому что на голомъ мъсть осмысленныхъ подвиговъ нъть и быть не можетъ. Духъ живъ ушелъ изъ человъка, ушла у него идея служенія, единственная идея, во имя которой можно и стоить жить, и вся жизнь погрузилась въ унылое, сврое однообразіе.

У Поэ есть картина, гдт все окрашено въ одинъ желтый цвъть—и земля, и деревья, и небо, и люди. Какъ что-то необычное — это наводить на васъ ужасъ. Господствующій тонъ всталь картинъ Чехова—тусклый и стрый, даже мутный и тяжелый осадокъ тоски: ощущеніе полной не-

нужности, безцёльности жизни остается послё всякаго его разсказа. О! Это великій мастеръ рисовать гнетущее и опустошающее впечатлёніе однообразія житейской обстановки. До ужаса, до содроганія ясно вы видите, какъ тина нищей, безыдейной жизни затягиваеть человёка, какъ все глубже и глубже погружается онъ въ предательское болото житейскихъ мелочей, дрязгъ, сплетенъ, пересудовъ. Сначала онъ барахтается, кричитъ о помощи, проклинаетъ, но понемногу тупое равнодушіе начинаетъ овладівать имъ. И тутъ онъ погибъ, и тутъ уже ність силы на земліс, которая могла бы спасти его. Онъ—обреченный и всё вокругъ него—тоже обреченные въ этой удивительно тихой, стихійно-вырождающейся жизни. Только порою на поверхность всплываетъ что-то безобразно-жестокое, и опять все мертво и тихо, тихо.

Люди растерялись, озлобились, сознательно или безсознательно подчинялись "роковымъ процессамъ" раззоренія, коснъють въ нищеть, невъжествь, эпидемическихъ бользняхъ, и ньть у нихъ въ душь ничего такого, что бы звало ихъ къ ближнимъ, что бы вырвало ихъ изъ тисковъ гнетущаго одиночества. Подавленные непосильной работой, не видя отъ нея никакого прока, озлобленные на себя, на это нищее, голое окружающее ихъ мъсто, они ежеминутно готовы на ссору. Изъ-за чего они ссорятся? А такъ, въ сущности, просто ни изъ-за чего. Просто душа изныла, просто на душь накопилось слишкомъ много злобы и раздраженія, просто они чувствують себя во власти опутавшихъ ихъ мелочей жизни и не знаютъ, какъ освободиться отъ нея, больше—знаютъ, что имъ никакъ отъ нея не освободиться. И они уже враги одинъ другого, прежде даже, чъмъ увидъли другъ друга, прежде чъмъ встрътились. Имъ не о чемъ говоритъ, когда они сойдутся, нечего дълать сообща. Они воистину "одинокіе люди".

Чеховъ часто описываетъ ссоры, и всякій разъ, какъ онъ описываетъ ихъ, поражаешься случайностью поводовъ къ нииъ и основательностью въ глубинъ души лежащихъ причинъ. Какъ все у Чехова—эти ссоры стихійны и необходимы, потому что разладъ между людьми есть только отраженіе разлада самой жизни, которая бьеть, мучаетъ, насилуетъ человъка, доводить его до одичанія и непримирниаго человъконенавистичества. Все высшее, идейное пли замерло совству, или проявляется въ какихъ-то безсильныхъ, полузадавленныхъ стонахъ, жизнь—это или ярмо, или безпросвътная муть сырого тумана, въ которой вст предметы теряютъ свои опредъленныя очертанія, становятся безформенными, почти призраками, тяжелыми и угнетающими. Нѣтъ просвъта и итъ дороги, не за что ухватиться, не на что надъяться, не во что върить, такъ какъ вся жизнь отдана во власть хищника, его подвиговъ и его растлъвающаго человъконенавистничества.

И у Чехова всегла такъ: побъждаетъ исключительно пошлость жизни; и тв люди, которые особенио втянулись въ нее, и являются ея талантливъйшими "представителями". Нравственное мужество, образованіе, благородство, прекрасные замыслы, даровитость — все это, въ концъ концовъ, гибнеть, сдается въ непосильной борьбе съ нравственной тупостью, невежествомъ, низостью духа, бездарностью. На этой-то почвъ и происходять чеховскія "трагедін обыденной жизни" и въ этомъ, прежде всего, ихъ историческое и общественное значение. Въ разсказъ "Человъкъ въ футляръ -- какой-то пошлякъ держить въ постоянновъ страхъ и трепетъ учениковъ пелой гимназіи, своихъ товарищей-учителей, весь педагогическій советь и даже весь городь, потому что самъ соблюдаеть все правила. самъ всего опасается и, по своей ограниченности, прямолинеенъ до последней степени. Въ "Дядъ Ванъ" — побъда остается на сторонъ деревяннаго профессора, который, благодаря своему тупому самодовольству, своему упрямому эгонаму, заставляеть всехъ служить себе. А порывы, мечтанія, благородные вамыслы-все это пропадаеть даромъ, все это ни въ чему въ мелкой и инщей жизни, которая не знаетъ, что съ ними делать и какъ ими воспользоваться. Чтобы героизмъ и высокіе замыслы нашли себъ мъсто и примъненіе, чтобы они не казались чъмъ-то лишнимъ и обременительнымъ, жизнь должна быть духовно богата. Въ другую эпоху и при другихъ обстоятельствайъ Лютеръ не сталъ бы реформаторомъ, а писаль бы себв тихо, мирно и благородно огромные, неуклюжие схоластическіе трактаты, въ другую эпоху Гуттенъ оставняъ бы послів себя не геніальные "разговоры", а лишь память о безобразныхъ бреттерскихъ поступнахъ, и самъ Эразмъ не пошелъ бы дальше изобрътенія новаго вида силлогизма сверхъ 60-ти или 70-ти известныхъ схоластической логикъ. И въ другой обстановкъ не надорвался бы Ивановъ или дядя Ваня, не растерялся бы въ тоскъ одниочества Треплевъ, и не являлись бы въроли побъдителей Аксиньи и "человъки въ футляръ".

Реальную обстановку этихъ жизненныхъ драмъ, слишкомъ даже обычныхъ, чтобы не давать тона жизни, Чеховъ находитъ въ провинціальной скукъ, однообразіи провинціальнаго существованія, его уныніи и безыдейности. Провинцію онъ великольшно знасть, и, кажется, у насъ не было еще писателя, который захватилъ бы ее такъ глубоко и взглянулъ на нее такъ безнадежно, какъ онъ. У него ньтъ жалобъ и проклятій, какъ у Герцена и Щедрина, ньтъ невольной органической любви къ этой тихой и мирной жизни, невольнаго тяготьнія къ ней, какъ у Островскаго. Все тускло, съро, а главное—безнадежно, вездъ следы хищничества и разоренія, вездъ нищета духовная и матеріальная. Теперь вышли въ свъть нъсколько томовъ полнаго собранія сочиненій Чехова

Надо перечесть ихъ страницу за страницей, чтобы изъ этой мозании случайныхъ, повидимому, фактовъ, часто анекдотовъ, сложилась стройная и воистину грозная картина опустошенія природы и человіческаго духа, и то обстоятельство, что Чеховъ не жалуется, не протестуєть, совістливо воздерживается отъ какихъ бы то ни было "отрадныхъ фактовъ", даже самыхъ крохотныхъ, разумітется, только усиливаетъ впечатлітніе. Все, вплоть до надеждъ, мечтаній, порывовъ, до честныхъ и размашистыхъ стремленій юности, разграблено, и на этомъ голомъ мітть человіть одинокъ и тімъ боліте одинокъ, чітмъ онъ умите, талантливіте, лучше.

Но Чеховъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ художникъ, чтобы оставаться на реальной соціологической почвѣ. Разработавъ, какъ никто, психологію людей, живущихъ на голомъ мѣстѣ и во имя своего озлобленнаго культа самосохраненія губящихъ и душащихъ все талантливое и идейное, — онъ хочеть символизировать, выйти изъ узкихъ и тѣсныхъ рамокъ даннаго историческаго момента, данной провинціальной обстановки и свой безнадежный пессимизмъ, свою тоску невѣрія распространить на жизнь вообще, связать ея ничтожество не съ временными обстоятельствами, которыя могуть измѣниться, а съ органическими свойствами человѣческой природы, и вмѣсто образа обреченнаго поколѣнія дать образъ обреченнаго человѣчества. Здѣсь, стоя на этой высотѣ, онъ по необходимости становится сатирикомъ, потому что постоянно указываеть на противорѣчіе между мечтами и прозой жизни, между созданной себѣ человѣкомъ иллюзіей собственнаго могущества и его дѣйствительнымъ ничтожествомъ.

Въ глазахъ Чехова случай въ человъческой жизни превращается въ необходимость, и неть ровно ничего случайного, потому что все случайно. Возьмите такое происшествіе, какъ разрушеніе Помпен, за полчаса до котораго цъловались влюбленные, или лиссабонское землетрясеніе, остановившее какую-нибудь дьявольскую интригу, или что-нибудь въ токъ же родъ, такъ же мало зависящее отъ воли человъка, какъ погода или солнечное затменіе, распространите вліяніе такого рода событій, меньшихъ по разм'тру и объему, но и безчисленныхъ зато, на всю жизнь, прослъдите ихъ могущество, ихъ трагическія послідствія-- и вы получите міросозерцаніе Чехова. Наше земное существованіе для него калейдоскопъ, вырисовывающій драму за драмой. Дівочкі хочется спать, а ребенокь, . котораго она нянчить, мъщаеть ей, и спросонокъ она его душить. Бродяга земли русской встречаеть на почтовой станціи чудную девушку и чувствуетъ -- больше, чти чувствуетъ -- знаетъ, что онъ бы могъ полюбить ее встии силами своего восторженнаго духа и быть счастливымъ и что она могла бы одинаково полюбить его и также быть счастливой, но воть 7 часовъ утра и надо разъезжаться въ разныя стороны, и за этой случайной встръчей вы видите двъ совствиъ разбитыхъ жизни. Совствиъ уравновъшенный человъкъ, семьянить, начинающій уже съдтть, давно уже вошедшій въ колею мъщанскаго счастья, подсаживается изъ-за капризной прихоти въ хорошенькой незнакомкъ, и нътъ больше ин его мъщанскаго счастья, ни самодовольной уравновъшенности, а капризная прихоть превращается въ любовь и страсть.

Изъ-за чего же собственно люди борются и страдають, что заставляеть ихъ радоваться? А между темъ, постоянная безплодная борьба утомияеть, духъ устаеть отъ порывовъ, которымъ нетъ исхода въ жизни, стыдъ за свое безсиліе овладъваеть человъкомъ: онъ не можеть обдумать, разсчитать, устроить ничего. Онъ не можеть ничего и найти. И вообще, нужно ли искать что-нибудь? Не успокоиться ли на токъ, что жизнь пустая и глупая шутка, надъ которой не стоить даже и задумываться? Пусть идуть день за днемъ, завтра и вчера, пусть люди встають н ложатся съ тъмъ же недоумъніемъ и тъмъ же непониманіемъ, тъми же безтолковыми заботами, темъ же томительнымъ ожиданиемъ случайныхъ катастрофъ въ те дни, когда война или градъ на другомъ конце свъта дълаеть богатыми однихъ и выбрасываеть на мостовую тысячи тысячъ голодныхъ людей... Не все ли равно? Вёдь самаго дорогого-свободы, значенія, счастья-намъ не дано. Великое и малое, глупое и разумное, честное и безчестное свалится черезъ столько-то дней, часовъ и иннуть въ ту же могилу. Оть жизни, оть всехъ ся впечатленій, оть всей борьбы порывовъ, ненужныхъ страданій не останется ничего.

Стоить ли въ такомъ случать искать, томиться, не проще ли махнуть рукой?..

Пессимымъ Чехова чисто умственный, корень котораго въ мышленін, а не въ настроеніи, въ своеобразномъ пониманіи хода человіческой жизни и тіль то насмішливыхь, то трагическихъ каверать, которыя устранваеть съ ней судьба. Но тамъ же и источникъ его сатиры, сатиры не по адресу отдільнаго человіка, а по адресу всей жизни вообще, въ которой люди играють какую-то странную и обидную для ихъ самомнічнія роль. Это, если хотите, точка зрічнія одного изъ величайшихъ умовъ Европы—Свифта. Відь что въ сущности говорилъ Свифть людямъ? Онъ твердилъ имъ, что они очень крикливы и безпокойны, думають, что совершають великія діла, а между тіль, они лиллицуты, весь флоть которыхъ Гулливеръ уводить въ плінъ однимъ пальцемъ. Даліве онъ тверделъ, что напрасно они считають себя прекрасными, что въ сущности они безобразны и даже отвратительны, если посмотріть на нихъ боліте проницательнымъ взглядомъ, чтыть взглядъ человівка, и что, въ конців концовъ, лошади куда лучше ихъ. Такое пониманіе діла нисколько не исключаеть любви и гу-

манности и всёхъ другихъ хорошихъ чувствъ, но странность остается странностью и вызываеть какое-то обидное недоуменіе. Ну, какъ объяснить, напр., что какой-нибудь осиновый колъ въ образе профессора уметь окружить себя хорошими людьми, заставить этихъ хорошихъ людей самоотверженно служить себе всю жизнь, тратить на себя эту чужую жизнь, не давая ей не только распуститься, но и отдохнуть. А ведь тутъ скрывается драма, тутъ опустошается душа людей, и эту драму Чеховъ изображаетъ въ одномъ изъ лучшихъ своихъ произведеній—пьесе "Дядя Ваня". И онъ не разъ обращается къ ней, и очевидно, какъ сильно привлекаеть его вниманіе это обидное торжество самодовольства и глупости надъ жизнью хорошихъ людей, эта ихъ обидная власть. Онъ остается сатирикомъ, но такія его сатиры кончаютси трагедіей, какъ у Вольтера, Свифта или нашего Шелрияа.

Сатира Чехова не сатира насибшки, конечно, какъ у Горація, и не сатира негодованія, какъ у Ювенала или Щедрина, со сибхоиъ вообще она инфеть очень мало дізла, хотя,—надо замітить,—юморъ Чехова одна изъ самыхъ красивыхъ сторонъ его дарованія—этотъ удивительно тонкій, сдержанный джентльменскій въ лучшемъ смыслів этого слова юморъ, эта какъ разъ сатира, которую только и могла создать невізрующая, скептическая и метафизически настроенная эпоха 80-хъ годовъ. Влиже всего точка эрізнія Чехова подходить къ гоголевской, но Гоголь своими образами человізческаго ничтожества и пошлости вель или думаль вести къ религіи, Чеховъ не ведеть никуда.

Его сатира вся построена на основныхъ противоръчіяхъ: иллюзіи и дъйствительности, мечты и прозы жизни, крошечныхъ силъ человъка и огромности силъ стихійныхъ, претензій человъческаго разума и не только не считающагося съ ними, но и жестоко надъ ними надсивъающагося величія жизни. И потому-то, говорю я, обреченное покольніе, стиснутое и сдавленное историческими условіями своего существованія, обращается въ его глазахъ въ символъ обреченнаго человъчества. Гдв и въ чемъ вы ходъ изъ этого страннаго сплетенія ничтожныхъ случайностей—Чеховъ прямо не говорить. На поставленный вопросъ онъ отвъчаеть лишь развязками своихъ драмъ, и эти развязки ("Ивановъ", "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры") не обходятся безъ револьвера. Человъку душноему нечвиъ жить больше, и онъ убиваеть себя или... или начинаетъ жизнь, со стороны, горшую самой смерти,—жизнь, съ ужасающей ясностью сознавшую, что въ ней нъть никакого смысла и нътъ никакого и никуда выхода ("Дядя Ваня", "Три сестры").

"Признать, что нетъ выхода—есть уже своего рода выходъ",—сказалъ какъ-то Герценъ, но, конечно, только "своего рода", н Герценъ,

Digitized by Google

очень чуткій къ тайному смыслу своихъ словъ, почти сейчасъ же прибавляеть: "но чему-нибудь послужили и мы. Наше историческое дізніе въ томъ состоить, что мы нашимъ разочарованіемъ, нашимъ страданіемъ до-ходимъ до смиренія и покорности передъ истиной и избавляемъ оть этихъ скорбей слідующія поколівнія. Наше человічество протрезвляется, мы его похмелье, мы его боли родовъ".

Въ этихъ словахъ передъ вами все еще идеалисть, думающій о судьбахъ человъчества въ минуту полной разочарованности и устали и върующій въ грядущіе лучшіе дни, смиренно принимая на себя въ то же время роль "похмелья" людей. Но любопытно, что о грядущихъ лучшихъ дняхъ у Чехова говорять самые глупые люди, въ родъ полковника Вершинина ("Три сестры").

Но все-таки... что же остается человъку?

Конечно, отъ художника никто не имъетъ права требовать такого точнаго и опредъленнаго отвъта, какъ отъ критика и публициста, который не только долженъ отвътить да или нътъ, но и разъяснить, почему въ одномъ случат онъ говорить "да", а въ другомъ "нътъ". Отъ такого обязательства художникъ въ большей или меньшей степени свободенъ, какъ свободна отъ него самая жизнь, предоставляющая каждому право произвольнаго толкованія.

Выть ножеть, на поставленный вопрось Чеховъ всего ясиве ответиль. развязками своихъ драмъ и своими женскими и женственными тинами, какъ "Дядя Ваня", или герой большого разсказа "Моя жизнь". Въ развязкахъ драмъ человъкъ, разъ онъ не кончилъ жизнь самоубійствомъ, сипряется, ограничиваеть себя до конца, береть на плечи кресть свой съ тънъ, чтобы нести его безъ надежды на отдыхъ развъ послъ смерти, безъ мысли о томъ, что какъ-нибудь и когдъ-инбудь его ноша можетъ быть сброшена. Один подчиняются этому съ глухимъ ропотомъ, съ затаеннымъ проклятіемъ, насилуя все существо свое. Они какъ будто послъ долгаго выхода изъ подземной пещеры, гдв имъ пришлось заблудиться, усталые и измученные до конца, бросають въ пропасть последнюю коробку спичекъ, последнюю свечку, чтобы больще не искать и не томить себя надеждой. Еще на минуту передъ этимъ они торопливо переходили изъ галлереи въ галлерею, изранили себъ ноги этой тяжелой ходьбой, надорвали грудь отчаяннымъ громкимъ крикомъ о помощи — но теперь они поняли, что все кончено, и съ тупымъ равнодушіемъ забрались въ уголъ и свли тамъ среди непросветной мглы, безъ мысли, безъ надежды, безъ силы. Такъ кончаеть дядя Ваня.

Геронии Чехова относятся къ делу иначе. Вообще говоря, это удивительно красивыя созданія, повторяющія собой героннь Тургенева. Но въ

нихъ еще больше страстной религіозной экзальтаціи, еще больше готовности къ самоотверженному подвежнечеству. Въ Сонъ, напр., вы совстить даже не чувствуете тела или чего-нибудь земного. Это--сплошная любовь, сплошная жалость къ людямъ, вера въ красоту загробнаго міра и ожидание его. Геронии Тургенева все же чувствують и смутно сознають даже, что онъ стоять на порогъ новой жизни и ен требовательныхъ запросовъ. И онъ, какъ Елена изъ "Наканунъ", какъ Наташа въ "Рудвиъ", рвутся имъ навстречу. Что-то подсказываеть, что новая жизнь, принесеть нмъ много хорошаго, расширитъ границы ихъ маленькаго деревенскаго существованія, и это даеть имъ силу, бодрость, какую-то особенную красоту чувства собственнаго достоинства. Рядомъ съ Еленой, Наташей, Маріанной, -- любиный образъ Тургенева, это настоящая его мечта, какъ поэта, -- образъ Лизы изъ "Дворянскаго гитада", ушедшей въ монастырь, чтобы молиться о грехахъ міра, потому что никакихъ своихъ греховъ у нея не было. Это біздное, маленькое, глубоко обиженное жизнью существо нашло въ себъ селы для подвига, въ симслъ котораго не отдало даже себъ отчета, все равно, какъ нашла въ себъ силы и совершенно для такого же подвига чеховская Соня. Когда личная жизнь Сони совершенно оборвалась и впереди не стало уже чего ждать, когда тьма безнадежности огутала ее со всъхъ сторонъ, она, сдерживая слезы и занятая лишь одной мыслыю, какъ бы утвшеть одинаково страдающаго возле нея человъка, говорить ему: "Что же дълать? Надо жить... Мы, дядя Ваня, проживемъ длинный, длинный рядъ дней, долгихъ вечеровъ, будемъ терпъливо сносить испытанія, какія пошлеть намъ судьба, будемъ трудиться для другихъ и теперь, и въ старости, не зная покоя, а когда наступитъ нашъ часъ, иы покорно упремъ и тамъ, за гробомъ, иы скажемъ, что иы страдали, им плакали, что намъ было горько, и им съ тобой, дядя, инлый дядя, увидниъ жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся н на теперешнія наши несчастія оглянемся съ умиленіемъ, съ улыбкой-и отдохнемъ. Я верую, дядя, я верую горячо, страство... Мы отдохнемъ..."

Занавъсъ въ "Дядъ Ванъ" медленно опускается "надъ невыплаканными слезами, надъ загубленной жизнью..." Въдь эти слова Сони, это ея самоотреченіе, такъ же, какъ и самоотреченіе дяди Вани, теперь уже окончательно ръшившаго отдать всю свою работу на служеніе профессору и его
подагръ, — тоже самоубійство. И чъмъ другимъ можетъ закончиться жизнь,
обреченная на одиночество? И въ этихъ-то развязкахъ драмъ Чехова
открывается таинственный и грозный смыслъ великихъ словъ—не хороше
человъку быть одному. А для Чехова человъкъ одниъ, всегда одинъ:
одинъ въ реальной обстановкъ жизни, разграбленной хищниками и превратившейся въ голое мъсто, одинъ въ своихъ высокихъ порывахъ и

благородныхъ стремленіяхъ, одинъ среди природы, вынуждающей его на непосильную борьбу съ собой, одинъ передъ молчаніемъ неба...

И это—воистину глубокая драма, вызвавшая на свътъ Вожій мрачную Чеховскую сатиру.

Вообще я долженъ заметить, что говорить о литературе 80-ыхъ годовъ очень трудно: даже при нівкоторомъ знакомствів съ ней начинаеть прямо-таки рябить въ глазахъ отъ пестроты мыслей и направленій. Вылъ на сценъ совершенио несыгравшійся оркестръ, безъ всякаго признака присутствія среди него капельнейстера. Но даже не одна пестрота мыслей такъ удручающе дъйствуеть на душу, а больше всего ихъ отрывочность, неполнота, неопределенность. Каждый старался говорить отъ себя и ни у кого не достало силъ и средствъ заставить себя слушать. Выло ясно, что ищутся новые пути, что догиаты 60-ыхъ и 70-ыхъ годовъ имфють уже очень мало преданныхъ сторонниковъ, что большинству очень дорого ихъ "я", но они не желають болье отдавать этого "я" на служение общественности, что самое для нихъ важное, это обязанности по отношению къ своему я и прежде всего, его даже не нравственному, а эстетическому развитію. Но даже такая простая мысль не нашла себѣ достаточно яркой формулировки. Увлекались затемъ пессимистической философіей вообще и философіей Шопенгауэра въ частности. Но опять-таки ни одного талантливаго пессимиста и скептика литература не дала. Въ душной атмосферв этого десятильтія угасли и захирыли даже ть немногіе таланты, которые едва-едва успъвали проявиться. Достаточно взглянуть на журналистику того времени, чтобы увидеть полное оскудение и запуганность духа. Наибольшею популярностью пользовались не толстыя журналы, а газеты, что для насъ ново и необычно. "Въстникъ Европы" (1866) продолжалъ, по примеру прежинкъ летъ, аккуратно выходить каждое первое число, твердо держась той же программы, сущность которой сводилась къ тому, чтобы утвердить за нашимъ самосознаніемъ принципы законности, утвержденные въ западныхъ государствахъ; очень читалась "Русская Мысль"--журналъ крайне отвлеченнаго направленія, сталь надаваться "Стверный Вестникъ", главная роль въ которомъ перешла скоро къ г-ну Волынскому, пытавшемуся дать идеалистическія основанія б'ёдной "русской мысли",-- но въ этомъ не успълъ. "Недъля" въ лицъ Я. Абранова звала къ малымъ дъламъ, проповъдуя ихъ съ сытымъ самодовольствомъ, тамъ же г. Дедловъ приглашалъ русскую. молодежь давать клятву (!) что она обратится безъ исключенія въ добровачественныхъ чиновниковъ; г. Михайловскій брюзжалъ, негодовалъ, полемизироваль съ Толстымъ, и говорятъ, удачно. Большою популярностью: благодаря своей искренности, пользовался Н. В. Шелгуновъ, поражавшій удачно г. Абрамова и "Недълю" и призывавшій молодежь из идеаламь общественности. Однако во всемъ, благодаря общей запуганности, безпроствътному господству канцеляризма и формальности, лежалъ отпечатокъ серости, ненужности, разрозненности. Таланты, подававшіе большія надежды, напр., К. М. Фофановъ, Д. С. Мережковскій, И. Н. Потапенко и т. д не въ достаточной степени оправдали ихъ. Старые принципы, вдох-"отповъ", выдоляесь, новыхъ не было. Капитализмъ медленно, но верио подрываль все старые устои и, въ вонце концовъ. мало чемъ можно вспомнить эти тусклые годы разве произведеніями нсключительнаго дарованія А. П. Чехова. Литература была страя, безъ имен и темперамента и мъщански приличная. Она ръдко спускается въ подвалы, въ деревню, -- редко поднимается наверхъ -- въ чердаки, предпочитая средниу, и здёсь она находить неисчерпаемое вдохновеніе. За последніе два три года она сделала очень много. Такъ, она, т. е. наша литература подробно и всестороние изучила психологію женщины бальзаковскаго возраста, и хотя беллетристы не вполив. согласны другь съ другомъ въ подробностяхъ, ею въ общемъ указанная психодогія установлена на незыбленыхъ основаніяхъ. Эти основаніястрелка, Фелисьенъ, курортъ и, разумется, онъ, пробуждающій вторую мододость. Затемъ многіе гг. беллетристы съ г. Боборыкинымъ во главе. предприняли несколько экскурсій въ страну, населенную замоскворецкими купчихами, и произвели въ высшей степени плодотворныя изследованія этого страннаго и таниственнаго племени. Изъ опубликованныхъ ими, для всеобщаго сведенія, данных следуеть, что замоскворецкія купчихи не выпивають теперь двадцати самоваровъ въ день, или не беседують со странницами н не вяжуть шерстяныхъ чулокъ. Напротивъ того, большинство изъ нихъ верхъ ума, красоты и образованности. Онъ, кромъ того, обладають пріятной полнотой и, разумъется, милліонами. Не трудно оцънить всю важность, которую имфетъ изучение нравовъ, быта и адюльтеровъ замоскворфцинхъ, купчихъ хотя бы только для отечественной этнографіи. Далве, сдвлана попытка; прениущественно дамами-писательницами, открыть читателю всв сердечныя тайны скучающей вдовы, одаренной красотой, жаждой любви и обезпеченнымъ состояніемъ. Несомнізнная трудность и сложность затронутато предмета не позволили пока довести до конца блестяще начатое дело, но судя по первымъ шагамъ, дальнъйшая разработка предмета должна обогатить современную даискую психологію многими крупными и важными открытіями. Именио, намівчень уже тоть цикль чувствь, среди котораго

вращается душа окучающей вдовы, но осталось совершенно невыясненнымъ, какое отношение имъегъ вдова и ея скука къ русской литературъ?

Декаденты. Литература 80-хъ годовъ выделила между прочивъ изъ себя группу молодыхъ писателей, которые безъ достаточнаго основанія получили название декадентовъ или "упадочниковъ". Но съ западными девадентами собственно эти русскіе молодые люди им'вють очень мало общаго. Западное декадентство-явление серьезное, почему и создало уже серьезныя литературныя явленія, напр., поэзію Бодлэра. Его почва- общественное вырождение. Несомивино, что наша цивилизація - вообще говоря, богата всякаго рода нечистью, грязью, бользнями, инщетой, отчанніемъ, невыріемъ н т. д. Эти мутныя воды должны имъть своихъ пъвцовъ и героевъ, и тавинь певцонь быль Бодлэрь. Онь обладаль особенной чувствительностью въ грязи жизни. Порою онъ прямо смаковалъ ее. Онъ безтрепетно шелъ туда, куда, быть можеть, не пойдеть никто изъ насъ. Онъ не отступаль ни передъ какими ужасами извращенности и паденія. Онъ понималь все это, какъ что-то свое, близкое, но, окунаясь головой въ грязь, онъ все же оставался благородной, эстетической натурой. Разумвется, онъ не выставиль бы наружу съ такой поразительной художественной яркостью всей грязи современности, если бы она не жила въ немъ самомъ, хотя бы въ подпольяхъ его существа, и если бы какой-то щупальцей своего существа онъ не любилъ ее.

Но наши "декаденты" увлеклись не этимъ, а скоръе одной лишь формой молодой французской поэзін и ея вычурность, ея стремленіе къ оригинальности, хотя бы чисто внъшией, такъ сказать звуковой, словесной, довели до крайнести. Въ ихъ средъ есть несомнънно талантливые люди, напр., К. Д. Вальмонтъ. Но въ общемъ ничего талантливаго они не создали и если пріобръли нъкоторую извъстность, то благодаря прямо-таки дикимъ литературнымъ выходкамъ удивительно похожимъ на пародіи настоящаго искусства. Такіе стихи, какъ напр.:

День прошелъ въ свободномъ словословьи, Окна улицы въ снъгахъ я вскрылъ, Много было добраго, восторга и здоровья, И себя я искренне, хоть первый мигъ любилъ. Ахъ! о томъ больное безпокойство, Все ли сдълано руками и умомъ—и т. д.,

едва ли могуть быть причислены къ поэзіи и даже названы стихами. Но встръчаются и еще болье безтолковыя произведенія, что и заставляеть ныкоторыхъ предполагать, что такъ называемые декаденты нарочно и предумышленно создають дикія и даже юроднвыя вещи, чтобы хотя таким вотъ путемъ обратить на себя вниманіе. Литература туть собственно ни при чемъ или значить столько же, сколько вообще другіе "пріемы".

Про одного изъ наиболъе юродствующихъ декадентовъ разсказываютъ, напр., слъдующее:

"Помню Александра Д—а гимназистомъ съ большими черными глазами на выкать, съ тихимъ голосомъ, мальчишески дерзкими словами, съ тетрадкой тогда модныхъ, безсмысленныхъ и очень скучныхъ стиховъ. Въ тъ молодые неустойчивые дни увлеченій европейской игрушкой, только что выдуманной, у Д—а были товарищи, но для которыхъ игрушка и была игрушкой, свойственной легкому (?) дътству. Увлекались и отпали, пошли пробовать общаться съ людьми по своимъ путямъ, и наноснаго въ его стихахъ, словахъ, даже презрительности къ чужимъ мнъніямъ—тоже было мало. Впрочемъ, эта презрительность всегда есть и всегда искрення у людей, которые особенно горячо хотятъ высказать себя, подойти къ другимъ. Ее надо понять и повърить ей, такой естественной, такой трогательной.

"Встръчался миъ Д—овъ ръдко, потому что въ самомъ дълъ производилъ непріятное, жалкое, досадное впечатлъніе, а мы отъ такихъ впечатлъній себя заботливо охраняемъ...

" ... Разсказывали, что Д—овъ чудить все болье и болье, хотя при этомъ много читаетъ и много работаетъ. Чудачества его носили самый разнородный характеръ: то были дътски-невинны и наивны, то опасны. Онъ оклеиватъ потолокъ своей комнаты черной бумагой и убъждаль молодых дъвушех убивать себя. Письма онъ писалъ дикія, ни на что не похожія, безъ обращеній, изломаннымъ почеркомъ, и точно поддълываясь подъ бредъ. Его стихи попрежнему были и не талантливы, и тягостны. Въ послъднее мое свиданіе съ нимъ, раннимъ осеннимъ вечеромъ, въ чужой комнатъ, онъ велъ себя тоже странно, говорилъ какъ будто не то, что ему хотълось, и лицо у него было измученное и дикое—лицо человъка въ послъднемъ отчаяніи. Но и тогда онъ былъ непріятенъ, досаденъ,—хотълось уйти отъ него съ брезгливостью съ сознаніемъ своей правоты"...

Дальше оцять любопытныя строки:

"Года три тому назадъ, онъ ушелъ изъ литературы, изъ университета, изъ Петербурга, отъ матери, одътый по-страннически, замолчавшій и дикій. Говорятъ, что онъ долго жилъ въ какомъ-то далекомъ монастыръ, работалъ, какъ послушникъ, носилъ вериги, хотя и не постригся. Черезъ годъ онъ пришелъ въ Петербургъ пъшкомъ, былъ у товарища. Товарищъ говорилъ, что велъ себя Д — овъ странно: сидълъ на полу, пълъ псалмы или молчалъ. На юродиваго, впрочемъ, не походилъ, а такъ, молчалъ, не желая говорить. Денегъ у него не было, — онъ питался милостыней. Спустя нъсколько дней, онъ снова ушелъ и гдъ теперь, и вернется ли неизвъстно".

Трудно разобраться где туть искреннее и настоящее, где искусствен-.

ное, неизвъстно для чего на себя наваленное? Такъ и въ произведеніяхъ нашихъ декадентовъ. Но все же есть въ нихъ нъчто отъ эпохи и ея настроенія взятое. Есть, напр., отрицаніе общественныхъ цълей искусства, есть стремленіе возвести его въ сущность самодовльющую, есть желаніе отдълаться отъ того шаблона, который все еще тяготъеть надъ нашимътворчествомъ. Но—увы—все это лишь намеки, все это лепеть; ничего яркаго и талантливаго.

Новыя въянія. 80-е годы прошли подъ высокомъ давленіемъ интересовъ общественнаго спокойствія которое понималось исключительно въ томъ смыслъ, какой придавалъ ему Катковъ. Реакція восторжествовала по встить пунктамъ. На ряду съ очевиднымъ хотя и временнымъ, быть можеть, крушеніемъ встать надеждъ 60-хъ и 70-хъ годовъ—высокое давленіе заставило личность уйти въ себя, сосредоточиться на задачахъ собственнаго нравственнаго совершенствованія или на вопросахъ религіозно-метафизическихъ. Тоска исканія — это истинное божество нашей литературы пошло по руслу скептицизма, пессимизма, индивидуализма и т. п.

Что вывело насъ изъ этого тяжелаго состоянія, слёды котораго, конечно, все еще остаются въ нашемъ духовномъ мірѣ? Многое, конечно, и мнѣ легко было бы перечислить это многое по пунктамъ, но я не могу затрогивать событій вчерашняго дня и ограничусь лишь указаніемъ на то, что на сцену выступило новое общественное сословіе. Во всякомъ случаѣ явился нѣкоторый просвѣть, нѣкоторая надежда, навстрѣчу которымъ пошла молодая и нарождающаяся литература. Но признаки наступающаго возрожденія замѣтны уже у Чехова.

Если онъ въ раннихъ своихъ произведеніяхъ несомнѣнно склонялся въ сторону подчиненія дѣйствительности, въ признаніи ея огромной непобъдниой власти надъ отдѣльнымъ человѣкомъ столько же, сколько надъ цѣлыми поколѣніями, то теперь, не отказываясь отъ основной своей мысли ("жизнь—сидетеніе мелочей, глупостей, случайностей"),—онъ даетъ все большій просторъ другому своему настроенію, сущность котораго порывъ къ свободѣ.

Въ одномъ изъ своихъ разсказовъ ("Крыжовникъ") 1900 г., Чемовъ высказываетъ такую вотъ мысль, которой, очевидно, онъ очень
сочувствуетъ и которую ценитъ: "Принято говоритъ, что человеку нужно
только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной
шаръ, вся природа, гдъ на просторъ онъ могъ бы проявить всть
свойства и особенности своего свободнаго духа".

Я бы поставиль эти слова эпиграфомъ ко всему написанному въ последнее время Чеховымъ. Это — лучшая критика той жизни, которую онъ изображаетъ. Человеку нужны весь земной шаръ, вся природа, все откровенія мысли и творчества, а ему, какъ трупу, отводится три аршина. На самомъ деле сколько аршинъ пространства отведено героямъ "Трехъ сестеръ" или "Въ оврагъ"? Ровно столько, чтобы они каждую минуту натыкались на глухую стену, чувствовали при каждомъ движеніи что-то тяжелое, придавнышее ихъ, какъ земля покойниковъ, и задыхались съ убійственной медленностью. Какова же должна быть жизнь, которая ихъ окружаеть?

Я бы такъ формулировалъ новую идею Чехова: "тусклая, бъдная духомъ жизнь создаеть лишь туслыхъ, бъдныхъ духомъ людей. Если же случайно проявится среди этой скучной толпы человъкъ, лучше одаренный и носящій въ себъ Божью искру героическаго порыва, жажды подвига и совершенства, то болото, рано или поздно, все равно, затянеть его,—это необозримое болото всякой пошлости, невъжества, хамства и рабскаго духа. Человъку, чтобы онъ могъ проявить всъ богатства и все разнообразіе своего духа, нужна вся земля, вся природа, а не тоть крошечный клочокъ знанія, чысли, свободы,—словомъ, не тъ три аршина земли, которыми его надъляють, какъ трупъ, въ настоящее время".

Это не весело, но это гордо, требовательно и не безнадежно.

Выясняя соціологическую почву, на которой Чеховъ рисуетъ свои жизненным драмы, мы находимъ, что эта почва — бъдность и "раззоревіе". Подкладка этихъ драмъ въ томъ, что озябшій, голодный, больной человіть долженъ всю свою жизнь вести вепосильную борьбу съ обнищавшей и расхищенной природой и разрушать все посліднее, что попадается ему подъ руку, потому, что ему, подъ угрозой голодной смерти дітей, нельзя и думать о завтрашнемъ днів, объ устроенім и созиданім жизни. Дізло туть въ опустошенной, расхищенной природів и въ опустошенной, тоже "расхищенной", душіт человітка, коснітющаго въ нищеті и невітжестві, ошалівшаго и ополоумівшаго отъ нищеты, невітжества, угрозь завтрашняго голоднаго дня. Все было въ прекрасной и богатой природів, а теперь ничего ність; все водилось, а теперь все растащено и расхищено. Цітлые убізды точно повторяють собою картины прошлаго посліт нашествія татарь. У такой жизни можеть быть только одинъ герой, которому и книги въруки, который все и всіть побітждаеть,—это хищникъ.

Съ этой точки зрвнія Чеховъ гораздо больше поэть нашего раззоренія, чвиъ, напримвръ, Гл. Успенскій, потому что у Успенскаго была еще ввра въ цвлостность, красоту и силу народной жизни и кое-какіе, хотя бы самые маленькіе, факты для подтвержденія этой ввры. У Чехова же ни-

чего подобнаго нътъ. Онъ уже съ тоской видить передъ собою одно пустое, голое иъсто. Что зищникъ пришелъ,—это было ясно уже въ 70-е годы, но тогда върили, что народническая идея можетъ побъдить его. Что хищникъ пришелъ, расплодился и окръпъ,—это твердо знали 80-е годы, но не видъли никакой идеи, которую бы можно было противопоставить ему. Ихъ настроеніе было сърымъ и смутнымъ, и это-то настроеніе ярко выразилось и продолжаєть выражаться въ произведеніяхъ Чехова но уже съ преобладающимъ оттънковъ порыва и свободолюбія.

Резюмируя все вышесказанное, я думаю, что Чеховъ быль слишкомъ даже сильно загваченъ эпохой 80-ыхъ годовъ, а эта эпоха могла внушить мыслящему человъку очень мало утъщительнаго насчеть близости той поры, когда человеку будеть предоставлена возножность проявлять все богатство и разнообразіе своего свободнаго духа. Онъ видель кру-. шеніе всёгь народинческих надеждь, а виёсте сь темь и крушеніе того высокаго духа, которымъ онъ сопровождались. Волны, начавшіяся еще съ 60-ыхъ годовъ, отланнули и открылся голый песчаный берегъ. Мель съ каждымъ днемъ становилась все больше, все заметятье, и общество довольно-таки спокойно усаживалось на нее. Витесто подъема духа на сцент оказался карьеризмъ, шовинизмъ и прочіе измы, которые, конечно, не могли радовать чуткую душу. Пошли и дальше въ сторону старательнаго оплеванія недавняго прошлаго и той откровенной наглости, духовнаго цинизма и распущенности, которыми вообще отличалась та милая эпоха. Все заснуло, и какъ было не признать поколение "обреченнымъ",--терминъ, который, кстати сказать, очень любить одинъ изъ героевъ Чехова. Въ это время и хищникъ, не встръчая уже никакихъ препонъ и препятствій своему поведенію, заработаль на славу, во всю, не презираемый уже, какъ наканунъ, а возвеличивасмый и одобряемый. Онъ творилъ свое дъло, какъ бы даже священнодъйствуя, какъ бы сознавая, что онъ преследуегъ нъкоторую важную общественную задачу-оздоровленія корней, укрышленія основъ и пр. Онъ сталъ персоной и, спося леса, обмеляя реки, засыпая пескомъ степи, чувствовалъ себя человъкомъ момента, чуть ли даже не государственнымъ мужемъ и былъ важенъ "въ сорокъ пудъ", безъ поклона принимая воскуряемые ему фиміамы. Литература, кром'в цинизма, . шовинизма, всякаго рода предательства и замства, выработала себъ тотъ чахлый тщедушный индивидуализмъ, которымъ отличается русскій индивидуализмъ вообще, такъ какъ до настоящаго индивидуалнама мы, строго говоря, еще очень и очень не доросли. Но время было такое, что и это принималось за "нтвито" и менло о себть со смташной напыщенностью, ребяческить самодовольствомъ и надменностью. И никто, никто не бросилъ въ то время въ лицо всемъ этимъ господамъ "стихъ, облитый горечью и

злостью". Все это закончилось мутной струей бездарнаго декадентства, по поводу котораго будущему историку съ удивленіемъ придется отмітить тоть лишь фактъ, что и на него обращали вниманіе, и съ нимъ считались!.. Все это, вмість взятое,—и оздоровленіе корней, и странный русскій индивидуализмъ, и хищничество,— создало полную разрозненность людей, полное ихъ духовное одиночество. Чуткому человѣку трудно было не проникнуться этими ежедневными и уныло однообразными впечатлівніями жизни, нельзя было не признать и ихъ стихійности, и могущества. Они на самомъ діль распоряжались жизнью людей по собственному усмотрівнію, неизвістно какъ вторгались въ ихъ судьбу, все сокрушая на своемъ пути. И Чеховъ проникся...

Но проникновеніе проникновенію рознь. Одно проникновеніе отличается характеромъ, нѣсколько легкомысленнымъ, но все же жизнерадостнымъ. Оно признаетъ, что фактъ есть фактъ, обстоятельство есть обстоятельство, а обстоятельствами надо пользоваться. Другое проникновеніе есть одинаково признаніе факта, но съ полнымъ отрицаніемъ его разумности, цѣнности его нравственнаго содержанія. Какого рода проникновеніе Чехова, мнѣ нечего даже и говорить, ибо никогда, ни въ началѣ, ни въ концѣ, онъ не былъ въ станѣ ликующихъ, въ станѣ праздно болтающихъ.

Когда вы берете его произведенія въ ихъ цѣломъ, вы не можете не замѣтить изъ фразы, изъ стиля, изъ содержанія той грусти и даже тоски, которая разлита по нимъ, той глубокой жалости къ людямъ, которая заставила одного изъ его героевъ сказать: "Надо, чтобы за дверью каждаго довольнаго, счастливаго человѣка стоялъ кто-нибудь съ молоточкомъ и постоянно напоминалъ бы стукомъ, что есть несчастные"; или: "Вы ссылаетесь на естественный порядокъ вещей, на законность явленій, но есть ли порядокъ и законность въ томъ, что я, живой мыслящій человѣкъ, стою надъ рвомъ и жду, когда онъ заростеть самъ или затянеть его иломъ въ то время, какъ, быть можеть, я могъ бы перескочить черезъ него иломъ построить черезъ него мость? И опять-таки во имя чего ждать? Ждать, когда нѣтъ силы жить, а между тѣмъ жимъ нужсно и хочется жишъ".

"Жить нужно, хочется жить", — но какая же жизнь возможна при трехъ аршинахъ, отведенныхъ человъку, а вы номните, что "человъку нужна вся земля, вся природа, чтобы онъ могъ проявить всъ богатства и все разнообразіе своего свободнаго духа".

И выразителемъ этой, все расширяющейся и негодующей жажды жизни явился "новый человъкъ"—Максимъ Горькій.

М. Торькій (Характеристика). Усивхъ произведеній Максима Горькаго достигь въ настоящее время той степени, когда онъ обратился въ любовь и даже по русской національной привычкіт—въ поклоненіе. Горькаго читають рішительно всів классы общества отъ высшихъ до низшихъ; надаваемые имъ повісти и разсказы раскупаются нарасхвать; иногіе смотрять на молодаго писателя, какъ на учителя жизни и ждуть отъ него горячей положительной проповіди, которая разсіяла бы недоразумінія прошлыхъ двухъ десятильтій и вывела бы, наконецъ, кічно мятущуюся русскую интеллигенцію на прямую дорогу. Оттого-то въ прошломъ году съ такимъ восторгомъ было встрічено начало единственнаго неудачнаго произведенія Горькаго "Мужикъ": читатели, судя по первымъ главамъ, думали, что здісь они найдуть, наконецъ, отвіть на тревожный вопрось: "что ділать?".

Для очень и очень многихъ успъхъ Максима Горькаго быль полной неожиданностью. Этоть успыть создался внезапно (1898-99 г.), какъ-то сразу и выросъ до большихъ размеровъ просто и легко. Этотъ успекъ-точно красивый цветокъ, распустившійся въ одну ночь и поражающій всякаго . своимъ великолепіемъ. И въ то же время нельзя не чувствовать, что этоть успъхъ не имъетъ въ себъ инчего случайнаго и легковъснаго, что Горькій у заставляеть звучать въ душе читателя такія струны, которыхъ давно уже ве удавалось съ одинаковой силой затронуть ни одному писателю: это често русскія струны босячества, "отчаянности", неукротимой удали и несомивннаго презрвнія къ благамъ міра. Оттого-то знакомство съ произведеніями Горькаго особенно интересно. Значеніе ихъ далеко не исчерпывается одною художественной стороной (которая, какъ бы высова она не была, все же не могла бы обратить на себя такого вниманія): оно шире н глубже. Горькій, по моему мнівнію, бросиль проницательный взглядь въ глубочайшіе тайники нашего невоспитаннаго, полуевропейскаго полуазіатскаго русскаго духа; онъ увиделъ, что, несмотря на двухвъковую жестокую дрессировку государства, несмотря на европейское образованіе, несмотря на насъдающій на насъ капитализиъ и дисциплину его строябродяжнические и мистические мотивы старой русской истории и общеславянская наклонность въ меданхолін, созерцанію, въ безшабашному разгулу, см'вняющемуся полной простраціей покаявія, еще не исчезли въ нашей русской душь, живуть въ насъ хотя бы подавленныя и забитыя, и ихъ, въроятно, замирающій голось даеть себя чувствовать особенно сильно теперь, когда усиливающійся капитализить дружно и жестоко принялся за окончательную муштровку русскаго духа и русской натуры, которымъ исторія не безъ основанія, а также и не безъ проніп присвоила эпитетъ широкихъ.

Но на первомъ планъ, конечно, — эта жажда жизни и свободы,

этотъ крикъ человъка, чувствующаго себя въ оковатъ и путатъ, этотъ анархизиъ мысли и настроенія, не признающій нивакихъ властелиновъ, нивакого стъсненія. Тутъ протесть и проклятіе, тутъ переоцінка всіхъ цівностей; тутъ вызовъ, брошенный человівоить, сознавшинъ свою личность, силів всіхъ сильныхъ и самодовольству всіхъ власть имівющихъ. Теперь "Горькій для многихъ откровеніе, сила вдохновляющая, когда онтъ показываетъ, что жить не страшно тому, кто не считаетъ за жизнь обстановку, которой мы окружилы себя, и кто помнитъ, что, прикрываясь ложью, мы часто придуманное нами выдаемъ за необходимое". Жить надо начинать однинъ отрицаніемъ, —говоритъ І'орькій, —потому что все, что мы признаемъ, въ сущности давно уже сгило.

Горькій, конечно, вышель изъ Толстого, нашего величайшаго русскаго и притомъ типично русскаго писателя. Толстой очень рано узналъ и поняль, что наша жизнь есть ложь и насиліе. Онь поняль, и то, что мы живемъ и можемъ жить лишь на счеть другого. Онъ повяль, сколько остроумія, жестокости и хитрости должны мы тратить на то, чтобы заставить другого работать на себя. Онь по тигь весь разврать в хищипчество нашей культуры и прокляль ее... Но несмотря на всю страстность проклятія, культура всю жизнь преследовала и продолжаеть еще преследовать его. Онъ не знасть, что съ ней дълать. Онъ такъ и чувствуеть ся огромную стихійную силу. Онъ склоняется даже къ компромиссу. Онъ зоветь къ мужику, къ опрощенію. Но не значить ли это изъ одной стадіи культуры и цивилизаціи перейти въ другую? Многое мъщаеть Толстому ръшительно покончить съ этимъ вопросомъ, и только Горькій не побоялся во всеуслышаніе сказать то слово, которое, быть можеть, всю жизнь вертилось на языки у Толстого. Горькій разрубиль тоть Гордієвь узель, который Толстой на прасно старался развязать. Если вультура ложь и закабаленіе человівка, то очевидно, что все ся соблазны в блага не стоять минуты води. Надо уйти отъ нашей культуры не въ другую культуру, разумъется, - а въ степь, въ босячество, въ отказъ отъ всехъ соблазновъ и отречение отъ всехъ обязательствъ. Онъ показалъ природу и волю-эти два великихъ начала, по которымъ всегда томится духъ человъка, какъ бы глубоко ни ушелъ онъ въ условность, ложь и форму. Онъ показалъ намъ своего босяка, и мы задумались надъ этимъ смелымъ, удивительно художественно нарисованнымъ образомъ, задумались потому, что спросили себя, на что же собственно промъняли мы эти великія блага и радости жизни— свободу и волю? И воть десятки и сотни тысячь обремененных и труждающихся съ жадностью и очарованіемъ вдыхають свіжесть давно неслыханныхъ словъ и смілются надъ темъ, кто, изучивъ многое, не постигаетъ простой истины, что счастье человъка только въ такомъ развитин своихъ духовныхъ и физическихъ силъ

которое не давить другихъ. На книги Горькаго набрасываются массы, потому что онъ дорогъ имъ, только что просыпающимся къ жизни, онъ имъ раскрываетъ глаза на то, чего они въ сущности хотятъ.

Личная жизнь Горькаго-очень интересная и романтическая даже въ общихъ своихъ контурахъ- не могла не закръпить въ его душъ мотивовъ, которые онъ теперь такъ художественно и съ такимъ успъхомъ разрабатываеть. Это жизнь босяка, бродяги, русскаго неудачника-пролетарія, неожиданно для всехъ оказавшагося на вершине славы. Несколько отрывковъ изъ его коротенькой автобіографін значительно облегчать мою задачу характеристики его героевъ и его творчества, почему и привожу ихъ. "Родился я, —пишетъ Горькій, — 14-го марта 1868 года въ Нижнемъ-Новгогородъ, въ семьъ красильщика Каширина отъ лочери его Варвары и мъщанина Пъшкова, по ремеслу обойщика. Съ техъ поръ съ честью и незапятнанно ношу званіе цехового малярнаго цеха... Отецъ умеръ въ Астрахани, когда инъ было 5 льтъ, мать въ то же время умерла въ Канавинъ. По смерти матери дъдушка отдалъ меня въ магазинъ обуви; въ ту пору имълъ я 9 лътъ отъ роду и былъ дъдомъ обученъ по Псалтири и Часослову. Изъ "мальчиковъ" собжалъ и поступилъ въ ученики къ чертежнику, -- собжаль и поступиль въ иконописную мастерскую, потомъ на пароходъ въ поварята, потомъ въ помощники садовника. Въ сихъ занятіяхъ прожиль до 15-ти леть, все время занимаясь усердно чтеніемъ лубочныхъ произведеній неизвъстных авторовъ, какъ-то: "Гуакъ, или непреоборимая върность", "Андрей безстрашный" и т. д... На пароходъ, когда былъ поваренкомъ, на образование мое сильно вліяль поваръ Смурый, который заставляль меня читать житія святыхь, Эккартгаузена, Гоголя, Успенскаго, Дюма-отца и многія книги франкъ-масоновъ. До повара-терпізть не могъ книгъ и всякой печатной бумаги до паспорта включительно... Послё 15 льть возымьль я свирьное желаніе учиться, съ какою целью повхаль вь Казань, предполагая, что наука желающимъ даромъ преподается. Оказалось, что это не принято, вследствіе чего я поступиль въ крендельное заведеніе по 3 рубля въ місяць. Это самая скверная работа, изъ всіхь опробованныхъ мною".

Но это уже последнее тяжелое испытаніе. Дальше призваніе и случай сделали Горькаго писателень.

Перехожу теперь къ геромиъ его произведеній. Собственно говоря это тъ же неудачники, тъ же лишніе люди и талантливыя натуры, не нашедшія примъненія свониъ талантамъ въ жизни, къ которымъ пріучила насъ прежняя русская литература. Въ сущности, это даже ея "излюбленные люди". Но у Горькаго они являются въ несколько новомъ виде, а главное при совершенно повомъ освъщении. Если условія нашей общественности создали особый интересь въ бродячену и босому народу, то тв же условія вызвали и особое отношение къ нему, отношение глубокой жалости и сострадания, какъ къ даронъ пропадающимъ силанъ, которынъ, разунфется, надо прежде всего школу и школу, чтобы онъ нашли истинное свое примъненіе. Не спорю, --- и жалость и состраданіе --- превосходныя чувства, одинаково прекрасно стоять на стражв интересовъ культуры и высоко держать ся знамя. Но оригинальность Горькаго прежде всего въ томъ и заключается, что нивакой въ сущности жалости онъ къ своимъ босякамъ не питаетъ, никакого состраданія къ никъ не высказываеть, никакихь интересовъ культуры подъ свою защиту не береть, а, очень часто любуется ини, какъ цъльными, искренними и "глубоко алчущими" натурами, нисколько не отрицая того, что они "очень злы", нивакихъ общественныхъ чувствъ не имъють и любви къ ближнему не питають. Для нашей беллетристики это что-то совсёмъ новое, да-насколько я знакомъ съ литературой вообще,и не только для нащей. Это, если хотите, разнузданный, но удивительно привлекательный культь "свободы", это дерзкій вызовъ, брошенный въ лицо культурному обществу, одинаково изолгавшемуся въ своихъ добродътеляхь и порокахь, это живой вопрось намь: "Почему вы такъ довольны собой и въ то же время такъ бонтесь всего, точно совершили какое-нибудь преступленіе?"—и въ этомъ вопрось слышится упрекъ и негодованіе.

За такое свое отношеніє къ босому народу Горькій не разъ подвергался упрекамъ со стороны критики, вообще говоря, очень и очень къ нему расположенной. Его винили въ томъ, что онъ идеализируетъ и разукрашиваеть своего босяка, приписываеть ему такія мысли и чувства, которыхъ тоть въ действительности не имееть, хочеть выставить его светоченъ и носителенъ правды. Отчасти все это, разумъется, есть, но только отчасти. Правда въ томъ, что Горькій совствиь не въ восторгт отъ усптаховъ культуры и цивилизаціи. Къ интеллигенціи онъ относится съ нескрываемымъ презръніемъ и съ особеннымъ удовольствіемъ выставляеть на видъ ея духовную дряблость, пошлое и низкое самодовольство, ея безнадежную трусость. Еще съ большинъ презрівніемъ относится онъ нъ идеалу мъщанской сытости, размъреннаго и уравновъщеннаго существованія, какъ наъ затягивающаго человъка и оставляющаго просторъ лишь его инстинктамъ стяжанія. И эти м'єщане-интеллигенты, и эти просто м'єщане для Горькаго, прежде всего, представители того великаго ториаза и техъ великихъ путъ, которые онъ называетъ страхомъ жизни, отнимающимъ отъ человеческого существования самое красивое и ценное, что въ немъ естьгеронамъ и свободу. Видя въ босякъ, прежде всего, человъка, освободившагося оть этого гнетущаго, мучительнаго, позорнаго страха передъ жизнью — Горькій різшительно становится на его сторону и, обращаясь къ мізщанамъ, говорить: "трусы вы"...

Порою смотрить онъ на своихъ героевъ не только какъ на обездоленныхъ н обиженныхъ жизнью, но и какъ на людей съ высшини запросами, неудовлетворенных действительностью. И они готовы жадно ухватиться за всякую мечту, за всякій призракь, за всякую иллюзію, способную дополнить ихъ жизнь и дать выходъ ихъ целомудреннымъ (да, даже целомудреннымъ) и религіознымъ требованіямъ. На эту тему Горькій написаль одинъ изъ своихъ лучшихъ и красивыхъ разсказовъ "Двадцать шесть и одна". Запертые въ темномъ и сыромъ погребъ, отданные въ кабалу очертъвшей имъ работы, дюди все же не забыли, что они люди, и они, изъ**вденные сифилисомъ, чесоткой и всякими другими грязными бользиями,** нуждаются въ лучь свъта, который освътиль бы ихъ мрачную жизнь, и, найдя этоть лучь въ лиць обдной швейки, окружають его чисто религіознымъ поклоненіемъ, ціломудренно оберегають его въ самыхъ мечтахъ свонкъ отъ всякой грязи. Это настоящій культь Мадонны — Marienkultus. И когда Мадонна оказывается самой обыкновенной швейкой, когда пошлость жизни срываеть съ нее вънокъ дъвственности-сколько тоски, страданія и злобы пробуждается въ обиженных душахъ этихъ отверженныхъ. Ясно, значить, что передъ вами дюди съ высщими запросами.

"Зачемъ" и притомъ очень серьезное "зачемъ" глубоко засело въ ихъ сердце. Въ сущности все сводится къ этому вопросу и притомъ у такихъ разнообразныхъ и даже противоположныхъ натуръ, какъ Коноваловъ, Ома, Гришка Орловъ, Мальва...

"Мальва посмотръла на него и опять спросила:

- . А тебъ хочется книжки читать?
- "— Мив? Нътъ. Чего тамъ?
- "— А я люблю... воть и теперь выпросила у приказчиковой жены книжку и читаю.
 - "-- Про что?
 - "— Про Алексъя, Божія человъка".

"И задумчиво разсказавъ ему о томъ, какъ юноша, сынъ богатыхъ и важныхъ родителей, ушелъ отъ нихъ и отъ своего счастья, а потомъ вернулся къ нижъ нищій и оборванный, жилъ на дворъ у нихъ виъстъ съ собаками, не говоря имъ до смерти своей, кто онъ, Мальва тихо спросила у Якова:

"— Зачюмо это онь такь?"

Возлѣ этого вопроса вертится вся босяцкая философія. Каждаго изънихъ интересуеть, прежде всего, зачѣмъ и почему сталъ онъ босякомъ, что

оторвало его оть людей и міра, что заставило утерять свою "точку", порвать всё привязанности, голодать и холодать виёсто того, чтобы жить сытымъ и въ теплё. Ответа они не находять или находять ответы, неудовлетворяющіе ихъ самихъ: до того они неопредёленны и даже несуразны. Но люди гордые, очень высоко ставящіе свое личное "я", они ничуть не расположены пренебрежительно относиться къ темъ мыслямъ, которыя безпокоять ихъ буйныя головы. Они разсуждають и очень настойчиво разсуждають, возъращаясь все къ тому же пункту: "почему и зачёмъ?"

И несомивно, что утомленный унылымъ однообразіемъ окружающей его обстановки, давая полный просторъ владъющему имъ героическому одушевленію—потому что красоту жизни Горькій видитъ лишь въ героизмъ и героическихъ порывахъ—Горькій идеализируетъ своего босяка.

Но и для него босякъ—не выходъ, не идеалъ и, въ сущности говоря, ровно ничего привлекательнаго въ немъ нѣтъ. И если Горькій такъ приподнимаетъ его, то лишь потому, что видить въ немъ мятежный и непримиримый духъ человѣка. Его-то онъ въ сущности описываетъ, его любитъ, имъ восторгается. И на это, конечно, онъ ниѣетъ полное право, потому что реальный босякъ, строго говоря, пропойца, а мятежный духъ, сидящій хотя бы въ пропойцѣ, не то, совсѣмъ не то...

И здъсь, въ этомъ "не то", въ наше мъщанское пли "обмъщанивающееся" время все безуміе и все очарованіе романтизма вступаеть въ свои права. Смотря на этнхъ людей, отръшпвшихся отъ страха жизни, развязавшихся съ самымъ неотвязнымъ-съ привычкой, вы забываете объ наъ жестокости, себялюбін, этой жажд'в жизни, не останавливающейся передъ страданіями другого, объ этомъ полномъ отсутствіи общественности... вы просто довольны темъ, что на васъ пахнуло струей свежаго воздуха, и вы увидъли призракъ свободнаго собрата... Это ничего, что передъ вами люди ободранные и въ лохиотьяхъ, это ничего, что у нихъ ни кола, ни двора, что они знать не хотять ничего прошлаго въ жизни, не оберегають его, считають его даже какой-то поміхой для себя. Они привлекательны прежде всего своей жизненной неустрашимостью и это въ наши дни, когда на лбу у встать написано: "если хочешь жизнью жупроватьсмотри въ оба", когда страхъ, мучительный и принижающій, страхъ потери всего, рано или поздно неизбъжной, преследуеть каждаго изъ насъ отъ колыбели до могилы. У этихъ отверженныхъ натъ маста для страха іудейска, въ душь, ньтъ унижающей заботы о будущемъ; они постигли великое искусство брать у настоящей минуты все хорошее, что въ ней

есть, не отравляя ее страхомъ пресыщения или потери. Среди общаго хамства они высоки въ своей дергости.

И потомъ—эта властность ихъ натуры, этоть ихъ аристократазмъ, это высокомърное презръніе къ благамъ міра. Въдь, какъ хотите, а въ разсказахъ Горькаго, по крайней мъръ, они вырисовываются на какой-то горной, холодной, почти недосягаемой высотъ. Они непобъдник: викакой жизненный соблазнъ не подкупитъ ихъ, никакая сила не склонить ихъ передъ собою, не вырветъ у нихъ слова лжи, неправды и лицемърія; ничто ихъ не пугаетъ. Имъ нечего терять: у нихъ все въ себъ, въ этомъ цъльномъ духъ, постигшемъ все ничтожество жизни, все ничтожество и мучительность человъческихъ привязанностей. Они видятъ вокругъ себя то трусливую, то ожесточенную борьбу за радости бытія, видятъ торошливо бъгущихъ и суетящихся людей съ лицами, искаженнными жадностью, злобой, завистью, и горделиво стоятъ въ сторонъ, полные высокомърнаго презрънія.

И они живы, между прочимъ, и этимъ своимъ превосходствомъ надъ трусами и лицемърами. О чемъ они мечтаютъ? Многіе ни о чемъ, а просто фаять, когда кочется фсть и когда находится что подъ рукой. спять, когда спится, говорять съ людьми, когда хочется говорить. и молчать, когда говорить не о чемъ. У других внутренній мірь лізнельніве. Коновалову хотелось бы забраться на необитаемый островъ и жить такъ, какъ жилъ Робинзонъ Крузоз; Мальве-улечься на дно лодки и плыть. плыть неизвестно куда и зачемъ, по воле ветра и волеъ; мрачное воображение Григорія Орлова рисуеть ему картины общей свалки и суматохи, среди которыхъ онъ почувствовалъ бы себя такъ привольно, какъ нигдъ. И, конечно, много бы босяковъ — этихъ злыхъ, самолюбивыхъ и мстительныхъ людей, людей, во всякомъ случать отмиченныхъ печатью если не дарованія, то все же нікоторой исключительности натуры-пошли бы за нимъ. Но большинство, повторяю, ни о чемъ не мечтаетъ, потому что рядомъ съ порывистымъ и мятежнымъ духомъ у героевъ Горькаго слишкомъ сиутная, неокрыленная и ленивая мысль. То усталые, то добрые, то сытые или голодные, бредуть оне по дорогь жизии, стараясь не заглядывать въ будущее дальше ближайшаго ночлега, не видя даже инкакой надобности заглядывать въ него. Все дъло, совершенное ими, - въ прошломъ: въ минуть отказа оть упроченнаго существованія. Быть можеть, вся эта минута вылилась въ одномъ меновенномъ порывъ, въ нежеланіи оттолкнуть отъ себя водку; но все равно: босякомъ можеть быть только тотъ, кто этотъ отказъ принялъ для самого себя на всю жизнь и сжегъ все свои корабли, не чувствуя къ нимъ даже сожальнія.

Но положительнаго во всемъ этомъ ничего нътъ. Это лишь крикъ про-

теста гордаго и свободолюбиваго человека, какинъ и является Горькій въ своихъ произведеніяхъ—крикъ, полный скорби и ненависти.

Я спрашиваю себя, факть ли это и огромной ли это важности факть, что является писатель, одаренный большой чуткостью по части всыхъ современных візній и обладающій въ то же время первокласснымъ художественнымъ дарованіемъ, и смёло возстаеть противъ мёщанской проказы, мъщанской приниженности духа, мъщанскаго самодовольства и говорить: не въ томъ счастье,---отвечаю: "да, этоть факть заслуживаеть всесторовняго и любовнаго разсмотренія", потому что сущность лирическихъ поэмъ и изліяній Горькаго въ томъ, по моему уб'яжденію, и заключается, что въ нихъ гордый и мятежный духъ человъка не хочеть примираться съ потерей своего достоинства ради чечевичной поллебки и всъхъ соблазновъ иты проклятый (le damne) Боделэра, говорить свое "је пе чеих раз" передъ дверьми мѣщанскаго рая, куда (о, пронія!) его всяческими способами стараются водворить, какъ въ какую-нибудь черту осъдлости. Напрасно говорять ему: "тамъ тебъ будеть тепло, хорошо и уютно, тамъ найдешь ты покой и довольство, сытный столь, пожалуй, даже вегетаріанскій, если у тебя разстроена печень или не совствъ спокойна совъсть, физическую работу за верстаковъ или сапожной табуреткой, чтобы укрыпить твои дряблые мускулы и приблизить къ первоисточнику жизни, т. е. труду народа, массъ; тамъ найдешь ты любящую супругу, всегда ласковую, всегда беременную и ухаживающую за тобой и дътьми, какъ преданная нянька, моющую тебя, одъвающую и причесывающую, -- тамъ найдешь ты почеть и уважение ближнихъ", -- проклятый отвічаеть своимъ--- не хочу".

Это "не хочу" у Горькаго воплотилось въ конкретномъ, яркомъ, полномъ трепета крови и мощи образъ босяка. И ядумаю, что этотъ босякъ—греза, мечта, образъ чисто лирическій, созданный тоской и обидой, накапливающимися въ душт подъ вліяніемъ современности, созданный злобой на ложь, пошлость и лицемтріемъ, стрымъ, промозглымъ туманомъ, окутывающимъ наши думы и все наше бытіе. Въ полную, этнографическую реальность этого босяка я не втрю, какъ не втрю въ реальность романтическихъ типовъ вообще и "человтка, который смтется", и "Жана Вальяна", и Квазимодо. Но дтло туть не въ реализмт, а въ богатомъ идейномъ содержаніи образа, его манометрическомъ указаніи той огромной силы давленія, которая выносить духъ современнаго человтка отъ тяжестей мъщанской культуры. И это давленіе дтлаетъ человтка приниженнымъ и трусливымъ или просто гаденькимъ или же узколобымъ прямолинейнымъ хищникомъ.

Марксизиъ. Утерянную нами въ 80-ме годы догиу намъ опять таки даль Западь въ виде марксизма. Марксизмъ-это не просто учение Маркса и міросозерцаніе, построенное на невъ, такъ какъ Маркса знали у насъ и раньше, штудировали его въ высшей степени старательно и поклонялись ему. Книга его "Капиталъ" была однимъ изъ камней красугольныхъ человъческаго мышленія въ глазахъ народенческой интеллигенціи 70-хъ годовъ. Но тогда въ Марксъ видъли, прежде всего, идеолога западноевропейскаго строя, великаго ученаго, разъяснившаго и истолковавшаго путь западно-европейского экономического развитія и его необходимое будущее. Россію отділяли; ей предназначалась другая дорога, по которой она придеть туда же, куда придуть и народы Запада, но проще, легче, быть можеть, даже скорве, такъ, какъ опираясь на устои народной жизни, т. е. на общину, кустарную промышленность, артель и т. д. -- она въ состоянін избъгнуть стадін промышленнаго капитализма. Теперь же не открыли Маркса, а постарались применить подностью его учение и къ Россіи. Стали утверждать и доказывать, что капитализмъ нензовженъ и для насъ, что волей неволей мы должны будемъ побывать въ его наукв. Особенно ярко эта мысль была проведена въ двухъ книгахъ: "Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію" Н. Бельтова и "Критических зам'єткахь" П. Струве.

Въ извъстномъ смыслъ марксизмъ можно назвать еще шагомъ впередъ по пути развитія западнической иден. Здъсь уже полное и всесторонее отрицаніе нашей самобытности, здъсь полная покорность передъ игрой стихійныхъ силъ, предопредълившихъ Западной Европъ "вывариться въ котлъ капитализма", пережить господство третьяго сословія. И для насъ то же самое. Вотъ что утверждали вначаль русскіе марксисты.

Первая стадія нашего марксизма была різко полемической. Шла жестокая борьба съ уцілівшими остатками народническаго міросозерцанія и его живыми представителями. Полемика эта выяснила, что народничество своей позиціи сохранить не можеть, что сила вещей и ходъ исторіи, т. е. факты жизни, ея цифры противъ его надеждъ, упованій, противъ его утопизма, что его герои—мечтатели, возлагавшіе на русскую интеллигенцію, какъпередовой отрядъ русскаго народа, непосильныя и неисторическія задачи.

Капитализмъ растетъ. Экономическая жизнь народа слишкомъ слаба, слишкомъ низенькая, чтобы она могла противопоставить этому росту какія- инбудь серьезныя препятствія. Самая эта жизнь идеть не тымъ путемъ, какъ мечтали народники, а діаметрально-противоположнымъ—не въ сторону развитія общинныхъ началъ, а въ сторону индивидуализаціи, которан возстаетъ уже и противъ порядковъ, и противъ власти "міра", и противъ

круговой поруки и т. д. На ряду съ этикъ все большее и количественное, и качественное значение получаетъ новый слой общества — фабрично-заводское население, четвертое сословие, какъ его называютъ на Западъ.

Внѣ своихъ естественныхъ и иеизбѣжныхъ увлеченій, марксизиъ несомивно быль или, по крайней мѣрѣ, старался быть возможно реалистичнымъ. т. е. опираться на фактъ жизни и цифровыя данныя "силы вещей". Въ этомъ его значительнѣйшая псиравка къ народническому міросозерцанію. Не то чтобы народничество игнорировало факты—нѣтъ. Но при своей вѣрѣ въ силу критической личности, оно за самыми малыми исключеніями (особенно трудъ Н.—она) или не представляло себѣ ихъ дѣйствительной силы и значенія, или опиралось лишь на тѣ, которые говорили въ его пользу (особенно г. В. Воронцовъ), или представляло ихъ въ такой общей формѣ, что ихъ идея оставалась совершенно скрытой для читателя. Напр., виѣсто формулы: "капитализмъ развивается" народники любили говорить: "чумазый идетъ", при чемъ словомъ чумазый ясно выражали нѣкоторое свое пренебреженіе.

Но реализмъ, факты и цифры въ деле истолкованія народной экономической жизни, необходимо выдвинуль на первый планъ огромный и трудный вопрось о роли критичеккой личности въ исторіи. Этотъ вопросъ и въ наши дни стоитъ еще на очередя, такъ что укажу лишь его исходные пункты.

60 и 70-ме годы прошли подъ знакомъ теоретическаго господства иден о могуществъ, а иногда о ръшающемъ значени роли критической личности въ ходъ историческаго развитія. Разумныя оговорки и какъ бы предупрежденія, сдъланныя въ этой области основателемъ доктрины въ "Историческихъ письмахъ" — были забыты. Несомевню, что г. Михайловскій своею борьбой за индивидальность, своей абсолютной нравственностью особенно способствовалъ этому. При проповъди героизма, вообще говоря неудобно настамвать на ограниченіяхъ вліянія личности. Низведя соціологію къ искусству, путемъ критической работы мысли, обезпечить счастье всёхъ людей здёсь на земль, г. Михайловскій тымъ самымъ упраздниль соціологію какъ науку, а вмёсть съ ней и научное объективное отношеніе къ жизни (субъективный методъ соціологіи).

Появленіе и усп'яхъ марксизма доказали, что сила вещей, ходъ исторів, какъ н'ято независимое отъ личной воли челов'яка, дали себя знать. Увлекаясь именно этой стороной общественныхъ явленій, марксисты (на первыхъ порахъ) совершенно отрицали какую бы то ни было роль личности въ исторіи. Личность—это quantité négligeable (соціологическая величина, которой можно пренебречь) и "величайшая ошибка полагать, что думаеть челов'якъ"—воть формулы, нанбол'яе отв'ячавшія ихъ настроенію.

Реализиъ мышленія, усталь общественнаго духа, среди котораго они выросли, воистину печальное крушеніе народничества и его идеаловъ, — все это заставило духовно прилѣпиться къ вышеприведеннымъ формуламъ.

Кто же дъйствуеть въ исторіи, если не личность? Классы общества, т. е. экономически и соціально однородныя группы людей, — отвічаль марксизмъ. Кто же думаєть, если не личность? Опять-таки думаєть, прежде всего, классь, сословіе, при чемъ его мысль—простое, теоретическое выраженіе его интересовъ. Эти интересы (борьба за право, за преобладаніе, за удержаніе господства и т. д.) создають или опредъляють его религію, его философію, его нравственность, его политическую программу.

Словомъ, ръшивъ вопросъ о ходъ экономическаго развитія, марксисты перешли къ другому, труднъйшему— къ вопросу о свободъ и необходимости, который и стоитъ теперь на очереди. Смертъ журналовъ "Новое слово", "Начало" и "Жизнъ" остановила теоретическую разработку марксизма едва ли не на самомъ интересномъ мъстъ, какъ разъ въ томъ, гдъ онъ раздълился на нъсколько теченій. Это раздъленіе, а также и смерть журналовъ дали поводъ многимъ неосторожнымъ публицистамъ заявить съ очевиднымъ торжествомъ и злорадствомъ, что марксизмъ умеръ. Въ эту смерть миъ не върится, такъ какъ подъ вліяніемъ Бернштейна отъ марксизма отдълились самые ненадежные элементы, тъ самые, о которыхъ давно сказано, что сверху на душъ лежитъ у нихъ всегда сказанное послъдней кингой. Но марксизму собственно нътъ ръшительно никакой причины умирать.

Текущая литература.

Здёсь я опять пользуюсь случаемъ, чтобы повторить сказанное мною выше: отдёльныя лица, строго говоря, для меня не существуютъ; — для меня существуютъ лишь общественныя настроенія, — настроенія общественной мысли, точнёе говоря, —насколько он'в отразились въ литературів. Отдёльное лицо въ литературів, тівкъ боліве въ литературів художественной — предметь въ высокой степени важный. Для истиннаго критика его творческіе пріемы представляють изъ себя вещь цівную въ себів. Онъ изучаеть ихъ какъ нічто самодовлівющее. Въ глазахъ историка литературы индивидуальности сглаживаются. Онъ видить передъ собой направленія, группы однородныхъ талантовъ, видить власть традицін, психологію классовъ, видить постепенное нарастаніе иден путемъ чуть ли не безконечно

малыхъ приращеній-изм'іненій. Таланть для него лишь яркій выразитель извъстнаго момента въ развити иден и только. Для него однако не всегда интересние тоть, кто талантливие, а часто тоть, кто характерние,---иногдапросто раньше высказавшій изв'ястную мысль и раньше пустившій ее въ обращеніе. Если читатель согласенъ со мною въ этомъ, то онъ пойметь, почему напр., я не говорю о такихъ крупныхъ художникахъ слова, какъ Мих. Н. Альбовъ или В. Г. Короленко, о такихъ симпатичныхъ дарованіяхъ какъ К. Варанцевичъ или Е. Чириковъ, о многихъ прекрасныхъ трудахъ нашихъ женщивъ писательницъ, среди которыхъ г-жи Шабельская, Леткова, Вербицкая, Микуличъ, и В. Крестовская и ин. др. давно пріобреди себе почетную навъстность. Повторяю, въ этомъ трудъ-я совствиъ не претендую на роль критика. Правильно или неправильно, успѣшно или нѣтъ, но я преследую лишь цели историка литературы, которыя по-моему имеють очень мало общаго съ цълями критика. Я бы склоненъ былъ совствиъ разграничить оба эти "ремесла" — одно преследующее задачи преимущественно психологическія, другое-соціологическія, но знаю, что практически это почти неосуществимо.

Возвращаясь однако къ темѣ, обозначенной въ заголовкѣ этой статън, повторяю, что если я не говорю о многихъ крупныхъ представителяхъ текущей литературы, то никакъ не изъ пренебреженія къ нимъ, а потому лишь, что ови своимъ намѣреніемъ или направленіемъ подходятъ—въ большей или меньшей степени, разумѣется, подъ данныя мною выше групповыя характернстики.

Я, впрочемъ, давно уже говорю о текущей литературъ, такъ что формально имълъ бы полное основание и не выдълять этой особенной главы. Живы и работають еще многіе д'ятели 60-хъ годовь (гг. М. Антоновичь, К. М. Станюковичь, Бажинь, Засодимскій и т. д.) еще больше разумъется живыхъ и работающихъ изъ инсателей семидесятниковъ; литература 70-хъ годовъ почти вся на лицо и въ большинствъ случаевъ все еще подаеть надежды. Не мало новыхъ деятелей, выступившихъ на сцену въ последнее десятилетіе, а одинъ изъ нихъ-Максивъ Горькій по своему вліянію сравнялся уже съ первовлассными дарованіями прежнихъ эпохъ. Но все же отдъльныя имена изъ области текущей литературы мало что могуть сказать читателю, потому, во-первыхъ, что она безбрежна, потому, во-вторыхъ, что очень разбросана. Разбросана, такъ какъ, повторяю, ни своего центра, ни своей идеи она еще не нашла. Я лично нисколько не сомневаюсь, что этой идеей можеть быть лишь та же инссіонерская и освободительная цель и задача, которая создала литературныя эпохи 40-ыхъ, 60-ыхъ и 70-ыхъ годовъ. Влагодаря разбросанности, впечатление получается пестрое, до такой степени нестрое, что отъ него рябить въ глазахъ. Ничего равнаго по значению дъятелямъ прежнихъ эпохъ современная литература представить не можеть. Но изъ этого совсемъ не следуетъ, что ее надо игнорировать. Напротивъ: свое небольшое дело она делаетъ, хотя и мало въ въ ней, вообще говоря, темперамента, мало веры, мало убъжденности, не можетъ она ответить на самые насущные вопросы современнаго человека. Эту небольшую главу мив хочется посвятить тому ея теченю, несомненно преобладающему и даже въ подавляющей степени, во главъ которой стоитъ П. Д. Боборыкинъ.

П. Д. Боборыкинъ. (род. 1836 г.). Онъ — отдёльное настроеніе, вёрийе — отсутствіе его. Онъ занимается и при томъ съ большимъ талантомъ, знаніемъ, искусствомъ дёломъ большинства современныхъ литераторовъ, — дёломъ, которое можеть быть названо беллетристической регистраціей жизни. Здёсь задача художнива не въ томъ, чтобы возводить дёйствительность и идеалы въ перлъ созданія, и не въ томъ, чтобы давать художественные образы, а въ томъ, чтобы слёдить за жизнью, не упускать изъ вида ея движенія и держать читателя аи соцгапт всего совершающагося въ ней. Такая задача могла стать задачей литературы лишь подъвліяніемъ газетъ и французской натуралистической школы, объявившей своей цёлью — протоколировать дёйствительность. И къ такой задачё г. Боборыкинъ приспособленъ лучше всякаго другого.

Злыя слова Тургенева о Боборыкинт общенавъстны. Воть что писалъ Тургеневъ Салтыкову еще 20 явть тому назадъ (1882): "То, что вы пишете меть о Боборыкинт, меня не удивляеть. Я легко могу себъ представить его на развалинахъ міра, строчащаго романъ, въ которомъ будуть воспроизведены самыя последнія въянія погибающей земли. Такой торошливой плодовитости нёть другого примера въ исторіи всёхъ литературъ. Посмотрите, онъ кончить твиъ, что будеть возсоздавать жизненные факты за пять минуть до ихъ нарожденія".

Это очень зло, и въ сущности всё, кто писалъ о Боборыкивъ, только повторяли слова Тургенева, забывая при этомъ спросить себя, дъйствительно ли это такъ дурно, какъ кажется съ перваго взгляда? Дурно? хорошо?—"са detend"... какъ говорять французы; потому что есть литература и литература.

Возьмите, напр., листь газеты или книгу журнала, положите рядомъ съ ними сочинения Гоголя или Толстого и спросите себя, есть ли что-ни-будь общее между этими двумя литературами? Общее, разумъется, есть (писано перомъ на бумагъ, отпечатано, издано на потребу современни-

ковъ и т. д.) — но только съ внёшней стороны. Суть же, нугро, душа тамъ и здёсь разныя. Здёсь старинныя, суровыя правила: "напиши, положи на столъ и продержи нёсколько лёть, потомъ перепиши и еще разъ перепиши, и такъ до семи и восьми разъ, пока самъ не будеть доволенъ, пока тебё самому не будеть очевидио, что ни прибавить, ни убавить ты уже не можешь ничего". Здёсь мысль о возрожденіи людей, о вліяніи на всю жизнь, здёсь проповёдь и подвижничество, молитва художника о спасеніи міра—тамъ срочная телеграмма нашего собственнаго кореспондента, на лету схватившаго, быть можеть, правду, быть можеть, ложь, и телеграмма, тоже нужная нашей жизни, тоже волнующая людей, тоже расширяющая предёлы ихъ бытія. Лично я не согласень остаться только съ Толстымъ и Гоголемъ безъ газеты или журнала, но одинаково не согласень остаться съ газетой безъ Толстого и Гоголя.

Представьте себъ умнаго, европейски образованнаго и несомнънно проницательнаго человъка, который взяль на себя задачу писать на самомъ дёле интересныя, а порою и художественныя корреспонденціи о русской жизни въ ея общихъ и важныхъ проявленіяхъ, и вы получите Боборыкина. И ясно, что вопросъ не въ томъ, насколько онъ ниже Толстого и Гоголя, а въ томъ, какъ исполняеть онъ эту свою задачу? А на этотъ вопросъ двухъ ответовъ быть не можетъ, потому что, какъ часто хорошо, часто недостаточно осв'вдомленный, но всегда виниательный нашъ собственный корреспонденть, Боборыкинь ведикольшень. Равнаго ему въ этой области у насъ нътъ. Упрекать же его или недостаточно серьезно къ нему относиться только потому, что рядомъ съ нимъ есть Толстой, такъ же неосновательно, какъ пренебрегать пернатыми вообще, потому лишь, что существуеть птица орель, хотя и тв и другой исполняють свое предназначеніе; одинъ мощными когтями схватываеть душу человіковь, возносить ее къ небесамъ и низвергаетъ въ пропасть, другія же ни высей, ни глубинъ жизин не знаютъ.

Я воть шучу, а мит право не до шутокъ. Я еще понимо, когда Тургеневъ, этотъ настоящій, огромной глубины аристократь литературы, какъ будто свысока говорить о Боборыкинть, но когда, какъ будто свысока говорить о немъ мразь какая-нибудь, не только не возсоздающая жизненные факты за пять минуть до ихъ нарожденія, но перевирающая ихъ сто льтъ спустя посль ихъ совершенія—становится больно и обидно. Ну, да не въ томъ дъло.

Надо, по завѣту Бѣлинскаго, опредѣлить "паносъ", т. е. господствуюшую страсть писателя, чтобы истинно уразумѣть его. Паносъ Боборыкина любознательность, даже любопытство, н это какъ нельзя болѣе приличествуетъ художнику-корреспонденту. "У П. Д. Боборыкина, — пишетъ г. Спасовичъ въ "Въстинкъ Европы", — умъ, что называется непосъдокъ, всегда подвижной, воображение живое, наблюдательность большая и острая. Едва замътныя новыя настроения, новыя состояния сознания, едва выклевывающиеся новые человъческие типы хватаемы были Боборыкинымъ, такъ сказать, на лету. Онъ, точно энтомологь по отношению къ насъкомымъ, накалывалъ ихъ тотчасъ на шпильки".

Нъсколько безпорядочная любознательность, граничащая съ любопытствомъ, быть можеть, порокъ, во всякомъ случать недостатокъ для смертнаго вообще, но для корреспондента и хроникера это воистину незамъннмое и драгоцънное качество. Это то, чъмъ онъ живъ. Хватать на лету, сейчасъ же обобщать, пришпиливать — все это прямая его обязанность, такъ какъ жизнь творитъ все новыя формы.

Любознательность Воборыкина вонстину поразительна. Чему только и гдё только онъ не учился. Въ Казани онъ слушалъ лекціи по камеральному отдёленію юридическаго факультета, какъ-то заинтересовался химіей, перешелъ въ Дерптъ на физико-математическое отдёленіе, заинтересовался медициной, прослушалъ всё теоретическіе и практическіе предметы, нужные врачу.

"Въ петербургскомъ университеть, - продолжаеть онъ свою автобіографію, — я значился вольнослушателемъ, экзаменъ держаль изъ встхъ предметовъ административнаго разряда. По закрытін универсптета слушаль я въ залахъ думы публичныя лекців иногихъ профессоровъ. Всего чаще бивалъ на лекціяхъ Лохвицкаго и Костонарова... Въ концъ 70-хъ и въ началь 80-хъ годовъ, кромь разныхъ публичныхъ лекцій въ Москвъ и Петербургъ, слушалъ въ московскомъ университетъ римское право, исторію, философію и политическую экономію, а въ петербургскомъ-государственное право. Въ Парижъ, въ течение нъсколькихъ зимъ, слушалъ я лекции въ College de France, Сорбонить, медицинской школть, въ музеть и школть изящискусствъ, по философіи, исторіи, старому французскому языку, исторіи всеобщей и французской литературы, политическимъ наукамъ, исторін искусства, естественнымъ наукамъ, по ніжоторымъ частямъ медицины Въ парижской консерваторіи я въ конце 60-хъ годовъ посещаль лекціи театральнаго искусства. Въ теченіе двухъ сезоновъ бралъ я уроки декламаціи. Въ вънской консерваторіи присутствовалъ на урокахъ декламаціи. Въ Вънъ же для подготовки себя къ преподаванію дикціи и леиламацін бралъ уроки сольфеджіо. Въ Нариже прослушалъ курсъ гармонін"... Все? Нътъ. "Новымъ языкамъ учился всю жизнь... Изъ семи новыхъ, мет навъстныхъ языкоръ, я могу свободно говорить и инсать на ияти, читать и понимать, говорить и писать женее, на двухъ. Moe знаніе этихъ языковъ стоить въ такомъ порядкъ: русскій, французскій, нъмецкій,

итальянскій, англійскій, цольскій, испанскій. Учился по-чешски... Възниу 75—76 гг. бралъ заново уроки латинскаго языка; въ 1892 г. началъ учиться по-гречески".

Это просто изумительный послужной списокъ. Туть жажда познанія неугомонная, непосёдливая и иснасытимая, перепрыгивающая съ предмета на предметь, за все хватающаяся и все пытающаяся охватить — даже дикцію, декламацію и сольфеджіо. Будь у этой жажды познанія руководящая идея, Боборыкинъ сталь бы русскимъ Фаустомъ или Сенъ-Симономъ, но такъ какъ такой руководящей иден у Боборыкина не было, то ни Фаустомъ, ни Сенъ-Симономъ онъ не сдёлался, а остался просто Воборыкинымъ. Потому что только идея, которая коренится въ глубнит натуры человъка и въ окружающей его исторической обстановкт, даеть смыслъ и цёль его жаждт познанія и одухотворяєть ее. Безъ иден она обращается въ любопытство.

Любопытные люди, вообще говоря, непріятный народъ или лучше не столько непріятный, сколько ихъ жаль. Жаль не потому, вонечно, что они, какъ Бобчинскій, могуть получить нашленку на непоказанное м'ясто, а потому, что силы-то свои, и часто недюжинныя силы, тратять они чорть знаеть на что. До всего имъ есть дело, все они какъ нельзи ближе принимають къ сердцу, волнуются, кипятятся, вечно впопыхахъ, спешать и бъгутъ, потому что на каждый часъ у нихъ самое неотложное дъло. И какія неотложныя діла-просто диву даешься, просто руками разводишь, какъ, напр., по поводу просто-таки нечеловъческихъ хлопотъ Боборыкина увидеть римскаго папу. Ну скажите на милость, зачемъ Боборыкину понадобился римскій папа? А онъ все же своего добился, повидаль и сочиниль объ этомъ чуть ли не целую книгу. Фурье, вся задача котокотораго сводилась въ тому, чтобы каждой человеческой силе и способности найти наилучшее, т. е. наивыгоднейшее для самого человека и общества примъненіе, кратко сказаль про любопытныхъ: они могуть наполнять своими писаніями газеты.

Просматривая списокъ предметовъ, прослушанныхъ и проштудированныхъ Боборыкинымъ, вы не можете отдълаться отъ мысли, что, собственно говоря, ему было ръшительно все равно, что ни изучать, лишь бы изучать. Но такимъ какъ разъ онъ остается и въ большинствъ своихъ произведеній, лишь бы описывать. Кажется нътъ темы, которая бы его не интересовала, итът такой мелочи жизни, мелочи обстановки, которой бы онъ не удълилъ своего вниманія. И всегда это вниманіе одинаковое, не глубокое, не вдумчивое, не то, которое стремится установить связь личной человъческой жизни съ жизнью міра, т. е. отвътить на вопросъ о смыслъ нашего существованія, а то, которое разръшаеть шараду или разсматриваеть необычное, въ родѣ ихтіозауроса, или плезіозауроса, или созерцаетъ ошибку природы. Занятно и только, и вотъ человѣкъ весь ушелъ во всестороннее разсмотрѣніе занятнаго и описаніе его. Прогрессивный параличъ и постепенно надвигающаяся на человѣка слѣпота, картины ножовой линіи и охотнаго ряда, состязанія въ влубѣ атлетовъ и туалеты отъ Ворта, жизнь бомонда и "жужжаніе" городового на посту—все это какъ-то странно въ равной степени интересуетъ Боборыкина. Не видно, чтобы одно захватывало его больше, другое меньше, онъ à fond изучаетъ бульварный жаргонъ, ходъ болѣзни, обстановку редакціи, человѣка, танцующаго кадриль fin de siècle, или чуть-чуть не умирающаго отъ безработицы. Это все равно, какъ хроникеръ: въ мирное время онъ описываетъ балы, рауты, five o'clock thea, наряды дамъ, а въ военное—ужасы, присвоенные военному времени.

Выручаеть Воборыкина умъ и европейское образованіе, которое одно время позволило ему даже играть видную роль во французской журналистикъ. По любопытству натуры своей, онъ заглядываеть всюду и все готовъ занести въ свою хронику, но необъемленаго-не объемлещь, и онъ дълаеть выборъ. Онъ группируеть явленія, подраздівляеть ихъ, старается всегда дать связную картину жизни, хотя и не всегда- ему это удается. Только благодаря своему уму, онъ не совсемъ растерялся, хотя чувствуется, что часто онъ близовъ въ этому, такъ какъ накопленные острой наблюдательностью факты за отсутствіемъ руководящей идем представляють изъ себя пррегулярное войско, или толпу, или сбродъ, сумбурно, въ безпорядкъ двигающійся, поражающій многочисленностью, нестройностью п часто ненужностью... И несомивнию, тоть же умъ, та же западно-европейская дисциплина дала Боборыкину и точку зренія, благодаря чему онъ, несмотря на восторженность своей натуры, не поклонился дёльцамъ и написалъ, вероятно, лучшую свою вещь, "Поумнелъ". Воть эта точка зренія, какъ самъ Боборыкивъ налагаетъ ее въ автобіографіи:

"То, что принесло съ собою послѣднее десятильте, — говорить П. Д. и на западѣ, и у себя дома, дало не одному миѣ чувство законной неудовлетворенности. Мы не ожидали, чтобы конецъ въка принесъ съ собою столько иравственныхъ дефицитовъ, и чтобы мы очутились въ такомъ ничтожномъ меньшинствѣ, принужденные, протпвъ воли, стоятъ въ сторонѣ, видя все яснѣе, что мы "не ко двору" и что успѣхъ и фактическое преобладаніе у тѣхъ, кто еще двадцать лѣтъ назадъ сохранялъ хоть нѣкоторое чувство стыдливости, а теперь чувствуетъ лишь страхъ передъ завоеваніями разума, правды и человѣчности.

"Но я долженъ признать, что последнее десятилетие, всеми своими тижелыми для насъ проявлениями, ставило передо мною более строгия задачи, углубляло преданность дорогимъ идеямъ, освобождало отъ предвзя-

тости, отъ всего суетнаго и дидетантскаго, усиливало потребность: воспользоваться остаткомъ жизни для более крупныхъ замысловь, искрените
и тепле сливаться душою съ своей родиной, успеть во многомъ пополнить свои занятія, отбросить все несущественное и сосредоточить себя на
томъ, что стоить высшаго напряженія, что следуеть воспроизводить, не
смущаясь никакним малодушными соображеніями. Личныя обстоятельства
сделали более возможнымъ выполненіе такой программы писателя и гражланина".

Резюмирую.

Несмотря на слишкомъ 40 лътъ работы, Боборывинъ пользуется только положеніемъ въ литературъ, но не вліяніемъ въ ней. Его точка зрънія на жизнь, такая же, какъ у образованнаго западно - европейскаго человъка средней руки, мало можеть заинтересовать кого-нибудь. Это не для насъ.

Вокругъ г-на Боборыкина группируется цілая толпа беллетристовъ, отчасти художниковъ, но больше хроникеровъ. Но я не могу остановиться на ихъ произведеніяхъ за недостаткомъ міста.

Въ своей плоскости Боборыкинъ не только замътная, ни прямо крупная величина, и въ его художественныхъ корреспонденціяхъ о послъднихъ сорока годахъ русской жизни много умнаго и цъннаго, върнаго и невърнаго, наскоро записаннаго и проницательно угаданнаго, много... вообще всего. И это много много всего, какъ бы символъ текущей русской литературы.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Я проследиять исторію русскаго литературнаго развитія за сто леть слишкомъ. При этомъ я нисколько не заботился о полноте картины, а лишь о томъ, чтобы не упустить изъ виду ничего характернаго—такого, что явилось литературнымъ отраженіемъ перелома общественной мысли и настроенія. Я далъ сначала общую характеристику барской литературы, затемъ ея противоположности—литературы разночинной и, наконецъ, литературы, созданной кающимся дворяниномъ. Эти три фигуры — барина-идеалиста 40-ыхъ годовъ, разночинца 60-ыхъ и кающагося дворянина 60-ыхъ, 70-ыхъ годовъ, разночинца 60-ыхъ и кающагося дворянина бо-ыхъ, то-ыхъ годовъ я считаю основными въ исторіи нашего литературнаго развитія. Вражда принциповъ, внесенныхъ въ литературу бариномъ и разночинцемъ, и затемъ примиреніе этихъ принциповъ— воть схема, по которой я расположилъ свою книгу.

Схема только остовъ. Она въ такой же степени вытекаетъ изъ существа дъла, сколько создается, сочиняется въ интересахъ порядка и стройности изложенія. Ни одна схема не можетъ охватить всего разнообразія жизненныхъ явленій. Каждое явленіе жизни, влятое въ его сложности, можетъ потребовать для себя отдъльной графы въ классификацін. Съ этой точки зрънія схема незаконна. Но она неизбъжна въ то же время, такъ какъ безъ нея мы способны лишь растеряться въ пестротъ и разнообразіи жизни.

Баринъ-ндеалистъ 40-ыхъ годовъ представляетъ изъ себя въ нашей литературѣ начало прежде всего созерцательное. Его историческая миссія привить нашей литературѣ общія идеи добра, истины и справедливости. Это теоретикъ и созерцатель; это художественная натура, поклонникъ красоты и дилетантъ разъ дѣло касается дѣйствительности и дѣятельности. Венера луврская для него несомнѣннѣе всѣхъ принциповъ 89-го года и всѣхъ тѣхъ принциповъ, за которые вообще билось человѣчество. Въ немъ много искусственнаго и тепличнаго, такого, что боится работы на свѣжемъ воздухѣ. Какъ эстетику ему нужна красивая обстановка въ такой же

степени, въ какой и благородная сущность. Природа богато одарила его, но какъ бы въ отнестку за свою щедрость дала ему и слабость воли, и склонность къ пессимизму. Роль его велика и плодотворна. Для закръпленія общихъ принциповъ во всей ихъ широть, для выясненія нашему обществу высшаго культурнаго типа общественной жизни — онъ быль саимиъ подходящимъ человъкомъ. Быть можеть, и лучше было не знать мелочей, не пачкаться въ грязи жизни и не отвлекаться въ сторону практическими соображеніями, чтобы исполнить такую задачу. Выть можеть, самымъ настоящимъ дёломъ было брать у Запада иден свободы, красоты н гуманности, нисколько не заботясь о томъ, что изъ этого выйдетъ въ сферъ практической дъйствительности. Но все же и самая жизнь, и созданныя ею ндеи были половинчатыя. Овт не могли не привести къ меланхолическому вопросу: "что такое свобода — безъ участія въ благахъ жизип? Что такое развитие безъ ясно нам'вченной конечной цели? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности в любви?" Такая меланхолія такъ же зарактерна, какъ и художественность барской натуры. Она наказаніе за отвлеченность, безд'ятельность жизни, за ея раздвоеніе на область созерцанія и действительности.

Наиболее чистыми представителями эстетически созерцаемаго идеализма 40-ыхъ годовъ и считаю первыхъ нашихъ славянофиловъ, особенио Хомикова, К. Аксакова, братьевъ Киревскихъ. Обломовская основа, обломовская сущность ихъ натуры и ея благородство были какъ нельзя лучше приспособлены къ общимъ гуманнымъ идеямъ, которыя въ сущности из къ чему не обязывали.

Но идея обязываеть и чемъ гуманите идея, темъ болте она обязываеть къ служению массе и ен интересамъ. Такова формула, въ которой воплотилось разночиное волевое начало нашей литературы. Конечно, я опять говорю схематически, во мит думается, что противортніе двухъ втрованій-одного, что идея прекрасиа и другого, что идея гребуеть своего воплощенія въ жизнь, что ність справедливости безъ огня самоотверженности и любви-и создало не только противоръчіе, но и вражду двухъ эпохъ. Славянофильство было окончательно загнано въ уголъ, оплевано и осивяно. Кумиры прежней литературы отчасти были поколеблены, отчасти сами отстранились оть діла. "Эстетическое созерцаніе" — возбуждало прямотаки ненависть и вопіяніе противъ себя. И понятно почему: оно наибол'є подходило къ прошлой барской жизни и было единственнымъ, что придавало ей хоть какую-нибудь ценность. Разночинець приняль большую часть идей, которыми жили 40-ые годы, но придаль имъ утилитарный, практическій характерь. Главной его задачей была перестройка дійствительности. Время созерцанія и мечтаній при луні прошло. И я настанваю на томъ,

что такой взрывъ воли, такая напряженность ея обусловливается не только величіемъ задачи—осчастливить массу, но и значительной примъсью злобы и чувства мести. Наша воля, какъ извъстно, нуждается столько же въ положительныхъ, сколько и отрицательныхъ стимулахъ. Ей нужны близкія и ненавистныя преграды, чтобы проявить свою мощь. Ей нужно гордое сознаніе своего я, своихъ неотъемлемыхъ правъ личности, которыя она при извъстныхъ обстоятельствахъ распространяеть на всъхъ людей. Она должна бороться и сознавать себя въ состояніи борьбы. Такъ было и у насъ въ ту эпоху, когда выступилъ на сцену разночинецъ. Разночинецъ вскормленъ ненавистью къ гнету жизни и уваженіемъ къ человъку. Тъмъ гнетомъ, который воспитываеть волю человъка.

Онъ отбросиль идею красоты, потому что съ ней въ его представленіи соединялось слишкомъ много непріятныхъ ассопіацій. Онъ еще помниль объ армидиных садах и объ эстетик разврата. Онъ прекрасно понималъ, что служеніе красоть отвлекаеть человівка оть ближайщих практических задачь и целей, открещивался отъ него и самаго слова "красота" боялся, какъ раскольникъ дыму. Онъ отбросилъ не только идею красоты, но и идею барской гуманности, такую распространенную, такую излюбленную пдею 40-ыхъ годовъ. Но туть надо сдълать оговорку. Варская гуманность-это не совствить то, что гуманность вообще. Она никакт не можетт отрешиться отъ некотораго аристократизма, отъ некотораго "свысока" въ отношенін униженнаго и обиженнаго. На первый планъ она выдвигаеть жалость, состраданіе — пріятныя для однихъ, непріятныя для другихъ. Въ ней есть нъчто филантропическое, нъчто въ родъ подачки отъ избытка сердечнаго благородства. Это очень оскорбляло развочинда, который, особенно въ ту эпоху, въ филантропіи не нуждался. Повидиному, онъ склоненъ былъ разсуждать такъ: любить или не любить человъка-дъло твое, жалъть или не жалтть человтка-тоже твое дтло, но не признавать человтка въ человъкъ и пользоваться трудомъ ближняго для изобрътенія летательныхъ машинъ, или написанія "Семирамиды", или для филологическихъ турнировъ во вкусь К. Аксакова-этого нельзя. И это нельзя должно быть закръплено за жизнью, какъ нъчто незыбленое и неприкосновенное. Сущность туть въ различіи настроенія. Одно настроеніе выработалось въ среді, гдъ личныя обиды, личное унижение отъ жизни чувствовалось мало и съ избыткомъ окупалось всякаго рода благами жизни; другое тамъ, гдъ личныя обиды и униженія отзывались одинаково и на собственной шкурт, и на шкур'в ближнихъ. Одни давали отъ щедротъ и избытка, другіе требовали во имя достоянства и правъ человъка.

"Разночинная" литература 60-хъ годовъ-второй членъ діалектической тріады, имъла вполит опредъленную и ясную ціль — борьбу съ эстетиче-

скимъ созерцаніемъ жизни, выработавнымъ высшимъ культурнымъ слоемъ русскаго общества — барствомъ еще въ эпоху дореформенной Россіи. Это боѓатая литературная эпоха, полная жизни, влохновенія и темперамента: это эпоха, когда заговорили страстная воля и вера. Съ перваго же взгляда особенно ръзко бросается въ глаза ся "человъческій, слишкомъ человъческій характеръ" (menschliches allzu menschliches), какъ бы предопредълний главную ея цъль-освобождение личности не только изъподъ власти оффиціальной государственности, но и стихіи народности съ ея патріархальными укладами. Отсюда красугольными камиями литературнаго мышленія являются-наука, раціонализмъ и самая раціоналистическая, прямо укладывавшаяся въ математическія, даже арнометическія формулы, наъ раціоналистическихъ идей — идея пользы. Все это указываеть на напряжение волевого и гражданскаго элемента общественной мысли, стремившейся къ "эмансицацін" во всёхъ ен проявленіяхъ: эмансяпаціи кріпостного мужика, дітей и женщивы, общества и мышленія. Все это во имя земного, осязвемаго человъческаго счастья, чаще всего рисовавшагося какъ жизнь въ фаланстерахъ Фурье, какъ осуществление коммунистическихъ утопій, причемъ переходомъ къ этому будущему являлась та же крестьянская деревенская община съ ея потребительнымъ хозяйствомъ (Добролюбовъ н Чернышевскій).

Литература 60-ыхъ годовъ въ идейномъ отношении опиралась цѣликомъ на литературу барина-идеалиста, т. е. литературу 40-ыхъ годовъ, имѣла съ ней связующее звено — дѣятельность Бѣлинскаго, дѣйствительно понятаго и оцѣненнаго лишь въ 60-ые годы — и въ то же время постоянно враждовала съ ней и отрицала ее. Почему? Прежде всего потому, что литература 40-ыхъ годовъ носила ясно выраженный эстетическій и созерцательный характеръ. Ея центральная, господствующая идея — это идея красоты.

Литературу, созданную нашимъ бариномъ-идеалистомъ, Щедринъ называетъ сиящей царевной, которая во свъ всякіе хоропіе сны видъла. Эти мечты, эти грезы, немного маниловскія, немного обломовскія, были преисполнены благожелательнъйшаго отношенія къ кръпостному мужику, п ко всъмъ униженнымъ и оскорбленнымъ вообще. Широкое сердце было у нашего барина-идеалиста, вмъщавшее въ себъ многообразные благородные помыслы и тъ порывы, о которыхъ сказано давно: суждены намъ благіе порывы, но свершить инчего не дано. Возьмемъ самое главное—отношеніе къ народу, къ закабаленному мужику. Здъсь, въ этомъ отношеніи всъ гуманныя идеи Запада нашли свое примъненіе. Здъсь же, въ литературъ, созданной бариномъ-идеалистомъ, закабаленный мужикъ впервые воззвалъ къ разуму и совъсти. Баринъ увидълъ въ немъ человъка, баринъ призналъ

его право на человъческое существование и счастье, баринъ жалълъ его всъин силами своей красивой души и, хотя самъ рабовладълецъ, написалъ п "Сороку-воровку", и "Антона Горемыку", и "Деревно", и "Записки охотника", т. е. литературные протесты противъ кръпостного права во ния грезы и мечты о свободномъ человъкъ. Но эти мечты и грезы не переходили въ жизнь и дъйствительность, они давали лишь красивое и гуманное настроеніе. Самая жалость и состраданіе были лишь красивымъ и гуманнымъ настроеніемъ, мелодическими аккордами, ноктюрнами и сонатами души.

Эстетическое созерцание дъйствительности, а не самая дъйствительность—вотъ что стояло на первомъ планъ. И противъ него-то въ своихъ отношенияхъ къ барству выступилъ разночинецъ. Идея прекраснаго подверглась отрицанию во имя идеи полезнаго.

Идея красоты, весомивино, мирилась съ идеалами патріархальнаго строя, какъ мирится она со всемъ мистическимъ и даже ищеть его, но идея полезнаго - эта элементарнъйшая формула раціоналистическаго міровозарънія съ ея требованіемъ очевидной выгоды---съ этими идеалами ни въ какомъ случать мириться не можеть. Идея полезнаго разсчитываеть и подсчитываеть, она сравниваеть, что больше и меньше, во всемъ ищеть она въ концъ концовъ матеріальнаго, осязаемаго ядра. Она враждебна мистическому ореолу и дерако противопоставляеть ему свою ариометику. Исключительно земная, одаренная большимъ здравымъ практическимъ смысломъ, лукавая и насмешливая, какъ Фигаро, она не забываеть никогда, что одинъ плохонькій солдать можеть сделать нензмерпио больше, чемъ армія призраковъ и спектровъ, хотя бы эти призраки и спектры были исключительно Танкредами и Роландами-или, что корка хлібов можеть напитать больше, чемъ удивительно нарисованное поле пшеницы. У ней, этой идеи, разумъется, иного увлеченій и крайностей, есть постоянная наклонность переходить въ плоскій подсчеть и пошлую иравственную арнометику, но критическое остріе ея какъ нельзя болье действительно въ отношенія ко всякимъ ложнымъ и загробнымъ претензіямъ. Она очень грубое освободительное орудіе. Ударами молота очищаеть она красивый обликь свободной человъческой мысли и свободнаго человъческаго чувства отъ въками накопившейся на немъ грязп. И эту свою роль она, несомитино, сыграла въ рукахъ шестидесятника разночища, темъ более, что общее приподнятое настроеніе приподнимало и ее и возводило ея элементарныя ариеметическія формулы до очень сложныхъ функцій, въ составъ которыхъ входили не только отрицаемые на словахъ эстетические, но и религиозные элементы мышленія.

"Дъло въ томъ, что разночинецъ изъ дебрей и трясинъ жизни принесъ ничъмъ неприкрашенные разсказы о страданіи массы, ея голодъ, невъже-



ствъ, нищетъ, разсказы такіе же сухіе, лишь ужасомъ фактовъ своихъ поражающіе, какъ судебные отчеты. Но онъ сказалъ еще, что эта вотъ сърая масса хочетъ жить и всячески ищетъ путей для осуществленія своихъ мечтаній. Какъ же удовлетворить это хотъніе жизни, какъ облегчить исканіс путей? Разночинецъ весь отдался этому вопросу, а по дорогь, не безъ злобы и раздраженія, разбивалъ барскіе кумиры, временно ему ненужные, разбивалъ ихъ съ суровымъ фанатизмомъ протестанта, вопіялъ противъ красоты, противъ соблазновъ художественнаго творчества, отвлекавшихъ человъка оть дъла—и не столько не понималъ, сколько боялся цвѣтовъ позін, созданій искусства, ихъ притягивающаго и одуряющаго аромата. Наука, знаніе, какъ средство наилучшаго воздъйствія на практическую жизнь, стальной скальпель, а не скальпель діалектическій, анатомія организмовъ, а не силлогизмовъ — вотъ что объщало ему побъду. И онъ склонился передъ этимъ новымъ, но уже своимъ кумиромъ." (Стр. 209 моей книги).

Отсюда, изъ мысли о массъ, изъ признанія ея скрытыхъ силъ, отъ печалованія о ея угнетенномъ положенін— ндея полезнаго получила свою санкцію. Оттого-то держалась она на такой нравственной высоть и во многихъ случаяхъ переходила въ идею подвига. Оттого-то она не былъ лишена даже религіознаго воодушевленія, при чемъ религія, въ духъ времени понималась какъ такое діло, осуществленіе котораго представляло абсолютное значеніе и абсолютно цінное для человъка, и отказаться отъ котораго онъ не можетъ, не отказываясь отъ самой жизни своей.

Идея полезнаго переходила такимъ образомъ въ идею служенія массъ, подогръвалась и возвышалась признаніемъ великихъ силъ, таящихся въ русскомъ народъ, силъ, ожидающихъ лишь развитія и простора, чтобы развернуться во всю мощь и ширь.

Теперь намъ легко ответить на вопросъ чего же хотель разночинець 60-ыхъ годовъ? Онъ хотелъ простора какъ для силъ отдельной личности, такъ и для силъ всей народной массы. Этотъ просторъ былъ нуженъ въ его глазахъ прежде всего для производительной работы, обезпечивающей счастье людей. Въ лицѣ главныхъ своихъ представителей онъ мыслилъ это счастье осуществленнымъ въ устояхъ деревенской общины, которая въ его глазахъ была способна воспринять высшую степень культуры и развитія не мѣняя типа своей экономической жизни, т. е. типа потребительнаго хозяйства. Единственнымъ разумнымъ путемъ къ осуществленію этого онъ считалъ путь освобожденія личности отъ власти тѣхъ стихійныхъ силъ, которыя держать ее въ кабалѣ. Эти силы—невѣжество, лѣнь, патріархальные устон семейной и общественной жизни, всѣ тѣ — которыя въ общемъ создавали въ жизни картины темнаго царства. Окруженныя мистическимъ ореоломъ, эти силы мирились еще съ идеей красоты, но, очевидно,

Digitized by Google

не выдерживали ин малъйшей критики идеи полезнаго. Но такъ какъ все же это были властныя, мощныя силы жизни, то отношеніе къ нимъ было исполнено раздраженія и ненависти, имъ была объявлена борьба не на жизнь, а на смерть.

Замътивъ въ русскомъ барствъ наклонность къ примиренію—разночинецъ, хоти и выросъ на идеяхъ, имъ привитыхъ къ русской жизни—возненавидълъ и его. Вирочемъ, слъдуетъ смотръть на эту ненависть какъ на голосъ непривилегированной Россіи. Не отдъльныхъ баричей ненавидълъ, конечно, разночинецъ, а весь строй барской культуры, ея обломовщину, ея патріархальные уклады, ея эстетическую созерцательность, ея стихійные славянофильскіе идеалы, ея привилегированное положеніе. Провозгласивъ прогрессъ и идею развитія критеріумомъ и цълью человъческой жизни онъ установилъ на человъка взглядъ какъ на работника прежде всего, руководимаго точнымъ знаніемъ во имя земного счастья людей.

Это воть и есть menschliches allzи menschliches эпохи. Подчиненная верховному принципу пользы, но пользы, получившей свою санкцію изъ высшихъ этическихъ областей—она въ литературномъ отношеніи представляла собою продолженіе той же освободительной работы, того же эмансинаціоннаго стремленія, которое составляеть душу нашей русской литературы. Но эта работа совершалась уже не подъ знаменемъ иден прекраснаго,—была выраженіемъ органическаго стремленія человъка къ расширенію своихъ силъ, своей самодъятельности, своей жизни вообще. Она вдохновлялась представленіемъ свободнаго работника, мыслящаго реалиста, мыслящаго пролетарія—но больше и глубже еще, свободнаго крестьянина, свободнаго мужика. Служенію этому идеалу она отдала высшее напряженіе своихъ силъ.

Таковъ былъ разночинецъ 60-ыхъ годовъ, сдълавшій такъ много и такъ быстро въ то же время утерявшій свою физіономію. Нигилнямъ вотъ тупикъ, куда онъ зашелъ и куда онъ не могъ не зайти, потому что, въ сущности, онъ былъ совершенно одинокъ. Онъ говорилъ отъ лица непривилегированной Россіи, но эта непривилегированная Россія представляла изъ себя нѣчто до такой степени неорганизованное и невѣжественное, что опираться на нее не было рѣшительно никакой возможности. Идея массы, но не самая масса была источникомъ вдохновенія, оттого-то сравнительно такъ скоро и изсякло оно. Ряды разночинной интеллигенціи пополнялись случайными людьми; ей приходилось идти рука объ руку то съ либеральными чиновинками, то съ либеральной и радикальной частью русскаго дворянства. Такіе союзы, повторяю, были шатки, неискренни, случайны. Разночинецъ и его работа были скорѣе предчувствіемъ чѣмъ осуществленіемъ.

Борьба съ барской культурой, ея абуліей, обломовщиной, отсутствіемъ

въ ней правового самосознанія, всей той связкой чувствъ, которая стихійно образуется въ человѣкѣ, разъ онъ пользуется привилегированнымъ положеніемъ—все это было прекрасно и необходимо. Но, повторяю, эта борьба не долго удержалась на высотѣ.

Преклоненіе разночинца передъ точнымъ знаніемъ обратилось въ доктринерскій фатализмъ; утерявъ свою высшую санкцію, идея пользы стала плоской и пошлой, отрицаніе стихійнаго и мистическаго выродилось въ нигилизмъ. Это дъйствительно вырожденіе и какъ понятны становятся тешерь, вызывавшія когда-то негодованіе, насмъшки Щедрина надъ нигилистами. Сатирикъ звалъ ихъ нераскаявшимиси титулярными совътниками. Еще злъе титулярныхъ совътниковъ называлъ онъ раскаявшимися нигилистами.

Воистину это было быстрое и печальное крушеніе надеждъ и настроеній, зародившихся при самыхъ лучшихъ предзнаменованіяхъ. Разночинсиъ не нивлъ подъ собой общественной почвы. Какъ бы пронезируя надъ жизнью людей и судьбами ихъ-исторія во главт разночиннаго движенія поставила лицъ, вышедшихъ изъ духовнаго сословія (Чернышевскій, Добролюбовъ, Антоновичъ, Щаповъ, Помяловскій и т. д.), у насъ, въ Россін, безсословнаго и въ нихъ сосредоточила самыя сильныя реформаторскія вожделінія. Уже послі 19-го февраля, напугавшаго или удовлетворившаго большинство-разночниецъ почувствовалъ свое одиночество. И въ этомъ одиночествъ онъ затерялся и стерся. Но намъ можно угъшать себя той мыслью, что освободительная его работа вошла въ общее русло русской литературы и опредълила второй ея діалектическій моменть-освобождение личности изъ-подъ власти стихійнаго и патріархальнаго подъ знаменемъ пден общественно-полезнаго. Въ это время въ процесст развитія литературы наступаль уже третій моменть, который и вывель русскую мысль изъ негилестического тупика. Отрицанію мистики, всего патріархальнаго, всіхъ идей и традицій барской культуры некуда было идти. За нигилизмомъ должно было последовать или мычаніе или возрожденіе. Мысль упилась своимъ "не пріемлю". Человіческое, слишкомъ человъческое обращалось въ скотское.

Этотъ новый моменть — литература кающагося дворянина, литература 70-хъ годовъ.

Психологія кающагося дворяннна 1)---это синтезъ (т. е. третій діалекти-

¹⁾ Кстати. Термины баринъ-идеалистъ, разночинецъ, кающійся дворянинъ не сходятъ со страницъ книгъ и статей нашей исторіи литературы. Кому принадлежатъ первые два и ихъ характеристика—сказать трудно. Послъдній неотъемлемая собственность г. Михайловскаго. У него же превосходныя характеристики барина и разночинца. Очець цънныя



ческій моменть)—теоретическое примиреніе психологіи барина-идеалиста и разночинца, созерцанія и хотънія.

Идея прекраснаго въ своемъ примиренін съ идеей полезнаго порождаеть идею героизма, первенствующую въ литературъ семидесятниковъ.

Признаніе первенства искусства надъ наукой, т. е. догматъ нашихъ шелленгіанцевъ и романтиковъ литературы крізпостной Россій въ примиреніи своемъ съ признаніемъ верховенства за наукой (догмать 60-хъ годовъ) порождаеть искусство— науку, т. е. философію Миртова и Михайловскаго, субъективный методъ, философіи критической и гармонически развитой личности.

Самъ кающійся дворянине 1) ничто иное какъ тоть же барпиъ-идеалисть, переработанный разночанцемъ и признавіпій цёли послёдняго своими.

Абстрактный героизиъ (т. е. героизиъ внутри себя, въ области идей, чувствъ, настроеній), какъ этическій принципъ барскаго идеализиа въ синтезъ съ утилитарной этикой разночинца — порождають этику абсо-

замъчанія о психологіи барина сдъланы М. А. Протопсповымъ и В. А. Гольцевымъ. Но, насколько я знаю, никто до появленія моей книги не видълъ выраженія классоваго самосознанія русскаго барства въ славянофильствъ, никто одинаково не устанавливалъ діалектической связи между этими тремя "терминами".

¹⁾ Какъ видить читатель, я все время говорю о діалектикъ и располагаю литературную эволюцію XIX-го въка по діалектической схемъ. Надо объяснить, какъ я понимаю діалектику. Конечно, — это развитіе противоръчій и ихъ примиреніе. Но гдъ источникъ этого развитія? Въжизни или области идей?

Гегель умеръ въ 1832 г., но не умерла его діалектика. Она и теперь въ ученіи Маркса, напримъръ, остается такой же, какой была у своего основателя, но она значительно матеріализировала свое содержаніе. Она попыталась захватить въ себя всю жизнь и даже въ самомъ тяжеломъ и стихійномъ проявленіи, именно соціально-экономическомъ. Тамъ, гдъ Гегель видълъ только жизнь и работу мысли, тамъ Марксъ видитъ жизнь и работу экономическихъ противоръчій, борьбу классовъ. Если, напримъръ, идея отъ своего перваго момента, т. е. отъ своего утвержденія переходить ко второму, т. е. къ своему отрицанію, то для Маркса ясно, въ чемъ тутъ дъло. Онъ толкуетъ это такимъ образомъ, что на сцену общественной дізтельности и мысли выступиль другой классъ общества, другой его слой, выросшій въ условіяхъ прямо противоположныхъ, задача котораго — отнять у своего предшественника его привилегированное положение, ниспровергнуть его кумиры и осмъять его идеалы. Изъ области движенія понятій и мысли мы перешли въ область движенія и борьбы классовъ общества, его слоевъ. Формула діалектическаго развитія осталась неприкосновенной, но измінилось ея содержаніе.

nomnyo, санкціонируємую вдеею прогресса и любовью къ ближнему, выставляющую на знамени своемъ самоотверженіе и самопожертвованіе на благо народа и человъчества.

Съ особенной настойчивостью, силой и яркостью выдвигается туть на сцену идея развитія. Но это не развитіе просто, не эволюція, а пълесообразный процессь, почти цъликомъ находящійся во власти и въ рукахъ человъка. И въ то же время это не самосовершенствованіе личности, а прежде всего совершенствованіе общественныхъ формъ жизни усиліями отдъльныхъ людей. Вся жизнь разсматривается какъ арена, какъ поприще искусства. И это искусство высшее, которое только доступно человъку. Это—творчество общественныхъ формъ. Наука, литература, живопись—все должно служить ему. Идея прекраснаго должна воплощаться не только въ художественные образы, а прежде всего въ формы самой жизни. Чтобы она—эта послъдняя стала во истину прекрасной—вотъ въ

Долженъ ли историкъ литературы строго держаться марксова пониманія діалектики и въ каждой идеъ, каждомъ художественномъ образъвидъть выраженіе борьбы общественныхъ силъ и сословныхъ интересовъ разныхъ группъ?

Инъ кажется, что въ общемъ да. Но все же очень многое онъ долженъ объяснять внутренней діалектикой самого литературнаго процесса и его крупными особенностями. Въ области литературы очень важную роль играють заимствованія у другихъ народовъ, подражаніе самобытнымъ талантамъ, внушеніе. Внушеніе стоитъ на первомъ планъ и съ нимъ, какъ фактомъ, приходится счигаться. Огносительно Бълинскаго, напримъръ, достаточно прочно установлены всякія барскія вліянія, которымъ онъ следоваль съ излишнимъ усердіемъ. Мих. Бакунинъ сдълалъ изъ него праваго гегеліанца и заставилъ оправдывать всякую дъйствительность, какой бы она ни была, хотя такое оправдание шло въ разръзъ съ истинной натурой великаго критика. Точно также можно сказать, что въра Успенскаго въ интеллигенцію, преклоненіе передъ ней, восторгъ передъ всякаго рода аккумуляторами, въра въ ръшающую силу науки и разума были внушены ему. Оттого онъ такъ двоится. Смъшно, конечно, считать его кръпостникомъ, человъкомъ кръпостныхъ идеаловъ, но не менъе смъшно видъть въ немъ передового въ западномъ смыслъ слова человъка. Самымъ дорогимъ для Успенскаго была божеская правда, воплощенная въ устояхъ крестьянской жизни, самымъ цъннымъ: голосъ этой божеской правды и ея носители-народные интеллигенты. Но въра въ интеллигенцію, созданную цивилизаціей-это уже для него наносное, чужое, ему внушенное. Со всъмъ этимъ историку литературы надо считаться. Потому что на самомъ дълъ человъку можно внушить идеи, истинъ его натуры противоръчащія и онъ этими идеями будетъ жить, имъ подчинить свою волю, за нихъ, быть можетъ, на "костеръ и плаху пойдетъ" и все же онъ будуть не его. Можно словомъ внушить человъку, что онъ, напримъръ, капиталистъ и хотя бы въ карчемъ задача, чтобы "человъческое существо было распрямлено до тъхъ предъловъ, какіе сулитъ каменная загадка (Венера Милосская)", — чтобы человъкъ сталъ земнымъ прекраснымъ богомъ, а не тъмъ смятымъ, приниженнымъ, трусливымъ существомъ, исполненнымъ тоски, злобы, отчаянія, какое мы видимъ въ ближнихъ своихъ... Что за гранціозная мечта, что за безмърное стремленіе! Возродились кумиры нашей барской литературы, въ чарующемъ блескъ общаго счастья и радости, въчной юности человъчества, одушевленная "безконечными перспективами человъческаго совершенствованія" встала земля передъ мечтой людей. Идея прекраснаго — эта мраморная, холодная статуя ЗО-ыхъ и 4О-ыхъ годовъ, вызывавшая лишь молчаливый восторгъ и молчаливое поклоненіе, — сама ожила и заговорила, оживилась страстью и върой, изъ мраморной статуи обратилась въ Жанну д'Аркъ — величавую, цъломудренную подвижницу, съ знаменемъ въ рукахъ, съ битвами, побъдами и костромъ передъ собой... Смыслъ жизни въ пере-

манъ у него не было ни гроша, онъ будетъ говорить и держать себя, какъ капиталистъ, но сдълать человъка капиталистомъ путемъ внушенія нельзя.

Я хочу этимъ сказать, что въ діалектическомъ развитіи литературы есть масса уклоненій огъ діалектическаго развитія дъйствительной жизни.

Для меня далъе очевидно, что господствующимъ положеніемъ трехъ идей: 1) прекраснаго; 2) общественно полезнаго, и 3) героическаго, опредъляются три момента діалектическаго развитія литературы. Одинаково очевидно, что преобладаніе каждой изъ этихъ идей было обусловлено серьезнъйшими перемънами въ общественной жизни и преобладаніемъ извъстнаго общественнаго слоя, но не всегда сословія, потому что такихъ сословій, какъ разночинецъ и кающійся дворянинъ, нътъ.

Къ этому стоитъ присмотръться поближе.

"Баринъ-идеалистъ, —говоритъ г. Протопоповъ, — дъйствовалъ во имя своихъ идеаловъ, но не интересовъ", или точно выражаясь его словами "дореформенная литература наша была порождена не интересами, а идеалами". И интересами, и идеалами, скажу я. Ибо трудво не видътъ землевладъльческихъ интересовъ рядомъ съ проповъдью земледъльческихъ идеаловъ въ нашемъ славянофильствъ. Дореформенная наща литература носитъ дъйствительно сословный характеръ, т. е. барскій. Но подъ выраженіемъ "сословный характеръ" нельзя понимать только защиту интересовъ своего сословія. Въ одинаковой степени и борьбу противъ нихъ, но борьбу подъ знаменемъ идей, выработанныхъ сословнобарской культурой, и съ настроеніемъ, ею созданнымъ, органически ей принадлежащимъ. "Наши баре, говорю я (стр. 185), защищали чужіе интересы, напримъръ, закабаленной массы, но защищали ихъ по-барски". Кромъ того, мы не должны никогда забывать главнаго факта нашего литературнаго развитія т. е. борьбы съ оффиціальной народностью.

тавляемая бюрократіей прежде всего, система оффиціальной народ-

работкъ формъ общественной жизни критическимъ сознавіемъ и въ творчествъ новыхъ формъ, представляющихъ полный просторъ человъческому развитію. Смыслъ жизни въ томъ, чтобы она стала дъйствительно прекрасной и во имя достиженія этой цъли нужно напряженіе всъхъ героическихъ, всъхъ подвижническихъ силъ человъческаго. духа.

Здёсь, словомъ, трудно не видеть возвращения къ идеямъ 40-ыхъ годовъ, но съ постоянной заботой, чтобы оне не обратилнсь въ прекрасныя слова, здъсь возрождение философскаго духа, или, лучше, духа философствованія, но философствованія строго этическаго, стремящагося обосновать нравственность человека. Здесь на сцене опять жалость, но никакого аристократизма, некакого "свысока" туть нъть. Даже наобороть: жалость, распаляемая голосовъ совъсти, ищетъ ига, служенія, жертвы. Здісь опять вдея красоты, но такая, которая ведеть не въ созерцанію - а въ дъятельности. Красота народной жизни обязываеть. Красота идеала гармонически развитой личности обязываеть. Рышение всых нравственных проблемь — вы подвижничествы, какъ высщемъ проявленіи нравственной красоты, какъ въ синтезъ созерцанія и хотенія, такъ какъ каждое изъ нихъ въ отдельности подвига пронавести не могуть. Здесь, повторяю, синтевь, соединение всего сделаннаго бариномъ-идеалистомъ и разночинцемъ. Идея прекраснаго дъла, т. е. подвига, идея прекрасной жизни среди русской общины, превращенной въ фаланстеръ Фурье, идея прекраснаго человъка, т. е. гармонически, равномърно во всъхъ (умственномъ, физическомъ и нравственномъ) отношеніяхъ раз-

ности стремилась нивеллировать и само барство. Съ ней борясь, себя защищая, нашъ баринъ зачастую оказывался гораздо болъе идеалистомъ и демократомъ, чъмъ онъ былъ въ дъйствительности. У насъ и теперь это смъшиваютъ. считая, напримъръ, либераломъ всякаго, кто бранитъ "Гражданина" Мещерскаго. Это грошевый либерализмъ, грошевымъ зачастую бывалъ и демократическій идеализмъ нашего барства.

Разночинная литература 60-хъ годовъ отразила на себъ, конечно, противоръчіе привилегированной и непривилегированной Россіи. Но разночинецъ не классъ, не сословіе, какъ нъчто организованное, а лишь поддворянскій слой, имъвшій основательныя причины ненавидъть барство и мстить ему. Изъ этого слоя дъйствительно выдълились сословія, но уже послъ того, какъ разночинная литература сыграла свою роль. Оттого-то разночинецъ и попалъ такъ скоро въ тупикъ. Въ массъ, интересы которой защищалъ разночинецъ, была, какъ въ хаосъ, возможность многихъ сословій, но въ 60-е годы почти недифференцированныхъ. Тутъ были и купецъ, и мужикъ собственно, и пролетарій и задачей разночинца было добиться правъ и возможности развитія для непривилегированной Россіи, при чемъ совершенно напрасно предполагалось, что въ непривилегированной Россіи, при чемъ совершенно принадлежитъ мужикуземледъльцу.

витой личности—воть что властвуеть надъ умами, воть что взываеть къ совъсти и чести, воть что руководить жизнью въ высшемъ ея проявленіи. Все это очищаеть человъка, требуеть оть него, двигаеть имъ.

Здісь завершеніе литературы, созданной прошлымъ Россін. Историкъ имість полное право остановиться на этомъ, такъ какъ радищевская идея развернула все свое содержаніе.

Идея русской литературы, посл'в эпохи 70-ыхъ годовъ не выразилась еще съ полной ясностью, однако, не трудно вид'вть что она та же самая. Но уже не систему оффиціальной народности ниветь она противъ себя, а жизненную силу и идеологію м'вщанства. Конкретнымъ ея выраженіемъ будеть уже поэтому не освобожденіе мужика, а пролетарія, челов'вка — вообще, не борьба съ оффиціальной народностью, а съ мизщанствомъ.

Обозрѣвъ исторію русскаго литературнаго развитія, хочу сказать иѣсколько словъ въ заключеніе.

Зрёлище русской литературы, въ нёсколько десятковъ лётъ изъ скромной ученицы Запада обратившейся въ могучую всемірно-историческую силу—необычайно и этимъ, конечно, обязана она той идеё свободы, которая постоянно одушевляла ее и вдохновляла на проповёдь, миссію, на служеніе закабаленной массё, закабаленной личности. Имёя передъ собой такую задачу, литература развернула всё свои художественныя и нравственныя силы п дала человёчеству произведенія Пушкина, Толстого, Горькаго.

Въ литературъ кающагося дворянина роль чисто идейной эволюціи особенно видна. Такого сословія, какъ кающійся дворянинъ, нѣтъ; интересовъ барства онъ не только не защищаетъ, а даже приходитъ въ ужасъ, что у его предковъ были когда-то такіе интересы. Это пѣснь покаянія, это отрицаніе всякихъ привилегій. Но идея прекраснаго, основная идея 40-хъ г., возродилась, принявши подъ вліяніемъ общественныхъ условій форму идеи подвига.

Литература кающагося дворянина лебединая пѣснь нашего барства, нашей барской культуры, въ значительной степени переработанной разночивцемъ. Оттого-то въ ней столько юной силы и столько дряхлости, столько бодрыхъ порывовъ впередъ и столько пессимизма, меланхоліи, усталости. Толстой пропѣлъ эту пѣснь и въ ней вылилась вся жажда свободы и вся стихійная связь съ прошлымъ. Сословный характеръ очевиденъ, но сословныхъ интересовъ нѣтъ...

Словомъ, литература барина-идеалиста, какъ выраженіе идеи прекраснаго въ условіяхъ нашего общественнаго строя и въ ея столкновеніяхъ съ нимъ;—литература разночинца, какъ выраженіе идеи полезнаго, какъ голоса сословно недифференцированной, пепривилегированной Руси; литература кающагося дворянина, какъ выраженіе идеи героическаго вотъ діалектическая схема нашего литературнаго развитія за 100 лътъ. Продержится ли она на прежней высоть и долго ли продержится на ней, или, уступая вторгающимся въ нее идеямъ компромисса, "стремленія къ возможному и достижимому", "движенія по линіи наименьшаго сопротивленія", утеряетъ свой героическій освободительный характеръ—я не знаю,—но въ прошломъ передъ нами цълый въкъ воистиву циклопическихъ литературныхъ построекъ. Чего стоятъ одни только имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, Бълинскаго, Толстого, Достоевскаго, Горькаго и созданное ими! Кромъ "неожиданнаго" во всемъ этомъ есть нъчто титаническое.

Про русскаго интеллигента Достоевскій сказаль какъ-то: "русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобы успоконться: дешевле онъ не примирится". Уже и въ настоящую минуту эти слова начинають звучать какимъ-то страннымъ преувеличеніемъ. Несомивно, однако, что такія стремленія были, были такія требованія, какъ были когда-то постройки циклоповъ и титановъ.

Жажда абсолютнаго, ненависть и презръніе въ относительному-вотъ настроеніе нашей литературы. Именно абсолютнаго и это безъ какихъ бы то ни было уступокъ. Абсолютные и героическіе элементы чаще и больше всего проникали въ нашу литературу, они возвели ее на небывалую высоту, они дали ей физіономію, исполненную величія и благородства, страсти и страданія... Въ 40-хъ годахъ мы увлекаемся уже сенъ-симонизмомъ и фаланстерами. Бълинскій жальеть, что у него ньть "какого-нибудь" милліона, чтобы гдв-нибудь въ Америкв основать новое общежитіе-свъточь для всего человъчества. Это абсолютно. Герценъ всю западно-европейскую жизнь, весь ея правовой строй, всв завоеванія ея политическаго развитія сводить къ мъщанству, его подлому и пошлому духу-это абсолютно. Не то же ли самое все учение Толстого, его проповъдь этическаго коммунизма, не то же ли самое босячество Горькаго? Во всемъ хотя и съ разными оттънками, то же настроеніе, та же жажда стряхнуть съ себя все рабство жизни, вплоть до рабства семь в и собственности и переродиться въ новаго человъка.

Надо только посмотръть, какими "коренными пересмотрами" вопросовъмысли, върывъ общественномъ отношенім увлекались мы въ теченіе XIX-го въка. Вотъ рядъ именъ, властвовавшихъ надъ умами: Руссо, Мабли, Гельвецій, раціоналисты и скептики XVIII-го въка, Сенъ-Симонъ и семъ-симонисты. Жоржъ-Зандъ, Шеллингъ и Гегель, особенно же Фейербахъ; матеріалисты и Вокль, Роберъ Овенъ и Фурье, русскій расколъ. Мы, нищіе, всегда грезили о милліардахъ.

Мы искали абсолютнаго и долго думали, что нашли его въ стров и укладахъ общинно-земледельноеской жизни. Въ нашей литературе община не

фактъ, не стадія экономическаго развитія; это мечта, это идеалъ. Я опять повторю, что представленіе объ общинной жизни крестьянъ-земледъльцевъ сливалось съ представленіемъ о древней христіанской общинъ и о такомъ строть, гдъ находять себъ воплощеніс лучшія общечеловъческія стремленія, не суженныя, не озлобленныя ни борьбой за существованіе, ни требованіями священнаго права частной собственности. Въ общинъ мы видъли и гарантію правственной индивидуальной свободы, и гарантію равноправнаго участія личности въ общиныхъ судахъ и сходахъ и гарантіи равнаго экономическаго благосостоянія членовъ общины, — а кто не видълъ этого прямо и непосредственно въ дъйствительности, тотъ все же смотрълъ на общину, какъ на лучшую переходную стадію къ такому полному благополучію. И здъсь и въ нашей идеализаціи и нашихъ упованіяхъ мы были "абсолютны".

Мы были "абсолютны", когда рядомъ съ культомъ общины держались еще и культа божьихъ людей; этихъ носителей высшей божеской правды, не опошленной никакими компромиссами "примънительно къ подлости", химству, слабости и силъ большинства.

Мы были абсолютны, когда отдавали вст вопросы личной и общественной жизни на судъ совъсти, когда требовали отъ науки оправданія нашихъ правственныхъ идеаловь, когда этическій, властный элементъ нашего мышленія принижалъ, осмънвалъ, отстранялъ элементы правового самосознанія

Мы были "абсолютны" въ своихъ отказахъ отъ компромиссовъ, отъ постепеннаго развитія, отъ медленнаго пути раціоналистическаго совершенствованія, отъ благъ культуры. Мы говорили имъ "не пріемлю" во ния безусловнаго равенства и братства между людьми.

Мы были абсолютны, когда въ довершение всего стали отрицать раздъление труда и возвели простое сотрудничество на степень единственной основы чистой и честной человъческой жизни.

Всякому злу жизни, всёмъ ея стихійнымъ силамъ, мы противопоставляли человёка— героя, съ ковромъ самолетомъ его свободной мысли, съ скатертью самобранкой общинной жизни, съ лампой Алладина требовательнаго нравственнаго чувства, успокаивающагося лишь на счастъё всёхъ.

Fuimus troes. И въ этомъ смыслѣ литература XIX-го вѣка, вся проникнутая идеями естественнаго права, абстрактнымъ идеаломъ свободнаго человѣка—постройка циклоповъ и титановъ.

Этотъ абсолютизмъ нравственнаго мышленія, эта абсолютная всепоглощающая нравственная точка зрівнія включали до сей поры въ себів все наше правовое самосознаніе, которое лишь въ самое послівднее время стало выділяться въ самостоятельное цілое.

За это часто винили русскую литературу, винили собственноза то, что въ погонт за царствомъ Божінмъ она забывала о земномъ и въ поискахъ за золо-

Digitized by Google

тыми розсыпями Эльдорадо, не собирала по дорогѣ ни грибовъ, ни недровыхъ шишекъ. Быть можетъ въ этомъ упрекѣ есть своя доля правды, но литература какъ таковая только выиграла отъ подобной своей непримиримости и требовательности. Для нея грозная и могучая фигура Толстого важиве и цѣниѣе респектабельной физіономіи хотя бы самого Гладстона.

Какъ бы то ни было, на этой почвъ происходила борьба литературы съ оффиціальной народностью, которая въ теоретической сферъ закончилась еще въ 70-ые годы.

Теперь другая борьба, не меньшая--борьба съ мъщанствомъ.

Куда пойдемъ и какъ? Какъ будемъ держать себя? Что противопоставить этой "клейкой", затягивающей, могучей и всеопошливающей, всепринижающей силъ, лицемърной и лживой, такъ умъло играющей, однако, на жадности человъка, на его страсти къ наживъ и накопленію... Опять говорю — не знаю, ибо передъ нашей литературой два йути, двъ дороги. Прежній путь — абсолютнаго "не пріемлю" и новый — уступокъ, компромиссовъ, удовлетворенія малымъ...

Не могу, не смъю высказаться за второй, п въ томъ, что русская молодая литература (въ лицъ, напр., Горькаго и Чехова) объявила непримиримую войну мющанству и духу его, все болъе распространяющемуся въ нашемъ обществъ—я вижу залогь ея грядущихъ успъловъ, ея близкаго возрожденія. Опираясь на идеалистическія традиціп прошлаго, она не отдастъ себя въ полную кабалу господина Рынка и господина Компромисса,—и быть можетъ, недалеко то время, когда она свергнетъ иго ихъ такъ же легко и не колеблясь, какъ когда-то свергла иго меценатства. Давай ей этого Богъ, потому что это она полностью заслужила въ своей суровой борьбъ со всъмъ, что порабощаетъ личность и общество, что порабощаетъ человъка.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	CIFAII.
Вмъсто предисловія	III—XXXY
Литература иръпостной Россіи	1—196
Тезисъ русской литературы	1
Радищевъ и скептическое движеніе въ	
Россіи	3
Радищевъ — 3. Скептическое движеніе въ рус- ской литературъ -5.	
Литература первой четверти въка	18
А. С. Пушкинъ.	24
Бълинскій о Пушкинъ—24. Пушкинъ въ исто-	
ріи — 28. Характеристика Пушкина — 30.	
Поэты Пушкинской эпохи. Рыльевъ-41.	
Эпоха Николая І-го. Система.	42
Журналистика эпохи Николая І-го	
Грибовдовъ, Гоголь, Лермонтовъ	68
А. С. Грибоъдовъ – 70. Н. В. Гоголь — 73. М. Ю.	00
Лермонтовъ—78.	
Славянофилы и западники	82
Славянофилы—86. Западники—112. П. Я. Чаада-	02
евъ-115. В. Г. Бълинский-119. Мужикъ	
въ русской литературъ—130. Д. В. Григо-	
ровичъ—137. И. С. Тургеневъ—140. А. И.	
Герценъ—150. Н. П. Огаревъ—174. И. А.	
Гончаровъ—176. Общія замівчанія о лите-	
ратуръ 40-хъ годовъ—184.	
ратура чотка годова—104. Шестидесятые годы	197326
Общая характеристика	197520
	197
Литература записокъ и писемъ, какъ	
предисловіе къ литературъ 60-хъгг.	210
собственно	
Журналистика 60-хъгодовъ	216
"Современникъ"—218. Н. Г. Чернышевскій—220.	
Н. А. Добролюбовъ—230. "Русское Слово"—	
239. Д. И. Писаревъ-241. Н. В. Шелгу-	

	CTPAH.
новъ-257. М. Н. Катковъ и "Русскій Въст-	
никъ" — 258. "Искра" — 266. Славянофиль-	
скіе органы—267. Ап. А. Григорьевъ—271.	
Н. Н. Страховъ-275. Полемика-279.	
Беллетристика 60-хъ годовъ	281
Беллетристика Чернышевскаго—282. Н. Г. Помя-	
ловскій — 291. А. И. Левитовъ — 299. А. К.	
Шеллеръ —300.	
Беллетристы-народники	304
Н. В. Успенскій—302. О. М. Рътетниковъ—304.	
Поэты 60-хъгодовъ. Н. А. Некрасовъ	311
Общія заключительныя замъчанія	318
Семидеоятые годы	327500
Общая характеристика	327
Философія критической личности	340
Народничество	345
I. Юзовъ (О. И. Каблицъ)—347. В. В. (Ворон-	
цовъ) — 349. Народники - государствен-	
ники — 350.	
Критическое народничество	350
"Отечественныя Записки"—352. Г. З. Елисвевъ—	
354. М. Е. Салтыковъ-Щедринъ 355. Н. К.	
Михайловскій—374. Г. И. Успенскій—396.	
Н. Н. Златовратскій—418.	
Невърующіе народники	427
А. Н. Новодворскій Осиповичъ — 429. В. М. Гар-	
шинъ-435. С. Я. Надсопъ-439. Д. Н. Ма-	
. минъ-Сибирякъ440.	
Реакціонная литература 60-хъ и 70-хъ гг.	445
В. П. Клюшниковъ 449. Н. С. Лъсковъ - 451.	
Всев. Крестовскій—453. Б. Маркевичь—453.	
Толстой и Достоевскій	455
.Т. H Толстой—455. Ө. М. Достоевскій—477.	
Славянофилы,	497
Общія замъчанія о литературъ 70-хъ гг.	499
80-ые и 90-ые годы	501548
Общая характеристика 80-хъ годовъ	501
Мъщанство—508. А. П. Чеховъ—513. Декаденты—	
525. Новыя въянія—527. М. Горькій—531.	
Марксизмъ—539.	
Текущая литература	541
П. Д. Боборыкинъ—543.	
Заключеніе	549564

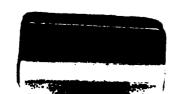
THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO SO CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

MAY: U.395 MN1 8 1955 LU JUN 8 '65 -10 AM JUN 2 - 1966 83 564 1 RCD LD 21-100m-12,'43(8796s)





 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$

